This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

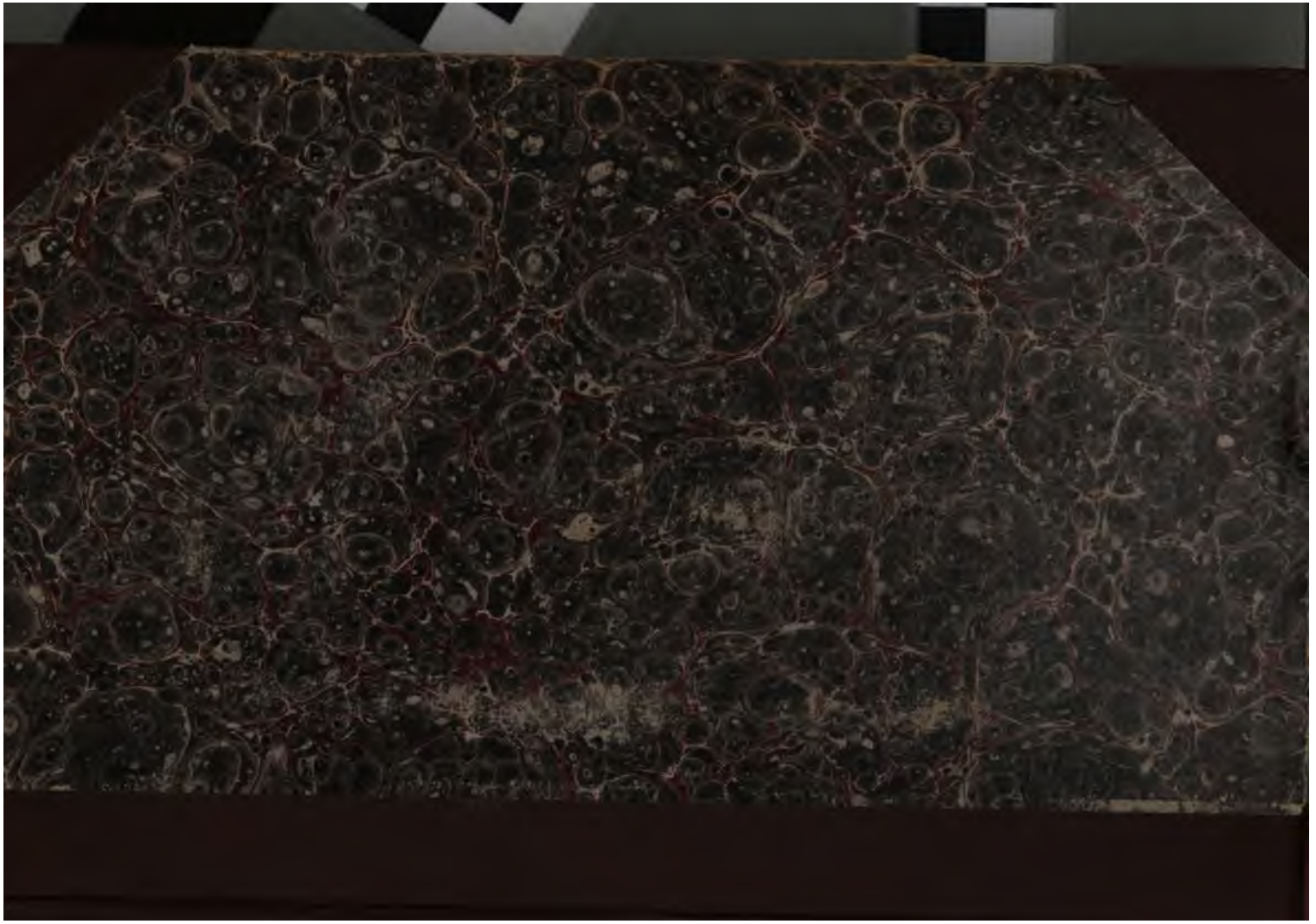
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

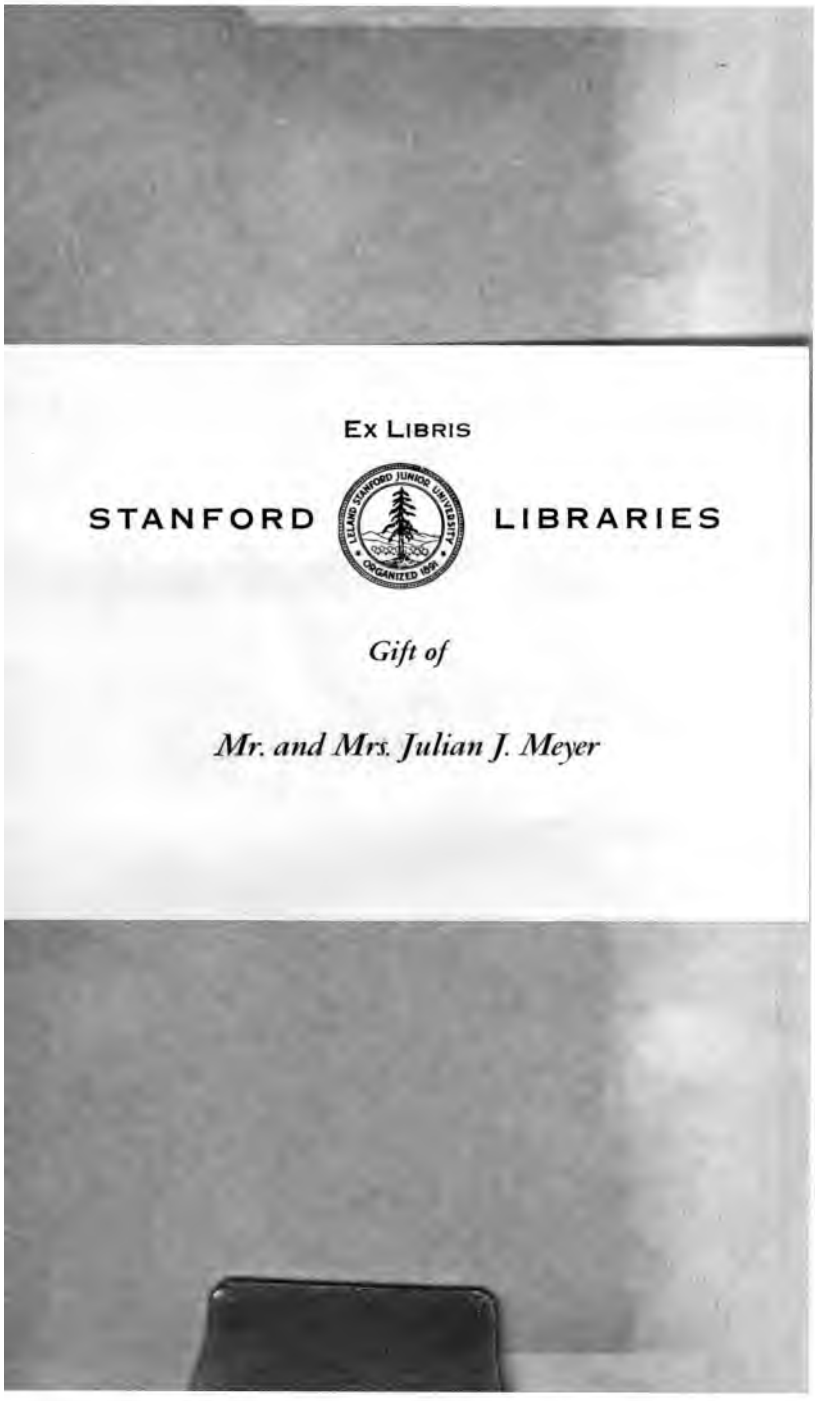
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`





EX LIBRIS

STANFORD LIBRARIES

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer

Saltykov M.E.

БИБЛІОТЕКА
№
ЕШКОЗСКАГО

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

М. Е. САЛТЫКОВА

[Н. ЩЕДРИНА].

ИЗДАНІЕ ПЯТОЕ.

Съ «Матеріалами для біографіи М. Е. Салтыкова»,
К. К. Арсеньева, и съ двумя портретами М. Е. Салтыкова.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1905 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1905.

891.73
S171
ed.5
v.3

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайловскій просп., № 29.

ГУБЕРНСКІЕ ОЧЕРКИ.

[1856—1857 гг.].

ВВЕДЕНІЕ.

Въ одномъ изъ далекихъ угловъ Россіи есть городъ, который какъ-то особенно говоритъ моему сердцу. Не то чтобы онъ отличался великолѣпными зданіями, нѣтъ въ немъ садовъ семирамидиныхъ, ни одного даже трехъэтажнаго дома не встрѣтите вы въ длинномъ рядѣ улицъ, да и улицы-то все немощеныя; но есть что-то мирное, патріархальное во всей его физіономіи, что-то успокаивающее душу въ тишинѣ, которая царствуетъ на стогнахъ его. Въѣзжая въ этотъ городъ, вы какъ будто чувствуете, что карьера ваша здѣсь кончилась, что вы ничего уже не можете требовать отъ жизни, что вамъ остается только жить въ прошломъ и переваривать ваши воспоминанія.

И въ самомъ дѣлѣ, изъ этого города даже дороги дальше никуда нѣтъ, какъ будто здѣсь конецъ міру. Куда ни взглянете вы окрестъ—лѣсъ, луга да степь; степь, лѣсъ и луга; гдѣ-гдѣ вьется прихотливымъ извивомъ проселокъ, и бойко проскачетъ по немъ телѣга, запряженная маленькою рѣзвою лошадкою, и опять все затихнетъ, все потонетъ въ общемъ однообразіи...

Крутогорскъ расположенъ очень живописно; когда вы подъѣзжаете къ нему лѣтнимъ вечеромъ, со стороны рѣки, и глазамъ вашимъ издалека откроется брошенный по крутому берегу городской садъ, присутственныя мѣста и эта прекрасная группа церквей, которая господствуетъ надъ всей окрестностью, вы не оторвете глазъ отъ этой картины. Темнѣетъ. Огни зажигаются и въ присутственныхъ мѣстахъ, и въ острогѣ, стоящихъ на обрывѣ, и въ тѣхъ лачужкахъ, которыя лѣпятся тѣсно, внизу, подлѣ самой воды; весь берегъ кажется усѣяннымъ огнями. И Богъ знаетъ

почему, вслѣдствіе ли душевной усталости, или просто отъ дорожнаго утомленія, и острогъ, и присутственныя мѣста кажутся вамъ пріютами мира и любви, лачужки населяются Филемонами и Бавкидами, и вы ощущаете въ душѣ вашей такую ясность, такую кротость и мягкость... Но вотъ долетаютъ до васъ звуки колоколовъ, зовущихъ ко всенощной; вы еще далеко отъ города, и звуки касаются слуха вашего безразлично, въ видѣ общаго гула, какъ будто весь воздухъ полонъ чудной музыки, какъ будто все вокругъ васъ живетъ и дышитъ; и если вы когда-нибудь были ребенкомъ, если у васъ было дѣтство, оно съ изумительною подробностью встаетъ передъ вами, и внезапно воскреснетъ въ вашемъ сердцѣ вся его свѣжесть, вся его впечатлительность, всѣ вѣрованія, вся эта милая слѣпота, которую впослѣдствіи разсѣялъ опытъ, и которая такъ долго и такъ всецѣло утѣшала ваше существованіе.

Но мракъ все болѣе и болѣе завладѣваетъ горизонтомъ; высокіе шпили церквей тонутъ въ воздухѣ и кажутся какими-то фантастическими тѣнями; огни по берегу выступаютъ ярче и ярче; голосъ вашъ звонче и яснѣе раздается въ воздухѣ. Передъ вами рѣка... Но ясна и спокойна ея поверхность; ровно ея чистое зеркало, отражающее въ себѣ блѣдно-голубое небо съ его милліонами звѣздъ; тихо и мягко ласкаетъ васъ влажный воздухъ ночи, и ничто, никакой звукъ не возмущаетъ какъ бы оцѣпенѣвшей окрестности. Паромъ словно не движется, и только ветерѣливый стукъ лошадинаго копыта о помостъ да всплескъ выпимаемаго изъ воды шеста возвращаютъ васъ къ сознанію чего-то дѣйствительнаго, не фантастическаго.

Но вотъ и берегъ. Начинается суматоха; вынимаются причалы; экипажъ вашъ слегка трогается; вы слышите глухое позвякиванье подвязаннаго колокольчика; пристегиваютъ пристяжныхъ; наконецъ, все готово; въ тарантасѣ вашемъ появляется шляпа и слышится: «Не будетъ ли, батюшка, вашей милости?»—«Трогай!»—раздается сзади, и вотъ вы бойко взбираетесь на крутую гору, по почтовой дорогѣ, ведущей мимо общественнаго сада. А въ городѣ, между тѣмъ, во всѣхъ окнахъ горятъ уже огни; по улицамъ еще бродятъ разсѣянныя группы гуляющихъ; вы чувствуете себя дома, и, остановивъ ямщика, вылѣзаете изъ экипажа и сами идете бродить.

Боже! какъ весело вамъ, какъ хорошо и отрадно на этихъ деревянныхъ тротуарахъ! Всѣ васъ знаютъ, васъ любятъ,

вамъ улыбаются! Вонъ мелькнули въ окнахъ четыре фигуры за четвероугольнымъ столомъ, предающіяся дѣловому отдохновенію за карточнымъ столомъ; вотъ изъ другого окна столбомъ валитъ дымъ, обличающій собравшуюся въ домѣ веселую компанію приказныхъ, а быть-можетъ и сановниковъ; вотъ послышался вамъ изъ сосѣдняго дома смѣхъ, звонкій смѣхъ, отъ котораго вдругъ упало въ груди ваше юное сердце, и тутъ же, съ нимъ рядомъ, произносится острота, очень хорошая острота, которую вы ужъ много разъ слышали, но которая, въ этотъ вечеръ, кажется вамъ особенно привлекательною, и вы не сердитесь, а какъ-то добродушно и ласково улыбаетесь ей. Но вотъ и гуляющіе — все больше женскій полъ, около котораго, какъ и вездѣ, какъ комары надъ болотомъ, роится молодежь. Эта молодежь иногда казалась вамъ нестерпимою: въ ея стремленіяхъ къ женскому полу вы видѣли что-то не совсѣмъ опрятное; шуточки и нѣжности ея отзывались въ вашихъ ушахъ грубо и матеріально; но въ этотъ вечеръ вы добры. Если бы вамъ встрѣтился пылкій Трезоръ, томно виляющій хвостомъ на бѣгу за кокеткой Діанкой, вы и тутъ нашли бы средство отыскать что-то наивное, буколическое. Вотъ и она, крутогорская звѣзда, гонительница знаменитаго рода князей Чебылкиныхъ—единственнаго княжескаго рода во всей Крутогорской губерніи, — наша Вѣра Готлибовна, нѣмка по происхожденію, но русская по складу ума и сердца! Идетъ она, и издали несется ея голосъ, звонко командующій надъ цѣлымъ взводомъ молодыхъ вздыхателей; идетъ она, и прячется сѣдовласая голова князя Чебылкина, высунувшаяся-было изъ окна, ожигаются губы княгини, кушающей вечерній чай, и выпадаетъ фарфоровая куколка изъ рукъ двадцатилѣтней княжны, играющей въ растворенномъ окнѣ. Вотъ и вы, великолѣпная Катерина Осиповна, также звѣзда крутогорская, вы, которой роскошныя формы напоминаютъ лучшія времена человѣчества, вы, которую ни съ кѣмъ сравнить не смѣю, кромѣ гречанки Бобелины. Около васъ также роятся поклонники и вьется жирный разговоръ, для котораго неистощимымъ предметомъ служатъ ваши прелести. И все это такъ привѣтливо улыбается вамъ, всякому вы жмете руку, со всякимъ вступаете въ разговоръ. Вѣра Готлибовна разсказываетъ вамъ какую-нибудь новую продѣлку князя Чебылкина; Порфирій Петровичъ передастъ замѣчательный случай изъ вчерашняго преферанса.

Но вотъ и самъ его сіятельство, князь Чебылкинъ, изволитъ возвращаться отъ всенощной, четверней въ коляскѣ. Его сіятельство милостиво раскланивается на всѣ стороны; четверня раскормленныхъ лошадокъ влачитъ коляску мѣрнымъ и томнымъ шагомъ: сами безсловесныя чувствуютъ всю важность возложеннаго на нихъ подвига, и ведутъ себя какъ слѣдуетъ лошадямъ хорошаго тона.

Наконецъ и совсѣмъ стемнѣло; гуляющіе исчезли съ улицъ; окна въ домахъ затворяются; гдѣ-гдѣ слышится захлопыванье ставней, сопровождаемое звяканьемъ засовываемыхъ желѣзныхъ болтовъ, да доносятся до васъ унылые звуки флейты, извлекаемые меланхоликомъ-приказнымъ.

Все тихо, все мертво; на сцену выступаютъ собаки...

Казалось бы, это ли не жизнь! А между тѣмъ всѣ крутогорскіе чиновники, и въ особенности супруги ихъ, съ ожесточеніемъ нападаютъ на этотъ городъ. Кто звалъ ихъ туда, кто приклеилъ ихъ къ столь постылому для нихъ краю? Жалобы на Крутогорскъ составляютъ вѣчную канву для разговоровъ; за ними обыкновенно слѣдуютъ стремленія въ Петербургъ.

— Очаровательный Петербургъ!—восклицаютъ дамы.

— Душка Петербургъ!—вздыхаютъ дѣвицы.

— Да, Петербургъ...—глубокомысленно отзываются мужчины.

Въ устахъ всѣхъ Петербургъ представляется чѣмъ-то въ родѣ жениха, приходящаго въ полуночи; но ни тѣ, ни другія, ни третьи не искренни; это такъ, façon de parler, потому что ротъ у насъ не покрытъ. Съ тѣхъ поръ, однакожъ, какъ двукратно княгиня Чебылкина съѣздила съ дочерью въ столицу, восторги немного поохладились: оказывается, «qu'on n'y est jamais chez soi», что «мы отвыкли отъ этого шума», что «le prince Курилкинъ, jeune homme tout-à-fait charmant,—mais que ça reste entre nous—m'a fait tellement la cour, что просто совѣстно! — но все-таки какое же сравненіе нашъ милый, нашъ добрый, нашъ тихій Крутогорскъ!»

— Душка Крутогорскъ!—пищитъ княжна.

— Да, Крутогорскъ...—отзывается князь, плотоядно улыбаясь.

Страсть къ французскимъ фразамъ составляетъ общій недугъ крутогорскихъ дамъ и дѣвицъ. Соберутся дѣвицы, и первое у нихъ условіе: «ну, mesdames, съ нынѣшняго дня мы ни слова не будемъ говорить по-русски». Но ока-

зывается, что на иностранныхъ языкахъ имъ извѣстны только двѣ фразы: *permettez-moi de sortir* и *allez-vous en!* Очевидно, что всѣхъ понятій, какъ бы они ни были ограничены, этими двумя фразами никакъ не выразишь, и бѣдныя дѣвицы вновь осуждены прибѣгнуть къ этому дубовому русскому языку, на которомъ не выразишь никакого тонкаго чувства.

Впрочемъ, сословіе чиновниковъ—слабая сторона Крутогорска. Я не люблю его гостиныхъ, въ которыхъ, въ самомъ дѣлѣ, все глядитъ какъ-то неуклюже. Но мнѣ отрадно и весело шататься по городскимъ улицамъ, особливо въ базарный день, когда онѣ кипятъ народомъ, когда всѣ площади завалены разнымъ хламомъ: сундуками, бураками, ведерками и проч. Мнѣ милъ этотъ общій говоръ толпы; онъ ласкаетъ мой слухъ пуще лучшей итальянской аріи, несмотря на то, что въ немъ нерѣдко звучатъ самыя странныя, самыя фальшивыя ноты. Взгляните на эти загорѣлыя лица: они дышатъ умомъ и смѣткою и вмѣстѣ съ тѣмъ какимъ-то неподдѣльнымъ простодушіемъ, которое, къ сожалѣнію, исчезаетъ все больше и больше. Столица этого простодушія—Крутогорскъ. Вы видите, чувствуете, что здѣсь человѣкъ доволенъ и счастливъ, что онъ простодушенъ и открытъ именно потому, что не для чего ему притворяться и лукавить. Онъ знаетъ, что̀ бы ни выпало на его долю—горе ли, радость ли,—все это его, его собственное, и не ропщетъ. Иногда только онъ вздохнетъ да промолвитъ: «Господи! кабы не было блохъ да становыхъ, что̀ бы это за рай, а не жизнь была!» — вздохнетъ и смирится предъ рукою Промысла, содѣлавшаго и Киѳерона, птицу сладкогласную, и гадовъ разныхъ.

Купечества въ Крутогорскѣ нѣтъ. Коли хотите, проживаютъ въ немъ такъ-называемые негоціанты, но они пробубнились до такой степени, что, кромѣ ношебнаго платья и неоплатныхъ долговъ, ничего не имѣютъ. Сгубила ихъ неосновательность разсудка да пристрастіе къ пиджакамъ и крѣпкимъ напиткамъ. Пробовали-было они, по началу, когда деньги еще кой-какія водились, на свой капиталъ торговать, да нѣтъ, не спорится! Сведетъ негоціантъ къ концу года счеты—все убытокъ, а онъ ли, кажется, не трудился, на пристани съ лихими людьми ночи напролетъ не пропивалъ, до послѣдней копейки въ картежъ не проигрывалъ, все въ надеждѣ увеличить родительское наслѣдіе! — Не везетъ! Пробовали они и на комиссію закупы разнаго

товару дѣлать,—и тутъ оказались провинности: купитъ негоціантъ щетины, да для коммерческаго оборота въ нее песочку подсыплетъ, а не то хлѣбца такого поставитъ, чтобъ хрусту побольше ощущалось, — отказали и тутъ. Господа! совсѣмъ коммерціей заниматься нельзя.

Но вотъ наступаетъ воскресенье; весь городъ, съ ранняго утра, въ волненіи, какъ будто томимъ недугомъ. На площадяхъ шумъ и говоръ, по улицамъ ѣзда страшная. Чиновники, не обуздываемые въ этотъ день никакимъ присутственнымъ мѣстомъ, изъ всѣхъ силъ устремляются къ его превосходительству поздравить съ праздникомъ. Случается, что его превосходительство не совсѣмъ благосклонно смотритъ на эти поклоненія, находя, что они вообще не относятся къ дѣлу, но духа времени измѣнить нельзя: «помилуйте, ваше превосходительство, это намъ не въ тягость, а въ сладость!»

— Сегодня отличная погода, — говоритъ Порфирій Петровичъ, обращаясь къ ея превосходительству.

Ея превосходительство слушаетъ съ видимымъ участіемъ.

— Только жарко немножко-съ, — отзывается уѣздный стряпчій, слегка привставая на креслѣ:—я, ваше превосходительство, потѣю...

— Какъ здоровье вашей супруги?—спрашиваетъ ея превосходительство, обращаясь къ инженерному офицеру, съ очевиднымъ желаніемъ замять разговоръ, принимающій слишкомъ интимный характеръ.

— Она, ваше превосходительство, всегда въ это время бываетъ въ такомъ положеніи...

Ея превосходительство рѣшительно теряется.

Общее смущеніе.

— А у насъ, ваше превосходительство,—говоритъ Порфирій Петровичъ:—случилось на прошлой недѣлѣ обстоятельство. Получили мы изъ рожновской палаты бумагу-съ. Читали мы, читали эту бумагу — ничего не понимаемъ, а бумага, видимъ, нужная. Вотъ только и говоритъ Иванъ Кузьмичъ: «позовемте, господа, архиваріуса, можетъ-быть, онъ пойметъ». И точно-съ, призываемъ архиваріуса, прочиталъ онъ бумагу. «Понимаешь?» — спрашиваемъ мы. — «Понимать не понимаю, а отвѣчать могу». Вѣрите ли, ваше превосходительство, вѣдь и въ самомъ дѣлѣ написалъ бумагу въ палецъ толщиной, только еще непонятнѣе первой. Однако, мы подписали и отправили.

Общій хохотъ.

— Любопытно,—говоритъ его превосходительство:—удовлетворится ли рожновская палата?

— Отчего же не удовлетвориться, ваше превосходительство? Вѣдь имъ больше для очистки дѣла отвѣтъ нуженъ: вотъ они возьмутъ да цѣликомъ нашу бумагу куда-нибудь и пропишутъ-съ, а то мѣсто опять пропишетъ-съ; такъ оно и пойдетъ...

Но я предполагаю, что вы—лицо служащее и не заживаетесь въ Крутогорскѣ подолгу. Васъ посылаютъ по губерніи обревизовать, изловить и вообще сдѣлать полезное дѣло.

Дорога! Сколько въ этомъ словѣ заключено для меня привлекательнаго! Особливо въ лѣтнее теплое время, если, притомъ, предстоящіе вамъ переѣзды неутомительны, если вы, не спѣша, можете расположиться на станціи, чтобы переждать полуденный зной, или же вечеромъ, чтобы побродить по окрестности,—дорога составляетъ неисчерпаемое наслажденіе. Вы, лежа, ѣдете въ вашемъ покойномъ тарантасѣ; маленькія обывательскія лошадки бѣгутъ бойко и весело, верстъ по пятнадцати въ часъ, а иногда и болѣе; ямщикъ, добродушный молодой парень, безпрестанно оборачивается къ вамъ, зная, что вы платите прогоны, а пожалуй и на водку дадите. Передъ глазами вашими разстилаются необозримыя поля, окаймляемыя лѣсомъ, которому, кажется, и конца нѣтъ. Изрѣдка попадается по дорогѣ починокъ изъ двухъ-трехъ дворовъ, или же одиноко стоящая сельская расправа, и опять поля, опять лѣсъ! Земли-то, земли-то! то-то раздолье тутъ земледѣльцу! Кажется, и жилъ бы, и умеръ тутъ, лѣнивый и безпечный, въ этой непробудной тишинѣ!

Однако, вотъ и станція; вы утомлены немного, но это—то пріятное утомленіе, которое придаетъ еще болѣе цѣны и сладости предстоящему отдыху. Въ ушахъ вашихъ еще остается впечатлѣніе звуковъ колокольчика, впечатлѣніе шума, производимаго колесами вашего экипажа. Вы выходите изъ вашего тарантаса и немного пошатываетесь. Но черезъ четверть часа вы снова бодры и веселы, вы идете бродить по деревнѣ, и передъ вами развертывается та мирная сельская идиллія, которой первообразъ такъ цѣльно и полно сохранился въ вашей душѣ. Съ горы спускается деревенское стадо; оно ужъ близко къ деревнѣ, и картина мгновенно оживляется; необыкновенная суета проявляется по всей улицѣ; бабы выбѣгаютъ изъ избъ съ прутьями въ рукахъ, преслѣдуя тощихъ, малорослыхъ коровъ; дѣвчонка

лѣтъ десяти, также съ прутикомъ, бѣжитъ вся вспыхахъ, загоняя теленка и не находя никакой возможности слѣдить за его скачками; въ воздухѣ раздаются самые разнообразные звуки, отъ мычанья до визгливаго голоса тетки Арины, громко ругающейся на всю деревню. Наконецъ, стадо загнано, деревня пустѣетъ; только кое-гдѣ по завалинкамъ сидятъ еще старики, да и тѣ позѣвываютъ и постепенно, одинъ за другимъ, исчезаютъ въ воротахъ. Вы сами отправляетесь въ горницу и садитесь за самоваръ. Но—о, чудо!—цивилизація и здѣсь преслѣдуетъ васъ! За стѣною вамъ слышатся голоса.

— Какъ тебя зовутъ?—спрашиваетъ одинъ голосъ.

— Кого?—отвѣчаетъ другой.

— Тебя.

— Меня-то?

— Ну, да, тебя.

— Зовутъ-то?

— Ахъ, чтобъ тебя...

Раздаются аплодисменты.

— Акимъ, Акимъ Сергѣевъ,—торопливо отвѣчаетъ голосъ.

Ваше любопытство заинтересовано; вы посылаете развѣдать, что происходитъ у васъ въ сосѣдяхъ, и узнаете, что еще передъ вами пріѣхалъ сюда становой для производства слѣдствія; да вотъ такъ-то день-денской и мается.

Вамъ внезапно дѣлается грустно, и вы поспѣшно велите закладывать лошадей.

И снова передъ вами дорога, снова свѣжій вѣтеръ нѣжитъ ваше лицо, снова обнимаетъ васъ тотъ прозрачный полумракъ, который на сѣверѣ замѣняетъ лѣтнія ночи. А полный мѣсяцъ кротко и мягко освѣщаетъ всю окрестность, надъ которою вьется, какъ паръ, легкій ночной туманъ.

Да, я люблю тебя, далекій, никѣмъ не тронутый край! Мнѣ милъ твой просторъ и простодушіе твоихъ обитателей! И если перо мое нерѣдко коснется такихъ струнъ твоего организма, которыя издаютъ непріятный и фальшивый звукъ, то это не отъ недостатка горячаго сочувствія къ тебѣ, а потому собственно, что эти звуки грустно и болѣзненно отдаются въ моей душѣ. Много есть путей служить общему дѣлу; но смѣю думать, что обнаруженіе зла, лжи и порока также не безполезно, тѣмъ болѣе, что предполагаетъ полное сочувствіе къ добру и истинѣ.

I.

ПРОШЛЫЯ ВРЕМЕНА.

Первый разсказъ подьячаго.

„Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ"...

«...Нѣтъ, нынче не то, что было въ прежнее время; въ прежнее время народъ какъ-то проще, любовнѣе былъ. Служилъ я, теперича, въ земскомъ судѣ засѣдателемъ, триста рублей бумажками получалъ, семействомъ угнетенъ былъ, а не хуже людей жилъ. Прежде знали, что чиновнику тоже пить-ѣсть надо, ну, и мѣсто давали такъ, чтобъ прокормиться было чѣмъ... А отчего? оттого, что простота во всемъ была, начальственное снисхожденіе было—вотъ что.

«Много было у меня въ жизни случаевъ, доложу я вамъ, случаевъ истинно любопытнѣйшихъ. Губернія наша дальняя, дворянства этого нѣтъ, ну, и жили мы тутъ какъ у Христа за пазушкой; съѣздишь, бывало, въ годъ разъ въ губернскій городъ, поклонишься чѣмъ Богъ послалъ благодѣтелямъ, и знать больше ничего не хочешь. Этого и не бывало, чтобъ подъ судъ попасть, или ревизіи тамъ какія-нибудь, какъ нынче,—все шло себѣ какъ по маслу. А вотъ вы, молодые люди, поди-ка, чай, думаете, что нынче лучше: народъ, дескать, меньше терпитъ, справедливости больше, чиновники Бога знать стали. А я вамъ доложу, что все это напрасно-съ; чиновникъ все тотъ же, только тоньше, продувнѣе сталъ... Какъ послушаю я этихъ нынѣшнихъ-то, какъ они и про экономію-то, и про благо-то общее начнутъ толковать,—инда злость подъ сердце подступаетъ.

«Брали мы, правда, что брали—кто Богу не грѣшенъ,

царю не виноватъ! да вѣдь и то сказать, лучше, что ли, денегъ-то не брать, да и дѣла не дѣлать? Какъ возьмешь, оно и работать какъ-то сподручнѣе, поощрительнѣе. А нынче, посмотрю я, все разговоромъ занимаются, и все больше насчетъ этого безкорыстія, а дѣла не видно.

«Жили мы въ тѣ поры, чиновники, всѣ промежъ себя очень дружно. Не то чтобъ зависть или чернота какая-нибудь, а всякій другъ другу совѣтъ и помощь даетъ. Проиграешь, бывало, въ картишки цѣлую ночь, все до-чиста спустишь—какъ быть? Ну, и идешь къ исправнику.—Батюшка, Демьянъ Иванычъ, такъ и такъ, помоги!—Выслушаетъ Демьянъ Иванычъ, посмѣется начальнически: «вы, молъ, такіе-сякіе, приказные, и деньгу-то сколотить не умѣете, все въ кабакъ, да въ карты! А потомъ и скажетъ: «ну, ужъ нечего дѣлать, ступай въ Шарковскую волость подать сбирать». Вотъ и поѣдешь; подати-то не соберешь, а ребятишкамъ на молочишко будетъ.

«И вѣдь какъ это все просто дѣлалось! Не то чтобъ истязаніе или вымогательство какое-нибудь, а пріѣдешь этакъ, соберешь сходъ.—Ну, молъ, ребятушки, выручайте! царю-батюшкѣ деньги надобны, давайте подали!

«А самъ идешь-себѣ въ избу да изъ окошечка посматриваешь: стоятъ ребятушки да затылки почесываютъ. А потомъ и пойдетъ у нихъ смятеніе, вдругъ всѣ заговорятъ и руками замахаютъ,—да вѣдь съ часъ времени этакъ-то прохлаждаются. А ты себѣ сидишь, натурально, въ избѣ, да посмѣиваешься, а часомъ и сотскаго къ нимъ вышлешь: «будетъ, молъ, вамъ разговаривать—баринъ сердится». Ну, тутъ пойдетъ у нихъ суматоха пуще прежняго, начнутъ жеребій кидать. Это, значитъ, дѣло идетъ на ладъ, порѣшили идти къ засѣдателю, не будетъ ли Божеская милость обождать до заработковъ.

«— Э-э-эхъ, ребятушки, да какъ же съ батюшкой-царемъ-то быть? вѣдь ему деньги надобны; вы хошь бы насъ, своихъ начальниковъ, пожалѣли!

«И все это ласковымъ словомъ, не то чтобъ по зубамъ да за волосы: я, дескать, взятокъ не беру, такъ вы у меня знай, каковъ я есть окружной!—нѣтъ, этакъ лаской да жалѣньемъ, чтобъ насквозь его, сударь, прошибло!

«—Да нельзя ли, батюшка, хоть до Покрова обождать!

«Ну, натурально, въ ноги.

«—Обождать-то для-чего не обождать, это все въ нашихъ

рукахъ, да за что-жъ я передъ начальствомъ въ отвѣтъ попаду?—судите сами.

«Пойдутъ ребята опять на сходъ, потолкуютъ-потолкуютъ, да и разойдутся по домамъ, а часика черезъ два, смотришь, сотскій и несетъ тебѣ за подожданье по гривнѣ съ души; а какъ въ волости-то душъ тысячи четыре, такъ и выйдетъ рублевъ четыреста, а гдѣ и больше... Ну, и ѣдешь домой веселѣе.

«А то вотъ у насъ еще фортель какой былъ—это обыскъ повальный. Эти дѣла мы приберегали къ лѣту, къ самой страдной порѣ. Быѣдешь это на слѣдствіе и начнешь весь окольный народъ сбивать: мало одной волости, такъ и другую прихватишь—всѣхъ тащи. Сотскіе же у насъ были народъ живой, тертый—какъ есть на всѣ руки. Сгонитъ человѣкъ триста, ну, и лежатъ они на солнышкѣ. Лежатъ день, лежатъ другой; у иного и хлѣбъ, что изъ дому взялъ, на исходѣ, а ты себѣ сидишь въ избѣ, будто взаправду занимаешься. Вотъ какъ видятъ, что время уходитъ—полевая-то работа не ждетъ,—ну, и начнутъ засылать сотскаго: «нельзя ли, дескать, явить милость, спросить, въ чемъ слѣдуетъ?» Тутъ и смекаешь: коли ребята сговорчивые, отчего-жъ имъ удовольствіе не сдѣлать; а коли больно много артачиться станутъ, ну, и еще погодятъ денекъ-другой. Главное тутъ дѣло характеръ имѣть, не скучать бездѣльемъ, не гнушаться избой да кислымъ молокомъ. Увидятъ, что человѣкъ-то дѣльный, такъ и поддадутся, да и какъ еще: прежде по гривенкѣ, можетъ, просилъ, а тутъ—шалишь!—по три пятака, дешевле не моги и думать. Покончивши это, и переспросишь ихъ всѣхъ скопомъ:

«— Каковъ, молъ, такой-то Трифонъ Сидоровъ? мошенникъ?

«— Мошенникъ, батюшка, что и говорить—мошенникъ.

«— А вѣдь онъ лошадь-то у Мокея укралъ? онъ, ребята?

«— Онъ, батюшка, онъ, должно.

«— А грамотные изъ васъ есть?

«— Нѣтъ, батюшка, какая грамота!

«Это говорятъ мужички ужъ повеселѣе: знаютъ, что, значитъ, отпускъ сейчасъ имъ будетъ.

«— Ну, ступайте съ Богомъ, да впередъ будьте умнѣе.

«И отпустишь черезъ полчаса. Оно, конечно, дѣла немного, всего на нѣсколько минутъ, да вы посудите, сколько тутъ вытерпишь; сутки двое-трое сложа руки сидишь, кис-

лый хлѣбъ жуешь... Другой бы и жизнь-то всю проклялъ—ну, ничего такимъ манеромъ и не добудетъ.

«Всему у насъ этому дѣлу учитель и заводчикъ былъ уѣздный нашъ лѣкарь. Этотъ человѣкъ былъ подлинно, доложу вамъ, необыкновенный и на всѣ дѣла преостроумнѣйшій! Министромъ ему быть настоящее мѣсто по уму; одинъ грѣхъ былъ: къ напитку имѣлъ не то что пристрастіе, а такъ—какое-то остервенѣніе. Увидитъ, бывало, графинъ съ водкой, такъ и задрожитъ весь. Конечно, и всѣ мы этого придерживались, да все же въ мѣру; сидишь себѣ да благодушествуешь, и много-много что въ подпитіи; ну, а онъ, я вамъ доложу, мѣры не зналъ, напивался даже до безобразія лица.

«— Я еще какъ ребенкомъ былъ,—говоритъ, бывало:—такъ мамка меня съ ложечки водкой поила, чтобы не ревѣлъ, а семи лѣтъ такъ ужъ и родитель по стаканчику на день отпущать сталъ.

«Такъ вотъ этакой-то пройда и наставлялъ насъ всему.

«— Мое, говоритъ, братцы, слово будетъ такое, что никакого дѣла, будь оно самой Святой Пасхи святѣе, не слѣдуетъ дѣлать даромъ: хоть гривенникъ, а слупи, руки не порти.

«И ужъ выкидывалъ же онъ колѣна—утѣшенье вспомнить! Утонулъ ли кто въ рѣкѣ, съ колокольни ли упалъ и расшибся—все это ему рука. Да и времена были тогда другія: нынче объ такихъ случаяхъ и дѣлъ заводить не велѣно, а въ тѣ поры всякое мертвое тѣло есть мертвое тѣло. И какъ бы вы думали: ну, утонулъ человѣкъ, расшибся; кажется, какая тутъ корысть, чѣмъ тутъ попользоваться? А Иванъ Петровичъ зналъ чѣмъ. Пріѣдетъ въ деревню, да и начнетъ утопленника-то пластать; натурально, понятые тутъ, и фельдшеръ тоже, собака такая, что хуже самого Ивана Петровича.

«— А ну-ка ты, Гришуха, держи-ка покойника-то за носъ, чтобъ мнѣ тутъ ловчѣе рѣзать было.

«А Гришуха (изъ понятыхъ) смерть покойника боится, на пять саженъ и подойти-то къ нему не смѣетъ.

«— Ослобони, батюшка Иванъ Петровичъ, смерть не могу, нутро измираетъ!

«Ну, и освобождаютъ, разумѣется, за посильное приношеніе. А то другого заставляетъ внутренности держать; сами разсудите, кому весело мертвечину ослизлую въ рукѣ имѣть,—ну, и откупаются цолегоньку; анъ, глядишь, и на-

колотитъ Иванъ Петровичъ рубликовъ десятокъ; а и дѣло-то все пустяковое.

«Однако, и страхъ Божій тоже имѣлъ, убійцу или душегуба не покроетъ.

«— Вы, братцы, этого грѣха и на душу не берите,—говоритъ, бывало:—за этакія дѣла и подъ судъ попасть можно. А вы мошенника-то откройте, да и себя не забывайте.

«— Да какъ же, молъ, это такъ, Иванъ Петровичъ?—спрашиваемъ мы.

«— А вотъ какъ. Убійца-то одинъ, да знакомыхъ да сватовей у него чуть не цѣлый уѣздъ; ты вотъ и поди перебирать всѣхъ этихъ знакомыхъ, да и преступника-то подмасли, чтобъ онъ побольше народу оговаривалъ: былъ, молъ, въ такомъ-то часу у такого-то крестьянина? не пошелъ ли отъ него къ такому-то? а часы выбирай тѣ, которые нужно... ну, и привлекай, и привлекай. Если уменъ, да дѣло знаешь, такъ много тутъ Божьяго народа спутать можно; а потомъ и начинай распутывать. Разумѣется, всѣ эти оговоры—вздоръ и кончаются пустяками, да ты-то дѣло свое сдѣлалъ: и мужика отъ напраслины очистилъ, и самъ сердечную благодарность получилъ, и преступника уличилъ.

«А то была у насъ и такая манера: заведешь, бывало, слѣдствіе, примѣрно хоть по конокрадству, облупишь мошенника, да и пустишь на волю. Смотришь, черезъ мѣсяцъ опять попался—опять слупишь и опять выпустишь. До тѣхъ, сударь, поръ этакъ дѣйствуешь, покуда на голубчикѣ, что называется, лягушечьяго пуха не останется. Ну, тогда ужъ шалишь, любезный, ступай въ острогъ и взаправду. Оно, вы скажете, скверно преступника покрывать, а я вамъ доложу, что не покрывать, а примѣрно, значитъ, пользоваться обстоятельствами дѣла. Вѣдь мы знаемъ, что онъ нашихъ рукъ не минуетъ, такъ отчего-жъ и не потѣшить его?

«Жилъ у насъ въ уѣздѣ купчина-милліонщикъ, фабрику имѣлъ кумачную, большія дѣла велъ. Ну, хоть что хочешь, нѣтъ намъ отъ него прибыли, да и только! такъ держитъ ухо востро, что на-поди. Развѣ только иногда чайкомъ попотчуетъ да бутылочку холодненькаго разопьетъ съ нами — вотъ и вся корысть. Думали мы, думали, какъ бы намъ этого подлеца-купчишку на дѣло натравить—не идетъ, да и все тутъ, даже зло взяло. А купецъ видитъ это, смѣяться не смѣется, а такъ равнодушествуетъ, будто не замѣчаетъ.

«Что же бы вы думали? Ѣдемъ мы однажды съ Ива-

номъ Петровичемъ на слѣдствіе: мертвое тѣло нашли неподалеку отъ фабрики. Ѣдемъ мы, это, мимо фабрики и разговариваемъ межъ себя, что вотъ, подлецъ, дескать, ни на какую штуку не лѣзетъ. Смотрю я, однако, мой Иванъ Петровичъ задумался, и какъ я въ него вѣру большую имѣлъ, такъ и думаю: выдумаетъ онъ что-нибудь, право, выдумаетъ. Ну, и выдумалъ. На другой день сидимъ мы, это, утромъ и опохмѣляемся.

«— А что, говоритъ, дашь половину, коли купецъ тебѣ тысячи двѣ отвалитъ?

«— Да что ты, Иванъ Петровичъ, въ умѣ ли? двѣ тысячи!

«— А вотъ увидишь; садись и пиши:

«Свиногорскому первой гильдіи купцу Платону Степанову Троекурову. Вѣдѣніе. По указаніямъ такихъ-то поселянъ (валяй больше), вышепоименованное мертвое тѣло, по подозрѣнію, въ насильственномъ убитіи съ таковыми же признаками безчеловѣчныхъ побоевъ, и притомъ рукою нѣкоего злодѣя, въ предшедшую предъ симъ ночь, скрылось въ фабричномъ вашемъ прудѣ. А посему благоволите въ оный для обыска допустить».

«— Да помилуй, Иванъ Петровичъ, вѣдь тѣло-то въ шалашѣ на дорогѣ лежитъ!

«— Ужъ дѣлай что говорятъ.

«Да только засвисталъ свою любимую: *При дороженькѣ стояла*; а какъ былъ чувствителенъ и не могъ эту пѣсню безъ слезъ слышать, то и прослезился немного. Послѣ я узналъ, что онъ и впрямь велѣлъ сотскимъ тѣло-то на время въ оврагъ куда-то спрятать.

«Прочиталъ борода наше вѣдѣніе, да такъ и обомлѣлъ. А между тѣмъ и мы слѣдомъ на дворъ. Встрѣчаетъ насъ, блѣдный весь.

«— Не угодно ли, молъ, чаю откушать?

«— Какой, братъ, тутъ чай!—говоритъ Иванъ Петровичъ:—тутъ нечего чаю, а ты прудъ спущать вели.

«— Помилуйте, отцы родные, за что разорять хотите?

«— Какъ разорять! видишь, слѣдствіе пріѣхали дѣлать, указъ есть.

«Слово за словомъ, купецъ видитъ, что шутки тутъ плохія, хоть и впрямь прудъ спущай; заплатилъ три тысячи,— ну, и дѣло покончили. Послѣ мы по пруду-то маленько поѣздили, крючьями въ водѣ потыкали, и тѣла, разумѣется, никакого не нашли. Только, я вамъ скажу, на угощеньи, когда ужъ были мы всѣ выпивши, и разскажи Иванъ Пе-

тровичъ кунцу, какъ все дѣло было; вѣрите ли, такъ обозлилась борода, что даже закоченѣлъ весь!

«Чудовый этотъ былъ человѣкъ, нечего и говорить. За что ни возьмется, все у него такъ выходитъ, что любо-дорого смотрѣть. Кажется, пустая вещь оспопрививанье, а онъ и тутъ сумѣлъ найтись. Пріѣдетъ, бывало, въ расправу и разложитъ всѣ эти аппараты: токарный станокъ, пилы разныя, подпилки, сверла, наковальни, ножи такіе страшнѣйшіе, что хоть быка ими рѣзать; какъ соберутъ на другой день бабъ съ ребятами—и пошла вся эта фабрика въ дѣйствіе: ножи точатъ, станокъ гремитъ, ребята ревутъ, бабы стонутъ, хоть святыхъ вонъ повыноси. А онъ себѣ важно этакъ похаживаетъ, трубочку покуриваетъ, къ рюмочкѣ прикладывается, да на фельдшеровъ покрикиваетъ: «точи, дескать, вострѣе». Смотрятъ глупыя бабы, да пуще воютъ.

«— Смотри, тетка, вѣдь совсѣмъ ребенка-то изведетъ ножищемъ-то. Да и самъ-отъ вишь пьяный какой.

«Повоютъ-повоютъ, да и начнутъ шептаться; а черезъ полчаса, смотришь, и выйдетъ всѣмъ одно рѣшенье: дастъ кто цѣлковый—ступай домой, а не дастъ, такъ всю руку на-прочь.

«И вѣдь не то чтобъ эти дѣла до начальства не доходили: доходили, сударь, и изловить-то старались, да не на того напали—такія штуки отмачивалъ подъ носомъ у самого начальства, что только помираешь со смѣху. Былъ у насъ это рекрутскій наборъ объявленъ: ну, и Иванъ Петровичъ, само собою, живѣйшее тутъ участіе принималъ. Такіе случаи, доложу вамъ, самые были для него выгодные, и онъ, смѣючись, наборъ своимъ сѣнокосомъ звалъ. На ту пору былъ начальникомъ губерніи такой звѣрь, что у!!! (И въ старину такіе скареды прорывались). Вотъ и вздумалъ онъ поймать Ивана Петровича, и научи же онъ мѣщанинишку: «поди, молъ, ты къ лѣкарю, объясни, что вотъ, такъ и такъ, состою на рекрутской очереди, не по сущей справедливости, семейство большое: не будетъ ли отеческой милости?» И прилагательнымъ снабдили, да такимъ, знаете, все полуимперьялами, такъ, чтобъ у лѣкаря нутро разгорѣлось, а за оградой и свидѣтели; и все какъ слѣдуетъ устроено: погибъ Иванъ Петровичъ, да и все тутъ. Только узналъ онъ объ этой напасти загодя, отъ нѣкотораго милостивца, и сидитъ себѣ, какъ ни въ чемъ не бывало. Ну, и подлинно приходитъ, это, мѣщанинишка, излагаетъ все обстоятельство

и прилагательное на столъ кладетъ. Какъ онъ все это разсказалъ, какъ взбеленится мой Иванъ Петровичъ, да на него:

«— Ка-а-къ! ты подкупать меня! да развѣ я фальшивую присягу-то принялъ! душѣ, что ли, я своей ворогъ, царствія небеснаго не хочу!

«Да какъ хватитъ кулакомъ по столу—золотушки-то и покатились по полу, а самъ еще пуще кричитъ:

«— Вонъ съ моихъ глазъ, анаѳема! гони его, вотъ такъ, въ шею его, кулаками-то въ загорбокъ!

«Мѣщанинишку выгнали, да на другой день, не смотря, и забрили въ присутствіи. А имперьяльчики-то съ полу подняли! Ужъ что смѣху у насъ было!

«Женился онъ самымъ, то-есть, курьезнѣйшимъ образомъ. Обѣщалъ ему тесть пять тысячъ, а какъ дѣло кончилось—не даетъ, да и шабашъ. И не то чтобъ денегъ у него не было, а такъ, сквалыга былъ, разстаться съ ними жаль. Ждетъ Иванъ Петровичъ мѣсяцъ, ждетъ другой; кажный-то день жену бьетъ, а тестя непристойно обзываетъ—не беретъ. А деньги получать надо. Вотъ и слышимъ мы какъ-то: боленъ Иванъ Петровичъ, въ бѣлой горячкѣ лежитъ, на всѣхъ это кидается, попадись подъ руку ножикъ—кажется, и зарѣжетъ совсѣмъ. И такъ, сударь, искусно онъ всю эту комедію поддѣлалъ, что и насъ всѣхъ жалость взяла. Жену билъ пуще прежняго, изъ окошка, сударь, прыгалъ, по улицамъ въ развращенномъ видѣ бѣгалъ. Вотъ, покуролесивши этакъ съ недѣлю, выходитъ онъ однажды ночью, и прямо въ домъ къ тестю а въ рукахъ у него по пистолету.

«— Ну, говоритъ, подавай теперь деньги, а не то, видитъ Богъ, пришибу.

«Старикъ перепугался.

«— Ты, говоритъ, думаешь, что я и впрямь съ ума спятилъ, такъ нѣтъ же, все это была штука. Подавай, говорю, деньги, или прощайся съ жизнью; меня, говоритъ, на покаянье пошлютъ, потому что я не въ своемъ умѣ—свидѣтели есть, что не въ своемъ умѣ,—а ты въ могилкѣ лежать будешь.

«Ну, конечно-съ, тутъ разговаривать нечего: хоть и ругнулъ его тесть, можетъ и чести коснулся, а деньги все-таки отдалъ. На другой же день Иванъ Петровичъ какъ ни въ чемъ не бывало. И долго отъ насъ таился, да ужъ послѣ, за пуншикомъ, всю исторію разсказалъ, какъ она *была*!

«И не себя одного, а и насъ, грѣшныхъ, неоднократно выручалъ Иванъ Петровичъ изъ бѣды. Пріѣзжала однажды, къ намъ въ уѣздъ особа, не то чтобъ до ревизіи, а такъ—поглядѣть.

«Однако, пошли тутъ просьбы да кляузы разныя, какъ водится, и все больше на одного засѣдателя. Особа была добрая, однако разсвирѣпѣла. «Подать, говоритъ, мнѣ этого засѣдателя!»

«А онъ, по счастью, былъ на ту пору въ уѣздѣ, на слѣдствіи, какъ разъ съ Иваномъ Петровичемъ. Вотъ и дали мы имъ знать, что будутъ завтра у нихъ ихъ сіятельство, такъ имѣли бы это въ предметѣ, потому что вотъ такъ и такъ, такія-то, молъ, ихъ сіятельство рѣчи держатъ. Струсилъ нашъ засѣдатель, сконфузился такъ, что и желудкомъ слабѣть началъ.

«— А что, — говоритъ Иванъ Петровичъ:—что дашь? Выручу изъ бѣды.

«— Да жизни не пожалѣю, Иванъ Петровичъ, будь благодѣтель.

«— Что мнѣ, братъ, въ твоей жизни! ты говори дѣло. Выручать, такъ выручать, а не то выпутывайся самъ какъ знаешь.

«Сторговались они, а на другой день и пріѣзжаютъ ихъ сіятельство ранёхонько. Ну, и мы, то-есть весь земскій судъ, натурально, тутъ, всѣ въ мундирахъ; одного засѣдателя нѣтъ, котораго нужно.

«— А гдѣ засѣдатель Томилкинъ?—спрашиваютъ ихъ сіятельство.

«— Имѣю честь явиться,—отвѣчаетъ Иванъ Петровичъ.

«Мы такъ и похолодѣли.

«А ихъ сіятельство и не замѣчаютъ, что мундиръ-то совсѣмъ не тотъ (даже мундира не перемѣнилъ, такъ натуру-то зналъ): зрѣніе, должно полагать, слабое имѣли.

«— На васъ, — говоритъ ихъ сіятельство:—множество жалобъ, и притомъ такихъ, что мало васъ за всѣ эти дѣла повѣсить.

«— Невинно, видитъ Богъ, невинно оклеветали меня враги передъ вашимъ сіятельствомъ; осмѣлюсь униженно просить выслушать меня, и надѣюсь вполнѣ оправдаться, но при свидѣтеляхъ ощущаю робость.

«Ихъ сіятельство уважили; пошли они это въ другую комнату; цѣлый часъ онъ тамъ объяснялъ, что и какъ— никому неизвѣстно, только вышли ихъ сіятельство изъ

комнаты очень ласковы, даже приглашали Ивана Петровича къ себѣ, въ Петербургъ, служить, да отказался онъ тѣмъ, что скроменъ и столичнаго образованія не имѣетъ.

«А вѣдь и дѣлъ-то онъ тѣхъ въ совершенствѣ не зналъ, о которыхъ его сіятельству докладывалъ, да на остроуміе свое понадѣялся, и не напрасно.

«Одинъ былъ грѣхъ на его душѣ, великій грѣхъ—инородца загубилъ. Вотъ это какъ было. Уѣздъ нашъ, извѣстно вамъ, господа, лѣсной, и все больше живутъ въ немъ инородцы. Народъ простодушнѣйшій и зажиточный. Только ужъ очень неопрятно себя держатъ, и болѣзни, это, у нихъ иностранныя развелись такъ, что изъ рода въ родъ переходятъ. Убьютъ они это зайца, шкуру съ него сдерутъ, да такъ, не потроша, и кидаютъ въ котелъ варить, а котелъ-то не чищенъ, какъ сдѣланъ: одно слово, смрадъ нестерпимый, а они, ничего, ѣдятъ все это мѣсиво съ аппетитомъ. Съ одной стороны, и не стоитъ этакой народъ, чтобъ на него вниманіе обращать: и глупъ-то, и необразованъ, и нечистъ—такъ, истуканъ какой-то. Вотъ ходилъ одинъ инородецъ бѣлку стрѣлять, да и угоразди его какимъ-то манеромъ невзначай плечо себѣ прострѣлить. Хорошо. Само собой слѣдствіе; ну, невзначай, такъ невзначай, и судъ уѣздный рѣшилъ дѣло такъ, что предать, молъ, это обстоятельство волѣ Божьей, а мужика отдать на излѣченіе уѣздному лѣкарю. Получилъ Иванъ Петровичъ указъ изъ суда—скучно ѣхать, даль ужасная!—однако вспомнилъ, что мужикъ зажиточный, недѣли съ три пообождалъ, да какъ случилось въ той сторонѣ по службѣ быть, и къ нему заодно заѣхалъ. А у того, между тѣмъ, и плечо-то совсѣмъ зажило. Пріѣхалъ, теперича, прочиталъ указъ.

«— Раздѣвайся, говоритъ.

«— Да у меня, бачка, плечомъ совсѣмъ здоровъ,—говоритъ мужикъ:—ужъ пятымъ недѣлемъ здоровъ.

«— А это видишь? видишь, идолопоклонникъ ты этакой, указъ, видишь, лѣчить тебя велѣно?

«Дѣлать нечего, раздѣлся мужикъ, а онъ ему и ну по живому-то мѣсту ковырять. Реветъ дуракъ благимъ матомъ, а онъ только смѣется да бумагу показываетъ. Тогда только кончилъ, когда тотъ три золотыхъ ему далъ.

«— Ну, говоритъ, Богъ съ тобой.

«Понадобились Ивану Петровичу опять деньги — онъ опять къ инородцу лѣчить, да такимъ манеромъ больше

году его томилъ, покуда всѣхъ денегъ не высосалъ. Исхудалъ мужичонка, не ѣстъ, не пьетъ—бредитъ лѣкаремъ. Однако, какъ замѣтилъ, что тутъ взятки-то гладки, пересталъ ѣздить. Отдохнулъ мужикъ и смотрѣть веселѣе сталъ. Вотъ однажды и случилось какому-то чиновнику, совсѣмъ постороннему, проѣзжать мимо этой деревни, и спроси онъ у поселянъ, какъ, молъ, живетъ такой-то (его многіе чиновники, по хлѣбосольству, знавали). Вотъ и говорятъ мужику, что тебя, молъ, какой-то чиновникъ спрашивалъ. Что-жъ, сударь, представься ему, что это опять лѣкарь лѣчить его хочетъ; пошелъ домой, ничего никому не сказалъ, да за ночь и удавился.

«Ну, это, я вамъ доложу, точно грѣхъ живую душу такимъ родомъ губить. А по прочему по всему чудовый былъ человѣкъ и прегостепріимный; послѣ, какъ умеръ, нечѣмъ похоронить было — все, что ни нажилъ, все прогулялъ! Жена до сихъ поръ по-міру ходитъ, а дочки—ужъ Богъ ихъ знаетъ!—кажись, по ярмонкамъ ѣздятъ: изъ себя очень красивы.

«Такъ вотъ-съ какіе люди бывали въ наше время, господа; это не то что грубые взяточники или съ большой дороги грабители: нѣтъ, все народъ-аматёръ былъ. Намъ и денегъ, бывало, не надобно, коли сами въ карманъ лѣзутъ; нѣтъ, ты подумай да прожектъ составь, а потомъ и пользуйся.

«А нынче что! нынче, пожалуй, говорятъ, и съ откупщика не бери. А я вамъ доложу, что это одно только вольнодумство. Это все единственно, что деньги на дорогѣ найти да не воспользоваться... Господи!»

— Какъ же вы-то попались, Прокофій Николаевичъ, если въ ваше время все такъ счастливо сходило?

— Охъ, ужъ и не говорите! на такомъ дѣлѣ попался, что совѣстно сказать—на мертвомъ тѣлѣ. Эта у насъ музыка-то по нотамъ разыгрывалась, а меня на ней-то и попуталъ лукавый. Дѣло было зимнее; мертвое-то тѣло надо было оттаять; вотъ и повезли мы его въ что ни-на-есть большую деревню,—ну, и начали, какъ водится, по домамъ возить да отсталого собирать. Возили-возили, покуда осталась одна только изба: солдатка-вдова тамъ жила; той и заплатить-то нечего было,—ну, тамъ мы и оставили тѣло. Собрали на другой день понятыхъ,—ну, и тутъ, разумѣется, покорыстоваться желалось: такъ чтобъ не разошлись они

по домамъ, мы и отобрали у нихъ шапки, да въ избу и заперли. Только не совсѣмъ осторожно это дѣло состроили; больно многіе это запримѣтили. А на ту пору у насъ губернаторъ такая ли собака былъ, и теперь еще его помню, чтобъ ему пусто было. Сейчасъ это отрѣшили отъ должности, и пошла писать. Уличить-то меня доподлинно не уличили, а обпакостили всего да суду предали. И вѣрите ли, вѣдь знаю я, что меня *учинятъ отъ дѣла свободнымъ*, потому что уликъ прямыхъ нѣтъ, такъ нѣтъ же, злодѣи, истомили всего. Лѣтъ десять все волочатъ: то справки забираютъ, то слѣдствіе дополняютъ. А я вотъ сиди безъ хлѣба да жди у моря погоды.

Второй разсказъ подьячаго.

«А вотъ городничій у насъ былъ—этотъ другого сорта былъ мужчина, и подлинно гусь лапчатый назваться можетъ. Прозывался онъ Фейеромъ, родомъ былъ изъ нѣмцевъ; изъ себя не то чтобъ видный, а больше жилистый, бѣлокурый и суровый. То и дѣло, бывало, брови нахупливаетъ да усами шевелитъ, а разговариваетъ совсѣмъ мало. Ужъ это, я вамъ доложу, самое послѣднее дѣло, коли человѣкъ бѣлокурый да суровъ еще: отъ такого ни въ чемъ пардону себѣ не жди. Снаружи-то онъ будто и не злобствуетъ, да и внутри, можетъ, нѣтъ у него на тебя негодованія, однако хуже этого человѣка на всемъ свѣтѣ не сыщешь: весь какъ есть злющій. Ужъ что забралъ себѣ въ голову—не выбьешь оттоль никакими средствами, хоть рѣжь ты его на куски. Ужъ на что Иванъ Петровичъ, а и тотъ его побаивался. Говорилъ онъ басомъ, какъ будто спросонья и все такъ кратко—одно, два слова, больше изо рта не выпуститъ. А на дѣла и на всю эту полицейскую механику былъ предошлый: готовъ ни ѣсть, ни пить цѣлыя сутки, пока всего дѣла не придѣлаетъ. Начальство наше все къ нему приверженность большую имѣло, потому какъ собственно онъ изъ воли не выходилъ и все исполнялъ до точности: иди, говоритъ, въ грязь—онъ и въ грязь идетъ, въ невозможности возможность найдетъ, изъ песку веревку совьетъ, да ею же кого слѣдуетъ и удавитъ.

«По той единственной причинѣ ему всѣ его противоестественности съ рукъ и сходили, что человѣкъ онъ былъ золотой. Напишутъ это изъ *губерніи*—рыбу непремѣнно къ именинамъ надо, да такая чтобъ была рыба—китъ не

нитъ, а около того. Мечется Фейеръ, какъ угорѣлый, мечется и день, и другой—есть рыба, да все не такая, какъ надо: то съ рыла вся въ именинника вышла; скажутъ: личность; то молокъ мало, то перомъ не выходитъ, величественности настоящей не имѣетъ. А у насъ въ губерніи любятъ, чтобъ каждая вещь въ своемъ, то-есть, видѣ была. Задумается Фейеръ, да и засадитъ всѣхъ рыболововъ въ сибирку. Тѣ чуть не плачутъ.

«— Да помилуй, ваше благородіе, гдѣ-жъ возьмемъ эку рыбу?

«— Гдѣ? А въ водѣ?

«— Въ водѣ-то, знамо дѣло, что въ водѣ; да гдѣ ее искать-то въ водѣ?

«— Ты рыболовъ? говори, рыболовъ ли ты?

«— Рыболовъ-то я точно что рыболовъ...

«— А начальство знаешь?

«— Какъ не знать начальства: завсегда знаемъ.

«— Ну, слѣдственно...

«И являлась рыба, и такая именно, какъ быть слѣдуетъ во всѣхъ статьяхъ.

«Или, бывало, желательно губерніи передъ начальствомъ отличиться. Пишутъ Фейеру изъ губерніи: былъ чтобъ бродяга, и такой бродяга, чтобы въ носъ бросилось. Вотъ и начнетъ Фейеръ по городу рыскать, и все нюхаетъ, къ огонькамъ присматривается, нѣтъ ли гдѣ сборища.

«Попадаются все больше бабы.

«— Откуда?—спрашиваетъ Фейеръ.

«— Да я, ваше благородіе, оттуда, изъ села изъ того...

«— Откуда?—повторяетъ Фейеръ.

«— А вотъ, ваше благородіе, по сиротству: по четвертому годку отъ родителей осталась...

«— Обыскать ее!

«Однако, отъ начальства настояніе, а объ старухѣ какой-нибудь безногой докладывать не осмѣливается. Вотъ и нападетъ уже онъ, подъ конецъ, на странника заблудшаго, такъ, бродягу безталаннаго.

«— Ты, говоритъ, кто таковъ?

«— А я, ваше благородіе, съ малолѣтства по своей охотѣ суету мірскую оставилъ и странникомъ нарекаюсь; отецъ у меня Царь Небесный, мать—сыра земля; скитался я во лѣсахъ дремучіихъ со звѣрьми дикіими, въ пустыняхъ жилъ со львами лютыими; слѣпъ былъ и прозрѣлъ, нѣмъ—и возглаголалъ. А болѣе ничего вашему благородію объяс-

нить за [illegible]гу, не той причинѣ, что самъ объ себѣ свѣдѣній никакихъ не имѣю.

«— А это что?

«Возьметъ онъ сумку странническую, а тамъ все цвѣтнички да записочки разныя, а въ записочкахъ-то ужъ чего-чего не написано! И «горняго-то Іерусалима жителю», и «райскаго житія ревнителю», и «наче звѣздъ небесныхъ добродѣтелями изукрашенному!»

«— Это что?—спрашиваетъ Фейеръ.

«— А это такъ-съ, ваше благородіе; намеднись на базарѣ ходилъ, такъ въ снѣгу въ тряпочкѣ нашелъ-съ.

«— Маршъ!

«Повлекутъ раба Божія въ острогъ, а на другой день и идетъ въ губернію пространное донесеніе, что вотъ такъ и такъ, «имѣя неусыпное попеченіе о благоустройствѣ города»—и пошла писать. И чего ни напишетъ! И «изувѣрство», и «дѣятельныя сношенія съ единомышленниками», и «плевелы», и «жатва»—все тутъ есть.

«Случилось и мнѣ ему въ этихъ дѣлахъ содѣйствовать—истинно-съ диву дался. Выберемъ, знаете, время—сумеречки, понятыхъ возьмемъ, сотскихъ человѣкъ пятокъ, да и пойдемъ съ обыскомъ. И всѣ вразсыпную, будто каждый по своему дѣлу. Какъ подходишь, гдѣ всему происшествію быть слѣдуетъ, такъ не то чтобъ прямо, а бочкомъ да ползкомъ пробираешься, и сердце-то у тебя словно упадетъ, и въ роту сушить станетъ. Ворота и ставни—все наглухо заперто. Походитъ Фейеръ около дома, пріищетъ скважинку и начнетъ высматривать, а мы всѣ стоимъ, молчимъ, не шелохнемся. Собака начнетъ ворчать—у него и хлѣбца въ рукѣ есть, и опять все затихнетъ. Какъ все заприметитъ, что ему нужно, ну и велитъ въ ворота стучаться, а самъ покуда все въ скважину высматриваетъ.

«— Кто тутъ?—кричатъ изнутри.

«— Городничій.

«Извѣстное дѣло, смятеніе: начнутъ весь свой припасъ прятать, а ему все и видно. Отопрутъ, наконецъ. Стоятъ они всѣ блѣдные; бабы, которыя помоложе, тѣ больше дрожатъ, а старухи такъ совсѣмъ воютъ. И ужъ всѣ-то онъ углы у нихъ обшаритъ, даже въ печкахъ полюбопытствуетъ, и все оттоль повытаскаетъ.

«Смолоду, однако, жизнь его совсѣмъ не такая была. Отецъ у него былъ человѣкъ богатый и дворянинъ, и нашему Фейеру, сказываютъ, восемьсотъ душъ оставилъ.

Однако, онъ не долго съ ними носился: годика черезъ два всѣ спустилъ. И не то чтобъ на что-нибудь путное, а такъ—все прахомъ пошло. Служилъ онъ гдѣ-то въ гусарахъ—ну, на жидовъ охоту имѣлъ: то возьметъ да собаками жида затравитъ; то посадитъ его по горло въ ящикъ съ помоями, да надъ головой-то саблей и махаетъ; а не то еще заложитъ ихъ тройкой въ бричку, да и разъѣзжаетъ до тѣхъ поръ, пока всю тройку не загонитъ. Такимъ-то родомъ и прожилъ онъ все, да какъ остался безъ хлѣба, такъ откуда и умъ взялся. Такой ли звѣрь сдѣлался, что Боже упаси.

«Женатъ онъ не былъ, а жила съ нимъ дѣвица не дѣвица, а просто мадамъ. Звали ее Каролиной, и ужъ, я вамъ доложу, этакой красоты я и не привидывалъ. Не то чтобъ полная была или краснощекая, какъ наши барыни, а тонкая да бѣленькая вся, словно будто прозрачная. Глаза у ней были голубые, да такіе мягкіе да ласковые, что, кажется, звѣрь лютый—и тотъ бы не выдержалъ—укротился. И подлинно, грѣхъ сказать, чтобъ онъ ее не любилъ, а больше такъ все объ ней одной и въ мысляхъ держалъ. Извѣстно, могла бы она и попридерживать его при случаѣ, да ужъ очень смирна была; ну, а онъ тоже осторожность имѣлъ, во всѣ эти дрязги ее не вмѣшивалъ. Пріѣдетъ, бывало, домой весь измученный и пойдетъ къ ней. И сдѣлается такой, сударь, ласковый да нѣжный:—«Каролинхенъ да Каролинхенъ», и все это ей ручки цѣлуетъ и головку гладитъ. Или возьметъ, начнетъ нѣмецкія пѣсни пѣть—оба и плачутъ сидятъ. Выходитъ, у всякаго человѣка есть пунктъ, что съ своей дороги его сбиваетъ.

«Присланъ былъ къ намъ Фейеръ изъ другого города за отличіе, потому что нашъ городъ торговый и на рѣкѣ судоходной стоитъ. Передъ нимъ былъ городничій старикъ, и такой слабый да добрый. Осѣдлали его здѣшніе граждане. Вотъ пріѣхалъ Фейеръ на городничество и сзываетъ всѣхъ заводчиковъ (а у насъ ихъ не мало, до пятидесяти штукъ въ городѣ-то).

«— Вы, молъ, такъ и такъ, платили старику по десяти рублевъ, ну, а мнѣ, говоритъ, этого мало: я, говоритъ, на десять рублевъ наплевать хотѣлъ, а надобно мнѣ три бѣленькихъ съ каждаго хозяина.

«Такъ куда тебѣ, и слушать не хотятъ.

«— Видали мы-ста экихъ щелконеровъ...

«Онъ-было вспыхнулъ.

«— Ну, говоритъ, такъ не хотите по три бѣленькихъ?

«— Пять рубликовъ, кричатъ, ни копейки больше.

«— Ладно, говоритъ.

«Черезъ недѣлю, глядь, что ни-на-есть къ первому кожевенному заводчику съ обыскомъ: «кожи-то, молъ, у тебя краденыя». Краденыя не краденыя, однако, откуда взялись, и у кого купилъ, заводчикъ объясниться не могъ.

«— Ну, говоритъ, не давалъ трехъ бѣленькихъ, давай пятьсотъ.

«Тотъ-было ужъ и въ ноги, нельзя ли поменьше, такъ куда тебѣ, и слушать не хочетъ.

«Отпустилъ его домой, да не одного, а съ сотскимъ. Принесъ заводчикъ деньги, да все думаетъ, не будетъ ли милости, не согласится ли на двѣсти рублевъ. Сосчиталъ Фейеръ деньги и положилъ ихъ въ карманъ.

«— Ну, говоритъ, принеси остальныя триста.

«Опять кланяться сталъ купецъ, да нѣтъ, одеревянѣлъ человѣкъ какъ одеревянѣлъ, твердитъ одно и то же. Попробовалъ, еще сотню принесъ: и ту въ карманъ положилъ, и опять:

«— Остальныя двѣсти!

«И не выпустилъ-таки изъ сибирки, доколѣ всѣ сполна не заплатилъ.

«Видятъ парни, что дѣло дрянь выходитъ: и каменьями-то ему въ окно кидали, и ворота дегтемъ по ночамъ обмазывали, и собакъ цѣпныхъ отравливали — нейметъ ничего! Раскаялись. Пришли съ повинной, принесли по три бѣленькихъ, да не на того напали.

«— Нѣтъ, говоритъ, не дали, какъ самъ просилъ, такъ не надо мнѣ ничего коли такъ.

«Такъ и не взялъ: смекнулъ, видно, что по разнотѣ-то складнѣе, нежели скопомъ.

«Какъ сейчасъ помню я, пріѣхалъ къ намъ въ городъ сынокъ купеческій къ роднымъ погостить. Ну, все это ему ни по чемъ: цыгары, теперича, не цыгары, лошади не лошади, пальто не пальто—кути душа! Соберетъ это женскій полъ, напитъ въ комнатѣ, да и дебоширствуетъ. Не по нутру это Фейеру, потому что насчетъ чего другого, а насчетъ нравственности левъ былъ!—однако, терпитъ-сидитъ. Видитъ купчикъ, что ничего, все ему поблажаетъ, онъ и тонъ задавать началъ. Стали доходить до городничаго слухи, что онъ и тамъ, и въ другомъ мѣстѣ чести его касался. «Я, молъ, говоритъ, и любовницу-то его куплю, какъ

захочу; слышь вы, дѣвки, желательно вамъ, чтобъ городничій танціи разныя представлялъ? Это намъ все наплевать; пошлемъ двѣ сотни и сдѣлаемъ себѣ удовольствіе!»

«Молчитъ Фейеръ, только усами, какъ тараканъ, шевелитъ, словно обнюхиваетъ, чѣмъ пахнетъ. Вотъ и приходитъ какъ-то купчикъ въ гостиный дворъ въ лавку, а въ зубахъ у него цыгарка. Вошелъ онъ въ лавку, а городничій въ другую рядомъ: слѣдилъ ужъ онъ за нимъ шибко, ну, и свидѣтели на всякій случай тутъ же. Перебираетъ молодецъ товары, и все не выбираетъ, все не по немъ, скверно да непотребно, да и все тутъ; и рисунокъ не тотъ, и доброта скверная, да ужъ и что это за городъ такой, что, чай, и ситцу порядочнаго найтить нельзя.

«Ну, купецъ ему и то, и сё, разные резоны говоритъ.

«— Ты, говоритъ, молодецъ, не буянь, да цыгарку-то кинь,—не то, чего добраго, городничій увидитъ.

«— А плевать я, говоритъ, на вашего городничаго...

«Въ эвто въ самое время какъ быть къ вечернѣ ударили.

«— Ты бы, говоритъ лавочникъ, хоть Бога-то побоялся бы, да лобъ-отъ перекрестилъ: слышь, къ вечернямъ звонятъ...

«А онъ, замѣсто отвѣта, такое, сударь, тутъ загнулъ, что и хмельному не выговорить.

«Оборачивается, а Фейеръ тутъ какъ тутъ, словно изъ земли выросъ.

«— Не угодно ли, говоритъ, вамъ повторить то, что вы сейчасъ сказали?

«— Я... я ничего не говорилъ, ей-Богу, не говорилъ...

«— Православные! слышали?

«— Слышали, ваше высокоблагородіе.

«— Маршъ!

«На другой день разсказываетъ намъ городничій всю эту исторію.

«— Поздравьте, говоритъ, меня съ крестникомъ.—Что бы вы думали: двѣ тысячи взялъ, да изъ городу черезъ два часа велѣлъ выѣхать: «чтобъ и духу, молъ, твоего здѣсь не пахло».

«Да и мало ли еще случаевъ было! Даже покойниками, доложу вамъ, не брезговалъ! Пронюхалъ онъ разъ, что умерла у насъ старуха-раскольница, и что сестра ея сбирается похоронить покойницу тутъ же у себя, подъ домомъ. Что-жъ онъ?—ни гу-гу, сударь; далъ всю эту церемонію исполнить, да на другой день къ ней съ обыскомъ.

Ну, конечно, откупилась, да штука-то въ томъ, что каждый разъ, какъ ему деньги занадобятся, каждый разъ онъ къ ней съ обыскомъ: «куда, говоритъ, сестру дѣвала?» Замучилъ старуху совсѣмъ, такъ что когда она умирать стала, и то онъ говоритъ ей: «жаль, Домна Ивановна, что умираешь, а теперь бы деньги надобны! Да куда же ты, старая, сестру-то дѣвала?»

«А то еще вотъ какой случай былъ. Умеръ у насъ въ городѣ купецъ, и купецъ, знаете, не изъ мелконькихъ. Служилъ онъ какъ-то въ городѣ, головой ли, бургомистромъ ли, подлинно теперь не упомню, только мундирчика по закону не выслужилъ. Ну, родственники, сами изволите вѣдать, народъ безобразнѣйшій, въ законѣ не искусились, гдѣ же имъ знать, что въ правилѣ и что не въ правилѣ! Вотъ, сударь мой, и рѣшили они семейнымъ совѣтомъ похоронить покойника во всемъ паратѣ. Пронюхалъ сначала всю эту штуку стряпчій. Человѣкъ этотъ былъ паче пса голоднаго и Фейеромъ употреблялся больше затѣмъ, что, молъ, ты только задери, а я тамъ обдѣлаю дѣло на свой манеръ. Приходитъ онъ къ городничему и разсказываетъ, что вотъ такъ и такъ: «желаетъ, дескать, борода въ землю въ мундирѣ лечь, по закону же не имѣетъ на то ни малѣйшаго права; такъ не угодно ли вамъ будетъ, Густавъ Карлычъ, принять это обстоятельство въ соображеніе?»

«— Можно, говоритъ, валяй отношеніе.

«А купчину, тѣмъ временемъ, и въ церковь ужъ вынесли... Ну-съ, и взяли они тутъ сколько было желательно, а купца такъ въ паратѣ и схоронили...

«А впрочемъ, мы, чиновники, этого Фейера не любили. Первое дѣло, онъ насъ передъ начальствомъ исполнительностью въ сумнѣнье приводилъ, а второе, у него все это какъ-то ужъ больно просто выходило,—такъ, ломитъ нахрапомъ, съ плеча, да и все. Что-жъ и за удовольствіе этакъ-то служить!

«Однако, въ городѣ эти купчишки да мѣщанинишки лѣтъ десять съ нимъ маялись-маялись и, вѣрите ли, полюбили подъ конецъ. Намъ, говорятъ, лучше городничаго и желать не надо. Привычка-съ».

Непріятное посѣщеніе.

„Вы послушайте, ребята,
Какъ живали при Аскольдѣ!“
(Изъ оперы „Аскольдова могила“).

Темно. По улицамъ уѣзднаго городка Черноборска, несмотря на густую и клейкую грязь, безпрестанно снуютъ экипажи самыхъ странныхъ видовъ и свойствъ. Городничій уже разъ десять, въ теченіе трехъ часовъ, успѣлъ побывать у подъѣзда ярко освѣщеннаго каменнаго дома, чтобы освѣдомиться о здоровьѣ генерала. Отвѣтъ былъ, однакожъ, всякій разъ одинъ и тотъ же: «его высокородіе изволятъ еще почивать».

— Такъ вы ужъ, пожалуйста, имъ напомните, какъ они встанутъ, — говорилъ городничій Ѳедору, камердинеру его высокородія.

— Ужъ это безпремѣнно-съ,—отвѣтствовалъ Ѳедоръ:— они завсегда у насъ въ послушаньи...

— Такъ я ужъ буду въ надеждѣ-съ...

Городничій, Дмитрій Борисычъ Желваковъ, добрый, крѣпенькій и кругленькій, но до крайности робкій старичокъ. Провинностей за нимъ особенныхъ не водилось, кромѣ того, что за столъ онъ садился всякій день самъ-двадцать, по случаю непомѣрнаго количества дочекъ, племянницъ и другихъ сиротъ-родственницъ. За обѣдомъ всегда было весело, а послѣ обѣда вся семья отправлялась, на длинныхъ дрогахъ, кататься по городу. Это бы еще ничего; Дмитрій Борисычъ очень хорошо зналъ, что начальство не только разрѣшаетъ, но даже поощряетъ невинныя занятія, и потому не мѣшалъ предаваться имъ малолѣтнимъ членамъ своего семейства. Но на бѣду вмѣшались тутъ пожарныя лошади. Сами ли эти невинныя твари получили на время даръ слова, или осунувшіяся ихъ ребра краснорѣчивѣе языка докладывали о труженическомъ существованіи, которое влачили владѣльцы ихъ, — неизвѣстно. Извѣстно только, что его высокородіе какимъ-то образомъ объ этомъ обстоятельствѣ провѣдалъ. Обозрѣвая опрятность въ городѣ, его высокородіе счелъ долгомъ заѣхать и на пожарный дворъ.

— Это что?—спросилъ онъ, тыкая пальцемъ въ воздухѣ, когда вывели лошадей.

Дмитрій Борисычъ растерялся и озирался во всѣ стороны, не сообразивъ вдругъ вопроса.

— Это что?—повторилъ его высокородіе.

— Это... лошади-съ! — отвѣчалъ смущенный городничій.

— То-то «лошади»!—произнесъ его высокородіе и, сдѣлавши олимпическій жестъ пальцемъ, сѣлъ въ экипажъ.

Я всегда удивлялся, сколько краснорѣчія нерѣдко заключаетъ въ себѣ одинъ палецъ истиннаго администратора. Городничіе и исправники извѣдали на практикѣ всю глубину этой тайны; что же касается до меня, то до тѣхъ поръ, покуда я не сдѣлался литераторомъ, я ни о чемъ не думалъ съ такимъ наслажденіемъ, какъ о возможности сдѣлаться, посредствомъ какого-нибудь чародѣйства, указательнымъ пальцемъ губернатора или хоть его правителя канцеляріи.

Его высокородіе былъ, въ сущности, очень добрый господинъ. Тѣлосложенія онъ былъ хлипкаго, имѣлъ румяныя щеки и густые сѣдые волосы. Это послѣднее обстоятельство, по моему мнѣнію, однакожъ, сильно противорѣчило добродушному выраженію лица Алексѣя Дмитрича (такъ звали его высокородіе). Неизвѣстно почему, я съ самаго малолѣтства не могу себѣ вообразить добродѣтель иначе, какъ въ видѣ плѣшиваго старца съ немного телячьимъ выраженіемъ въ очахъ. По свойственной человѣчеству слабости, его высокородіе не прочь былъ иногда задать головомойку и вообще учинить такое невѣжество, отъ котораго затряслись бы поджилки у подчиненнаго. Такъ было и въ настоящемъ случаѣ по дѣлу о пожарныхъ лошадяхъ. Алексѣй Дмитричъ очень хорошо сознавалъ, что на мѣстѣ Желвакова онъ бы и не такъ еще упарилъ лошадей, но порядокъ службы громко вопіялъ о мылѣ и щелокѣ, и мыло и щелокъ были употреблены въ дѣло.

Тѣмъ не менѣе, когда Дмитрію Борисычу объяснили добрые люди, по какой причинѣ его высокородіе изволилъ тыкать пальцемъ, онъ впалъ въ ипохондрію. Съ нимъ приключился даже феноменъ, который навѣрное ни съ кѣмъ никогда не приключался. И именно, ощущая себя въ совершенно бодрственномъ состояніи, онъ вдругъ увидѣлъ сонъ, ужасный, но настоящій сонъ. Случилось съ нимъ это приключеніе въ то самое время, когда онъ, послѣ посѣщенія его высокородія, стоялъ посреди пожарнаго двора, растопыривши, какъ слѣдуетъ, руки въ видѣ оправданія. Впослѣдствіи онъ самъ любилъ разсказывать объ этомъ необыкновенномъ случаѣ, но, считая его за дьявольское навожденіе, всякій разъ отплевывался съ глубокимъ омер*зѣніемъ*.

— Стою я это, и вижу вдругъ, что будто передо мною каторга, и ведутъ будто меня, сударь, сѣчь, и кнутъ будто тотъ самый, которымъ я стегалъ этихъ лошадей — чтобъ имъ пусто было! Только я будто палъ, сударь, на колѣни, и прошу, знаете, пощады. «Нѣтъ, говоритъ, тебѣ пощады! самъ, говоритъ, не пощадилъ невинность, такъ клади теперича голову на плаху!» Вотъ я и такъ, и сякъ — не проймешь его, сударь, ничѣмъ! Только мнѣ и самому будто досадно стало, что вотъ изъ-за скотовъ, можно сказать, безсловесныхъ такое поношеніе претерпѣть долженъ... «Ну, сѣки, молъ!» говорю. На этомъ самомъ мѣстѣ и разбудилъ меня Алексѣевъ, а то бы, можетъ, и Богъ знаетъ что со мной было! Такъ вотъ-съ какія приключенія случаются!

И точно, всѣ пятеро полицейскихъ и самъ стряпчій собственными глазами видѣли, какъ Дмитрій Борисычъ сталъ на колѣни, и собственными ушами слышали, какъ онъ благимъ матомъ закричалъ: «сѣки же, коли такъ!»

Когда Дмитрій Борисычъ совершенно прочухался отъ своего сновидѣнія, онъ счелъ долгомъ пригласить къ себѣ на совѣтъ старшаго изъ пятерыхъ полицейскихъ, Алексѣева, который не безъ основанія слылъ въ городѣ правой рукой городничаго.

— Слышалъ?—спросилъ Дмитрій Борисычъ.

— Слышалъ,—отвѣчалъ Алексѣевъ.

— Ну, такъ то-то же! — сказалъ Дмитрій Борисычъ, и хотѣлъ-было погрозить пальцемъ, по подобію его высокородія, но, должно-быть, не изловчился, потому что Алексѣевъ засмѣялся.

— Ты чему смѣешься?—спросилъ Дмитрій Борисычъ.

— Я не смѣюсь... зачѣмъ смѣяться! — отвѣчалъ Алексѣевъ.

— То-то же! смотри, чтобъ у меня теперь лошади... ни-ни... никуда... понимаешь? Даже на пожаръ не смѣть... слышишь? Вездѣ брать обывательскихъ, даже для барышень!..

Распорядившись такимъ образомъ, онъ поворотилъ къ окну и увидѣлъ на улицахъ такую грязь, что его собственныя утки плавали въ ней какъ въ прудѣ.

— Это что такое?—спросилъ Дмитрій Борисычъ.

— А что «что такое»?—спросилъ Алексѣевъ.

— Не видишь?—спросилъ Дмитрій Борисычъ.

— Вижу,—сказалъ Алексѣевъ.

Вся запальчивость и ретивость Желвакова разбились объ это патріархальное равнодушіе.

— Ты бы хоть тово, что ли, — произнесъ онъ, немного сконфуженный и отворачиваясь отъ Алексѣева, чтобъ скрыть свое смущеніе.

И въ самомъ дѣлѣ, чего тутъ «тово», когда ужъ «грязь такъ грязь и есть» и «все отъ Бога!»

— Вотъ кабы мы этому дѣлу причинны были,—глубокомысленно присовокупилъ Алексѣевъ.

— Ишь его...

«Принесла нелегкая», хотѣлъ-было сказать Дмитрій Борисычъ, но затруднился, потому что и въ мысляхъ не осмѣливался нанести какое-нибудь оскорбленіе начальству.

Но все это еще не бѣда. Ну, побранили его высокородіе— не повѣсили же въ самомъ дѣлѣ! Даже *вы* не сказали, а продолжали попрежнему говорить *ты* и *братецъ*. Дѣло въ томъ, что въ этотъ самый день случилось Дмитрію Борисычу быть именинникомъ, и онъ вознамѣрился сотворить для дорогого гостя балъ на славу. Какимъ образомъ пригласить его высокородіе послѣ такого происшествія? Ну, если да они скажутъ, что «я, дескать, съ такими канальями хлѣба ѣсть не хочу!» — а этому вѣдь бывали примѣры. Однако, Дмитрій Борисычъ пріободрился, и на обѣдѣ у головы, втянувъ въ себя все количество воздуха, какое могли вмѣщать его легкія, проговорилъ приглашеніе не только смѣлымъ, но даже излишне звучнымъ голосомъ. И его высокородіе ничего: приняли и даже ласково посмотрѣли на Дмитрія Борисыча.

— Да, господинъ Желваковъ, — сказали его высокородіе: — мы пріѣдемъ, господинъ Желваковъ! хорошо, господинъ Желваковъ!

По этой-то самой причинѣ и пріѣзжалъ Дмитрій Борисычъ нѣсколько разъ въ домъ купчихи Облепихиной узнать, какъ почивалъ генералъ и въ какомъ они находятся расположеніи духа: въ веселомъ, прискорбномъ или такъ-себѣ.

Между тѣмъ, въ домѣ купчихи Облепихиной происходила сцена довольно мрачнаго свойства. Его высокородіе изволилъ проснуться и чувствовалъ себя мучительно. На обѣдѣ у головы подали такое какое-то странное кушанье, что его высокородіе ощущалъ нестерпимую изжогу, отъ которой долгое время отплевывался безъ всякаго успѣха.

— Чортъ ихъ знаетъ, чѣмъ они тамъ кормятъ! — бор-

мотальъ Алексѣй Дмитричъ:—масло, что ли, скверное—просто мочи нѣтъ!

И выпилъ стаканъ воды.

— Экой народъ безобразный! зоветъ ѣсть, словно не знаетъ, кого зоветъ! Рыба да рыба—обрадовался, что рѣка близко! Ѣлъ, кажется, пропасть, а въ животѣ бурчитъ, точно три дня не ѣлъ! И изжога эта... Эй, Кшецынскій!

Вошелъ господинъ не столько малаго роста, сколько скрюченный повиновеніемъ и преданностью.

— Пріѣзжалъ городничій?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Анъ, врете вы, пріѣзжалъ!—раздалось изъ передней.

— Я не видалъ, ей-Богу, не видалъ, ваше высокородіе!—бормоталъ скороговоркой Кшецынскій.

— Пріѣзжалъ ужъ разъ десять!—произнесъ камердинеръ Ѳедоръ, входя въ комнату съ стаканомъ чаю на подносѣ.—Извѣстно, вы ничего не видите!

— Это правда, Кшецынскій, правда, что ты ничего не видишь! Не понимаю, братецъ, на что у тебя глаза! Если-бъ мнѣ не была извѣстна твоя преданность... если-бъ я своими руками не вытащилъ тебя изъ грязи—ты понимаешь: «изъ грязи»?.. право, я не знаю... Что-жъ, спрашивалъ что-нибудь городничій?

— Спрашивалъ, что, дескать, генералъ дѣлаютъ?

— Ну, а ты что?

— Спятъ, молъ; извѣстно, молъ, что имъ дѣлать, какъ не спать! Ночью ѣдемъ—въ каретѣ спимъ, днемъ стоимъ—на квартерѣ спимъ.

— Ты такъ и сказалъ?

— Сказалъ... отчего не сказать?

— Ска-атина!

На губахъ Кшецынскаго появилась блѣдная улыбка. Очевидно, что между имъ и Ѳедоромъ существовало соперничество такого же рода, какое можетъ существовать между хитрою, но забавною Амишкой и неуклюжимъ, но вѣрнымъ Полканомъ. Ѳедоръ всегда бралъ верхъ; онъ, нимало не стѣсняясь, оказывалъ полное презрѣніе къ самымъ законнымъ и неприхотливымъ требованіямъ несчастнаго выходца. Платье и сапоги его оставались нечищенными, а на мѣсто чая подавалась ему какая-то странная смѣсь, болѣе похожая на брагу, нежели на чай. За обѣдомъ Кшецынскій не осмѣливался оставить на своей тарелкѣ ножъ и вилку, потому что Ѳедоръ, безъ церемоніи,

складывалъ ихъ тутъ же къ нему на скатерть. Кшецынскій при этомъ зеленѣлъ и вздрагивалъ, и во рту у него дѣлалось скверно; но все это происходило лишь на одно мгновенье, и онъ снова потуплялъ глаза въ тарелку. Когда ему подавали кушанье (а подавали ему всегда послѣднему), Ѳедоръ никогда не забывалъ толкнуть его въ плечо, если Кшецынскій, по его мнѣнію, недостаточно проворно бралъ кушанье. Больше одного куска ему брать не дозволялось. Вообще, присутствіе Кшецынскаго за барскимъ столомъ составляло для Ѳедора предметъ постоянныхъ и мучительнѣйшихъ размышленій.

— И что это за баринъ такой,—говаривалъ онъ обыкновенно, въ такихъ случаяхъ, объ Алексѣѣ Дмитричѣ:—просто шавку паршивую съ улицы поднялъ, и ту за столъ посадилъ!

Но на этотъ счетъ Алексѣй Дмитричъ оставался непреклоннымъ. Кшецынскій продолжалъ обѣдать за столомъ его высокородія, и—мало того!—каждый разъ, вѣтавая изъ-за стола, проходилъ мимо своего врага съ улыбкою, столь непримѣтною, что понимать и оцѣнить всю ея ядовитость могъ только Ѳедоръ. Но возвратимся къ разсказу.

Въ передней послышалось шарканье.

— Да вотъ и онъ! — сказалъ Ѳедоръ и, обращаясь къ Дмитрію Борисычу, прибавилъ:—А вотъ меня изъ-за васъ, сударь, обругали тутъ! Зачѣмъ только васъ носитъ сюда!

— А! это ты, господинъ Желваковъ! Милости просимъ, господинъ Желваковъ! Прошу садиться, господинъ Желваковъ!—молвилъ его высокородіе, кротко улыбаясь.

— Осмѣлюсь просить ваше высокородіе...

— Помню, господинъ Желваковъ! Будемъ, будемъ, господинъ Желваковъ! Кшецынскій! и ты, братецъ, можешь съ нами! Смотри же, не ударь лицомъ въ грязь: я люблю, чтобъ у меня веселились... Ну, что новенькаго въ городѣ? Какъ поживаютъ пожарныя лошадки?

Желваковъ поблѣднѣлъ.

— Ну, да ты не тово! я это такъ! А дать господину Желвакову чаю!

Ѳедоръ явился съ стаканомъ, который не столько подалъ, сколько сунулъ въ руки Дмитрію Борисычу.

— Да ты попробуй прежде, есть ли сахаръ, — сказалъ его высокородіе: — а то намеднись, въ Оковѣ, стряпчій у меня цѣлыхъ два стакана безъ сахару выпилъ... послѣ ужѣ Кшецынскій мнѣ это разсказалъ... Такой, право, чудакъ!..

А благонравный! Я, знаешь, не люблю этихъ вотъ, что звѣзды-то съ неба хватаютъ; у меня главное, чтобъ былъ человѣкъ благонравенъ и преданъ... Да ты, братецъ, не торопись, однакожъ, а не то вѣдь языкъ обожжешь!

— Помилуйте, ваше высокородіе, мы завсегда съ полнымъ нашимъ удовольствіемъ...

Между тѣмъ, для Дмитрія Борисыча питье чая составляло дѣйствительную пытку. Во-первыхъ, онъ пилъ его стоя; во-вторыхъ, чай дѣйствительно оказывался самый горячій, а продлить эту операцію значило бы сневѣжничать передъ его высокородіемъ, потому что если ихъ высокородіе и припускаютъ, такъ сказать, къ своей высокой особѣ, то это еще не значитъ, чтобъ позволительно было утомлять ихъ зрѣніе исполненіемъ обязанностей, до дѣлъ службы не относящихся.

— Да ты, братецъ, садись.

— Помилуйте, ваше высокородіе...

— Садись, братецъ.

— Не въ такихъ чинахъ, ваше высокородіе...

— Ну, какъ хочешь.

— Исправникъ Маремьянкинъ!—провозглашаетъ Ѳедоръ.

— Такъ я буду въ надеждѣ-съ, ваше высокородіе!—говоритъ Дмитрій Борисычъ, въ послѣдній разъ обжигая губы и удаляясь со стаканомъ въ переднюю.

— А! Живоглотъ!—говоритъ Алексѣй Дмитричъ:—добро пожаловать! Молодецъ, братъ, молодецъ! Ни соринки въ судѣ нѣтъ! Молодецъ, господинъ Живоглотъ!

Исправникъ Маремьянкинъ—мужчина вершковъ пятнадцати. Живоглотомъ онъ прозванъ по той причинѣ, что, будучи еще въ дѣтствѣ и обуреваемый голодомъ, котораго требованіямъ не всегда могъ удовлетворить его родитель, находившійся при земскомъ судѣ сторожемъ, нерѣдко блуждалъ по берегу рѣки и вылавливалъ въ ней мелкую рыбешку, которую и проглатывалъ живьемъ, твердо надѣясь на помощь Божію и на чрезвычайную крѣпость своего желудка, въ которомъ, по собственному его сознанію, камни жерновые всякій злакъ въ одинъ моментъ перемалывали. Замѣчательнѣйшею странностью въ его лицѣ было то, что ноздри его представлялись безстрашному зрителю какъ бы вывороченными наизнанку, вслѣдствіе чего мѣстные чиновники, кромѣ прозвища Живоглотъ, называли его еще Пугачевымъ и «рваными ноздрями».

— Имѣю честь,—рапортуетъ Живоглотъ.

— Откуда?

— Изъ уѣзда-съ. Приключилось умертвіе-съ. Нашли туловище, а голову отыскать не могли-съ.

— Какъ же, братъ, это такъ?

— Съ ногъ сбились, искамши, ваше высокородіе.

— Какъ же это? Надо, братъ, надо отыскать голову... Голова, братецъ, это при слѣдствіи главное... Ну, самъ ты согласись: не будь, напримѣръ, у насъ съ тобой головы, что-жъ бы это такое вышло! Надо, надо голову отыскать!

— Будемъ стараться, ваше высокородіе.

— То-то, любезный! Ты пойми, ты вникни въ мои усилія... какъ я, могу сказать, денно и нощно...

— Это справедливо, ваше высокородіе.

— Ну, то-то же! Впрочемъ, ты у меня молодецъ! Ты знаешь, что вотъ я завтра отъ васъ выѣду, и мнѣ все эта голова показываться будетъ... такъ ты меня успокой!

— Помилуйте, ваше высокородіе, будьте безъ сумлѣнія-съ...

— Убійство, конечно, вещь обыкновенная; это, можно сказать, каждый день случиться можетъ... а голова! Нѣтъ, ты пойми меня, ты вникни въ мои усилія! Голова, братецъ, это, такъ сказать, центръ, сѣдалище...

— Найдемъ-съ, — отвѣчалъ Живоглотъ съ нѣкоторымъ ожесточеніемъ, какъ бы думая про себя: «чтобъ тебя прорвало! экъ привязался, проклятый!»

— Впрочемъ, по уѣзду благополучно?

— Благополучно, ваше высокородіе!—реветъ Живоглотъ, разъ навсегда закаявшись докладывать его высокородію о чемъ бы то ни было неблагополучномъ.

— Воровства нѣтъ?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Убійствъ нѣтъ?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— То-есть, кромѣ этой головы... Эта, братецъ, голова, я тебѣ скажу... голова эта весь сегодняшній день мнѣ испортила... я, братецъ, Титъ; я, братецъ, люблю, чтобъ у меня тово...

Живоглотъ потупился. Въ эту минуту онъ готовъ былъ отрѣзать себѣ языкъ за то, что онъ сболтнулъ сдуру этакую скверную штуку.

«И хоть бы доподлинно эта голова была,—думалъ онъ, тысячный разъ проклиная себя: — а то вѣдь и происше-

ствія-то никакого не было! Такъ, сдуру, ляпнулъ, чтобъ похвастаться передъ начальствомъ дѣятельностью!»

— Ты думаешь, мнѣ это пріятно? — продолжалъ, между тѣмъ, его высокородіе:—начальству, братецъ, тогда только весело, когда всѣ довольны, когда все смотритъ на тебя съ довѣрчивостью, можно сказать, съ упованіемъ...

Молчаніе.

— Нѣтъ, ты поѣзжай... ты поѣзжай! Я не могу! Я спокоенъ не буду, пока ты въ городѣ...

— Помѣщикъ Перегоренскій!—докладываетъ Ѳедоръ.

Входитъ Перегоренскій, господинъ лѣтъ шестидесяти, но еще бодрый и свѣжій. Видно, однакоже, что для подкрѣпленія угасающихъ силъ онъ нерѣдко прибѣгаетъ къ напитку, вслѣдствіе чего и носъ его пріобрѣлъ всевозможные оттѣнки фіолетоваго цвѣта. На немъ порыжѣлый фракъ съ узенькими фалдочками и нанковыя панталоницы безъ штрипокъ. При появленіи его Алексѣй Дмитричъ прячетъ обѣ руки къ самымъ ягодицамъ, изъ опасенія, чтобъ господину Перегоренскому не вздумалось протянуть ему руку.

Перегоренскій. Защиты! О защитѣ взываю я къ вашему высокородію! Защиты невиннымъ, защиты угнетеннымъ!

Алексѣй Дмитричъ. Что же такое-съ?

Перегоренскій. Вы извините меня, ваше высокородіе! я внѣ себя! Но я вѣрноподданный, ваше высокородіе, я христіанинъ, ваше высокородіе! я... человѣкъ!

Алексѣй Дмитричъ. Позвольте, однакожъ, что же такое случилось? И къ чему тутъ «вѣрноподданный»? Мы всѣ здѣсь вѣрноподданные-съ.

Перегоренскій. Не доносъ... нѣтъ, роль доносчика далека отъ меня! Не съ доносомъ дерзнулъ я предстать предъ лицо вашего высокородія! Чувство состраданія, чувство любви къ ближнему одно подвигло меня обратиться къ вамъ: добродѣтельный царедворецъ, спаси, спаси погибающую вдову!

Алексѣй Дмитричъ. Но, позвольте... мнѣ сказали, что вы здѣшній помѣщикъ... зачѣмъ же тутъ вдова?.. Я не понимаю.

Перегоренскій *(вздыхая).* Да-съ, я здѣшній помѣщикъ, это правда; я имѣю, я имѣю несчастіе называться здѣшнимъ помѣщикомъ... У меня семь душъ... безъ земли-съ, и только онѣ, однѣ онѣ поддерживаютъ мое бренное существованіе!.. Я былъ угнетенъ, ваше высокородіе! Я былъ на службѣ— и выгнанъ! Я служилъ честно — и вотъ предстою нищъ и

убогъ! Я имѣлъ чувствительное сердце и сохранилъ его до сихъ поръ! За что же терпѣлъ я? За что всѣ гоненія судьбы на меня? Не за то ли, что любилъ правду выше всего! Не за то ли, что, можно сказать, ненавидѣлъ ложь *и истину царямъ съ улыбкой говорилъ!* Защиты! О защитѣ взываю къ тебѣ, покровитель гонимыхъ и угнетенныхъ!

Алексѣй Дмитричъ. Да помилуйте, что же я могу сдѣлать!.. Объяснитесь, ножалуйста!

Перегоренскій. Повторяю вашему высокородію: не доносъ, котораго самое названіе презрительно для моего сердца, намѣренъ я предъявить вамъ, государь мой!—Нѣтъ! Слова мои будутъ простымъ извѣщеніемъ, которое, по смыслу закона, обязательно для всякаго вѣрноподданнаго...

Алексѣй Дмитричъ. Но въ чемъ же дѣло? Позвольте, я занятъ; мнѣ надобно ѣхать...

Перегоренскій. Коварный Живоглотъ...

Алексѣй Дмитричъ *(строго).* Кто же этотъ Живоглотъ? Я не понимаю васъ; вы, кажется, позволяете себѣ шутить, милостивый государь мой!

Перегоренскій *(не слушая его).* Коварный Живоглотъ, воспользовавшись темнотою ночи, съ толпою гнусныхъ наемниковъ окружилъ домъ торгующаго въ селѣ Чернораменьѣ, по свидѣтельству третьяго рода, мѣщанина Скурихина, и алчнымъ голосомъ требовалъ допустить его къ обыску, подъ предлогомъ, якобы Скурихинъ производитъ торговлю мышьякомъ. При чемъ обозвалъ Скурихина непотребными словами; за оставленіе же сего дѣла втайнѣ, взялъ съ него пятьдесятъ рублей и удалился съ наемниками вспять. Это первый пунктъ.

Алексѣй Дмитричъ. Но гдѣ же тутъ вдова?

Перегоренскій. Оный Живоглотъ, описывая, по указу губернскаго правленія, имѣніе купца Гламидова, утаилъ нѣкія драгоцѣнныя вещи, произнося при этомъ: «вещи сіи пригодятся ребятишкамъ на молочишко». При семъ равномѣрно не преминулъ обозвать Гламидова непотребно... *(Пристально смотритъ на Алексѣя Дмитрича, который, въ смущеніи, нюхаетъ табакъ).* Сей же Живоглотъ, придя въ домъ къ отставному коллежскому регистратору Рыбушкину, въ то время, когда у того были гости, усиленно требовалъ, для своего употребленія, стаканъ водки, и, получивъ въ томъ отказъ, разогналъ гостей и хозяевъ, произнося при этомъ: *аллемаширъ!*

Алексѣй Дмитричъ. Но гдѣ же тутъ вдова?

Перегоренскій. Но симъ не исполнилась мѣра безчинствъ Живоглотовыхъ. Въ прошломъ мѣсяцѣ, прибывъ на ярмонку въ село Березино, что на Новомъ, сей лютый звѣрь, аки левъ рыкаяй и преисполнившись вина и ярости, избилъ безпричинно всѣхъ торгующихъ, и дотолѣ не положилъ сокрушительной десницы своей, доколѣ не пріобрѣлъ по полтинѣ съ каждаго воза... *(Торжественно).* На всѣ таковыя противозаконныя дѣйствія исправника Маремьянкина, въ просторѣчіи Живоглотомъ именуемаго, и лютостію своею таковое прозвище вполнѣ заслужившаго, имѣются надлежащіе свидѣтели, которыхъ я, впрочемъ, къ свидѣтельству подъ присягой допустить сомнѣваюсь.

Алексѣй Дмитричъ. Позвольте, однакожъ, я все-таки не могу понять, гдѣ тутъ вдова и въ какой мѣрѣ описываемыя вами происшествія, или, какъ вы называете ихъ, безчинства, касаются вашего лица, и почему вы... нѣтъ, воля ваша, я этого просто понять не въ состояніи!

Перегоренскій. Ваше высокородіе! Во мнѣ, въ моемъ лицѣ, видите вы естественное убѣжище общественной совѣсти, Живоглотомъ попранной, Живоглотомъ поруганной. Смѣни Живоглота, добродѣтельный царедворецъ! Смѣни! вопіютъ къ тебѣ тысячи жертвъ его звѣрообразной лютости.

Алексѣй Дмитричъ. Но какъ же это... я, право, затрудняюсь. Свидѣтелей вотъ вы не допускаете... истцовъ тоже налицо не оказывается.

Перегоренскій *(смѣется горько и потомъ вздыхаетъ).* Итакъ, нѣтъ правды на землѣ! Великій Господи! здѣсь предстоитъ рабъ лукавый и лѣнивый *(указывая на Алексѣя Дмитрича),* который меня же обзываетъ ябедникомъ и кляузникомъ...

Алексѣй Дмитричъ *(тревожно).* Позвольте, однако, я не называлъ васъ ни ябедникомъ, ни кляузникомъ!

Перегоренскій. Ябедникомъ и кляузникомъ за то единственно, что я принялъ на себя защиту невинности! *(Къ Алексѣю Дмитричу).* Государь мой! Необходимость, одна горестная необходимость вынуждаетъ меня сказать вамъ, что я не премину, при первой же возможности, обратиться съ покорнѣйшею просьбою къ господину министру, умолять на колѣняхъ его высокопревосходительство... *(Запальчиво).* Ты узнаешь, да, ты узнаешь, коварный царедворецъ, что значитъ презирать совѣты добродѣтели! Вспомянутся тебѣ и рябчики, и рыба, посылаемые Живоглотомъ, яко дань твоей плотоядности! *(Уходитъ).*

Алексѣй Дмитричъ *(минуты съ пять стоитъ съ нѣкоторою отупью, come una statua; просыпаясь).* **Чортъ знаетъ,** что такое... Эй, Ѳедоръ! одѣваться!

Между тѣмъ, домъ Желвакова давно уже горитъ въ многочисленныхъ огняхъ, и у воротъ поставлены даже плошки, что привлекаетъ большую толпу народа, который, несмотря, ни на дождь, ни на грязь, охотно собирается поглазѣть, какъ веселятся уѣздные аристократы. Гости уже собрались. Оркестръ, состоящій изъ двухъ флейтъ и одного контрабаса, сыгрывается въ лакейской, наводя нестерпимое уныніе на сердца черноборцевъ извлекаемыми изъ флейтъ жалобными звуками. Сальныя свѣчи въ изобиліи горятъ во всѣхъ комнатахъ; однакожъ, въ одной изъ нихъ, предназначенной, повидимому, для резиденціи почетнаго гостя, на раскрытомъ ломберномъ столѣ горятъ даже двѣ стеариновыя свѣчи, которыя Дмитрій Борисычъ, изъ экономіи, тушитъ, и потомъ, послышавъ на улицѣ движеніе, вновь зажигаетъ. Дѣвицы, взявшись подъ-руку, вереницей ходятъ по залѣ, предназначенной для танцованія. Увивающійся около нихъ протоколистъ дворянской опеки, должно-быть, говоритъ ужасно смѣшныя вещи, потому что дѣвицы безпрестанно закрываютъ свои личики платками. Въ тревожномъ ожиданіи проходитъ два часа, въ продолженіе которыхъ всѣ бездѣйствуютъ. Нѣкоторыя дамы начинаютъ даже выказывать знаки нетерпѣнія. Въ особенности отличается жена окружного начальника, курящая папиросы и составляющая въ уѣздѣ постоянную оппозицію.

— Да помилуйте, Дмитрій Борисычъ! — говоритъ она громко:—долго ли же намъ дожидаться? Вѣдь намъ-то онъ даже почти не начальникъ!

— Ужъ сдѣлайте ваше одолженіе, Степанида Карповна, повремените крошечку-съ; Михайло Трофимычъ! уговорите Степаниду Карповну!—умоляетъ Дмитрій Борисычъ.

— Stéphanie, mon ange! — говоритъ Михайло Трофимычъ:—il faut donc faire quelque chose pour ces gens.

— Однакожъ, Michel!—отвѣчаетъ Степанида Карповна.

Въ это время жена уѣзднаго судьи, не выражавшая доселѣ никакихъ знаковъ неудовольствія, считаетъ возможнымъ, въ знакъ сочувствія къ Степанидѣ Карповнѣ, пустить въ ходъ горькую улыбку, давно созрѣвшую въ ея сердцѣ. Но Дмитрій Борисычъ ловитъ эту улыбку, такъ сказать, на-лету.

— Ну, вы-то что?—говоритъ онъ судейшѣ:—ну, Степанида Карповна... это точно! А вы-то что?

И, махнувъ рукой, бѣжитъ дальше.

Однакоже, Дмитрій Борисычъ далеко не спокоенъ. Два обстоятельства гложутъ его сердце. Во-первыхъ, извѣстно ему, что у его высокородія, въ настоящее время, проѣзжается Перегорскій. «Опакоститъ онъ, опакоститъ насъ всѣхъ, бестія!»—думаетъ Дмитрій Борисычъ... Во-вторыхъ, представляется весьма важный вопросъ: будетъ ли его высокородіе играть въ карты, и если не будетъ, то какимъ образомъ занять ихнюю особу? Партію для его высокородія онъ уже составилъ, и партію приличную. Михайло Трофимычъ Сюртуковъ, окружной начальникъ, молодой человѣкъ, образованный и съ направленіемъ; асессоръ палаты, Кшепшицюльскій, тоже образованный и съ направленіемъ, и наконецъ той же палаты чиновникъ особыхъ порученій Пшикшецюльскій, не столько образованный, сколько съ направленіемъ. Всѣ они согласны играть во что угодно и по скольку угодно.

— Господи! кабы не было хозяйственныхъ управленій,— говоритъ про себя Дмитрій Борисычъ: — пропала бы моя головушка!

И второпяхъ, съ размаху останавливается передъ уѣзднымъ судьей, скромно сидящимъ въ углу, и, задумавшись, разсуждаетъ во всеуслышаніе:

— Что, если-бъ все этакіе-то были! Вонъ онъ какой убогой! нищему даже подать нечего!

— Нѣтъ! куда намъ! — говоритъ, махая руками, судья, который отъ старости не дослышитъ, и думаетъ, что Дмитрій Борисычъ приглашаетъ его составить партію для высокоименитаго гостя.

Но вотъ вламывается въ дверь Алексѣевъ и изо всей мочи провозглашаетъ: «Левизоръ! левизоръ ѣдетъ!» Дмитрій Борисычъ дрожащими руками зажигаетъ стеариновыя свѣчи, наскоро говоритъ музыкантамъ: «не осрамите, батюшки!» и стремглавъ убѣгаетъ на крыльцо.

Его высокородіе входитъ при звукахъ музыки, громко играющей тушъ. Его высокородіе смотритъ милостиво и останавливается въ залѣ. Дмитрій Борисычъ, скользящій около гостя бокомъ, простираетъ руку въ ту сторону, гдѣ приготовлена обитель для его высокородія, и торопливо произноситъ:

— Сюда пожалуйте, сюда, ваше высокородіе!

— Зачѣмъ же? мнѣ и здѣсь хорошо!—говоритъ его высокородіе, окидывая дамъ орлинымъ взоромъ.—А впрочемъ, дѣлай со мною что хочешь! Извините меня, mesdames, — я здѣсь невольникъ!

И, шаркнувши ножкой, мелкими шагами удаляется въ обитель, въ дверяхъ которой встрѣчаетъ его сама городничиха, простая старуха, съ платкомъ на головѣ.

— Пожалуйте, ваше превосходительство, пожалуйте, не побрезгайте!—говоритъ она, низко кланяясь.

— Извините, сударыня, я еще только «высокородіе»!—отвѣчаетъ Алексѣй Дмитричъ и скромно потупляетъ глаза.

Его высокородіе садится на пріуготовленномъ диванѣ; городничиха въ ту же минуту скрывается: именитѣйшіе мужи города стоятъ по стѣнѣ и безмолвствуютъ. Его высокородію, очевидно, неловко.

— Прикажете начинать музыкѣ?—спрашиваетъ Дмитрій Борисычъ.

— Какъ же, какъ же!—отвѣчаетъ его высокородіе.

Музыка играетъ; до слуха его высокородія достигаетъ только трескъ контрабаса.

— Да ты тутъ и музыку завелъ! — замѣчаетъ его высокородіе. — Это похвально, господинъ Желваковъ! это ты хорошо дѣлаешь, что соединяешь общество! Я это люблю... чтобъ у меня веселились...

— Всѣ силы-мѣры, ваше высокородіе... то-есть, сколько станетъ силы-возможности,—отвѣчаетъ Дмитрій Борисычъ.

Молчаніе.

— А вы, господа, развѣ не танцуете? — спрашиваетъ Алексѣй Дмитричъ, поводя глазами по стѣнѣ.

Именитые чины, принимая эти слова въ смыслѣ приглашенія выйти изъ комнаты, гурьбой направляются въ залу. Его высокородіе нѣсколько озадаченъ.

— Что-жъ это они?—говоритъ онъ, хмуря брови.—Развѣ мое общество... кажется, я тово...

Дмитрій Борисычъ, въ совершенномъ отчаяньи, спѣшитъ догнать бѣглецовъ.

— Ну, куда же вы, ради Христа? куда вы? — говоритъ онъ умоляющимъ голосомъ: — Михайло Трофимычъ! Мечиславъ Станиславичъ! Станиславъ Мечиславичъ! хоть вы! хоть вы! вѣдь это скандалъ-съ! это, можно сказать, неприличіе!

Но именитыя лица упорствуютъ. Дмитрій Борисычъ вновь прибѣгаетъ въ обитель.

— Ваше высокородіе! не соблаговолите ли въ карточки!

Алексѣй Дмитричъ затрудненъ.

— Я... да... я тово... но, право, я не могу придумать, съ кѣмъ же ты меня...—говоритъ онъ.

— На этотъ счетъ будьте покойны, ваше высокородіе! Партія—самая благородная: все губернскіе-съ...

— Ну, да... если партія приличная... отчего же...

Одинъ изъ партнеровъ, Михаилъ Трофимычъ, поспѣшно распечатываетъ карты и весьма развязно подлетаетъ къ его высокородію.

— Votre excellence! — говоритъ онъ, подавая карточку.

— Mais... vous parlez français?—замѣчаетъ его высокородіе съ пріятнымъ изумленіемъ.

— Они обучались въ университетѣ,—вступается Дмитрій Борисычъ.—Ихняя супруга—первая дама въ городѣ-съ.

— A! очень пріятно! J'espère que vous me ferez l'honneur... очень, очень пріятно!

Между тѣмъ, танцы въ залѣ происходятъ обыкновеннымъ порядкомъ. Протоколистъ дворянской опеки превосходитъ самого себя: онъ танцуетъ и прямо, и поперекъ, потому что дамъ вдвое болѣе, нежели кавалеровъ, и всякой хочется танцовать. Слѣдовательно, кавалеры обязаны одну и ту же фигуру кадрили поперемѣнно отплясывать съ двумя разными дамами.

— Фу, упарился!—говоритъ протоколистъ, обтирая платкомъ катящіяся по лбу струи пота. — Дмитрій Борисычъ! хоть бы вы водочкой танцоровъ-то попотчивали! Вѣдь это просто смерть-съ! Этакого труда и каторжники не претерпѣваютъ!

— И ни-ни!—отвѣчаетъ Дмитрій Борисычъ, махая руками:—что ты! что ты! Ты, пожалуй, опять по-намеднишнему налижешься! Вотъ уѣдетъ его высокородіе—тогда хоть графинъ выпей... Эй, музыканты!

Музыка трогается, но танцоровъ урезонить не легко. Они становятся посреди залы въ каре, устраиваютъ между собой совѣтъ и рѣшаютъ не танцовать, покуда не будетъ выполнено справедливое требованіе протоколиста.

— Что-жъ это за срамъ такой! хоть бы прохладительное какое-нибудь подали!—говоритъ протоколистъ.

— Не танцуй, братцы, да и баста!—подсказываетъ мужъ совѣта Петька Трясучкинъ.

— Не хотимъ танцовать!—раздался общій отголосокъ.

Происходитъ смятеніе. Городничиха поспѣшаетъ сооб-

щить своему мужу, что приказные бунтуются, требуютъ водки; а водки, дескать, дать невозможно, потому что вотъ еще намеднись, у исправника, столоначальникъ Подгоняйчиковъ до того натенькался, что даже вообразилъ, что домой спать пришелъ, и сталъ при всѣхъ раздѣваться.

Дмитрій Борисычъ выбѣгаетъ увѣщавать.

— Бога вы не боитесь, свиньи вы этакія! — говоритъ онъ.—Знаете сами, какая у насъ теперича особа! Нешто жалко мнѣ водки-то, пойми ты это!.. Эй, музыканты!

— Да нѣтъ, танцовать совсѣмъ невозможно... намъ что водка-съ! а совсѣмъ намъ танцовать невозможно-съ!

— Да почему же невозможно?

— Да такъ-съ... оченно ужъ трудъ великъ-съ...

— Господи! Иванъ Перфильичъ! и ты-то! голубчикъ! ну, ты умница! Прохладись же ты хоть разъ какъ слѣдуетъ образованному человѣку! Ну, жарко тебѣ — выпей воды, или выдь, что ли, на улицу... а то водки! Я вѣдь не стою за нее, Иванъ Перфильичъ! Мнѣ что водка! Христосъ съ ней! Я вамъ всѣмъ завтра утромъ по два стаканчика подвесу... ей-Богу! да хоть теперь-то ты воздержись... А! ну, была не была! Эй, музыканты!

На этотъ разъ убѣжденія подѣйствовали, и кадриль кой-какъ составилась. Изъ-за дверей коридора, примыкавшаго къ залѣ, выглядывали лица горничныхъ и другихъ зрителей лакейскаго званія, впереди которыхъ, въ самой уже залѣ, стоялъ камердинеръ его высокородія. Онъ держалъ себя, какъ и слѣдуетъ камердинеру знатной особы, весьма серьезно, съ прочими лакеями не связывался, и, заложивъ руки назадъ, производилъ глубокомысленныя наблюденія надъ танцующимъ уѣздомъ.

— Ну, а что, Ѳедя, вѣдь и мы веселиться умѣемъ? — спрашивалъ Дмитрій Борисычъ, изрѣдка забѣгая къ нему.

— Веселиться—отчего не веселиться!—отвѣчалъ Ѳедоръ.

— Ну, а какъ, Ѳедя, противъ вашихъ-то баловъ: нашъ, поди, никуда, чай, не годится?

— Да, противъ нашихъ... разумѣется... а впрочемъ, мнѣ вашъ больше нравится... проще!

— Ты, Ѳедя, добрый! Приходи ужо, я тебѣ полтинничекъ пожертвую... А чай пилъ?

— Пилъ-съ, благодаримъ покорно.

— Ты, братецъ, требуй... знаешь, безъ церемоній... распорядись самъ, коли чего захочется... леденчиковъ тамъ, икорки, балычку... тебѣ, братецъ, отказу не будетъ...

Въ началѣ пятой фигуры, въ гостиной послышался шумъ, вскорѣ затѣмъ смѣнившійся шушуканьемъ. Въ дверяхъ залы показался самъ его высокородіе. Приближался страшный моментъ,—моментъ, въ который слѣдовало дѣлать соло пятой фигуры. Протоколистъ, завидѣвъ его высокородіе, рѣшительно отказался выступать впередъ и хотѣлъ оставить на жертву свою даму. Произошло нѣчто въ родѣ борьбы, причинившей между танцующими замѣшательство. Дмитрій Борисычъ бросился въ самый пылъ сраженія.

— Ну, полно же, братецъ, иди! — увѣщавалъ онъ заартачившагося протоколиста: — вѣдь его высокородіе смотритъ...

Но протоколистъ ни съ мѣста: и не говоритъ ни слова, и впередъ не идетъ, словно ноги у него приросли къ полу.

— Обробѣлъ, ваше высокородіе!—восклицаетъ Желваковъ, перебѣгая къ Алексѣю Дмитричу.—Они у насъ непривычны-съ... всего пугаются.

— Отчего же?—говоритъ Алексѣй Дмитричъ. — Я, кажется, не страшенъ! Не хорошо, молодой человѣкъ! Я люблю, чтобъ у меня веселились... да!

И удаляется въ обитель, чтобъ не мѣшать общему веселью.

— А у меня сегодня былъ случай, — говоритъ Алексѣй Дмитричъ, обращаясь къ Михайлѣ Трофимычу, который, какъ образованный человѣкъ, слѣдитъ шагъ за шагомъ за его высокородіемъ: — приходитъ ко мнѣ Маремьянкинъ и докладываетъ, что въ уѣздѣ отыскано туловище... и какъ странно! просто одно туловище, безъ головы! Imaginez-vous cela!

— Сс!—произноситъ Дмитрій Борисычъ, покачивая головой.

— Но вотъ что въ особенности меня поразило, — продолжаетъ его высокородіе: — это то, что эту голову нигдѣ не могутъ найти! даже Маремьянкинъ! Vous savez, c'est un coquin pour ces choses-là!

— Сс!—произноситъ опять Желваковъ.

— Но я, однако, принялъ свои мѣры! Я сказалъ Маремьянкину, что знать ничего не хочу, чтобъ была отыскана голова! Это меня очень-очень огорчило! Ça m'a bouleversé! Я, знаете, тружусь, забочусь... и вдругъ такая непріятность! Головы найти не могутъ! Да вѣдь гдѣ же нибудь она спрятана, эта голова! Признаюсь, я начинаю

колебаться въ мнѣніи о Маремьянкинѣ; я думалъ, что онъ усердный—и что-жъ!..

Бьетъ одиннадцать часовъ. Его высокородіе берется за шляпу. Дмитрій Борисычъ въ отчаяньи.

— Ваше высокородіе! осчастливьте! не откажите перекусить!—умоляетъ онъ, въ порывѣ преданности почти осмѣливаясь прикасаться къ рукѣ его высокородія.

Алексѣй Дмитричъ видимо тронутъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ воля его непреклонна. «У него болитъ голова», «онъ такъ много сегодня работалъ», «завтра ему надо рано выѣхать», и притомъ «этотъ Маремьянкинъ со своею головою»...

— Спасибо, господинъ Желваковъ, спасибо! — говоритъ его высокородіе:—это ты хорошо дѣлаешь, что стараешься соединить общество! Я буду имѣть это въ виду, господинъ Желваковъ.

И удаляется медленнымъ шагомъ изъ обители.

Посадивши какъ слѣдуетъ его высокородіе въ экипажъ, Дмитрій Борисычъ возвращается въ залъ и долго-долго жметъ обѣ руки Михайлѣ Трофимычу.

— Благодарю!—говоритъ онъ, растроганный до слезъ:—благодарю! Если-бъ не вы... Эй, водки!—восклицаетъ онъ совершенно неожиданно.

Ночь. Въ домѣ купчихи Облепихиной замѣчается лишь тусклое освѣщеніе. Алексѣй Дмитричъ ужъ раздѣтъ, и Ѳедоръ снимаетъ съ него сапоги.

— Ну, а помнишь ли, Ѳедоръ, какъ мы въ Петербургѣ-то бѣдствовали?—спрашиваетъ Алексѣй Дмитричъ.

— Какъ не помнить! Такое дѣло развѣ позабыть можно?—отвѣчаетъ Ѳедоръ угрюмо.

— Помнишь ли, какъ мы въ Мѣщанской, въ четвертомъ-то этажѣ, горе мыкали?

Ѳедоръ трясетъ головой.

— У кухмистера за шесть гривенъ обѣдъ брали, и оба сыты бывали,—продолжаетъ Алексѣй Дмитричъ.—А ждалъ ли ты, гадалъ ли ты въ то время, чтобъ вотъ, напримѣръ, какъ теперича... Стоитъ передъ тобою городничій — слушаю-съ; исправникъ къ тебѣ входитъ — слушаю-съ; судья рапортуетъ—слушаю-съ... Такъ вотъ, братъ, мы каковы!

— Это точно, что во снѣ не гадалъ.

— То-то же!

— Хорошо-то оно хорошо,—говоритъ Ѳедоръ:—да одно вотъ, сударь, не ладно.

— А что̀ такое?

— Да вотъ Кшецу-то эту (Кшецынскаго) выгнать бы со двора слѣдовало.

— Опять ты... тово...

— Да нечего «тово», а продастъ онъ васъ, сударь.

— Что ты вздоръ-то городишь! только смущаешь, дуракъ!

— Мнѣ зачѣмъ смущать! я не смущаю! Я вотъ только знаю, что Кшеца эта шестьсотъ-шестьдесятъ-шесть означаетъ... ну, и продастъ онъ васъ...

II.

МОИ ЗНАКОМЦЫ.

Обманутый подпоручикъ.

Дѣло было весною, а въ тотъ годъ весна была ранняя. Уже въ началѣ марта полились съ горъ ручьи и прилетѣли грачи, чего и старожилы въ Крутогорской губерніи не запомнятъ. Время это самое веселое, видъ возрождающейся природы благотворно дѣйствуетъ на самаго сонливаго человѣка; все принимаетъ какой-то необычный, праздничный оттѣнокъ; все одѣвается радужными цвѣтами. Въ деревняхъ, на улицѣ проявляется грязь; ребятишки гурьбами возятся по дорогѣ и вездѣ, гдѣ подъ вліяніемъ лучей солнца образовалась вода; старики также выползаютъ изъ душныхъ избъ и садятся на завалинахъ погрѣться на солнышкѣ. Вообще, всѣ довольны, всѣ рады веснѣ и теплу, потому что въ зимнее время изба, наполненная какою-то прогорклою атмосферой, наводитъ уныніе даже на привыкшаго къ ней мужичка.

Однако, путешествовать въ это время, и особливо по экстренной надобности—сущее наказаніе. Дорога уже испортилась; черная, исковерканная полоса ея безобразнымъ горбомъ выступаетъ изъ осѣвшаго по сторонамъ снѣга; лошади безпрестанно проступаются, и потому вы волею-неволею должны ѣхать шагомъ; сверхъ того, мѣстами попадаются такъ-называемыя зажоры, которыя могутъ заставить васъ простоять на мѣстѣ часовъ шесть и болѣе, покуда собьютъ окольный народъ, и съ помощью его ваша кибитка будетъ перевезена или, правильнѣе, перенесена

на рукахъ по ту сторону колодца, образовавшагося посреди дороги. Это штука самая скверная; тутъ припомнишь всѣхъ, кого слѣдуетъ, и всѣхъ мысленно по-родственному обласкаешь. Не радуютъ сердца ни красоты природы, ни шумъ со всѣхъ сторонъ стремящихся водныхъ потоковъ; напротивъ того, въ душѣ поселяется какое-то тупое озлобленіе противъ всего этого: такъ бы, кажется, взялъ да и уѣхалъ; а уѣхать-то именно и нельзя.

Ночью въ такую пору ѣхать рѣшительно невозможно, поэтому и бываетъ, что отъѣдешь въ сутки верстъ сорокъ, да и славословишь остальное время имя Господне на станціи.

Подобную муку пришлось испытать и мнѣ. Промаявшись, покуда было свѣтло, въ безплодной борьбѣ со стихіями, я пріѣхалъ, наконецъ, на станцію, на которой предстояло мнѣ ночевать. Въ подобныхъ обстоятельствахъ станціонный домикъ, одиноко стоящій немного поодаль дороги, за деревьями, составляетъ истинную благодать. Уѣхалъ, кажется, всего верстъ сорокъ или пятьдесятъ, а истомѣешь, отупѣешь и раскиснешь такъ, какъ будто собственными своими благородными ногами пробѣжалъ верстъ полтораста. Разумѣется, первое дѣло самоваръ, и затѣмъ уже является на столь посильная, зачерствѣвшая отъ времени закуска, и прилаживается складная желѣзная кровать, безъ которой въ Крутогорской губерніи путешествовать такъ же невозможно, какъ невозможно быть станціонному дому безъ клоповъ и таракановъ.

На этотъ разъ на станціи оказался какой-то проѣзжій, что̀ меня и изумило, и огорчило. Огорчило потому, что мы, коренные крутогорцы, до такой степени привыкли къ нашему безмятежному захолустью, что появленіе проѣзжаго кажется намъ оскорбленіемъ и посягательствомъ на наше спокойствіе. Кромѣ того, есть еще тайная причина, объясняющая наше нерасположеніе къ проѣзжему народу; но эту причину я могу сообщить вамъ только подъ величайшимъ секретомъ: имѣются за нами кой-какія провинности, и потому мы до смерти не любимъ ревизоровъ и всякаго рода любопытныхъ людей, которые любятъ совать свой носъ въ наше маленькое хозяйство. Мы разсуждаемъ въ этомъ случаѣ такъ: губернія Крутогорская хоть куда; мы тоже люди хорошіе и, къ тому же, приладились къ губерніи такъ, что она намъ словно жена; и климатъ, и все, то-есть, и то, и другое, такъ хорошо и прекрасно, и такъ все это

славно, что вчужѣ даже мило смотрѣть на насъ, а намъ-то, пожалуй, и умирать не надо. Охота же кому-нибудь— прости Господи!—кобелю борзому нарушать это трогательное согласіе.

Проѣзжій оказывается нрава меланхолическаго. Онъ то и дѣло ходилъ по комнатѣ, напѣвая извѣстный романсъ: «*Уймитесь, волненія страсти*». Но страсти, должно полагать, не унимались, потому что когда дѣло доходило до «я пла-а-чу, я стрра-а-жду!», то въ голосѣ его происходила какая-то удивительнѣйшая штука: словно и вѣтеръ воетъ, и въ то же время сапоги скрипятъ до истомы. Этой штуки мнѣ никогда впослѣдствіи не приходилось испытывать; но помню, что въ то время она навела на меня уныніе. Замѣчательно было также то обстоятельство, что слова: «плачу» и «стражду» безотмѣнно сопровождались возгласомъ: «эй, Прошка, водки!»—а какъ проѣзжій пѣлъ безпрестанно, то и водки, уповательно, вышло немалое количество.

Однакожъ, я долженъ сознаться, что этотъ возгласъ пролилъ успокоительный бальзамъ на мое крутогорское сердце; я тотчасъ же смекнулъ, что это нашего поля ягода. Если и вамъ, милѣйшій мой читатель, придется быть въ такихъ же обстоятельствахъ, то знайте, что пьетъ человѣкъ водку— значитъ, не ревизоръ, а хорошій человѣкъ. По той причинѣ, что ревизоръ, какъ человѣкъ злющій, въ самомъ себѣ порохъ и водку содержитъ.

— Милостивый государь! Милостивый государь... мой!— раздалось за перегородкой.

Воззваніе, очевидно, относилось ко мнѣ.

— Что прикажете?

— Не соблаговолите ли допустить побесѣдовать? Тоска смертнѣйшая-съ!

— Съ величайшимъ удовольствіемъ.

Вслѣдъ за симъ въ мою комнату ввалилась фигура высокаго роста, въ дубленомъ овчинномъ полушубкѣ и съ огромными сѣдыми усами, опущенными внизъ. Фигура говорила очень громкимъ и выразительнымъ басомъ, сопровождая свои реченія приличными жестами. Знаковъ опьянѣнія не замѣчалось ни малѣйшихъ.

— Рекомендуюсь! рекомендуюсь! «Блудный сынъ, или русскіе въ 18** году»...

— Очень радъ познакомиться.

— Да-съ; это такъ, это точно, что блудный сынъ—чортъ побери! Жизнь моя, такъ сказать, рроманъ и рроманъ не

простой, а этакъ Рафаила Михайлыча Зотова, съ танцами и превращеніями и великолѣпнымъ фейерверкомъ — на томъ стоимъ-съ! А съ кѣмъ я имѣю удовольствіе бесѣдовать?

Я назвалъ себя.

— Такъ-съ; ну, а я отставной подпоручикъ Живновскій... да-съ! Служилъ въ полку—бросилъ; жилъ въ имѣніи—пропилъ! Скитаюсь теперь по бурному океану жизни, какъ челнъ утлый, *безъ кормила, безъ весла...*

Я стрра-ажду, я пла-ачу!

Заспанный Прошка стремительно, какъ угорѣлый, вбѣжалъ съ полштофомъ водки и стаканомъ въ рукахъ, и съ-просонья полѣзъ прямо въ окно.

— Куда? ну, куда лѣзешь?—завопилъ Живновскій.— Эко рыло! мало ты спишь! очумѣлъ, скотина, отъ сна! Рекомендую!—продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ:—рабъ и наперсникъ! единственный обломокъ древней роскоши! Хорошъ?

Прошка глядѣлъ на насъ во всѣ глаза и между тѣмъ очевидно, продолжалъ спать.

— Хорошъ? рожа-то, рожа-то! да вы взгляните, полюбуйтесь! хорошъ? А знаете ли, впрочемъ, что? вѣдь я его выдрессировалъ—истинно вамъ говорю, выдрессировалъ! Теперь онъ у меня всѣ эти, знаете, поговорки и всякую команду—все понимаетъ; стихи даже французскіе декламируетъ. А ну, Проша, потѣшь-ка господина!

Прошка забормоталъ что-то себѣ подъ носъ скороговоркой. Я могъ разобрать только припѣвъ: *се мистигрисъ ке же лс номме, се мистигрисъ, се мистигрисъ.*

— А! каковъ каналья! это вѣдь, батюшка, Беранже! Два мѣсяца, сударь, съ нимъ бился, училъ—вотъ и плоды! А пріятный это стихотворецъ Беранже! Изъ русскихъ, я вамъ доложу, подобнаго ему нѣтъ! И все, знаете, насчетъ этихъ деликатныхъ обстоятельствъ... бестія!

Живновскій залпомъ выпилъ стаканъ водки.

— Ну, теперь маршъ, можешь спать! да смотри, у меня не зѣвать—понимаешь?

Прошка вышелъ. Живновскій вынулъ изъ кармана засаленный бумажникъ, положилъ его на столъ и выразительно хлопнулъ по немъ рукой.

— Изволите видѣть?—сказалъ онъ мнѣ.

— Вижу.

— Ну-съ, такъ вотъ здѣсь всѣ мои капиталы!.. То-есть, кромѣ тѣхъ, которые хранятся вотъ въ этомъ ломбардѣ!

Онъ указалъ на голову.

— Немного-съ! всего тутъ на все пятьдесятъ цѣлкачей... и это на всю, сударь, жизнь!

Онъ остановился въ раздумьи.

— Д-да-съ; это на всю жизнь!—сказалъ онъ торжественно и съ разстановкой, почти налѣзая на меня.—Это, что называется, на всю жизнь; то-есть, тутъ и буаръ, и манже, и сортиръ!.. д-да-съ; не красна изба углами, а впрочемъ и пироговъ тутъ не много найдется... хитро-съ!

Онъ началъ шагать по комнатѣ.

— А ужъ чего, кажется, я ни дѣлалъ! Тѣломъ торговалъ-съ! собственнымъ своимъ тѣломъ—вотъ какъ видите... Не вывезла! не вывезла шельма-кривая!

Молчаніе.

— Вотъ-съ хотъ бы насчетъ браку! Чѣмъ не молодецъ—во всѣхъ статьяхъ! однако, нѣтъ!.. Была вдова Поползновейкина, да и та спятила: «ишь, говоритъ, какія у тебя ручищи-то! такъ, пожалуй, усахаришь, что въ могилу ляжешь!» Ужъ я какихъ ей резоновъ ни представлялъ: «это, говорю, сударыня, крѣпость супружескую обозначаетъ!»—Такъ куда тебѣ! Вотъ и выходитъ, что только задаромъ на нее здоровье тратилъ: дала вотъ тулупчишку да сто цѣлковыхъ на дорогу и указала дверь! А харя-то какая, если-бъ вы знали! точно вотъ у моего Прошки! словно антихристъ на ней съ сотворенія міра престолъ имѣлъ!

Живновскій плюнулъ.

— А не то вотъ Топорковъ корнетъ: «слышалъ, говоритъ, Сеня, англичане милліонъ тому даютъ, кто цѣлый годъ однимъ сахаромъ питаться будетъ?» Что-жъ, думаю, вѣдь канальская будетъ штука милліончикъ получить. Вѣдь это выходитъ не много не мало, а такъ-себѣ взялъ да на пряники милліончикъ и получилъ! А мнѣ въ ту пору смерть приходилась неминучая—все просвисталъ! И кромѣ того, знаете, это у меня ужъ идея такая—разбогатѣть. Ну-съ, и полетѣлъ я сдуру въ Петербургъ. Пріѣхалъ; являюсь къ посланнику: «такъ и такъ, говорю, вызывались желающіе, а у меня, молъ, ваше превосходительство, желудокъ настоящій, русскій-съ»... Что-жъ бы вы думали? Перевели ему это—какъ загогочетъ бусурманишка! Даже обидно мнѣ стало; такъ, знаете, тамъ всѣ эти патріотическія чувства вдругъ и закипѣли.

— Да, это дѣйствительно обидно.

— Но, однакожъ, воротясь, задалъ-таки я Сашкѣ трезвону: уповательно полагать должно, помнитъ и теперь... Впрочемъ, и то сказать, я съ малолѣтства такой ужъ прожектеръ былъ. Голова, батюшка, горячая; съ головой сладить не могу! Это вотъ какъ въ критикахъ пишутъ: сердце съ разсудкомъ въ разладѣ—ну, какъ засядетъ оно туда, никакими силами оттуда и не вытащишь: на стѣну лѣзть готовъ!

— А теперь что же вы располагаете дѣлать?

— Теперь? Ну, теперь-то мы свои дѣлишки поправимъ! Въ Крутогорскъ, батюшка, ѣдемъ, въ Крутогорскъ; въ страну, съ позволенія сказать, антропофаговъ, страну дикую, лѣсную! Нога, сударь, человѣческая тамъ никогда не бывала, дикіе звѣри по улицамъ ходятъ! Вотъ-съ мы съ вами въ какую сторонушку запропастились!

Живновскій въ увлеченіи, вѣроятно, позабылъ, что передъ нимъ сидитъ одинъ изъ смиренныхъ обывателей Крутогорска. Онъ быстрыми шагами ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, потирая руки, и физіономія его выражала нѣчто плотоядное, какъ будто въ самомъ дѣлѣ онъ готовъ былъ живьемъ пожрать крутогорскую страну.

— Спасибо Сашкѣ Топоркову! спасибо!—говорилъ онъ, очевидно забывая, что тотъ же Топорковъ обольстилъ его насчетъ сахара.—«Ступай, говоритъ, въ Крутогорскъ, тамъ, братецъ, есть винцо тенерифъ—это, братъ, винцо!» Ну, я, знаете, человѣкъ военный, долго не думаю: кушакъ да шапку или, какъ сказалъ мудрецъ, *otia te sit te*... зарапортовался! ну, да все равно! Слава Богу, теперь ужъ недалечко и до мѣста.

— Однакожъ, я все-таки не могу сообразить, на что же вы разсчитываете?

— На что?—спросилъ онъ меня съ нѣкоторымъ изумленіемъ, вдругъ остановясь передо мною:—какъ на что? Да вы, батюшка, не знаете, что такое Крутогорскъ! Крутогорскъ—это, я вамъ доложу, сторона! Тамъ, знаете, купецъ—борода безобразнѣйшая, кафтанишка на немъ весь оборванный, самъ нищимъ смотритъ—нѣтъ, милліонщикъ, сударь вы мой, въ сапогѣ милліоны носитъ! Ну, а намъ этихъ негоціантовъ, что въ кургузыхъ тамъ пиджакахъ щеголяютъ да тенерифцемъ отдѣлываются, даромъ не надобно! Это не по нашей части! Намъ подавай этакъ бороду, такую, знаете, бороду, что какъ давнулъ ее, такъ бы ста-

ринные эти крестовики да лабанчики изъ нея и посыпались—вотъ намъ чего надобно! А знаете, не хватитъ ли намъ желудочнаго?—

Я пла-ачу, я стра-ажду!

Но Прошка не являлся. Живновскій повторилъ свой припѣвъ уже съ ожесточеніемъ. Прошка явился.

—Что-жъ ты шутить, что ли, собачій сынъ, со мною вздумалъ?—возопилъ Живновскій.—Службу свою забылъ! Такъ я тебѣ ее припомню, ска-атина!

Онъ распростеръ свою длань и совершенно закрылъ ею лицо ополоумѣвшаго раба.

— Драться я, доложу вамъ, не люблю; это дѣло ненадежное! А вотъ помять, скомкать этакъ мордасы—ужъ это наше почтеніе, на томъ стоимъ-съ. У насъ, сударь, въ околоткѣ помѣщица жила, дѣвица бездѣтная, такъ она истинная была на эти вещи затѣйница. И тоже бить не била, а проштрафится у нея дѣвка, она и пошлетъ ее по деревнямъ милостыню сбирать: соберетъ она тамъ куски какіе—въ застольную: и дворовые сыты, и дѣвка наказана. Вотъ это, сударь, управленіе! это я называю управленіемъ!

Онъ выпилъ.

— Знаете ли, однакожъ, — сказалъ онъ:—напитокъ-то вѣдь начинаетъ забирать меня—какъ вы думаете?

Я согласился.

— Стара стала—слаба стала! Шли мы, я помню, въ восемьсотъ четырнадцатомъ, походомъ—въ мѣсяцъ по четыре ведра на брата выходило! Ну-съ, четырежды восемь=тридцать два—кажется, лопнуть можно!—такъ нѣтъ же, всѣ въ своемъ видѣ! такая ужъ компанія веселая собралась: все ребята были теплые!

На станціонныхъ часахъ пробило десять. Я зѣвнулъ.

— Да вы постойте, не зѣвайте! Я вамъ разскажу, былъ со мной случай. Былъ у меня братъ, такой братъ, что днемъ съ огнемъ не сыщешь—душа! Служилъ онъ, сударь, въ одномъ полку съ нѣкіимъ Перетыкинымъ—такъ, жалконькій былъ офицеришка. Вотъ только и поклялись они промежъ себя, въ счастьи ли, въ несчастьи ли, вывозить другъ друга. Братъ вышелъ въ отставку, а Перетычка эта полѣзла въ гору, перешла, батюшка, къ штатскимъ дѣламъ и дослужилась тамъ до чиновъ генеральскихъ. Въ двадцатыхъ годахъ, какъ теперь помню, пробубнился я жесточайшимъ манеромъ—штабсъ-капитанъ Терпишка въ пухъ объигралъ,—натурально, къ брату. Вотъ и припомнилъ онъ,

что есть у него другъ и пріятель Перетыкинъ: «онъ, говоритъ, тебя пристроитъ!» Пишетъ онъ къ нему письмо, къ Перетычкѣ-то: «помнишь ли, дескать, другъ любезный, какъ мы съ тобой напролетъ ночи у метрессъ прокучивали, какъ ты, какъ я... помоги брату!» Являюсь я въ Петербургъ съ письмомъ этимъ прямо къ Перетыкину. Принялъ онъ меня, во-первыхъ, самымъ, то-есть, безобразнѣйшимъ образомъ: ни самъ не садится, ни мнѣ не предлагаетъ. Прочиталъ письмо. «А кто это, говоритъ, этотъ господинъ Живновскій?» и такъ, знаете, это равнодушно, и губы у него такія тонкія—ну, бестія, одно слово—бестія. Это, говорю, ваше превосходительство, мой братъ, а вашъ старинный другъ и пріятель!—«А, да, говоритъ, теперь припоминаю! увлеченія молодости!» Ну, доложу вамъ, я не вытерпѣлъ!—А вы, говорю, ваше превосходительство, вѣрно и въ ту пору каналья изволили быть!.. Такъ и ляпнулъ. Что-жъ бы вы думали? Онъ же на меня въ претензіи: зачѣмъ, дескать, обозвалъ его!

Молчаніе.

— И вотъ все-то я такъ маюсь по бѣлу свѣту. Куда ни сунусь, вездѣ какая-нибудь пакость... Ну, да слава Богу, теперь, кажется, дѣло на ладъ пойдетъ; теперь я покоенъ... Да вы-то сами ужъ не изъ Крутогорска ли?

— Да.

— Такъ-съ; благодатная это сторона! Чай, пишете, бумагу переводите! Ну, и здѣсь, — прибавилъ онъ, хлопая себя по карману: — полагательно, толстушечка-голубушка водится!

— Ну, разумѣется.

— Такъ-съ, безъ этого нельзя-съ. Вотъ и я тоже туда ѣду; бородушекъ этихъ, знаете, всѣхъ къ рукамъ приберемъ! Руки у меня, какъ изволите видѣть, цѣпкія, а и въ Писаніи сказано: «овцы безъ пастыря—толку не будетъ». А я вамъ истинно доложу, что тѣмъ эти бороды мнѣ любезны, что съ ними можно просто, безъ церемоній... Позвалъ онъ тебя, напримѣръ, на обѣдъ: ну, надоѣла борода—и вонъ ступай!

— По крайней мѣрѣ, имѣете ли вы къ кому-нибудь рекомендацію въ Крутогорскъ?

— Ре-ко-мен-да-цію! А зачѣмъ, смѣю васъ спросить, мнѣ рекомендація? Какая рекомендація? Моя рекомендація вотъ гдѣ!—закричалъ онъ, ударяя себя по лбу.—Да, здѣсь она, въ житейской моей опытности! Пріѣду въ Крутогорскъ,

явлюсь къ начальству, объяснюсь, что мнѣ нужно... ну-съ, и дѣло въ шляпѣ... А то еще рекомендація!.. Эй, водки и спать!—прибавилъ онъ совершенно неожиданно.

И онъ побрелъ, пошатываясь, во-свояси.

На другой день, когда я проснулся, его уже не было; станціонный писарь сообщилъ мнѣ, что онъ уѣхалъ еще затемно и все спѣшилъ: «мнѣ, говоритъ, пора; пора, братъ, и дѣлишки свои поправить». Показывалъ также ему свой бумажникъ и говорилъ, что «тутъ, братъ, на всю жизнь; съ этимъ, дружище, широко не разгуляешься!..»

Прошло мѣсяца два; я воротился изъ командировки и совсѣмъ забылъ о Живновскомъ, какъ вдругъ встрѣтилъ его, въ одно прекрасное утро, на улицѣ.

— Ба! ну, какъ дѣла?

Подпоручикъ смотрѣлъ не весело: на немъ висѣла шинель довольно подозрительнаго свойства, а сапоги были, очевидно, не чищены съ самаго пріѣзда въ Крутогорскъ.

— Надулъ Сашка!—проворчалъ онъ угрюмо.

— Чѣмъ же вы живете?

— А вотъ лотереи разыгрываемъ... Намедни, прошку на свозъ продалъ, и вѣрите ли: бестія, даже обрадовался, какъ я ему объявилъ.

— Ну, а являлись ли вы, какъ предполагали?

Онъ махнулъ рукой и пошелъ дальше.

Однакожъ, я могъ разслышать, какъ онъ ворчалъ: «ну, задамъ же я тебѣ звону, бестія Сашка, дай только выбраться мнѣ отсюда!»

И, тѣмъ не менѣе, вы и до сихъ поръ, благосклонный читатель, можете встрѣтить его, прогуливающагося по улицамъ города Крутогорска и въ особенности принимающаго дѣятельное участіе во всѣхъ пожарахъ и другихъ общественныхъ бѣдствіяхъ. Сказываютъ даже, что онъ успѣлъ пріобрѣсти значительный кругъ знакомства, для котораго неистощимымъ источникомъ наслажденій служатъ разсказы о претерпѣнныхъ имъ бѣдствіяхъ и крушеніяхъ во время продолжительнаго плаванія по бурному морю житейскому.

Порфирій Петровичъ.

„Человѣкъ, казенныхъ денегъ не расточающій, свои берегущій, чужихъ не желающій"...

Если вы не знакомы съ Порфиріемъ Петровичемъ, то совѣтую какъ можно скорѣе исправить эту опрометчивость. Его уважаетъ весь городъ; онъ уже двадцать лѣтъ старшиною благороднаго собранія, и его превосходительство ни съ кѣмъ не садится играть въ вистъ съ такимъ удовольствіемъ, какъ съ Порфиріемъ Петровичемъ.

Не высокъ онъ ростомъ, а между тѣмъ всякое тѣлодвиженіе его брызжетъ нестерпимымъ величіемъ. Баталіонный командиръ, охотно отдающій справедливость всему великому, въ заключеніе своихъ восторженныхъ панегириковъ о немъ, всегда прибавляетъ: «Какъ жаль, что Порфирій Петровичъ ростомъ не вышелъ; отличный былъ бы губернаторъ!» Нельзя сказать также, чтобъ и во всей позѣ Порфирія Петровича было много граціи; напротивъ того, весь онъ какъ-то кряжемъ сложенъ; но зато сколько спокойствія въ этой позѣ! сколько достоинства въ этомъ взорѣ, померкающемъ онъ избытка величія!

Когда онъ протягиваетъ вамъ руку, вы ощущаете, что въ вашей рукѣ заключено нѣчто неуловимое; это не просто рука, а какое-то блаженство или, лучше сказать, благоуханіе, принявшее форму руки. И не то чтобы онъ подалъ вамъ какіе-нибудь два пальца, или же сунулъ руку наизнанку, какъ дѣлаютъ нѣкоторые, — нѣтъ, онъ подаетъ вамъ всю руку, какъ слѣдуетъ, ладонь на ладонь, но вы ни на минуту не усомнитесь, что передъ вами человѣкъ, который имѣлъ бы полное право подать вамъ одинъ свой мизинецъ. И вы чувствуете, что уваженіе ваше къ Порфирію Петровичу возрастаетъ до остервенѣнія.

Въ сужденіяхъ своихъ, въ особенности о лицахъ, Порфирій Петровичъ уклончивъ; если иногда и скажетъ онъ вамъ «да», то вы несомнѣнно чувствуете, что здѣсь слышится нѣчто похожее на «нѣтъ», но такое крошечное «нѣтъ», что оно придаетъ даже рѣчи что-то пріятное, разслабляющее. Онъ не прочь иногда пошутить и сострить, но эта шутка никого не компрометируетъ; напротивъ того, она доказываетъ только, что Порфирій Петровичъ вполнѣ благонамѣренный человѣкъ: и могъ бы напакостить, но не хочетъ пользоваться своимъ преимуществомъ. Онъ никого, напримѣръ, не назоветъ болваномъ или старымъ колпа-

комъ, какъ дѣлаютъ нѣкоторые обитатели пустынь, не понимающіе обращенія; если хотите, онъ выразитъ ту же самую мысль, но такъ деликатно, что вмѣсто «болвана» вы удобно можете разумѣть «умницу», и вмѣсто «стараго колпака»—«почтеннаго старца, украшеннаго сѣдинами».

Когда говорятъ о взяткахъ и злоупотребленіяхъ, Порфирій Петровичъ не то чтобы заступался за нихъ, а только переминается съ ноги на ногу. И не оттого, чтобъ онъ всею душой не ненавидѣлъ взяточниковъ, а просто отъ сознанія, что вообще родъ человѣческій подверженъ слабостямъ.

Порфирій Петровичъ не поетъ и не играетъ ни на какомъ инструментѣ. Однако, всѣ чиновники и всѣ знакомые его убѣждены, что онъ могъ бы и пѣть, и играть, если-бъ только захотѣлъ. Онъ охотно занимается литературой, больше по части повѣствовательной, но и тутъ отдаетъ преимущество повѣстямъ и романамъ, одолженнымъ своимъ появленіемъ дамскому перу, потому что въ нихъ нѣтъ ничего «этакого». «Дама, говоритъ онъ при этомъ, ужъ то преимущество передъ мужчиной имѣетъ, что она, можно сказать, розанъ, и, слѣдовательно, ничего, кромѣ запаховъ, издавать не можетъ».

Говорятъ, будто у Порфирія Петровича есть деньги, но это только предположенія, потому что онъ ими никого никогда не ссужалъ. Однако, какъ умный человѣкъ, онъ металла не презираетъ и въ душѣ отдаетъ большое предпочтеніе тому, кто имѣетъ, предъ тѣмъ, кто не имѣетъ. Тѣмъ не менѣе, это предпочтеніе не выражается у него какъ-нибудь нахально, и развѣ нѣкоторая томность во взглядѣ изобличитъ внутреннюю тревогу души его.

Очень великолѣпенъ Порфирій Петровичъ въ мундирѣ въ тѣ дни, когда у губернатора бываетъ пріемъ, и послѣ того въ соборѣ. Тутъ самый ростъ его какъ-то не останавливаетъ ничьего вниманія, и всякій благонамѣренный человѣкъ необходимо долженъ думать, что такой, именно такой ростъ слѣдуетъ имѣть для того, чтобъ быть величественнымъ. Одно обстоятельство сильно угрызаетъ его — это отсутствіе бѣлыхъ брюкъ. Не ѣздилъ ли онъ верхомъ на Константинѣ Владимирычѣ, не осѣдлалъ ли, не взнуздалъ ли онъ его до такой степени, что несчастный старецъ головой пошевелить не можетъ? И между тѣмъ — о, несправедливость судебъ! — Константинъ Владимирычъ носитъ бѣлыя брюки, и притомъ такъ носитъ, какъ будто

они у него пестрыя, а онъ, Порфирій Петровичъ, вѣчно осужденъ на черный цвѣтъ.

Не менѣе величественъ Порфирій Петровичъ и на губернскихъ балахъ, въ тѣ минуты, когда всѣ собравшіеся не осмѣливаются приступить ни къ какимъ дѣйствіямъ въ ожиданіи его превосходительства. Онъ ласково бесѣдуетъ со всѣми, не роняя, однакоже, своего достоинства и стараясь прильнуть къ губернскимъ тузамъ. Когда входитъ его превосходительство, глаза Порфирія Петровича выражаютъ тоску и какъ будто голодъ; и до той поры онъ, изнемогая отъ жажды, чувствуетъ себя въ степи Сагарѣ, покуда его превосходительство не приблизится къ нему и не пожметъ его руки. Послѣ этого акта Порфирій Петровичъ притопываетъ ножкой и, дѣлая граціозный поворотъ на каблукахъ, устремляется всею сущностью къ карточному столу, для составленія его превосходительству приличной партіи. За карточнымъ столомъ Порфирій Петровичъ не столько великолѣпенъ, сколько милъ; въ цѣлой губерніи нѣтъ такого пріятнаго игрока; онъ не сердится, когда проигрываетъ, не глядитъ вамъ алчно въ глаза, какъ бы желая выворотѝть всѣ внутренности вашего кармана, не подсмѣивается надъ вами, когда вы проигрываете, однакожъ, и не сидитъ, какъ истуканъ. Напротивъ того, онъ охотно позволитъ себѣ, выходя съ карты, выразиться: «не съ чего, такъ съ бубенъ», или же, въ затруднительныхъ случаяхъ, крякнуть и сказать: «тэ-э-ксъ». Вообще, онъ старается руководить своего партнера болѣе взорами и тѣлодвиженіями; если же партнеръ такъ тупъ (и это бываетъ), что разговора этого не понимаетъ, то оставляетъ его на произволъ судебъ, употребивъ, однакожъ, напередъ всѣ мѣры къ вразумленію несчастнаго.

Вообще, Порфирій Петровичъ составляетъ рессурсъ въ городѣ, и къ кому бы вы ни обратились съ вопросомъ о немъ, отовсюду навѣрное услышите одинъ и тотъ же отзывъ: «какой пріятный человѣкъ Порфирій Петровичъ!», «какой милый человѣкъ Порфирій Петровичъ!» Что отзывы эти нелицемѣрны—это свидѣтельствуется не только тономъ голоса, но и всею позой говорящаго. Вы слышите, что у говорящаго, въ это время, какъ будто порвалось что-то въ груди отъ преданности къ Порфирію Петровичу.

Однако, не вдругъ и не безъ труда досталось ему это завидное положеніе. Онъ, какъ говорятъ его почтенные сограждане, произошелъ всю механику жизни и вышелъ съ

честью изъ всѣхъ потасовокъ, которыми судьбѣ угодно было награждать его.

Папа Порфирія Петровича былъ сельскій понамарь; maman — понамарица. Несомнѣнно, что герою нашему предстояла самая скромная будущность, если-бъ не одно обстоятельство. Извѣстно, что въ древнія времена по селамъ и весямъ нашего обширнаго отечества разъѣзжали благодѣтельные геніи, которые замѣчали природныя способности и необыкновенное остроуміе мальчиковъ, и затѣмъ, по влеченію своихъ добрыхъ сердецъ, усердно занимались устройствомъ судебъ ихъ.

На этотъ разъ благодѣтель обратилъ вниманіе не столько на остраго мальчика, сколько на его маменьку. Маменька была женщина полная, грудь имѣла высокую и бѣлую, лицо круглое, губы алыя, глаза сѣрые, на выкатѣ, и рѣшительные. Полюбилась она старику-благодѣтелю. Все ему мерещится то Уріева жена полногрудая, то купель силоамская; то будто плыветъ онъ къ берегамъ ханаанскимъ по морю житейскому, а житейское-то море такого чудномолочнаго цвѣта, что гортань его сохнетъ отъ жажды нестерпимой. Наклонитъ онъ свою распаленную голову, чтобы испить отъ моря житейскаго, но — о, чудо! — передъ нимъ ужъ не море, а снѣжный суметъ, да такой-то въ немъ снѣгъ мелкій да пушистый, что только любо старику. А понамарица только смѣется, а дальше не допускаетъ: «дай, говоритъ, ваше благородіе, мѣсто мужу въ губернскомъ городѣ!»

А мужъ — пьяница необрѣзанный; утромъ, не успѣетъ еще жена встать съ постели, а онъ лежитъ ужъ на лавкѣ да распѣваетъ канты разные, а самъ горько-прегорько разливается-плачетъ. И не то чтобъ старъ былъ—всего лѣтъ не больше тридцати,—изъ себя недуренъ и теноръ такой сладкій имѣлъ, да вотъ поди ты съ нимъ! Разсудокъ ужъ больно не крѣпокъ былъ, не могъ сносить сивушнаго запаха. Билась съ нимъ долго жена, однако, совладать не могла; ни просьбы, ни слезы — все ни по чемъ: «изыди, говоритъ, окаянная, въ огнь вѣчный». Видитъ жена, что мужъ малодушествуетъ, ее совсѣмъ обросилъ, только блудницей вавилонскою обзываетъ, а самъ на постели безъ дѣла валяется; а она бабенка молодая да полная, жить-то хочется,—ну, и пошла тоже развлекаться.

Стала она сначала ходить къ управительшѣ, на горькую свою долю жаловаться, а управительшинъ-то сынъ молодой,

да такой милосердый да добрый; живѣйшее, можно сказать, участіе принялъ. Засидится ли она поздно вечеромъ—проводить ее пойдетъ до дому; сѣно ли у понамаря все выйдетъ — у отца сѣна выпросить, ржицы изъ господскихъ амбаровъ отсыплетъ — и все это по сердоболію; а управительша, какъ увидитъ понамарицу, все плачетъ, точно глаза у нея на мокромъ мѣстѣ.

Вотъ идетъ однажды молодецъ поздно вечеромъ, понамарицу провожаетъ, а мѣсто, которымъ привелось проходить, глухое.

— Страшно мнѣ чтой-то, Евсигней Ѳедотычъ,—говоритъ понамарица:—идите-ка поближе ко мнѣ.

Онъ подошелъ и руку ей подалъ, да ужъ и самъ не знаетъ, какъ только обнялъ ее, а она и слышитъ, что онъ весь словно въ лихорадкѣ трясется.

— Не могу,—говоритъ:—воля ваша, Прасковья Михайловна, не могу дальше идти.

Сѣли они на пенекъ, да и молчатъ; только слышитъ она, что Евсигнейка дышитъ ужъ что-то очень прерывисто, точно захлебывается. Вотъ она въ слезы.

— Всѣ-то,—говоритъ:—меня, сироту, покинули да оставили; вотъ и вамъ, Евсигней Ѳедотычъ, тоже, чай, бросить меня желательно.

А онъ все молчитъ да вздыхаетъ: глупъ еще, молодъ былъ. Видитъ она, что малый-то ужъ больно простъ, безъ поощренья ничего съ нимъ не сдѣлаешь.

— Чтой-то,—говоритъ:—мнѣ будто холодно; ноженьки до смерти иззябли. Хошь бы вы, что ли, тулупчикъ съ себя сняли да обогрѣли меня, Евсигней Ѳедотычъ.

Дѣло было весеннее: на поляхъ травка только-что показываться стала, и по ночамъ морозцемъ еще порядочно прохватывало. Снялъ онъ съ себя мерлушчатый тулупчикъ, накинулъ ей на плеча, да какъ сталъ застегивать—руки-то и не отнимаются, и колѣнки пуще дрожатъ и подгибаются. А она какъ-то ласково на него поглядываетъ да по головкѣ рукой гладитъ.

— Вотъ,—говоритъ:—кабы у меня мужъ такой красавчикъ да умница былъ, какъ вы, Евсигней Ѳедотычъ...

Прибыли они такимъ манеромъ съ полчаса, и пошли домой ужъ повеселѣе. Не то чтобъ «Евсигней Ѳедотычъ», или «Прасковья Михайловна», а «Евсигнеюшка, голубчикъ», «Параша, жись ты моя»—другихъ словъ и нѣтъ.

Долго ли, коротко ли, а стали на селѣ замѣчать, что

управительскій сынъ и легъ, и всталъ—все у понамарицы. А она себѣ на умѣ, видитъ, что онъ ужъ больно голову терять началъ, ну, и попридерживать его стала.

— Я,—говоритъ: — Евсигнеюшка, изъ-за тебя, смотри, какой грѣхъ на душу приняла!

Ну, и въ слезы.

А иногда возьметъ его руками за голову, да къ груди-то своей и притянетъ, словно ребенка малаго; возьметъ гребень, да и начнетъ ему волосы расчесывать.

— А хочешь,—говоритъ:—дитятко, пряничка дамъ?

Такимъ образомъ, она все больше лаской да словами привораживала его къ себѣ.

Однако, въ домѣ у управителя стали пропадать то вещи, то деньги. Всю прислугу перепороли; не отыскивается воръ, да и все тутъ. Однажды и въ господской кассѣ не досчитались ста рублей; нечего дѣлать, поморщился старикъ-управитель, положилъ свои деньги. И невдомёкъ никому, что у понамарицы завелись чаи да обновы разныя. Вотъ однажды, въ темную ночь, слышатъ караульщики, что къ господской конторкѣ кто-то ползкомъ-ползкомъ пробирается; затаили они дыханіе, да и ждутъ, что̀ будетъ. Подползъ воръ къ двери, всталъ, сталъ прислушиваться: видитъ, что все кругомъ тихо, перекрестился и отворилъ дверь легонько. Проходитъ прихожую мимо караульщиковъ, и въ горницу, прямо къ сундуку. Вынулъ ключъ и отперъ кассу. А караульщики видятъ, что дѣло-то ужъ кончено и вору не уйти, смѣются да пугаютъ его. Кто чихнетъ, кто кашлянетъ, кто застонетъ, будто во снѣ: «ахъ, батюшки, воры!» А воръ-то такъ и оцѣпенѣетъ весь. Такимъ образомъ они съ четверть часа надъ нимъ тѣшились; попритихли опять. Вздохнулъ воръ и только-что началъ рыться въ ящикѣ, какъ двѣ дюжія руки и схватили его сзади. Подняли управителя, засвѣтили огня; да какъ увидалъ старикъ вора, такъ и всплеснулъ руками.

— Такъ вотъ,—говоритъ:—кто воръ-отъ!

Да и повалился.

А Евсигнейка словно остервенился.

— Ну, воръ, такъ воръ! что̀-жъ, что воръ!

Однако, сынъ не сынъ управительскій, а надѣли рабу Божьему на ноги колодки, посадили въ темную да на другой день къ допросу: «куда деньги дѣвалъ, что̀ прежде воровалъ?» Какъ ни бились, — однихъ волосъ отецъ двѣ головы вытаскалъ,—однако, не признался: стоитъ какъ де-

ревянный, слова не молвитъ. Только когда помянули Парашку—поблѣднѣлъ и затрясся весь, да и говоритъ отцу:

— Ты ее, батька, не замай, а не то и тебя пришибу, и деревню всю вашу выжгу, коли ей какое ни-на-есть безпокойствіе отъ васъ будетъ. Я одинъ деньги укралъ, одинъ и въ отвѣтѣ за это быть долженъ, а она тутъ ни при чемъ.

Недѣли черезъ двѣ свезли его въ рекрутское присутствіе, да и забрили лобъ.

Въ этой-то горести застала Парашку благодѣтельная особа. Видитъ баба—дѣло плохо, хоть изъ села вонъ бѣги: совсѣмъ проходу нѣтъ. Однако, не потеряла головы, и не то чтобы кинулась на шею благодѣтелю, а выдержала характеръ. Смекнулъ старикъ, что тутъ силой не возьмешь—и впрямь перетащилъ мужа въ губернскій городъ, изъ духовнаго званія выключилъ и помѣстилъ въ какое-то присутственное мѣсто бумагу изводить.

Подрастаетъ Порфирка и все около себя примѣчаетъ. И въ школу ходить началъ, способности показалъ отмѣнныя; къ старику-благодѣтелю все ластится, тятькой его называетъ, а на своего-то отца на пьянаго ужъ и смотрѣть не хочетъ. Все даже думаетъ, какъ бы ему напакостить: то сонному въ ротъ табаку напихаетъ, то сальною свѣчой всю рожу вымажетъ, а Парашка знай себѣ сидитъ да хохочетъ. Жили они не то чтобы бѣдно, а безалаберно. У Парашки шелковыхъ платьевъ три короба, а рубашки порядочной нѣтъ; пойдетъ она на базаръ, на рубль пряниковъ купитъ, а дома хлѣба корки нѣтъ. Сиживалъ-таки Порфирка нашъ голодомъ не одинъ день; хаживалъ больше все на босу ногу, зимой и лѣтомъ, въ одномъ изодранномъ тулупчишкѣ.

Нашелъ онъ какъ-то на дорогѣ гривенникъ—поднялъ и схоронилъ. Въ другой разъ благодѣтель гривенничкомъ пожаловалъ—тоже схоронилъ. Полюбились ему деньги: дома объ нихъ только и разговору. Отецъ ли пьяный проспится—все хнычетъ, что денегъ нѣтъ; мать къ благодѣтелю пристаетъ—все деньгами попрекаетъ.

«Эка штука деньги!—думаетъ Порфирка:—а у меня ихъ всего два гривенника. Вотъ, молъ, кабы этихъ гривенниковъ хошь эко мѣсто, завелъ бы я лавочку, накупилъ бы пряниковъ. Идутъ это мальчишки въ школу, а я имъ: не побрезгайте, честные господа, нашимъ добромъ! Ну, извѣстно, кой пряникъ десять копеекъ стоитъ, а ты за него шесть пятаковъ».

Сталъ онъ и поворовывать; отецъ жалованье получитъ— первымъ дѣломъ въ кабакъ, цѣловальника съ наступающимъ первымъ числомъ поздравить. Воротится домой пьянѣе вина, повалится на лавку, да такъ и дрыхнетъ; а Порфирка, между тѣмъ, подкрадется, всѣ карманы обшаритъ, да въ чуланъ, въ тряпочку и схоронитъ. Парашка потомъ къ мужу пристаетъ: «куда деньги дѣвалъ?» а онъ только глазами хлопаетъ. Извѣстное дѣло—пьяный человѣкъ! что отъ него узнаешь? Либо пропилъ, либо потерялъ.

По тринадцатому году отдали Порфирку въ земскій судъ, не столько для письма, сколько на побѣгушки приказнымъ за водкой въ ближайшій кабакъ слетать. Въ этомъ почти единственно состояли всѣ его занятія, и, признаться сказать, не красна была его жизнь въ эту пору; кто за волоса оттреплетъ, кто въ спину колотушекъ надаетъ; да бьютъ-то все смаху, не изловчась въ такое мѣсто, пожалуй, угодитъ, что духъ вонъ. А жалованья за всѣ эти тиранства получалъ онъ всего полтора рубля въ треть бумажками.

При помощи услужливости и расторопности, втерся онъ, однакожъ, въ довѣріе къ исправнику, такъ что тотъ и на слѣдствія брать его сталъ. Способности оказалъ онъ тутъ необыкновенныя; спитъ, бывало, исправникъ, не тужитъ, а онъ и людей опроситъ, и благодарность соберетъ, и все, какъ слѣдуетъ, исправитъ. По двадцатому году, самъ исправникъ его Порфиріемъ Петровичемъ звать началъ, а приказные — не то чтобъ шлепками кормить, а и посмотрѣть-то ему въ глаза прямо не смѣютъ. Земскій судъ въ такой порядокъ привелъ, что самъ губернаторъ на ревизіи, какъ ни ковырялъ въ книгахъ, никакой провинности замѣтить не могъ; съ тѣмъ и уѣхалъ.

Однажды сидитъ утромъ исправникъ дома, чай пьетъ; по правую руку у него жена, на полу дѣтки валяются; сидитъ исправникъ и блаженствуетъ. Помышляетъ онъ о чинѣ асессорскомъ, ловитъ мысленно такихъ воровъ и мошенниковъ, которыхъ пять предмѣстниковъ его да и самъ онъ поймать не могли. Жметъ ему губернаторъ руку со слезами на глазахъ за спасеніе губерніи отъ такой заразы... А у разбойниковъ рожи-то, рожи...

— Какъ это вы, Демьянъ Иванычъ, подступились къ такимъ антихристамъ? — говоритъ ему дворянскій засѣдатель, блѣднѣя отъ ужаса.

— Дѣло мастера боится,— отвѣчаетъ Демьянъ Иванычъ, скромно потупляя глаза.

Но сонъ разсѣивается; входитъ Порфирій Петровичъ.

— Милости просимъ, милости просимъ, Порфирій Петровичъ! — восклицаетъ Демьянъ Иванычъ. — А я, любезный другъ, вотъ помечталъ тутъ маленько, да, признаться, чуть не соснулъ. За надобностью, что ли, за какой?

— Да, за надобностью,—отвѣчаетъ Порфирій Петровичъ какъ-то не совсѣмъ охотно.

— Что же такое?

— Да то, что служить мнѣ у васъ больше не приходится: жалованье маленькое, скоро вотъ первый чинъ получу. Ну, и мѣсто это совсѣмъ не по моимъ способностямъ.

— Жаль съ тобою разстаться, Порфирій Петровичъ, жаль, право, жаль. Безъ тебя, пожалуй, не много тутъ дѣла сдѣлаешь. Ну, да коли ужъ чувствуешь этакое призваніе, такъ я тебѣ не злодѣй.

— Жаль-то оно, точно, что жаль-съ, Демьянъ Иванычъ, и мнѣ васъ жалко-съ, да не въ этомъ дѣло-съ...

— Что-жъ тебѣ надо?

— Да не будетъ ли вашей милости мнѣ тысячки двѣ-съ, не въ одолженіе, а такъ, дарственно, за труды-съ.

— А за какія бы это провинности, не позволите ли полюбопытствовать?

— Разные документы у насъ въ рукахъ имѣются.

Демьянъ Иванычъ и ротъ разинулъ.

— Документы! Какіе документы? — кричитъ. — Что ты тамъ городишь, разбойникъ этакой! кляузу, чай, какую-нибудь соорудилъ!

— Разные есть документы-съ, все вашей руки-съ. Довѣріемъ вы меня, Демьянъ Иванычъ, облекали—извѣстно, не драть же мнѣ вашихъ записокъ-съ, неделикатно-съ: начальники! Изволите помнить, въ ту пору купецъ работника невзначай зашибъ — вы мнѣ еще записку писали, чтобъ-съ купца-то донять по обѣщанію... Вѣрьте Богу, Демьянъ Иванычъ, а такихъ документиковъ дешевле двухъ тысячъ никто не отдастъ! Задаромъ-съ, совсѣмъ задаромъ, можно сказать, изъ уваженія къ вамъ, что какъ вы мои начальники были, ласкали меня, — ну, и у насъ тоже не безчувственность, а чувство въ сердцѣ обитаетъ-съ.

Исправника чуть параличъ не пришибъ: упалъ на диванъ, да такъ и не встаетъ; однако, отлили водой—очнулся.

— Сподобилъ,—говоритъ:—меня Богъ этакую змѣю выкормить, за грѣхи мои.

— Оно конечно-съ, Демьянъ Иванычъ,—отвѣчаетъ Пор-

фирій Петровичъ:—оно конечно, змѣя-съ, да вы изволите милостиво разсудить—вѣдь и грѣхи-то ваши не малые. Въ тѣ поры вонъ убійцу оправили, а то еще невиннаго подъ плети подвели; ну, и меня тоже, можно сказать, съ чистою душой, во всѣ эти дѣла запутали. Такъ вотъ коли этакъ-то посудишь, оно и не дорого двѣ тысячи. Особливо, какъ на все это документики да свидѣтели-съ. А я вамъ доложу, что мнѣ двѣ тысячи безпремѣнно, до зарѣзу нужно-съ. Сами посудите: я въ губернскій городъ ѣду, мѣсто по способностямъ своимъ имѣть желаю-съ, нельзя же тутъ безъ рекомендаціи, надо у всякаго сыскать-съ.

Дѣлать нечего, Демьянъ Иванычъ—

...далъ ему злата и проклялъ его!

По пріѣздѣ въ губернскій городъ, Порфирій Петровичъ велъ себя очень прилично, одѣлся чистенько, пріискалъ себѣ квартиру и съ помощью рекомендательныхъ писемъ не долго оставался безъ мѣста. Самъ губернаторъ изволилъ припомнить необычайную, выходящую изъ порядка вещей опрятность, замѣченную въ земскомъ судѣ при ревизіи, и тотчасъ же предложилъ Порфирію Петровичу мѣсто секретаря въ другомъ земскомъ судѣ; но герой нашъ, къ общему удивленію, отказался.

— Осмѣлюсь доложить вашему превосходительству,—отвѣчалъ онъ, слегка присѣдая:—осмѣлюсь доложить, что ужъ я сызмальства въ этомъ прискорбіи находился, формуляръ свой, можно сказать, весь измаралъ-съ. Чувства у меня, ваше превосходительство, совсѣмъ не такія-съ: не то чтобъ къ пьянству или къ безобразію, а больше отечеству пользу приносить желаю. Будьте милостивы, сподобьте принять въ канцелярію вашего превосходительства!

Его превосходительство взглянули благосклонно.

— Ну, — говоритъ: — ужъ если тово, такъ я, теперича, благородство...

И махнули рукой.

Зажилъ Порфирій Петровичъ въ губернскомъ городѣ, и все думаетъ, какъ бы ему въ начальникахъ сыскать. Обратилъ онъ по началу на себя вниманіе яснымъ пониманіемъ дѣла. Другой смотритъ въ дѣло и видитъ въ немъ фигу, а Порфирій Петровичъ сейчасъ запримѣтитъ самую настоящую «суть»,—ну, и развиваетъ ее какъ слѣдуетъ. Вострепетали исправники, вздрогнули городничіе, поблѣднѣли дворянскіе засѣдатели; только и слышится по губерніи: «ахъ ты, Господи!» И не то чтобъ поползновеніе ка-

кое-нибудь—сохрани Богъ! прослезится даже, бывало, какъ начнетъ говорить о безкорыстіи. Вздумалъ-было, однажды, какой-то исправникъ рыжичковъ своего соленья ему прислать—вознегодовалъ ужасно, и прямо къ его превосходительству: «такъ, молъ, и такъ: за что такое поношеніе?» Рыжички разыграли въ лотерею въ пользу бѣдныхъ, а исправника выгнали.

Однако, все ему казалось, что онъ не довольно бойко идетъ по службѣ. Замѣтилъ онъ, что жена его начальника не то чтобъ балуетъ, а такъ, по сторонамъ поглядываетъ. Самъ онъ считалъ себя къ этому дѣлу непригоднымъ,—вотъ и думаетъ, нельзя ли ему какъ-нибудь полезнымъ быть для Татьяны Сергѣевны.

Татьяна Сергѣевна была дама образованная, нервная; смолоду слыла красавицей; сначала, скуки ради, пошаливала, а потомъ ужъ привычку такую взяла. Мужъ у нея былъ какъ есть звѣрь лѣсной, ревнивъ—страхъ, а временемъ и поколотитъ. Взяло Порфирія Петровича сердоболье; началъ ѣздить къ Татьянѣ Сергѣевнѣ и все соболѣзнуетъ.

— Все-то, — говоритъ: — у меня, Татьяна Сергѣевна, сердце изныло, глядя на васъ, какое вы съ этимъ звѣремъ тиранство претерпѣваете. Вѣдь достанется же такое блаженство—поди кому! Кажется, ручку бы только... Такъ бы и умеръ тутъ, право бы, умеръ!

А Татьяна Сергѣевна слушаетъ это да смѣется, и не то чтобъ губами только, а такъ всѣмъ нутромъ, словно дѣтки, когда имъ легонько брюшко пощекочешь.

Смекнулъ Порфирій Петровичъ, что по нраву бабѣ такія рѣчи, что она и имъ, пожалуй, не побрезгаетъ, да не входило это въ его расчетъ.

— Откройтесь, — говоритъ: — мнѣ, Татьяна Сергѣевна; душу за васъ готовъ положить.

А самъ за руку ее беретъ, королевой называетъ и проливаетъ слезы сердолюбія.

Вотъ и открылась она ему: любила она учителя и онъ ее тоже любилъ—это ей достовѣрно извѣстно было. Только свиданья имъ неспособно имѣть было: все мужъ слѣдилъ; ну, и людишки съ нимъ заодно; записочки тоже любила она нѣжныя писать—и тѣ съ великимъ затрудненіемъ до предмета доходятъ. Просто—угнетеніе. Вѣчно мужъ подозрѣваетъ, оскорбляетъ сомнѣніемъ, а она? «Посудите сами, Порфирій Петровичъ, заслужила ли я такую пытку? виновата ли я, что это сердце ожидаетъ любви, что нельзя за-

ставить его молчать? Ахъ, если-бъ кто зналъ, какъ горько ошибаются люди!»

Порфирій Петровичъ охотно взялъ на себя управленіе кормиломъ этой утлой ладьи, устраивалъ свиданія, а писемъ переносилъ просто безъ счета.

Однако, хоть письма и были запечатываемы, а онъ умѣлъ-таки прочитывать ихъ и даже не скрывалъ этого отъ Татьяны Сергѣевны.

— Вы меня извините, Татьяна Сергѣевна, — говорилъ онъ ей:—не отъ любопытства, больше отъ жажды просвѣщенія-съ, отъ желанія усладить душу перомъ вашимъ—такое это для меня наслажденіе видѣть, какъ ваше сердечко глубоко всѣ эти пріятности чувствуетъ... Вѣдь я по простотѣ, Татьяна Сергѣевна, я вѣдь по-французскому не учился, а чувствовать, однако, могу-съ...

Она-то съ дураковъ ему смѣется,—даже и запечатывать письма совсѣмъ перестала, а онъ нѣтъ-нѣтъ, да и спрячетъ записочку, которая полюбопытнѣе.

Сидитъ однажды звѣрь лѣсной (это мужа они такъ шутя прозвали) у себя въ кабинетѣ запершись, надъ бумагой свирѣпствуетъ. Стучатся. Входитъ Порфирій Петровичъ—и прямо въ ноги.

— Виноватъ,—говоритъ:—Семенъ Акимычъ, не погубите! Я, то-есть, единственно, по сердолюбію: вижу, что дама образованная убивается, а онѣ... вотъ и письма-съ!.. Думалъ я, что онѣ однимъ это разговоромъ, а теперь видѣлъ самъ, своими глазами видѣлъ!..

Ощутилъ лѣсной звѣрь, что у него на лбу будто зубы прорѣзываются. Взялъ письма, прочиталъ—тамъ всякія такія неудобныя подробности изображаются. Глупая была баба! Мало ей того, чтобъ грѣхъ сотворить—нѣтъ, возьметъ, да на другой день все это опишетъ: «помнишь ли, молъ, миленькій, какъ ты сѣлъ вотъ такъ, а я сѣла вотъ этакъ, а потомъ ты взялъ меня за руку, а я, дескать, хотѣла ее отнять, ну, а ты»... и пошла, и пошла! Да страницы четыре мелко-на-мелко испишетъ, и все не то чтобъ дѣло какое-нибудь, а такъ, пустяки одни.

Извѣстно, остервенился звѣрь, жену избилъ на чемъ свѣтъ стоитъ, учителя въ палки поставилъ, а къ Порфирію Петровичу съ тѣхъ поръ довѣріе неограниченное питать сталъ.

Такимъ-то образомъ онъ лѣтъ около трехъ все только обстановлялъ себя, покуда не почувствовалъ, что атмосфера

кругомъ легче сдѣлалась. Вездѣ умѣлъ сдѣлаться необходимымъ, и хотя не былъ образцомъ прелестныхъ манеръ красоты, но не искалъ этого, постоянно имѣя въ виду болѣе прочное и существенное. Однако, увидѣвши себя на торной дорогѣ, онъ нашелъ, что было бы и глупо, и не расчетъ не воспользоваться такимъ положеніемъ. Тутъ начался длинный рядъ подвиговъ, лѣтопись которыхъ была бы весьма интересна, если-бъ не имѣла печальнаго сходства съ тою, которую я имѣлъ честь разсказать вамъ, читатель, въ одномъ изъ прежнихъ моихъ очерковъ *). Результатъ оказался таковъ, что лѣтъ черезъ десять Порфирія считали ужъ въ двухъ стахъ тысячахъ.

Провинція—странная вещь, господа! и вы, которые никогда не выставляли изъ Петербурга своего носа, никогда ни о чемъ не помышляли, кромѣ паевъ въ золотыхъ пріискахъ и акцій въ промышленныхъ предпріятіяхъ, не ропщите на это!

По мѣрѣ бо́льшаго плутовства, Порфирій Петровичъ все бо́льшее и бо́льшее снискивалъ уваженіе отъ своихъ сослуживцевъ и согражданъ. «Ну, что́ же, что онъ беретъ!—говорили про него:—беретъ, да зато дѣло дѣлаетъ; за свой, слѣдственно, трудъ беретъ».

Однажды пришла ему фантазія за одинъ разъ всю губернію ограбить—и что́ же? Изъѣздилъ, не полѣнился, всѣ закоулки, у исправниковъ всѣ карманы наизнанку выворотилъ, и, однакожъ, не слышно было ропота, никто не жаловался. Напротивъ того, радовались, что первыя времена суровости и лакедемонизма прошли, и что сердце ему отпустило. Ужъ коли этакой человѣкъ возьметъ—значитъ, онъ и защищать сумѣетъ. Выходитъ, что такому лицу деньги дать—все равно, что въ ломбардъ ихъ положить; еще выгоднѣе, потому что проценты больше.

И за всѣмъ тѣмъ, чтобъ было съ чиновниками у него фамильярство какое—упаси Богъ! Не то чтобы водочкой, или тамъ «братецъ» или «душка», а явись ты къ нему въ формѣ, да коли на обѣдъ звать хочешь, такъ зови толкомъ: чтобъ и уха изъ живыхъ стерлядей была, и тосты по порядку, какъ слѣдуетъ.

Наконецъ, настала и для него пора любви: ему было уже подъ сорокъ. Но и тутъ онъ остался вѣренъ себѣ: не влюбился сдуру въ первую встрѣчную юбку, не ходилъ,

*) См. выше: «Прошлыя времена».

какъ иной Трезоръ, подъ окнами своей возлюбленной. Нѣтъ, онъ женился съ умомъ, взялъ дѣвушку хоть бѣдную, но порядочную и даже образованную. Денегъ ему не нужно было—своихъ дѣвать некуда,—ему нужна была въ домѣ хозяйка, чтобъ и принять, и занять гостя умѣла, однимъ словомъ, такая, которая соотвѣтствовала бы тому положенію, которое онъ заранѣе мысленно для себя приготовилъ. Не боялся онъ также, что она выскользнетъ у него изъ рукъ; въ томъ городѣ, гдѣ онъ жилъ и предполагалъ кончить свою карьеру, не только человѣка съ живымъ словомъ встрѣтить было невозможно, но даже въ хорошей говядинѣ ощущалась скудость великая; слѣдовательно, увлечься или воспламениться было рѣшительно нечѣмъ, да притомъ же на то и умъ человѣку данъ, чтобъ бразды правленія не отпускать. И дѣйствительно, неизвѣстно, какъ жила его жена внутренно,—извѣстно только, что она никому не жаловалась и даже была весела, хоть при Порфиріи Петровичѣ какъ будто робѣла.

Но, какъ хотите, взятки да взятки, а это и самаго изощреннаго ума человѣку надоѣстъ, наконецъ. Безпрестанно изобрѣтай, да не то чтобъ награду за остроуміе получить, а будь еще въ страхѣ: пожалуй, и подъ судъ попадешь. Времена же настаютъ такія, когда за подобную остроту ума не то чтобы по головкѣ гладить, а чаще того за вихоръ таскаютъ. Чинъ у Порфирія Петровича былъ ужъ изрядный, женился онъ прилично; вездѣ принятъ, обласканъ и уваженъ; на послѣднихъ выборахъ единогласно старшиной благороднаго собранія выбранъ; губернаторъ у него въ домѣ бываетъ: скажите на милость, ну, слѣдъ ли такой, можно сказать, особѣ по уши въ грязи барахтаться! Сталъ онъ вздыхать и томиться тоской, даже похудѣлъ и пожелтѣлъ. Въ перспективѣ ему виднѣлось мѣстечко! Господи! индо задрожитъ Порфирій Петровичъ, какъ подумаетъ объ немъ! мѣстечко съ доходами—«вотъ ужъ совершенно безгрѣшными!»—мѣстечко покойное, мѣсто злачно, прохладно, какъ говорится...

Въ провинціи о казнѣ существуютъ между чиновниками весьма странныя понятія. Она представляется чѣмъ-то отвлеченнымъ, символическимъ, невѣсомымъ: такъ, паръ какой-то, нѣчто въ родѣ Ѳемиды въ воображеніи секретаря уѣзднаго суда. Извѣстное дѣло, что такую особу какъ ни обижай—все-таки ничѣмъ обидѣть не можно; она все-таки сидитъ себѣ, не морщится и не жалуется никому. «Кому

отъ этого вредъ? ну, скажите, кому?—восклицаетъ остервенившійся идеологъ-чиновникъ, который великимъ постомъ въ жизнь никогда скоромнаго не ѣдалъ, ни одной взятки не перекрестясь не биралъ, а о любви къ отечеству отродясь безъ слезъ не говаривалъ.—Кому вредъ отъ того, что вино въ казну не по сорокъ, а по сорока пяти копеекъ за ведро ставится?»

И начнетъ вамъ доказывать это такъ убѣдительно, что вы и руки разставите.

Излишне было бы подсказывать догадливому читателю, что Порфирій Петровичъ желаемое мѣсто получилъ.

Съ этой-то поры разлилась въ душѣ его та мягкость, та невозмутимая ясность, которой мы удивляемся въ нашихъ губернскихъ Цинциннатахъ, пользующихся вполнѣ безгрѣшными доходами.

Занятія его пріобрѣли мирный и патріархальный характеръ: онъ болѣе всего предается садоводству и бесѣдамъ съ природой, вызывающей въ немъ благочестивыя размышленія о безпредѣльномъ величіи Божіемъ.

Усладительно видѣть его лѣтомъ, когда онъ, усадивъ на длинныя дроги супругу и всѣхъ маленькихъ Порфирьичей и Порфирьевнъ, которыми щедро наградила его природа, отправляется за городъ кушать вечерній чай. Передъ вами возстаетъ картина Іакова, окруженнаго маленькими Рувимами, Іосіями, не помышляющими еще о продажѣ брата своего Іосифа.

Тамъ, на лонѣ матери-природы, сладко отдохнуть ему отъ тревогъ житейскихъ, сладко вести кроткую бесѣду съ своею чистою совѣстью, сладко сознать, что онъ—*человѣкъ, казенныхъ денегъ не расточающій, свои берегущій, чужихъ не желающій.*

Княжна Анна Львовна.

Княжнѣ Аннѣ Львовнѣ скоро минетъ тридцать лѣтъ. Она уже довольно отчетливо сознаетъ, что надежда—та самая, которая утѣшаетъ царя на тронѣ и земледѣльца въ полѣ—начинаетъ измѣнять ей. Прошла пора дѣтскихъ игръ и юношескихъ увлеченій, прошла пора жаркихъ мечтаній и томительныхъ, но сладостныхъ надеждъ. Наступаетъ пора благоразумія. Княжна понимаетъ все это и, повидимому, покоряется своей судьбѣ; но это только повидимому, потому что жизнь еще сильнымъ ключомъ бьетъ въ ея

сердцѣ и громко предъявляетъ свои права. По той же самой причинѣ, положеніе княжны дѣлается до крайности несносно. Она чувствуетъ, что *должна* отказаться отъ надежды; и между тѣмъ надежда ни на минуту не оставляетъ ея сердца... Чаще и чаще она задумывается; глаза ея невольно отрываются отъ работы и пристально всматриваются въ даль; румянецъ внезапно вспыхиваетъ на поблекнувшихъ щекахъ, и даже губы шевелятся. Должно полагать, что въ эти минуты она бываетъ очень счастлива. Когда ея папа, князь Левъ Михайловичъ, старичокъ весьма почтенный, но совершенно не посвященный въ тайны женскаго сердца, шутя называетъ ее своей Антигоной, то на губахъ ея, силящихся изобразить пріятную улыбку, образуется нѣчто кислое, сообщающее ея доброму лицу довольно непріятное выраженіе. Нерѣдко также, среди весьма занимательнаго разговора съ наиостроумнѣйшимъ изъ крутогорскихъ кавалеровъ, съ княжной вдругъ дѣлается нервный припадокъ, и она начинаетъ плакать. «Антигонѣ мужа хочется!»—говорятъ при этомъ крутогорскіе остряки.

Княжна вообще отличная дѣвушка. Она очень умна и привѣтлива, а добра такъ, что и сказать нельзя, и между тѣмъ—странное дѣло!—въ городѣ ее не любятъ, или, лучше сказать, не то что не любятъ, а какъ-то избѣгаютъ. Говорятъ, будто сквозь ея привѣтливость просвѣчиваетъ холодность и принужденность, что въ самой добротѣ ея нѣтъ той симпатичности, той страстности, которая одна и составляетъ всю цѣнность доброты. Все въ ней какъ будто не докончено; движенія не довольно мягки, не довольно круглы; въ голосѣ нѣтъ звучности, въ глазахъ нѣтъ огня, да и губы какъ-то ужъ черезчуръ тонки и блѣдны. «А все оттого, что надо Антигонѣ мужа!»—замѣчаютъ тѣ же остряки.

Княжна любитъ дѣтей. Часто она затѣваетъ дѣтскія вечеринки и отъ души занимается маленькими своими гостями. Иногда случается ей посадить себѣ на колѣни какого-нибудь туземнаго малютку; долго она няньчится съ нимъ, цѣлуетъ и ласкаетъ его; потомъ какъ будто задумается, и вдругъ начнетъ цѣловать, но какъ-то болѣзненно, томительно. «Ишь какъ ее разобрало!—глубокомысленно замѣчаютъ крутогорцы:—надо, охъ, надо Антигонѣ мужа!»

Княжна любитъ природу—оттого что ей надо мужа; она богомольна—оттого что вымаливаетъ себѣ мужа; она весела—потому что надѣется найти себѣ мужа; скучна—оттого что надежда на мужа обманула ее... вездѣ мужъ!

Слово «мужъ» точитъ все существованіе княжны. Она читаетъ его во всѣхъ глазахъ; оно чудится ей во всякомъ произнесенномъ словѣ... И что всего грустнѣе—это страшное слово падаетъ не на здоровый организмъ, а на дѣйствительную рану, — рану глубокую и вѣчно болящую. Княжна усиливается забыть его, усиливается закалить свои чувства, потерять зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе и осязаніе, сдѣлаться существомъ безразличнымъ, но всѣ усилія напрасны. «Кому ты дала радость? Кого надѣлила счастьемъ? Кого успокоила? Чье существованіе просвѣтлено тобой? Кому ты нужна?» шепчетъ ей днемъ и ночью неотступный голосъ, посильнѣе голоса крутогорскихъ остряковъ. И напрасно княжна хочетъ обмануть себя тѣмъ, что она нужна папашѣ. Тотъ же голосъ твердитъ ей: «Господи! какъ отрадно, какъ тепло горитъ въ жилахъ молодая кровь! какъ порывисто и сладко бьется въ груди молодое сердце! какъ освѣжительно ласкаетъ распаленныя страстью щеки молодое дыханье! Сколько жизни, сколько тепла... сколько любви!»

И княжна невольно опускаетъ на грудь свою голову. «И какъ хорошъ, какъ свѣтелъ Божій міръ! — продолжаетъ тотъ же голосъ.—Что за живительная сила разлита всюду, что за звуки носятся въ воздухѣ!.. Отчего такъ вдругъ бодро и свѣжо дѣлается во всемъ организмѣ, а со дна души незамѣтно встаютъ всѣ ея радости, всѣ ея свѣтлыя, лучшія побужденія?»

Очевидно, что такія сафическія мысли могутъ осаждать голову только въ крайнихъ и нетерпящихъ отлагательства «случаяхъ». Княжна плачетъ, но, мало-по-малу, источникъ слезъ изсякаетъ; на сцену выступаетъ вся желчь, накопившаяся на днѣ ея тридцатилѣтняго сердца; ночь проводится безъ сна, среди волненій, порожденныхъ злобой и отчаяньемъ... На другой день зеркало имѣетъ честь докладывать ея сіятельству, что ихъ личико желто, какъ выжатый лимонъ, а глаза покрыты подозрительною влагой...

Княжна попала въ Крутогорскъ очень просто. Папаша ея, промотавши значительное состояніе, ощутилъ потребность успокоиться отъ треволненій свѣта и удалиться изъ столицы, въ которой не имѣлъ средствъ поддерживать себя по табели о рангахъ. Послѣ идеи о мужѣ идея о бѣдности была самою мучительною для княжны! Наклонности къ роскоши и всякаго рода удобствамъ до того впились въ нее и срослись со всѣмъ ея существомъ, что скромная дѣйстви-

тельность, которая ждала ее въ Крутогорскѣ, раздражала ее. Все здѣсь было какъ-то не по ней: общество казалось тяжелымъ и неуклюжимъ; въ домахъ все смотрѣло неопрятно; грязныя улицы и деревянные тротуары наводили уныніе; танцовальные вечера, которые изрѣдка назначались въ «благородномъ» собраніи, отличались безвкусіемъ, доходившимъ до безобразія...

Такая полная невозможность утопить гнетущую скуку въ тѣхъ простыхъ и нетрудныхъ условіяхъ свѣта, которыя въ столицѣ такъ доступны для всякой порядочной женщины, вызвала въ сердцѣ княжны потребность новаго для нея чувства, чувства дружбы и довѣрчивости.

Къ сожалѣнію, хоть, быть-можетъ, и не безъ тайнаго расчета, выборъ ея палъ на сумрачнѣйшую изъ крутогорскихъ сплетницъ, вдову умершаго подъ судомъ коллежскаго регистратора, Катерину Дементьевну Шилохвостову. Катерина Дементьевна съ юношескихъ лѣтъ посвятила свою особу воздѣлыванію вертограда добродѣтелей, къ которымъ, какъ дама, оскорбленная судьбой, питала чрезмѣрную склонность. Добродѣтели эти заключались преимущественно въ различнаго рода чувствахъ преданности и благоговѣнія, предметы которыхъ благоразумно избирались ею между губернскими тузами. Нѣтъ сомнѣнія, что извѣстная всему міру пресыщенность носовъ нашихъ губернскихъ аристократовъ, оказывающая чувствительность лишь къ острымъ и смолистымъ ѳиміамамъ, всего болѣе руководила Катерину Дементьевну въ этомъ выборѣ. Удостоенная интимныхъ сношеній съ княжной, она нашла, что ея сіятельство въ себѣ одной соединяетъ коллекцію всѣхъ женскихъ совершенствъ. Оказывалось, напримѣръ, что «такихъ ручекъ и ножекъ не можетъ быть даже у принцессы», что лицо княжны показываетъ не болѣе восемнадцати лѣтъ: разобраны были самыя сокровенныя совершенства ея бреннаго тѣла, мельчайшія подробности ея туалета, и вездѣ замѣчено что-нибудь въ похвалу благодѣтельницы.

И княжна потихоньку смѣялась, а иногда и вздыхала, но какъ-то сладко, успокоительно, въ нѣсколько пріемовъ, какъ вздыхаютъ капризныя, но милыя дѣти, послѣ того какъ вдоволь наплачутся.

Несмотря на всю грубость и, такъ сказать, вещественность этой лести, княжна поддалась ей: до того въ ней развита была потребность ѳиміамовъ. Отъ лести не далеко было и до сплетничанья. Княжна мгновенно, такъ сказать,

гальванически, была посвящена во всѣ мелочи губернской закулисной жизни. Ей стали извѣстны всѣ скрытыя безобразія, всѣ сердечные недуги, всѣ скорби и болячки крутогорскаго общества. Добытыя этимъ путемъ свѣдѣнія вообще пошлы и грязноваты. По бо̀льшей части имъ служатъ канвою половыя побужденія и самыя сѣренькія подробности будничной жизни. Въ этомъ миніатюрномъ мірѣ, гдѣ всѣ взаимныя отношенія опредѣляются въ самое короткое время съ изумительнѣйшею точностью, гдѣ всякая личность уясняется до малѣйшей подробности, гдѣ нахально выметается въ публику весь соръ съ задняго двора семейнаго пандемоніума — всѣ интересы, всѣ явленія дѣлаются до того узенькими, до того пошлыми, что человѣку, имѣющему здоровое обоняніе, можетъ сдѣлаться тошно.

И между тѣмъ — замѣчательная вещь! — даже личность, одаренная наиболѣе деликатными нервами, рѣдко успѣваетъ отдѣлаться отъ сокрушительнаго вліянія этой миніатюрной и, по наружности, столь непривлекательной жизни! Не вдругъ, а день за день, воровски подкрадывается къ человѣку провинціальная вонь и грязь, и въ одно прекрасное утро онъ съ изумленіемъ ощущаетъ себя сидящимъ по уши во всѣхъ крошечныхъ гнусностяхъ и дешевыхъ зло̀дѣйствахъ, которыми изобилуетъ жизнь маленькаго городка. Отбиться отъ нихъ нѣтъ никакой возможности: они, какъ мошки въ Барабинской степи, залѣзаютъ въ носъ и уши и застилаютъ глаза. И въ самомъ дѣлѣ, какъ бы ни была грязна и жалка эта жизнь, на которую слѣпому случаю угодно было осудить васъ, все же она жизнь, а въ васъ самихъ есть такое нестерпимое желаніе жить, что вы съ закрытыми глазами бросаетесь въ грязный омутъ — единственную сферу, гдѣ вамъ представляется возможность истратить какъ попало избытокъ жизни, бьющей ключомъ въ вашемъ организмѣ. И вотъ провинціальная жизнь предлагаетъ вамъ свои дешевыя матеріальныя удобства, свою лѣнь, свои сплетни, свой нетрудный и незамысловатый развратъ... И все это такъ просто достается! Вамъ начинаетъ сдаваться, что вы нѣчто въ родѣ сказочнаго паши, что сто̀итъ вамъ только пожелать, чтобы все исполнилось... Правда, залетаетъ иногда мимоходомъ въ вашу голову мысль, что и желанія ваши сдѣлались какъ будто ограниченнѣе, и умственный горизонтъ какъ-то сталъ уже, что вы легче, дешевле миритесь и удовлетворяетесь, что вообще въ васъ происходитъ что-то неловкое, неладное, от-

чего въ иныя минуты бросается вамъ въ лицо краска... Но, мало-по-малу, и эта докучная мысль начинаетъ безпокоить васъ рѣже и рѣже; вы даже сами спѣшите прогнать ее, какъ назойливаго комара, и, къ полному вашему удовольствію, добровольно, какъ на пуховикѣ, утопаете въ болотѣ провинціальной жизни, котораго поверхность такъ зелена, что издали, пожалуй, можетъ быть принята за роскошный лугъ.

Такимъ образомъ и княжна очень скоро начала находить весьма забавнымъ, что, напримѣръ, вчерашнюю ночь Иванъ Акимовичъ, воротясь изъ клуба ранѣе обыкновеннаго, не нашелъ дома своей супруги, вслѣдствіе чего произошла небольшая домашняя драма, по-французски называемая roman intime, а по-русски — потасовкой, и оказалось нужнымъ содѣйствіе полиціи, чтобы водворить миръ между остервенившимися супругами.

— И послѣ этого она рѣшается показываться въ обществѣ?—наивно вопрошаетъ княжна.

— И, матушка! брань на вороту не виснетъ!—отвѣчала вдова Шилохвостова: — у нашихъ барынь бока мѣдные, а лбы чугунные!

Въ слѣдующій разъ предложенъ былъ разсказъ о происшествіи, случившемся въ загородномъ саду. Повздорилъ стряпчій съ какимъ-то секретаремъ. Секретарь пилъ чай, а стряпчій проходилъ мимо, и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, хлыстъ секретаря — въ самую матушку-физіономію. Секретарь, не получавшій подарковъ лѣтъ десять, возразилъ на это, что стряпчій подлецъ, а стряпчій отвѣчалъ, что не подлецъ, а тотъ подлецъ, кто платки изъ кармановъ воруетъ, и ударилъ секретаря вдругорядь въ щеку. Кончилось дѣло, «ангелъ вы мой», тѣмъ, что въ ссору вступился протоколистъ, мужчина вершковъ этакъ четырнадцати, который тѣмъ только и примирилъ враждующія стороны, что и ту, и другую губительнѣйшимъ образомъ оттузилъ во всѣ мѣста.

И это было передаваемо съ тою безцвѣтною ясностью, которая составляетъ необходимую принадлежность всякаго истинно-правдиваго дѣписателя.

Княжна знала, какое количество ваты истребляетъ Надежда Осиповна, чтобъ сдѣлать свой бюстъ роскошнымъ; знала, что Наталья Ивановна въ грязь полѣзетъ, если видитъ, что тамъ сидитъ мужчина; что Петръ Ермолаичъ только до обѣда бываетъ человѣкомъ, а послѣ обѣда, вплоть

до другого утра, *не годится;* что Ѳедору Платонычу вчерашняго числа прислалъ полорѣцкій городничій свѣжей икры *въ презентъ;* что Вѣра Евлампьевна, выдавая замужъ свою дочь, вызывала зачѣмъ-то окружныхъ изъ уѣздовъ.

Однакожъ, въ одно прекрасное утро княжна задумалась. Ей доложили, что Катерина Дементьевна разсказывала *тамъ-то и тамъ-то,* будто она, княжна, безъ памяти влюблена въ секретаря земскаго суда Подгоняйчикова. Княжна не хотѣла вѣрить, но впослѣдствіи вынуждена была уступить очевидности. По произведенному подъ рукой дознанію оказалось, что Подгоняйчиковъ приходится роднымъ братомъ Катеринѣ Дементьевнѣ, по мужѣ Шилохвостовой, и что, по всѣмъ признакамъ, онъ дѣйствительно имѣлъ какія-то темныя посягательства на сердечное спокойствіе княжны. Признаки были: двѣ банки помады и склянка духовъ, купленныя Подгоняйчиковымъ въ тотъ самый періодъ времени, когда сестрица его сдѣлалась наперсницей княжны; гитара и бронзовая цѣпочка, пріобрѣтенная въ то же самое время, новыя брюки и, наконецъ, найденные въ секретарскомъ столѣ стихи *къ ней,* писанные рукой Подгоняйчикова, и, какъ должно полагать, имъ самимъ сочиненные.

Княжна пришла въ ужасъ, и на другой день мадамъ Шилохвостова была съ позоромъ изгнана изъ дома, а Подгоняйчиковъ, для примѣра прочимъ, переведенъ въ оковскій земскій судъ на вакансію простого писца.

Вѣсть эта съ быстротою молніи разлилась по городу и произвела на чиновный людъ какое-то тупое впечатлѣніе. Обвиняли всѣ больше Подгоняйчикова.

— Слышалъ?—спрашивалъ Саша Дерновъ знакомца своего, Гирбасова, встрѣтившись съ нимъ на улицѣ.

— Слышалъ,—отвѣчалъ Гирбасовъ:—что-жъ, самъ виноватъ!

— Выходитъ, что надо держать языкъ за зубами...

— Да, этакъ-то, пожалуй, выгоднѣе... Не далеко вѣдь было ему и до станового!.. А не зайдешь ли къ намъ выпить водочки?

И затѣмъ Подгоняйчиковъ, съ своею помадой и новыми брюками, навѣкъ канулъ въ Лету.

Разочаровавшись насчетъ крутогорской дружбы, княжна рѣшилась заняться благотворительностью. Немедленно по принятіи такого рѣшенія, собраны были къ ея сіятельству

на совѣтъ всѣ титулярные совѣтники и титулярныя совѣтницы, способные исполнять какую бы то ни было роль въ предложенномъ княжною благородномъ спектаклѣ. Выбрана была пьеса: «И хороша, и дурна» и т. д. Главную роль должна была исполнить, comme de raison, сама виновница сего торжества; роль же Емельяна выпала на долю статскаго совѣтника Фурначева. Статскому совѣтнику думали польстить, давъ ему эту роль, потому что его высокородіе обладалъ дѣйствительнымъ комическимъ талантомъ; однако, сверхъ всякаго ожиданія, это обстоятельство погубило спектакль. Статскій совѣтникъ Фурначевъ оскорбился; онъ справедливо нашелъ, что въ Крутогорскѣ столько губернскихъ секретарей, которые, такъ сказать, созданы въ мѣру Емельяна, что странно и даже неприлично возлагать такое порученіе на статскаго совѣтника. Спектакль не состоялся, но прозвище Емельяна навсегда упрочилось за статскимъ совѣтникомъ Фурначевымъ. Даже уличные мальчишки, завидя его издали, поспѣшающаго изъ палаты отвѣдать горячихъ щей, прыгали и кричали что̀ есть мочи: «Емельянъ! Емельянъ идетъ!»

Княжна этимъ утѣшилась.

Послѣ этой неудачи княжна попробовала благотворительной лотереи. Къ участію приглашены были всѣ лица, извѣстныя своею благотворительностью на пользу ближняго. Въ разосланныхъ на сей конецъ объявленіяхъ упомянуты были слезы, которыя предстояло отереть; старцы, обремененные дѣтьми, которыхъ непремѣнно нужно было одѣть, и даже дѣти, лишенныя старцевъ. Въ одно прекрасное утро проснувшіеся крутогорскіе чиновники съ изумленіемъ увидѣли, что по улицамъ мирнаго Крутогорска журчатъ ручьи слезъ, а площади покрыты дрожащими отъ холода голыми малютками. И княжна не напрасно взывала къ чувствительнымъ сердцамъ крутогорцевъ. Первымъ на ея голосъ отозвался управляющій палатой государственныхъ имуществъ, какъ grand seigneur и самъ попечитель множества малютокъ, прославшій табакерку съ музыкой; за нимъ послѣдовалъ непремѣнный членъ строительной комиссіи, жена котораго пожертвовала подушку съ изображеніемъ турка, играющаго на флейтѣ. Черезъ недѣлю кабинетъ княжны былъ наполненъ всякаго рода рѣдкостями. Тутъ былъ и окаменѣлый ракъ, и вѣчная борзая собака въ видѣ прессъ-папье; но главную роль все-таки играли разнаго рода вышиванья.

Княжна была очень довольна. Она безпрестанно говорила объ этихъ *милыхъ* бѣдныхъ, и называла ихъ не иначе, какъ *своими сиротками*. Конечно, «ея участіе было въ этомъ дѣлѣ самое ничтожное»; конечно, она была только распорядительницей, «elle ne faisait que courir au devant des voeux de l'aimable société de Kroutogorsk»,— тѣмъ не менѣе, она была такъ счастлива, такъ проникнута, «si pénétrés» святостью долга, выпавшаго на ея долю!—и въ этомъ, единственно въ этомъ, заключалась ея «скромная заслуга». Если бы nous autres не спѣшили навстрѣчу de toutes les misères, которыя точатъ, oui, bui rongent — c'est le mot — наше бѣдное общество, можно ли было бы сказать, что мы исполнили наше назначеніе? Съ другой стороны, если-бъ не было бѣдныхъ, этихъ *милыхъ* бѣдныхъ, не было бы и благотворительности, некому было бы утирать носъ и глаза, et alors où serait le charme de cette existence! Княжна распространялась очень много насчетъ удовольствій благотворительности и казалась до того пропитанною благовоніемъ любви къ ближнему, что дѣвицы Фигуркины, тщательно наблюдавшія за нею и передразнивавшія всѣ ея движенія, увѣряли, что изъ головы ея, во время розыгрыша лотереи, вылетало какое-то электричество.

Но—увы!—кончилась и лотерея; брандмейстеръ роздалъ по два цѣлковыхъ всѣмъ безносымъ старухамъ, которыя оказались на ту пору въ Крутогорскѣ; старухи, въ свою очередь, внесли эти деньги полностью въ акцизно-откупное комиссіонерство—и снова все сдѣлалось тихо.

Снова осталась княжна одинъ-на-одинъ съ своею томительною скукою, съ безпредметными тревогами, съ непереносимымъ желаніемъ высказаться, подѣлиться съ кѣмъ-нибудь жаждой любви и счастья, которая, какъ червь, источила ея бѣдное сердце. Снова воздухъ насытился звуками и испареніями, отъ которыхъ дѣлается жутко сердцу и жарко головѣ.

Однажды княжнѣ встрѣтилась необходимость войти въ комнату, которая была предназначена для дежурнаго чиновника. На этотъ разъ дежурнымъ оказался Павелъ Семенычъ Техоцкій, молодой человѣкъ, отлично-скромный и обладавшій сверхъ того интереснымъ и блѣднымъ лицомъ. Павелъ Семенычъ, при появленіи княжны, нѣсколько смутился; княжна при взглядѣ на Павла Семеныча слегка покраснѣла. Въ рукахъ у нея былъ конвертъ, и конвертъ

этотъ, неизвѣстно по какой причинѣ, упалъ на полъ. Техоцкій бросился поднимать его и... поднялъ. Княжна поблагодарила, но безъ всякаго измѣненія и дрожанія въ голосѣ, какъ ожидаютъ, быть-можетъ, нѣкоторые читатели, сохранившіе юношескую привычку вѣрить во внезапныя симпатіи душъ.

— Не можете ли вы отнести этотъ конвертъ на почту?— спросила княжна.

Техоцкій взялъ конвертъ и удалился изъ комнаты.

Несмотря на свою кажущуюся ничтожность, происшествіе это имѣло чрезвычайное вліяніе на княжну. Неизвѣстно почему, ей показалось, что Техоцкій принадлежитъ къ числу тѣхъ гонимыхъ и страждущихъ, которые стоятъ цѣлою головой выше толпы, ихъ окружающей, и поэтому самому должны каждый свой шагъ въ жизни запечатлѣть пожертвованіями и упорною борьбою. Она не имѣла времени или не дала себѣ труда подумать, что такіе люди, если они еще и водятся на бѣломъ свѣтѣ, высоко держатъ голову и гордо выставляютъ свой нахальный носъ въ жертву дерзкимъ вѣтрамъ, а не понуриваютъ ее долу, какъ это дѣлалъ Техоцкій.

Княжна самоё себя считала одною изъ «непризнанныхъ», и потому весьма естественно, что душа ея жаждала встрѣтить такого же «непризнаннаго». Съ двадцатилѣтняго возраста, то-есть съ того времени, какъ мысль о наслажденіяхъ жизни оказалась крайне сомнительною, княжна начала уже думать о *гордомъ страданіи,* и мысленно создавала для себя среди вѣчно волнующагося океана жизни неприступную скалу, съ вершины которой она, «непризнанная», съ улыбкой горечи и презрѣнія смотрѣла бы на мелочную суетливость людей. Мудрено ли, что она и Техоцкаго нарядила въ тѣ самыя одежды, въ которыхъ сама мысленно любила красоваться? Сердце такъ легко находитъ то, къ чему постоянно стремится! Разстояніе, которое лежало между нею и бѣднымъ маленькимъ чиновникомъ канцеляріи ея папаши, только давало новую пищу ея воображенію, раздражая его и ежечасно подстрекая то стремленіе къ неизвѣстному и неизвѣданному, которое во всякой женщинѣ составляетъ господствующую страсть.

Княжна сдѣлалась задумчивѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ-то дѣятельнѣе. Она чаще устраивала собранія и всякаго рода общественныя увеселенія и чрезвычайно хлопотала, чтобы въ нихъ принимало участіе какъ можно болѣе мо-

лодыхъ людей. Иногда ей удавалось встрѣчать тамъ Техоцкаго, и хотя, по своему положенію въ губернскомъ свѣтѣ, она не могла ни говорить, ни танцовать съ нимъ, но въ эти вечера она была вполнѣ счастлива. По возвращеніи домой, она садилась къ окну, и сердце ея дѣлалось театромъ тѣхъ жгучихъ наслажденій, которыя сушатъ человѣка и въ то же время втягиваютъ его въ себя сверхъестественною силой. Слова любви, полныя тоски и моленій, тихо нѣжили ея слухъ; губы ея чувствовали чье-то жаркое прикосновеніе, а въ жилахъ внезапно пробѣгала тонкая, разъѣдающая струя огня... Мучительныя, но отмѣнно-хорошія мгновенія!

Однакожъ, встрѣчи съ Техоцкимъ не могли быть частыми. Оказалось, что для того, чтобы проникнуть въ святилище веселія, называемое клубомъ, необходимо было вносить каждый разъ полтинникъ, и это правило, неудобное для мелкихъ чиновниковъ вообще, было въ особенности неудобно для Техоцкаго, который былъ изъ мелкихъ мельчайшимъ. Узнавши объ этомъ, княжна разсердилась; по выраженію Сафо, которая, по всѣмъ вѣроятіямъ, приходилась ей двоюродною сестрицей, она сдѣлалась «зеленѣе травы». Сверхъ того, и въ отношеніи къ туалету у Техоцкаго не все было въ исправности, и провинности, обнаруживавшіяся по этой части, были такъ очевидны, что не могли не броситься въ глаза даже ослѣпленной княжнѣ. Фракъ былъ коротокъ и узокъ; рукава какъ-то мучительно обтягивали руки и на швахъ побѣлѣли; пуговицы обносились; жилетъ оказывался съ какими-то стеклянными пуговицами, а перчатокъ и совсѣмъ не было... вовсе неприлично! Хоть княжна и стремилась душой къ гонимымъ и непризнаннымъ, но ей было желательно, чтобъ они были одѣты прилично, имѣли бѣлыя перчатки и носили лакированные сапоги. Это такъ мило: Чайльдъ-Гарольдъ, съ блѣдными щеками, высокимъ лбомъ — и въ безподобнѣйшемъ черномъ фракѣ! У княжны имѣлась небольшая сумма денегъ, сбереженная отъ покупки разнаго женскаго тряпья: предстояло деньги эти, во что бы то ни стало, вручить Техоцкому.

Павелъ Семенычъ былъ снова дежурнымъ, и снова княжна посѣтила дежурную комнату. Оказывалось нужнымъ написать какой-то адресъ на конвертѣ письма.

— Отчего вы не бываете въ клубѣ?—спросила княжна совершенно неожиданно и на этотъ разъ съ видимымъ волненіемъ.

Техоцкій смутился и просто ни слова не отвѣтилъ.

— Вы хорошо пишете,—сказала княжна, разсматривая его почеркъ.

Но Техоцкій опустилъ глаза въ землю и продолжалъ упорно молчать.

— Вы гдѣ учились?

— Въ училищѣ дѣтей канцелярскихъ служителей, ваше сіятельство,—отвѣчалъ Техоцкій скороговоркой и покраснѣлъ какъ ракъ.

Княжна задумалась. При всей ея экзальтаціи, сочетаніе словъ: «сіятельство» и «училище дѣтей канцелярскихъ служителей» звучало такъ безобразно, что не могло не поразить ее.

— Хорошо,—сказала она:—приходите завтра; мнѣ нравится вашъ почеркъ, и я найду для васъ работу.

Княжна откопала какую-то старую рукописную поэму; нашла, что она дурно переписана, и на другой день вручила ее Техоцкому.

— Вы можете разобрать эту руку?—спросила княжна.

— Точно такъ-съ, ваше сіятельство,—отвѣчалъ Техоцкій.

— Отчего вы говорите мнѣ «ваше сіятельство»?

Техоцкій молчалъ.

— Порядочные люди говорятъ просто: «княжна»,—продолжала она, задумавшись и какъ будто про-себя. — Вы читаете что-нибудь?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Чѣмъ же вы занимаетесь?

— Служу-съ.

— А дома?

Техоцкому сдѣлалось неловко.

— Вы читайте!—сказала княжна и сдѣлала знакъ головою, чтобъ онъ удалился.

По уходѣ его Аннѣ Львовнѣ сдѣлалось необыкновенно грустно; ничтожество и неотесанность Техоцкаго такъ ярко выступили наружу, что ей стало страшно за свои чувства. Въ это время вошелъ въ ея комнату папаша; она бросилась къ нему, прижалась лицомъ къ его груди и заплакала.

— Что ты! что съ тобой, дурочка? — спросилъ его сіятельство, сильно потревожившись.

— Мнѣ скучно, папасецька,—отвѣчала княжна, вдругъ превращаясь въ довѣрчиваго и картавящаго шестнадцатилѣтняго ребеночка.

Его сіятельство, откровенно сказать, былъ вообще простоватъ, а въ женскихъ дѣлахъ и ровно ничего не понималъ. Однако, онъ притворился, будто о чемъ-то думаетъ, при чемъ физіономія его приняла совершенно свиное выраженіе, а руки какъ-то нескладно болтались по воздуху.

— Ужъ, право, я не знаю, чего тебѣ, дурочка, хочется!—сказалъ онъ въ сильнѣйшемъ раздумьи.—Кажется, ты первое лицо въ городѣ... право, не знаю, чего тебѣ хочется!

И князь усиленно вздохнулъ, какъ будто вывезъ цѣлый возъ въ гору.

— Папасецька! какое самое послѣднее мѣсто въ свѣтѣ?— вдругъ спросила княжна.

— То-есть, какъ самое послѣднее?

— Ну, да, самое послѣднее—такое вотъ, гдѣ всѣ приказываютъ, а самъ никому не приказываешь, гдѣ заставляютъ писать, дежурить...

Князь углубился.

— То-есть, какъ же дежурить?—спросилъ онъ. — Дежурятъ, дурочка, чиновники, mais on n'en parle pas...

— Ну, а какое мѣсто выше чиновника?

Князь чрезвычайно обрадовался случаю выказать передъ дочерью свои административныя познанія, и тутъ же объяснилъ, что чиновникъ—понятіе генерическое, точно такъ же, какъ, напримѣръ, рыба; что есть чиновники-осетры, какъ его сіятельство, и есть чиновники-пискари. Бываетъ и еще особый видъ чиновника—чиновникъ-щука, который во время жора заглатываетъ пискарей; но осетры, «ma chère enfant, c'est si beau, si grand, si sublime», что на такую мелкую рыбешку, какъ пискари, не стоитъ обращать и вниманіе. Княжна призналась, что она знаетъ одного такого пискаря, что у него старушка-мать, une gentille petite vieille, et très proprette — право! — и пять сестеръ, которыхъ онъ единственная опора. И для того, чтобы эта опора была солиднѣе, необходимо какъ можно скорѣе произвести пискаря, по крайней мѣрѣ, въ щурята.

. . . . . .

Между тѣмъ, Павелъ Семеновичъ, по свойственной человѣчеству слабости, спѣшилъ сообщить о постигшемъ его счастіи испытанному своему другу, Петькѣ Трясучкину. Трясучкинъ получалъ жалованья всего пять рублей въ мѣсяцъ, и по этой причинѣ былъ съ головы до пятокъ закаленъ въ горнилѣ житейскихъ бѣдствій. Родители назвали

его при рожденіи Петромъ, но обычай утвердилъ за нимъ прозваніе Пѣтуха, съ которымъ онъ совершенно освоился. Нѣкоторые называли его также принцемъ и вашимъ превосходительствомъ: онъ и на эти прозвища откликался, и вообще выказывалъ въ этомъ отношеніи полнѣйшее равнодушіе. Только дѣйствительное его имя, Петръ Иванычъ, нѣсколько дико звучало въ его ухѣ: до такой степени оно было изгнано изъ общаго употребленія.

Юные коллежскіе регистраторы и канцелярскіе чиновники избирали его своимъ конфидентомъ въ сердечныхъ случаяхъ, потому что онъ по преимуществу былъ мужъ совѣта. Хотя бури жизни и порастрепали нѣсколько его туалетъ, но никто не могъ дать болѣе полезнаго наставленія насчетъ цвѣта штановъ, который могъ бы подѣйствовать на сердце женщины съ наиболѣе сокрушительною силою.

Трясучкинъ выслушалъ внимательно простодушный разсказъ своего друга и замѣтилъ, что «тутъ, братъ, пахнетъ Подгоняйчиковымъ».

— Это, братъ, дѣло надобно вести такъ, — продолжалъ онъ:—чтобъ тутъ самъ чортъ ничего не понялъ. Это, братъ, ты по-пріятельски поступилъ, что передо мной открылся; я эти дѣла вотъ какъ знаю! Я, братъ, во всѣхъ этихъ штукахъ искусился! Не даромъ же я бѣдствовалъ, не даромъ три мѣсяца жилъ въ шкапу въ уголовной палатѣ: квартиры, братъ, не было—вотъ что!

— Ну, такъ какъ же ты думаешь, Пѣтухъ? Вѣдь тутъ славную можно штуку сыграть!

Трясучкинъ замоталъ головой.

— Ты *меня* послушай! — говорилъ онъ таинственнымъ голосомъ.—Это, братъ, все зависитъ отъ того, какъ поведешь дѣло! Можетъ быть славная штука, можетъ быть и скверная штука; можно быть становымъ и можно быть ничѣмъ... понимаешь?

— Да, оно хорошо, кабы становымъ!

— Ты сказалъ: становымъ — хорошо! Слѣдовательно, и дѣйствуй такимъ манеромъ, чтобъ быть тебѣ становымъ. А если, братъ, будешь становымъ, возьми меня къ себѣ въ письмоводители! Мнѣ, братъ, что: мнѣ хлѣба кусокъ да мѣсто на печкѣ! Я, братъ, спартанецъ! Одно слово, въ шкапу три мѣсяца выжилъ!

— Какъ въ шкапу?

— Такъ, братъ, въ шкапу! Ты думаешь, можетъ, дѣло

обо мнѣ въ шкапу лежало? Такъ нѣтъ: самъ своею собственною персоной въ шкапу, въ еловомъ шкапу, обиталъ! Тамъ, братъ, и ночевалъ.

— Такъ вотъ мы каковы! — говорилъ Техоцкій, охорашиваясь передъ кускомъ зеркала, висѣвшимъ на стѣнѣ убогой комнаты, которую онъ занималъ въ домѣ провинціальной секретарши Оболдуевой.—Въ насъ, братъ, княжны влюбляются!.. А вѣдь она... того!—продолжалъ онъ, приглаживая начатки усовъ, къ которымъ всѣ канцелярскіе чувствуютъ вообще нѣкоторую слабость:—бабенка-то она хоть куда! И какія, братъ, у нея ручки... прелесть! такъ вотъ тебя и манитъ, такъ и подмываетъ!

— Что ручки! — отвѣчалъ Трясучкинъ уныло. — Тутъ главное дѣло не ручки, а становымъ быть: вотъ ты объ чемъ подумай!

И на дружескомъ совѣтѣ положено было о ручкахъ думать какъ можно менѣе, а, напротивъ того, всѣ силы-мѣры направить къ одной цѣли—мѣсту станового.

Ваше сіятельство! куда вы попали? что вы сдѣлали? какое тайное преступленіе лежитъ на совѣсти вашей, что какой-то Трясучкинъ, гадкій, оборванный Трясучкинъ, осмѣливается взвѣшивать ваши дѣвственныя прелести и предпочитать имъ—о, ужасъ!—мѣсто станового пристава? Embourbée! embourbée! Воды рѣки Крутогорки не смоютъ того пятна, которое неизгладимо легло на вашу особу!

Княжна дѣйствительно томится и увядаетъ. Еще въ дѣтствѣ она слыхала, что одна изъ ея grandes tantes, princesse Nina, убѣжала съ какимъ-то разносчикомъ; ей разсказывали объ этой исторіи, comme d'une chose sans nom, и даже, изъ боязни запачкать воображеніе княжны, не развивали всѣхъ подробностей, а выражались общими словами, что родственница ея сдѣлала vilenie. И вдругъ та же самая vilenie повторяется на ней! Потому что вѣдь разносчикъ и Техоцкій—это, въ сущности, одно и то же, потому что и папа удостовѣряетъ, что чиновники, «ma chère enfant, ce sont de ces gens, dont on ne parle pas».

И между тѣмъ сердце говоритъ громче, нежели всѣ доводы разсудка; сердце дрожитъ и сжимается, едва заслышитъ княжна звуки голоса Техоцкаго, какъ дрожитъ и сжимается мышенокъ, завидѣвъ для себя неотразимую смерть въ образѣ жирнаго, самодовольнаго кота.

И чѣмъ плѣнилъ онъ ее? Что могло заставить ее, княжну, снизойти до бѣднаго, никѣмъ не замѣчаемаго чиновника?

Разсудокъ отвѣчаетъ, что всему виною праздность, полная бездѣятельность души, тоска, тоска и тоска! Но почему же не Трясучкинъ, а именно Техоцкій далъ сердцу ту пищу, которой оно жаждало? Княжна съ ужасомъ должна сознаться, что тутъ существуютъ какіе-то смутные расчеты, что она сама до такой степени embourbée, что даже это странное сборище людей, на которое всякая порядочная женщина должна смотрѣть совершенно безстрастными глазами, перестаетъ быть безразличнымъ сбродомъ, и, напротивъ того, въ немъ выясняются для нея совершенно опредѣлительныя фигуры, между которыми она начинаетъ уже различать красивыхъ отъ уродовъ, глупыхъ отъ умныхъ, какъ будто не всѣ они одни и тѣ же—ah, mon Dieu, mon Dieu!

И за всѣмъ тѣмъ княжна не можетъ не принять въ соображеніе и того обстоятельства, что вѣдь Техоцкій совсѣмъ даже не человѣкъ, что ему можно приказать любить себя, какъ можно приказать отнести письмо на почту.

Это для него все единственно-съ.

Въ этой борьбѣ, въ этихъ сомнѣніяхъ проходитъ нѣсколько мѣсяцевъ. Техоцкій, благодаря новому положенію, созданному для него княжной, новой парѣ платья, которую также княжна успѣла какимъ-то образомъ устроить для него на свой счетъ, втерся въ высшее крутогорское общество. Онъ ужс говоритъ о княжнѣ безъ подобострастія, не называетъ ее «сіятельствомъ» и вообще ведетъ себя какъ джентльменъ, который, по крутогорской пословицѣ, «сальныхъ свѣчъ не ѣстъ, стекломъ не закусываетъ». Сама княжна, встрѣчая его въ обществѣ, помаленьку заговариваетъ съ нимъ. Разговоръ ихъ обыкновенно отличается простотою и несложностью.

— Читали вы Оссіана?—спрашиваетъ княжна, которой внезапно припадаетъ смертная охота сравнить себя съ одною изъ туманныхъ героинь этого барда.

Техоцкій краснѣетъ и закусываетъ губы. Ему въ первый разъ въ жизни приходится слышать объ Оссіанѣ.

— Вы прочтите,—говоритъ княжна, нѣсколько раздосадованная, что разговоръ, обѣщавшій сдѣлаться интереснымъ, погибъ неестественною смертью.

Вообще, княжна, имѣвшая случай читать много и пристально, любитъ сравнивать себя съ героинями различныхъ романовъ. Болѣе другихъ по сердцу пришелся Жоржъ-Сандъ, и ей, безъ всякихъ шутокъ, иногда представляется, *что она*—Valentine, а Техоцкій—Benoît.

И вотъ они встрѣтились, и встрѣтились, наконецъ, одинъ-на-одинъ. Дѣло происходило въ загородной рощѣ, въ которую княжна часто ѣзжала для прогулокъ. Жаркое лѣтнее солнце еще высоко стояло на горизонтѣ, но высокія сосны и ели, среди которыхъ прорѣзаны аллеи для гуляющихъ, достаточно защищали отъ лучей его. Въ воздухѣ было томительно-сухо и жарко; сильный запахъ сосны какъ-то особенно-раздражительно дѣйствовалъ на нервы; въ рощѣ было тихо и мертво. Крутогорскіе жители вообще не охотники до романическихъ прогулокъ, а въ шестомъ часу и подавно. Въ это время всѣ спѣшатъ отдѣлаться отъ ежедневнаго посѣщенія статскаго совѣтника Храповицкаго, а не то чтобъ гулять. Княжна ходила много и раскраснѣлась; въ эти минуты она была даже недурна и казалась несравненно моложе своихъ лѣтъ. Глаза ея были влажны и вмѣстѣ съ тѣмъ блестящи, ротъ полуоткрытъ, дыханье горячо; грудь поднималась и опускалась съ какою-то истомой... И надо же, въ такомъ чрезвычайномъ положеніи, встрѣтить — кого же? — предметъ всѣхъ тайныхъ желаній, Павла Семеныча Техоцкаго.

Что эта встрѣча была съ ея стороны непреднамѣренная— доказательствомъ служитъ то, что ей сдѣлалось дурно, какъ только Техоцкій предсталъ предъ глазами ея во всемъ блескѣ своей новой пары.

Человѣка княжны вблизи не было, и Техоцкому волею-неволею пришлось поддержать ее и посадить на скамью. Неизвѣстно, какъ это случилось, но только когда княжна открыла глаза, то голова ея покоилась на плечѣ у возлюбленнаго. Очнувшись, она-было отшатнулась, но, вѣроятно, пары, наполнявшіе въ то время воздухъ, были до того отуманивающаго свойства, что головка ея сама собой опять прильнула къ плечу Техоцкаго. Такъ пробыла она нѣсколько минутъ, и Техоцкій возымѣлъ даже смѣлость взять ея сіятельство за талію: княжна вздрогнула; но если бъ тутъ былъ посторонній наблюдатель, то въ немъ не осталось бы ни малѣйшаго сомнѣнія, что эта дрожь происходитъ не отъ непріятнаго чувства, а вслѣдствіе какого-то страннаго, всеобщаго ощущенія довольства, какъ будто ей до того времени было холодно, и теперь вдругъ по всему тѣлу разлилась жизнь и теплота. Княжна даже не глядѣла на своего обожателя; она вся сосредоточилась въ себѣ и смотрѣла совсѣмъ въ другую сторону. Но если бы она могла взглянуть въ глаза Техоцкому, если-бъ талія ея, которую обни-

мала рука милаго ей канцеляриста, была хоть на минуту одарена осязаніемъ, она убѣдилась бы, что взоръ его тупъ и безучастенъ, она почувствовала бы, что рука эта не согрѣта внутреннимъ огнемъ.

Техоцкій молчалъ; княжна также не могла произнести ни слова. Въ первомъ молчаніе было результатомъ тупости чувства, во второй—волненія, внезапно охватившаго все ея существо. Наконецъ, княжна не выдержала и заплакала.

— Ваше сіятельство!—произнесъ Техоцкій.

Но княжна не слышала и продолжала плакать.

— Ваше сіятельство!—вновь началъ Техоцкій:—имѣю до васъ покорнѣйшую просьбу.

Княжна вдругъ перестала плакать и пристально посмотрѣла на него. Техоцкій упалъ на колѣни.

— Ваше сіятельство! —вопіялъ онъ, ловя ея руки:— заставьте Бога за васъ молить! Похлопочите у его сіятельства!

Княжна встала.

— Что вамъ нужно?—спросила она сухо.

— Мнѣ-съ?.. Въ Оковскомъ уѣздѣ открывается вакансія станового пристава.

— А!..—произнесла княжна и съ достоинствомъ удалилась по аллеѣ.

Къ сожалѣнію, полная развязка этой исторіи не дошла до меня; знаю только, что съ этого времени остроумнѣйшіе изъ крутогорскихъ чиновниковъ, неизвѣстно съ какого повода, прозвали княжну «паукомъ-бабой».

Пріятное семейство.

Если вы жили въ провинціи, мой благосклонный читатель, то, вѣроятно, знаете, что каждый губернскій и уѣздный городъ непремѣнно обладаетъ своимъ «пріятнымъ» семействомъ, точно такъ же, какъ обладаетъ городничимъ, исправникомъ и т. п. Въ пріятномъ семействѣ всѣ члены, отъ мала до велика, надѣлены какими-нибудь талантами. Первый и существеннѣйшій талантъ принадлежитъ самимъ хозяину и хозяйкѣ дома и заключается въ томъ, что они издали въ свѣтъ цѣлый выводокъ прелестнѣйшихъ дочерей и немалое количество остроумнѣйшихъ птенцовъ, составляющихъ красу и утѣшеніе цѣлаго города. Затѣмъ, старшая дочь играетъ на фортепіано, вторая дочь пріятно поетъ романсы, третья танцуетъ характерные танцы, чет-

вертая пишетъ какъ Севинье, пятая просто умна и т. д. Даже маленькіе члены семейства, и тѣ имѣютъ каждый свою спеціальность: Маша декламируетъ басню Крылова, Люба поетъ: *По улицѣ мостовой,* Ваня одѣнется ямщикомъ и propляшетъ русскую.

— Вы не повѣрите, мсьё NN,—говоритъ обыкновенно хозяйка дома:—какъ я счастлива въ семействѣ! Мы никогда не скучаемъ.

— Да, мы никогда не скучаемъ,—отзывается хозяинъ дома, широко и добродушно улыбаясь.

Въ пріятномъ семействѣ главную роль обыкновенно играетъ maman, къ которой и гости, и дѣти обращаются. Эту maman я, признаюсь откровенно, не совсѣмъ-то долюбливаю; по моему мнѣнію, она самая неблагонамѣренная дама въ цѣломъ Крутогорскѣ (ограничимся однимъ этимъ милымъ мнѣ городомъ). Мнѣ кажется, что только горькая необходимость заставила ее сдѣлать свой домъ «пріятнымъ»;—необходимость, осуществившаяся въ лицѣ нѣсколькихъ дочерей, которыя, по достаточной зрѣлости лѣтъ, обѣщаютъ пойти въ сѣмена, если въ самомъ непродолжительномъ времени не будутъ пристроены. Мнѣ кажется, что въ то время, когда она, стиснувши какъ-то зубы, съ помощью однѣхъ своихъ тонкихъ губъ, произноситъ мнѣ приглашеніе пожаловать къ нимъ въ одинъ изъ слѣдующихъ понедѣльниковъ, то смотритъ на меня только какъ на искуснаго ловца, который, быть-можетъ, отважится вытащить одну изъ ея утопающихъ въ зрѣлости дочерей. Когда я бываю у нихъ, то увѣренъ, что она слѣдитъ за каждымъ кускомъ, который я кладу въ ротъ; тщетно стараюсь я углубиться въ свою тарелку, тщетно стараюсь сосредоточить всю свою мысль на лежащемъ передо мною кускѣ говядины: я чувствую, и въ наклонномъ положеніи, что неблагонамѣренный ея взоръ насквозь пронизываетъ меня. Разговаривая съ нею за ужиномъ, я вижу, какъ этотъ взоръ безпрестанно коситъ во всѣ стороны, и въ то время, когда среди самой любезной фразы голосъ ея внезапно обрывается и принимаетъ тоны надорванной струны, я заранѣе ужъ знаю, что кто-нибудь изъ приглашенныхъ взялъ два куска жаркого, вмѣсто одного, или что лакей, на одинъ изъ столовъ, гдѣ должно стоять кагорское, цѣною не свыше сорока копеекъ, поставилъ шато-лафитъ въ рубль серебромъ.

Вообще, посѣщая «пріятное семейство» по понедѣльникамъ, я всегда нахожусь въ самомъ тревожномъ положеніи.

Во-первыхъ, я постоянно страшусь, что вотъ-вотъ кому-нибудь недостанетъ холоднаго, и что даже самые взоры и распорядительность хозяйки не помогутъ этому горю, потому что одною распорядительностью никого накормить нельзя; во-вторыхъ, я вижу очень ясно, что Марья Ивановна (такъ называется хозяйка дома) каждый мой лишній глотокъ считаетъ личнымъ для себя оскорбленіемъ; въ-третьихъ, мнѣ кажется, что, въ благодарность за вышеозначенный лишній глотокъ, Марья Ивановна чего-то ждетъ отъ меня, хоть бы, напримѣръ, того, что я, преисполнившись яствъ, вдругъ сдѣлаю предложеніе ея Sevigné, которая безобразіемъ превосходитъ всякое описаніе, а потому менѣе всѣхъ подаетъ надежду когда-нибудь достигнуть тѣхъ счастливыхъ острововъ, гдѣ царствуетъ Гименей.

Нѣкоторые, впрочемъ, изъ моихъ добрыхъ знакомыхъ искусно пользуются этимъ обстоятельствомъ, чтобы совершенно истерзать сердце Марьи Ивановны. Мой другъ, Василій Николаичъ *), напримѣръ, никакъ не упуститъ случая, чтобы не накласть себѣ на тарелку по два и даже по три куска, и половину накладеннаго сдаетъ лакею нетронутою. Точно такъ же поступаетъ онъ съ виномъ, если оно оказывается ужъ черезчуръ кислымъ. Въ этомъ случаѣ онъ подзываетъ лакея къ себѣ и безъ церемоніи приказываетъ ему подать вина съ другого стола, за которымъ сидятъ женихи и статскіе совѣтники. Однажды даже, когда подавали Василію Николаичу блюдо жареной индѣйки, онъ сказалъ очень громко лакею: «э, братъ, да у васъ нынче индѣйка-то, кажется, кормленая!»—и вслѣдъ затѣмъ чуть ли не половину ея стащилъ къ себѣ на тарелку. Вслѣдствіе этого между Марьей Ивановной и Васильемъ Николаичемъ существуетъ тайная вражда, и я даже самъ слышалъ, какъ Марья Ивановна, обратясь къ одному изъ статскихъ совѣтниковъ, сказала: «чего хочетъ отъ меня этотъ *злой* человѣкъ?»

Независимо отъ этихъ свойствъ, доказывающихъ ея материнскую заботливость, Марья Ивановна не прочь иногда и посплетничать, или, какъ выражаются въ Крутогорскѣ, вымыть ближнему косточки. Я положительно могу даже увѣрить, что она, въ этомъ смыслѣ, обладаетъ весьма замѣчательными авторскими способностями. Главная ея тактика заключается въ томъ, чтобъ подойти къ истязуемому пред-

*) См. «Бураки́нъ» и «Христосъ воскресъ!»

мету съ слабой стороны: польстить, напримѣръ, самолюбію, подъѣхать съ участіемъ и т. п. На молодежь это дѣйствуетъ почти безъ промаха. Сказанное во-время и кстати слово участія мгновенно вызываетъ наружу все, что таилось далеко на днѣ молодой души. Душа начинаетъ тогда безъ разбора и безъ расчета выбрасывать всѣ свои сокровища; иногда даже и привираетъ, потому что когда дѣло на откровенность пошло, то не приврать точно такъ же невозможно, какъ невозможно не наѣсться до отвала хорошаго и вкуснаго кушанья. Но здѣсь-то и стережетъ васъ Марья Ивановна: она кстати пожалѣетъ васъ, если вы, напримѣръ, влюблены; кстати посмѣется съ вами, если вы, *въ шутливомъ русскомъ тонѣ*, разсказываете какую-нибудь новую шутку князя Чебылкина; но будьте увѣрены, что завтра же и любовь ваша, и продѣлка его сіятельства будутъ извѣстны цѣлому городу. На этотъ счетъ у Марьи Ивановны имѣется также своя особая сноровка. Сохрани Богъ, чтобъ она назвала васъ, или сказала кому-нибудь, что вы въ томъ-то ей сознались, или то-то ей разсказали. Нѣтъ, она подходитъ къ какой-нибудь Аннисѣ Петровнѣ и издалека начинаетъ съ ней слѣдующаго рода разговоръ:

— Вы знаете мсьё Щедрина?—спрашиваетъ Марья Ивановна.

— Не имѣю этой чести,—отвѣчаетъ Аннса Петровна, состроивши на лицѣ безконечно-язвительную улыбку, потому что Аннисѣ Петровнѣ ужасно обидно, что мсьё Щедринъ, съ самаго дня прибытія въ Крутогорскъ, ни разу не заблагоразсудилъ явиться къ ней съ почтеніемъ. Замѣчу мимоходомъ, что Марья Ивановна очень хорошо знаетъ это обстоятельство, но потому-то она и выбрала Аннсу Петровну въ повѣренныя своей сплетни, что, во-первыхъ, пренебреженіе мсьё Щедрина усугубитъ рвеніе Аннсы Петровны, а во-вторыхъ, самое имя мсьё Щедрина всю кровь Аннсы Петровны мгновенно превратитъ въ сыворотку, что также на руку Марьѣ Ивановнѣ, которая, какъ дама отъ природы неблагонамѣренная, за одинъ разъ желаетъ сдѣлать возможно бо́льшую сумму зла и уязвить своимъ жаломъ нѣсколько персонъ вдругъ.

— Какой милый, прекрасный молодой человѣкъ!—продолжаетъ Марья Ивановна, видя, что Аннсу Петровну подергиваетъ судорога.—Если-бъ въ Крутогорскѣ были все такіе образованные молодые люди, какъ пріятно было бы служить моему Алексису!

— Ихъ всѣ хвалятъ!—ехидно произноситъ Аѳиса Петровна, переполняясь ѳдомъ и желчью.

— И между тѣмъ, представьте, какъ онъ страдаетъ! Вы знаете Катерину Дмитріевну? Бѣдненькій!

Аѳиса Петровна чуть дышитъ, чтобъ не проронить ни одного слова.

— Вѣдь, вы знаете, entre nous soit dit, что мужъ ея... (Марья Ивановна шепчетъ что-то на ухо своей собесѣдницѣ). Ну, конечно, мсьё Щедринъ, какъ молодой человѣкъ... Это очень понятно! И представьте себѣ: она, эта холодная, эта бездушная кокетка, предпочла мсьё Щедрину—кого же?—учителя Линкина! Vous savez?.. Mais elle a des instincts, cette femme!!!..

И, несмотря на все свое состраданье къ мсьё Щедрину, Марья Ивановна хохочетъ, но какимъ-то такимъ искусственнымъ, дѣланнымъ смѣхомъ, что даже Аѳисѣ Петровнѣ становится отъ него жутко.

— Этого всегда должно было ожидать,—отвѣчаетъ кратко собесѣдница.

— Я его сегодня спрашиваю: отчего вы, мсьё Щедринъ, такой блѣдненькій? А онъ мнѣ: «ахъ, Марья Ивановна, если бъ вы знали, что въ моемъ сердцѣ происходитъ!..» Бѣдненькій!

И тотъ же дѣланный смѣхъ снова коробитъ Аѳису Петровну, которая очень любитъ розсказни Марьи Ивановны, но не можетъ привыкнуть къ ея смѣху.

— Такъ вы думаете, что Катерина Дмитріевна...

— Еще бы!—отвѣчаетъ Марья Ивановна, и голосъ ея дрожитъ и переходитъ въ декламацію, а носъ, отъ душевнаго волненія, наполняется кровью, независимо отъ всего лица, какъ пузырекъ, стоящій на столѣ, наполняется красными чернилами.—Еще бы! Вы знаете, Аѳиса Петровна, что я никому не желаю зла—что мнѣ! я такъ счастлива въ своемъ семействѣ! Но это ужъ превосходитъ всякую мѣру! Представьте себѣ...

Тутъ начинается шопотъ, который заключается словами: «ну, скажите на милость!» И, должно-быть, въ этомъ шопотѣ есть что-то весьма сатанинское, потому что Аѳиса Петровна довольна полученными свѣдѣніями выше всякаго описанія.

Что касается до главы семейства, то онъ играетъ въ своемъ домѣ довольно жалкую роль и значеніемъ своимъ напоминаетъ того свидѣтеля, который, при слѣдствіи, на

всѣ вопросы слѣдователя отвѣчаетъ: запамятовалъ, не знаю и не видалъ. Онъ очень счастливъ по понедѣльникамъ, потому что устраиваетъ въ этотъ день себѣ копеечную партію, и хотя партнеры его безпощадно ругаютъ, потому что онъ въ карты ступить не умѣетъ, но онъ не обижается. Сверхъ того, въ эти дни онъ имѣетъ возможность наѣсться досыта, ибо носятся слухи, что Марья Ивановна, какъ отличная хозяйка, держитъ обыкновенно и его, и всю семью впроголодь. Если кто-нибудь съ нимъ заговоритъ,—а это случается лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда желаютъ потѣшиться надъ его простодушіемъ,—лицо его принимаетъ радостно-благодарное выраженіе; участіе же въ разговорѣ ограничивается тѣмъ, что онъ повторяетъ послѣднія слова своего собесѣдника.

Василій Николаичъ не преминулъ воспользоваться и этимъ обстоятельствомъ. Нѣсколько понедѣльниковъ сряду, къ общему утѣшенію всей крутогорской публики, онъ разсказывалъ Алексѣю Дмитричу какую-то исторію, въ которой одно изъ дѣйствующихъ лицъ говоритъ: «ну, положимъ, что я дуракъ», и на этихъ словахъ прерывалъ свой разсказъ.

— Я дуракъ,—кротко повторялъ Алексѣй Дмитричъ.

— Ахъ, что это какой ты разсѣянный, Алексисъ!—отзывается вдругъ Марья Ивановна, прислушиваясь къ разговору.

Вообще, Василій Николаичъ смотритъ на Алексѣя Дмитрича какъ на средство самому развлечься и другихъ позабавить. Онъ показываетъ почтеннѣйшей публикѣ главу «пріятнаго семейства», какъ вожакъ показываетъ ученаго медвѣдя.

Говорятъ, будто Алексѣй Дмитричъ золъ, особливо если натравитъ его на кого-нибудь Марья Ивановна. Я довольно вѣрю этому, потому что и изъ исторіи извѣстно, что глупые люди и обезьяны всегда злы подъ старость бывали.

— Умный человѣкъ-съ,—говаривалъ мнѣ иногда по этому поводу крутогорскій инвалидный начальникъ:—не можетъ быть злымъ, потому что умный человѣкъ понятіе имѣетъ-съ; а глупый человѣкъ какъ обозлится, такъ просто, безъ всякаго резона, какъ индѣйскій пѣтухъ, на всѣхъ бросается. Вотъ хоть бы Алексѣй Дмитричъ: за что они на меня сердятся? За то, что я коляски для нихъ въ мастерской не сдѣлалъ? Точно мнѣ жалко мастеровыхъ-съ, или я обязанности своей не понимаю-съ! Докладывалъ я имъ сколько разъ, что матеріалу у меня такого не имѣется—такъ нѣтъ, сударь! заладилъ одно: не хочешь да не хочешь! Ну, и

заварили кашу. Посудите сами, я-то чѣмъ же тутъ виноватъ?... Оно и выходитъ, что и перевернешься—бьютъ, и не перевернешься—бьютъ: вотъ она, какова гусарская служба!

О прочихъ членахъ семейства сказать опредѣлительнаго ничего нельзя, потому что они, очевидно, находятся подъ гнетомъ своей maman, которая даетъ имъ ту или другую физіономію, по своему усмотрѣнію. Несомнѣнно только то, что всѣ они снабжены разнообразнѣйшими талантами, а дочери, сверхъ того, въ знакъ невинности, называютъ родителей не иначе, какъ «папасецка» и «мамасецка», и какимъ-то особеннымъ образомъ подпрыгиваютъ на ходу, если въ числѣ гостей бываетъ новое и въ какомъ-нибудь отношеніи интересное лицо.

Пріѣхавши, въ одинъ изъ такихъ понедѣльниковъ, къ Размановскимъ, я еще на лѣстницѣ былъ пріятно изумленъ звуками музыки, долетавшими до меня изъ передней. Дѣйствительно, тамъ сидѣло нѣсколько батальонныхъ солдатъ, которые грустно настраивали свои инструменты.

— Слышь, Ильинъ,—говорилъ старшій музыкантъ Пахомовъ: — ты у меня смотри! Коли опять въ аллегру отстанешь, я изъ тебя самого флейту и контрабасъ сдѣлаю.

— А что, вѣрно я рано забрался? — спрашиваю я у Василія Николаича, одиноко расхаживающаго по залѣ.

— Да; вотъ я тутъ съ полчаса ужъ дежурю,—отвѣчалъ онъ съ нѣкоторымъ ожесточеніемъ:—и хоть ты что хочешь! И кашлять принимался, и ногами стучалъ—нейдетъ никто! А между тѣмъ самъ я слышу, какъ они въ сосѣдней комнатѣ разливаются-хохочутъ!

— Да по какому случаю сегодня балъ у Размановскихъ?

— Развѣ вы не знаете? Вѣдь сегодня день ангела Агриппины, той самой, которая на фортепьянахъ-то играетъ. Ахъ, задушатъ они насъ нынче пѣніемъ и декламаціей!

И точно, въ сосѣдней комнатѣ послышалась визгливая рулада, производимая не столько пріятнымъ, сколько усереднымъ голосомъ третьей дочери, Клеопатры, которая, по всѣмъ вѣроятіямъ, репетировала арію, долженствовавшую восхитить всѣхъ слушателей.

Въ это время въ комнату вошелъ самъ Алексѣй Дмитричъ, и вслѣдъ затѣмъ начали съѣзжаться гости.

— Вы вѣрно спали?—спросилъ Василій Николаичъ хозяина.

— Спали,—отвѣчалъ тотъ кротко.

— А вѣдь знаете, коли зовете вы къ себѣ гостей, такъ спать-то ужъ и не годится.

— Ужъ и не годится,—повторилъ старецъ.

Мало-по-малу, образовались въ залѣ кружки, и даже Алексѣй Дмитричъ, желая принять участіе въ общемъ разговорѣ, началъ слоняться изъ одного угла въ другой, наводя на всѣ сердца нестерпимое уныніе. Женскій полъ скромно пробирался черезъ залъ въ гостиную и робко усаживался по стѣнкѣ, въ ожиданіи хозяевъ.

— Ну, что, какъ вы поживаете, господа?—спросилъ я, подходя къ кучкѣ гарнизонныхъ офицеровъ, одѣтыхъ съ иголочки и въ бѣлыхъ перчаткахъ на рукахъ.

— Славу Богу, Николай Иванычъ,—отвѣчалъ одинъ изъ нихъ:—нынѣшнимъ лѣтомъ покормились-таки; вотъ и мундирцы новенькіе пошили.

— Какъ же это вы «покормились»?

— Да вотъ партію сводили-съ, такъ тутъ кой-чего къ ладонямъ пристало-съ...

Я ужасно люблю господъ гарнизонныхъ офицеровъ. Есть у нихъ на все этакой взглядъ наивный, какого ни одинъ человѣкъ въ цѣломъ мірѣ имѣть не можетъ. Нынче гитара и флейта даже у приказныхъ вывелись, а гарнизонный офицеръ остается вѣренъ этимъ инструментамъ до конца жизни, потому что посредствомъ ихъ онъ преимущественно выражаетъ тоску души своей. Обойдутъ ли его партіей — онъ угрюмо насвистываетъ: *Не одна-то во полѣ дороженька;* закрадется ли въ сердце его вожделѣніе къ женской юбкѣ— онъ уныло выводитъ: *Черный цвѣтъ*, и такіе вздохи на флейтѣ выдѣлываетъ, что нужно быть юбкѣ каменной, чтобы противостоять этимъ вздохамъ. На цѣлый міръ онъ смотритъ съ точки зрѣнія пайка; читаетъ онъ какое-нибудь «сочиненіе» — думаетъ: «авторъ столько-то пайковъ себѣ выработалъ»; слышитъ ли, что кто-нибудь изъ его знакомыхъ мѣсто новое получилъ—говоритъ: «столько-то пайковъ ему прибавилось». Вообще они очень добрые малые и преуслужливые. На балахъ, куда ихъ приглашаютъ цѣлою партіей, чтобъ дѣвицы не сидѣли безъ кавалеровъ, они танцуютъ со всѣмъ усердіемъ и съ величайшею аккуратностью, не болтая ногами направо и налѣво, какъ штатскіе, а выдѣлывая отчетливо каждое па. Марья Ивановна очень любитъ эту отчетливость и видитъ въ ней несомнѣнный знакъ преданности къ ея особѣ.

— Посмотрите, какъ вашъ Коловоротовъ отъ души тан-

цуетъ!—относится она къ инвалидному начальнику, который самолично наблюдаетъ, чтобы господа офицеры исполняли свои обязанности неуклонно.

— Усердный офицеръ-съ!—отвѣчаетъ командиръ угрюмо. Но обращаюсь къ разсказу.

— О чемъ же вы такъ смѣялись тутъ, господа?—спрашиваю я того же офицера, который объяснилъ мнѣ значеніе слова «покормиться».

— Да вотъ Харченко анекдотъ разсказывалъ...

Общій смѣхъ.

— Вотъ-съ, изволите видѣть,—подхватываетъ торопливо Харченко, какъ будто опасаясь, чтобы Коловоротовъ или кто-нибудь другой не посягнулъ на его авторскую славу:— вотъ изволите видѣть: стоялъ одинъ офицеръ передъ зеркаломъ и волосы себѣ причесывалъ, и говоритъ денщику: «что это, братецъ, волосы у меня лѣзутъ?» А тотъ, знаете, подумавши этакъ минутъ съ пять, отвѣчаетъ: «весною, ваше благородіе, всякая скотина линяетъ»... А въ то время весна была-съ,—прибавилъ онъ, внезапно краснѣя.

Новый взрывъ смѣха.

— И вѣдь «подумавши»—вотъ что главное?—говоритъ прапорщикъ Коловоротовъ.

— «Линяетъ»!—повторяетъ другой прапорщикъ, едва удерживая порывы смѣха, одолѣвающіе его юную грудь.

Но этотъ анекдотъ я уже давно слышалъ, и даже вполнѣ увѣренъ, что и всѣ господа офицеры знаютъ его наизусть. Но они невзыскательны, и нѣкоторыя повѣствованія всегда производятъ неотразимый эффектъ между ними. Къ числу ихъ относятся разсказы о томъ, какъ офицеръ тройку жидовъ загналъ, о томъ, какъ русскій, квартируя у нѣмца, неприличность даже на потолкѣ сдѣлалъ, и т. д.

Я подхожу къ другой группѣ, гдѣ другъ мой Василій Николаичъ показываетъ публикѣ медвѣдя, то-есть заставляетъ Алексѣя Дмитрича говорить разную чепуху. Около нихъ собралась цѣлая толпа народа, въ которой немолчно раздается громкій и искренній смѣхъ, свидѣтельствующій о необыкновенномъ успѣхѣ представленія.

— Да нѣтъ, я что-то не понимаю этого,—говоритъ Василій Николаичъ:—воля ваша, а тутъ что-нибудь да не такъ.

— Помилуйте,—возражаетъ Алексѣй Дмитричъ:—какъ же вы не понимаете? Ну, вы представьте себѣ двѣ комиссіи: одна комиссія и другая комиссія, и въ обѣихъ я, такъ сказать,

первоприсутствующій... Ну, вотъ я изъ одной комиссіи и пишу, теперича, къ себѣ, въ другую комиссію, что надо вотъ Василію Николаичу домъ починить, а изъ этой-то комиссіи пишу опять къ себѣ въ другую комиссію, что, врешь, дома чинить не нужно, потому что онъ въ своемъ видѣ... понимаете?

— Ну, и ладно выходитъ.— спрашиваетъ Василій Николаичъ.

— Ну, и ладно выходитъ, — повторяетъ Алексѣй Дмитричъ.

Хохотъ, въ которомъ хозяинъ дома принимаетъ самое дѣятельное участіе.

— Нѣтъ, тутъ что-нибудь да не то, — продолжаетъ Василій Николаичъ.—Конечно, экилибръ властей—это слова нѣтъ; однако, тутъ кто-нибудь да совралъ. Поговоримъ-ка лучше объ статистикѣ.

— Поговоримъ объ статистикѣ, — повторяетъ Алексѣй Дмитричъ.

— Ну, какимъ же образомъ вы свѣдѣнія собираете? Я что-то этого не понимаю. Сами вѣдь вы не можете сосчитать всякую овцу, и однакожъ вотъ у васъ значится въ свѣдѣніяхъ, что овецъ въ губерніи семьсотъ одиннадцать тысячъ шестьсотъ шестьдесятъ три... Какъ же это?

Алексѣй Дмитричъ улыбается.

— Вотъ то-то и есть,—говоритъ онъ:—все это только по наружности трудно. Вамъ съ непривычки-то кажется, что я самъ пойду овецъ считать, аиъ у меня на это такіе ходоки въ уѣздахъ есть—вотъ и считаютъ! Мое дѣло только остановить ихъ, коли заврутся, или прикрикнуть, если лѣниться будутъ. Вотъ, напримѣръ, намеднись оковскій исправникъ совсѣмъ одной статьи въ своихъ свѣдѣніяхъ не включилъ; ну, я, разумѣется, сейчасъ же запросъ: «почему нѣтъ статьи о шелководствѣ?» Онъ отвѣчаетъ, что потому этой статьи не включилъ, что шелководства нѣтъ. Но онъ все-таки долженъ былъ въ свѣдѣніяхъ это объяснить.

— Да, да,—замѣчаетъ Василій Николаичъ: — иначе какая же это будетъ статистика! Вотъ я тоже зналъ такого точно администратора, который во всякую вещь до тонкости доходилъ; такъ тотъ поручилъ однажды своему чиновнику составить вѣдомость всѣмъ лицамъ, получающимъ отъ казны арендныя деньги, да потомъ и говоритъ ему: «ужъ кстати, любезнѣйшій, составьте маленькій списочекъ и тѣмъ лицамъ, которыя аренды не получаютъ». Тотъ сгоряча гово-

ритъ: «слушаю-съ», да потомъ и приходитъ ко мнѣ: «что, говоритъ, я стану дѣлать?» Ну, я и посовѣтовалъ на первый разъ вытребовать ревизскія сказки изъ всѣхъ уѣздныхъ казначействъ.

Взрывъ хохота.

— Николай Иванычъ! Николай Иванычъ!—слышу я голосъ князя Льва Михайлыча, зовущаго меня съ другого конца залы.

Я устремляюсь всѣми силами души своей и стараюсь придать своему лицу благодарное и радостное выраженіе, потому что имѣю честь служить подъ непосредственнымъ начальствомъ его сіятельства.

— Мы здѣсь разсуждаемъ о томъ,—говорилъ онъ мнѣ:— какое нынче направленіе странное принимаетъ литература—все какіе-то нарывы описываетъ! И такъ, знаете, все это подробно, что при дамахъ даже читать невозможно... потому что дама—vous concevez, mon cher!—это такой цвѣтокъ, который ничего, кромѣ тонкихъ запаховъ, испускать изъ себя не долженъ, и вдругъ ему, этому нѣжному цвѣтку, предлагаютъ навозную кучу... согласитесь, что это непріятно!..

Я молча кланяюсь.

— Знакомятъ съ какими-то лакеями, мужиками, солдатами... Слова нѣтъ, что они есть въ природѣ, эти мужики, да отъ нихъ вѣдь пахнетъ,—ну, и опрыскай его авторъ чѣмъ-нибудь, чтобы, знаете, въ гостиную его ввести можно. А то такъ со всѣмъ, и съ запахомъ, и ломятъ... Это не только неприлично, но даже безнравственно...

У князя показываются слезы на глазахъ, потому что онъ очень добрый человѣкъ.

— Вотъ пошла, напримѣръ, нынче мода на взяточничество нападать, — продолжаетъ онъ. — Ну, конечно, это не хорошо взятки брать—кто же ихъ защищаетъ!—mais vous concevez, mon cher, дѣлай же онъ это такъ, чтобъ читателю пріятно было; ну, представь взяточника, и изобрази тамъ... да въ концѣ-то, въ концѣ-то приготовь ему возмездіе, чтобъ зналъ читатель, какъ это не хорошо быть взяточникомъ... а то такъ на распутіи и броситъ—вѣдь этакъ и понять, пожалуй, нельзя, потому что если возмездія нѣтъ, стало-быть и факта самаго нѣтъ, и все это одна клевета...

— Это совершенно справедливо ваше сіятельство изволили замѣтить,—вступается Порфирій Петровичъ, котораго очень радуетъ изреченная княземъ аксіома, что безнака-

занность есть синонимъ невинности:—это совершенно справедливо, что голословно можно и самаго чистаго человѣка оклеветать.

— Я и самъ не прочь иногда посмѣяться,—снова проповѣдуетъ его сіятельство: — il ne faut pas être toujours taciturne, c'est mauvais genre! Мрачныя физіономіи бываютъ только у лакеевъ, потому что они озабочены, какъ бы имъ подноса не уронить; ну, а мы съ подносами не ходимъ, слѣдовательно и приличіе требуетъ иногда посмѣяться; но согласитесь, что у нашихъ писателей смѣхъ ужъ черезчуръ звонокъ... Вотъ, напримѣръ, я составилъ проектъ комедіи—выслушайте и скажите свое мнѣніе. На сценѣ взяточникъ; онъ тамъ обираетъ, въ карманы лѣзетъ—можно обрисовать его даже самыми черными красками, чтобы, знаете, впечатлѣніе произвесть... Зритель увлеченъ; онъ уже думаетъ, что личность его не безопасна, онъ ощупываетъ свои собственные карманы... Но тутъ-то, въ эту самую минуту, и должна проявиться благонамѣренность автора... Въ то самое время, какъ взяточникъ снимаетъ съ бѣдняка послѣдній кафтанъ, изъ задней декораціи вдругъ является рука, которая беретъ взяточника за волосы и поднимаетъ наверхъ... Въ этомъ мѣстѣ занавѣсъ опускается, и зритель выходитъ изъ театра успокоенный и не застегиваетъ даже своего пальто...

— Это справедливо,—говоритъ Василій Николаичъ, который какъ-то незамѣтно подкрался къ намъ:—комедія вышла бы хорошая, только врядъ ли актера можно такого сыскать, который согласился бы, чтобъ его тащили кверху за волосы.

— Можно на это время куклой подмѣнить,—отзывается князь довольно сухо.

Но въ залѣ вдругъ дѣлается тихо. Является Марья Ивановна подъ руку съ именинницей; прочіе цвѣтки роскошнаго букета скромно слѣдуютъ сзади.

Князь Левъ Михайлычъ, сѣменя ножками, поспѣшаетъ навстрѣчу Марьѣ Ивановнѣ.

— Vous voilà comme toujours belle et parée,—говоритъ онъ, обращаясь къ именинницѣ. И, пріятно округливъ правую руку, предлагаетъ ее Агриппинѣ Алексѣевнѣ, отрывая ее такимъ образомъ отъ сердца нѣжно любящей матери, которая не иначе, какъ со слезами на глазахъ, рѣшается довѣрить свое дитя когтямъ этого оплѣшивѣвшаго отъ ста-

рости коршуна. Левъ Михайлычъ, безъ дальнѣйшихъ церемоній, ведетъ свою даму прямо къ роялю.

— Начинается истязаніе!—шопотомъ говоритъ мнѣ Василій Николаичъ, который, несмотря на все свое остроуміе, нѣсколько побаивается Марьи Ивановны и не рѣшается говорить вблизи ея громко.

Агриппина Алексѣевна садится къ роялю, отряхиваетъ свои кудри и, принявъ видъ отчасти вдохновенный, отчасти полоумный, начинаетъ разыгрывать какой-то «Rêve». Я совершенно убѣжденъ, что въ эту сладкую минуту она отнюдь не сомнѣвается, что стихотвореніе Шиллера «Laure am Clavier» написано къ ней и что имя Лауры есть не что иное, какъ грустная опечатка.

— Прекрасно! превосходно! съ какимъ чувствомъ!—слышится со всѣхъ сторонъ во время игры, а подъ конецъ пьесы зала наполняется громомъ аплодисментовъ.

Надо сказать здѣсь, что у Марьи Ивановны имѣется въ запасѣ свой entrepreneur de succès, дѣтина рыжій и съ весьма развитыми мускулами, который не только самъ аплодируетъ, но готовъ прибить всякаго другого, кому вздумалось бы не аплодировать. Эта ехидная гадина, порожденіе провинціальнаго кліэнтизма, угрюмо озирается во всѣ стороны, какъ бы выискивая въ толпѣ жертву, на которую можно было бы ему нашептать въ уши Марьѣ Ивановнѣ. За этотъ бдительный надзоръ и за разныя другія послуги, преимущественно по предмету заднекрылечнаго знакомства съ уѣздными чиновниками и подрядчиками, совершающагося подъ печатью ненарушимой тайны, кліэнтъ пользуется чрезвычайною благосклонностью Марьи Ивановны и, кромѣ процентовъ въ общихъ прибыляхъ, имѣетъ всегда готовый куверть за столомъ ея.

Марья Ивановна въ восторгѣ отъ похвалъ, отовсюду раздающихся ея дочери, но вмѣстѣ съ этимъ она грустно потрясаетъ головой.

— Если бы вы знали,—говоритъ она князю Льву Михайловичу: — если бы вы знали, mon cher prince, чего намъ стоили всѣ эти уроки! Вѣдь Агриппина — ученица Герке...

— Шш!..—раздается по залѣ, и всѣ скромно разсаживаются по стульямъ, разставленнымъ вдоль стѣнъ.

Въ середину залы выступаетъ вторая дочь Марьи Ивановны, Аглаида, и звучнымъ контральтовымъ голосомъ произноситъ стихи:

Тебя съ днемъ ангела, сестра, я поздравляю.
Сестра! любимица Зиждителя небесъ!
Отъ сердца полноты всѣхъ благъ тебѣ желаю,
И чтобъ коварный вѣтръ малютку не унёсъ...

— Коварный вѣтръ — это мужъ, — замѣчаетъ Василій Николаичъ:—а малютка—сама виновница настоящаго торжества!.. И замѣтьте: «небесъ»—«не унёсъ».

Агланда продолжаетъ:

Съ гнѣзда родимаго, отъ отческа крыла
Судьбина жёсткая малютку унесла.
Мать безутѣшная! лети скорѣе, плачь:
Невиннаго птенца задушитъ сей палачъ...

— Да не вы ли «сей палачъ»? — обращается ко мнѣ опять Василій Николаичъ.—А я думалъ, что долго не дождаться Агриппинѣ «сего палача».

Прими-жъ, сестра, мое ты поздравленье,
И да услышитъ Богъ послѣднее моленье:
Да ниспошлетъ тебѣ Онъ сердца чистоту
И да низвержетъ въ прахъ злодѣевъ клевету!

— А вѣдь «клевету»-то на вашъ счетъ сказано!—говорю я, въ свою очередь, Василію Николаичу.

— Можетъ-быть, — отвѣчаетъ онъ. — А это она хорошо сдѣлала, что пожелала Агриппинѣ чистоты: опрятность никогда не мѣшаетъ.

Гости начинаютъ уже стучать стульями, въ чаяніи, что испытаніе кончилось и что можно будетъ приступить къ настоящимъ дѣйствіямъ, составляющимъ цѣль всякаго провинціальнаго праздника: танцамъ и висту. Но надежда и на этотъ разъ остается обманутою. Къ роялю подходятъ Клеопатра и Агриппина.

— Эти же стихи, переложенные на музыку Агриппиной Алексѣевной, будетъ пѣть Клеопатра Алексѣевна, — объясняетъ рыжій кліэнтъ, проходя мимо насъ.

— Выходитъ, что именинница сама себя поздравляетъ,— пополняетъ Василій Николаичъ. — *Никъмъ же не мучими сами ся мучиху...*

Именинница аккомпанируетъ, а Клеопатра Алексѣевна разливается. Въ патетическихъ мѣстахъ она оборачивается къ публикѣ всѣмъ корпусомъ, и зрачки глазъ ея до такой степени пропадаютъ, что самъ исправникъ Живоглотъ — на что ужъ бестія! — ни подъ какимъ видомъ ихъ нигдѣ не отыскалъ бы, если-бъ на него возложили это деликат-

пое порученіе. Пѣніе кончается, и на этотъ разъ аплодисменты раздаются съ учетверенною силой, потому что всѣ эти колодники, сидѣвшіе вдоль стѣны, имѣютъ полную надежду, что сюрпризы прекратились, и они могутъ отправиться каждый по своему дѣлу. И дѣйствительно, разносится слухъ, что поздравительный танецъ, предназначенный къ исполненію черезъ малолѣтнихъ членовъ «пріятнаго семейства», отложенъ до слѣдующаго понедѣльника.

— А очень жаль, очень жаль,—говоритъ Порфирій Петровичъ, подходя къ Марьѣ Ивановнѣ: — очень было бы пріятно полюбоваться, какъ эти ангельчики...

Марья Ивановна готова уже дать знакъ кліэнту, чтобы исполнить желаніе гостей, но Порфирій Петровичъ, самъ испугавшійся своего успѣха, прибавляетъ:

— Впрочемъ, это удовольствіе еще не ушло отъ насъ: въ слѣдующій понедѣльникъ...

— Ну, то-то же! — шепчетъ Василій Николаичъ: — а то проврался-было старикъ!

Въ сосѣдней комнатѣ карточные столы уже заняты, а въ передней раздаются первые звуки вальса. Я спѣшу къ княжнѣ Аннѣ Львовнѣ, которая въ это время какъ-то робко озирается, какъ будто ища кого-то въ толпѣ. Я подозрѣваю, что глаза ея жаждутъ встрѣтить чистенькаго чиновника Техоцкаго *); и, уважая тревожное состояніе ея сердца, почтительно останавливаюсь поодаль, въ ожиданіи, покуда ей самой угодно будетъ замѣтить меня.

— Ah, c'est vous, мсьё Щедринъ? — говоритъ она, наконецъ, подавляя вздохъ, созрѣвшій въ ея груди.

И мы несемся, какъ вихрь, по залѣ.

Княжна вообще очень ко мнѣ внимательна, и даже не прочь бы устроить изъ меня повѣреннаго своихъ маленькихъ тайнъ, но не хочетъ сдѣлать первый шагъ, а я тоже не поддаюсь, зная, какъ тяжело быть повѣреннымъ непризнанныхъ страданій и оскорбленныхъ самолюбій. Въ этотъ вечеръ она какъ-то ожесточена, смѣется лихорадочнымъ смѣхомъ, и все будто хочетъ о чемъ-то спросить меня, но не придумаетъ, какъ это сдѣлать. Я знаю, что она хочетъ спросить, почему нѣтъ въ числѣ гостей Техоцкаго; но я не объясняю ей истинныхъ причинъ этого отсутствія, потому что это могло бы огорчить ее. Мнѣ извѣстно, что Техоцкій не приглашенъ Марьей Ивановной именно въ

*) *См. выше:* «Княжна Анна Львовна».

пику княжнѣ и въ видахъ сохраненія добрыхъ нравовъ въ городѣ Крутогорскѣ.

— Помилуйте,—говорила мнѣ сама Марья Ивановна:— вѣдь она такая exaltée! Пожалуй, еще на шею ему вѣшаться станетъ, а у меня дочери-дѣвицы!

— Какъ вамъ кажется эта фантазія угощать произведеніями своей домашней кухни?—спрашиваетъ меня княжна, когда мы усѣлись съ ней рядомъ въ кадрили. Очевидно, что она намекаетъ на выставку талантовъ, производившуюся передъ открытіемъ танцевъ.

— Вы знаете, княжна, — отвѣчаю я: — что я не имѣю никакого мнѣнія на этотъ счетъ.

Но княжна, очевидно, меня не слушаетъ.

— И замѣтьте,—продолжаетъ она:—какъ все это самодовольно навязывается вамъ! И эта Клеопатра съ своимъ маринованнымъ голосомъ, и этотъ идіотъ Алексисъ, и нахальная Марья Ивановна...

Княжна слегка вздрагиваетъ, произнося это ненавистное для нея имя.

— Вамъ начинать,—говорю я.

— А вы не знаете...—спрашиваетъ она, когда мы сѣли на мѣста, и вдругъ останавливается.

— Что?

— Нѣтъ, такъ... я хотѣла, кажется, сказать какую-то глупость... Вы не знаете, отчего здѣсь всегда пахнетъ скукой?

— Я опять-таки повторяю вамъ, княжна, что не имѣю здѣсь никакого мнѣнія...

— Да, я и забыла, что вы человѣкъ осторожный... Однако, въ самомъ дѣлѣ, вы не знаете, отчего...

И опять спотыкается, и неизвѣстно почему—мнѣ вдругъ становится ужасно жалко ее.

— ...Здѣсь нѣтъ Техоцкаго,—продолжаетъ она, начиная третью фигуру.

Въ провинціи лица умѣютъ точно такъ же хорошо лгать, какъ и въ столицахъ, и если бы кто посмотрѣлъ въ нашу сторону, то никакъ не догадался бы, что въ эту минуту разыгрывалась здѣсь одна изъ печальнѣйшихъ драмъ, въ которой дѣйствующими лицами являлись оскорбленная гордость и жгучее чувство любви, незаконно попранное,—два главные двигателя всѣхъ дѣйствій человѣческихъ.

«Бѣдная княжна».—повторяю я мысленно.

— Мы и позабыли позвать мсьё Техоцкаго! — говоритъ Марья Ивановна, подходя къ намъ.

— А! — восклицаетъ княжна, смотря на нее съ изумленіемъ.

— А онъ такой милый молодой человѣкъ!—продолжаетъ Марья Ивановна спокойно, но такимъ голосомъ, что княжна должна разслышать хохотъ, затаившійся въ груди этой «неблагонамѣренной» дамы.

— Очень жаль!—отвѣчаетъ княжна.

— Вы не знаете, гдѣ онъ живетъ?—спрашиваетъ Марья Ивановна, какъ будто ошибкой обращаясь къ княжнѣ. — Ахъ, pardon, princesse, я хотѣла спросить мсьё Щедрина... Вы не знаете, мсьё Щедринъ, гдѣ живетъ *господинъ* Техоцкій?

— Не имѣю этого удовольствія.

— Очень жаль, потому что за нимъ можно было бы послать... онъ сейчасъ придетъ: онъ такой жалкій! Ему все, что хотите, *велѣть* можно!

И, уязвивъ княжну, неблагонамѣренная дама отправляется далѣе язвить другихъ.

Но танцамъ, какъ и всему въ мірѣ, есть конецъ. Наступаетъ страшная для Марьи Ивановны минута ужина, и я вижу, какъ она суетится около Василія Николаича, стараясь заранѣе заслужить его снисходительность.

— Будьте любезны съ Василіемъ Николаичемъ,—говорю я княжнѣ.

Она понимаетъ меня и улыбается. Я тоже улыбаюсь, потому что вижу впереди богатое развлеченіе. Княжна подходитъ къ моему другу, и въ нѣсколько минутъ исключительно завладѣваетъ его вниманіемъ. Надобно сказать, что Василій Николаичъ, происходя отъ «бѣдныхъ, но благородныхъ родителей», ужасно любитъ, чтобы за нимъ ухаживали сильные міра сего. Впрочемъ, онъ вообще всегда бываетъ какъ-то особенно и безкорыстно снисходителенъ къ княжнѣ, за что я очень уважалъ его. Марья Ивановна съ судорожнымъ безпокойствомъ слѣдитъ за ними; она съ ужасомъ видитъ, что уѣхало всего два человѣка, а всѣ остальные стоически дожидаются ужина.

— Не протанцовать ли еще польку до ужина, princesse? — говоритъ она, въ чаяніи, что кто-нибудь уѣдетъ тѣмъ временемъ.

Но грозной судьбѣ не угодно споспѣшествовать намѣреніямъ Марьи Ивановны... Въ то самое время, какъ она

кончаетъ свою фразу, лакеи, какимъ-то чудомъ ускользнувшіе изъ-подъ ея надзора, съ шумомъ врываются въ залу, неся накрытые столики.

— Милости просимъ, милости просимъ, господа, ужинать!—невпопадъ кричитъ Алексѣй Дмитричъ, широко разѣвая ротъ.

— Ужъ хоть бы ты-то молчалъ! — вполголоса говоритъ Марья Ивановна, въ досадѣ не скрывая даже своихъ чувствъ. — Mesdames! — прибавляетъ она съ кислою улыбкой.

Но на первомъ же шагу встрѣчается препятствіе. Приборовъ подано на тридцать персонъ, а желающихъ ужинать оказывается на-лицо сорокъ человѣкъ. Десяти человѣкамъ рѣшительно нѣтъ мѣста на «жизненномъ пиру», и въ числѣ этихъ исключенныхъ обрѣтается Василій Николаичъ. Онъ приходитъ въ неистовство и громко протестуетъ противъ исключенія. Марья Ивановна чуетъ бѣду и выгоняетъ изъ-за стола Алексиса, который уже усѣлся и не прочь, пожалуй, вступить въ бой съ Марьей Ивановной за право ужинать. Сей достопочтенный мужъ, жертва хозяйственныхъ соображеній своей супруги, до такой степени изморенъ голодомъ, что готовъ, какъ Исавъ, продать право первородства за блюдо чечевицы.

Но Василій Николаичъ за все радушіе хозяйки отплачиваетъ самою черною неблагодарностью. Онъ тутъ же распускаетъ слухъ, что собственными глазами видѣлъ, какъ собирали съ полу упавшее съ блюда желе и укладывали вновь на блюдо, съ очевиднымъ намѣреніемъ отравить имъ гостей. Марья Ивановна терпитъ пытку, потому что гарнизонные офицеры, оставшіеся за штатомъ и больше всѣхъ другихъ заслужившіе право на ужинъ, въ голодной тоскѣ переглядываются другъ съ другомъ.

— Что, братъ! — говоритъ Василій Николаичъ прапорщику Коловоротову:—видно не заслужилъ! А мы вотъ, видишь, какую индѣйку тутъ кушаемъ!

— Вамъ сейчасъ подадутъ, господа! — лебезитъ Марья Ивановна:—ужъ вы покушайте стоя, какъ Богъ послалъ!

— Дожидайся — подадутъ! — отзывается Василій Николаичъ.

И дѣйствительно, блюда проходятъ мимо «сверхштатныхъ» совершенно опустошенными, и ужинъ оканчивается, не удѣливъ имъ ни единой крупицы.

Надо отдать полную справедливость Марьѣ Ивановнѣ: она тоже ничего не ѣла.

— Ухъ, скуки-то, скуки-то!—говоритъ господинъ Змѣищевъ, сходя по лѣстницѣ.

— А каковъ ужинъ-то? — спрашиваетъ Василій Николаичъ у Харченки, который идетъ, понуривъ голову.

— Въ самомъ дѣлѣ... ахъ, срамъ какой! — замѣчаетъ Порфирій Петровичъ.

— А я-то старался, всѣхъ удерживалъ! — говоритъ Василій Николаичъ.

Всѣ смѣются.

— Ну, ужъ «пріятное» семейство! — раздается чей-то голосъ въ толпѣ.

III.

БОГОМОЛЬЦЫ, СПУТНИКИ и ПРОѢЗЖІЕ.

Общая картина.

Утро. Спятъ еще чиновники крутогорскіе, утомленные тянувшимся за полночь преферансомъ; спятъ негоціанты, угорѣвшіе отъ излишняго употребленія съ вечера водки и тенерифа; откупщикъ разметалъ на постели свое нѣжное тѣло, и снится ему сонъ... Снится ему, будто чиновникамъ не нужно давать ни денегъ, ни водки, а кабаки попрежнему открываются до обѣдни и закрываются далеко за полночь. Частный приставъ Рогуля выползъ на минуту изъ-подъ стеганаго одѣяла, глянулъ мутными глазами на улицу, испилъ кваску, молвилъ: «рано!» и побрелъ опять на кровать досыпать веселый сонъ.

Однако, на улицѣ уже шумно и людно; толпы женщинъ всякаго возраста, съ котомками за плечами и посохами въ рукахъ, тянутся длинными вереницами къ соборной площади. Уже показалось веселое солнышко и привѣтливо заглянуло всюду, гдѣ праздность и изнѣженность не поставили ему искусственныхъ преградъ; заиграло оно на золоченыхъ шпиляхъ церквей, позолотило тихія, далеко разлившіяся воды рѣки Крутогорки, согрѣло лучами своими влажный воздухъ и прогнало, вмѣстѣ съ тьмою, черную заботу изъ сердца... Солнышко, солнышко! какъ не любить тебя!

Май ужъ на исходѣ. Въ этотъ годъ онъ какъ-то особенно тепелъ и радошенъ; деревья давно одѣлись густою зеленью, которая не успѣла еще утратить свою яркость и

пріобрѣсти лѣтніе тусклые тоны. Въ воздухѣ, однакожъ, слышится еще весенняя свѣжесть; рѣки еще черезъ край полны воды, а земля хранитъ еще свою плодотворную влажность на благо и крѣпость всякому злаку растущему.

Соборная площадь кишитъ народомъ; на огромномъ ея просторѣ снуютъ взадъ и впередъ пестрыя вереницы богомолокъ; нѣкоторыя изъ нихъ, въ ожиданіи благовѣстнаго колокола, расположились на землѣ, поближе къ полуразрушенному городскому водоему, наполнили водой берестяные бураки и отстегнули запыленныя котомки, чтобы вынуть оттуда далеко запрятанные и долгое время береженные мѣдные гроши на свѣчу и на милостыню. Тутъ же, между ними, сидятъ на землѣ группы убогихъ, слѣпыхъ и хромыхъ калѣкъ, изъ которыхъ каждый держитъ въ рукахъ деревянную чашку и каждый тянетъ свой плачевный, захватывающій за душу, стихъ о пресвѣтломъ потерянномъ раѣ, о пустынномъ «нужномъ» житіи, о злой превѣчной мукѣ, о грѣшной душѣ, не соблюдавшей ни середы, ни пятницы... Тутъ же, около воткнутыхъ въ землю колышковъ, изображающихъ собою временныя ярмарочныя помѣщенія, толкаются расторопные мѣщане и подгородные крестьяне, притащившіеся на ярмарку съ бураками, ведерками, горшками и другимъ деревенскимъ припасомъ. И весь этотъ людъ суетится, хлопочетъ и безпрерывно обновляется новыми толпами богомолокъ, приходящими Богъ вѣсть изъ какихъ странъ. Гулъ толпы ходитъ волнами по площади, принимая то веселые и беззаботные, то жалобные и молящіе, то трезвые и суровые тоны.

У меня во пустыни много нужи пріяти,
У меня во пустыни постомъ попоститися,
У меня во пустыни скорбя поскорбѣти,
У меня во пустыни терпя потерпѣти...

—голоситъ заунывно одна группа нищихъ, и десятки рукъ протягиваются съ копеечками къ деревяннымъ чашкамъ убогихъ калѣкъ.

— Помолись, родимый, за меня! помолись, миленькій, — говоритъ молодая бабёнка, опуская свою копеечку въ чашку слѣпенькаго старика, сидящаго на корточкахъ; но онъ, не обращая на это вниманія, продолжаетъ тоскливо тянуть свою пѣсню:

Не страши мя, пустыня, превеликими страхами...

— Издалеча, касатка, пришли?—спрашиваетъ молодуху

сгорбленная и сморщенная старуха, тутъ же остановившаяся съ суковатою клюкой своей.

— Изъ Зырянъ, родимая, верстъ полтысячи болѣ будетъ; съ самаго съ Егорьева дни идемъ угоднику поклониться *).

— По обѣщанью, что ли?

— Пообѣщались, бабушка: вотъ третій годъ замужемъ, а дѣтей все Богъ не дастъ...

Старуха вздыхаетъ.

— А мы такъ вотъ тутошніе, — говоритъ она, шамкая губами:—верстъ за сто отселева живемъ... Человѣкъ я старый, никому не нужный, ни порѣбить, ни въ избѣ посмотрѣть... Глазами-то плохо ужъ вижу: намеднись, чу, робенка — правнучка мнѣ-то — чуть въ корытѣ не утопила... Вотъ и отпустили къ угоднику...

— Чай, пѣшкомъ пришла, баунька? — спрашиваетъ молодуха, покачивая головой.

— На своихъ все на ногахъ... охромѣла я нонече, а то какъ бы не сходить сто верстъ!.. Больно ужъ долго шла... охъ, да и котомка-то плечи щемитъ!

Молодуха молчитъ, поглядывая, пригорюнившись, на старуху.

— Чтой-то ужъ и смерть-то словно забыла меня, касатка!—продолжаетъ старуха.—Ровно ужъ и скончанія житію-то не будетъ... а тоже хлѣбъ вѣдь ѣмъ, на печи чужое мѣсто залеживаю... знобка я ужъ нонѣ стала!

— Чай, и грошика-то у тебя, баушка, нѣту?

— Нѣтъ, таки далъ внучекъ грошикъ... Сынокъ-отъ у меня, видно, померъ, такъ внучекъ въ дому хозяйствуетъ... далъ грошикъ... какъ же! свѣчу поставить надо...

Новая толпа богомолокъ прерываетъ начатый разговоръ.

Всякіимъ грѣшникамъ
Будетъ мука разная...

—раздается въ одной группѣ нищихъ.

Народился злой антихристъ,
Во всю землю онъ вселился,
Во весь міръ онъ воружился,
Стали его волю творити:
Власы, бороды стали брити,
Латынскую одежду носити...

—раздается въ другой группѣ.

---

*) *Изъ Зырянъ, съ Зыряны.* Такимъ образомъ, простой народъ называетъ Усть-Сысольскій уѣздъ и смежныя ему мѣстности Вологодской, Пермской и Вятской губерній.

«Порадѣйте, православные, на церковное строеніе! святому угоднику на встрѣтеніе!»—такъ взываетъ небольшой, колченогій мужичокъ, бойко пробираясь на своей деревяжкѣ сквозь густую толпу богомольцевъ. Черезъ плечо у него перекинута ременная перевязь, съ прикрѣпленнымъ къ ней небольшимъ деревяннымъ ящикомъ, въ который православные опускали свои посильныя жертвы.

— Здравствуйте, баринъ миленькій!—говоритъ мнѣ добрая гражданка Пелагея Ивановна, встрѣчаясь со мной.

— Здравствуйте, Пелагея Ивановна! Скажите, пожалуйста, отчего нищіе только и поютъ, что про антихриста да про мýки разныя?

— И, баринъ! это ужъ заведенье у нихъ такое, не замай ихъ!

Пелагея Ивановна ходитъ по площади съ мѣшкомъ мѣдныхъ денегъ и раздаетъ ихъ нищимъ и бѣднымъ богомолкамъ, въ родѣ той старухи, о которой упомянуто выше. За ней плетется шестилѣтняя племянница съ калачикомъ въ рукахъ и по временамъ отламываетъ отъ него воробьиную дачу.

— Тётонька! дать слѣпенькому калачика?—спрашиваетъ она всякій разъ Пелагею Ивановну.

— Дай, умница; слѣпенькій за тебя Богу помолитъ.

И воробьиная дача, вмѣстѣ съ копеечкой Пелагеи Ивановны, опускается въ чашку убогаго.

— А вѣдь ваша Сашенька будетъ предобрая, — говорю я Пелагеѣ Ивановнѣ.

— Ничего, баринъ, пущай пріучается.

Пелагея Ивановна продолжаетъ свой обходъ и всѣхъ надѣляетъ грошиками; Сашенька тоже вынимаетъ изъ узелка третій калачикъ и, по мѣрѣ своего разумѣнія, подражаетъ дѣлу благотворенія своей тетки.

Есть люди, которые думаютъ, что Пелагея Ивановна благотворитъ по тщеславію, а не по внутреннему побужденію своей совѣсти, и указываютъ въ особенности на гласность, которая сопровождаетъ ея добрыя дѣла. Я, съ своей стороны, искренно убѣжденъ, что это мнѣніе самое неосновательное, потому что достаточно взглянуть на ея милое, сіяющее добродушіемъ и искренностью лицо, чтобъ убѣдиться, что этой свѣжей и свѣтлой натурѣ противна всякая ложь, всякое притворство. Если всѣ ея поступки гласны, то это потому, что въ провинціи вообще сохраненіе тайны— вещь матеріально невозможная, да и притомъ потребность благотворенія не есть ли такая же присущая намъ потреб-

ность, какъ и тѣ движенія сердца, которыя мы всегда привыкли считать законными? Слѣдовательно, и она такъ же, какъ эти послѣднія, должна удовлетворяться совершенно естественно, безъ натяжекъ, безъ приготовленій, безъ задней мысли, по мѣрѣ того, какъ представляется случай, и Пелагея Ивановна, по моему мнѣнію, совершенно права, дѣлая добро и тайно, и открыто, какъ придется.

Я вообще чрезвычайно люблю нашъ прекрасный народъ и съ уваженіемъ смотрю на свѣжіе и благодушные типы, которыми кишитъ народная толпа. Конечно, мы съ вами, мсьё Буеракинъ, или съ вами, мсьё Озорникъ, слишкомъ хорошо образованы, чтобъ приходить въ непосредственное соприкосновеніе съ этими мужиками, отъ которыхъ пахнетъ печенымъ хлѣбомъ или кислыми овчинами, но издали поглядѣть на этихъ загорѣлыхъ, коренастыхъ чудаковъ мы готовы съ удовольствіемъ. Я даже съ гордостью сознаюсь, что когда на театрѣ авторъ выводитъ на первый планъ русскаго мужичка и рекомендуетъ ему отхватать въ присядку, или же, собравъ на сцену достаточное число опрятно одѣтыхъ дѣвицъ въ тѣлогрѣяхъ, заставляетъ ихъ оглашать воздухъ звуками русской пѣсни, я чувствую, что въ сердцѣ моемъ дѣлается внезапный приливъ, а глаза застилаются туманомъ, хотя, конечно, въ камаринской нѣтъ ничего унылаго.

«Grands dieux! — говорю я себѣ, выходя изъ театра: — какъ мы, однакожъ, выросли, какъ возмужали! Давно ли русскій мужичокъ, cet ours mal léché, являлся на театральный помостъ за тѣмъ только, чтобъ сказать слово: «кормилецъ», «шея лебединая, брови соболиныя», чтобы прокричать завѣтную фразу, въ родѣ: «идемъ!», «бѣжимъ!» или же отплясать гдѣ-то у воды полуиспанскій танецъ — и вотъ теперь онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, сѣменитъ ногами и кувыркается на самой авансценѣ и оглашаетъ воздухъ неистовыми криками своей пѣсни! Grands dieux! какъ мы выросли!»

Но я оставляю свои размышленія до болѣе удобнаго времени и продолжаю свое странствованіе по площади.

На бревнахъ, наваленныхъ въ одномъ углу ея, я вижу нѣсколько странницъ, сѣвшихъ для отдыха.

— Житье-то у насъ больно неприглядное, Петровна, — говоритъ одна изъ нихъ, пожилая женщина: —земля—тундра да болотина, хлѣбъ ни то родится, ни то нѣтъ; семья большая, кормиться нечѣмъ... Ты то посуди, отколь подать-то

взять?.. Ну, Семенъ-отъ Иванычъ и толкуетъ: надо, говоритъ, выселяться будетъ...

— Поди, чай, стараго-то мѣста жалко?—спрашиваетъ ея собесѣдница.

— Какъ не жалѣть? Извѣстно, жалко! Кабы не нужда, такъ коли же отъ родителей безъ ума бѣжать!

— Да нонѣ чтой-то и вездѣ жить некорыстно стало. Какъ старики-то поразскажутъ, такъ что въ старину-то одного хлѣба родилось! А нонѣ и земля-то словно родить перестала... Да и народъ безъ христіанства сталъ... Шли мы этта на богомолье, такъ по дорогѣ-то не то чтобъ тебѣ копеечку или хлѣбца, Христа ради, подать, а еще тебя норовятъ оборвать... Все больше по лѣсочкамъ и ночлежничали.

— Что говорить, Петровна! Въ нашей вотъ сторонкѣ и не знавали прежде, каковъ таковъ замокъ называется; а нонче пошли воровства да грабительства... Господи! что только будетъ!

— А далече ли переселенье-то вамъ будетъ?

— Да баетъ старикъ, что далече, по за Пермь: въ сибирскія страны перетаскиваться придется... Ты возьми, сколько одной дорогой-то нужи примешь!..

— А вотъ отъ насъ тоже въ тѣ стороны переселенцы бывали, такъ пишутъ, что куда тамъ хорошо: и хлѣбъ родится, и скотинка живетъ.

— Такъ-то такъ, Петровна, да ужъ больно родителей жалко! Вѣдь ихъ здѣсь и помянуть будетъ некому...

Разсказчица тяжело вздыхаетъ; собесѣдница вторитъ ей, и разговоръ, повидимому, стихаетъ. Я говорю: «повидимому», потому что этой боли сердечной, этой нуждѣ сосущей, которую мы равнодушно называемъ именемъ ежедневныхъ, будничныхъ явленій, никогда нѣтъ скончанія. Онѣ безконечно зрѣютъ въ сердцѣ бѣднаго труженика, выражаясь въ жалобахъ, всегда однообразныхъ и всегда безплодныхъ, но, тѣмъ не менѣе, повторяющихся безпрерывно, потому что человѣку невозможно не стонать, если стонъ, совершенно созрѣвшій, безъ всякихъ съ его стороны усилій, вылетаетъ изъ груди его.

— Такъ-то, вотъ, братъ, — говоритъ пожилой и очень смирный съ виду мужичокъ, встрѣтившись на площади съ своимъ односельяниномъ:—такъ-то, вотъ, и Матюшу въ некруты сдали!

Въ загорѣлыхъ и огрубѣвшихъ чертахъ лица его является почти незамѣтное судорожное движеніе, въ голосѣ слышится

дрожаніе, и обычный сдержанный вздохъ вырывается изъ груди.

— А добрый парень былъ, — продолжаетъ мужичокъ: — какова есть на свѣтѣ муха, и той не обидѣлъ, рѣбнлъ непрекословно, да и въ некруты непрекословно пошелъ, даже голосу не далъ, какъ «лобъ» сказали!

Воображенію моему вдругъ представляется этотъ славный, смирный парень Матюша, не то чтобъ веселый, а скорѣй бязный, трудолюбивый и честный. Я вижу его за сохой, бодраго и сильнаго, несмотря на капли пота, струящіяся съ его загорѣлаго лица; вижу его дома, безропотно исполняющаго всякую домашнюю нужду; вижу въ церкви Божіей, стоящаго скромно и истово знаменующагося крестнымъ знаменіемъ; вижу его позднимъ вечеромъ, засыпающаго сномъ невинныхъ послѣ тяжкой дневной работы, для него никогда не кончающейся. Вижу я и старика-отца, и старуху-мать, которые радуются не нарадуются на ненаглядное дѣтище; вижу урну съ свернутыми въ ней жеребьями, слышу слова: «лобъ», «лобъ», «лобъ»...

— Что-жъ, помолиться, что ли, ты пришелъ, дядя Иванъ?— спрашиваетъ у мужика его собесѣдникъ.

— Да, вотъ, къ угоднику... помиловалъ бы Онъ его, нашъ Батюшка!—отвѣчаетъ старикъ прерывающимся голосомъ.— Никакого, то-есть, даже изъяну въ немъ не нашли, въ Матюшкѣ-то: тѣло-то, слышь, бѣлое-разбѣлое, да крѣпко таково.

. . . . . .

И вся эта толпа пришла сюда съ чистымъ сердцемъ, храня, во всей ея непорочности, душевную лепту, которую она обѣщала повергнуть къ пречестному и достохвальному образу Божьяго угодника. Прислушиваясь къ ея говору, я самъ начинаю сознавать возможность и законность этого неудержимаго стремленія къ душевному подвигу, которое такъ просто и такъ естественно объясняется всѣми жизненными обстоятельствами, оцѣпляющими незатѣйливое существованіе простого человѣка. На меня вѣетъ невѣдомою свѣжестью и благоуханіемъ, когда до слуха моего долетаетъ все то же тоскливое голошеніе убогихъ нищихъ:

Придетъ мать весна-красна
Лузья, болота разольются;
Древа листьями одѣнутся,
И запоютъ птицы райски
Архангельскими голосами;
А ты изъ пустыни вонъ изыдешь,
Меня, мать прекрасную, покинешь!

— Нѣтъ, не покину! — готовъ я воскликнуть вмѣстѣ съ Осафьемъ-царевичемъ:

Разгуляюсь я во пустынѣ, во зеленой во дубравѣ,
Насмотрюсь во пустынѣ на различные свѣты...

Но вотъ раздался благовѣстъ соборнаго колокола: толпа вдругъ заколыхалась, и вся, какъ одинъ человѣкъ, встала...

Въ третьемъ часу пополудни площадь уже пуста; кой-гдѣ перерѣзываютъ ее нехитрые экипажи губернскихъ аристократовъ, спѣшащихъ въ соборъ или же въ городской садъ, чтобы оттуда поглазѣть на народный праздникъ. Народъ весь спустился внизъ, къ рѣкѣ, и разсѣлся на безчисленное множество лодокъ, готовыхъ къ отплытію вслѣдъ за великимъ угодникомъ. На берегу разгуливаетъ праздная толпа горожанокъ, облаченныхъ въ лучшія свои одежды.

— Марья Матвѣевна-съ, можетъ, вамъ прохладиться угодно-съ?—говоритъ канцелярскій чиновникъ Потѣшкинъ полной и краснощекой дѣвицѣ, идущей рядомъ съ своей сухощавою родительницей.

Потѣшкинъ—рослый мужчина, одѣтъ по послѣдней крутогорской модѣ; шея у него повязана желтымъ батистовымъ платкомъ, а въ рукахъ блеститъ стальная тросточка, которою онъ эффектно помахиваетъ. Эта тросточка стоила ему мѣсячнаго жалованья, но нельзя не сознаться, что въ ней Потѣшкинъ пріобрѣлъ вещь дѣйствительно полезную, потому что она въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разнимается и дозволяетъ ему сооружать походный стальной чубукъ и обжигать имъ губы сколько душѣ угодно.

— Да чѣмъ же прохладиться, Петръ Никитичъ?—томно отвѣчаетъ Марья Матвѣевна, имѣющая виды на руку и сердца Потѣшкина.

— Прохладительныя разныя бываютъ-съ! Можно этта въ питейный сбѣгать, пива купить...

— Да вы ужъ на свой счетъ, Петръ Никитичъ!

— Помилуйте-съ... на что же-съ! Павелъ Иванычъ! Павелъ Иванычъ! побереги, братъ, Марью Матвѣевну, покуда я въ питейный за пивомъ сбѣгаю!

— Преуслужливый кавалеръ Петръ Никитичъ! — замѣчаетъ Марья Матвѣевна вслѣдъ удаляющемуся Потѣшкину. — Вотъ вы бы никогда не поступили такъ благородно, Павелъ Иванычъ.

— Это онъ по несообразности своей,—сонно отвѣчаетъ Павелъ Иванычъ.

— И какъ завсегда чисто одѣтъ! Даже за канцеляриста признать нельзя.

— Все въ долгъ, Марья Матвѣевна-съ...

— Это нужды нѣтъ; образованному человѣку завсегда свою чистоплотность наблюдать слѣдуетъ... Вотъ зато и невѣсту хорошую себѣ найдетъ, а вы не найдете!

— Я скорѣе найду-съ.

— Вотъ любопытно! Ужъ не думаете ли вы, что изъ себя очень занимательны?

— Нѣтъ-съ, я найду не по красотѣ, а по своей основательности-съ... Онъ что̀ найдетъ? Онъ горечь какую-нибудь найдетъ! а я желаю за себя купеческую дочь взять, чтобъ за ней, по крайности, тысяча серебра числилась...

— Да! отдадутъ за васъ!

— За меня отдадутъ-съ... У меня, Марья Матвѣевна, жалованье небольшое, а я и тутъ способы изыскиваю... Стало-быть, всякій купецъ такому дочь свою, зажмуря глаза, препоручить можетъ... Намеднись иду я по улицѣ, а Сокуриха-купчиха смотритъ изъ окна: «вотъ, говоритъ, солидный какой мужчина идетъ»... такъ, стало-быть, цѣнятъ же!.. А за что̀? не за вертопрашество-съ!

— Ну, ужъ нашли кого! Сокуриху! Право смѣхъ!

Эта группа смѣняется другою, состоящею изъ четырехъ женщинъ и равнаго числа мужчинъ.

— А мы вотъ такъ, Петръ Ѳедорычъ, сдѣласмъ,—говоритъ одинъ изъ мужчинъ: — мы махнемъ на перепутье къ Пазухину на заводъ, да тамъ такую лихорадку отзвонимъ, что цѣлую недѣлю послѣ того угоримъ!

— Да Пазухинъ-то нонче не больно разгуляться даетъ!— говоритъ со вздохомъ Петръ Ѳедорычъ.

— Что̀ ты! да какъ онъ осмѣлится! А я ему въ лицо наплюю, если онъ нашу прихоть не исполнитъ...

— Развѣ ужъ для васъ, Николай Тимоѳеичъ!

— Еще бы онъ посмѣлъ!—вступается супруга Николая Тимоѳеича, повисшая у него на рукѣ.—У Николая Тимоѳеича и дѣла-то его всѣ — стало-быть, какой же онъ подчиненный будетъ, коли начальниковъ своихъ уважать не станетъ?

— Я, братъ Петръ Ѳедорычъ, такъ тебѣ скажу, — продолжаетъ Николай Тимоѳеичъ:—что хотя, конечно, я деньгами отъ Пазухина заимствуюсь, а все-таки, если онъ меня, окромѣ того, уважать не станетъ, такъ я хоша деньги

ему въ лицо и не брошу, однако досаду большую сму сдѣлаю.

— Еще бы!—отзывается супруга.

— И если у него за обѣдомъ уха подается розная, получше гостямъ со стерлядями, а похуже—съ окунями, такъ онъ мнѣ съ окунями не подавай, потому что я сдѣлаю ему невѣжество...

— Что говорить, Николай Тимоѳеичъ, вы человѣкъ нужный, властный!

— Я у него въ домѣ что хошь дѣлаю! Чтобъ фруктъ былъ — будетъ и фруктъ... всякій расходъ онъ для меня сдѣлать долженъ... И стало-быть, если я тебя и твоихъ семейныхъ къ Пазухину приглашаю, то ты можешь ѣхать безо всякой опасности.

— Хорошо вамъ на свѣтѣ жить, Николай Тимоѳеичъ!—говоритъ со вздохомъ Петръ Ѳедорычъ. — Вотъ и въ равныхъ съ вами чинахъ нахожусь, а все счастья нѣтъ.

— Этотъ, братъ, ты сюжетъ оставь!.. Всякое мѣсто своего обладателя знаетъ, а потому оно и дается такому человѣку, который свой предметъ въ существѣ веществъ понимаетъ.

Эту компанію смѣняетъ парочка: мужъ съ женой, тоже въ гражданскихъ костюмахъ.

— Ты мнѣ вотъ и платьишка-то порядочнаго сдѣлать не можешь,—говоритъ жена:—а тоже на гулянье идетъ!

— Молчи, сударыня, молчи!

— Мнѣ на что молчать? Мнѣ на то Богъ языкъ далъ, чтобъ говорить... Только отъ тебя и словъ, что молчать... а тоже гулять идетъ!

— Вотъ ужо погоди, домой придемъ!

— Ишь гуляльщикъ какой нашелся! женѣ шляпки третій годъ купить не можетъ... Ты развѣ голую меня отъ родителей бралъ? Чай, тоже всего напасено было.

— Молчи, говорятъ тебѣ, молчи, змѣя!

— Что ужъ ты, видно, бить меня хочешь за то, что я тебѣ справедливость свою высказываю!.. Что-жъ, бей! По крайности, пусть на народѣ посмотрятъ, каково мнѣ съ тобой житье... со сквалыжникомъ!

Пара проходитъ мимо.

— А что наши господа!—говоритъ лакей одного изъ знакомыхъ мнѣ губернскихъ аристократовъ:—Только развѣ что понятіе одно, что господа... да и понятія-то нѣтъ!

— Господа бываютъ разные,—вступается другой лакей:—

одинъ господинъ своего понятія не имѣетъ, такъ отъ слуги понятіемъ заимствуется! Другой, напротивъ того, желаетъ, чтобъ отъ него слуга понятіемъ заимствовался...

— А вотъ у нашихъ господъ такъ и своего-то понятія нѣтъ, да и отъ нашего брата заняться ничѣмъ не хотятъ,— замѣчаетъ третій лакей.

— Это, братъ, самое худое дѣло, — отвѣчаетъ второй лакей:—это все равно значитъ, что въ домѣ большого нѣтъ. Примѣрно, я теперь въ домѣ у буфета состою, а Петровъ состоитъ по части комнатнаго убранства... стало-быть, если безъ понятія жить, онъ въ мою часть, а я въ его буду входить, и будемъ мы, выходитъ, комнаты два раза подметать, а посуду, значитъ, немытую оставимъ.

— Господинъ, хошь и господинъ, а тоже зря выговаривать не долженъ, — благоразумно замѣчаетъ первый лакей.

— Какъ можно зря выговаривать! Это значитъ человѣка только запугать и въ неспособность его произвести.

— А слышалъ, Михей, что съ Петрушкой съ Порфирьевскимъ намеднись случилось... Баринъ-отъ пришелъ, а онъ спалъ на лавкѣ, да вскочивши съ-просоньевъ и ну въ холодной печкѣ кочергой мѣшать...

— Во снѣ, должно-быть, видѣлъ, что печку топитъ!

— Что другого и видѣть-то! всякій свою ремесленность видитъ! Вотъ я нонче три ночи сряду все во снѣ сапоги чищу...

— Господа! разступитесь, разступитесь, сдѣлайте ваше одолженіе!—кричитъ частный приставъ Рогуля, протискиваясь брюхомъ въ толпу. — Ты, мужикъ, чего тутъ сталъ? Развѣ здѣсь твое мѣсто?

Послѣднія слова относятся къ зазѣвавшемуся субъекту, обладающему бородой и облаченному въ сѣрый кафтанъ. Толпа раздается, и на сцену является генеральша Дарья Михайловна Голубовицкая. Генеральша очень видная и красивая женщина; въ ея поступи и движеніяхъ замѣчается та неробкость, которая легко дается всякой умной женщинѣ, поставленной обстоятельствами выше общаго уровня толпы; она очень хорошо одѣта, что также придастъ не мало блеска ея прекрасной внѣшности. Впереди идутъ два маленькіе сына генеральши, но такіе миленькіе, «такія душки», какъ говорятъ въ провинціи, что ихъ скорѣе можно признать за хорошія конфетки, нежели за мальчиковъ. Генеральша окружена цѣлою толпою придворныхъ льстецовъ, которые наперерывъ усиливаются очаровать ее своимъ остро-

умѣемъ, любезностью и преимущественно щегольскимъ французскимъ языкомъ. Въ особенности же суетится и хлопочетъ кругленькій и пузатенькій помѣщикъ Загржембовичъ, который то забѣжитъ впередъ и полюбуется на дѣтей, то опять поравняется съ Дарьей Михайловной, и всегда найдется сказать что-нибудь лестное и пріятное. Губернская молодежь безъ ума отъ Дарьи Михайловны.

— Quel charme que cette femme! — говоритъ Леонидъ Сергѣевичъ Разбитной, который, по смерти князя Чебылкина, охотно пристроился подъ крыло генерала Голубовицкаго. Дарья Михайловна слышитъ это и слегка улыбается тою сладкою улыбкой, которая принадлежитъ только хорошенькимъ женщинамъ, вполнѣ увѣреннымъ въ своемъ торжествѣ.

Шествіе замыкается самимъ генераломъ Голубовицкимъ, одѣтымъ въ вицмундирный фракъ и идущимъ, какъ прилично высокому губернскому саповнику, съ заложенными за спину руками. Сановитость генерала такова, что никакое самое обстоятельное описаніе не можетъ противостоять ея лучамъ; высокій ростъ и соотвѣтствующее тѣлосложеніе придаютъ ему еще болѣе величія, такъ что его превосходительству стоитъ только повернуть головой или подернуть бровью, чтобы тьма подчиненныхъ бросилась впередъ, съ цѣлью произвести порядокъ. Генералъ также окруженъ своимъ штатомъ, но это не вертопрахи какіе-нибудь, а люди солидные, снискавшіе общее уваженіе черезъ доказанную ими преданность или же способность къ пріобрѣтеніямъ всякаго рода. Тутъ вижу я и знакомца моего Порфирія Петровича, который, по мелкости своего роста, обязывается дѣлать два шага тамъ, гдѣ его превосходительству приходится дѣлать только одинъ. Тутъ же и добродушный глава «пріятнаго семейства», господинъ Размановскій, отпущенный своею супругой погулять, и по этому случаю улыбающійся до самаго затылка. Тутъ же и величественный директоръ народнаго училища, у котораго на лицѣ начертано: «азъ есмь уныніе и тошнота, ибо корни ученія горьки и лишь плоды его сладки», и много другихъ еще, высокихъ и маленькихъ, пузатенькихъ и тщедушныхъ, горделивыхъ и смирныхъ.

Генеральша пожелала отдохнуть. Частный приставъ Рогуля стремглавъ бросается впередъ и очищаетъ отъ народа ту часть берегового пространства, которая необходима для *того,* чтобъ открыть взорамъ высокихъ посѣтителей пре-

лестную картину отплытія святыхъ иконъ. Неизвѣстно откуда, внезапно являются стулья и кресла для генеральши и ея приближенныхъ. Правда, что въ помощь Рогулѣ вырось изъ земли отставной подпоручикъ Живновскій, который, изъ любви къ искусству, суетится и распоряжается, какъ будто ему обѣщали за труды повышеніе чиномъ.

Судя по торжественному виду, съ которымъ Живновскій проходитъ мимо генеральши, нельзя не согласиться, что онъ долженъ быть совершенно доволенъ собой. Онъ какъ-то изгибаетъ свою голову, потрясаетъ спиной и непремѣнно прикладываетъ къ козырьку руку, когда приближается къ ея превосходительству.

— Мсьё Загржембовичъ, сядьте подлѣ меня!—говоритъ Дарья Михайловна.—Я хочу, чтобъ вы были сегодня моимъ чичероне.

Загржембовичъ устремляется къ генеральшѣ, садится на стулъ нѣсколько бокомъ и всю особу свою привѣтливо наклоняетъ по направленію къ ея превосходительству.

— Скажите, пожалуйста, въ вашихъ мѣстахъ такихъ процессій не бываетъ?—спрашиваетъ Дарья Михайловна.

— Oh, madame, mais comment donc! le peuple est dans l'enfance chez nous comme ailleurs. Mais c'est bien plus beau chez nous.

— Вы несправедливы, мсьё Загржембовичъ, вы личную свою досаду переносите на насъ, бѣдныхъ крутогорскихъ жителей...

— Только не на васъ, Дарья Михайловна!

— Посмотрите на эту толпу, одѣтую въ пестрые праздничные свои наряды,—продолжаетъ генеральша, не обративъ вниманія на комплиментъ своего усерднаго поклонника:—mais je vous demande un peu, si ce n'est pas joli?

— Oui, c'est joli, mais chez nous c'est imposant, c'est beau! Разница между этимъ зрѣлищемъ и тѣми, которыя я когда-то имѣлъ случай видѣть, та же самая, какъ между женщиной, которую мы называемъ не болѣе какъ миленькою, и женщиной... mais vous savez: il y a de ces femmes qui par leurs traits, leur port vous rappellent ces belles statues de l'antiquité!..

Загржембовичъ масляно взираетъ на Дарью Михайловну, которая, съ своей стороны, чувствуя, что комплиментъ сказанъ ей, такъ сказать, въ упоръ, впадаетъ по этому поводу въ задумчивость и предается самымъ сладостнѣйшимъ мечтаніямъ. И она тоже, belle âme incomprise, принуждена

влачить son existence manquée въ незнаемомъ Крутогорскѣ, гдѣ о хорошенькой женщинѣ говорятъ съ какимъ-то неблаговиднымъ причмокиваньемъ, гдѣ не могутъ имѣть понятія о тѣхъ тонкихъ, эѳирныхъ нитяхъ, изъ которыхъ составлено все существо порядочной женщины... И передъ глазами ея на-яву проносится сонъ... сонъ, котораго горячая атмосфера полна зовущихъ звуковъ и раздражающихъ благоуханій. Глаза ея ласково жмурятся, на губахъ показывается улыбка, и все ея хорошенькое тѣло лѣниво опускается на спинку неудобнаго кресла, которое принесено сюда, благодаря услужливости подпоручика Живновскаго.

— А все-таки это мило! — говоритъ она медленно, какъ бы просыпаясь отъ сна.

— Русскій народъ благочестивъ—это хорошо! — ораторствуетъ, въ свою очередь, супругъ ея, генералъ Голубовицкій.

— Благочестіе—основаніе всякаго знанія, ваше превосходительство!—замѣчаетъ директоръ училища.

— Всякаго знанія,—добродушно повторяетъ Размановскій.

— Это чувство въ немъ надо поддержать,—продолжаетъ генералъ, гордо озираясь.

Частный приставъ Рогуля, который это озираніе принимаетъ за желаніе со стороны его превосходительства, чтобъ гдѣ-нибудь произведенъ былъ порядокъ, стремглавъ бросается въ сторону и начинаетъ толкаться.

— Рогуля! не надо!—величественно замѣчаетъ генералъ.

— Тутъ многіе есть такіе, ваше превосходительство,— вступается Порфирій Петровичъ: — которые цѣлыя тысячи верстъ прошли, чтобъ поклониться угоднику!

— Это весьма любопытно,—замѣчаетъ генералъ.

— Губернія эта самая отличная, — говоритъ Порфирій Петровичъ:—это, можно сказать, неючатой еще край...

— Въ однѣхъ нѣдрахъ земли сколько богатствъ скрывается!—перебиваетъ директоръ.

— Постараемся развить!— отвѣчаетъ генералъ.

Но вотъ снова понеслись изъ всѣхъ церквей звуки колоколовъ: духовная процессія съ крестами и хоругвями медленно спускается съ горы къ рѣкѣ; народъ благоговѣйно снимаетъ шапки и творитъ молитву... Черезъ полчаса берегъ дѣлается попрежнему пустыннымъ, и только зоркій глазъ можетъ различить вдали флотилію, уносящую пеструю толпу богомольцевъ.

Отставной солдатъ Пименовъ.

На завалинкѣ, у самаго почтоваго двора, расположился большого роста старичокъ въ военномъ сюртукѣ, запыленномъ и вытертомъ до крайности. Онъ снялъ съ плеча мѣшокъ, вынулъ оттуда ломоть чернаго, зачерствѣвшаго хлѣба, досталъ бумажку, въ которую обыкновенно завертывается странниками соль, посолилъ хлѣбъ и принялся за обѣдъ.

— Куда бредешь, старикъ?—спрашиваю я, садясь возлѣ него на завалинку.

— А вотъ, сударь, ко святымъ мѣстамъ собрался; да будто попристалъ маленько.

Солдатъ очень старъ, хотя еще бодръ; лицо у него румяное, но румянецъ этотъ старческій; подъ кожей видны жилки, въ которыхъ кровь кажется какъ бы запекшеюся; глаза тусклые и слезящіеся; борода, когда-то бритая, давно запущена; волосъ на головѣ мало. Потъ выступаетъ на всемъ его лицѣ, потому что время стоитъ жаркое, и идти пѣшему, да и притомъ съ ношею на плечахъ, должно-быть, очень тяжело.

— Давно ты въ отставкѣ, старикъ?

— А какъ бы вамъ, сударь, не солгать? Лѣтъ съ двадцать пять больше будетъ. Двадцать пять лѣтъ въ отставкѣ, двадцать пять въ службѣ, да хоть двадцати же пяти на службу пошелъ... лѣтъ-то ужъ, видно, мнѣ много будетъ.

— Тяжело, чай, тебѣ идти?

— Тяжелина, ваше благородіе, небольшая. Не къ брагѣ, а за святымъ дѣломъ иду: какъ же можно, чтобъ тяжело было! Извѣстно, иной разъ будто солнышко припечетъ, другой разъ дождичкомъ смочитъ, однако непереноснаго нѣту.

— Куда же идешь?

— И самъ, сударь, еще не знаю. Желаніе такое есть, чтобъ до Святой Горы дойти, а тамъ какъ Богъ дастъ.

Старикъ доѣлъ свой ломоть, перекрестился и вздохнулъ.

— Вотъ теперь кваску бы испить хорошо, — сказалъ онъ:—да отдохнуть бы, пока жара поспадетъ.

Подали, по моему приказанію, кружку квасу, къ которой старикъ припалъ съ видимымъ наслажденіемъ.

— Ну, вотъ этакъ-то ладно будетъ,—сказалъ онъ, переводя духъ:—спасибо, баринушко, тебѣ за ласку. Грошиковъ-то у меня, вишь, мало, а безъ квасу и идти-то словно неповадно... Спасибо тебѣ!

— Какъ же ты, старина, въ такой дальній путь безъ грошиковъ собрался?

— Дойду, сударь: не впервдй эти походы дѣлать. Я сызмалѣтства къ странническому дѣлу приверженность имѣю, даромъ что солдатъ. Значитъ, я со всякимъ народомъ спознался, на всякіе свѣты наглядѣлся... Извѣстно, не безъ нужи! Такъ вѣдь душевное дѣло нужей-то еще больше красится!

— Они всѣ, ваше высокоблагородіе, такимъ манеромъ довѣренность въ человѣческое добросердечіе питаютъ!—вступился станціонный писарь, незамѣтно приблизившись къ намъ.—А что, служба, коли, неровенъ часъ, по дорогѣ лихой человѣкъ ограбитъ?—прибавилъ онъ не безъ иронiи.

— Гдѣ меня грабить! я весь тутъ какъ есть!—отвѣчалъ старикъ и вздохнулъ.

— Это именно удивленія достойно-съ!—продолжалъ философствовать писарь.—Сколько ихъ тутъ черезъ все лѣто пройдетъ, и даже никакой опаски не имѣютъ! Примѣрно, скажемъ хоть про разбойниковъ-съ; разбойникъ, хошь ты какъ хошь, все онъ разбойникъ есть, разбойничья у него душа—по эвтому самому и называется онъ кровопійцею,—такъ и разбойника даже не опасаются-съ.

— Что его опасаться? Разбойникъ денежнаго человѣка любитъ... денежнаго человѣка да грѣшнаго! А бѣднаго ему не надо... зачѣмъ ему бѣдный!

— Я такъ, ваше высокоблагородіе, понимаю, что все это больше отъ ихней глупости, потому какъ съ умомъ человѣкъ, особливо служащій-съ, всякаго случаю опасаться долженъ. Идешь этта иной разъ до города, такъ именно издрожишься весь, чтобъ кто-нибудь тебя не изобидѣлъ... Ну, а они что-съ? Такъ развѣ, убогонькіе!

— Развѣ ты не въ первый разъ ходишь?—спросилъ я старика, давъ время уняться потоку писарского краснорѣчія.

— Нѣтъ, сударь, много ужъ разъ бывалъ. Былъ и въ Кіевѣ, и у Сергія-Троицы былъ, ходилъ и въ Соловки не однова... Только вотъ на Святой Горѣ на Аѳонской не бывалъ, а куда, сказываютъ, тамъ хорошо! Сказываютъ, сударь, что такія тамъ есть пустыни безмолвныя, что и нехотящему человѣку не спастись невозможно, и такіе есть старцы-постники и подражатели, что даже самое закоснѣлое сердце словесами своими мягко якъ воскъ содѣлываютъ!.. Кажется, только бы Богъ привелъ дойти туда, такъ и животъ-то скончать не жалко!

— Эхъ, Антонъ Пименычъ! все это анекдотъ одинъ, — сказалъ писарь.—Извѣстно, странники оттелева приходятъ, такъ надо же побаловать языкомъ, будто какъ за дѣломъ ходили...

— Развѣ ты знаешь его?—обратился я къ писарю.

— Какъ же, ваше высокоблагородіе! онъ тутошній, верстъ пятнадцать отсель жительствуетъ.

— Тутошній я, сударь, тутошній. Только ты это не дѣло, писарёкъ, говоришь про странниковъ-то! Такая ли это матерія, чтобъ насчетъ ея одного баловства ради рѣчь заводить!

— Такъ неужто-жъ и въ самъ-дѣлѣ противъ каждаго ихъ слова уши развѣсить надобно! Они, ваше высокоблагородіе, и нѐ вѣсть чего тутъ, воротимшись, разсказываютъ... У насъ вотъ туточка все слава Богу, ничего-таки не слыхать, а въ чужихъ людяхъ такъ и рѣки-то, по-ихнему, молочныя, и берега-то кисельные...

— Кисельные не кисельные, а это точно, что ты, писарёкъ, только по неразумѣнію своему странниковъ обхаиваешь... Странникъ человѣкъ убогой, ему лгать нѐ по што.

— Чай, и ты, старина, не мало видалъ на своемъ вѣку?— спросилъ я.

— Какъ, сударь, не видать? Видалъ довольно: видалъ, какъ и немощные крѣпость получали, и недужные исцѣлялися; видѣлъ бѣса, изъ жены изгоняемаго; слыхалъ звоны и гулы подземные; видалъ даже, какъ озеро внезапно яко вихремъ волнуемое содѣлывается, а вѣтру нѣтъ... Много я, сударь, видалъ!

— Поразскажи-ка, пока отдыхаешь.

— Да что, сударь, вамъ разсказать! Разскажешь, да вы не повѣрите; значитъ, въ соблазнъ васъ свести надо... Коли ужъ писарь зубы скалитъ, такъ благородному господину и подавно наша глупость несообразна покажется!

— Мнѣ, однакожъ, было бы пріятно послушать тебя.

— Вотъ какъ я вашему благородію скажу, что нѣтъ того на свѣтѣ знаменія, которое бы, по Божьему произволенію, случиться не могло! Только завѣрить трудно, потому какъ для этого надобно самому большую простоту въ сердцѣ имѣть—тогда всякая вещь сама тебѣ объявится. Иной человѣкъ ума и преизбыточнаго, а идетъ, примѣрно, хоть по полю, и ничего не замѣчаетъ. Потому какъ у него въ глазахъ и ширина, и долина, и высь, и травка, и быліе—все обыдень-дѣло... А иной человѣкъ, умомъ незлокозненнымъ, сердцемъ безхитростнымъ дѣйствующій, окромѣ ширины, и

долины, и выси, слышитъ тутъ гласы архангельскіе, красы безтѣлесныя зритъ... Потому-то, смекаю я, простому человѣку скрижаль Божья завсегда противъ злохитраго внятнѣе...

— Нѣтъ, не потому это, Пименычъ,—прервалъ писарь:— а оттого, что простой человѣкъ, окромѣ какъ своего невѣжества, натуральнаго естества ни въ жизнь произойти не въ силахъ. Ну, скажи ты самъ, какіе тутъ, кажется, гласы слышать? Извѣстно, трава зябѣтъ, хошь въ полѣ, хошь въ лѣсу—вездѣ одно дѣло!

— Скажу, примѣрно, хошь про себя,—продолжалъ Пименычъ, не отвѣчая писарю:—конечно, меня Господь разумѣніемъ высшеннимъ не одарилъ, потому какъ я солдатъ, и стало-быть даровъ прозорливства взять мнѣ не откуда; однако истину отъ неправды и я различить могу... И это именно такъ, что бываютъ на свѣтѣ такіе угодные Богу праведники и праведницы, которые единымъ простымъ своимъ сердцемъ непроницаемыя тайны проницаемыми содѣлываютъ, и въ грядущее, яко въ зерцало, очами безтѣлесными прозрѣваютъ!

Пименовъ на минуту задумался и потомъ продолжалъ:

— Обзнакомился я, напримѣръ, въ Кіевѣ, у мощей св. Варвары Великомученицы, съ нѣкою подобною праведницей, и много мнѣ отъ нея пріятныхъ словъ довелось услышать. И такая это была жена благочестивая, что когда Богу молилася, такъ даже пресвѣтлымъ облакомъ вся одѣвалась и премногія радостныя слезы ко Всевышнему проливала. И разсказывала мнѣ она, какъ однова стояла она въ церкви Божіей, въ великомъ сокрушеніи о грѣхахъ своихъ, а очи, будто по недостоинству своему, къ землѣ опустила... И вдругъ слышитъ она вблизи себя нѣкій тихій гласъ, вѣщающій: «Мавро! Мавро! почто, раба, стужаешься! воздвигни очи свои горѣ и возрадуйся!» И что-жъ, сударь, взглянула она на алтарь, а надъ самымъ-таки престоломъ сіяніе, и такое оттуда благоуханіе исходитъ, что и рещи трудно... Такъ она послѣ этого три дня безъ словъ какъ бы нѣмая пребывала, и въ глазахъ все то самое сіяніе, такъ что стерпѣть даже невозможно! Такъ вѣдь были же тутъ, сударь, и другіе, а никто опричь ея видѣнія не удостоился! Вотъ оно, стало-быть, и выходитъ по-моему, что только простое, незлокозненное сердце святынѣ растворяться можетъ!

— Такъ, похвальбишка какая-нибудь!—сказалъ писарь, но Пименычъ даже не обратилъ на него вниманія и продолжалъ:

— Сказывала она мнѣ также, сударь, какія чудеса отъ нетлѣнныхъ мощей преподобнаго Сергія Радонежскаго содѣлываются. Пришелъ, ваше благородіе, къ ракѣ его человѣкъ нѣкій невѣрующій, и похвалялся тотъ человѣкъ, что хоша онъ и нарочито не повѣруетъ, а ничего яко бы отъ этого ему худого не сдѣлается. И едва, сударь, онъ это вымолвилъ, какъ почувствовалъ, что у него словно языкъ отнялся, такъ что послѣднихъ-то словъ даже и выговорить путемъ не могъ. Ну, тогда и подлинно увѣдалъ *господинъ* невѣрующій, что въ мощахъ преподобнаго великая сила сокрыта, и не токмо повѣровалъ, но и въ чернецы тутъ же постригся, а языкъ сталъ у него попрежнему.

— Изъ простыхъ была, что ли, эта Мавра?

— Была она, сударь, изъ преславнаго града Тюменя, изъ мѣщанъ; родителей имѣла сильныхъ и именитыхъ, которые суету мірскую превыше душевнаго подвига возлюбили. Она же по стопамъ родителей не пошла, и столь много даже сыздѣтства къ Богу прилѣпилась, что ни о чемъ больше не помышляла, развѣ о томъ, чтобы младыя свои страсти сокрушить и любить единаго Господа и Спаса своего. Такимъ, сударь, родомъ дожила она до такого времени, когда въ совершенный возрастъ пришла, и начали родители добывать ей мужа. Она же объ этомъ ни разу не только не помыслила, но даже со слезами къ стопамъ родительскимъ припадала, да не изгубятъ души ея занапрасно. Однако они младого ея разуму не послушали и выдали ее замужъ почти полмертвую... И что-жъ, сударь? Не прошло полгода, какъ мужъ у ней въ душегубствѣ изобличенъ былъ и въ работы сосланъ, а она осталась одинокою въ мірѣ сиротой... Вотъ какъ Богъ-то противляющихся Ему родителей наказываетъ! И съ тѣхъ съ самыхъ поръ дала она обѣтъ въ чистотѣ тѣлесной жизнь провождать и дотолѣ странничать, доколѣ тѣло ея грѣшное подвигъ душевный переможетъ. И столь смиренна была эта жена, что даже и мужа своего погубленіе къ своимъ грѣхамъ относила и никогда не мыслила на родителей возроптать!

Пименовъ снова погрузился въ думу, между тѣмъ, какъ писарь потихоньку посмѣивался и иронически мнѣ подмигивалъ.

— А разскажи-ка, Пименычъ, барину, какъ ты въ пустыняхъ странствовалъ,—сказалъ онъ.

— Бывалъ, сударь, я и въ пустынѣ. Пустыня — дѣло

большое, и не всякій его вмѣстить можетъ. Доложу вамъ такъ: овый идетъ въ пустыню, чтобъ плоть свою соблюсти: работать ему не желается, подати платить не охота—онъ и бѣжитъ въ пустыню; овый идетъ въ пустыню по злокозненному своему разуму, чтобы ему, примѣрно, не Богу молиться, а кляузничать да стадо Христово въ соблазнъ вводить. А есть и такіе, которые истинно отъ страстей мірскихъ въ пустыню бѣгутъ, и ни о чемъ больше не думаютъ, какъ бы душу свою спасти. Это именно старцы разумные и великіе постники! Дотолѣ плоть въ себѣ умерщвляютъ, что она у нихъ прозрачна и суха содѣлывается, такъ что видомъ только плоть, а существомъ и похожаго на нее нѣтъ...

— И ты знавалъ лично такихъ?

— Знавалъ, ваше благородіе,—отвѣчалъ Пименовъ рѣшительнымъ голосомъ:—самъ своими глазами видалъ. Лѣтъ съ пятокъ тому будетъ, спознался я съ однимъ такимъ старцемъ—Вассіаномъ прозывался. Жилъ онъ въ пустынѣ болѣе сорока лѣтъ, жилъ въ строгости и тѣснотѣ великой, и столько полюбилось ему ея безмолвіе, что безъ слезъ даже говорить о ней не могъ. Объ одномъ только и тосковала душа его, чтобы тѣ претѣсныя евангельскія врата сыскать, чрезъ которыя могла бы прейти отъ мрачныя и прегорькія темницы въ присносущій и неумирающій свѣтъ райскаго житія... Сказывалъ онъ мнѣ житіе свое прежнее, и именно удивленія это достойно, какъ Батюшка-то небесный тварь Свою безотмѣнно къ тайному концу приводитъ и самый даже нечистый сосудъ очищаетъ. Былъ, сударь, онъ до того времени и татемъ, и разбойникомъ, не мало невинныхъ душъ изгубилъ и крови невинной проліялъ, однако, когда посѣтила его благость Господня, такая ли вдругъ напала на него тоска, что даже помышлялъ онъ руки на себя наложить. Началъ онъ скучать и томиться, и не зналъ, гдѣ для себя мѣсто найти, потому что всѣ душегубства его прежнія непрестанно предъ глазами его объявлялись и всюду за нимъ преслѣдовали. И указалъ ему Богъ путь въ пустыню... Пришелъ онъ въ лѣсъ дремучій, темный, неисходимый, палъ на землю и возрыдалъ многими слезами. «О, прекрасная мати-пустыня! прими мя грѣшнаго, прелестью плотскою яко проказою пораженнаго! О, мати-пустыня! прими мя кающагося и сокрушеннаго, прими, да не изыду изъ тебя во вѣкъ и не до конца погибну!» И что-жъ, сударь! едва лишь кончилъ онъ молитву, какъ почувствовалъ,

что страсти его внезапно укротились, и онъ былъ лютъ яко левъ, а сдѣлался незлобивъ и кротокъ яко агнецъ.

— Да, можетъ-быть, онъ просто отъ наказанія скрывался?—спросилъ я.

— Объ этомъ, сударь, сказать я вамъ ничего не могу. Извѣстно, что наказаніе разбойнику слѣдуетъ; однако, если человѣкъ самъ свое прежнее непотребство восчувствовалъ, такъ наврядъ и палачъ его столь наказать можетъ, сколь онъ самъ себя изнуритъ и накажетъ. Наказаніе, ваше благородіе, не спасаетъ, а собственная своя воля спасаетъ... Не на радость и не на роскошество старецъ Вассіанъ въ пустыню вселился, а на скорбь и на нужу; стало-быть, не бѣжалъ онъ отъ наказанія, а самъ же его искалъ. И на каторгѣ хлѣбъ добрый и воду непорченную даютъ, а въ пустынѣ онъ корнями да травами питался, а воду пилъ гнилую и ржавую. Была у него въ самой лѣсной чащѣ сложена келья малая, такъ истинно человѣку въ ней жить невозможно, а онъ жилъ! Стоять въ ростъ нельзя, а можно только лежать или на колѣнкахъ стоять... точно какъ гробу подобно! Окошечко вырублено малое, да и то безъ стекла, печки нѣтъ. Какъ только жилъ!

— Да вѣдь одежду-то нужно было ему какъ-нибудь доставать?—сказалъ я.

— А какая у него одёжа? Понитокъ черный да вериги желѣзныя — вотъ и одёжа вся. Извѣстно, не безъ того, чтобъ люди объ немъ не знали; тоже прихаживали другіе, и милостыню старцу творили: кто хлѣбца принесетъ, кто холстеца; только мало онъ принималъ, развѣ по великой ужъ нуждѣ. Да и тутъ, сударь, много разъ при мнѣ скорбѣлъ, что, по немощи своей, не можетъ совершенно отъ міра укрыться и полнымъ сердцемъ всего себя Богу посвятить!

— Какимъ же образомъ ты-то дошелъ до него?

— Кто много ищетъ, ваше благородіе, тотъ безотмѣнно находитъ. Самъ я, по неразумію своему, хотя не силенъ духовнаго подвига преодолѣть, однако къ подражателямъ Христовымъ великое почитаніе имѣю. Стало-быть, того поспрошаю, у другого навѣдаюсь, ну, и дойду какъ-нибудь до настоящаго. Такъ-то было и тутъ. Пришелъ я къ нему, по милости добрыхъ людей, въ лѣтнее время, потому что зимой и жилья по близости нѣтъ, а съ старцемъ поселиться тоже невозможно. Не малое-таки время и искалъ-то я его, потому что лѣсъ большой и заплутанный, а тропокъ ника-

кихъ нѣту; только вотъ, походивши довольно, вдругъ вижу: сидитъ около кучи валежника старецъ, видомъ чуденъ и сѣдинами благолѣпными украшенъ; сидитъ, сударь, и лапотиночку ветхую чинитъ. А это онъ самый и былъ, Вассіанъ, а куча-то валежника для того, вишь, имъ сюда снесена, чтобъ отъ непогодъ укрыть его келью тѣсную... И много я въ ту пору отъ него словъ великихъ услышалъ, и много дивился его житію, что онъ, какъ птица небесная, беззаботенъ живетъ и объ одномъ только Господѣ и Спасѣ радуется. — Какъ же ты зимой тутъ живешь, старче?—спросилъ я его. —«А отчего мнѣ-ка не жить,—отвѣчалъ онъ:— снѣгомъ келейку мою занесетъ, вотъ и тепло мнѣ; живу безъ нужды, имя Христово прославляючи». И чудо, сударь, сказывалъ онъ мнѣ: даже звѣри дикіе, и тѣ отъ сладкаго его гласа кротки пребывали! Пришла, сударь, по одинъ день зимой къ его кельѣ волчица; и хотѣла старца благочестиваго съѣсти, а онъ только поглядѣлъ на нее да сказалъ: «почто, звѣрь лютый, съѣсти мя хощеши?» и подалъ ей хлѣба, и стала, сударь, волчица лютая яко ягня кротка и пошла отъ старца вспять!

— Вѣдь чего не выдумаютъ! — прервалъ писарь. — Ну, статочное ли дѣло, чтобы волчица человѣка не задрала! Вѣдь она, Пименычъ, только аппетитъ свой знаетъ, а разуму въ ней настоящаго нѣтъ!

— Стало-быть, есть, коли вотъ простого старцева слова послушалась!.. И еще разсказывалъ мнѣ, сударь, старецъ Вассіанъ, какія въ пустыняхъ подвижникамъ Христовымъ искушенія великія бываютъ. Стоитъ, сударь, онъ однажды въ кельѣ на молитвѣ, и многія слезы о прегрѣшеніяхъ своихъ предъ Господомъ проливаетъ. И вдругъ является предъ нимъ юница добрая, одежды никакія не имуща, а тѣломъ яко снѣгъ сверкающа; является предъ нимъ, бедрами потрясаетъ, главою киваетъ очами помаваетъ. И взговорила ему та юница: «старче убогій, Вассіане! прислалъ меня къ тебѣ князь мой, да услажду тя отъ красоты моея!» Только онъ, сударь, плюнулъ и отвернулся, а знаменія крестнаго, по неосторожности, не сотворилъ. И взяла его та юница за руки, и взглянула ему въ самыя очи, и ощутилъ Вассіанъ, яко нѣкій огнь въ сердцѣ его горитъ, и увидѣлъ пламень злой изъ очей ея исходящъ, и зрѣлъ уже себя ввержennымъ въ пропасть огненную... Но тутъ десница Божія поддержала и вразумила его: освободилъ онъ коекакъ руки отъ когтей діавольскихъ и сотворилъ крестное

знаменіе... И стало мѣсто это опять пусто, только слышалъ онъ, какъ нѣкто вблизи его сказалъ: «подождемъ мало, теперь еще не время»... И долго-таки не отставалъ отъ него врагъ человѣческій; и на другой, и на третій день все эта юница являлася и думала его прелестьми своими сомутить — только онъ догадался да крестъ на нее и надѣлъ... такъ повѣрите ли, сударь? вмѣсто юницы-то очутился у него въ рукахъ змѣй преогромный, который, пошипѣвъ мало, и поползъ изъ келіи вонъ... Такъ вотъ какіе соблазны и въ пустынномъ житіи подвижниковъ великихъ преслѣдуютъ.

Кончивъ этотъ разсказъ, Пименычъ пристально посмотрѣлъ мнѣ въ лицо, какъ будто хотѣлъ подмѣтить въ немъ признаки того глумленія, которое онъ считалъ непремѣнною принадлежностью «благороднаго» господина. Но этого глумленія не было. Пускай станціонный писарь, пунктъ за пунктомъ, доказываетъ несбыточность показаній Пименова, но я съ своей стороны не имѣю силы опровергнуть ихъ. Передо мною ярко и осязательно выступаетъ всемогущее дѣйство вѣры, и подъ обаятельнымъ вліяніемъ этой юной и свѣжей народной силы внятною дѣлается для меня скрижаль Божія.

Вѣроятно Пименычъ замѣчаетъ это, потому что глядитъ на меня какъ-то особенно ласково и весело.

— Такъ какъ же тутъ не повѣруешь, сударь!—говоритъ онъ, обращаясь уже исключительно ко мнѣ:—конечно, живемъ мы вотъ здѣсь въ углу, словно въ языческой сторонѣ, ни про чудеса, ни про знаменія не слышимъ, ну и Богато ровно забудемъ. А придешь, напримѣръ, хошь въ Москву, а тамъ и камни-то словно говорятъ! Пойдутъ это сказы да разсказы: тамъ, послышишь, цѣленіе чудесное совершилось; тамъ будто надъ невѣрующимъ знаменіе Свое Богъ показалъ, ну и восчувствуешь, и растопится въ тебѣ сердце, мягче воску сдѣлается!

Въ это время подошла пожилая женщина тоже въ странническомъ одѣяніи и остановилась около насъ. Пименовъ узналъ ее.

— А что, Пахомовна,—спросилъ онъ:—видно, тоже Богу помолиться собралась?

— Собралась, голубчикъ, да чтой-то ужъ и не знаю, дойти ли: ништо разломило всеё!

— А посиди съ нами, касатка: баринъ добрый, кваску велитъ дать... Вотъ, сударь, и Пахомовна, какъ не я же,

остатнюю жизнь въ странничествѣ препровождаетъ,—обратился Пименовъ ко мнѣ:—да и другихъ много такихъ же найдется...

Пахомовна набожно перекрестилась.

— Нашего брата, странника, на святой Руси много, — продолжалъ Пименовъ: — въ иную обитель придешь, такъ даже сердце не нарадуется, сколь тѣсно бываетъ отъ множества странниковъ и вѣрующихъ. Теперь вотъ далеко ли я отъ дому отшелъ, а и тутъ попутчицу себѣ встрѣтилъ; а тамъ, что ближе къ святому мѣсту подходить станемъ, то больше народу прибывать будетъ; со всѣхъ, сударь, дорогъ все новые странники прибавляются, и придешь ужъ не одинъ, а во множествѣ... такъ, что ли, Пахомовна?

— Такъ, голубчикъ, на народѣ и Богу молиться веселѣе.

— Лѣто-то все такимъ родомъ проходишь, а зиму прозимуешь у мощей святыхъ или у образа чудотворнаго, а потомъ опять лѣто пространствуешь, да ужъ на другую зиму домой воротишься... И чего-чего тутъ не наслышишься, и какихъ Божіихъ чудесъ не насмотришься! Довольно того, напримѣръ, что въ Соловкахъ объ лѣтнюю пору даже и ночи совсѣмъ нѣтъ! И такова, сударь, благость Господня, что только по началу и чувствуешь, будто ноги у тебя устаютъ, а потомъ даже и усталости никакой нѣтъ, — все бы шелъ да шелъ. Идешь этта временемъ жаркіимъ, по лѣсочкамъ прохладнымъ, пташка Божья тебѣ пѣсенку поетъ, вѣтерочки мягкіе главу остужаютъ, листочки звуками тихими въ ушахъ шелестятъ... и столько становится для тебя радостно и незаботно, что даже плакать можно!.. Идемъ, что ли, Пахомовна?

Пименовъ всталъ, снялъ шапку, поклонился мнѣ и писарю, потомъ нѣсколько разъ перекрестился и заковылялъ по дорогѣ рядомъ съ Пахомовной.

Пахомовна.

Собралася Ѳедосьюшка свѣтъ-Пахомовна въ путь во дороженьку, угодникамъ Божіимъ помолиться, святымъ преславнымъ мѣстамъ поклониться. Оболокалася Пахомовна въ ризы смиренныя странническія, препоясывалась она нуждой да терпѣньицемъ, обувалася она въ чоботы строгіе. «Ужъ вы, чоботы мои, чоботы строгіе, сослужите мнѣ службу вѣрную, доведите меня до святыхъ угодниковъ до

святыхъ угодниковъ, ихъ райскихъ обителей! Ты прости, государь-батюшка, ты прости, государыня-матушка! Помолитесь вы за мою душеньку грѣшную, чтобы та душа грѣшная кресту потрудилася, потрудившись, въ свѣтлыя обители вселилася».

Идетъ Пахомовна путемъ-дороженькой первый день, идетъ она и другой день; на третій день нѣтъ у Пахомовны ни хлѣбца, ни грошика; что взяла съ собой, все поистеривала на бѣдныхъ, на нищихъ, на убогихъ. Идетъ Пахомовна, закручинилась: «Какъ-то я, горькая сирота, до святого града доплетусь? Поѣсти-испити у меня нечего, милостыню сотворить — не изъ чего, про путь, про дороженьку поспрошать—не у кого!»

И видитъ Пахомовна, впереди у нея стоитъ дубравушка: стоитъ свѣтъ-дубравушка веселая, а муравушка въ ней зеленая. Садится Пахомовна середь той дубравушки, садится и горько плачется: «ты вмилуйся надо мной, государыня дубрава зеленая! пріюти ты мое недостоинство, ты насыть меня алчную, ты напой меня жадную!» Вдругъ предсталъ передъ ней медвѣдь-лютый звѣрь; задрожала-испугалась Пахомовна того звѣря лютаго, звѣринаго его образа невиданнаго; взговорила она ему: «Ты помилуй меня, лютый звѣрь, ты не дай мнѣ помереть смертью жестокою, не вкусимши Святаго Причастія, въ прегрѣшеніяхъ не покаявшись!»

И держалъ ей медвѣдь такую рѣчь: «Ты на что, Божья раба, испужалася! Мнѣ не надобно тѣло твое худое, постомъ испощенное, трудомъ изможденное! Я люблю ѣсти тѣлеса грѣшныя вынѣженныя, что къ церкви Божьей не хаживали, середы-пятницы не имывали, великаго говѣнья не гавливали, постомъ не постилися, трудомъ не трудилися! А тебѣ принесъ я, странница, медвяный сотъ, твою нужу великую видючи, о слезахъ твоихъ сокрушаючись!»

И дивилася много Пахомовна той Божіей милости, благому Божіему произволенію!

Идетъ Пахомовна путемъ-дороженькой, призастигла ее ночка темная. Не видитъ Ѳедосьюшка жила человѣческаго не слышитъ человѣчьяго голосу; кругомъ шумятъ лѣса неисходные, пріутихли на деревахъ птицы воздуственныя, пріумеркли въ небесахъ звѣзды ясныя; собираются въ нихъ тучи грозныя, тучи грозныя собираются, огнемъ-полымемъ разсѣкаются... Раздалися гулы-громы подземные, стонетъ отъ нихъ матушка сыра-земля, стонетъ, дрожитъ,

хочетъ восколыбнуться. Растужилася Пахомовна отъ великаго страха и ужаса: «Не страши мя, Государь Небесный Царь, превеликими ужасами; Ты не дай мнѣ померети безо времени, не дай скончать живота безъ Святаго Причастія, безъ слезнаго покаянія!»

По молитвѣ ея въ лѣсу мѣсто очищается; стоятъ передъ нею хоромы высокія, высокія рубленныя, тесомъ крытыя; въ тѣхъ хоромахъ идетъ всенощное пѣніе; возглашаютъ попы-діаконы славу Божію, поютъ они гласы архангельскіе, архангельскія пѣсни херувимскія, величаютъ Христа Царя Небеснаго, со Отцемъ и Святымъ Духомъ спокланяема и сославима. А на самомъ порогѣ у хоромъ хозяинъ стоитъ, хозяинъ мужъ честенъ и праведенъ, сѣдинами благолѣпными изукрашенный. Онъ убогую старицу зазываетъ, свѣтъ-Пахомовну ночевать унимаетъ, за бѣлыя руки ее принимаетъ: «Ты, хозяюшка молодая, и вы, дѣтки малыя! упокойте вы старицу Божію, старицу Божію, странницу убогую!»—«Отдохни ты здѣсь, Ѳедосьюшка! услади, свѣтъ-Пахомовна, душу твою гласами архангельскими, утоли твой гладъ отъ ѣства небеснаго!» И брала свѣтъ-Пахомовну за руки хозяйка младая, въ большое мѣсто ее сажала, ноздѣ ея умывала, питьями медвяными, ѣствами сладкими потчивала. Наслушалась Пахомовна архангельскихъ голосовъ, насладилася честныхъ пѣсней херувимскихъ, а отъ сладкаго ѣства и медвянаго пойла отказалася.

И взговорила она ко хозяину, прощаючись: «Кто же ты еси, человѣче, что меня гладную воскормилъ, жаждущу воспоилъ, въ дебряхъ блуждающую пріютилъ? Какъ помянуть мнѣ на молитвѣ святое твое имя богоданное?» Отвѣщалъ ей старецъ праведный: «Ты почто хощеши, раба, увѣдати имя мое? Честно имя мое, да и грозно вельми; не вмѣстити его твоему убожеству; гладну я тебя воскормилъ, жаждущу воспоилъ, въ дебрѣхъ, въ вертепахъ тебя обрѣлъ—иди же ты, Божья раба, съ миромъ, кресту потрудися! Уготовано тебѣ царство небесное, со ангели, со архангели, съ Асакомъ-Обрамомъ-Іаковомъ—уготована пища райская, одежда во вѣки неизносимая!»

И дивилася много Пахомовна той Божіей милости, благому Божіему произволенію!

Идетъ Пахомовна путемъ-дороженькой; идетъ-идетъ, кручинится: «Какъ же я, горькая сирота, во святой градъ приду? Масла искупити мнѣ не на что, свѣщу поставить

угоднику не изъ чего, милостыню сотворити нищему и убогому—нечѣмъ!» И предсталъ передъ ней змѣй-скорпій, всѣхъ зміевъ естествомъ злѣйшій, отъ Бога за погубленіе человѣческое проклятый. И рекъ ей тотъ змѣй: «Не страшись мя, старица убогая, приползъ я къ тебѣ не своимъ хотѣніемъ, а невольнымъ повелѣніемъ, притупилося у меня жало лютое, острое!»—Что же хочешь ты отъ меня, государь лютый змѣй, поскуда, злющая ты гадина?—«А хощу я показать тебѣ мою сокровищницу; стерегу я ту сокровищницу денно и нощно многія тысяцы лѣтъ, ни единому человѣчьему глазу невидимо, ни единому человѣчьему уху неслышимо! Много тамо смарагдовъ, яхонтовъ самоцвѣтныхъ; злата, сребра тамо мѣшки полные; услаждай свою душеньку до-сыта, насыпай свою котомочку странническую!» И привелъ ее змѣй къ пещерамъ глубокимъ, къ земнымъ разсѣдинамъ; отвалилъ онъ отъ пещеръ тѣхъ камень зѣло великъ, отворилъ сокровищницу тайную. Показалося оттудова пламя огненное: возопили бѣсы льстивыми голосами, восплакали лукавыми слезами, не хотѣли (яко бы) Пахомовну до злата допущать. А Пахомовна-то перекрестилася, бѣсовскую силу крестомъ побѣдила; первый-то мѣшокъ взяла—въ пропасть кинула огненную, а другой-то мѣшокъ взяла—по вѣтру злато развѣяла: насчитала она мѣшковъ число звѣрино шестьсотъ шестьдесятъ шесть, и всѣ-то раскидала, развѣяла.

И взговорила она тутъ змѣю-скорпію: «Захотѣлъ ты, слуга антихристовъ, великіимъ богачествомъ мое сердце уязвить; притворился ты, сосудъ діавольскій, агнцемъ кроткимъ, послушливымъ! Такъ не будетъ же по-твоему, гадина пресмыкающа: со мною сила крестная, со мною святыхъ угодниковъ пречестное воинство!» И сказавши такую рѣчь, загнала она поганаго змѣя въ земную разсѣдину и наваливала камнемъ великіимъ. Застонали бѣсы стонами веліими, заскрежетали они скрежетами зубовными и взмолилися тако убогой странницѣ Пахомовнѣ: «Отпусти ты насъ, Ѳедосьюшка, на вольный свѣтъ, въ прелестный міръ! Что-то мы скажемъ нашему батюшкѣ, нашему батюшкѣ, самому сатанѣ!»

А Пахомовна идетъ путемъ-дороженькой, клюкою своею помахиваетъ, погубленію бѣсовскому посмѣивается да святымъ крестомъ ограждается. И вдругъ слышитъ она, словно въ котомочкѣ у нея стукъ-стукъ, а котомочка (знаетъ она) была допрежъ того пустехонька; дивится Пахомовна, ко-

томку отвязываетъ, и вдругъ обрѣтаетъ тамо золотую копеечку. «Ты отколѣ, золотая копеечка, проявилася? не изъ діавольскихъ ли рукъ сатанинскіихъ?»—«Не изъ діавольскихъ я изъ рукъ сатанинскіихъ, появилася я Христовымъ повелѣніемъ, на благія дѣла на добрыя, на масло на лампадное, на свѣщу воску яраго, на милостыню нищему-убогому!»

И дивилася много Пахомовна той Божіей милости, благому Божіему произволенію!

Распыхался же и сатана отъ погрому Пахомовнина; распалился онъ гнѣвомъ на странницу худую, безсильную, что этакая ли странница безсильная, а надъ хитростью его геенскою посмѣялася, вѣрныхъ слугъ его, сатаны, въ земную разсѣдину запрятала, а казну его беззаконную всю развѣяла. Возсѣлъ онъ на престолѣ на огненномъ, на главу воздѣлъ вѣнецъ зміиный и позвалъ передъ себя слугъ своихъ вѣрныхъ: «Гой вы, слуги мои, слуги-бѣси проклятіи! сослужите вы мнѣ службу вѣрную; изобидѣла меня странница худая Пахомовна, посмѣялася надъ моимъ сатанинскіимъ величествомъ!»

И по тому его сатанинскому повелѣнію разлеталися бѣсы послушные; разлетались они по вольному свѣту, прелестному міру; умышляли, како уловить имъ свѣтъ-Пахомовну.

Пришла она на ту пору на распутіе; лежатъ передъ нею три дороженьки, и не знаетъ старица, по которой идти.

Повстрѣчался съ ней тутъ младый юношъ прекрасный (а и былъ онъ тотъ самый злохитрый слуга сатанинъ); онъ снималъ передъ ней свою шапочку, ниже пояса старицѣ кланялся, ласковыя рѣчи разговаривалъ. «Ужъ ты матушка ли моя свѣтъ-Пахомовна! истомилася ты во чужой сторонушкѣ, истомилася-заблудилася, настоящую праву дороженьку позапамятовала!» Взмолилася ему тутъ Пахомовна: «Ты младый юношъ прекрасный! укажи мнѣ правую дороженьку, что̀ ведетъ къ преславнымъ градамъ, гдѣ пророки пророчествовали, гдѣ святіи мученики кровь честную пролили, гдѣ святители православные прехвальное житіе свое провождали». Повелъ ее младъ юношъ по средней дороженькѣ, по той торной дороженькѣ, гдѣ ходятъ люди грѣшные. Разстилается передъ ней дороженька широкая, грѣшными стонами убитая, любодѣевыми одеждами вымететная. Усумнилася странница свѣтъ-Пахомовна: «Раз-

гони ты, младый юношъ, мое неразумьице, отчего наша дорога торна-широка, а въ писаніи про райскій путь такъ не сказано?» Отвѣщалъ ей тогда добрый молодецъ: «Пожди мало, Пахомовна! Впереди еще будетъ узокъ путь, будетъ узокъ путь и ужасенъ путь!»

И привелъ онъ ее къ лѣсу темному; въ тыимъ лѣсѣ одни только дерева-осины проклятыя: листами дрожатъ, на весь міръ злобствуютъ. Догадалася тогда Пахомовна, что пришла она въ мѣсто недоброе; изымалъ ее самъ злой духъ-сатана со своими проклятыми деймонами; помутился у ней свѣтъ въ очахъ, и дыханьице въ груди замерло, подломилися ноги скорыя, опустилися руки бѣлыя. Вокругъ лежатъ болота смрадныя; поднимаются кверху отъ нихъ туманы зловонные, застилаючи солнце праведное, насылаючи безо времени ночь ужасную. Хочетъ она крестъ сотворить — руки отнялись; хочетъ молитву сказать — языкъ онѣмѣлъ; хочетъ прочь бѣжать—ноги не слушаются.

Разступилася вдругъ подъ нею мать сыра-земля, и разверзлася вся преисподняя огненная. Сидитъ самъ сатана, исконный врагъ человѣческій, сидитъ онъ на змѣѣ трехглавныемъ огненныемъ; проворные бѣсы кругомъ его грѣшниковъ мучаютъ, надъ тѣлесами ихъ беззаконными тѣшатся, пилятъ у нихъ руки-ноги пилами острыми, бьютъ ихъ въ уста камнями горячими, тянутъ изъ нихъ жилы щипцами раскаленными, велятъ лизать языкомъ сковороды огненныя, дерутъ имъ спины гребенками желѣзными... А по воздуху летаютъ огнекрылатые зміи-аспиды, образъ дѣвичій имущи, хоботъ скорпіевъ, а по полу скачутъ жабы проклятыя, мечутся крысы злыя огненныя, ползутъ черви ядовитые... Вопіютъ грѣшники и грѣшницы ко Господу: «Господи, избавь насъ отъ рѣки огненной, отъ рѣки огненной, муки вѣковѣчныя, отъ скрежета ужаснаго зубовнаго и отъ тьмы несвѣтимыя! Господи! не вели палить нашихъ лицъ огнюжупелу, остуди наши гортани росою небесною! И вы, великіе Божіи угодники! пророцы, апостоли, страстотерпцы Христовы мученики и святіи святители! не можно ли вамъ за насъ помолитися?»

Чуетъ Пахомовна: волокутъ и ее злые деймоны ко престолу сатанинскому огненному. Распалилася она вдругъ ревностью многою, благочестіемъ великимъ, восплакала слезами горькими, возговорила словесами умиленными: «Господи Спасе Христосъ Истинный, почто оставилъ Ты рабу Свою? почто предалъ меня на погубленіе бѣсу лукавому?»

Отъ того ея гласа молитвеннаго отшатнулися злые деймоны, отшатнулись яко вихремъ гонимые, и низвергнулись въ преисподнюю. И потухло вдругъ пламя геенское, затворилася пропасть огненная, опустилися тумаиы зловонные и засіяло вновь солнце праведное!

И видитъ Пахомовна: передъ нею святая обитель стоитъ тихая, мужми праведными возвеличенная, посредѣ ея златыя главы на храмахъ свѣтятся, и въ тѣхъ храмахъ идетъ служба вѣчная, неустанная. Поютъ тамо гласами архангельскіими пѣсни херувимскія, честное и великолѣпное имя Христово прославляючи со Отцемъ и Святымъ Духомъ и нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Хрептюгинъ и его семейство.

На постоялый дворъ, стоящій въ самомъ центрѣ огромнаго села, выѣзжаютъ четыре тройки. Первая, заложенная въ тарантасъ чудовищныхъ размѣровъ, везетъ самихъ хозяевъ; остальныя три заложены въ простыя кибитки, изъ которыхъ въ одной помѣщаются два господина въ гражданскомъ платьѣ, въ другой—приказчикъ Петръ Парамонычъ, тучный малый, въ замасленомъ длинноломъ сюртукѣ, и горничная дѣвушка; въ третьей—поваръ съ кухнею.

— Архипъ! а, Архипъ! смотри-кось, братъ, какую машинищу Иванъ Онуфричъ изладилъ!—кричитъ Петръ Парамонычъ, выскочивъ изъ кибитки и указывая на четверомѣстный тарантасъ, поворачивающій въ глубинѣ двора.

Хозяинъ, онъ же и Архипъ, мужикъ, раздувшійся отъ чрезмѣрнаго употребленія чая, съ румянымъ лицомъ, украшеннымъ окладистою бородкой и парою маленькихъ и веселыхъ глазъ, въ одной александрійской рубашкѣ, подпоясанной ниже пупка, подходитъ къ тарантасу Ивана Онуфрича, окидываетъ взглядомъ кузовъ, потомъ нагибается и ощупываетъ оси и колеса, потряхиваетъ легонько весь тарантасъ и говоритъ:

— Барская штука! Въ Москвѣ, что ли, ладили?

— Гдѣ въ Москвѣ! своими мастерами дѣлали! Тутъ одного желѣза пятнадцать пудовъ, поди, будетъ.

— Да, ладная штука!.. На богомолье, что ли, господа собрались?

— Да, на богомолье, то-есть, больше, какъ бы сказать, для блезиру прогуляться желательно.

— Такъ-съ... а ничего нонче сказать: на богомолье

много господъ ѣздятъ, а чернаго народу да бабъ такъ и ужасти сколько!

Въ это время проходитъ по двору женщина, засучивши сарафанъ и неся въ одной рукѣ ведро воды, а другую, вѣроятно для равновѣсія, держа наотмашь.

— Ѳеклинья! брось ведро да подь сюда! Посмотри-кось, какую карету Иванъ Онуфричъ изладилъ! — кричитъ ей тотъ же Петръ Парамонычъ.

Ѳеклинья не смѣетъ ослушаться; она ставитъ ведро на земь, но, подошедши, только покачиваетъ головой и шепчетъ: «ишь ты!»

— Да ты что-жъ ничего не говоришь! Ты посмотри, каковы оси-то!.. глупая!

— Гдѣ ей, батюшка, Петръ Парамонычъ, въ этакомъ дѣлѣ смыслить!—вступается Архипъ и, обращаясь къ Ѳеклиньѣ, прибавляетъ:—Ты смотри, самоваръ скорѣе ставь для гостей дорогихъ!

— А я было воду-то для странницъ несла; больно ужъ испить имъ хочется! Кваску бы имъ дать, да ты не велѣлъ...

— До нихъ ли теперь! Видишь, господа купцы наѣхали! Обождутъ, не велики барыни!

— А что, Демьянычъ, видно, на квасъ-то скупенекъ, братъ, сталъ,—говоритъ ямщикъ, откладывая коренную лошадь.—Разбогатѣлъ, знать, такъ и прижиматься сталъ!.. Ну-ко, толстобрюхій, полѣзай къ хозяевамъ, да скажи, что ямщикамъ, молъ, на чай надо! — прибавляетъ онъ, обращаясь къ Петру Парамонычу.

Между тѣмъ, предметъ этихъ разговоровъ, Иванъ Онуфричъ Хрептюгинъ, расположился ужъ въ свѣтелкѣ съ своимъ семействомъ, состоящимъ изъ супруги, дочери и сына, и съ двумя товарищами, сопутствующими ему въ особомъ экипажѣ. Хрептюгинъ, купецъ первой гильдіи, потомственный почетный гражданинъ, зѣваетъ и потягивается. Дорога утомила и разслабила его нѣжное тѣло; въ особенности же губительно подѣйствовала она на ноги почетнаго гражданина, несмотря на то, что ноги эти, по причинѣ необыкновенной тонкости кожи, обуты въ бархатные сапоги. Причина этого губительнаго дѣйствія заключается въ томъ, что, сооружая себѣ «карету», Иванъ Онуфричъ не столько думалъ объ удобствахъ, сколько о томъ, чтобъ желѣза и дубу было вволю, и чтобъ вышла *карета* «православнымъ аханье, нѣмцамъ смерть и сухота». Хрептюгинъ—мужчина

лѣтъ сорока пяти, изъ себя видный и высокій, одѣтый понѣмецкому и не дозволяющій себѣ ни малѣйшаго волосяного украшенія на лицѣ. Походку имѣетъ онъ твердую и значительную, хотя, по старой привычкѣ, ходитъ бо́льшею частью заложивши руки назадъ. Многіе еще помнятъ, какъ Хрептюгинъ былъ сидѣльцемъ въ питейномъ домѣ и какъ онъ въ то время рапортовалъ питейному ревизору, именно заложивши назадъ руки, но стоя не перпендикулярно, какъ теперь, а потолику наклоненно, поколику дозволяли это законы тяготѣнія, отъ какового частаго стоянія, должно полагать, и осталась у него привычка закладывать назади руки. Многіе помнятъ также, какъ Иванъ Онуфричъ въ ту пору поворовывалъ, и какъ питейный ревизоръ его за волосяное царство таскивалъ; помнятъ, какъ онъ постепенно, тихимъ манеромъ идя, снялъ сначала одинъ уѣздъ, потомъ два, потомъ и цѣлую губернію; какъ самая кожа на его лицѣ изъ жесткой постепенно превращалась въ мягкую, а изъ загорѣлой въ бѣлую... Но, разумѣется, всѣ эти воспоминанія передаются только шопотомъ, и присутствіе Хрептюгина вмигъ заставляетъ умолкнуть злые языки.

Супруга его, Анна Тимоѳеевна, дама весьма сановитая, но ограниченная, составляетъ непрестанно болящую рану Хрептюгина, потому что сколько онъ ни старался ее обшлифовать, но она еще до сихъ поръ, тайкомъ отъ мужа, объѣдается квашеною капустой и опивается бражкой. Нерѣдко также обмолвливается она непріятными словами, въ родѣ: «взопрѣть», «упаточиться», «тошнёхонько» и т. п., и если это бываетъ при Иванѣ Онуфричѣ, то онъ мечетъ на нее столь суровые взгляды, что бѣдная мгновенно утрачиваетъ свою сановитость, теряется и дѣлается способною учинить еще болѣе непростительную въ образованномъ обществѣ обмолвку.

Зато Аксинья Ивановна (о, сколь много негодовалъ на себя Иванъ Онуфричъ за то, что произвелъ это дитя еще въ тѣ дни, когда находился въ «подломъ» состояніи! Иначе нарекъ ли бы онъ ее столь неблагозвучнымъ именемъ!) представляетъ изъ себя типъ тонкой и образованной дѣвицы. Она столько во всѣхъ наукахъ усовершенствована, что даже и *papa* своему не можетъ спустить, когда онъ, вмѣсто «труфель», выговариваетъ «трухель», а о *maman* нечего и говорить: она считаетъ ее рѣшительно неспособною имѣть никакого возвышеннаго чувства. Иванъ Онуфричъ, имѣя въ виду такую ея образованность, а также и

то, что изъ себя она не сухопара, непремѣнно надѣется выдать ее замужъ за генерала. «Хоть бы съ улицы, хоть бы махонькаго какого-нибудь генералика!»—частенько думалъ онъ про себя, расхаживая взадъ и впередъ по комнатѣ, съ заложенными за спину руками. — «Ахъ, что это вы, папа, все за спиной руки держите, точно «чего изволите?» говорите!»—скажетъ Аксинья Ивановна, прерывая его попечительныя размышленія.—«Слушаю-съ, ваше превосходительство!»—отвѣтитъ Иванъ Онуфричъ, погладитъ Аксюту по головкѣ и станетъ держать руки по швамъ.

Совершенную противоположность съ своею сестрицей составляетъ рожденный уже по пріобрѣтеніи Иваномъ Онуфричемъ благъ цивилизаціи осьмилѣтній сынъ его, Démétrius Иванычъ. Хотя онъ одѣтъ въ бархатную курточку, но такъ какъ «отъ свиньи родятся не бобрёнки, а все поросёнки», то образъ мыслей и наклонностей его отстоитъ далече отъ благоуханной сферы, въ которой находятся его родители. Сыздѣтства головку его обуреваютъ разныя экономическія операціи, и хотя не бываетъ ни въ чемъ ему отказа, но такова уже младенческая его жадность, что, даже насытившись до болѣзни, все о томъ только и мнитъ, какъ бы съ отческаго стола стащить и подъ комодъ или подъ подушку на будущія времена сохранить. Къ изученію французскаго языка и хорошихъ манеръ не имѣетъ онъ ни малѣйшаго пристрастія, а любитъ больше смотрѣть, какъ деньги считаютъ, или вотъ заберется къ подвальному и смотритъ, какъ зеленое вино по штофикамъ разливаютъ, тряпочкой затыкаютъ да смолкой припечатываютъ. «Брысь, слякоть!»—скажетъ ему подвальный Потапычъ, а онъ ничего, даже не обидится, только сядетъ въ уголокъ, да и наслаждается оттуда полегоньку. «Лютая бестія изъ тебя выйдетъ, Митька!»—скажетъ Потапычъ и примется снова за свое дѣло. Въ настоящее время Митька безпрестанно вынимаетъ изъ кармановъ своихъ шароваръ что-нибудь съѣдобное и меланхолически пожевываетъ.

Одинъ изъ спутниковъ Хрептюгина—армянинъ Халатовъ. Онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ бель-омовъ, которыхъ нѣкоторые остроумцы называютъ отвратительно-красивыми мужчинами. Говоритъ онъ по-русски хорошо, но ужъ по той отчетливости, съ которою выговаривается у него каждое слово, и по той дѣятельной роли, которую играютъ при произношеніи зубы и скулы, нельзя ошибиться насчетъ происхожденія этого героя. Впрочемъ, онъ нрава малообъ-

щительнаго, больше молчитъ, и во время всей послѣдующей сцены исключительно занимается всякаго рода жеваньемъ, въ рекреаціонное же время вздыхаетъ и пускаетъ страстные взоры въ ту сторону, гдѣ находится Аксинья Ивановна, на сердце которой онъ имѣетъ серьезные виды.

Другой спутникъ—птица небольшая, да и не малая, той самой палаты столоначальникъ, которая и Хрептюгина, и Халатова, и всѣхъ армянъ, эллиновъ и іудеевъ воспитываетъ, «да негладны и безпечальны пребываютъ». Прозывается онъ Прохоръ Семеновъ Боченковъ, видомъ кляузенъ, жидокъ и зазоренъ, непрестанно чешетъ себѣ колѣнки, душу же хранитъ во всей чернильной непорочности, всегда готовую на послугу или на пакость, смотря по силѣ-возможности. Его тоже разломило въ дорогѣ, потому что онъ ходитъ по комнатѣ аки вѣтромъ колыхаемый, что возбуждаетъ немалую, хотя и подобострастную веселость въ Хрептюгинѣ. Везетъ его Иванъ Онуфричъ на свой счетъ.

— Видно, Богу помолиться собрались, Иванъ Онуфричъ?—спрашиваетъ вошедшій хозяинъ.

— Да, надо молиться. Онъ насъ милуетъ, и мы Ему молиться должны, — отвѣчаетъ Иванъ Онуфричъ отрывисто.

— Изъ сидѣльцевъ...—начинаетъ Анна Тимоѳеевна, но Иванъ Онуфричъ бросаетъ на нее смертоносный взглядъ, и она робѣетъ.

— Вы вѣчно какую-нибудь глупость хотите сказать, maman!—замѣчаетъ Аксинья Ивановна.

— Что-жъ за глупость! Извѣстно, папенька изъ сидѣльцевъ вышли, Аксинья Ивановна!—вступается Боченковъ и, обращаясь къ госпожѣ Хрептюгиной, прибавляетъ:—Это вы правильно, Анна Тимоѳеевна, сказали: Ивану Онуфричу денно и нощно Бога молить слѣдуетъ за то, что Онъ его, Царь Небесный, въ большіе люди произвелъ. Кабы не Богъ, такъ гдѣ бы вамъ родословной-то теперь своей искать? Въ червивомъ царствѣ, въ мушиномъ государствѣ! А теперь вотъ Иванъ Онуфричъ, поди-кось, отъ римскихъ цезарей, чай, себя по женской линіи производитъ!

Хрептюгинъ отъ души ненавидитъ Боченкова, но боится его, и потому только сквозь зубы цѣдитъ:

— Хоть бы при мужикѣ-то не говорилъ!

— А карету важную изладили, Иванъ Онуфричъ! — начинаетъ опять Демьянычъ, съ природною своею смѣтливостью догадавшійся, что положеніе Хрептюгина неловко.

— Карета не дурна — такъ себѣ, — отвѣчаетъ Хрентюгинъ.—Что-жъ, не въ телѣгахъ же ѣздить!

— Ай, какіе ужасы!—пищитъ Аксинья Ивановна.

— Какъ же можно въ телѣгахъ, — разсуждаетъ Демьянычъ: — вамъ, поди, и въ каретѣ-то тяжко... Намеднись Семенъ Николаичъ проѣзжалъ, тоже у меня стоялъ, такъ говоритъ: «Я, говоритъ, Архипушка, дворецъ на колеса поставлю, да такъ и буду проклажаться!»

— Ну, ужъ ты тамъ какъ хочешь, Иванъ Онуфричъ,— прерываетъ Боченковъ, почесывая поясницу:—а я до слѣдующей станціи на твое мѣсто въ карету сяду, а ты ступай въ кибитку. Потому что ты какъ тамъ ни ломайся, а у меня все-таки кости дворянскія, а у тебя холопскія.

Отъ этой рѣчи у Ивана Онуфрича спина холодѣетъ, и онъ спотыкается на ровномъ мѣстѣ.

— Въ Москвѣ, что ли, карету-то дѣлать изволили?—выручаетъ опять Демьянычъ.

— Своими мастеровыми! —отрывисто отвѣчаетъ Хрептюгинъ.

— Слышалъ, батюшка, слышалъ; сказываютъ, такой чугунный заводище поставили, что только на удивленіе!

— Я люблю, чтобъ у меня все было въ порядкѣ... заводъ такъ чтобъ заводъ, карета такъ карета... Въ Москвѣ дѣлаютъ и хорошо, да все какъ-то не по мнѣ!

— Ишь вѣдь какъ изладили! да что, по ресункамъ, что ли, батюшка! Не мало тоже, чай, хлопотъ было? Вотъ намеднись Семенъ Николаичъ говоритъ: «Ресункомъ, говоритъ, Архипушка, вещь мудреная: надо ее сообразить! Линія-то на бумагѣ все прямо выходитъ: что глубина, что долина! такъ надо, говоритъ, все сообразить, которую то-есть линію въ глубь пустить, которую въ долину, которую въ ширь»... Разговорился со мной—такой добрѣющій господинъ!

— Зато хорошо и выходитъ!

— Что говорить, сударь, извѣстно, худо не хорошо, а хорошо не худо; такъ лучше ужъ, чтобъ все хорошо было!.. Что-жъ, батюшка, самоварчикъ, что ли, наставить прикажете?

— Да тамъ у меня свой... серебряный самоваръ есть... Петръ Парамонычъ знаетъ.

— Ахъ, какъ жалко, что нашъ большой серебряный самоваръ дома остался!—замѣчаетъ Анна Тимоѳеевна.

— Почему же жалко-съ?—спрашиваетъ Боченковъ.

— Да ужъ я не знаю, Прохоръ Семенычъ, какъ вамъ

сказать, а все-таки какъ-то лучше, какъ большой самоваръ есть.

— А оттого это жалко,—обращается Боченковъ къ Архипу:—чтобы ты зналъ, борода, что у насъ, кромѣ малаго серебрянаго, еще большой серебряный самоваръ дома есть... Понялъ? Ну, теперь ступай, да торопи скорѣе малый серебряный самоваръ!

— Не мѣшало бы теперича и закусить,—говоритъ Халатовъ по уходѣ хозяина.

— Тебѣ бы только жрать,—отвѣчаетъ Боченковъ:—дай прежде горло промочить! Мочи нѣтъ какъ испить хочется! Съ этимъ серебрянымъ самоваромъ только грѣхъ одинъ!

— Нельзя же намъ изъ простыхъ пить! — возражаетъ Анна Тимоѳевна:—мы не какіе-нибудь!

Однако, самоваръ готовъ и ставится на столъ; вынимаются шкатулочки, развязываются кулечки, и на столѣ появляются разныя печенья. Démétrius смотритъ на нихъ исподлобья и норовитъ что-нибудь стащить.

— Насилу и воды-то допросился,—докладываетъ Петръ Парамонычъ: — эти каверзныя богомолки такъ и набросились, даже изъ рукъ рвуть!

— Ты бы, любезный, сказалъ имъ, что эта вода для насъ нужна...

— Да что съ ними говорить! Онѣ одно ладятъ, что мы, дескать, пѣшкомъ шли...

Въ это время опять входитъ хозяинъ.

— Какъ же это, любезный,—обращается къ нему Хрептюгинъ:—у тебя безпорядки такіе! Воду изъ рукъ мужички рвутъ!

— Ужъ извините, сударь, работница дура оплошала.

— То-то же! Это не хорошо! Вездѣ нуженъ порядокъ!

— Иванъ Онуфричъ, чай готовъ!

Хрептюгинъ принимаетъ изъ руки своей супруги чашку изумительнѣйшаго ауэрбаховскаго фарфора и прихлебываетъ, какъ благородный человѣкъ, прямо изъ чашки, не прибѣгая къ блюдечку. Но Анна Тимоѳевна, несмотря на всѣ настоянія Ивана Онуфрича, не умѣетъ еще обойтись безъ блюдечка, потому что чай обжигаетъ ей губы. Сверхъ того, она пьетъ въ-прикуску. Халатовъ и Боченковъ закуриваютъ сигары; Хрептюгинъ, съ своей стороны, также вынимаетъ сигару, завернутую въ лубокъ — столь она драгоцѣнна! — съ надписью: *buyadère*, и, испросивъ у дамъ позволенія (какъ это завсегда дѣлается въ благородныхъ опче-

ствахъ), начинаетъ пускать самыя миніатюрныя кольца дыма.

— Вѣдь вотъ, кажется, пустой напитокъ чай, — замѣчаетъ благодушно Иванъ Онуфричъ: — а не дай его намъ китаецъ, такъ суматоха порядочная можетъ изъ этого выйти.

— А какая суматоха?—возражаетъ Боченковъ.—Не дастъ китаецъ чаю, будемъ и липовый цвѣтъ пить! Благородному человѣку все равно, было бы только тепло! Это вамъ, брюханамъ, будетъ худо, потому что гнилье ваше некому будетъ сбывать!

— Фи, Прохоръ Семенычъ, — говоритъ Аксинья Ивановна:—какія вы выраженія все употребляете!

— А правда ли, батюшка Иванъ Онуфричъ, въ книжкахъ пишутъ, будто чай—зеліе, змѣинымъ жиромъ кропленое?—спрашиваетъ хозяинъ.

Хрептюгинъ благосклонно улыбается.

— Въ какихъ же это, Архипъ, книжкахъ написано?

— А вотъ, сударь, письменныя таки книжки есть... «Слово отъ старчества объ антихристовомъ пришествіи» называется... Такъ тамъ, сударь, именно сказано: «отъ китянъ сіе»...

— Пустяки, Архипъ, это все по неразумію! Разсуди ты самъ: змѣя—гадина ядовитая, такъ можетъ ли быть, чтобъ мы о-сю пору живы остались, жиръ ея каждый день пимши!

— «Пимши!» Фуй, папа, какъ вы говорите несносно!

— Такъ-то такъ, сударь, а все какъ будто сумнительно маленько!.. А правда ли еще, сударь, въ народѣ баютъ, некрутчина должна быть въ скорости объявлена?

— По палатѣ не слыхать,—отвѣчаетъ Боченковъ.

— Пустяки все это, любезный другъ! Извѣстно, въ народѣ отъ нечего дѣлать толкуютъ! Ты пойми, Архипъ-простота, какъ же въ народѣ этакому дѣлу извѣстнымъ быть! Такія, братецъ, распоряженія отъ правительства выходятъ; а черный народъ все равно что мелево: что въ него ни кинутъ, все оно и мелетъ!

— Такъ-съ... Это справедливо, сударь, что народъ глупъ... потому-то онъ, какъ бы сказать, темнымъ и прозывается...

— Ну, а если глупъ, такъ, стало-быть, нужно у вашего брата за такіе слухи почаще подъ рубашкой смотрѣть.

— Ахъ, папа, васъ уважать совсѣмъ нельзя!

Въ это время Митька стащилъ со стола такой большой кусокъ хлѣба, что всѣ замѣтили. Онъ силится запрятать его въ карманъ, но кусокъ не лѣзетъ.

— Ишь сѣмя анаѳемское!—говоритъ Боченковъ:—малъ-малъ, а только объ томъ и въ мысляхъ держитъ, какъ бы своровать что-нибудь.

— Ну, куда, куда тебѣ столько хлѣба, Démétrius? — спрашиваетъ Иванъ Онуфричъ.

Онъ силится отнять хлѣбъ, но руки Митьки закоченѣли и самъ онъ весь обозлился и позеленѣлъ. Анна Тимоѳеевна внезапно принимаетъ сторону ненагляднаго дѣтища.

— Чтой-то ужъ вамъ, видно, хлѣба для родного сына стало жалко!—говоритъ она съ сердцемъ.

— Не жалко, сударыня, хлѣба; а дождешься ты того, что онъ у тебя объѣстся!

— Я ѣсть хочу! я ѣсть хочу!—визжитъ Démétrius.

— А и въ самомъ дѣлѣ закусить бы не худо Иванъ Онуфричъ!—замѣчаетъ Халатовъ.

— Ну, что-жъ съ вами будешь дѣлать! Вели, братъ Архипъ, тамъ повару что-нибудь легонькое приготовить... цыпляточекъ, что ли...

— Ахъ вы со своими цыплятками! — возражаетъ Боченковъ. — А ты вели-ка, Архипушка, первоначально колбасы подать, тамъ въ кулечкѣ уложена... Станешь, что ли, колбасу, Иванъ Онуфричъ, ѣсть?

— Нѣтъ, я колбасы ѣсть не могу!

— Что-жъ такъ?

— Да такъ... желудокъ у меня что-то тово... Такъ я, братецъ ты мой, его въ послѣднее время усовершенствовалъ, что кромѣ чего-нибудь легонькаго... трухеля, напримѣръ...

— Ну, а помнишь ли времечко, какъ травы сельныя пожевывалъ, камешки переваривалъ?..

Боченковъ произноситъ каждое слово съ разстановкой и смотритъ Хрептюгину въ глаза, наслаждаясь его смущеніемъ.

— Ну, по крайности, хошь водочки хватимъ! — продолжаетъ онъ.

— Не могу, Прохоръ Семенычъ, и водки не могу... развѣ ужъ пеперментовой.

— Экъ ты на себя вельможества-то напустилъ!

Подаютъ закуску. Боченковъ прежде всего принимается за шпанскую водку и заѣдаетъ ее огромнымъ кускомъ языковой колбасы; потомъ по очереди приступаетъ и къ другимъ яствамъ, не минуя ни одного. Халатовъ и Анна Тимоѳеевна подражаютъ ему и ѣдятъ исправно. Митька десять разъ уже подавился и, наконецъ, въ одиннадцатый разъ давится

до такой степени, что глаза у него почти выскочили, и Аксинья Ивановна вынуждена бить его въ загорбокъ. Но Иванъ Онуфричъ ѣстъ полегоньку, только отвѣдываетъ, но и то самыхъ нѣжныхъ кушаньевъ: крылышко цыпленка, страсбургскаго пирога, оленьяго языка, копченой стерляди и т. п. Все это стоитъ дорого и, слѣдовательно, должно быть легко и равносильно крылышку цыпленка.

— Подать шампанскаго! — равнодушно говоритъ онъ, обглодавши цыпленка.—Да холодняго!

— Ахъ, папа, вы все-таки говорите «холодняго»!.. Точно вамъ не все равно сказать: «холоднаго»!

Парамонъ и Демьянычъ суетятся, приносятъ шампанское «розовое» и разливаютъ его по бокаламъ.

— Вотъ этотъ напитокъ я люблю, — говоритъ Хрептюгинъ, медленно смакуя вино: — потому что это напитокъ легкій...

— Ишь ты, и шампанское-то у него не какъ у людей,— замѣчаетъ Боченковъ:—розовое!

— Розовое, братецъ, нынче въ большомъ ходу! Въ Петербургѣ на всѣхъ хорошихъ столахъ другого не подаютъ!.. Я, братецъ, шампанское вино потому предпочитаю, что оно вино нѣжное, для желудка необременительное!

— Такъ, дружище, такъ... Ну, однако, мы теперича на твой счетъ и сыты, и пьяны... выходитъ, треба есть намъ соснуть. Я пойду, лягу въ каретѣ, а вы, мадамы, какъ будетъ все готово, можете легонько придти и сѣсть... Только, чуръ, не будить меня, потому что я спросоньевъ лютъ бываю! А ты, Иванъ Онуфричъ, ужъ такъ и быть, въ кибиткѣ тѣло свое бѣлое маленько попротряси!

Боченковъ удаляется.

— Прегрубіянъ этотъ Прошка!—замѣчаетъ Иванъ Онуфричъ немедленно по удаленіи Боченкова.

— Вольно же вамъ со всякимъ мове-жанромъ связываться!—вступается Аксинья Ивановна.

— Что-жъ станете дѣлать, Аксинья Ивановна, — говоритъ Халатовъ: — если Иванъ Онуфричъ Прохору Семеновичу уваженія не сдѣлаютъ...

— Ахъ ты, Господи!.. есть же на свѣтѣ счастливцы! Вотъ, напримѣръ, графы и князья: они никакихъ этихъ Прошекъ не знаютъ.

Аксинья Ивановна тяжело вздыхаетъ и, сѣвъ у окна, устремляетъ свои взоры въ синюю даль, въ которой рисуется ей молодой князь Чебылкинъ въ видѣ—

Жука чернаго съ усами
И съ курчавой головой...

— Пора, однакожъ, и на боковую!—возглашаетъ Хрептюгинъ.—Ты разбуди меня, Парамонычъ, часа черезъ два, да, смотри, буди полегоньку... Да скажи ямщикамъ, чтобъ они всѣ эти бубенчики сняли... благородные люди такъ не ѣздятъ!

Между тѣмъ внизу, въ черной избѣ, происходитъ иного рода сцена. Тамъ обѣдаютъ ямщики, и идетъ у нихъ разговоръ дружный, неперемежающійся.

— Слышалъ, Еремѣй, сказываютъ, что въ здѣшнемъ мѣстѣ чугунка пойдетъ?

— Что врать-то! еще нажличешь, пожалуй!

— А чего врать, ты слушай, голова! Намеднись, ѣхалъ я ночью въ троечныхъ съ бариномъ, только и вздремнулъ я маленько, а лошади-то и пошли шагомъ. Почуялъ, что ли, онъ во снѣ, что кони не бѣгутъ, какъ вскочитъ, да на меня! «Ахъ ты сякой» да «ахъ ты этакой»! Только бить не бьетъ, а такъ, знаешь, руками помахиваетъ! Ну, а я на него смотрю, что онъ ровно какъ обезпамятѣлъ.—«Ты, что-жъ, молъ, говорю, дерешься, хозяинъ? Драться, говорю, не велѣно!» Ну, онъ и попріутихъ, легъ опять въ карандасъ да и говоритъ: «Вотъ, говоритъ, ужо вамъ будетъ, разбойники этакіе, какъ чугунку здѣсь поведутъ!»

— Чай, пострашать только?

— Чего пострашать! Самъ, говоритъ, я въ эвтимъ мѣстѣ служу, и доподлинно знаю, что чугункѣ здѣсь быть положено.

— А и то, ребята, сами мы виноваты?—вступается третій голосъ. — Кабы по-христіански дѣйствовали, такъ, можетъ, и помиловалъ бы Богъ... а то только и заботушки у насъ, какъ бы проѣзжаго-то ограбить!

— Ахъ ты, голова-голова нечесаная! Такъ вѣдь откуль же ни-набудь надо лошадямъ корму-то добывать! да и хозяйка тоже платочка, чай, проситъ!

— Да все же надо бы по сообразности...

— Намеднись вотъ проѣзжалъ у насъ баринъ: тихій такой... ѣхалъ-то онъ на почтовыхъ, да коней-то не случилось, а сидѣть ему неохота. Туда-сюда — вольныхъ... Только и заломилъ я съ него за станцію-то пять серебра; такъ онъ ажно глаза вытаращилъ, однако, подумавши, четыре серебра безъ гривенника за двадцать верстъ далъ... Ну, пріі-

ѣхали мы на другую станцію, анъ и тамъ кони въ разгонѣ... Пытали мы въ ту пору промежъ себя смѣяться!

Въ это время входятъ ямщики, везшіе Хрептюгина со свитою.

— Кого приволокли?—спрашиваетъ первый голосъ.

— Кого привезли? Чорта привезли! — отвѣчаетъ одинъ изъ ямщиковъ, раздѣваясь и съ сердцемъ кидая на полати армякъ и кнутъ.

— Развѣ на чай не дали?

— Дали... двугривенный на всѣхъ!

Общій хохотъ.

— Ой, Ванюха, купи у меня: лошадь продаю! Только ужъ добавь что-нибудь къ двугривенному-то, сдѣлай милость!

Новый хохотъ.

— Ишь ты, голова, какъ человѣкъ-отъ дурашливъ бываетъ! Вонъ онъ въ купцы этта вылѣзъ, денегъ большое мѣсто нагребъ, такъ и на чай-то ужъ настоящаго дать не хочетъ!.. Да ты что-жъ бралъ-то?

— А и то хотѣлъ толстобрюхому въ рыло кинуть!

— Что-жъ не кинулъ?

— Заѣла меня Агашка! Все говоритъ: платокъ купи, а на что̀ купишь?

— Да кому впередъ-отъ ихъ везти? Петрухѣ, что ли?

— Мнѣ и есть,—отзывается Петруха.

— Смотри же ты, шажкомъ поѣзжай, баловства имъ дѣлать не надо! А коли фордыбачить станутъ, такъ остановись середь поля, отложи лошадей да и шабашъ!

Черезъ два часа доѣдали еще извозчики гороховый кисель, а Парамонычъ уже суетился и наконецъ какъ угорѣлый вбѣжалъ въ избу.

— Кому закладывать? чья очередь? — спрашивалъ онъ впопыхахъ.—Господа ѣхать желаютъ.

— Поспѣешь!—было ему отвѣтомъ.

— Ахъ вы черти этакіе! вотъ вамъ ужо̀ баринъ дастъ!

Но никто не трогается съ мѣста, и извозчики продолжаютъ разговаривать о постороннихъ предметахъ. Иванъ Онуфричъ находитъ себя вынужденнымъ лично вступиться въ это дѣло.

— Кому закладывать?—спрашиваетъ онъ, выпрямляясь во весь ростъ.

— Поспѣешь еще, господинъ двугривенный!—отвѣчаетъ голосъ изъ толпы.

— Какъ ты смѣешь? — кричитъ Хрептюгинъ, бросаясь впередъ съ протянутыми длaнями.

— Не шали, руками не озорничай, купецъ! — говоритъ одинъ ямщикъ.

— Что-жъ, развѣ и пообѣдать нельзя?—продолжаетъ другой.—Вольно же тебѣ было три часа дрыхнуть здѣсь!

— Закладàть, что ли, дядя Андрей?—спрашиваетъ Петруха.

— Погоди, поспѣетъ.

Иванъ Онуфричъ весь синь отъ злости; губы его дрожатъ, но онъ сознаетъ, что есть-таки въ мірѣ сила, которую даже его безспорное и неотразимое величіе сломить не можетъ! Все онъ себѣ покорилъ, даже желудокъ усовершенствовалъ, а придорожнаго мужика покорить не могъ!

— Да закладывайте же, голубчики?—говоритъ онъ умоляющимъ голосомъ.

— То-то «голубчики»! Этакъ-то лучше будетъ! Инъ закладàй поди, Петруха: баринъ хорошій—по цѣлковому на чай даетъ!

— Батюшка! не будетъ ли вашей милости грошикъ пожаловать! Три дня, кормилецъ, не ѣдала!—жалобно вопіетъ старуха, старая, сгорбленная и сморщенная.

— Пошла, пошла прочь!—кричитъ Хрептюгинъ, чувствуя вдругъ новый приливъ гнѣва въ груди. — Ишь дармоѣдки какія со всѣхъ концовъ земли собрались!

Госпожа Музовкина.

Перенесемся опять на постоялый дворъ. На этотъ разъ постоялый дворъ стоитъ не на почтовомъ трактѣ и не среди большого и богатаго села, а на боковой, малопроѣзжей дорогѣ, въ небольшой и весьма некрасиво выстроенной деревнѣ. Постоялый дворъ, о которомъ идетъ рѣчь, одноэтажный; въ распоряженіе проѣзжающихъ отдаются въ немъ всего двѣ комнаты, да и тѣ частенько остаются праздными. Въ сущности, это не столько постоялый дворъ, сколько просторная крестьянская изба, выстроенная зажиточнымъ хозяиномъ для своей семьи и готовая къ услугамъ только немногихъ, да и то лично знакомыхъ ему пріѣзжихъ господъ и купцовъ. Поэтому самая отдѣлка горницъ совершенно отличная отъ отдѣлки ихъ въ настоящихъ постоялыхъ дворахъ, въ которыхъ встрѣчаются уже дешевые обои по стѣнамъ, створчатыя окна, ломберные столы и стулья подъ

красное дерево, покрытые волосяною матеріей или кожей. Тутъ, напротивъ того, стѣны мшоныя, оконницы отворяются не иначе, какъ вверхъ и съ подставочкой; вмѣсто мебели, въ стѣны вдѣланы лавки, которыя лоснятся отъ давнишняго употребленія; столъ всего одинъ, но и тотъ простой, съ выдвижнымъ ящикомъ, въ которомъ всегда валяются корки хлѣба. Зато въ переднемъ углу поставленъ кивотъ съ образами, чего въ щегольскихъ и украшенныхъ обоями постоялыхъ дворахъ уже не бываетъ.

Но и постоялый дворъ, и самая дорога, на которой онъ стоитъ, какъ-то особенно любезны моему сердцу, несмотря на то, что, въ сущности, дорога эта не представляетъ никакихъ привлекательныхъ качествъ, за которыя слѣдовало бы ее любить... По всему протяженію ея идетъ жестокій и по мѣстамъ, въ полномъ смыслѣ слова, изуродованный мостовникъ, на которомъ и патентованныя желѣзныя оси ломаются безъ малѣйшихъ усилій. Въ тѣхъ немногихъ мѣстахъ, гдѣ тиранство мостовника исчезаетъ, колеса экипажа глубоко врѣзываются или въ сыпучіе пески, или въ глубокую, клейкую грязь. Однимъ словомъ, это именно такая дорога, отъ которой, при частой ѣздѣ, можно поглупѣть вслѣдствіе сильныхъ толчковъ въ темя и въ затылокъ. И за всю эту пытку путникъ ни откуда не получаетъ никакого вознагражденія; ничто не привлекаетъ его взора, ничто не ласкаетъ его уха, а обоняніе поражается даже весьма непріятно. По сторонамъ тянется тотъ мелкій лѣсочекъ, состоящій изъ тонкоствольныхъ, ободранныхъ и оплѣшивѣвшихъ елокъ, который въ простонародьи слыветъ подъ именемъ «паршиваго»; надъ лѣскомъ виситъ вѣчно сѣренькое и вѣчно тоскливое небо; жидкая и блѣдная зелень дорожныхъ окраинъ какъ будто совсѣмъ не растетъ, а смѣняющая ее по временамъ высокая и густая осока тоже не ласкаетъ, а какъ-то непріятно рѣжетъ взоръ проѣзжаго. По лѣсу летаетъ и поетъ больше птица-ворона, издавна живущая въ разладѣ съ законами гармоніи, а надъ экипажемъ толпятся цѣлыя кучи комаровъ, которые до такой степени нестерпимо жужжатъ въ уши, что, кажется, будто и имъ до смерти надоѣло жить въ этой болотинѣ. И если надъ всѣмъ этимъ представить себѣ неблагоуханные туманы, которые, особливо по вечерамъ, поднимаются отъ окрестныхъ болотъ, то картина будетъ полная и, какъ видится, непривлекательная.

А тѣмъ не менѣе, я люблю ее. Я люблю эту бѣдную природу, можетъ-быть, потому, что, какова она ни есть, она

все-таки принадлежитъ мнѣ; она сроднилась со мной точно такъ же, какъ я сжился съ нею; она лелѣяла мою молодость: она была свидѣтельницей первыхъ тревогъ моего сердца, и съ тѣхъ поръ ей принадлежитъ лучшая часть меня самого. Перенесите меня въ Швейцарію, въ Индію, въ Бразилію, окружите какою хотите роскошною природой, накиньте на эту природу какое угодно прозрачное и синее небо — я все-таки вездѣ найду милые мнѣ сѣренькіе тоны моей родины, потому что я всюду и всегда ношу ихъ въ моемъ сердцѣ, потому что душа моя хранитъ ихъ, какъ лучшее свое достояніе.

Хозяинъ постоялаго двора, Акимъ Прохоровъ, знакомъ мнѣ съ дѣтства. Хотя ему, какъ онъ самъ выражается, съ небольшимъ сто годковъ, однако онъ сохраняетъ еще всю свою память и бродитъ довольно бойко, хоть и упирается при этомъ руками въ колѣнки. Теперь у него шесть сыновъ, изъ которыхъ младшему не менѣе пятидесяти лѣтъ, и у каждаго изъ этихъ сыновъ тоже свое многочисленное потомство. Если-бъ бо́льшая часть этого потомства не была въ постоянной отлучкѣ изъ дому по случаю разныхъ промысловъ и торговыхъ дѣлъ, то, конечно, для помѣщенія его слѣдовало бы выстроить еще по крайней мѣрѣ три такія избы; но съ Прохорычемъ живетъ только старшій сынъ его, Ванюша, малый лѣтъ осьмидесяти, да бабы, да малые ребята, и весь этотъ людъ онъ содержитъ въ ежовыхъ рукавицахъ.

— А Акимъ живъ?—спросилъ я, вылѣзая изъ тарантаса, въѣхавшаго въ знакомый мнѣ дворъ.

— Слава Богу, батюшка! милости просимъ! — отвѣчалъ мнѣ осьмидесятилѣтній Ванюша, подхватывая меня подъ руки. — Давненько, сударь, ужъ не бывали у насъ! Какъ папынька? мамынька? Слава ли Богу здравствуютъ?

— Слава Богу, Иванъ.

— Слава Богу лучше всего, сударь!

На верху крыльца встрѣтилъ меня самъ старикъ.

— Да никакъ это Щедринскій барчонокъ?—сказалъ онъ, глядя на меня изъ-подъ руки.

Надобно сказать, что Акимъ звалъ меня такимъ образомъ еще въ то время, когда, бывало, я останавливался у него, ребенкомъ, проѣзжая домой на каникулы и съ каникулъ въ гимназію.

— Да какъ же ты, сударь, остепенѣлъ! Видно, ужъ вышелъ изъ ученья-то?

— Вышелъ, Акимъ.

— Такъ, сударь; стало-быть, на лѣто-то въ деревню погостить собрался?

— Да, мѣсяца съ три пробуду здѣсь.

— Это ты, сударь, хорошо дѣлаешь, что папыньку съ мамынькой не забываешь... да и хорошо вѣдь въ деревнѣ-то! Вотъ мои ребятки тоже стороною-то походятъ-походятъ, а все въ деревню же придутъ! Въ городѣ, батъ, хорошо, а въ деревнѣ лучше. Такъ-то, сударь!

— Что, у тебя комнаты-то порожнія?

— Порòзы, сударь, порòзы! Нонче ѣзда малая; все, слышь, больше по Волгѣ на праходахъ ѣздятъ! Хотъ бы глазкомъ посмотрѣлъ, что̀ за праходы такіе... Еще зимой нешто̀, бываютъ-таки проѣзжающіе, а лѣтомъ совсѣмъ нѣтъ никого!

— Здоровъ ли ты, по крайней мѣрѣ?

— Больше все лежу, сударь! Моченьки-то, знаешь, нѣту, такъ больше на печкѣ живу... И вотъ еще, сударь, како со мной чудо! И. не бывало никогда, чтобы то-есть знобило меня: а нонче хошь въ какой жаръ — все знобитъ, все знобитъ!

— Ты, дѣдушко, и теперь бы на печку шелъ!—сказала молодуха, пришедшая за нами прибрать кое-что въ горницѣ, въ которую мы вошли.

— Не замай! вотъ маленько съ барчонкомъ побесѣдуемъ... Старинные мы съ тобой, сударь, знакомые!

— Внучка, что ли, это твоя?

— Мнукова, сударь, жена... Петруха-то моего, чай, знаешь? Такъ вотъ его-то сына — мнука кнѣ-то — жена... У меня, сударь, шесть сыновъ, и у каждаго сына старшій сынъ Акимомъ прозывается,—и не сообразишь ихъ!

— А гдѣ же теперь твои сыновья? — спросилъ я, зная напередъ, что старикъ ни о чемъ такъ охотно не говоритъ, какъ о своихъ семейныхъ дѣлахъ.

— Старшой-отъ сынъ, Ванюша, при мнѣ... Второй сынъ, Кузьма Акимычъ, графскими людьми въ Москвѣ заправляетъ; третій сынъ, Прохоръ, сапожную мастерскую въ Москвѣ у Арбатскихъ воротъ держитъ; четвертый сынъ, Петруша, у Троицы въ ямщикахъ — тоже хозяйствуетъ; пятой сынъ, Семенъ, у Прохора-то въ мастерахъ живетъ; а шестой, сударь, Михеюшко, лабазъ въ Москвѣ же держитъ... Вотъ сколько сыновей у меня! А мнуковъ да прамнуковъ такъ и не сосчитать... одной, сударь, своею душой безъ

двухъ тридцать тяголъ его графскому сіятельству справляю, вѣ какъ!

— Что-жъ, сыновья-то отъ себя, что ли, торгуютъ?

— Покуда я живу, такъ все будто я торгую... только стали они нонѣ отбиваться отъ меня: и глазъ ко мнѣ не кажутъ, да и денегъ не шлютъ... старшенькому-то, Ванюшкѣ-то, и обидненько!

— Старъ ты ужъ, видно, сталъ Акимъ!

— Вѣстимо, не прежніе годы! Я, сударь, вотъ все съ хорошимъ человѣкомъ посовѣтоваться хочу. Второй-отъ у меня сынъ, Кузьма Акимычъ, у графа замѣсто какъ управляющаго въ Москвѣ, и графъ-то его, слышь, больно ужъ жалуетъ. Такъ я, сударь, вотъ и боюсь, чтобъ онъ Ванюшку-то моего не обидѣлъ!

— А ты бы ихъ при жизни въ раздѣлъ пустилъ.

— Такъ я, сударь, и пожелалъ; только что-жъ Кузьма-то Акимычъ, узнавши объ этомъ, удумалъ? Пріѣхалъ онъ нонѣ по зимѣ ко мнѣ: «Ты, говоритъ, дѣлить насъ захотѣлъ, такъ я, говоритъ, тебѣ этого не позволяю, потому какъ я у графа первый человѣкъ! А какъ ты, молъ, не дай Богъ, кончишься, такъ на твоемъ мѣстѣ хозяйствовать мнѣ, а не Ивану, потому какъ онъ малоумный!» Такъ вотъ, сударь, каки нонѣ порядки!

— Да развѣ Иванъ-то малоумный?

— Какой онъ малоумный! Вѣстимо, попроще противъ другихъ будетъ, потому что изъ деревни не выѣзжаетъ, а то какой же онъ малоумный! Какъ есть хрестьянинъ!

— Такъ что же ты хочешь сдѣлать?

— А вотъ, сударь, думалъ я было сначала къ нашему графу писемцо написать... да и боязно, словно: боюсь, какъ бы не обидѣлся на меня его сіятельство!

— Что-жъ тутъ обиднаго?

— Какъ!—скажетъ:—ты, мой рабъ, хочешь меня, твоего господина, учить? Коли я,—скажетъ,—надъ тобой сына твоего начальникомъ сдѣлалъ, значитъ, онъ мнѣ тамъ надобенъ... Нѣтъ тебѣ,—скажетъ,—раздѣла!

Слѣдуетъ замѣтить, что когда дѣло доходило до передачи рѣчей Кузьмы Акимыча, Акима Кузьмича и графа, Акимъ вставалъ съ лавки и, вставши въ позицію, декламировалъ эти рѣчи, принимая возможный, при его дряхлости, величественный и повелительный видъ.

— Развѣ у васъ графъ-то сердитый?

— А кто-жъ его, сударь, знаетъ, какой онъ! Только

вотъ Кузьма-то Акимычъ говоритъ, будто ужъ очень онъ грозенъ.

— Да Кузьма-то, можетъ-быть, только застращать тебя хочетъ?

— Думалъ я, сударь, и такъ; да опять, какъ и напишешь-то къ графу? По-мужицки-то ему напишешь, такъ онъ и читать не станетъ... вотъ что! Такъ ужъ я, сударь, подумавши, такъ разсудилъ, чтобъ быть этому дѣлу какъ Богъ укажетъ!

— Ну, а если Кузьма-то въ самомъ дѣлѣ Ивана обидитъ?

— Обидитъ, сударь, это ужъ я вижу, что безпремѣнно обидитъ! Жалко, ужъ и какъ жалко мнѣ Иванушка! Пыталъ я тоже Кузьму-то Акимыча вразумлять: «Опомнись, молъ, говорю, ты ли меня родилъ, или я тебя родилъ? Такъ за что-жъ ты меня на старости-то лѣтъ изобидѣть хочешь?»

— Что-жъ онъ?

— Ну, онъ по началу было и вразумился, словно и посмирнѣлъ, а потомъ сходилъ этта по хозяйству, все обсмотрилъ: «Нѣтъ, говоритъ, воля твоя, батюшка, святая, а только ужъ больно у тебя хозяйство хорошо! Хочу, говоритъ, надо всѣмъ самъ головой быть, а Ванюшку не пущу!»

Акимъ уперся руками въ колѣнки и закручинился.

— И въ кого это онъ у меня, сударь, такой лютый уродился! Сына вотъ — мнука мнѣ-то — нонѣ въ мясоѣдъ женилъ, тоже у купца дочку взялъ, да на волю его у графа-то и выпросилъ... Ну, куда ужъ, сударь, намъ, сѣрымъ людямъ, съ купцами связываться!.. Вотъ онъ теперь, Акимъ-то Кузьмичъ, мнѣ, своему дѣдушкѣ, поклониться и не хочетъ... даже молодуху-то свою показать не привезъ!

— Однако, Кузьма-то у тебя, видно, неладный вышелъ...

— Что станешь съ нимъ, сударь, дѣлать! Жилъ-жилъ, все радовался, а теперь вотъ ко гробу мнѣ-ка ужъ время — смотри, какая у насъ оказія вышла! И чего еще я, сударь, боюсь: Акимъ-то Кузьмичъ человѣкъ нонѣ вольной, такъ Кузьма-то Акимычъ, пожалуй, въ купцы его выпишетъ, да и деньги-то мои всѣ къ нему перетащитъ... А ну, какъ онъ въ ту пору, получивши деньги-то, отцу вдругъ скажетъ: «я, скажетъ, папынька, много вами доволенъ, а денежки, дескать, не ваши, а мои... прощайте, молъ, папынька!» Поклонится ему, да и вонъ пошелъ!

— Васъ, сударь, барынька тутъ одна спрашиваетъ, — доложилъ мнѣ вошедшій въ это время Иванъ.

— Какая барынька?

— Кто ее, сударь, вѣдаетъ! Побиральщица, должно-быть! Она у насъ ужъ тутъ трои сутокъ живетъ, ни за хлѣбъ, ни за тепло не платитъ... на богомолье, баетъ, собиралась... Позвать, что ли, прикажете?

— Не пущай, сударь... чай, гривенничка выпросить хочетъ!—предостерегъ меня Акимъ.

Но барынька, вѣроятно, предчувствовала, что найдетъ мало сочувствія въ Акимѣ, и потому, почти вслѣдъ за Иваномъ, сама вошла въ горницу. Это была маленькая и худощавая старушка, державшаяся очень прямо, съ мелкими чертами лица, съ узенькими и разбѣгающимися глазками, съ остренькимъ носомъ, таковымъ же подбородкомъ и тонкими блѣдными губами. Одѣта она была въ черный коленкоровый капотъ, довольно ветхій, но чистый; на плечахъ у нея былъ черный драдедамовый платокъ, а на головѣ бѣлый чепчикъ, подвязанный у подбородка.

— Я, милостивый государь, здѣшняя дворянка,—сказала она мнѣ мягкимъ голосомъ, но не безъ чувства собственнаго достоинства:—коллежская секретарша Марья Петровна Музовкина, и хотя не настоящая вдова, но по грѣхамъ моимъ и по волѣ Божіей вдовѣю вотъ ужъ двадцать пятый годъ...

— Что же вамъ угодно, сударыня?.. Да садитесь, пожалуйста.

— Мнѣ, милостивый государь, чужого ничего не надобно, — продолжала она, садясь возлѣ меня на лавкѣ:—и хотя я неимущая, но, благодареніе Богу, дворянскаго своего происхожденія забыть не въ силахъ... Я имѣю счастіе быть лично извѣстною вашимъ папенькѣ-маменькѣ... конечно, передъ ними я все равно, что червь пресмыкающій, даже меньше того, но какъ при всемъ томъ я добродѣтель во всякомъ мѣстѣ, по дворянскому моему званію, уважать привыкла, то и родителей вашихъ не почитать не въ силахъ...

— Ахъ, Марья Петровна!—прервалъ ее старикъ Акимъ:—ужъ ты бы лучше прямо, сударыня, у барчонка гривенничка попросила, нечѣмъ околесицу-то эту городить!

— Вотъ, милостивый государь, какимъ я, по неимуществу моему, грубостямъ подвержена! — сказала Музовкина, нисколько не конфузясь.—Конечно, по-христіански, я должна оставить это втуне, но не скрою отъ васъ, что если бы не была я разлучена съ другомъ моимъ Ѳедоромъ Гаврилычемъ, то онъ, безъ сомнѣнія, защитилъ бы меня отъ напрасныхъ обидъ...

— Охъ, сударыня! ты, чай, кіятры-то эти передъ всякимъ проѣзжающимъ представляешь!

— А хоша бы и представляла, Акимъ Прохорычъ, то представляю кіятры я, а не вы... слѣдовательно, какой же вамъ отъ того убытокъ? Хотя я и дворянка званіемъ, Акимъ Прохорычъ, но какъ при всемъ томъ я сирота, то, конечно, обидѣть меня всякому можно...

— Ну, да Богъ съ тобой! говори, я тебѣ не препятствую.

— Что же вамъ угодно?—повторилъ я.

— Я чужого не желаю, милостивый государь, — опять начала она:—я прошу только объ одномъ, чтобы вы милостиво меня выслушали.

— Въ такомъ случаѣ, ужъ распорядись, Акимъ, чтобы тамъ самоваръ скорѣе подали, да закусить что-нибудь... Вѣдь вы не откажетесь закусить со мною, Марья Петровна?

— Я сыта, сударь. Но если вамъ непремѣнно угодно, чтобъ я ѣла, я должна исполнить ваше желаніе...

— Помилуйте, сударыня, какъ вамъ будетъ угодно!

— Я прошу васъ, милостивый государь, только выслушать меня. Родители мои, царство имъ небесное, были происхожденія очень хорошаго и имѣли въ здѣшнемъ мѣстѣ своихъ собственныхъ десять душъ-съ. Папенька мой держали меня очень строго, потому что человѣкъ въ юношествѣ больше всего всякими соблазнами, какъ бы сказать, обуреваемъ бываетъ, и хотя сватались за меня даже генералы, но онъ согласія своего на бракъ мой не далъ, и осталась я послѣ ихъ смерти (маменька моя еще при жизни ихней скончалась) дѣвицею. Имѣла я тогда всего-на-все двадцать пять лѣтъ отъ роду, и, по невинности своей, ничего, можно сказать, не понимала: не трудно послѣ этого вообразить, какимъ искушеніямъ я должна была подвергнуться! А больше еще и по тому особливому случаю искушенія сдѣлались для меня доступными, что въ это время въ нашемъ селѣ имѣлъ квартированіе полкъ, и слѣдовательно какую-жъ я могла имѣть противъ этого защиту? Конечно, я, какъ дочь, не смѣю противъ родителя роптать, однако и теперь могу сказать, что отдай меня въ ту пору папенька за генерала, то не вышло бы ничего, и не осталась бы я навѣкъ несчастною... Папенька въ ту пору говорили, что будто бы генералъ, который за меня сватался, пьютъ очень много, однако развѣ не встрѣчаемъ мы многіе примѣры, что жены за пьяными еще счастливѣе бываютъ, нежели за трезвыми?

Едва она успѣла предложить мнѣ этотъ вопросъ, какъ принесли самоваръ, и я долженъ былъ оторваться отъ нея на минуту, чтобы сдѣлать чай.

— Ужъ если будетъ ваше одолженіе, милостивый государь,—сказала она:—то позвольте чашечку и мнѣ, но безъ сахару, потому что я, по моимъ обстоятельствамъ, вынуждаюсь пить въ-прикуску... Я остановилась, кажется, на томъ, что осталась послѣ папеньки сиротою. Много мнѣ стоило слезъ, чтобъ женскую слабость мою преодолѣть, однако я ее не пересилила и, по молодости моей, не устояла противъ соблазна. Былъ тутъ, въ этомъ полку, одинъ поручикъ; покорыстовался онъ, сударь, на мое родительское достояніе и вовлекъ меня съ собою въ любовь. Изъ себя онъ былъ столько хорошъ, что даже въ картинахъ нынче ужъ такихъ мужчинъ не пишутъ, обращеніе имѣлъ учтивое и одѣвался завсегда очень чисто. Слѣдовательно, могла ли я, при моей неопытности, противъ льстивыхъ его увѣреній устоять? Уговаривалъ онъ меня, за такую ко мнѣ его любовь, заемное письмо ему дать, и хоша могла я изъ этого самаго поступка объ его зломъ намѣреніи заключить, однакожъ не заключила и только въ томъ могла себя воздержать, что безъ браку исполнить его просьбу не согласилась. Ну, это точно, что онъ желанію моему сопротивленія не сдѣлалъ, и брачную церемонію всю исполнилъ какъ слѣдуетъ; я же, по своей глупости, и заемное письмо ему въ семь тысячъ рублей ассигнаціями въ тотъ же вечеръ отдала... Только что-жъ бы думали онъ со мной, сударь, сдѣлалъ? Первое дѣло, что избилъ меня въ то время ужаснѣйшимъ образомъ, за то будто бы, что я не въ своемъ видѣ замужъ за него вышла; да это бы еще ничего, потому что, и при строгости мужниной, часто счастливые браки бываютъ; а второе дѣло, просыпаюсь я на другой день, смотрю, Ѳедора Гаврилыча моего нѣтъ; спрашиваю у служанки: куда дѣвался, молъ, Ѳедоръ Гаврилычъ? Отвѣчаетъ: «Еще давеча ранехонько на охоту ушли». И вотъ, милостивый государь, съ самаго этого времени и до сей минуты Ѳедоръ Гаврилычъ все съ охоты не возвращается!

Она остановилась и устремила взоры свои на меня, какъ бы выжидая, чтобъ я высказался.

— Что-жъ,—сказалъ я:—быть-можетъ, это и къ лучшему для васъ, сударыня, потому что, судя по началу, едва ли вы могли ожидать чего-нибудь хорошаго отъ Ѳедора Гавриловича.

— И я, милостивый государь, по началу точно такъ думала, однако вышло совсѣмъ напротивъ. Вы забыли объ заемномъ-то письмѣ, а Ѳедоръ Гаврилычъ объ немъ не забылъ. На другой день сижу я и, какъ слѣдуетъ молодой женщинѣ, горюю, какъ вдругъ входитъ ко мнѣ ихней роты капитанъ и самое это заемное письмо въ рукѣ держитъ. И что-жъ, сударь, я отъ него узнала? Что Ѳедоръ Гаврилычъ этому самому капитану состоялъ еще прежде того одолженнымъ четыре тысячи рублей, и какъ заплатить ему было нечѣмъ, то и отдалъ въ уплату заемное письмо на меня!.. Ну, конечно, я сразу обидѣть себя не дала, а тоже судомъ съ капитаномъ тягалась, однако ничего противъ него сдѣлать не могла!.. И такимъ, сударь, родомъ, въ одну, можно сказать, ночь лишилась я и Ѳедора Гаврилыча, и всего моего имущества!

— Вы, быть-можетъ, желаете, чтобъ я помогъ вамъ, сударыня!

— Я, милостивый государь, чужого ничего не желаю; я прошу васъ только выслушать меня... Осталась я, послѣ этого происшествія, при одной рабѣ да при трехъ десятинахъ земли, которыя капитанъ мнѣ изъ милости предоставилъ. Конечно, и съ трехъ десятинъ я могла бы еще нѣкоторую поддержку для себя получать, но ихъ, сударь, и по настоящее время отыскать нигдѣ не могутъ, потому что капитанъ только указалъ ихъ на планѣ пальцемъ, да вскорѣ послѣ того и скончался, а настоящаго ничего не сдѣлалъ. Пришлось, сударь, идти послѣ этого въ люди!

Марья Петровна пожелала отдохнуть и опять остановилась, и хотя я убѣжденъ былъ, что разсказъ ея былъ заученный, однако не безъ любопытства слѣдилъ за ея болтовней, которая для меня была дѣломъ совершенно новымъ. Она, впрочемъ, не сидѣла даромъ и въ теченіе отдыха, а какъ-то прискорбно и желчно вздрагивала губами и носомъ, приготовляясь, вѣроятно, къ дальнѣйшему разсказу своихъ похожденій.

— Уговорила меня, сударь, къ себѣ тутошная одна помѣщица къ ней переселиться: «Живите, говоритъ, при мнѣ, душенька Марья Петровна, во всемъ вашемъ спокойствіи; кушать, говоритъ, будете съ моего стола; комната вамъ будетъ особенная; платьевъ въ годъ два ситцевыхъ и одно гарнитуровое, а занятія ваши будутъ самыя благородныя». Я, однакожъ, остереглась и выговорила тутъ ей, что я, молъ, Аѳиса Ивановна, роду не простого, такъ

не было бы у васъ для меня обиды... Только она, сударь, противъ этого и забожилась, и заклялась. И жила я у ней такимъ манеромъ лѣтъ пять, и точно, грѣхъ сказать, кромѣ хорошаго, обиды отъ нея никакой не видала. Чай ли, бывало, кофій ли пьютъ, я свою чашку безотмѣнно получала, а занятія только у меня и было, что послѣ обѣда въ карты Анѳисѣ Ивановнѣ, бывало, погадаешь. Только замѣшалась тутъ дочка Анѳисы Ивановны, и съ нея-то пошло у насъ все дѣло. При поступленіи моемъ въ домъ моей благодѣтельницы, было ихнему дитяти лѣтъ двѣнадцать, а потомъ стали онѣ постепенно подрастать и достигли, наконецъ, совершеннаго возраста. Но, достигши такимъ манеромъ законныхъ лѣтъ, выказали онѣ при этомъ чувства совершенно не господскія, а скорѣе, какъ бы сказать, холопскія. Полюбился имъ, съ своей стороны, нашъ становой, Дмитрій Михайлычъ; въ этомъ, конечно, онѣ имѣли резонъ, потому что Дмитрій Михайлычъ былъ изъ себя мужчина очень видный, но для чего-жъ онѣ меня тутъ припутали? Развѣ я тутъ въ чемъ-нибудь, сударь, виновата, что Дмитрій Михайлычъ не Вѣрѣ Павловнѣ, а мнѣ предпочтеніе оказывалъ? Однако, онѣ этому не вняли, и пошла тутъ мнѣ отъ нихъ во всемъ обида большая. Анѳиса Ивановна тоже не желали такую партію для дитяти своего упустить, и начали меня попрекать всѣмъ-съ: даже куски, которые я въ пять лѣтъ съѣла, и тѣ, кажется, пересчитали! Однако, какъ видѣла я свою правоту, то терпѣла до послѣдняго, и прожила у нихъ до тѣхъ поръ, покуда онѣ сами меня не выгнали... Тогда я, заявивши предъ добрыми людьми о моей невинности, хоша, какъ христіанка, въ душѣ и простила Анѳисѣ Ивановнѣ ея обиду, однако, какъ дворянка, не могла свое званіе позабыть, и стала искаться на ней судомъ въ личной обидѣ-съ...

Марья Петровна, сказавши это, посмотрѣла на меня какъ-то особенно проницательно.

«Ужъ не хочетъ ли она застращать меня или вызвать на какое-нибудь оскорбленіе?»—подумалъ я и потомъ прибавилъ вслухъ:—Что-жъ, выиграли вы ваше дѣло?

— Нѣтъ-съ; выиграть я не могла, потому что не имѣла средствъ вести его; однако Анѳисѣ Ивановнѣ большую черезъ это непріятность сдѣлала, такъ что, послѣ того, не только Дмитрій Михайлычъ, но и никто другой къ Вѣрѣ Павловнѣ касательства имѣть не захотѣлъ, и пребываютъ онѣ и до настоящей минуты въ дѣвичествѣ...

— Ну, а вы-то сами что̀ черезъ это выиграли?

— Выиграла я или не выиграла, это дѣло стороннее-съ, а должна же я была за оскорбленіе моей чести вступиться, потому что друга моего Ѳедора Гаврилыча со мной нѣтъ, и слѣдственно, защитить меня, сироту, некому... Но я прошу васъ сдѣлать мнѣ одолженіе, выслушать меня. Разставшись съ Анѳисой Ивановной, я отправилась къ сосѣдкѣ ея по имѣнію, госпожѣ Говорковой. Госпожа Говоркова была вдова и весьма страдала нервами, а такъ какъ я очень искусна въ обращеніи съ чувствительными дамами, то онѣ приняли меня къ себѣ съ величайшимъ удовольствіемъ. Откровенно сознаюсь вамъ, милостивый государь, много видала я на своемъ вѣку нервныхъ дамъ, и сама даже до сихъ поръ этимъ очень страдаю, однако, столько разстроенной госпожи, сколько была разстроена Дарья Григорьевна, я никогда и не знавала. Бывало, начнутъ онѣ страдать, такъ это именно жалости подобно; только одинъ Иванъ Карлычъ, учитель ихнихъ дѣтей, и имѣли возможность эти припадки усмирить! Прожила я такимъ родомъ и у Дарьи Григорьевны три года слишкомъ, и обиды для себя никакой отъ нихъ не видала. Да и не случился бы у насъ съ ними никогда разрывъ, если бы не Иванъ Карлычъ. Соскучились, что ли, ими Дарья Григорьевна, или показался имъ очень пріятенъ ихній новый управляющій, Карлъ Иванычъ, только онѣ во всемъ мнѣ открылись и попросили моего посредничества. Согласитесь, милостивый государь, могла ли я въ чемъ-нибудь благодѣтельницѣ моей отказать? А если не могла отказать, то слѣдственно въ чемъ же тутъ моя вина состоитъ? Однако, Иванъ Карлычъ объ этомъ узнали, пришли въ восторженность и всячески меня при людяхъ раскостили! И такова была слабость Дарьи Григорьевны, что онѣ меня же, свою покорную слугу, по настоянію Ивана Карлыча, изъ дому своего выгнали...

— Что̀-жъ, вы, я думаю, и объ этомъ происшествіи просьбу въ судъ подали?

— Подала, сударь, и хотя опять дѣло мое проиграла, однако не могла же я не подать просьбы, потому что дворянскую свою честь очень знаю и защищать ее по закону завсегда обязываюсь... Послѣ того...

— Нѣтъ, позвольте... для меня этого достаточно. Я желалъ бы только знать: чѣмъ вы въ настоящее время занимаетесь и по какому случаю находитесь здѣсь?

— Позвольте мнѣ, милостивый государь, попросить васъ выслушать меня...

— Извините, но для меня весьма достаточно сказаннаго вами, и я желалъ бы знать, на какой конецъ вы удостоили меня своею довѣренностью?

— Въ настоящее время, пришедши въ преклонность моихъ лѣтъ, я, милостивый государь, вижу себя лишенною пристанища. А какъ я, съ самыхъ малыхъ лѣтъ, имѣла къ божественному большое пристрастіе, то и хожу теперь больше по святымъ монастырямъ и обителямъ, не столько помышляя о настоящей жизни, сколько о жизни будущей...

— Что же вамъ отъ меня угодно, сударыня?

Она встала съ лавки, призвала на помощь всю сумму чувства собственнаго достоинства, какая была у нея въ распоряженіи, и сказала:

— Милостивый государь! я чужого ничего не желаю, но если бы вамъ угодно было одолжить мнѣ заимообразно хоть пять рублей, то я весьма была бы вами облагодѣтельствована!

Я готовился уже вынуть изъ бумажника требуемыя деньги, какъ въ то же самое время, гремя бубенчиками и колокольцами, къ воротамъ подъѣхалъ экипажъ, и я услышалъ въ сѣняхъ знакомый мнѣ голосъ Семена Иваныча Призорова, сосѣда моего по имѣнію, а Марья Петровна, при первыхъ звукахъ этого голоса, замѣтно сконфузилась.

— Милостивый государь! Позвольте васъ поторопить, потому что я не желала бы, чтобъ заклятой мой врагъ видѣлъ мое униженіе!—сказала она.

Но было уже поздно, потому что дверь въ эту минуту отворилась, и Призоровъ вошелъ въ горницу.

— Ба! да и ты здѣсь, Скорпіона Аспидовна!—обратился онъ къ Музовкиной, поздоровавшись со мною.—По какому же ты случаю становище свое перемѣнила? Вѣрно въ Михайловскомъ ужъ ремесло-то твое сдѣлалось невыгодно?

— Я не знаю, что вамъ угодно сказать, Семенъ Иванычъ, а я никакимъ ремесломъ не занимаюсь,—стало-быть, слова ваши ничего больше, какъ обида мнѣ...

— Уже не просила ли она у васъ денегъ? — продолжалъ, между тѣмъ, Призоровъ. — Упаси васъ Боже дать что-нибудь!.. Ну-съ, Скорпіона Аспидовна, налѣво кругомъ маршъ!

— Помилуйте, Семенъ Иванычъ, я чужого ничего не желаю, а прошу только заимообразно...

Но Семенъ Иванычъ ничего не хотѣлъ слышать и, повернувъ Марью Петровну довольно безцеремонно, выпроводилъ ее изъ комнаты.

Дня черезъ три, будучи въ деревнѣ, я получилъ отъ Призорова записку слѣдующаго содержанія:

«Любезнѣйшій Николай Иванычъ! Послѣ того, какъ мы съ вами разстались, извѣстная вамъ Скорпіона Аспидовна сочла нужнымъ подать на васъ прошеніе, съ котораго, препровождая при семъ копію, прошу васъ принять увѣреніе, и пр.»

Въ прошеніи было изображено:

«Такого-то числа, мѣсяца и года, собравшись я, по усердію своему, на поклоненіе св. мощамъ въ *** монастырь, встрѣчена была на постояломъ дворѣ, въ деревнѣ Овониной, здѣшнимъ помѣщикомъ, господиномъ Николаемъ Иванычемъ Щедринымъ, который, увлекши меня въ горницу... (Слѣдовали обвинительные пункты).

«И потому о таковомъ насильственномъ со мною поступкѣ господина помѣщика Щедрина, доводя до свѣдѣнія *** уѣзднаго суда»...

«Однакожъ, это, чортъ возьми, скверно!» — подумалъ я, прочитавши прошеніе, и приказалъ закладывать лошадей, чтобъ ѣхать немедленно въ городъ.

IV.

ДРАМАТИЧЕСКІЯ СЦЕНЫ и МОНОЛОГИ.

Просители.

ПРОВИНЦІАЛЬНЫЯ СЦЕНЫ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

Князь Левъ Михайловичъ Чебылкинъ, старецъ, украшенный сѣдинами, съ кроткимъ и благосклоннымъ улыбающимся лицомъ; походка медленная, голосъ мягкій, почти младенческій.

Княжна Анна Львовна, дочь его, высокомѣрная дѣвица, лѣтъ тридцати пяти.

Самуилъ Исаковичъ Шифель, неизвѣстныхъ лѣтъ; медикъ, обладающій походкой такъ-называемыхъ австрійскихъ камергеровъ, съ перевальцемъ. Съ трудомъ скрываетъ свое іудейское происхожденіе. Шифель—довѣренное лицо князя.

Отставной капитанъ Пафнутьевъ, проситель, шестидесяти лѣтъ, съ подвязанною рукой и деревяжкой вмѣсто ноги; видъ имѣетъ не столько воинственный, сколько наивный; голова плѣшивая, усы и бакенбарды отъ старости лѣзутъ; напротивъ того, на мѣстахъ, гдѣ не должно быть волосъ, какъ-то: на концѣ носа, оконечностяхъ ушей, таковые произрастаютъ въ изобиліи. До появленія князя стоитъ особнякомъ отъ прочихъ просителей, по временамъ шмыгаетъ носомъ и держитъ въ неповрежденной рукѣ приготовленную заранѣе просьбу.

Отставной подпоручикъ Живновскій. Объ этомъ лицѣ зри разсказъ: «Обманутый подпоручикъ».

Петръ Ѳедоровъ Забіякинъ, тридцати пяти лѣтъ, проситель, въ венгеркѣ и широкихъ шароварахъ, носитъ усы и говоритъ теноромъ. Комплекціи плотной. Сентиментальный буянъ.

Александръ Петровичъ Налетовъ, двадцати пяти лѣтъ, помѣщикъ. Смотритъ очень гордо и до появленія князя безпокойно ходитъ взадъ и впередъ по комнатѣ. Съ такъ-называемыми gens de

ѓіеп говоритъ отрывисто, прибавляя букву «э» и подражая голосомъ и манерами начальственнымъ лицамъ.

Ѳома Бѣлугинъ, купецъ 3-й гильдіи; въ поношенномъ сюртукѣ и шелковой жилеткѣ; физіономія замасленная; тученъ или, лучше сказать, жиренъ отъ спанья; бороды не брѣетъ.

Егоръ Скопищевъ---тоже; ходитъ въ русской одеждѣ; страдаетъ одышкой, и потому вздыхаетъ.

Петръ Долгій
Семенъ Малявка
Алексѣй Сычъ } пейзане.

Анна Ивановна Хоробиткина, двадцати лѣтъ, жена канцеляриста, разодѣтая въ пухъ, декольте и тщательно напомаженная.

Вдова коллежская секретарша **Шумилова**, сорока лѣтъ; физіономію имѣетъ оскорбленную; до появленія князя стоитъ молча въ углу и нерѣдко вытираетъ слезящіеся глаза и сморкаетъ носъ.

Разбитной, двадцати двухъ лѣтъ, чиновникъ при его сіятельствѣ; баловень фортуны, изъ породы тѣхъ, которыхъ губернскія дамы любятъ за comme il faut; ходитъ очень прямо и надменно, но въ сущности добрый малый, хотя и пустой.

Дежурный чиновникъ.

Дѣйствіе происходитъ въ губернскомъ городѣ Крутогорскѣ.

СЦЕНА I.

Театръ представляетъ пріемную комнату въ домѣ князя **Чебылкина**. При открытіи занавѣса ,просители стоятъ небольшими группами **Живновскій** съ **Забіякинымъ**, **Бѣлугинъ** съ **Скопищевымъ**, **Хоробитнина** съ **Шумиловой**; одинъ **Пафнутьевъ** стоитъ особнякомъ. **Долгій**, **Малявка** и **Сычъ** стоятъ по стѣнкѣ и по временамъ испускаютъ глубокіе вздохи.

Забіякинъ *(Живновскому)*. И представьте себѣ, до сихъ поръ не могу добиться никакого удовлетворенія. Ужъ сколько разъ обращался я къ господину полицеймейстеру; наконецъ, даже говорю ему: «что-жъ, говорю, Иванъ Карлычъ, справедливости-то, видно, на небесахъ искать нужно?» *(Вздыхаетъ)*. И что же-съ? Онъ же меня, за дерзость, едва при полиціи не заарестовалъ! Однако, согласитесь сами, могу ли я оставить это втуне? Еще если бы честь моя не была оскорблена, конечно, по долгу христіанина, я могъ бы, я даже *долженъ* бы былъ простить...

Живновскій. Да... да... христіанскій долгъ прощать повелѣваетъ... Это, знаете, у русскихъ въ обычаѣ...

Забіякинъ. Но, сознайтесь сами, вѣдь я дворянинъ-съ; если я, какъ человѣкъ, могу простить, то, какъ дворянинъ, не имѣю на это ни малѣйшаго права! Потому что я въ этомъ случаѣ, такъ сказать, не принадлежу себѣ. И вдругъ какой-нибудь высланный изъ жительства, за мошенничество, іудей проходитъ мимо тебя и смѣетъ усмѣхаться!

Живновскій. А позвольте спросить, эту усмѣшку кто-нибудь видѣлъ?

Забіякинъ. Какъ же-съ, были благородные свидѣтели: Павелъ Иванычъ Техоцкій, Дмитрій Николаичъ Подгоняйчиковъ — всѣ именно видѣли, какъ онъ съ *презрительнымъ видомъ* усмѣхнулся. Такъ что-жъ бы вы думали Иванъ Карлычъ-то? «Да, я говоритъ, тебя, скотина, въ бараній рогъ согну; да ты, говоритъ, еще почище будешь, гадина, нежели еврей Гирщель»... Ну, и тутъ были тоже свидѣтели-съ, какъ онъ меня такимъ манеромъ обзывалъ! А Иванъ Карлычъ на то намекаютъ, что я здѣсь нахожусь подъ надзоромъ по дѣлу о *битіи якобы* нѣкоего Свербило-Кржемпоржевскаго, такъ я на это имѣлъ свои резоны-съ; да къ тому же тутъ еще есть «якобы», стало-быть, еще неизвѣстно, кто кого раскровянилъ-съ.

Живновскій. Да, да, по-моему, ваше дѣло правое... то-есть, все равно, что Божій день. А только, знаете ли, напрасно вы связываетесь съ этими подьячими! Они, я вамъ доложу, возвышенности чувствъ понять не въ состояніи. На вашемъ мѣстѣ, я поступилъ бы какъ благородный человѣкъ *(движеніе со стороны Забіякина)*... то-есть вы не думайте, чтобы я сомнѣвался въ благородствѣ души вашей — нѣтъ! А такъ, знаете, я взялъ бы этого жидочка за пейсики, да головенкой-то бы его объ косякъ стукъ-стукъ... Такъ онъ, я вамъ ручаюсь, въ другой разъ смотрѣлъ бы на васъ не иначе, какъ со слезами признательности... Этотъ народъ ученье любитъ-съ!

Г-жа Хоробиткина *(обмахиваясь и обиженнымъ голосомъ)*. Ихъ сіятельство, кажется, изволили забыть, что ихъ ожидаютъ просители.

Живновскій *(подмигивая Забіякину)*. Лакомый кусочекъ! а? Посмотрите-ка, тѣлеса какія!

Бѣлугинъ *(озлобленно)*. Да-съ, часочка, поди, два ужъ дожидаемся! *(Скопищевъ вздыхаетъ; ему вторятъ Долгій, Малявка и Сычъ; Пафнутьевъ усиленно шмыгаетъ)*. Кому дѣлать нече, оно въ охотку здѣсь разговаривать-то... *(Смотритъ на Живновскаго и Забіякина)*.

Забіякинъ *(Живновскому)*. Вѣдь атакой жестокій, необразованный народъ! Даже подождать не можетъ! даже не постигаетъ, что образованные люди могутъ найти высокое наслажденіе въ откровенной бесѣдѣ!.. Это у нихъ, изволите видѣть, не дѣло!

Бѣлугинъ *(усмѣхаясь)*. А неужто-жъ и дѣло — слушать, какъ вы сквернословите?

Забіякинъ *(не слушая его)*. А знаете ли, что̀ по-ихнему дѣло называется? Продать связку-другую баранковъ, надуть при этомъ на копейку—вотъ это дѣло-съ!.. Принадлежа къ высшему классу общества, знаете, даже какъ-то совѣстно за нихъ, совѣстно за отечество!

Живновскій. А вотъ, дайте срокъ, мы ихъ маленько переберемъ-съ... У меня это такая ужъ манера: до страсти люблю трепать ихнія бороды...

Бѣлугинъ *(язвительно, но съ легкимъ оттѣнкомъ сомнѣнія въ справедливости своихъ собственныхъ словъ)*. Ну, это еще какъ удастся бороды-то трепать! Эва! не убивши еще медвѣдя, ужъ шкуру продаетъ!.. Только чудо, право!

Живновскій. Ладно, братъ, еще такъ вычешемъ, что̀ твой стланецъ! *(Къ Забіякину)*. Такъ вы собственно по дѣлу о жидѣ сюда пожаловали?

Забіякинъ. Да-съ, вотъ и просьба въ этомъ смыслѣ написана... Тутъ вотъ, сбоку, покрупнѣе написано вкратцѣ содержаніе: *о медленности крутогорскаго полицеймейстера Кранихгартена по дѣлу объ обидѣ евреемъ Гиршелемъ отставного прапорщика Забіякина*—знаете, чтобъ его сіятельству сразу было видно, въ чемъ дѣло.

Живновскій. Такъ вы тоже военная косточка?.. Очень радъ, очень радъ быть знакомымъ!

Забіякинъ. Какъ же-съ; служилъ шесть мѣсяцевъ въ Крапивенскомъ егерскомъ полку; только въ атакахъ быть не удостоился. Что̀ дѣлать-съ, всякому свое счастье!

Живновскій. Очень пріятно. Но знаете ли, я вамъ, какъ старый товарищъ, правду-матку долженъ сказать: едва ли вы получите удовлетвореніе по просьбѣ...

Забіякинъ. Почему же-съ?

Живновскій. Потому что тутъ, знаете, шахеръ-махеръ, рука руку моетъ... *(шепчетъ Забіякину на ухо и потомъ продолжаетъ вслухъ)*. Послѣ этого, какимъ же образомъ? Ну, я васъ спрашиваю, будьте вы сами на мѣстѣ князя!

Забіякинъ *(пожимая плечами и обращая сентиментально глаза къ небу)*. Послѣ вашихъ словъ, что̀-жъ остается дѣлать, какъ не склониться передъ волею Провидѣнія!

Живновскій. Тутъ, батюшка, толку не будетъ! То-есть, коли хотите, онъ и будетъ, толкъ-отъ, только не вашъ-съ, а собственный ихній-съ!.. Однако, вы вотъ упомянули о какомъ-то *«якобы избитіи»*—позвольте полюбопытствовать!

Я, знаете, съ молодыхъ лѣтъ горячность имѣю, такъ мнѣ такія исторіи... знаете ли, что я вамъ скажу? Какъ посмотришь иной разъ на этакого гнуснаго штафирку, какъ онъ съ камешка на камешокъ пробирается, да боится даже кошку задѣть, такъ даже кровь въ тебѣ кипитъ: такая это отвратительная картина!

Забіякинъ *(конфузясь)*. Да вы, поручикъ, быть-можетъ, полагаете, что тутъ...

Живновскій. И, полноте! Ужъ, вѣрно, тутъ найдутся всякіе милые мордасы и любезныя зуботычины... ха-ха!

Забіякинъ. Извольте видѣть, были мы какъ-то въ трактирномъ заведеніи, ну, и Свербило-Кржемпоржевскій тутъ же...

Живновскій. И фамилія-то какая анаѳемская! Ну, какъ же такихъ людей не бить-то?

Забіякинъ. Я, знаете, давно этого господина не долюбливалъ, потому что онъ хоть и не то чтобы совсѣмъ жидъ, а все-таки жидомъ припахиваетъ... Смѣсь, знаете, жида съ меделянскою собакой...

Скопищевъ *(вполголоса)*. Вѣдь эва что выдумалъ!

Забіякинъ. Только онъ сидитъ и прихлебываетъ себѣ чай... Ну, взорвало, знаете, меня, не могу я этого выдержать! Пей онъ чай, какъ люди пьютъ, я бы ни слова—Богъ съ нимъ! А то, знаете, помаленьку, точно Богъ вѣсть какимъ блаженствомъ наслаждается... Ну, я, конечно, въ то время его раскровянилъ.

Живновскій. Ха-ха! Отлично! Знаете, вы напомнили мнѣ мою молодость! *(Жметъ ему руку)*.

Забіякинъ *(съ чувствомъ)*. Ну, а вы, поручикъ, вы по какому случаю здѣсь?

Живновскій. У меня дѣло вѣрное. Жилъ я, знаете, въ Воронежской губерніи, жилъ и, можно сказать, бѣдствовалъ! Только Сашка Топорковъ—вотъ, я вамъ доложу, душа-то!—«скатай-ко, говоритъ, въ Крутогорскъ; тамъ, говоритъ, винцо тенерифъ есть — такъ это точно мое почтеніе скажешь!» Ну, я и пріѣхалъ!

Забіякинъ. Какія же ваши намѣренія, если позволено будетъ полюбопытствовать?

Живновскій. А намѣренія мои—городишко какой-нибудь получить... Такъ, знаете, немудреный — чтобъ рѣка была судоходная, ну, или тамъ раскольники, что ли... Однимъ словомъ, чтобы влачить существованіе было возможно.

Забіякинъ. Да, это статьи хорошія-съ; не знаешь даже, которой отдать преферансъ *(подумавъ)*; а всего бы лучше

кабы обѣ вмѣстѣ соединить... Не правда ли, поручикъ? *(Пафнутьевъ, который въ это время прислушивался къ разговору, вдругъ прыскаетъ со смѣху отъ одной идеи возможности осуществленія предположеній Забіякина).*

Живновскій. Ишь его разобрало! *(Тихо Забіякину).* Вѣрно совмѣстникъ-съ... раненый...

Забіякинъ. Не имѣю удовольствія знать... А впрочемъ, осмѣлюсь вамъ доложить, поручикъ, что нынче мѣста подобнаго рода ужасно какъ туго даются. Былъ у меня знакомый... ну, самый то-есть, милый человѣкъ... и образованный, и съ благородными чувствами... такъ онъ даже цѣлый годъ ходилъ, чтобъ только мѣсто станового получить, и все, знаете, одинъ отвѣтъ *(подражая голосу и манерѣ князя Чебылкина):* «нѣтъ мѣста, нѣтъ, мой милый, нѣтъ мѣста! подождите, любезный!» Такъ онъ, знаете ли, какую штуку удралъ! «Коли, говоритъ, нѣтъ у вашего сіятельства мѣста станового, такъ, по крайней мѣрѣ, позвольте хоть въ жены станового!»

Живновскій. Ха-ха! А вѣдь, знаете, онъ не глупо выдумалъ, вашъ пріятель! Бываютъ случаи, что женой станового даже выгоднѣе быть, нежели самимъ становымъ!

Бѣлугинъ *(вполголоса).* Ишь наругатели какіе!

Забіякинъ. И что-жъ бы вы думали! Этой, можно сказать, блистательной фразѣ пріятель мой обязанъ былъ мѣстомъ! Его сіятельство улыбнулись: «ну, ужъ, говоритъ, коли такъ тебя забрало, дать ему мѣсто станового!» Оно выходитъ и справедливо, что съ вельможами нужно быть завсегда откровеннымъ, потому что вельможа, вы понимаете, такъ воспитанъ, что благородство чувствъ ему доступно... Вотъ былъ у насъ начальникъ — Бенескриптовъ (изъ *прискорбныхъ-съ*), такъ этотъ, бывало, и разговаривать не станетъ: «давай, говоритъ, мнѣ прежде наличными». Ну, а сами знаете, гдѣ же благородному человѣку наличныхъ взять? Благородный человѣкъ является какъ есть, съ открытою душой... Другое дѣло впослѣдствіи, когда, знаете, оперится... Ну, тогда точно что было бы неблагодарно не удѣлить начальству.

Живновскій *(задумчиво).* Ну, нѣтъ, отъ меня ужъ не отвертится... я, пожалуй, и за горло ухвачу. *(Поднимаетъ руки и разставляетъ пальцы граблями).*

Забіякинъ. Конечно-съ; такого подчиненнаго, какъ вы, имѣть пріятно.

Живновскій. Еще бы! Насчетъ этой исполнительности, я,

просто, не человѣкъ, а огонь! Люблю, знаете, распорядиться! Ну, просто, я вамъ вотъ какъ доложу: призови меня къ себѣ его сіятельство и скажи: «Живновскій! не нравится вотъ мнѣ эта борода *(указываетъ на Бѣлугина)*, задуши его, мой милый»—и задушу! То-есть, самъ тутъ замру, а задушу. *(Бѣлугинъ плюетъ)*. Не плюйся, не плюйся, борода! Погоди плеваться-то!

СЦЕНА II.

Тѣ же и Налетовъ.

Налетовъ *(входитъ съ шумомъ; въ одномъ глазу у него стеклышко; онъ останавливается посреди залы и окидываетъ взглядомъ просителей. Пафнутьевъ ему кланяется)*. Э... скажите, пожалуйста, князь принимаетъ? *(Отвѣта нѣтъ; только Пафнутьевъ подается впередъ, но и тотъ умолкаетъ)*. Э... это удивительно! въ передней никого нѣтъ... что за genre! *(Ходитъ по залѣ)*.

Бѣлугинъ *(вынимаетъ изъ жилетки серебряную луковицу)*. Да-съ; теперича будетъ часика три, какъ дожидаемся... *(Къ Скопищеву)*. А что, Егоръ Иванычъ, видно убраться отселева за добро-ума?

Скопищевъ *(вздыхая)*. Дѣло-то наше такое... Нѣтъ, ужъ заодно, видно, подождать, Ѳома Савичъ.

Бѣлугинъ. А и то инъ подождать; дѣло-то у насъ больно ужъ ровно очень несообразное затѣялось... никогда и не слыхивано: такое, братецъ ты мой, дѣло!

Скопищевъ. А что?

Бѣлугинъ. Да такое, братецъ ты мой, дѣло, что даже завѣрить трудно. Задумалъ я, братецъ ты мой, строиться, воображеніе свое то-есть соблюсти... *(Продолжаетъ разсказывать шопотомъ)*.

Налетовъ *(очень громко)*. Э... однакожъ, я не привыкъ такъ долго дожидаться!.. *(Обращается къ Забіякину)*. Сдѣлайте одолженіе, доложите хоть вы князю, — скажите ему, что помѣщикъ Налетовъ пріѣхалъ.

Забіякинъ *(съ сладкою улыбкою и жмуря глаза)*. Извините меня, Александръ Петровичъ, но я не имѣю права, я не осчастливленъ довѣренностью князя. *(Показываетъ на дверь, ведущую во внутреннія покои, какъ бы желая сказать, что онъ не смѣетъ войти туда)*.

Налетовъ. Какая это, однакожъ, досада! Но скажите, пожалуйста, почему-жъ вы меня знаете?

Забіякинъ. Помилуйте-съ... вы довольно по губерніи извѣстны своимъ просвѣщеніемъ.

Налетовъ. Э... однакожъ, князь, кажется, этого не знаетъ.

Забіякинъ *(улыбается, мотаетъ головой и показываетъ на лобъ).* Не взыщите-съ.

Налетовъ. Д-да? Ну, это другое дѣло! *(Входитъ дежурный чиновникъ очень смирной наружности).* Э... скажите пожалуйста, мой любезный, скоро князь принимать будетъ?

Чиновникъ. Неизвѣстно-съ.

Налетовъ. Э... въ такомъ случаѣ доложите, пожалуйста, князю, что помѣщикъ Налетовъ пріѣхалъ засвидѣтельствовать имъ свое почтеніе... Помѣщикъ Налетовъ.

Чиновникъ. Я не смѣю докладывать: ихъ сіятельство завтракать изволятъ.

Бѣлугинъ *(вполголоса).* Такъ-то вотъ—все ѣстъ! Давеча чай съ кренделями кушалъ, теперича завтракаетъ, ужъ, поди, за обѣдъ сядетъ—только чудо, право, какъ и дѣла-то дѣлаются!

Налетовъ. Э... однакожъ, это странно! Скажите, пожалуйста, гдѣ я могу, по крайней мѣрѣ, найти Леонида Сергѣича Разбитного? Хоть бы онъ объяснилъ князю, что я не кто-нибудь...

Бѣлугинъ *(тихо Скопищеву).* Подождешь, братъ! Больно высоко крылья подымаешь!

Чиновникъ. Леонидъ Сергѣичъ съ княземъ кушаютъ... Прикажете сказать имъ?

Налетовъ. Да, пожалуйста. *(Чиновникъ выходитъ; Налетовъ продолжаетъ ходить по залѣ и напѣвать вполголоса, а по временамъ и довольно громко, какую-то арію).*

Живновскій *(вполголоса Забіякину).* Это что за птица?

Забіякинъ. Налетовъ, Александръ Петровичъ, здѣшній помѣщикъ... образованнѣйшій!

Живновскій. А, понимаю, фюрлю-мюрлю... Въ одномъ карманѣ пусто, въ другомъ ни алтына, а въ головѣ *вѣтры сѣверные ду...ютъ, гулятъ не пойду.*

Забіякинъ. Нѣтъ, поручикъ: Александръ Петровичъ помѣщикъ достаточный. Съ ними, можно сказать, всѣ здѣшнія власти въ духовномъ свойствѣ обрѣтаются.

Живновскій. А не знаете вы, зачѣмъ онъ сюда пріѣхалъ?

Забіякинъ. А, право, не могу вамъ доложить... Должно полагать, что по дѣлу объ умертвіи черноборской мѣщанской дѣвки Пучеглазовой.

Живновскій. А что? Видно, тово... *(Дѣлаетъ движеніе рукою сверху внизъ).*

Забіякинъ *(улыбаясь)*. Должно-быть, что не безъ того-съ. По человѣчеству, знаете... А вѣдь прискорбно будетъ, поручикъ, если вы, съ вашими познаніями, съ вашими способностями, съ вашимъ патріотизмомъ — потому что порядочный человѣкъ не можетъ не быть патріотомъ, — прискорбно будетъ, если со всѣмъ этимъ вы не получите себѣ приличнаго мѣста...

Живновскій. Кто? Я не получу? Нѣтъ-съ, ужъ это аттѣнде-съ; я ужъ это въ своей головѣ такъ рѣшилъ, и слѣдственно рѣшенія этого никто измѣнить не можетъ! Да помилуйте, чорта же ли ему надобно! Вы взгляните на меня! *(Протягиваетъ впередъ руки, какъ будто держитъ вожжи)*.

Забіякинъ. Да, конструкція настоящая полицейская... однако, случаи бываютъ всякіе... Вотъ третьяго года пріѣзжалъ сюда въ полицеймейстеры проситься... мужчина безъ малаго трехъ аршинъ былъ, даже страшно смотрѣть — машинища какая! Однако, ему отказали, а дали мѣсто этому плюгавому Кранихгартену.

Живновскій. Да нѣтъ! да вы поймите, вѣдь этого нельзя! На меня посмотрѣть — такъ картина! А у этого трехъаршиннаго, вѣрно, изъянъ какой-нибудь былъ. *(Рѣшительнымъ тономъ)*. Нельзя этого!

Забіякинъ. А что вы думаете? Можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ изъянъ... это бываетъ! Я помню, какъ-то изъ Пермской губерніи проѣзжали здѣсь, мѣщанина показывали, слишкомъ трехъ аршинъ-съ. Такъ вы не повѣрите... точный ребенокъ-съ! До того ужъ, знаете, великъ, что стоять не въ силахъ. Постоитъ-постоитъ для примѣру да и сядетъ: собственная это, знаете, тяжесть-то его такъ давитъ.

Живновскій. Какъ же вотъ и не сказать тутъ, что природа-то все премудро устроила!.. Вотъ онъ готовъ бы до небесъ головой-то долѣзти, анъ ему природа говоритъ: «шалишь! молода, въ Саксоньи не была! Изволь-ка посидѣть!» Ахти-хти-хти-хти! всѣ, видно, мы люди, всѣ человѣки!

Забіякинъ *(крѣпко сжимая ему руку)*. Именно такъ, поручикъ, именно такъ! Святую вы истину сказали: всѣ мы люди, всѣ человѣки!

Живновскій. Однакожъ, и въ самомъ дѣлѣ сіятельный-то князь что-то долго поворачивается! У меня, значитъ, и въ животѣ дрожки проѣхали; не мѣшало бы, знаете, выпить и закусить... А вы, чай, съ Настоемъ Ерофеичемъ тоже *знакомы*?

Забіякинъ. У насъ въ полку его Настасьей Ерофевной прозывали... Какъ же-съ, пью.

Живновскій. Ха-ха! Настасья Ерофевна! А надо правду сказать, что нашъ братъ военный какъ ужъ скажетъ что̀, такъ именно, можно сказать, помеломъ причешетъ!

Налетовъ *(въ нетерпѣніи останавливаясь посреди залы).* Э... однако, это просто терпѣнья никакого недостаетъ! Быка, что ли, они тамъ ѣдятъ! Даже Разбитной не идетъ. *(Становится противъ Хоробиткиной и устремляетъ на нее свое стеклышко. Въ сторону).* А недурна! Есть надъ чѣмъ позаняться. *(Вслухъ ей).* Э... вы, сударыня, вѣрно тоже съ просьбой къ князю?

Хоробиткина *(потупляя глаза и зарумяниваясь).* Точно такъ-съ; только ихъ сіятельство чтой-то ужъ очень долго держатъ!..

Налетовъ. Да вы бы сѣли, сударыня. *(Подаетъ стулъ Хоробиткиной, которая жеманится).*

Живновскій *(Забіякину).* Это значитъ: пошелъ нашъ соко̀лъ по клюкву по ягоду!

Хоробиткина. Помилуйте-съ, вы слишкомъ учтивы, графъ.

Налетовъ. Это нашъ долгъ служить прекрасному полу. *(Садится возлѣ нея).* Э... а у васъ вѣрно какое-нибудь важное дѣло? Мамаша обидѣла? *(подражая произношенію маленькихъ дѣтей)* платьица хорошенькаго не купила? куколку не подарила? конфетки не дала?

Хоробиткина *(рдѣя).* Ахъ, какіе вы насмѣшники! Развѣ я маленькая, чтобы мнѣ въ куклы играть?

Налетовъ. Еще бы! Ну, признайтесь, давно ли вы ходить начали? Все, чай, «мамаса», «папаса»! Ну, признайтесь!

Хоробиткина *(наивничая).* Помилуйте-съ, какъ это возможно! Я ужъ два года замужемъ!

Налетовъ. Э... не можетъ этого быть! Вы на себя клевещете! Да, впрочемъ, это извѣстная замашка у дѣтей прибавлять себѣ лѣта... *(Дѣтскимъ произношеніемъ).* Ну, пьизнайтесь, большой оцень хоцется быть?

Живновскій *(Забіякину).* Ишь, шельма, какъ таетъ! Молодецъ онъ, а все, знаете, не то, что̀ въ наше время бывало... орлы! Налетишь, бывало, изъ-за сизыхъ тучъ, такъ всѣ эти курочки словно сожмутся, даже взглянуть не смѣютъ: просто, трепетъ какой-то!

СЦЕНА III.

Тѣ же и **Шифель** *(который, нѣсколько избочившись по-*

камергерски и забылся впередъ правой ногой, намѣревается перейти черезъ пріемную комнату во внутрѣнніе покои).

Налетовъ *(быстро устремляясь навстрѣчу Шифелю).* А! Самуилъ Исаковичъ! спаситель! хоть бы вы нашему князю діэту предписали! Шутка ли! цѣлыхъ полчаса здѣсь изнываю, покуда его сіятельство изволитъ завтракать.

Шифель. Да, князь любитъ покушать. Знаете, *mens sana in corpore sano;* а у кого тѣло въ добромъ здоровьи да совѣсть чиста, такъ желудокъ ужасно какую массу перевариваетъ... А у нашего князя именно чистая совѣсть!

Налетовъ. А вы къ нему?

Шифель. Нѣтъ, я къ княжнѣ: она у насъ что-то прихварываетъ. Я и то ужъ сколько разъ ей за это выговаривалъ: «дурно, ваше сіятельство, себя ведете!» Право, такъ и выразился, ну и она ничего, даже посмѣялась со мною. Впрочемъ, тутъ наша наука недостаточна *(тихо Налетову):* знаете, тамъ хоть княжна, хоть не княжна, а все безъ мужа скучно; *(громко)* таковъ ужъ законъ природы.

Налетовъ. Не можете ли вы хоть намекнуть князю, что я его ожидаю?

Шифель. Съ удовольствіемъ, отчего же! Только я вамъ скажу, что у князя пищевареніе очень, очень трудно всегда совершается!..

Налетовъ. Ну, хоть Разбитного. Я уже послалъ за нимъ, да что-то нейдетъ.

Шифель. То-есть, Леонида Сергѣича, хотите вы сказать?

Налетовъ. Ну, да.

Шифель. Такъ онъ у насъ Разбитнымъ ужъ не называется, а называется Леонидомъ Сергѣичемъ... отношенія, знаете...

Налетовъ. А что же такое?

Шифель *(вполголоса).* Онъ нынче довѣренное лицо у князя, а особливо у княжны... знаете, послѣ этой исторіи съ Техоцкимъ...

Налетовъ. Гм!

Шифель. То-то. Вы не вздумайте его, попрежнему, разбитнымъ называть... то-есть, вы, однакожъ, не подумайте, чтобъ между нимъ и княжной... нѣтъ! А знаете, невинныя этакъ упражненія; онъ вздохнетъ, и она вздохнетъ; она скажетъ: «ахъ, какъ сегодня въ воздухѣ весной пахнетъ!» А онъ отвѣчаетъ: «да, весна обновляетъ человѣка», или что-нибудь въ этомъ родѣ... *(Хохочутъ оба).* Только вы, смотрите, не выдавайте меня!

Налетовъ. Помилуйте, какъ можно! Однако, вы проказникъ, Самуилъ Исаковичъ! *(Хохочетъ).*

Шифель. А вы здѣсь, вѣрно, по тому дѣлу?

Налетовъ. Ну, да; надоѣло ужъ оно мнѣ. Да и ваше-то губернское начальство хорошо! Изъ-за какой-нибудь дѣвки столько embarras подняли, точно сыръ-боръ загорѣлся!

Шифель. Шалунъ! А зачѣмъ же было поступать такъ неосторожно?.. Ну, да Богъ милостивъ, какъ-нибудь дѣло устроится: князь у насъ человѣкъ души необыкновенной; это, можно сказать, ангелъ, а не человѣкъ...

Налетовъ. Помогите хоть вы мнѣ какъ-нибудь. Сами согласитесь, за что я тутъ страдаю? Ну, умерла дѣвка, ну, и похоронили ее: стоитъ ли изъ-за этого цѣлый годъ благороднаго человѣка безпокоить! Вѣдь они меня съ большого-то ума чуть-чуть подъ судъ не отдали!

Шифель *(грозя пальцемъ).* Шалунъ! А что по свидѣтельству-то оказалось?

Налетовъ. Нѣтъ, позвольте, Самуилъ Исаковичъ, ужъ если такъ говорить, такъ свидѣтельствъ было два: по одному точно что «оказалось», а по другому ровно ничего не оказалось. Такъ, по-моему, вѣрить слѣдуетъ послѣднему свидѣтельству, во-первыхъ, потому, что его производилъ человѣкъ благонамѣренный, а во-вторыхъ, потому, что и законъ велитъ слѣдователю дѣйствовать не въ ущербъ, а въ пользу обвиненнаго... Обвинить всякаго можно!

Шифель. Ну, да, ну, да *(смѣется);* а скажите-ка по совѣсти, wie viel haben sie... за послѣднее-то свидѣтельство?

Налетовъ *(горячась).* Ну, нѣтъ, Самуилъ Исаковичъ, ни-ни! Этого вы, пожалуйста, и не подозрѣвайте! Да помогите же вы мнѣ, мой многоуважаемый! Я вотъ только хотѣлъ его сіятельству почтеніе сдѣлать, и отъ него къ вамъ...

Шифель. А! пріѣзжайте! Можно будетъ направо-налѣво переметнуть... Ну, и поговоримъ. *(Уходитъ).*

Налетовъ *(вслѣдъ ему).* Такъ вы, пожалуйста, напомните князю, что я его здѣсь дожидаюсь. *(Возвращается на свое мѣсто подлѣ г-жи Хоробиткиной).*

СЦЕНА IV.

Тѣ же, кромѣ Шифеля.

Живновскій *(Забіякину).* Кажется, намъ съ вами ночевать здѣсь придется. Проходимецъ долженъ быть этотъ лѣкаришка! И какъ онъ далъ тонко почувствовать: «ну, и

поговоримъ!» Общиплетъ онъ этого молодчика! Какъ вы думаете? Вѣдь тысячкой отъ этого прощелыги не отдѣлаешься?

Забіякинъ. *(поднимая глаза къ небу).* Поручикъ! хотите вы мнѣ вѣрить? *(Утвердительный знакъ со стороны Живновскаго).* Такъ я васъ честью завѣряю, что если у Александра Петровича не заложено имѣніе, то онъ вынужденъ будетъ заложить его *въ самомъ непродолжительномъ времени*... Вѣрите мнѣ?

Живновскій. Отчего не вѣрить! Вы, батюшка, меня объ этомъ спросите, какъ благородные люди на эти удовольствія проживаются! Я самъ, да, самъ, вотъ какъ вы видите!.. Ну, да что объ этомъ вспоминать... зато пожили, сударь!..

Забіякинъ. Оно, коли хотите, меньше и нельзя. Положимъ, хоть и Шифель: человѣкъ онъ достойный, угнетенный семействомъ — ну, ему хоть три тысячи; ну, двѣ тысячи... *(Продолжаетъ шептаться, при чемъ считаетъ на пальцахъ; по временамъ раздаются слова*: тысяча... тысяча... тысяча).

Бѣлугинъ. Эва, братъ Егоръ Иванычъ, сколь много нынче тысячъ-то развелось!

Скопищевъ *(вздыхая).* Намъ, братъ, съ тобою не дадутъ!

Бѣлугинъ. Инъ и впрямь торговлю бросать да и въ чиновники идти... оказія!

Налетовъ *(Хоробиткиной).* А скажите, пожалуйста, по вашему мнѣнію, какое чувство выше: любовь или дружба?

Хоробиткина. А вамъ какое до этого дѣло-съ?

Налетовъ. Да такъ; хотѣлось бы узнать, къ которому изъ двухъ чувствъ вы склоннѣе?

Хоробиткина. Какъ же можно сравнить-съ?

Налетовъ. То-есть, что же выше-то?

Хоробиткина. Ужъ разумѣется, дружба-съ.

Налетовъ. Почему же вы такъ полагаете?

Хоробиткина. Потому что любовь, извѣстно, одни пустяки-съ, такъ, мечтанье-съ.

Налетовъ. А мнѣ, напротивъ, кажется, что дружба мечтанье, а любовь существенное.

Хоробиткина. Ахъ, нѣтъ-съ! *(Напыщенно и впадая въ фистулу).* Влюбленный мужчина—это пожаръ-съ, другъ—это... это другъ-съ, одно слово! Влюбленный человѣкъ ни на какія жертвы не способенъ, а другъ—совсѣмъ напротивъ-съ.

Налетовъ. Нѣтъ, какъ хотите, а любовь все-таки слаще. Конечно, дружба имѣетъ достоинства—этого отнять нельзя;

но любовь... ахъ. это божественное чувство! (*Хочетъ обнять ее, но она выскользаетъ*).

Бѣлугинъ. Ишь ты!

Семенъ Малявка (*стоявшій до сихъ поръ смирно, вдругъ начинаетъ суетиться, махаетъ руками и обращается скороговоркою къ Домому*). Смотри, Пятруха, смотри! ишь ты! барышня-то! барышня-то! Ахъ ты, Господи! (*Но Домій хранитъ суровое молчаніе, а Сычъ моргаетъ глазами*).

Живновскій. Это, что называется, пришпорилъ.

Хоробиткина (*обижаясь*). Какой вы, однакожъ, дерзкій, графъ! (*Къ Малявкѣ*). Ну, а ты, мужикъ, чему обрадовался?

Налетовъ. Ну, полноте, я это такъ, въ порывѣ чувствъ... никакъ не могу совладѣть съ собою! Коли женщина мнѣ нравится, я весь тутъ... не обижайтесь, пожалуйста, будемте говорить, какъ друзья... Мы вѣдь друзья? а?

Хоробиткина (*тяжело дыша отъ волненія*). Право, графъ, я не знаю, какъ вамъ отвѣчать на ваши слова!.. Я бы желала знать, что они означаютъ?

Налетовъ (*тихо*). Вы гдѣ живете, душенька?

Хоробиткина (*такъ же и кобенясь*). Я живу съ мужемъ у Ѳедосьи Петровны... вдова такая есть...

Налетовъ. Слушаю-съ. (*Громко*). Ну, а какъ полагаете, кто можетъ сильнѣе чувствовать: мужчина или женщина?

Хоробиткина. Какъ же можно сравнить? Разумѣется, женщина-съ!

Налетовъ. Почему же вы такъ думаете?

Хоробиткина. Потому что женщина всѣ эти чувства безсравнительнѣе понимать можетъ... Ну, опять и то, что женщина, можно сказать, живетъ для одной любви, и, кажется, нѣтъ еще той пріятности, которою не пожертвовала бы женщина, которая очень сильно влюблена. (*Смотритъ томно на Налетова*).

Живновскій. Да. бабёночка-то, батюшка, хоть куда! Ишь какіе турусы подпускаетъ! Облупитъ она его! Шпфель облупитъ, и она тоже маху не дастъ — легокъ выѣдетъ молодецъ! (*За дверью слышится шумъ*). Шш!.. кажется, самъ идетъ... (*Становится въ позицію; Шумилова сморкается; Забіякинъ закладываетъ одну руку за пуговицы венерки, а въ другой держитъ прошеніе, стараясь принять видъ сколь можно любезный и развязный; Пафнутьевъ вздрагиваетъ и подается всѣмъ корпусомъ впередъ; Хоробиткина встаетъ и поправляетъ на груди выбившійся изъ-подъ платья шнурокъ; купцы и пейзане переминаются и вздыхаютъ*).

хаютъ; одинъ Налетовъ, развалившись, сидитъ на стулѣ. Картина. Однако тревога оказывается фальшивою, потому что, вмѣсто князя Чебылкина, въ дверяхъ появляется Леонидъ Сергѣичъ Разбитной).

СЦЕНА V.

Тѣ же и Разбитной.

Разбитной *(останавливаясь въ дверяхъ).* Кто меня здѣсь спрашивалъ?

Налетовъ *(поспѣшно вставая).* Ah! vous voilà, enfin, cher Леонидъ Сергѣичъ! charmé, charmé!

Разбитной *(подавая ему руку).* Такъ это вы меня спрашивали, мсьё Налетовъ! А мнѣ этотъ болванъ дежурный назвалъ какого-то Пролетаева! Mille pardons, что заставилъ васъ дожидаться... А я былъ занятъ... у насъ, знаете, князь—пренеутомимый старикашка! Все чтобы у него горѣло! Загонялъ совсѣмъ!

Живновскій *(выступая впередъ).* Губернія точно что, можно сказать, обширная; это не то что какое-нибудь нѣмецкое княжество, гдѣ плюнулъ, такъ ужъ въ другомъ царствѣ ногой растереть придется! Нѣтъ, тутъ надо-таки кой-что подумать *(вертитъ пальцемъ по лбу).*

Разбитной *(холодно осматривая Живновскаго, къ Налетову).* Ну, какъ у васъ тамъ, въ Черноборскѣ, поживаютъ? Какъ Желваковъ? Маремьянкинъ? Добрые, преданные старики! Особливо первый!

Живновскій. А позвольте узнать, объ какомъ Желваковѣ изволите говорить? У насъ былъ въ полку Желваковъ, лихой малый, такъ тотъ, кажется, опился... Можетъ-быть, это братъ его?

Разбитной *(смотря на него съ изумленіемъ, въ сторону).* Вотъ пристало! *(Громко).* Нѣтъ, это дѣдушка того Желвакова... *(Къ Налетову).* Et voici notre existence, mon cher! tous les jours nous sommes exposés aux sottes questions de ce tas de gens qui puent, mais qui puent... pouah!

Живновскій. Надо, надо будетъ скатать къ старику; мы съ Гордѣемъ душа въ душу жили... Однако, какъ же это? Вѣдь Гордѣю-то нынче было бы подъ пятьдесятъ — такъ неужто дѣдушка его до сихъ поръ на службѣ состоитъ? Вѣдь старику-то безъ малаго сто лѣтъ выходитъ. Впрочемъ, и то сказать, тогда народъ-то былъ какой: одрёный, коренастый! Не то что нынче...

Разбитной *(пожимая плечами, къ Налетову).* Князь сейчасъ долженъ выйти: у старика, знаете, изжога сдѣлалась— покушать онъ любитъ—такъ насилу дышитъ...

Налетовъ. Какой непріятный случай!

Разбитной. А онъ объ васъ очень помнитъ... какъ же! Часто, знаете, мы сидимъ en petit comité: я, князь, княжна и еще кто-нибудь изъ преданныхъ... и онъ всегда вспоминаетъ: «а помнишь ли, говоритъ, какіе мы ананасы ѣли у Налетова—вѣдь это, братецъ, чудо! А спаржа, говоритъ, просто непристойная!..» Препамятливый старикашка! А кстати, вы знакомы съ княжной?

Налетовъ. Какъ же-съ, какъ же-съ, имѣлъ удовольствіе быть ей представленнымъ.

Разбитной. Mais n'est-ce-pas, quelle charmante petite femme?

Налетовъ. Oh, tout-à-fait charmante!

Разбитной. Есть въ ней, знаете, эта простота, эта мягкость манеръ, эта женственность, это je ne sais quoi enfin, которое можетъ принадлежать только аристократической женщинѣ. *(Воодушевляясь).* Ну, посмотрите на другихъ нашихъ дамъ... вѣдь это просто совѣстно, вѣдь отъ нихъ чуть-чуть не коровьимъ масломъ воняетъ... Отъ этого я ни въ какомъ больше домѣ не бываю, кромѣ дома князя... Нѣтъ, какъ ни говорите, чистота крови—это ничѣмъ не замѣнимо...

Налетовъ. О, кто же въ этомъ сомнѣвается!

Разбитной. И при всемъ этомъ доброта! Во снѣ даже видитъ своихъ *милыхъ* бѣдныхъ... Согласитесь сами, въ наше время вѣдь это рѣдкость!

Налетовъ. О, безъ сомнѣнія!

Живновскій *(вступая въ разговоръ).* Вотъ вы изволили давеча выразиться объ ананасахъ... Нѣтъ, вотъ я въ Воронежѣ у купца Пазухина видѣлъ яблоки — ну, это точно что мое почтеніе! Клянусь честью, съ вашу голову каждое будетъ! *(Налетову).* Хотите, я сѣмечекъ для васъ выпишу? *(Налетовъ пожимаетъ плечами, а Разбитной смотритъ на Живновскаго, такъ сказать, въ упоръ).*

Разбитной *(къ Налетову).* А вы все по этому дѣлу... какъ, бишь, его?..

Налетовъ *(улыбаясь).* Да, объ этой дѣвкѣ... est-ce que ça vaut la peine d'en parler!

Разбитной. Д-да... eh bien, mon cher, je dois vous dire votre cause est perdue... Князь просто неумолимъ. Онъ у насъ, знаете, преупрямый старикъ, lorsqu'il s'agit de ces

choses... вы понимаете? Это очень, очень непріятно, а тѣмъ больше мнѣ, который до сихъ поръ помнитъ вашъ милый пріемъ въ вашемъ великолѣпномъ château... *(Жметъ ему руку).* А скажите, пожалуйста, не имѣете ли вы въ виду какой-нибудь belle châtelaine? а? Ну, тогда я вамъ за себя не ручаюсь... les femmes, voyez-vous, c'est mon faible et mon fort en même temps... безъ этого я существовать не могу... будемъ, будемъ васъ навѣщать!

Живновскій *(въ сторону).* Ну, этотъ соколъ, кажется, еще почище будетъ помѣщика.

Налетовъ *(сконфуженный).* Очень радъ, очень радъ... Только какъ же это? Вы говорите, что мое дѣло проиграно... стало-быть, знаете... Ахъ, извините, мысли мои мѣшаются... но, воля ваша, я не могу взять этого въ толкъ... какъ же это?.. Да нельзя ли какъ-нибудь *направить* дѣло?

Разбитной. Mais je vous dis, qu'il est inéxorable...

Живновскій *(въ сторону).* Облупитъ и этотъ!

Налетовъ. Но скажите сами, какъ же я вдругъ... нельзя же меня, какъ какого-нибудь послѣдняго каналью... нѣтъ, это невозможно!

Разбитной. Que voulez-vous? Мы употребляли всѣ мѣры... *(стучитъ по стѣнѣ).* Вотъ!

Налетовъ. Да нѣтъ, это невозможно! Я, извините меня, не понимаю, какъ вы это такъ говорите, Леонидъ Сергѣичъ! Я самъ служилъ, и слѣдовательно знаю, что нѣтъ такого дѣла, которое нельзя бы было *направить*... Нѣтъ, мнѣ самому нужно говорить съ княземъ, онъ пойметъ... да, онъ пойметъ, что я дворянинъ... у него русская душа... У меня было два свидѣтельства... *(начинаетъ горячиться).* Нѣтъ, вы не то чтобъ не могли, вы не *хотите* сдѣлать мнѣ снисхожденія! Я, наконецъ, малолѣтній былъ, когда это сдѣлалъ, мнѣ не было двадцати лѣтъ! Я сдѣлалъ это по глупости, по неопытности...

Разбитной. Ayez donc conscience, mon cher, вѣдь это случилось всего полгода тому назадъ — какое же тутъ малолѣтство!

Налетовъ *(не слушая его и все болѣе и болѣе разгорячаясь).* Наконецъ, это дѣло мнѣ денегъ стоило! Я это докажу! Что-жъ, въ самомъ дѣлѣ, развѣ ужъ правосудія добиться нельзя! Это, наконецъ, гнусно! Я жаловаться буду, я дворянинъ!

Живновскій *(Забіякину).* А вѣдь знаете, съ нимъ, въ самомъ дѣлѣ, свинство сдѣлали! Ну, взялъ—такъ удовлетворц

же! у-до-вле-тво-ри же, наконецъ! Нѣтъ, это ужъ, воля ваша, грабежъ! *(Забіякинъ поднимаетъ глаза къ небу).*

Разбитной. Tout ce que j'ai à vous conseiller d'abord, c'est de ne pas crier, parce que les cris, voyez-vous, ça ne vous mène à rien... Будете вы у Шифеля?

Налетовъ *(утихая).* Да, буду, онъ звалъ.

Разбитной. Приходите запросто, прямо къ обѣду... мы, знаете, люди нецеремонные, живемъ по-деревенски. Тамъ, можетъ-быть, и изыщемъ какіе-нибудь способы... Такъ придете?

Налетовъ *(повеселѣе).* Помилуйте, за величайшую для себя честь почту!

Живновскій *(Забіякину).* Облупитъ онъ его, жестоко облупитъ! *(Забіякинъ утвердительно киваетъ головой).*

Разбитной *(обращаясь къ Хоробиткиной).* Сударыня, позвольте узнать, въ чемъ заключается ваша просьба? *(Въ сторону).* А недурна, чортъ побери!

Хоробиткина. Помилуйте-съ, я не къ вамъ, а къ его сіятельству, господину князю-съ.

Разбитной. Дѣло въ томъ, сударыня, что князь любитъ, чтобы просители излагали свое дѣло *просто, ясно, безъ околичностей*... Слѣдовательно, это мой долгъ, моя обязанность, сударыня, просить всѣхъ заранѣе, чтобы князь не затруднялся... *(скороговоркою).* Сознайтесь сами, сударыня, вы можете заикаться, у другихъ бываетъ непріятная привычка жевать—я не про васъ это говорю, сударыня! Я, разумѣется, по долгу службы, обязанъ вынести всѣ эти непріятности, ну, а князь... Слѣдовательно, говорю я, въ подобномъ непріятномъ случаѣ, находясь, такъ сказать, при самой особѣ князя, я могу объяснить его сіятельству...

Бѣлугинъ *(въ сторону).* Ишь какъ гладко расписываетъ! *(Хоробиткина молчитъ).*

Разбитной *(любезно).* Позвольте, по крайней мѣрѣ, узнать вашъ чинъ, имя и фамилію! Сдѣлайте одолженіе, вы не конфузьтесь... мы не людоѣды, хотя чиновники вообще бываютъ мало любезны... однако, мы людей не ѣдимъ... *(вполголоса)* особенно такихъ хорошенькихъ...

Хоробиткина *(опуская глаза).* Жена канцелярпста, Анна Ивановна Хоробиткина.

Разбитной. Ну-съ, Анна Ивановна, такъ въ чемъ же состоитъ *наша* просьба?

Налетовъ *(окончательно повеселѣвъ).* Анну Ивановну мамаша обидѣла: имъ хотѣлось куколку, а она не купила.

Хоробиткина. Вы все смѣетесь, графъ!

Разбитной *(къ Налетову)*. Какъ, вы ужъ и въ графы попали! вотъ что значитъ дамскій кавалеръ! *(Хоробиткиной)*. Такъ въ чемъ же *наша* просьба, любезная Анна Ивановна?

Хоробиткина. Это секретъ-съ... *(Снова потупляетъ глаза)*.

Разбитной. Я долженъ вамъ сказать, милая Анна Ивановна, у князя нѣтъ секретовъ. Нашъ старикъ любитъ говорить à coeur ouvert... съ открытымъ сердцемъ — проклятый русскій языкъ! *(Вполголоса ей)*. И притомъ неужели вы отъ *меня* хотите имѣть секреты?

Хоробиткина. Нѣтъ-съ... я не могу... я должна объясниться передъ его сіятельствомъ.

Разбитной. Отчего же передъ княземъ, а не передо мной? Повѣрьте, милая Анна Ивановна, что я сумѣю вполнѣ оцѣнить...

Хоробиткина. Помилуйте, какъ же это можно-съ! Князь — особы семейныя-съ, они понимать это могутъ-съ...

Живновскій. Ну, должна же быть просьбица!

Дежурный чиновникъ *(стремительно вбѣгаетъ)*. Господа, князь идетъ! По мѣстамъ! *(Повторяется та же картина, что и въ предыдущей сценѣ. Воцаряется глубокое молчаніе. Входитъ князь, старикъ почтенной наружности, но вида скорѣе добраго, нежели умнаго; особенно замѣтно отсутствіе всякой проницательности. За нимъ, въ нѣкоторомъ отдаленіи, ковыляетъ Шифель)*.

СЦЕНА VI.

Тѣ же, князь Чебылкинъ и Шифель.

Князь Чебылкинъ *(Шифелю)*. Такъ ты полагаешь, милый, что это у нея нервное?

Шифель *(котораго все туловище находится сзади князя, а голова выдалась впередъ)*. Точно такъ-съ, ваше сіятельство, опаснаго тутъ ничего нѣтъ; двѣ-три пилюлечки въ день, и все какъ рукой сниметъ-съ.

Князь Чебылкинъ. Да ты у меня смотри, ты мнѣ за нее отвѣчаешь.

Шифель. Только я осмѣлюсь доложить вашему сіятельству, что ихъ сіятельство очень ужъ сильно преданы умственнымъ упражненіямъ... головка у нихъ очень занята-съ...

Князь Чебылкинъ *(улыбаясь нѣжно)*. Да; она у меня тово... не то что обыкновенная женщина...

Шифель. Какъ же, ваше сіятельство, можно! Это и по

сложенію видно! У другихъ натура крѣпкая, совершенно какъ топоромъ вырубленная, а у ихъ сіятельства сложеньице, можно сказать, самое легонькое, зефирное-съ... Да и ткани не тѣ-съ, ваше сіятельство!

Князь Чебылкинъ. Такъ ты думаешь, что усиленныя умственныя упражненія ей вредны?

Шифель. Точно такъ-съ, ваше сіятельство. Сами изволите знать, нынче весна-съ, солнце грѣетъ-съ... а если къ этому еще головка сильно работаетъ... Ваше сіятельство! наша наука, конечно, больше простыхъ людей имѣетъ въ виду, но нельзя, однакожъ, не согласиться, что всѣ знаменитые практики предписываютъ, въ весеннее время, моціонъ, моціонъ и моціонъ.

Князь Чебылкинъ. Н-да?

Шифель. Такъ, ваше сіятельство, прикажете мнѣ теперь отправиться домой?

Князь Чебылкинъ *(задумчиво)*. Н-да! Ну, поѣзжай, поѣзжай! Или вотъ что: ты ужъ сходи къ ней, скажи, что ей моціонъ необходимъ... а то меня-то она, пожалуй, не послушается... Скажи ей, что я самъ съ ней пойду пройтись...

Шифель. Слушаю-съ. *(Въ сторону)*. Ахъ, чтобъ тебя чортъ побралъ, безголовый старикашка! *(Уходитъ)*.

СЦЕНА VII.

Тѣ же, кромѣ Шифеля.

Налетовъ *(любезно расшаркиваясь передъ княземъ и округляя свои руки)*. Ваше сіятельство... mon prince... очень счастливъ, что имѣю честь засвидѣтельствовать вамъ свое почтеніе. *(Князь не можетъ припомнить)*. Налетовъ, черноборскій помѣщикъ... прошлое лѣто изволили еще осчастливить своимъ посѣщеніемъ...

Разбитной *(слѣдующій за княземъ шагъ за шагомъ)*. Ананасы большіе, ваше сіятельство!

Князь Чебылкинъ. Ахъ, да! очень радъ, очень радъ! Прекрасные, отличные ананасы... гдѣ, бишь, мы ихъ ѣли?

Разбитной. У господина Налетова, князь; вотъ онъ стоитъ предъ вами!

Князь Чебылкинъ. Ахъ, да! charmé! Налетовъ! Скажите, пожалуйста, знакомая что-то фамилія. Кажется, что-то было? *(Налетовъ раскрываетъ ротъ, но Разбитной дѣлаетъ ему жестъ)*. Разбитной! mon cher, не помнишь ли ты?

Разбитной. Никакъ нѣтъ, князь; такого дѣла у насъ никогда не бывало... по крайней мѣрѣ, я не припомню.

Бѣлугинъ *(въ сторону).* Когда, чай, припомнить... стрекулисты вы этакіе!

Князь Чебылкинъ. Ну, въ такомъ случаѣ, очень радъ, очень радъ познакомиться съ образованнымъ человѣкомъ. Ба! да, помнится, я ужъ знакомъ съ вами! Еще ананасы такіе прекрасные?

Разбитной *(въ сторону).* Ахъ ты, Господи! *(громко).* Да, это тотъ самый Налетовъ и есть, князь...

Князь Чебылкинъ. А! ну, очень хорошо! Прошу обѣдать! Княжна будетъ очень рада... elle s'ennuie, la pauvre enfant!

Налетовъ. Не позволите ли, mon prince, мнѣ теперь же засвидѣтельствовать почтеніе княжнѣ?

Князь Чебылкинъ. Что-жъ, очень радъ! она, кажется, принимаетъ! А меня ужъ извините, у меня есть священныя обязанности! Очень радъ! *(Налетовъ уходитъ).*

СЦЕНА VIII.

Тѣ-же, кромѣ Налетова.

Князь Чебылкинъ. А, кажется, онъ порядочный молодой человѣкъ! И смирный! Нынче молодые люди все дерзкіе, вольнодумцы... а этотъ, какъ, бишь, его?

Разбитной. Налетовъ, князь.

Князь Чебылкинъ. Ну, да, Налетовъ... Онъ, кажется, смирный?

Разбитной. Отличный молодой человѣкъ, князь. И въ какомъ порядкѣ у него имѣніе!

Князь Чебылкинъ. А! въ порядкѣ! Ну, это хорошо! Порядокъ во всякомъ устроенномъ обществѣ главное; потому-то такія общества и называются *благо*-устроенными... *(Вздыхаетъ. Подходя къ Хоробиткиной).* Ну, сударыня, что вамъ угодно?

Хоробиткина *(исполняясь возвышенными чувствами).* Князь, я пришла просить вашей защиты! Если вы не защитите меня, то я погибшая женщина!

Князь Чебылкинъ *(Разбитному).* Qu'est-ce qu'elle dit donc, qu'est-ce qu'elle dit? est-ce que c'est une femme perdue, par exemple?

Разбитной. Она говоритъ, что ее обижаютъ, князь, что она погибнетъ, если вы ее не защитите. *(Къ Хоробитки-*

ной). Извольте объяснить ваше дѣло *прямо, ясно, безъ околичностей.*

Князь Чебылкинъ. Ну-съ, сударыня?

Хоробиткина. Мужъ мой, канцелярскій чиновникъ Хоробиткинъ, имѣющій счастье служить подъ высокимъ начальствомъ вашего сіятельства, поступаетъ со мной... *(Останавливается).*

Живновскій *(тихо Забіякину).* Каково баба-то рѣжетъ! а? Хотя бы нашему брату такъ объясниться!

Князь Чебылкинъ. Уховерткинъ! Я что-то такого не помню. Продолжайте, сударыня.

Хоробиткина *(потупляя глаза).* Позвольте, князь, просить у васъ секретнаго разговора-съ...

Князь Чебылкинъ *(Разбитному).* Qu'est-ce qu'elle a donc, cette femme?

Разбитной. Elle vous demande un entretien particulier.

Князь Чебылкинъ. Зачѣмъ же, душенька, намъ секретничать? У меня, душенька, секретовъ нѣтъ съ просителями... и я, наконецъ, не вижу никакой надобности... и зачѣмъ вы, душенька, такъ одѣлись? Вамъ, должно-быть, холодно?

Хоробиткина. Ваше сіятельство! я не могу изъявить передъ цѣлымъ свѣтомъ мой стыдъ... потому что я опозорена, ваше сіятельство, я несчастнѣйшая изъ женщинъ!

Князь Чебылкинъ. Въ чемъ же дѣло, сударыня?

Хоробиткина. Ваше сіятельство! довольно, если я вамъ осмѣлюсь доложить, что мужъ мой... но нѣтъ-съ, я не могу это выговорить-съ.

Живновскій *(вполголоса Забіякину).* А! понимаю! стало-быть... *(Шепчетъ Забіякину на ухо. Пафнутьевъ, прислушивавшійся къ ихъ разговору, неожиданно фыркаетъ; князь обращаетъ взоры въ ту сторону).*

Князь Чебылкинъ. Кажется, кто-то изъ васъ, господа, забываетъ, что просителю слѣдуетъ вести себя скромно. *(Къ Хоробиткиной).* Что-жъ такое дѣлаетъ мужъ вашъ, сударыня? *(Пафнутьевъ опять фыркаетъ).* Господа, я долженъ буду приказать вывести нарушителя тишины!.. Продолжайте, сударыня.

Хоробиткина. Нѣтъ, князь, вы защитите меня! Вы позвольте мнѣ объясниться передъ вами секретно!

Князь Чебылкинъ. Извольте, сударыня, извольте. Снисходя на вашу просьбу, я согласенъ васъ выслушать. Я не могу потакать злоупотребленіямъ, даже супружескимъ, я люблю правду... *(Усиливъ голосъ).* Я васъ выслушаю, сударыня,

приходите завтра утромъ. *(Хоробинкина присѣдаетъ. Князь обращается къ вдовѣ Шумиловой).* Ну-съ, а вы, сударыня?

Шумилова *(внезапно заливается цѣлымъ потокомъ слезъ, прерывающимся голосомъ).* Вдова, батюшка, ваше сіятельство, вдова, коллежская секретарша Шумилова... защитите вы насъ, бѣдныхъ сиротъ...

Князь Чебылкинъ *(Разбитному).* Je crois que c'est du ressort de la princesse?

Разбитной. Вы о пособіи, что ли, просите?

Шумилова. Ой, батюшка, ваше благородіе...

Разбитной. Обращайтесь къ князю, сударыня.

Шумилова. Батюшка, ваше сіятельство! хорошо, кабы пособіе-то... да нѣтъ ужъ моей моченьки, ваше сіятельство! Сироты больно одолѣли... Моченьки-то моей нѣтъ!

Князь Чебылкинъ. Что-жъ вамъ угодно, сударыня?

Шумилова. Да я насчетъ дому-то... домишко, ваше сіятельство, старый... такъ, развалящій отъ покойника остался. Ну, вотъ только приходятъ вчерась землемѣры... *(Заливается).* Тутъ, говорятъ, какую-то линію вести надо... Ой, батюшки!

Князь Чебылкинъ. Землемѣры, сударыня... это слѣдуетъ по закону... *(Разбитному).* Expliquez-lui.

Разбитной. Вашъ домъ, вѣрно, не на мѣстѣ стоитъ, сударыня?

Шумилова. Какъ не на мѣстѣ! На мѣстѣ, ваше сіятельство, на землѣ стоитъ... и дѣдушки, и прадѣдушки наши такъ владѣли... Какъ не на мѣстѣ!

Разбитной. То-есть, я хотѣлъ сказать, что вашъ домъ не на плановомъ мѣстѣ выстроенъ?

Шумилова. Помилуйте, ваше благородіе...

Разбитной. Обращайтесь къ князю, вамъ говорятъ!

Шумилова. Помилуйте, ваше сіятельство, вѣдь еще наши дѣдушки домъ-отъ строили... Какъ не на мѣстѣ?

Разбитной. Стало-быть, не на мѣстѣ, если землемѣры говорятъ, что черезъ него линію вести надобно.

Шумилова. Помилуйте, ваше благ... ваше сіятельство, да какъ же это возможно, чтобъ черезъ живого человѣка линію вести... просто, зубоскалятъ они... два рублика серебромъ просятъ... *(Заливается).*

Разбитной. Она ничего не понимаетъ, ваше сіятельство.

Князь Чебылкинъ *(строго).* Не хорошо, сударыня, не хорошо! Прежде нежели рѣшаться утруждать начальство, надо вникнуть въ предметъ... Не хорошо-съ... *(Переходитъ мимо*

купцовъ и крестьянъ на другую сторону зала, гдѣ стоятъ благородные просители. Купцы и крестьяне вздыхаютъ).

Шумилова *(плача).* Господи! что-жъ это такое съ нами будетъ!

Живновскій *(не переведя духа и безъ знаковъ препинанія).* Ваше сіятельство! наслышавшись столько о необыкновенныхъ качествахъ души вашего сіятельства и имѣя твердое намѣреніе по мѣрѣ моихъ силъ и способностей быть полезнымъ Престолъ-Отечеству, я не смѣлъ бы утруждать ваше сіятельство моей покорнѣйшей просьбой, если-бъ не имѣлъ полной надежды оправдать лестное для меня довѣріе. *(Переводя духъ).* Проходя службу два года и три мѣсяца въ Бѣлобородовскомъ гусарскомъ полку въ чинѣ корнета, уволенъ изъ онаго по домашнимъ обстоятельствамъ и смерти единственной родительницы въ чинѣ подпоручика и скитаясь послѣ того какъ птица небесная гдѣ день, гдѣ ночь, возымѣлъ желаніе отдохнуть въ трудахъ служебныхъ... *(Выставляетъ ногу впередъ и начинаетъ декламировать).* Ваше сіятельство! благородной душѣ вашей будетъ понятна жажда дѣятельности, согрѣвающая душу благороднаго дворянина! Вы сами дворянинъ, ваше сіятельство! Вы, слѣдовательно, сами изволите понять, сколь великія обязанности возложены самою природой на это сословіе! Будучи дворяниномъ, нельзя не служить! Скажу болѣе: не служить, будучи дворяниномъ — это величайшая, постыднѣйшая неблагодарность противъ Престолъ-Отечества!

Князь Чебылкинъ *(Разбитному).* Mais il n'est pas bête cet homme! *(Живновскому).* Отчего же вы такъ долго собирались вступить на службу?

Живновскій. Ваше сіятельство! заблудшая овца, и въ Писаніи сказано, дороже...

Князь Чебылкинъ. То-есть кающаяся, хотите вы сказать?

Живновскій. Точно такъ, ваше сіятельство.

Князь Чебылкинъ. Очень радъ, очень радъ... мнѣ люди нужны, я ищу людей...

Живновскій. Рады стараться, ваше сіятельство!

Князь Чебылкинъ. Очень радъ, очень радъ. Подайте просьбу.

Живновскій *(вынимая сложенную бумагу, торчавшую между разстегнутыхъ пуговицъ сюртука).* Позвольте вручить, ваше сіятельство! *(Князь беретъ и хочетъ удалиться).*

Разбитной *(смотря проницательно на Живновскаго).* По-

звольте, ваше сіятельство! Господинъ Живновскій, вы бывали подъ судомъ?

Живновскій *(смущаясь)*. Какъ подъ судомъ?

Разбитной. Ну, да, подъ судомъ, подъ уголовнымъ судомъ, обыкновенно какой судъ бываетъ!

Живновскій. Былъ-съ.

Разбитной. Бывшихъ подъ судомъ дозволяется опредѣлять только подъ личною отвѣтственностью, князь.

Князь Чебылкинъ *(Живновскому)*. Какъ же вы, любезный другъ, идете просить мѣста? Вѣдь вы знаете законъ? Нѣтъ, вы мнѣ скажите, знаете ли вы законъ?

Живновскій. Помилуйте, ваше сіятельство, если-бъ вамъ извѣстно было, за какія дѣла я подъ судомъ находился — самые пустяки-съ! Можно сказать, вслѣдствіе благородства своихъ чувствъ, какъ не могу стерпѣть, чтобъ мнѣ кто-нибудь на ногу наступилъ...

Князь Чебылкинъ. Вотъ видите, любезный другъ, сталобыть, въ васъ строптивость есть, а въ службѣ первое дѣло — дисциплина! Очень жаль, очень жаль, мой любезный, а вы мнѣ по наружности понравились...

Живновскій. Да помилуйте же, ваше сіятельство!

Князь Чебылкинъ. Нельзя, любезный другъ, нельзя. *(Подходитъ къ Забіякину. Сухо)*. Ну, вы съ чѣмъ еще?

Живновскій *(въ сторону)*. Не вывезла кривая! *(Задумывается и, опустивши голову, начинаетъ кусать усы)*.

Забіякинъ. Я, ваше сіятельство, о личной обидѣ.

Разбитной. На это полицеймейстеръ есть, князь.

Князь Чебылкинъ. Ну, да, полицеймейстеръ... обратитесь къ нему, онъ васъ разберетъ. *(Хочетъ удалиться)*.

Забіякинъ. Князь, позвольте! князь! и безъ того я угнетенъ уже судьбою! и безъ того я, такъ-сказать, уподобился червю, котораго можетъ всякая хищная птица клевать... Конечно, противъ обстоятельствъ спорить нельзя, потому что и Даніилъ былъ ввергенъ въ ровъ львиный, но вѣдь я погибаю, князь, я погибаю!

Разбитной. Ну, васъ и спасетъ полицеймейстеръ!

Живновскій *(въ сторону, задумчиво)*. Вѣдь тысячи полторы верстъ откаталъ, чортъ возьми!

Забіякинъ. Ваше сіятельство изволите говорить: полицеймейстеръ! Но неужели же я до такой степени незнакомъ съ законами, что осмѣлился бы утруждать васъ, не обратившись прежде съ покорнѣйшею моею просьбой къ господину полицеймейстеру! Но онъ не внялъ моему голосу,

князь, онъ не внялъ голосу оскорбленной души дворянина... Я — старый слуга отечества, князь, я, можетъ-быть, нѣсколько рѣзокъ въ моей откровенности, князь, а потому не имѣю счастія нравиться господину Кранихгартену... я не имѣю утонченныхъ манеръ, князь...

Князь Чебылкинъ *(нетерпѣливо)*. Къ дѣлу, сударь, къ дѣлу!

Забіякинъ. Вчерашняго числа, въ третьемъ часу пополудни, шедши я съ отставными чиновниками: Павломъ Иванычемъ Техоцкимъ и Дмитріемъ Николаичемъ Подгоняйчиковымъ по Милліонной улицѣ для прогулки, встрѣтили мы сосланнаго сюда подъ надзоръ на жительство, за обманы и мошенничество, еврея Гиршеля. Какъ передъ Богомъ, такъ и передъ вашимъ сіятельствомъ объясняюсь, что ни я, ни товарищи мои не подали къ тому ни малѣйшаго повода, потому что мы шли, разговаривая тихимъ манеромъ, какъ приличествуетъ мирнымъ гражданамъ, любящимъ свое отечество... Но Гиршель, проходя мимо, не внялъ долгу совѣсти и словамъ закона, повелѣвающаго оставлять мирнымъ гражданамъ безпрепятственно предаваться невиннымъ занятіямъ, и, тая на меня злобу, посмотрѣлъ на нашу сторону и *презрительно* улыбнулся. Конечно, князь, другой на моемъ мѣстѣ, какъ благородный человѣкъ, произвелъ бы тутъ дебоширство, но я усмирилъ волненіе негодующаго сердца и положилъ всю надежду на Бога... Однимъ словомъ, князь, я, какъ благородный человѣкъ, только засвидѣтельствовалъ дерзость презрѣннаго еврея и...

Разбитной. Ну, вотъ видите, о какихъ пустякахъ вы утруждаете его сіятельство!

Князь Чебылкинъ *(Разбитному)*. Calmez-vous, mon cher, calmez-vous... lorsqu'on est haut placé, il faut bien boire le calice...

Забіякинъ. Вотъ вы изволите говорить, Леонидъ Сергѣичъ, что это пустяки... Конечно, для васъ это вещь не важная! Вы въ счастьи, Леонидъ Сергѣичъ, вы въ почестяхъ! Но у меня осталось только одно достояніе—это честь моя! Неужели же и ее, неужели же и ее хотятъ у меня отнять! О, это было бы такъ грустно думать!

Разбитной. Пожалуйста, объясняйте князю, не впутывая посторонніхъ обстоятельствъ!

Забіякинъ. Это не постороннее обстоятельство, Леонидъ Сергѣичъ... *(Строго и закусывая нижнюю губу, какъ бы желая удержать рыданія)*. Это... честь моя!

Князь Чебылкинъ. Дальше, сударь, дальше!

Забіякинъ. Засвидѣтельствовавъ, какъ я сказалъ, нанесенное мнѣ оскорбленіе, я пошелъ къ господину полицей-мейстеру... Вѣрьте, князь, что не будь я дворянинъ, не будь я, можно сказать, связанъ этимъ званіемъ, я презрѣлъ бы все это... Но, какъ дворянинъ, я не принадлежу себѣ и въ нанесенномъ мнѣ оскорбленіи вижу оскорбленіе благороднаго сословія, къ которому имѣю счастіе принадлежать! Я слишкомъ хорошо помню стихи старика Державина:

Собой примѣръ онъ долженъ дать,
Что званіе его священно...

И что-жъ? господинъ Кранихгартенъ не только не принялъ моей просьбы, но меня же еще осмѣлился назвать шаверой!

Князь Чебылкинъ. У васъ это, вѣроятно, все на бумагѣ написано?

Забіякинъ. Какъ же-съ, ваше сіятельство... *(Подаетъ прошеніе).*

Князь Чебылкинъ. Разберемъ, сударь, разберемъ. *(Передаетъ бумагу Разбитному. — Подходя къ Пафнутьеву).* А! почтенный ветеранъ! *(Но Пафнутьевъ, къ общему удивленію, вѣроятно вспомнивъ о госпожѣ Хоробиткиной и ея мужѣ, вмѣсто объясненія своего дѣла, внезапно фыркаетъ).* Милостивый государь! вы, кажется, забыли, гдѣ вы находитесь? *(Вырываетъ изъ рукъ его просьбу и отдаетъ ее Разбитному).* Извольте, сударь, идти! *(Пафнутьевъ уходитъ; князь вслѣдъ ему).* Вы гдѣ потеряли руку? *(Пафнутьевъ останавливается, но, вмѣсто отвѣта, опять фыркаетъ).* Вонъ!

Живновскій. Смѣшливый часъ нашелъ-съ!

Князь Чебылкинъ *(Разбитному).* Подите, mon cher, узнайте, гдѣ этотъ почтенный ветеранъ руку потерялъ. *(Разбитной выходитъ. Къ Бѣлугину).* Ну, ты что?

Бѣлугинъ. А вотъ, ваше сіятельство, такое у насъ случилось дѣло, что даже не привидано...

Разбитной *(возвращаясь).* На охотѣ съ лошади упалъ, князь! *(Общій смѣхъ).*

Бѣлугинъ. Затѣялъ я этта, ваше сіятельство, строиться. Что-жъ, думаю, и въ городу украшеніе, ну, и намъ тоже съ старухой поваляться гдѣ будетъ... Палаты затѣяли каменныя-съ, и плантъ свои преставили... Только вотъ, сударь, чудо какое у насъ тутъ вышло: чиновникъ тутъ — искусственникъ, что ли, онъ прозывается—«плантъ, говоритъ, у тебя не какъ слѣдственно ему быть надлежитъ».—

А какъ, молъ, сударь, по-вашему будетъ?—«А вотъ, говоритъ, какъ: тутъ у тебя, говоритъ, примѣрно, залъ состоитъ, такъ тутъ, выходитъ, слѣдуетъ... съ позволенія сказать...» И такъ, сударь, весь плантъ сконфузилъ, что просто, выходитъ, жить невозможно будетъ.

Князь Чебылкинъ. Какъ же это? Я что-то не понимаю...

Бѣлугинъ. Да и мы, ваше сіятельство, пытались объ этомъ толковать... просто умопостиженье выходитъ!

Разбитной. Сколько я могу понимать, князь, его планъ составленъ несогласно съ правилами по искусственной части...

Бѣлугинъ. И онъ то же говорилъ, чиновникъ-то! Да помилосердуйте же, батюшки вы наши! Вѣдь это, значитъ, жить невозможно будетъ... я матеріалы припасъ...

Князь Чебылкинъ *(Разбитному).* Expliquez-lui!

Разбитной. Если тебѣ архитекторъ сказалъ, что планъ твой сдѣланъ не по правиламъ, стало-быть, надо сдѣлать другой планъ.

Бѣлугинъ. Помилосердуйте, ваше сіятельство!

Князь Чебылкинъ. Нельзя, любезный, нельзя... Ты слышалъ, закона нѣтъ! *(Подходитъ къ Скопищеву).* Ты зачѣмъ?

Бѣлугинъ *(въ сторону).* Вотъ тебѣ и резолюція!

Скопищевъ *(вздыхаетъ).* Я все насчетъ того дѣла...

Князь Чебылкинъ. Нельзя, братецъ, нельзя...

Скопищевъ *(вздыхаетъ).* Охъ, я бы еще полтинничекъ спустилъ.

Князь Чебылкинъ. Нельзя, любезный другъ; законъ прямо говоритъ... нельзя!

Скопищевъ. Для насъ бы подрядъ-то это ужъ оченно сподрученъ...

Разбитной. Русскій человѣкъ, князь, заднимъ умомъ крѣпокъ.

Скопищевъ *(вздыхая).* Кто-жъ его душу зналъ, что онъ послѣ торговъ станетъ... Я бы, ваше сіятельство, и еще полтинничекъ скинулъ...

Разбитной. Ваше сіятельство! съ нимъ говорить—только время тратить. *(Скопищевъ вздыхаетъ. Разбитной подходитъ къ Долгому; князь безпрекословно слѣдуетъ за нимъ).*

Князь Чебылкинъ. Ну, ты что?

Долгій *(мрачно и отрывисто).* Писарь дерется, ваше благородіе!

Князь Чебылкинъ. Ну, такъ что-жъ? Стало-быть, ты стоишь этого, любезный другъ.

Долгій. Стою не стою, а въ законахъ того не написано, чтобы драться.

Князь Чебылкинъ. За что-жъ онъ, любезный? *(Къ Разбитному).* Nous allons rire...

Долгій. А вотъ за что! Идемъ мы, слышь ты, этта съ Обрамомъ по улицѣ... Ну, ничего! Только идемъ мы это, и началъ меня вдругъ Обрамъ обзывать: и такой-то ты, и сякой-то ты... Только я ему говорю: — Обрамъ, молъ, Сергѣичъ, за что, молъ, вы меня обзываете?—А онъ меня по зубамъ: «Я, говоритъ, что хочу, надъ тобой издѣлаю»... Только я отъ него побѣгъ къ писарю: — Иванъ Павлычъ, говорю, за что, молъ, Обрамъ Сергѣичъ меня искровянилъ? А писарь-то — ужъ почудилось ему, что ли, что-нибудь! — какъ размахнется, да и ну меня по зубамъ лущить... Такъ что-жъ это у насъ за порядки будутъ!

Разбитной. Что-жъ ты не жаловался по начальству?

Долгій. А кому жалиться-то? Ужъ сдѣлайте ваше распоряженіе, прикажите мнѣ Обрамкѣ сдачи дать!

Князь Чебылкинъ. Хорошо, любезный, хорошо; мы обсудимъ! *(Подходитъ къ Малявкѣ).* Ну, ты?

Малявка. А я, ваше сіятельство, о коровѣ *(вздыхаетъ)*... Была, то-есть, у насъ буренькая коровушка, такая ли, слышь, гладкая да смирная...

Разбитной. Объясняй безъ околичностей!

Малявка. Ну, вотъ я и говорю, то-есть, хозяйкѣ-то своей: смотри, молъ, Матренушка, какая у насъ буренушка-то гладкая стала! Ну; и ничего опять, на томъ и стали, что больно ужъ коровушка-то хороша. Только на другой же день забѣгаетъ къ намъ это сотскій. «Ступай, говоритъ, Семенъ: *баринъ* *) на станъ требуетъ». Ну, мы еще и въ ту нору съ хозяйкой маленько посумнились: почто, молъ, становому на станъ меня требовать!

Князь Чебылкинъ. Да ты, любезный, не мажь...

Малявка. Только прихожу я это на станъ, а баринъ въ ту пору и зачалъ мнѣ говорить: «Семенушка, говоритъ, коровушка у тебя моей супружницѣ оченно понравилась, такъ вотъ, говоритъ, тебѣ цѣлковый, будто на пѣнное; приводи, говоритъ, коровушку завтра на станъ»... *(За дверями слышится шумъ и раздаются голоса. Входятъ: княжна, Шифель и Налетовъ; Живновскій и Забіякинъ стараются принять граціозныя позы).*

---

*) Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ крестьяне называютъ станового приставa *барином*.

СЦЕНА IX.

Тѣ же, княжна, Шифель и Налетовъ.

Налетовъ. Vous me permettez de vous accompagner, princesse?

Княжна. Mais oui... Папа, скоро?..

Князь Чебылкинъ. Сейчасъ, ma chère, сейчасъ кончимъ. *(Налетовъ вставляетъ стеклышко и смотритъ гордо на просителей).*

Малявка. Только я ему говорю: помилосердуйте, молъ, Яковъ Николаичъ! Какъ же, молъ, это возможно за цѣлковый коровушку продать! У насъ, молъ, только и радости! Ну, онъ туточка только посмѣялся: «ладно», говоритъ... А на другой, сударь, день и увелъ нашу коровушку на станъ! *(Плачетъ).*

Княжна *(томно).* Pauvres gens!

Князь Чебылкинъ. Хорошо, любезный, не плачь! Твоя корова будетъ тебѣ возвращена!

Княжна *(подбѣгая къ князю).* Папа, сдѣлаемъ подписку въ пользу этого бѣднаго семейства!

Налетовъ. Quel coeur!

Князь Чебылкинъ. Хорошо, хорошо, моя Антигона! Бери его въ свое распоряженіе... Тутъ есть еще бѣдная женщина. *(Показываетъ Шумилову).*

Малявка *(внезапно повеселѣвъ).* Когда-жъ за деньгами-то приходить нужно?

Княжна. Quelle naïveté!

Князь Чебылкинъ *(подходя къ Сычу).* Ты зачѣмъ? *(Сычъ молчитъ и только усиленно моргаетъ глазами).* Ты говори, любезный, не бойся! Ты представь себѣ, что предъ тобою не князь, а твой добрый староста...

Шифель. Ангелъ, а не человѣкъ!

Князь Чебылкинъ. Говори же, мой другъ! *(Сычъ, однакожъ, продолжаетъ упорно молчать).*

Разбитной. Говори же, любезный!

Малявка *(толкая Сыча въ бокъ).* Сказывай же, сказывай, дядя Лексѣй! *(Всѣ усилія остаются тщетными).*

Князь Чебылкинъ *(Разбитному).* Велите его разспросить вамъ. *(Къ просителямъ).* Прощайте, господа!.. Ну, кажется, теперь я всѣхъ удовлетворилъ!

(Занавѣсъ опускается).

Выгодная женитьба.

СЦЕНА I.

Театръ представляетъ комнату весьма бѣдную: по стѣнамъ поставлено нѣсколько стульевъ подъ красное дерево, съ подушками, обтянутыми простымъ холстомъ. Въ простѣнкѣ между двумя окнами — столъ, на которомъ разбросаны бумаги. У одной стѣны неубранная кровать. Вообще, убранство и порядокъ комнаты обнаруживаютъ въ жильцѣ ея отсутствіе всякаго стремленія къ чистотѣ и опрятности.

Дерновъ. Долго-таки заставилъ онъ меня дожидаться: съ часъ времени проморилъ въ передней. Потомъ выходитъ, да безъ парика и безъ зубовъ, въ какой-то полосатой поддёвочкѣ — и не узналъ я его совсѣмъ. «Ну, что-жъ, говоритъ, жениться, что ли, хочешь?»—Точно такъ-съ, говорю я, коли будетъ отъ вашего высокородія милость, разрѣшите. А онъ мнѣ: «У меня, братецъ, на этотъ счетъ своя идея есть: вамъ, подьячимъ, безъ крайней надобности жениться не слѣдуетъ».—Сдѣлайте, говорю, ваше высокородіе, такую милость! Кабы не крайность моя, я бы и утруждать не осмѣлился.—«А что за невѣстой даютъ?»—Пять платьевъ, да два монто, одно лѣтнее, другое зимнее; изъ бѣлья тоже все какъ слѣдуетъ, самоваръ-съ; насъ съ женой на свой коштъ годъ содержать будутъ, ну, и мнѣ тоже пару фрашную, да пару сюртушную.—«А изъ денегъ: ничего?»—Ничего, говорю. — «Ну, такъ и нѣтъ тебѣ разрѣшенья; вы, говоритъ, подьячіе, всѣ таковы: чуть попалъ въ столоначальники, ужъ и норовитъ икру метать. Вашего крапивнаго сѣмени столько развелось, что дѣваться некуда». Я было ротъ разинулъ, чтобъ еще попросить, такъ куда тебѣ! Повернулъ спину, да и былъ таковъ.

Гирбасовъ. Что же ты намѣренъ теперь съ этимъ дѣлать, Саша?

Дерновъ. А ужъ, право, и самъ не знаю. Пойду завтра къ Порфирію Петровичу, паду имъ въ ноги: пусть что хотятъ со мной дѣлаютъ, а безъ женитьбы мнѣ невозможно.

Гирбасовъ. Да, безъ жены какая же жизнь! *(Нѣсколько секундъ молчанія).*

Дерновъ. Ты посуди самъ: вѣдь я у нихъ безъ малаго цѣлый мѣсяцъ всѣмъ какъ есть продовольствуюсь: и обѣдъ, и чай, и ужинъ—все отъ нихъ; намеднись вотъ на жилетку подарили, а меня угораздила нелегкая ее щами залить; къ свадьбѣ тоже все приготовили и сукна купили—не продавать же! На той недѣлѣ и то Вѣра Панкратьевна, ста-

руха-то, говоритъ: «ты у меня смотри, Александра Александрычъ, на попятный не вздумай! Я, говоритъ, такой счетъ въ правленье представлю, что угоришь!» Вотъ оно и выходитъ, что теперича все одно: женись—отъ начальства на тебя злоба, изъ службы, пожалуй, выгонятъ; не женись—въ долгу неоплатномъ будешь, каждый обѣдъ изъ тебя тремя обѣдами выйдетъ, да чего и во снѣ-то не видалъ, пожалуй, въ счетъ понапишутъ. Нѣтъ, ужъ воля начальства, а не жениться мнѣ никакъ нельзя—все одно, что въ петлю лѣзть.

Гирбасовъ. Ну, а у Якова Астафьича былъ?

Дерновъ. Былъ.

Гирбасовъ. Что-жъ онъ?

Дерновъ. Да что онъ! Мычитъ, да и все тутъ. Я ему говорю: помилуйте, Яковъ Астафьичъ, вѣдь вы мои прямые начальники!—«И, братецъ, говоритъ: какой я начальникъ!..» Такая, право, слякоть! *(Молчаніе).*

Дерновъ. И вѣдь все-то онъ этакъ! Тамъ ошибка какая ни-на-есть выдетъ: справка неполна, или законовъ нѣтъ приличныхъ—ругаютъ тебя, ругаютъ, — кажется, и жизни не радъ; а онъ туда же, въ отдѣленіе изъ присутствія выдетъ, да тоже начнетъ тебѣ надоѣдать: «вотъ, говоритъ, все-то вы меня подъ непріятности подводите». Даже тошно смотрѣть на него. А станешь ему, съ досады, говорить: что же, молъ, вы сами-то, Яковъ Астафьичъ, не смотрите?—«Да гдѣ ужъ мнѣ, — говоритъ: — я, говоритъ, человѣкъ старый, слабый!» Вотъ и поди съ нимъ!

Гирбасовъ. Да, ужъ съ этакимъ начальникомъ маяться не дай Господи! Вотъ и у насъ предсѣдатель такой былъ: сядетъ, бывало, въ карты играть—ступить не умѣетъ. Съ короля козырять начнетъ, а у партнера тузъ-отъ бланкъ—вотъ и взъѣстся на него партнеръ, особливо если Порфирій Петровичъ. «Вы, говоритъ, ваше превосходительство, въ карты лапти изволите плесть; гдѣ же это видано, чтобъ съ короля козырять, когда у меня тузъ одинъ!» А онъ только ёжится да приговариваетъ: «А почемъ же я зналъ!» А что тутъ «почемъ зналъ», когда всякому видимо, какъ Порфирій Петровичъ съ самаго начала покрякивалъ въ знакъ одиночества... Ну, а кто у тебя въ посажёныхъ будетъ?

Дерновъ. А, право, не знаю. Вотъ старуха говоритъ, чтобъ, по крайности, Якова Астафьича. Оно, коли хочешь, и дѣло, потому что онъ все-таки прямой начальникъ; ну,

а знаешь ты самъ, какъ онъ въ ту пору Чернищеву отвѣчалъ, какъ тотъ его къ своей дочери въ посаженые звалъ? «Я, говоритъ, человѣкъ не общественный, дикій, словесности не имѣю, ни у кого не бываю; деньги у меня, конечно, есть, да вѣдь это на черный день—было бы съ чѣмъ и глаза закрыть. Вотъ, говоритъ, намеднись сестра пишетъ, корова тамъ у нея пала—пять цѣлковыхъ послалъ; тамъ братъ, что въ священникахъ, погорѣлъ — тому двадцать пять послалъ; нѣтъ, нѣтъ, братъ, лучше и не проси!» Съ тѣмъ Чернищевъ-то и отъѣхалъ. Одно слово, дрянь — дрянь и есть. Господи! у другихъ начальники какъ начальники, а у насъ, что̀ называется, ни кожи, ни рожи. Я ужъ удумалъ къ Порфирію Петровичу.

Гирбасовъ. А не пойдетъ Порфирій Петровичъ — градского голову за бока тащи!

Дерновъ. И то правда. Да что̀, братъ! нонче ужъ и они рыло воротить стали. Только слава, что столоначальники, а хошь бы одна-те свинья головой сахару поклонилась: насъ, молъ, Ѳедоръ Герасимычъ защититъ, онъ нашъ по всей губерніи купечеству сродственникъ и благопріятель. Намеднись къ откупщику посылалъ, чтобъ, по крайности, хошь ведро водки отпустилъ, такъ куда тебѣ: «У насъ, говоритъ, до правленья и касательства никакого нѣтъ, а вотъ, говоритъ, развѣ бутылку пива на бѣдность»... Такая, право, бестія! Не знаешь, какъ тутъ и быть — такія времена настали. Начальство не то чтобъ тебя защитить, а еще пуще крапивнымъ сѣменемъ обзываетъ; жалованье на сапоги все изведешь, а работы-то словно на каторгѣ. Ужъ и подлинно, должно-быть, насъ ровно блохъ развелось. Выгоняютъ-выгоняютъ нашего брата, выгоняютъ, кажется, такъ, что и мѣста нигдѣ не найдешь, а смотришь: все-таки мѣсто свято пусто не будетъ; куда! на одно-то мѣсто человѣкъ двадцать лѣзетъ.

Гирбасовъ. Да, большую ловкость нужно имѣть, чтобъ нонче нашему брату на свѣтѣ вѣкъ изжить. Въ старые годы этой эквилибристики-то и знать не хотѣли.

Дерновъ. Вотъ хоть бы про столоначальника! Ты думаешь, задаромъ мнѣ это мѣсто досталось? Какъ бы не такъ! Иду я это къ секретарю, говорю ему:—Иванъ Иванычъ! состоя на службѣ пятнадцать лѣтъ, я хоша не имѣю ни жены, ни дѣтей, но будучи, такъ сказать, обуреваемъ... осмѣливаюсь... ну, и такъ далѣе. А онъ, ты думаешь, что̀ мнѣ въ отвѣтъ? «Ты!» говоритъ, «да я!» говоритъ... Прослезился я, да такъ

и ушелъ отъ него, по той причинѣ, что онъ былъ на ту пору въ подпитіи, ну, а въ этомъ видѣ отъ него никакихъ резоновъ, окромѣ ругательства, не услышишь. Вотъ выбралъ я другой день, опять иду къ нему.—Иванъ Никитичъ,—говорю ему:—имѣйте сердоболіе! вѣдь я ужъ десять лѣтъ въ помощникахъ изнываю; сами изволите знать, одинъ столомъ заправляю: поощрите! — А онъ: «Это, говоритъ, ничего не значитъ десять лѣтъ: и еще десять лѣтъ просидишь, и все ничего не значитъ». — Да что-жъ, говорю я, надобно сдѣлать? Я на все готовъ.—«А знаешь ли ты, говоритъ, эквилибристику?»—Нѣтъ, молъ, Иванъ Никитичъ, не обучался я этимъ наукамъ: сами изволите знать, что я по третьему разряду.—«А эквилибристика, говоритъ, вотъ какая наука: чтобъ передъ начальникомъ всегда въ струнѣ ходить, чтобы ноги у тебя были не усталыя, чтобъ когда начальство тебѣ говоритъ: «кривляйся, Сашка!» — ну, и кривляйся! А «сиди, Сашка, смирно!»—ну, смирно и сиди, ни единымъ суставомъ не шевели, а то неравно у начальства головка заболитъ. Я, говоритъ, всю эту механику насквозь произошелъ, такъ и знаю. Да и считай ты себя еще счастливымъ, коли тебѣ говорятъ: «кривляйся!» Это, значитъ, вниманіе на тебя обращаютъ». Вотъ и выходитъ, значитъ, что кривлякъ этихъ столько развелось, что и для того, чтобъ подличать-то тебѣ позволили, нуженъ случай, протекція нужна; другой и радъ бы, да случая нѣтъ.

Гирбасовъ. А умный человѣкъ этотъ Иванъ Никитичъ, хоть и шельма.

Дерновъ. Да ты слушай. Высказалъ онъ мнѣ все это, да и смотритъ прямо въ глаза, точно совѣсть наизнанку выворотить хочетъ. Вотъ и поклялся я ему быть въ повиновеніи: и мучилъ же онъ меня, мучилъ до тѣхъ поръ, пока его самого, собаку, за нетрезвое поведенье изъ службы не выгнали — чтобъ ему пусто было! Напьется, бывало, пьянъ, да и посылаетъ за мной. «Пляши, говоритъ Сашка!»— или «пой, говоритъ, Сашка, пѣсни!» Дѣлать-то нечего: и пляшешь, и поешь, а онъ-то, со своею развратною компаніей, надъ тобой безобразничаетъ. Однажды растворилъ это двери на балконъ, а жилъ во второмъ этажѣ. «Скачи!» говоритъ. Я на колѣни-было, такъ куда! «Скачи, говоритъ, а не то убью!» А глаза-то у него, какъ у быка, кровью налились—красные-раскрасные. Дѣлать нечего, спрыгнулъ я, да счастье еще, что въ ту пору грязь была, такъ тѣмъ и отдѣлался, что весь какъ чушка выпачкался. Такъ вотъ,

братъ, какіе труды понесъ! А говоритъ еще: счастье! безъ году недѣлю, молъ, служитъ, а ужъ столоначальникъ!

Гирбасовъ. Это точно, что бестія былъ этотъ Иванъ Никитичъ; никакого человѣчества въ немъ не было. И вѣдь диво! кажется, самъ черезъ все это прискорбіе произошелъ; самъ, значитъ, знаетъ, каково выносить эту эквилибристику-то.

Дерновъ. То-то вотъ и есть, что нашъ братъ хамъ уже отъ природы таковъ: сперва надъ нимъ глумятся, а потомъ, какъ выйдетъ на ровную-то дорогу, ну, и норовитъ все на другихъ выместить. Я, говоритъ, плясалъ — ну, пляши же теперь ты, а мы, молъ, вотъ посидимъ да поглядимъ, да рюмочку выкушаемъ, покедова ты тамъ штуки разныя выкидывать будешь. *(Входитъ сторожъ).*

Сторожъ. Господинъ Дерновъ, извольте идти къ его высокородію!

Дерновъ. А зачѣмъ?

Сторожъ. А мнѣ почемъ знать.

Дерновъ. Да кто-нибудь есть у него?

Сторожъ. Была ихняя экономка, а потомъ старикъ со старухой приходили; съ ними дѣвка была, дочь что ли — кто ихъ знаетъ?

Дерновъ. Ну, а каковъ онъ-то?

Сторожъ. Извѣстно, ругается.

Гирбасовъ *(Дернову).* Однакожъ, прощай; забѣги-ка къ намъ завтра, разскажи, какъ у васъ тамъ все будетъ; а Раиса Петровна водочки поднесетъ—у насъ, братъ, некупленая.

Дерновъ. Да, я и позабылъ спросить про Раису Петровну, какъ онѣ себя чувствуютъ?

Гирбасовъ. Ужъ извѣстно, какія у ней чувства; у меня эти чувства-то вотъ гдѣ сидятъ! *(Показываетъ на затылокъ).* Что ни десять мѣсяцевъ—смотришь, анъ и пищитъ въ углу благословеніе Божіе, словно ужъ предопредѣленіе али повѣтріе какое. Хочешь не хочешь, а не отвертишься. *(Выходятъ).*

СЦЕНА II.

Театръ представляетъ комнату съ претензіями на великолѣпіе. Мебель уставлена симметрически; посрединѣ диванъ, передъ нимъ столъ и по бокамъ кресла; диванъ и кресла крыты ярко-голубымъ штофомъ, но спинки у нихъ обтянуты коленкоромъ подъ цвѣтъ. Въ простѣнкахъ, между окнами, зеркала; на столахъ недорогая бронза: лампы, подсвѣчники и пр. Петръ Петровичъ Змѣищевъ, старикъ лѣтъ шести-

десяти, въ завитомъ парикѣ и съ полною челюстью зубовъ, какъ у щуки, сидитъ на диванѣ, сбоку, на второмъ креслѣ, на самомъ его кончикѣ, обитаетъ Ѳедоръ Герасимычъ Крестовоздвиженскій. Проникнутый глубокимъ умиленіемъ по случаю бесѣды съ Петромъ Петровичемъ, Крестовоздвиженскій обнаруживаетъ сильное безпокойство во всѣхъ оконечностяхъ своего бреннаго тѣла, безпрестанно привскакиваетъ и потягиваетъ носомъ воздухъ.

Крестовоздвиженскій. Осмѣлюсь увѣрить ваше высокородіе, самый то-есть пустѣйшій онъ человѣкъ. просто именно пустѣйшій человѣкъ-съ!

Змѣищевъ *(зѣвая).* Ну, а коли такъ, разумѣется, что-жъ намъ смотрѣть на него,—выгнать, да и дѣло съ концомъ. Вамъ, господа, они ближе извѣстны, а мое мнѣніе такое, что казнить никогда не лишне; по крайней мѣрѣ, другимъ примѣръ. Что, онъ смертоубійство, кажется, скрылъ?

Крестовоздвиженскій. Никакъ нѣтъ-съ, смертоубійство — это другой, это Гранилкинъ-съ. А Овчинину было предписано исполнить приговоръ надъ однимъ тамъ мѣщаниномъ, розгами высѣчь-съ, такъ онъ, вмѣсто того мѣщанина, высѣкъ просто именно совсѣмъ другого. Оно, конечно, онъ оправдывается тѣмъ, что по ошибкѣ, потому, дескать, что фамиліи ихъ сходныя, и призванный, во время экзекуціи, не прекословилъ. Спору нѣтъ, что сходныя, да вѣдь, извольте сами согласиться, это и до начальства дойти можетъ... Кто его знаетъ? Можетъ, онъ нарочно и не прекословилъ, чтобъ послѣ жаловаться. У насъ ужъ былъ такой примѣръ, что мы ограничились однимъ внушеніемъ-съ, чтобъ впредь поступалъ осторожнѣе, не сѣкъ бы зря, такъ насъ самихъ чуть-чуть подъ судъ не отдали, а письма-то тутъ сколько было! Цѣлый годъ въ страхѣ обрѣтались.

Змѣищевъ. Ну, конечно, конечно, выгнать его; да напишите это такъ, чтобъ энергіи, знаете, побольше, а то у васъ все какъ-то безцвѣтно выходитъ — тара да бара, ничего не поймешь больше. А вы напишите, что вотъ, молъ, такъ и такъ, нарушеніе святости судебнаго приговора, невинная жертва служебной невнимательности, непониманіе всей важности долга... Понимаете! А потомъ и повѣсьте его... Ну, а того-то, что скрылъ убійство... *(Крестовоздвиженскій потупляется).* Однакожъ?..

Крестовоздвиженскій. Оно, конечно, ваше высокородіе, упущеніе не маленькое-съ.

Змѣищевъ. Какое тутъ упущеніе, помилуйте! Вѣдь этакъ по большимъ дорогамъ грабить будутъ.... вѣдь онъ взятку, чай, съ убійцы-то взялъ?

Крестовоздвиженскій. Ужъ куда ему, ваше высокородіе, взятку! Просто именно отъ невѣдѣнья и простодушія; я его лично знаю-съ, онъ у меня еще писцомъ служилъ: прекраснѣйшій чиновникъ-съ, только ужъ смиренъ очень; его бы, ваше высокородіе, куда-нибудь, гдѣ поспокойнѣе, перевести; хоть бы вотъ въ засѣдатели. *(Входитъ лакей).*

Лакей. Господинъ Дерновъ пришелъ.

Змѣищевъ. Пусть войдетъ. *(Дерновъ входитъ и становится у стѣны).*

Змѣищевъ *(вставая и подходя къ нему).* Ну, такъ ты все еще жениться хочешь?

Дерновъ. Имѣя намѣренье вступить въ законный бракъ съ дочерью коллежскаго регистратора...

Змѣищевъ. Знаю, знаю; я сегодня видѣлъ твою невѣсту: хорошенькая. Это ты хорошо дѣлаешь, что женишься на хорошенькой. А то вы, подьячіе, объ томъ только думаете, чтобъ баба была; ну, и наплодите тамъ чортъ знаетъ какой чепухи.

Крестовоздвиженскій *(подобострастно улыбаясь).* Это справедливо, ваше высокородіе, изволили замѣтить, что приказные больше отъ скуки, а не то такъ изъ того женятся, что годъ кормить обѣщаютъ или тамъ сюртукъ сошьютъ-съ.

Змѣищевъ *(смѣется).* Ну, да, ну, да. Такъ ты, смотри, меня пригласи на свадьбу-то; я тово... а вы, Ѳедоръ Герасимычъ, велите ему на свадьбу-то выдать... знаете, изъ тѣхъ суммъ... *(Дерновъ низко кланяется).*

СЦЕНА III.

Комната въ квартирѣ господина и госпожи Рыбушкиныхъ. Марья Гавриловна (она же невѣста) сидитъ на диванѣ и куритъ папироску. Она высокаго роста, блондинка, съ весьма развитыми формами, нѣсколько подбѣлена и вообще сооружена такъ, что должна въ особенности нравиться сохранившимся старичкамъ и юношамъ съ потухшими сердцами.

Марья Гавриловна. Господи! что-жъ это за жизнь за такая! Другіе, посмотришь, то по гостямъ, то въ клубъ, а ты вотъ тутъ день-денской дома сиди. Только и утѣшенья, какъ папироску-другую выкуришь. Куришь-куришь, до того, что въ глазахъ потемнѣетъ. А все Мишель пріучилъ! Странно, однако, что онъ на мнѣ не женится! «Выходите, говоритъ, замужъ за Дернова, тогда и намъ свободно будетъ». Свободно! А кто его знаетъ, свободно ли? Въ душу-то къ нему *ничто* не ходилъ. Вотъ прошлаго года Варенька выходила

замужъ, тоже думала, что будетъ хозяйка въ домѣ, а вышло совсѣмъ напротивъ. Заперъ ее, да еще колотитъ. А это одно каково мученье—такого плюгаваго цѣловать-то! Даже вчужѣ тошно. Да ужъ хоть бы этотъ поскорѣе женился — все бы одинъ конецъ, а теперь сиди вотъ дома, слушай всѣ эти безобразія, да еще себя наблюдай. Всѣ говорятъ: красавица, красавица! А что въ этомъ проку-то! А какіе, право, эти мужчины смѣшные! Намеднись, вечеромъ, была я у Марьи Петровны; ну, конечно, декольте; подходитъ это Трясучкинъ, будто разговариваетъ, а самого его такъ и подергиваетъ, и глаза такіе масляные-премасляные, словно косые. Вотъ и Змѣищевъ давеча: глядѣлъ-глядѣлъ, мнѣ даже смѣшно стало. «Вы, говоритъ, украшеніе Крутогорска; Дерновъ недостоинъ обладать такимъ розаномъ». Да, розанъ,—держи карманъ! Нынче, вѣрно, не розанъ нужно. Вотъ тоже третьёва-дни сижу я вечеромъ у окна, будто погодой занимаюсь, а сама этакъ въ кофточкѣ и волосы распущены. Подходитъ этотъ прапорщикъ—какъ, бишь, его?—ну, да все равно. «Какъ вы, говоритъ, прелестны, сударыня!»—А вамъ что за дѣло? говорю я. — «Я, дескать, не могу безъ волненія видѣть». — А коли не можете, такъ женитесь! говорю я. Такъ куда тебѣ!—навострилъ лыжи, да и не встрѣчается съ тѣхъ поръ... Господи! скука какая! Хоть бы поскорѣе все это кончилось. *(Входитъ Бобровъ, очень молодой человѣкъ, высокаго роста и цвѣтущій здоровьемъ; на немъ коротенькое сѣрое пальто, которое въ приказномъ быту слыветъ подъ названіемъ зефирки; жилетъ и панталоны пестроты изумительной. Подъ мышкой у него бумаги).*

Бобровъ. Вы однѣ, Машенька?

Марья Гавриловна. Ну, да, одна; насилу-то ты пришелъ!

Бобровъ. Нельзя было — дѣла; дѣла — это ужъ важнѣе всего: я и то ужъ отъ начальства выговоръ получилъ; давеча секретарь говоритъ: «у тебя, говоритъ, на умѣ только панталоны, такъ ты у меня смотри». Вотъ какую кучу переписать задалъ.

Марья Гавриловна. Ну, а Дернова видѣлъ?

Бобровъ. Видѣлъ, какъ же; у него все кончено; на свадьбу пятьдесятъ цѣлковыхъ дали; онъ меня и въ дружки звалъ; «я, говоритъ, все сдѣлаю отмѣннымъ манеромъ».

Марья Гавриловна. Да, дожидайся отъ него. Ну, а тебѣ, поди чай, и не жалко, что я за Дернова выхожу?

Бобровъ. Посудите сами, Машенька-съ, статочное ли мнѣ дѣло жениться. Жалованья я получаю всего восемь рублей

въ мѣсяцъ... вѣдь это, выходитъ, дѣло-то наплевать-съ; тутъ не радости, а больше горести.

Марья Гавриловна. Удивляюсь я, право: такой ты молодой, а говоришь—словно сорокъ лѣтъ тебѣ.

Бобровъ. Ничего тутъ нѣтъ удивительнаго, Марья Гавриловна. Я вамъ вотъ что скажу — это, впрочемъ, по секрету-съ,—я вотъ далъ себѣ обѣщаніе, какова пора ни мѣра, выйти въ люди-съ. У меня на этотъ предметъ и планъ свой есть. Такъ оно и выходитъ, что жена въ евдакомъ дѣлѣ только лишнее бревно-съ. А любить намъ другъ друга никто не препятствуетъ, было бы на то ваше желаніе. *(Подумавши).* А я, Машенька, хотѣлъ вамъ что-то сказать.

Марья Гавриловна. Что еще?

Бобровъ. А вы поцѣлуйте меня.

Марья Гавриловна. Ахъ ты, дурачокъ! А я думала, что онъ и взаправду дѣло скажетъ. *(Цѣлуются).*

Бобровъ. Ахъ ты, Господи! *(Вздыхаетъ).*

Марья Гавриловна. Ну, чего вздыхаешь-то?

Бобровъ. Да какъ же-съ; вѣдь вотъ, кажется, цѣлый бы вѣкъ сидѣлъ тутъ подлѣ васъ да цѣловался.

Марья Гавриловна. Это ты не глупо вздумалъ. Въ разговорѣ-то вы всѣ такъ, а вотъ какъ на дѣло пойдетъ, такъ и нѣтъ васъ. *(Вздыхаетъ).* Да что-жъ ты, въ самомъ дѣлѣ, сказать-то мнѣ хотѣлъ?

Бобровъ. А вотъ что-съ. Прищелъ я сегодня въ присутствіе съ бумагами, а тамъ Змѣищевъ—разсказываетъ, какъ вы вчера у него были, а у самого даже слюнки текутъ, какъ объ васъ говоритъ. Бѣлая, говоритъ, полная, а самъ, знаете, и руками разводитъ, хочетъ внушить это, какія вы полненькія. А Ѳедоръ Герасимычъ сидитъ противъ нихъ, да не то чтобъ смѣяться, а ровно колышется весь, и глаза у него такъ и свѣтятся, да маленькіе такіе, словно щелочки или вотъ у молодой свинки.

Марья Гавриловна. Ну, такъ что-жъ?

Бобровъ. А я къ тому это, Машенька, говорю, что если вы не постоите, такъ и Дернову, и мнѣ хорошо будетъ. Вѣдь онъ влюбленъ, именно влюбленъ-съ: не махалъ бы онъ этакъ руками-то, да и Дернову бы позволенія не далъ... *(Ласкается къ ней, Марья Гавриловна задумывается).*

Марья Гавриловна *(томно).* Однако, ты добру меня тутъ учишь!

Бобровъ. Вѣдь оно только спервоначала страшно кажется.

а потомъ и въ привычку взойдетъ... Что-жъ вы такъ задумались, Машенька?

Марья Гавриловна. Ахъ, отстань, пожалуйста!

Бобровъ. Вотъ вы какія! А еще говорите, что любите!

Марья Гавриловна. Ну, ну, полно вздоръ-то говорить; а ты разскажи лучше, что ты вчера дѣлалъ, что тебя цѣлый день не видать было.

Бобровъ. Поутру, извѣстно, въ присутствіи былъ, а по вечеру въ городской садъ съ Трясучкинымъ ходилъ. Идемъ мы, Машенька, по аллеѣ, а впереди насъ Змѣищева экономка съ квартальнаго женой. Идемъ по аллеѣ, а экономка-то оглядывается, все на меня посматриваетъ, да и говоритъ квартальной-то: «Ктой-то это такой красивый, молодой мужчина?» А жена-то квартальнаго: «Это, говоритъ, Бобровъ; онъ у насъ служитъ».—«А должно-быть интересный мужчина,—говоритъ экономка-то:—и какъ себя хорошо держитъ». А Трясучкинъ-то злится: «Вотъ, говоритъ, счастье тебѣ! Завтра же куплю, говоритъ, себѣ новой матеріи на брюки».

Марья Гавриловна. А ты, чай, и обрадовался? *(Входитъ Рыбушкинъ въ нетрезвомъ видѣ; за нимъ Дерновъ).*

Рыбушкинъ *(поетъ).* Во-о-злѣ рѣчки, возлѣ мосту жилъ старикъ... съ ссстаррухой... Д-да! съ ссстаррухой... и эта старуха, чтобъ ее черти взяли... *(Боброву).* Эй ты, пошелъ вонъ!

Дерновъ. Да вы, папенька, не извольте убиваться такъ. Марья Гавриловна, позвольте ручку-съ!

Марья Гавриловна. Это вы его такъ накатили? Нече сказать... Господи! да когда-жъ все это кончится? *(Даетъ Дернову руку, которую тотъ цѣлуетъ).*

Дерновъ. Что-жъ мнѣ, Марья Гавриловна, дѣлать, когда папенька проситъ; вѣдь они ваши родители. «Ты, говоритъ, сегодня пятьдесятъ цѣлковыхъ получилъ, а меня, говоритъ, отъ самаго то-есть рожденья жажда измучила, словно жаба у меня тамъ въ желудкѣ сидитъ. Только и уморишь ее, проклятую, какъ полштофика сквозь пропустишь». Что-жъ мнѣ дѣлать-то-съ? Вѣдь я не самъ собою, я какъ есть въ своемъ видѣ-съ.

Марья Гавриловна. Ладно, ладно, безобразничайте съ нимъ!

Рыбушкинъ. Цыцъ, Машка!.. я тебѣ говорю—цыцъ! Я тебя знаю, я тебя вотъ какъ знаю! Вся ты въ мать, въ Палашку, чтобъ ей пусто было! Заѣла она меня, вѣдьма!.. Ты, небось, думаешь, что ты моя дочь! Нѣтъ, ты не моя дочь: я

коллежскій регистраторъ, а ты титулярнаго совѣтника дочь... Вотъ мнѣ его и жалко; я ему это и говорю... что не бери ты ее, Сашка, потому она какъ есть всѣмъ естествомъ страмная, вся въ Палагею... въ ту... А ты, Машка, горло-то не дери, а не то вотъ съ мѣста не сойти—убью! какъ муху, какъ моль убью!..

Марья Гавриловна *(Дерновy)*. Хоть бы увели вы его!

Рыбушкинъ. Увести! Меня увести! Сашка! смотри на него! *(Указывая на Боброва)*. Это ты знаешь ли кто? Не знаешь? Ну, такъ это тотъ самый титулярный совѣтникъ... то-есть, для всѣхъ онъ писецъ, а для Машки титулярный совѣтникъ. Не связывайся ты, Сашка, съ нею... ты на меня посмотри: вотъ я гуляю, и ты тоже гуляй! *(Поетъ)*. Во-о-злѣ рѣчки...

Марья Гавриловна. А вотъ погодите, я мамашѣ скажу: она вамъ дастъ титулярнаго совѣтника... Да уведите же его, Александра Александрычъ!

Дерновъ. Полноте же, папенька, вы лучше усните...

Бобровъ. Да вы что на него смотрите, Александръ Александрычъ? Извѣстно, пьяный человѣкъ: онъ, пожалуй, и ушибетъ чѣмъ ни-на-есть, не что съ него возьмешь.

Рыбушкинъ *(почти засыпаетъ)*. Ну, да... д-да! и убью! ну что-жъ, и убью! У меня, братъ Сашка, въ желудкѣ жаба, а въ сердцѣ рана... и все отъ него... отъ этого титулярнаго совѣтника... такъ вотъ и сосетъ, такъ и сосетъ... А ты на нее не смотри... чаще бей... чтобы помнила, каковъ мужъ есть... а мнѣ... изъ службы меня выгнали... а я, ваше высоко... ваше высокопревосходительство... ишь длинный какой — ей-Богу, не виноватъ... это она... все... все Палашка! Вѣдьма ты, ч-ч-ч-о-ртъ! *(Засыпаетъ; Дерновъ уводитъ его)*.

Марья Гавриловна. Вотъ этакія-то шутки каждый день слушать.

СЦЕНА IV.

Квартира Дерновыхъ; послѣ свадьбы прошло двѣ недѣли. По комнатѣ разбросаны юбки и другія принадлежности женскаго туалета. Общій безпорядокъ.

Дерновъ *(одинъ)*. Ну, вотъ и женился. Вмѣсто того, чтобъ встать пораньше да на базаръ сходить, а она до сихъ поръ въ постели валяется! «Я, говоритъ, не кухарка тебѣ далась!»—вотъ и разговаривай съ ней. Мнѣ бы теперича на службу ужъ пора, а до сихъ поръ самовара нѣтъ: пожалуй,

и безъ чаю уйти придется. *(Задумывается).* А какая она, однакожъ, бѣлая да полная,—я и не ожидалъ. Оно, конечно, съ перваго разу было видно, что не сухарь, а все-таки... Только не нравится мнѣ этотъ Бобровъ; ну, чего онъ сюда каждый день таскается! Попросить развѣ Ивана Васильича, чтобъ арестовалъ его сутки на трои. Вотъ и его высокородіе тоже на свадьбѣ сконфузили: сѣли около Маши, да и не отходятъ... А тѣ-то, дурачье, и изъ комнаты вонъ повышли, а и случится которому надобность по комнатѣ пройти, такъ все норовитъ по стѣнкѣ, словно они зачумленные. Впрочемъ, самому мнѣ будто совѣстно стало; думаю, невѣжливо его высокородіе однихъ оставлять, а подойти не смѣю. Да и его высокородіе увидѣли, что я все около двери стою: «ступай, говоритъ, любезный, я тебя не стѣсняю». Такъ и просидѣли они весь вечеръ вдвоемъ. А ужъ папенька-то, Гаврило Осипычъ, что-жъ это за человѣкъ такой! Не успѣли мы изъ церкви пріѣхать, а онъ ужъ нализался, и кричитъ тутъ! И диви бы штофъ, а то одну рюмку выпьетъ, и ужъ не годится. Хорошо еще, что маменька ихъ въ чуланъ заперли, а то, кажется, они и стекла-то бы всѣ повышибли! *(Входитъ купецъ Скопищевъ, человѣкъ немолодыхъ лѣтъ. Въ продолженіе разговора онъ испускаетъ частые и продолжительные вздохи).*

Дерновъ. А, Егоръ Иванычъ, добро пожаловать! Садись, братъ, гость будешь! *(Скопищевъ вздыхаетъ).* Да ну, садись! Чего вздыхаешь-то!

Скопищевъ *(садится).* Охъ!.. что садиться-то! Я за дѣломъ.

Дерновъ. Знаю, что за дѣломъ, вѣдь не стоя же намъ разговаривать. Что-жъ ты скажешь?

Скопищевъ. Что сказать-то? Ты скажи прежде самъ.

Дерновъ. Хорошаго-то, братъ, не много; вѣдь онъ просьбу подалъ...

Скопищевъ. Ну?

Дерновъ. Сбавляетъ противъ тебя сто цѣлковыхъ...

Скопищевъ. Ну?

Дерновъ. Чего-жъ тебѣ еще? Стало-быть, утвердить за тобой нельзя никоимъ манеромъ.

Скопищевъ. А торги?

Дерновъ. Мало ли что торги? Тутъ, братъ, казенный интересъ. Я было сунулся доложить Якову Астафьичу, что для пользы службы за тобой утвердить надо, да онъ говоритъ: «ты, молъ, любезный, хочешь меня увѣрить, что стаканъ, сапоги и масло все одно, такъ я, братъ, хошь и

дикій человѣкъ, а ариѳметикѣ-то учился, четыре отъ двухъ отличить умѣю».

Скопищевъ. Охъ!.. Гакъ какъ же?..

Дерновъ. Дѣлать нечего, подавай и ты прошеніе: сбавь хошь полтину противъ его цѣны—ну, и утвердимъ за тобой. *(Молчаніе, въ продолженіе котораго Скопищевъ разсчитываетъ и усиленно вздыхаетъ).*

Скопищевъ. Ну, а просьбу-то, чай, на гербовой?

Дерновъ. А то на простой! Эхъ, ты! Тутъ тысячами пахнетъ, а онъ объ шести гривенникахъ разговариваетъ. Шаромыжники вы всѣ! Ты на *него* посмотри; вотъ *онъ* намеднись приходитъ, дѣла не видитъ, а ужъ сторублевую въ руку суетъ—посули только, да будь ласковъ. Ахъ, кажется, кабы только не связался я съ тобой! А ты норовишь дѣло-то за двѣ головы сахару сладить. А хочешь, не будетъ по-твоему?

Скопищевъ *(съ испугомъ).* Что ты? что ты? А кто же тебѣ кровать-то подарилъ подъ свадьбу?

Дерновъ. То-то кровать! Подарилъ кровать, да и кричитъ, что ему вотъ мѣсяцъ съ неба сыми, да на блюдѣ подай. Всѣ вы, здѣшніе колотырники, только кляузы бы да ябеды вамъ сочинять... голь непокрытая! А ты затѣялъ дѣло, такъ и веди его дѣломъ, широкою то-есть рукой. *(Входитъ Марья Гавриловна, заспанная и растрепанная, въ одной кофтѣ).*

Марья Гавриловна *(мужу).* Ты еще не ушелъ на службу? А-а-а! *(Зѣваетъ и потягивается).*

Дерновъ. Когда же было уйти; я чаю хочу.

Марья Гавриловна. Ну, ну, пожалуйста, комедій-то не разыгрывай! Ишь графъ какой выискался! Безъ чаю ему жить невозможно! *(Скопищеву).* А ты, борода, какую кровать-то прислалъ?

Скопищевъ. Какую, извѣстно какую!

Марья Гавриловна *(передразнивая).* Извѣстно какую! Пошевелиться нельзя, на весь домъ скрипитъ.

Дерновъ. Это точно, что скрипитъ.

Марья Гавриловна. Катерина! а Катерина! *(Является кухарка).* Приготовь ты водки да закуски подай, балычку, что ли.

Дерновъ. Это зачѣмъ?

Марья Гавриловна. А у меня Бобровъ будетъ.

Дерновъ. Нѣтъ, ужъ это тово... я чаю не пилъ, такъ вы эти закуски-то до завтрева оставьте... Я этого Боброва по шеямъ вытолкаю, я ему бока переломаю... да что тутъ? Я и тебя,

слякоть ты этакая, такъ отдѣлаю, что ты... *(Воодушевляясь).* Да ты что думаешь? ты что думаешь? Я молчать буду?

Марья Гавриловна. А ты не храбрись! Больно я тебя боюсь! Ты думаешь, что мужъ, такъ и управы на тебя нѣтъ... держи карманъ! Вотъ я къ Петру Петровичу пойду, да и разскажу ему, какъ ты надъ женой-то озорничаешь! Ишь ты! «Бока ему отломаю»! Такъ онъ и будетъ тебѣ стоять, пока ты ломать-то ихъ ему будешь!

Скопищевъ. А ты бы, Александра Александрычъ, допрежъ ее-то самое маленько помялъ... У меня вотъ жена-покойница такая же была—такъ я ее, бывало, голубушку, возьму, да всю по суставчикамъ и разомну... *(Вздыхаетъ).* Такая ли опосля шелковая сдѣлалась! Кровать, вишь, скрипитъ! А гдѣ-жъ это видано, чтобъ кровать не скрипѣла, когда она кровать есть!

Дерновъ *(женѣ).* Слышишь ты у меня! Чтобъ здѣсь бобровскаго духу не пахло... Слышишь? А не то я тебя, видитъ Богъ, задушу! своими руками задушу! *(Входитъ сторожъ).*

Сторожъ. Ваше благородіе, пожалуйте! Яковъ Астафьичъ въ присутствіе зоветъ.

Дерновъ. Чего тамъ ему еще нужно?

Марья Гавриловна. Ладно, ладно, ступай-ка, тамъ еще увидимъ, какъ это ты меня задушишь! Вишь храбрецъ! Откуда это выѣхать изволили? *(Скопищеву).* А ты, борода, у меня припомнишь, припомнишь, припомнишь!

СЦЕНА V.

Квартира Змѣищева. Марья Гавриловна стоитъ у окна. Змѣищевъ входитъ въ халатѣ и съ шапочкой на головѣ.

Змѣищевъ. Ну, вотъ вы и пришли, душенька!

Занавѣсъ опускается.

Что такое коммерція?

СЦЕНА I.

Дѣйствіе происходитъ въ уѣздномъ городѣ Полорѣцкѣ. Театръ представляетъ общую залу въ трактирномъ заведеніи. За однимъ столомъ сидятъ трое купцовъ и пьютъ чай. Купцы эти: **Палахвостовъ, Ижбурдинъ** и **Сокуровъ.** Палахвостовъ — старикъ сѣдой и угрюмый; пьетъ чай молча и крестится двумя перстами. Ижбурдинъ—среднихъ лѣтъ, нрава до крайности сообщительнаго, говоритъ много, но какъ-то, по временамъ, непріятно размазываетъ. Сокуровъ—молодой купчикъ, не

отдѣленный отъ «родителя» и сильно мечтающій о возможности сдѣлаться со временемъ «негоціантомъ». За особымъ столомъ сидитъ **Праздношатающійся**, господинъ подозрительнаго свойства, занимающійся отчасти изученіемъ торговли и промышленности, отчасти же композиціей нравоописательныхъ статеекъ à la Тряпичкинъ. Во время разговора купцовъ онъ сначала прислушивается, а потомъ незамѣтнымъ образомъ самъ впадаетъ въ ихъ рѣчь.

Ижбурдинъ. А позвольте узнать, почемъ изволили, Савва Семенычъ, хлѣбецъ покупать? Эй, малый! кипяточку! *(Стучитъ ложкой по стакану).*

Палахвостовъ. Да по полтинѣ пудъ.

Ижбурдинъ. Такъ-съ, это точно-съ, цѣна сходственная, а вотъ намеднись такъ мнѣ вотячокъ по сороку копеечекъ кулей съ пятокъ въ анбары свалилъ... Этакъ-то будетъ, пожалуй, еще поавантажнѣе-съ...

Палахвостовъ. Да ты развѣ по хлѣбной-то части торгуешь, что ли?

Ижбурдинъ. Какъ же-съ; наше, Савва Семенычъ, дѣло маленькое; капиталовъ большихъ не имѣемъ, по крохамъ, можно сказать, свое благосостояніе собираемъ... И если бы да не воздержность наша да не труды—выходитъ, были бы мы теперича и совсѣмъ безъ капиталу-съ... Мы точно завсегда всѣмъ торгуемъ; главная у насъ статья, конечно, лѣса-съ, потому что намъ по этой части сподручнѣе...

Палахвостовъ. Воровать, то-есть?

Ижбурдинъ. Зачѣмъ же обижать, Савва Семенычъ? Лѣсное дѣло вы, чай, сами изволите знать, возможно ли тамъ безъ сноровки-съ? Намъ, Савва Семенычъ, безъ барышовъ быть невозможно-съ, наше дѣло коммерческое: тѣмъ только и живешь, что оборотишься, не столько капиталомъ, сколько изворотцемъ-съ. Ну, а по лѣсной части одни угощенья чего стоютъ! Было время, что и горское пили, а нынче горскаго-то и въ подпитіи ему не подашь, давай, говоритъ, шипанскаго, да еще за бороду ухватить тебя норовитъ. Одной обиды да наругательства сколько на твою голову упадетъ! Съ пристани-то выѣдешь ровно обстрѣленный. Вотъ хошь бы онамеднись. Пили они это, пили; кажется, ничего не жалѣлъ, лишь бы глотку-то его поганую залить — такъ нѣтъ вотъ мало ему и того. Внутро-то ему не лѣзетъ, такъ онъ — что бы ты думалъ — выкинулъ? «Ну, говоритъ, мы теперича пьяны; давай, говоритъ, теперича рѣку шипанскимъ поить!» Я было ему въ ноги: за что-жъ, молъ, надъ моимъ добромъ наругаться хочешь, ваше благородіе? Помилосердуй!—И слушать не хочетъ... «Давай, кричитъ, шип-

панскаго! дюжину! мало дюжины, цѣльный ящикъ давай! А не то, говоритъ, сейчасъ всѣ твои плоты законфескую, и пойдешь ты въ Сибирь гусей пасти!» Дѣлать-то нечего; велѣлъ я принести ящикъ; такъ онъ позвалъ, антихристъ, рабочихъ, да и велѣлъ имъ вино-то въ рѣку бросить. Вы посудите, Савва Семенычъ, каково мнѣ-то было смотрѣть на свое добро... А онъ только икаетъ: «Вотъ, говоритъ, это тебѣ, значитъ, трессировка, чтобъ ты зналъ, что въ моей власти и по шерсти тебя погладить, и за вихоръ драть... Весь ты, говоритъ, въ моихъ рукахъ, и ты, и потомство твое!» Такъ вотъ она какова наша-то коммерція!

Палахвостовъ *(смѣется)*. Это точно, что коммерція плохая, если мордой отвѣчать приходится.

Ижбурдинъ. А не дай я ему этого ящика, и не вѣсть бы онъ мнѣ какой тутъ пакости натворилъ! Тутъ, Савва Семенычъ, ужъ ни за чѣмъ не гонись, ничѣмъ не брезгай. Смотришь только ему въ зубы, какъ онъ надъ тобой привередничаетъ, словно баба беременная: того ему подай, или нѣтъ, не надо, подай другого. Только объ одномъ и толкуетъ, какъ бы ему такое что-нибудь выдумать, чтобы въ конецъ тебя оконфузить.

Сокуровъ *(стучитъ въ стаканъ)*. Теперичу бутылку! да архангельскаго, слышишь!

Палахвостовъ. Это, братъ, зачѣмъ?

Сокуровъ. Пожалуйте! ваше здоровье-съ! *(Подаютъ бутылку вина; Праздношатающійся примѣтно подвигаетъ свой стулъ къ столу собесѣдниковъ)*.

Ижбурдинъ. Такъ-то вотъ день-деньской мы и маемся: гдѣ полтина, гдѣ рубль. А вы вотъ, Савва Семенычъ, говорите, чтобы насчетъ того, однимъ товаромъ торговать! Намеднись, вотъ, и Порфирій Петровичъ тоже. Пришелъ я къ нимъ на торги по арестантской части: «чтой-то, говоритъ, тебя, Павелъ Прокофьичъ, ровно шакала во всѣ стороны черти носятъ: ты, говоритъ, свою бы часть зналъ, а то отъ тебя только казенному дѣлу поношенье!..» Да куды же я съ однимъ-то предметомъ сунусь! Нонече вонъ пошли вездѣ выдумки — ничего и сообразить-то нельзя. Цѣна-то сегодня полтина, а завтра она рубль; ты думаешь, какъ бы тебѣ польза, анъ выходитъ, что тебѣ же шею наколотятъ; вотъ и торгуй! Теперича, примѣрно, кожевенный товаръ въ ходу, сукно тоже требуется — ну, мы и сукно по малости скупаемъ, и кожи продаемъ; все это нашей совѣсти дѣло-съ. Намеднись, доложу я вамъ, былъ я въ Ложневѣ

на ярмонкѣ—и что-что тамъ комиссенеровъ наѣхало, ровно звѣздъ небесныхъ: все сапожный товаръ покупать. Конечно-съ, ихнее дѣло простое. Казна имъ примѣрно хошь рубль отпущаетъ, такъ ему надо, чтобъ у него полтина или тамъ сорокъ копеекъ пользы осталось. А съ мужикомъ ему дѣло имѣть несподручно! Это хошь, можетъ, и больше пользы дастъ, да оно неспокойно; неровенъ часъ, слѣдствіе или другая напасть—всѣмъ ротъ-отъ не зажмешь. Опять же и отчетностью они запутаны: поди да каждаго расписываться заставляй, да урезонивай, чтобъ онъ тебѣ, вмѣсто полтины, рубль написалъ. А какъ съ оптовымъ-то дѣло заведетъ, оно и шито, и крыто; первое дѣло, что хлопотъ никакихъ нѣтъ, а второе, что предательству тутъ быть невозможно, почему какъ купецъ всякій знаетъ, что за такую механику и ему заодно съ комиссенеромъ не сдобровать. Эта штука для насъ самая выгодная; тутъ, можно сказать, не токма что за трудъ, а больше за честь пользу получаешь.

Сокуровъ *(важничая)*. Да, съ казной дѣло имѣть выгоднѣе всего; она, можно сказать, всѣмъ намъ кормилица... *(Наливаетъ вино въ бокалы. Къ Праздношатающемуся)*. Не прикажете ли, не имѣемъ счастья знать по имени и отчеству...

Праздношатающійся. Съ охотою. *(Пьетъ)*. А гдѣ вы это, господа, такой здѣсь тенерифъ достаете?.. Отличный! И жжетъ, и першитъ... славно! Точно водка.

Ижбурдинъ. Изъ Архангельска-съ: мы тоже и тамотки дѣла имѣемъ-съ.

Праздношатающійся *(къ Сокурову)*. Вотъ-съ вы изволили выразиться, что съ казною дѣло имѣть выгодно. Не позволите ли узнать, почему вы такъ заключаете?

Сокуровъ. Да-съ, это точно-съ; сами изволите знать... казна... выгодно...

Палахвостовъ. Вотъ, то-то, молодецъ! Брешешь: выгодно, а почему—объяснить не умѣешь.

Ижбурдинъ. А вотъ позвольте... вы вѣрно комиссенеръ?

Праздношатающійся *(обижаясь)*. Почему же комиссіонеръ!.. Я просто для своего удовольствія... желательно, знаете, этакъ по торговой части заняться...

Ижбурдинъ. Такъ вы приказный? Понимаемъ-съ! Это точно, что нонче приказные много насчетъ торговли займуются — капиталы завелись... Такъ вотъ, изволите ли видѣть, съ казной потому намъ дѣло имѣть естественнѣе, что тутъ, можно сказать, риску совсѣмъ не бываетъ. Въ срокъ ли,

не въ срокъ ли выставишь—казна все мнетъ. Конечно-съ, тутъ не безъ расходовъ, да зато и цѣны совсѣмъ другія, не супротивъ обыкновенныхъ-съ. Ну, и опять-таки оттого для насъ это дѣло сподручно, принимаютъ тамъ все, можно сказать, по-божески. Намеднись вотъ я полушубки въ казну ставилъ; только развѣ что кислятиной отъ нихъ пахнетъ, а по прочему и званія-то полушубка нѣтъ—тѣсто тѣстомъ! Поди-ка я съ этакими полушубками не токмо что къ торговцу хорошему, а на рынокъ—на смѣхъ бы подняли! Ну, а въ казнѣ все взойдетъ, по той причинѣ, что потребленіе тамъ большое. Вотъ тоже случилось мнѣ однажды муку въ казну ставить. Я было въ тѣ-поры и барку ужъ нагрузилъ: сплыть бы только, да и вся недолга. Анъ тутъ подвернулся приказчикъ отъ купцовъ заграничныхъ—цѣну даетъ хорошую. Думалъ я, думалъ, да перекрестимшись и отдалъ весь хлѣбъ приказчику.

Праздношатающійся. А какъ же съ казной-то?

Ижбурдинъ. Съ казной-то? А вотъ какъ: пошелъ я, запродавши хлѣбъ-отъ, къ писарю станового, такъ онъ мнѣ, за четвертакъ, такое свидѣтельство написалъ, что я даже самъ подивился. И наводненіе, и мелководіе тутъ; только нашествія непріятельскаго не было. *(Всѣ смѣются).* Такъ оно и доподлинно скажешь, что казна-матушка всѣмъ намъ кормилица... Это точно-съ. По той причинѣ, что если-бъ не казна, куда же бы намъ съ торговлей-то дѣваться? Это все единственно, что деньги въ ланбартъ положить, да сидѣть самому на печи, сложа руки.

Праздношатающійся *(глубокомысленно).* Да, это такъ... недостатокъ предпріимчивости... Это, такъ сказать, болѣзнь русскаго купечества... Это, знаете... *(Палахвостовъ улыбается).* Вы смѣетесь? Но скажите, отчего же? Отчего же англичане, напримѣръ, французы...

Ижбурдинъ. А оттого это, батюшка, что на все свой резонъ есть-съ. Положимъ, вотъ хоть я предпріимчивый человѣкъ. Снарядилъ я, примѣрно, карабь, или тамъ подрядился къ какому ни-на-есть иностранцу выставить столько-то тысячъ кулей муки. Вотъ-съ, и искупилъ я муку, искупилъ дешево—нече сказать, это все въ нашихъ рукахъ, погрузилъ ее въ барки... Ну-съ, а потомъ-то куда-жъ я съ ней дѣнусь?

Праздношатающійся. Какъ куда?

Ижбурдинъ. Да, точно такъ-съ. Позвольте полюбопытствовать, изволили вы по Волгѣ плавать? Нѣтъ-съ? Такъ

это точно, что вы на этотъ счетъ сумнѣнье имѣть можете; а вотъ какъ мы въ эвтомъ дѣлѣ, можно сказать, съ младенчества произошли, такъ и знаемъ, какая это рѣка-съ. Это рѣка, доложу я вамъ, съ позволенія сказать-съ, сегодня вотъ она здѣсь, а на другой, сударь, годъ, въ эвтомъ-то мѣстѣ ужъ песокъ, и она во-куда побѣгла. Никакъ тутъ и не сообразишь. Тащишься-тащишься этта съ грузомъ-то, инда злость тебя одолѣетъ. До Питера-то изъ нашихъ мѣстъ года въ два не доѣдешь, да и то еще Бога благодари, коли угодники тебя доѣхать допустятъ. А то вотъ не хочешь ли на мели посидѣть, или совсѣмъ затонуть; или вотъ рабочіе у тебя съ барокъ поубѣгутъ — ну, и плати за все втридорога. Какая же тутъ, сударь, цѣна? Могу ли я теперича досконально себя въ эвдакомъ дѣлѣ разсчитать? Что вотъ, молъ, купилъ я по томъ-то, провозъ будетъ стоить столько-то, продамъ по такой-то цѣнѣ? А неустойка? Вѣдь англичанъ-то не казна-съ; у него нѣтъ этихъ ни мелководій, ни моровыхъ повѣтріевъ, ему вынь да положь. Нѣтъ-съ, наша торговля еще, можно сказать, въ рукахъ Божьихъ находится. Вывезетъ Волга-матушка—ну, и съ капиталомъ; не вывезетъ—зубы на полку клади. *(Обращаясь къ Палахвостову).* А вотъ вы еще, Савва Семенычъ, говорите, чтобы однимъ предметомъ торговать!

Палахвостовъ *(самодовольно).* Да, оно конечно; тутъ большой нужно капиталъ имѣть, чтобъ не треснуть.

Ижбурдинъ. Вотъ-съ со мной случай былъ. Сплавляли мы ленное сѣмя къ Архангельскому; рѣчонка эта — Луза прозывается—препакостная! Дней восемь или десять только и судоходство по ней, а плыть приходится до Устюга цѣлую недѣлю: пропустилъ тутъ часъ—ну, и бѣдствуй. Да и не пропустишь свое время, такъ и то плыть по ней наказанье; затопитъ это кругомъ верстъ на пять, и не знаешь, гдѣ берега. Плылъ я, кажись, благополучно; еще бы немножко—выплылъ бы въ безопасное мѣсто. Такъ нѣтъ же; нанесло меня, сударь, на такую колоду, что ни взадъ, ни впередъ. Куда дѣваться? А мимо меня, знаешь, проходятъ барки другихъ торговцевъ, и хошь бы одинъ-те глазомъ мигнулъ. Я было къ нимъ: помогите, дескать, родимые!—такъ куда тебѣ! Только смѣются... Принужденъ былъ искать рабочихъ вольныхъ, а тамъ и людей-то совсѣмъ нѣтъ. Что-жъ бы вы думали взяли съ меня эти зыряне? Да по три рубля въ сутки на человѣка, да сутки съ-трои тутъ и проработали. Вотъ тебѣ и барышъ.

Праздношатающійся. Да отчего-жъ, однакожъ, вамъ не помогли товарищи?

Ижбурдинъ. Какіе они, батюшка, товарищи? Вотъ выпить, въ три листа сыграть—это они точно товарищи, а помочь въ коммерческомъ дѣлѣ—это, выходитъ, особь статья. По той причинѣ, что имъ же выгоднѣе, коли я опоздаю ко времени, а какъ совсѣмъ затону—и того лучше. Выходитъ, что коммерція, что война—это сюжетъ одинъ и тотъ же. Тутъ всякій не то чтобъ помочь, а пуще норовитъ какъ ни-на-есть тебя погубить, чтобъ ему просторнѣе было. *(Вздыхаетъ).*

Праздношатающійся. Какъ же это по-вашему называется?

Ижбурдинъ. А какъ бы вамъ объяснить, ваше благородіе? Называютъ это и мошенничествомъ, называютъ и просто расчетомъ — какъ на что кто глядитъ. Оно конечно, вотъ какъ тонешь, хорошо какъ бы кто тебѣ помогъ; а какъ съ другого пункта на дѣло посмотришь, такъ вѣдь не всякому же тонуть приходится. Иной двадцать лѣтъ плаваетъ, и все ему благополучно сходитъ: такъ ему-то за что-жъ тутъ терять? Это вѣдь дѣло не взаимное-съ.

Праздношатающійся. Ну, а скажите, пожалуйста, вотъ вы начали говорить о судорабочихъ: какимъ образомъ вы ихъ нанимаете?

Ижбурдинъ. По контрактамъ, батюшка, по контрактамъ; нынче безъ контракта по землѣ, сударь, ходить невозможно.

Праздношатающійся. Какимъ же образомъ и съ кѣмъ заключаете вы эти контракты?

Ижбурдинъ. А съ помѣщикомъ или, всего чаще, съ начальствомъ. Съ начальствомъ-то, знаете, для насъ выгоднѣе, почему что хошь и есть тамъ расходъ, да зато они народъ ужъ больно дешево продаютъ. Дашь писарю сто рублевъ—такъ онъ хошь всю волость за тобой укрѣпитъ. Ну, и выходитъ, что и самъ ты надъ ними будто помѣщикъ. Что Бога гнѣвить, тягости намъ нисколько? А все потому, осмѣлюсь вамъ доложить, что начальство выгодъ нашихъ доподлинно опредѣлить себѣ не можетъ. Кабы знало оно ихъ, стами рублями тутъ бы не отдѣлаться; а теперича вотъ, съ малаго-то ума, ему и сто рублей за медвѣдя кажутся. Оно, конечно, сударь, отчего бы иногда и не прибавить, да испытали мы ужъ на себѣ это средствіе: далъ ты ему нынче полтораста—онъ на будущій годъ ужъ двѣсти запроситъ, да такъ-то разбалуется, что каждую зиму будетъ

эту статью увеличивать. А какъ опредѣлено ему споконъ вѣку, словно заповѣдь, сто рублевъ, такъ они у него ужъ зараньше въ приходную книжку такъ записаны.

Праздношатающійся. Ну, а какъ вы полагаете, напримѣръ, насчетъ желѣзныхъ дорогъ? Вѣдь это, по моему мнѣнію, могло бы значительно подвинуть нашу торговлю... *(Палахвостовъ крестится).*

Ижбурдинъ *(въ сторону).* Э, братъ! да ты, видно, вонъ изъ какихъ сторонъ выѣхалъ!

Сокуровъ *(важно, съ разстановкой).* Да-съ, это точно... чугунки, можно сказать, нонче по Расеѣ первый сюжетъ-съ... Осмѣлюсь вамъ доложить, ѣздили мы съ тятенькой лѣтось въ Питеръ, такъ они до самаго то-есть Волчка молчали, а какъ пріѣхали мы туда черезъ девять-ту часовъ, такъ словно закатились смѣючись. Я было къ нимъ: Христосъ, молъ, съ вами, папынька!—такъ куда! «Ой, говорятъ, умру! Эка штука: бывало, въ два дня въ Волочокъ-отъ не доѣдешь, а теперь, гляди, въ девять часовъ эко мѣсто уѣхали!» А они, смѣю вамъ объясниться, въ старой вѣрѣ состоятъ-съ!

Палахвостовъ. Да, это точно, что родитель твой въ старой вѣрѣ. Ну, а ты, щенокъ, въ какой состоишь?

Сокуровъ. Что-жъ, Савва Семенычъ, мы, конечно, люди молодые, желаемъ въ образованномъ обчествѣ пребываніе имѣть — вотъ хоть бы, примѣрно, съ ихъ благороднымъ сіятельствомъ... Почему что намъ ихній сюжетъ оченно интересенъ-съ. Мы, Савва Семенычъ, благодареніе Господу, завсегда благородныхъ дѣловъ не гнушаемся, и насупротивъ того съ нашимъ полнымъ удовольствіемъ къ нимъ привержены... Вотъ хоть бы касательно родителя-съ: оно, конечно, они намъ родители, а извѣстно, супротивъ насъ ужъ не придутся. Кабы да не власть ихняя, что они насъ, можно сказать, въ табакъ истереть могутъ, что-жъ бы они противъ насъ могли сдѣлать?

Палахвостовъ. Знаю, братъ, знаю. Знаю, что умри вотъ сегодня у тебя отецъ, такъ ты бы прахъ-отъ его завтра по вѣтру развѣялъ. А вотъ ужо лишитъ онъ тебя родительскаго благословенія!

Сокуровъ. Благословенья онъ насъ не лишитъ, это вы напрасно, Савва Семенычъ, безпокоиться изволите. За свои грѣхи они нонче зрѣнія ужъ лишились, такъ имъ теперича впору Богу молиться, а не то что дѣла дѣлать. А ужъ коли вы насъ, Савва Семенычъ, неуваженьемъ попрекаете,

такъ вамъ самимъ, уповательно, извѣстно, какими порядками нашъ родитель свой капиталъ нажилъ-съ. Кабы не сжегъ онъ въ ту пору питейный домъ со всѣмъ, и съ цѣловальникомъ, да не воспользовался бы тутотка выручкой, какой же бы онъ былъ теперича капиталистъ? За это, можетъ, и зрѣніе-то у нихъ Богъ отнялъ; какое же тутъ, Савва Семенычъ, почтеніе въ сердцѣ воспитывать можно, когда онъ сызмальства такимъ дѣломъ занимался? А мы и то завсегда противъ нихъ съ нашимъ уваженіемъ-съ.

Палахвостовъ. Ладно; вотъ тебѣ черти-то на томъ свѣтѣ языкъ-отъ вытянутъ! *(Нѣсколько минутъ молчанія).*

Ижбурдинъ. Вотъ-съ, ваше благородіе, все-то такъ у насъ нынче въ разстрой пошло.

Праздношатающійся. Ну, а какъ вы насчетъ улучшенныхъ путей сообщенія полагаете? *(Ижбурдинъ молчитъ).* Однакожъ?

Ижбурдинъ *(рѣшительно).* Для насъ, ваше благородіе, эти чугунки все одно, что разореніе. Вотъ какъ я вамъ скажу.

Праздношатающійся. Отчего же? Вѣдь вы сами сейчасъ высчитывали, какіе несете убытки отъ тысячи неудобствъ, которыя терпитъ каждая ваша операція вслѣдствіе затруднительности путей сообщенія.

Ижбурдинъ. Да-съ, это точно; я говорилъ. Да мы къ этому, сударь, дѣлу испоконъ вѣку привычны! Для насъ коли дѣло обошлось безъ ухабовъ да безъ бурлаковъ, такъ ровно оно и не дѣло. Это все единственно, что безъ клоповъ спать, безъ таракановъ щи хлебать. На все на это резонъ есть. Давно вотъ, кажется, почту завели, а нашъ братъ доселѣ ее обѣгаетъ, все норовитъ на вольныхъ проѣхать. Эти вольные берутъ съ насъ втридорога, а везутъ-то такъ, что, кажется, душу всю вытянутъ, проклятые! Лѣтось ѣздилъ я съ парнемъ въ Нижній, такъ ямщикъ-отъ сталъ на полдорогѣ отъ станціи и не ѣдетъ впередъ: «Прибавьте, говоритъ, хозяева, три цѣлковенькихъ, такъ поѣду». Ну, и прибавили. А отчего мы, сударь, на почтѣ не ѣздимъ? Оттого все, не нашего это малаго разума дѣло, а дѣло оно дворянское. Да и чиновникъ тамъ такой есть, что на кажной тебѣ станціи словно въ зубы тычетъ: «Ты, молъ, за честь почитай, что сподобилъ тебя Создатель на почтѣ ѣхать!» Станешь это лошадей торопить—ну, одинъ только и есть отвѣтъ ото всѣхъ: «Подождешь, молъ, борода, не великаго чина птица». Ну, и стоишь у заваленки. Выходитъ,

совсѣмъ мы и обробѣли по той причинѣ, что всякъ тебѣ говоритъ: куда ты лѣзешь? Ужъ чего, кажется, деньги по новѣсткѣ получить, а и тутъ, сударь, измаешься, ждамши въ передней; не пускаютъ дальше, да и все тутъ. Полтинникъ тебѣ стоитъ, чтобъ предъ лицо-то почтмейстерское стать, а онъ тебѣ тоже: «не время, приходи завтра». И хошь бы со всѣми они такъ-то—все бы не больно досадно было, а то вѣдь подъ носомъ у тебя деньги отдаютъ, подъ носомъ сторонніе люди черезъ переднюю проходятъ... А объ мужичкахъ и говорить нече; случалось мнѣ самолично видѣть, какъ иной по мѣсяцу ходитъ за какимъ-нибудь цѣлковымъ, и все рѣшенья получить не можетъ. По эвтой самой причинѣ и капиталъ свой бережешь, даже отъ семьи-то прячешь: потому что неровенъ часъ—деньги-то всякому вѣдь по нраву. Какъ въ этакомъ-то, сударь, передѣлѣ побываешь, такъ и не до чугунокъ тебѣ: это первое дѣло. А второе дѣло будетъ то, что для нашего брата купца, что чугунки завести, что гильдію совсѣмъ снять—это все одинъ сюжетъ, все вокругъ одного пальца вертится. Если-бъ вотъ хоть теперь кто сказалъ, что нѣтъ, молъ, гильдіи, всякъ, дескать, воленъ торговать чѣмъ и какъ пожелаетъ—развѣ можно было бы оставаться въ купцахъ? Вѣдь это для насъ было бы все единственно, что въ петлю лѣзти, почему какъ въ то время всякая, можно сказать, щель тебѣ сотню супостатовъ выставитъ: «самъ-то, молъ, я хошь и проторгуюсь, да по крайности весь торгъ перенакощу». Ну, и чугунки то же-съ. *(Тягостное и продолжительное молчаніе).* Это, ваше благородіе, все враги нашего отечества выдумали, чтобъ насъ какъ ни-на-есть съ колеи сбить. А за ними и наши туда же лѣзутъ—вотъ эта гольтепа, что негоціантами себя прозываютъ. Основательный торговецъ никогда въ экое дѣло не пойдетъ, даже и разговаривать-то объ немъ не будетъ, по той причинѣ, что это все одно, что противъ себя говорить.

Палахвостовъ. Это точно, что эти щелкоперы *(указываетъ на Сокурова)* на всю нашу операцію мораль напустили.

Ижбурдинъ. Нынче вотъ молодость всѣми, сударь, дѣлами завладѣть желаетъ. Оно бы и ничего: что-жъ, если царь въ головѣ есть да руку себѣ набилъ — дѣйствуй на здоровье. Такъ нѣтъ: онъ все нарохтится тебѣ съ наругательствомъ, да не то чтобъ тебя уважить, а пуще въ бороду тебѣ наплевать желаетъ. «Я, говоритъ, негоціантъ, а не купецъ; мы, говоритъ, изъ Питера отъ Руча камзолы себѣ

выписываемъ—вотъ, молъ, мы каковы!» Ну-съ, отцамъ-то, разумѣется, и надсадно на него смотрѣть, какъ онъ бороду-то себѣ оголилъ, да въ кургузомъ кафтанишкѣ передъ людьми привередничаетъ. Вотъ и тянутъ старики, какъ бы достояніе-то свое тоже зря разбросать. А который не успѣлъ умереть, не растративши капиталу, молодцы мигомъ этому дѣлу подсобятъ. Такъ оно и идетъ все колесомъ. Вотъ лѣтось померъ у насъ купецъ, такъ сынокъ-отъ—что бы вы думали? — только-что успѣлъ старика схоронить, первымъ долгомъ нализался мертвецки, на заводъ поѣхалъ и перебилъ тамотка всѣ стекла: «я,. говоритъ, давно эту мысль въ головѣ держалъ». Да съ тѣхъ поръ и идетъ у нихъ дебошъ: то женскій полъ соберетъ, въ горницѣ натопитъ, да въ чемъ есть и безобразничаетъ, или зазоветъ къ себѣ приказнаго какого ни-на-есть ледящаго: «вотъ, говоритъ, тебѣ сто рублевъ, дозволь, молъ, только себя выпороть!» Намеднись одинъ пьянчужка и согласился, да только-что они его, сударь, выпустили, онъ сталъ въ воротахъ да и кричитъ караулъ. Насилу ужъ городничій дѣло сладилъ, что на пяти стахъ помирились: «не хочу, говоритъ, давай тысячу; у меня, молъ, и поличное завсегда при себѣ». А не то вотъ выѣхалъ онъ третьёднись пьяный - распьяный въ саночкахъ: сидитъ-себѣ одинъ да самъ и лошадью правитъ. Да въ глазахъ-то у него, прости Господи, видно черти ужъ скачутъ: ѣдетъ онъ одинъ-отъ, а впереди ему Ванька-кучеръ показывается, вотъ онъ и покрикиваетъ: «пошелъ, Ванька!»—«молчать, Ванька подлецъ!»... Подивились мы только въ ту пору, какъ его Богъ помиловалъ, что лошадь въ прахъ не расшибла. *(Всѣ смѣются).* Такъ неужто-жъ эки-то сорванцы лучше насъ, стариковъ. *(Къ Сокурову).* Такъ-то вотъ и ты, паренекъ, коли будешь родительскимъ благословеніемъ брезговать, пойдетъ на вѣтеръ все твое достояніе.

Праздношатающійся. Отчего же нибудь да происходитъ этотъ разладъ между старымъ и молодымъ поколѣніемъ? Воспитаніе тутъ, что ли?

Ижбурдинъ. Какое тутъ, батюшка, воспитаніе! Вотъ онъ бороду себѣ выбрилъ, такъ развѣ поэтому только супротивъ насъ лучше будетъ, а грамота-то и у него не Богъ вѣсть какая! азъ-ангелъ-ангельскій-архангелъ-архангельскій-буки-бабаки... А то еще воспитанія захотѣли! Нѣтъ-съ, тутъ, признательно доложить, другого сорта есть причинность. Старые порядки къ концу доходятъ, а новыхъ еще мы не

доспѣлись. Вотъ-съ хошь бы ихъ тятенька: грѣхъ сказать, они человѣкъ почтенный, а только это сущая истина, что они цѣловальника-то сожгли да съ тѣхъ поръ и жить зачали. Прежде какъ мы торговали? Привезетъ, бывало, тебѣ мужичокъ овса кулей десятокъ или рогожи сотъ пять—ну, и свалишь, а за деньгами приходи, молъ, черезъ недѣлю. Придетъ онъ черезъ недѣлю—и знать не знаю, вѣдать не вѣдаю, кто ты таковъ. Уйдетъ, бѣдняга, и управы никакой на тебя нѣтъ, потому что и градоначальникъ, и вся подьячая братія твою руку тянетъ. Такимъ-то родомъ и наживали капиталы, а подъ старость грѣхи передъ Богомъ замаливали. Да опять-таки, даже промежъ самихъ себя простота была; ни счетовъ, ни книгъ никакихъ, по душѣ всякій торговалъ—кто кого, можно сказать, переторгуетъ. *(Вздыхаетъ).* Теперь же, сударь, все это, видно, къ концу приходитъ. Не оттого чтобы меньше на этотъ счетъ отъ начальства вольготности для насъ было — на это пожаловаться грѣхъ, а такъ, знать, больше свой же братъ, вотъ этакой-то проходимецъ кургузый, норовитъ тебя на весь народъ обхаять. Его-то самого общиплютъ кругомъ, такъ онъ и надѣется на старикахъ сердце сорвать! «Вы, молъ, богатѣете оттого, что мошенники, а я вотъ честный, такъ и бѣдный»...

Праздношатающійся. Странно, однакожъ!..

Ижбурдинъ. Какъ этакую-то мораль онъ пуститъ, такъ оно и точно, что въ оба глядѣть станешь... Ну, а ему тоже проку отъ этого мало: стариковъ-то онъ опакостилъ, а самъ выдумать ничего не выдумалъ. Вотъ оно и выходитъ, что старые порядки къ концу пришли, а новыхъ мы не доспѣлись. По той причинѣ, что выдумывать еще мы не горазды, не выросли разума въ мѣру. А приходится, видно, своею головою жить. *(Къ Сокурову).* А ну-ка, паренекъ, вотъ ты востёръ больно; разскажи-кась намъ, какъ это намъ съ тобой, въ малолѣтствіи, безъ отца-матери вѣкъ прожить, въ чужихъ людяхъ горекъ хлѣбъ снѣдаючи, рукавомъ слезы утираючи?.. *(Палахвостовъ смѣется).*

Сокуровъ *(съ досадой).* Извѣстно, мы теперь въ рукахъ Божіихъ, по стопамъ родительскимъ, можно сказать, ходимъ... Вотъ другой манеръ, кабы мы своимъ капиталомъ дѣйствовали...

Ижбурдинъ. Эка, подумаешь, приключилась надъ нами штука! Жили мы доселѣ словно въ дѣвичествѣ, горя не видали, а теперь вѣ куда дѣло-то пошло! Поди-ка лѣтъ пят-

надцать назадъ, какъ плыветъ, бывало, по рѣкѣ конная-то машина, такъ и что̀ диву! А нонѣ выѣзжай-ко съ ней на Волгу-то—всякъ норовитъ тебя оконфузить: «эхъ-ма, говоритъ, куда-те запропастило; верстъ, чай, съ десятокъ, дяденька, въ сутки уѣдешь!» Завѣлись вездѣ пароходы—просто хошь торговлю бросай, а тутъ еще объ какихъ-то чугункахъ твердятъ! А мы, сударь, этого дѣла и понять-то не можемъ, почему какъ оно для насъ вмѣсто забавы. Ну, и овладѣютъ нами нѣмцы заѣзжіе... Инъ и подлинно свѣтопреставленью скоро быть надоть!..

Сокуровъ. Тятенька баетъ, что быть этому дѣлу въ 1860 году! Ему, вишь, старикъ какой-то сказывалъ, съ Чердынскихъ пустынь ономнись приходилъ.

Ижбурдинъ. Вотъ, сударь, сами изволите судить, какая тутъ можетъ статься коммерція, коли мы антихриста съ-часуна-часъ поджидаемъ.

Праздношатающійся. Вы представили мнѣ довольно странную картину. Признаюсь вамъ даже, я мало тутъ что-нибудь понимаю. Съ одной стороны, старая система торговли, основанная, какъ вы говорили сами, на мошенничествѣ и разныхъ случайностяхъ, далѣе идти не можетъ; съ другой стороны, устройство путей сообщенія, освобожденіе торговли отъ стѣсняющихъ ее ограниченій, по вашимъ словамъ, неминуемо повлечетъ за собой обѣднѣніе цѣлаго сословія, въ рукахъ котораго находится въ настоящее время вся торговля... Какъ согласить это? Какъ помочь тутъ?

Ижбурдинъ. А кто его знаетъ! Мы объ такомъ дѣлѣ развѣ думали? Мы вотъ видимъ только, что наше дѣло къ концу приходитъ, а какъ оно тамъ напредки выйдетъ — все это въ рукѣ Божіей... Наше теперича дѣло объ томъ только думать, какъ бы самимъ-то намъ въ мирѣ прожить, безпечальну пробыть. *(Встаетъ).* Одначе, мы съ вашимъ благородіемъ тутотка забавляемся, а насъ, чай, и бабы давно, поди, ждутъ... Прощенья просимъ. *(Всѣ встаютъ и уходятъ).*

СЦЕНА II.

Праздношатающійся *(въ раздумьи).* Чего онъ мнѣ тутъ нагородилъ, ничего и не поймешь!.. Ба! мысль! *(Вынимаетъ изъ кармана записную книжку и пишетъ).* Мошенничество... обманъ... взятки... невѣжество... тупоуміе... общее безобразіе! Что̀ выйдетъ — не знаемъ, а подадимъ горячо!

Скука.

«Скучно! Крупныя капли дождя стучатъ въ окна моей квартиры; на улицѣ холодно, темно и грязно; осень давно ужъ вступила въ права свои, и какая осень! Безобразная, гнилая, съ проницающею насквозь сыростью и вѣчнымъ туманомъ, густою пеленою встающимъ надъ городомъ...

«Свѣча уныло и какъ-то слѣпо освѣщаетъ комнату; обстановка ея бѣдна и гола: дюжина стульевъ базарной работы, да диванъ, на которомъ жутко сидѣть,—вотъ и все. Какъ хотите, а комфортъ—славная вещь! Вотъ теперь бы мягкое кресло, да каминъ, да хорошую сигару—забылъ бы и грязь, и дождь. Воображеніе разгорѣлось бы, представило бы картинки заманчиваго свойства; въ струйкахъ сигарочнаго дыма показались бы нимфы, генеральскіе эполеты, звѣзды, груды золота, общее уваженіе и такъ далѣе; однимъ словомъ, все, что только можетъ вмѣстить въ себѣ тонкая струйка табачнаго дыма... А потомъ? Сонъ, сладкій сонъ наложилъ бы на все это свою всесильную руку; полногрудыя нимфы пустились бы въ обольстительнѣйшій танецъ съ генеральскими эполетами, звѣзды—съ общимъ уваженіемъ; однѣ груды золота остались бы попрежнему неподвижны, иронически посматривая на всю эту суматоху.

«А сонъ—великое дѣло, особливо въ Крутогорскѣ. Сонъ и водка — вотъ истинные друзья человѣчества. Но водка необходима такая, чтобы сразу забирала, покоряла себѣ всего человѣка; что называется воръ-водка, такая, чтобы сначала всѣ вообще твои суставчики словно перешибло, а потомъ изнылъ бы каждый изъ нихъ въ особенности. Такая именно водка подается у моего добраго знакомаго, предсѣдателя. Носятся слухи, будто бы и всякій крутогорскій чиновникъ имѣетъ право на полученіе подобной водки. Нужно справиться! Нѣтъ ничего мудренаго, что коварный откупщикъ употребляетъ во зло мою молодость и неопытность.

«Странная, однакожъ, вещь! Слылъ я, кажется, когда-то порядочнымъ человѣкомъ, водки въ ротъ не бралъ, не наѣдался до изнеможенія силъ, послѣ обѣда не спалъ, одѣвался прилично, былъ добръ и свѣжъ, трудился, надѣялся, и все чего-то ждалъ, къ чему-то стремился... И вотъ въ какія-нибудь пять лѣтъ какая перемѣна! Лицо отекло и одрябло; въ глазахъ свѣтится собачья старость; движенія

вялы, словесности, какъ говоритъ пріятель мой, Яковъ Астафьичъ, совсѣмъ нѣтъ... Скверно!

«И какъ скоро, какъ безпрепятственно совершается процессъ этого превращенія! Съ какою изумительною быстротой поселяется въ сердцѣ вялость и равнодушіе ко всему, потухаетъ огонь любви къ добру и ненависти, ко лжи и злу! И то, что̀ когда-то казалось и безобразнымъ, и гнуснымъ, глядитъ теперь такъ гладко и пристойно, какъ будто все это въ порядкѣ вещей, и такъ ему и быть должно!

«Это примиреніе совершается вообще очень просто. Оглядишься вокругъ себя, всмотришься въ окружающихъ людей, и поневолѣ сознаешь, что всѣ они, право, недурные ребята. Они неглупы — и это первый пунктъ; они гостепріимны и общежительны, а стало-быть и добры—это второй пунктъ; они бѣдны и сверхъ того снабжены семействами, и потому самое чувство самосохраненія вынуждаетъ ихъ заботиться о средствахъ къ существованію, каковы бы ни были эти средства—это̀ третій пунктъ. Разсудокъ безъ труда принимаетъ эти причины и удовлетворяется ими. Ибо что̀ сказать противъ нихъ? Какъ бы вы ни были краснорѣчивы, какъ бы ни были озлоблены противъ взятокъ и злоупотребленій, вамъ всегда готовъ очень простой отвѣтъ: человѣкъ такое животное, которое безъ одежды и пищи ни подъ какимъ видомъ существовать не можетъ. Понятно? Слѣдовательно...

«Отчего же, несмотря на убѣдительность этихъ доводовъ, все-таки ощущается какая-то неловкость въ то самое время, когда они представляются уму съ такою ясностью? Несомнѣнно, что эти люди правы, говорите вы себѣ, но, тѣмъ не менѣе, дѣйствительность представляетъ такое сплетеніе гнусности и безобразія, что чувствуется невольная тяжесть въ вашемъ сердцѣ... Кто же виноватъ въ этомъ? Гдѣ причина этому явленію?

«— Въ воздухѣ,—отвѣчаетъ мнѣ искреннѣйшій мой другъ, Яковъ Петровичъ, тотъ самый, который изобрѣлъ *хвецовг* и мазь для ращенія конскихъ волосъ на человѣческихъ головахъ.

«Въ воздухѣ! Да не можетъ же быть, чтобъ весь воздухъ былъ до такой степени зараженъ гнилыми міазмами, чтобъ не было никакихъ средствъ очистить его отъ нихъ. Прочь ихъ, эти испаренія, которыя не даютъ дохнуть свободно, которыя заражаютъ даже самаго здороваго человѣка!

«— Э, батюшка, намъ съ вами вдвоемъ всего на свой

ладъ не передѣлать!—отвѣчаетъ мнѣ тотъ же изобрѣтатель растительной мази.—А вотъ лучше выпьемъ-ка водочки, закусимъ селедочкой да сыграемъ пулечку въ вистикъ: печаль-то какъ рукой сниметъ!

«Ну, и выпьемъ...

«Сегодня утромъ принесъ ко мнѣ секретарь бумагу. Надо, говоритъ, затребовать по ней дополнительныхъ свѣдѣній.

«— Да зачѣмъ же ихъ требовать? Вѣдь они всѣ есть у васъ подъ руками?

«— Есть-съ.

«— Такъ что же?

«— Да помилуйте, за что-жъ я опять подъ отвѣтственность попасть долженъ?

«— Какъ подъ отвѣтственность?

«— Да точно такъ-съ. Теперь конецъ мѣсяца, а сами вы изволите помнить, что его высокородіе еще въ прошломъ мѣсяцѣ пыталъ меня бранить за то, что у меня много бумагъ къ отчетности остается, да посулилъ еще изъ службы за это выгнать. Ну, а если мы эту бумагу начнемъ разрѣшать, такъ разрѣшимъ ее не раньше слѣдующаго мѣсяца; а дополнительныхъ-то свѣдѣній потребуешь, такъ хоть и не разрѣшена она досконально, а все какъ *будто* исполнена: его высокородіе и останутся довольны.

«Нечего дѣлать, исполнилъ по желанію Ивана Никитича: не попадать же ему, въ самомъ дѣлѣ, подъ отвѣтственность изъ-за какой-то непонятной щепетильности.

«— Это ужъ у нихъ, у канальевъ, такъ изстари заведено, — отвѣчалъ мнѣ Яковъ Петровичъ, когда я разсказалъ ему этотъ анекдотъ.—Этого, батюшка, намъ съ вами и селитреною кислотою не вывести!

«Выпили мы по рюмочкѣ, и подлинно, я прозрѣлъ.

«А всему виной моя самонадѣянность... Я думалъ, въ кичливомъ самообольщеніи, что нѣтъ той силы, которая можетъ сломить энергію мысли, энергію воли! И вотъ оказывается, что какому-то неопрятному, далекому городку предоставлено совершить этотъ подвигъ уничтоженія. И такъ просто, почти безъ борьбы, потому что какая же можетъ быть борьба съ явленіями, заключающими въ себѣ лишь чисто отрицательныя качества?

«А мнѣ ли не твердили съ дѣтскихъ лѣтъ, что покорностью цвѣтутъ города, благоденствуютъ селенія, что она даетъ силу и крѣпость недужному на одрѣ смерти, бодрость и надежду истомленному работой и голодомъ, смяг-

чаетъ сердца великихъ и сильныхъ, открываетъ двери темницы забытому узнику... но кто исчислитъ всѣ твои благодѣянія, всѣ твои цѣленія, о матерь всѣхъ доблестей?

«— Загляните въ скрижали исторіи, — говаривалъ мнѣ воспитатель мой, студентъ т—ской семинаріи: — загляните въ скрижали исторіи, и вы убѣдитесь, что тотъ только народъ благоденствуетъ и процвѣтаетъ, который не уносится далеко, не порывается, не дерзаетъ до вопроса. Процвѣтаютъ у него искусства и науки; конечно, и тѣ, и другія составляютъ достояніе только немногихъ избранныхъ, но онъ, погруженный въ невѣжество, не знаетъ, какъ налюбоваться, какъ нагордиться тѣмъ, что эти избранные — граждане его страны, «это, говоритъ онъ, мои искусства, мои науки!» Произведенія его фабрикъ, его промышленности первенствуютъ во всѣхъ рынкахъ: нѣтъ нужды, что онъ самъ одѣтъ въ рубище: онъ видитъ только, что его торговля овладѣла цѣлымъ міромъ, всѣ ему удивляются, всѣ завидуютъ, и вотъ, въ порывѣ законной гордости, онъ восклицаетъ: «о, какой я богатый, довольный, благоденствующій народъ!»

«Посмотрите на этого юношу: онъ только-что сошелъ со школьной скамьи; видъ его скроменъ, щеки розовы, поступь плавна и благонравна, глаза опущены внизъ... Онъ получилъ чудесный аттестатъ отъ своихъ наставниковъ и воспитателей; успѣхи его были отличные, нравственность безпримѣрная; нѣтъ того балла, нѣтъ той цифры, которою можно было бы выразить удовольствіе начальниковъ. Гдѣ же ключъ ко всему этому? Гдѣ, какъ не въ томъ, что этотъ юноша—покорный юноша? Онъ безпрекословно выучивалъ наизусть заданныя странички, отъ «мы прошлый разъ сказали» до «объ этомъ мы скажемъ въ слѣдующій разъ»; онъ аккуратно въ девять часовъ снималъ съ себя курточку, и хотя не всегда имѣлъ желаніе почивать, но во всякомъ случаѣ благонравно закрывалъ глазки и удерживалъ свое ровненькое дыханьице, чтобъ оно какъ-нибудь не оскорбило деликатнаго слуха его наставника... О, это преблаговоспитанненькое дитя, самое покорненькое дитя на свѣтѣ! Для него не существовало ни стола, ни стула, ни книги, а было: «стульчикъ», «столикъ», «книжечка»; онъ никогда не бѣгалъ, не суетился, его не видали ни распотѣвшимъ, ни раскраснѣвшимся... Въ глазахъ его, правда, не видно блеску, не видно огня молодости... но зато какая покорность! Боже,

какая покорность! О, дайте мнѣ расцѣловать его, дайте обнять его, это милое, *покорное* дитя!

«Но вотъ онъ сдѣлался чиновникомъ; съ какимъ вниманіемъ, съ какимъ простодушіемъ выслушиваетъ онъ наставленія начальника и благодѣтеля! Какъ удивляется его проницательности, глубокомыслію, обширности взгляда! Не достойный ли, не презрѣнный ли онъ сосудъ... извините, сосудикъ!—и между тѣмъ, его считаютъ достойнымъ—да, достойнымъ!—вмѣщать въ себѣ всѣ премудрости бюрократіи! И зато съ какимъ трепетомъ беретъ онъ въ руку бумажку, очиниваетъ ножичкомъ перышко, какъ работаетъ его миніатюрное воображеньице, какъ трудится его крохотная мысль, придумывая каждое слово, каждое выраженьице замысловатаго отношеньица, въ которомъ должны быть умѣщены громаднѣйшіе помыслы, величайшія начинанія, необъятнѣйшіе планы!

«— Главное дѣло, будь кратокъ!—говоритъ ему начальникъ.—Только въ выраженіи чувствъ преданности и покорности краткость неприлична и даже вредна; во всемъ же прочемъ краткость, краткость и краткость!

«И онъ слѣпо слѣдуетъ этому наставленію: излагаетъ дѣло кратко, почитаетъ плодовито. И послѣ этого можно ли изумляться, что этотъ маленькій, чистенькій, усердненькій чиновничекъ дѣлается въ свою очередь источникомъ помысловъ, начинаній и плановъ!

«Нѣтъ, покорность не значитъ подлость, не значитъ искательство и низкопоклонничество, не значитъ слабоуміе и апатія; покорность не наушничество, не лукавство исподтишка, не лицемѣріе... Это особая, своеобразная добродѣтель, съ помощью которой человѣкъ многое выигрываетъ и ровно ничего не проигрываетъ.

«Теперь все это представляется мнѣ ясно, какъ дважды-два; странно даже, какъ я когда-нибудь могъ мыслить иначе.

«Когда я ѣхалъ въ Крутогорскъ, то мнѣ казалось, что и я долженъ на дѣлѣ принесть хоть частичку той пользы, которую каждый гражданинъ обязанъ положить на алтарь отечества. Думалось мнѣ, что въ самой случайности, бросившей меня въ этотъ край, скрывается своего рода предопредѣленіе... Юношескія мечты! тщетныя мечты! Сколько въ нихъ, однакожъ, свѣжести и чистоты, сколько жажды добра и истины!

«Что же я сдѣлалъ, какіе подвиги совершилъ? . . .

. . . . . .

«О, провинція! ты растлѣваешь людей, ты истребляешь всякую самодѣятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать! Ибо можно ли называть желаніями тѣ мелкія вожделѣнія, исключительно направленныя къ матеріальной сторонѣ жизни, къ доставленію крошечныхъ удобствъ, которыя имѣютъ то неоцѣненное достоинство, что устраняютъ всякій поводъ для тревогъ души и сердца? Какая возможность развиваться, когда горизонтъ мышленія такъ обидно суживается? Какая возможность мыслить, когда кругомъ нѣтъ ничего вызывающаго на мысль? Когда человѣкъ испытываетъ горькую нужду, когда, вмѣстѣ съ тѣмъ, все вокругъ него свидѣтельствуетъ о благахъ жизни, все привязываетъ къ ней, тогда нѣтъ возможности не пробуждаться даже самой сонной натурѣ. Воображеніе работаетъ, самолюбіе страждетъ, зависть кипитъ въ сердцѣ, и вотъ совершаются тѣ великіе подвиги ума и воли человѣческой, которымъ такъ искренно дивится покорная генію толпа. Что̀ нужды, что подготовительныя работы къ нимъ смочены слезами и кровавымъ по̀томъ; что̀ нужды, что не одно, быть-можетъ, проклятіе сорвалось съ устъ труженика, что горьки были его исканія, горьки нужды, горьки обманутыя надежды: онъ жилъ въ это время, онъ ощущалъ себя человѣкомъ, хотя и страдалъ...

«Да; жалко, поистинѣ жалко положеніе молодого человѣка, заброшеннаго въ провинцію! Незамѣтно, мало-по-малу, погружается онъ въ тину мелочей и, увлекаясь легкостью этой жизни, которая не имѣетъ ни вчерашняго, ни завтрашняго дня, самъ безсознательно дѣлается молчаливымъ поборникомъ ея. А тамъ подкрадется матушка-лѣнь, и такъ крѣпко сожметъ въ своихъ объятіяхъ новобранца, что и очнуться некогда. Посмотришь кругомъ: вѣдь живутъ же добрые люди, и живутъ весело—ну, и самъ станешь жить весело.

«О, вы, которые живете другою, широкою жизнью, вы, которыхъ оставляютъ жить, и которые оставляете жить другихъ — завидую вамъ! И если когда-нибудь придется вамъ горько, и вы усомнитесь въ вашемъ счастіи, вспомните, что есть иной міръ, міръ зловоній и болотныхъ испареній, міръ сплетенъ и жирныхъ кулебякъ—и горе вамъ, если вы тотчасъ не поспѣшите подписать удовольствіе вѣчному истцу вашей жизни—обществу!

«А все-таки странно, что я сегодня цѣлый вечеръ сижу дома и одинъ. Гдѣ бы они могли быть всѣ? У Порфирія

Петровича — не можетъ быть: онъ такъ милъ и любезенъ, что всегда меня приглашаетъ; Александръ Андреевичъ тоже души во мнѣ не слышитъ: «Ты, говоритъ, только проигрывай, а то хоть каждый день пріѣзжай».

«Вѣрно, у князя Льва Михайловича! Странный человѣкъ этотъ князь! Разсердился на меня не на шутку за то, что я выразился, якобы онъ, въ удобное для охоты время, командируетъ своего секретаря, подъ видомъ дѣлъ службы, собственно для стрѣлянія дичи къ столу его сіятельства. «Что-жъ, говоритъ, тутъ дурного? Развѣ это взятка? Вы мнѣ скажите, взятка ли это? Развѣ я вымогалъ, сдѣлалъ какую-нибудь подлость; развѣ это деньги? Деньги ли дичь, спрашиваю я васъ? И имѣлъ ли онъ право, этотъ молокососъ, осуждать дѣйствія начальства, подрывать довѣріе къ нему, онъ, который каждое воскресенье обѣдаетъ у меня?»

«Князь вообще знаменитъ строгостью своей логики, и Порфирій Петровичъ очень смѣялся, разсказывая мнѣ про негодованіе его сіятельства.

«Вообще я знаю очень много примѣровъ подобнаго рода логики. Есть у меня пріятель судья, очень хорошій человѣкъ. Пришла къ нему экономка съ жалобой, что такой-то писецъ ее изобидѣлъ: встрѣтившись съ ней на улицѣ, картуза не снялъ. Экономка—бабёнка здоровая, кровь съ молокомъ; судья—человѣкъ древній и экономокъ любитъ до смерти. Подать сюда писца!

«— Ты по какому это праву не поклонился Анисьѣ?

«— Да помилуйте, ваше высокоблагородіе...

«— Нѣтъ, ты отвѣчай, по какому ты праву не поклонился Анисьѣ?

«— Да помилуйте, ваше высокоблагородіе...

«— Ты мнѣ говори: отвалятся у тебя руки? а? Отвалятся?

«— Да помилуйте, ваше высокоблагородіе...

«— Нѣтъ, ты не вертись, а отвѣчай прямо: отвалятся у тебя руки или нѣтъ?

«La question ainsi carrément posée, писецъ молчитъ и переминается съ ноги на ногу. Пріятель мой — во всемъ блескѣ заслуженнаго торжества.

«— Что-жъ ты молчишь? Ты говори: отвалятся или нѣтъ?

«— Нѣтъ, — отвѣчаетъ подсудимый съ какимъ-то злобнымъ шипѣньемъ.

«— *Ну, слѣдственно...*

«И логика, какъ и всегда, осталась побѣдительницей анархіи.

«А можетъ-быть, «они» и у доктора. Милѣйшій человѣкъ этотъ докторъ и преостроумный. Когда придетъ къ нему крестьянинъ или мѣщанинъ «за своею надобностью», или проще по рекрутской части, и принесетъ всѣ нужные по дѣлу документы, онъ никогда сразу не начнетъ *дѣла*, а сначала заставитъ просителя побожиться предъ образомъ, что другихъ документовъ у него нѣтъ, и когда побожится, «чтобъ и глаза-то мои лопнули» и «чтобъ нутро-то у меня изгнило», прикажетъ ему снять сапоги и тщательно осмотритъ ихъ. Понеже наученъ докторъ долголѣтнимъ опытомъ и практикою, что у мужика сапоги — все одно, что ломбардъ.

«И за всѣмъ тѣмъ докторъ—предрагоцѣнный человѣкъ. Выпить ли, сыграть ли въ «любишь не любишь»—на все это онъ именно душа. Особливо какъ на ту пору подойдетъ рекрутскій наборъ. . . . . .

. . . . . .

«Были, однакожъ, и у меня иныя времена, окружали меня иные люди,— все иное! Были глубокія вѣрованія, горячія убѣжденія, была страсть къ добру... Куда все это дѣвалось?

«Гдѣ-то вы, друзья и товарищи моей молодости? Ведете ли, какъ и я, безрадостную, скитальческую жизнь, или же утонули въ отличіяхъ, погрязли въ почестяхъ и съ улыбкой самодовольствія посматриваете на бѣдныхъ тружениковъ, робко проходящихъ мимо васъ съ понуренными головами? Многіе ли изъ васъ бодро выдержали пытку жизни, не смирились предъ гнетущею силою обстоятельствъ, не прониклись духомъ праздности, унынія и любоначалія?

«Господи! неужели нужно, чтобъ обстоятельства вѣчно гнели и покалывали человѣка, чтобъ не дать заснуть въ немъ энергіи, чтобы не дать замереть этой страстности стремленій, которая горитъ на днѣ души, поддерживаемая какимъ-то неугасаемымъ огнемъ? Ужели вѣчно нужны будутъ страданія, вѣчно вопли, вѣчно скорби, чтобы сохранить въ человѣкѣ чистоту мысли, чистоту вѣрованія?

«Помню я и долгіе зимніе вечера, и наши дружескія, скромныя бесѣды, заходившія далеко за полночь. Какъ легко жилось въ это время, какая глубокая вѣра въ будущее, какое единодушіе надеждъ и мысли оживляло всѣхъ насъ! Помню я и тебя, многолюбивый и незабвенный другъ

и учитель нашъ! Гдѣ ты теперь? Какая желѣзная рука сковала твои уста, изъ которыхъ лились на насъ слова любви и упованія?

«И отчего всѣ эти воспоминанія такъ ясно, такъ отчетливо воскресаютъ передо мной, отчего сердцу дѣлается отъ нихъ жутко, а глаза покрываются какою-то пеленою? Ужели я еще недостаточно убилъ въ себѣ всякое чувство жизни, что оно такъ назойливо напоминаетъ о себѣ, и напоминаетъ въ такое именно время, когда одно представленіе о немъ можетъ поселить въ сердцѣ отчаяніе, близкое къ мысли о самоубійствѣ! . . . . . .

. . . . . .

«А потомъ фантазія незамѣтно переноситъ меня къ далекимъ временамъ моего дѣтства. Встаютъ передо мной и сельскій нашъ домъ, и тополи въ саду, и церковь на небольшомъ пригоркѣ, и фруктовый садъ, о которомъ мы, дѣти, говорили не иначе, какъ «тотъ садъ», потому что онъ былъ разведенъ особнякомъ отъ усадьбы, и потому что насъ пускали въ него весьма рѣдко. И какъ тихо становилось во всемъ домѣ по субботамъ, послѣ всенощной, когда священникъ, окропивъ святою водой всѣ комнаты и давъ всѣмъ намъ благословеніе, уходилъ домой! Говоръ и шумъ умолкали и въ дѣвичьей, и въ дѣтской, и вездѣ, гдѣ въ теченіе дня было такъ суетливо и людно; все какъ будто сосредоточивалось и углублялось въ себя; все ждало грядущаго праздника...

«Помню я школу, но какъ-то угрюмо и непривѣтливо воскресаетъ она въ моемъ воображеніи... Нѣтъ, я сегодня настроенъ такъ мягко, что все хочу видѣть въ розовомъ свѣтѣ... Прочь школу!

«Но отчего же вдругъ будто дрогнуло въ груди моей сердце! Отчего я самъ слышу учащенное біеніе его?

«Тамъ, вдали, вижу я, мелькаютъ два сѣренькія платьица... Боже! да это онѣ, онѣ, мои дѣвочки, съ ихъ звонкимъ смѣхомъ, съ ихъ непринужденною веселостью, съ ихъ вьющимися черными локонами! Какъ хороши онѣ, и сколько зажгли сердецъ, несмотря на свои четырнадцать только лѣтъ! Онѣ еще носятъ коротенькія платьица, онѣ могутъ еще громко говорить, громко смѣяться; имъ не воспрещены еще тѣ нѣсколько рѣзкія, угловатыя движенія, которыя придаютъ такой милый, оригинальный смыслъ каждому ихъ слову! Но въ особенности вы, моя маленькая, миленькая *Бетси,* вы, радость и утѣшеніе всего живущаго, волнуете

всю кровь въ молодомъ человѣкѣ, изо всѣхъ силъ устремляющемся къ вамъ... Но что же я вижу? Кажется, и вы покраснѣли и даже чуть-чуть не споткнулись на ровномъ мѣстѣ; и у васъ зажглись глазки, и вся ваша миніатюрная фигурка внезапно приняла какой-то томный и немного лѣнивый характеръ?..

«То была первая, свѣжая любовь моя, то были первыя сладкія тревоги моего сердца! Эти глубокіе сѣрые глаза, эта кудрявая головка долго смущали мои юношескіе сны. Все думалось: «какъ хорошо бы погладить ее! какое бы счастье прильнуть къ этимъ глазкамъ, да такъ и остаться тамъ жить!»

«Вокругъ меня мгла и туманъ: Порфиріи Петровичи, Яковы Астафьичи, Ѳедоры Герасимычи жадно простираютъ ко мнѣ голодныя руки и не даютъ мнѣ дохнуть...

«Гдѣ я, гдѣ я, Господи?!»

V.

ПРАЗДНИКИ.

Елка.

На дворѣ очень холодно; морозъ крѣпко сковалъ и угладилъ дорогу и теперь что̀ есть мочи стучится въ двери и окна мирныхъ обитателей Крутогорска. Наступилъ уже вечеръ, и на улицахъ стало пустынно и тихо. Полный мѣсяцъ глядитъ съ заоблачныхъ высотъ, глядитъ добродушно и весело, и свѣтитъ такъ ясно, что на улицахъ словно день стоитъ. Бѣжитъ вдали маленькая лошадка, бойко неся за собой санки съ сидящимъ въ нихъ губернскимъ аристократомъ, поспѣшающимъ на званый вечеръ, и далеко разносится гулъ отъ ея копытъ. Въ окнахъ бо̀льшей части домовъ зажигаются огни, которые сначала какъ-то тускло горятъ, а потомъ мало-по-малу разрастаются въ великолѣпныя иллюминаціи. Я иду по улицѣ и, всматриваясь въ окна, вижу цѣлые снопы свѣта, около которыхъ снуютъ взадъ и впередъ милыя головки дѣтей... «Ба! да вѣдь сегодня сочельникъ!»—восклицаю я мысленно.

Просвѣщеніе проникаетъ все болѣе и болѣе на востокъ, благодаря усердію господъ чиновниковъ, которые препоясали себя на брань съ варварствомъ и невѣжествомъ. Не знаю, имѣется ли елка въ Туруханскѣ, но въ Крутогорскѣ она во всеобщемъ уваженіи — это фактъ для меня несомнѣнный. По крайней мѣрѣ, чиновники, которые въ Крутогорскѣ плодятся непомѣрно, считаютъ непремѣнною обязанностью купить на базарѣ елку и, украсивъ ее незатѣйливыми сюрпризами домашняго приготовленія, презентовать

многочисленнымъ Ваничкамъ, Машенькамъ, а иногда и просто Ванькамъ и Машкамъ.

Иду я по улицѣ и поневолѣ заглядываю въ окна. Тамъ цѣлые выводки милыхъ птенцовъ, думаю я, тамъ любящая подруга жизни, тамъ чадолюбивый отецъ, тамъ такъ тепло и уютно... а я? Я одинъ какъ перстъ въ цѣломъ мірѣ; нѣтъ у меня ни жены, ни дѣтей, нѣтъ ни кола, ни двора, некому ни пріютить, ни приголубить меня, некому сказать мнѣ «папасецка», некому назвать меня «брюханчикомъ», въ квартирѣ моей холодно и непривѣтно; Гриша вѣчно сапоги чиститъ или папиросы набиваетъ... Господи, какъ скучно!

И я какъ-то инстинктивно останавливаюсь передъ каменными хоромами одного крутогорскаго негоціанта, выписывающаго себѣ «камзолы» отъ Руча. И тутъ тоже елка, отличающаяся отъ чиновничьихъ только тѣмъ, что богаче изукрашена и что по поводу ея присутствуетъ въ домѣ многочисленное стеченіе какъ большого, такъ и малаго люда. Въ пространной залѣ горитъ это милое дерево, которое такъ сладко заставляетъ биться маленькія сердца. Я застаю еще ту минуту, когда дѣти чинно расхаживаютъ по залѣ, только издалека посматривая на золотыя яблоки и орѣхи, висящіе въ изобиліи на всѣхъ вѣтвяхъ, и нетерпѣливо выжидая знака, по которому елка должна быть отдана имъ на разграбленіе. Въ боковой комнатѣ присутствуютъ взрослые мужчины; несмотря на то, что на соборной колокольнѣ только-что пробило шесть часовъ, круглый столъ, стоящій передъ диваномъ, ломится подъ тяжестью закусокъ и фіаловъ съ водкой и тенерифомъ. Въ Крутогорскѣ это называется «не терять золотыхъ мгновеній», и господа негоціанты дѣйствительно не теряютъ ихъ, потому что я вижу ихъ безпрерывно подступающими къ круглому столу и, разумѣется, не за тѣмъ, чтобъ проводить время праздно. Въ залѣ владычествуетъ хозяйка; въ гостиной — хозяинъ. Я вижу его съ улицы, подходящаго даже къ знакомому мнѣ сидѣльцу, который скромно стоитъ у окна, заложивши руки назадъ и не осмѣливаясь присѣсть при «хозяхъ». Хозяинъ, простирая длань по направленію къ закускѣ, сначала словесно уговариваетъ его вкусить отъ плода хлѣбнаго, но сидѣлецъ, какъ видно, оказываетъ сопротивленіе, потому что негоціантъ беретъ его за руку и силой подводитъ къ столу.

Но покуда я занимаюсь наблюденіями надъ взрослою

компаніей, рядомъ со мной незамѣтно становится другой наблюдатель, въ лицѣ маленькаго и шустраго мальчугана, который подскакиваетъ съ ноги на ногу въ своемъ дубленомъ полушубкѣ.

— Чай, скоро и рушить начнутъ?—беззастѣнчиво обращается онъ ко мнѣ.

И снова начинаетъ подплясывать на одномъ мѣстѣ, изо всѣхъ своихъ дѣтскихъ силъ похлопывая ручонками, закоченѣвшими на морозѣ.

— Вона, вона! ишь какъ Оську-то задрали! — продолжаетъ онъ какъ будто про себя.

Я смотрю внимательнѣе въ окно и вижу, что дѣйствительно какіе-то два мальчика подрались, и одинъ изъ нихъ, какъ должно полагать по его оскорбленному лицу, испускаетъ пронзительнѣйшіе стоны.

— Ты знаешь этого мальчика?—спрашиваю я моего маленькаго товарища.

— Это Оська рядскій,—отвѣчаетъ онъ мнѣ.—Ишь раззѣвался, смердъ этакой! Я бы те не такъ еще угостилъ!

— А тотъ мальчикъ, который прибилъ Оську?

— Это сынъ ихняго хозяина, онъ завсегда его такъ бьетъ,—отвѣчаетъ онъ, всхлипывая отъ смѣха.—Намеднись пескомъ такъ глаза засорилъ, что насилу отмыли... Эка нюня несообразная!—прибавилъ онъ съ какимъ-то презрѣніемъ, видя, что Оська не унимается.

Около обиженнаго мальчика хлопотала какая-то женщина, въ головкѣ и одѣтая попроще другихъ дамъ. По всѣмъ вѣроятностямъ, это была мать Оськи, потому что она не столько ублажала его, сколько старалась прекратить его всхлипыванья новыми толчками. Очевидно, она хотѣла этимъ угодить хозяевамъ, которые отнюдь не желали, чтобъ Оська обижался невинными проказами ихъ остроумныхъ дѣточекъ. Обидчикъ, между тѣмъ, пользуясь безнаказанностью, прохаживался по залѣ, гордо посматривая на всѣхъ.

— Вотъ кабы этакая-то елка...—задумчиво произнесъ мой собесѣдникъ.

Вѣроятно, онъ хотѣлъ сказать: «у насъ», но остановился не докончивъ фразы, какъ это часто бываетъ съ дѣтьми, когда они о чемъ-нибудь серьезно задумаются.

— Вона! вона! рушатъ! ломаютъ!—вскричалъ онъ вдругъ такимъ неестественнымъ голосомъ, что я вздрогнулъ.—Ахъ ты батюшки! Смотри-ка, Оська-то, Оська-то!

Въ окнахъ, дѣйствительно, сдѣлалось какъ будто тускло;

елка уже упала, и десятки дѣтей влѣзали другъ на друга, чтобы достать себѣ хоть что-нибудь изъ тѣхъ великолѣпныхъ вещей, которыя такъ долго манили собой ихъ встревоженныя воображеньица. Оська тоже полѣзъ вслѣдъ за другими, забывъ внезапно всѣ причиненныя въ тотъ вечеръ обиды; но ему не суждено было участвовать въ общемъ раздѣлѣ, потому что едва завидѣлъ его хозяйскій сынъ, какъ мгновенно повергъ несчастнаго на-земь данною съ размаха оплеухой.

Началась прежняя сцена увѣщаванья и колотушекъ, и мнѣ сдѣлалось невыносимо тяжко.

— Я бы еще не такъ тебѣ рожу-то насалилъ!—произнесъ мой товарищъ со звонкимъ хохотомъ, радуясь претерпѣнному Оською пораженію.

— Отчего ты не любишь Оську?—спросилъ я.

— А пòшто его любить-то! Вишь какъ онъ нюни распустилъ... козявка этакая!

— А если-бъ тебя такъ прибили?

— Ну, это, видно, послѣ дождичка въ четвергъ будетъ! Я самъ сдачи не займую. А вотъ, ей-Богу, я здѣсь останусь... хошь изъ-за угла эту плаксу шарахну.

Однако, онъ не остался и, простоявъ еще нѣсколько минутъ, съ глубокимъ и сосредоточеннымъ вздохомъ сталъ отходить отъ окна. Я тоже пошелъ съ нимъ рядомъ.

— Да ты чей?—спросилъ я.

— Кузнеца Потапыча сынъ.

Я знаю Потапыча, потому что онъ куетъ и часто даже заковываетъ моихъ лошадей. Потапычъ старикъ очень суровый, но весьма бѣдный и живущій изо-дня-въ-день скудными заработками своихъ сильныхъ рукъ. Избенка его стоитъ на самомъ краю города и вмѣщаетъ въ себѣ многочисленную семью, которой онъ единственная поддержка, потому что прочіе члены малъ-мала-меньше.

— А вѣдь тебѣ далекòнько идти,—говорю я.

— Ничего-таки, будетъ! Только вотъ тятька безпремѣнно заругаетъ.

— За что?

— А я еще утрось изъ дому убѣгъ, будто въ ряды, да вотъ и не бывалъ съ тѣхъ самыхъ поръ... то-есть съ утра ранняго,—прибавилъ онъ, и вдругъ, къ величайшему моему изумленію, пискливымъ дискантомъ запѣлъ:—*На зарѣ ты се не буди...*

— Кто тебя научилъ этой пѣснѣ?

— А что, пѣсня важнецкая! Нашъ учитель приходскій только и дѣла, что мурлычитъ ее.

— Неужто ты съ самаго утра по городу шатаешься?

— А то нѣтъ? Сказано: съ утра ранняго... неужто-жъ пропустить экой праздникъ!

— А дома у васъ развѣ нѣтъ елки?

— Какая елка, у насъ и хлѣба, поди, нѣтъ... чѣмъ еще разговѣемся завтра!

Имѣя душу чувствительную, я вдругъ проникаюсь состраданіемъ къ бѣдному мальчику, которому, можетъ-быть, завтра разговѣться нечѣмъ. Если я чему-нибудь въ мірѣ завидовалъ, то это именно положенію герцога Геролыштейна, который, не щадя, можно сказать, своей изнѣженной особы, заходилъ въ tapis de-francs и за панибрата разговаривалъ съ шуринёрами. Но Крутогорскъ не представляетъ никакого поприща для моей филантропической дѣятельности, и я тщетно ищу въ немъ Fleur de Marie, потому что проходящія мимо меня мѣщанки видомъ своимъ болѣе напоминаютъ тѣхъ полногрудыхъ нимфъ, о которыхъ говоритъ Гоголь, описывая общую залу провинціальной гостиницы. Мысленный взоръ мой внезапно устремляется на бѣгущаго рядомъ со мной мальчугана, и я начинаю видѣть въ немъ достаточную жертву для своихъ благотворительныхъ затѣй.

— Хочешь ко мнѣ пойти?—спрашиваю я мальчика.

Онъ вопросительно смотритъ мнѣ въ глаза.

— Я тебѣ пряниковъ дамъ,—продолжаю я.

— Мнѣ что пряники!—говоритъ онъ.—Я, пожалуй, и вино пью.

Такая откровенность и столь раннее развитіе нѣсколько смущаютъ меня, но я далъ себѣ слово провести этотъ вечеръ не одиноко, и настойчиво преслѣдую свою цѣль.

— Что-жъ, я и вина дамъ,—говорю я.

Мальчуганъ съ минуту колеблется, но потомъ безпрекословно слѣдуетъ за мной.

Насъ встрѣчаетъ Гриша, которому тоже, вѣроятно, скучно сидѣть одному, потому что онъ злобно смотритъ то на меня, то на мальчишку.

— Это еще кого привели?—сердито ворчитъ онъ.

Надо сказать, что я нѣсколько трушу Гриши, во-первыхъ, потому, что я человѣкъ чрезвычайно мягкій, а во-вторыхъ, потому, что самъ Гриша такой безподобный и безкорыстный господинъ, что нельзя относиться къ нему иначе, какъ съ полнымъ уваженіемъ. Уже дорогой я размышлялъ о

томъ, какъ отзовется о моемъ поступкѣ Гриша, и покушался даже бѣжать отъ моего спутника, но не сдѣлалъ этого единственно по слабости моего характера.

— Есть у насъ пряники, Гриша?—спрашиваю я.

— Какіе у насъ пряники! Развѣ къ намъ мужики ходятъ? Къ намъ, сударь, большіе господа ѣздятъ!—говоритъ онъ мнѣ въ видѣ поученія, какъ будто хочетъ дать мнѣ почувствовать: «эхъ ты, простота! Не знаешь самъ, кто у тебя бываетъ!»

— Ну, нѣтъ ли хоть яблокъ, винограду?—говорю я, нѣсколько смущенный.

— Этому-то слюняю я винограду дамъ!—восклицаетъ Гриша, вытаращивъ на меня глаза, и, перевернувшись всѣмъ корпусомъ, быстро удаляется въ переднюю, при чемъ сильно хлопаетъ дверью.

Мальчуганъ смотритъ на меня и тихонько посмѣивается. Я нахожусь въ замѣшательствѣ, но внутренно негодую на Гришу, который совсѣмъ ужъ въ опеку меня взялъ. Я хочу идти въ его комнату и строгостью достичь того, чего не могъ достичь ласкою, но въ это время онъ самъ входитъ въ гостиную съ тарелкой въ рукахъ и съ самымъ дерзкимъ движеніемъ—не кладетъ, а какъ-то неприлично суетъ эту тарелку на столъ. На ней оказывается большой кусокъ чернаго хлѣба, посыпанный густымъ слоемъ соли.

— Будетъ съ него, что и хлѣба лопаетъ, не великъ баринъ!—говоритъ Гриша.—А то еще винограду выдумали!

— Однако, принеси же, братецъ, яблокъ и винограду, если я этого требую!—говорю я твердымъ голосомъ и не роняя своего достоинства.

— Да и вина ужъ кстати подай, холопъ!—прибавляетъ отъ себя мальчуганъ, который взлѣзъ, между тѣмъ, на диванъ и усѣлся на немъ съ ногами.

— Ахъ ты, мозглецъ ты этакой!—кричитъ Гриша, взволнованный самоувѣреннымъ видомъ маленькаго наглеца.—Ишь ты, скажите на милость! на диванъ съ ногами въѣхалъ! Брысь, слякоть!

Мнѣ самому и смѣшно, и досадно, но я рѣшаюсь выдержать характеръ.

— Я тебѣ сказалъ: принеси винограду и яблокъ?—говорю я, возвышая голосъ.

— Ну, что же,—отвѣчаетъ Гриша:—пожалуй, заставляйте меня всякой козявкѣ служить! Извѣстно, вы господа, а мы холопы!

Я вижу, что самолюбіе моего дядьки страдаетъ, и спѣшу успокоить его.

— Да и ты съ нами посидишь, Гриша; знаешь, завтра праздникъ какой.

Чело его, при словѣ: «праздникъ», дѣйствительно разглаживается, и я вижу, что прихоть моя будетъ исполнена.

Черезъ пять минутъ являются на столѣ яблоки и виноградъ и бутылка тенерифа, того самаго, отъ котораго и жжетъ и першитъ въ горлѣ. Мальчуганъ, минуя сластей, наливаетъ рюмку вина и залпомъ выпиваетъ ее.

— Ишь шельмецъ какой!—замѣчаетъ Гриша.

Я всматриваюсь, между тѣмъ, въ мальчика. Лицо его очень подвижно и дышитъ смѣткою и дерзостью; каріе и, должно-быть, очень зоркіе глаза такъ быстры, что съ перваго взгляда кажутся разбѣгающимися во всѣ стороны; онъ очень худощавъ, и всѣ черты лица его весьма мелки и остры; самая кожа, тонкая и нѣжная, ясно говоритъ о чрезвычайной впечатлительности и воспріимчивости мальчугана. Я вижу, что онъ начинаетъ нравиться даже Гришѣ, потому что тотъ, поглядывая на него, изрѣдка проговаривается: «ишь, пострѣленокъ!» что доказываетъ, что онъ находится въ хорошемъ расположеніи духа.

— Что-жъ ты не берешь яблока?—спрашиваю я.

— На что мнѣ?.. Развѣ сестрамъ взять?

— А много у тебя сестеръ?

— А кто ихъ знаетъ? Я не считалъ...

— Ишь, пострѣлъ!—отзывается Гриша.

— Какъ же онѣ теперь праздникъ встрѣчаютъ?

— Спятъ, чай... Намеднись тятька проговаривался, что свинью убить надо...

— Ну, а велики ли у тебя сестры?

— Одна есть большая, а другія—мелюзга.

— И мать у васъ есть?

— Какъ же! Этого добра гдѣ не водится? Только, надобыть, тятенька ей скоро конецъ сдѣлаетъ... больно ужъ онъ нонѣ зашибаться зачалъ—это, пожалуй, и не ладно ужъ будетъ!

— За что-жъ онъ ее бьетъ?

— За что бьетъ! Пришла—не такъ, и ушла—не такъ, вотъ и бьетъ!

Мнѣ становится грустно; я думалъ угостить себя чѣмъ-нибудь патріархальнымъ, и вдругъ встрѣтилъ такую раннюю испорченность. Мальчишка почти пьянъ, и Гриша

начинаетъ смотрѣть на него какъ на отличную для себя потѣху.

— Вели закладывать лошадей!—говорю я Гришѣ.

— А что-съ! Видно, наскучили мы вашему благородію?— спрашиваетъ мальчуганъ.

— Скажи, пожалуйста, откуда ты выучился называть меня «благородіемъ»? Откуда перенялъ всѣ эти романсы?

— Нешто мы образованнаго опчества не знаемъ?

— Скажи на милость! тоже объ образованіи заговорилъ!— удивляется Гриша.

Черезъ четверть часа докладываютъ, что лошади готовы, и я остаюсь одинъ. Мнѣ ужасно совѣстно передъ самимъ собою, что я такъ дурно встрѣтилъ великій праздникъ. Зато Гриша очень веселъ и безпрестанно смѣется, приговаривая: «ахъ ты, пострѣленокъ этакой!» Я увѣренъ, что въ сердцѣ его не осталось ни тѣни претензій на меня и что, напротивъ, онъ очень мнѣ благодаренъ.

Я ложусь спать, но и во снѣ меня преслѣдуетъ мальчуганъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ какой-то тайный голосъ говоритъ мнѣ: «Слабоумный и праздный человѣкъ! Ты праздность и вялость своего сердца принялъ за любовь къ человѣку, и съ этими данными хочешь найти добро окрестъ себя! Пойми же, наконецъ, что любовь милосердна и снисходительна, что она все прощаетъ, все врачуетъ, все очищаетъ! Проникнись этою дѣятельною, разумною любовью, постигни, что въ самомъ искаженномъ человѣческомъ образѣ просвѣчиваетъ подобіе Божіе—и тогда, только тогда получишь ты право проникнуть въ сокровенныя глубины его души!»

Душа моя внезапно освѣжается; я чувствую, что дыханье ровно и легко вылетаетъ изъ груди моей... «Господи! дай мнѣ силы не быть праздным, не быть лѣнивымъ, не быть суетнымъ!»—говорю я мысленно, и просыпаюсь въ то самое время, когда веселый день напоминаетъ мнѣ, что наступилъ «великій» праздникъ и что надобно скорѣе спѣшить къ обѣднѣ.

«Христосъ воскресъ!»

Скажите мнѣ, отчего въ эту ночь воздухъ всегда такъ тепелъ и тихъ, отчего въ небѣ горятъ милліоны звѣздъ, природа одѣвается радостью, отчего сердце у меня словно саднитъ отъ полноты нахлынувшаго вдругъ веселія, отчего

кровь приливаетъ къ горлу, и я чувствую, что меня какъ будто уноситъ какою-то невидимою волной?

«Христосъ воскресъ!» звучатъ колокола, вдругъ загудѣвшіе во всѣхъ углахъ города; «Христосъ воскресъ!» журчатъ ручьи, бѣгущіе съ горы въ оврагъ; «Христосъ воскресъ!» говорятъ шпили церквей, внезапно одѣвшіеся огнями; «Христосъ воскресъ!» привѣтливо шепчутъ вѣчные огни, горящіе въ глубокомъ, темномъ небѣ; «Христосъ воскресъ!» откликается мнѣ давно минувшее мое прошлое.

Я еще вчера явственно слышалъ, какъ жаворонокъ, только-что прилетѣвшій съ юга, бойко и сладко пропѣлъ мнѣ эту славную вѣсть, отъ которой сердце мое всегда билось какою-то чуткою надеждой. Я еще вчера видѣлъ, какъ добрая купчиха Пелагея Ивановна хлопотала и возилась, изготовляя несчетное множество куличей и пасхъ, окрашивая сотни яицъ и запекая въ тѣстѣ десятки окороковъ.

— Куда вамъ такое множество куличей, Пелагея Ивановна?—спросилъ я ее.

— И, батюшка, все изойдетъ для «несчастненькихъ»!—отвѣчала она, набожно осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ.

Ужасно люблю я Пелагею Ивановну. Это именно почтеннѣйшая женщина! «Несчастненькими» она называетъ арестантовъ, и, кажется, всю жизнь свою посвятила на то, чтобъ какъ-нибудь усладить тѣсноту и суровость ихъ заключенія. Она не спрашиваетъ, кто этотъ арестантъ, которому рука ея подаетъ милостыню Христовымъ именемъ: разбойникъ ли онъ, воръ, или просто «прикосновенный». Въ глазахъ ея всѣ они просто «несчастненькіе», и вотъ каждый воскресный день отправляются изъ ея дома цѣлыя вязки калачей, пуды говядины или рыбы, и «несчастненькіе» благословляютъ имя Пелагеи Ивановны, зовутъ ее «матушкой» и «кормилицей»... И я того мнѣнія, что если кто-нибудь на семъ свѣтѣ заслужилъ царствіе небесное, то, конечно, Пелагея Ивановна больше всѣхъ.

Еще вчера съ вечера я чувствовалъ, что въ городѣ дѣлалось что-то необычайное. Въ половинѣ двѣнадцатаго во всѣхъ окнахъ забѣгали огни, и вслѣдъ затѣмъ потянулся по всѣмъ улицамъ народъ, застучали разнородные экипажи крутогорской аристократіи.

И я тоже съ какимъ-то особеннымъ, давно непривычнымъ мнѣ чувствомъ радости выслушалъ утреню и вышелъ изъ церкви, вынося съ собой безотчетное и свѣтлое чувство *дружелюбія, милосердія и снисхожденія.*

«Христосъ воскресъ!—думалъ я.—Онъ воскресъ для всѣхъ; большіе и малые, іудеи и эллины, пришедшіе рано и пришедшіе поздно, мудрые и юродивые, богатые и нищіе—всѣ мы равны предъ Его воскресеніемъ, передъ всѣми нами стоитъ трапеза, которую приготовила побѣда надъ смертью».

Не даромъ существуетъ въ народѣ повѣрье, что душа грѣшника, умершаго въ свѣтлый праздникъ, очищается отъ грѣховъ и уносится въ райскія обители.

Можетъ ли быть допущена идея о смерти въ тотъ день, когда все говоритъ о жизни, все привязываетъ къ ней? Я люблю эти народныя повѣрья, потому что въ нихъ, кромѣ поэтическаго чувства, всегда разлито много свѣтлой, успокаивающей любви. Не знаю почему, но когда я взгляну на толпы трудящихся, снискивающихъ въ потѣ лица хлѣбъ свой, мнѣ всегда приходитъ на мысль: «какъ бы славно было умереть въ этотъ великій день!»

Для всѣхъ воскресъ Христосъ! Онъ воскресъ и для тебя, мрачный и угрюмый взяточникъ, для тебя, котораго зачерствѣвшее сердце перестало биться для всѣхъ радостей и наслажденій жизни, кромѣ наслажденія пріобрѣтенія и неправды. Въ этотъ великій день и твоя душа освобождается отъ тяготѣвшихъ надъ нею нечистыхъ помысловъ, и ты дѣлаешься добръ и милостивъ, и ты простираешь объятія, чтобы заключить въ нихъ брата своего.

Онъ воскресъ и для васъ, бѣдные заключенники, неузнанные странники моря житейскаго! Христосъ, сходившій въ адъ, сошелъ и въ ваши сердца и очистилъ ихъ въ горнилѣ любви своей. Нѣтъ татей, нѣтъ душегубовъ, нѣтъ прелюбодѣевъ! Всѣ мы братія, всѣ мы невинны и чисты предъ гласомъ любви, все прощающей, все искупляющей... Обнимемъ же другъ друга и всѣмъ существомъ своимъ возгласимъ: «други! братья! воскресъ Христосъ!»

Онъ воскресъ и для тебя, бѣдный труженикъ, кроткая жертва свирѣпой бюрократіи! Добрый начальникъ Сергѣй Александрычъ велѣлъ выдать всѣмъ чиновникамъ пособіе изъ «остаточковъ» на праздникъ—и вотъ является у тебя на столѣ румяный куличъ, и рядомъ съ нимъ красуется добрая четверть телятины. Не великъ твой уголъ, не веселитъ ничьего взора твое убожество, но въ этотъ день и твоя бѣдная комната вымыта и прибрана по-праздничному, дѣти одѣты въ чистенькихъ ситцевыхъ рубашонкахъ, а жена гордо расхаживаетъ въ до-невозможности накрахма-

ленной юбкѣ. Дѣти твои безпрестанно подходятъ и къ румяному куличу, и къ заманчивой телятинѣ: они ждутъ не дождутся, когда всѣ эти великолѣпныя вещи сдѣлаются ихъ достояніемъ. Но ты ласково сдерживаешь ихъ нетерпѣніе; ты знаешь, что въ этотъ день придутъ къ тебѣ разговѣться такіе же труженики, какъ и ты самъ, не получившіе, быть-можетъ, на свою долю ничего изъ «остаточковъ»; сердце твое въ этотъ день для всѣхъ растворяется; ты любишь, и тоскуешь только о томъ, что не можешь всѣхъ насытить, всѣхъ напитать во имя Христа Искупителя.

Онъ воскресъ и для тебя, сѣрый армякъ! Онъ сугубо воскресъ для тебя, потому что ты цѣлый годъ, обливая потомъ кормилицу-землю, славилъ имя Его, потому что ты цѣлый годъ трудился, ждалъ и все думалъ: «вотъ придетъ Свѣтлое Воскресеніе, и я отдохну подъ святою сѣнью его!» И ты отдохнешь, потому что въ полѣ бѣгутъ еще веселые ручьи, потому что земля-матушка только-что первый паръ дала, и ничто еще не вызываетъ въ поле ни твоей сохи, ни твоего упорнаго труда!

Для всѣхъ воскресъ Христосъ! Всѣ мы, большіе и малые, богатые и убогіе, іудеи и эллины, всѣ мы встанемъ и отъ полноты душевной обнимемъ другъ друга.

Когда я проснулся, солнце стояло уже высоко, но какъ свѣтло оно сіяло, какъ тепло оно грѣло! На улицахъ было сухо; не даромъ же говорятъ старожилы, что какая ни будь бурная погода на шестой недѣлѣ поста, Страстная все дѣло исправитъ, и къ Свѣтлому празднику будетъ сухо и тепло. Мнѣ сдѣлалось скучно въ комнатѣ одному, и я вышелъ на улицу, чтобъ на народъ поглядѣть.

— Христосъ воскресъ!—кричитъ мнѣ Порфирій Петровичъ, влекомый парою кауренькихъ лошадокъ.—Тамъ будете?

И, не дождавшись моего отвѣта, прибавляетъ:

— То-то же! Сегодня грѣхъ! Сегодня не такой день, чтобы въ карты играть! Сегодня, по древнему обычаю, пораньше спать лечь слѣдуетъ.

Я иду дальше и въ скоромъ времени равняюсь съ домикомъ «матушки» Пелагеи Ивановны, у которой всѣ окна, по случаю великаго праздника, настежь.

— Ну, что, какъ «несчастненькіе»?—спрашиваю я у этой милой женщины, которой кроткое лицо отрадно и освѣжительно дѣйствуетъ на мою душу.

— А что? Всѣ слава Богу! Чуть не затаскали меня, старуху, совсѣмъ! Да, непобрезгай, баринъ любезный, зайди

ко мнѣ разговѣться! Поди-чай тебѣ, сердечному, одному-то въ такой праздникъ какъ скучно!

И мнѣ дѣйствительно дѣлается внезапно такъ грустно и горько, что я чувствую, какъ слезы душатъ и давятъ меня. Я въ самомъ дѣлѣ припоминаю, что мнѣ чего-то недостаетъ, что я какъ будто лишній на бѣломъ свѣтѣ, что я одинъ, всегда одинъ. И я вдвое начинаю любить эту милую Пелагею Ивановну за то, во-первыхъ, что она назвала меня «сердечнымъ», а во-вторыхъ за то, что она отъ всей души пригрѣла и пріютила меня въ великій праздникъ. Неизвѣстно почему, но Пелагея Ивановна всегда какъ-то особенно вздыхаетъ и покачиваетъ головой, когда со мной говоритъ. Иногда мнѣ случается подмѣтить ея взоръ, устремленный на меня въ то время, когда я разговариваю съ ея племянниками и племянницами, съ ея сиротками, которыхъ у нея полонъ домъ, и взоръ этотъ всегда бываетъ полонъ какой-то тихой, любящей грусти. Нѣтъ сомнѣнія, что она и во мнѣ видитъ одного изъ толпы «несчастненькихъ», что она охотно полюбила бы меня, какъ любитъ своихъ сиротокъ, если бы я, на мое несчастіе, не былъ чиновникомъ. Чиновническій вицмундиръ во многихъ случаяхъ лишалъ меня возможности наслаждаться безднею пріятныхъ вещей. Пелагея Ивановна—высокая и полная женщина; должно полагать, что смолоду она была красавицей, потому, во-первыхъ, что черты лица ея и доселѣ говорятъ еще о прошедшей красотѣ, а во-вторыхъ, потому, что женщина съ истинно-добрымъ сердцемъ, по мнѣнію моему, должна, непремѣнно должна быть красавицей.

Между тѣмъ, я вхожу во дворъ, на которомъ взапуски веселится и рѣзвится молодое поколѣніе. Пелагею Ивановну эта рѣзвость очень утѣшаетъ. Какъ женщина истинно-добрая, она сама очень весела и потому любитъ, когда другіе веселятся. Съ той минуты, какъ я вхожу въ ея дворъ, моя хандра исчезаетъ мгновенно. Малолѣтніе племянники и племянницы со всѣхъ сторонъ обступаютъ меня и хвастаются передо мною своими обновками, потому что Пелагея Ивановна всѣхъ для праздника надѣлила. Въ сторонѣ, у забора, положено бревно, поперекъ котораго брошена доска, и двѣ дѣвушки, лѣтъ по двѣнадцати, дѣлаютъ величайшія усилія, чтобъ подскакнуть какъ можно выше. Около службъ мирно пасется стая индѣекъ, и нѣсколько мальчишекъ усердно дразнятъ огромнаго индюка, который изъ всѣхъ силъ топырится, а по временамъ и наскакиваетъ стреми-

тельно на обидчиковъ, мгновенно разсыпающихся въ разныя стороны.

— Ваня! а Ваня! что пѣтуха, голубчикъ, дразнишь!— кричитъ Пелагея Ивановна, вышедшая навстрѣчу мнѣ на крыльцо.

Но дѣти такъ тѣсно обступаютъ меня, что я не имѣю никакой возможности пробраться къ моей хозяйкѣ. Они громко и деспотически требуютъ гривенника на пряники, который и получаютъ съ знаками всеобщаго и шумнаго удовольствія.

— Ишь, пострѣлята, какъ завладѣли бариномъ!—говоритъ Пелагея Ивановна, но слово «пострѣлята» выходитъ у нея какъ-то совсѣмъ не бранно.

Я, наконецъ, освобождаюсь и вхожу въ горницу, въ которой присутствуетъ ужъ большая компанія. Въ переднемъ углу сидитъ дѣдушка Иванъ Гаврилычъ; онъ ужъ лѣтъ десять ничего не видитъ и не слышитъ, и лицо его отъ старости покрылось какимъ-то мохомъ. Однакожъ, Пелагея Ивановна и до сихъ поръ никакого дѣла не затѣваетъ, не испросивши напередъ его благословенія, и мнѣ положительно извѣстно, что ключи отъ денежнаго сундука до сихъ поръ хранятся у «дѣдушки», который выдаетъ деньги съ величайшею скупостью. Рядомъ съ нимъ сидитъ старуха, свекровь хозяйкина, и эта почтенная фигура напоминаетъ мнѣ о мужѣ Пелагеи Ивановны. Мужъ этотъ еще живъ, но онъ куда-то усланъ за дурныя дѣла, и нѣтъ сомнѣнія, что это обстоятельство имѣетъ большой вѣсъ въ томъ состраданіи, которое чувствуетъ Пелагея Ивановна къ «несчастненькимъ». Тутъ же присутствуетъ и спившійся съ кругу приказный Трофимъ Николаичъ, видавшій когда-то лучшіе дни, потому что былъ онъ и исправникомъ, и засѣдателемъ, и опять исправникомъ, и просто вольнонаемнымъ писцомъ въ земскомъ судѣ, покуда, наконецъ, пройдя черезъ всѣ мѣдныя трубы, не устроилъ себѣ постояннаго присутствія въ кабакѣ, гдѣ, за шкаликъ «пѣннаго», настрочитъ можетъ о чемъ угодно, куда угодно и какую угодно просьбицу захмелѣвшему мужичку. Но въ этотъ великій праздникъ и Трофимъ Николаичъ считаетъ за грѣхъ идти въ кабакъ и отправляется съ поздравленіемъ къ разнымъ благодѣтелямъ, которыхъ у него очень много въ купеческомъ и мѣщанскомъ сословіи. Онъ, впрочемъ, очень рѣдко подходитъ къ большому столу, на которомъ стоятъ куличи и другія пасхальныя принадлежности, а больше придержи-

вается малаго стола, стоящаго у стѣнки, на которомъ красуются рюмки и графины съ водкой. Нѣсколько молодыхъ бабенокъ и парней дополняютъ картину.

— Пожалуйте! просимъ покорно побесѣдовать!—говоритъ Пелагея Ивановна, вводя меня въ комнату.—Батюшка! Николай Иванычъ пришелъ.

Но «дѣдушка» не слышитъ и только чавкаетъ.

— Вы старика-то моего не обезсудьте, баринъ любезный,—продолжаетъ Пелагея Ивановна:—что онъ, по старости лѣтъ, почтенія вамъ отдать не въ силахъ.

Меня усаживаютъ подлѣ старика, хотя мнѣ скорѣе желалось бы побыть съ молодушками; съ другой стороны, молодушки, по всѣмъ вѣроятіямъ, подмѣтили мою кислую физіономію, потому что я вижу, какъ онѣ смѣются втихомолку.

— Кушай, батюшка, кушай!—говоритъ Пелагея Ивановна приказному, который, поднявъ рюмку, не можетъ ничего уже выразить словесно и только устремляетъ на нее долгій, умоляющій взоръ.

Бесѣда, прерванная моимъ приходомъ, возобновляется, но весьма умѣренно.

— Такъ-то,—шамкаетъ дѣдушка:—такъ-то вотъ, дѣтки, старъ, старъ, а все пожить хочется... Все бы хоть годиковъ съ десятокъ протянулъ, право-ну!

Молодухи смѣются.

— Да тебѣ бы, дѣдушка, и жениться такъ въ ту же пору,—говоритъ одна изъ нихъ побойчѣе:—какой ты еще старикъ!

— Ась?—спрашиваетъ дѣдушка.

Пелагея Ивановна подходитъ къ нему и на ухо, какъ можно громче, объясняетъ, что вотъ Варвара отъ живого мужа за него, старика, замужъ собирается...

— Да, да,—отвѣчаетъ дѣдушка:—я еще старикъ здоровенный... здоровенный старикъ: только вотъ ноженьки плохо ходятъ... плохо, куда плохо ходятъ ноженьки...

Молодушки смѣются пуще прежняго.

— А что, какъ торги, дѣдушка?—спрашиваетъ свекровь, наклоняясь къ самому уху старика.

— Плохо, сударыня, плохо; совсѣмъ нонѣ плохо стало; самъ я вотъ не дослышу что-то, а Пелагеюшка у меня еще молода... Объ ину пору такъ разнеможешься, словно и взаправду старость пришла. А пуще всего ноженьки! Мозжатъ это, знаешь, мозжатъ, словно вотъ винтомъ тебѣ кость-ту винтитъ!

Трофимъ Николаичъ подходитъ, пошатываясь, къ дѣдушкѣ и, наклоняясь къ его уху, хочетъ, вѣроятно, пожелать ему добраго здравія, но только икаетъ и какъ-то неблаговидно сопитъ, что чрезвычайно смѣшитъ молодушекъ; дѣдушка же, почуявъ носомъ сильный запахъ сивухи, пятится ближе къ стѣнѣ.

— Батюшка! Трофимъ Николаичъ добраго здоровья тебѣ желаетъ!—кричитъ Пелагея Ивановна и, обращаясь къ приказному, прибавляетъ: — Кушай, батюшка, кушай на здоровье!

— Ой-ли! — шамкаетъ старикъ. — А я было думалъ, что изъ сусѣдняго кабака дверь отворилась... право-ну! А какъ-то ты, крыса приказная, вѣкъ доживаешь, винцо попиваешь?

— С-с-с-лав-ва Ввсе-ввышнему!—усиѣваетъ, не безъ большихъ усилій, проговорить Трофимъ Николаичъ.

— Чего, чай, «слава Всевышнему»!—замѣчаетъ Иванъ Гаврилычъ:—поди, чай, дня три не ѣдалъ, почтенный! Все на винѣ да на винѣ, а вино-то вѣдь хлѣбомъ заѣдать надо.

— Это н-н-правильно! — произноситъ Трофимъ Николаичъ.

— То-то! а еще благородный прозываешься!

— Да что-жъ вы-то, любезненькій, ничего не прикушаете?—обращается ко мнѣ Пелагея Ивановна.—Хошь бы тенерифцу пожаловали, или вотъ орѣшками съ молодушками позабавились! А можетъ вамъ и скучненько со стариками-то? Пожалуйте, баринъ, хошь въ ту горницу: тамъ наши молодухи сидятъ!

Я выхожу въ другую комнату, но и тамъ мнѣ не весело. Есть какой-то скверный червякъ, который сосетъ мою грудь и мѣшаетъ предаваться общему веселью. Я сижу съ четверть часа еще и ухожу отъ Пелагеи Ивановны.

Ужъ два часа; на улицахъ замѣтно менѣе движенія, но около воротъ вездѣ собираются группы купчихъ и мѣщанокъ, уже пообѣдавшихъ и вышедшихъ на вольный воздухъ въ праздничныхъ нарядахъ. Пѣсенъ не слыхать, потому что въ такой большой праздникъ пѣть грѣхъ; видно, что все, что ни есть передъ вашими глазами, предается не столько веселію, сколько отдохновенію и какой-то счастливой беззаботности.

— Что вы все одни да одни! Зайдите хоть къ намъ, отобѣдаемъ вмѣстѣ!—говоритъ мнѣ мой искреннѣйшій другъ, Василій Николаичъ Пройминъ, тотъ самый, которому по-

мѣщикъ Буераковъ въ великую заслугу ставитъ его наивное «хоть куда!» *)

И я отправляюсь, совершенно счастливый, что мнѣ есть съ кѣмъ раздѣлить трапезу этого великаго дня. Василій Николаичъ окончательно разгоняетъ мою хандру своимъ добродушіемъ, которому «пальца въ ротъ не клади»; супруга его, очень живая и бойкая дама, приноситъ мнѣ истинное утѣшеніе разсказами о давешнемъ пріемѣ князя Льва Михайловича; дѣтки ихъ, живостью и юркостью пошедшія въ maman, а добродушіемъ и тонкою наблюдательностью въ папа, взбираются мнѣ на плечи и очень серьезно убѣждаются, что я лошадка, а совсѣмъ не надворный совѣтникъ.

Я счастливъ; я ѣмъ съ такимъ аппетитомъ, что старая экономка Варвара съ ужасомъ смотритъ на меня и думаетъ, что я по крайней мѣрѣ всю Страстную недѣлю ничего не ѣлъ.

*) См. «Влад. Конст. Буераковъ».

VI.
ЮРОДИВЫЕ.

Неумѣлые.

Какъ-то разъ случилось мнѣ быть въ Полорѣцкомъ уѣздѣ по одному весьма важному слѣдствію. Такъ какъ по дѣлу было много прикосновенныхъ изъ лицъ городского сословія, то командированъ былъ ко мнѣ депутатомъ мѣщанинъ Голенковъ, служившій ратманомъ въ мѣстномъ магистратѣ. Между прочимъ, Голенковъ оказался отличнѣйшимъ человѣкомъ. Это былъ одинъ изъ тѣхъ умныхъ и смирныхъ стариковъ, какихъ нынче мало встрѣчается; держалъ онъ себя въ сторонѣ отъ всякаго столкновенія съ уѣздной аристократіей, исключительно занимался своимъ маленькимъ дѣломъ, придерживался старины, и въ этомъ послѣднемъ отношеніи былъ какъ будто съ норовомъ. Во время нашихъ частыхъ переѣздовъ съ одного мѣста на другое мы имѣли полную возможность сблизиться, и, само собою разумѣется, разговоръ нашъ преимущественно касался тѣхъ же витязей уѣзднаго правосудія, о которыхъ я имѣлъ честь докладывать въ предшествующихъ очеркахъ. Въ особенности же обильнымъ источникомъ для разнаго рода соображеній служилъ знакомецъ нашъ Порфирій Петровичъ, котораго быстрое возвышеніе и обогащеніе служили въ то время баснею и поученіемъ чуть ли не цѣлой губерніи.

— Оно точно,—сказалъ мнѣ однажды Голенковъ:—точно что Порфирій Петровичъ не такъ чтобы сказать совсѣмъ хорошій человѣкъ, да съ нимъ все-таки, по крайности, дѣло имѣть можно, потому что онъ резонентъ, и напрямки тебѣ скажетъ, коли дѣло твое сумнительное. А вотъ, я вамъ до-

ложу, тоска-то, какъ видишь, что человѣкъ-отъ и честный, и хорошій, а ни къ чему какъ есть приступиться не можетъ—все-то у него изъ рукъ валится. Съ такимъ связаться—не приведи Господи! Начнешь ему резонъ докладывать, такъ онъ не то чтобъ тебѣ благодаренъ, а словно теленокъ всѣми четырьмя ногами брыкается. «Вы, молъ, скоты, чего понимаете! Не смыслите, какъ и себя-то соблюсти, а вотъ ты на меня посмотри—видалъ ли ты экихъ молодцовъ?» И знаете, ваше благородіе, словами-то онъ, пожалуй, не говоритъ, а такъ всей фигурой въ лицо тебѣ хлещетъ, что вотъ онъ честный, да образованный, такъ ему за эти добродѣтели молебны служить слѣдуетъ. Вотъ, молъ, до чего вы, скоты, дожили, что честный-то человѣкъ у васъ словно жаръ-птица.

Николай Ѳедорычъ вздохнулъ.

— А вся эта ихняя фанаберія, — продолжалъ онъ: — осмѣлюсь, ваше благородіе, выразиться, именно отъ этого ихъ сумлѣнія выходитъ. Выходитъ по-ихнему, что они насъ спасать, примѣрно, пришли: хотимъ, дескать, не хотимъ, а дѣлать нече—спасайся, да и вся не долга. Позабудь онъ хоть на минуточку, что онъ лучше всѣхъ, поменьше онъ насъ спасай—можетъ, и могъ бы онъ дѣло дѣлать.

— Про кого же вы это говорите, Николай Ѳедорычъ?

— А я, ваше благородіе, больше къ слову-съ; однако, не скрою, что вотъ нынче пошелъ совсѣмъ другой сортъ чиновниковъ: все больше молодые, а вѣдь, истинно вамъ доложу, смотрѣть на нихъ—все единственно одно огорченье. На словахъ-то онъ все тебѣ по пальцамъ перечтетъ, почнетъ это въ разныя хитрости полицейскія пускаться, и такъ-то, молъ, онъ штуку соорудитъ, и такъ-то онъ бездѣльника кругомъ обведетъ, а какъ приступитъ къ дѣлу—и краснѣетъ-то, и блѣднѣетъ-то, весь и смѣшался. И диви бы законовъ не знали или тамъ формъ какихъ: все, батюшка, у него въ памяти, да вотъ какъ станетъ передъ нимъ живой человѣкъ—куда что пошло! «тово», «тово», да «гм!»—ничего отъ него и не добьешься больше. Изволите вы знать Михайла Трофимыча?

— Какъ не знать.

— Ну, вотъ-съ, извольте прислушать. Ѣздили мы съ нимъ, этта, на слѣдствіе. Хорошо. Ѣдемъ мы этакъ, разговариваемъ промежъ себѣ, вотъ хошь, примѣрно, какъ съ вами.—«Этихъ, говоритъ, старыхъ мерзавцевъ да кляузниковъ всѣхъ давно бы ужъ перевѣшать надо. Отъ нихъ, го-

корить, и правительству тѣнь; оно, вишь, ихъ, бездѣльниковъ, поитъ-кормитъ, а они только мерзости тутъ дѣлаютъ!» И знаете, все этакъ-то горячо да азартно покрикиваетъ, а мнѣ, пожалуй, и любо такія рѣчи слушать, потому что оно хоша не то чтобъ совсѣмъ невтерпёжъ, а это точно, что маленько двусмыслія во всѣхъ этихъ полицейскихъ имѣется. Вотъ-съ и говорю я ему: какая же, молъ, нибудь причина этому дѣлу да есть, что все оно черезъ пень-колоду идетъ, не по-божески, можно сказать, а больше противъ всякой естественности?—«А оттого, говоритъ, всѣ эти мерзости, что вы, говоритъ, сами, скоты, все это терпите; кабы, молъ, вы разумѣли, что подлецъ — подлецъ и есть, что его подлецомъ и называть надо, такъ не смѣлъ бы онъ рожу-то свою мерзкую на свѣтъ Божій казать. А то, дескать, и того-то вы, бараны, не разумѣете, что не вы для *него* тутъ живете, чтобъ брюхо его богомерзкое набивать, а *онъ* для васъ отъ правительства поставленъ, чтобъ вамъ хорошо было!» Ладно. Далъ я ему поуспокоиться,—потому что онъ даже изъ себя весь вышелъ,—да и говорю потомъ: «Вѣдь вотъ ты, ваше благородіе (я ему и *ты* говорилъ, потому что ужъ больно онъ смиренъ былъ), баешь, что, молъ, подлеца подлецомъ называть, а это, говорю, и по христіанству нельзя, да и начальство, пожалуй, не позволитъ. Этакъ ты съ своего-то ума, пожалуй, и меня подлецомъ назовешь, а я и не подлецъ совсѣмъ, такъ на что-жъ это будетъ похоже? Да и подлецъ, коли ужъ онъ, то-есть, настоящій подлецъ, за лишнею ругачкой на тебя и не полѣзетъ: это ему все одно, что ковшикъ воды выпить. А ты вотъ мнѣ что скажи: говоришь ты, что не мы для *него*, а *онъ* для насъ поставленъ, а самихъ-то ты насъ, ваше благородіе, и скотами, и баранами обзываешь—какъ же это такъ? Теперича я, примѣрно, такъ разсуждаю: коли у скотскаго, то-есть, стада пастухъ, такъ пастухъ онъ и будь, и не спрашивай онъ у барана, когда ему на водопой разсудится, а веди, когда самому пригоже. Коли мы тѣ же бараны, такъ, стало, и намъ въ эвто дѣло соваться не слѣдуетъ: веди, молъ, насъ, куда вздумается!» Что-жъ бы вы думали, ваше благородіе, уткнулся онъ въ кибитку, да только надулся словно пѣтухъ, раскраснѣлся весь—не понравилось, видно, что «баранами» попрекнулъ. Ужъ куда какъ они всѣ не любятъ, какъ имъ въ чемъ ни есть перечить станешь: «ты, молъ, скотина, такъ ты и слушай, покелѣва я тамъ разговаривать буду». Сидѣлъ онъ этакъ уткнув-

шись и молчалъ всю станцію; ну, и я ничего, стало даже совѣстно, что Божьяго младенца будто изобидѣлъ. Однако, спустя немного, опять повеселѣлъ, словно и забылъ совсѣмъ. Ѣдемъ мы другую станцію, дѣло было ночью, ямщикъ-отъ нашъ и прикурнулъ маленько на козлахъ. «Пошелъ!» — кричитъ Михайло Трофимычъ. Не тутъ-то и было! Пошевелилъ вожжами и опять плетется трухъ-трухъ. «Пошелъ!»—кричитъ, слышу, опять мой Михайло Трофимычъ, а самъ ужъ и въ азартъ вошелъ, и ручонки у него словно сучатся, а кулачонко-то такой миніатюрненькій, словно вотъ картофелина: ударить-то до смерти хочется, а смѣлости нѣтъ! Совѣстно ему, что ли, или боится онъ—и самъ не разберу. Только какъ это закричалъ дикимъ манеромъ, такъ и ямщикъ-отъ, доложу вамъ, обернулся на него, будто удивился, а лакей ихній сидитъ тоже на козлахъ, покачивается, да говоритъ ему: «вы бы, Михайло Трофимычъ, не изволили ручекъ-то своихъ безпокоить». Именная умора была!..

Голенковъ разсмѣялся; я тоже не могъ не улыбнуться.

— Такъ вотъ оно какъ-съ! — продолжалъ онъ. — Разберите же, ваше благородіе, это дѣло какъ слѣдуетъ, такъ какая же у него отъ другихъ-то отличка? Нѣтъ-съ, вѣрно, какъ ужъ они всѣ сформированы, что у всякаго, то-есть, природное желаніе есть руками-то впередъ совать, а который не тычетъ, такъ не потому, чтобъ дошелъ онъ до того, что это не христіанскихъ рукъ дѣло, а потому, что силенки нѣтъ. Такъ, пожалуй, ударитъ, что и не почувствуешь — ну, и выйдетъ одинъ стрямъ! Я, ваше благородіе, знавалъ такихъ, что ужъ и больно на руку невоздержны; вотъ какъ силенки-то у него нѣтъ, такъ онъ и норовитъ изобрать такое мѣсто, чтобъ почувствительнѣе, примѣрно хочь въ зубы, али тамъ въ глаза... Ну, этотъ народъ ужъ совсѣмъ злющій, экихъ немного. Этотъ какъ бьетъ, весь поблѣднѣетъ словно мертвый, и зубы стиснетъ, и дышитъ какъ-то трудно... А большая часть дерется откровенно, безъ злобы, на-отмашь, куда попало... такъ, чтобъ порядокъ только соблюсти.

— Такъ вы приходите къ тому заключенію, что Михайло Трофимычъ хуже какого-нибудь Фейера или Порфирія Петровича? Такъ, что ли?

— Нѣтъ, я этого не скажу, чтобъ онъ самъ по себѣ хуже былъ, потому что и самъ смекаю, что Михайло Трофимычъ все-таки хорошій человѣкъ, а вотъ изволите ли

видѣть, ваше благородіе, не умѣю я какъ это объяснить вамъ, а есть въ немъ что-то неладное. Словно вотъ какъ у насъ баба ребенка не доноситъ: такой слабый да хилый ходитъ, точно онъ въ половину только живой, а другой-то половиной ужъ мертвый. Живого матеріалу они, сударь, не понимаютъ! Имъ все бы вотъ за книжкой, али еще пуще за разговорцемъ: это ихнее поле; а какъ дойдетъ дѣло до того, чтобъ пеньки считать — у него вишь и ноженьки заболѣли. Приметъ-то онъ бойко, и рветъ, и мечетъ, а потомъ, смотришь, анъ и пріутихъ, да такъ-то пріутихъ, что все и бросилъ; все только и говоритъ объ томъ, что, молъ, какъ это его, съ такими-то способностями, да грязь таскать запрягли; это, дескать, дѣло чернорабочихъ, становыхъ, что ли, а его дѣло сидѣть тамъ, высоко, да только колеса всей этой механики подмазывать. А того и не догадается, что коли всѣ такую мысль въ головѣ держать будутъ!—вѣдь почемъ знать! можетъ, и всѣ когда-нибудь образованные будутъ! — такъ кому же пеньки-то считать?

Николай Ѳедорычъ умилился.

— Вотъ и пріѣхали мы съ нимъ на слѣдствіе. Слѣдствіе-то было важное. Въ помѣщичьемъ имѣніи, управляющаго сынъ, объ масленицѣ, съ пьяной компаніей забавлялись, да кто ихъ знаетъ? невзначай, что ли, али и для смѣху, пожалуй, только и зашибли они одну дѣвку совсѣмъ до смерти. Однако, какъ ни были пьяны, а сдѣлавши такое дѣло — опомнились; взяли и вывезли тѣло на легкихъ саночкахъ да пообокъ дороги и положили. Извѣстно, наѣхало Отдѣленіе; туда-сюда — угощенье, разумѣется; чуть-чуть и другую тутъ дѣвку не убили. Оказалось, что умертвія тутъ нѣтъ никакого, а послѣдовала смерть отъ стужи, а рана на головѣ оттого, молъ, что упала дѣвка въ гололедь и расшибла себѣ голову. Только чудно, что она это словно нарочно на самый, то-есть, високъ упала. Оно бы такъ и кончилось, да былъ на ту пору съ исправникомъ не въ ладахъ писецъ какой-то, такъ, ледащій. Донесъ. Прислали другого чиновника, ужъ изъ губерніи; оказалось, что смерть произошла истинно отъ умертвія, и что въ умертвіи подозрѣвается сынъ управляющаго! Однако, стой! былъ тутотка лѣкарь и говоритъ, что умертвія опять-таки нѣтъ, а просто смерть какъ смерть. Этого чиновника отозвали, прислали другого; тотъ посмотрѣлъ-посмотрѣлъ, пишетъ: точно — смерть. Судили тамъ, рядили — кому вѣрить? Одинъ гово-

ритъ: смерть, другой говоритъ—умертвіе. Вотъ и прислали къ намъ Михайла Трофимыча; хуже-то, знать, не нашли. Пріѣхалъ онъ къ намъ форсистый такой; извѣстно, игрушки-съ; чуть не зараньше радуется, что ему начальство крестъ за такое дѣло вышлетъ. А выѣхалъ онъ теперича съ тѣмъ, чтобы въ пользу умертвія, потому, говоритъ, что ужъ это такъ и быть должно. Вотъ-съ, и пріѣхали мы на мѣсто, и говорю я ему, что вѣдь эти дѣла надо, Михайло Трофимычъ, съ осторожностью дѣлать; не кричи, ваше благородіе, а ты полегоньку да съ терпѣньемъ. — «Какъ же, какъ же!» говоритъ. И точно, вижу я это, досталъ онъ зипунъ себѣ, бороду приклеилъ, парикъ надѣлъ и пошелъ—куда бы вы думали?—пошелъ въ кабакъ-съ! Ну, разумѣется, рѣчи-то у него крестьянской все-таки нѣтъ. Какъ онъ тамъ ни притворялся, а обознали его, паричокъ-отъ и всю одежду сняли, да такъ какъ есть по морозу и пустили. Право-съ. Даже бить не били, потому что до экого мизернаго и дотронуться-то никому не охота; такъ развѣ шлепка легонькаго дали, чтобъ дѣло совсѣмъ въ порядкѣ было, не безъ хлѣба-соли домой отпустить. Пришелъ онъ на квартиру: и плачетъ-то, и ругается. Однако, не унялся. Слышалъ онъ еще въ школѣ, должно-быть, что въ народѣ разное суевѣріе большую роль играетъ: боятся это привидѣній и всякая тамъ у нихъ несообразность. Возьми да и одѣнься онъ въ бѣлую простыню; далъ, знаете, стряпкѣ управительской три цѣлковыхъ, чтобъ пропустила, куда ему нужно, да и пошелъ ночью въ горницу къ обвиненному. А тотъ лежитъ-себѣ, какъ будто ничего и не знаетъ. Вылѣзъ Михайло Трофимычъ весь въ бѣломъ изъ-подъ кровати да и говоритъ ему басомъ: «Сказывай, говоритъ, какъ ты убилъ Акулину?» Только тотъ-то плутъ изначала притворился, будто и взаправду обробѣлъ, бросился привидѣнью въ ноги. «Я, говоритъ, убилъ, я! Грѣшный человѣкъ!» — «Покайся же,—говоритъ Михайло Трофимычъ:—разсказывай, какъ ты ее убилъ!» Тотъ вдругъ какъ вскочитъ: «Вотъ какъ билъ! вотъ какъ билъ!»—да такую ли ему, сударь, встрёпку задалъ, что тотъ и жизни не радъ. «Коли ты, говоритъ, не смыслишь, такъ не въ свое дѣло не суйся!» А за перегородкой-то смѣхъ, и всѣхъ пуще заливается та самая стряпка, которой онъ своихъ собственныхъ три цѣлковыхъ далъ. Хотѣлъ-было онъ и жаловаться, такъ ужъ я насилу отговорилъ, потому что онъ самъ не въ законѣ дѣло дѣлалъ, а только будто забавлялся. Примись за

это дѣло другой — вся эта штука безпремѣнно бы удалась какъ лучше нельзя, потому что другой знаетъ, къ кому обратиться, съ кѣмъ дѣло имѣть—такіе и люди въ околоткѣ есть; ну, а онъ ко всѣмъ съ довѣренностью лѣзетъ, даже жалости подобно. Ну-съ, и маялись мы съ нимъ, съ убійцей-то: Михайло Трофимычъ ему вопросъ, а онъ ему два, да ужъ не то чтобъ Михайло Трофимычъ убійцей, а убійца-то имъ же и командуетъ. Начнетъ это околесицу ему разсказывать, тотъ станетъ его останавливать, такъ куда тебѣ! «Вы, говоритъ, ваше благородіе, должны предоставить мнѣ всѣ средства къ оправданію». А не то вотъ свидѣтелей привели: того не допущаетъ по хлѣбосольству, того по враждѣ—даже свидѣтели-то смѣются, какъ онъ имъ помыкаетъ! Такъ и не допустилъ никого до присяги, кого нужнѣе, а вотъ, говоритъ, спроси такого-то: онъ въ эвто самое время на селѣ былъ. И привели къ намъ старика древняго, слѣпого и глухого. Ну, того объ чемъ ни спрашивали — окромѣ «асиньки» ничего не добились. А Михайло-то Трофимычъ этакимъ манеромъ поопросивши всѣхъ: «Ну, говоритъ, теперь дѣло, слава Богу, кажется, округлено?» Сѣлъ онъ писать донесеніе, кончилъ и мнѣ прочиталъ. Ну, ужъ чудо, ваше благородіе! Этакого я и не привидывалъ! Все-то онъ туда понаписалъ: и переодѣванья-то свои, и исторію о привидѣньяхъ! И вѣдь какъ это у него тамъ гладко уложилось — читать удивленье! Кажется, такъ бы и расцѣловалъ его: такой онъ тамъ хитрый да смышленый изъ бумаги-то смотритъ! Однако,—говорю я ему:— какъ бы тебѣ этакъ, ваше благородіе, Бога не прогнѣвить! — «А что?» — Да такъ, ужъ больно ты хорошо себя описалъ, а вѣдь посмотрѣть, такъ ты дѣло-то испортилъ только. — «Ничего, говоритъ, ладно будетъ». И точно-съ! Убійца-то и до сихъ поръ здравствуетъ!

— Что-жъ это доказываетъ, Николай Ѳедорычъ? Это доказываетъ только, что Михайло Трофимычъ глупъ или къ полицейской службѣ неспособенъ—вотъ и все.

— Нѣтъ-съ, это, я вамъ доложу, не отъ неспособности и не отъ глупости, а просто отъ сумлѣнья, да отъ того еще, что терпѣнья у него, прилежности къ дѣлу нѣтъ. Все думаетъ, что дѣло-то шутки, что ему жареные рябцы сами въ ротъ полетятъ, все хочетъ на свой манеръ свѣтъ-отъ исковеркать! Такъ врешь! Ты сначала поучись, да самъ къ естеству-то подладься, да потомъ и владѣй имъ на здоровье; въ ту пору, какъ этимъ-то манеромъ съ нимъ совла-

даешь, оно и само отъ тебя не уйдетъ. Вы думаете, Михайло-то Трофимычъ поѣдетъ въ другой разъ на слѣдствіе? Нѣтъ-съ, его ужъ на сто верстъ туда не заманишь! Онъ и въ первой-отъ разъ поѣхалъ, потому что не зналъ, что за штука такая; думалъ, что будетъ свои фантазіи тамъ разыгрывать, а убійца, дескать, будетъ его слушать да помалчивать. Анъ и выходитъ, что во всякомъ дѣлѣ мало одной честности да доброй воли: нужна тоже добросовѣстность, нужно знаніе. Грязью-то не гнушайся, а разбери ее, да, разобравши хорошенько, и суй въ ту пору туда свой носъ. А то вишь ручки у тебя больно бѣлы, въ перчаткахъ ходишь, да носъ-отъ высоко задираешь — ну, и ходи въ перчаткахъ!

Послѣднія слова Николай Ѳедорычъ произнесъ съ нѣкоторымъ ожесточеніемъ.

— Вотъ-съ, — продолжалъ онъ: — этотъ самый Михайло Трофимычъ пріѣхалъ къ намъ въ другой разъ думу ревизовать. Собралъ онъ все наше общество, да и ну насъ костить: все-то у насъ скверно да мерзко! Затѣялъ это торговлю повѣрять, всѣ лавчонки исходилъ, даже ходебщиковъ всѣхъ обшарилъ и все, говоритъ, не такъ. Тебѣ, говоритъ, слѣдуетъ торговать иголками, тебѣ благовоніемъ — всѣхъ расписалъ. По заводамъ пошелъ—число работниковъ сталъ повѣрять, чаны пересчиталъ, и вездѣ, сударь, нашелъ что обхаять. «Ты, говоритъ, мѣщанинъ, такъ у тебя работниковъ должно быть меньше».—«Да помилуй, ваше благородіе, вѣдь съ меньшимъ-то числомъ работниковъ экова дѣла и начинать нельзя!» Такъ куда тебѣ, и слышать ничего не хочетъ: «Мнѣ, говоритъ, до этого дѣла нѣтъ». Вотъ и выходитъ, что въ эвдакомъ-то дѣлѣ и Фейера добромъ помянешь. Тому хочь и предписано, да если онъ видитъ, что и впрямь торговцу-то тѣсно, такъ и въ предписаніи-то отыщетъ такую мякоть, что все пойдетъ какъ будто по-прежнему. А этотъ просто никакихъ резоновъ понимать не хочетъ. И вѣдь все-то они такъ! Окружили насъ кругомъ, такъ что дыхнуть нельзя: туда ступай, или врешь, не ступай, а сиди, или врешь, не сиди... Совсѣмъ и мы-то смѣшались. Лужаечки у насъ какія были—поотняли: бери, дескать, съ торговъ, а намъ подъ выгонъ отвели гарь — словно твоя плѣшь голо; ну, и ходитъ скотинка не ѣмши. Лѣсокъ какой есть, и въ тотъ не пускаютъ, вотъ эконькой щепочки не дадутъ; да намеднись еще спрашиваютъ, нельзя ли, молъ, и за воду-то деньги брать!.. А вѣдь дѣло-то оно наше,

кровное наше — чего бы еще, кажется! Ну, и выходитъ, что тутъ ужъ не служба, а просто озорство какое-то, прости Господи!

Николай Ѳедорычъ плюнулъ.

— Какъ же вы полагаете, отчего все это происходитъ-то, Николай Ѳедорычъ?

— А вотъ, сударь, отчего. Первое дѣло, много вы объ себѣ думаете, а объ другихъ — хочь бы объ насъ грѣшныхъ—и совсѣмъ ничего не думаете: такъ, молъ, мелюзга все это, скоты необрѣзанные. Второе дѣло, совсѣмъ не съ того конца начинаете. Ты коли хочешь служить вѣрой, такъ по верхамъ-то не лазай, а держись больше около земли, около земства-то. Если видишь, что плохо—ну, и поправь, наведи его на дорогу. А то пріѣдетъ это весь какъ пушка заряженый, да и стрѣляетъ въ насъ своею честностью да благонамѣренностью. Ты благодѣтельствуй намъ — слова нѣтъ! — да въ мѣру, сударь, въ мѣру, а не то вѣдь намъ и тошно, пожалуй, будетъ... Ты вотъ лучше поотпусти маленько, дай дохнуть-то! Можетъ, она и пошла бы, машина!

Озорники.

„Vir bonus, dicendi peritus"...

«— Если вы думаете, что мы имѣемъ дѣло съ этою грязью, avec cette canaille, то весьма ошибаетесь. На это есть писаря, ну, и другіе тамъ; это ихъ обязанность, они такъ созданы... Мы всѣ слишкомъ хорошо воспитаны, мы обучались разнымъ наукамъ, мы мечтаемъ о томъ, чтобы у насъ все было чисто, у насъ такіе опрятные взгляды на администрацію... согласитесь сами, что даже самое comme il faut запрещаетъ намъ мараться въ грязи. Какой-нибудь Иванъ Петровичъ или Фейеръ—это понятно, они тамъ родились, тамъ и выросли: ну, а мы — совсѣмъ другое. Мы желаемъ, чтобъ и формуляръ нашъ былъ чистъ, и репутація не запятнана—vous comprenez?

«Повторяю вамъ, вы очень ошибаетесь, если думаете, что вотъ я призову мужика, да такъ и начну его собственными руками обдирать... фи! Вы забыли, что отъ него тамъ Богъ знаетъ чѣмъ пахнетъ... да и не хочу я совсѣмъ давать себѣ этотъ трудъ. Я просто призываю писаря или тамъ другого, et je lui dis: «mon cher, tu me dois tant et

tant» — ну, и дѣло съ концомъ. Какъ ужъ онъ тамъ дѣлаетъ—это до меня не относится.

«Я самъ терпѣть не могу взяточничества—фуй, мерзость! Взятки опять-таки берутъ только Фейеры да Тряпичкины, а у насъ на это совсѣмъ другой взглядъ. У насъ не взятки, а администрація; я требую только *должнаго*, а какъ оно тамъ изъ нихъ выходитъ, до этого мнѣ дѣла нѣтъ. Моя обязанность только исчислить статьи: гоньба тамъ, что ли, дорожная повинность, рекрутство... Tout cela doit rapporter.

«Je suis un homme comme il faut; я дитя нынѣшняго времени, я хочу имѣть и хорошую сигару, и стаканъ добраго шатодикема; я долженъ — вы понимаете? *долженъ* быть прилично одѣтымъ; мнѣ *необходимо*, чтобъ у меня въ домѣ было все комфортабельно — le gouvernement me doit tout cela. Я человѣкъ холостой—j'ai besoin d'une belle; я человѣкъ съ высшими, просвѣщенными взглядами—нужно, чтобъ мысль моя была покойна и не возмущалась ни бѣдностью, ни какими-нибудь недостатками — иначе какой же я буду администраторъ? Какимъ образомъ буду я заниматься разными филантропическими проектами, если голова у меня не свободна, если я долженъ всечасно о томъ только помышлять, чтобы какъ-нибудь наполнить свой желудокъ? Для того, чтобы приносить дѣйствительную пользу, я долженъ быть веселъ, бодръ, свѣжъ и беззаботенъ — все это очень просто и понятно, и если судьба забила меня въ какой-нибудь гнусный Полорѣцкъ, то изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что я долженъ сдѣлаться Зенономъ.

«Нѣтъ, Dieu merci, нынче на Зеноновъ посматриваютъ косо. Это все народъ желчный и безпокойный; страдаютъ, знаете, печенью: ну, а я, слава Богу, просто благонамѣренный человѣкъ — и больше ничего. Entre nous soit dit, я даже немножко эпикуреецъ. Я убѣжденъ, что безъ матеріальныхъ удобствъ жизнь не можетъ представлять ничего привлекательнаго. Хорошій обѣдъ, хорошее вино проливаютъ въ душу спокойствіе, располагаютъ ее къ дружелюбію, сообщаютъ мысли ясность и прозрѣніе. Сами согласитесь, могли ли бы мы съ вами такъ хорошо бесѣдовать, если-бъ мы наѣлись, какъ ямщики на постояломъ дворѣ, до отвала щей да каши? Да тутъ одна изжога такой бы кутерьмы надѣлала, что и не развязался бы съ ней. Кажется, это ясно.

«Отъ этого-то я и не люблю ничего такого, что можетъ меня разстроить или помѣшать моему пищеваренію. А

между тѣмъ—что прикажете дѣлать?—безпрестанно встрѣчаются такіе случаи. Вотъ хоть бы сегодня. Пришелъ ко мнѣ утромъ мужикъ: у него тамъ рекрута, что-ли, взяли, ну, а они въ самовольномъ раздѣлѣ...»

— Да, скажите, пожалуйста: я такъ часто слышу объ этомъ раздѣлѣ—что это такое?

«— Самовольный раздѣлъ? Ну, да, это значитъ, что они тамъ раздѣлились, братъ, что ли, съ братомъ, или отецъ съ сыномъ, потому что есть у нихъ на это свои мужицкія причины, des raisons de moujik. Подерутся тамъ бабы между собой, или свекоръ войдетъ въ слишкомъ пріятныя отношенія къ снохѣ—вотъ и пойдутъ въ раздѣлъ... Ну, а этого нельзя, потому что высшія хозяйственныя соображенія требуютъ, чтобы рабочія силы были какъ можно больше сосредоточены. Мужикъ, конечно, не понимаетъ, что бываютъ же на свѣтѣ такія вещи, которыя сами себѣ цѣлью служатъ, сами собою удовлетворяются; онъ смотритъ на это съ своей матеріальной, узенькой, такъ сказать, навозной точки зрѣнія; онъ думаетъ, что тутъ рѣчь идетъ объ его безпорядочныхъ поползновеніяхъ, а не о рабочей силѣ—ну, и лѣзетъ... Но не въ этомъ дѣло. Пришелъ ко мнѣ мужикъ и говоритъ, чтобъ я вошелъ въ его положеніе. «У тебя, братецъ, свое тамъ начальство есть,—отвѣчаю я ему:—сходъ тамъ, что ли, голова, писаря». — Tout cela est fait pour leur bien. Что-жъ бы вы думали? Повалился ко мнѣ въ ноги, цѣлуетъ ихъ, плачетъ—даже совѣстно, parce que c'est un homme pourtant! «Вездѣ, говоритъ, былъ; на васъ только и надежда; нигдѣ суда нѣтъ!» Вотъ, видите ли, онъ даже не понимаетъ, что я не для того тутъ сижу, чтобъ ихнія эти мелкія дрязги разбирать! Мое дѣло управлять ими, проекты сочинять, pour leur bien, наблюдать, чтобъ эта машина какъ-нибудь не соскочила съ рельсовъ—вотъ моя административная миссія. А какая же мнѣ надобность, что тамъ Куземка или Прошка пойдетъ въ рекруты? Развѣ для государства это не все равно, je vous demande un peu!»

— Однако, что же вы сдѣлали съ мужикомъ?

«— Конечно, прогналъ... Но вы замѣтьте, какъ они еще мало развиты, comme ils sont encore loin de pouvoir jouir des bienfaits de la civilisation. Вотъ имъ дали сходы, дали свой судъ—это ужъ почти selfgovernment, а онъ все-таки лѣзетъ. А почему онъ лѣзетъ? спрашиваю я васъ. Не потому ли, что онъ хотъ инстинктивно, но понимаетъ, что

онъ ничего, что изъ сходъ его ничего? Что только просвѣщенный взглядъ можетъ освѣтить этотъ хаосъ, эту, такъ сказать, яичницу, которую всѣ эти Прошки тамъ надѣлали?

«Вы спросите меня, быть-можетъ, зачѣмъ же я не разобралъ его просьбы, если только за собою однимъ признаю возможность и право сдѣлать зависящее распоряженіе къ наилучшему устройству всѣхъ этихъ дѣлъ? Mais entendons-nous, mon cher! Нѣтъ сомнѣнія, что я не люблю этихъ сходовъ; нѣтъ сомнѣнія, что тамъ только руками махаютъ, а говорятъ такъ грубо и непонятно, что даже непріятно слушать. Но, съ одной стороны, я прежде всего и выше всего уважаю форму, и тогда только, когда она предстанетъ предъ мое лицо, вооруженная всѣми подписями, печатьми и скрѣпами, я позволяю себѣ дать ей легкій щелчокъ по носу, чтобы знала форма, что она все-таки ничто передъ моими высшими соображеніями. И притомъ у меня есть такіе тамъ особенные лиллипуты, которые смотрятъ на все моими глазами и все слышатъ моими ушами: долженъ же я имъ что-нибудь предоставить! Эти лиллипуты — народъ самый крохотный, съ булавочную головку, но препонятливый. Они съ такимъ успѣхомъ разбираютъ всѣхъ этихъ Прошекъ, что даже смотрѣть любо.

«Вообще я стараюсь держать себя какъ можно дальше отъ всякой грязи, во-первыхъ, потому, что я отъ природы чистоплотенъ, а во-вторыхъ, потому, что горделивая осанка непремѣнно внушаетъ уваженіе и нѣкоторый страхъ. Я знаю очень многихъ, которые далеко пошли, не владѣя ничѣмъ, кромѣ горделивой осанки. И притомъ, скажите на милость, что̀ можетъ быть общаго между мною, человѣкомъ благовоспитаннымъ, и этими мужиками, отъ которыхъ такъ дурно пахнетъ?!

«Когда я былъ очень молодъ, то имѣлъ на предстоявшую мнѣ дѣятельность весьма наивный и оригинальный взглядъ. Я мечталъ о какихъ-то патріархальныхъ отношеніяхъ, о какихъ-то дѣтяхъ, которыхъ нужно иногда вразумлять, иногда на колѣнки ставить. Хороши дѣти! Согласитесь, по крайней мѣрѣ, что если есть тутъ дѣти, то, во всякомъ случаѣ, ce ne sont pas des enfants de bonne maison.

«Теперь, при бо̀льшей зрѣлости разсудка, я смотрю на этотъ предметъ нѣсколько иначе. Въ моихъ глазахъ цѣлый міръ есть не что̀ иное, какъ вещество, которое, въ рукахъ искуснаго мастера, должно принимать тѣ или другія формы. Я уважаю только чистую идею, которая ничему другому

покориться не можетъ, кромѣ законовъ строгаго логическаго развитія. Чистая идея—это нѣчто существующее an und für sich, внѣ всякихъ условій, внѣ пространства, внѣ времени: она можетъ жить и развиваться сама изъ себя; скажите же на милость: зачѣмъ ей, при такихъ условіяхъ, совершенно обезпечивающихъ ея существованіе, натыкаться на какого-нибудь безобразнаго Прошку, который можетъ даже огорчить ее своимъ безобразіемъ? Чистая идея—нѣчто до того удивительное по своему интимному свойству все проникать, все перерабатывать, что разсудокъ теряется и меркнетъ при одномъ представленіи объ этомъ всесильномъ могуществѣ. Нѣтъ той козявки, нѣтъ того атома въ цѣлой природѣ, который ускользнулъ бы отъ вліянія ея. Она все въ себя вбираетъ, и это *все*, пройдя сквозь неугасимые и жестокіе огни чистаго творчества, выходитъ оттуда очищенное отъ всего случайнаго, «прошковатаго» (производное отъ Прошки), выглаженное, вычищенное, неузнаваемое. Какимъ образомъ, или, лучше сказать, какимъ колдовствомъ происходитъ тамъ эта работа, эта чистка—никому не извѣстно, но не подлежитъ никакому сомнѣнію, что работа и чистка существуютъ, что машина безъ отдыха работаетъ своими колесами и никакія человѣческія силы не остановятъ ее...

«Говорятъ, будто необходимо изучить нужды и особенности края, чтобы умѣть управлять съ пользою. Mon cher, je vous dirai franchement que tout ça—c'est des utopies. Какія могутъ быть тутъ нужды? Ну, я спрашиваю васъ? Знаетъ ли онъ, для чего ему дана жизнь? Можетъ ли онъ понять, se faire une idée о томъ, что̀ такое назначеніе человѣка? Non, non, non et cent fois non! Je vous le donne en mille, соберите вы тысячу человѣкъ, и переспросите у каждаго изъ нихъ поодиночкѣ, что̀ такое государство? — ни одинъ вамъ не отвѣтитъ. Они знаютъ тамъ своихъ коровъ, своихъ бабъ, свой навозъ. Какія же тутъ нужды, какія тутъ особенности края!

«Говорятъ также нѣкоторые любители просвѣщенія, что нужно распространять грамотность, заводить школы, учить ариѳметикѣ. Eh bien, je vous dirai, что если мы ихъ образуемъ, выучимъ ариѳметикѣ—конецъ нашимъ высшимъ соображеніямъ: c'est sûr et certain comme deux fois deux font quatre. Тутъ наплодится цѣлое стадо ябедниковъ, съ которымъ и не сладишь пожалуй. Entre nous soit dit, какъ человѣкъ молодой, я почти обязанъ сочувствовать à toutes

ces idées généreuses, но, скажу вамъ по секрету, въ нихъ тьма-тьмущая опечатокъ. Сивилизація — это такое тонкое, нѣжное вещество, которое нельзя по произволу бросать въ грязь; грязь отъ этого не высохнетъ, а только дастъ зловредныя испаренія, qui empesteront le monde entier. Это все оттуда, съ Запада, всѣ эти выдумки къ намъ прилѣзаютъ, а то и невдомёкъ никому, что грамотность еще не пришлась по нашему желудку. Есть умная русская пословица: «что русскому здорово, то нѣмцу смерть»; по нуждѣ, эту пословицу и наоборотъ пустить можно. Я, знаете, люблю иногда прибѣгать къ русскимъ пословицамъ, потому что онѣ ко всему какъ-то прилаживаются. Конечно, есть и другая пословица: «ученье свѣтъ, а неученье тьма», но тутъ, очевидно, говорится о *настоящемъ* ученьи, то-есть о такомъ, которое... vous concevez?.. Я опять-таки не обскурантъ: я желаю, я изо всѣхъ силъ требую ученія и просвѣщенія, но *настоящаго* просвѣщенія, то-есть такого, о которомъ говорится въ вышеприведенной пословицѣ.

«Вы мнѣ скажете, что грамотность никто и не думаетъ принимать за окончательную цѣль просвѣщенія, что она только средство; но я осмѣливаюсь думать, что это средство никуда негодное, потому что ведетъ только къ тому, чтобы породить цѣлые легіоны ябедниковъ и міроѣдовъ. Только истинно просвѣщенный плотникъ можетъ пользоваться топоромъ, истинно просвѣщенный поваръ—ножомъ, ибо, не имѣй они этого «истиннаго» просвѣщенія — они непремѣнно зарѣжутся этими полезными инструментами. Слесарь, котораго души коснулось истинное просвѣщеніе, пойметъ, что замокъ и ключъ изобрѣтены на то, чтобы законный владѣлецъ ящика, шкапа или сундука могъ запирать и отмыкать эти казнохранилища; напротивъ того, слесарь-грамотей смотритъ на это дѣло съ своей оригинальной точки зрѣнія: онъ видитъ въ ключѣ и замкѣ лишь средство отмыкать казнохранилища, принадлежащія его ближнему. Итакъ, прежде нежели распространять грамотность, необходимо распространить «истинное» просвѣщеніе. Вамъ, можетъ, странно покажется, что тутъ дѣло какъ будто съ конца начинается, но иногда это, такъ сказать, обратное шествіе необходимо и вполнѣ подтверждается русскою пословицей: «не хвались, идучи на рать»...

«Но довольно о грамотности, возвратимся къ прежиему предмету. Многіе возстаютъ на принципъ чистой творческой администраціи за то, что она стремится проникнуть

всѣ жизненныя силы государства. Но, спрашиваю я васъ, что же тутъ худого, какой отъ этого кому вредъ, и можетъ ли, наконецъ, быть иначе, чтобы принципъ всеобщій и энергическій не поработилъ себѣ явленій случайныхъ и преходящихъ? Возставать противъ этого — не значитъ ли вопіять противъ исторіи, отказываться отъ своего прошлаго, отъ своего настоящаго? Оглянитесь кругомъ себя—все, что вы видите, все это плоды администраціи: областныя учрежденія—плодъ администраціи, община—плодъ администраціи, торговля—плодъ администраціи, фабричная промышленность—плодъ администраціи. Какъ соединишь, знаете, все это въ одинъ фокусъ, такъ оно дѣлается виднѣе. Vous allez me dire que c'est désolant, а я вамъ доложу, что совсѣмъ напротивъ. Все это идетъ, и идетъ довольно стройно; стало-быть, все имѣетъ свой raison d'être. Если бы мы самобытно развивались, Богъ знаетъ, какъ бы оно пошло; можетъ-быть направо, а можетъ-быть и налѣво.

«Вообще у насъ въ модѣ заниматься разными предположеніями, разсуждать о покорени и призваніи и проч... Вотъ и вы теперь вышли изъ школы, такъ тоже, чай, думаете, что все это вопросы первостепенной важности!

«Да вы поймите, поймите же наконецъ, что нечего разсуждать о томъ, что было-бы, если-бъ мы вверхъ ногами, а не головой ходили! А потому всѣ эти нелѣпые толки о самобытномъ развитіи въ высшей степени волнуютъ меня.

«Надо пожить между нихъ, въ этомъ безобразіи, вотъ какъ мы съ вами живемъ, побывать на всѣхъ этихъ сходкахъ, отвѣдать этой яичницы—тогда другое запоешь. Самобытность! просвѣщеніе! Скажите на милость, зачѣмъ намъ тревожить ихъ? И если они такъ любятъ отдыхать, не значитъ ли это que le sommeil leur est doux?

«Слова нѣтъ, надо между ними вводить какія-нибудь новости, чтобъ они видѣли, что тутъ есть заботы, попеченія, и все это, знаете, неусыпно—но какія новости? Вотъ я, напримѣръ, представилъ проектъ освѣщенія избъ дешевыми лампами. Это и само по себѣ полезно, и вмѣстѣ съ тѣмъ удовлетворяетъ высшимъ соображеніямъ, потому что l'armée, mon cher, demande des soldats bien portants, а они тамъ этою лучиною да дымомъ Богъ знаетъ какъ глаза свои портятъ.

«Mais vous n'avez pas l'idée, какъ у нихъ все это тупо прививается. Вспомните, напримѣръ, про картофель. Согласитесь, что это въ крестьянскомъ быту подспорье! Под-

спорье ли это, спрашиваю я васъ? А коль скоро подспорье, слѣдовательно—вещь полезная; а коль скоро это полезно, то надобно его вводить—est-ce clair, oui ou non? Et bien, je vous jure sur mes grands dieux, у насъ было столько tracas съ этимъ картофелемъ! Точно мы ихъ въ языческую вѣру обращали!

«И послѣ этого говорятъ и волнуются, что чиновники взятки берутъ! Одинъ какой-то шальной господинъ посулилъ даже гаркнуть объ этомъ на всю Россію. Конечно, я этого не оправдываю: c'est vilain, il n'y a rien à dire, но почему же они берутъ? Почему же они берутъ, спрашиваю я васъ? Не потому ли, что чиновникъ все-таки высшій организмъ относительно всей этой массы? Вѣдь какъ вы себѣ хотите, а если-бъ было въ ней что-нибудь живое, состоятельное, то не могли бы существовать и производить фуроръ наши пріятные знакомцы: Фейеры, Техоцкіе и проч., и проч. Слѣдовательно, все это, что ни существуетъ, оправдывается и исторически, и физіологически, и этнографически... tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, какъ удостовѣряетъ нашъ общій пріятель, докторъ Панглоссъ.

«Повѣрьте мнѣ, я много обдумывалъ этотъ предметъ и не на вѣтеръ вамъ говорю. Все это именно точно такъ, какъ я вамъ докладываю, и если кто-нибудь будетъ удостовѣрять васъ въ противномъ, кланяйтесь ему отъ меня.

«А впрочемъ, не распить ли намъ бутылочку старенькаго? У меня есть такое, что пальчики оближешь!»

Надорванные.

«Если вы захотите узнать отъ крутогорскихъ жителей, что я за человѣкъ, вамъ навѣрно отвѣтятъ: «о, это собака!» И я не только смиренно преклоняюсь передъ этимъ прозвищемъ, но, коли хотите, нѣсколько даже горжусь имъ.

«Репутація эта до такой степени утвердилась за мной, что если моему начальнику не нравится физіономія какого-нибудь смертнаго, онъ ни къ кому, кромѣ меня, не взываетъ объ уничтоженіи этого смертнаго. «Любезный Филоверитовъ,—говоритъ онъ мнѣ:—у такого-то господина NN носъ очень длиненъ; это нарушаетъ симметрію администраціи, а потому нельзя ли, carissimme»... И я лечу исполнить приказаніе своего начальника, я впиваюсь когтями и зубами въ ненавистнаго ему субъекта, и до тѣхъ поръ не

оставляю его, пока жертва не падетъ къ моимъ ногамъ, изгрызанная и бездыханная.

«Мягкость сердца не составляетъ моего отличительнаго качества. Скажу даже, что въ то время, когда я произвожу травлю, господинъ NN, который, въ сущности, представляетъ для меня лицо совершенно постороннее, немедленно дѣлается личнымъ моимъ врагомъ, — врагомъ тѣмъ болѣе для меня ненавистнымъ, чѣмъ болѣе онъ употребляетъ средствъ, чтобы оборониться отъ меня. Я внезапно вхожу во всѣ виды моего начальника; взоръ мой дѣлается мутенъ, у рта показывается пѣна, и я грызу, грызу до тѣхъ поръ, пока самъ не упадаю отъ изнеможенія и бѣшенства... Согласитесь сами, что въ этомъ постоянномъ, неестественномъ напряженіи всѣхъ струнъ души человѣческой есть тоже своя поэтическая сторона, которая, къ сожалѣнію, ускользаетъ отъ взора пристрастныхъ наблюдателей.

«И не то чтобъ я былъ, въ самомъ дѣлѣ, до того ужъ озлобленъ, чтобы несчастіе ближняго доставляло мнѣ неизреченное удовольствіе... совсѣмъ нѣтъ! Но я строго различаю мою обыденную, будничную дѣятельность отъ дѣятельности служебной, офиціальной. Въ первой сферѣ я— рабъ своего сердца, рабъ даже своей плоти, я увлекаюсь, я умиляюсь, я дѣлаюсь негоднымъ человѣкомъ; во второй сферѣ—я совлекаю съ себя ветхаго человѣка, я отрѣшаюсь отъ видимаго міра и возвышаюсь до ясновидѣнія. Если злоба и желчь недостаточно сосутъ мое сердце, я напрягаю всѣ силы, чтобъ искусственными средствами произвести въ себѣ болѣзнь печени.

«Въ бо́льшей части случаевъ я успѣваю въ этомъ. Я столько получаю ежедневно оскорбленій, что состояніе озлобленія не могло не сдѣлаться нормальнымъ моимъ состояніемъ. Кромѣ того, жалованье мое такое маленькое, что я не имѣю ни малѣйшей возможности расплыться въ матеріальныхъ наслажденіяхъ. Находясь постоянно впроголодь, я съ гордостью сознаю, что совѣсть моя свободна отъ всякихъ посторонникъ внушеній, что она не подкуплена брюхомъ, какъ у этихъ «озорниковъ», которые смотрятъ на міръ съ высоты гастрономическаго величія.

«Фамилія моя Филоверитовъ. Это достаточно объясняетъ вамъ, что я не родился ни въ бархатѣ, ни въ златѣ. Нынѣшній начальникъ мой, искавшій для своихъ домашнихъ потребностей такую собаку, которая сочла бы за удовольствіе закусать до смерти другихъ вредоносныхъ собакъ, и

видя, что цвѣтъ моего лица отмѣнно желтъ, а животъ всегда подобранъ, обратилъ на меня вниманіе.

«— Чувствуешь ли ты въ себѣ столько силы,—сказалъ онъ мнѣ:—чтобъ быть всегда озлобленнымъ, всегда готовымъ бодро и злокачественно слѣдовать указанію перста моего?

«Я сошелъ въ свою совѣсть и убѣдился, что въ состояніи оправдать возложенныя на меня надежды. Я посредствомъ цѣлаго ряда ясныхъ и строгихъ силлогизмовъ дошелъ до убѣжденія, что человѣкъ официальный не имѣетъ права обладать ни однимъ изъ пяти чувствъ, составляющихъ неотъемлемую принадлежность обыкновеннаго человѣка. Что я такое и что значу въ этой громадѣ администраціи, которая пугаетъ глаза, поражаетъ разумъ сложностью и цѣпкостью всѣхъ частей своего механизма? Я не больше, какъ ничтожный атомъ, который фаталистически осужденъ на тѣ или другія отправленія и который ни на пядь не можетъ выйти изъ очарованнаго круга, начертаннаго для него невидимою рукой! Какое право предъявлю я, чтобъ имѣть свое убѣжденіе? И кому оно нужно, это убѣжденіе? Однажды я какъ-то осмѣлился заикнуться передъ моимъ начальникомъ, что *по моему мнѣнію*... такъ онъ только поглядѣлъ на меня, и съ тѣхъ поръ я болѣе не заикался. И онъ былъ правъ...

«Съ этой поры все у насъ идетъ ладно и гладко. Не скрою отъ васъ, что это постоянное заказное озлобленіе иногда утомляетъ меня. Бываютъ времена, что вся спинная кость какъ будто перешиблена, и ходишь весь сгорбленный... Но это только на-время: почуется въ воздухѣ горечь, получается новое приказаніе, вызывающее къ дѣятельности, и я, какъ почтовая лошадь, распрямляю разбитыя ноги и скачу по камнямъ и щебню, по горамъ и оврагамъ, по топямъ и грязи. Ноги у меня искровавлены, дыханье дѣлается быстро и прерывисто, какъ у пойманной крысы, но я все-таки останавливаюсь только затѣмъ, чтобы вновь скакать, не переводя духу.

«Эта скачка очень полезна; она поддерживаетъ во мнѣ жизнь, какъ рюмка водки поддерживаетъ жизнь въ закоснѣломъ пьяницѣ. Посмотришь на него: и руки, и ноги трясутся, словно весь онъ ртутью налитъ, а выпилъ рюмку-другую—и пошелъ ходить, какъ ни въ чемъ не бывало. Точно такимъ образомъ и я: зная, что на мнѣ лежитъ долгъ, я при одномъ этомъ словѣ чувствую себя всегда готовымъ и бодрымъ. Не изъ мелкой корысти, не изъ под-

лости дѣйствую я такимъ образомъ, а по крайнему разумѣнію своихъ обязанностей, какъ человѣка и гражданина.

«Дѣятельность моя была самая разнообразная. Былъ я и слѣдователемъ, былъ и судьею; имѣлъ, стало-быть, дѣло и съ живымъ матеріаломъ, и съ мертвою буквою, но и въ томъ, и въ другомъ случаѣ всегда оставался вѣренъ самому себѣ или, лучше сказать, идеѣ долга, которой я сдѣлалъ себя служителемъ.

«Слѣдственную часть вы знаете: въ ней представляется столько искушеній, если не для кармана, то для сердца, что трудно овладѣть собой надлежащимъ образомъ. И я вамъ откровенно сознаюсь, что эта часть не по нутру мнѣ; вообще, я не люблю живого матеріала, не люблю этихъ вздоховъ, этихъ стоновъ: они стѣсняютъ у меня свободу мысли. Разскажу вамъ два случая изъ моей полицейской дѣятельности,—два случая, которые вамъ дадутъ понятіе о томъ, съ какими трудностями приходится иногда бороться неподкупному слѣдователю.

«Первый случай былъ въ Черноборскомъ уѣздѣ. Въ селѣ Березинѣ произошелъ пожаръ; причина пожара заключалась въ поджогѣ, признаки котораго были слишкомъ очевидны, чтобы дать мѣсто хотя малѣйшему сомнѣнію. Оставалось раскрыть, кто былъ виновникомъ поджога, и былъ ли онъ умышленный или неумышленный. Среди разысканій моихъ по этому предмету являются ко мнѣ мужикъ и баба, оба очень молодые, и обвиняютъ себя въ поджогѣ избы. При этомъ разсказываютъ мнѣ и всѣ малѣйшія подробности поджога съ изумительною ясностью и полнотою.

«— Что-жъ побудило васъ рѣшиться на этотъ поджогъ?

«Молчаніе.

«— Вы мужъ и жена?

«Оказывается, что они другъ другу люди посторонніе, но что оба уже несвободны: онъ женатъ, а она замужемъ.

«— Знаете ли вы, чему подвергаетесь за поджогъ?

«— Знаемъ, батюшка, знаемъ,—говорятъ оба, и говорятъ довольно весело.

«Одно только показалось мнѣ страннымъ: по какому случаю баба и мужикъ, совершенно другъ другу посторонніе, вмѣстѣ совершаютъ столь тяжкое преступленіе. Если-бъ не это сомнѣніе, то оставалось бы только повѣрить ихъ показанію и отослать дѣло въ судебное мѣсто. Но я не могу успокоиться до тѣхъ поръ, пока не разберу дѣло отъ *а* до *я*. И дѣйствительно, по повѣркѣ показанія, оно ока-

залось вполнѣ согласнымъ съ обстоятельствами, въ которыхъ совершился поджогъ; но когда я приступилъ къ разъясненію побудительныхъ причинъ преступленія—что бы вы думали я открылъ? Открылъ я, что два поименованные субъекта давнымъ-давно находятся въ интимной связи.

«— Къ чему же тутъ поджогъ?—спрашиваю я обвиненныхъ, предварительно уличивъ въ непозволительной связи.

«Оба молчатъ. Я увѣщаваю ихъ, объясняю, что побудительныя причины часто имѣютъ вліяніе на смягченіе мѣры наказанія.

«— А какое будетъ намъ наказаніе?—спрашиваетъ мужикъ.

«Я объяснилъ ему, и вижу, что оба поникли головами. Послѣ многихъ настояній оказывается, наконецъ, что они любили другъ друга и, должно-быть, страстно, потому что задумали поджогъ, въ чаяньи, что ихъ сошлютъ за это на поселеніе въ Сибирь, гдѣ они и обвѣнчаться могутъ.

«Надо было видѣть ихъ отчаянье и стоны, когда они узнали, что преступленіе совершено было ими напрасно. Я самъ былъ пораженъ моимъ открытіемъ, потому что, вмѣсто повода къ смягченію наказанія, оно представляло лишь поводъ къ усугубленію его...

«Признаюсь вамъ, мнѣ было тяжко бороться съ совѣстью; съ одной стороны представлялось мнѣ, что поджогъ тутъ обстоятельство совершенно постороннее, что самое преступленіе, какъ оно ни велико, содержитъ въ себѣ столько наивныхъ, столько симпатичныхъ сторонъ; съ другой стороны вопіялъ иной голосъ,—голосъ долга и службы, доказывавшій мнѣ, что я, какъ слѣдователь, не имѣю права разсуждать и тѣмъ менѣе соболѣзновать...

«Что бы вы сдѣлали на моемъ мѣстѣ? Можетъ-быть, оправили бы виновныхъ, или, по крайней мѣрѣ, придумали для нихъ такой исходъ, который значительно бы облегчилъ ихъ участь? Я самъ былъ на волосъ отъ этого, но восторжествовалъ...

«Другой случай былъ въ Оковскомъ уѣздѣ. Жили мужъ съ женой, жили лѣтъ пять мирно и согласно. Дѣтей у нихъ не было; однакожъ, это не мѣшало тому, что въ семействѣ мужа сноху любили, а мужъ, бывало, не надышится красоткой-женой. Вдругъ, ни съ того, ни съ сего, стала жена мужа не долюбливать. То перечитъ мужу безпричинно, то грозитъ извести его. Дуритъ баба да и полно. Впослѣдствіи я очень старался раскрыть это обстоятельство, одна-

кожъ, съ какой стороны ни принимался за дѣло, не могъ дознать ничего даже приблизительнаго. Билъ я и на то, что какая-нибудь скрытая связишка у бабы была; однако и семьяне, и весь міръ удостовѣрили, что баба во всѣхъ отношеніяхъ вела себя примѣрно; билъ и на то, что, быть-можетъ, ревность бабу мучила—и это оказалось неосновательнымъ. Самъ даже мужикъ, когда она ему сулила извести, только смѣялся: все думалъ, что баба обсѣменилась, да и привередничаетъ отъ этого. Только рано ли, поздно ли, а эти привередничанья начали принимать серьезный характеръ. Думали-думали семейные—принялись бабу лѣчить отъ «глазу». Наговаривали на воду, сыпали въ пищу порошокъ изъ какого-то корня. А баба все говорить: «свяжите мнѣ, родимые, рученьки, смерть хочется зашибить Петруню». Однако, они предосторожностей особенныхъ не приняли, и вотъ, въ одно прекрасное утро, бабенка, зная, что мужъ на дворѣ колодезь копать зачалъ, подошла къ самой ямѣ и начала его звать. Только-что успѣлъ онъ высунуть изъ ямы свою голову, какъ она изо всей силы хвать ему остріемъ косы по головѣ. Къ счастью, ударъ пришелся вскользь, и мужикъ отдѣлался только глубокою раной и страхомъ.

«Когда я производилъ это слѣдствіе, мужъ въ ногахъ у меня валялся, прося пощадить жену; вся семья стояла за нее; повальный обыскъ также ее одобрилъ. Но какимъ же образомъ объяснить это преступленіе? Помѣшательствомъ ума? Но гдѣ же тотъ авторитетъ, на который я могъ бы опереться?

«И я принялъ это дѣло въ томъ видѣ, какъ мнѣ представляли его факты. Я не умствовалъ и не вдавался въ даль. Я просто раскрылъ, что преступленіе совершено, и совершено преднамѣренно. Я не внялъ голосу сердца, которое говорило мнѣ: «пощади бѣдную женщину! Она не знала сама, что̀ дѣлаетъ; виновата ли она, что ты не въ состояніи опредѣлить душевную болѣзнь, которою она была одержима?» Я не внялъ этому голосу по той простой причинѣ, что я только слѣдователь, что я tabula rasa, которая обязана быть равнодушною ко всему, что̀ на ней пишется.

«Впослѣдствіи времени я увидѣлъ эту самую женщину на площади, и, признаюсь вамъ, сердце дрогнуло-таки во мнѣ, потому что въ частной жизни я все-таки остаюсь человѣкомъ и съ охотою соболѣзную всевозможнымъ несчастіямъ...

«Но я вамъ сказалъ уже, что слѣдственной части не люблю, по той главной причинѣ, что тутъ живой матеріалъ есть. То ли дѣло судейская часть! Тутъ имѣешь дѣло только съ бумагою; сидишь-себѣ въ кабинетѣ, никто тебя не смущаетъ, никто не мѣшаетъ; сидишь и дѣйствуешь согласно съ здравою логикой и строгою законностью. Если силлогизмъ построенъ правильно, если всѣ нужныя посылки сдѣланы—значитъ, и дѣло правильное, значитъ, никто въ мірѣ кассировать меня не въ силахъ.

«Я не схожу въ свою совѣсть, я не совѣтуюсь съ моими личными убѣжденіями; я смотрю на то только, соблюдены ли всѣ формальности, и въ этомъ отношеніи строгъ до педантизма. Если есть у меня въ рукахъ два свидѣтельскія показанія, надлежащимъ порядкомъ оформленныя, я доволенъ и пишу: *есть*; если нѣтъ ихъ—я тоже доволенъ и пишу: *нѣтъ*. Какое мнѣ дѣло до того, совершено ли преступленіе въ дѣйствительности, или нѣтъ! Я хочу знать, *доказано* ли оно, или *не доказано*—и больше ничего.

«Кабинетно-силлогистическая дѣятельность представляетъ мнѣ неисчерпаемыя наслажденія. Въ нее можно втянуться точно такъ же, какъ можно втянуться въ пьянство, въ куреніе опіума и т. п. Помню я одну ночь. Обвиненный ускользалъ уже изъ моихъ рукъ, но какое-то чутье говорило мнѣ, что не можетъ это быть, что должно же быть въ этомъ дѣлѣ такое болото, въ которомъ субъектъ непремѣнно обязанъ погрязнуть. И точно, хоть долго я бился, однако открылъ это болото, и вы не можете себѣ представить, какое наслажденіе вдругъ разлилось по моимъ жиламъ.

«Вы можете, въ настоящее время, много встрѣтить людей одинаковаго со мною направленія, но врядъ ли встрѣтите другого *меня*. Есть много людей, убѣжденныхъ, какъ и я, что внѣ администраціи въ мірѣ все хаосъ и анархія, но это бо́льшею частію или горлопаны, или эпикурейцы, или такіе младенцы, которые приступиться ни къ чему не могутъ и не умѣютъ. Ни одинъ изъ нихъ не возвысился до понятія о *долгѣ*, какъ о чемъ-то серьезномъ, не терпящемъ суеты, ни одинъ не возмогъ умертвить свое *я* и принесть всего себя въ жертву своимъ обязанностямъ.

«Дѣлаютъ мнѣ упрекъ, что манеры мои нѣсколько жестки, что весь я будто сколоченъ изъ одного куска, что видъ мой не внушаетъ довѣрія и т. п. Странная вещь—отъ чиновника требовать граціозности! Какая въ томъ польза, что я буду милъ, любезенъ и предупредителенъ? Не лучше ли,

напротивъ, если я буду стоять нѣсколько поодаль, чтобы всякій смотрѣлъ на меня если не со страхомъ, то съ чувствомъ неизвѣстности?

«Въ губерніяхъ чиновничество и безъ того дошло до какого-то страннаго панибратства. Для того, чтобы выпить лишнюю рюмку водки, съѣсть лишній кусокъ лакомаго блюда, а главное—насытить свой носъ зловонными испареніями лести и ласкательства, готовы дѣлать почти на преступленіе. «Это не взятка», говорятъ. Да, это не взятка, но хуже взятки. Взятку беретъ чиновникъ съ осмотрительностью, а иногда и съ невольнымъ угрызеніемъ совѣсти, а ѣдучи на обѣдъ, онъ не ощущаетъ ничего, кромѣ удовольствія. Разсудите сами, можете ли вы отказать въ чемъ-нибудь человѣку, который оказывалъ вамъ тысячу предупредительностей, тысячу маленькихъ услугъ, которыя цѣнятся не деньгами, а сердцемъ? Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ. Деньги можно назадъ отдать, если дѣло оказывается черезчуръ сомнительнымъ, а невѣсомыя, моральныя взятки остаются навѣки на совѣсти чиновника и рано или поздно вылѣзутъ изъ него или подлостью, или казнокрадствомъ.

«А между тѣмъ, посмотрите вы на нашихъ губернскихъ и уѣздныхъ аристократовъ, какъ они привередничаютъ, какъ они пыжатся на обѣдѣ у какого-нибудь негоціанта, который потому и кормитъ ихъ, чтобы казну обворовать поделикатнѣе. Фу ты, что за картина! Сидитъ индѣйскій пѣтухъ и хвостъ распуститъ—ну, не подступишься къ нему да и только! Анъ, нѣтъ! Покудова онъ тамъ распускаетъ хвостъ, въ головѣ у него ужъ зрѣетъ канальская идея, что какъ, молъ, не прибавить по копеечкѣ такому милому, преданному негоціанту!

«Скажите же на милость, какимъ тутъ образомъ не сдѣлаться желчнымъ человѣкомъ, когда кругомъ себя видишь только злоупотребленія или такое нахальное самодовольство, отъ котораго въ груди сердце воротитъ?..

«А впрочемъ, знаете ли, и меня начинаетъ уже утомлять мое собственное озлобленіе; я чувствую, что въ груди у меня дѣлается что-то неладное: то будто удушье схватитъ, то начнетъ что-то покалывать, словно буравомъ сверлитъ... Какъ вы думаете, доживу ли я до лѣта, или же вмѣстѣ съ зимними оковами рѣки Крутогорки, тронется, почуявъ весеннее тепло, и душа моя?..»

VII.
ТАЛАНТЛИВЫЯ НАТУРЫ.

Корепановъ.

Въ провинціи «печоринство» приняло совершенно своеобразныя формы; оно утратило свой демоническій характеръ, свою прозрачность и нѣжность, которыми въ особенности привлекаетъ къ себѣ симпатіи дамъ, и облеклось въ свой будничный, плотяный нарядъ, вполнѣ соотвѣтственный нашему сѣверному климату, который, какъ извѣстно, ничего прозрачнаго и легкаго не терпитъ. Провинціальныхъ Печориныхъ такое множество разныхъ сортовъ и видовъ, что весьма трудно исчерпать этотъ предметъ подробно. Одни изъ нихъ занимаются тѣмъ, что ходятъ въ халатѣ по комнатѣ и отъ нечего дѣлать посвистываютъ; другіе проникаются желчью и дѣлаются губернскими Мефистофелями; третьи барышничаютъ лошадьми или передергиваютъ въ карты; четвертые выпиваютъ огромное количество водки; пятые перевариваютъ на досугѣ свое прошедшее и съ горя протестуютъ противъ настоящаго... Общее у всѣхъ этихъ господъ: во-первыхъ, «червякъ», во-вторыхъ, то, что на «жизненномъ пирѣ» для нихъ не случилось мѣста, и, въ-третьихъ, необыкновенная размашистость натуры. Но главное—червякъ. Этотъ глупый червякъ причиною тому, что наши Печорины слоняются изъ угла въ уголъ, не зная, куда приклонить голову; онъ же познакомилъ ихъ ближайшимъ образомъ съ помѣщиками: Полежаевымъ, Сопиковымъ и Храповицкимъ. Къ сожалѣнію, я долженъ сказать, что Печорины водятся исключительно между молодыми людьми. Старый, заиндивѣвшій чиновникъ

или помѣщикъ не можетъ сдѣлаться Печоринымъ; онъ на жизнь смотритъ съ практической стороны, а на тернія или неудобства ея—какъ на неизбѣжныя и неисправимыя. Это блохи и клопы, которые до того часто и много его кусали, что сдѣлались не врагами, а скорѣе добрыми знакомыми его. Онъ не вникаетъ въ причины вещей, а принимаетъ ихъ такъ, какъ онѣ есть, не задаваясь мыслью о томъ, какими бы онѣ могли быть, если бы... и т. д. Молодой человѣкъ, напротивъ того, начинаетъ уже смутно понимать, что вокругъ него есть что-то неладное, разрозненное, неклеящееся; онъ видитъ себя въ странномъ противорѣчіи со всѣмъ окружающимъ; онъ хочетъ протестовать противъ этого, но, не обладая никакими живыми началами, необходимыми для примиренія, остается при одномъ зубоскальствѣ или псевдо-трагическомъ негодованіи. Коли хотите, тутъ и дѣйствительно есть червякъ, но о свойствахъ и родопроисхожденіи его до сихъ поръ не преподавали еще ни въ одномъ университетѣ, а потому и я, пишущій эти строки, предоставляю другимъ, болѣе меня знающимъ, и въ другой, болѣе удобной для того формѣ, опредѣлить причины его зарожденія и средства къ исцѣленію.

У княжны Анны Львовны былъ дѣтскій балъ, въ которомъ, однакожъ, взрослые принимали гораздо бо̀льшее участіе, нежели дѣти. Послѣднія были тутъ, очевидно, ради одного спектакля, который могъ доставить вящшее удовольствіе взрослымъ. Тутъ находились дѣти всевозможныхъ сортовъ и видовъ, начиная отъ чумазыхъ и слюнявыхъ и кончая такъ-называемыми «душками», составляющими гордость и утѣху родителей. Чумазыя веселились довольно шумно, нерѣдко даже дрались между собою; они долгое время сначала сидѣли около маменькиныхъ юбокъ, не рѣшаясь вступить на арену веселія, но, однажды рѣшившись, откровенно приняли княжескій залъ за скотный дворъ и предались всей необузданности своихъ побужденій; напротивъ того, «душки» вели себя смирно, граціозно расшаркивались сперва одною ножкой, потомъ другою, и даже весьма удовлетворительно лепетали французскія фразы. На этомъ же балѣ встрѣтился со мной незнакомый молодой человѣкъ (я въ то время только-что прибылъ въ Крутогорскъ), Иванъ Павлычъ Корепановъ, который держалъ себя какъ-то особнякомъ отъ взрослыхъ и преимущественно бесѣдовалъ съ молодымъ поколѣніемъ. Онъ былъ высокаго

роста, носилъ очки и длинные волосы, которые у него кудрявились и доходили до плечъ. Лицо у него было довольно странное; несмотря на то, что его нельзя было назвать дурнымъ, оно какъ-то напоминало объ обезьянѣ, и вслѣдствіе того скорѣе отталкивало отъ себя, нежели привлекало. Впрочемъ, быть-можетъ, это казалось еще и потому, что всѣ мускулы этого лица были до такой степени подвижны, что оно ни на секунду не оставалось въ покойномъ состояніи. Я замѣтилъ, что сидѣвшія по стѣнамъ залы маменьки съ безпокойствомъ слѣдили за Корепановымъ, какъ только онъ подходилъ къ ихъ дѣтищамъ, и пользовались первымъ удобнымъ случаемъ оторвать послѣднихъ отъ сообщества съ человѣкомъ, котораго онѣ, повидимому, считали опаснымъ.

— Вы не знакомы съ мсье Корепановымъ? — спросила меня княжна, замѣтивъ, что я вглядываюсь въ него.— Хотите, я васъ другъ другу представлю?

Черезъ минуту мы были уже знакомы и бесѣдовали.

— Итакъ, вы тоже удостоились побывать въ Крутогорскѣ?—сказалъ онъ мнѣ.—Поживите, поживите у насъ! Это, знаете, васъ немножко расхолодитъ.

— А вы давно здѣсь?

— Обо мнѣ говорить нечего: я человѣкъ отпѣтый!.. А васъ вотъ жалко!

— Вы говорите о Крутогорскѣ, точно это и Богъ знаетъ какое страшилище!

— Страшилище не страшилище—нѣтъ у него достаточно данныхъ, чтобъ быть даже порядочнымъ страшилищемъ,— а помойная-таки яма порядочная!... И такія зловонныя испаренія отъ нея поднимаются если-бъ вы знали!

— Чѣмъ же вы здѣсь занимаетесь?

— А у меня занятіе очень странное... это даже, коли хотите, ужъ и не занятіе, а почти офиціальная должность: я крутогорскій Мефистофель...

— Дѣйствительно, это странно.

— Вы удивляетесь, но это только теперь, покуда вы не обжились у насъ... Поживите и увидите, что здѣсь всякій человѣкъ обязывается носить однажды накинутую на себя ливрею безсмѣнно и неотразимо. У насъ все такъ заранѣе опредѣлено, такъ разсчитано, такой вездѣ фатализмъ, что каждый членъ общества безошибочно знаетъ, что думаетъ въ извѣстную минуту его сосѣдъ... Вотъ я, напримѣръ, навѣрно знаю, что Аннеса Ивановна—вотъ эта дама въ

полосатой шали, которую она въ прошломъ году устроила изъ старыхъ панталонъ своего мужа—совѣршенно увѣрена, что я въ настоящую минуту до-бѣла перемываю съ вами косточки нашихъ ближнихъ...

— Только ужъ не со мною, потому что я тутъ ни при чемъ...

— Ну, положимъ, хоть и ни при чемъ, но все-таки она васъ уже считаетъ моимъ соучастникомъ... Посмотрите, какіе умоляющіе взоры она кидаетъ на васъ! Такъ, кажется, и говоритъ: не вѣрь ему, этому злому человѣку! шаль моя воистину новая, взятая въ презентъ... тьфу, бишь! купленная въ магазинѣ почетнаго гражданина Пазухина!

— Я думаю, что эти ближніе не должны чувствовать къ вамъ особеннаго сердечнаго влеченія?

— Не скажу этого; они знаютъ, что ругать ихъ—мое назначеніе, моя служба, такъ сказать... Конечно, иногда не обходится безъ того, чтобъ посердиться, но мы вѣдь свои люди и дѣйствуемъ по пословицѣ: «милые дерутся—только тѣшатся». Я увѣренъ, что если-бъ я оставилъ свое ремесло, они перестали бы уважать меня, мало того—они бы соскучились! Иногда мнѣ случается быть нѣсколько времени въ отсутствіи по дѣламъ службы—не этой, а дѣйствительной службы,—такъ—повѣрите ли?—многіе даже плачутъ: скоро ли-то нашъ Иванъ Павлычъ воротится, спрашиваютъ.

— Однакожъ, это незамѣтно, потому что васъ, повидимому, здѣсь обѣгаютъ.

— Это только повидимому, а въ сущности, вѣрьте мнѣ, всѣ сердца ко мнѣ несутся... Они только опасаются моихъ разговоровъ съ дѣтьми, потому что дѣти—это такая неистощимая сокровищница для наблюденій за родителями, что человѣку опытному и благонамѣренному стоитъ только слегка запустить руку, чтобъ вынуть оттуда цѣлыя пригоршни чистѣйшаго золота!.. Иванъ Семенычъ! Иванъ Семенычъ! пожалуйте-ка сюда!

Къ намъ подбѣжалъ мальчикъ лѣтъ пяти, весь завитой, въ бархатной зеленой курточкѣ и таковыхъ же панталонцахъ.

— Рекомендую вамъ! Иванъ Семенычъ Фурначевъ, сынъ статскаго совѣтника Семена Семеныча Фурначева, который, двадцать лѣтъ живя съ супругой, не имѣлъ дѣтей, покуда, наконецъ, шесть лѣтъ тому назадъ, не догадался съѣздить на нижегородскую ярмарку. Поэтому-то самому Иванъ Семенычъ и слыветъ здѣсь больше подъ именемъ

антихриста... А что, Иванъ Семенычъ, подсмотрѣлъ ты сегодня послѣ обѣда, какъ папка деньги считаетъ?

— Нельзя,—отвѣчалъ мальчикъ.

— Отчего же нельзя? Я тебя училъ вѣдь: спрятаться подъ кресло, которое въ углу, и оттуда подсмотрѣть... Какъ вы осмѣлились меня ослушаться, милостивый государь?

— Нельзя; папка видѣлъ.

— Стало-быть, ты спрятался?

— Спрятался.

— Стало-быть, ты все-таки что-нибудь видѣлъ?

— Сначала папка вынулъ много бумагъ, и все считалъ, потомъ вынулъ много денегъ—и все считалъ!

— А потомъ, вѣрно, и тебя увидѣлъ, да за уши изъ-подъ кресла и вытащилъ. Ну, теперь отвѣчай: какая на тебѣ рубашка?

— Батистовая.

— Хорошо. А какую рубашку носилъ твой папка въ то время, когда къ отеческому дому гусей пригонялъ?

— Посконную.

— А откуда взялъ папка деньги, чтобъ тебѣ батистовую рубашку сшить?

— Укралъ.

— Jean, пойдемъ со мной!—сказала госпожа Фурначева, подходя къ намъ. — Онъ, вѣрно, надоѣдаетъ вамъ своими глупостями, господа...

— Помилуйте, Настасья Ивановна, можетъ ли такое прелестное дитя надоѣсть! Онъ такъ похожъ на Семена Семеныча!

— Скажите, однакожъ, неужели у васъ не найдется другихъ занятій?—спросилъ я, когда отъ насъ отошла госпожа Фурначева.

— А чѣмъ мои занятія худы?—спросилъ онъ въ свою очередь.—Напротивъ того, я полагаю, что они въ высшей степени нравственны, потому что мои откровенныя бесѣды съ молодымъ поколѣніемъ поселяютъ въ немъ отвращеніе къ тѣмъ мерзостямъ, въ которыхъ закоренѣли ихъ милые родители... Да позвольте полюбопытствовать, о какихъ это «другихъ» занятіяхъ вы говорите?

— Да вы гдѣ же нибудь и чему-нибудь да учились?

— Учился, это правда, то-есть былъ въ выучкѣ. Но вотъ уже пять лѣтъ, какъ вышелъ изъ ученья и поселился здѣсь. Поселился я здѣсь по многимъ причинамъ: во-первыхъ, потому, что желаю кушать, а въ Петербургѣ или

Москвѣ этого добра не найдешь сразу; во-вторыхъ, у меня здѣсь родные, и слѣдовательно имя ужъ насижено мѣсто и для меня. Въ Петербургѣ и въ Москвѣ хорошо, но для тѣхъ, у кого есть бабушки и дѣдушки, да сверхъ того родовое или благопріобрѣтенное. Но у меня ничего этого нѣтъ, и я еще очень живо помню, какъ въ годы ученія приходилось мнѣ бѣгать по гостиному двору и изъ двухъ подовыхъ пироговъ, которые продаются на лоткахъ офиціантами въ бѣлыхъ галстукахъ, составлять весь обѣдъ свой... Конечно, какъ воспоминаніе, это еще можетъ имѣть свою прелесть, но смѣю васъ увѣрить, что въ настоящее время я не имѣю ни малѣйшаго желанія, даже въ теченіе одной минуты, быть впроголодь... И вѣдь какіе это были подовые пироги, если-бъ вы знали! Честью васъ завѣряю, что они отзывались больше сапогами, нежели пирогами!

— Но развѣ и въ провинціи нельзя найти для себя болѣе дѣльнаго занятія?

— На этотъ вопросъ я отвѣчу вамъ немедленно, а покуда позвольте мнѣ познакомить васъ еще съ однимъ милымъ молодымъ человѣкомъ... Николай Ѳедорычъ! пожалуйте-ка, милостивый государь, сюда!

Николай Ѳедорычъ—мальчикъ лѣтъ семи—въ сущности довольно похожъ на Ивана Семеныча, только одѣтъ попроще: безъ бархатовъ и батиста.

— Позвольте мнѣ васъ спросить, Николай Ѳедорычъ, какое самое золотое правило на свѣтѣ?

— Не посѣщай воровъ, ибо самъ въ скоромъ времени можешь сдѣлаться таковымъ,—пролепеталъ скороговоркою мальчикъ.

— Отлично-съ; вотъ вамъ за это конфетка. Этимъ мудрымъ изреченіемъ, почерпнутымъ изъ прописей, встрѣтилъ меня Николай Ѳедорычъ однажды, когда я посѣтилъ его папашу, многоуважаемаго и добрѣйшаго Ѳедора Николаича,—сказалъ Корепановъ, обращаясь ко мнѣ.

— Теперь я буду продолжать прерванный разговоръ,— продолжалъ онъ, когда мальчикъ ушелъ.—Вы начали, кажется, съ вопроса, учился ли я чему-нибудь, и я отвѣчалъ вамъ, что точно былъ въ выучкѣ. Какая была тому причина—этого я вамъ растолковать не могу, но только ученье не впрокъ мнѣ шло. Я, милостивый государь, человѣкъ не простой; я хочу, чтобъ не я пришелъ къ занятію, а оно меня нашло; я не люблю корпѣть надъ книжкой и клевать по крупицѣ, но не прочь былъ бы, если-бъ нашелся чело-

вѣкъ, который бы знаніе влилъ мнѣ въ голову ковшомъ, и сдѣлался бы я послѣ того мудръ какъ Минерва... Все, что я въ молодости моей отъ умныхъ людей съ каѳедры слышалъ, все это только раззадорило меня или, лучше сказать, чувственно растревожило мои нервы... Потомъ, какъ я вамъ уже докладывалъ, оставилъ я храмъ наукъ и поселился, по необходимости, въ Крутогорскѣ... И вы не можете себѣ представить, въ какомъ я былъ сначала здѣсь упоеніи! Молодой человѣкъ, кончившій курсъ наукъ, пріѣхавшій изъ Петербурга, бывшій, слѣдовательно, и въ аристократическихъ салонахъ (вѣдь чѣмъ чортъ не шутитъ!), наглядѣвшійся на итальянскую оперу — этого слишкомъ достаточно, чтобы произвести общій фуроръ. И бабьѣ это дѣйствительно до такой степени на меня накинулось, что даже вспомнить тошно! И вотъ-съ, сѣлъ я въ эту милую колясочку и катаюсь въ ней о сю пору!.. Что прежде зналъ, все позабылъ, а снова приниматься за черепословіе—головка болитъ.

Сказавъ это, онъ взглянулъ на меня какъ-то особенно выразительно, такъ что я могъ ясно прочитать на лицѣ его вопросъ: «а что! вѣрно ты не ожидалъ встрѣтить въ глуши такого умнаго человѣка?»

— Знаете, — продолжалъ онъ, помолчавъ съ минуту: — странная вещь! Никто меня здѣсь не задѣваетъ, всѣ меня ласкаютъ, а между тѣмъ въ сердцѣ моемъ кипитъ какой-то страшный, неистощимый источникъ злобы противъ всѣхъ ихъ! И совсѣмъ не потому, чтобы я считалъ ихъ отвратительными и безнравственными — въ такомъ случаѣ я презиралъ бы ихъ, и мнѣ было бы легко и спокойно... Нѣтъ, я злобствую потому, что вижу на ихъ лицахъ улыбку и весельѣ, потому что въ сердцахъ ихъ царствуетъ то довольство, то безмятежіе, которыхъ я, при всѣхъ своихъ благонамѣренныхъ и высоконравственныхъ воззрѣніяхъ, добиться никакъ не могу... Мнѣ кажется, что самое это довольство есть доказательство, что жизнь ихъ все-таки не прошла даромъ, и что, напротивъ того, бѣснованіе и вѣчная мнительность въ родѣ моихъ—признакъ натуры самой мелкой, самой ничтожной... Вы видите, я не щажу себя! И я ненавижу ихъ, ненавижу всѣми силами души, потому что желалъ бы отнять въ свою пользу то умѣнье пользоваться дарами жизни, которымъ они вполнѣ обладаютъ...

— А мнѣ кажется, вы все это напустили на себя, — отвѣчалъ я: — а въ сущности, если захотите, можете сдѣ-

лать и вы много полезнаго въ той маленькой сферѣ, которая назначена для нашей дѣятельности.

— Если вы поживете въ провинціи, то поймете и убѣдитесь въ совершенствѣ, что самая большая польза, которую можно здѣсь сдѣлать, заключается въ томъ, чтобы дѣлать ея какъ можно меньше. Съ перваго раза вамъ это покажется парадоксомъ, но это дѣйствительно такъ.

— Докажите же мнѣ это, потому что я не могу и не имѣю права вѣрить вамъ на слово.

— Доказательства представить вамъ за меня самая жизнь, а я, признаюсь вамъ, даже не въ состояніи правильно построить вамъ какой-нибудь силлогизмъ... Для этого необходимо разсуждать, а я давно ужъ этимъ не занимался, такъ что и привычку даже потерялъ.

— Ну, теперь, благодаря мсьё Корепанову, вы, вѣрно, ужъ достаточно знакомы со всѣмъ крутогорскимъ обществомъ?—перебила княжна Анна Львовна, садясь возлѣ меня.

— Нѣтъ еще, княжна,—отвѣчалъ Корепановъ.—Николай Иванычъ покамѣстъ болѣе познакомился со мной, нежели съ здѣшнимъ обществомъ... Впрочемъ, здѣшнее общество осязательно изобразить нельзя: въ него нужно самому втравиться, нужно самому пожить его жизнью, чтобъ узнать его. Здѣшнее общество имѣетъ свой запахъ, а свойство запаха, какъ вамъ извѣстно, нельзя объяснить человѣку, который никогда его не обонялъ.

— Вы злой человѣкъ, мсьё Корепановъ!

— Это мой долгъ, княжна. И притомъ вы не совсѣмъ благодарны: если-бъ меня не было, кто бы могъ доставить вамъ столько удовольствія, сколько доставляю, напримѣръ, я своимъ злорѣчіемъ? Согласитесь сами—это услуга не маловажная! Конечно, я до сихъ поръ еще не принесъ никакой непосредственной пользы: я не вырылъ колодца, я не обжигалъ кирпичей, не испекъ ни одного хлѣба, но взамѣнъ того я смягчалъ нравы, я изгонялъ меланхолію изъ сердецъ и посылалъ въ нихъ расположеніе къ добрымъ подвигамъ... вотъ прямыя заслуги моей юмористической дѣятельности!

— А что онъ обо мнѣ сказалъ, мсьё Щедринъ?

— До васъ еще не дошла очередь, княжна... До сихъ поръ мы съ Николаемъ Иванычемъ объ томъ только говорили, что міръ полонъ скуки, и что порядочному человѣку ничего другого не остается... Но угадайте, на чемъ мы рѣшили?

— Умереть?

— Гораздо проще: отправиться домой и лечь спать...

И онъ дѣйствительно всталъ, зѣвнулъ, посмотрѣлъ лѣниво по сторонамъ и побрелъ изъ залы.

— Странный человѣкъ! И, однакожъ, съ большими способностями!.. une bonne tête!—задумчиво сказала княжна, провожая его взоромъ.

Лузгинъ.

Господи! какъ время-то идетъ! Давно ли, кажется, давно ли! Давно ли въ трактирѣ кипѣли горячіе споры объ искусствѣ, о Мочаловѣ, о Гамлетѣ? Давно ли незабвенная С*** приводила въ неистовство молодыя сердца? Давно ли приводили мы въ трепетъ полицію?

Лузгинъ! мой милый, безцѣнный Лузгинъ! Какимъ-то я застану тебя? Все такъ же ли кипитъ въ тебѣ кровь, такъ же ли ты безразсчетно добръ и великодушенъ, попрежнему ли одолѣваетъ тебя твоя молодость, которую тщетно усиливался ты растратить и вкривь, и вкось: до того обильна, до того неистощима была животворная струя ея? Или уходили сивку крутыя горки? Или ты... но нѣтъ, не можетъ это быть!

Такъ, или почти такъ, думалъ я, подъѣзжая къ усадьбѣ друга моей молодости, Павла Петровича Лузгина. Прошло ужъ лѣтъ пятнадцать съ тѣхъ поръ, какъ мы не видались, и я совершенно нечаянно, находясь по службѣ въ Песчанолѣсьѣ, узналъ, что Лузгинъ живетъ верстахъ въ двадцати отъ города въ своей собственной усадьбѣ. Признаюсь откровенно, при этомъ извѣстіи что-то мягкое прошло по моей душѣ, какъ будто до такой степени пахнуло туда весной, что даже носъ мой совершенно явственно обонялъ этотъ милый весенній запахъ, который всегда дѣйствуетъ на меня весело. Весна и молодость—вотъ тѣ два блага, которыя Творецъ природы далъ въ утѣшеніе человѣку за всѣ огорченія, встрѣчающіяся на жизненномъ пути. Весною поютъ на деревьяхъ птички; молодостью—эти самыя птички поселяются на постоянное жительство въ сердцѣ человѣка и поютъ тамъ самыя радостныя свои пѣсни; весною солнышко посылаетъ на землю животворные лучи свои, какъ бы вытягивая изъ нѣдръ ея всю ея роскошь, всѣ ея сокровища; молодостью—это самое солнышко просвѣтляетъ все существо человѣка; оно, такъ сказать, поселяется въ

немъ и пробуждаетъ къ жизни и дѣятельности всѣ тѣ богатства, которыя скрыты глубоко въ незримыхъ тайникахъ души; весною ключи выбрасываютъ изъ нѣдръ земли лучшія, могучія струи свои; молодостью—ключи эти, не умолкая, кипятъ въ жилахъ, во всемъ организмѣ человѣка; они вѣчно зовутъ его, вѣчно порываютъ впередъ и впередъ.. Отлично, что весна каждый годъ возвращается, и съ каждымъ годомъ все какъ будто больше и больше хорошѣетъ; но худо, что молодость ужъ никогда не возвращается. Самый ли процессъ жизни васъ умаиваетъ, или обстоятельства поистрясутъ дорогой кости, только сердце вдругъ оказывается такое дрябленькое, такое робконькое, что какъ начнешь самому о себѣ откровенно докладывать, такъ и показывается на щекахъ, ни съ того, ни съ сего, дѣвическій румянецъ... Да хорошо еще, если румянецъ; худо, что иногда и его-то не оказывается въ наличности.

Когда я вошелъ въ залу, Лузгинъ и семейство его сидѣли уже за обѣдомъ, хотя былъ всего часъ пополудни.

— Щедринъ!

— Лузгинъ!

Мы бросились другъ другу въ объятія; но тутъ я еще больше убѣдился, что молодость моя прошла безвозвратно, потому что, несмотря на радость свиданія, я очень хорошо замѣтилъ, что губы Лузгина были покрыты чѣмъ-то жирнымъ, щеки по мѣстамъ лоснились, а въ жидкихъ бакенбардахъ запутались кусочки рубленой капусты. Нѣтъ сомнѣнія, что, будь я помоложе, это ни въ какомъ случаѣ не обратило бы моего вниманія.

— По угламъ, бѣсенята!—закричалъ онъ на дѣтей, которыя, повыскакавъ изъ-за стола, обступили насъ.—Жена! рекомендую! Щедринъ, другъ дѣтства и собутыльникъ!

Я взглянулъ на его жену; это была молодая и свѣжая женщина, лѣтъ двадцати пяти; повидимому, она принадлежала къ породѣ тѣхъ женщинъ, которыя никогда не старѣются, никогда не задумываются, смотрятъ на жизнь откровенно, не преувеличивая въ глазахъ своихъ ни благъ, ни золъ ея. Взглядъ ея былъ привѣтливъ, довѣрчивъ и яснъ; онъ исполнялся какой-то кроткой, почти материнской заботливости, когда обращался на Лузгина; голосъ былъ свѣжъ и звонокъ; въ немъ слышалась еще та полнота звука, которая лучше всего свидѣтельствуетъ о неиспорченной и неутомленной натурѣ. Она никогда не оставалась праздною и всякому движенію своему умѣла придать тотъ милый оттѣ-

нокъ заботливости, который женщинѣ, а особенно матери семейства, придаетъ какую-то особенную привлекательность. Вообще такія женщины составляютъ истинный кладъ для талантливыхъ натуръ, которыя въ семействѣ любятъ играть, по преимуществу, роль тутней.

— Очень рада,—сказала она, протягивая мнѣ маленькую ручку.—Полинькѣ очень пріятно будетъ провести время съ старымъ товарищемъ!

— Полинькѣ! Сколько разъ просилъ я тебя, Анна Ивановна, не называть меня Полинькой!—замѣтилъ онъ полушутя, полудосадуя, и, обратясь ко мнѣ, прибавилъ:—Вотъ, братъ, мы какъ! въ Полиньки попали!

Тутъ я въ первый разъ взглянулъ на него попристальнѣе. Онъ былъ въ широкомъ халатѣ, почти безъ всякой одежды; распахнувшаяся на груди рубашка обнаруживала цѣлый лѣсъ волосъ и обнаженное тѣло красновато-мѣднаго цвѣта; голова была не прибрана, глаза сонные. Очевидно, что онъ вошелъ въ разрядъ тѣхъ господъ, которые, кромѣ бани, иного туалета не подозрѣваютъ. Онъ, кажется, замѣтилъ мой взглядъ, потому что слегка покраснѣлъ и какъ будто инстинктивно запахнулъ и халатъ, и рубашку.

— А мы здѣсь по-деревенски,—сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ:—солнышко полдничаетъ—и мы за обѣдъ, солнышко на боковую—и мы хр-хр...—прибавилъ онъ, ласково поглядывая на старшаго сынишку.

Дѣти разомъ прыснули.

— Эй, живо! подавать съ начала!—продолжалъ онъ.— Признаюсь, я вдвойнѣ радъ твоему пріѣзду: во-первыхъ, мы поболтаемъ, вспомнимъ наше милое времечко, а во-вторыхъ, я вторично пообѣдаю... да, бишь! и еще въ-третьихъ—главное-то и позабылъ!—мы отлично выпьемъ! Эхъ, жалко, нѣтъ у насъ шампанскаго!

— Ахъ, Полинька, тебѣ это вредно!—сказала жена.

— Ну, на нынѣшній день, Анна Ивановна, супружескіе совѣты отложимъ въ сторону. Вредно ли, не вредно ли, а я, значитъ, былъ бы свинья, если-бъ не напился ради пріятеля! Полюбуйся, братъ,—продолжалъ онъ, указывая на столъ:—пусто! Пьемъ, сударь, воду! Въ общество воздержанія поступилъ! Эй вы, олухи, вина! Да сказать ключницѣ, чтобъ не лукавила, подала бы все, что есть отмѣннѣйшаго.

— Скажи, Николай, Машѣ,—прибавила отъ себя Анна Ивановна: — чтобъ она то вино подала, которое для Мишенькиныхъ крестинъ куплено.

— Мишенька —это пятый,—сказалъ Лузгинъ:—здѣсь четверо, а то еще пятый... сосуночекъ, знаешь...

Дѣти снова прыснули.

— Вы чего смѣетесь, бѣсенята? Женись, братъ, женись! Если хочешь кататься какъ сыръ въ маслѣ, и если сознаешь въ себѣ способность быть сыромъ, такъ это именно масло—супружеская жизнь! Видишь, какихъ бѣсенятъ выкормили, да на этомъ еще не остановимся!..

Онъ взялъ старшаго сынишку за голову и посмотрѣлъ на него съ особенною нѣжностью. Анна Ивановна улыбалась.

— А папка вчера домой пьяный пришелъ!—поспѣшилъ сообщить мнѣ второй сынъ, мальчикъ лѣтъ пяти.

— Да, пьянъ былъ папка вчера! отвѣчалъ Лузгинъ.— Свинья вчера папка былъ! Отъ этихъ бѣсенятъ ничего не скроешь! У сосѣда вчера на именинахъ былъ: ну, дома-то ничего не даютъ, такъ поневолѣ съ двухъ рюмокъ свалился!

— Ай, папка, самъ сказалъ мамкѣ, что двѣ бутылки выпилъ!—вступилась дѣвочка лѣтъ трехъ, сидѣвшая подлѣ Анны Ивановны.—Папка всегда домой пьянъ пріѣзжаетъ! прибавила она, вздыхая.

— Женись, братъ, женись! Вотъ этакая ходячая совѣсть всегда налицо будетъ! Сдѣлаешь свинство—даромъ не пройдетъ! Только результаты все еще какъ-то плохи! —прибавилъ онъ, улыбаясь нѣсколько сомнительно:—не дѣйствуютъ! Ужъ очень, что ли, мы умны сдѣлались, да выросли, только совѣсть-то какъ-то скользитъ по насъ: «свинство!» скажешь себѣ, да и пошелъ опять щеголять попрежнему.

— А главное, что это для тебя, Полинька, нездорово,— сказала Анна Ивановна.

— Ну, а ты какъ?

— Да что, служу...

— Слышалъ, братецъ, слышалъ! Только не зналъ навѣрное, ты ли: вѣдь васъ, Щедриныхъ, какъ собакъ на сѣномъ свѣтѣ развелось... Ну, теперь, по крайней мѣрѣ, у меня протекція есть, становой въ покоѣ оставитъ, а то такой сталъ озорникъ, что просто не приведи Богъ... Намеднись градъ у насъ выпалъ, такъ онъ, братецъ ты мой, слѣдствіе пріѣхалъ объ этомъ дѣлать; да еще кабы самъ пріѣхалъ, все бы не такъ обидно, а то писаришку своего прислалъ... Нельзя ли, дружище, такъ какъ-нибудь устроить, чтобы ему сюда въѣзду не было?

Принесли ботвинью; Лузгинъ попросилъ себѣ цѣлую тарелку и началъ сызнова свой обѣдъ.

— Ты, братъ, ѣшь, — сказалъ онъ мнѣ: — въ деревнѣ какъ поживешь, такъ желудокъ такою дѣятельною бестіей дѣлается, просто даже одолѣваетъ... Встанешь этакъ раннимъ утромъ, по хозяйству сходишь...

— Ахъ, какой папка лгунъ сталъ!—замѣтила дѣвочка.

— Вотъ, дружище, даже поврать не дадутъ — вотъ что значитъ совѣсть-то налицо! У меня, душа моя, просто; я живу патріархомъ; у меня всякій можетъ говорить все, что на языкъ взбредетъ... Анна Ивановна! Потчуй же гостя, сударыня! Да ты къ намъ погостить, что ли?

— Нѣтъ, я на слѣдствіе въ Песчанолѣсье, долженъ сегодня же быть тамъ...

— Ну, стало-быть, ночевать у насъ все-таки можешь. Я, братъ, вѣдь знаю эти слѣдствія: это именно та самая вещь, о которой сложилась русская пословица: *дѣло не волкъ, въ лѣсъ не убѣжитъ*... Да, другъ, вотъ ты въ чины полѣзъ; со временемъ, можетъ, исправникомъ у насъ будешь...

Совершенно противъ моего желанія, при этихъ словахъ Лузгина на губахъ моихъ сложилась предательская улыбка.

— А что, видно, намъ съ тобой этого ужъ мало?—сказалъ онъ, замѣтивъ мою улыбку.—Полѣзай, полѣзай и выше; это похвально... Я назвалъ мѣсто исправника по неопытности своей, потому что въ моихъ глазахъ нѣтъ ужъ этого человѣка выше... Я, братъ, деревенщина, отношеній вашихъ не знаю, я Цинциннатъ...

— А какъ мы давно не видались, однакожъ? — прервалъ я.

— Да, пятнадцать лѣтъ! Это въ жизни человѣческой тоже что-нибудь да значитъ!

— Вы, вѣрно, не ожидали встрѣтить Полиньку такимъ?— спросила Анна Ивановна.

— Да, было, было наше время... Бывали и мы молоды, и мы горами двигали!.. Чай, помнишь?

— Какъ не помнить! Хорошее было время!

— А, впрочемъ, и теперь жару еще пропасть осталось, только некуда его дѣвать... сфера-то у насъ узка, разгуляться негдѣ...

Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!

Вотъ, братъ, намъ чего бы нужно!

— Вотъ Полинька все жалуется, что для него простора нѣтъ, а я ему указываю на семейство, прервала Анна Ивановна.

— Семейство, Анна Ивановна, это святыня; семейство— это такая вещь, до которой моими нечистыми руками даже и прикасаться не слѣдуетъ... Я не о семействѣ говорю, Анна Ивановна, а о жизни...

— Да ты это такъ только, Полинька, говоришь, чтобъ свалить съ себя, а по-моему и семейная жизнь—чѣмъ же не жизнь?

— Размѣры не тѣ, сударыня! Размѣры насъ душатъ,— продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ.—Природа у насъ широкая, желалъ бы захватить и вдоль, и поперекъ, а размѣры маленькіе... Ты, Анна Ивановна, этого понимать не можешь!

— Признаюсь, и я что-то мало понимаю это.

— Да ты, братецъ, чиновникъ, ты, стало-быть, удовлетворился—это опять другой вопросъ; ты себя сузилъ, брюхо свое подкупилъ, сердце свое посолилъ, прокоптилъ и размѣнялъ на кредитные билеты...

— Однако, ты не щадишь-таки выраженій!

— Другое дѣло вотъ мы грѣшные, — продолжаетъ онъ, не слушая меня: — въ насъ осталась натура первобытная, неиспорченная, въ насъ кипитъ, сударь, этотъ непочатой ключъ жизни, въ насъ новое слово зрѣетъ... Такъ какимъ же ты образомъ этакую-то натуру хочешь втянуть въ свои мизерныя, зачерствѣвшія формы? Вѣдь это, братъ, значитъ желать протащить канатъ въ игольное ушко! Ну, само собою разумѣется, или ушко прорветъ, или канатъ не влѣзетъ!

— Однакожъ, надобно же имѣть какой-нибудь выходъ изъ этого!

— Ищите — вы! Наше дѣло сторона; мы люди непричастные, мы сидимъ да глядимъ только, какъ вы стараетесь и какъ у васъ ничего изъ этого не выходитъ!

— И я вотъ часто говорю Полинькѣ, чтобъ онъ чѣмъ-нибудь занялся... Предводитель нашъ очень насъ любитъ... сколько разъ въ службу приглашалъ!

— Нѣтъ, Анна Ивановна, это не по нашей части; ты мнѣ объ этомъ не говори...

— Однако, могутъ же быть и другія занятія!

— А какія это, позвольте спросить? Въ торговлю броситься — на то есть почтенное купеческое сословіе; земледѣльцемъ быть — на это существуютъ мирные поселяне... Литература! наука! А позволь, братъ, узнать, многому ли мы съ тобой выучились? Да предположимъ, что и выучился я чему-нибудь, такъ вѣдь тутъ мало еще одного знанія,

надобенъ и талантъ... А если у меня его нѣтъ, такъ не подлецъ же я въ самомъ дѣлѣ, чтобы для меня изъ-за этого ужъ и мѣста на свѣтѣ не было!.. Нѣтъ, любезный другъ, тутъ какъ ни кинь, все клинъ! Тутъ, братъ, червякъ такой есть—вотъ что!

— А что, каковъ у васъ предводитель? — спросилъ я, чтобъ перемѣнить разговоръ.

— Да что, любезный другъ, человѣкъ онъ хорошій: свѣчъ сальныхъ не ѣстъ, ѣздитъ часто въ Крутогорскъ, тамъ съ кѣмъ слѣдуетъ нюхается... Хорошій человѣкъ! Только вотъ тутъ (онъ указалъ на лобъ)—не взыщите!

— Ну, полно же, Полинька! Алексѣй Петровичъ такъ любезенъ къ тебѣ, а ты еще его вѣчно бранишь!

— Еще бы онъ не былъ любезенъ! Онъ знаетъ, что у меня горло есть... А удивительное это, право, дѣло!—обратился онъ ко мнѣ.—Посмотришь на него—ну, человѣкъ да и все тутъ! И говорить начнетъ—тоже цѣлые потоки изливаетъ: и складно, и грамматическихъ ошибокъ нѣтъ! Только, братъ, безцвѣтность какая, прѣсность, благонамѣренность!.. Ну, не могу я! Такъ, знаешь, и подымаются руки, чтобъ съ лица земли его стереть... А женщинамъ нравиться можетъ!.. Да я, впрочемъ, всегда спать ухожу, когда онъ къ намъ пріѣзжаетъ.

— Вотъ видишь, какъ онъ добръ! Онъ вѣдь знаетъ, что ты его не любишь и не хочешь даже занять его, а между тѣмъ все-таки навѣщаетъ насъ!

— А знаешь ли, почему онъ пріѣзжаетъ къ намъ, почему онъ извиняетъ мнѣ мое пренебреженіе?—сказалъ Лувгинъ, обращаясь ко мнѣ.—Вѣдь онъ меня за низшій организмъ считаетъ!.. Такъ, дескать, мужикъ какой-то! Онъ, изволишь ты видѣть, человѣкъ просвѣщенный, съ высшими взглядами, а я такъ себѣ, невѣжда, не могу даже понять, что предводители изъ пшеничной муки пекутся! И надобно видѣть, какъ онъ принимается иногда поучать меня — ну, точь къ-точь онъ патріархъ, а я малый ребенокъ, который, кромѣ «папы» да «мамы», говорить ничего не умѣетъ... Такъ, знаешь, благосклонно, не сердясь.

— И ты выслушиваешь?

— Нѣтъ, братецъ, надоѣло. Прежде еще забавлялся, даже самъ его на нравоученья натравливалъ, а нынче нѣтъ—очень ужъ онъ глупъ! Опротивѣлъ.

Обѣдъ приходилъ къ концу; мы выпили-таки достаточно,

и надо сказать правду, что вино было не дурное. Начали подавать пирожное.

— Ну, это не по нашей части! — сказалъ Лузгинъ. — Пойдемъ ко мнѣ въ кабинетъ, а ты, Анна Ивановна, на сегодняшній день ужъ оставь насъ. Легко можетъ статься, что мы что-нибудь и такое скажемъ, что для твоихъ ушей неудобно... хотя, по-моему, неудобныхъ вещей въ природѣ и не существуетъ,—обратился онъ ко мнѣ.

Мы пришли въ кабинетъ. Впрочемъ, я и до сихъ поръ не могу себѣ объяснить, почему пріятель мой, говоря объ этой комнатѣ, называлъ ее кабинетомъ. Тутъ не было ни одной изъ обыкновенныхъ принадлежностей кабинета: ни письменнаго стола, ни библіотеки, ни чернильницы. По стѣнамъ стояли диваны, называемые турецкими, которые, по всей вѣроятности, болѣе служили для спанья, нежели для бесѣды, такъ что и комнату приличнѣе было назвать опочивальнею, а не кабинетомъ. Въ одномъ углу торчала этажерка съ множествомъ трубокъ, а въ другомъ—шканъ, но и въ немъ хранились не книги, а разбитыя бутылки, подсвѣчники, сапожная щетка, Богъ вѣсть откуда зашедшая, синяя помадная банка и вообще всякій хламъ.

— Здѣсь мое царство! —сказалъ Лузгинъ, усаживая меня на диванъ.

— Эй, Ларивонъ: скажи барынѣ, чтобъ прислала намъ бутылочки три шипучки... Извини, братъ, шампанскаго нѣтъ. Такъ-то, другъ!—продолжалъ онъ, садясь подлѣ меня и трепля меня по колѣнкѣ.—Вотъ я и женатъ... А кто бы это подумалъ? Кто бы могъ предвидѣть, что Павлушка Лузгинъ женится и остепенится!.. А порядочные-таки мы были съ тобой ёрники въ свое время!

— Однакожъ, разскажи, пожалуйста, какъ ты женился?

— А какъ, братецъ, очень простымъ манеромъ. Вышелъ я тогда, какъ у насъ говорятъ, изъ ученья, поѣхалъ, разумѣется, къ родителямъ, къ папенькѣ, къ маменькѣ... Отецъ сталъ на службу нудить, мать говоритъ: около меня посиди, ну, и сосѣди тоже лихіе нашлись—вотъ я и остался въ деревнѣ. Тутъ же отецъ померъ... а, впрочемъ, славное, братъ, житье въ деревнѣ! Я хоть и смотрю байбакомъ и къ лѣности съ юныхъ лѣтъ сердечное влеченье чувствую, однако, вѣдь на все это законныя причины есть... Пріѣдешь иной разъ въ городъ—ну, такая, братецъ, тамъ мерзость и вонь, что даже душу тебѣ воротитъ! Кляузы, да сплетни, да франтовство какое-то тупоумное!.. А воротишься въ деревню—

какая вдругъ Божья благодать всю внутренность твою просвѣтлитъ! Выйдешь этакъ на лужайку, или вотъ хоть въ лѣсокъ зайдешь — такъ это хорошо, и свѣтло, и покойно, что даже и идти-то никуда не хочется! Сядешь подъ дерево, наверху тебѣ птичка пѣсенку споетъ, по травѣ мурашка ползетъ, и станешь наблюдать за мурашкой...

— Однако, все это не объясняетъ мнѣ, какимъ образомъ ты женился?

— А женился я, братецъ, вотъ какимъ образомъ,—сказалъ Лузгинъ скороговоркой:—жила у сосѣдей гувернантка, дѣвочка лѣтъ семнадцати; ну, житье ея было горькое: хозяйка капризная, хозяинъ сладострастнѣйшій, дѣти тупоголовыя... Эта гувернантка и есть жена моя... Понимаешь?

«Бракъ по состраданію!» — подумалъ я и продолжалъ громко:

— Неужели же ты съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались, жилъ все въ деревнѣ?

— Какое, братецъ, ѣздилъ и въ Петербургъ, только все это какъ-то не по мнѣ! У меня натура цѣльная, грубая,—ну, а тамъ все выморозки...—Ты давно оттуда?

— Да лѣтъ съ восемь.

— И не ѣзди туда никогда. Тамъ и людей-то нѣтъ, а такъ, знаешь, что-то холодное, ослизлое—возьмешь въ руку и бросишь: такая это дрянь! Ходятъ, братецъ, слоняются цѣлый день, точно время-то у нихъ на золотники продается, а посмотришь, въ результатѣ оказывается, что въ такомъ-то мѣстѣ часа три прождалъ, чтобъ имѣть счастіе поганымъ образомъ искривить ротъ въ улыбку при видѣ нужнаго лица, въ другомъ мѣстѣ два часа простоялъ, но и этого счастья не дождался. А провинціальное простодушіе смотритъ на эту толкотню, да только ротъ разѣваетъ: вотъ, молъ, дѣловой-то городъ! Какъ же!

Произнося эту филиппику, Лузгинъ столь искренно негодовалъ на Петербургъ, что и мнѣ самому вдругъ начало казаться, что въ рукахъ у меня какая-то слизь и передъ глазами деревянные люди на пружинахъ ходятъ.

— Помнишь ты Пронина? Вѣдь ужъ на что, кажется, славный парень былъ! Ну, такъ слушай же. Пріѣзжаю я въ Петербургъ; туда-сюда, справляться, отыскивать старыхъ знакомыхъ — между прочимъ, отыскался и Пронинъ. Прихожу къ нему—онъ женатъ, однако, перемѣнился мало и принялъ меня съ распростертыми объятіями. Я, разумѣется, очень радъ, ну, и говорю: хоть одинъ человѣкъ!

Однако, какъ бы ты думалъ? Говорилъ онъ, говорилъ со мною, да вдругъ, такъ, знаешь, въ скобкахъ, и далъ мнѣ почувствовать, что ему такой-то дѣйствительный статскій совѣтникъ Стрекоза внучатнымъ братомъ приходится, а княгиня, дескать, Оболдуй-Тараканова — другъ дѣтства съ его женою, а вчера, дескать, у нихъ раутъ былъ, баронесса Оксендорфъ пріѣзжала... И все, знаешь, этакъ въ скобкахъ: ты, дескать, не думай, любезный другъ, что это для меня составляетъ важность, а такъ, надо же связи поддерживать! Такъ вотъ какими тамъ прихвостнями самые порядочные люди дѣлаются! Ну, съ тѣхъ поръ я и не ѣздилъ...

Принесли шипучку.

— Барыня приказала сказать,—обратился флегматически Ларивонъ къ Лузгину:—что вамъ, сударь, пить не приказано.

— Ну, поди скажи барынѣ, что я потому-то именно и буду пить, что не приказано... Вотъ, братецъ, возится со мной, точно съ малымъ ребенкомъ...

— Да если въ самомъ дѣлѣ тебѣ вредно?

— Предразсудокъ, любезный другъ! Загляни въ русскую исторію, и увидишь, что не только бояре, но и боярыни наше вино кушали, и отъ этого только въ тѣлѣ раздавались, а никакого иного ущерба для здоровья своего не ощущали... Выпьемъ!

Мы выпили.

— Помянемъ, братъ, свою молодость! Помянемъ тѣхъ, кто въ наши молодыя души сѣмя добра заронилъ!.. Вѣдь ты не измѣнилъ себѣ, дружище, ты не продалъ себя, какъ Пронинъ, баронессѣ Оксендорфъ и дѣйствительному статскому совѣтнику Стрекозѣ, ты остался все тотъ же сорви-голова, которому море по колѣно?

Мнѣ показалось, что послѣднія слова онъ произнесъ съ легкимъ оттѣнкомъ иронiи, и я внезапно ощутилъ какую-то неловкость во всемъ существѣ, какъ будто бы вдругъ сдѣлался виноватъ передъ нимъ.

— А впрочемъ, какъ бы то ни было, а это достовѣрно, что Лузгинъ Павлушка остался тѣмъ же, чѣмъ былъ всегда,—продолжалъ онъ:—то-есть душевно... Ну, конечно, въ другихъ отношеніяхъ маленько, быть-можетъ, и поотстали—что дѣлать! Всякому своя линія на свѣтѣ вышла...

— Да, хорошо было прежде,—сказалъ я, оправляясь отъ своего смущенія.

— Ужъ такъ-то, братъ, хорошо, что даже вспомнить грустно! Кипѣло тогда все это, земля, бывало, подъ ногами

горѣла! Помнишь ли, напримѣръ, Катю—вѣдь что за прелесть была! А! Какъ цыганскія-то пѣсни пѣла! Или вотъ эту: *Помнишь ли, мой любезный другъ?* Вѣдь душу выплакать можно! Ужъ на что селедка—статскій совѣтникъ Кобыльниковъ изъ Петербурга пріѣзжалъ, а и тотъ двадцатипятирублевую кинулъ—камни говорятъ!

— Да, Катя дѣйствительно отличная была дѣвушка.

— Или помнишь ли Мочалова въ «Гамлетѣ»? *Умереть—уснуть... Башмаковъ еще не износила...* и этотъ хохотъ, захватывающій дыханье въ груди зрителя... Вотъ это жизнь, это сфера безграничная, какъ самое искусство, разнообразная, какъ природа!.. А что мы теперь? Выпьемъ!..

Онъ впалъ въ раздумье, уперся руками въ колѣни и минуты двѣ оставался молчаливымъ.

— Чего-жъ теперь-то тебѣ недостаетъ?—спросилъ я.—Ты, кажется, счастливъ, у тебя семейство...

— Да, братъ, я счастливъ,—прервалъ онъ, вставая съ дивана и начиная ходить по комнатѣ.—Ты правъ: я счастливъ, я любимъ, жена у меня добрая, хорошенькая... однимъ словомъ, не всякому даетъ судьба то, что она дала мнѣ! А и за всѣмъ тѣмъ, все-таки... я свинья, братъ, я гнусенъ съ верхняго волоска головы до ногтей ногъ... я это знаю! Чего мнѣ еще надобно? Насущный хлѣбъ у меня есть, водка есть, спать могу вволю... Опустился я, братъ, куда какъ опустился!

— Отъ тебя зависитъ и опять подняться...

— Нѣтъ, не говори этого! Пробовалъ я—и не идетъ. Кто привыкъ каждый день пшеничные пироги ѣсть, тому ржаной хлѣбъ только оскомину набьетъ; кто привыкъ на пуховикахъ отдыхать, тотъ на голомъ полу всю ночь проворочается, а не уснетъ! Я привыкъ ужъ къ праздности; я въѣлся въ нее до такой степени, что даже и думать ни о чемъ не хочется! Точно, знаешь, всѣ мыслящія способности пеленою какою-то подернуты: не могу, да и все тутъ! И если я съ тобой теперь разговорился, такъ это именно частный случай! А впрочемъ, что объ этомъ толковать: видно, есть какой-нибудь норовъ въ насъ, что *всѣ люди какъ люди, одинъ чортъ въ колпакѣ*... Молодость-то мы свою погано провели! Не столько лекціями, сколько безобразничествомъ да ухарствомъ занимались—вѣдь помянуть, братъ, ее нечѣмъ, молодость-то! Satis! выпьемъ!

Мы выпили.

— Нѣтъ,—началъ онъ снова:—тутъ что-нибудь да есть

такое, какая-нибудь да вкралась тутъ опечатка, что нѣтъ вотъ да и нѣтъ тебѣ мѣста на свѣтѣ! Я, кажется, человѣкъ и честный, и не то чтобы совсѣмъ глупый — напротивъ, добрые люди еще «головой» зовутъ, — а ни за что-таки приняться не могу. Начнешь этакъ иногда самъ съ собой разговаривать, такъ даже во рту скверно дѣлается: какъ ни повернешь дѣломъ, а все выходитъ, что только чужой вѣкъ заѣдаешь. И добро бы жару, горячности, любви не было — есть, братецъ, есть все это! Да такъ, вѣрно, и суждено этому огню перегорѣть въ груди, не высказавшись ни въ чемъ... Нѣтъ, ты скажи: кто виноватъ-то, кто виноватъ-то въ этомъ?

— Я полагаю, что это отъ того происходитъ, что ты представляешь себѣ жизнь слишкомъ въ розовомъ цвѣтѣ, что ты ждешь отъ нея непремѣнно чего-то хорошаго, а между тѣмъ въ жизни требуется трудъ, и она даетъ не то, чего отъ нея требуютъ капризныя дѣти, а только то, что беруть у нея съ бою люди мужественные и упорные.

— Это отчасти правда; но вѣдь вопросъ въ томъ, для чего же природа не сдѣлала меня Зенономъ, а наградила наклонностями сибарита? Для чего она не закалила мое сердце для борьбы съ терніями суровой дѣйствительности, а, напротивъ того, размягчила его и сдѣлала способнымъ откликаться только на доброе и прекрасное? Для чего, однимъ словомъ, она сдѣлала меня артистомъ, а не труженикомъ?.. Природа-то вѣдь дура, выходитъ!

Я вспомнилъ то, что слово «артистъ» было всегдашнимъ конькомъ Лузгина, по мнѣнію котораго «артистическая натура» составляла нѣчто не только всеобъемлющее, но и все извиняющее. Артистической натурѣ, на основаніи этого своеобразнаго кодекса, дозволяется сидѣть сложивши руки и заниматься разговоромъ сколько душѣ угодно, дозволяется рѣшать безапелляціонно вопросы первой важности и даже прорицать будущность любого народа. Артистической натурѣ отпускаются напередъ всѣ грѣхи, всѣ заблужденія, ибо уму простыхъ смертныхъ могутъ ли быть доступны тѣ тонкія, почти эѳирныя побужденія, которыми руководствуются натуры геніальныя, исключительныя, и можетъ ли быть, слѣдовательно, примѣненъ къ нимъ принципъ вмѣненія? Артистическая натура въ правѣ быть невѣжественною; à la rigueur, она можетъ даже презирать самый процессъ мышленія, потому что ея назначеніе не мыслить, а прорицать, что несравненно выше и глубже. Итакъ, слова

Лузгина не только не были для меня новостью, но даже напомнили мнѣ цѣлый рядъ шумныхъ и нескончаемыхъ споровъ, которыми украшалась моя молодость; но, несмотря на это, какъ-то странно подѣйствовало на меня это воспоминаніе. Привычка ли обращаться преимущественно съ явленіями міра дѣйствительнаго, сердечная ли сухость, слѣдствіе той же практичности, которая приковываетъ человѣка къ факту и заставляетъ считать бреднями все то, что ускользаетъ отъ простого, чувственнаго осязанія, какъ бы то ни было, но во всякомъ случаѣ мнѣ показалось, что я внезапно очутился въ какой-то совершенно иной атмосферѣ, въ которой не имѣлъ ни малѣйшаго желанія оставаться долѣе. Лузгинъ, вѣроятно, замѣтилъ это, потому что поспѣшилъ перемѣнить разговоръ.

— Ну, а ты какъ?—сказалъ онъ.

— Да вотъ служу, какъ видишь.

— Служи, братъ, служи. Дослужишься до высокихъ чиновъ—не забудь и насъ грѣшныхъ.

— А развѣ ты тоже желалъ бы служить?

— Нѣтъ, братъ, куда намъ! А все, знаешь, какъ-то лучше, какъ есть протекція, какъ-то легче на свѣтѣ дышится.

Въ эту самую минуту послышался шумъ подъѣзжающаго къ дому экипажа.

— Василій Иванычъ пріѣхали!—доложилъ Ларивонъ, и вслѣдъ затѣмъ ввалилась въ кабинетъ толстая и неуклюжая фигура какого-то господина, облеченнаго въ сѣрое пальто.

— Вотъ кстати!—сказалъ Лузгинъ, бросившись навстрѣчу новопришедшему.

— Честной компаніи мира и благоденствія желаемъ, — отвѣчалъ Василій Иванычъ, утирая потъ, катившійся по лицу.—Миръ вамъ и мы къ вамъ!

— Рекомендую! мой задушевный другъ, Василій Иванычъ Кречетовъ,—сказалъ Лузгинъ, обращаясь ко мнѣ, и затѣмъ представилъ Кречетову и меня.

— Много наслышанъ-съ,—замѣтилъ Кречетовъ.

— Ну, что, какъ дѣла? Что въ Крутогорскѣ дѣлается?

— А какъ бы вамъ доложить, благодѣтель? Денегъ поистрясъ довольно, а толку не добился.

— Что-жъ говорятъ-то?

— Да, просто, никакого толку нѣтъ-съ. Даже и не говорятъ ничего... Пошелъ я этта сначала къ столоначальнику,

говорю ему, что вотъ такъ и такъ... Ну, онъ, было, и выслушалъ меня, да какъ кончилъ я: «Что-жъ, говоритъ, дальше-то?» Я говорю:—Дальше, говорю, ничего нѣтъ, потому что я все разсказалъ. — «А! говоритъ, если ничего больше нѣтъ... хорошо», говоритъ. И ушелъ съ этимъ, да съ тѣхъ поръ я ужъ и изымать его никакъ не могъ.

— Ахъ ты, простыня безъ кружева! Да развѣ денегъ у тебя съ собой не было?

— Помилуйте, Павелъ Петровичъ, какъ не было-съ. Извѣстно, въ губернскій городъ безъ денегъ нельзя-съ. Только очень ужъ они мудрено говорятъ, что и не поймешь, чего имъ желательно.

— Помоги, братъ, ты ему!—обратился ко мнѣ Лузгинъ.

— А въ чемъ дѣло?

— Содержалъ я здѣсь на рѣчкѣ, на Песчанкѣ, казенную мельницу-съ, содержалъ ее двѣнадцать лѣтъ... Только стараніями своими привелъ ее, можно сказать, въ отличнѣйшее положеніе, и капиталъ тутъ свой положилъ-съ...

— Ну, капиталу-то ты немного положилъ, — замѣтилъ Лузгинъ.

— Нѣтъ-съ, Павелъ Петровичъ, положилъ-съ, это именно какъ передъ Богомъ, положилъ-съ, — это вѣрно-съ. Только вотъ приходитъ теперь двѣнадцатый годъ къ концу... мнѣ бы, то-есть, пользу бы начать получать, анъ тутъ торги новые назначаютъ-съ. Такъ мнѣ бы, ваше высокоблагородіе, желательно, чтобъ безъ торговъ ее какъ-нибудь...

— То-есть вамъ желательно бы было, чтобы въ вашу пользу смошенничали?

— Э, братъ, какъ ты рѣзко выражаешься!—сказалъ Лузгинъ съ видимымъ неудовольствіемъ. — Кто же тутъ говоритъ о мошенничествахъ! А тебя просятъ, нельзя ли *направить* дѣло.

— Да я-то что-жъ могу тутъ сдѣлать?

— А ты возьми въ толкъ,—человѣкъ-то онъ какой! Золото, а не человѣкъ! Для такого человѣка душу прозакладывать можно, а не то что мельницу безъ торговъ отдать!

— Да я-то все таки тутъ ничего не могу.

— Э, любезный, дрянь ты послѣ этого!

Онъ отвернулся отъ меня и обратился къ Кречетову.

— Брось, братецъ, ты всѣ эти мельницы и переѣзжай ко мнѣ! Тебѣ чего нужно? чтобъ былъ для тебя обѣдъ, да была бы подушка, чтобъ подъ голову положить? Ну, это все у меня найдется... Эй, Ларивонъ, водки!

Прошло нѣсколько минутъ томительнаго молчанія; всѣмъ намъ было какъ-то неловко.

— А какія, Павелъ Петровичъ, нынче ржи уродились! — сказалъ Кречетовъ:—даже на удивленье-съ...

— Гм!—отвѣчалъ Лузгинъ и нѣсколько разъ прошелся по комнатѣ, а потомъ машинально остановился передъ Кречетовымъ и посмотрѣлъ ему въ глаза.

— Такъ ты говоришь, что ржи хорошія? — произнесъ онъ.

— Отмѣннѣйшія-съ. Повѣрите ли, даже человѣка не видать—такая солома...

— Можетъ-быть, колосомъ не выйдутъ?—спросилъ Лузгинъ.

— Нѣтъ-съ, и колосъ хорошъ, и зерно богатое-съ.

Принесли водки; Лузгинъ началъ какъ-то мрачно осушать рюмку за рюмкой; даже Кречетовъ, который долженъ былъ привыкнуть къ подобнаго рода сценамъ, смотрѣлъ на него съ тайнымъ страхомъ.

— А ты не будешь пить?—спросилъ меня Лузгинъ.

— Нѣтъ, я не пью.

— Разумѣется, разумѣется—куда-жъ тебѣ пить! Пьютъ только свиньи, какъ мы... Выпьемъ, братъ, Василій Иванычъ!

Мнѣ приходилось изъ рукъ вонъ неловко. Съ одной стороны, я чувствовалъ себя совершенно лишнимъ; съ другой стороны, мнѣ какъ-то непріятно было такъ разительно обмануться въ моихъ ожиданіяхъ.

— Мнѣ надо бы въ городъ,—сказалъ я.

Лузгинъ пристально посмотрѣлъ на меня.

— Ты, можетъ-быть, думаешь, что я въ пьяномъ видѣ буйствовать начну?—сказалъ онъ.—А впрочемъ... Эй, Ларивонъ, лошадей *господину* Щедрину!

Черезъ полчаса мы разстались. Онъ сначала холодно пожалъ мнѣ руку на прощанье, но потомъ не выдержалъ и обнялъ меня очень крѣпко.

Я поѣхалъ по пыльной и узкой дорогѣ въ городъ: ржи оказались, въ самомъ дѣлѣ, удивительныя.

Владиміръ Константинычъ Буеракинъ.

— Дома?—спросилъ я, вылѣзая изъ кибитки у подъѣзда сѣренькаго деревяннаго домика, въ которомъ обиталъ мой добрый пріятель, Владиміръ Константинычъ Буеракинъ,

владѣлецъ села Заовражья, живописно раскинувшагося въ полуверстѣ отъ господской усадьбы.

— Дома, дома!—отвѣчалъ Буеракинъ, собственною особой показываясь въ окошкѣ.

Но прежде нежели я введу читателя въ кабинетъ моего знакомаго, считаю долгомъ сказать нѣсколько словъ о личности Владиміра Константиныча.

Буеракинъ былъ сынъ богатыхъ и благородныхъ родителей. Отецъ его былъ усерднымъ помѣщикомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ ни наружностью, ни цивилизаціей нисколько не напоминалъ того лѣниваго и нѣсколько заспаннаго типа помѣщика, который, неизвѣстно почему, всего чаще является нашему воображенію. Нѣтъ, старикъ считалъ себя однимъ изъ передовыхъ людей своего времени, не прочь былъ повольнодумствовать въ часы досуга и вообще былъ скептикъ и вольтерьянецъ. Замѣтно было, однакожъ, что всѣ эти аналитическія стремленія составляли въ жизни старика не серьезное убѣжденіе, а родъ забавы или отдохновенія, или, лучше сказать, игру casse-tête, не имѣвшую ничего общаго съ его жизнью и никогда не прилагавшуюся на практикѣ. Тѣмъ менѣе могли быть они не только прилагаемы, но даже высказываемы при Володѣ. Въ отношеніи къ сыну старикъ Буеракинъ являлся въ шкурѣ стараго грѣшника, внезапно понявшаго, что грѣшить и не время, и не къ лицу. Поэтому, если когда-нибудь и прорывалось у него при Володѣ что-нибудь сомнительное, то онъ немедленно спѣшилъ поправить свой промахъ. Вообще Володя былъ воспитываемъ въ правилахъ субординаціи и довѣрія къ папашиному авторитету, а о старыхъ грѣхахъ почтеннаго родителя не было и помину, потому что на старости лѣтъ онъ и самъ началъ сознавать, что вольтерьянизмъ и вольнодумство—не что иное, какъ дворянская забава.

Несмотря на это, съ Володей приключилось странное происшествіе. Слушая лекціи въ школѣ, вдали отъ надзора родительскаго, онъ хотя твердо помнилъ совѣты и наставленія, которыми нашпиговали его юную голову, однако, къ величайшему своему изумленію и вполнѣ непримѣтнымъ для себя образомъ, пошелъ по иному пути. Не то чтобъ въ головѣ его выработались какіе-нибудь положительные результаты, а просто ему понравилась атмосфера, царствовавшая въ аудиторіи, нравились слова, произносимыя въ нецеремонныхъ товарищескихъ бесѣдахъ, и мало ли что еще! Возвращаясь домой поздно вечеромъ, онъ принимался

сводить въ одно цѣлое все говоренное и слышанное въ теченіе дня, и хотя не успѣвалъ въ этомъ, но чувствовалъ себя какъ-то отлично хорошо и легко. Въ чемъ именно заключалось это хорошее и легкое—онъ опредѣлить не могъ, а просто хорошо да и все тутъ.

Всякому изъ насъ памятны, вѣроятно, эти дни ученія, въ которые мы не столько учимся, сколько любимъ поговорить, а еще больше послушать, какъ говорятъ другіе, о разныхъ взглядахъ на науку и въ особенности о томъ, что надо во что бы то ни стало идти впередъ и развиваться. Подъ словомъ «развиваться» разумѣются нерѣдко вещи весьма неопредѣленныя, но всегда привлекательныя для молодежи. Если немногіе, вслѣдствіе этихъ разговоровъ, получаютъ положительный вкусъ къ наукѣ, зато очень многіе дѣлаются дилетантами и до глубокой старости стоятъ за просвѣщеніе и за comme il faut, которое они впослѣдствіи начинаютъ не шутя смѣшивать съ просвѣщеніемъ.

— C'est un homme si savant, si instruit!—говорятъ обыкновенно дѣвицы, слегка при этомъ вздрагивая и сжимаясь.

— Et si comme il faut!—прибавляютъ дамы.

— О, c'est une tête bien organisée!—замѣчаютъ мужчины, принимая дипломатическій видъ:—ça fera son chemin dans le monde... surtout si les dames s'y prennent...

И вотъ пошелъ дилетантъ гулять по свѣту съ готовой репутаціей!.. Но къ дѣлу.

Какъ дитя благовоспитанное и благородное, Володя, не смотря на увлеченіе, которому поддался наравнѣ съ прочими, не могъ, однакожъ, не вспоминать родительскихъ наставленій, тѣмъ болѣе, что родители обращались съ нимъ не столько какъ съ рабомъ, сколько какъ съ милымъ ребенкомъ, имѣющимъ чувствительное сердце. Это дало имъ право на полную благодарность съ его стороны. Ему было всегда такъ весело, что родители у него такіе миленькіе, чистенькіе родители, что папа отчасти даже вольтерьянецъ, un tout petit peu, и вообще сочувствуютъ порывамъ, а maman всегда такъ мило одѣта, toujours causante, affable. Поэтому-то онъ изъ всѣхъ силъ хлопоталъ и бился о томъ, чтобы какъ-нибудь согласить нѣсколько старческій скептицизмъ папаши, по какому-то странному обстоятельству легко мирившійся и съ авторитетомъ, и съ субординаціей, и съ автономическими стремленіями школьнаго кружка, въ которомъ онъ поневолѣ вращался.

Тогда произошелъ въ Володѣ тотъ разла́дъ, который необходимо происходитъ въ дѣтяхъ благовоспитанныхъ, имѣющихъ несчастіе долгое время тереться между дѣтьми сапожниковъ и другихъ господъ прискорбно - огорченнаго свойства.

Съ одной стороны, не подлежало сомнѣнію, что въ душѣ его укоренились тѣ общія и нѣсколько темныя начала, которыя заставляютъ человѣка съ уваженіемъ смотрѣть на всякій подвигъ добра и истины, на всякое стремленіе къ общему благу. Но, съ другой стороны, рядомъ съ этими убѣжденіями воспиталось въ немъ и другое чувство—чувство исключительности, заставлявшее его думать, что цивилизація, со всѣми ея благами и плодотворными послѣдствіями, можетъ принадлежать въ полную собственность лишь ему и другимъ Буеракинымъ. Поэтому если онъ и ладилъ съ школьною молодежью, которая, по обыкновенію, густою толпой окружала благовиднаго и богатаго барича, то тайныя, живыя его симпатіи стремились совсѣмъ не къ ней, а къ господамъ Буеракинымъ, которые близки были его сердцу и по воспитанію, и по тѣмъ стремленіямъ къ обще-буеракинскому обновленію, которое они считали необходимымъ для поправленія буеракинскихъ обстоятельствъ. Въ сущности, Владиміръ Константинычъ былъ весьма близко къ своему папа́, по пословицѣ: «отъ свиньи не родятся бобрёнки, а все поросенки». Въ немъ обрѣтался тотъ же дилетантизмъ, то же безсиліе къ чему-нибудь опредѣленному и положительному; только формы были нѣсколько мягче и общедоступнѣе.

Въ то время, какъ я познакомился съ нимъ, ему было уже лѣтъ тридцать, и онъ обладалъ приличною помѣщичьему званію тучностью. Папа́ его давно лежалъ уже въ могилѣ; maman тоже вскорѣ послѣдовала за своимъ супругомъ. Оба они покоились рядышкомъ подъ великолѣпными памятниками на кладбищѣ села Заовражья. Нельзя сказать, чтобы Владиміръ Константинычъ, принявъ въ свои руки кормило правленія, не старался сдѣлаться полезнымъ для своихъ крестьянъ, но роль благодѣтельнаго и просвѣщеннаго помѣщика не далась ему. Самъ ли онъ былъ съ изъянцемъ, или крестьяне у него оказались оболтусами — неизвѣстно, но онъ долженъ былъ оставить административныя поползновенія свои. Въ результатѣ оказалось, что, живучи въ деревнѣ, онъ достигъ только того, что обрюзгъ и страшно облѣнился, не выходя по цѣлымъ днямъ изъ халата.

— Насилу-то васъ занесло въ нашу сторону! — сказалъ онъ, протягивая мнѣ обѣ руки. — А я было не на шутку начиналъ думать, что становые ведутъ себя примѣрно.

— Какую же связь имѣетъ мой пріѣздъ къ вамъ съ поведеніемъ становыхъ?

— Ну, не хитрите, не скрывайтесь же, милѣйшій мой Немвродъ, велій ловецъ становыхъ передъ губернаторомъ! Развѣ мы не знаемъ, зачѣмъ вы въ наши страны жалуете!

И онъ началъ похаживать по комнатѣ, посматривая на меня и улыбаясь нѣсколько иронически.

— Ну, славу Богу, кажется, все обстоитъ по-старому!— продолжалъ онъ, весело потирая руки.—Немвродъ въ движеніи—стало-быть, хищные звѣри не оставили проказъ своихъ... Ну, а признайтесь, вы, вѣрно, на ловлю собрались?

Я сознался.

— То-то же; я на это имѣю ужъ взглядъ... А знаете ли, вѣдь вы отличнѣйшій человѣкъ... Это я вамъ говорю безъ комплиментовъ...

Я поблагодарилъ.

— Только жаль, что донкихотствуете,—прибавилъ онъ.

— Это почему?

— Да потому, что вотъ задумали всѣхъ блохъ переловить... Сами согласитесь, что вѣдь на это порошокъ такой нуженъ и что съ одними пальцами, какъ бы они ни были прытки, тутъ не уѣдешь далеко... А ну, покажите-ка мнѣ вашъ порошокъ!

— Я дѣлаю, что могу,—возразилъ я.

— То-то что могу! Вотъ вы одну какую-нибудь крохотную блошинку изловите, да и кричите, что мочи есть, что вотъ, дескать, одной блошицей меньше, а того и не видите, что на то самое мѣсто сотни другихъ блохъ изъ нечистоты выскакиваютъ... Такое ужъ, батюшка, удобное для этой твари мѣсто.

— Согласитесь, однакожъ, что если бы всѣ смотрѣли на это такъ же равнодушно, какъ вы смотрите; если-бъ никто не начиналъ, а всѣ ограничивались только разговорцемъ, то куда-жъ бы дѣваться отъ блохъ?

— Такъ вы серьезно вѣрите въ злодѣевъ, вѣрите въ злоупотребленія? — спросилъ онъ, останавливаясь передо мной.

— Какъ нельзя болѣе серьезно.

— И думаете, что всѣ эти дѣйствія, которыя вы называете злодѣйствами и злоупотребленіями, что вся эта га-

лиматья, однимъ словомъ, проникнута какою-нибудь идеей, что къ ней можно примѣнить принципъ «вмѣненія»?

— Да.

— Да это потѣха, и вы истинно наивный молодой человѣкъ; я очень желалъ бы, чтобъ вы покороче сошлись съ нашимъ милѣйшимъ Иваномъ Демьянычемъ, чтобы вы лично удостовѣрились, какъ онъ кротко пьетъ водку, какъ благодушно съ вами бесѣдуетъ, какъ онъ не знаетъ, чѣмъ угостить, гдѣ усадить васъ... А между тѣмъ не безызвѣстно и вамъ, господинъ губернскій чиновникъ, что тотъ же самый Иванъ Демьянычъ съ удовольствіемъ и совершенно спокойною совѣстью обереть до тла добродушнаго субъекта, который попадется ему въ вершу... И вы называете преступникомъ этого прекраснѣйшаго отца семейства, этого добродѣтельнаго гражданина?

— А вольно же ему ставить верши!

— А ставитъ онъ ихъ потому, что такъ инстинктъ ему велитъ: ставитъ потому, что онъ животное плотоядное... Слыхали вы когда-нибудь о танцѣ, называемомъ «комаринскою»?

— Слыхалъ.

— Это такой, сударь, танецъ, въ которомъ ни связи, ни системы, ни смысла ни подъ какимъ видомъ добиться нельзя. Развѣ можете дать себѣ отчетъ, почему онъ танцуется такъ, а не иначе? Точно такимъ же образомъ течетъ и жизнь Ивана Демьяныча: онъ не умствуетъ, не заносится, танцуетъ себѣ комаринскую, покуда ноги носятъ. И какимъ образомъ, спрашиваю я васъ, прекратите вы этотъ танецъ, если онъ въ нравахъ, если въ воздухѣ есть что-то располагающее къ нему? Ну, положимъ, вы его остановили, вы размяли ему надлежащимъ образомъ руки и ноги, научили становиться въ пятую позицію, дѣлать chassé en avant, pas de cosaque и проч. Но что же изъ этого? Выпустили вы его изъ-подъ вашей ферулы, смотрите—а онъ опять отплясываетъ комаринскую... Такъ-то, мой милѣйшій!

Разговоръ этотъ, однакоже, тяготилъ меня.

— Ну, а вы что подѣлываете?—спросилъ я послѣ нѣкотораго молчанія, чтобы перемѣнить тему.

— Да вотъ какъ видите. Лѣнюсь и отчасти мечтаю о томъ, какъ вы, бѣдняги, люди молодые и здоровые, желаете луну съ неба селитряною кислотой свести, душу станового наизнанку выворотить, какъ вы черненькое хотите сдѣлать

сѣренькимъ, и какъ это черненькое изо всѣхъ силъ протестуетъ противъ вашихъ администраторскихъ поползновеній.

— Это занятіе очень милое,—сказалъ я:—дѣйствительно, оно легче, если я буду въ халатикѣ похаживать да показывать добрымъ людямъ, какіе у меня зубы бѣлые, нежели дѣло дѣлать.

— А что вы думаете? И въ самомъ дѣлѣ, показывать зубы весело, особливо если они бѣлые и вострые... Всѣ смотрятъ на тебя и думаютъ: о, этому господину не попадайся на зубы—какъ разъ раскуситъ! Это я на себѣ испыталъ! Знаете ли вы, что я здѣсь слыву за отмѣнно злого и, слѣдовательно, за отмѣнно умнаго человѣка?

— Знаю... что-жъ, это справедливо... отчасти...

— Вы мнѣ льстите. Я вамъ скажу, напротивъ, что я отмѣнно добрый, и хотя дѣйствительно не совсѣмъ глупый, но совершенно негодный человѣкъ... Знаете ли вы, чѣмъ я занимаюсь?..

— Нѣтъ, но догадываюсь...

— Напримѣръ?

— А вотъ похаживаете изъ угла въ уголъ и думаете, что кругомъ васъ все такъ скверно, такъ растлѣнно, такъ неопрятно, что никакая панацея этого ни измѣнить, ни исправить не можетъ.

— Угадали. Но отъ васъ ускользнули нѣкоторыя подробности, которыя я и постараюсь объяснить вамъ. Первое дѣло, которымъ я занимаюсь,—это мое искреннее желаніе быть благодѣтельнымъ помѣщикомъ. Это дѣло не трудное, и я достигаю достаточно удовлетворительныхъ результатовъ, коль скоро какъ можно менѣе вмѣшиваюсь въ дѣла управленія. Вы, однакожъ, не думайте, чтобъ я поступалъ такимъ образомъ изъ безпечности или преступной лѣности. Нѣтъ, у меня такое глубокое убѣжденіе въ совершенной ненужности вмѣшательства, что и управляющій мой существуетъ только для вида, для очистки совѣсти, чтобъ не сказали, что овцы безъ пастыря ходятъ... Поняли вы меня?

— Ну, тутъ еще не много работы...

— Больше, нежели вы предполагаете... Однакожъ, въ сторону это. Вы не можете себѣ вообразить,—вы, человѣкъ дѣятельный, вы, нашъ Немвродъ, сколько страшной, разнообразной дѣятельности представляетъ лѣнь. Вамъ кажется вотъ, что я, въ халатѣ, хожу безполезно по комнатѣ, иногда насвистываю итальянскую арію, иногда поплевываю, и что

все это, взятое въ совокупности, составляетъ то состояніе души, которое вы, профаны, называете праздностью.

— Почти что такъ,—замѣтилъ я мимоходомъ.

— Вы меня извините, но вы глубоко заблуждаетесь. Все это происходитъ отъ вашей близорукости, оттого, что вы, господа Немвроды, не умѣете читать за строками, что васъ поражаетъ только то, что хлещетъ вамъ прямо въ глаза. Вы не въ состояніи понять, что никогда дѣятельность души не бываетъ такъ напряженно сильна, какъ въ то время, когда я сплевываю или мурлыкаю подъ носъ арію: *oh, per chè non posso odiar ti!* Вы не можете постигнуть, какая страшная работа происходитъ тогда во мнѣ, какія смѣлыя утопіи, какія удивительнѣйшія панацеи рождаются въ моемъ возбужденномъ воображеніи. Вы—люди практическіе и, слѣдовательно, ограниченные; вамъ бы вотъ только блоху поймать да и сжечь ее на свѣчкѣ; вы даже не хотите посмотрѣть, какъ она дрыгаетъ ножками, палимая огнемъ, потому что вдали мелькаетъ передъ вами другая блоха, которую вамъ также настоитъ изловить... Ну, а мы — люди мысли, люди высшихъ взглядовъ и общихъ соображеній,— мы смотримъ на это дѣло иначе: насъ занимаютъ міровыя задачи... Такъ-то-съ!

Послѣднія слова онъ произнесъ не безъ ироніи.

— И вы не можете себѣ представить, — продолжалъ онъ:—какая втягивающая, почти одурманивающая сила заключается въ этой лѣни! Ходишь этакъ по комнатѣ, ходишь цѣлый день, а мысли самыя милыя, самыя разнообразныя такъ и роятся, такъ и роятся въ головѣ... Иная даже какъ-то особенно пристанетъ къ тебѣ, словно вотъ пчела жужжитъ, да такъ сладко, такъ успокоительно. Ну, и доволенъ, да еще такъ доволенъ, что на пріѣздъ посторонняго—я не говорю этого объ васъ—смотришь какъ на что-то въ родѣ наказанія... Знаете, я все добиваюсь, нельзя ли какъ-нибудь до такого состоянія дойти, чтобъ внутри меня все въ конецъ успокоилось, чтобъ и кровь не волновалась, и душа чтобъ переваривала только тѣ милые образы, тѣ кроткія ощущенія, которыя она самодѣятельно выработала... вы понимаете? — чтобъ этого внѣшняго міра съ его прискорбіемъ не существовало вовсе, чтобъ я самъ былъ авторомъ всѣхъ своихъ радостей, всей своей внутренней жизни... Какъ вы думаете, достигну я этого?

— Но позвольте мнѣ замѣтить, — сказалъ я: — блаженствомъ, котораго вы такъ добиваетесь, обладаютъ очень многіе...

— Сумасшедшіе, хотите вы сказать?.. Договаривайте, не краснѣйте! Но кто же вамъ сказалъ, что я не хотѣлъ бы не то чтобъ съ ума сойти—это непріятно,—а быть сумасшедшимъ? По моему искреннему убѣжденію, смерть и сумасшествіе—двѣ самыя завидныя вещи на свѣтѣ, и когда-нибудь я попотчую себя этимъ лакомствомъ. Смерть я не могу себѣ представить иначе, какъ въ видѣ состоянія сладкой мечтательности, состоянія грёзъ и несокрушимаго довольства самимъ собой, продолжающагося цѣлую вѣчность... Я понимаю иногда Вертера.

Пріятель мой началъ ходить большими шагами по комнатѣ, и лицо его дѣйствительно приняло какое-то болѣзненно-довольное выраженіе.

— Знаете ли вы, какой предметъ занималъ меня передъ вашимъ пріѣздомъ?—спросилъ онъ, останавливаясь передо мной.—Бьюсь объ закладъ, что ни за что въ свѣтѣ не угадаете.

— Очень можетъ быть.

— Да; а между тѣмъ вещь очень простая. Вотъ теперь у насъ конецъ февраля и начинается оттепель. Я хожу по комнатѣ, посматриваю въ окошко, и вдругъ мысль озаряетъ мою голову. Что такое оттепель? спрашиваю я себя. Задача не хитрая, а занимаетъ меня цѣлыя сутки.

Оттепель—говорю я себѣ—возрожденіе природы; оттепель же—обнаженіе всѣхъ навозныхъ кучъ.

Оттепель—съ горъ ручьи бѣгутъ: бѣгутъ, по выраженію народному, чисто, непорочно; оттепель же — стекаются съ заднихъ дворовъ всѣ нечистоты, всѣ гнусности, которыя скрывала зима.

Оттепель—воздухъ наполненъ благоуханіемъ весны, ароматами всѣхъ злаковъ земныхъ, весело возстающихъ къ жизни отъ полугодового оцѣпенѣнія; оттепель же—всѣ міазмы, всѣ гнилыя испаренія, поднимающіяся отъ помойныхъ ямъ... И все это: и міазмы, и благоуханія — все это стремится вверхъ, къ одному и тому же небу!

Оттепель — полное томительной нѣги пѣніе соловья, задумчивый свистъ иволги, пробужденіе всѣхъ звуковъ, которыми наполняется Божій міръ, какъ будто ищетъ и рвется природа вся въ звукахъ излиться послѣ долгаго насильственнаго молчанія; оттепель же—карканье вороны, наравнѣ съ соловьемъ радующейся теплу.

Оттепель—пробужденіе въ самомъ человѣкѣ всѣхъ сладкихъ тревогъ его сердца, всѣхъ лучшихъ его побужденій;

отчего же—возбужденіе всѣхъ животныхъ его инстинктовъ.

Вѣдь это, батюшка, почти стихи выходятъ!

Вы скажете, что меня занимаютъ пустые вопросы, но объясните мнѣ на милость: вы-то, вы-то рѣшеніемъ какихъ міровыхъ задачъ занимаетесь? Я, по крайней мѣрѣ, изощряю свои діалектическія способности, у меня, слѣдовательно, есть самостоятельная дѣятельность; ну, а вы что? Строчите бумаги, ѣздите по губерніи, ловите блохъ; но какъ вы тамъ ни разглагольствуйте о разныхъ высшихъ взглядахъ, а все это дѣлается у васъ безъ всякаго участія мысли, машинально, совершенно независимо отъ вашихъ убѣжденій. Для васъ это ли дѣлать, въ карты ли играть—все одно! Ну, не во сто ли, не въ тысячу ли кратъ моя участь завиднѣе вашей, а моя дѣятельность полезнѣе вашей? Я, по крайней мѣрѣ, хожу, гляжу въ окно, умиляюсь, размышляю... Въ недавнее время вотъ точно такимъ же образомъ я разрѣшалъ вопросъ о томъ, что было бы, если-бъ вмѣсто болота, которое тянется, какъ вамъ извѣстно, сзади моей усадьбы, вдругъ очутился зеленый лугъ, покрытый душистыми и сочными травами?.. И вышли соображенія довольно оригинальныя и даже, можно сказать, философическія...

— Любопытно было бы знать ихъ.

— Теперь не время, а впослѣдствіи я не отказываюсь объяснить ихъ вамъ... Въ настоящее время я хотѣлъ вамъ доказать только ту истину, что, несмотря на мою кажущуюся лѣность и безпечность, я работаю отнюдь не менѣе, нежели вы, люди практическіе, и если результаты моихъ невинныхъ работъ незамѣтны, то и ваши усилія не приносятъ плодовъ болѣе обильныхъ... Хотите водки?

— Пожалуй.

— Эй, Павлуша! Отчего ты водку не подаешь? Развѣ не видишь, чиновникъ наѣхалъ?

Павлуша засмѣялся.

— Чему ты смѣешься?

— Да развѣ они чиновники?

— Ты неразвитъ еще, Павлуша! Ты думаешь, что чиновникъ непремѣнно долженъ быть дикобразъ... Вы его извините!

Павлуша вышелъ.

— А странный народъ эти чиновники,—продолжалъ онъ, снова обращаясь ко мнѣ.—Намедни пріѣхалъ ко мнѣ нашъ исправникъ. Сталъ я съ нимъ говорить... вотъ какъ съ

вами. Слушалъ онъ меня, слушалъ, и все не отвѣчаетъ ни слова. Подали водки; онъ выпилъ, закусилъ и опять выпилъ, и вдругъ его озарило наитіе: «Какой, говоритъ, вы умный человѣкъ, Владиміръ Константинычъ! Отчего бы вамъ не служить?» Вотъ и вы, какъ выпьете, можетъ-быть, тотъ же вопросъ сдѣлаете.

— Ну, а кромѣ шутокъ, отчего вы не служите?

— А позвольте васъ спросить, почему вы такъ смѣло полагаете, что я не служу?

— Да потому, что не служите—вотъ и все.

— А въ такомъ случаѣ позвольте вамъ доказать совершенно противное. Во-первыхъ, я каждый мѣсяцъ посылаю становому четыре воза сѣна, двѣ четверти овса и куль муки—слѣдовательно, служу; во-вторыхъ, я ежегодно жертвую десять цѣлковыхъ на покупку учебныхъ пособій для уѣзднаго училища — слѣдовательно служу; въ-третьихъ, я ежегодно кормлю крутогорское начальство, когда оно благоволитъ заѣзжать ко мнѣ по случаю ревизіи — слѣдовательно, служу; въ-четвертыхъ, я никогда не позволю себѣ сказать г. исправнику, когда онъ взялъ взятку, что онъ взятки этой не взялъ—слѣдовательно, служу; въ пятыхъ... но какъ могу я объяснить въ подробности всѣ манеры, которыми я служу?!

— Однако, это легкая манера служить.

— Вы думаете? Это все зависитъ отъ взгляда. Я самъ убѣжденъ, что легкая, но не для всякаго. У васъ въ Крутогорскѣ есть господинъ—онъ тоже чиновникъ,—котораго физіономія напоминаетъ мнѣ добродушно-насмѣшливое лицо Крылова. Вся служба этого чиновника — или, по крайней мѣрѣ, полезнѣйшая часть ея—состоитъ, кажется, въ томъ, что когда мимо его проходитъ кто-нибудь изъ вашихъ губернскихъ аристократовъ, во всемъ величіи, свойственномъ индѣйскому пѣтуху, онъ вполголоса произноситъ ему вслѣдъ только два слова: «хоть куда!» — но этими двумя словами онъ приноситъ обществу неоцѣненную услугу. Во-первыхъ, эти слова очищаютъ воздухъ отъ тлетворныхъ испареній, которыя оставляетъ за собой губернскій аристократъ, а во-вторыхъ, они огорошиваютъ самаго аристократа, который поспѣшно подбираетъ распущенный хвостъ и изъ нахальнаго индюка становится хоть на время скромною индѣйкой... Однимъ словомъ, это именно полезнѣйшій сортъ чиновника, потому что дѣйствительно и положительно смягчаетъ нравы и искореняетъ дикость!.. Итакъ, за здоровье

крутогорскаго Крылова и всѣхъ чиновниковъ, подобно ему служащихъ обществу безкорыстно и нелицепріятно! — продолжалъ Буеракинъ, выпивая рюмку водки.

Я тоже выпилъ.

— Эту фанаберію, то-есть жажду практической дѣятельности,— продолжалъ онъ:—долго носилъ и я въ своей головѣ—и бросилъ. Такой ужъ у меня взглядъ на вещи, что я не желаю ничѣмъ огорчаться и алкаю проводить дни свои въ спокойствіи. Другой на моемъ мѣстѣ помчался бы по первопуткѣ въ Петербургъ, а я сижу въ Заовражьѣ, и совсѣмъ не потому, что желаю подражать Юлію Цезарю; другой читалъ бы книжки, а я не читаю; другой занялся бы хозяйствомъ, а я не занимаюсь; другой бы женился, а я не женюсь... А вѣдь я не совсѣмъ-таки еще старъ, чтобы ужъ тово...

— Такъ, напустили на себя дурь,—замѣтилъ я:—выдумали, что вамъ надоѣло, да и все тутъ.

— Можетъ-быть, можетъ-быть, господинъ Немвродъ. Это вы справедливо замѣтили, что я выдумалъ. Но если выдумка моя такъ удачна, что точка въ точку приходится по мнѣ, то полагаю, что не лишенъ же я на нее права авторской собственности... А! Пашенька-съ! и вы тоже вышли подышать весеннимъ воздухомъ!—прибавилъ онъ, отворяя форточку.—*Знать, забило сердечко тревогу!*

Я тоже подошелъ къ окну. На крыльцѣ флигеля сидѣла дѣвочка лѣтъ пятнадцати, но такая хорошенькая, такая умница, что мнѣ стало до крайности завидно, что какой-нибудь дряблый Буеракинъ можетъ каждый день любоваться ея веселымъ, умнымъ и свѣжимъ личикомъ, а я не могу.

— Ваша?—спросилъ я.

— Дочь моего кучера. Желаете познакомиться? По этому случаю я вамъ предварительно анекдотъ разскажу. Былъ у меня товарищъ, по фамиліи господинъ Крутицынъ, добрякъ ужаснѣйшій, но простоватъ, до непристойности безобразенъ и при этомъ влюбчивъ какъ жаба—все бы ему этакъ около юбочекъ. Вотъ и сыгралъ же съ нимъ штуку другой товарищъ, Прозоровъ, тоже малый простодушнѣйшій, но побойчѣе. Увѣрили Крутицына, что къ Прозорову пріѣхала сестра, богатая наслѣдница, которая до того влюблена въ него, Крутицына, что его только и спитъ и видитъ. Устроили нарочно обѣдъ, чтобъ доставить случай любовникамъ видѣться, и одѣли крѣпостную дѣвку Прозорова барышней.

Нужно было видѣть, какъ разсыпался передъ ней Крутицынъ! Эта комедія продолжалась около часа, и когда ужъ всѣмъ надоѣло забавляться, посреди самыхъ краснорѣчивыхъ объясненій Крутицына вдругъ раздался голосъ хозяина: «Ну, будетъ, Акулька! маршъ въ дѣвичью!» Завѣряю васъ, что на нашихъ глазахъ Крутицынъ поглупѣлъ на полъ-аршина.

— Да, анекдотъ не дуренъ.

— А что вы думаете? Вы не обижайтесь, а, право, и съ вами можно бы такую штуку сыграть, хоть вы и не Крутицынъ... Пашенька! бѣгите-ка сюда поскорѣй: я вамъ жаръ-птицу покажу!

Послѣдовало нѣсколько секундъ молчанія.

— А знаете ли, отличная вещь быть помѣщикомъ!— обратился онъ ко мнѣ.—Какъ подумаешь этакъ, что у тебя всего вдоволь, всякаго, что называется, злаку, такъ даже разслабнешь весь—такъ оно пріятно!

И онъ дѣйствительно опустился въ вольтеровское кресло,— будто ослабъ.

— А впрочемъ, и то сказать, какіе мы помѣщики! Вотъ у васъ, въ Крутогорскѣ, я видѣлъ господина — это помѣщикъ! Коли хотите, крѣпостныхъ у него нѣтъ, а станетъ онъ этакъ у окошечка—анъ у него въ садикѣ арестантики работаютъ: грядки полютъ, бесѣдки строятъ, дорожки чистятъ, цвѣточки сажаютъ... Посмотритъ онъ на эту идиллію и пригорюнится. Подойдетъ къ нему супруга, поползутъ ребятишки, малъ-мала-меньше... «Какъ хорошъ и свѣтелъ Божій міръ!»—воскликнетъ Михайло Степанычъ.—«И какъ отдѣланъ будетъ нашъ садикъ, душечка!»—отвѣчаетъ супруга его. — «А у папки денески все валёванныя!» — кричитъ старшій сынишка, родъ enfant terrible, котораго какой-то желчный господинъ научилъ повторять эту фразу.—«Цыцъ, пострѣленокъ!» — кричитъ Михайло Степанычъ, внезапно пробужденный отъ идиллическаго сновидѣнія... А вотъ онъ и не помѣщикъ!

Въ это время Пашенька вбѣжала въ комнату, и, какъ видно, застѣнчивость не была однимъ изъ ея привычныхъ качествъ, потому что она, не ожидая приглашенія, усѣлась въ кресло съ тою же непринужденностью, съ какою сидѣла на крыльцѣ.

— Пашенька!—сказалъ Буеракинъ:—извѣстно ли вамъ, отчего у насъ на дворѣ сегодня птички поютъ, а съ крышъ капель льется?. Неизвѣстно? Такъ знайте же: оттого такъ

тепло въ мірѣ, оттого птички радуются, что вотъ господинъ Щедринъ пріѣхалъ, тотъ самый господинъ Щедринъ, который сердца становыхъ смягчаетъ и вселяетъ въ непремѣнномъ засѣдателѣ внезапное отвращеніе къ напитку!

— Какой вы все вздоръ говорите!—сказала Пашенька.—Какіе тамъ еще становые!

— Но нужно же вамъ знать, Пашенька, кто такой господинъ Щедринъ... Посудите сами!

— Извѣстно, чиновники...

— Конечно, чиновники! Но разные бываютъ, Пашенька, чиновники! Вотъ, напримѣръ, Иванъ Демьянычъ *) чиновники и господинъ Щедринъ чиновники. Только Иванъ Демьянычъ въ передней водку пьетъ и закусываетъ, а господинъ Щедринъ исполняетъ эту потребность въ собственномъ моемъ кабинетѣ. Поняли вы, Пашенька?

— А зачѣмъ же вы ихъ пускаете, если они чиновники?

— Нельзя, Пашенька! Они вотъ въ Крутогорскъ поѣдутъ, его превосходительству насплетничаютъ, что, молъ, вотъ, ваше превосходительство, живетъ на свѣтѣ господинъ Буеракинъ—опаснѣйшій человѣкъ-съ, такъ не худо бы господина Буеракина сцапцарапать-съ. «Что-жъ, скажетъ его превосходительство: если онъ подлинно опасный, такъ сцапцарапать его теперича можно».

— Да и то бы пора: все глупости говорите.

— Ну, а вы, моя умница, что сегодня дѣлали?

— А какія мои дѣла? Встала, на кухню сбѣгала, съ теткой Анисьей побранилась; потомъ на конюшню пошла—нельзя: Ваньку-косача наказываютъ...

— Вы, кажется, заврались, душенька?

— А что мнѣ врать? Извѣстно, наказываютъ...

— И у васъ, кажется, свой enfant terrible есть, какъ у Михайла Степаныча!—сказалъ я.

Буеракинъ сконфузился.

— Потомъ домой пошла,—продолжала Пашенька:—на крылечкѣ посидѣла, да и къ вамъ пришла... Да ты что меня все разспрашиваешь?.. Ты лучше пѣсенку спой. Спой, голубчикъ, пѣсенку!

— Такъ вотъ вы каковы, Владиміръ Константинычъ,—сказалъ я:—и пѣсенки поете!

Буеракинъ покраснѣлъ пуще прежняго.

— Да ты никакъ застыдился, баринъ?—продолжала приставать Пашенька.

*) См. очеркъ: «Порфирій Петровичъ».

Но Буеракинъ молчалъ.

— А еще говоришь, что любишь! Нѣтъ, вотъ наша Арапка, такъ та точно меня любитъ!.. Арапка! Арапка!— кликнула она, высовываясь въ форточку.

Арапка завиляла хвостомъ.

— Любишь меня, Арапка? любишь, черномазая? Вотъ ужо хлѣбца Арапкѣ дамъ...

— А хотите, я вамъ спою пѣсенку?—спросилъ я.

— А пой, пожалуй! Мнѣ что за надобность!

— Какъ что за надобность! Вѣдь вы сейчасъ просили Владиміра Константиныча спѣть пѣсню...

— Да то *баринъ*! Онъ вотъ никому пѣсенъ не поетъ, а мнѣ поетъ... *Баринъ* пѣсни поетъ!

Сцена эта, видимо, тяготила Буеракина.

— Ну, полно же, полно, дурочка!—сказалъ онъ, стараясь улыбнуться, а въ самомъ дѣлѣ изображая своими устами гримасу довольно кислаго свойства.

Павлуша, вошедшій съ докладомъ о приходѣ старосты, выручилъ его изъ затрудненія.

— А! здравствуй, братъ! здравствуй, Абрамъ Семенычъ! Давненько не изволили къ намъ жаловать! Ну, какъ дѣла?

Пашенька скрылась.

— Да что, батюшка, совсѣмъ намъ туточки жить стало невозможно.

— А что?

— Да больно ужъ нѣмецъ осерчалъ: сѣчетъ всѣхъ поголовно, да и вся недолга! «На то, говоритъ, и сидѣнье у тебя, чтобъ его стегать»... Помилосердуйте!

— Странно!

— Я ему говорилъ тоже, что, молъ, насъ и баринъ николи изъ своихъ ручекъ не жаловалъ, а ты, молъ, колбаса, поди какъ дѣло завелъ, надъ христіанскимъ тѣломъ наругаться! Такъ онъ пуще еще осерчалъ, меня за бороду при всемъ мірѣ оттаскалъ: «Я, говоритъ, всѣхъ васъ издеру! Мнѣ, говоритъ, не указъ твой баринъ! Баринъ-то, молъ, у васъ словно ребенокъ малый, не смыслитъ!»

— А онъ не пьянъ, Абрамъ Семенычъ?

— Коли бы пьянъ! Только тѣмъ и пьянъ, стало-быть, что съ ручищамъ своимъ совладать не можетъ... Совсѣмъ ужъ мужикамъ неспособно стало!.. Пожалуй, и ушибетъ кого ненарокомъ; съ исправникомъ-то и не раздѣлаешься въ ту пору.

— Ну, хорошо, Абрамъ Семенычъ! За это я тебѣ благо-

даренъ, что ты ко мнѣ откровенно... Ступай пошли за Ѳедоромъ Карлычемъ, а самъ обожди въ передней.

— Какъ же вы говорите, что у васъ управляющій только для вида? — сказалъ я, когда Абрамъ Семенычъ вышелъ изъ комнаты.

— Да, я съ тѣмъ нанималъ его... да что прикажете дѣлать? Самолюбивъ, каналья. Безпрестанныя эти... превышенія власти—такъ, кажется, у васъ называются?

— Да.

— То выпоретъ, что называется, вплотную, сколько влѣзетъ, то зубы расшибетъ... Того и гляди, полиція пронюхаетъ—ну, и опять расходъ... Ахъ ты, Господи!

Говоря это, Владиміръ Константинычъ дѣйствительно озирался, какъ будто бы полиція гналась по пятамъ его и съ минуты на минуту готова была настичь.

— Ужъ я ему нѣсколько разъ повторялъ,— продолжалъ онъ встревоженнымъ голосомъ:—чтобъ былъ осторожнѣе, въ особенности насчетъ мордасовъ, а онъ все свое: «Во-первыхъ, говоритъ, у мужичка въ сидѣньи истома и геморрой, если не тово... а во-вторыхъ, говоритъ, я ужъ двадцать лѣтъ имѣньями управляю, и безъ этого дѣло не обходилось, и вамъ учить меня нечего!..» Право, такъ вѣдь и говоритъ въ глаза! Такая грубая шельма!

— Отчего-жъ вы его не смѣните?

— Нѣсколько разъ предлагалъ, да нейдетъ! То у него, какъ нарочно, Амальхенъ напослѣдяхъ ходитъ, то изъ дѣтокъ кто-нибудь... Ну, и оставишь изъ жалости... Нѣтъ, это вѣрно ужъ предопредѣленіе такое!

Буеракинъ махнулъ рукой.

— А вѣдь мизерный-то какой! Я разъ, знаете, собственными глазами изъ окна видѣлъ, какъ онъ тамъ распоряжаться изволилъ... Привели къ нему мужика чуть не въ сажень ростомъ; такъ онъ достать-то его не можетъ, такъ даже подпрыгиваетъ отъ злости... «Нагибайся!» кричитъ. Насилу его уняли!..

— А староста у васъ каковъ?

— Онъ у меня по выбору...

— Зачѣмъ же вы ему не поручите управленія, если онъ человѣкъ хорошій?

— Да все, знаете, говорятъ, свой глазъ нуженъ... Вотъ и навязали мнѣ этого нѣмца.

— Ѳедоръ Карлычъ пришли!—доложилъ Павлуша.

Вошелъ маленькій человѣкъ, очень плѣшивый и, пови-

димому, очень пивный. По-русски выражался онъ довольно грамотно, но никакъ не могъ овладѣть буквою *л* и сверхъ того *наперсника* называлъ *соперникомъ*, и наоборотъ.

— А! Ѳедоръ Карлычъ!—сказалъ Буеракинъ.— Ну, каково, mein Herr, поживаете, каково прижимаете? Какъ Амалія Ивановна въ *ихнемъ* здоровьи?

— Gut, sehr gut.

— Это хорошо, что гутъ, а вотъ было бы скверно, кабы пихтъ гутъ... Не правда ли, Ѳедоръ Карлычъ?

Буеракинъ видимо затруднялся приступить къ дѣлу. Я взялся-было за фуражку, чтобъ оставить ихъ вдвоемъ, но Владиміръ Константинычъ бросился удерживать меня.

— Нѣтъ, вы, пожалуйста...—шепталъ онъ мнѣ торопливо:—вы не оставляйте меня въ эту критическую минуту!

Я остался.

— Ну, такъ какъ же, Ѳедоръ Карлычъ, кофеекъ попиваемъ? а?

— На все свое время,—отвѣчалъ Ѳедоръ Карлычъ.

— Да, да; это правда... Нѣмцы, знаете, народъ пунктуальный; во всемъ имъ порядокъ нуженъ...

— Вамъ угодно было меня видѣть?— перебилъ Ѳедоръ Карлычъ сухо.

— Да. Знаете, Абрамъ Семеновъ, вашъ *соперникъ*...

Абрамъ Семеновъ, наскучивъ дожидаться въ передней, вошелъ въ это время въ комнату.

— Я ужъ распорядился,—сказалъ Ѳедоръ Карлычъ.

— То-есть, какъ же вы распорядились?

— Онъ весьма требуетъ розга,—отвѣчалъ Ѳедоръ Карлычъ хладнокровно:—розга и получитъ...

— Нѣтъ, ужъ это, видно, отдумать надобно,—замѣтилъ Абрамъ Семенычъ, злобно мотая головой, но какъ-то сомнительно улыбаясь.

— Розга и получитъ,—повторилъ Ѳедоръ Карлычъ твердымъ и мягкимъ голосомъ.

— Однако, за что же?—проговорилъ Буеракинъ, видимо смущенный рѣшительнымъ тономъ нѣмца.

— Онъ меня «колбаса» сказалъ!—угрюмо сказалъ Ѳедоръ Карлычъ.

— Это ужъ больно что-то тово,— разсуждалъ Абрамъ Семенычъ:—размашистъ сталъ оченно... Это, братъ-колбаса, больно ужъ вольготно тебѣ будетъ, коли начальниковъ стегать станешь.

— Онъ получитъ розга,—повторилъ Ѳедоръ Карлычъ.

— Однакожъ, согласитесь сами, мой почтеннѣйшій, — сказалъ Буеракинъ:—развѣ пріятно было бы, напримѣръ, вамъ, если-бъ, по чьему-нибудь крайнему убѣжденію, розга эта слѣдовала вашей особѣ?

— О, если я заслужилъ—очень пріятно!

— Que voulez-vous que je fasse? — обратился ко мнѣ Буеракинъ:—ce n'est pas un homme, c'est une conviction, voyez-vous!

Ѳедоръ Карлычъ стоялъ совершенно безстрастно, не шевеля ни однимъ мускуломъ.

— Нѣтъ, ужъ это оченно что-то размашисто будетъ! — повторилъ Абрамъ Семенычъ, но какимъ-то слабымъ голосомъ. Очевидно, злое сомнѣніе уже начинало закрадываться въ его душу.

— Онъ заслужилъ и получитъ!—сказалъ Ѳедоръ Карлычъ.

— А если я попрошу васъ оставить меня!..—высказался вдругъ Буеракинъ.

— О, я оставлю, но все-таки онъ розга получитъ: заслужилъ и получитъ!

— Но я васъ прошу оставить меня сейчасъ же... Вы понимаете? То-есть не комнату эту оставить, а мой домъ, мое имѣніе... Слышите?

Нѣмецъ взглянулъ съ изумленіемъ.

— О, это быть не можетъ! — проговорилъ онъ черезъ секунду совершенно равнодушно:—Абрамъ, маршъ!

Абрамъ Семенычъ нехотя повиновался; Ѳедоръ Карлычъ медленно послѣдовалъ за нимъ. Буеракинъ долгое время пребывалъ въ изумленіи съ растопыренными руками.

— Ну, что же тутъ прикажете дѣлать?—сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ.

Горехвастовъ.

Горехвастовъ преспокойно развалился на диванѣ, между тѣмъ какъ Рогожкинъ и я скромно сидѣли противъ него на стульяхъ.

Горехвастову лѣтъ около сорока; онъ, что называется, видный мужчина, въ родѣ тѣхъ, которыхъ зрѣлище поселяетъ истому въ организмѣ сорокалѣтнихъ капиталистокъ и убогихъ вдовъ-ростовщицъ. Росту въ немъ безъ малаго девять вершковъ, лицо бѣлое, одутловатое, украшенное приличнымъ носомъ и огромными, тщательно закрученными усами; сложенье такое, о которомъ выражаются: «на одну

ладо́нку посадитъ, другою прикроетъ—въ результатѣ мокренько будетъ»; голосъ густой и зычный; глаза, какъ водится, свиные. Вообще замѣтно, что здѣсь матерія преобладаетъ надъ духомъ, и что страсти и неумѣренныя увеселенія плоти, говоря языкомъ старинныхъ русскихъ романовъ, «оставили на немъ свои глубокія бразды». Онъ замѣтно любитъ щеголять: на немъ надѣто что-то круглое, сюртукъ не сюртукъ, пальто не пальто, фракъ не фракъ, а что-то среднее, то, что̀ въ провинціи называютъ «обѣденнымъ фракомъ»; сапоги лаковые, перчатки палевыя, жилетъ кашемировый, пестроты ослѣпительной; на рубашкѣ столько складокъ, что умъ теряется. Несмотря на все это, несмотря на множество колецъ, украшающихъ его пухлыя руки, и на немъ самомъ, и на его одеждѣ лежитъ какая-то печать поношенности: какъ будто и самъ онъ, и все, что̀ на немъ, полиняло и выцвѣло. Когда я смотрю на него, мнѣ, не знаю почему, всегда кажется, что вотъ передо мною человѣкъ, который ночи три сряду не спалъ и не снималъ съ себя ни «обѣденнаго фрака», ни рубашки. Складки на рубашкѣ смяты и на сгибахъ покрыты какою-то подозрительною тѣнью, платье на швахъ поистерлось, самыя щеки одрябли и какъ-то непріятно, хрящевато бѣлы. Словомъ, это одинъ изъ тѣхъ субъектовъ, которые называются «жуирами»: живали и въ роскоши, живали и въ нищетѣ, заставляли другихъ изъ окна прыгать, но и сами изъ онаго прыгивали.

Въ нравственномъ отношеніи онъ обладаетъ многими неоцѣненными качествами: отлично передергиваетъ карты, умѣетъ подписываться подъ всякую руку, готовъ бражничать съ утра до вечера, и исполняетъ это безъ всякаго ущерба для головы, лихо поетъ и пляшетъ по-цыгански, и со всѣмъ этимъ соединяетъ самую добродушную и веселую откровенность. Одно только въ немъ не совсѣмъ пріятно: онъ любитъ иногда приходить въ какой-то своеобразный, дѣланный восторгъ, и въ этомъ состояніи лжетъ и хвастаетъ немилосердно.

Въ Крутогорскъ попалъ онъ совершенно случайно, и хотя это совершилось недобровольно, но онъ не показывалъ ни малѣйшихъ признаковъ унынія или отчаянія.

— Произошло это дѣло вотъ какимъ образомъ,—разсказывалъ онъ мнѣ однажды, въ минуту откровенности, когда я попросилъ его объяснить, по какимъ коммерческимъ или служебнымъ дѣламъ онъ осчастливилъ нашъ городъ: — за-

тѣяли мы этакъ штуку, знаете, en grand. Собралась насъ цѣлая компанія, все народъ голодный, и притомъ жаждущій дѣятельности, жизненныхъ бурь... Собрались мы и начали обдумывать строго свое положеніе... А надо вамъ сказать, что до этого времени мы большую игру вели, а потомъ какъ-то вдругъ такъ случилось, что никто съ нами играть не сталъ. «Нѣтъ, чортъ возьми!—сказалъ (какъ сейчасъ это помню) Петръ Бурковъ, лихой малый и закадычный мой другъ:—въ такомъ положеніи намъ, воля ваша, оставаться нельзя; мы, господа, люди образованные, имѣемъ вкусъ развитой; мы, чортъ возьми, любимъ вино и женщинъ!» Въ это время—можетъ-быть, слыхали вы?—имѣлъ въ Петербургѣ резиденцію нѣкоторый Размахнинъ, негоціантъ тупоумнѣйшій, но милліонеръ. Сынъ у него былъ—ну, этого никогда въ трезвомъ видѣ никто не видывалъ; даже во снѣ, если можно такъ выразиться, пьянъ былъ, потому что спалъ все урывками, и не успѣетъ, бывало, еще проспаться, какъ опять, смотришь, пьянъ. Пробовали мы его въ свою компанію залучить, однако пользы не оказалось никакой; первое дѣло, что отецъ отпускалъ ему самую малую сумму, всего тысячъ десять на серебро въ годъ, и слѣдовательно денегъ у него въ наличности не было; второе дѣло, что хотя онъ заемныя письма и съ охотою давалъ, но уплаты по нимъ приходилось ждать до смерти отца, а это въ нашемъ быту не расчетъ; третье дѣло, чести въ немъ совсѣмъ не было никакой: другой, если ткнуть ему кулакомъ въ рожу или назвать при всѣхъ подлецомъ, такъ изъ кожи вылѣзетъ, чтобы достать деньги и заплатить; а этотъ ничего, только смѣется. Слѣдовательно, надо было дѣйствовать на отца. А старикъ хоть и держалъ своего сына въ черномъ тѣлѣ, однакожъ любилъ его, но любилъ, если можно такъ выразиться, утробою. Вотъ эту-то утробную любовь и рѣшились мы эксплоатировать. Въ одинъ прекрасный вечеръ, двое изъ насъ переодѣлись въ офиціальное платье и, перекрестившись, отправились къ Размахнину. Старикъ перепугался, особливо какъ мы ему объяснили, что цѣль нашего посѣщенія заключается въ томъ, чтобы сына его, за такія-то и такія-то дебоширства, взять и отвезти въ такое мѣсто, куда, можно сказать, воронъ костей не нашивалъ... Проливаетъ слезы, валяется въ ногахъ: «Батюшки, говоритъ, что хотите возьмите, только Алешку моего не трожьте! Я, говоритъ, его сею минутою черезъ чухонскихъ контрабандистовъ за границу отправлю». И смиловались мы надъ по-

ложеніемъ злополучнаго старца—взяли сто тысячъ и ушли. Только тутъ случилась съ нами самая скверная штука: выходимъ мы на подъѣздъ, потихоньку даже посмѣиваемся, какъ вдругъ передъ нами, словно изъ земли выросли, три кавалера ужаснѣйшихъ размѣровъ... Ужъ, кажется, я не могу назваться слабонервнымъ, а даже и со мной дурно сдѣлалось... И вотъ, какъ видите, я въ Крутогорскѣ, прочіе въ другихъ тихихъ городахъ переплываютъ многоволнистое житейское море... Что дѣлать! il faut que jeunesse passe!

Такого рода добродушная откровенность дѣлала отношенія къ Горехвастову чрезвычайно легкими и пріятными. Въ крутогорскихъ салонахъ было рѣшено, что молодой человѣкъ «увлекался»—кто же не увлекался въ молодости?—но что во всякомъ случаѣ нельзя же увлеченья въ порокъ ставить. И на совѣтѣ губернскихъ аристократовъ было рѣшено Горехвастова принимать, но въ карты съ нимъ не играть, и вообще держать больше около дамъ, для которыхъ онъ своими талантами можетъ доставить пріятное развлеченіе. А такъ какъ я также (говорю это не безъ нѣкоторой гордости) былъ всегда однимъ изъ ревностнѣйшихъ посѣтителей крутогорскихъ салоновъ, то, слѣдуя за общимъ движеніемъ умовъ, тоже въ скоромъ времени сблизился съ Горехвастовымъ, и онъ даже очень полюбилъ меня.

— Entre nous soit dit,—говаривалъ онъ мнѣ по этому случаю:—мы одни только и можемъ понимать другъ друга. Посмотрите кругомъ, что это за чудаки, что за рожи, что за костюмы! Одинъ изъ своего фрака точно изъ брички выглядываетъ; другой куритъ сигары, отъ которыхъ воняетъ печеными раками; третій прибѣгаетъ къ носовому платку только для того, чтобы обтереть имъ пальцы; четвертый, когда карты сдаетъ, оба пальца первоначально въ ротъ засунетъ... Господи! какое безобразіе! Поэтому вы не удивляйтесь, Николай Иванычъ, если я предпочитаю быть съ вами.

И я, дѣйствительно, по врожденной мнѣ скромности, съ терпѣніемъ взиралъ на его посѣщенія, которыя иногда не на шутку меня одолѣвали.

Что касается до Рогожкина, то это маленькій человѣчекъ, совершенно кругленькій. Онъ когда-то служилъ въ военной службѣ, но вскорѣ нашелъ, что тутъ только одно разстройство здоровья: вставать надо рано, потомъ часовъ пять ходить, а куда идешь—неизвѣстно, и потому рѣшился пріютиться по гражданской части, гдѣ, по крайности, хоть

выспаться вволю даютъ. Въ настоящее время онъ имѣетъ тотъ нѣсколько томный видъ, который невольнымъ образомъ пріобрѣтаютъ искатели мѣстъ, не снабженные достаточно убѣдительными рекомендательными письмами. Но когда разговоръ заходитъ о какомъ-нибудь вакантномъ мѣстѣ, то въ глазахъ его внезапно зажигается плотоядный огонь и на устахъ показывается слюнотеченіе. Говоритъ онъ довольно вразумительно, но съ околичностями, и усердно смѣется, когда того требуютъ обстоятельства, или когда видитъ, что другіе смѣются. Впрочемъ, онъ малый добрый и привязанный, а на Горехвастова смотритъ какъ на высшее существо, и охотно исполняетъ его маленькія порученія, какъ-то: набиваетъ и закуриваетъ ему трубку, распоряжается насчетъ питейнаго и съѣдобнаго и сопутствуетъ ему вездѣ, гдѣ только можетъ. Голосъ у него самый тоненькій, можно сказать, дѣтскій, глазки маленькіе и съ глянцемъ, точно у пшеничныхъ жаворонковъ, которымъ вставляютъ, вмѣсто глазъ, можжевеловыя ягодки.

Въ утро, когда начинается мой разсказъ, Горехвастовъ былъ какъ-то особенно разговорчивъ. Онъ разлегся на диванѣ, закуривъ одну изъ прекрасныхъ сигаръ, которыя я выписывалъ для себя изъ Петербурга, и ораторствовалъ. Передъ диваномъ, на кругломъ столѣ, стояла закуска, хересъ и водка, и надо отдать справедливость Горехвастову, онъ не оставлялъ безъ вниманія ни того, ни другого, ни третьяго, и хотя хвалилъ преимущественно хересъ, но въ дѣйствительности оказывалъ предпочтеніе зорной горькой водкѣ. Рогожкинъ, съ своей стороны, не столько пилъ, сколько, какъ выражаются, «потюкивалъ» водку.

— А скажите, пожалуйста, Николай Иванычъ,—сказалъ мнѣ Горехвастовъ:—откуда у васъ берутся всѣ эти милыя вещи: копченыя стерляди, индѣчья ветчина, оленьи языки... и эта безцѣнная водка—водка, отъ которой, я вамъ доложу, даже слеза прошибаетъ! Да вы Сарданапалъ, Николай Иванычъ!... Нѣтъ, вы просто Сарданапалъ!

Я сообщилъ ему, какъ умѣлъ, требуемыя свѣдѣнія.

— А что ни говорите,—продолжалъ онъ:—жизнь—отличная вещь, особливо если есть человѣкъ, который тебя понимаетъ, съ кѣмъ можешь сказать слово по душѣ! Я вамъ доложу про себя, Николай Иванычъ: я вѣкъ свой прожилъ шутя... Бывали у меня, конечно, происшествія, бывали непріятности—ну, бывали—что-жъ изъ этого! Развѣ слѣдуетъ отъ этого унывать духомъ, приходить въ отчая-

ніе? Живалъ я въ Петербургѣ, ѣзжалъ и въ каретахъ, и сотнями тысячъ ворочалъ, и игру велъ, и француженокъ содержалъ—ну, было, было все это! Ну, а теперь живу въ Крутогорскѣ, ѣзжу на безобразной долгушѣ, играю по копейкѣ въ ералашъ и, получая отъ казны всего шесть цѣлковыхъ въ мѣсяцъ содержанія, довольствуюсь, вмѣсто француженки, повивальною бабкой! И между тѣмъ, какъ видите, не унываю и даже не отчаиваюсь въ своемъ будущемъ.

Онъ привсталъ на диванѣ и налилъ себѣ рюмку зорной.

— А все оттого, что вотъ здѣсь, въ этомъ сердцѣ, жаръ обитаетъ! Все оттого, хочу я сказать, что въ этой вотъ головѣ свѣтъ присутствуетъ, что всякую вещь понимаешь такъ, какъ она есть—ну и спокоенъ! Я, Николай Иванычъ, патріотъ! я люблю русскаго человѣка за то, что онъ не задумывается долго. Другой вотъ, нѣмецъ или французъ, надъ всякою вещью остановится,— даже смотрѣть на него тошно, точно родить желаетъ,— а нашъ братъ только подошелъ, глазами вскинулъ, руками развелъ: «Этого-то не одолѣть, говоритъ, да съ нами крестная сила! Да мы только глазомъ мигнемъ!» И дѣйствительно, какъ почнетъ топоромъ рубить — только щепки летятъ; геніальная, можно сказать, натура! Безъ науки всѣ науки прошелъ! Люблю я, знаете, иногда посмотрѣть на нашего мужичка, какъ онъ тамъ дѣйствуетъ: лежитъ, кажется, цѣлый день на боку, да зато ужъ какъ примется, такъ у него словно горитъ въ рукахъ дѣло! Откуда что берется!

— Да-съ... это точно... пріятное зрѣлище!—пролепеталъ Рогожкинъ.—Вотъ я однажды...

— Геніальная натура, доложу я вамъ,—перебилъ Горехвастовъ: — науки не требуетъ, потому что до всего собственнымъ умомъ доходитъ. Спросите, напримѣръ, меня... ну, о чемъ хотите! На все отвѣтъ дамъ, потому что это у меня русское, врожденное! А потому я никогда и не зналъ, что̀ такое горе!

Онъ задумался. Рогожкинъ въ это время умильно посматривалъ на него и выражалъ свое наслажденіе тѣмъ, что усиленно терся спиною о спинку стула.

— А бывали-таки у меня случаи, такое сцѣпленіе, что даже описанія достойно! Надо вамъ сказать, что состояніе у меня было небольшое, отецъ и мать мои, безспорно, были благороднаго званія; но при настоящемъ развитіи цивилизаціи, при колоссальности нашего кругозора, это благородство, можно сказать, только путаетъ. Воспитаніе получилъ

я отличнѣйшее; въ заведеніи, которое пріютило мою юность, было преимущественно обращено вниманіе на пріятность манеръ и на то, чтобы воспитанники смотрѣли привѣтливо и могли говорить — causer — обо всемъ. Воспитывались со мной вмѣстѣ и графы, и бароны; слѣдовательно, мы въ самомъ заведеніи вели жизнь веселую; ѣзжали, знаете, по воскресеньямъ къ француженкамъ, и тамъ пріобрѣли мало-по-малу истинный взглядъ на жизнь и ея блага. Можете, стало-быть, представить себѣ мое положеніе, когда я, по выходѣ изъ заведенія, долженъ былъ затесаться куда-то въ четвертый этажъ, гдѣ вороны чуть не на самой лѣстницѣ гнѣзда вьютъ! Конечно, я, какъ водится, поступилъ и на службу, но, между нами, эта матерія скучная. Я понимаю, что можно служить, какъ служатъ, напримѣръ, князья Патрикѣевы, Щенятевы, Ижеславскіе, Оболдуи-Тараканови. Они, я вамъ доложу, посостоятъ крошечку, а потомъ и катаютъ внезапно въ государственные мужи. Этакъ служить пріятно, il n'y a rien à dire. Но сидѣть каждый день семь часовъ въ какой-то душной конурѣ и облизываться на мѣсто столоначальника—ce n'est pas mon genre... Другихъ карьеръ также въ виду не имѣется, то-есть, коли хотите, онѣ и есть, но все это скучная матерія, черепословіе; а я, вы понимаете, славянинъ, хочу жить, хочу жуировать: *homo sum et nihil humani a me alienum puto.* Положеніе мое было, слѣдовательно, прескверное... И вотъ встрѣчается со мною однажды на жизненномъ пути тотъ самый Петръ Бурковъ, о которомъ я ужъ вамъ какъ-то говорилъ. Встрѣчается и держитъ такую рѣчь: «Грегуаръ, говоритъ онъ мнѣ, я вижу по твоимъ глазамъ, что ты жаждешь фортуну сдѣлать!» Я ему сознался со всею откровенностью. Я былъ честолюбивъ, Николай Иванычъ! Я чувствовалъ, что стою выше общаго уровня. Я сознавалъ, что тутъ, въ этомъ сердцѣ, есть достаточно жару, чтобы сдѣлать изъ меня и поэта, и литератора, и прожектера, и капиталиста—que sais-je enfin! Оставалось только выбрать поприще, потому что, какъ я вамъ уже сказалъ, русскій человѣкъ на все способенъ. Поэтомъ или литераторомъ сдѣлаться легко, но не выгодно—это народъ все млекопитающійся; прожектеромъ быть тоже не трудно, но тутъ опять нужно ждать, прохаживаться, знаете, по переднимъ... Я рѣшился быть капиталистомъ. И вотъ тотъ же самый Бурковъ свелъ меня съ людьми... Но что это за народъ былъ, Николай Иванычъ! Просто я не умѣю даже

выразить... Ахъ! да что объ этомъ и вспоминать—только себя дразнить!

Онъ залпомъ выпилъ рюмку хереса и такъ сильно ударилъ ею о подносъ, что ножка ея отвалилась.

— Я вамъ скажу, напримѣръ, Флорансъ—что это за женщина, что это за огонь былъ! Сгорала, милостивый государь, сгорала и вновь возрождалась, и вновь сгорала! Однажды, пріѣзжаю къ ней, и вижу, что есть что-то тутъ неладное: губки блѣдныя, бровки сдвинуты, а въ глазахъ огоньки горятъ.

— Ah! c'est toi, monstre,—говоритъ она, увидѣвъ меня:—viens donc, viens que je te tue!.. Повѣрите ли, насилу даже урезонить могъ—такъ и бросается! И вся эта тревога оттого только, что я на какомъ-то балѣ позволилъ себѣ сказать нѣсколько любезныхъ словъ Каролинѣ! Вотъ это такъ женщина! А! Николай Иванычъ! вѣдь въ Крутогорскѣ такихъ не найдешь, сознайтесь?

Я вынужденъ былъ согласиться.

— Да-съ... аппетитная штучка эта Флоранчикъ была!.. хе-хе!—проговорилъ Рогожкинъ.—А что, Григорій Сергѣичъ, если бы этотъ Флоранчикъ... такъ сказать, на мѣсто Марины Ѳерапонтовны... хе-хе! сюжетъ былъ бы тово-съ... подходящій-съ!

Горехвастовъ свирѣпо посмотрѣлъ на него.

— А впрочемъ, Григорій Сергѣичъ, вамъ Бога гнѣвить нечего,—продолжалъ Рогожкинъ:—Марина Ѳерапонтовна тоже-съ... дама плотная-съ... хе-хе!

— Ну, ты что понимаешь!

— Помилуйте-съ, Григорій Сергѣичъ! какъ не понимать-съ: это и малый ребенокъ понимаетъ-съ... счастливчикъ вы, Григорій Сергѣичъ! Однакожъ, извините-съ, извольте продолжать.

— Были у меня тогда деньги,—началъ снова Горехвастовъ:—коммерсанъ такой появился, котораго мы, можно сказать, безъ малѣйшаго напряженія мышцъ обобрали—деньги были, слѣдовательно, большія. Ну, что такое деньги? спрашиваю я васъ,—что такое деньги, какъ не презрѣнный металлъ? Ну, и точно, бросалъ я тогда этотъ металлъ пригоршнями, такъ что у Флорансъ, бывало, только глазки свѣтятся. Въ кружевахъ ее утопилъ, мебели incrusté завелъ; на столахъ—бронзы, фарфоръ, на стѣнахъ—Тинторетъ, Поль Поттеръ, Ванъ-Дейкъ. Словомъ сказать, en grand жилъ, чортъ побери! Пріѣдешь, бывало, ночью съ

работы домой, измученный, и прямо къ ея постели. А она, знаете, ручонки протягиваетъ, глазенки открываетъ, и глазенки, знаете, томные, влажные: «Eh bien, mon farceur d'homme; as-tu beaucoup gagné ce soir?»—Выигралъ, жизнь ты моя, выигралъ, только люби ты меня! Любишь, что ли?—А она, знаете, какъ кошечка, потянется этакъ въ постельк'ѣ: «lioubliou»—говоритъ... ахъ! да вы поймите, какъ это нѣжно, какъ это воздушно: *lioubliou*!.. А знаете ли, чортъ побери, не выпить ли намъ съ горя по бокальчику!

— Ахъ, сдѣлайте одолженіе!—сказалъ я, смущенный нѣсколько моею недогадливостью.—Петръ Васильичъ! распорядитесь, пожалуйста.

— Да ты, братецъ, скажи человѣку, чтобъ завертѣлъ хорошенько!—прибавилъ отъ себя Горехвастовъ:—а то они его такъ теплое и подаютъ—vous n'avez pas l'idée, comme ils sont brutes, ces gens-là! Признаюсь вамъ, я, грѣшный человѣкъ, люблю этакъ и поѣсть, и выпить—въ мѣру, знаете, въ мѣру... Если-бъ вы сдѣлали мнѣ честь, побывали у меня въ Петербургѣ въ то время, когда я былъ въ счастіи, я попотчивалъ бы васъ такимъ винцомъ, передъ которымъ и ваше, пожалуй, сконфузится. Въ горлѣ оно, знаете, точно атласъ, а между тѣмъ въ носъ бьетъ! Но возвращусь къ Флорансъ. Я принялъ ее у барона Оксендорфа—знаете, извѣстный магнатъ есть на островѣ Эзелѣ. Бѣловолосый сынъ Эстоніи сначала было-заартачился, началъ-было тамъ свои *was soll das heissen*, но я показалъ ему кулакъ такого колоссальнаго размѣра, о которомъ на островѣ Эзелѣ не имѣютъ никакого понятія.—Баронъ, сказалъ я ему, у меня течетъ въ жилахъ кровь, а у васъ лимфа; и притомъ видите вы эту машину?—«Вижу», сказалъ онъ мнѣ.—А если видите, сказалъ я ему, то знайте, что эта машина имѣетъ свойство, въ одинъ моментъ и безъ всякихъ посредствующихъ орудій, обращать въ ничто человѣческую голову, которая, подобно вашей, похожа на яйцо! Herr Baron! разойдемтесь!—«Разойдемтесь, Herr Graf», сказалъ онъ мнѣ, хотя я и не графъ. И мы разошлись... разошлись потому, что баронъ понялъ, что одна минута болѣе—и островъ Эзель лишился бы лучшаго своего украшенія...

Горехвастовъ самодовольно обнажилъ свою жилистую, покрытую волосами руку и протянулъ ее, какъ будто хотѣлъ, чтобы мы понюхали, какъ она пахнетъ.

— Да-съ, устройство благонадежное!—пролепеталъ Рогожкинъ.

— И надо было видѣть, какъ она любила меня! Этакъ могутъ любить только француженки! Обовьется, бывало, около меня—и не выпускаетъ...

— Эхъ, канальство!—сказалъ Рогожкинъ, и, сказавши это, какъ-то сладострастно хикнулъ и, неизвѣстно вслѣдствіе какихъ соображеній, запѣлъ: «Ой вы, уланы!»

— Или вотъ на диванѣ раскинется...

— Нѣтъ ужъ, Григорій Сергѣичъ, сдѣлайте ваше одолженіе!—прервалъ Рогожкинъ, поспѣшно разливая по стаканамъ принесенное вино:—мы тоже вѣдь люди, тоже человѣки-съ... чувствовать можемъ...

— Мастерица она была тоже гривуазныя пѣсни пѣть. *Un soir à la barrière* выходило у нея такъ, что пальчики облизать слѣдуетъ... Вотъ такую жизнь я понимаю, потому что это жизнь въ полномъ смыслѣ этого слова! Надо родиться для нея, чтобы наслаждаться ею какъ слѣдуетъ... А то вотъ и онъ, пожалуй, говоритъ, что живетъ!—прибавилъ онъ, указывая на Рогожкина.

Рогожкинъ обидѣлся.

— Что же вы, Григорій Сергѣичъ, и въ самъ-дѣлѣ обижаете!—сказалъ онъ.—Конечно, намъ до васъ далеко, потому какъ и размѣръ у насъ былъ не такой, однако, когда въ полку служили, тоже свои удовольствія имѣли-съ!

— Ну, какія твои удовольствія! Чай, кошку камнемъ на улицѣ зашибить!..

— Нѣтъ-съ, не кошку зашибить-съ, а тоже жидовъ собаками травливали-съ... Капитанъ Полосухинъ у насъ въ ротѣ былъ: «пойдемте, говоритъ, господа, шинокъ разбивать!»—и разбивали-съ.

— Ну, это еще туда-сюда...

— Или же вотъ тотъ же капитанъ Полосухинъ: «полюбилась, говоритъ, мнѣ Маша Цыплятева—надо, говоритъ, ее выкрасть!» А Марья Петровна была тоже супруга помѣщика-съ... И однако мы ее выкрали-съ. Такъ это не кошку-съ... Нѣтъ-съ! Чтобъ одно только это дѣло замазать, Полосухинъ восемьсотъ душъ продалъ-съ!

— Ну, ужъ и восемьсотъ! Вѣрно, вдесятеро привралъ! Ну, куда же армейскому офицеру, да еще пѣхотинцу, восемьсотъ душъ имѣть!

— Нѣтъ-съ, Григорій Сергѣичъ, не говорите этого! Этотъ Полосухинъ, я вамъ доложу, сначала въ гвардейской кавалеріи служилъ, но за буйную манеру переведенъ тѣмъ же чиномъ въ армейскую кавалерію; тамъ тоже не заслужилъ-съ,

ну и пріютился у насъ... Такъ это былъ человѣкъ истинно ужаснѣйшій! «Мнѣ, говоритъ, все равно! Я, говоритъ, и по дорогамъ разбивать готовъ!» Конечно-съ, этому многіе десятки лѣтъ прошли-съ...

— Ну, а что же Флорансъ?—спросилъ я.

Горехвастовъ, который совсѣмъ-было и забылъ про Флорансъ, посмотрѣлъ на меня глазами нѣсколько воспаленными, на минуту задумался, провелъ какъ-то ожесточенно рукою по лбу и по волосамъ и, наконецъ, ударилъ кулакомъ по столу съ такою силой, что нѣсколько рюмокъ полетѣло на полъ, а вино расплескалось на подносѣ.

— Извините,—сказалъ онъ угрюмо.—Д-да... Флорансъ... гм!.. Флорансъ...

Послѣдовало нѣсколько минутъ молчанія, въ продолженіе котораго Горехвастовъ то безпрестанно и усиленно вздыхалъ, то судорожно стискивалъ между пальцами какую-нибудь несчастную прядь своихъ собственныхъ волосъ, то искривливалъ свои губы въ горькую и презрительную улыбку. Очевидно, что онъ готовился произвести эффектъ.

— Обманула!—закричалъ онъ, наконецъ, вскакивая изъза стола, визгливымъ голосомъ, выходившимъ изъ всякихъ границъ естественности.—Вы это понимаете: обманула! Обманула, потому что я въ это время былъ нищъ; обманула, потому что въ это время какая-то каналья обыграла нашу компанію до мозга костей... Обманула, потому что безъ денегъ я былъ только! Я былъ только гадина, которую надо было топтать, топтать и...

Онъ съ ожесточеніемъ рвалъ на себѣ волосы и, наконецъ, упалъ въ изнеможеніи на диванъ.

— Пускай отдохнутъ!—шепталъ, между тѣмъ, Рогожкинъ.—Любопытнѣйшій ихній романъ-съ!

И дѣйствительно, минутъ черезъ десять, Горехвастовъ былъ уже спокоенъ; кровь, которая прилила-было къ головѣ, опять получила естественное обращеніе, и минутное раздраженіе совершенно исчезло. Вообще онъ не выдерживалъ своей игры, потому что игралъ какъ-то не внутренностями, а кожей; но для райка это былъ бы актеръ неоцѣненный.

— Въ одно прекрасное утро,—продолжалъ онъ:—я очутился безъ хлѣба, безъ денегъ и безъ любовницы. Я вышелъ на улицу, выгнанный изъ собственной моей квартиры, изъ той самой квартиры, гдѣ наканунѣ еще какой-то шутникъ, желая заискать мое расположеніе, написалъ на стѣнѣ: *ману-текель-фаресъ*. Ночь была зимняя и морозная, но я

ничего не чувствовалъ, ничего не понималъ. Передо мною все мелькала блѣдная улыбка банкомета, который билъ карту за картой и постепенно лишалъ меня жизни... Эта улыбка затемняла всю мою мысль; она мѣшала придти въ себя! Я могъ только съ изумленіемъ смотрѣть на эту воображаемую улыбку и безсознательно слѣдить за бѣлыми худощавыми руками, которыя какъ-то бездушно щелкали по столу, высасывая ежемгновенно все мое существо... Въ эту минуту я былъ близокъ къ отчаянію, я готовъ былъ стать среди улицы на колѣни и просить прощенія. Я былъ похожъ на того жалкаго пропойцу, который, пробезобразничавъ напролетъ ночь въ дымной и душной комнатѣ, выбѣгаетъ утромъ, въ одномъ легонькомъ платьишкѣ, на морозный воздухъ и спѣшитъ домой, безсознательно озираясь по сторонамъ и не имѣя ни единой мысли въ головѣ... Но я, быть-можетъ, надоѣдаю вамъ, господа, своими похожденіями?

— Помилуйте, какъ это можно!—поспѣшилъ я сказать.

— И если-бъ не Бурковъ, то кто знаетъ, имѣлъ ли бы я теперь удовольствіе бесѣдовать съ вами, господа. Наше несчастіе было общее; я шелъ къ нему, твердо рѣшившись перенести всѣ удары, всѣ ругательства, потому что показалъ себя въ этомъ дѣлѣ не только опрометчивымъ, но даже глупымъ, и, слѣдовательно, заслуживалъ самыхъ тяжкихъ обидъ и истязаній. Но онъ поступилъ иначе... онъ побѣдилъ мою покорность своимъ великодушіемъ. Онъ не только не избилъ меня, какъ я былъ того достоинъ, но и подѣлился со мною тою небольшою суммой, которая у него осталась въ цѣлости.—Будемъ жить en artistes!—сказалъ онъ мнѣ. И мы дѣйствительно наняли скромную квартиру и начали жить en artistes... Такъ вотъ-съ какіе со мной бывали переходы, господа! Жизнь мою можно уподобить петербургскому климату: сегодня оттепель, съ крышъ капель льетъ, на улицахъ почти полая вода, а завтра двадцатиградусный морозъ гвоздитъ... И однакожъ, живутъ, ухитряются люди!

— Да-съ, это точная истина, что живучѣе человѣка нѣтъ на свѣтѣ твари,—вступился Рогожкинъ.—Вотъ хоть бы тотъ же капитанъ Полосухинъ, о которомъ я ужъ имѣлъ честь вамъ докладывать: засталъ его однажды какой-то ревнивый старецъ... а старецъ, знаете, какъ не надѣялся на свою силу, идетъ и на всякій случай по пистолету въ рукахъ держитъ. Ну-съ, капитанъ точно что сконфузился

и живымъ манеромъ полѣзъ подъ кровать. «Выходи, подлецъ!» говоритъ старецъ.—«Не выйду!» кричитъ Полосухинъ. И точно-съ, три дня тамъ лежалъ, покуда старецъ самъ, что называется,плюнулъ. Послѣ мы его спрашивали, какъ онъ этакую пытку вытерпѣлъ? «Ничего, говоритъ, облежался»...

— А если хотите,—продолжалъ Горехвастовъ, расплываясь и впадая въ сентиментальность:—коли хотите, и житье en artistes—славное житье. Конечно, тутъ трюфелей не ищи, но зато есть эта безпечность, cet imprévu, это спокойствіе совѣсти, которое, согласитесь сами, дороже всѣхъ земныхъ благъ...

Рогожкинъ подмигнулъ мнѣ глазомъ, какъ будто хотѣлъ сказать: «знаемъ мы это спокойствіе совѣсти!» Но за всѣмъ тѣмъ въ этомъ подмигиваніи выражалось не осужденіе, а, напротивъ того, безгранично-нѣжное сочувствіе къ подвигамъ Горехвастова.

— Поселились мы въ четвертомъ этажѣ, на дворѣ... Конечно, и высоко оно... ну, и запахъ, знаете... однимъ словомъ, не хорошо, очень не хорошо. Но счастье не въ каменныхъ палатахъ обитаетъ, сказалъ какой-то философъ, и это мудрое изреченіе оправдалось на насъ. Буркова полюбила Саша, а меня полюбила Катя. Немудреныя были эти дѣвочки—il n'y a rien à dire; однако, въ нихъ былъ тотъ запахъ дикаго, нелелѣяннаго растенія, который на охотника, пожалуй, слаще всякаго оранжерейнаго цвѣтка дѣйствуетъ. И притомъ, знаете, эта преданность, эта готовность на всякаго рода жертвы... Согласитесь, что въ нашемъ грустномъ положеніи такая находка была просто безцѣнна. Званія наши возлюбленныя были не высокаго: всего-на-все горничныя какихъ-то господъ, жившихъ въ одномъ съ нами домѣ. Ходили онѣ къ намъ урывками, но объ этихъ урывкахъ я до сихъ поръ вспоминаю съ наслажденіемъ. Я даже думаю, что тотъ, кто хочетъ испытать всю силу пламенной любви, тотъ именно долженъ любить урывками: это сосредоточиваетъ силу страсти, даетъ ей тѣ знойные тоны, безъ которыхъ любовь есть не что иное, какъ грустный философическій трактатъ о безсмертіи души.

— Истинная правда!—прервалъ Рогожкинъ.—Вотъ у насъ въ полку служилъ поручикъ Живчиковъ, такъ онъ какъ залучитъ, бывало, метреску, да станетъ она ему свои резоны разсказывать: «ты, говоритъ, мнѣ *момо*-то не говори, а подавай настоящее дѣло!».. Погубители вы!—продолжалъ онъ, обращаясь къ Горехвастову и трепля его по ляжкѣ.

— Однажды приходитъ Катя и объявляетъ, что ея госпожа очень заинтересована мной. Какъ ни мила идиллія, какъ ни прекрасны «ручейки и мурава зеленая», но для широкихъ натуръ существуетъ на свѣтѣ своего рода фатумъ, который невольнымъ образомъ увлекаетъ ихъ изъ тѣсныхъ сферъ на иное, блестящее поприще. Коли хотите, я освоился съ своею скромною долей, то-есть склонилъ голову передъ судьбой, но все-таки чувствовалъ, что мѣсто мое не здѣсь, не на этой маленькой, тѣсной аренѣ, гдѣ я имѣлъ видъ рыбы, выброшенной бурею изъ воды. Однимъ словомъ, я задыхался въ четвертомъ этажѣ, я жаждалъ блеска и свѣта, меня давила эта умѣренность, съ которою могутъ ужиться только убогія, посредственныя натуры... Былъ у насъ сосѣдъ по квартирѣ, нѣкто Дремиловъ: этотъ, какъ ни посмотришь, бывало, — все корпитъ за бумагой; спросишь его иногда: «что же вы, господинъ Дремиловъ, высидѣли?» такъ онъ только покраснѣетъ, да и бѣжитъ скорѣе опять за бумажку. Ну, что это за жизнь? — спрашиваю я васъ, и можетъ ли, имѣетъ ли человѣкъ право отдавать себя въ жертву геморрою? И чего, наконецъ, онъ достигнетъ? «Я, говоритъ, буду ученымъ, хочу принести пользу наукѣ!» Хорошъ ученый, который не имѣетъ понятія о жизни! Да я на первомъ словѣ докажу ему, что всѣ его затѣи не что иное, какъ грустное черепословіе, потому что намъ, наконецъ, не умозрѣнія эти тусклыя нужны, а жизнь, вы понимаете: ж-ж-изнь!.. Телемахидисты они всѣ!..

Вся фигура Горехвастова, во время этой выходки, выражала такое полное, глубокое презрѣніе къ бѣдному Дремилову, что мнѣ сдѣлалось даже вчужѣ совѣстно за несчастнаго труженика.

— Да вы, Григорій Сергѣичъ, къ дѣлу-съ!—сказалъ Рогожкинъ, притопывая ногой.

— Надо вамъ сказать, messieurs,—продолжалъ Горехвастовъ: — что барыня, которой я имѣлъ честь понравиться, была очень безобразна... Признаюсь вамъ, я даже нѣсколько затруднился. Однако, Бурковъ и тутъ меня выручилъ. «Что-жъ, сказалъ онъ мнѣ, надо быть снисходительнымъ къ человѣческимъ слабостямъ; вѣдь эта милая капиталистка представляетъ для насъ единственную надежду выйти изъ сквернаго положенія... Пожертвуй собою священнымъ узамъ дружбы!» И я пожертвовалъ. Пришелъ я къ ней, по приглашенію, вечеромъ; она сидѣла, какъ сейчасъ помню, на диванѣ, во всемъ величіи своего безобразія, и когда я вошелъ, то осмотрѣла меня въ лорнетъ съ головы до ногъ

какъ товаръ. Должно-быть, я очень ей пришелся по вкусу, потому что она то и дѣло повторяла: «charmant! charmant!» Но я былъ нестерпимо глупъ въ этотъ вечеръ; сердце у меня не то чтобы билось, а какъ-то, знаете, непріятно колотило грудь. Однимъ словомъ, я былъ робокъ, застѣнчивъ, нелѣпъ. Однако, это ей, повидимому, еще болѣе понравилось, потому что слово «charmant» не переставало сходить съ ея языка. И въ самомъ дѣлѣ, безъ хвастовства скажу, я былъ очень недуренъ собой. Въ то время, знаете, все это было не измято, кровь обращалась быстро... А старушки всѣ эти подробности разбираютъ по-аматёрски: ихъ сентиментальничаньемъ да томными взглядами не удивишь... Конечно, я и теперь могу нравиться, но все, знаете, нѣтъ этого огня, который въ одну минуту зажигаетъ пожары...

— Знаютъ себѣ цѣну!—прервалъ Рогожкинъ. — Полноте-съ, Григорій Сергѣичъ, скромничать-то! Объ этомъ надобно допросить у Марины Ѳерапонтовны, какъ у васъ огня якобы нѣтъ!

— Въ одно прекрасное утро я увидѣлъ себя обладателемъ небольшого капитала, и счелъ уже возможнымъ бросить тяжелый образъ жизни, который положительно разстраивалъ мое здоровье. «И конечно! — сказалъ Бурковъ, которому я сообщилъ о моихъ намѣреніяхъ:—ну, потѣшилъ старуху — и чортъ съ ней!» Оставалось рѣшить, какое употребленіе сдѣлать изъ пріобрѣтеннаго капитала. «Знаешь, mon cher, сказалъ Бурковъ, мнѣ надоѣлъ ужъ Петербургъ; все какъ-то здѣсь холодно, непривѣтливо, нѣтъ этой поэзіи, этой милой простоты, которой проситъ душа... Послѣ жизненныхъ треволненій намъ нужно успокоиться, освѣжиться на лонѣ природы—будемъ ѣздить по ярмонкамъ!»

— Ай да молодецъ Петька Бурковъ! — воскликнулъ Рогожкинъ, прыснувъ со смѣха.—Нашелъ же природу... слышите ли—гдѣ: на ярмонкѣ! Ахъ ты, шельма!

— Во-первыхъ, такая скотина, какъ ты,—отвѣчалъ Горехвастовъ сурово:—должна выражаться о геніальныхъ людяхъ съ почтеніемъ; во-вторыхъ, слѣдовало бы тебя, за твою продерзость, выбросить изъ окошка; а въ-третьихъ, если тебѣ и прощается твой поступокъ на первый разъ, то единственно изъ уваженія къ слабости твоего разсудка... Цыцъ! молчать!

Рогожкинъ хотѣлъ-было оправдываться; онъ уже лепеталъ, что слово «шельма» употреблено имъ не въ осужденіе, но Горехвастовъ взглянулъ на него такъ грозно, что онъ присѣлъ

— Однако, мы не нашли покоя, котораго искали,—продолжалъ Горехвастовъ нѣсколько сентиментально.—Однажды я металъ банкъ, и металъ, по обыкновенію, довольно счастливо, какъ вдругъ одинъ изъ партнеровъ, незнакомецъ вершковъ этакъ десяти, схватилъ меня за руки и сжалъ ихъ такъ крѣпко, что кости хрустнули. «Вы, сударь, подлецъ!» сказалъ онъ мнѣ. Я обидѣлся; но онъ такъ сжалъ мои руки, что я чувствовалъ себя совершенно въ клещахъ. «Вы подлецъ,—продолжалъ онъ:—и я сейчасъ это докажу». Ну, и доказалъ... «Вы, говоритъ, должны сейчасъ выйти вонъ отсюда, черезъ это окошко». Дѣло было во второмъ этажѣ, а въ этихъ проклятыхъ провинціяхъ вторые этажи Богъ знаетъ какъ высоко отъ земли строятся. Я было протестовалъ; но тутъ поднялись такіе дикіе крики, что я внезапно озябъ, несмотря на то, что въ комнатѣ было даже душно. «Выбросить его, каналью!» кричали одни. «Да головой внизъ, а руки сзади связать!» предлагали другіе. «Нѣтъ, господа,—возразилъ незнакомецъ: — такое важное дѣло надо въ порядкѣ устроить: сначала оберемъ всѣ капиталы у господина промышленника, а потомъ предложимъ ему выпрыгнуть изъ окна самому»...

Горехвастовъ остановился и углубился на минуту въ горестныя размышленія.

— Вина, Рогожкинъ!—сказалъ онъ, какъ бы просыпаясь отъ непріятнаго сновидѣнія и приходя въ дѣланный азартъ.—Вина, чортъ побери, вина!

Рогожкинъ засуетился.

— И такова несправедливость судебъ,—продолжалъ Горехвастовъ:—что мнѣ же велѣно было выѣхать изъ города...

— Сс!..—произнесъ Рогожкинъ, качая головой.

— Что ужъ со мной послѣ этого было—право, не умѣю вамъ сказать. Разнообразіе изумительное! Былъ я и актеромъ въ странствующей труппѣ, былъ и повѣреннымъ, и опять игрокомъ... Даже удивительно, право, какъ природа неистощима! Вотъ, кажется, такъ упалъ, что расшибся въ прахъ — анъ, нѣтъ, смотришь, опять вскочилъ и пошелъ шагать, да еще бодрѣе прежняго.

— Нѣтъ-съ, Григорій Сергѣичъ, воля ваша, а вы разскажите про Машеньку-то!—сказалъ Рогожкинъ.

— Да, это было чудное, неземное существо! — отвѣчалъ сентиментально Горехвастовъ:—она любила меня, любила такъ, какъ никто любить не будетъ... Была она купеческая жена... Казалось бы, «купеческая жена» и «любовь»—два

понятія несовмѣстимыя, а между тѣмъ, знаете ли, въ этомъ народѣ, въ этихъ gens de rien, есть много хорошаго... право! Бѣдная Мери! она пожертвовала мнѣ всѣмъ: «ты и хижина на берегу моря»—говорила она мнѣ, и я увѣренъ, что она была искренна, и въ крайнемъ случаѣ могла бы даже обойтись и безъ моря. Я въ то время принадлежалъ къ странствующей труппѣ актеровъ, и мы видались довольно часто. Но что̀ это были за свиданья, Николай Иванычъ,— я даже приблизительно не могу описать вамъ! Это было нѣчто знойное, душное, саднящее... почти нестерпимое! Я блаженствовалъ. Однажды, въ одно прекрасное утро, она приходитъ ко мнѣ совершенно растрепанная. «Знаешь ли, говоритъ, мой идолъ, мы открыты!» Оказалось, что ея гнусный мужъ, эта сивая борода, замѣтилъ ея посѣщенія и туда же вздумалъ оскорбляться! Я задумался. «Мери,— сказалъ я ей:—хочешь навѣки быть моею?» Ну, разумѣется, клятвы, увѣренія; положили на томъ, чтобы ей захватить какъ можно больше денегъ и бѣжать со мной... Но нѣтъ, я не въ силахъ продолжать...

Горехвастовъ поникъ головой и началъ горько подергивать губами, а черезъ нѣсколько времени сдержаннымъ и дрожащимъ голосомъ произнесъ:

— И я ее оставилъ!.. Я взялъ всѣ ея деньги и бросилъ ее на первой же станціи!

Онъ вскочилъ съ дивана и, обхвативъ обѣими руками голову, зашагалъ по комнатѣ, безпрестанно повторяя:

— Нѣтъ, я подлецъ! я не стою̀ быть въ обществѣ порядочныхъ людей! я долженъ просить прощенія у васъ, Николай Иванычъ, что осмѣлился осквернить вашъ домъ своимъ присутствіемъ!

Въ это самое время мой камердинеръ шепнулъ мнѣ на ухо, что меня дожидается въ передней полицеймейстеръ. Хотя я имѣлъ душу и сердце всегда открытыми, а слѣдовательно не зналъ за собой никакихъ провинностей, которыя давали бы поводъ къ знакомству съ полицейскими властями, однакожъ встревожился таинственностью пріемовъ, употребленныхъ въ настоящемъ случаѣ, тѣмъ болѣе, что Горехвастовъ внезапно поблѣднѣлъ и началъ дрожать.

— Извините, Николай Иванычъ,—началъ господинъ полицеймейстеръ:—но у васъ въ настоящее время находится господинъ Горехвастовъ?

— Точно такъ-съ, — отвѣчалъ я, невольнымъ образомъ

робѣя.—Но какое же отношеніе между господиномъ Горехвастовымъ и вашимъ посѣщеніемъ?.. Ахъ, да не угодно ли закусить?..

— Благодарю покорно, я сытъ-съ. У меня до господина Горехвастова есть дѣльце... Вчерашній день обнаружилась въ одномъ мѣстѣ пропажа значительной суммы денегъ, и такъ какъ господинъ Горехвастовъ находился въ непозволительной связи съ женщиною, которая навлекаетъ на себя подозрѣніе въ кражѣ, то... Извините меня, Николай Иванычъ, но я долженъ вамъ сказать, что вы очень не разборчивы въ вашихъ знакомствахъ!

Я поникъ головой.

— Я какъ отецъ говорю вамъ это,—продолжалъ господинъ полицеймейстеръ (мнѣ даже показалось, что у него слезы навернулись на глазахъ):—потому что вы человѣкъ молодой, еще неопытный, вы не знаете, какъ много значатъ дурные примѣры...

— Помилуйте, вѣдь и князь Левъ Михайлычъ принимаетъ господина Горехвастова!—рѣшился я сказать.

— Князь Левъ Михайлычъ особа престарѣлая-съ; они, такъ сказать, закалены въ горнилѣ опытности, а у васъ душа мягкая-съ!.. Вы все равно какъ дѣти на огонь бросаетесь,—прибавилъ онъ, ласково улыбаясь.

— Такъ вамъ угодно...

— Да-съ; я бы желалъ произвести арестъ-съ... Господинъ Горехвастовъ!—сказалъ онъ, входя въ комнату:—вы обвиняетесь въ кражѣ казенныхъ денегъ... благоволите слѣдовать за мной!

Горехвастовъ не прекословилъ; онъ внезапно упалъ духомъ до такой степени, какъ будто потерялъ всякое сознаніе. Мнѣ даже жалко было смотрѣть на это пожелтѣвшее лицо и на вялыя, какъ бы машинальныя движенія его тѣла.

— А! и ты здѣсь, Рогожка!—продолжалъ господинъ полицеймейстеръ, замѣтивъ Рогожкина, который забился въ уголъ и трясся всѣмъ корпусомъ.

Рогожкинъ началъ усиленно топтаться на одномъ мѣстѣ.

— Захватить кстати и его!—сказалъ господинъ полицеймейстеръ, обращаясь въ переднюю, изъ которой вылѣзли два кавалера колоссальныхъ размѣровъ.

Я невольнымъ образомъ вспомнилъ возвращеніе отъ Размахнина.

VIII.
ВЪ ОСТРОГѢ.

Посѣщеніе первое.

Видъ городской тюрьмы всегда производитъ на меня грустное, почти болѣзненное впечатлѣніе. Высокія, бѣлыя стѣны зданія съ его рѣдкими окнами, снабженными рѣшетками, съ его дворомъ, обнесеннымъ тыномъ, съ плацформой и мрачною кордегардіей, которую туземцы величаютъ *каррегардіей* и *каллегвардіей*,—все это можетъ навести на самаго равнодушнаго человѣка то тоскливое чувство недовольства, которое внезапно и безотчетно сообщаетъ невольную дрожь всему его существу.

Что привело сюда ихъ, этихъ странниковъ моря житейскаго? Постепенно ли, съ юныхъ лѣтъ развращаемая и, наконецъ, до отупѣнія развращенная воля, или просто жгучее чувство личности, долго не признаваемое, долго сдерживаемое въ разъѣдающей борьбѣ съ самимъ собою и, наконецъ, разорвавшее всѣ преграды и, какъ вышедшая изъ береговъ рѣка, унесшее въ своемъ стремленіи все — даже бѣднаго своего обладателя? Мы, люди прохожіе—народъ благодушный и добрый; мы, по натурѣ своей, склонны болѣе оправдывать, нежели обвинять, скорѣе прощать, нежели карать; притомъ же мы дѣломъ не заняты—такъ мудрено ли, что такіе вопросы толпами лѣзутъ въ наши праздныя головы?..

Намъ слышатся изъ тюрьмы голоса, полные силы и мощи, передъ нами воочію развиваются драмы, одна другой запутаннѣе, одна другой замысловатѣе... Какъ ни говорите, а свобода все-таки лучшее достояніе человѣка, и потому какъ бы ни было велико преступленіе, совершенное имъ, но ли-

шеніе, которое его сопровождаетъ, такъ тяжело и противоестественно само по себѣ, что и самый страшный злодѣй возбуждаетъ наше сожалѣніе, коль скоро мы видимъ его въ одеждѣ и оковахъ арестанта. Намъ дѣла нѣтъ до того, что̀ такое этотъ человѣкъ, который стоитъ передъ нами; мы не хотимъ знать, какая черная туча тяготѣетъ надъ его совѣстью — мы видимъ, что передъ нами арестантъ, и этого слова достаточно, чтобъ поднять со дна души нашей всѣ ея лучшіе инстинкты, всю эту жажду состраданія и любви къ ближнему, которая въ самомъ извращенномъ и безобразномъ субъектѣ заставляетъ насъ угадывать брата и человѣка со всѣми его притязаніями на жизнь человѣческую и ея радости и наслажденія.

Находившись, по обязанности, въ частомъ соприкосновеніи съ этимъ темнымъ и безотраднымъ міромъ, въ которомъ, кажется, самая идея надежды и примиренія утратила всякое право на существованіе, я никогда не могъ свыкнуться съ нимъ, никогда не могъ преодолѣть этотъ смутный трепетъ, который, какъ сырой осенній туманъ, проникаетъ человѣка до костей, какъ только хоть издали послышится глухое и мѣрное позвякиванье желѣзныхъ оковъ, безпрерывно раздающееся въ длинныхъ и темныхъ коридорахъ замка. Атмосфера арестантскихъ камеръ, несмотря на частое освѣженіе, тяжела и удушлива; сѣровато-желтыя лица заключенниковъ кажутся суровыми и непреклонными, хотя, въ сущности, они по бо̀льшей части выражаютъ только тупость и равнодушіе; однообразіе и узкость формъ, въ которыя насильственно втиснута здѣсь жизнь, давитъ и томитъ душу. Чувствуется, что здѣсь конецъ всему, что здѣсь не можетъ быть ни протеста, ни борьбы, что здѣсь царство агоніи, но агоніи молчаливой, безъ хрипѣнія, безъ стоновъ...

И между тѣмъ тамъ, за этими толстыми желѣзными затворами, въ этихъ каменныхъ стѣнахъ, куда не проникаетъ ни одинъ звукъ, ни одинъ лучъ веселаго Божьяго міра, есть также своего рода жизнь; тамъ также установляются своеобразныя отношенія, заводятся сильные и слабые, образуется свое общее мнѣніе, свой судъ — посильнѣе и подѣйствительнѣе суда смотрительскаго. Проникнуть въ эту жизнь, освоиться съ ея маленькими интересами нѣтъ почти никакой возможности. Надо быть или очень благодушнымъ, или очень хитрымъ человѣкомъ, чтобы овладѣть довѣріемъ людей, которые имѣютъ свои причины, чтобы на всякую такого рода попытку смотрѣть подозрительно, какъ на по-

пытку воспользоваться этимъ довѣріемъ въ ущербъ ихъ интересамъ. Странное дѣло! эти люди, для которыхъ преступленіе составляетъ привычку, съ необыкновеннымъ инстинктомъ умѣютъ отличить истинное благодушіе отъ хитрости и лукавства и даже отъ простого празднаго любопытства!

У меня былъ въ Крутогорскѣ хорошій знакомый,—назовемъ его хоть Яковомъ Петровичемъ, — который обладалъ особеннымъ искусствомъ вызывать довѣріе арестантовъ. Обязанный посѣщать тюрьму почти ежедневно, онъ зналъ не только исторію преступленія, но и характеръ, и даже привычки каждаго арестанта. Человѣкъ онъ былъ простой и малограмотный до наивности; убѣжденъ былъ, что Лондонъ стоитъ на устьѣ Волги, и что есть въ мірѣ народъ, называемый *хвецы,* который исключительно занятъ выдѣлкой мази для рощенія волосъ. По словамъ его, онъ самъ мазалъ свою лысину этимъ составомъ, и волосы точно выросли, но такіе толстые, какъ въ лошадиномъ хвостѣ, и большихъ усилій и страданій ему стоило, чтобъ ихъ оттуда повыдергать. Несмотря на это, онъ все-таки былъ отличнѣйшій человѣкъ: въ немъ въ высшей степени было развито то высокое благодушіе, которое претворяетъ чиновника въ человѣка, которое, незамѣтно для нихъ самихъ, проводитъ живую и неразрывную связь между судьею и подсудимымъ, между строгимъ исполнителемъ закона и тѣмъ, который, говоря отвлеченно, составляетъ лишь казусъ, къ которому тотъ или другой законъ примѣнить можно. Поэтому не покажется страннымъ, если и между арестантами были у него своего рода фавориты, возбуждавшіе въ немъ если не сочувствіе, то, по крайней мѣрѣ, живое участіе къ ихъ положенію.

Его-то обязательное содѣйствіе поставило меня въ возможность подѣлиться съ читателемъ разсказами, которые рекомендуются здѣсь его благосклонному вниманію.

Стоявшій передъ нами арестантъ былъ не великъ ростомъ и довольно сухощавъ; но широкая грудь и чрезвычайное развитіе мускуловъ свидѣтельствовали о его физической силѣ. Лицо у него было молодое, умное и даже кроткое; высокій лобъ и впалые, но еще блестящіе глаза намекали на присутствіе мысли, на возможность прекрасныхъ и благородныхъ движеній души; только концы губъ были нѣсколько опущены, и это какъ будто разрушало гармонію цѣлаго лица, придавая ему оттѣнокъ чувственности и сладострастія. Онъ вообще велъ себя скромно и никогда не ропъ-

талъ, но частые вздохи и постоянно тоскливое выраженіе глазъ показывали, что выпавшее ему на долю положеніе тяжелымъ камнемъ легло ему на сердце.

«А попалъ я, сударь,—началъ онъ:—сюда вотъ какимъ родомъ. Жилъ я до того времени въ своей семьѣ и ничѣмъ по крестьянству отъ Бога изобиженъ не былъ. Сторона наша лѣсистая, болотистая и непривольная; куда ни глянешь—все лѣсъ, да вода, да тундра непроходимая; однако, лучше этой стороны, кажется, на всемъ свѣтѣ не сыщешь; все тамъ хорошо. Извѣстное дѣло, къ чему кто сызмальства пріобыкъ, то и любо, особливо нашему брату, мужику. Возьмемъ, примѣрно, хоть службу солдатскую — чѣмъ не служба?—а идти туда мало охочихъ сыщешь, развѣ ужъ у кого ни роду, ни племени. Худого мнѣ въ ту пору и во снѣ не снилось, не то что наяву; однако, вотъ теперь въ острогѣ. Оно и выходитъ, что кому какая линія написана, той и не миновать. Меня и на деревнѣ знали; и не пьяница я былъ, и не воръ, а вотъ сдѣлалъ же такое дѣло... ну, да ужъ Богъ съ нимъ! Изъ сказки слова не выкинешь...

«Жила у насъ на деревнѣ солдатка, Паранькой звали. Бабенка она была молодая, изъ себя пригожая, бѣлая, крѣпонькая. Только и полюбись она мнѣ. Деревня, извѣстно, не городъ: и у колодца, и въ полѣ, и въ лѣсу—вездѣ встрѣчаешься: тамъ слово скажешь, тамъ глазомъ мигнешь—ну, и понятно. А я, какъ увижу, бывало, ее, такъ словно тебѣ нутро знобить начнетъ; взялъ бы, кажется, ее въ охапку, да такъ бы и закоченѣлъ весь тутъ. Это, баринъ, бываетъ. А не то бывало и такъ, что подъ окошкомъ избы цѣлый вечеръ сидишь, и все только ждешь, не пройдетъ ли Параня по улицѣ. А пройдетъ, такъ и въ глазахъ словно свѣтлѣе сдѣлается... Не веселая, я вамъ доложу, эта жизнь, по той причинѣ, что и говорить будто совсѣмъ забылъ, и работать не хочется, а какъ вспомнишь прошлое, такъ и теперь бы, пожалуй, хоть мало-мальски такъ пожилъ. Выходитъ, что всякому человѣку такое время бываетъ, что вотъ, кажется, пройдетъ да только сарафаномъ тебя задѣнетъ, такъ словно дрожь тебя всего проберетъ. А сами знаете, какой у нашихъ бабъ сарафанъ!

«Свидѣлись мы съ нею сперва-на-перво у колодца; деревенскіе были всѣ на работѣ: стало-быть, никого при этомъ и не было. Будто теперь вижу: опустила она въ колодецъ бадью, а вытащить-то и не по силамъ.

«— Что, говорю, Параня, али тяжело?

«— Да, говоритъ, тяжело.

«Только и разговору у насъ въ этотъ разъ было. Хотѣлъ я подойти къ ней поближе, да робостно: хотѣнье-то есть, а силы нѣтутка. Однако, стало-быть, она запримѣтила, что у меня сердце по ней измираетъ: на другой день и опять къ колодцу пришла. Пришелъ и я. Извѣстно, стою у сруба да молчу, даже ни слова молвить не могу: такъ, словно все дыханье умерло, дрожу весь—и вся не долга. Въ этотъ разъ она ужъ сама зачала.

«— Что ты, говоритъ, какой смѣшной ходишь! Али кто тебя изобидѣлъ?

«Ну, а я все молчу.

«— Ты, говоритъ, мнѣ скажи, коли у тебя что болитъ: я вѣдь лѣкарка.

«А сама нагибается, чтобъ взяться за коромысло, а грудь-то у нея высокая да бѣлая, словно пѣна молочная: свѣта я, сударь, не взвидѣлъ. Бросился къ ней, выхватилъ коромысло изъ рукъ, а самъ словно остервенѣлъ: ужъ не то что цѣловать, а будто задушить се хотѣлъ; кажется, кабы она не барахталась, такъ и задушилъ бы тутъ. Очень для меня этотъ день памятенъ.

«Не по нраву ей, что ли, это пришлось, или такъ ужъ всѣмъ естествомъ баба пагубная была — только стала она меня оберегаться. На улицѣ ли встрѣтитъ—въ избу хоронится, въ полѣ завидитъ—назадъ въ деревню бѣжитъ. Сталъ я примѣчать, что и парни меня будто на смѣхъ подымаютъ; идешь это по деревнѣ, а сзади тебя то и дѣло смѣхъ да шушуканье: «слышь, молъ, Гаранька, ночесь Парашка отъ тоски по тебѣ задавиться хотѣла!» Ну, и я все терпѣлъ—терпѣлъ не отъ робости, а по той причинѣ, что развлекаться мнѣ пустымъ дѣломъ не хотѣлось.

«Разъ какъ-то изымалъ я, однако, ее: изымалъ да и говорю:

«— Что-жъ, молъ, ты, Параня, къ колодцу ходить перестала? Али не любъ сталъ?

«А она, знашь, легла у меня головонькой-то на грудь, глаза закрыла, вся словно помертвѣла и не дышитъ.

«— Что-жъ, говорю, Параня, молви хоть словечко!

«А самъ, знашь, по головѣ ее глажу... Очнулась она маленько, я опять къ ней.

«— Полюби, говорю, меня, Параня; горько мнѣ безъ тебя на свѣтъ-то глядѣть.

«А она—что бы вы, сударь, думали?—вырвалась у меня изъ рукъ.

«— Что, говоритъ, на мученье, на тиранство, что ли, я тебѣ досталась, разбойникъ ты этакой, что ты надо мной властвовать задумалъ? Я, говоритъ, хочу—люблю, не хочу—не люблю.

«И убѣжала.

«Пришелъ и я, ваше благородіе, домой, а тамъ отецъ съ матерью ругаются: работать, вишь, совсѣмъ дома некому; пошли тутъ брань да попреки разные... Самъ вижу, что за дѣло бранятъ, а перенести на себѣ не могу; окромѣ злости да досады, ничего себѣ въ разумъ не возьму; такъ-то тошно стало, что взялъ бы, кажется, всѣхъ за однимъ разомъ зарубилъ, да и на себя, пожалуй, руку наложить, такъ въ ту же пору.

«Время это было осеннее; объ эту пору наши мужички въ заводы на заработки уходятъ: руду копать, уголье обжигать, лѣсъ рубить; почесть что цѣлую зиму въ лѣсахъ живутъ. Однако, какъ я одинъ былъ сынъ въ семьѣ, то на эти работы еще не хаживалъ, да и достатками мы, супротивъ другихъ, были поисправнѣе. Вотъ и вздумалъ я проситься у родителей въ заводы. Отпустили. Пришлось на мой пай уголья обжигать; работа эта самая тяжелая; глаза дымомъ такъ и изъѣдаетъ, а на лицѣ не то чтобъ Божьяго, а и человѣчьяго образа не увидишь. Принялся я горячо, потому что думаю, какъ бы мнѣ хоть за работой, что ли, свою дурость забыть. И точно, всю эту зиму я словно въ раю блаженствовалъ; только вечеромъ, отработавшись, какъ сядешь этакъ передъ костромъ, такъ словно Параня изъ огня тоненькими струйками выходитъ... Что-жъ, плюнешь, перекрестишься, и опять ничего.

«Пришла опять весна, пошли ручьи съ горъ, взглянуло и въ наши лѣса солнышко. Я, ваше благородіе, больно это времечко люблю; кажется, и не нарадуешься: вездѣ капѣль, вездѣ вода—вездѣ, выходитъ, шумъ; въ самомъ то-есть пустомъ мѣстѣ словно кто-нибудь тебѣ соприсутствуетъ, а не одинъ ты бредешь, какъ зимой, напримѣръ.

«Пошли наши по домамъ; сталъ и я собираться. Собираюсь, да и думаю: Господи! что, если лѣтошняя дурость опять ко мнѣ пристанетъ? И тутъ же далъ себѣ зарокъ: коли будетъ надо мной такая напасть — идти въ лѣса къ *старцамъ* душу спасать. Я было и зимой объ этомъ подумывалъ, да все отца-матери будто жалко. Прибрелъ я домой, а на улицѣ встрѣчаетъ меня Паранька. Встрѣтила,

да сама смѣется. Я было отвернулся, такъ нѣтъ, сударь, такъ и тянетъ; подошелъ къ ней.

«— Здравствуй, говорю, Параня!

«— Здравствуй! А много заработалъ?

«— Что-жъ ты смѣешься?—спрашиваю я.

«— А мнѣ что не смѣяться? Развѣ ужъ и смѣяться нельзя? Ишь строгой какой!

«— Да ты не смѣйся, говорю я, а скажи мнѣ толкомъ: согласна ли ты меня любить—вотъ, молъ, что!

«Сѣла она на скамеечку и молчитъ; только словно изъ-подъ платка потихоньку посмѣивается; сѣлъ и я тутъ же возлѣ.

«— Полно, говорю я, не дурачься, Параня; стало-быть, не миновать этому дѣлу, если вотъ хотѣлъ себя перемочь, да ишь нѣту... Перестань же, Параня!

«— А развѣ ты за тѣмъ въ работы ходилъ, чтобъ меня забыть?

«— Да...

«— Ну, такъ и забывай же...

«Хотѣла она тутъ встать, да я не пустилъ; схватилъ ее въ охапку, да и усадилъ ужъ силомъ.

«— Нѣтъ, говорю, не уйду, доколѣ ты не отвѣтишь, какъ мнѣ желательно.

«— Да что ты, проспись! Вѣдь у меня мужъ есть: что я тебѣ скажу?

«— Знаю я, что мужъ есть! Да вѣдь онъ солдатъ!

«— Такъ что-жъ, что солдатъ! Вотъ годковъ черезъ пятнадцать воротится, станетъ спрашивать, зачѣмъ, молъ, съ Гаранькой дружбу завела — дастъ онъ тебѣ въ ту-пору встрепку...

«А сама все смѣется и на меня глазами коситъ; а у меня зло такъ и подступаетъ: такъ бы, кажется, и разорвалъ ее всю, да боюсь дѣло напортить.

«— А что, говоритъ, никакъ ты меня и взаправду любишь?

«Я было къ ней, такъ куда!—понесла опять старое: мужъ да мужъ—только и словъ.

«Вотъ и сталъ я ей припоминать, все припоминалъ: и Михейку рыжаго, и татарина-ходебщика, и станового — всѣхъ тутъ назвалъ... что-жъ, молъ, хуже я ихъ, что ли?

«А она, сударь, хоть бы тебѣ поморщилась.

«— Ишь, говоритъ, сколько набралъ!

«Съ тѣмъ я и ушелъ. Много я слезъ черезъ эту бабу пролилъ! И Христосъ ее знаетъ, что на нее нашло! Знаю я самъ, что она совсѣмъ не такая была, какою передо мной

прикинулась; однако, и денегъ ей сулилъ, и извести божился — нѣтъ, да и все тутъ. А не то возьметъ да дразнить начнетъ: «смотри, говоритъ, мнѣ лѣсничій намеднись платочекъ подарилъ!»

«Дразнила она меня такимъ манеромъ долго, и все я себя перемогалъ; однако, Богъ попуталъ. Узналъ я какъ-то, что Параня въ лѣсъ по грибы идетъ. Пошелъ и я, а за поясомъ у меня топоръ: не то чтобъ у меня въ то время намѣреніе какое было, а просто потому, что мужику безъ топора быть нельзя. Встрѣтился я съ ней, а она—вѣрно, забыла, какъ я ее у колодца-то трепалъ—опять надо мною посмѣивается:

«— Что, говоритъ, знать, въ лѣсу тоску разогнать пришелъ?!

. . . . . .

«Богъ свидѣтель, баринъ, не чуялъ я въ ту пору и самъ, что̀ дѣлаю; не знаю и теперь. Помню только, что выхватилъ я топоръ изъ-за пояса, и билъ имъ, куда попало, билъ дотолѣ, доколѣ самъ съ ногъ не свалился. Потемнѣло у меня въ глазахъ, и вся кровь въ голову такъ и хлынула! Однако, я тутъ уснулъ и спалъ этакъ съ полсутки. Только выспавшись и увидѣвши подлѣ себя Парашку ужъ мертвую, я будто очнулся и началъ припоминать все, какъ было. Сначала, я было-испужался и хотѣлъ бѣжать, а потомъ махнулъ на все рукой и объявился становому. У него, сударь, въ это самое время лѣсничій въ гостяхъ сидѣлъ — тотъ самый, что̀ платокъ-отъ ей подарилъ; началъ-было онъ меня бить, да мнѣ ужъ что̀!.. Надѣли на меня тутъ колодки и привезли сюда».

Арестантъ вздохнулъ.

— Что-жъ, объяснялъ ты объ этомъ подробно при слѣдствіи?—спросилъ я.

— А объ чемъ это, ваше благородіе?

— Ну, да объ этомъ, какъ она тебя почти сама на преступленье вызвала?

— Сначала объяснялъ, а потомъ бросилъ.

— Отчего же?

— Да становой сказываетъ, что это все лишнее: «*почти*-то, говоритъ, не считается; ты, говоритъ, дѣло показывай, а околесицу-то не городи!»

Арестантъ потупился.

— Что̀-жъ,—продолжалъ онъ:—виноватъ я; правда, что виноватъ... А коли по правдѣ-то разсудить, такъ вѣдь

истинно, ваше благородіе, я не своемъ разумѣ тогда былъ; оттого что, будь я въ своемъ разумѣ, зачѣмъ бы мнѣ экое дѣло дѣлать! Я вѣдь знаю, что нашего брата за эти дѣла не похвалятъ... Вотъ ихъ благородіе довольно меня знаютъ: сдѣлалъ ли я когда дурное дѣло? согрубилъ ли кому-нибудь? А вотъ ужъ пятый годъ здѣсь! Ну, и міръ весь за меня стоялъ: всякому вѣдомо, что я въ жизнь никого не обидѣлъ, исполнялъ свое крестьянство, какъ слѣдуетъ — стало-быть, не разбойникъ и не душегубъ былъ! Однако, вотъ я въ тюрьмѣ, да и то, видишь, еще мало, потому, говорятъ, у тебя на душѣ убивство! Оно конечно, убивство, да вѣдь надо его сообразить—убивство-то!

На послѣднихъ словахъ голосъ его задрожалъ и щеки замѣтно поблѣднѣли.

— Мнѣ не то обидно,—говорилъ онъ почти шопотомъ:— что меня ушлютъ—міръ вездѣ великъ, стало-быть, и здѣсь, и въ другомъ мѣстѣ вездѣ жить можно,—а то вотъ, что всякъ тебя убійцей зоветъ, всякъ пальцемъ на тебя указываетъ! Другой, сударь, сызмальства воръ, всю жизнь по чужимъ карманамъ лазилъ, а и тотъ норовитъ въ глаза тебѣ наплевать: я, дескать, только воръ, а ты убійца!..

Въ слѣдующей каморѣ было нѣсколько арестантовъ; при нашемъ появленіи они всѣ встали съ наръ и обступили Якова Петровича.

Впереди всѣхъ стоялъ молодой парень лѣтъ двадцати, не болѣе, по прозванію Колесовъ; онъ держалъ себя очень развязно, и тогда какъ прочіе арестанты оказывали при разспросахъ болѣе или менѣе смущеніе и вообще отвѣчали не совсѣмъ охотно, онъ самъ вступалъ въ разговоръ и велъ себя какъ джентльменъ бывалый, которому на все наплевать.

— Смирно онъ себя ведетъ?—спросилъ Яковъ Петровичъ у смотрителя.

— Съ тѣхъ поръ, какъ высидѣлъ въ темной.

— Конечно-съ,—вступается арестантъ:—находясь, можно сказать, въ несчастіи, отъ природы преслѣдуемъ, отъ властей гонимъ; претерпѣвъ всѣ кораблекрушенія и бури житейскія и будучи при всемъ томъ воспитанъ отъ родителей въ мѣщанскомъ состояніи, самъ собою просвѣщеніе получилъ...

— А что у тебя въ рукахъ?—спрашиваетъ Яковъ Петровичъ, беря у него изъ рукъ книгу.

— Гражданскія исторіи-съ. Имѣя съ малолѣтства жажду къ просвѣщенію и будучи отторгнутъ отъ свѣтскаго общества, единственную нахожу для себя отраду въ своей невинности и въ чтеніи назидательныхъ исторій.

Книжка оказалась какой-то переводный романъ Дюма.

— Ну, а разскажи-ка намъ, за что ты тутъ сидишь?

— Вашему высокоблагородію извѣстно, что собственно отъ моей невинности-съ; по той причинѣ, что можно и голубицу оклеветать, и черезъ это лишить общества образованныхъ людей... Однако, самъ господинъ становой видѣли мою невинность и оправдали меня, потому какъ я единственно изъ-за своей простоты страдаю-съ...

— Да; становой за это ужъ и суду преданъ.

— Конечно-съ, мы съ нимъ ѣздили на лодкѣ, съ хозяиномъ-съ: это я передъ вашимъ высокоблагородіемъ какъ передъ Богомъ-съ... А только какимъ манеромъ они утонули, этого ни я, ни товарищъ мой объясниться не можемъ-съ, потому что какъ на это ихъ собственное желаніе было, или какъ они противъ меня озлобленіе имѣли, такъ, можетъ, черезъ эвто самое хотѣли меня подъ сумнѣніе ввести, а я въ эвтомъ дѣлѣ не причастенъ.

Товарищъ, на котораго ссылался Колесовъ, стоялъ тутъ же и обнаруживалъ полнѣйшее равнодушіе. Онъ тоже былъ мѣщанинъ, огромнаго роста, и, повидимому, весьма сильный. Изрѣдка, вслушиваясь въ слова Колесова, онъ тупо улыбался, но вмѣстѣ съ тѣмъ хранилъ упорное молчаніе; по всему видно было, что онъ служилъ только орудіемъ для совершенія преступленія, душою же и руководителемъ былъ въ этомъ дѣлѣ Колесовъ.

— Ну, а какъ же утопленникъ-то очутился со связанными назади руками?

— Ничего я объ этомъ, ваше благородіе, объяснить не могу... Это точно, что они передъ тѣмъ, какъ изъ лодки имъ выпрыгнуть, обратились къ товарищу: «свяжи мнѣ, говоритъ, Трофимушка, руки!» А я еще въ ту пору и говорю имъ: «Христосъ, молъ, съ вами, Аггей Ѳедотычъ, что вы надъ собой задумываете?» Ну, а они не послушали: «цыцъ, говоритъ, собака!» Что же-съ, извѣстно, ихъ дѣло хозяйское: намъ имъ перечить развѣ возможно?

— Разумѣется, разумѣется... А дѣло вотъ въ чемъ,—продолжалъ Яковъ Петровичъ, обращаясь ко мнѣ:—нужно было ихнему хозяину съѣздить изъ города на фабрику; поѣхалъ онъ на лодкѣ, а гребцами были вотъ эти два молодца. Хо-

зяинъ купецъ богатѣйшій—вотъ и задумали они его утопить, и деньги, которыя при немъ были, ограбить. Только, должно-быть, кущу-то умирать еще не больно хотѣлось, такъ они ему и руки связали, чтобъ не барахтался, да такъ въ рѣку и кинули... Ну, разумѣется, слѣдствіе. Что-жъ бы вы думали! Становой нашелъ, что все это произошло очень натурально—вотъ хошь бы такимъ образомъ, какъ онъ сейчасъ разсказывалъ...

Колесовъ вздохнулъ.

— Оно конечно-съ,—сказалъ онъ:—ваше высокоблагородіе надъ нами властны, а это точно, что я передъ Богомъ въ этомъ дѣлѣ не причиненъ. Противъ воли хозяйской какъ идти можно? Сами вы извольте разсудить.

— Ну, а ты что?—обратился мой путеводитель къ маленькому мужичонкѣ, тутъ же стоявшему.

— Много довольны, много довольны, ваше благородіе!—отвѣчалъ мужичонка, безпрестанно кланяясь и торопясь говорить.—Скоро ли, батюшка, рѣшенье выйдетъ?

— А ты развѣ давно сидишь?

— Четвертый годъ, ваше благородіе, четвертый годокъ вотъ послѣ второго Спаса пошелъ... Не можно ли, ваше благородіе, поскорѣе рѣшенье-то? Намеднись жена изъ округи приходила—больно жалится: «Охъ, говоритъ, Самсонушко, хошь бы тебя поскорѣй, что ли, отселева выпустили: все бы, молъ, дома способнѣе было». Право-ну!

— Скоро, скоро будетъ и рѣшенье; однако, врядъ ли тебя домой отпустятъ...

— Ну! стало-быть, слышь, въ Сибирску губернію?

— Не знаю; только врядъ ли домой попадешь... А знаете ли вы, за что онъ подъ судъ попалъ? Дѣло очень простое: мужичонка онъ простоватый, несмышленый, и жилъ въ большой бѣдности...

— Правда это сущая, ваше благородіе, правда,—заговорилъ арестантъ:—такая-то бѣдность, что и Господи! Въ дому вотъ эконькой корочки хлѣбца не сыщешь—сущая это правда!

— Между тѣмъ пришло время подать за полугодіе платить. Что тутъ дѣлать? Денегъ дома нѣтъ ни копейки, достать негдѣ, а сборщикъ требуетъ настоятельно...

— Истинно такъ, ваше благородіе,—опять перебилъ арестантъ:—«я, говоритъ, тебя нагишомъ въ снѣгъ посажу, доколѣ все до копейки не заплатишь»... И посадилъ бы, ваше благородіе, именно посадилъ бы...

— Вотъ и задумалъ онъ въ бурлаки... А впрочемъ, разсказывай самъ, коли перебиваешь.

«— Иду я, ваше благородіе, въ волостное—тамъ, знашь, всѣхъ насъ скопомъ въ работу продаютъ, такіе есть и подрядчики, — иду я въ волостное, а самъ горько-разгорько плачу: жалко мнѣ, знашь, съ бабой-то разставаться. Хорошо. Только чую я, будто позади кто на телѣгѣ ѣдетъ — глядь, анъ это дядя Онисимъ. «Куда, говоритъ, путь лежитъ?»

«— А вотъ, говорю, въ волостное.

«— Почто въ волостное?

«— Продаваться въ бурлаки; а ты, говорю, куда?

«— А я, молъ, въ Опенино, полведра купить...

«А мнѣ, ваше благородіе, только всего и денегъ-то надобно, что̀ за полведра заплатить слѣдуетъ... Вотъ и сталъ мнѣ будто лукавый въ ухо шептать. «Стой, кричу, дядя, подвези до правленья!» А самъ, знашь, и камешекъ за пазуху спряталъ... Сѣли мы это вдвоемъ на телѣгу: онъ впереди, а я сзади, и все у меня изъ головы не выходитъ, что будь у меня рубль семьдесятъ, отдай мнѣ онъ ихъ, замѣсто того, чтобъ водки купить, не нужно бы и въ бурлаки идти»...

Арестантъ задрожалъ и заплакалъ.

— Кончилось тѣмъ, — договорилъ Яковъ Петровичъ: — что онъ швырнулъ въ дядю Онисима камнемъ и, взявши у него ни больше, ни меньше, какъ рубль семьдесятъ копеекъ, явился въ волостное правленіе и заплатилъ подать.

Посѣщеніе второе.

На этотъ разъ камора, въ которую ввелъ меня Яковъ Петровичъ, заключала въ себѣ лицъ все чиновной породы. Ихъ было трое, и кровати ихъ стояли по угламъ. Одинъ былъ въ замасленномъ форменномъ сюртукѣ съ краснымъ стоячимъ воротникомъ, два другіе—въ халатахъ. При нашемъ появленіи форменный сюртукъ и одинъ изъ халатниковъ встали; но другой халатникъ продолжалъ лежать, растянувшись на постели. Форменный сюртукъ обладалъ довольно замѣчательною физіономіей. Онъ былъ плотно сложенъ и небольшого роста; лицо его не поражало съ перваго взгляда ни чрезмѣрною глупостью, ни чѣмъ-либо особенно-порочнымъ или злымъ; но, вглядѣвшись въ него пристальнѣе, нельзя было не изумиться той подавляющей ограниченности, той равнодушной ко всему пошлости, о кото-

рыхъ свидѣтельствовали: и узкій, покатый лобъ, окаймленный коротко-обстриженными, но густыми и черными волосами, и потупленные маленькіе глаза, въ которыхъ свѣтилось что-то хитрое, но какъ бы недоконченное, недодуманное, и, наконецъ, вся его фигура, нѣсколько сутуловатая, съ одною рукой—отдѣленною отъ туловища въ видѣ размышленія, и другою—постоянно засунутою въ застегнутый сюртукъ. Очевидно, то былъ, что называется, разсудительный человѣкъ, одинъ изъ тѣхъ, которые никогда не скажутъ положительной глупости, но отъ которыхъ, при всякомъ ихъ словѣ, вѣетъ неотразимою тошнотой и унынiемъ. Встрѣтится такой господинъ съ вами на улицѣ, и если вы не принадлежите къ породѣ Дерновыхъ, Гирбасовыхъ и т. п., и не заговорите съ нимъ сами, то онъ посмотритъ вамъ, какъ собака, умильно въ глаза, потопчется на одномъ мѣстѣ, вздохнетъ, пожметъ вамъ руку и отправится во-свояси. Но если вы называетесь Гирбасовымъ, то разговору не будетъ конца—и какому разговору!

— А что, братъ, какъ дѣла идутъ?—спроситъ васъ форменный сюртукъ.

— Да что, братъ, хорошо,—отвѣтите вы.

— Это ладно, что хорошо,—скажетъ сюртукъ.

— Да, братъ; хорошо не худо, худо не хорошо...

И такъ далѣе. Можно исписать цѣлыя страницы подобными наставительными рѣчами. У этихъ господъ всегда имѣются готовые афоризмы, которыми они любятъ кстати щегольнуть, въ родѣ того, что «братъ, надо это дѣло вести съ осторожностью», или: «ты когда чего захотѣлъ, такъ того ужъ и хоти». Такіе образчики встрѣчаются вездѣ, во всѣхъ слояхъ общества, только афоризмы бываютъ различные. Божій міръ кишитъ ими—это несомнѣнно. Это люди ограниченные, съ сплюснутыми черепами, пришибленные съ дѣтства, что не мѣшаетъ имъ, однакоже, считать себя столпами общественнаго благоустройства и спокойствія и съ остервенѣніемъ лаять на всякаго, у кого лобъ оказывается не сплюснутымъ. Я имѣлъ огорченіе познакомить читателя съ ними въ свободномъ состояніи; теперь приходится познакомить съ ними же въ тюрьмѣ.

Второй субъектъ былъ молодой человѣкъ, довольно красивой наружности, высокій и стройный. Онъ носилъ усы, что давало ему видъ отставного военнаго, и держалъ себя даже излишне привѣтливо. По всему было видно, что на свободѣ онъ пользовался особеннымъ благоволеніемъ со сто-

роны дамскаго пола, прикосновеніе къ которому вездѣ и всегда смягчаетъ сердца и нравы. Съ другой стороны, нельзя было не замѣтить и того, что это же прикосновеніе отчасти вредоносно подѣйствовало на здоровую и могучую натуру субъекта, потому что, несмотря на его молодость, щеки его нѣсколько опухли и сдѣлались уже дряблыми, а въ глазахъ просвѣчивало что-то старческое.

Третій субъектъ былъ длинный и сухой господинъ. Онъ нисколько не обезпокоился нашимъ приходомъ и продолжалъ лежать. По временамъ изъ груди его вырывались стоны, сопровождаемые удушливымъ кашлемъ, такимъ, какимъ кашляютъ люди, у которыхъ, что называется, печень разорвало отъ злости, а въ жилахъ течетъ не кровь, а желчь, смѣшанная съ оцтомъ.

— Ну, ты что, Пересѣчкинъ?—спросилъ Яковъ Петровичъ у форменнаго сюртука.

— Ничего-съ, ваше высокоблагородіе, живемъ по малости-съ вашими молитвами,—отвѣчалъ онъ, тупо улыбаясь и отставляя руку, какъ бы декламируя.

— Чего имъ дѣлается! — вступился усачъ. — Они этого огорченія и понять не могутъ-съ!

— Скоро ли же эту каналью отсюда выведутъ?—отозвался желчный господинъ.—Я вѣдь господина министра утруждать буду, свиньи вы этакія!

Эта апострофа, смутившая меня своею откровенностью, не оказала никакого дѣйствія на Якова Петровича. Очевидно, что ему не въ первый разъ пришлось подвергать свою особу подобнаго рода ласкамъ.

— За что вы здѣсь содержитесь? — спросилъ я Пересѣчкина.

Онъ молчалъ и все держалъ руку наотвѣсъ, какъ бы разговаривая самъ съ собой.

— Ну, говори же, за что ты здѣсь посаженъ?—сказалъ Яковъ Петровичъ.

Пересѣчкинъ совершенно неожиданно фыркнулъ.

— Ишь, животное!—отозвался голосъ съ кровати: —даже самому смѣшно... Скотъ!

— Что же-съ, сказывайте!—понуждалъ усачъ.

Пересѣчкинъ съ минуту помялся и потомъ скороговоркою отвѣчалъ:

— Статистику собиралъ-съ...

— Какъ статистику?

— Точно такъ-съ, ваше высокоблагородіе! Отъ началь-

ства наистрожайше было предписано-съ: то-есть, чтобъ все до точности-съ, сколько у кого коровъ-съ, куръ-съ; даже рябчиковъ-съ пересчитать велѣно было-съ...

— Да ты сказывай, животное, какъ ты собиралъ-то статистику? Пчелъ-то позабылъ, подлецъ!

— Ваше высокоблагородіе!—сказалъ Пересѣчкинъ, обращаясь къ Якову Петровичу:—вотъ-съ, изволите сами теперича видѣть, какъ они меня, можно сказать, денно и нощно обзываютъ... Я, ваше высокоблагородіе, человѣкъ смирный-съ, я, осмѣлюсь сказать, въ крайности теперича находился, и ежели согрѣшилъ-съ, такъ опять же не передъ ними, а передъ Богомъ-съ...

— Да ты не виляй, скотъ, а разсказывай, какъ ты статистику-то собиралъ!

Пересѣчкинъ опять замялся и черезъ нѣсколько секундъ снова фыркнулъ. Видно было, что онъ самъ внутренно былъ совершенно доволенъ собой.

— Извѣстно-съ, у мужичка былъ,—сказалъ онъ, наконецъ:—количество пчелъ надлежало дознать со всею достовѣрностью...

— Ну, продолжай же, продолжай!

Но Пересѣчкинъ только фыркнулъ.

— Э, братъ, да ты, вѣрно, только на пакости боекъ!—отозвался желчный господинъ:—а дѣло очень простое. Призвалъ онъ мужика. «Сколько, говоритъ, у тебя пчелъ?» Тотъ показываетъ ему ульи. «Нѣтъ, говоритъ, мнѣ начальство пишетъ дознать, *сколько именно* у тебя пчелъ — такъ ты, говоритъ, не полѣнись, сосчитай!» Мужикъ, сударь, остолбенѣлъ.—Гдѣ же, молъ, ихъ считать? «Знать, говоритъ, не хочу—считай». Ну, и взялъ онъ съ него по цѣлковому съ улья, а въ вѣдомости и настрочилъ: «У такого-то, Пахома Сидорова, лошадей двѣ, коровъ три, барановъ и овецъ десять, теленокъ одинъ, домашнихъ животныхъ шестнадцать, куръ семь, пчелъ тридцать одна тысяча девятьсотъ девяносто семь»...

Молчаніе.

— А вѣдь рожа-то какая!—продолжалъ желчный господинъ.—Глупъ-то вѣдь какъ! а выдумалъ! Только выдумать-то выдумалъ, а концы схоронить не сумѣлъ.

— Какимъ же образомъ это открылось?—спросилъ я.

— Исправникъ-съ злодѣй! — наивно отвѣчалъ Пересѣчкинъ.

— Это точно, что злодѣй... и такая же ракалья, какъ и

ты; только поумнѣй тебя будетъ... Увидалъ, что эта скотина весь предметъ такимъ манеромъ обработать хочетъ—ну, и донесъ, чтобъ самому въ отвѣтѣ не быть... Эко животное!

— А вы за что?—спросилъ я усача.

Молодой человѣкъ, глядѣвшій до сихъ поръ весело, въ свою очередь опустилъ глаза и началъ обдергивать опояску у халата.

— Что же-съ, сказывайте и вы-съ?—замѣтилъ Пересѣчкинъ.

Усачъ взглянулъ на него свирѣпо.

— Нѣтъ-съ, ужъ когда сказывать, такъ сказывать всѣмъ-съ,—настаивалъ Пересѣчкинъ.

— По причинѣ женскаго пола-съ, ваше высокоблагородіе!—отвѣчалъ усачъ умильно.—Какъ я къ эвтому предмету съ малолѣтствія привыченъ-съ.

— Да вы чиновникъ?

— Точно такъ-съ, канцелярскій служитель Боровиковъ-съ.

— Что же вы сдѣлали?

— Сдѣлалъ ли я, нѣтъ ли—на это еще достовѣрныхъ доказательствъ не имѣется, а это точно-съ, что тѣло ихнее въ оврагѣ нашли въ безчувствіи-съ...

— Чье же тѣло?

— Ихнее-съ, мѣщанина Затрапезникова-съ.

— Ну, такъ что же?

— Ихъ благородіе, господинъ слѣдователь, настаиваютъ, что будто бы мы это тѣло... то-есть тѣломъ ихъ сдѣлали-съ, а будто бы до тѣхъ поръ они были живой человѣкъ-съ... А только это, ваше благородіе, именно до сихъ поръ не открыто-съ...

— Какъ же случилось это происшествіе?

— Были мы, ваше высокоблагородіе, въ одномъ мѣстѣ-съ...

Боровиковъ потупился и потомъ продолжалъ:

— Былъ съ нами еще секретарь изъ земскаго суда-съ, да столоначальникъ изъ губернскаго правленія... Ну-съ, и они тутъ же... то-есть мѣщанинъ-съ... Только были мы всѣ въ подпитіи-съ, и отдали имъ это предпочтеніе-съ... то-есть не мы, ваше высокоблагородіе, а Аннушка-съ... Ну-съ, по этой причинѣ мы точно ихъ будто помяли... то-есть бока ихніе-съ—это и слѣдствіемъ доказано-съ... А чтобъ мы до чего другого касались... этого я, какъ передъ Богомъ, не знаю...

— А какъ же осмотръ тѣла-то? — спросилъ Яковъ Петровичъ.

— Объ эвтимъ я вашему высокоблагородію доложить не въ состояніи-съ, а что онъ точно отъ насъ пошелъ домой въ цѣлости-съ— на это есть свидѣтели-съ... Можетъ-быть, они въ дорогѣ что̀ ни-на-есть надъ собой сдѣлали...

— Да кто же эти свидѣтели?

— Конечно, ваше высокоблагородіе, свидѣтели наши Творецъ Небесный-съ... Они видѣли...

— И тебѣ не стыдно?—сказалъ Яковъ Петровичъ.

Бо́ровиковъ смутился.

— Вотъ онъ самый, — продолжалъ Яковъ Петровичъ:— до этой исторіи былъ въ обществѣ принятъ! въ собраньи на балахъ танцовалъ!.. Взойди ты ему въ душу-то!

— На твоей дочери сватался!—замѣтилъ желчный господинъ.

Яковъ Петровичъ плюнулъ.

— Ну, а по совѣсти,—сказалъ я:—признайтесь: точно вы Затрапезникова убили?

Боровиковъ молчалъ.

— Здѣсь нѣтъ слѣдователя...

— Это единому Богу извѣстно-съ,—отвѣчалъ онъ, бросивши на меня угрюмый взглядъ.

— Гдѣ же прочіе-то?—спросилъ я.

— А гдѣ! чай, въ карточки поигрываютъ, водочку попиваютъ, — отозвался желчный господинъ. — Ихъ сдѣлали только свидѣтелями! Какъ же можно такую знатную особу, господина секретаря, въ острогъ посадить!.. Антихристы вы!—присовокупилъ онъ, глухо кашляя.

— А это что̀ за господинъ? — спросилъ я у Якова Петровича вполголоса, указывая на говорящаго.

Яковъ Петровичъ дернулъ меня за фалду фрака и не отвѣчалъ, а какъ-то странно потупился. Я даже замѣтилъ и прежде, что во все время нашего разговора онъ отворачивалъ лицо свое въ сторону отъ лежащаго господина, и когда тотъ начиналъ говорить, то смотрѣлъ больше въ потолокъ. Очевидно, Яковъ Петровичъ боялся его. Однако, дерганье за фалды не ускользнуло отъ внимательнаго взора арестанта.

— Что за фалду-то дергаешь?— спросилъ онъ злобно.

— Оставьте... оставьте... буйный человѣкъ-съ! — прошепталъ Яковъ Петровичъ.

То-то буйный! — сказалъ арестантъ, медленно при-

вставая на постели. — Вашему брату, видно, не по шкурѣ пришелся!

Яковъ Петровичъ хотѣлъ-было удалиться.

— Нѣтъ, ты меня выслушай, не верти хвостомъ! Пришелъ, такъ слушай! Вы спрашиваете, государь мой, кто я таковъ?—продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ.—Я, государь мой, поклонникъ правды и ненавистникъ лжи! Вотъ кто я—бездѣлица! Имя мое не легіонъ, какъ вотъ этакимъ (указательный перстъ устремленъ на Якова Петровича, который пожимается), а Павелъ Трофимычъ сынъ Перегоренской—не *скій*, а *ской*,—званіе же мое отставной титулярный совѣтникъ. Съ юныхъ лѣтъ, государь мой, я получилъ страсть къ истинѣ, всосавъ ее, могу сказать, съ млекомъ матери. Будучи еще секретаремъ въ магистратѣ, изобрѣлъ слѣдующія науки: *правдистику, патріотистику и монархоманію*. Тщетно я обращался ко всѣмъ властямъ земнымъ о допущеніи меня къ преподаванію наукъ сихъ, тщетно угрожалъ имъ карою земною и небесною; тщетно указывалъ на растлѣніе, царствующее въ сердцахъ чиновническихъ — тщетно! Овые отвѣчали молчаніемъ, овые — презрѣніемъ и ругательствомъ... Плоды моихъ усилій выразились лишь въ гербовыхъ пошлинахъ, коихъ въ теченіе двадцати лѣтъ выплатилъ до тысячи серебромъ...

Онъ закашлялся.

— Что оставалось мнѣ? Чѣмъ могъ насытить я гладъ истины, терзавшій мою душу? Оставались исправники, оставались становые... Ну, и ябедникъ.

Онъ вознамѣрился встать, и передъ нами взвилось нѣчто безобразно-длинное, въ родѣ удава.

— Ябедникъ, государь мой! Вы понимаете: ябедникъ!

— Да вы разскажите, за что вы здѣсь-то сидите?—неожиданно прервалъ Пересѣчкинъ.

— Приступаю къ тягостнѣйшему моменту моей жизни,—продолжалъ Перегоренской угрюмо:—къ исторіи переселенія моего изъ міра свободнаго мышленія въ міръ авторитета... Ибо съ чѣмъ могу я сравнить узы, въ которыхъ изнываю? Звѣрообразные инквизиторы гишпанскіе, и тѣ не возмыслили бы о тѣхъ мукахъ, которыя я претерпѣваю! Гладъ и жажда томятъ меня; гнусное сообщество Пересѣчкина сокращаетъ дни мои... Былъ я въ селѣ Лекминскомъ, былъ для наблюденія-съ, и за этою собственною надобностью посѣтилъ питейный домъ...

— Чай, просьбицу настрочить?—сказалъ Пересѣчкинъ.— Извѣстно, зачѣмъ вашъ братъ...

— Зашедши въ питейный домъ, увидѣлъ я зрѣлище... зрѣлище, относящееся къ двумъ пунктамъ-съ... Могъ ли я, вопрошаю васъ, государь мой, могъ ли я оставить его втуне? Могъ ли не извѣстить предержащую власть!

Общее молчаніе.

— Но здѣсь, здѣсь именно и открылась міру гнусность злодѣя, надменностью своею насъ гнетущаго и нахальствомъ обуревающаго... Получивъ мое извѣщеніе и имѣя на меня, какъ исконный врагъ рода человѣческаго, злобу, онъ, не помедливъ даже мало, повелѣлъ псамъ своимъ повлещи меня въ тюрьму, доколѣ не представлю ясныхъ доказательствъ вымышленнаго якобы мною злоумышленія... гдѣ и до днесь пребываніе имѣю.

— Что-жъ, такъ и по закону слѣдуетъ,—замѣтилъ нерѣшительно Яковъ Петровичъ.

— Слѣдуетъ: а слѣдуетъ ли, спрашиваю я тебя, рабъ лукавый и невѣрный, слѣдуетъ ли оставлять страждущихъ заключенниковъ въ жертву лютому мразу и буйствующимъ стихіямъ?

Онъ указалъ на разбитое окно. Дѣло происходило въ іюлѣ, и дни стояли знойные.

— Они сами безпрестанно въ окнахъ стекла бьютъ,— возразилъ бывшій съ нами смотритель замка.—Не успѣешь новаго вставить, смотришь, оно ужъ и разбито...

— А слѣдуетъ ли оставлять узника боса и сира?—продолжалъ Перегоренской, указывая на свои ноги, которыя дѣйствительно лишены были всякой обуви.

— Они ужъ третьи сапоги нарочно бросаютъ въ сортиръ...

— А слѣдуетъ ли того же узника оставлять безъ пищи, томимаго голодомъ и жаждой?—перебилъ Перегоренской.

— Они требуютъ вафель-съ, а вафель у насъ не положено... посудите сами, ваше высокоблагородіе! возразилъ смотритель.

— Всѣ эти вопросы, и множество другихъ, возымѣлъ я твердое намѣреніе предложить господину министру, и не далѣе, какъ съ первою же почтой... И тогда — трепещи злодѣй!

— Вотъ этакая-то у насъ цѣлый день каторга!—сказалъ смотритель, когда мы вышли изъ каморы. — Хошь бы рѣшили его, что ли, поскорѣй!

— Чего же вы-то боитесь? — спросилъ я Якова Петровича.

Онъ махнулъ рукой.

— Вѣдь вы человѣкъ чистый, — продолжалъ я: — какая же вамъ надобность позволять говорить себѣ дерзости арестанту и притомъ ябеднику? Развѣ у васъ нѣтъ карцера?

— И-и-и!—произнесъ только Яковъ Петровичъ и пуще прежняго замахалъ руками.

— Да какъ же тутъ свяжешься съ экимъ каверзникомъ?—замѣтилъ смотритель. — Вотъ намеднись пріѣзжалъ къ намъ ревизоръ, только разъ его въ щеку щелкнулъ, да и то полегоньку, такъ онъ себѣ и рожу-то всю раскровавилъ, и духовника потребовалъ: «умираю, говоритъ, убилъ ревизоръ!»—да и все тутъ. Такъ господинъ-то ревизоръ и не радъ были, что дали рукамъ волю... даже поблѣднѣли всѣ и прощенья просить начали—такъ испужались! А тоже, какъ шли сюда, похвалялись: я, молъ, его усмирю! Нѣтъ, съ нимъ не свяжись...

— Вѣрно онъ изъ породы «хвецовъ», Яковъ Петровичъ?—спросилъ я.

— Хуже!

— Здорово, ребята!—крикнулъ Яковъ Петровичъ, входя въ просторную комнату, въ которой находилось человѣкъ до тридцати арестантовъ.

— Здравія желаемъ, ваше высокоблагородіе!—закричали всѣ въ одинъ голосъ.

Яковъ Петровичъ улыбнулся. Онъ видимо былъ доволенъ, что между арестантами прививается дисциплина, и что они скандуютъ привѣтствіе не хуже, чѣмъ въ иномъ гарнизонномъ батальонѣ.

— Всѣ довольны?—спросилъ онъ.

— Много довольны!—отвѣчали голоса.

Одинъ арестантъ выступилъ робко впередъ съ засаленною бумажкой въ рукахъ. То былъ маленькій, жалконькій мужичонка, въ родѣ того, котораго я имѣлъ уже случай представить читателю въ первомъ острожномъ разсказѣ.

— Ты по какому дѣлу?—спросилъ Яковъ Петровичъ.

— Да вотъ объ коровѣ-то, ваше благородіе...

— Господи! неужто еще не кончено?

— Не кончено, ваше благородіе, да вотъ баютъ, словно и никогда ему кончанья не будетъ...

— А за что ты содержишься?—спросилъ я.

— А Христосъ е знаетъ за что! Баютъ, по прикосновенности, что, молъ, видѣлъ, какъ у сосѣда корову со двора сводили...

— Развѣ ты не объявилъ кому слѣдуетъ?

— Пошто не объявилъ! Да вотъ, баютъ, зачѣмъ объявилъ, а зачѣмъ корову съ воромъ въ полицу не преставилъ! А когда его преставишь? Онъ, чай, поди-ка трохъ экихъ, какъ я, одной десною придавитъ... извѣстно, воръ!

— А гдѣ же воръ-то?

— А воръ, батюшка, говоритъ: и знать не знаю, вѣдать не вѣдаю; это, говоритъ, онъ самъ коровушку-то свелъ, да на меня, молъ, брешетъ-ну! Я ему говорю: Тимоѳей, молъ, Савичъ, Бога ты, молъ, не боишься, когда я коровушку свелъ? А становой-етъ, ваше благородіе, замѣсто того-то, чтобы меня, знашь, слушать, поглядѣлъ только на меня да головой словно замоталъ. «Нѣтъ, говоритъ, какъ посмотрю я на тебя, такъ точно, что ты корову-то укралъ!» Вотъ и сижу я съ тѣхъ поръ въ острогѣ. А на что бы я ее укралъ? Не видалъ я, что ли, коровы-то!

— А ты точно самъ видѣлъ, какъ Тимоѳей Савичъ корову-то сводилъ?

— Коли не самъ! Да вотъ словно лукавый, прости Господи, мнѣ въ ту пору на языкъ сѣлъ: скажи да скажи... Ну, вотъ теперь и сиди да сиди...

Арестантъ вздохнулъ.

— И хошь бы науки, сударь, не было, а то и наука была. Вдругорядь со мной эко дѣло случается. Впервой-етъ разъ, поди лѣтъ съ десятокъ уже будетъ, шелъ, знашь, у насъ по деревнѣ парень, а я вотъ на улицѣ стоялъ... Ну, и другіе мужички тоже стояли, и всѣ глазами глядѣли, какъ онъ шелъ... Только хмеленъ, что ли, парень-етъ былъ, или просто причинность съ нимъ сдѣлалась—хлопнулся онъ, сударь, объ земь, и прямо какъ есть супротивъ моей избы... Ну, и вышло у насъ туточка мертвое тѣло... Да хошь бы я пальцемъ-те до него дотронулся, все бы легче было—потому какъ знаю, что въ эвтимъ я точно бы виноватъ былъ, а то и не подходилъ къ нему: умирай, молъ, Христосъ съ тобой!.. Такъ нѣтъ, ваше благородье, года съ три я въ ту пору высидѣлъ въ острогѣ, въ эвтой въ самой горницѣ... Какое же тутъ будетъ хозяйство!

— Да ужъ и насъ тоже пора бы, кажется, рѣшить чѣмъ-нибудь,—сказалъ, выступая впередъ, арестантъ, видя не столько свирѣпаго, сколько нахальнаго и довольнаго.

— А ты кто таковъ?

— Да мы по дѣлу о барышняхъ-съ... Жили у насъ, ваше благородіе, въ городѣ барышни, а мы у нихъ въ кучерахъ наймовались; жили старушки смирно, Богу молились, капиталъ сберегали-съ... Какъ мы въ эвтомъ дѣлѣ ужъ и сознаніе учинили, такъ намъ скрываться для че-съ!.. Только вотъ и думаемъ мы, что живутъ, дескать, это барышни, а и душа-то, молъ, въ нихъ куриная, а капиталами большими владѣютъ-съ. Кабы да этакіе капиталы да въ хорошія они руки—тутъ что добра-то сдѣлать можно! Ну-съ, и выбрали мы этта ночку, ночку темную, осеннюю... Ломаемъ, знашь, окно какъ слѣдуетъ, а барышеньки-то и проснулись... Видятъ, что воръ къ нимъ лѣзетъ, встали съ постелекъ да только дрожатъ со страху... Ну, а мы, знашь, и въ комнату: «Здравствуйте, молъ, барышни! Каково поживаете, каково прижимаете? Ну, и мы тоже, молъ, слава Богу, вѣкъ живемъ, хлѣбъ жуемъ!» А онѣ, сердешныя, встали на колѣнки да только ровно крестятся: умирать-то, вишь, больно не хочется... Ну, это точно, мы имъ Богу помолиться дали, да опосля и прикончили разомъ обѣихъ... даже не пикнули-съ.

Онъ оглядѣлъ насъ торжествующимъ взглядомъ.

— Только надули-съ! Какъ ни бился искамши,—больше пяти цѣлковыхъ во всемъ дому не нашелъ-съ!

Аринушка.

Идетъ-идетъ Аринушка, идетъ полемъ чистыимъ, идетъ дорогой большою-торною, идетъ и проселочкомъ, идетъ лѣсомъ дремучіимъ, идетъ топью глубокою-неисходною, идетъ и по снѣгу рыхлому, и по льду звончатому, идетъ-идетъ не охаетъ.

Свищутъ ей вѣтры прямо въ лицо, дуютъ буйные сзаду и спереду... Идетъ Аринушка, не шатается, лопотинка *) у ней развѣвается, лопотинка старая-ветхая, вѣтромъ подбитая, нищетою пошитая... Свищутъ ей вѣтры: ходи, Аринушка, ходи, Божья рабынька, не лѣнися, съ убожествомъ своимъ обживися: глянь, кругомъ добрые люди живутъ, живутъ ни тошно, ни красно, а хлѣбъ жуютъ не напрасно...

Журчатъ Аринушкѣ ручьи весенніе, весенніе ручьи не-

*) Лопотинка—одежда.

порочные, чистые: жалко намъ тебя, Божья старушенька! лопотиночка у тебя—рѣшето дырявое, ноженьки худыя, изъяблыя; обломала ихъ гололедь строгая, призастыла на нихъ кровинка горячая...

И все идетъ Аринушка...

Видитъ она: впереди у нея Іерусалимъ-градъ стоитъ; стоитъ градъ за морями синіими, за туманами великіими, за лѣсами дремучіими, за горами высокими. И первая гора—Араратъ-гора, а вторая гора—Ѳаворъ-гора, а третья-то гора—мѣсто лобное... А за ними стоитъ Іерусалимъ-градъ, великъ-пригожъ; много въ немъ всякаго богачества, много настроено храмовъ Божіихъ, храмовъ Божіихъ христіянскіихъ; турка пройдетъ—крестъ сотворитъ, кизилбашъ пройдетъ—храму кланяется.

«Ты скажи мнѣ-ка, куку-кукушенька, ты повѣдай мнѣ-ка, Божья птахонька, ужъ когда же я до святъ-града дойду-доплетусь, у престола у Спасова отдохну-помолюсь: ты услышь, Господине, мое воздыханьице, уврачуй, Спасе, мои ноженьки, уврачуй мою бѣдну головоньку!»

Промежъ всѣхъ церквей одинъ храмъ стоитъ, въ тыимъ храмѣ златъ-кованъ престолъ стоитъ, престолъ стоитъ всему міру красота, престолъ христіянскимъ душамъ радованіе, престолъ—злымъ жидовемъ сухота. Столбы у престола высокіе, кованные, изумрудами, яхонтами изукрашенные... на престолѣ самъ Спасъ Христосъ Истинный сидитъ.

«Ты почто, раба, жизнью печалуешься? Ты воспомяни, раба, Господина твоего, Господина твоего Самого Христа Спаса Истиннаго! Какъ пречистыя руцѣ Его гвоздями пробивали, какъ честныя нозѣ Его къ кипаристу-древу пригвождали, терновъ вѣнецъ на главу надѣвали, какъ святую Его кровь злы жидове проліяли... Ты воспомни, раба, и не печалуйся; иди съ миромъ, кресту потрудися: дойдешь до креста кипаристнаго, обрѣтешь тамо обители райскія; возьмутъ тебя, рабу, за руки ангели чистые, возьмутъ рабу, понесутъ на лоно Авраамлее...

«Ты скажи мнѣ-ка, куку-кукушенька, ты повѣдай мнѣ-ка, Божья птахонька-штичка вѣщая! Сколь идти мнѣ еще до честнаго деревца, честна дерева—кипариста-креста? Отдохнутъ ли тогда мои ноженьки, понесутъ ли меня ангели чистые на лоно свѣтлое Авраамлее!..»

Идетъ-идетъ Аринушка; идетъ полемъ чистыимъ, идетъ дорогой большою-торною, идетъ и проселочкомъ; идетъ лѣсомъ дремучіимъ, идетъ топью-глубокою; идетъ, клюкою

помахиваетъ, иззяблыми ноженьками по льду постукиваетъ...

«Было это, братецъ ты мой, по веснѣ дѣло, на селѣ у насъ праздникъ былъ большой; только пришла она, стала посередь самаго села, мычитъ: «ба» да «ба»—и вся недолга. Сидѣлъ я въ ту-пору у себя въ избѣ у самаго окошечка; гляжу, баба посередь дороги рёвмя-реветъ.

«— Глянь-ко,—говорю женѣ:—глянь, Василиса, некакъ вѣдь баба-то реветъ?

«— А и то, говоритъ, реветъ! Подь, молъ, сюда, подь, баунька! подь! корочку подадимъ! иззябла, чай, любезненькая!

«Подошла она къ окошечку, взяла пирога кусокъ, а сама вся дрожжитъ словно: вешнякомъ-то ее, знаешь, прохватило оченно. Дрожжитъ и ни шагу тоись ступить нѣту ей моченьки.

«— Что-жъ, молъ,—говоритъ Василиса:—нечѣмъ тебѣ на морозѣ-то холодѣть, инъ милости просимъ къ нашему хозяину.

«Пришла она въ избу, усѣлась въ уголъ, и знай зубами стучитъ да себѣ подъ носъ чего-то бормочетъ, а чего бормочетъ, и Господь ее вѣдаетъ. Ноженьки у ней словно вотъ изорваны, всѣ въ кровѣ, а лопотинка такъ и сказать страсти!—гдѣ лоскутокъ, гдѣ два! И какъ она это совсѣмъ не измерла—подивились мы тутотка съ бабой. Василиса же у меня, самъ знаешь, бабонька милосердная; смотритъ на нее на убогую, да только убивается.

«— Откуда шагаешь, касатка?—спрашиваю я.

«— Съ Воргушина, говоритъ.

«— Ну, что, молъ, какъ ваша барынька тамотки перевертывается?

«А барыня ихняя не взаправду была барыня, а нѣмцова, слышь, жена управителя. И слухъ былъ про нее такой, что эку бабу охаверную да наругательницу днемъ съ огнемъ поищи—не сыщешь. Разогнала она народъ весь, кормить не кормитъ, а работы до истомы всякой—съ утра ранняго до вечера поздняго рукъ не покладывай: извѣстно, не свои животы, а господскіе!

«Только какъ напомнилъ я ей про барыню, такъ ее словно задергало всю; берется поскорѣе опять за клюку, мычитъ чего-то и шагаетъ, знашь, вонъ изъ избы.

«— Куда же ты, баушка?—говоритъ Василиса.

«А она знай шагаетъ, и на насъ не смотритъ, ровно какъ, братецъ ты мой, въ туманѣ у ней головушка ходитъ.

Только взялась она за дверь, да отворить-то ее и не переможетъ... Сунулась-было моя баба къ ней, а она тутъ же къ ногамъ-то къ ея и свалилася, а сама все мычитъ: «пора» да «пора», да барыню, слышь, поминаетъ... Эка оказія!

«— А подико-сь, Нилушко, положи ее на печку! — говоритъ моя баба: — ишь Божья старушенька: инно перемерзла вся.

«Положить-то я ее на печку положилъ, а самъ такъ и трясусь. Вотъ, думаю, кака надъ нами бѣда стряслась; поди, чай, сотской давно запахъ носомъ чуетъ да во станъ лыжи навастриваетъ... Добро какъ оживетъ убогая, а не оживетъ—ну, и плачь тутотка съ нею за свою за добродѣтель. Думаю я это, а хозяйка моя смотритъ на меня, словно въ мысляхъ моихъ угадываетъ.

«— Перекрестись, говоритъ, Нилушко! некакъ ты чего-то задумалъ! Ты бы лучше вотъ приголубилъ ее, сиротинушку: душа-то вѣдь въ ней христіянская! А ты, замѣсто того, и не знай чего задумалъ!

«— Ну, говорю, баба, инъ быть по-твоему! А все, говорю, пойтить надо къ сосѣду (Власъ-старикъ у насъ въ сосѣдахъ жилъ, тоже мужичокъ смиренный, боязливый): можетъ, онъ и наставитъ насъ уму-разуму.

«— Подь, подь къ Власу, голубчикъ!

«Иду я къ Власу, а самъ дорогой все думаю: Господи ты Боже нашъ! что же это такое съ нами будетъ, коли да не оживетъ она? Господи! что же, молъ, это будетъ! Вѣдь засудятъ меня на смерть, въ острогѣ живьемъ, чать, загибнешь: зачѣмъ, дескать, мертвое тѣло въ избѣ держалъ! Инъ вынести ее за околицу въ поле—все полегче, какъ цѣлымъ-то міромъ передъ начальствомъ въ отвѣтѣ будемъ.

«— Дѣдушко Власъ! а дѣдушко Власъ!

«— Здорово,—говоритъ:—али у тебя въ дому-то что попритчилось?

«— А что?

«— Да такъ, молъ; на тебѣ, мотри, ровно лица нѣтути.

«— А и то, дѣдушко, вѣдь попритчилось.

«— Что таково?

«— Подь къ намъ, самъ увидишь.

«Пришелъ дѣдушко, и повелъ я его на печь: мотри, молъ, како дѣтище Богъ для праздника далъ.

«— Ой! да это некакъ, говоритъ, Оринушка! Да, слышь ты, некакъ ужъ и дышать-то перестала... Какъ же она это, паренекъ, на печку-то взлѣзла!

«— Коли бы взлѣзла! самъ встащилъ!..

«Сталъ я ему сказывать сызначала до конца что и какъ.

«— Ну, говорю, выручай, дѣдушко!

«— Жалко мнѣ тебя, паренекъ! Парень ты добрый, душа въ тебѣ христіянская, а поди какую самъ надъ собой бѣду состроилъ! Чай, теперь и себя въ полонъ отдай, такъ и то тутотка добромъ отъ начальниковъ не отъѣдешь.

«— Что-жъ, по-твоему, загубить, что ли, христіянскую душу!—завопила на него Василиса.—Старикъ ты, дѣдушко, старый, а каки рѣчи говоришь!

«— Старъ-то я старъ, больно ужъ старъ, оттого, молъ, и рѣчи таки говорю... Ну, Нилушко, дѣлай, какъ тебѣ разумъ указываетъ, а отъ меня вамъ совѣтъ такой: какъ станутъ на дворѣ сумеречки, вынесите вы эту Оринушку полегоньку за околицу... все одно преставляться-то ей, что здѣсь, что въ полѣ...

«— Слышишь,—говорю бабѣ:—слышишь, что старики говорятъ!

«Въ это время застонала наша гостья на печкѣ. Бросился я къ ней да и думаю: только бы ты, баунька, до сумеречекъ дожила, а тамъ умирай какъ тебѣ надобно!

«— Да кто же такая она, эта Оринушка, на насъ наслалась?—спрашиваетъ моя баба.

«— А Христосъ ее знаетъ? Баетъ, съ Воргушина, отъ нѣмки отъ управительши по-міру ходитъ! Лѣтось она и ко мнѣ экъ-ту наслалась: «пусти, говоритъ, родименькой, переночевать». Ну, и поразсказала же она мнѣ про ихніе распорядки! Хошь она и въ ту-пору на языкъ-то не шустра была, а наслушался я.

«— А что?

«— Да такъ-то истомно у нихъ житье, что и сказать страсть! Ровно не христіянскій народъ эти нѣмцы! Не что ужъ дворовые — этотъ народъ точно что озорливый,—а и мужички-то у нихъ словно въ заключеньи на мѣсячинѣ сидятъ: «этакъ-ту, говоритъ, будетъ для меня сподрушнѣе»... Ишь, подлецъ, скотину каку для себя сыскалъ!

«— И-и, какъ, чай, мужички-то его ругаютъ!

«— Коли не ругаться-то! Ругаться-то ругаютъ, а не что станешь съ нимъ дѣлать! А по правдѣ, пожалуй, и народъ-отъ напослѣдяхъ неочесливъ становиться сталъ! «Мнѣка, говоритъ, что надобѣ? Я, молъ, весь тутъ какъ есть, хочь съ кашей меня ѣшь, хочь со щами хлебай»... А ужъ

хозяйка у эвтого у управителя, такъ, кажется, звѣря всякаго лютаго лютѣе. Зазѣваетъ это на бабу, такъ ровно, прости Господи, черти за горло душатъ, даже обезпамятѣетъ со злости!

«— Да ты развѣ видѣлъ ее, дѣдушко?

«— Видѣлъ. Года два назадъ масло у нихъ покупалъ, такъ всего тутотка насмотрѣлся. На моихъ глазахъ это было: облютѣла она на эту самую на Оринушку... Ну, точно, баба она ни въ какую работу не подходящая, по той причинѣ, что убогая—разъ, да и разумомъ Богъ изобидѣлъ—два, а все же христіянскій животъ, не скотина же... Такъ она таскала-таскала ее за косы, инно жалость меня взяла.

«— Да чего-жъ мужъ-отъ глядитъ?

«— А ему что! Онъ въ эвто дѣло и входить не хочетъ! Это, говоритъ, дѣло женское; я ей всѣхъ бабъ и дѣвокъ препоручилъ: съ меня, молъ, и того будетъ, что я объ мужиковъ всѣ руки обшаркалъ... право! Така затѣйная нѣмчура...

«— Да чего-жъ господа-то воргушинскіе на него смотрятъ?

«— А что господа! Господа-то у нихъ, можетъ, и добрые, да далече живутъ, слышь. На селѣ-то ихъ лѣтъ, поди, ужъ двадцать не чуть; ну, и прокуратитъ нѣмецъ, какъ ему желается. Года три назадъ, баютъ, ходили мужики жалобиться, и господа вызывали тоже нѣмца—господа, нече сказать, добрые!—да коли же этака выжига виновата будетъ! Насказалъ, поди, съ три короба: и разбойники-то мужики, и нерадивцы-то! А кто, какъ не онъ, ихъ разбойниками сдѣлалъ?

«— А развѣ и вправду разбойники?

«— Есть тако дѣло. Двадцать лѣтъ назадъ, эта вотчина изо всѣхъ вотчинъ первѣйшая была, ну, а теперь точно... Таки даже душегубы сдѣлались, что и проѣзжать мимо ихней деревни опасно. А все этотъ управитель!

«— Да управитель-то тутъ при чемъ?

«— А какъ бы тебѣ это въ толкъ дать, бабонька! Оно точно, что онъ словно ни при чемъ тутъ, а какъ вотъ хошь бы и тебя, примѣрно, нонѣ мужъ потаскалъ, да завтра потаскалъ, такъ и тебѣ бы, чай, тасканцы-то пріѣлись... Такъ вотъ и они, ко всему приглядѣлись, да таки ли звѣри сдѣлались, что прости, Господи! Велитъ ему управитель за вину сотню, что ли, отсчитать, такъ наказчикъ-то ужъ отъ

себя норовитъ полсотни всыпать! Кровь-то у нихъ замѣсто удовольствія сдѣлалась—своего даже брата не жалко... Варваръ же вѣдь и мужикъ, какъ его разожгутъ — что твой звѣрь!..

«—Ну, а за что же они въ ту-пору Оринушку-то измучивали?

«— А вотъ видишь, положенье у нихъ такое есть, что всяка душа свою то-ись тяготу нести должна; ну, а Оринушка каку тяготу нести можетъ — сама видишь! Вотъ и удумали они съ мужемъ-то, чтобъ пущать ее въ міръ; обрядили ее, знашь, сумой, да отъ понедѣльника до понедѣльника и ходи, собирай куски, а въ понедѣльникъ безпремѣнно домой приди и отдай, чего насобирала. Какъ не противъ указаннаго насобираетъ—ну, и тасканцы.

«— Эко, подумаешь, бываютъ же на свѣтѣ злодѣи! Ну, а какъ же ты, дѣдушко, одумалъ: какъ же намъ съ ней-то быть, чтобы въ отвѣтъ моему мужику не попастись?

«— Я тебѣ сказывалъ ужъ, бабонька, что надо ее сумеречками полегоньку за околицу вынести, а по прочему какъ хотите! Мнѣ-ка что тутъ! Я для васъ же уму-разуму васъ учу, чтобъ вреды вамъ какой отъ эвтова дѣла не было... Мотри, братъ Нилъ, кабы розыску какого не случилось— не радъ будешь и добродѣтели своей.

«Ужъ на что была мягка моя баба, а урезонилась. «Инъ быть, говоритъ, дѣдушка, по-твоему». А гостья-то знай на печкѣ стонетъ.

«— А что, тётонька, — говоритъ Василиса: — тошно, что ли, тебѣ, испить хочется? Али пирожка дать поѣсти?

«А она все стонетъ. Дала ей баба воды испить; полежала она съ часочекъ, ну и вздохнула словно маленько.

«— Что, тётонька, али полегше стало?

«Вдругъ она, знашь, заговорила, да такъ-то внятно, словно совсѣмъ у ней отлегло.

«— А что,—говоритъ:—до Ерусалима-града далече отсель будетъ?

«— Что ты! Христосъ съ тобой, тётонька. Какой такой Ерусалимъ-градъ, мы и не слыхивали!

«— А Ерусалимъ—градъ Христовъ,—говоритъ:—мнѣ сегодни повечеру безпремѣнно поспѣть туда надоть.

«И опять на печкѣ растянулась и обезпамятѣла. Губы-то у ней шевелятся, а чего она ими бормочетъ—не сообразишь! То Ерусалимъ опять называетъ, ту управительшу поминаетъ, то «Христа ради!» закричитъ, и такъ, братецъ

ты мой, жалостно, что у меня съ бабой ровно подъ сердце что̀ подступило.

«— Ну, говорю, Василисушка, видно, кончается!

«— А и то кончается, говоритъ.

«Помыкалась она, раба Божія, такимъ родомъ съ полчасика и замолчала совсѣмъ. Полѣзъ я къ ней на печку — не дышитъ... Ну, пропала, думаю, моя головушка!

«— А что, говорю, Василиса,—инъ и взаправду старуха-то совсѣмъ замерла!

«И говорю это, знашь, не то чтобы громко, а потихоньку, словно чудится мнѣ, что за дверью кто-нибудь меня слухаетъ! Говорю, а у самого сердце-то такъ и дрожжитъ въ груди. Поставила Василиса свѣчу къ образу, начала надъ старухой молитвы читать, а мнѣ ровно не до того. И жалко-то мнѣ, и зло-то меня беретъ, а пуще зло. «Вотъ, думаю, занесли-те дѣшіе!» И опять же и то думаю, что зачѣмъ старуху убогую обижать... Сижу, слышь, на лавкѣ, а передъ глазами-то у меня и становой мерещится, и острогъ, и всякая напасть. Пошелъ опять къ дѣдушкѣ Власу.

«— Что, говорю, никакъ померла, дѣдушко!

«— Ну, царство небесное!—говоритъ:—много убогая кресту потрудилася!

«— Какъ же, молъ, теперь мнѣ быть-то съ ней?

«— А снеси, какъ сказывалъ, на гумно! На лбу-то у ней не написано, гдѣ она спала-ночевала! Заблудилась, да и вся не долга̀...

«Пришелъ опять домой; жена обѣдать сбираетъ.

«— Ну, тебя, говорю, до обѣдовъ ли мнѣ теперя! Ты мнѣ-ка эту петлю на шею навязала!

«— Бога ты не боишься, Нилъ Ѳедотычъ! — говоритъ баба: — Божью тварь призрѣлъ-обогрѣлъ, а поди-ка ругаешься, словно на большую дорогу на разбой ходилъ!

«Пришли это сумеречки; изладилъ я санишки; обвязали мы бауньку вожжами, чтобъ не болталась, и тронулся я съ нею въ поле. Бѣгу, знашь, съ санишками-то, а самъ все оглядываюсь. И что̀ я въ это время му̀ки принялъ — разсказать не умѣю. Изъ кажнаго словно окошечка голова выглядываетъ; даже мѣсяцъ сверху свѣтитъ, и тотъ будто смотритъ: что̀, дескать, ты, злодѣй, дѣлаешь?.. Сапожнишки-то я загодя скинулъ, въ однѣхъ портянкахъ пошелъ — и тѣ скрипятъ, проклятыя, словно звонъ по улицѣ раздается. Бѣгу я это и не думаю ничего; все это одна у меня въ

головѣ дума: «Куда же, молъ, это поле запропастилося? Было, кажется, рукой подать, а теперь вотъ словно часъ бѣгу — не добѣгу да и полно»... Однако, прибѣжалъ-таки къ гуменникамъ, свалилъ свою ношу и драло домой...

«Сижу я дома, а меня словно лихоманка ломаетъ: то ознобъ, то жарынь всего прошибаетъ; то зубъ съ зубомъ сомкнуть не могу, то весь такъ и горю-горма. Цѣлую ночь надо мной баба промаялась — ни-ни, ни одной минуточки не сыпалъ. На другой день, ранымъ-ранёхонько, шасть ко мнѣ дядя Ѳедотъ въ избу.

«— Слышалъ?—говоритъ.

«— Нѣтъ, молъ, не слыхалъ.

«— У Кузёмки тѣло, говоритъ, по-за гумномъ оказалося.

«— Ой ли?—говорю, а самого такъ и ломитъ лихоманка.

«— Да, — говоритъ, — тѣло; сотскій ужъ къ становому угналъ; да что ты словно трясешься весь?

«— Да что, говорю, лихоманка всего истрепала; и то за всю ночь ни на минуту не сыпалъ. Да како же, молъ, тако тѣло, Потапычъ, оказалося?

«— А старушонка кака-то, Христосъ ее знаетъ! Воргушинская, сказываютъ ребята. Только вотъ что чуднò, парень, что лежитъ она, а руки-ноги у ней вожжами перевязаны... Ужъ мы и то хотѣли развязать ее да посмотрѣть, чьи вожжи, да сотскій не пускаетъ: до станового нельзя, говоритъ.

«А я, знашь, въ ту пору, какъ ее бросилъ на гуменникѣ, и развязать-то второпяхъ позабылъ... Гляжу, къ обѣду и становой прикатилъ; поволокли насъ всѣхъ туда міромъ; сняли съ нея вожжи, со старухи.

«— А чьи это вожжи, ребята?—спрашиваетъ становой.— Не признаете ли?

«Посмотрѣли ребята на вожжи, посмотрѣли на меня.

«— Нилкины вожжи,—говорятъ.

«Я было въ запирательство—такъ куда! Тотъ же Потапычъ дохнуть не далъ.

«— Нѣтъ, братъ, это, говоритъ, ужъ дѣло не слѣдственное, чтобъ кашу наварить, да потомъ на міръ сваливать.

«Подумалъ-подумалъ я; вижу, точно мои вожжи; ну, и міръ, знашь, лаяться на меня зачалъ; вспомнили туточки, что какая-то старуха наканунѣ по селу шаталась, что она и въ избу-то ко мнѣ заходила—какъ тутъ запрешься?. . .

. . . . . .

«— Да вотъ съ той поры и сижу, братецъ ты мой, в

эвтимъ мѣстѣ, въ острогѣ каменномъ, за рѣшетками за желѣзными, живу-поживаючи, хлѣбъ-соль поѣдаючи, о грѣхахъ своихъ размышляючи... А веселое, братъ, наше житье— право-ну!»

Старецъ.

«Я старецъ. Старцемъ я прозываюсь потому, первое, что грѣховную суету оставилъ и удалился въ пустынножительство, а второе потому, что въ писаніи божественномъ искуснѣе, нечѣмъ прочіе христіяне. Прочіе христіяне въ темнотѣ ходятъ, Бога только по имени знаютъ; спросишь его: «какой ты вѣры?»—онъ тебѣ отвѣчаетъ: «старой», а почему «старой», и въ чемъ она состоитъ, для него это дѣло темное.

«Родители мои изстари «христіяне» были; лѣтъ около сотни будетъ назадъ, еще дѣдушка мой бѣжалъ изъ Великой Россіи и поселился въ Пермской губерніи на желѣзномъ заводѣ. Жалко, сказываютъ, было ему съ родной стороной разставаться! Извѣстно, тамъ наши родители въ землю легли, тамъ вся наша святыня, тамъ гробы чудотворцевъ, гробы благовѣрныхъ князей россійскихъ и первосвятителей православной церкви... Кому неволя отъ такихъ святыхъ мѣстъ идти въ сторону глухую, незнаемую, дикую! Стало-быть, тѣснота была великая, коли ужъ перемочь было не можно.

«Бѣжали они въ тѣ-поры цѣлыми селеньями, кто въ Поморье, кто въ Сибирскій край. Однако, хошь и дикая была эта сторона, а точно Господня благодать осѣнила ее. Всего было довольно: и звѣря лѣсного, и рыбы всякой, и угодій—ни въ чемъ нужды не видѣли. А всего пуще общеніе и дружба между селянами была. Еще на моей памяти жили мы тутъ словно въ райскихъ обителяхъ. Не было ни раздору, ни соблазну, ни пьянства; кабакъ и другія тамъ заведенія пошли только въ недавнихъ годахъ. Ну, и подлинно: не сломила сила, не сломило слово, а кабакъ сломилъ — это точно. Кои селенья богаты были, въ тѣхъ теперь словно разоренье прошло: все въ кабакъ снесли.

«Помню я свое дѣтство, помню и родителя, мужа честна и праведна; жилъ онъ лѣтъ съ семьдесятъ, жилъ чисто, какъ младенецъ, мухи не изобидѣлъ и многая возлюбилъ... Теперь онъ видитъ лицо Создателя и молится за насъ грѣшныхъ. Памятенъ онъ мнѣ такъ, словно сейчасъ его вижу: сѣдой и строгій, а въ глазахъ кротость и благость

Господня. Какъ вы хотите разсудите, ваше благородіе, а какая-нибудь причина тому есть, что между «мірскими» такихъ стариковъ не бываетъ. Весь онъ будто святой, и всякъ, кто его видитъ, поневолѣ передъ нимъ шапку сниметъ и поклонится... Почтенный былъ старикъ.

«Сердце у меня сызмальства уже къ Богу лежало. Какъ сталъ себя помнить, какъ грамотѣ обучился, только о святомъ дѣлѣ и помышленіе въ умѣ было. Начитаешься, бывало, на ночь, какія святіи отцы мученія претерпѣвали, какіе подвиги совершали—на сердцѣ ровно сладость какая прольется: точно вотъ плывешь или вверхъ уносишься. И уснешь-то, такъ и во снѣ-то видишь все, какъ они, наши заступники, въ лютыхъ мученіяхъ имя Божіе прославляли, на мучителей своихъ Божеское милосердіе призывали. А другой разъ случалось и такъ, что голова словно въ огнѣ горитъ, ничего кругомъ не видишь, и все будто неповинная кровь передъ тобою льется, и кроткія рѣчи въ ушахъ слышатся, а въ углу будто самъ Деоклитіянъ-царь сидитъ, и видъ у него звѣроподобный, суровый.

«Еще тогда, сколь припомню, только объ томъ и думалось, чтобъ въ пустынножительствѣ спасеніе найти, чтобъ уподобиться древнимъ отцамъ-пустынникамъ, которые суету мірскую хуже нечѣмъ мученія адовы для себя почитали... Ну, и привелъ Богъ въ пустыню, да только не такъ, какъ думалось.

«Лѣтъ за пятнадцать до смерти принялъ родитель иночество отъ нѣкоего старца Агаѳангела, приходившаго къ намъ изъ стародубскихъ монастырей. Съ этихъ поръ онъ ничѣмъ ужъ не занимался и весь посвятилъ себя Богу, а домомъ и всѣмъ хозяйствомъ заправляла старуха-мать, которую онъ и называлъ «посестріей». Помню я множество странниковъ, посѣщавшихъ нашъ домъ: и не вѣсть откуда приходили они: и изъ Стародуба, и съ Иргиза, и съ Керженца, даже до Аѳона доходили иные; и всѣхъ-то отецъ принималъ, всѣхъ чествовалъ и отпускалъ съ милостыней.

«Между *христіянами* въ то время большое смятеніе было; не только отъ мірскихъ гоненье терпѣли, а и промежъ себя все были раздоры да неурядицы: кто хотѣлъ священства, а кто его и вовсе отвергалъ *). Родителя мо-

*) Любопытствующихъ узнать болѣе подробныя свѣдѣнія объ этихъ смутахъ отсылаемъ къ сочиненію протоіерея Андрея Іоаннова: «Полное историческое извѣстіе о древнихъ стригольникахъ», и пр., а также къ «Исторіи русскаго раскола», преосвященнаго Макарія, епископа виннипкаго.

его это сильно печалило. Безпрестанно получали мы письма и посланія то отъ той, то отъ другой стороны, и всякъ уговаривалъ не слушать противника, у всякаго противникъ супостатомъ и отщепенцемъ св. церкви назывался. Странники, бывшіе на Москвѣ, тоже немного хорошаго пересказывали: тамъ, на этихъ соборахъ, доходило чуть не до убивства.

«Горько сдѣлалось родителю; своими глазами сколько разъ я видалъ, какъ онъ цѣлые дни молился и плакалъ. Наконецъ, онъ рѣшился самъ идти въ Москву. Только Богъ не допустилъ его до этого; отъѣхалъ онъ не больше какъ верстъ сто и заболѣлъ. Вамъ, ваше благородіе, оно, можетъ, неправдой покажется, что вотъ простой мужикъ въ такое большое дѣло все свое, можно сказать, сердце положилъ. Однако это такъ.

«Дали намъ знать, что родитель умираетъ. Пріѣхали мы съ матушкой въ Ножовку (село такое есть), гдѣ онъ лежалъ у одного стариннаго благопріятеля; пріѣхали, а у него ужъ руки и ноги отнялись. Принялъ онъ, сударь, и схиму, передъ кончиной, по той причинѣ, что предъ лицо Божіе похотѣлъ предстать въ ангельскомъ всеоружіи; объ одномъ только жалѣлъ, что не сподобилъ его Богъ мученическій вѣнецъ воспріять, что вотъ онъ на свободѣ преставляется, а не въ узахъ и не въ тѣснотѣ. Смекаю, что онъ затѣмъ больше и въ путь отправлялся, что чаялъ за Христа душу положить.

«Умеръ онъ въ полной памяти и свѣтломъ разумѣ, съ молитвой и благословеніемъ... Это-то самое воспоминаніе объ его, то-есть, тихой и праведной смерти еще болѣе утвердило меня. Можетъ ли статься; думалъ я, чтобы наше дѣло было неправое, когда вотъ родитель ужъ на что былъ большого разума старикъ, а и тотъ не отступился отъ своей старины: какъ жилъ въ ней, такъ и умеръ. Къ тому же и такая была у меня мысль, что передъ смертью каждый человѣкъ сокровеннымъ вѣдѣніемъ просвѣщается; стало-быть, если-бъ совѣсть его была чѣмъ ни-на-есть замарана, зачѣмъ же бы ему не примириться съ ней передъ смертью: тамъ вѣдь не человѣческій судъ, а Божій!

«Случился въ это самое время въ Ножовкѣ засѣдатель. Какъ ни секретно мы свое дѣло устраивали, однако онъ пронюхалъ, что вотъ, дескать, померъ старикъ безъ покаянія; пришелъ къ намъ въ домъ.

«— Отъ какой, говоритъ, причины померъ здѣсь ста-

рикъ, да и чтой-то за старикъ таковъ? Давайте, говоритъ, мнѣ его видъ.

«А вида у отца точно-что никакого не было, по той причинѣ, что пашпортъ считалъ онъ дѣломъ сугубо грѣховнымъ. У насъ насчетъ этого такой разговоръ былъ, что пашпортъ ли, печать ли антихристова—все это едино. Есть книга такая, Трифологія прозывается, и въ ней именно наказано: «опасатися трехъ вещей: звѣринаго образа, карточекъ и наипаче всего душепагубныя печати». Опять-таки и Зиновій-мних ъ на вопросъ: «которыми вещьми хощетъ увязати человѣкомъ умъ сопротивникъ Божій?»—прямо отвѣчаетъ: «повелитъ творити нѣкая письмена на карточкахъ, съ тайнымъ именемъ, да не могутъ безъ тѣхъ въ путь шествовать». Ну, и выходитъ, что карточки пашпортъ и есть.

«Однако, засѣдатель всего этого разговору не понимаетъ.—«Мнѣ, говоритъ, подавай пашпортъ».

«— Да гдѣ-жъ его возьмешь, коли нѣтути? — говоримъ мы ему.

«— Такъ нѣтъ, стало, пашпорта? — ладно; это пунктъ первый. А теперь, говоритъ, будетъ пунктъ второй: кто, бишь, изъ васъ старика отравилъ? И въ какихъ это законахъ написано, чтобъ смѣлъ человѣкъ умереть безъ напутствія!

«Мы такъ, сударь, и помертвѣли всѣ.

«— Да, говоритъ, это надлежитъ дѣло изслѣдовать, потому что и законами не повелѣно безъ напутствія умирать!

«А самъ, знашь, подошелъ къ мертвому-то, да еще надругаться надъ нимъ норовитъ. Я въ тѣ-поры еще молоденекъ былъ; кровь-то во мнѣ играла—ну, и обидно мнѣ это показалось.

«— А что, говорю, много жалованья, ваше благородіе, получаешь за то, чтобъ надъ праведникомъ надругаться?

«Такъ онъ только засмѣялся, антихристъ, да въ щеку мнѣ легонько потрафилъ.

«Истрясли мы въ ту пору рублей больше тысячи на тогдашнія еще деньги, и схоронили-таки родителя по своему обычаю. Однако, съ этихъ поръ словно знобитъ у меня все нутро, какъ увижу полицейскаго: такъ и представляется мнѣ покойникъ, какъ онъ его рѣзать и потрошить хотѣлъ.

«Остался я послѣ отца по двадцатому году; ни братьевъ,

ни сестеръ не было: одинъ какъ перстъ съ матушкой. Года были подходящіе; матушка стала стара; хозяйство въ разстрой пошло... вотъ и стала ко мнѣ приставать старуха: женись да женись.

«Конечно, сударь, и отецъ, и дѣдъ мой, всѣ были люди семьянистые, женатые; стало-быть, нѣтъ тутъ грѣха. Да и Богъ сказалъ: «не добро быти единому человѣку». А все-таки какая-нибудь причина тому есть, что писаніе, коли порицаетъ какую ни-на-есть вещь или установленіе или дѣяніе, не сравнитъ ихъ съ мужемъ непотребнымъ, а все съ дѣвкой-жидовкой, съ женой скверной. Да и Адамъ не самъ собою въ грѣхопаденіе впалъ, а все черезъ Евву. Оно и выходитъ, что баба всему будто на землѣ злу причина и корень.

«Къ тому же и отецъ, на смертномъ одрѣ, не больно желалъ, чтобъ я осемьянился, даже матери наказывалъ, чтобъ она меня къ этому дѣлу не нудила. Припомнилъ я это старухѣ—такъ куда! И святыхъ-то всѣхъ помянула, и отца потревожила: такая ужъ ихъ бабья природа. «Онъ, говоритъ, и живъ-то былъ, такъ ровно его не было, только слава, что мужъ, а умеръ — одно разоренье оставилъ». А то и забыла, что и домъ, и все, что въ немъ ни было, все трудовъ отцовскихъ дѣло. Крѣпился я года съ три, однако она меня одолѣла. Какъ съ утра да до ночи къ тебѣ пристаютъ, такъ и не вѣсть чего сдѣлаешь.

«Вотъ я и женился. Жила у насъ на селѣ дѣвка не дѣвка, вдова не вдова, а такъ женщина сумнительная. Словно диво сталось какое, полюбилась она моей старухѣ. Слухъ у насъ былъ, будто она съ старцами дружбу водитъ, которые неподалеку отъ насъ въ лѣсахъ спасались; старцы были все молодые да здоровенные, зачастую къ намъ на село за подаяньемъ прихаживали, и все, бывало, у ней становятся. Сталъ я говорить про это матери, такъ и то все прахомъ пошло: «что-жъ, говоритъ, развѣ старцы люди простые? Отъ нихъ, окромя благодати, ничего и быть-то не можетъ». Ну, и обвѣнчали въ церкви. Я было-хотѣлъ, чтобъ дѣло просто сталось, по-родительскому то-есть благословенію, по той причинѣ, что и учители наши сказываютъ: «не въ томъ-де замыкается сила тайны брака, чтобъ черезъ попа оную отрправить» *); однако, и тутъ мать-старуха не

*) См. «Извѣстія о стригольникахъ и пр.», соч. Андрея Іоаннова. Изд. 5-е, ч. II, стр. 36.

допустила. «Это, говоритъ, ты хочешь, чтобъ меня засудили на старости лѣтъ? Мало, что ли, я въ тѣ-поры съ покойничкомъ денегъ истрясла?»

«Оно и точно, ваше благородіе, тяжкія времена тогда были. Отъ самой, то-есть, утробы материнской и до самой смерти земская полиція неотступно за нами слѣдила. Какъ пастырь вѣрный и никогда не спящій, стерегла она стадо наше и получала отъ того для себя утѣху великую. Первая была мзда за нехожденіе, вторая за сожительство, третья за неокрещеніе, четвертая за погребеніе не по чину. Удивляешься нынче, какъ на все это ихъ ставало, откуда деньги у стариковъ брались. И не то чтобъ помаленьку, по-христіански брали—отчего-жъ и не взять бѣдному человѣку, коли случай есть?—нѣтъ, норовитъ, знаешь, смаху ограбить въ конецъ. Бывали случаи, какъ поважнѣе дѣло, вотъ хошь бы насчетъ совращенья, такъ въ домѣ-то послѣ полиціи словно послѣ погрому.

«Ну, и подлинно повѣнчали насъ въ церкви; оно, конечно, попъ подсолонь вѣнчалъ — такъ у насъ и уговоръ былъ, а все-таки я свое начало исполнилъ: воротился домой, семь земныхъ поклоновъ положилъ и прощенья у всѣхъ испросилъ: «простите, молъ, святіи отцы и братья, яко по нуждѣ азъ грѣшный въ еретической церкви повѣнчался» *). Были тутъ наши старцы; они съ меня духомъ этотъ грѣхъ сняли.

«Не долго мы пожили въ согласіи. Первое дѣло, что брань промежъ бабъ пошла, а второе дѣло—эти старцы больно ужъ одолѣвать меня зачали. Кажный-то день все они къ намъ да къ намъ, и пошло у нихъ это бражничанье да хлѣбосольство, словно кабакъ какой у насъ въ домѣ завелся. Старуха-мать только сидитъ да плачетъ, а я... мнѣ, сударь, полюбилась такая жизнь. Соберемся мы, бывало, въ кружокъ, поставитъ намъ жена браги, и пошелъ разговоръ. Старцы эти были народъ хошь не больно грамотный, однако изъ этихъ цвѣтниковъ да азбуковъ понабрались кой-чего; сидитъ себѣ, знай, пьетъ, да каждый глотокъ изреченіемъ изъ святого писанія будто закусываетъ: особливо одинъ—отцомъ Никитой прозывался. Сталъ я въ ту-пору и хмелемъ зашибаться; понималъ я, конечно, что это дѣло не христіянское, да удержаться никакъ не возможно: такъ и тянетъ и тянетъ въ этотъ развратъ.

---

*) Тамъ же.

«Такимъ-то родомъ пропили мы и послѣднія денежки. Думалъ я, думалъ, куда дѣвать мнѣ свою головушку, и рѣшился наконецъ. Рѣшился я, сударь, идти въ повѣренные на винный заводъ. Владѣлецъ его знавалъ еще нашего родителя, и хошь, можетъ, доходили до него слухи, что сынъ не въ отца пошелъ, однако принялъ меня и жалованье большое положилъ. Не дошелъ бы я, сударь, до этой крайности, лучше бы съ голоду умеръ, чѣмъ въ экое поганое мѣсто служить идти; да жена и тутъ сомустила. «Что-жъ, говоритъ, развѣ ты тутъ при чемъ-нибудь будешь? Ихъ, молъ, дѣло особь статья, а твое особь статья: вотъ кабы твой заводъ былъ, это точно что грѣхъ, а то и родитель твой съ ними дѣла имѣлъ, не гнушался». Ну, и старцы тоже приговорили, что ничего закону противнаго нѣтъ; только старуха-мать ровно по покойникѣ голосила, какъ я на заводъ отправлялся.

«Въ заводѣ этомъ пробылъ я лѣтъ восемь; какую жизнь я тѣмъ временемъ велъ, даже вспомнить стыдно. Довольно сказать, что по постнымъ днямъ скоромное ѣлъ, водку пилъ, табачище курилъ! И гдѣ-гдѣ не перебывалъ я въ эти восемь лѣтъ! И въ Астрахани, и въ Архангельскомъ, всю Россію почесть вдоль и поперекъ изъѣздилъ. Подивился я, баринъ, въ ту пору, что такое есть Русское царство! Куда ни пріѣдешь—все новый обычай, новая рѣчь, даже одежда новая. Много узналъ я слезъ, много нужды, много печали, и однако все это будто мимо меня прошло. Нажилъ я денежекъ, поприсмотрѣлся кой-къ-чему и самъ сталъ поторговывать, сначала исподволь, а потомъ все больше да шире. Торговалъ я, знаете, книжками, лѣстовками да образками, а какая это была торговля—одному Богу извѣстно. Овладѣлъ мною духъ неправды и любостяжанія; сталъ я обманывать, бѣдный народъ притѣснять, свою братію продавать, отъ христіянства отказываться, все въ чаяньи пріобрѣтенья благъ земныхъ.

«И вѣдь чудо! не поразилъ же меня въ то время Господь, какъ пса смраднаго, когда я не вѣсть до какого кощунства доходилъ. Обманъ, сударь, конечно, дѣло простое, потому какъ на немъ у насъ, пожалуй, весь торговый промыселъ состоитъ, да я-то вѣдь на чемъ обманывалъ? Я вѣдь именемъ Христовымъ, можно сказать, торговалъ! Особливо есть у насъ, въ нашемъ быту, собраньица такія рукописныя, цвѣтнички прозываются; тамъ, знаете, изо всѣхъ книгъ собрано, что намъ на потребу. Эти тетрадки самый

для насъ выгодный промыселъ; покупаетъ ихъ народъ больше неграмотный, которому и не вѣсть чего тутъ наскажешь: вотъ онъ, наслушавшись-то, и точно готовъ на стѣну лѣзти.

«Помощникъ былъ у меня на всѣ такія дѣла предошлый. Прозывался онъ по-просту Андріяшкой, и какъ бы вамъ сказать, не ошибиться, за полтину серебра душу свою готовъ былъ на всякое дѣло продать. Гдѣ и въ какихъ онъ дѣлахъ не бывалъ, этого я вамъ и объяснить не умѣю: довольно сказать, что у комедіантовъ подсказчикомъ былъ... изволите знать, что̀ по городамъ комедіанты бываютъ. Онъ и стихи слагать умѣлъ, особливо про пустынножительство или вотъ насчетъ антихристова пришествія. Одно слово, остроумный, живой парень былъ. Конечно, промежъ насъ-то онъ будто замѣсто шута состоялъ, а въ темномъ народѣ тоже свою роль разыгрывалъ. Часто самому мнѣ случалось слышать, какъ его величали «горняго житія ревнителемъ», ну, и онъ ничего, даже глазомъ не моргнетъ. Такъ вотъ этакой-то проходимецъ и вызвался быть моимъ помощникомъ. И точно: поддѣлать ли что̀ подъ старый манеръ, разсказать ли такъ, чтобъ простой человѣкъ уши развѣсилъ — на все на это у него такой талантъ былъ, что, кажется, если бы да на хорошую дорогу его поставить, озолотилъ бы, не разстался бы съ нимъ.

«Какъ пошла у меня эта торговля, я и мѣсто бросилъ. Слухомъ земля полнится; стали и на Москвѣ знать, что есть-де такой-то ревнитель; ну, и засылать ко мнѣ зачали. Получаю я однажды писемцо, отъ одного купца изъ Москвы (богатѣйшій былъ и всему нашему дѣлу голова), пишетъ, что, молъ, такъ и такъ, извѣстился онъ о моихъ добродѣтеляхъ, что отъ Бога я свѣтлымъ разумомъ надѣленъ, такъ не заблагоразсудится ли мнѣ взять на свое попеченіе утвержденіе старой вѣры въ Крутогорской губерніи, въ которой «христіяне» претерпѣваютъ якобы тѣсноту и истязаніе великое. А средствомъ къ утвержденію предлагаюсь открытіе постоялаго двора, въ которомъ могли бы имѣть пристанище всѣ «христіяне». Ну, разумѣется, и деньги на обзаведеніе тутъ же посулилъ, десять тысячъ рублевъ на бумажки... «А мы, говоритъ, Богу произволяще, надѣемся въ скоромъ времени и пастыря себѣ добыть добраго, который бы могъ и поповъ ставить, и стадо пасти духовное: такъ если, молъ, пастырь этотъ къ вамъ обратится когда, такъ вы его, имени Христова ради, руковод-

ствуйте, а насъ, худыхъ, въ молитвахъ передъ Богомъ не забывайте, а мы за васъ и за всѣхъ православныхъ христіянъ молимся и напередъ молиться готовы».

«Ну, что-жъ, думаю, это дѣло хорошее. Поѣхалъ въ Крутогорскъ, взялъ съ собой Андріяшку, снюхался тамъ съ кѣмъ слѣдуетъ и открылъ въѣзжій дворъ. Крутогорская эта сторона, доложу я вамъ, сплошь населена нашимъ братомъ; только все это тамъ у нихъ, съ позволенія сказать, какая-то тарабарщина. Отъ дикости ли это ихней, а только что ни деревня у нихъ, то толкъ новый; даже въ одномъ и томъ же селеньи по нѣскольку бываетъ. Одни на воду вѣруютъ; соберутся, знашь, въ избѣ, поставятъ посреди чанъ съ водой и стоятъ вокругъ, доколѣ вода не замутится; другіе дѣвку нагую въ подполье запираютъ, да потомъ ей кланяются; третьи говорятъ: «несогрѣшивый спасенья не имѣетъ», и стараются по этой причинѣ какъ возможно больше грѣха на душу принять, чтобъ потомъ было что замаливать. Есть даже такіе изувѣры, что голодомъ себя измариваютъ; только нонѣ этихъ стало менѣ замѣтно.

«Надлежало, стало-быть, всѣхъ этихъ разнотолковъ въ одно согласить, и задача трудненька-таки была. Писалъ я объ этомъ въ Москву къ своему благодѣтелю, такъ онъ отвѣчалъ, что это ничего, лишь бы были всѣ «христіяне». Ну, я такъ и дѣйствовалъ.

«Конечно, сударь, какъ теперь разсудить, такъ оно точно выходитъ, что въ этихъ дѣлахъ много сумнительнаго бываетъ. На этотъ счетъ, доложу я вамъ, трехъ сортовъ есть люди. Одни именно сердцемъ это дѣло понимаютъ, и эти люди хорошіе, примѣрно вотъ какъ родитель мой. Правы они или неправы, это статья особенная, да по крайности они вѣруютъ. И вы, баринъ, не подумайте, что они изъ-за сугубой аллилуіи или изъ-за перстовъ такъ убиваются. Нѣтъ, тутъ совсѣмъ дѣло другое; тутъ, сударь, вотъ антихристъ примѣшался, тутъ старина родная, земство, и мало ли еще чего! Извѣстно, Андрея Денисова ученики. Экихъ людей немного, а нонѣ, пожалуй, и совсѣмъ нѣтъ. Эти на все готовы: и смерть принять, и поруганіе претерпѣть, все это даже за радость себѣ почитаютъ. А вотъ другой есть сортъ, такъ эти именно разбойники и святотатцы. Это больше все люди богатые или хитрые; заводятъ смуты не для чего другого, какъ изъ того, чтобы прибытокъ получить, или еще для того, чтобъ честь ему была. Хуже, злѣе этихъ людей на свѣтѣ нѣтъ; готовъ полсвѣта зарѣзать, чтобъ при-

хоть свою исполнить. Самъ онъ не только въ старую, а, просто сказать, ни въ какую вѣру не вѣруетъ; знали бы только, что, молъ, вонъ онъ каковъ: слово скажетъ, такъ четь Россіи этого слова слушаетъ. Ну, подлинно слушаютъ, потому что народъ не разсуждаетъ: ему только скажи, что такъ, молъ, при царѣ Горохѣ было, или тамъ что какой ни-на-есть папа Дармосъ былъ, котораго тѣло было ввержено въ рѣку Тивирь, и отъ этого въ рѣкѣ той вся рыба повымерла,—онъ и вѣритъ. Это третій сортъ.

«И еще доложу вамъ, сударь, такой, примѣрно, предметъ, что сколько вотъ я ни бродилъ по свѣту, сколько ни знавалъ «особниковъ», а истинной, настоящей то-есть любви въ нихъ не видалъ. Всѣ они какъ есть «особники». Нѣтъ того, чтобъ душу свою за ближняго положить, а пуще горло ему перегрызть готовы. Мало въ нихъ общительности, мало и радушія, и милосердія. Кто больше ихъ подаетъ милостыни? Кто больше ихъ жертвуетъ на общее дѣло? А все какъ-то сразу замѣчаешь, что тутъ истиннаго мало, что все это—и жертва, и приношенія—одинъ хазовый конецъ. Конечно, есть же какая-нибудь этому причина, что сердце въ нихъ словно зачерствѣло, что они на свѣтъ Божій сурово глядятъ, а только это истинная истина, что къ общенію ихъ мало тянетъ. Иной богатый купецъ тысячи броситъ, чтобъ прихоть свою на народѣ удовольствовать, а умирай у него съ голоду на дворѣ душа христіянская—онъ и съ мѣста не двинется...

«Дѣла мои шли ладно. На дворѣ, въ банѣ, устроилъ я моленную, въ которой мы по ночамъ сходились; анбары навалилъ иконами, книжками, лѣстовками, всякимъ добромъ. Постояльцевъ было во всякое время множество, но выгоднѣе всѣхъ были такіе, которыхъ выгоняли въ городъ для увѣщаній. Позовутъ ихъ, бывало, въ присутствіе, стоятъ съ утра ранняго, а потомъ, глядишь, и выйдетъ самъ секретарь.

«— А вы, молъ, кто такіе?

«— А мы, батюшка, вотъ такіе-то; нельзя ли, кормилецъ, надъ нами скорѣе конецъ сдѣлать?

«— А! — скажетъ секретарь: — ну, теперь поздно, пора водку пить, приходите завтра.

«Придутъ и завтра; тоже постоятъ и опять: «приходите завтра». Иной разъ такимъ-то манеромъ съ мѣсяцъ томятъ, пока не догадаются мужички полтинничекъ какой-нибудь приказной крысѣ сунуть. Тутъ ихъ въ одинъ день и окру-

тятъ—извѣстно, остались всѣ непреклонны, да и вся не долга. И диво бы не остались, баринъ! Дома-то онъ одинъ; видитъ ли, нѣтъ ли передъ собой такого же сиволапа, какъ и самъ, а тутъ придетъ въ городъ, остановился, примѣрно, хошь у меня или у другого такого же, и чего-чего ему въ уши-то тутъ ни нашепчутъ! Какъ изъ деревни-то онъ шелъ, совѣсть-то у него, можетъ, шаталася, а тутъ, гляди, совсѣмъ другой человѣкъ сдѣлался. «Не хочу, да не хочу!» да и полно; а почему «не хочу»—молчитъ; «просто, говоритъ, не хочу!» Что-жъ съ нимъ станешь дѣлать?

«Ну, а для насъ, крохоборцевъ, оно и хорошо. Простоятъ они этакъ съ мѣсяцъ—глядишь, анъ на космъ тридцать, на коемъ сорокъ бумажками. А расходу для нихъ не Богъ знаетъ сколько: только за тепло да за ласку, потому что хлѣбъ у него завсегда свой, и такой, сударь, хлѣбъ, что нашему брату только на диво, какъ они его ѣдятъ. Какъ приходится домой идти, да объявишь каждому расчетъ, такъ онъ только вздыхаетъ. И денегъ-то у него нѣтъ, и припасъ-отъ весь извелъ, потому что собирался на недѣлю одну, а продержали мѣсяцъ. Ну, мы насчетъ этого не прекословимъ: тутъ же и условимся, чтобъ замѣсто денегъ хлѣбомъ, или медомъ, или холстомъ по ихней, то-есть, цѣнѣ: доставка тоже ихняя. Это дѣло очень выгодное и обмановъ тутъ не бываетъ—чего!—еще гостинцу всякій разъ присылаютъ!

«Однажды получаю я письмо отъ своего милостивца, что вотъ добыли они себѣ пастыря, мужа честна и добра, и что похотѣлъ онъ овцы своя узрѣти и даже нашъ городъ предположилъ посѣтить.

«Вотъ и подлинно пріѣхалъ онъ. Пріѣхалъ ночью, съ возами, будто извозчикъ; одѣтъ словно мѣщанинъ простой, въ кафтанчикѣ и въ жилеткѣ, и волосы въ кружокъ обстрижены, и паспортъ при немъ; только чужой али фальшивый—доложить не могу. Приняли мы его съ честью великою; подъ благословенье, какъ слѣдуетъ, подошли; только самъ онъ словно необычно держалъ себя: чуть немного не по немъ—онъ не то чтобъ просто забранить, а все норовитъ обозвать тебя непотребно. Служилъ онъ (такая при немъ церковь походная была), и за службой уставщика то и дѣло ругалъ азартно, словно не въ церкви, а въ кабакѣ онъ дѣйствуетъ. Смотрѣлъ я на него, смотрѣлъ: самъ вижу, словно морда у него знакомая, а припомнить не могу. Что-жъ, сударь, открылось? Кончилъ онъ всю эту комедію,

поломался-таки передъ нами досыта и остался со мной ужъ одинъ-на-одинъ.

«— Что-жъ, говоритъ, или не признаешь меня, Александра Петровичъ?

«— Нѣтъ, молъ, не признаю; это точно, что сдается, будто тебя знаю, а гдѣ и когда видѣлъ—доподлинно сказать не умѣю.

«— А не припомнишь ли, говоритъ, Степку, казанскаго дворника?

«— Да что ты шутишь, что ли?

«— Нѣтъ, не шучу; вотъ мы теперь рѣшимъ и вяжемъ и какое хошь таинство творимъ.

«— Господи, ты, Боже мой! Такъ вотъ, молъ, ты кто таковъ!

«А знаете ли вы, сударь, кто этотъ Степка? Въ Казани онъ былъ дворникомъ и за блудную жизнь да за воровство въ некруты присужденъ былъ отъ общества.

«Вотъ онъ и бѣжалъ; старую вѣру, слышь, принялъ, да потомъ нашими благопріятелями и уставленъ къ намъ пастыремъ! И ума-то даже хитраго не имѣлъ, да видно по этой причинѣ и полюбился нашимъ милостивцамъ, что на немъ подозрѣнья держать было нельзя: весь онъ былъ въ ихъ рукахъ.

«Только наказалъ же меня за него Богъ! Послѣ ужъ я узналъ, что за нимъ шибко слѣдили, и что тотъ же Андріяшка-антихристъ насъ всѣхъ выдалъ. Жилъ я въ Крутогорскѣ во всемъ спокойствіи и сумнѣнія никакого не имѣлъ, по той причинѣ, что плата отъ меня, кому слѣдуетъ, шла исправно. Сидимъ мы это вечеромъ, ни о чемъ не думаемъ; только вдругъ словно въ ворота тукъ-тукъ. Посмотрѣлъ я въ оконце, анъ тамъ ужъ и домъ со всѣхъ сторонъ окруженъ, а въ комнатѣ частный. «Что, говоритъ, попался мошенникъ!»

«Только я къ нему:—Помилосердуйте, говорю, ваше благородіе! за что-жъ конфузить? Кажется, съ меня и то сходитъ не мало, а это, молъ, нашъ пріятель; человѣкъ заѣзжій, и паспортъ при немъ. За что его безпокоить!

«— Да, говоритъ, это точно, что приношеніе отъ тебя бываетъ, и мы, говоритъ, оченно за это тебѣ благодарны; да то, вишь, приношеніе вообще, а Степка въ него не входитъ. Степка, стало-быть, большой человѣкъ, и за этого человѣка съ другого три тысячи цѣлковыхъ взять мало будетъ; ну, а тебя начальство пожаловать желаетъ, полагаетъ

взять только три. Такъ ты это чувствуй; дашь — твой Степка, не дашь—нашъ Степка.

«А Степка сидитъ въ углу словно неживой.

«Я по началу заупрямился-было.

«— Ну, говоритъ, жаль мнѣ тебя, Александра Петровичъ, а дѣлать нечего—надѣвай, братъ, кандалы. А разоришься-то ты, все-таки, разоришься...

«Ну, и Андріяшка тутъ; смѣется, сосудъ сатанинъ, словно отъ того ему радость сердечная, что вотъ благодѣтеля своего погубилъ. Бываютъ, сударь, экіе скареды, что просто тебя изъ-за ничего, безъ всякой, то-есть, выгоды загубить готовы.

«Дѣлать нечего, отдалъ я тутъ всѣ деньги, какія черезъ великую силу всякими неправдами накопилъ; онъ и покончилъ дѣло. Самъ даже Степку при себѣ снарядилъ и со двора выпроводилъ:—«Ступай, говоритъ, на всѣ четыре стороны, да впередъ не попадайся, а не то, неровѣнъ часъ, не всякій будетъ такой добрый, какъ я».

«Ну, да это все бы еще ничего. Сижу я на другой день одинъ, будто горюю; смотрю, частный опять ко мнѣ на дворъ ѣдетъ: что бы это за оказія такая?

«И, главное, вѣдь вотъ что обидно: они тебя, можно сказать, жизни лишаютъ, а ты, вишь, и глазомъ моргнуть не моги—ни-ни, смотри весело, чтобъ у тебя и улыбочка на губахъ была, и привѣтливость въ глазахъ играла, и закуска на столѣ стояла: неравно господину частному выпить пожелается.

«Вошелъ онъ.—«Ну, говоритъ, ты теперича, пожалуй, собираться въ дорогу можешь».

«— Какъ, говорю, собираться? Куда?

«— Ну, да вотъ хоть туда, откуда къ намъ пріѣхалъ.

«— А домъ-то какъ?

«— А домъ продашь наускори: у меня ужъ и покупщикъ такой сыскался.

«— Да помилуй, ваше благородіе, за что же ты три-то тысячи вчерась взялъ?

«— Это, говоритъ, не твое дѣло; нынче порядокъ такой. Мы вотъ начальнику докладывали, что Степка, молъ, неизвѣстно куда изъ дому твоего скрылся, такъ начальство изволитъ говорить: если ужъ такъ, что Степку изловить не могли, такъ, по крайности, чтобъ духу твоего въ городѣ не пахло: развращаешь ты весь народъ.

— Господи, ты, Боже мой! да что-жъ, ограбить, что ли, вы меня, удавить, что ли, хотите?

«Онъ, знаешь, вспыхнулъ.

«— Какъ, говоритъ, ограбить? Кто здѣсь грабитъ?

« Да ногами такъ и затопоталъ и ручищи впередъ выпятилъ, знамо для чего.

«— Счастливъ твой Богъ, говоритъ, что человѣкъ-то я добрый: вижу, что ты больно ужъ огорченъ, не въ своемъ будто умѣ такія дѣла говоришь.

«Ну, и представили мнѣ покупщика на домъ, а покупщикъ-отъ Андріяшка. Выложилъ онъ мнѣ тутъ же тысячу серебряныхъ рублей, однако и тѣ частный взялъ:—«Ты, говоритъ, пожалуй, съ деньгами-то здѣсь останешься, да опять смуту заводить станешь, а вотъ, говоритъ, тебѣ на дорогу двадцать цѣлковенькихъ, ступай во-свояси».—Я было-попросить хотѣлъ—такъ куда!—«Ты, говоритъ, видно брыкаться задумалъ, такъ вѣдь у насъ дѣло-то еще не кончено; пожалуй, и теперь еще въ казаматъ угомонить можно, яко пристанодержателя и развратителя—это все въ нашихъ рукахъ».

«Въ ту же ночь я отправился пѣшкомъ на родину, а Андріяшка и доселѣ въ моемъ дому хозяйствуетъ.

«Что ужъ ни передумалъ я дорогой—этого вашему благородію и пересказать не могу. А пуще того голова у меня словно онѣмѣла; вижу, поля передо мной, снѣгъ лежитъ (тогда первопутка была), лѣсъ кругомъ, съ возами мужики ѣдутъ—и все будто ничего не понимаю: что лѣсъ, что снѣгъ, что мужикъ—даже различить не могу. А не то вотъ словно дурость найдетъ: все еще думается, что я богатъ, что скоро обѣдать надо, что свѣчи дома всѣ вышли, что съ такого-то вотъ рубль донять слѣдуетъ, а Мокея оковскаго и постращать не лишнее. И всякая, знаете, въ голову чепуха лѣзетъ, точно самъ-то не думаешь, а одни прежніе остатки сами собой въ тебѣ дорабатываются.

«Пришелъ я домой нищъ и убогъ. Матушка у меня давно ужъ померла, а жена даже не узнала меня. Что тутъ у насъ было брани да покоровъ, этого и пересказать не могу. Дома-то на меня словно на дикаго звѣря показывали: «вотъ, молъ, двадцать лѣтъ по свѣту шатался, смотри, какое богачество принесъ!»

«Къ тому же и болѣзнь въ это время посѣтила меня. Отъ огорченья, что ли, или просто отъ простуды, только сдѣлался я словно ребенокъ, ни однимъ то-есть суставомъ по-

шевелить не могу. По тѣлу пошли струпья, и чувствовалъ я, будто весь живой истлѣваю. Господи! чего ужъ я въ это время не передумалъ, чего не перестрадалъ. Голова не болитъ, а словно передъ тобой въ туманѣ все ходитъ. То будто кажется, что вдругъ черти тебя за языкъ ловятъ; то будто самъ Ведекосъ на тебя смотритъ и говоритъ тебѣ: «и пріидутъ вси людіе со тщаніемъ...» Въ глазахъ у него свѣтъ и тьма, изъ гортани адомъ пышетъ, а на головѣ корона змѣиная. Вся моя прежняя блудная жизнь встала передо мной, всѣ эти грѣхи: и святотатство, и наругательство, и любострастіе, и обманы, и кривда, и прелюбодѣяніе, и разбой. То будто за руку меня повѣсили, или вотъ каленымъ желѣзомъ глаза и уста прожигаютъ. Однажды даже вся преисподняя мнѣ открылась; сидитъ Вельзевулъ на престолѣ огненномъ, а крутомъ престола слузи его хвостами помаваютъ, а крылѣ у нихъ словно у мыши летучей. Завидѣлъ онъ меня еще издалека и завопилъ: «се грядетъ вѣрный слуга нашъ, онъ нашу паству добрѣ пріумножилъ, примемъ его съ честью великою». Подхватили меня тутъ бѣсы подъ руки и поволокли къ самому престолу. Оглянулся я, а сзади знакомыя все лица: и точно, всѣ тутъ были, которыхъ я въ свою жизнь на пагубу настроилъ.

«Однако, сударь, случилось тутъ со мной чудо. Сталъ я выздоравливать; кровь словно отошла маленько, и хошь вставать я съ печки не могъ, да по крайности черти въ глазахъ не вертѣлись. И вдругъ, знаете, сижу я одинъ, будто сномъ забывшись, и слышу, что по избѣ благоволніе разливается: ѳиміамъ не ѳиміамъ, а такого запаху я и не слыхивалъ—одно слово, по душѣ словно мягкимъ прошло: такъ оно сладко и спокойно на тебя дѣйствуетъ. Открылъ я глаза—это точно я помню, что открылъ—и вижу передъ собой старца, ликомъ чудна и облакомъ пресвѣтлымъ озареннаго. Трепетъ объялъ меня. Порывался я броситься на землю, чтобы облобызать честныя нозѣ его, и не могъ: словно тайная сила сковала всѣ суставы мои и не допустила меня, недостойнаго, вкусить такого блаженства. «Господи!—могъ я только произнесть:—грѣшенъ я, грѣшенъ я, Господи!»

«Что со мной потомъ сталось, я разсказать не могу. Должно-быть, больно я испужался, что и въ памяти-то у меня ничего не осталось. Однако, проснувшись, ощутилъ себя здраво и тутъ же положилъ сбросить съ себя суету грѣховную и удалиться въ пустынножительство.

«Сказывали мнѣ странники, что такія есть мѣста въ Чердынскомъ уѣздѣ, въ самомъ то-есть углу, гдѣ Божьи люди душу свою спасаютъ. Тамъ по рѣкамъ: Лупьѣ, Пильвѣ, Лёлѣ и Колвѣ, въ лѣсахъ дремучихъ, построены, дескать, кельи, и въ нихъ не мало-таки народу живетъ. Сказываютъ, что даже изъ Москвы въ тѣ мѣста благочестивые старцы спасаться ходятъ, что много тамъ есть могилъ честныхъ, и начальство про то не знаетъ и не вѣдаетъ. А то вотъ и про другое мѣсто сказывали. Въ Оренбургской губерніи, около Златоуста, въ горахъ, такіе же пустынники обитаютъ, и все больше въ пещерахъ, и одна такая пещера есть, что въ ней денно и нощно свѣща горитъ, а чьей рукой возжигается—неизвѣстно. Въ этихъ, баринъ, пещерахъ люди безъ одежды ходятъ, питаются злаками земными, и даже промежъ себя рѣдко общеніе имѣютъ. Ну, къ этакой жизни я еще не считалъ себя готовымъ, по той причинѣ, что спервоначала надлежало плоть въ себѣ добре умертвить. Къ тому же и на мѣста эти не всѣ одинаково указываютъ; одинъ говоритъ: «дойдешь до Златоуста, вороти на сиверъ»; другіе: «отъ Златоуста на восходъ ступай». Вотъ и думалъ я идти сперва на Лупью, а тамъ, буду, молъ, живъ, постепенно душу спасать стану.

«И подлинно, только началъ я силами владѣть, не сказалъ никому ни слова, взялъ съ собою часословъ древній да тулупчикъ, и скрылся изъ дому, словно тать, ночью.

«Шелъ я туда съ мѣсяцъ мѣста, потому что отъ насъ будетъ туда верстъ болѣе шестисотъ. Шелъ я Христовымъ именемъ, словно Самъ Онъ съ небеси меня подкрѣплялъ на подвигъ душевный. Сказали мнѣ, что тамъ деревнишка такая есть—пермяки въ ней живутъ; оттуда, молъ, всякій мальчишка тебѣ укажетъ, какъ пройти къ пустынникамъ. И точно, пришелъ я туда, спросилъ только старцевъ, мнѣ и проводника ту-жъ минуту дали, и *маточкой*—такой канпасикъ есть крестьянскій—снабдили *). Пермяки эти къ старцамъ большое почитаніе имѣютъ, и не только сами ихъ не трогаютъ, а даже отъ полиціи всячески укрываютъ. Причина тому, сударь, простая. У старцевъ и хлѣбъ за-

*) *Маточкой* называется небольшой компасъ или, лучше сказать грубо сдѣланная коробочка съ крышкою: внутри коробки, подъ самою крышкой, вдѣлывается бумажный кружокъ, на которомъ означены страны свѣта; на днѣ же ея прикрѣпляется желѣзная шпилька, на которой вращается магнитная стрѣлка. Эта *маточка* составляетъ необходимую принадлежность всякаго охотника между пермяками и зырянами.

всегда водится, и порохъ, и припасъ всякій, всего этого имъ довольно изъ окольныхъ мѣстъ въ милостыню присылаютъ. Ну, а пермяки народъ бѣдный, хлѣба у нихъ или совсѣмъ не родится, или родится такая малость, что только по праздникамъ имъ лакомятся. Ѣдятъ они совсѣмъ мало, а больше пьютъ; такая у нихъ брага изъ овса дѣлается: и хмельно, и питаетъ. Хмель тѣмъ для него хорошъ, что словно какъ себя при немъ забываешь, а болтушка эта мучнистая хоть и не больно сытна, а животъ отъ нея довольно-таки пучитъ: ему это тоже на руку, потому что онъ хошь и не сытъ взаправду, а все будто сытъ. Одежи они тоже почти не знаютъ; въ самый сильный морозъ на немъ понитокъ изъ холста, только и всего. Какая же имъ, стало-быть, причина старца тревожить, когда онъ отъ него, можно сказать, и продовольствіе, и промыселъ свой получаетъ за то только одно, чтобъ не мѣшать ему душу спасать?

«Шли мы этакъ съ часъ времени, и шли все на лыжахъ, потому что простыми ногами въ такихъ снѣгахъ и ходить невозможно. Хоть зима была ужъ на исходѣ (подъ Благовѣщенье почти подходило дѣло), однако въ тѣхъ мѣстахъ снѣгъ даже не тронулся совсѣмъ. Шли мы сначала полемъ, этакъ съ версту, а потомъ пошелъ лѣсъ, да такой частый, заплутанный, что даже пройти трудно, не то что проѣхать. Дивное это дѣло; кажется, вотъ и жило тутъ не далеко, человѣкъ, стало-быть, дѣйствуетъ, а въ этихъ мѣстахъ словно ноги человѣческой не бывало: кромѣ звѣринаго слѣду, все ровно и гладко.

«Тамъ, въ самой чащѣ, наткнулись мы, подъ конецъ, на лачужку. Стояла она неподалеку отъ оврага, въ которомъ рѣчка Ворчанъ бѣжитъ; позади ея, саженяхъ этакъ въ двадцати, полянка расчищена; на рѣчкѣ меленка маленькая, по-нашему мутовка. Кажись бы, все хозяйство тутъ—какъ бы жилья не найти? Однакожъ безъ проводника именно не сыщешь, по той причинѣ, что ужъ оченно лѣсъ густъ, а тропокъ и совсѣмъ нѣтъ: зимой тутъ весь ходъ на лыжахъ, а лѣтомъ и ходить некому: крестьяне на работѣ, а старцы въ разбродѣ; остаются дома только самые старые и смиренные.

«Старецъ Асафъ, къ которому я присталъ, подлинно чудный человѣкъ былъ. Въ то время, какъ я въ лѣсахъ поселился, ему было, почитай, болѣе ста лѣтъ, а на видъ и шестидесяти никто бы не сказалъ: такой онъ былъ крѣпкій, словоохотливый, разумный старикъ. Лицомъ онъ былъ чистъ

и румянъ; волосы на головѣ имѣлъ мягкіе, бѣлые, словно снѣгъ, и не больно длинные; глаза голубые, взоръ ласковый, веселый, а губы самыя пріятныя.

«Онъ меня согрѣлъ и пріютилъ. Жилъ онъ въ то время съ ученикомъ Іосифомъ: такой, сударь, убогенькій, словно юродивый. Не то чтобъ онъ старику служилъ, а больше старикъ о немъ стужался. Такая была ужъ въ немъ простота и добродѣтель, что не могъ будто и жить, когда не было при немъ такого убогонькаго, ровно сердце у него само пострадать за кого ни-на-есть просилось.

«Никому изъ пустынниковъ не было вѣдомо, откуда онъ пришелъ и когда въ лѣсахъ поселился, а самъ онъ никому объ этомъ не сказывалъ. Разъ какъ-то, однакоже, сталъ я объ этомъ, любопытства ради, его спрашивать, такъ старикъ и не вѣсть какъ растужился.

«— Кая для тебя польза, — отвѣчалъ онъ мнѣ (а говорилъ онъ все на манеръ древней славянской рѣчи): — и какой прибытокъ увѣдать званіе смиреннаго раба твоего, который о томъ только и помыслу имѣетъ, чтобъ самому о томъ званіи позабыть и спасти въ мирѣ душу свою? И кая тебѣ польза отъ того, что очамъ твоимъ раны мои душевныя объявятся и гноище мое узриши? И станешь ли ты вѣстника, глашающаго тебѣ вѣсть добрую, вопрошать о томъ, откуда онъ, и не посадишь ли его, вмѣсто того, за столъ и не насытишь ли гладъ его? Азъ есмь для тебя вѣстникъ добрый, азъ душу твою обрѣлъ и изъ пламени адова исхитилъ ю, а ты мене же вопрошаешь, откудовъ я!

«— Да хотѣлось бы узнать, отче святой,—отвѣчалъ я:— какими, то-есть, путями ты ангельскаго житія похотѣлъ и суетою многомятежною и прелестьми житейскими возгнушался, возлюбивъ всѣмъ сердцемъ Христа и Спаса нашего.

«Но онъ только головой потрясъ, да сказалъ мнѣ, что житіе его, яко сонъ блудницы, во мракѣ нощи прейде, и самъ онъ, яко скоморохъ безстудный, во тмѣ метахся.

«— Да, по крайности, скажи мнѣ, какъ ты иночество получилъ?—спросилъ я.

«— А какъ бы тебѣ сказать,—отвѣчалъ онъ:—пришелъ въ пустыню, палъ ницъ предъ Господомъ Вседержителемъ, проліялъ передъ Нимъ печаль сердца моего, отрекся отъ соблазна мірского, и сталъ инокъ... А посвященія правильнаго на мнѣ нѣтъ.

«На томъ мы съ нимъ и покончили.

«Время, которое я провелъ съ Асафомъ въ пустынѣ,

самое для меня памятное. Въ ту пору не завелось еще въ тѣхъ мѣстахъ ни безчинствъ, ни разврату; проводили мы дни въ тишинѣ, трудѣ и молитвѣ. А трудъ былъ одинъ: книги божественныя переписывали. Придетъ, бывало, весна, старцы, кои помоложе, сплывутъ съ книгами внизъ, да и продадутъ ихъ тамъ, а по осени домой съ выручкой возвращаются. Разговоровъ промежъ себя у насъ было мало, развѣ что поученія отца Асафа слушали. Говорилъ онъ очень складно, особливо про антихристово пришествіе. Онъ и выкладки такія дѣлалъ, и выходило, что быть тому дѣлу въ скорости, однако вотъ и до сей поры не дождались.

«Насчетъ антихриста, доложу я вамъ, вещь эта подлинно любопытная. У «особниковъ» всякое почесть слово антихристъ выходитъ, потому что вся эта механика, можно сказать, у него въ рукахъ. Недостанетъ у него въ словѣ числа—онъ тебѣ прибавитъ букву, какую ему нужно: лишняя есть буква — онъ и отсѣчетъ, не задумается. А не то возьметъ, примѣрно, хоть русское слово; не выходитъ оно по выкладкѣ—онъ по-гречески переведетъ, и опять въ числа. Бываетъ, что и такъ не выходитъ—онъ титулъ прибавитъ: господинъ, или графъ, или князь, или духъ тьмы. До тѣхъ поръ этакъ дѣйствуетъ, покуда и подлинно антихристъ выйдетъ. На простой народъ это большое дѣйство имѣетъ.

«А впрочемъ, живучи въ пустынѣ, и не до разговору, баринъ. Тамъ человѣкъ совсѣмъ будто другой дѣлается. Особливо лѣтомъ. Выйдешь, это, на лужайку: вверху синё, кругомъ лѣсъ неисходный; птица всякая тебѣ поетъ, особливо кукушечка; тамъ будто заяцъ пробѣжитъ, а вдалекѣ трескъ: значитъ, медвѣдь себѣ дорогу прокладываетъ. И вѣдь все слышно; слышно даже будто, какъ травка растетъ... Запахъ такой мягкій, милый, потому что все это дичь, все словно лѣсомъ, землею пахнетъ. И на сердцѣ ни печали, ни досады, ни заботы нѣтъ; тутъ и невѣрующій въ Бога повѣруетъ. Это нужды нѣтъ, что край тамъ холодный, что въ немъ больше тундра да мокрое мѣсто: лѣто прежаркое, и такія мѣста боровыя случаются, что, кажется, и не разстался бы съ ними.

«Или вотъ опять вѣтеръ гудётъ; стоишь въ лѣсу: наверху гулъ и трескъ, дождикъ льетъ, буря вершины ломитъ, а внизу тихо, ни одинъ сучокъ не шелохнется, ни одна капля дождя на тебя не падетъ... ну, и почудишься тутъ Божьему строенію!

«Какъ поживешь этакъ въ пустынѣ, да приходитъ иное время, что мѣсяцъ-другой живого лица не увидишь, такъ именно страсть можно къ такой жизни получить. Никто тебя не трогаетъ, никакой тебѣ, стало-быть, ни откудова досадности нѣтъ, значитъ бодръ, не тоскливъ, всегда въ своемъ видѣ. Древніе отцы-пустынники даже отвращеніе къ міру получали: такъ оно хорошо въ пустынѣ бываетъ. Оглядишься кругомъ—все такъ пространно: и въ высь, и въ ширь, и въ глубь идетъ; всяка былинка малая, и та, сударь, жизнь имѣетъ: ну, и восчувствуешь тутъ, что и самъ ты словно былинка.

«Хорошо тоже весной у насъ бываетъ. Въ городахъ или деревняхъ, даже по дорогамъ грязь и навозъ вездѣ, а въ пустынѣ снѣгъ отъ пригрѣву только пуще сверкать начнетъ. А потомъ пойдутъ по-подъ снѣгомъ ручьи; снаружи ничего не видно, однако, кругомъ тебя все журчитъ... И рѣчка у насъ тутъ Ворчанъ была, такая быстрая, веселая рѣчка. Никуда отъ этихъ радостей идти-то и не хочется.

«И какъ все оно чудно отъ Бога устроено, на благость и пользу, можно сказать, человѣку! Какъ бы, кажется, въ такихъ лѣсахъ ходить—не заблудиться! Такъ нѣтъ, вездѣ тебѣ дорога указана, только понимать ее умѣй. Вотъ хошь бы корка на деревѣ: къ ночи она крѣпче и толще, къ полудню тоньше и мягче; сучья тоже къ ночи короче, бѣднѣе, къ полудню длиннѣе и пушистѣе. Вездѣ, стало-быть, указъ для тебя есть.

«И народъ-то тамъ словно лучше, добрѣе. Напослѣдяхъ и въ немъ порча заводиться начала, потому что стали тамъ проходить возы съ товарами на *Вочевскую* пристань *):

*) *Устьвочевская* пристань (Вологодской губерніи) находится въ верховьяхъ Сѣверной Кельтмы, впадающей въ Вычегду. Товары, сплавляемые съ этой пристани, преимущественно заключаются въ разнаго рода хлѣбѣ и льняномъ сѣмени, привозимомъ туда гужомъ изъ сѣверо-западныхъ уѣздовъ Пермской губерніи: Чердынскаго, Соликамскаго и отчасти Пермскаго и Оханскаго. Вообще, Вологодская губернія изобилуетъ судоходными и сплавными рѣками, особенно въ сѣверо-восточной части (уѣзды: Устьсысольскій, Никольскій и Устюжскій), которыя приносятъ пользу не столько для Вологодскаго края, въ этой части безлюднаго и негостепріимнаго, сколько для сосѣднихъ губерній: Вятской и Пермской. Извѣстно, напримѣръ, что вся торговля сѣверной части Вятской губерніи почти исключительно направлена къ Архангельскому порту, куда товары (хлѣбъ и ленъ) сплавляются по рѣкамъ: Лузѣ (пристани: Ношульская и Быковская), Югу (пристань Подосиновская) и Сысолѣ (пристань Кайгородская). Ко всѣмъ этимъ пристанямъ ведутъ коммерческіе тракты, весьма замѣчательные по своему

ну, знамо дѣло, постоялые дворы завелись, пошли барыши да расчеты; а допрежь того, кромѣ звѣринаго промысла, никакихъ другихъ дѣловъ народъ этотъ и не знавалъ. Звѣря тамъ всякаго множество: олени, лоси, лисицы, медвѣди, горностайки, даже соболи попадаются. А бѣлки да зайцы просто кишмя-кишатъ. И птица всякая стадами летаетъ: рябцы, курочки бѣлыя (куропаточки) — всего, кажется, и въ жизнь не перестрѣляешь. Пермяки и зыряне цѣлую зиму по лѣсамъ ходятъ; стрѣльба у нихъ не съ руки, а будто къ дереву прислонясь; ружья длинныя, по-ихнему *туркой* прозываются; зарядъ въ него кладется маленькій, и пулька тоже самая маленькая: вотъ онъ и норовитъ бѣлкѣ или горностайкѣ въ самый то-есть конецъ мордочки попасть. Эта статья самая любопытная.

«Прожили мы въ этомъ спокойствіи года три, все это время я находился безотлучно при Асафѣ, по той причинѣ, что долженъ былъ еще въ вѣрѣ себя подкрѣпить, да и полюбилъ онъ меня крѣпко, такъ что и настоятельство мнѣ передать думалъ. Однако, этому дѣлу статься было нельзя,

---

торговому движенію. Къ сожалѣнію, должно сознаться, что этотъ фактъ, узаконенный естественною силой обстоятельствъ, обратилъ на себя еще слишкомъ мало вниманія. Такъ, напримѣръ, дорога отъ городовъ: Орлова, Слободского и Вятки до Ношульской пристани находится въ самомъ печальномъ состояніи, а отъ тѣхъ же городовъ до Быковской пристани почти вовсе не существуетъ дороги, между тѣмъ какъ проложеніе до нея удобнаго тракта, по причинѣ выгоднѣйшаго ея положенія, сравнительно съ Ношульскою пристанью, было бы благодѣяніемъ для цѣлаго края. Вообще, изученіе торговаго движенія по коммерческимъ трактамъ сѣверо-восточной Россіи, и въ особенности Вятской губерніи, и сравненіе его съ движеніемъ, совершающимся по трактамъ офиціальнымъ (почтовымъ), представило бы картину весьма поучительную. На первыхъ — дѣятельность и многолюдство, на послѣднихъ — пустыня и мертвенная тишина. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно проѣхать по коммерческому тракту, издревле существующему между городами и уѣздами Глазовскимъ и Нолинскимъ, и потомъ прокатиться по почтовому тракту, соединяющему губернскій городъ Вятку съ тѣмъ же Глазовымъ. На первомъ безпрестанно встрѣчаете вы длинные ряды обозовъ, нагруженныхъ товарами; тамъ же лежатъ богатыя и торговыя села: Богородское, Ухтымъ, Уканъ, Уни, Вожгалы (послѣднія два немного въ сторонѣ) — эти центры мѣстной земледѣльческой промышленности; на второмъ все пустынно, торговыхъ селъ вовсе нѣтъ, и въ теченіе цѣлой недѣли проѣдетъ лишь почтовая телѣга, запряженная парой и везущая два предписанія и сотню подтвержденій мѣстнымъ дремотствующимъ властямъ, да письмо къ секретарю какого-нибудь присутственнаго мѣста отъ губернскаго его кума и благопріятеля. Нельзя сомнѣваться, что торговые обороты много терпятъ отъ продолжительности времени, которая сопровождаетъ сношенія частныхъ лицъ.

потому что другіе пустынники смотрѣли на нашу пріязнь злобно. Человѣкъ ихъ было съ десятокъ и жили всѣ отъ Асафа неподалечку: у кого въ двухъ, у кого въ трехъ верстахъ кельи были. Особливо отецъ Мартемьянъ былъ — старецъ преехиднѣйшій!—большую онъ надъ прочими силу имѣлъ, и даже противъ Асафа нерѣдко ихъ сомущалъ. Выходитъ, что вся эта братія только и держалась, покуда живъ былъ старикъ.

«Однажды приходитъ къ намъ въ келью мужикъ, а привелъ его Мартемьянъ.

«— Откудовъ, молъ, и зачѣмъ? — спрашиваетъ нашъ старикъ.

«— А вотъ, говоритъ, съ Зюздина *)

«— Зачѣмъ же къ намъ пожаловалъ?

«— Да поселиться бы здѣсь желательно, отецъ святой. Подати добрѣ одолѣли, да вотъ и парнишку нонѣ въ некрута тащатъ, а идти ему не охота да и грѣхъ.

«— Такъ ты семьянистый?

«— Да, молъ, семья есть: жена-старуха, двѣ дочки-дѣвки да трое сыновъ.

«— Гдѣ-жъ ты поселишься?

«— Здѣсь вотъ, около васъ бы желательно; я ужъ и на деревню къ пермякамъ ходилъ; они говорятъ: «пожалуй, заводись: куды намъ эко мѣсто!»

«— Такъ ты, стало, отъ податей бѣгаешь?

«— Да оно точно, что тово... подати больно ужъ совсѣмъ одолѣли **).

«— Да что, святой отецъ,—вступился тутъ Мартемьянъ:— словно ты къ допросу его взялъ! Если ты объ вѣрѣ радѣешь, такъ не спрашивай, отъ какой причины въ твое стадо овца бѣжитъ, потому какъ тебѣ до эвтого дѣла касательства нѣтъ.

---

*) Бывшая Зюздинская, нынѣ Порубовская, волость находится въ Глазовскомъ уѣздѣ Вятской губерніи, неподалеку отъ описываемаго здѣсь мѣста дѣйствія, которое составляетъ какъ бы уголъ, гдѣ сходятся границы трехъ обширнѣйшихъ въ Русскомъ царствѣ губерній: Вологодской, Вятской и Пермской.

**) Ревизскія сказки Порубовской волости Глазовскаго уѣзда и Юксеевской—Чердынскаго могутъ засвидѣтельствовать о чрезвычайномъ количествѣ крестьянъ, находящихся въ безвѣстной отлучкѣ. Замѣчательно, что въ Вятской губерніи, гдѣ подати вездѣ выплачиваются бездоимочно, только Порубовская и Трушниковская (Слободского уѣзда) волости считаютъ за собой постоянную недоимку. Впрочемъ, накопленіе недоимокъ въ послѣдней волости зависитъ отъ причинъ особыхъ, сюда не относящихся.

«Начался у насъ совѣтъ. Сколько ни отстаивалъ Асафъ свою правду, а Мартемьянъ перемогъ. Крупненько-таки они, сударь, поговорили, и если-бъ не я, такъ, можетъ, Мартемьяшка, сосудъ сатанинъ, и руку бы на старика поднялъ.

«— Ты, говоритъ, вотъ семьдесятъ годовъ здѣсь живешь, а какой отъ тебя святой вѣрѣ прибытокъ? Этакое дѣло большое затѣяли, а чихнуть здѣсь боимся; еще гдѣ становой запахъ дастъ, а мы ужъ въ лѣсу бѣжимъ, отъ него, отъ антихриста, хоронимся. Нѣтъ, отецъ, старъ ты сталъ. По-нашему, это дѣло такъ вести слѣдуетъ, чтобъ онъ носу своего здѣсь не показалъ, а показалъ, такъ чтобъ *турка* его въ разумъ привела. Вотъ, посмотришь, на Пильвѣ старцы живутъ: и видно, что народъ крѣпкій. По этой причинѣ они и стороной всею завладѣли, а ты только сумнѣнье кругомъ посѣялъ. Какія же это дѣла!

«Старикъ только стоналъ да крестился.

«— Ну,—сказалъ онъ подъ конецъ:—вижу, что и подлинно я старъ сталъ, а пуще того вамъ не угоденъ... Знаю я, знаю, чего тебѣ хочется, отецъ Мартемьянъ! Къ бабамъ тебѣ хочется, похоть свою утолить хощешь у сосуда дьявольскаго... Коли такъ, полно вамъ меня настоятелемъ звать; выбирайте себѣ другого. Только меня незамайте, Христа ради, дайте передъ Богомъ въ чистотѣ предстать!

«Начали-было уговаривать его не оставлять братію: иные искренно, а большая часть только для виду, потому что всѣмъ имъ изъ лѣсу вонъ хотѣлось. Кончилось, разумѣется, тѣмъ, что выбрали изъ среды своей того же Мартемьяна, который всю смуту завелъ.

«Вскорѣ послѣ того и преставился старецъ Асафъ. Словно чуяло его сердце, что конецъ старой вѣрѣ, конецъ старымъ людямъ пришелъ.

«Послѣ него пошло по-новому. Сперва поселился Мокей зюздинскій съ бабами, а за нимъ семей еще болѣе десятка перетащилось. Старцы наши замѣтно стали къ нимъ похаживать, и пошелъ у нихъ тутъ грѣхъ и соблазнъ великій. Что при старикѣ Асафѣ было общее, припасы ли, деньги ли, то при Мартемьянѣ все врозь пошло; каждый о томъ только и помыслу имѣлъ, какъ бы побольше милостыни набрать да поскорѣй къ любовницѣ снести.

«Надо было и мнѣ подумать, какъ себя пропитать. Пришлось впервой съ пустыней разстаться, и ужъ куда

мнѣ тяжело показалось. Думалъ я и жить, и умереть тутъ, думалъ душу свою спасти, нарочно отъ родныхъ, отъ своихъ мѣстъ бѣжалъ—и тутъ нѣтъ удачи. Собралъ я свои писанья, сдалъ Іосифа мужичку на деревню и сплылъ по веснѣ внизъ по Камѣ, на плотахъ. Домой мнѣ идти не хотѣлось, да и не слѣдъ, потому что схватятъ, пожалуй; вотъ и высадился я въ Лёнвѣ *).

«Здѣсь, сударь, начались мои странствія: гдѣ ночь, гдѣ день. Тамъ канунчикъ прочитаешь, въ другомъ мѣстѣ младенцу молитву дашь, въ третьемъ просто побесѣдуешь. И все-таки, доложу вамъ, тутъ я еще больше увѣрился, что рушилась старая вѣра, что все это обманъ одинъ сдѣлался въ рукахъ нечестивыхъ. Главное у меня мѣсто, въ которомъ я жилъ и откудова направлялъ свои странствія, было село Ильинское **). Жилъ тамъ крестьянинъ такой, Захватѣевымъ прозывался; и чѣмъ-чѣмъ ни промышлялъ онъ! Сынишка у него Миколка былъ, такъ тотъ и пашпорты фальшивые поддѣлывалъ, и буквы гражданскія откудова-то досталъ. Принесутъ это ему негодящій пашпортъ, такъ онъ старую-то печать вытравитъ, да новое, что ему нужно, и вставитъ. Чертить тоже искусникъ былъ, особливо Апокалипсисъ разрисовывать.

«Разъ какъ-то и разговорились мы со старикомъ о нашемъ дѣлѣ. То-есть, я будто напомнилъ ему тутъ, что не слѣдъ въ святое дѣло такую, можно сказать, фальшь пущать. Посмотрѣлъ онъ на меня, ровно глаза вытаращилъ.

«— А ты откудова, говоритъ, съ такими рѣчьми сюда пріѣхалъ, пріятель?

«Сталъ я ему объяснять, что вотъ и старикъ Асафъ этого не одобрялъ, что онъ наставлялъ бѣжать отъ суеты въ пустыню, а не то чтобъ зазорнымъ дѣломъ заниматься, фальшивые пашпорты сочинять.

---

*) *Ленва*—большое село, принадлежащее графинѣ Строгановой, въ Соликамскомъ уѣздѣ, Пермской губерніи. Оно находится въ шести верстахъ отъ обширнаго села *Усолья*, знаменитаго своими соляными варницами и принадлежащаго пяти владѣльцамъ: графу и графинѣ Строгановымъ, князю Голицыну, графинѣ Бутера и гг. Лазаревымъ. Эти два села и лежащее между ними село Веретія (графини Строгановой), также весьма большое, составляютъ какъ бы сплошное мѣстечко, которое, по обширности и количеству народонаселенія, едва ли уступаетъ губернскому городу Перми, а въ торговомъ и промышленномъ значеніи стоитъ несравненно выше его.

**) Пермской губерніи и уѣзда; принадлежитъ графинѣ Строгановой.

«— Вспомни, молъ, ты, говорю, что̀ въ книгахъ про пашпорты-то написано! Самъ Спасъ Христосъ Истинный сказалъ: *странна мя пріимите;* а какой же я буду странникъ, коли у меня пашпортъ въ рукахъ! Съ пашпортомъ-то я къ губернатору во дворецъ пойду! А ты не токма что пашпортъ, а еще фальшивый сочиняешь!

«А онъ, сударь, только засмѣялся.

«— Это, говоритъ, вы съ Асафомъ бредили. Вы, говоритъ, извѣстно, погубители наши. Надъ вами, молъ, и доселева бо̀льшаго нѣтъ; такъ если вы сами о себѣ промыслить не хотите, мы за васъ промыслимъ, и на̀большаго вамъ дадимъ, да не старца, а старицу, или, по-простому сказать, солдатскую дочь... Ладно, что ли, этакъ-то будетъ?

«— Чѣмъ не ладно, говорю:—поди, чай, она и съ дѣвками къ намъ на епархію прибудетъ?

«— А хошь бы и съ дѣвками. Это вы только тамъ въ лѣсахъ съ-просонковъ-то бредите, а намъ нужно дѣло. Намъ до того касательства нѣтъ, что̀ вы тамъ дѣлаете, блудно или свято живете; намъ надобны старцы, чтобъ мы всякому указать могли, что вотъ, молъ, у насъ пустынники въ лѣсахъ спасаются; а старцы вы или жеребцы, про то знаете вы сами. Ну, и окромя того надобенъ намъ и пріютъ про черный день, чтобъ было гдѣ уберечься. Нонече жить на селѣ совсѣмъ неспособно стало: то управляющій графскій, то полицейскіе тебя безпокоятъ. Послѣ обыску-то каждый разъ дня три словно шальной ходишь: овое растащутъ, овое туда запихаютъ, что и не сыщешь. Вотъ я и къ церкви присталъ, а какой въ этомъ прокъ? Только отъ своихъ сумнѣнье, что будто вѣру свою продалъ, а начальство тоже въ оба глядитъ: врешь, молъ, все, притворствуешь. А мы вотъ нонѣ какую штуку придумали: чтобъ быть въ вашихъ лѣсахъ скитамъ великимъ, и чтобъ всякому тамъ укрыться способно было. У насъ и по̀шта такая будетъ отъ деревни до деревни: чуть что̀ прослышимъ, вамъ ту-жъ минуту и слухъ по̀дадимъ. Покедова они тамъ собираются да ѣдутъ, у васъ и слѣдъ ужъ простылъ. А съ бреднями-то, пріятель, хошь и далеко уѣдешь, да, пожалуй, не туда, куда хочется.

«Полюбопытствовалъ я узнать, кто такова эта Артемида-богиня, и провѣдалъ, что прозывается она Натальей, происхожденіемъ отъ сѣмени солдатскаго и родилась въ Перми. Жила она, слышь, долгое время въ иргизскихъ монастыряхъ, да тамъ будто и схиму приняла.

«И точно, воротился я къ Михайлову дню домой, и вижу, что тамъ все новое. Мужички въ деревнишкѣ смутились; сталъ я ихъ разспрашивать, ничего и не поймешь. Только и словъ, что, молъ, генеральская дочь въ два мѣсяца большущія хоромы верстахъ въ пяти отъ деревни поставила. Стали-было они ей говорить, что и безъ того народу много селится, такъ она какъ зарычитъ, да пальцы-то, знашь, рогулей изладила, и все впередъ тычетъ, да бумагу каку-то указываетъ.

«— Вы, говоритъ, знайте, собаки, что мнѣ и губернаторъ пріятель: захочу, говоритъ, всѣхъ васъ въ Сибирь вышлютъ.

«— Кто же хоромы-то ей ставилъ?—спрашиваю я.

«— Да мы же; старшина, слышь, и мѣсто самъ отводилъ, и доподлинно всѣмъ нàстрого наказывалъ, что насъ и невѣдомо куда вышлютъ, если мы какое ни-на-есть прекословіе сдѣлаемъ енаральской дочери.

«— А много съ ней народу пріѣхало?

«— Да съ десятокъ дѣвокъ будетъ; одна только старая, будто у ней помощница, смирная такая, все Богу молится, а прочія—таки здоровенныя дѣвки.

«Пошелъ я въ свою келью, а дорòгой у меня словно сердце схватило; пойду, думаю, къ отцу Мартемьяну; онъ хошь и не любилъ меня, а все же старика Асафа, чай, помнитъ: можетъ, и придумаемъ съ нимъ что-нибудь на пользу душѣ.

«Однако, понадѣялся я, выходитъ, понапрасну. У Мартемьяна засталъ я дѣвокъ зюздинскихъ; сидятъ, безстыжія, и тоже духовныя пѣсни распѣваютъ, словно молитвой занимаются. Промежъ нихъ, вижу, сидитъ мужчина, здоровенный такой, лицо незнакомое.

«— А это,—говоритъ Мартемьянъ:—новый у насъ старецъ прибылъ, отецъ Іаковъ прозывается; онъ для насъ сколь хошь всякой монеты надѣлаетъ—мастеръ!

«А у мастера въ рукахъ гармонія.

«— Зачѣмъ же, говорю, гармонія-то? Развѣ пустыннику на то руки даны, чтобъ на богомерзкой гармоніи дѣвокъ забавлять?

«— А это, молъ, кимвалы. И въ писаніи сказано, что царь Давидъ въ кимвалы игралъ... Да ты, молъ, теперича не ломайся, а вотъ хочешь ли я тебѣ штуку покажу? Такая, отче святой, штука, что и на ярмонкѣ за деньги не увидишь.

«И ударилъ его ладонью-то по лбу, а тамъ буква бѣлая объявилась: клейменый значитъ.

«— А что, молъ, — промолвилъ я: — чай, и на спинѣ начальническое подареньице есть?

«— Какъ же, говоритъ, во всѣхъ мѣстахъ; сказано: по окіяну житейскому происходилъ, всѣ, значитъ, бури-напасти претерпѣлъ.

«— Откуда же ты къ намъ экой мѣченый проявился?— спрашиваю я.

«— А тутъ неподалечку, говоритъ, былъ, въ Иркутской губерніи, около Нерчинска, въ томъ въ самоемъ мѣстѣ, гдѣ солнце восходитъ великое...

«— Зачѣмъ же къ намъ?

«— Да провѣдалъ про ваши добродѣтели многія, и думаю, чѣмъ душегубствомъ мнѣ займоваться, такъ стану, молъ, я инъ душу спасать.

«— Да развѣ ты посвященъ, что чинъ иноческій на себѣ носишь?

«— А я тутъ ихъ всѣмъ гуртомъ окрутилъ, — говоритъ Мартемьянъ:—чего намъ ждать? Указу намъ нѣту, а слуги Христовы надобны. Вотъ другой еще у насъ старецъ есть, Николай зовется: этотъ больше веселый да забавный. Наши дѣвки всѣ больно о немъ стужаются. «У меня, говоритъ, робятъ было безъ счету; я имъ и отецъ, и кумъ, и попъ; ты, говоритъ, только напусти меня, дяденька, а я ужъ христіянское стадо пріумножу». Такой веселый.

«На другой день посѣтилъ я дѣвическій скитъ.

«Все, думаю, распознать прежде надо, нечѣмъ на что-нибудь рѣшиться. Да на что-жъ и рѣшаться-то? думаю. Изъ скитовъ бѣжать? Это все одно, что въ острогъ прямо идти, по той причинѣ, что я и бродяга былъ, и не вѣсть съ какими людьми спознался. Оставаться въ лѣсахъ тоже нельзя: такъ мнѣ все тамъ опостылѣло, что глядѣть-то сердце измираетъ... Господи!

«Встрѣтила меня сама мать-игуменья, встрѣтила съ честью, подъ образа посадила: «побесѣдуемъ», говоритъ. Женщина она была изъ себя высокая, сановитая и взглядъ имѣла суровый, что̀ мудренаго, что она мужикамъ за генеральскую дочь почудилась! Началъ я съ ней говорить, что не дѣло она заводитъ, сталъ Асафа-старика поминать. Только слушала-слушала она меня, дала все выговорить, да словно головой потомъ покачала.

«— Ну, говоритъ, сказалъ ты свою рѣчь, честной отецъ:

выслушай же теперь мою. Все это точно истина, что ты говоришь: въ лѣса люди бѣгутъ извѣстно не за тѣмъ, чтобъ мірскимъ дѣломъ заниматься, а за тѣмъ, чтобъ душу спасать. Это сущая правда. Да ты вотъ только то позабылъ, что ты или я, мы, слова нѣтъ, душу спасти хотимъ: мы съ тобой вѣкъ-отъ изжили, намъ, примѣрно, суета ужъ на умъ нейдетъ. Ну, а другому еще пожить хочется: оно вѣдь и не грѣхъ какой, что ему пожить желательно. Самъ ты знаешь, что если всякій душу спасать начнетъ, кто же въ мірѣ-то жить станетъ? А какъ тутъ быть, самъ ты посуди, когда на тебя словно на звѣря лѣсного поглядываютъ. Коли ты жилъ въ мірѣ, такъ знаешь, чай, какова наша жизнь. Ты вотъ трудился, капиталъ, сказываютъ, нажилъ, а куда все это дѣвалось?

«— За грѣхи мои Богъ меня наказалъ,—говорю я.

«— Это ты говоришь: «за грѣхи», а я тебѣ сказываю, что грѣхъ тутъ особь статья. Да и надобно-жъ это дѣло порѣшить чѣмъ-нибудь. Я вотъ сызмальства будто всѣ эти каверзы терпѣла: и въ монастыряхъ бывала, и въ пустыняхъ жила, такъ всего насмотрѣлась, и знашь ли, какъ на сердцѣ-то у меня нагорѣло... словно кора. Право, такъ!

«Говоритъ она, сударь, это, а сама блѣдная-разблѣдная, словно мертвая сдѣлалась: и губы у ней трясутся, и глаза горятъ.

«— Намѣренья у меня покудова нѣтъ, а знаю только, что сердце мнѣ сорвать надоть. Это ужъ я себѣ обѣщанье такое дала, и сдѣлаю. И опять вотъ говоришь ты, что надо, молъ, Богу молиться да душу спасать, а я тебѣ сказываю, что не дѣло ты языкомъ болтаешь. И Богу молиться, и душу спасать, все это не лишнее, да отъ этого только для одного тебя, можно сказать, польза; а мы желаемъ, чтобъ всему христіянству благодать была... И вотъ тебѣ моя послѣдняя заповѣдь: хочешь за насъ стоять—живи съ нами; не хочешь—волёнъ идти на всѣ четыре стороны; мы нудить никого не можемъ. А насъ не мути.

«Съ тѣмъ она меня и отпустила. Пошелъ я къ черницамъ, а онѣ сидятъ себѣ сложа руки да пѣсни подъ носъ мурлыкаютъ.

«— Что-жъ вы тутъ дѣлаете?—спрашиваю я.

«— Какъ что? Пѣсни поемъ, спимъ да хлѣбъ жуемъ. Вотъ ужо старцы придутъ.

«— И весело вамъ тутъ жить?

«— Для-че не весело? Ужо Николка «пустынюшку»

споетъ; больно эта пѣсня хороша, даже мать Наталья изъ кельи къ намъ ее слушать выходитъ. Только вотъ кака съ нами напасть случилась: именъ своихъ вспомнить не можемъ. Больно ужъ мудрено насъ игуменья прозвала: одну Синефой, другую Полинаріей—и не сообразишь.

«— А грамотѣ знаете?

«— Какая грамота—поди ты съ грамотой! У насъ такъ и условіе выговорено, чтобъ грамотѣ не учить. Извѣстно, пѣсни пѣть можемъ—вотъ и вся грамота.

«Объявлено было въ ту пору по нашимъ мѣстамъ некрутство; зовутъ меня однажды къ Натальѣ. Пришелъ.

«— Ну, говоритъ, ступай ты въ городъ.

«— Зачѣмъ?

«— А вотъ, говоритъ, тамъ некрутство сказано, такъ я мужичку обѣщала сына изъ некрутъ выкрасть. Тамъ у меня и человѣкъ такой есть, что это дѣло безпремѣнно сдѣлаетъ.

«— Да я-то при чемъ тутъ буду?

«— А ты будешь ему въ этомъ дѣлѣ помощникомъ... А можетъ тамъ и другіе некрута объявятся, что въ скиты охочи будутъ, такъ ты ихъ уговаривай. А охочимъ людямъ сказывай, что житье, молъ, хорошее, работы нѣтъ, денегъ много, пища—хлѣбъ пшенисный.

«— Воля твоя, мать игуменья, а на такое дѣло мнѣ идти не приходится.

«— Нѣтъ, говоритъ, приходится. Я тебя нарочито выбрала, чтобъ узнать, крѣпокъ ли ты; а не крѣпокъ, такъ мы и прикончимъ съ тобой: знаешь *турку?*

«Вижу я, что дѣло мое плохо: что же, думаю, соглашусь, а тамъ вышелъ въ поле, да и ступай на всѣ четыре стороны. Такъ она словно вывѣдала мою душу.

«— Ты, говоритъ, сбѣжать не думаешь ли? Такъ отъ насъ къ тебѣ такой человѣкъ приставленъ будетъ, что ни на пядь отъ себя не отпуститъ.

«И точно, вышелъ я отъ нея не одинъ, а съ новымъ старцемъ, тоже мнѣ неизвѣстнымъ; молодой такой, крѣпкій парень. Уѣхали мы съ нимъ въ ночь на перемѣнныхъ. Подъ утро встрѣчаемъ мы это тройку, а въ саняхъ человѣкъ съ шесть сидятъ.

«— Здорово! — кричитъ мой провожатый: — куда путь лежитъ?

«Сани остановились.

«— А мы къ вамъ въ скиты; охочихъ людей веземъ.

«— Неужто некрута?

«— Каки некрута! Подымай выше--узники!

«— Какъ такъ?

«— Да вотъ какъ видишь! Какая еще штука-то умор-пая была! Поймали, знашь, вотъ этихъ трехъ молодцовъ у кассы вотчинной: понюхать имъ, вишь, захотѣлось, каковъ въ ней есть духъ. Однако, управляющій не вѣритъ: «въ кандалы ихъ», говоритъ. Только провѣдали мы объ этомъ съ Захватѣевымъ Миколкой и думаемъ: вотъ кабы экихъ бы робятъ въ скиты, да они, молъ, душу свою за насъ извести готовы, нечѣмъ въ Сибирь шагать. Узнали мы, что повезутъ ихъ съ тремя десятками—что-жъ, попытать развѣ счастья, разступись, молъ, мать-сыра земля, разгуляйся, Волга-матушка! Съѣздили мы въ Очёру *), взяли у челов-вѣка три тройки—и шабашъ. Сѣло насъ въ сани человѣкъ съ двѣнадцать, приготовили, для осторожности, на головы такіе мѣшки съ дырьями, ждемъ у лѣсочка. Вотъ только, видимъ, катятъ будто наши, скоро-не-шибко, а такъ трюхъ-трюхъ. Вскочили мы въ сани и пустили лошадей во всѣ то-есть колокола. Намъ кричатъ встрѣчу: «сторонись!»—а у насъ будто уши заложило: наѣхали на нихъ смаху, санишки ихнія вывоpотили, а молодцовъ похватали... вотъ и ѣдемъ теперь.

«— Подь-ка, чай, Васька злится!

«А Васька-то, сударь, ихній управитель.

«Такъ вотъ какія дѣла на свѣтѣ дѣлаются.

«Пріѣхали мы въ городъ и остановились у мѣщанина. Началъ тутъ къ намъ разный народъ приходить, а больше все некрута. Мѣщанинъ этотъ ту же должность въ городѣ справлялъ, какую я въ Крутогорскѣ; такой же у него былъ выѣзжій домъ, та же торговля образами и лѣстов-ками: выходитъ, словно я къ себѣ, на старое свое пепе-лище воротился. Стали-было они меня понуждать поначалу, чтобъ я вмѣстѣ съ ними въ уговорахъ часть принялъ; однако, такъ сердце у меня сильно растужилось, что я не похотѣлъ принять на душу новый грѣхъ. Такъ они меня, звѣри этакіе, въ холодный чуланъ на день запирали, чтобы я только голоса своего не подалъ.

«Чудно́е, сударь, это дѣло! и доселѣ понять не могу, зачѣмъ она меня въ городъ выслала. Въ этомъ дѣлѣ, за ко-

*) Желѣзодѣлательный заводъ въ Пермской губерніи, принадлежащій гг. Лазаревымъ.

торымъ они поѣхали, нуженъ былъ человѣкъ усердный, разумѣется, а отъ меня она не могла усердья ждать. Вотъ и сдается, что затѣмъ она мнѣ это препорученье сдѣлала, чтобы изъ скитовъ меня сбыть. Сталъ я подумывать, прикидывать разумомъ, куда мнѣ идти. Домой на заводъ воротиться—стыдно; въ пустыню—изгубятъ злодѣи; въ другія мѣста, гдѣ тоже наши братья-пустынники душу спасаютъ—горше прежняго житье будетъ. Какая же это, думаю, старая вѣра, и что-жъ это съ нами будетъ?

«Вотъ и порѣшилъ я, сударь, такимъ манеромъ, что выбралъ время сумеречки, какъ они всѣ на базаръ пошли, сказался, что за ворота поглядѣть иду, а самъ и былъ таковъ. Дошелъ до перваго стана и объявился приставу».

Матушка Мавра Кузьмовна.

Предлагаемый разсказъ заимствованъ изъ записокъ, оставшихся послѣ пріятеля моего, Марка Ардаліоныча Филоверитова, съ которымъ читатель имѣлъ уже случай отчасти познакомиться *). Онѣ показались мнѣ, несмотря на небрежность отдѣлки, достаточно любопытными, чтобы предложить ихъ на судъ публики.

Я не намѣренъ возобновлять здѣсь знакомство читателя съ Филоверитовымъ, тѣмъ не менѣе, обязываюсь, однакожъ, сказать, что онъ одною своею стороной принадлежалъ къ породѣ тѣхъ крошечныхъ Макіавелей, которыми, благодаря повсюду развивающемуся просвѣщенію, наводнены въ послѣднее время наши губернскіе города, и которые охотно оправдываютъ всѣ средства, лишь бы они вели къ достиженію предположенныхъ цѣлей.

Городъ С***, о которомъ идетъ рѣчь въ этомъ разсказѣ, не имѣетъ въ себѣ ничего особенно привлекательнаго; но мѣстность, среди которой онъ расположенъ, принадлежитъ къ самымъ замѣчательнымъ. Коли хотите, нѣтъ въ ней ни особенной живописности, ни того разнообразія, которое веселитъ и успокаиваетъ утомленный взоръ путника, но есть какая-то дѣвственная прелесть, какая-то привлекательная строгость въ пустынномъ однообразіи, царствующемъ окрестъ. Необозримые лѣса, по мѣстамъ истребленные жестокими пожарами и пересѣкаемые быстрыми и многоводными лѣсными рѣчками, тянутся по обѣимъ сторонамъ дороги, скрывая въ

*) См. выше: «Надорванные».

своихъ неприступныхъ нѣдрахъ тысячи звѣрей и птицъ, оглашающихъ воздухъ самыми разнообразными голосами; дорога, бѣгущая узенькимъ и прихотливымъ извивомъ среди обгорѣлыхъ пней и старыхъ деревьевъ, наклоняющихъ свои косматыя вѣтви такъ низко, что онѣ безпрестанно цѣпляются за экипажъ, напоминаютъ тѣ старинныя просѣки, которыя устроены какъ бы исключительно для насущныхъ нуждъ лѣсниковъ, а не для ѣзды; паръ, встающій отъ тучной, нетронутой земли, сообщаетъ мягкую, нѣжную влажность воздуху, насыщенному смолистымъ запахомъ сосенъ и елей, и милыми, свѣжими благоуханіями многоразличныхъ лѣсныхъ злаковъ... И если надъ всѣмъ этимъ представить себѣ палящій весенній полдень, какой иногда бываетъ на нашемъ далекомъ сѣверѣ въ концѣ апрѣля,—вотъ картина, которая всегда производила и производитъ на мою душу могучее, всесильное впечатлѣніе. Каждое слово, каждый лѣсной шорохъ какъ-то чутко отдаются въ воздухѣ и долго еще слышатся потомъ, повторяемые лѣснымъ эхомъ, покуда не замрутъ, наконецъ, Богъ вѣсть въ какой дали. И несмотря на тишину, царствующую окрестъ, несмотря на однообразіе пейзажа, унынія ни на минуту не овладѣваетъ сердцемъ; ни на минуту нельзя почувствовать себя одинокимъ, отрѣшеннымъ отъ жизни. Напротивъ того, въ себѣ самомъ начинаешь сознавать какую-то особенную чуткость и воспріимчивость, начинаешь смутно понимать эту общую жизнь природы, отъ которой такъ давно ужъ отвыкъ... И тихіе, ясные сны проносятся надъ душой, и сладко успокаивается сердце, ощущая нестерпимую, безграничную жажду любви.

Но вотъ лѣсъ начинаетъ мельчать; впереди, сквозь рѣдкія насажденія деревьевъ, бѣлѣетъ свѣтъ, возвѣщающій поляну, рѣку или деревню. Вотъ лѣсъ уже кончился и передъ вами рѣчонка, черезъ которую вы когда-то переѣзжали лѣтомъ въ бродъ. Но теперь вы ея не узнаете; передъ вами цѣлое море воды, потопившей собою и луга, и лѣсъ верстъ на семь. Вы подъѣзжаете къ спуску, около котораго долженъ стоять дощаникъ, но его нѣтъ.

— Неужто это Уста такъ разлилась, ребята?—спрашиваете вы мужичковъ, которые, должно-быть, уже много часовъ грѣются на солнышкѣ, выжидая дощаника.

— Пошто не Уста? Уста и есть!—отвѣчаетъ одинъ изъ ожидающихъ, не только не привставая, но даже не оборачивая къ вамъ своей головы.—А кма (много) нонѣ воды, паря: трàвы, поди, важныя будутъ!

— Скоро ли дощаникъ будетъ?—спрашиваете вы.

— А кто его знаетъ! Нонѣ онъ, поди, верстъ семь за одинъ конецъ ходитъ. Къ вечеру, надо быть, придетъ...

Скрѣпя сердце, вы располагаетесь на берегу, разстилаете коверъ подъ тѣнью дерева и ложитесь; но сонъ не смыкаетъ глазъ вашихъ; дорога и весенній жаръ привели всю кровь вашу въ волненіе, и послѣ нѣсколькихъ попытокъ заставить себя заснуть, вы убѣждаетесь въ рѣшительной невозможности такого подвига.

Вы встаете и садитесь около самой воды, неподалеку отъ группы крестьянъ, къ которой присоединился и вашъ ямщикъ, и долгое время безцѣльно слѣдите мутными глазами за кружками, образующимися на поверхности воды. Лошади отъ вашей повозки отложены и пущены пастись на траву; до васъ долетаетъ вздрагиванье бубенчиковъ, но какъ-то смутно и неясно, какъ будто уши у васъ заложило. Въ группѣ крестьянъ возобновляется прерванный вашимъ пріѣздомъ разговоръ.

— Эхъ, братецъ ты мой, да ты пойми, любезный,—говоритъ одинъ голосъ:—вѣдь она, старуха-то, всему нашему дѣлу голова; ну, онъ къ ней, стало-быть, и преставился, становой-етъ... «Коли вы, говоритъ, матушка Уалентина, захочете, такъ и дѣлу этому конецъ будетъ, какой вамъ желательно». Ну, а она по началу тоже думала, что онъ ее заманиваетъ, чтобы какъ ни-на-есть въ острогъ угодить. «Я, говоритъ, ваше благородіе, тутъ ни при чемъ, я человѣкъ мертвый, ветхій, только именемъ человѣкъ, а то ноги насилу таскаю»... Однако, онъ отъ своего планту не отступился и началъ со всею откровенностью: «Я, говоритъ, матушка, не притязатель какой. Потому какъ знаю, что не сегодня, такъ завтра, во всякое время дебошъ могу сдѣлать и васъ изобидѣть... А я, говоритъ, по усиленной только необходимости это дѣлаю, потому какъ деньги мнѣ ужъ оченно нужны»... Ну, и она тоже ему: «Коли ты, говоритъ, ваше благородіе, со всею откровенностью, такъ, пожалуй, станемъ бесѣдовать. Сколь же, молъ, вашему благородію денегъ нужно?»—«Да сотни кабы три, говоритъ, такъ я бы и уѣхалъ»...—«Ну, это, говоритъ, много, неравно облопаешься: ты, молъ, и безъ того три дня у насъ тутотка живешь, всю снѣдь отъ насъ тащишь, такъ, по этому судя, и полторы сотни тебѣ за глаза будетъ»... Только онъ-было ее и застращивать, и просить примался—уперлась баба, да и вся не долга, а безъ ея то-есть приказу видитъ, что

сму никакого дѣла сдѣлать нельзя. Ну, и порѣшилъ на томъ, что дали... Такъ она у насъ теперь и стоитъ, часовня-то, исправленная, да такая ли, парень, едрёная-то, кажется, и скончанья ей никогда не будетъ... Въ ту пору, вотъ, какъ исправлять-то ее принимались, такъ плотникъ Осипъ началъ накаты было рубить: такіе ли здоровенные, что, слышь, и топоръ не беретъ, а нутро-то у бревна словно желтокъ желтое скипѣлось... вѣ какъ отцы-то наши на долгіе вѣка строились, словно чуяли, что и про насъ будетъ надобѣ...

— Когда же не надобѣ!.. Да чтой-то, парень, словно онъ дешево больно отъ васъ отступился?—вступается другой голосъ.

— И то, голова, дешево. Ужъ пытали и мы сумнѣваться, что бы такѣ значило, что вотъ прежній становой за это же самое дѣло по пятисотъ и больше съ насъ таскалъ... Ужъ и на то, братъ, думали, что, може, приказъ у него есть, чтобы насъ то-есть не замать...

— А что думаешь, може и взаправду есть!

— А кто его знаетъ? Може и такъ, а може и оттого, что въ тѣ-поры, какъ пятьсотъ-то давали, не было у насъ старицы нашей, некому было, стало-быть, и говорить-то съ нимъ толкомъ.

— Да, благодатная эта старица... Да что-жъ она въ кельѣ, что ли, у васъ живетъ?

— А у дяди Онуфрія на дворѣ въ банѣ... Чай, знаешь дядю Онуфрія? Ну, и мы къ ней съ полнымъ нашимъ уваженіемъ,—только заступись за насъ, матушка!

Разговоръ на нѣсколько минутъ прекращается, и до васъ долетаютъ только вздохи, которые испускаетъ ветхій старикъ, сидящій въ самомъ центрѣ группы, да хлестъ кнута, которымъ ямщикъ, для препровожденія времени, бьетъ себя по сапогу.

— Ну, а ты, дѣдушка, каково перевертываешься?—спрашиваетъ разсказчикъ, обращаясь къ старику.

— Да вотъ къ Онисиму на заводъ ходилъ хлѣбушка попросить... только чтой-то онъ ужъ нопѣ больно сердитъ сталъ: ничего-таки не далъ.

— Что-жъ снѣдать-то будете?

— А чего снѣдать?—нечего!

Снова наступаетъ молчаніе и снова слышатся вздохи старика.

— Да ты, дѣдушко, опять сходи попроси,—вступается

ямщикъ:—дядя Онисимъ старикъ любезный: ты уважь его, сходи въ другой разъ, онъ дастъ, какъ не дать!

— Извѣстно, дядя Онисимъ любитъ, чтобъ передъ нимъ завсегда съ почтеніемъ пребывали, — объясняетъ разсказчикъ.

— Инъ и взаправду сходить придется,—отвѣчаетъ старикъ, вздыхая.—Только ноженьки-то у меня больно ужъ ходимши примаялись... словно вотъ вертма вертитъ въ костѣ-то... А сходить надо будетъ: не ѣмши вѣку не изживешь!

— Ну, а у васъ какъ, все ли на порядкахъ?—спрашиваетъ разсказчикъ у ямщика.

— А что!—ничего, живемъ. Вотъ ономнясь вятскіе купцы въ Москву проѣзжали.

— Ну?

— Ну, и проѣхали,—отвѣчаетъ ямщикъ, нахлестывая себя слегка по ногѣ.

— Экъ тебя вывезло! А ты говори дѣло!

— Да что и говорить-то? Извѣстно, живемъ. Да чу! некакъ дощатникъ-отъ пловетъ?

Дѣйствительно, вдали, изъ-за кустовъ, показывается чуть замѣтная точка, которая мало-по-малу разрастается, и черезъ нѣсколько минутъ вы уже начинаете ясно различать очертанія лодки.

— Да-а-вай!—кричитъ ямщикъ, устроивши изъ кулака своего подобіе трубы.

— По-о-спѣешь!—долетаетъ издали отвѣтный голосъ лодочниковъ.

— Вона! вона! мотри-ка, никакъ наши старочки изъ лѣсу выходятъ!—вскрикиваетъ внезапно молодой парень съ добродушнѣйшею физіономіей, доселѣ не принимавшій никакого участія въ разговорѣ.

— Ишь тебя разобрало!—говоритъ ямщикъ.—Спалъ небось, соня, а дѣвокъ увидѣлъ—вѣ какъ зазѣвалъ! А и то старки, да никакъ и Полинарія (Аполлинарія) тутъ!—продолжалъ онъ, всматриваясь пристально вдаль.—Эка вѣдь вористая дѣвка: въ самую то-есть пору завсегда поспѣетъ.

Дѣйствительно изъ лѣса выходитъ группа молодыхъ бабъ, которыя спѣшатъ къ рѣкѣ. Одна изъ нихъ, побойчѣе, опережаетъ прочихъ и подбѣгаетъ къ группѣ мужиковъ.

— А и то, дѣвки, въ пору пришли! Сказано: стань передо мной, какъ листъ передъ травой!—говоритъ она, какъ бы отвѣчая на замѣчаніе ямщика.—А вы тутъ, поди-чай, съ утра ранняго ждете-поджидаете...

— Ну, гдѣ же ты, чтица, была-побывала?—спрашиваетъ разсказчикъ.

— Надъ дѣдушкой Паисентьемъ читать ходила, да больно ужъ отъ покойника-то нестройно смердитъ...

— Чего, чай, надъ дѣдушкой читала,—замѣчаетъ ямщикъ:— поди, Омелькѣ, чай, на печи сказки сказывала.

— А и Омелькѣ сказывала,—отвѣчаетъ бойкая баба, не конфузясь:—тебѣ, стало-быть, завидно, что ли?

— Мнѣ-ка чего!—говоритъ ямщикъ, дѣлая полуоборотъ и пристально устремляя глаза на сапогъ.—Не видался я, что ли, сказокъ-ту?

— То-то чего!.. Вѣрно чего-нибудь да надобѣ, коли только объ Омелькѣ да объ Омелькѣ и рѣчи на языкѣ.

— Мнѣ чего Омелько! — продолжаетъ ямщикъ. — Мнѣ Омелько плюнуть да растереть—вотъ что! А только это точно, что какъ встрѣтимся мы съ нимъ не пройдетъ безъ того, чтобъ не обломать ему бока: право слово, обломаю.

Аполлинарія хохочетъ.

— Да такъ-таки обломаю, что тебѣ и взаправду читать придется... Да-а-вай!—кричитъ онъ перевозчикамъ, какъ будто желая на нихъ сорвать свое сердце.

Дощаникъ приближается: это небольшая лодка, поперекъ которой перекинуть дощатый накатъ. Тарантасъ едва можетъ уставиться на немъ, и заднія колеса, только наполовину умѣстившіяся на накатѣ, ежеминутно угрожаютъ скатиться въ воду и увлечь за собою весь экипажъ. Лошадей заставляютъ спрыгнуть на корму, и только испытанное благонравіе этихъ животныхъ можетъ успокоить ваши опасенья насчетъ того, что одно самое ничтожное, самое естественное движеніе лошади можетъ стоить жизни любому изъ пассажировъ, кое-какъ пріютившихся по стѣнкамъ и бо́льшею частью сидящихъ не праздно, а съ весломъ въ рукахъ.

Русло рѣчки переплывается очень скоро, и затѣмъ дощаникъ вступаетъ въ лѣсъ. Зрѣлище это поражаетъ васъ своею новизной и оригинальностью; вы плывете по аллеямъ, которыя въ иныхъ мѣстахъ дѣлаются до того узкими, что дощаникъ только съ помощью величайшихъ усилій протаскивается впередъ. Случается, что на поворотахъ теченіе воды столь быстро, что даже совокупное дѣйствіе всѣхъ наличныхъ силъ, сопровождаемое дружными и одобрительными криками, на нѣкоторое время дѣлается тщетнымъ. Напрасно командируется одна партія гребцовъ въ воду, и тамъ, схватившись руками за вѣтви деревьевъ и кустовъ, тянетъ всѣмъ кор-

пусомъ веревку, прицѣпленную къ дощанику: лодка какъ будто бы топчется на одномъ мѣстѣ, не подвигаясь ни на пядь впередъ, и только слышно, какъ вода не то чтобы шумитъ, а какъ-то сосредоточенно жужжитъ кругомъ, поминутно угрожая перевернуть вверхъ дномъ утлую скорлупу. Такого рода препятствія встрѣчаются на каждомъ шагу, и оттого переправа совершается до такой степени медленно, что переѣздъ этихъ шести-семи верстъ отнимаетъ, по крайней мѣрѣ, пять-шесть часовъ. Но вотъ, наконецъ, виднѣется за туманами берегъ, образуемый пригоркомъ, на которомъ привольно растетъ все тотъ же неисходный лѣсъ; говоръ и шумъ стихаютъ, весла опускаются, и дощаникъ потихоньку и плавно подступаетъ къ берегу...

И опять зазвенѣлъ колокольчикъ, опять потянулись направо и налѣво лѣса; только тишина сдѣлалась какъ-то глубже, торжественнѣе, потому что и звѣри, и птицы, и растенія— все это заснуло чуткимъ сномъ подъ прозрачнымъ покровомъ весенней ночи.

Понятно, что необычайная простота и незатѣйливость этой природы должна сурово дѣйствовать и на человѣка, въ ней обитающаго. И дѣйствительно, поселяне, живущіе въ деревняхъ, которыя, какъ рѣдкіе оазисы, попадаются среди лѣсовъ, упорно держатся такъ-называемыхъ старыхъ обычаевъ и непріязненно смотрятъ на всякаго проѣзжаго, если онъ видомъ своимъ напоминаетъ чиновника или вообще барина. Живутъ они очень зажиточно и опрятно, но на всѣхъ ихъ дѣйствіяхъ, на всѣхъ движеніяхъ лежитъ какая-то печать формализма, устраняющая всякій намекъ на присутствіе идеала или того наивно-поэтическаго колорита, который хоть изрѣдка обливаетъ мягкимъ свѣтомъ картину поселянскаго быта. Коли хотите, есть у нихъ свои удовольствія, свои отклоненія отъ постоянно-суровой, уединенно-эгоистической жизни; но эти удовольствія, эти увлеченія принимаютъ какой-то темный, плотяный характеръ; въ нихъ нѣтъ ни мягкости, ни искренней веселости, и потому они легко превращаются въ безобразный и голый развратъ. И до сихъ поръ въ лѣсахъ этой мѣстности попадаются одинокіе скиты, въ которыхъ нерѣдко находятъ убѣжище не жажда молитвы и спасенія душевнаго, а преступленіе и грубое распутство. Но поселяне не только съ тупымъ равнодушіемъ смотрятъ на такое явленіе, но даже, нѣкоторымъ образомъ, способствуютъ развитію его...

Таковъ народъ, такова мѣстность, окружающіе городъ С***.

Городъ этотъ, самъ по себѣ ничтожный, имѣетъ, впрочемъ, весьма важное нравственное значеніе, какъ центръ, къ которому тянетъ не только вся окрестность, но многія самыя отдаленныя мѣстности Россіи. Въ особенности замѣчательно въ немъ преобладаніе женскаго элемента надъ мужскимъ. На улицахъ и у воротъ почти исключительно встрѣчаются однѣ женщины, въ неизмѣнныхъ темно-синихъ сарафанахъ, съ пуговицами, идущими до низу, и съ черными миткалевыми платками на головахъ, закалывающимися у самаго подбородка, вслѣдствіе чего лицо представляется какъ бы вставленнымъ въ черную рамку. Встрѣчаются дома (а такихъ чуть ли даже не большинство), въ которыхъ живутъ исключительно однѣ женщины. И весь этотъ женскій людъ движется какъ-то чинно и истово по улицамъ, вслѣдствіе чего и самый городъ пріобрѣтаетъ церемонно-унылый характеръ. Ни пьянства, ни дракъ не замѣтно, почему даже самый откупщикъ, обыкновенно душа и украшеніе уѣзднаго общества, угрюмо и озлобленно выглядываетъ изъ оконъ каменныхъ палатъ своихъ.

Но обращаюсь къ запискамъ Филоверитова.

I.

— Ваше высокоблагородіе, немедленно приступить изволите?—спросилъ меня исправникъ Маслобойниковъ въ ту самую минуту, какъ я вылѣзалъ изъ тарантаса съ намѣреніемъ направиться къ станціонному дому, расположенному въ самомъ центрѣ города С***.

Маслобойниковъ — небольшой, но коренастый мужчина, рябой и безобразный, съ узенькимъ лбомъ, чрезвычайно развитымъ затылкомъ и налитыми кровью глазами. Онъ безпрестанно отираетъ потъ, выступающій на его лицѣ, но при этомъ всякій разъ отворачивается и исполняетъ это на скорую руку. Когда ему сообщаютъ что-нибудь по дѣлу, въ особенности же секретное, то онъ всѣмъ корпусомъ подается впередъ, при чемъ мнетъ губами, а глазами разбѣгается во всѣ стороны, какъ дикій звѣрь, почуявшій носомъ добычу. Впрочемъ, онъ не прочь иногда прикинуться простачкомъ и разсказать игривый анекдотецъ, особливо если дѣло касается его служебной дѣятельности; но всѣ эти анекдоты пріобрѣтаютъ въ устахъ его какой-то мрачный характеръ.

Меня изумило, во-первыхъ, то, какимъ образомъ Маслобойниковъ очутился у станціоннаго двора въ такую именно

минуту, когда я подъѣхалъ къ нему; во-вторыхъ, то, какимъ образомъ онъ вызналъ не только о характерѣ моего порученія, но, повидимому, и о самомъ предметѣ его. Я не могъ воздержаться, чтобы не выразить моего изумленія.

— Помилуйте, ваше высокоблагородіе, мы васъ ужъ съ утра поджидаемъ, — отвѣтилъ онъ весьма хладнокровно. — Съ часъ назадъ и гонецъ съ послѣдней станціи прискакалъ, гдѣ вы изволили чай кушать.

И при этомъ на лицѣ его показалась какая-то безцвѣтная, но отвратительно-проницательная улыбка, которая привела меня въ невольное смущеніе.

— Странно!—сказалъ я, чтобы сказать что-нибудь.

— Помилуйте-съ, по мѣрѣ силы-возможности стараемся облегчить вашимъ высокоблагородіямъ-съ,—произнесъ онъ скороговоркой, глядя на меня исподлобья и какъ-то странно извиваясь передо мной.—Нашъ братъ народъ сѣрый, мы и въ трубу, и въ навозъ сходимъ-съ... Извѣстно, перчатокъ не покупаемъ.

— Да вѣдь здѣсь городъ,—сказалъ я:—какимъ же образомъ вы, а не городничій...

— Они, ваше высокоблагородіе, человѣкъ слабый, можно сказать, и въ умѣ даже повредившись, по той причинѣ, что съ утра, теперича, и до вечера въ одномъ этомъ малодушествѣ спокойствіе находятъ... Да и дѣло-то оно такое-съ, что хоша онѣ (то-есть скитницы) и не въ уѣздѣ, а все словно изъ уѣзда порядкомъ въ городъ не водворены; такъ мы, то-есть земскій судъ-съ, по этому самому случаю и не лишаемъ ихъ своего покровительства... Мы насчетъ этого имѣли ужъ съ Иваномъ Макарычемъ (городничимъ) матерію, что будто бы ихъ супруга очень ужъ оскорбляются, что этимъ дѣломъ не они, а мы заправляемъ-съ... Ну, да ихнее дѣло дамское; имъ, конечно, оно и невдомекъ, почему и какъ обращеніе земли совершается... Такъ прикажете приступить?— повторилъ онъ, возвращаясь къ дѣлу.

— Да я полагаю, что можно и завтра.

— Помилуйте, ваше высокоблагородіе, — произнесъ онъ съ таинственнымъ видомъ, наклонившись ко мнѣ: — часа черезъ два у нихъ, можно сказать, ни синя-пороха не останется... Это вѣрное дѣло-съ.

— Да вѣдь теперь и ночь скоро...

— Это нужды нѣтъ-съ: они завсегда обязаны для полиціи домъ свой открытымъ содержать... Конечно-съ, вашему

высокоблагородію почивать съ дорожки хочется, такъ ужъ вы извольте мнѣ это довѣрить... Будьте, ваше высокоблагородіе, удостовѣрены, что мы своихъ начальниковъ обманутъ не осмѣлимся, на чести дѣло сдѣлаемъ, а насчетъ проворства и проницательности, такъ истинно, осмѣлюсь вамъ доложить, что мы однимъ глазомъ во всѣхъ углахъ самомалѣйшее насѣкомое усмотрѣть можемъ...

— Нѣтъ, ужъ у меня свой расчетъ есть, чтобы начать дѣло завтра.

— Слушаю-съ.

— Только если вы что-нибудь съ своей стороны узнаете относящееся до дѣла, то предувѣдомьте меня.

— Слушаю-съ.

— Да вотъ еще: завтра къ ночи должны сюда прибыть люди, такъ вы поставьте кого-нибудь у заставы... Понимаете? Чтобъ ихъ въ городѣ не видали.

— Слушаю-съ.

Онъ всталъ, чтобы откланяться, и направилъ-было къ двери шаги свои, но съ половины комнаты воротился.

— Имѣю сообщить вашему высокоблагородію нѣчто весьма секретное,—сказалъ онъ, подходя ко мнѣ, и потомъ шопотомъ прибавилъ:—Ваше высокоблагородіе, до Мавры Кузьмовны дѣло имѣть изволите?

— Да, вѣдь, вы знаете: зачѣмъ же спрашивать?..

— Извините, это точно-съ... Я тоже до нея хоша въ настоящій моментъ и не имѣю касательства, однако на сихъ дняхъ безотмѣнно имѣть таковое намѣренъ.

— По какому же случаю?

— По предмету о совращеніи, такъ какъ по здѣшнему мѣсту это, можно сказать, первый сюжетъ-съ... Вашему высокоблагородію, конечно, не безызвѣстно, что народъ здѣсь живетъ совсѣмъ необнатуренный-съ; такъ эти бабы да дѣвки такое на нихъ своимъ естествомъ вліяніе имѣютъ, что даже представить себѣ невозможно... Я думалъ, что ваше высокоблагородіе прикажете, можетъ, по совокупности...

— У васъ заведено развѣ ужъ дѣло?

— Никакъ нѣтъ-съ: дѣло это, такъ сказать, еще въ воображеніи...

— Почему же вы думаете, что оно изъ области вашего воображенія непремѣнно должно перейти въ область дѣйствительности?

— Слѣдимъ... шестую недѣлю, можно сказать, денно и

пощно слѣдимъ... такъ какъ же ему не быть-то-съ? Это все одно, что бабѣ понести, да въ десятый мѣсяцъ не родить-съ...

— Въ такомъ случаѣ, если что-нибудь будетъ, то сообщите мнѣ, а я пріобщу къ своему дѣлу... Да вы объ моемъ-то дѣлѣ знаете?

— Помилуйте-съ, ваше высокоблагородіе!

— Однакожъ?

— Помилуйте-съ, ваше высокоблагородіе!

— А Мавра Кузьмовна знаетъ?

— Въ этомъ, ваше высокоблагородіе, будьте безъ сумнѣнія-съ; гонецъ прямо къ ней въ домъ и прискакалъ.

— Однакожъ, это непріятно.

— Ничего, ваше высокоблагородіе.

— Какъ ничего? Она можетъ принять свои мѣры, будетъ запираться.

— Мѣры она точно-что принять можетъ-съ, да и запираться будетъ непремѣнно, однако, на это обращать вниманія не слѣдуетъ, потому какъ съ ними одинъ разговоръ—подъ арестъ-съ; а тамъ какъ Богъ разсудитъ... А впрочемъ, вашему высокоблагородію насчетъ этого дѣла и опасаться нельзя-съ, потому какъ тутъ и истцы налицо...

— Ну, а ваше дѣло въ чемъ же состоитъ?

— Нѣтъ-съ, ужъ позвольте до завтрева... по той причинѣ, что у вашего высокоблагородія ужъ и глазки слипаются, а наша исторія длинная и до завтрева не убѣжитъ.

Мы разстались.

II.

Городъ С***, въ которомъ мнѣ пришлось производить слѣдствіе, принадлежитъ къ числу самыхъ плохихъ городовъ Россіи. Если онъ расположился или, лучше сказать, разлѣзся на довольно большомъ пространствѣ, то нельзя сказать, чтобъ къ этому была какая-либо иная побудительная причина, кромѣ того, что русскому человѣку вообще просторъ любъ. Напримѣръ, домъ мѣщанина Карпущенкова занимаетъ всего-на-все двадцать пять квадратныхъ саженъ, но зато подъ дворовымъ участкомъ, принадлежащимъ тому же мѣщанину, навѣрное отыщется саженъ тысячу. Спросите у Карпущенкова, зачѣмъ ему такое пространство земли, изъ которой онъ не извлекаетъ никакой для себя выгоды,—онъ, во-первыхъ, не поймётъ вашего

вопроса, а, во-вторыхъ, пораздумавши маленько, отвѣтитъ вамъ: «что-жъ, Христосъ съ ней! развѣ она кому въ горлѣ встала, земля-то!»—«Да, вѣдь, нужно, любезный, устраивать тротуаръ, поправлять улицу передъ домомъ, а куда-жъ тебѣ сладить съ такимъ пространствомъ?»—«И, батюшка!—отвѣтитъ онъ вамъ:—какая у насъ улица! Дорога, извѣстно, про всѣхъ лежитъ, да и по ней некому ѣздить».

Такимъ образомъ прозябаетъ это грустное племя, внѣ всякихъ понятій о красотѣ и удобствѣ прямыхъ линій. Вообще, въ рѣдкихъ еще городахъ Россіи земля имѣетъ какую-нибудь цѣнность. Мѣщане, и даже крестьяне пріобрѣтаютъ огромные дворовые участки за безцѣнокъ, а часто и задаромъ, то-есть самовольно, и всѣ послѣдствія такого пріобрѣтенія ограничиваются выстройкой какой-нибудь бани, въ которой ютится хозяинъ съ семействомъ, и обнесеніемъ участка плетнемъ или заборомъ. Отъ этого такое множество пустырей, которые придаютъ нашимъ городамъ нестерпимо тоскливый видъ.

Многіе благонамѣренные начальники старались превозмочь это тупое равнодушіе жителей къ ихъ собственнымъ выгодамъ и удобствамъ. Когда князь Левъ Михайлычъ *) пріѣхалъ въ губернію, то первымъ дѣломъ его было написать, «чтобы въ городахъ *непремѣнно* были заведены мостовыя, и чтобы дома возводимы были въ два этажа и, *по возможности*, каменные». Однако, успѣхъ не соотвѣтствовалъ ожиданіямъ, потому что князь все-таки кротокъ очень. Тутъ надобно льва, который, не взирая ни на что, могъ бы настоять.

Только къ центру, тамъ, гдѣ находится и базарная площадь, городъ становится какъ будто люднѣе и принимаетъ физіономію торговаго села. Тутъ уже попадаются изрѣдка каменные дома мѣстныхъ купцовъ, лари, на которыхъ симметрически расположены калачи и баранки; тутъ же снуютъ приказные, поспѣшающіе въ присутствіе или обратно, и, меланхолически прислонясь гдѣ-нибудь у воротъ, тупо посматриваютъ на базарную площадь туземные мѣщане, въ нагольныхъ тулупахъ, залживъ одну руку за пазуху, а другую засунувъ въ боковой карманъ.

На другой день по пріѣздѣ въ С*** я раннимъ утромъ отправился къ Маврѣ Кузьмовнѣ.

У меня былъ свой планъ; къ сожалѣнію, я долженъ былъ

*) См. выше. Филоверитовъ былъ одинъ изъ фаворитовъ князя.

отказаться отъ выполненія нѣкоторыхъ частей его. Я хотѣлъ остановиться въ городѣ инкогнито, прикинуться этакъ мѣщаниномъ, желающимъ получить «просвѣщеніе», и выѣдать все дѣло исподволь. На этотъ конецъ было у меня припасено и соотвѣтственное одѣяніе, какъ-то: тулупчикъ дубленый, азямъ, сапоги русскіе и проч.; но появленіе Маслобойникова и завѣреніе, что Кузьмовна меня ожидаетъ, разсѣяли въ прахъ мои надежды. Во всякомъ случаѣ, я вынужденъ былъ если не совершенно отказаться отъ своего плана, то подвергнуть его измѣненіямъ. Но и теперь, прежде всего, я разсчитывалъ на то обстоятельство, что хотя, быть-можетъ, и знаетъ Мавра Кузьмовна, что имѣетъ наѣхать чиновникъ, но знаетъ это смутно, не имѣя настоящаго понятія ни о цѣли пріѣзда, ни о намѣреніяхъ чиновника. Въ такомъ случаѣ, думалъ я, можно будетъ сказать, что я имѣю порученіе сдѣлать дознаніе объ истинномъ состояніи раскола или что-нибудь подобное. Руководители и руководительницы этого дѣла охотно подаются на эту удочку, если взяться за нее умѣючи. Натура человѣческая до крайности самолюбива, и если, ловко набросивъ на свое лицо маску добродушія и откровенности, слѣдователь обращается къ всемогущей струнѣ самолюбія, успѣхъ почти всегда бываетъ вѣренъ. Тутъ охотно выкладываются на столъ всѣ самыя сокровенныя вещи, а ради краснаго словца даже и прилыгается малость; слѣдовательно, остается только на усъ мотать. Тутъ же могутъ быть, кстати, употреблены и другія невинныя средства, внушающія довѣренность. Такимъ образомъ можно, напримѣръ, направить рѣчь издалека о собственныхъ дѣлахъ Мавры Кузьмовны, поприласкать ее (посадить), начать слегка соболѣзновать и вообще «бесѣдовать разумно», сбросивъ съ себя всякую офиціальность и пригнувъ себя къ одному уровню съ почтенною старухой. Я знавалъ слѣдователей весьма благонамѣренныхъ, которые своимъ неумѣніемъ обращаться съ живымъ матеріаломъ, щекотливостью, съ которою они относились къ темнымъ сторонамъ жизни, съ перваго же шагу возбуждали полное недовѣріе подсудимаго и, разумѣется, не достигали никакихъ результатовъ. Съ другой стороны, зналъ я и такихъ слѣдователей, которые были, что называется, до мозга костей выжиги, и между тѣмъ сразу внушали полное довѣріе къ себѣ, потому только, что умѣли кстати ввернуть слово «голубчикъ», или потрепать подсудимаго по брюху, или даже дать ему, въ *шутливомъ рус-*

своимъ тономъ, порядочную затрещину въ спину—полицейская ласка, имѣющая равносильное значеніе со словомъ «голубчикъ».

Я—слѣдователь благонамѣренный и добиваюсь только истины, не имѣя при этомъ никакихъ личныхъ видовъ; слѣдовательно, я не только имѣю право, но и обязанъ изыскать всѣ средства, чтобы достигнуть этой истины. Конечно, я не стану давать любезныхъ затрещинъ—на это я не способенъ,—но и кромѣ затрещинъ есть цѣлый рядъ полицейскихъ хитростей, который можетъ быть употребленъ въ дѣло. Мнѣ скажутъ, можетъ-быть, что это нравственное вымогательство (другіе, пожалуй, не откажутся употребить при этомъ и слово «подлость»), но, въ такомъ случаѣ, я позволю себѣ спросить: какія же имѣются средства къ открытію истины?

Итакъ, мнѣ нужна была довѣренность Мавры Кузьмовны; необходимо было вызвать ее на откровенность, и если бы она, въ частномъ и любезномъ разговорѣ (особливо же при свидѣтеляхъ), высказала то, что для меня потребно, въ такомъ случаѣ я не прочь былъ бы оформить эту любезную откровенность законнымъ порядкомъ. Само собою разумѣется, что въ дальнѣйшемъ развитіи дѣла могутъ быть пущены въ ходъ разнаго рода неожиданности: чтеніе нѣкоторыхъ писемъ, появленіе изъ заднихъ дверей интересныхъ лицъ и т. п. И все это въ пользу истины, только истины...

Полный этихъ намѣреній, я рѣшился лично посѣтить Мавру Кузьмовну, чтобы ее, такъ сказать, сразу ошеломить моею благосклонною внимательностью. Сверхъ того, не лишне было ознакомиться и съ характеромъ моей новой паціентки, чтобы приспособиться къ нему и замѣтить ту струнку, на которую удобнѣе можно дѣйствовать.

Домъ Мавры Кузьмовны, недавно выстроенный, глядѣлъ чистенько и уютно. Дверь изъ сѣней вела въ коридоръ, раздѣлявшій весь домъ на двѣ половины. Впослѣдствіи я узналъ, что этотъ коридоръ былъ устроенъ не случайно, а вслѣдствіе особыхъ и довольно остроумныхъ соображеній.

Дѣло въ томъ, что по обѣимъ сторонамъ коридора были расположены горницы, изъ которыхъ каждая имѣла свой особый ходъ и образовала родъ кельи, не имѣвшей съ сосѣднею комнатой иного сообщенія, какъ черезъ коридоръ. Первыя и ближайшія къ сѣнямъ, а слѣдовательно и къ свѣту, горницы имѣли хозяйственное назначеніе; тутъ были: стряпущая, кладовая и т. д. Но чѣмъ далѣе нужно было

углубляться въ коридоръ, тѣмъ тусклѣе достигалъ свѣтъ, такъ что съ трудомъ можно было распознать даже двери; тутъ-то и были покои самой Мавры Кузьмовны, жившей вмѣстѣ съ племянницей и нѣсколькими посторонними старухами, которыхъ она пропитывала на старости лѣтъ. Затѣмъ, въ самой глубинѣ коридора, тамъ, куда свѣтъ совершенно почти не досягалъ, было нагорожено множество мелкихъ чуланчиковъ, которыхъ не было возможности даже днемъ нащупать безъ помощи свѣчи.

— Какъ же вы-то успѣваете вдругъ осмотрѣть всѣ эти закоулки?—спрашивалъ я у Маслобойникова, когда, впослѣдствіи, самъ ближе познакомился съ устройствомъ этого рода домовъ.

— Это точно-съ, что по началу дѣло было трудное,—отвѣчалъ онъ:—въ первый разъ, какъ былъ я еще неопытенъ, они меня лихо надули. Пришелъ я къ нимъ этта съ обыскомъ; ну, она меня и встрѣчаетъ такая, знаете, ласковая... «Милости просимъ, говоритъ, Иванъ Демьянычъ, удостойте старуху своимъ посѣщеніемъ», а сама, ваше высокоблагородіе, и отворяетъ мнѣ первую-то дверь. Ну, я съ дураковъ-то и вошелъ—кухня-съ; разумѣется, чумички, лохани, ведра, все какъ слѣдуетъ.—«Да ты показывай, говорю, мнѣ настоящее дѣло».—«А вотъ, говоритъ, пожалуйте». И провела меня насупротивъ въ кладовую. Ну, точно, вижу полна горница сундуковъ и мѣшковъ—надо все это свидѣтельствовать. Съ часъ я тутъ бился, разсматривалъ; ну, разумѣется, кромѣ солоду, муки да крупы ничего не нашелъ, а покуда я тутъ копался, въ другихъ-то комнатахъ и поприбрали... Съ тѣмъ и ушелъ, что ничего найти не могъ... «Ну, говорю, спасибо, голубушка, за науку».—«Ничего, говоритъ, на здоровье, родимый!» А у самой отъ смѣху даже нутро все колыхается, у поганки. Ну, да добро, молъ, за мной, не за кѣмъ другимъ, наука не пропадаетъ. Пришелъ и опять случай: «нѣтъ, думаю, шалишь, баба!»—и прямо, знаете, какъ ворвался, въ самую, что называется, въ глубь, покуда въ стѣну лбомъ не наткнулся... тутъ и замеръ-съ... А между тѣмъ на прочихъ пунктахъ свое распоряженіе идетъ; двери всѣ настежь, и какъ кого смертный часъ засталъ, такъ и пребывай, застынь, не шевелись... Ну, и точно-съ, диковинныя иногда вещи въ этихъ чуланчикахъ находишь...

Но возвращаюсь къ разсказу. Встрѣтила меня въ сѣняхъ какая-то старуха, должно-быть стряпка, которая, взглянувъ

на мои пуговицы, поблѣднѣла и какъ-то странно вся вскалыхалась. Испугъ, очевидно, парализировалъ всю ея мыслящую силу, потому что она безотчетно топталась на одномъ мѣстѣ, какъ бы недоумѣвая, оставаться ей или бѣжать.

— Дома Мавра Кузьмовна?—спросилъ я.

— Ась?—закричала она во всю мочь, съ очевиднымъ намѣреніемъ, чтобы голосъ ея какъ-нибудь дошелъ по назначенію.

Я повторилъ вопросъ.

Она опять затопталась на мѣстѣ, а губы ея начали судорожно подергиваться.

— Дома Мавра Кузьмовна?—крикнулъ я ей въ самое ухо.

— Не упомню я, батюшка, не упомню... Кажется, не бывала... Стара я, ваше сіятельное благородіе, больно стара, да чтой-то нынче и памятью-то Богъ изобидѣлъ... Объ комъ это изволишь спрашивать?

Сознавая безполезность дальнѣйшихъ разспросовъ, я хотѣлъ-было идти далѣе, въ тотъ знаменитый коридоръ, о которомъ говорено выше, какъ вдругъ, совершенно для меня неожиданно, старуха, какъ сноп, повалилась поперекъ двери.

— Батюшки! спасите! рѣжутъ!—вопила она, уцѣпившись за фалды моего вицмундира.—Отецъ родной! не ходи, не губи своей душеньки!

На этотъ крикъ выбѣжала баба, высокая и плотная, въ синемъ сарафанѣ, повязанная чернымъ платкомъ. Это была сама хозяйка дома, которая вмигъ поняла, въ чемъ дѣло.

— Мать Меропея, мать Меропея!—сказала она ласковымъ, но твердымъ голосомъ, подходя къ намъ:—полно, не блажи, пусти его благородіе!

Старуха встала, глухо кашляя и злобно посматривая на меня. Она одною рукою оперлась о косякъ двери, а другою держала себя за грудь, изъ которой вылетали глухіе и отрывистые вопли. И долгое еще время, покуда я сидѣлъ у Мавры Кузьмовны, раздавалось по всему дому ея голошеніе, нагоняя на меня нестерпимую тоску.

— Милости просимъ, ваше благородіе!—говорила, между тѣмъ, Мавра Кузьмовна:—милости просимъ къ намъ въ горницу... Аннушка! отворь-ка дверь: посвѣтлѣе барину идти будетъ! Ужъ вы насъ, сударь, не обезсудьте за старуху-то! Здѣсь мы собрались народъ все старый да пуганный; мужчинъ никого нѣтъ—ну, и думается, что лихой человѣкъ старухъ сирыхъ изобидѣть хочетъ... А такимъ гостямъ, какъ ваше благородіе или хочь и Иванъ Демьянычъ (Маслобой-

углубляться въ коридоръ, тѣмъ тусклѣе достигалъ свѣтъ, такъ что съ трудомъ можно было распознать даже двери; тутъ-то и были покои самой Мавры Кузьмовны, жившей вмѣстѣ съ племянницей и нѣсколькими посторонними старухами, которыхъ она пропитывала на старости лѣтъ. Затѣмъ, въ самой глубинѣ коридора, тамъ, куда свѣтъ совершенно почти не досягалъ, было нагорожено множество мелкихъ чуланчиковъ, которыхъ не было возможности даже днемъ нащупать безъ помощи свѣчи.

— Какъ же вы-то успѣваете вдругъ осмотрѣть всѣ эти закоулки?—спрашивалъ я у Маслобойникова, когда, впослѣдствіи, самъ ближе познакомился съ устройствомъ этого рода домовъ.

— Это точно-съ, что по началу дѣло было трудное,—отвѣчалъ онъ:—въ первый разъ, какъ былъ я еще неопытенъ, они меня лихо надули. Пришелъ я къ нимъ этта съ обыскомъ; ну, она меня и встрѣчаетъ такая, знаете, ласковая... «Милости просимъ, говоритъ, Иванъ Демьянычъ, удостойте старуху своимъ посѣщеніемъ», а сама, ваше высокоблагородіе, и отворяетъ мнѣ первую-то дверь. Ну, я съ дураковъ-то и вошелъ—кухня-съ; разумѣется, чумички, лохани, ведра, все какъ слѣдуетъ.—«Да ты показывай, говорю, мнѣ настоящее дѣло».—«А вотъ, говоритъ, пожалуйте». И провела меня насупротивъ въ кладовую. Ну, точно, вижу полна горница сундуковъ и мѣшковъ—надо все это свидѣтельствовать. Съ часъ я тутъ бился, разсматривалъ; ну, разумѣется, кромѣ солоду, муки да крупы ничего не нашелъ, а покуда я тутъ копался, въ другихъ-то комнатахъ и поприбрали... Съ тѣмъ и ушелъ, что ничего найти не могъ... «Ну, говорю, спасибо, голубушка, за науку».—«Ничего, говоритъ, на здоровье, родимый!» А у самой отъ смѣху даже нутро все колыхается, у поганки. Ну, да добро, молъ, за мной, не за кѣмъ другимъ, наука не пропадаетъ. Пришелъ и опять случай: «нѣтъ, думаю, шалишь, баба!»—и прямо, знаете, какъ ворвался, въ самую, что называется, въ глубь, покуда въ стѣну лбомъ не наткнулся... тутъ и замеръ-съ... А между тѣмъ на прочихъ пунктахъ свое распоряженіе идетъ; двери всѣ настежь, и какъ кого смертный часъ засталъ, такъ и пребывай, застынь, не шевелись... Ну, и точно-съ, диковинныя иногда вещи въ этихъ чуланчикахъ находишь...

Но возвращаюсь къ разсказу. Встрѣтила меня въ сѣняхъ какая-то старуха, должно-быть стряпка, которая, взглянувъ

на мои пуговицы, поблѣднѣла и какъ-то странно вся всколыхалась. Испугъ, очевидно, парализировалъ всю ея мыслящую силу, потому что она безотчетно топталась на одномъ мѣстѣ, какъ бы недоумѣвая, оставаться ей или бѣжать.

— Дома Мавра Кузьмовна?—спросилъ я.

— Ась?—закричала она во всю мочь, съ очевиднымъ намѣреніемъ, чтобы голосъ ея какъ-нибудь дошелъ по назначенію.

Я повторилъ вопросъ.

Она опять затопталась на мѣстѣ, а губы ея начали судорожно подергиваться.

— Дома Мавра Кузьмовна?—крикнулъ я ей въ самое ухо.

— Не упомню я, батюшка, не упомню... Кажется, не бывала... Стара я, ваше сіятельное благородіе, больно стара, да чтой-то нынче и памятью-то Богъ изобидѣлъ... Объ комъ это изволишь спрашивать?

Сознавая безполезность дальнѣйшихъ разспросовъ, я хотѣлъ-было идти далѣе, въ тотъ знаменитый коридоръ, о которомъ говорено выше, какъ вдругъ, совершенно для меня неожиданно, старуха, какъ снопъ, повалилась поперекъ двери.

— Батюшки! спасите! рѣжутъ!—вопила она, уцѣпившись за фалды моего вицмундира.—Отецъ родной! не ходи, не губи своей душеньки!

На этотъ крикъ выбѣжала баба, высокая и плотная, въ синемъ сарафанѣ, повязанная чернымъ платкомъ. Это была сама хозяйка дома, которая вмигъ поняла, въ чемъ дѣло.

— Мать Меропея, мать Меропея!—сказала она ласковымъ, но твердымъ голосомъ, подходя къ намъ:—полно, не блажи, пусти его благородіе!

Старуха встала, глухо кашляя и злобно посматривая на меня. Она одною рукою оперлась о косякъ двери, а другою держала себя за грудь, изъ которой вылетали глухіе и отрывистые вопли. И долгое еще время, покуда я сидѣлъ у Мавры Кузьмовны, раздавалось по всему дому ея голошеніе, нагоняя на меня нестерпимую тоску.

— Милости просимъ, ваше благородіе!—говорила, между тѣмъ, Мавра Кузьмовна:—милости просимъ къ намъ въ горницу... Аннушка! отворь-ка дверь: посвѣтлѣе барину идти будетъ! Ужъ вы насъ, сударь, не обезсудьте за старуху-то! Здѣсь мы собрались народъ все старый да пуганный; мужчинъ никого нѣтъ—ну, и думается, что лихой человѣкъ старухъ сирыхъ изобидѣть хочетъ... А такимъ гостямъ, какъ ваше благородіе или хочь и Иванъ Демьянычъ (Маслобой-

углубляться въ коридоръ, тѣмъ тусклѣе достигалъ свѣтъ, такъ что съ трудомъ можно было распознать даже двери; тутъ-то и были покои самой Мавры Кузьмовны, жившей вмѣстѣ съ племянницей и нѣсколькими посторонними старухами, которыхъ она пропитывала на старости лѣтъ. Затѣмъ, въ самой глубинѣ коридора, тамъ, куда свѣтъ совершенно почти не досягалъ, было нагорожено множество мелкихъ чуланчиковъ, которыхъ не было возможности даже днемъ нащупать безъ помощи свѣчи.

— Какъ же вы-то успѣваете вдругъ осмотрѣть всѣ эти закоулки?—спрашивалъ я у Маслобойникова, когда, впослѣдствіи, самъ ближе познакомился съ устройствомъ этого рода домовъ.

— Это точно-съ, что по началу дѣло было трудное,—отвѣчалъ онъ:—въ первый разъ, какъ былъ я еще неопытенъ, они меня лихо надули. Пришелъ я къ нимъ этта съ обыскомъ; ну, она меня и встрѣчаетъ такая, знаете, ласковая... «Милости просимъ, говоритъ, Иванъ Демьянычъ, удостойте старуху своимъ посѣщеніемъ», а сама, ваше высокоблагородіе, и отворяетъ мнѣ первую-то дверь. Ну, я съ дураковъ-то и вошелъ—кухня-съ; разумѣется, чумички, лохани, ведра, все какъ слѣдуетъ.—«Да ты показывай, говорю, мнѣ настоящее дѣло».—«А вотъ, говоритъ, пожалуйте». И провела меня насупротивъ въ кладовую. Ну, точно, вижу полна горница сундуковъ и мѣшковъ—надо все это свидѣтельствовать. Съ часъ я тутъ бился, разсматривалъ; ну, разумѣется, кромѣ солоду, муки да крупы ничего не нашелъ, а покуда я тутъ копался, въ другихъ-то комнатахъ и поприбрали... Съ тѣмъ и ушелъ, что ничего найти не могъ... «Ну, говорю, спасибо, голубушка, за науку».—«Ничего, говоритъ, на здоровье, родимый!» А у самой отъ смѣху даже нутро все колыхается, у поганки. Ну, да добро, молъ, за мной, не за кѣмъ другимъ, наука не пропадаетъ. Пришелъ и опять случай: «нѣтъ, думаю, шалишь, баба!»—и прямо, знаете, какъ ворвался, въ самую, что называется, въ глубь, покуда въ стѣну лбомъ не наткнулся... тутъ и замеръ-съ... А между тѣмъ на прочихъ пунктахъ свое распоряженіе идетъ; двери всѣ настежь, и какъ кого смертный часъ засталъ, такъ и пребывай, застынь, не шевелись... Ну, и точно-съ, диковинныя иногда вещи въ этихъ чуланчикахъ находишь...

Но возвращаюсь къ разсказу. Встрѣтила меня въ сѣняхъ какая-то старуха, должно-быть стряпка, которая, взглянувъ

на мои пуговицы, поблѣднѣла и какъ-то странно вся всколыхалась. Испугъ, очевидно, парализировалъ всю ея мыслящую силу, потому что она безотчетно топталась на одномъ мѣстѣ, какъ бы недоумѣвая, оставаться ей или бѣжать.

— Дома Мавра Кузьмовна?—спросилъ я.

— Ась?—закричала она во всю мочь, съ очевиднымъ намѣреніемъ, чтобы голосъ ея какъ-нибудь дошелъ по назначенію.

Я повторилъ вопросъ.

Она опять затопталась на мѣстѣ, а губы ея начали судорожно подергиваться.

— Дома Мавра Кузьмовна?—крикнулъ я ей въ самое ухо.

— Не упомню я, батюшка, не упомню... Кажется, не бывала... Стара я, ваше сіятельное благородіе, больно стара, да чтой-то нынче и памятью-то Богъ изобидѣлъ... Объ комъ это изволишь спрашивать?

Сознавая безполезность дальнѣйшихъ разспросовъ, я хотѣлъ-было идти далѣе, въ тотъ знаменитый коридоръ, о которомъ говорено выше, какъ вдругъ, совершенно для меня неожиданно, старуха, какъ снопъ, повалилась поперекъ двери.

— Батюшки! спасите! рѣжутъ!—вопила она, уцѣпившись за фалды моего вицмундира.—Отецъ родной! не ходи, не губи своей душеньки!

На этотъ крикъ выбѣжала баба, высокая и плотная, въ синемъ сарафанѣ, повязанная чернымъ платкомъ. Это была сама хозяйка дома, которая вмигъ поняла, въ чемъ дѣло.

— Мать Меропея, мать Меропея!—сказала она ласковымъ, но твердымъ голосомъ, подходя къ намъ:—полно, не блажи, пусти его благородіе!

Старуха встала, глухо кашляя и злобно посматривая на меня. Она одною рукою оперлась о косякъ двери, а другою держала себя за грудь, изъ которой вылетали глухіе и отрывистые вопли. И долгое еще время, покуда я сидѣлъ у Мавры Кузьмовны, раздавалось по всему дому ея голошеніе, нагоняя на меня нестерпимую тоску.

— Милости просимъ, ваше благородіе!—говорила, между тѣмъ, Мавра Кузьмовна:—милости просимъ къ намъ въ горницу... Аннушка! отворь-ка дверь: посвѣтлѣе барину идти будетъ! Ужъ вы насъ, сударь, не обезсудьте за старуху-то! Здѣсь мы собрались народъ все старый да пуганный; мужчинъ никого нѣтъ—ну, и думается, что лихой человѣкъ старухъ сирыхъ изобидѣть хочетъ... А такимъ гостямъ, какъ ваше благородіе или хочь и Иванъ Демьянычъ (Маслобой-

никовъ), мы оченно завсегда рады... Или, можетъ, ваше благородіе, изначала съ обыскомъ пройдете?—прибавила она, какъ-то масляно засматривая мнѣ въ глаза.

— Нѣтъ... Да развѣ ты не видишь, что и понятыхъ со мной нѣтъ?

— Такъ-съ; а то мы завсегда готовы... У насъ, ваше благородіе, завсегда и ворота, и горницы всѣ безъ запору... Такое ужъ Иванъ Демьянычъ, дай Богъ имъ много лѣтъ здравствовать, заведеніе завелъ... А то, коли съ обыскомъ, такъ милости просимъ хошь въ эту горницу (она указывала на кладовую), хошь куда вздумается... Такъ милости просимъ въ наши покои.

— А эта Меропея у тебя въ стряпкахъ, что ли, живетъ?—спросилъ я.

— Въ стряпкахъ, сударь, въ стряпкахъ... Что-жъ, это, кажется, сударь, не запрещается?...

Мы вошли въ это время въ горницу, чистую и свѣтлую. На полу разостланъ бѣлый холстъ, а стѣны гладко выструганы; горница раздѣлена перегородкой, за которой виднѣлась кровать съ цѣлою горой перинъ и подушекъ и по временамъ слышался шорохъ. Передъ диваномъ, на столѣ, стояла закуска, которую впопыхахъ, очевидно, забыли прибрать. Закуска была такъ-называемая дворянская, то-есть зачерствѣлый балыкъ, колбаса, твердая какъ камень, и мелко нарѣзанные куски икры буроватаго цвѣта; на томъ же подносѣ стоялъ графинъ съ бѣлою водкой и бутылка тенерифа.

— Милости просимъ бесѣдовать!—сказала Мавра Кузьмовна, усаживая меня на диванъ.

Но мы были не одни; кромѣ лицъ, которыя скрылись за перегородкой, въ комнатѣ находился еще человѣкъ въ длинноломъ, узкомъ кафтанѣ, съ длинными свѣтло-русыми волосами на головѣ, собранными въ косичку. При появленіи моемъ онъ всталъ и, вынувъ изъ-за пояса гребенку, подошелъ, пошатываясь, къ зеркалу и началъ чесать свои туго связанные волосы.

Блѣдно-желтое, отекшее лицо его, украшенное жиденькою бородкой, носило явные слѣды постоянно невоздержной жизни; маленькіе голубые и воспаленные глаза смотрѣли какъ-то слѣпо и тупо; губы распустились и не смыкались; руки, изъ которыхъ одна была засунута въ боковой карманъ, дѣйствовали не твердо. Во все время, покуда продолжалось причесываніе волосъ, онъ вполголоса мурлыкалъ ка-

кую-то пѣсню и изрѣдка причмокивалъ языкомъ и губами.

— Это что̀ за человѣкъ?—спросилъ я хозяйку.

Мавра Кузьмовна желала улыбаться, но губы ея только судорожно двигались и никакъ не складывались въ улыбку; она постоянно заглядывала мнѣ въ глаза, какъ бы усиливаясь уловить мою мысль, а своимъ собственнымъ глазамъ стараясь придать выраженіе безпечности и даже наивной веселости.

— Это, ваше благородіе, такъ... уволенный, ваше благородіе... онъ передъ вами только-что выпить запелъ... Это вѣдь, кажется, можно?

Послѣднія слова были сказаны не безъ ироніи.

— Да чтой-то, Михеичъ, хошь бы ты почтеніе его благородію отдалъ,—продолжала Мавра Кузьмовна:—а то мурлыкаешь тамъ нѣ вѣсть что̀.

Неизвѣстный обернулся, подошелъ къ столу и уставилъ безсмысленный взоръ на водку.

— А что̀, благодѣтельница, повторить можно?—спросилъ онъ сиплымъ голосомъ и слабо трясясь всѣмъ тѣломъ.

— Что̀ ты за человѣкъ?—спросилъ я его.

Онъ посмотрѣлъ на меня мутными глазами.

— То-есть... ваше благородіе желаете знать, каковъ я таковъ человѣкъ есть?—сказалъ онъ, спотыкаясь на каждомъ словѣ.—Что-жъ, для васъ объясниться дѣло не мудреное... не прынцъ же я, потому какъ и одѣянія для того приличнаго не имѣю, а лучше сказать, просто-на-просто, я исключенный изъ духовнаго званія причетникъ, сирѣчь овца заблудшая... Вотъ я каковъ человѣкъ есть!

Онъ остановился, сначала глубоко вздохнулъ, но потомъ вдругъ фыркнулъ и, изобразивъ изъ себя фертъ, внезапно перешелъ изъ довольно густого баритона въ самый тонкій, маслянистый теноръ.

— Не возмогу рещи,—продолжалъ онъ, вздернувъ голову кверху и подкативъ глаза такъ, что видны дѣлались одни воспаленные бѣлки:—не возмогу рещи, сколь многія претерпѣлъ я гоненія. Если не сподобился, яко Іона, содержаться во чревѣ китовѣ, зато въ собственномъ моемъ чревѣ содержалъ бѣса три года и три мѣсяца... И паки обуревасмъ былъ злою женою, по вся дни износившею передо мной звѣриный свой образъ... И паки обуянъ былъ жаждою огненною, и не утолилъ гортани своей до сего дня...

— Вы его не обезсудьте, ваше благородіе,—прервала Мавра Кузьмовна:—онъ у насъ ужъ такой отъ рожденія,

въ умѣ оченно ужъ недостаточенъ... Полно, полно, Михеичъ; пора, чай, и къ домамъ.

— Нѣтъ, Мавра Кузьмовна, ужъ коли языкъ самъ возговорилъ, стало-быть, говорить ему надо, и вы мнѣ не препятствуйте... Ваше высокоблагородіе! вотъ какъ передъ Богомъ, такъ и передъ вами... нагъ и босъ, нищъ и убогъ предстою! Прошу водки — не даютъ! Стало-быть, за что же я, за что же...

— Да, не даютъ тебѣ водки! И то ужъ почесть кабакъ въ нутрѣ-то у тебя завелся!—прервала его хозяйка, стараясь улыбнуться, но съ очевиднымъ озлобленіемъ.

— Не препятствуйте, Мавра Кузьмовна! Я здѣсь передъ ихъ высокоблагородіемъ... Они любопытствуютъ знать, каковъ я есть человѣкъ,—долженъ же я объ себѣ отвѣтствовать! Ваше высокоблагородіе! позвольте рѣчь держать! Позвольте какъ отцу объявиться, почему какъ я на краю погибели нахожусь, и если не изведетъ меня оттуда десница ваша, то въ скорости буду даже на днѣ оной! За что они меня рѣжутъ?

И онъ неожиданно подбѣжалъ къ окну и, отворивъ его, неистовымъ голосомъ закричалъ: — «Православные, рѣжутъ!»

Мавра Кузьмовна поблѣднѣла. Сцена эта видимо ее безпокоила съ самаго начала; но при такомъ неожиданномъ окончаніи она до такой степени смутилась, что какъ будто бы совершенно позабыла обо мнѣ.

— Ахъ ты, Господи! Вотъ ужъ шестую недѣлю такъ-то съ нимъ маемся! Инъ искать ужъ другого!—повторяла она про себя.—Одною этою водкой всю келью испоганилъ, антихристъ ты этакой!

И, уцѣпившись за полы его кафтана, она тянула его отъ окна. Во время этой суматохи изъ-за перегородки шмыгнули двѣ фигуры: одна мужская, въ вицмундирномъ фракѣ, другая женская, въ нѣмецкомъ платьѣ. Мавра Кузьмовна продолжала нѣкоторое время барахтаться съ Михеичемъ, но онъ присмирѣлъ такъ же неожиданно, какъ и пришелъ въ экстазъ, и обратился къ намъ уже съ веселымъ лицомъ.

— Ну, полноте, полноте, Мавра Кузьмовна,—сказалъ онъ, съ улыбкою глядя на хозяйку, которая вся тряслась:— я ничего... я такъ только покуражился маленько, чтобъ знали его высокоблагородіе, каковъ я человѣкъ есть, потому какъ могу въ вашемъ домѣ всякое неистовство учинить, и ни отъ кого ни въ чемъ мнѣ запрету быть невозможно... по той

причинѣ, что могу я вамъ въ глаза всѣмъ наплевать, и безъ меня вся ваша механика погибѣ.

Старуха была ни жива, ни мертва; она и тряслась, и охала, и кланялась ему почти въ ноги, и въ то же время охотно вырвала бы ему поганый его языкъ, который готовъ былъ, того и гляди, выдать какую-то важную тайну. Мое положеніе также дѣлалось изъ-рукъ-вонъ неловкимъ; я не могъ не предъявить своего посредничества уже по тому одному, что присутствіе Михеича рѣшительно мѣшало мнѣ приступить къ дѣлу.

— Что ты за человѣкъ и по какому случаю находишься здѣсь?—спросилъ я снова Михеича.—Отвѣчай!

Онъ улыбнулся и посмотрѣлъ на Мавру Кузьмовну, которая съ пытливымъ безпокойствомъ смотрѣла ему въ глаза.

— А хочешь разскажу?—сказалъ онъ.

Прошло нѣсколько минутъ томительнаго ожиданія.

— Ну, не трясись! Такъ ужъ и быть не скажу! Только завтра смотри у меня, перевертываться живѣй! Теперь ужъ всего два денька и погулять-то осталось! Прощай, старуха! Припасай водки! — И, взявши картузъ, онъ тутъ же въ комнатѣ надѣлъ его на голову и побрелъ, пошатываясь, къ двери. Мавра Кузьмовна вздохнула свободнѣе и начала креститься.

— А хорошъ буду архіерей?—спросилъ онъ, останавливаясь въ дверяхъ и растопыривъ руки фертомъ.

Мавра Кузьмовна снова заохала.

— Ну, ну, добро, не трясись! Прощенья просимъ, ваше высокоблагородіе! Какъ буду архіереемъ, безотмѣнно отпущу вамъ вольная и невольная...

— Что-жъ это за человѣкъ?—спросилъ я Мавру Кузьмовну, когда онъ вышелъ.

Она уже оправилась отъ страха, который нагнала-было на нее выходка Михеича, и стояла передо мной довольно спокойно.

— Не пожалуете ли водочки?—сказала она, не отвѣчая на мой вопросъ.—Али, можетъ, виноградnаго... или чайку угодно?

— Хитришь ты со мной, Мавра Кузьмовна.

— Зачѣмъ, кажется, мнѣ съ тобой хитрить, баринъ? Кажется, хитрить мнѣ съ тобой не надо... Да просимъ милости откушать... Аннушка! Аннушка!

— Отчего-жъ ты не хочешь сказать, что за человѣкъ этотъ Михеичъ?

— Да что сказать-то, ваше благородіе? Такъ, праздношатающій, пьяница... его и оттолѣва-то ужъ выгнали... гдѣ ему настоящее мѣсто есть. Ходитъ по домамъ да водку пьетъ... Это хоть у кого въ городѣ спросите...

— Зачѣмъ же ты его къ себѣ въ домъ пускаешь?

— А коли не пустишь! Сами, чай, видѣли, каковъ онъ есть человѣкъ... Не пусти, такъ, пожалуй, и гнѣздо-то наше огнемъ разоритъ. Да выкушайте хоть виноградnаго-то!

Въ это время вошла Аннушка, дѣвка лѣтъ двадцати пяти, шумя великимъ множествомъ туго-накрахмаленныхъ юбокъ; на ней было ситцевое платье декольте, а на рукахъ перчатки, у которыхъ пальцы наполовину обрѣзаны. Дѣвка, какъ всѣ вообще русскія мѣщанки, воспитанныя на пуховикахъ и чаѣ, отличалась съ виду тою дряблою тучностью, которая почему-то напоминаетъ о китовомъ жирѣ; лицо у нея было, что называется, форменное: мясистое, круглое, плоское, мягкое, сильно избѣленное и съ крѣпко приглаженными волосами, намазанными мусатовскою помадой.

— Вы меня, тетонька, кликали?—спросила она, потупляя глаза и произнося слова въ носъ.

— Подь, подь сюда, умница!—сказала Мавра Кузьмовна, которой лицо расцвѣло при видѣ этого жирнаго, бѣлаго выкормка.—Вотъ, батюшка, какую красавицу вырастила... племянница мнѣ будетъ.

— Ахъ, тетонька, вы меня завсегда въ конфузію приводите! — проговорила дѣвица, какъ будто нехотя подвигаясь впередъ.

— Подь, чего стыдиться-то! Подь, касатка,—баринъ добрый! Мы здѣсь, ваше благородіе, въ дикости живемъ, окромѣ приказныхъ да пьянаго народу никого не видимъ... Было и наше времечко, тоже съ людьми важивались; народъ все чистый, капитальный ѣзживалъ... Ну, и мы, глядя на нихъ, обхожденіе перенимали... Попроси, умница, его благородіе чайкомъ!

— Я не буду пить, Мавра Кузьмовна; теперь ужъ поздно, да и дѣло мнѣ есть до тебя.

— Чтой-то, батюшка, ужъ будто дѣло горитъ! Дѣло-дѣломъ, а чай-чаемъ; выкушай, родимый.

— Ужъ сдѣлайте такое ваше одолженіе, господинъ графъ!—пролепетала Аннушка, складывая губы на манеръ сердца.—Мы завсегда съ пріѣзжими учтивыми кавалерами компанію имѣть готовы, по той самой причинѣ, что и сами обхожденіемъ заимствоваться оченно желаемъ...

— Просимъ выкушать!—настаивала, съ своей стороны, Кузьмовна.—У меня, сударь, и генералы чай кушивали... Тоже, чай, знаете генерала Гореглядова, Ардальона Михайлыча — ну, пріятель мнѣ былъ. Пріѣдетъ, бывало, въ скиты, царство ему небесное: — «ну, говоритъ, Кузьмовна, хоть келью мы у тебя и станемъ ужотка зорить, а чаю выпить можно»... Да гдѣ же у тебя женихъ-отъ дѣвался, Аннушка? Ты бы, небось, позвала его сюда: все бы баринуто поповаднѣе было.

— А у васъ въ домѣ и свадьба?—спросилъ я.

— Какъ же, сударь; тоже за благороднаго Аннушку выдаю: больно ужъ смиренъ парень-отъ... Да позови же Алексѣя-то Иваныча!

— Они, тетонька, въ присутствіе пошли; сказываютъ, дѣловъ оченно много.

— Какъ же ты отдаешь племянницу за чиновника? Вѣдь онъ не дозволитъ сй въ старыхъ-то обычаяхъ оставаться.

— И, батюшка! объ насъ только слава эттa идетъ, будто мы кому ни-на-есть претимъ... Какіе тутъ старые обычаи! Она вотъ и теперича въ нѣмецкомъ платьѣ ходитъ... Да выкушай же чайку-то, господинъ чиновникъ!

Нечего дѣлать, я долженъ былъ согласиться выпить чаю среди бѣла дня.

— Однако, признайся, Кузьмовна, — сказалъ я, когда Аннушка вышла:—знала ты, что я сегодня у тебя буду?

Мавра Кузьмовна пристально взглянула на меня и какъ будто призадумалась.

— Почемъ же я такѣ дѣло знать могу? — сказала она немного погодя.

— Однако, вспомни: можетъ-быть и знала.

— Нѣтъ, ваше благородіе, намъ въ мнѣніяхъ нашихъ начальниковъ произойти невозможно... Да хоша бы я и могла знать, такъ, значитъ, никакой для себя пользы изъ этого не угадала, почему какъ ваше благородіе сами видѣли, въ какихъ меня дѣлахъ застали.

— Это-то меня и удивляетъ, что ты знала, что я долженъ у тебя быть, и не приготовилась.

— Кабы знать, отчего бы не приготовиться.

— А къ кому же вчера вечеромъ шалдежскій Аѳанасій пріѣзжалъ?

Она посмотрѣла на меня съ такимъ наивнымъ изумленіемъ, что я не могъ не расхохотаться. Она тоже улыбнулась.

— Какой же это такой Аѳанасій? Кажется, я никакого Аѳанасья словно и не знаю.

— Полно, старуха, вѣдь Аѳанасій-то у исправника въ арестантской сидитъ; онъ ужъ сознался.

— Нѣтъ, батюшка, ваше благородіе, ужъ коли на то пошло, такъ я истинно никакого Аѳанасья не знаю... Можетъ, злые люди на меня сплетки плетутъ, потому какъ мое дѣло одинокое, а я ни въ какихъ дѣлахъ причинна не состою... Посѣщенію твоему мы, конечно, оченно рады, однако за какимъ ты дѣломъ къ намъ пріѣхалъ, объ эвтомъ мы неизвѣстны... Такъ-то, сударь!

— Мнѣ нужно бы кой-о-чемъ спросить тебя.

— Спрашивай, сударь, спрашивай, я завсегда готова. Извѣстно, ваше дѣло спрашивать, а наше—отвѣчать. Только объ чемъ же ты спрашивать-то будешь?

— Да нужно мнѣ кой-о-чемъ узнать... Изволишь ты видѣть, много ужъ вашего стада здѣсь прибываетъ...

— Кто же это прибываетъ... кажется, мы всѣ старые: мы, сударь, никого вѣдь неволить ни къ себѣ, ни отъ себя не можемъ... Да что-жъ ты ко мнѣ-то, сударь? Вѣдь тутъ, кажется, и мужчины есть—вонъ хоть бы Иванъ Мелентьичъ...

— Да вѣдь ты, Мавра Кузьмовна, въ скитахъ живала, начальницей была.

— Оно, конечно, живала... игуменьей тоже прозывали... Ну, что-жъ, спрашивай, сударь, я отвѣчать тебѣ могу.

— Нѣтъ, объ этомъ надо ладкомъ поговорить—приходи какъ-нибудь ко мнѣ, а теперь некогда, другія дѣла есть... А что, Кузьмовна, кабы ты эти дѣла-то оставила? — прибавилъ я какъ будто стороною.

— Какія же это дѣла, сударь?—спросила она съ наивнымъ изумленіемъ.

— Ну, да извѣстно какія: расколъ. За тобой бы, поди, вся здѣшняя сторона старину бы оставила.

— Чтой-то, будто я этому дѣлу причинна стала? Кажется, и до меня люди были, и послѣ меня будутъ... Чай, у всякаго свой умъ есть.

— А славно было бы...

— Нѣтъ ужъ, сударь, этотъ разговоръ нужно оставить,— сказала она серьезно.

— Да вѣдь я жалѣючи тебя говорю, старуха.

— Оно такъ... можетъ, и добрый ты баринъ, да объ этомъ разговаривать намъ ужъ не приходится, потому какъ,

значитъ, слова занапрасно терять будемъ... А вотъ поразсказать какъ и что—это дѣло возможное...

III.

Я воротился домой, предварительно условившись съ Маврой Кузьмовной насчетъ «новаго свиданія». Но загадочное лицо Михеича мучило меня, и я непремѣнно хотѣлъ объяснить себѣ его. Въ это самое время вошелъ ко мнѣ Маслобойниковъ, но вошелъ на цыпочкахъ и, предварительно засвидѣтельствованія мнѣ почтенія, заглянулъ въ замочную скважину двери, ведущей въ комнату, въ которой помѣщались хозяева.

— Изволили видѣть?—спросилъ онъ меня шопотомъ.

— Кого?

— А Михеича-съ?

— Да; скажите, пожалуйста, что это за человѣкъ такой?

— Нашъ-съ... ужъ шесть недѣль въ предметѣ имѣемъ-съ... Только говорить-то здѣсь неудобно-съ... хозяева-съ...

И онъ снова на цыпочкахъ перешелъ черезъ всю комнату къ враждебной двери, отворилъ ее и посмотрѣлъ. Оказалось, что сосѣдняя комната пуста.

— Осмѣлюсь доложить вашему высокоблагородію,—началъ онъ, воротившись на прежнее мѣсто:—что намъ всѣ ихніе прожекты въ самой подробности завсегда извѣстны, потому что мы отъ этихъ ихнихъ прожектовъ, можно сказать, все наше пропитаніе имѣемъ. Теперича главный у нихъ сюжетъ въ томъ состоитъ, чтобы какъ можно попа себѣ добыть. Бѣглыхъ не навертывается, старые повымерли—вотъ-съ они и истаеваютъ. Прошелъ нынче слухъ, будто бы у нихъ и архіереи завелись, и ѣздятъ якобы эти архіереи скрытно по всѣмъ мѣстамъ, гдѣ этотъ развратъ коренится: сказываютъ, что и къ намъ посулилъ быть. По здѣшнему мѣсту, всему ихнему дѣлу голова—эта самая Мавра Кузьмовна, которую вы давеча видѣть изволили. Жила она прежде въ скитахъ и была въ которомъ-то изъ нихъ чуть ли не настоятельницей обители. Баба подлинно умная и всѣмъ этимъ стадомъ вертитъ, какъ ей желается. Въ недавнее время, съ тѣхъ поръ, какъ скиты эти разогнали, приписалась она сюда въ мѣщанки и завела здѣсь свою фабрику. Только смѣю доложить, что если эти скиты не будутъ опять въ скоромъ времени сформированы, такъ можно поручиться, что и весь этотъ край разврата не минуетъ по той причинѣ, что эти «матери» по всѣмъ дерев-

нямъ, можно сказать, какъ вороны разлетѣлись и всюду падаль клюютъ-съ. Въ прежнее время, какъ онѣ всѣ въ одномъ гнѣздѣ каркали, оно, конечно, *пейзажъ* былъ не пригожъ, да по крайности всѣ на виду и на счету были. Пріѣдетъ, бывало, къ нимъ съ ярмарки купчина какой— первое дѣло, что благодарности все-таки не минетъ (эта у насъ статья, какъ калачъ, каждый годъ бывала), да и въ книжку-то, бывало, для памяти его запишемъ: ну, и пойдетъ онъ на замѣчаніе по вся дни живота. А нынче совсѣмъ и надзору за ними не можетъ быть, потому что вездѣ онѣ, во всякомъ мѣстѣ, словно черви расползлись. Только и пропитываешься, что частными случаями... Тамъ, слышишь, книжки проявились, тамъ ночнымъ временемъ для своихъ дѣловъ соберутся, въ другомъ мѣстѣ бракъ совершили гнуснымъ манеромъ, безъ повѣнчанія—ну, и дѣйствуешь, смотря по силѣ-возможности.

Говоря это, Маслобойниковъ смотрѣлъ мнѣ въ глаза какъ-то особенно искательно, какъ будто усиливаясь угадать, какое впечатлѣніе производятъ на меня его слова. Очевидно, онъ желалъ повеселить меня, но вмѣстѣ съ тѣмъ оставлялъ у себя, на всякій случай, въ запасѣ оговорку: «помилуйте, дескать, ваше высокоблагородіе, я только къ слову, пошутить желалъ».

— Такъ вотъ-съ эта Мавра Кузьмовна, — продолжалъ онъ: — и задумала учредить здѣсь свою епархію. Скитовъ ей, пожалуй, не жалко, потому что въ ту пору хоть и была она въ уваженьи, да все какъ-то на народѣ ея не видать было; тамъ, что ни выйдетъ, бывало, все-таки больше не къ ней, а ко всѣмъ скитамъ сообща относятъ,—ну, а теперь она дѣйствуетъ сама собой, и у всѣхъ, значитъ, персонально на виду. Я даже думаю, ваше высокоблагородіе, что со временемъ изъ нея отличный полицейскій сыщикъ выйдетъ. Этихъ примѣровъ видали по нашему мѣсту очень довольно, потому какъ и народишко этотъ дрянной, и дозволь ты ему только свои барыши наблюдать, такъ онъ, пожалуй, и Христа-то продать готовъ, не токма что своего брата — самые то-есть алтынники. Скажу къ слову хошь про себя. Познакомился я этта съ матерью Варсонофіей— тоже преехидная баба и въ скитахъ большимъ почтеніемъ пользовалась. Было какъ-то у меня до нея небольшое дѣло касательно совращенія, только очень ужъ она ловка, на мякину никакъ не поддѣнешь. Вотъ-съ я и надумалъ: если нельзя ее по-христіански облупить, такъ, по крайности,

хошь бы на будущее время отъ нея польза была. Окончивши спросы, подхожу это къ ней.

«— А что, говорю, мать, вѣдь мы съ тобой, кажется, другъ дружку понимать можемъ?

«— Можемъ, говоритъ.

«— Тебѣ, молъ, будетъ, чай, сподручнѣе, какъ ни отъ кого въ твоей промышленности помѣшательства не будетъ?

«— Это точно, что сподручнѣе.

«— Ну, а мнѣ, говорю, сподручнѣе, коли у меня по вашей части дѣловъ больше будетъ... Понимаешь?

«— Понимаю, говоритъ; только ужъ не будетъ ли это оченно зазорно, да и другіе-то чтобъ не запримѣтили, что ты будто одну меня въ покоѣ оставляешь?

«— На этотъ счетъ, говорю, будь безъ сумнѣнія, потому что мы и у тебя примѣрныя тревоги дѣлать будемъ... Ладно, что ли?

«— Право, говоритъ, не знаю: какъ-то ужъ оченно оно зазорно будетъ»...

«А черезъ два дня и дала, сударь, знать, что у нихъ на селѣ у такого-то мужичка «странникъ» остановился...

«Вотъ-съ эта же самая Варсонофія увѣдомила меня, мѣсяца съ два тому назадъ, что къ Маврѣ Кузьмовнѣ какой-то купчина московскій участилъ ѣздить, и что свиданья у нихъ бываютъ на дому у ней, Варсонофіи, въ селѣ версты за три отсюда. Хорошо-съ. Далъ я имъ время снюхаться, войти, такъ сказать, во вкусъ, да, выбравши этакъ ночку потемнѣе, и отправился самолично въ это самое село. Вѣрьте совѣсти, ваше высокоблагородіе, что собственными ногами весь вояжъ сдѣлалъ, даромъ что дѣло было зимнее. И чего я, сударь, шомши дорогой, не передумалъ! Первое дѣло, что никто ей, этой Варсонофіи, въ душу не лазилъ: стало-быть, дѣло возможное, что она и продастъ; второе дѣло, что весь я, какъ есть, въ одномъ нагольномъ тулупчишкѣ, и хоша взялъ съ собою пистолетъ, однако употребить его невозможно, потому какъ убійство совершать закономъ запрещается, а я не токмо что на каторгу, а и на покоянье идти не желаю; третье дѣло, стало-быть, думаю, они меня, примѣрно, какъ тухлое яйцо раздавить тамъ могутъ вгорячахъ-то... Однако, перекрестившись, не назадъ, а впередъ-съ пошелъ. А тамъ у Варсонофіи мнѣ и мѣстечко такое было пріуготовлено, около печки, такъ, чтобы только стать было можно, а дышать ужъ какъ Богъ помилуетъ. Однихъ таракановъ, ваше высокоблагородіе, такое тамъ

множество увидѣлъ, что даже удивительно, какъ они живого меня не съѣли. Часовъ этакъ, по-нашему, около одиннадцати приходитъ это купецъ, а слѣдомъ за нимъ и Мавра Кузьмовна и еще человѣкъ съ ней, этотъ самый Михеичъ, котораго вы видѣть изволили».

— А не знаете ли вы, какъ купца звали?—спросилъ я.

— По фамиліи не могу знать-съ, а величали его тутъ Михайломъ Трофимычемъ. (Скажу здѣсь мимоходомъ, что я доискивался нѣкоего Михайла Трофимыча Тебенькова, который, давши, по сношенію моему съ NN полиціей, недостаточное показаніе, неизвѣстно куда потомъ скрылся. Можно себѣ представить мое радостное изумленіе при словахъ Маслобойникова).

— Продолжайте, продолжайте!—сказалъ я Маслобокову.

«— Только пришли они это, поздоровались.

«— Ну, вотъ,—говоритъ Мавра Кузьмовна:—и еще новобранца привела, и въ грамотѣ *доволенъ*, и съ книгами обращеніе имѣть можетъ, и по крюкамъ знаетъ, и демественному обучался — молодецъ на всѣ руки: какого еще къ чорту попа желать надоть!

«— Въ семинаріи до реторики досягалъ,—вступился тутъ Михеичъ:—и если бы не воля родителей, которые уже въ престарѣлыхъ лѣтахъ обрѣтаются, то вѣроятія достойно, что былъ бы теперь человѣкъ...

«— Да чѣмъ же ты и теперь не человѣкъ, братецъ?— сказалъ купецъ.—Во всѣхъ статьяхъ.

«— Это точно что человѣкъ, но не смѣю скрыть предъ лицомъ столь почтенной особы, что имѣю единую слабость...

«— Водку, что ли, пить любишь?

«— Справедливо сказать изволили... Но нынѣ, будучи просвѣщенъ истиннымъ свѣтомъ и насыщенъ паче меда словесами моей благодѣтельницы Мавры Кузьмовны, желаю вступить подъ ваше высокое покровительство... Ибо не имѣю я пристанища, гдѣ приклонить главу мою, и босъ, и нагъ влачу свое существованіе гдѣ ночь, гдѣ день, а болѣе въ питейныхъ домахъ, гдѣ, въ качествѣ свидѣтеля, снискиваю себѣ малую мзду.

«— А какъ же насчетъ водки-то, молодецъ?—спросилъ купецъ.—Вѣдь это малодушество, чай, бросить придется?

«— Объ этомъ предметѣ у насъ съ моей благодѣтельницей такой уговоръ былъ: чтобъ быть мнѣ въ теченіе шести недѣль всѣмъ довольну, на ихнемъ коштѣ, да и въ

водкѣ-бъ отказу мнѣ не было, потому какъ, имѣя въ предметѣ столь великій подвигъ, я и въ силахъ своихъ долженъ укрѣпленъ быть.

«— Да ты ужъ и нынче, кажется, на ногахъ-то не больно твердъ, молодецъ?

«— По милости благодѣтельницы, точно что въ горлѣ будто промочилъ маленько...

«— Да заодно и самъ ужъ промокъ,—прибавила весело Мавра Кузьмовна.—Такъ вотъ, отцы вы наши, какъ я объ нашемъ дѣлѣ радѣю, какихъ вамъ слугъ добываю, что изъза рюмки сивухи, а ужъ не изъ чего другого, радъ жизнь потерять.

«— Это точно, что готовъ по первому повелѣнію... Да вотъ, отцы вы наши, денегъ бы триста рублей надо...

«— Ужъ и триста! Вотъ мать Магдалина (Мавра Кузьмовна) по двугривенничку выдавать будетъ.

«— Нѣтъ ужъ, честной господинъ, по двугривенничку обидно будетъ.

«— Такъ ты говори дѣло, а то триста рублей!

«И условились они тутъ на полтораста рублей: половину впередъ отдать, а половину по совершеніи.

«— А вы еще ладите, чтобъ быть здѣсь архіерею! — сказала Кузьмовна. — Мать Варсонофія! сводитко молодца-то въ свѣтелку, а мы здѣсь втроемъ по-душѣ потолкуемъ.

«Михенча дѣйствительно увели, и остались они втроемъ. Тутъ я всего, ваше высокоблагородіе, наслушался, да и объ архіереѣ-то, признаться, впервой узналъ. Зналъ я, что они, съ позволенія сказать, развратники, ну, а этого и во снѣ не чаялъ. И кто-жъ архіерей-то! Андрюшка Прорвинъ, здѣшній, ваше высокоблагородіе, мѣщанинъ, по питейной части служилъ, и сколько даже разъ я его за мошенничества стегалъ, а у нихъ вотъ пастырь-съ! Даже смѣху достойно, какъ они очки-то втираютъ!»

— Позвольте, однакожъ,—прервалъ я: — по какой причинѣ они выбрали себѣ такого бездѣльника? Неужели у нихъ получше людей нѣтъ?

— Какъ не быть-съ! Вотъ хоть бы здѣсь купецъ есть, Иванъ Мелентьевъ прозывается,—ну, этотъ точно что человѣкъ, однако, видимо, ему не рука — по той причинѣ, что этому архіерею, будь онъ хошь семи пядей во лбу, годикъ, много два поцарствовать, а потомъ, извѣстно, въ тюрьмѣ же гнить придется. Да и для нихъ-то самихъ, по-

жалуй, черезъ два-то года корысть въ немъ не велика, потому какъ онъ свою накость уже исполнитъ, поповъ имъ наставитъ, такъ они и сами его хошь съ руками выдадутъ. Никто хорошій-то на такой карьеръ и не соблазняется. Только вотъ-съ купецъ-отъ, объявивши Маврѣ Кузьмовнѣ, что такого-то они архіерея для себя добыли, все, знаете, настаиваетъ, чтобъ жить ему въ здѣшнемъ мѣстѣ.

«— Здѣсь, говоритъ, нашего христіянства вся колыбель состоитъ, такъ и пастырю быть тутъ пригоже.

«Ну, а Кузьмовна тоже свой расчетъ въ головѣ держитъ:

«— Не дѣло, говоритъ, вы, отцы, затѣваете.

«— Помилуйте, матушка Мавра Кузьмовна, да почему же вамъ теперича этотъ сюжетъ поперекъ сталъ-съ?

«— А потому поперекъ, что для насъ, старинныхъ вашихъ радѣтелей, этакъ-ту, пожалуй, и обидно будетъ.

«— Почему-жъ обидно-съ? Будьте удостовѣрены, матушка, что мы насчетъ содержаніевъ не постоимъ-съ, потому какъ мы собственно для христіянства тутъ разсужденіе имѣемъ, и оченно хорошо понимаемъ, какія ваши въ этомъ предметѣ заслуги состоятъ.

«— Вы вотъ тамотка все насчетъ христіянства заботу имѣете... А ты сперва разскажи, чѣмъ оно теперь-то, потвоему, не хорошо, христіянство-то?

«— Да какъ же-съ, матушка! Извѣстно, овцы безъ «просвѣщенія» ходятъ-съ; оно даже и со стороны зазорно!

«— А какого имъ ляду «просвѣщенія»! Ты вотъ говоришь: «просвѣщеніе», а они, пожалуй, и пріобыкли безъ «просвѣщенія»-то, такъ имъ оно, поди, за ересь еще покажется.

«— Помилуйте, какъ же это возможно? Да ужъ одно то во вниманіе примите, что служба какая будетъ! На одни украшенія сколько тысячъ пошло-съ, *лепѣріи* золотыя, и все одно къ одному-съ...

«— Такъ-то, такъ... Ну, и пущай къ намъ въ побывку ѣздитъ: это точно, что худого тутъ нѣтъ. Только оставаться ему здѣсь не слѣдъ, и вотъ тебѣ мое послѣднее слово, что не бывать этому, покедова я на этомъ мѣстѣ жива состою.

«— Да въ чемъ же вы сомнѣваться изволите, Мавра Кузьмовна?

«— Господи! жили-жили, радѣли-радѣли, и нутка, сту-

пай теперь вонъ, говорятъ! Да вы, отцы, жирны, что ли, ужъ больно стали, что тамъ сбѣсились! Теперича хоть и я: стара-стара, а все же утроба, чай, ѣсть проситъ: я вѣдь, почтенный, ужъ не молоденькая постничать-то! А то, подитка, Андрюшкѣ свое мѣсто уступи! Вѣдь извѣстно, не станетъ онъ задаромъ буркулами-то вертѣть, почнетъ тожо къ себѣ народъ залучать, такъ мы-то при чемъ будемъ?

«Сталъ-было онъ еще уговаривать, однако старуха укрѣпилась. Сколь ни говорилъ, обѣщалъ даже капиталъ въ ланбартъ положить, — ничѣмъ не пронялъ. Твердитъ себѣ одно: «не хочу, да не хочу!» — «Я, говоритъ, не за тѣмъ вѣкъ изжила, чтобъ подъ конецъ жизни въ панёвщицы произойти; мнѣ, говоритъ, окромя твоего капиталу, тоже величанье лестно; а какой же я буду человѣкъ за твоимъ за Андрюшкой? Просто послѣдній человѣкъ!» На томъ и порѣшили, что быть въ здѣшнемъ мѣстѣ Андрюшкѣ только наѣздомъ и ни во что, безъ согласія Мавры Кузьмовны, не вступаться. И диво бы они такъ не рѣшили: купецъ-отъ зналъ, что эта схидная Маврушка такую власть надъ этой яичницей имѣетъ, что стоитъ ей только слово въ народъ кинуть, такъ, пожалуй, и Андрюшку-то въ колья примутъ-съ.

«Тутъ я узналъ, что долженъ онъ быть сюда черезъ шесть недѣль, и что къ этому времени Мавра Кузьмовна и людей такихъ должна пріискать, чтобы грамотны были... Вѣрьте Богу, ваше высокоблагородіе, что когда они ушли, я въ силу великую отдохнуть даже могъ. Прибѣжалъ домой и въ ту же минуту послалъ секретно за Михеичемъ; привели мнѣ его, что̀ называется, мертвецки.

«— А что̀, говорю, рыло ты пьяное, тоже въ попы хочешь?

«Какъ ни былъ онъ пьянъ, однако тутъ отрезвѣлъ и уставилъ на меня сонные глаза.

«— Ну, говорю, у меня цыцъ! Пей и блажи сколько душѣ угодно, а изъ-подъ моей власти не выходить! Слышишь? Какъ выйдетъ у васъ что-нибудь новенькое, а пуще всего дастъ свой духъ Андрюшка — живымъ манеромъ ко мнѣ!

«Палъ онъ мнѣ, сударь, въ ноги и поклялся родителями обо всемъ мнѣ вѣсть подавать. И точно-съ, съ этихъ поръ кажную ночь я ужъ знаю, объ чемъ у нихъ днемъ сюжетъ былъ... Долженъ быть онъ здѣсь, то-есть Андрюшка-съ, по моему расчету, не завтра, такъ послѣзавтрева къ ночи безпремѣнно-съ».

«И диковинное это дѣло, ваше высокоблагородіе: человѣкъ я, кажется, къ этимъ дѣламъ пріобыкшій, всякаго, что называется, пороху нанюхался, даже самые побои принималъ, а теперь вотъ, словно новичокъ какой, весь куражъ потерялъ-съ. Въ груди будто тѣснота, спину ломитъ, даже губы сохнутъ-съ... И чѣмъ ближе подступаетъ время, тѣмъ все больше и больше будто естество въ тебѣ все вверхъ поднимается. Точно тѣ времена воротились, какъ, бывало, около Глафиры Николавниной юбки прохаживался. Ходишь, знаете, бывало, задѣнешь только, такъ словно ознобъ всего прошибетъ... Даже во снѣ вижу, какъ я ихъ всѣхъ накрою, какъ они, знаете, собрались и свѣчи горятъ-съ»...

— Ну, а если не удастся накрыть?—спросилъ я.

Маслобойниковъ испугался и даже поблѣднѣлъ.

— Помилуй Богъ, ваше высокоблагородіе, какъ же этому быть возможно!.. Да у меня даже теперь поясница отнялась отъ однихъ вашихъ словъ.

— А какъ же вы предполагаете распорядиться, если вамъ это дѣло удастся?

Маслобойниковъ вздохнулъ и задумался.

— Придется по начальству представить,—сказалъ онъ угрюмо и опять задумался.

— Вѣдь они, ваше высокоблагородіе,—продолжалъ онъ:—многихъ тысячъ не пожалѣли бы, только чтобъ это дѣло какъ ни-на-есть покрыть; а отъ начальства какую отраду, кромѣ огорченья, получишь, сами изволите знать! Да скрыть-то нельзя-съ! Потому что—кто его знаетъ?—можетъ, онъ и въ другомъ мѣстѣ попадется, такъ и тебя заодно ужъ оговоритъ, а нашъ братъ полицейскій тоже свинья не послѣдняя: не размыслитъ того, что товарища на поруганье предавать не слѣдуетъ—ломитъ себѣ на бумагу все, что ни сбрешутъ ему на допросѣ! Ну, и не раздѣлаешься съ нимъ, пожалуй, въ ту пору... Нѣтъ, видно, ужъ по начальству придется.

Сказавъ это, Маслобойниковъ впалъ въ какое-то меланхолически-сентиментальное настроеніе духа, глаза уставилъ въ землю, руками началъ «тужить» и все дальнѣйшее произносилъ тоненькимъ головнымъ теноромъ.

— И добро бы доподлинно не служили! А то, кажется, какой еще службы желать! Намеднись его высокородіе говоритъ: «ты, говоритъ, хапанцы свои наблюдай, да помни тоже, какова совѣсть есть!» Будто мы ужъ и «совѣсти» не знаемъ-съ! Сами, чай, изволите знать, про какую ихъ высокородіе «совѣсть» понимаютъ-съ! Такъ мы завсегда по

мѣрѣ силы-возможности и себя наблюдали, да и начальниковъ безъ призрѣнія не оставляли... Однако, сверхъ силъ тяготы носить тоже невозможно-съ.

IV.

На другой день, вечеромъ, все было уже готово; недоставало только депутата, ратмана Половникова, который, заслышавъ о предстоящемъ депутатствѣ, съ утра сбѣжалъ изъ дома и неизвѣстно куда скрылся.

Время, предшествующее началу слѣдствія, самое тягостное для слѣдователя. Если планъ слѣдствія хорошо составленъ, вопросы обдуманы, то нетерпѣніе слѣдователя растетъ, можно сказать, съ каждой минутой. Всѣ мыслящія силы его до такой степени поглощены предметомъ слѣдствія, что самая малѣйшая помѣха выводитъ его изъ себя и заставляетъ горячиться и дѣлать тысячу промаховъ въ то самое время, когда всего нужнѣе хладнокровіе и расчетъ.

Я ходилъ по комнатѣ и, признаюсь откровенно, неоднократно-таки посылалъ куда слѣдуетъ Половникова и всѣхъ этихъ депутатовъ, которые какъ будто для того только созданы, чтобы на каждомъ шагу создавать для слѣдователя препятствія. Я вообще люблю дѣла дѣлать безпрепятственно, потому что оно какъ-то ловче, прохладнѣе распоряжаться на просторѣ. Шумъ у дверей прервалъ мои размышленія; я оглянулся и увидалъ полицейскаго солдата, который держалъ за веревочку человѣка съ бородой, одѣтаго въ русскій кафтанъ. У человѣка въ рукахъ была печать, которую онъ какъ-то ожесточенно мялъ пальцами.

— Привелъ, ваше благородіе,—сказалъ полицейскій.

— Что это за человѣкъ?

— Мѣщанинъ Половниковъ, ваше благородіе.

— Гдѣ ты пропадалъ? Нѣтъ, ты скажи, гдѣ ты пропадалъ?—закричалъ я, вдругъ почувствовавъ въ сердцѣ новый приливъ гнѣва и нетерпѣнія при видѣ этого господина, который своею медленностью могъ порвать всю нить соображеній, обуревавшихъ мою голову.

Половниковъ мялся на одномъ мѣстѣ и продолжалъ вертѣть печать въ рукахъ.

— На чердакѣ, за старымъ хламомъ спрятавшись, нашли, ваше благородіе! Пытали мы съ нимъ маяться-то!—продолжалъ солдатъ.

— Ваше благородіе... ваше превосходительство... ваше сіятельство!.. Помилуйте, сударь, не погубите!

Говоря это, Половниковъ то и дѣло протягивалъ руку съ печатью и потомъ снова ее отдергивалъ.

— Секлетарь-съ, ваше благородіе... они противъ меня злобу питаютъ... потому какъ я человѣкъ бѣдный-съ и поклониться мнѣ нечѣмъ-съ... По той причинѣ я и обчествомъ выбранъ, что въ недоимщикахъ былъ: семья оченно ужъ угнстаетъ, такъ обчество и присудило: по крайности, молъ, онъ хоть службу отбудетъ...

— Такъ что-жъ секретарь-то?

— Да вотъ все наряжаетъ-съ; а у меня, ваше благородіе, семья есть, тоже работишка-съ, ложечки ковыряю, а онъ все наряжаетъ: я, говоритъ, тебя въ разоренье произведу... Господи, что-жъ это такое съ нами будетъ!

— Что-жъ у тебя въ рукахъ-то?

— Да тамга, ваше благородіе, тамга; неученый вѣдь я, сударь, такъ вотъ прикладываю, гдѣ господа укажутъ.

— Посмотри, пришла ли Кузьмовна?—сказалъ я полицейскому.

— Ваше благородіе!—обратился ко мнѣ Половниковъ, когда полицейскій вышелъ:—другіе господа бываютъ добрые...

— А что?

— Да вотъ, кабы была ваша милость меня отпустить, такъ я бы, вмѣсто себя, тамгу-то свою здѣсь оставилъ.

— А вотъ посмотримъ, какъ Кузьмовна скажетъ.

Въ это время вошла Мавра Кузьмовна. Она не обнаруживала ни въ лицѣ, ни въ фигурѣ своей ни малѣйшаго признака смущенія. Напротивъ того, очень спокойно перекрестилась стариннымъ обычаемъ и поклонилась мнѣ какъ-то сухо и чванно, а на Половникова не обратила даже ни малѣйшаго вниманія, хотя онъ нѣсколько разъ сряду поклонился ей.

— Вотъ ратманъ-то проситъ, чтобъ я отпустилъ его,— сказалъ я.

— Что-жъ, сударь, это ваше ужъ дѣло; коли безъ свидѣтелей спрашивать хотите, такъ отчего же и не отпустить,— отвѣчала Мавра Кузьмовна:—а, кажется, въ законѣ этого не написано, чтобъ безъ свидѣтелей спрашивать.

— Ну, нечего дѣлать; садись, Половниковъ.

— Помилуйте, матушка Мавра Кузьмовна!—взмолился Половниковъ:—что-жъ, значитъ, я передъ господиномъ чиновникомъ могу?.. Если бы я теперича сказать что-нибудь отъ себя возможность имѣлъ, такъ и то, значитъ, меня бы въ шею отсюда вытолкали, потому какъ мое дѣло молчать,

а не говорить... Разсудите же вы, матушка, за что-жъ я, не будучи, можно сказать, вашему дѣлу причиненъ, изъ-за него свою жизнь терять должонъ?.. Вѣдь я, все одно, тамгу свою господину чиновнику оставлю.

— Какъ знать-то, можетъ, его благородію и притязаніе заблагоразсудится объявить?—сказала Мавра Кузьмовна, насильственно улыбаясь. — А впрочемъ, мы люди подчиненные!

— Да вѣдь я съ тобой просто, по душѣ, поговорить желаю,—сказалъ я.

— А что-жъ, сударь, и по душѣ говорить будемъ, все лишній человѣкъ не помѣха... Да и что ему сдѣлается—не сахарный!

— Помилосердуйте, матушка!

Но Мавра Кузьмовна, по какому-то капризу, осталась непреклонною и только улыбалась на мольбы Половникова, хотя ей очень хорошо было извѣстно, что печать Половникова имѣла здѣсь точно то же значеніе, какъ самъ онъ.

— Такъ-то вотъ, ваше благородіе, ѣдма насъ ѣдятъ эти шельмы! — сказалъ Половниковъ, злобно запахивая свой азямъ. — Цѣлую зиму, почитай, чиновники изъ городу не выѣзжали, все по ихней милости!.. анаѳемы!..—прибавилъ онъ, огрызаясь въ ту сторону, гдѣ стояла Мавра Кузьмовна.—Ну, да ладно же!

V.

— Такъ ты думаешь, что прежде вамъ лучше житье было,—спросилъ я Мавру Кузьмовну, когда замѣтилъ, что она достаточно обручнѣла.

Кузьмовна сидѣла передо мной, нѣсколько наклонившись, и разсказывала тихимъ, но внятнымъ голосомъ, размахивая нерѣдко одною рукой, между тѣмъ какъ другою комкала носовой платокъ.

— Когда же сравнить можно! Да ты послушай, сударь, въ моей одной обители что дѣвокъ было, и все отъ богатыхъ отцовъ, рѣдконькая такъ-то съ улицы придетъ. Всякая, значитъ, и съ собой по возможности принесетъ, да и по времени тоже присылаютъ. Ну, и всѣ эти деньги старшимъ матерямъ шли... Такъ какъ же сравнивать-то можно! Теперь мы что?—вдовы беззащитныя; живемъ гдѣ ночь, гдѣ день; кабы старыхъ крохъ не было, такъ и пропитаться-то бы не знаю чѣмъ. Купцы-то, бывало, съ ярмонки въ скиты пріѣдутъ, такъ ровно разахаются, какъ оно благочинно у

насъ тамъ было,—ну, тоже всякій по силѣ-возможности и жертву приносилъ; а нынче въ нашу сторону нѣ по что и ѣздить; развѣ другой на «святыя» мѣста поглядѣть полюбопытствуетъ, прослезится да и уѣдетъ... Такъ-то, сударь!

— И ученыя дѣвки бывали?

— Какъ же, сударь, по-церковному-то всѣ ужъ умѣли, а были и такія начетчицы, что послушать, бывало, любо; я вотъ и сама смолоду-то куда востра на грамоту была... Господа тоже большіе къ намъ въ скиты посмотрѣть на нашъ обиходъ ѣзживали.

— Ты, чай, грамотѣ-то и теперь знаешь?

— Какъ не знать: могу мало; что-жъ бы я была за настоятельница, кабы грамотѣ не могла?

— А что, развѣ прежде васъ не тревожили?

— Бывало, сударь, бывало всякое. Да прежніе-то больше на деньги падки были: ну, а какъ деньгами довольны, такъ и тревоги намъ нѣтъ. Былъ у насъ, сударь, исправникъ—молода я еще въ ту пору была,—Петромъ Михайлычемъ прозывался, такъ это точно что озорникъ былъ; пріѣдетъ, бывало, въ скитъ-отъ въ карандасѣ, пьяной-распьяной: «ну, говоритъ, мать Лександра (игуменья наша была), собирай, говоритъ, дѣвокъ поздрѣнѣе, я, говоритъ, кататься желаю». Ну, и соберутъ этта дѣвокъ, а онъ ихъ велитъ запрягчи, кого въ корню, кого на выносъ, да такъ-ту и проклажается по скитамъ. Такъ вотъ, сударь, какъ заслышишь, бывало, что Петръ Михайлычъ пріѣхалъ, такъ отъ страху даже вся издрожишься, зароешься гдѣ-нибудь въ сѣно да и лежишь такъ, доколѣ онъ не выѣдетъ совсѣмъ изъ скита. Ну, этотъ точно обидчикъ былъ; давай ему и того, и сего, даже изъ полей нашихъ четвертую часть отдѣлилъ: «то, говоритъ, ваше, а эта часть моя; вы, говоритъ, и посѣйте, и сожните, и обмолотите, и ко мнѣ въ городъ привезите». Или вотъ придетъ въ келью къ матери-игуменьѣ, напьется пьянъ да и заставитъ дѣвокъ плясать да пѣсни пѣть... Ну, и пляшутъ—не что станешь дѣлать-то! Однако, даже и этотъ трогать насъ не трогалъ, а только озорство свое соблюдетъ да и уѣдетъ... Ну, а прочіе были, тоже человѣчество понимали: пріѣдутъ, бывало, оберутъ деньги, и не показываются до времени. Одно для насъ, сударь, тяжеленько бывало: больно ужъ часто начальниковъ намъ мѣняли; не успѣетъ еще одинъ накорыстоваться довольно, глядишь, его ужъ и смѣнили,—ну, и стараются за одинъ разъ свою выгоду соблюсти.

— Да ты-то какъ въ скиты попала?

— А я, сударь, отъ родителей, въ Москвѣ, еще маленька осталась; ну, братья тоже были, торговлю имѣли: думали-думали, куда со мной дѣваться, и рѣшили въ скиты свезти. Конечно, они тутъ свои расчеты держали, чтобы меня какъ ни-на-есть отъ наслѣдства оттереть; ну, да по крайности хоть душѣ моей добро сдѣлали—и на томъ спасибо!

— А живы они и теперь?

— Какъ не живы—живутъ; только одинъ-отъ, на старости лѣтъ, будто отступился, сталъ вино пилъ, табакъ курить; «я, говоритъ, звѣриному образу подражать не желаю, а желаю, говоритъ, съ хорошими господами завсегда компанію имѣть»; а другой тоже прощенья пріѣзжалъ ко мнѣ сюда просить, и часть мою, что мнѣ слѣдовало, выдалъ, да вотъ и племянницу свою подарилъ... Я, сударь, не изъ какихъ-нибудь...

— Кому-жъ тебя въ скитахъ-то отдали?

— Игуменьѣ, сударь, матери Лександрѣ; тоже вѣдь хошь и обидѣли меня братья, а безприданницей пустить не захотѣли, тысячу рублевъ бумажками матушкѣ отдали. Жила я у ней въ послушаньи съ десятаго годка и до самой ихъ кончины: строгая была мать. Довольно сказать, что въ колодки нашу сестру запирала, на цѣпь саживала, и не за что-нибудь, сударь, такое, чтобы ужъ зазорно было, а просто или поклонъ не по чину сдѣлала, или старшимъ уваженья не отдала. Совсѣмъ другое это время было. Теперича хошь и это сказать: пріѣдутъ, бывало, купцы съ ярмонки; въ другихъ скитахъ посмотришь, самыя старшія матери встрѣчать ихъ бѣгутъ, да и игуменья-то съ ними, ровно онѣ голодныя; а мать Лександра скоро ли еще выйдетъ, а и выйдетъ, такъ именно можно сказать, что игуменья вышла: изъ себя высокая да широкая, голосъ рѣзкой. Ну, купцамъ-то это и любо: этакую, говоритъ, мать и не уважить невозможно, потому какъ она и себя соблюдаетъ строго. И въ обхожденьи тоже сноровку имѣла: съ богатымъ человѣкомъ и поговоритъ ласково, и угощенье сдѣлаетъ, съ среднимъ обойдется попроще, а съ бѣднымъ и разговаривать, пожалуй, не станетъ: эти мужики да мѣщанинишки только стоятъ, бывало, да издалька на нее крестятся... Привередлива она тоже была, покойница, особливо подъ конецъ житія: платокъ это или четки тамъ—подлѣ, кажется, лежатъ, а она сама ни въ свѣтѣ руки за ними

не подыметъ, все—Маврушка подай; натерпѣлась-таки я съ ней. Бывало, даже молиться начнетъ, такъ и то и нагни ты ее, и подними ты ее, а она только знаетъ командуетъ. Или вотъ гулять выйдетъ: на крылечкѣ маленечко постоитъ, ручки сложитъ, посмотритъ на насъ, какъ мы въ горѣлки бѣгаемъ, да и домой. Ни за что въ свѣтѣ даже шагу не сдѣлаетъ. Такъ другія-то матери при ней и языка развязать не смѣли, а только глядятъ, бывало, на нее да усмѣхаются, потому что она тоже любила, чтобъ у ней всѣ некручинно смотрѣли. И прожила она, сударь, такимъ родомъ лѣтъ за сотню, и хоша подъ конецъ жизни очень ужъ стара была, даже ноги едва волочила, а строгость свою всю соблюдала, такъ что я и въ сорокъ-то лѣтъ ея словно маленькая страшилась.

— Ишь анаѳема какая!—сказалъ Половниковъ; но Мавра Кузьмовна не только не удостоила его отвѣтомъ, но даже и не взглянула на него.

— Кого же послѣ нея игуменьей сдѣлали?

— Дай Богъ ей здоровья, сама меня еще при жизни назначила, а другія матери тоже попротивиться этому не захотѣли: такъ я и оставалась до самаго конца, то-есть до разоренья... Только плохое, сударь, было мое настоятельство...

— Да за что же эту Александру такъ любили, коли она была такая строгая?

— А какъ же, сударь, не любить-то? Ну, хошь бы ты, сударь, человѣкъ подначальный—развѣ возможно тебѣ своихъ начальниковъ не любить? Первое дѣло, что у нея вездѣ свой глазъ былъ: стало-быть, тутъ не только разговору, да и мысли ни единой скрыть было невозможно. Были, примѣрно, и между нами такія сестры, которыя обо всемъ ей вѣсть подавали. Шушукали тоже ей въ уши-то: такая-то, молъ, Дороѳея такими-то зазорными словами твою милость обозвала; такая-то Иринарха то-то сказала. Ну, а старуха тоже была властная, съ амбиціей, перекоровъ не любила; и хочь, по началу, и не дастъ виду, что ей всякое слово извѣстно, однако, при первой возможности, возместитъ безпремѣнно: иная вина и легкая, а у ней идетъ за тяжелую; иной сестрѣ слѣдовало бы, за вину, сто поклоновъ назначить, а она на цѣпь посадитъ, да два дни не ѣмши держитъ... Ну, оно не любить-то и невозможно. А второе было дѣло, что мы все наше пропитанье, можно сказать, черезъ нее получали, потому что ни въ одномъ

скиту столько милостыни не бывало, какъ въ нашемъ: и деньгами, и припасомъ—всѣмъ изобильны бывали. А тягости намъ не что было: только одну наружность соблюсти; такъ изъ-за этого много разговаривать не приходилось, потому что и сами-то мы не Богъ знаетъ какіе дворяне. Пища бывала завсегда въ лучшемъ видѣ, труда немного, такъ за зиму-то иныя матери такъ, бывало, отъѣдятся, что даже смотрѣть зазорно.

— Да купцамъ-то почему эта Александра такъ по нраву пришлась, что они ей больше другихъ милостыню подавали?

— А какъ же, ваше благородіе, — вступился Половниковъ: — кто же, какъ не мать Александра, ихнія блудныя дѣла обдѣлывала! Дѣвка тамъ у нихъ согрѣшитъ — куда дѣвать? — въ скитъ къ Александрѣ подъ начальъ отдать; жену мужъ возненавидитъ — тоже въ скиты везетъ; даже такіе бывали случаи, что купцы и больныхъ сыновей, подъ видомъ убогонькихъ, къ этой Александрѣ важивали. Это, ваше благородіе, такая ужъ у нихъ матерія была, чтобъ погубленіемъ душъ человѣческихъ заниматься... Вотъ и то опять: увидятъ, который изъ нашего брата совѣстью шатается,—ну, и привлекаютъ...

— Ужъ и тебя не привлекали ли?—спросила его Мавра Кузьмовна, оглядывая его съ головы до ногъ.

— А то не привлекали небось?.. Въ ту пору, годовъ этакъ съ десятокъ будетъ, былъ я, ваше благородіе, помоложе, къ хмельному тоже приверженность большую имѣлъ, потому какъ жена кажный годъ все таскаетъ да таскаетъ... Ну, стало-быть, не въ моготу пришлось, а христіянства въ насъ мало, и сталъ я съ печали въ винѣ забываться... Такъ тоже приходила изъ ихняго скита одна гадина: «подь, молъ, Филатъ Онагеичъ, къ намъ въ вѣру, пшенисный хлѣбъ будешь ѣсть». Какъ только Богъ тогда спасъ! Да и ты вѣдь сплетница извѣстная!—прибавилъ онъ, обращаясь къ Маврѣ Кузьмовнѣ.—Изъ-за твоихъ сплетенъ сиди тутъ, слушай твои розсказни!

— Неужто и вправду къ вамъ въ скиты дѣвокъ въ неволю отдавали?

— Какая, сударь, неволя! Онъ, сударь, чай и теперь еще съ-похмелья не проспался.

— Да, съ-похмелья! А Варсонофью-то, небось, позабыла? Кажется, на послѣднихъ временахъ это было, при твоемъ честномъ игуменствѣ... Позабыть-то бы еще рановато!

Сказавши это, Половниковъ даже повернулся на мѣстѣ: до такой степени кипѣла въ немъ досада на Кузьмовну за то, что она не отпустила его.

— Вы ея, ваше благородіе, не слушайте, — обратился онъ ко мнѣ:—она все вретъ... А ты разскажи-ка про Варсонофью-то, какъ ты ее ублажала!

Я сталъ прислушиваться, потому что здѣсь именно выступалъ на сцену главный предметъ моихъ поисковъ. Я боялся даже взглянуть на Кузьмовну, потому что взглядъ мой могъ выразить невольное любопытство и, вмѣстѣ съ тѣмъ, заставить ее сдѣлаться осторожнѣе.

— А что́-жъ Варсонофія? — сказала Мавра Кузьмовна совершенно спокойно.—Какъ пришла къ намъ, такъ отъ насъ и ушла Варсонофія...

— Нѣтъ, ты разскажи-ка барину, какъ она пришла-то къ вамъ, то-есть къ тебѣ въ обитель; вотъ ты что́ разскажи.

— Что́-жъ, пришла! Извѣстно, пришла, какъ приходятъ: родитель привезъ, своею охотой привезъ... Да ты что́ больно вступаешься? Тутъ, чай, господинъ чиновникъ разговариваетъ, а не ты съ суконнымъ своимъ съ рыломъ.

— Ну, а какъ, въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ привезъ къ вамъ отецъ Варсонофію?—спросилъ я, стараясь сколько возможно смягчить голосъ.

Мавра Кузьмовна посмотрѣла на меня какъ-то сомнительно, однакожъ, видя, что передо мною нѣтъ чернильнаго припаса и что самъ я сижу совершенно невинно, успокоилась.

— А что́, баринъ, коли по истинной правдѣ сказать,— начала она:—такъ это точно, что она не своей охотой у насъ жила. Лѣтъ съ пятокъ назадъ—была ужъ я въ ту пору игуменьей—пріѣзжаетъ къ намъ по осени знакомый купецъ изъ Москвы. Время было самое ненастное, глухое, а пріѣзжаетъ онъ ночью и требуетъ меня настоятельно. Стало-быть, думаю, ужъ больно велика нужда, коли въ такую пору себя безпокоитъ Михайло Трофимычъ. И точно; вышла я это къ нему, а онъ не далъ мнѣ даже поздороваться, прямо въ ноги. «А что́ у васъ, Михайло Трофимычъ, случилось?» говорю. А онъ стоитъ это передо мной блѣдный, ровно самъ не свой. «Помоги, говоритъ, мать Магдалина (въ «чинѣ»-то я Магдалиной прозывалась); съ еретикомъ, говоритъ, Варька-то моя связалась, съ приказнымъ».—«Что-жъ, говорю, развѣ ужъ больно худо дѣло?»—«Да такъ-то, гово-

ритъ, худо, что черезъ недѣлю, много черезъ двѣ, разрѣшенью быть надо; ты, говоритъ, подумай, матушка, одно только дѣтище было, да и то въ крапиву пошло!» А самъ, знаешь, говоритъ это, да такъ-то, сердечный, льется-разливается. «Про кого, говоритъ, я деньги-то копилъ!» Ну, это точно, что мы тогда съ нимъ условіе сдѣлали, чтобы она у меня подъ началомъ выпросталась... Такъ, вѣдь, на это онъ, сударь, и родитель, чтобы своимъ дѣтищемъ располагаться какъ ему угодно: въ чемъ же я могу ему тутъ препятствіе сдѣлать?

— Такъ онъ навсегда ее въ скиты отдалъ!

— На житье, сударь, на житье... точно, что старикъ онъ суровый, непреклонный; я, говоритъ, теперича и на глазахъ-то ее держать не хочу, и если, говоритъ, пропадетъ она, такъ жалѣть не объ чемъ...

— И поди, чай, — прервалъ Половниковъ: — сдѣлавши такое доброе дѣло, сталъ на молитву, выпустилъ рубаху, опояску ниже пупа спустилъ... и правъ, думаетъ... Ну, а робенка-то куда вы дѣвали? Ты говори да досказывай!— продолжалъ онъ, обращаясь къ Кузьмовнѣ.

— Что-жъ робенокъ? — отвѣтила Кузьмовна совершенно равнодушно:—робенокъ мертвенькій родился: тутъ его и схоронили—это точно.

— Да, какъ придушить человѣка, оно точно что мертвенькій будетъ.

Мавра Кузьмовна позеленѣла; она никакъ не разсчитывала ни на вмѣшательство Половникова, ни на то, что разговоръ приметъ столь непріятный для нея оборотъ.

— Ваше благородіе! — сказала она, вставая со стула и вся дрожа отъ злости:—прикажите этому псу молчать!

Но Половниковъ разгорячился и со своей стороны всталъ со стула и началъ наступать на нее.

— Нѣтъ, ты зачѣмъ же его благородіе обманываешь! Нѣтъ, ты скажи, какъ ты Варьку-то тиранила, какъ ты въ послушанье-то ее приводила! Ты вотъ что разскажи, а не то, какія у васъ тамъ благочинія въ скитахъ были! Эти благочинія-то намъ вотъ какъ извѣстны; а какъ ты била-то Варьку, какъ вы, скитницы смиренныя, младенцевъ выдавливаете, какъ въ городѣ распутство заводите, какъ вы съ Александрой-то въ ту пору купеческаго сына помѣшаннымъ сдѣлали—вотъ что ты разскажи!

— Тетонька! пожалуйте-ка сюда!—раздался въ это самое

время изъ передней голосъ племянницы, съ которою я познакомился еще вчера утромъ.

— Можно, ваше благородіе?—спросила Кузьмовна голосомъ, въ которомъ слышалось сильное волненіе.

Я отпустилъ ее и между тѣмъ поспѣшно отворилъ дверь въ сосѣднюю комнату, изъ которой вышла другая женщина, высокая, блѣдная, но очень еще красивая. Я поставилъ ее въ уголъ комнаты такъ, чтобы Кузьмовна не могла ее съ перваго раза замѣтить. Въ то же самое время я перенесъ съ окна чернильницу и всѣ нужныя по дѣлу бумаги.

VI.

— Не можно ли мнѣ домой отлучиться, ваше благородіе?— сказала Кузьмовна, входя въ комнату.

Она была сильно взволнована и тряслась всѣмъ тѣломъ.

— Развѣ что-нибудь случилось?—спросилъ я.

— Да что́ случиться-то! Вотъ дѣвка сказываетъ, что Иванъ Демьянычъ въ дому шаритъ—только чудо, право!.. Отпустите, сударь! По крайности, хошь бы посмотрѣла, какъ гнѣздо-то мое разоряютъ.

— Нѣтъ, Кузьмовна, теперь домой не время идти: ты отвѣчать должна.

— Въ чемъ же я отвѣчать буду? Я, сударь, тебѣ напередъ говорю, что ничего не знаю.

— Посмотримъ; какъ тебя зовутъ?

— А какъ зовутъ—Маврой зовутъ.

Я сдѣлалъ здѣсь обычные вопросы, которыми начинается всякій допросъ.

— Знаешь ли ты Варвару Михайлову Тебенькову, она же скитница Варсонофія?

— Да ты какъ же, сударь, это спрашиваешь: просто, что ли, или записать хочешь?

— Ты видишь, что я первый твой отвѣтъ (объ имени и т. д.) записалъ: стало-быть, это́ не разговоръ, а слѣдствіе.

— Такъ, сударь... Не припомню, сударь, чтой-то я никакой Варвары Михайловой, не припомню.

И она дѣлала видъ, какъ будто старалась припомнить.

— Можетъ-быть, Варсонофію припомнишь?

Она снова задумалась.

— Ну, и Варсонофіи никакой не припомню; можетъ-быть, и была у насъ Варсонофія, да ужъ, право, не знаю, про какую ты спрашиваешь... Была у насъ Варсонофія кривая,

была Варсонофія горбуша, а Тебенькової Варсонофіи что-то и не было.

— А Тебенькова Михайла Трофимыча, московскаго купца, знаешь?

— Н... не знаю... Какой же это такой Трофимъ Тебеньковъ? Чтой-то и не слыхала я про такого...

— Не Трофимъ, а Михайло Трофимовъ Тебеньковъ... знаешь ты его, или нѣтъ?

— Нѣтъ, сударь, не знаю я Тебенькова...

— А грамотѣ умѣешь?

— Какая, сударь, у насъ грамота! Печать церковную читать коё-какъ еще могу... да и то нонѣ глазами ослабла. Намеднись вотъ Петръ Васильевичъ канунчикъ прочитать просилъ, такъ и то, сударь, не могла: даже Дарья Семеновна, хозяйка ихняя, удивилась — вотъ, сударь, какова наша грамота... Это хошь у кого спросите.

— А писать не умѣешь?

— Не умѣю, сударь, не стану лгать: не умѣю; даже молода была, никогда писать не могла.

— Слушай.

ПО МОЛИТВѢ.

«Ангельскаго житія подражательницѣ, горняго Іерусалима ревнительницѣ, добродѣтелей небесныхъ поборницѣ, дѣвственныя чистоты охранительницѣ, матушкѣ и. Магдалинѣ, азъ, грѣшный рабъ вашъ Михаилъ, земно кланяюсь, здравія и всякаго благополучія желаю; какъ вы тамъ, матушка, въ своей честной обители, благополучно ли проживаете?.. А что вы, матушка, насчетъ Варвары пишете, такъ вы на ея злонравное прекословіе не глядите, а стригите ее какъ вамъ пожелается. Я свои капиталы распорядилъ; богатство наше, матушка, тлѣнное; надо тоже и о душѣ подумать, чтобъ было съ чѣмъ предъ Создателя предстать. Нынче же мы большое для христіянства дѣло затѣваемъ, однако пока ничего объ немъ не пишу, потому что и извѣстнаго ничего еще нѣтъ. Такъ вы бы на нее, матушка, не смотрѣли, а внушали бы ей, что на родителей надѣяться нечего, потому какъ сама себя соблюсти не умѣла, стало-быть и надѣяться не на кого. И еще вы пишете, что за косу ее привязывали и другими средствіями началили, и все якобы проку отъ этого нѣтъ... Такъ вы бы ее еще, матушка, маленько, яко мать, повымучили, а буде, какова пора ни мѣра, и за тѣмъ противничать станетъ, въ холодномъ бы чуланѣ заперли, до-

колѣ не восчувствуется, или и иную мѣру одумали. А мнѣ съ Варварой дѣваться некуда, по той причинѣ, что и я въ сердцѣ своемъ положилъ остальное время живота своего посвятить богоугоднымъ дѣламъ. Даже и объ томъ помышляю, чтобы, на старости лѣтъ, совсѣмъ отъ мірскія прелести удалиться, и сказывали мнѣ, будто для того въ закамской сторонѣ и мѣста удобныя обрѣтаются, и живутъ въ нихъ старцы великіе постники и подражатели; такъ вы бы, матушка, отъ странниковъ, въ ваши мѣста приходящихъ, объ томъ узнавали, гдѣ тѣхъ великихъ старцевъ сыскать, и мнѣ бы потомъ отписали. А у насъ на Москвѣ горше прежняго; старецъ нѣкій изъ далекихъ странъ сюда приходилъ и сказывалъ: видѣли въ египетской странѣ звѣзду необычную—красна яко кровь и хвостъ великъ. И тамошній египетскій султанъ съ звѣздочеты зѣло таковому диву дивляхуся... Ужъ и подлинно, матушка, не быть ли въ скорости второму пришествію! Увы намъ, беззаконнымъ! Матушкамъ: Манефѣ, Евфаліи, Уалентинѣ нижайше кланяюсь: напрасно вы, матушки, себя безпокоите, гостинцы намъ высылать; помолитесь за насъ грѣшныхъ, а мы вамъ завсегда, по силѣ-помощи, всѣмъ служить рады.

«Рабъ вашъ смиренный
Михаилъ Тебеньковъ».

— Къ тебѣ это писано?

— Какое же это письмо? Чтой-то будто я ни отъ кого такихъ писемъ не получивала!

— Да ты говори прямо: къ тебѣ или не къ тебѣ это письмо писано?

— А кто-жъ его, сударь, знаетъ: вѣдь писать никому не запрещается—можетъ, кому и вздумалось написать, только я ничего этого не получивала, и объ чемъ тамъ сказано, не знаю...

— Такъ и записать прикажешь?

— Такъ, батюшка, и запиши. Это точно что не знаю, не стану на себя лгать. Да и обычая у насъ такого не бывало, чтобъ переписываться: мы, батюшка, старухи старыя, слѣпенькія, намъ въ пору божественныя книжки читать, а не то чтобъ переписываться.

— Ну, слушай же еще.

ПО МОЛИТВѢ.

«Доброжелателю нашему, добродѣтелями яко смарагдъ изукрашенному, батюшка Михайло Трофимычъ, азъ сми-

ренная и. Магдалина со всѣми нашими матушками нижайше кланяюсь, спаси васъ Богъ, а паче всего пріумножь нетлѣнныя богатства души вашей... А что вы намъ про дѣвицу Варвару пишете, такъ объ ней много безпокоиться не извольте: ужъ она не Варвара, а и. Варсонофія, смирилась и стричь себя допустила. Много было у насъ съ ней въ этомъ разговору; все прежняя прелестная жизнь смущала; да я, положившись на ваше родительское благословеніе, стала ее усиленно къ богоугодному дѣлу нудить, а если бы не то, такъ и въ жизнь бы, кажется, не дозволила: такого твердаго нраву дѣвица. Насчетъ того дѣла, про которое вы секретно пишете, и у насъ прошли-было слухи, и мы очень этому возрадовались, а сестры-старухи даже прослезились всѣ, что древнее благочестіе не токмо не изведется, но паче солнца возсіять должно. Спаси васъ Господи за ваши труды, почтеннѣйшій мужъ Михайло Трофимычъ; мы, что можемъ, съ своей стороны на общую пользу готовы, только сами знаете, старухи-сироты что въ такомъ великомъ дѣлѣ могутъ, кромѣ молитвъ? А когда вы, батюшка, одумаете отъ прелестн мірской уклониться, такъ прежде не худо бы вамъ въ нашемъ скиту погостить, около дочки вашей; наши старушки за вами походили бы и вашу старость бы успокоили. Всѣ онѣ нижайше вамъ, нашему благодѣтелю, кланяются, и всѣ, благодаря Бога, благополучны, только престарѣлая мать Полинарія недѣлю тому назадъ преставилась, такъ многія старушки сильно объ ней растужились. Посылаемъ вамъ, батюшка, нашей работы ложечекъ; примите, и насъ, сирыхъ скитницъ, не оставьте. Доброжелательница ваша

и. Магдалина».

— Ты писала это письмо?

— Нѣтъ, батюшка, какое такое письмо, я и не знаю... Вѣрно какой-нибудь ворогъ на меня эту напраслину взводитъ, а я, сударь, вотъ что тебѣ скажу, что я и писать-то не учена... Да ужъ нельзя ли, ваше благородіе, до завтрева спросы-то покинуть? Больно мнѣ что-то неможется; а завтра, можетъ, и припомню что.

— Такъ ты рѣшительно утверждаешь, что никакой Варсонофіи или Варвары Тебеньковой не знаешь?

— Не знаю, батюшка, не знаю.

— Вспомни, однакожъ, что не далѣе, какъ за полчаса передъ этимъ, ты сама подробно разсказала всю исторію

этихъ отношеній къ Тебенькову и созналась, что Варвара точно жила у тебя въ обители.

— Не знаю, сударь, можетъ, съ испугу и точно я что солгала, а теперь даже просто, что и говорила-то, позабыла... Вотъ я тебѣ какъ, сударь, скажу...

— Господинъ ратманъ, вы можете засвидѣтельствовать, что Кузьмовна созналась въ томъ, что она знаетъ Тебенькову?

— Да помилуй, сударь, развѣ ты судомъ меня спрашивалъ? Вѣдь тотъ разговоръ у насъ по душѣ былъ.

— Здравствуйте, матушка Мавра Кузьмовна! — сказала въ это самое время Варвара Тебенькова, подошедшая, по знаку моему, къ допрашиваемой.

Если бы въ эту минуту слетѣлъ огонь съ неба, то и онъ не поразилъ бы Мавры Кузьмовны въ такой степени, какъ слабый и тихій голосъ Тебеньковой. Кузьмовна растерялась и какъ будто совсѣмъ ослабла; первымъ ея движеніемъ было перекреститься, вторымъ — опуститься на стоявшій вблизи стулъ. Казалось, впечатлѣніе было полное, подавляющее; Кузьмовна задыхалась, стонала и безпрестанно крестилась. Я ожидалъ, что вотъ-вотъ вырвется у нея признаніе. Однако, минуты черезъ двѣ, она немного успокоилась, встала и не только не созналась, но продолжала запираться еще съ бо́льшимъ ожесточеніемъ.

— Извините, ваше благородіе, — сказала она голосомъ еще неуспокоившимся:—очень ужъ я испужалась... словно изъ земли незнакомый человѣкъ выросъ... Да кто-жъ ты такая, голубушка, что я словно не припомню тебя?—продолжала она, обращаясь къ Тебеньковой.

— Чтой-то, матушка, будто ужъ смиренной Варсонофіи не припомните? Чай, не день и не два съ вами жили.

— Какая же ты, голубушка, Варсонофія? Была у насъ горбуша Варсонофія, такъ неужто ты та самая и есть?

— Вишь, какъ пришло ей узломъ, вишь, какую чушь городить начала! Память, что ли, у те отшибло, старая, что Варвару не узнаешь?—сказалъ Половниковъ.

— Куда, чай, узнать?—отозвалась Варвара съ горечью.— Мы люди темные, подначальные; поколь въ глазахъ, дотоль насъ и знаютъ... А вспомните, можетъ, матушка, какъ вы меня въ холодномъ чуланѣ безъ пищи держивали, за косы таскивали... али вамъ не въ диковину такія-то дѣла, али много за вамъ этого водилось, что и на памяти ничего не удержалось?..

— Повтори свое показаніе!—сказалъ я.

VII.

— Осталась я послѣ мамыньки по восьмому годку; родитель нашъ не больно чтобы меня очень любилъ, а такъ даже можно сказать, что съ самыхъ дѣтскихъ лѣтъ, кромѣ бранныхъ словъ, ласки отъ нихъ я не видывала. Должно полагать, что на мамыньку они неудовольствіе питали, потому что и меня часто ею попрекали, что будто бы я какъ не ихняя дочь, а какого-то приказнаго. По этой самой причинѣ родитель нашъ меня съ собой и не держалъ, а соблюдалъ больше на кухнѣ съ рабочими людьми. Родитель нашъ человѣкъ суровый, словно какъ даже безъ души совсѣмъ...

— Вотъ какъ нынче объ родителяхъ-то говорятъ!—отозвалась Кузьмовна, язвительно улыбаясь.

— Конечно, ихнія добродѣтели вамъ больше извѣстны, матушка, потому какъ ихнее къ вамъ большое пристрастіе было, особливо насчетъ Манефы Ивановны...

— Еще и Манефу Ивановну какую-то приплела!.. Ну, и плети, плети свои сплетки, голубушка!

— Въ дѣвочкахъ я точно что больно шустра была, ваше благородіе. Извѣстно, безъ призору, какъ крапива у забора росла, такъ и норовишь, бывало, озорство какое ни-на-есть сдѣлать. Добру учить было некому, а и начнетъ, бывало, родитель учить, такъ все больше со зломъ: за волосы притаскаетъ, либо такъ прибьетъ, а не то такъ и прищемитъ норовитъ... какъ еще жива осталась... Вотъ матушка Мавра Кузьмовна сказывала вамъ, будто родитель нашъ плакался, какъ меня въ скиты привезъ, такъ это онѣ напрасно сказали. Родитель нашъ такое сердце въ себѣ имѣютъ, что даже что̀ такое есть слезы не знаютъ... А если и въ самъ-дѣлѣ плакали, такъ это потому, что по обычаямъ въ такомъ дѣлѣ слезы слѣдуютъ, а безъ слезъ люди осудятъ. Была у насъ сусѣдка, старуха старая, такъ она только одна и жалѣла меня, даже до господина надзирателя доходила съ жалобой, какъ родитель со мной обходится, только господинъ надзиратель у родителя закусилъ и сказалъ, что начальство въ эти дѣла не входитъ. Такъ старуха-то, бывало, только дивится, какъ это я жива состою: вотъ какое житье было...

Тебенькова закручинилась и утирала концомъ платка, которымъ повязана была ея голова, катившіяся изъ глазъ

слезы. Кузьмовна, напротивъ, стояла совершенно безстрастно, сложивши руки и изрѣдка улыбаясь.

— Конечно, сударь, можетъ, мамынька и провинилась передъ родителемъ,—продолжала Тебенькова, всхлипывая:— такъ я въ этомъ виноватою не состою, и коли имъ было такъ тошно на меня смотрѣть, такъ почему-жъ они меня къ дяденькѣ Павлу Иванычу не отдали, а безпремѣнно захотѣли въ своемъ домѣ тиранить? А дяденька сколько разъ ихъ объ этомъ просили, какъ братъ, почитая память покойной ихней сестры; однако, родитель не согласились ихней просьбы уважить, потому что именно хотѣли они меня своею рукой загубить, да и дяденькѣ Павлу Иванычу такъ и сказали, что, молъ, я ее изъ своихъ рукъ до смерти доведу...

Половниковъ вздохнулъ.

— Вотъ они каковы всѣ! — сказалъ онъ. — По наряду, гдѣ написано плакать, во всякое время плакать готовы, а христіянскую душу загубить ничего не значитъ.

— Что дѣлать! каковы уродились, таковы и есть, не посѣтуй, родимый!—замѣтила иронически Кузьмовна. — У тебя бы поучиться, да ты, вишь, только ложечки ковырять умѣешь, а нѣмца наймовать силы нѣтутка.

— Жила я такимъ родомъ до шестнадцати годковъ. Родитель нашъ и прежде каждый годъ съ ярмонки въ скиты ѣзживалъ, такъ у него завсегда съ матерями дружба велась. Только по одинъ годъ пріѣзжаетъ онъ изъ скитовъ ужъ не одинъ, а съ Манефой Ивановной— она будто замѣсто экономки къ намъ въ домъ взята была. Какая она ужъ экономка была, этого я доложить вашему благородію не умѣю...

— Будто ужъ и не умѣешь?—прервала Кузьмовна.

— А ты почему знаешь, что умѣетъ?—спросилъ я.

— Да вѣдь и по виду, сударь, различить можно, что дѣвка гулящая,—сказала она.

— Только стало мнѣ жить при ней полегче. Начала она меня въ скиты сговаривать: ну, я поначалу-то было въ охотку соглашалась, да потомъ и другіе тоже тутъ люди нашлись: «полно, говорятъ, дура, тебя хотятъ отъ наслѣдства оттереть, а ты и ротъ разинула». Ну, я и уперлась. Родитель было-прогнѣвался, сталъ обзывать непристойно, убить посулилъ, однако, Манефа Ивановна ихъ усовѣстили. Онѣ у себя въ головѣ тоже свой расчетъ держали. Ходилъ въ это время мимо нашего дому...

Тебенькова потупилась и покраснѣла. Нѣсколько секундъ стояла она такимъ образомъ, не говоря ни слова, но потомъ оправилась и продолжала свой разсказъ тѣмъ мягкозастѣнчивымъ голосомъ, въ которомъ слышались слезы молодой и неиспорченной еще души.

— Ходилъ въ это время мимо нашего дому молодой баринъ. Жили мы въ ту пору на Никольской, въ проулкѣ, ну, и ходилъ онъ мимо насъ въ свое присутствіе каждый день... Да это нужно ли, ваше благородіе?

— Ничего, продолжай.

— Только больно ужъ полюбился мнѣ этотъ баринъ. Дѣвчонка я была молодая, не балованная, а онъ изъ себя казалъ такой смирный да тихонькій. Идетъ, бывало, мимо самыхъ окошекъ, а самъ въ землю глядитъ, даже на окошко-то глаза поднять не смѣетъ. Одѣтъ, бывало, чистенько, изъ лица блѣдный, глазки бо̀льшенькіе, и все пѣсенку про себя мурлычитъ. Поначалу хаживалъ онъ только утромъ въ присутствіе и назадъ, а потомъ началъ и вечеромъ учащать. И столько я любила смотрѣть, какъ онъ, бывало, идетъ по улицѣ, что даже издалька завидишь, такъ словно въ груди у тебя похолодѣетъ.

Тебенькова задумалась, нѣсколько минутъ крѣпилась и потомъ вдругъ горько и сосредоточенно зарыдала.

— Ничего, матушка, Богъ дастъ, соединитесь со своимъ предметомъ! — замѣтилъ, въ видѣ утѣшенія, Половниковъ.

— Только разъ, сижу я это вечеромъ подъ окошкомъ, и вижу, что идетъ мой баринъ милый. Поравнялся онъ съ моимъ окошечкомъ да и сталъ туточка; говоритъ ничего не говоритъ, а словно замѣшался... Я тоже сижу, будто въ пяльцахъ работаю, а сама даже ничего не вижу, только дрожу вся. Вотъ онъ постоялъ-постоялъ и пошелъ, однако, своею дорогой, не сказавши слова. А мнѣ и невдомёкъ, что въ этой же горницѣ Манефа Ивановна сидѣли, и все за нами выслѣживали; только тогда и догадалась, какъ онѣ заговорили со мной.—«А что, говоритъ, Варвара Михайловна, или вамъ господинъ приказный по нраву пришелъ?» Только я испужалась, даже дыханье у меня захватило.— «Нѣтъ, говорю, никакого приказнаго я не знаю». — «Ну, полноте же, моя голубушка, отъ меня скрываться вамъ нечего! Я, говоритъ, давно за вами примѣчаю, и хотя въ иночествѣ нахожусь, однако слабость человѣческую понимать могу; такъ вы, говоритъ, лучше во всемъ мнѣ откройСочиненія М. Е. Салтыкова. Т. III. 28

тесь — можетъ, заодно какъ-нибудь и устроимся». Ну, я тоже на это ей говорю: «Коли вы ужъ такъ, говорю, Манефа Ивановна, такъ я передъ вами скрыться не могу: давно ужъ я въ Митрія Филипыча очень влюблена». Ну, и точно-съ, на другой это день родителя нашего дома не было, идетъ Митрій Филипычъ мимо, а Манефа Ивановна въ окошко глядитъ. «Позвольте, говоритъ, васъ просить, господинъ приказный, не угодно ли побесѣдовать». Онъ и вошелъ; натурально, угощенье тутъ подали. Вѣрно, говоритъ Манефа-то Ивановна, вамъ наши горницы полюбились, что очень часто мимо насъ ходите». Ну, онъ точно сознался, что влюбленъ. «А коли такъ, опять говоритъ Манефа Ивановна, я вамъ препятствія дѣлать не стану». И оставила насъ вдвоемъ. Только что у насъ тутъ съ нимъ было, доподлинно сказать вашему благородію не могу, потому какъ я даже разсудка своего ровно какъ лишилась. Больно ужъ онъ меня любилъ; сталъ это меня обнимать да цѣловать: «Варенька, говоритъ, жизнь вы моя, очень я по васъ сокрушаюсь». А самъ это, знаете, все ласкается да цѣлуетъ. Однако, я поначалу виду не подавала: «мужчины, говорю, всѣ обманщики, и вы тоже обманете». Ну, и все такое...

— Да хошь бы ты покороче, что ли, разсказывала, — прервала Мавра Кузьмовна съ худо скрытой досадой.

— Прикажете, что ли?—спросила меня Тебенькова.

— Разумѣется, продолжай.

— Такимъ родомъ пробыли мы съ полгода мѣста, и хоша и былъ у насъ разговоръ, чтобы наше дѣло законнымъ порядкомъ покончить, однако Манефа Ивановна отговорила родителя этимъ безпокоить, а присовѣтовала до времени обождать. Только въ полгода времени можно много и хорошаго, и худого дѣла сдѣлать; стало-быть, выходитъ, что я не сильна была свою женскую слабость произойти и...

Тебенькова опять вспыхнула и потупилась.

— Что-жъ, чай, тоже забеременѣла, скитница? — замѣтила Кузьмовна.—Такое хорошее дѣло и не въ мѣсяцъ сдѣлать можно!

— Ваше благородіе! прикажите мнѣ одной говорить!— сказала Тебенькова.

— Замолчи, Кузьмовна, твоя рѣчь впереди.

— Вотъ какъ такое-то дѣло со мной сдѣлалось, и стали мы приступать къ Манефѣ Ивановнѣ, чтобъ передъ роди-

телемъ открыться. «А что, говоритъ, развѣ ужъ къ концу дѣло пришло?» И замѣсто того, чтобъ передъ родителемъ меня заступить и осторожненько ему разсказать, что вотъ господинъ хорошій и поправить свой грѣхъ желаетъ, она все, сударь, противъ стыда и совѣсти сдѣлала. Сама меня, можно сказать, въ грѣхъ ввела, да и сама же съ руками родителю и выдала. Сталъ онъ допрашивать меня, что и какъ, и столько я, сударь, въ то время побоевъ и ругательствъ приняла, что, кажется, не помни я завсегда, что христіянская во мнѣ душа есть, такъ именно смертію умереть слѣдовало. Порѣшили они на томъ, чтобъ въ скиты меня на всю жизнь погребсти. Ну, наше дѣло дѣтское: что надъ нами родители захотятъ сдѣлать, то и сдѣлаютъ, потому какъ мы и словъ противъ нихъ не имѣемъ. Меня хошь за вину въ скиты сослали, а вотъ у Мавры Кузьмовны въ обители купеческая дочка Арина Яковлевна жила, такъ та просто молодой мачихѣ не по нраву пришлась, ну и свезли ее въ скиты. Вотъ тоже и Филатъ Ѳинагеичъ вашему благородію истинную правду про купеческаго сына разсказывалъ, котораго родители малоумнымъ захотѣли сдѣлать; нашей власти тутъ нѣтъ: чего старики захотятъ, то мы и исполнять должны.

— Какую-то тамъ еще Арину Яковлевну приплела — только чудо, право!—замѣтила Мавра Кузьмовна, улыбаясь и покачивая головой.

— Видно, старые грѣхи [гвоздемъ выходятъ, Мавра Кузьмовна! Откуда слезъ ни брать, а, стало-быть, плакать приходится,—сказалъ Половниковъ.

— Въ скитахъ чего ужъ со мной ни дѣлали! Вотъ эта самая Мавра Кузьмовна надо мною тѣшилась: и въ холодній-то чуланъ запирала, и голодомъ морила, и на цѣпь саживала. Думаю я такъ, что онѣ съ Манефой Ивановной извести меня хотѣли, чтобъ я, значитъ, померла, и имъ послѣ того родительскій капиталъ весь получить. Только, видно, Богъ не попустилъ до этого: хошь и больно я отъ ихнихъ побоевъ захворала, однако, разрѣшилась благополучно младенцемъ...

— Куда же младенца-то дѣвали?

— А сказывали, что на деревню къ мужичку въ сыновья отдали, да послѣ будто бы померъ, — отвѣчала Тебенькова, но потомъ, обратившись къ Кузьмовнѣ, какъ будто внезапная мысль озарила ея голову, прибавила: — Нѣтъ, ты скажи, куда ты Мишутку-то дѣвала?

Кузьмовна все такъ же улыбалась, а изрѣдка даже пожимала плечами.

— Нѣтъ, ты скажи, однако! — приставала къ ней Тебенькова.—Вѣдь ты, можетъ, его въ помойную яму выкинула—у васъ въ обители на это мода была...

— Отвѣчай же, Кузьмовна!—сказалъ я.

— Да что же я, сударь, скажу, когда ужъ я показала разъ, что и ея-то совсѣмъ не знаю?.. Объ какомъ она Мишуткѣ еще спрашиваетъ? Право, чудо!

— Ну, слушай же.

«18** года, марта ... дня, нижепоименованныя лица, бывъ спрошены, по расколу и прикосновенности, безъ присяги, показали:

«1) Михайломъ зовутъ меня, сыномъ Трофимовымъ, по прозванью Тебеньковъ, отъ роду имѣю лѣтъ, должно полагать, шестьдесятъ, а доподлинно сказать не умѣю; вѣры настоящей, самой истинной, «старой»; у исповѣди и св. причастія былъ лѣтъ восемь тому назадъ, а въ какомъ селѣ и у какого священника, не упомню, потому какъ пріѣхали мы въ то село ночью, и ночью же изъ него выѣхали: помню только, что село большое, и указалъ намъ туда дорогу какой-то мужичокъ деревенскій; онъ же и про священника сказывалъ. Подъ судомъ бывалъ ли—не знаю, а по слѣдствіямъ тоже волочили, безъ этого не бываетъ; объ штрафахъ тоже сказать не умѣю; развѣ что въ консисторію гоняли, такъ это точно бывало. Дочь моя Варвара точно ушла отъ меня въ скиты своею охотой и съ моего благословенія, и жила тамъ въ обители у игуменьи Магдалины, которая нынѣ мѣщанкой въ городѣ С*** приписана и зовется Маврой Кузьмовной. Чтобы она напредь того была беременна, того я не знаю, и гдѣ она теперь находится, также не умѣю сказать, потому что съ тѣхъ поръ, какъ скиты разогнали, никакихъ извѣстій оттуда не имѣю. Манефа Ивановна, старушка, точно у меня живетъ, однако не въ любовницахъ, а въ домоправительницахъ. Что показалъ по сущей справедливости и проч.

«2) Манефа Ивановна Загуменникова, отъ роду имѣю тридцать лѣтъ; состою по расколу и живу въ скитахъ, въ обители у игуменьи Магдалины, гдѣ пострижена въ иноческій образъ подъ именемъ Маремьяны. Варвара Тебенькова, дочь моего хозяина, точно ушла отъ родителя своего въ скиты, гдѣ и жила въ той же самой Магдалининой обители, но про беременность ея ничего не знаю. Какая при-

чина заставила ее идти въ скиты, сказать не умѣю, потому какъ хотя я въ то время и жила у Михайла Трофимыча въ ключахъ, однако въ ихнія дѣла не вступалась, и любовницей у хозяина моего тоже не бывала, и съ чего это взято, мнѣ неизвѣстно. Что показавъ справедливо и пр.

«3) Лжеинокини Ириларха, Дороѳея, Павлина, Аполинарія и другія, нынѣ мѣщанки разныхъ городовъ, бывъ спрошены, каждая порознь, показали, что означенная Варвара Тебенькова прибыла въ ихъ скиты, въ Магдалинину обитель, ночью, и въ скоромъ времени родила мальчика, но куда дѣвала его настоятельница, того онѣ не знаютъ. Онѣ же сознались, что Магдалина дѣйствительно вынуждала Тебенькову различными истязаніями остричься, что послѣдняя, наконецъ, и исполнила, и даже какъ будто примирилась съ настоятельницей, почему, не за долгое время до разогнанія ихъ изъ скитовъ, была даже послана въ разныя мѣста за сборомъ милостыни».

— Изъ всѣхъ этихъ показаній ясно, *во-первыхъ*, что ты напрасно запираешься въ знакомствѣ съ Тебеньковымъ и въ укрывательствѣ дочери его; *во-вторыхъ*, что Варвара Тебенькова дѣйствительно родила въ твоей обители, и сынъ ея неизвѣстно куда пропалъ... Куда дѣвала ты этого сына?

— Что-жъ, сударь, вся ваша власть: хочь въ желѣзы меня куйте, хочь бейте, хочь въ куски рѣжьте — я вся тутъ!—отвѣчала Кузьмовна попрежнему съ безстрастіемъ, въ которомъ даже проглядывало еще болѣе рѣшимости.

— Приходится прочитать тебѣ и еще документецъ.

ПО МОЛИТВѢ.

«Почтеннѣйшему благодѣтелю Михайлѣ Трофимычу азъ грѣшная и. Магдалина земно кланяюсь. Дочка ваша на вчерашнюю ночь распросталась благополучно сынкомъ, и я насчетъ его поступила по вашему желанію, а Варварѣ Михайловнѣ матушки сказали, что отдали его въ деревню въ сыны къ мужичку, и она очень довольно объ этомъ тужила, что при ней его не оставили. Послѣ можно будетъ сказать, что онъ померъ, и вы бы, нашъ благодѣтель, были въ томъ безъ сомнѣнія, что это дѣло въ тайности останется, и никто объ томъ, кромѣ матушки Меропеи, не знаетъ»...

— Позвать сюда Меропею!—сказалъ я полицейскому, и потомъ, обращаясь къ Кузьмовнѣ, прибавилъ:—Ну, что-жъ ты на это скажешь?

— А что̀ сказать? Что̀ прежде говорила, то̀ и теперь скажу: не знаю я ничего; хочь что̀ хотите со мной дѣлайте, а чего не знаю, такъ не знаю.

— Ишь, скаредъ какой!—замѣтилъ Половниковъ, терявшій терпѣніе.—Такъ тебя и послушаютъ, незнайка!

— Такъ, видно, и взаправду Мишутку-то въ яму свалили!—сказала Тебенькова, всхлипывая, и потомъ, обращаясь къ Кузьмовнѣ, прибавила: — Чортъ ты этакой, чо-ортъ!

— Продолжай свое показаніе,—сказалъ я.

— Да чего больше сказывать-то! Жила я, сударь, въ этой обители еще года съ два, ну, конечно, и попріобыкла малость, да и вижу, что супротивничествомъ ничего не возьмешь—покорилась тоже. Стали меня «стричься» нудить,—ну, и остриглась, изъ Варвары Варсонофіей сдѣлалась: не что̀ станешь дѣлать. Въ послѣднее время даже милостыню сбирать довѣрили, только не въ Москву пустили, а къ сибирскимъ сторонамъ...

— Какъ же тебя такую молоденькую отпустили?

— Да по-ихнему, сударь, что̀ моложе, то̀ лучше: купцы больше денегъ даютъ. Ужъ, конечно, тутъ больше грѣхъ одинъ, да по скитскому правилу то̀ и хорошо, что̀ грѣхъ, потому что «не согрѣшивши возмечтаешь, не согрѣшивши не покаешься, а не покаявшись не спасешься». Вотъ я и ходила такимъ родомъ мѣсяцевъ съ семь, покуда до Камы не дошла; тамъ, сударь, городъ есть такой, въ которомъ радѣтелей нашихъ великое множество проживаетъ. Стала я оттуда писать въ скиты, что пачпорту срокъ вышелъ, а тутъ, замѣсто пачпорта-то, вѣсть пришла, что и скиты всѣ разогнали...

— Ваше высокоблагородіе, извольте сюда пожаловать!—крикнулъ показавшійся въ дверяхъ полицейскій.

Я вышелъ.

— Въ ихнемъ домѣ господинъ исправникъ съ понятыми—архіерея изловили, сейчасъ сюда будутъ-съ!

— А Меропея?

— Мерошка въ безчувствіи-съ.

VIII.

Въ эту самую минуту на улицѣ послышался шумъ. Я поспѣшилъ въ слѣдственную комнату и подошелъ къ окну. Передъ станціоннымъ домомъ медленно подвигалась процессія съ зажженными фонарями (было уже около десяти

часовъ); цѣлая толпа народа сопровождала ее. Тутъ слышались и вопли старухъ, и просто вздохи, и даже ругательства; изрѣдка только раздавался въ воздухѣ сиплый и нахальный смѣхъ, отъ котораго подиралъ по кожѣ морозъ. Впереди всѣхъ, приплясывая, шелъ Михеичъ и горланилъ пѣсню.

— Господи! что̀ такое съ нами будетъ?—бормотала ветхая старушонка, ковыляя мимо окна и размахивая руками.

— А то, матушка, будетъ, что, видно, умирать наше время пришло!—отвѣчалъ какой-то старикъ, стоявшій у воротъ, и, вздрогнувъ всѣмъ тѣломъ, прибавилъ:—Ишь ты, Господи!

— Прочь съ дороги!—кричалъ Михеичъ, который, повидимому, распоряжался всей процессіей.—Эй, вы! стойте тутъ, на дворѣ, покедова я его высокоблагородію доложу.

— Соколовъ привели, ваше высокоблагородіе!—сказалъ онъ, входя въ мою комнату.—Такихъ соколовъ, что самъ Иванъ Демьянычъ, можно сказать, угорѣлъ. А! Маремьяна-старица, обо всемъ мірѣ печальница!—продожалъ онъ, обращаясь къ Маврѣ Кузьмовнѣ:—каково, сударушка, поживаешь? Ну, мы, нече сказать, благодаря Бога, живемъ, хлѣбъ жуемъ, а потроха-то твои тоже новычистили! Да и сокола твоего въ золотую клѣтку посадили... фю!

Я взглянулъ на Мавру Кузьмовну; она была совершенно уничтожена; лицо помертвѣло и все тѣло тряслось будто въ лихорадкѣ; но за всѣмъ тѣмъ ни малѣйшаго стона не вырвалось изъ груди ея; видно было только, что она физически ослабла, вслѣдствіе чего, не будучи въ состояніи стоять, опустилась на стулъ и, подпершись обѣими руками, съ напряженнымъ вниманіемъ смотрѣла на дверь, ожидая чего-то. Привѣтствіе Михеича не коснулось слуха ея. Очевидно, ей было не до него и его циническихъ выходокъ, что всѣ ея мысли, всѣ чувства были сосредоточены на этой драмѣ, которой послѣдній актъ такъ неожиданно разрѣшился безъ всякаго участія съ ея стороны.

— А именно, ваше высокоблагородіе, понялъ я теперь, что мнѣ въ полицейской службѣ настоящее мѣсто состоитъ!—продолжалъ, между тѣмъ, Михеичъ.—Именно, въ самой, можно сказать, тонкой чистотѣ всю штуку обработали... Ваше высокоблагородіе! не соблаговолите ли, въ честь будущей награды и для поощренія къ будущимъ таковымъ же подвигамъ, по крайности, стаканъ водки поднести? Сего числа, имѣя въ виду принятіе священническаго сана, даже ни единыя росинки чрезъ гортань не пропущалъ.

— Имѣю честь поздравить ваше высокоблагородіе съ крестничкомъ! — сказалъ Маслобойниковъ, входя въ комнату.—Кончили все благополучно-съ. Даже со всѣми онѣрами изловили-съ. И тотъ самый здѣсь, про котораго изволили спрашивать... Прикажете позвать-съ?

Лицо Маслобойникова сіяло; онъ мялъ губами гораздо болѣе прежняго, и въ голосѣ его слышались визгливые, перекатистые тоны, непремѣнно являющіеся у человѣка, котораго сердце до того переполнено радостью, что начинаетъ тамъ какъ будто саднить. Мнѣ даже показалось, что онъ изъ дому Мавры Кузьмовны сбѣгалъ къ себѣ на квартиру и припомадился по случаю столь великаго торжества, потому что волосы у него не торчали вихрами, какъ обыкновенно, а были тщательно приглажены.

— Стало-быть, этотъ купецъ и былъ Тебеньковъ?— спросилъ я.

— Такъ и родитель нашъ тутъ же схваченъ... Господи помилуй!—вскричала Тебенькова.

— Точно такъ-съ, моя красавица, и ему тоже бонжуръ сказали, а въ скоромъ времени скажемъ: мусьё алё призъ!— отвѣчалъ Маслобойниковъ, притопывая ногой и какъ-то подло и масляно подмигивая мнѣ однимъ глазомъ.—А что, Мавра Кузьмовна, напрасно, видно, безпокоиться изволили, что Андрюшка у васъ жить будетъ? Этакимъ большимъ людямъ, въ нашей глухой сторонѣ, по нашимъ проселкамъ, не жительство: передъ ними большая дорога, сибирская. Эй, Андрюшка! поди, поди сюда, любезный!

Вошелъ мужчина лѣтъ сорока, небольшого роста, съ лицомъ весьма благообразнымъ и украшеннымъ небольшою русою бородкой. Одѣтъ онъ былъ въ длинный сюртукъ, въ родѣ тѣхъ, какіе носятъ въ великороссійскихъ городахъ мѣщане, занимающіеся приказчичествомъ, и въ особенности по питейной части; волоса обстрижены были въ кружокъ, и вообще ни по чему нельзя было замѣтить въ немъ ничего обличающаго священный санъ.

— Вотъ-съ имѣемъ честь рекомендовать—крестничекъ! Каковъ телецъ упитанный! Ну, сказывай же его высокоблагородію, какъ ты въ архіереи попалъ?

Но Андрюшка молчалъ и безъ малѣйшаго смущенія ясно смотрѣлъ въ глаза Маслобойникову.

— Ну, что-жъ ты, сударь, не отвѣчаешь? А ты не стыдись, вѣдь тебя, сударь, и заставить можно разговаривать-то!

Андрюшка, попрежнему, молчалъ упорно.

— Вотъ-съ, сколь жестокъ человѣкъ сдѣлаться можетъ!— обратился ко мнѣ Маслобойниковъ.—Вѣрите ли, ваше высокоблагородіе, полчаса я его усовѣщивалъ, даже рукъ для него не пожалѣлъ-съ, и однакожъ ни одного слова добиться не могъ.

— Ваше благородіе! да ушли ты исправника-то! Вѣдь зазорно!—вступилась Кузьмовна, вставая со стула и подходя ко мнѣ.

Я самъ начиналъ сознавать, что Маслобойниковъ зашелъ слишкомъ далеко, и далъ ему понять, что было бы не лишнее оставить меня одного.

— Здравствуйте, батюшка Андрей Ларивонычъ!—сказала Мавра Кузьмовна, когда мы остались одни, кланяясь Ларивонову до земли.—Видно, не на радость свидѣлись!

И крупныя слезы полились ручьями изъ глазъ ея.

— Здравствуйте, сударыня Мавра Кузьмовна!—отвѣчалъ онъ тихимъ, но твердымъ голосомъ.—Много мы, видно, съ вами пожили; пора и на покой, въ лоно Предвѣчнаго Христа и Спаса нашего, иже первый подъялъ смерть за человѣки.

— Прости и ты мнѣ, Варвара Михайловна! Много я передъ тобой согрѣшила!—продолжала Кузьмовна, склоняясь передъ Тебеньковой.—Ну, видно, нечего дѣлать, растопило у меня сердце... Ваше благородіе! записывай ужъ инъ поскорѣй!

Съ своей стороны, Тебенькова тоже повалилась въ ноги къ Маврѣ Кузьмовнѣ, и за глухими ея рыданіями нельзя было даже разобрать ея словъ.

— Позовите сюда Тебенькова!—сказалъ я, чтобъ кончить поскорѣе эту сцену, которая тяготила меня.

Вошелъ Тебеньковъ. То былъ высокій и съ виду очень почтенный старикъ, съ окладистою бородой и суровымъ выраженіемъ въ лицѣ. При видѣ его Варвара быстро поднялась и задрожала всѣмъ тѣломъ.

— А! ну, здравствуй, доченька! Давно ли своихъ родителей продавать научилась?—сказалъ Тебеньковъ, улыбаясь холодно, но не безъ горечи.—Здравствуй и ты, Кузьмовна! Пришли, видно, наши часы... Что-жъ, ваше благородіе, если спросить желаете, такъ спрашивайте, а насчетъ того, чтобы нашу чувствительность растревожить, такъ это лишнее будетъ—такъ-то-съ...

— Нѣтъ, ты прости ее, батюшка Михайло Трофимычъ,— вступилась Мавра Кузьмовна:—она тоже вѣдь невольнымъ дѣломъ...

— Богъ ее проститъ, матушка, а мы прощать не можемъ, потому какъ это Божье дѣло, а не наше...

— Батюшка!—вскрикнула Варвара, почти безъ чувствъ падая къ ногамъ его и обнимая ихъ.

Тебеньковъ задумался и посмотрѣлъ на нее; я даже замѣтилъ, что въ его холодныхъ, суровыхъ глазахъ блеснулъ на минуту лучъ нѣжности. Но это чувство, освѣтившее внезапно его существо, столь же внезапно уступило мѣсто прежней суровости.

— Нѣтъ, доченька,—сказалъ онъ, вздохнувши и махнувъ рукой:—намъ теперича объ эвтомъ разговаривать нечего; живи съ Богомъ да не поминай насъ лихомъ, потому какъ мы здѣшняго свѣта ужъ не жильцы... Что-жъ, ваше благородіе, спрашивать, что ли, будете, или прямикомъ на казенную фатеру прикажете?

. . . . . .

И тутъ началось у меня слѣдствіе...

Первый шагъ.

Передо мной стоялъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати пяти, въ потасканномъ вицмундирѣ. Физіономія его не представляла ничего особенно замѣчательнаго; это была одна изъ тѣхъ тусклыхъ, преждевременно пораженныхъ геморроемъ физіономій, какія довольно часто встрѣчаются въ чиновническомъ мірѣ. Взоръ его былъ мутенъ и какъ-то болѣзненно сосредоточенъ, что не мѣшало, впрочемъ, мнѣ, какъ наблюдателю, подмѣтить въ немъ что-то въ родѣ робкаго попозновенія на мольбу, но такую мольбу, которая замѣчается въ глазахъ барана, кротко испускающаго духъ подъ ножомъ мясника. Молодой человѣкъ попался, и попался весьма замѣчательнымъ образомъ, со всѣми онёрами, какъ выражаются въ провинціи. Онъ сочинилъ фальшивый указъ, съ цѣлью получить, за неисполненіе его, приличное вознагражденіе, но не соблюлъ притомъ никакихъ предосторожностей, которыя поставили бы его поступокъ внѣ законныхъ преслѣдованій и привели его къ тихому пристанищу, выражающемуся въ официальной формѣ словами: «а за неотысканіемъ виновнаго въ сочиненіи фальшиваго указа, обстоятельство сіе предать волѣ Божіей, а дѣло кончить и сдать въ архивъ». Напротивъ того, тутъ было все, что могло служить къ уликѣ преступника: и поличное, и соучастники, и обдуманный планъ, и свидѣтели; однимъ словомъ, обви-

нясный какъ бы нарочно все такимъ образомъ устроилъ, чтобъ отрѣзать себѣ всякій путь къ спасенію.

Положеніе слѣдователя, вообще говоря, очень тяжелое положеніе. Разумѣется, оно далеко не можетъ сравниться ни съ положеніемъ фельдмаршала во время военной кампаніи, ни даже съ положеніемъ гарнизоннаго прапорщика во время осады Севастополя; но личный взглядъ слѣдователя можетъ придать всякому мало-мальски важному дѣлу интересъ, не изъятый своего рода тревожныхъ ощущеній. Бываютъ, конечно, слѣдователи, которые смотрятъ на свои обязанности съ тѣмъ же спокойствіемъ, съ какимъ смотрятъ на процессъ пищеваренія, дыханія и тому подобныя фаталистическія отправленія своего организма; но до такого олимпическаго равнодушія не всякій можетъ дойти. Иногда случается, что въ голову нахлынутъ тысячи самыхъ разнообразныхъ и даже едва ли противозаконныхъ соображеній и рѣшительно мѣшаютъ вышеозначенному спокойствію. Шевельнется, напримѣръ, ни съ того, ни съ сего, въ сердцѣ совѣсть, взбунтуется слѣдомъ за нею разсудокъ, который начнетъ, цѣлымъ рядомъ самыхъ строгихъ силлогизмовъ, доказывать, какъ дважды-два-четыре, что будь слѣдователь самъ на мѣстѣ обвиняемаго, то... и такъ далѣе. Ну, и раскиснешь совсѣмъ...

А если слѣдствіе предстоитъ серьезное и запутанное, сколько самыхъ разнородныхъ ощущеній тѣснится въ сердцѣ, какъ тонко дѣлается чутье, какъ настораживаются всѣ чувства! Въ воздухѣ пахнетъ преступленіемъ; міазмы его не даютъ дышать свободно, руки осязаютъ преступленіе, слухъ безпрестанно оскорбляется нестройными звуками вакханаліи преступленія. Вамъ чудится преступленіе въ пищѣ, которую вы кушаете, и въ водѣ, которую вы пьете. Слѣдователь перестаетъ на время быть человѣкомъ и принимаетъ всѣ свойства безплотнаго существа: способность улетучиваться, проникать и проникаться и т. д. И сколько страха, сколько ожиданій борется въ одно и то же время въ его сердцѣ! Поймаю или не поймаю? спрашиваетъ себя слѣдователь каждую минуту своего существованія, и видимо истаеваетъ на медленномъ огнѣ отчаянья и надежды. Если же присовокупить къ этому, съ одной стороны, ожидаемыя впереди почести, начальственную признательность и, главное, репутацію отлично-хитраго чиновника, въ случаѣ удачнаго ловленія, и, съ другой стороны, позоръ и поношеніе, репутацію «мямли» и «колпака», въ случаѣ ловленія не-

удачнаго, то безъ труда сдѣлаются понятными тѣ бурныя чувства, которыхъ театромъ становится сердце мало-мальски самолюбиваго слѣдователя.

Что касается до меня лично, то преступленіе производитъ на мою душу подавляющее дѣйствіе. Я вообще человѣкъ нрава мягкаго и скромнаго, спокойствіе своей души ставлю выше всего и ненавижу, когда какое-нибудь обстоятельство назойливо тревожитъ мою совѣсть. То ли дѣло сидѣть себѣ дома, пообѣдать въ пріятномъ обществѣ и, закуривъ отличную сигару, бесѣдовать «разумно» съ пріятелями о предметахъ, вызывающихъ на размышленіе—хоть бы о томъ, какъ трудны бываютъ обязанности слѣдователя! Но когда мнѣ, волею или неволею, приходится облечь себя въ броню слѣдователя (а это, къ истинному моему прискорбію, случается довольно часто), то, сознаюсь откровенно, я дѣлаюсь немного идеалистомъ. Всѣ эти великолѣпныя соображенія объ олимпическомъ равнодушіи, о путахъ, которыми благоразумный слѣдователь обязанъ окружать обвиняемаго, неизвѣстно куда испаряются, и я остаюсь одинъ-на-одинъ со своею совѣстью, одинъ-на-одинъ съ нѣкоторымъ знакомымъ мнѣ господиномъ, носящимъ имя Щедрина и забывающимъ даже о чинѣ надворнаго совѣтника, украшающемъ его безукоризненный формуляръ. Странная вещь! когда я имѣю дѣло съ преступникомъ, кара составляетъ для меня предметъ второстепенной важности, и главное, къ чему я стремлюсь—это пробужденіе въ преступникѣ сознанія нарушеннаго долга, нарушенной правды.

«Mais c'est incroyable! vous divaguez, mon cher!»—слышится мнѣ отовсюду голосъ его превосходительства, который, несмотря на мои идеалистическія наклонности, очень меня любитъ, потому что я говорю по-французски и довольно удачно полькирую съ его дочерью. И однакожъ, несмотря на восклицаніе его превосходительства, результаты моего идеальнаго обращенія съ обвиненнымъ субъектомъ оказывались иногда поразительные. Случалось, что закоснѣлый преступникъ вдругъ зальется слезами и начнетъ рыдать, но такъ болѣзненно, сосредоточенно, что и мнѣ все сердце изорветъ своими рыданіями...

Иной, судя по моимъ дѣйствіямъ и по тѣмъ усиліямъ, которыя я употребляю, чтобъ овладѣть довѣріемъ обвиняемаго, подумаетъ, что я въ нѣкоторомъ родѣ крошечный Макіавель, а между тѣмъ я дѣйствительно только идеалистъ и больше ничего. Если я простъ и ласковъ, то это потому,

что природѣ не заблагоразсудилось надѣлить меня ничѣмъ «внушающимъ» или, такъ сказать, юпитеровскимъ; если я вижу человѣка въ самомъ преступникѣ, то это потому, что мысль о томъ, что я самъ человѣкъ, никакъ не хочетъ покинуть мою ограниченную голову. Однимъ словомъ, я каюсь, я прошу прощенія: я идеалистъ, я человѣкъ негодный, непрактическій, но не рѣжьте меня за это на куски, потому что я въ состояніи этимъ обидѣться.

И меня, дѣйствительно, никто не бьетъ и не рѣжетъ. Только его превосходительство изрѣдка назоветъ «размазней» или «мямлей», и то единственно по чувствамъ отеческаго участія къ моей служебной карьерѣ. Когда дѣло зайдетъ ужъ слишкомъ далеко, когда я начинаю черезчуръ «мямлить», его превосходительство призываетъ меня къ себѣ.

— Ты, любезный другъ, не проповѣдуй,—говоритъ онъ мнѣ такимъ голосомъ, который тщетно усиливается сдѣлать строгимъ:—это, братецъ, безнравственно, потому что тебя, чиновника, ставитъ въ какія-то панибратскія отношенія съ какою-нибудь канальей—фи!.. А ты проникнись, ты исполни все, что̀ нужно по формѣ—ну, и жамкни его, чтобъ не забывалъ онъ, что между нимъ и тобою общаго только одна случайность, что онъ—каналья, а ты—чиновникъ...

— Слушаю-съ,—отвѣчаю я обыкновенно на такое отеческое наставленіе, и все-таки не могу отстать отъ несчастной привычки симпатизировать...

Иногда эта добродѣтельная наклонность вознаграждается самымъ обиднымъ образомъ. Трудишься-трудишься иной разъ, выбиваешься изъ силъ, симпатизируя и стараясь что-нибудь вывѣдать изъ преступника — разумѣется, pour son propre bien — и достигнешь только того, что обвиняемый, не безъ горькой иронiи, къ тебѣ же обращается съ слѣдующими простыми словами:

— Да что-жъ ты не бьешь меня, ваше благородіе?.. А ты бей!.. мо̀же, и скажу что-нибудь...

Признаюсь откровенно, слова эти всегда производили на меня дѣйствіе обуха, внезапно и со всею силою упавшаго на мою голову. Я чувствую во всемъ моемъ существѣ какое-то страшное озлобленіе противъ преступника, я начинаю сознавать, что вотъ-вотъ наступаетъ минута, когда эмпирикъ возьметъ верхъ надъ идеалистомъ, и пойдутъ въ дѣло кулаки, сіи истинные и нелицемѣрные помощники во

всѣхъ случаяхъ, касающихся человѣческаго сердца. И много мнѣ нужно бываетъ силы воли, чтобы держать руки по швамъ.

Съ другой стороны, случалось мнѣ нерѣдко достигать и такихъ результатовъ, что, разговаривая и убѣждая, зарапортуешься до того, что начнешь увѣрять обвиненнаго, что я тутъ ничего, что я тутъ *такъ*, что я совсѣмъ не виноватъ въ томъ, что мнѣ, а не другому поручили слѣдствіе, что я, собственно говоря, его *другъ*, а не гонитель, что если... и остановишься только въ то время, когда увидишь вытаращенные на тебя глаза преступника, нисколько не сомнѣвающагося, что слѣдователь—или хитрѣйшая бестія въ подлунной, или окончательно спятилъ съ ума.

Все это я счелъ долгомъ доложить вамъ, благосклонный читатель, затѣмъ, чтобы показать, какъ трудно и щекотливо бываетъ положеніе слѣдователя, а отчасти и затѣмъ, чтобы вы могли видѣть, какой я милый молодой человѣкъ. А затѣмъ приступаю къ самому разсказу.

«Я сынъ приказнаго. Родитель мой умеръ, состоя на дѣйствительной службѣ и достигнувъ, на пятьдесятъ седьмомъ году отъ рожденія, чина губернскаго секретаря. Чины въ ту пору очень туго шли, да и подсудности разныя препятствовали повышеніямъ. Родитель женился рано, жалованье получалъ малое, и въ скоромъ времени имѣлъ цѣлую охапку дѣтей, изъ которыхъ я былъ самый младшій. Въ нашемъ кругу такое ужъ это обыкновеніе, что приказные рано женятся: извѣстное дѣло, мы не то что большіе господа: намъ беречь нечего. Мы думаемъ: коли насъ самихъ Царь Небесный пропиталъ, такъ и дѣтей нашихъ безъ хлѣба не оставитъ. Да и то опять, что у нашего брата столько нонче дочерей, да сестеръ, да свояченицъ развелось—надо же и ихъ къ мѣсту пристроить,—вотъ и заманиваетъ тебя всякій въ сѣти. Отъ бѣдности или просто съ горя, только отецъ мой запивалъ шибко: случалось ли намъ видѣть его въ мѣсяцъ разъ или два тверёзымъ, доподлинно сказать не могу.

«Растетъ нашъ братъ, можно сказать, какъ крапива растетъ около забора: поколь солнышко грѣетъ—ну, и ладно; а не пригрѣетъ—худая трава изъ поля вонъ. Росъ и я такимъ же порядкомъ лѣтъ до двѣнадцати, а какъ и что—хоть что хошь, не припомню. Помню только, что отца иногда на ночь въ безчувствіи домой изъ кабака приводили, и что

матушка—царство ей небесное!—горько на судьбу плакалась. Былъ у отца милостивецъ, человѣкъ въ силѣ: поэтому только и не выгоняли его изъ службы. Этотъ же самый милостивецъ и меня призрѣлъ, и какъ только сталъ я приходить въ разумъ, опредѣлилъ на службу подъ свое начальство.

«Примѣровъ хорошихъ передъ собой видимъ мы мало. Много народа служитъ и пьянаго, совсѣмъ отчаяннаго, много и такого, что взятку за самое обыкновенное дѣло считаютъ. Стало-быть, подражать тутъ некому. А житье наше, осмѣлюсь вамъ доложить, самое незавидное: какъ есть узникъ. Придешь въ присутствіе часовъ съ восьми, сидишь до двухъ; сходишь куда-ни-на-есть перекусить, а въ пять часовъ опять въ присутствіе; и сиди до одиннадцати. Выходитъ, въ сутки проработаешь этакъ не меньше двѣнадцати часовъ, и все нагнувшись... Какъ кончится день, въ глазахъ рябитъ, грудь ломитъ, голова идетъ кругомъ—ну, и выходишь изъ присутствія, словно пьяный шатаешься. Лѣтомъ всего тяжелѣе бываетъ. Иной разъ, сходилъ бы за городъ, посмотрѣлъ бы, что̀ такая за зелень въ лугахъ называется, грудь хоть бы расшаталъ на вольномъ воздухѣ—и вотъ нѣтъ да и нѣтъ! Смотришь иногда: ѣдутъ начальники, или другіе господа, на большихъ долгушахъ, ѣдутъ съ самоварами, съ корзинами, и позавидуешь... Или вотъ возвращаешься ночью домой изъ присутствія рѣчнымъ берегомъ, а на той сторонѣ туманы стелются, огоньки горятъ, парóмъ по рѣкѣ бѣжитъ, сонная рыба въ водѣ заполощется, и все такъ звонко и чутко отдается въ воздухѣ, ну и остановишься тутъ съ бумагами на бережку, и самому тебѣ куда-то шибко хочется.

«Выходитъ, что нашъ братъ приказный, какъ выйдетъ изъ своей конуры, такъ ему словно дико и тѣсно вездѣ, ровно не про него и свѣтъ стоитъ. Другому все равно: вѣтерокъ шумитъ, трава ли по полю стелется, птица ли поетъ, а приказному все это будто въ диковину, потому какъ онъ, окромѣ своего присутствія да кабака, ничего на свѣтѣ не знаетъ.

«Взятокъ я не бралъ, вина тоже не зналъ. По лѣтамъ моимъ, интересныхъ дѣлъ въ завѣдываньи у меня не бывало, а къ вину тоже наклонности никогда не имѣлъ, да и жалованье у насъ самое маленькое.

«Невеселая это жизнь, а привыкаешь къ ней. Иногда случается, что совсѣмъ даже ничего другого не хочется,

потому что днемъ домой придешь—думаешь, что черезъ три часа опять въ присутствіе идти нужно; вечеромъ придешь—думаешь, какъ бы выспаться, да утромъ ранёхонько опять въ присутствіе идти. Выходитъ, что въ головѣ у тебя ничего, кромѣ присутствія, нѣтъ. Придетъ это воскресенье, такъ день-то такой длинный-раздлинный тебѣ покажется; сидишь-сидишь руки склавши, словно одурь тебя возьметъ. По той причинѣ, что мы ни къ какому другому дѣлу способности въ себѣ не имѣемъ: все намъ кажется, что оно ровно не такъ, не по формѣ глядитъ—ну, и тоскуешь до понедѣльника. По этой же самой причинѣ, сколь понимать могу, и пьянства между приказными много бываетъ; потому какъ въ воскресенье ему дѣвать себя некуда—вотъ онъ и закурилъ, глядишь.

«Сапоги насъ очень одолѣли, ваше высокоблагородіе! Народъ мы не брезгливый, не нѣженный. Для насъ бы все одно и въ лаптишкахъ сбѣгать, а тутъ опять начальство не велитъ, требуетъ, чтобы ты завсегда въ своемъ видѣ былъ. Вотъ хошь бы судья у насъ былъ, такъ тотъ прямо тебѣ говоритъ: «мнѣ, говоритъ, наплевать, какъ ты тамъ деньги на платье себѣ достаешь, а только чтобъ былъ ты всегда въ своемъ видѣ». Ну, и изворачиваешься какъ-нибудь въ ущербъ брюху, потому что въ долгъ нашему брату не вѣрятъ, а взятки взять негдѣ. Иногда, знаете, придешь домой, и все раздумываешь, нѣтъ ли гдѣ-нибудь сорвать что ни-на-есть, съ тѣмъ и уснешь. И какую, кажется, осторожность соблюдаешь! Идешь, да объ томъ только и думаешь, чтобъ какъ-нибудь въ грязь не попасть, или на камень не наступить, а все никакъ не убережешься. Большимъ господамъ оно, конечно, смѣшно показывается, что вотъ приказный съ камешка на камешекъ словно воръ пробирается: имъ это намѣсто забавы. Потому что имъ неизвѣстно, что тутъ жизнь человѣческая, можно сказать, совершается: износи я сегодня сапоги—завтра, можетъ-быть, и ѣсть мнѣ нечего будетъ.

«Смотришь иногда, какъ мужикъ въ базарный день по площади шагаетъ—и горя ему мало! Идетъ-себѣ, не думаетъ; только въ лужѣ сапоги пополощетъ—и правъ. А все оттого, что положеніе у него на свѣтѣ есть, что онъ человѣкъ какъ человѣкъ: собой располагать, значитъ, можетъ. А ты вотъ словно отребье человѣческое: ни объ чемъ другомъ и помышленія не имѣй, какъ только объ томъ, какъ бы на сапогахъ дырьевъ не сдѣлать. Ужъ на что сторожъ

въ судѣ — и тому житье противъ нашего не въ примѣръ лучше: первое дѣло, жалованье онъ получаетъ не меньше, да еще квартиру въ сторожовской имѣетъ; а второе дѣло, никто съ него ничего не требуетъ...

«Родитель мой получалъ жалованье малое, да и я развѣ немногимъ противъ него больше. Сначала посадили меня на цѣлковый въ мѣсяцъ, да и то еще, сказываютъ, много. Иные на первыхъ порахъ и совсѣмъ ничего не получаютъ. Какъ я въ ту пору жилъ—этого и объяснить даже вашему высокоблагородію не умѣю. Конечно, если-бъ не помнилъ я завсегда, что христіянинъ называюсь, такъ, кажется, и не снести бы ни въ жизнь этакой нужды. Эти семь мѣсяцевъ словно во снѣ у меня прошли, словно я въ лихорадкѣ или въ другой несносной болѣзни вылежалъ. Матушка у меня вскорѣ померла, а отецъ не то чтобы мнѣ помочь, а еще у меня норовитъ, бывало, денегъ выманить. И встрѣчался-то я съ нимъ мало: развѣ что идешь домой изъ присутствія, и видишь, что въ грязи на дорогѣ родитель въ безчувствіи валяется. Однако, послѣ семи мѣсяцевъ пришлось мнѣ ужъ тошно. Собрался я съ духомъ, пошелъ къ начальнику, доложилъ ему, что такъ и такъ, не только въ приличномъ видѣ себя содержать, но и пропитаться досыта способовъ не имѣю. Начальникъ былъ у меня человѣкъ добрый, посмотрѣлъ на меня, словно въ первый разъ увидѣлъ, не сказалъ ни слова, а въ слѣдующій мѣсяцъ и назначилъ пять цѣлковыхъ. Зато я за этого начальника и до сей поры Бога молю.

«Въ томъ судѣ, гдѣ я служилъ, не мало-таки бываю случаевъ, чтобъ попользоваться. Просители бываютъ: одинъ желаетъ, чтобъ просьбицу ему написали, другой—чтобъ секретарю объ немъ доложили, и за всякую послугу презентуютъ по силѣ-возможности. Иной смышленый писецъ такимъ манеромъ полтинникъ въ одно утро выработаетъ, ну, и можно ему безъ нужды прожить. А я никакъ не могу къ эвтому дѣлу приспособиться; робокъ я, что ли, или сноровки нѣтъ, только двугривенные какъ-то нейдутъ въ мой карманъ. Въ другихъ судахъ кружки такія бываютъ, что всякій проситель туда приношеніе свое класть долженъ: это заведеніе очень хорошее. Потому какъ тутъ никому не завидно, и всякій свою часть зараньше знаетъ. Однако, для меня и пяти цѣлковыхъ было предовольно, и не попутай меня лукавый, такъ, кажется, и желать больше не надо. Жизнь въ нашемъ городѣ очень ужъ дешева. Объ ину пору,

особливо зимой, пудъ говядины только двадцать копеекъ стоитъ; конечно, говядина арестантская—такъ она и называется—однако, все-таки жить можно. За квартиру съ ѣдой и съ мытьемъ платилъ я хозяйкѣ два съ полтиной въ мѣсяцъ; разумѣется, *бламанже* не давали, а сытъ, впрочемъ, бывалъ завсегда. Полтора рубля въ мѣсяцъ откладывалъ на платье и на сапоги, а рубль оставался на прихоти... Жить можно.

«Въ судѣ у насъ служба хорошая, только запахъ иногда несноснѣйшій, особливо въ канцелярской каморѣ. Комнатка маленькая, а набьется туда приказныхъ да просителей — видимо-невидимо. Иной съ похмелья, винищемъ отъ него несетъ, даже сердце воротитъ: такъ не хорошо! Выйдешь оттуда на вольный воздухъ, такъ словно въ тюрьмѣ цѣлый годъ высидѣлъ: глаза отъ свѣта рѣжетъ, голова кружится, даже руки-ноги дрожатъ. Служатъ всякіе люди, а больше пьяница или озорникъ. Бываютъ и хорошіе люди, только имъ не родъ, да и не долговѣчны они: сейчасъ какую-ни-на-есть каверзу сочинятъ или такіе подкопы подведутъ, что безпремѣнно погибнуть слѣдуетъ.

«Для примѣра доложу хоть объ одномъ засѣдателѣ. Служилъ онъ у насъ, и былъ человѣкъ честный и непьющій. Самъ губернаторъ его такимъ зналъ, да затѣмъ и въ судъ опредѣлилъ, будто замѣсто своихъ глазъ. Стало-быть, и сила на его сторонѣ была, а все-таки долго не выдержалъ: угомонили такъ, что въ силу великую и дѣло-то затушили. Дѣло это очень любопытное. Случилась въ нашемъ уѣздѣ лѣсная порубка; ну, разумѣется, слѣдствіе. Порубка была важная, и назначили цѣлую комиссію, а презусомъ въ нее этого засѣдателя. Подходили къ нему со всѣхъ сторонъ: и на деньги, и на величанье пробовали—нейдетъ да и все тутъ. Видятъ парни, что кругомъ попались, а надо какъ-нибудь дѣло поправить. Вотъ и задумали они предсѣдателя такимъ манеромъ опакостить, чтобъ ему слѣдователемъ оставаться было невозможно. Прочіе члены были всѣ на ихъ сторонѣ; приговорили они къ себѣ еще одного мужика богатаго и выкинули сообща преехиднѣйшую штуку. Ѣдетъ какъ-то Петръ Гаврилычъ, засѣдатель-то, мимо села, въ которомъ жилъ тотъ мужикъ; время было вечернее, чай пить надо; онъ и заѣхалъ къ мужику, а съ нимъ и вся комиссія. Только тотъ очень радъ, не знаетъ, какъ угостить, чѣмъ употчивать дорогихъ гостей; достаетъ онъ бутылку шипучаго и подаетъ чиновникамъ въ золотыхъ ста-

канчикахъ. Выпили они; напились и чаю; только депутатъ тутъ одинъ былъ: все около Петра Гаврилыча лабзится, и душкой-то его называетъ, и христіянскою-то добродѣтелью,— цѣловаться даже лѣзетъ. Петръ Гаврилычъ и поддался; самъ сталъ съ ними дружелюбничать да обниматься, а депутатъ, не будь простъ, возьми да и сунь ему, во время обниманья, изъ своего рукава въ задній карманъ одинъ стаканчикъ. Хорошо. Сидятъ они, жуируютъ; только какъ надо ужъ имъ собираться, входитъ хозяинъ и объявляетъ, что у него одинъ стаканчикъ пропалъ. Гости переглянулись между собой, а Петръ Гаврилычъ, по горячности своей, даже вспылили.

«— Что-жъ, говоритъ, развѣ ты насъ, что ли, подозрѣваешь, подлецъ ты этакой?

«— Васъ не васъ,—отвѣчаетъ хозяинъ:—а воля ваша, стаканчика, кромѣ вашихъ благородій, украсти некому.

«— А и точно,—подхватилъ тутъ тотъ самый депутатъ, который все обнимался да цѣловался съ Петромъ Гаврилычемъ:—и точно я будто видѣлъ, какъ Петръ Гаврилычъ въ карманъ чтой-то хоронилъ.

«Стали его тутъ, ваше высокоблагородіе, обыскивать, и, разумѣется, стаканъ въ заднемъ карманѣ сыскался. Тутъ же составили актъ, а на другой день пошло отъ всей комиссіи донесеніе, что такъ, молъ, и такъ, считаютъ себѣ за безчестіе производить дѣло съ воромъ и мошенникомъ. Ну, разумѣется, устранили.

«Такъ вотъ какіе иногда подкопы бываютъ, что и сильный человѣкъ не выдержитъ и предусмотрѣть ничего не можетъ.

«Начальники были у меня всякіе. Иной и такъ себя держалъ, что и себя не забываетъ, и совѣсть тоже знаетъ; а другой только объ себѣ объ одномъ и думаетъ, какъ бы то-есть свою потребность во всемъ удовлетворить. Вотъ теперь у насъ исправникъ Иванъ Демьянычъ, Живоглотомъ прозывается, такъ этотъ, пожалуй, фальшивую бумажку подкинуть готовъ, только бы дѣло ему затѣять да ограбить кого-ни-на-есть. А былъ до него и другого сорта исправникъ, тотъ самый, который мнѣ жалованье прибавилъ — этотъ только и пользы имѣлъ, что съ откупа, да и то потому, что откупъ — откупъ и есть, съ него не взять нельзя.

«А иногда и такіе бывали, что никакого то-есть дѣла не понимаетъ: весь земскій судъ съ ногъ собьетъ, бѣгаетъ,

кричитъ, а дѣло, все-таки, ни на пядь впередъ не подвигается. Съ этакимъ служить хуже всего, потому что у него просто никакого понятія нѣтъ. Вотъ хоть бы Михайло Трофимычъ: «я васъ», да «я васъ»—только, бывало, и слышишь отъ него, а ни научить, ни наставить ничему не можетъ, даже объяснить не въ силахъ, чего ему желается. Пришла къ намъ однажды въ судъ дѣвка. Еще было ли ей двѣнадцать лѣтъ, какъ пришлось ей давать какое-то свидѣтельское показаніе при слѣдствіи. Обробѣла, что ли, дѣвочка, или просто изъ-за своей глупости, только показала она совсѣмъ не то, что по дѣлу слѣдуетъ, и достаточно въ этомъ изобличена. Слѣдствіе это, должно полагать, очень важное было, потому что тѣмъ временемъ, пока дѣло шло, дѣвочкѣ стукнуло ужъ осьмнадцать лѣтъ, и присваталъ ее за себя человѣкъ хорошій. На ту пору какъ быть и рѣшеніе вышло такого рода, что дѣвочку, по малолѣтствію ея, за фальшивое показаніе, подвергнуть наказанію розгами семью ударами. Пришла дѣвка въ судъ, воетъ голосомъ: и раздѣваться-то ей не хочется, да и женихъ отказывается: «не хочу, говоритъ, сѣченую за себя брать». Извѣстно—къ Михайлѣ Трофимычу: нельзя ли, молъ, явить божескую милость, отъ стыда избавить. Михайло Трофимычъ—человѣкъ онъ, нечего сказать, сердечный—сталъ на дыбы, зарычалъ на всю канцелярію: «и такіе-то вы, и сякіе-то»—точно мы и въ самомъ дѣлѣ тутъ виноваты. Твердитъ одно: представить въ губернское правленіе, да и все тутъ.

«— Да помилуйте, Михайло Трофимычъ,—говоритъ ему секретарь:—съ чѣмъ это сообразно-съ? Вѣдь насъ за такое неподлежательное представленіе оштрафуютъ.

«Такъ куда! Затопалъ ногами и слышать никакихъ резоновъ не хочетъ! И точно, представили. Расписалъ онъ это самымъ нанжалостнѣйшимъ образомъ: и про женитьбу-то упомянулъ, и про стыдъ дѣвическій, и про лѣта молодыя, неопытныя — все тутъ было; только въ настоящую точку, въ ту самую, въ которую спервоначала бить слѣдовало, попасть забылъ: не упомянулъ, что приговоръ на предметъ двѣнадцатилѣтней, а не осьмнадцатилѣтней дѣвки написанъ. Ну, и вышло точно такъ, какъ секретарь сказывалъ. Дѣвку велѣли высѣчь, а суду, за обремененіе начальства вопросами, не представляющими никакой важности, сдѣлали строгое замѣчаніе, съ внушеніемъ, дабы впредь посторонними и до дѣла не относящимися предметами не увлекался, а поступалъ бы на точномъ основаніи законовъ.

Даже самъ Михайло Трофимычъ изумился, какъ оно тамъ складно было написано.

«Другой бы—не Михайло Трофимычъ, а примѣрно хоть Живоглотъ—это дѣло тихимъ манеромъ бы сдѣлалъ: дѣвку-то бы не высѣкъ, а начальству бы донесъ, что высѣкъ. А Михайло Трофимычъ все, знаете, хочетъ вверхъ дномъ перевернуть. Ужъ сколько его сами родители этой дѣвочки просили, чтобъ онъ изъ себя не выходилъ, такъ нѣтъ! Еще счастье дѣвкѣ, что на ту пору Михайла Трофимыча въ окружные отъ насъ переманили, а къ намъ Живоглота прислали. Этотъ какъ посмотрѣлъ на дѣло, такъ даже обругалъ Михайла Трофимыча: «Экая, говоритъ, этотъ Сюртуковъ слякоть!» Разумѣется, дѣвку не высѣкли; только на этотъ разъ ужъ безъ приношенія не обошлось.

«Такъ вотъ каково наше житье-бытье. Разумѣется, и у насъ не безъ того, чтобъ иногда не поразвлечься: тоже собираемся другъ у дружки, да нельзя сказать, чтобъ весело на этихъ собраніяхъ было. Первое дѣло, что всѣ мы другъ дружку ужъ больно близко знаемъ; второе дѣло, что новаго ничего почесть не случается, слѣдственно говорить не объ чемъ; а третье дѣло, капиталовъ у насъ никакихъ нѣтъ, а потому и угощеньевъ не водится. Васъ вотъ, ваше высокоблагородіе, оно, можетъ, и разсмѣшитъ, какъ разсказать вамъ, какимъ манеромъ лѣкарь нашъ, въ холеру, мужичковъ съ однимъ сифономъ лѣчить ѣздилъ, да по двугривенному съ души отступного бралъ, а насъ оно и не смѣшитъ, потому какъ мы къ эвтому дѣлу ужъ сызмальства привычны. Во грѣхѣ, говорятъ, человѣкъ рожденъ, ну, и мы, значитъ, въ кляузѣ рождены, кляузой повиты, съ кляузой и въ гробъ пойдемъ. Значитъ, для нашего брата, что разговоромъ заниматься, что изъ пустого въ порожнее переливать — все одинъ сюжетъ. Пожалуй, иной и начнетъ разсказывать что-ни-на-есть, однако, кромѣ «таперича» да «тово», ничего изъ него по времени и не вышибешь, потому какъ у него и въ головѣ ничего другого не обрѣтается. Вотъ мы, значитъ, посидимъ-посидимъ, помолчимъ-помолчимъ, да и разойдемся по домамъ, будто и Богъ знаетъ какое веселье у насъ было.

«Думывалъ я иногда будто самъ про себя, что бы изъ меня вышло, если-бъ я былъ, примѣрно, богатъ или въ чинахъ большихъ. И однако, бьешься иной разъ цѣлую ночь думавши, а все ничего не выдумаешь. Не лѣзетъ это въ голову никакое воображенье, да и все тутъ. Окромѣ но-

ваго вицмундира да развѣ чаю въ трактирѣ напиться—ничего другого не сообразишь. Иное время даже зло тебя разберетъ, что вотъ и хотѣнья-то никакого у тебя нѣтъ; однако, какъ придетъ зло, такъ и уйдетъ, потому что и самъ скорѣе во снѣ и въ трудахъ забыться стараешься.

«И за всѣмъ тѣмъ ухитрился-таки я жениться. Видно ужъ это въ судьбахъ такъ записано, что человѣку изъ мученья въ мученье произойти нужно, чтобы какимъ-ни-наесть концомъ рѣшиться. Какъ посужу я теперь, и причины-то никакой жениться не было, потому что нравиться она мнѣ не нравилась, а такъ, баловство одно.

«Жилъ на одномъ со мной дворѣ приказный отставной, такая ли горькая пьяница, что и Господи упаси. Жена у него померла, а семья осталась послѣ нея большая, и все малъ-мала меньше: старше всѣхъ была дочь, да и той врядъ ли больше семнадцати лѣтъ было. Пропитать ему семью было нечѣмъ, потому что если и строчилъ онъ кому просьбы или ябеды, такъ деньги получалъ за это самыя малыя, да и тѣ почесть безъ остачи въ кабакѣ пропивалъ. Одно слово, въ отчаянности жилъ. Ужъ на что бывалъ я въ нуждѣ и скорби, а этакой нужды и я не видывалъ: въ домѣ иной день даже корки черствой не увидишь. А сбирать ходить имъ тоже не приводилось, потому что каковы-ни-на-есть, а все же оберъ-офицерскія дѣти. Приведутъ, бывало. самого старика изъ кабака почти мертваго, такъ онъ проспится ночь, а на другой день и сидитъ на крылечкѣ, ровно мутный весь, ни однимъ суставомъ не шевелитъ. Кажется, кабы оставили его, онъ такъ бы и закоченѣлъ тутъ не ѣвши: тоска, знаете, на него такая находила, что смотрѣть даже невозможно. Поглядятъ-поглядятъ домашніе, что онъ такимъ манеромъ и часъ, и другой, и третій сидитъ, себя не понимаючи,—ну, и сведутъ опять въ кабакъ, чтобы, по крайности, хошь душа въ немъ показалась. Такъ и отойдетъ за шкаликомъ.

«Дочка у него въ дома рукодѣльничать хаживала. Однако, въ маленькомъ городишкѣ это ремесло самое дрянное, потому что у насъ и платьевъ-то носить некому. Выработаешь ли, нѣтъ ли, три цѣлковыхъ въ мѣсяцъ—тутъ и пей, и ѣшь. Изъ себя она была развѣ молода только, а то и званія красоты нѣтъ. Я съ ней почесть что и не встрѣчался никогда, потому что ни ей, ни мнѣ не до разговоровъ было.

«Однако, сижу я однажды, въ воскресный день, у окна;

смотрю, идетъ она по двору, остановилась, маленько будто раздумалась, да потомъ и подошла прямо ко мнѣ.

«— А что, говоритъ, Алексѣй Васильичъ, нѣтъ ли у васъ хорошаго человѣка на примѣтѣ?

«— Нѣтъ; а зачѣмъ вамъ?

«— Да такъ...

«— Бога вы не боитесь, Авдотья Петровна, — говорю я:—неужто ужъ бѣдность-то въ васъ и христіянство погубила?

«— Хорошо вамъ, Алексѣй Васильичъ, такъ-то говорить! Извѣстно, вы безъ горя живете, а мнѣ, пожалуй, и задавиться—такъ въ ту же пору; сами, чай, знаете, каково мое житье! Намеднись вонъ работала-работала на городничиху, цѣлую недѣлю рукъ не покладала, а пришла нонче за расчетомъ, такъ: какъ ты смѣешь меня тревожить, мерзавка ты этакая? Ты, молъ, развѣ не знаешь, что я всему городу начальница? Ну, и ушла я съ тѣмъ... а чѣмъ завтра робятъ-то накормлю?

«— Воля ваша, Авдотья Петровна, говорю я: — а въ намѣреніи вашемъ я вамъ не помощникъ.

«На томъ мы съ ней и разошлись. Однако, послѣ этого разговора дѣвка у меня вотъ тутъ засѣла. Больно стало мнѣ ее жалко. «Вотъ, думаю, мы жалуемся на свою участь горькую, а каково ей-то, сиротѣ безпріютной, одной, въ слабости женской, себя наблюдать да и семью призирать!» И сталъ я, съ этой самой поры, все объ ней объ одной раздумывать, какъ бы то-есть душу невинную отъ грѣха избавить. Жениться мнѣ на ней самому? — нечѣмъ жить будетъ; а между тѣмъ, и такой еще расчетъ въ головѣ держу, что вотъ у меня пять рублей въ мѣсяцъ есть, да она рубля съ три выработаетъ, а можетъ и всѣ пять найдутся—жить-то и можно. Конечно, семья у ней больно ужъ велика, ну, да Богъ не безъ милости: можетъ, и разсуемъ куда-нибудь мальчиковъ.

«Надумался я такимъ манеромъ, и какъ увидѣлъ однажды, что идетъ она по двору:—А что, говорю, Авдотья Петровна, за меня замужъ пойдете?

«Такъ она, ваше высокоблагородіе, даже въ слезы ударилась и сказать-то ничего не могла . . . . . .

. . . . . .

«Пошелъ я на другой день къ начальнику, изложилъ ему все дѣло; ну, онъ хошь и Живоглотъ прозывается (Живоглотъ и есть), а моему дѣлу не препятствовалъ. «Съ

Богомъ! говоритъ, крапивное сѣмя размножать—это, значитъ, отечеству украшеніе дѣлать». Устроилъ даже подписку на бѣдность, и накидали намъ въ ту пору двугривенными рублей около двадцати. «Да ты, говоритъ, смотри, на свадьбу весь судъ позови».

«Ну, и точно, сыграли мы свадьбу какъ слѣдуетъ. Прекословить начальнику я не осмѣлился, всѣхъ приказныхъ позвалъ, даже *самъ* пріѣхалъ. Только по этому случаю и угощенье нужно было такое сдѣлать, чтобъ не стыдно гостямъ было,—и вышло, ваше высокоблагородіе, такъ, что не только изъ двадцати-то рублей ничего намъ не осталось, а и самъ еще я сдѣлался рублей съ пятокъ одолженнымъ.

«Стали мы жить всѣ сообща, и нече сказать, на Дуню пожаловаться грѣхъ было. Бабеночка она оказалась смирная, работящая, хоть куда. Одни бы мы безъ нужды прожили, да вотъ семья-то ея больно насъ одолѣвала, да и родитель Петръ Петровичъ тоже много безпокойствія дѣлалъ. Ну, и то опять: покуда жена съ хозяйствомъ возится, прибираетъ, обмываетъ да стряпаетъ—работать-то и некогда. Вмѣсто пяти-то рублей, выходитъ, что и трехъ словно мы не насчитали, и дошло у насъ до того, что ѣсть нечего стало. Это, ваше высокоблагородіе, даже не всякому понять возможно, какъ это ничего-таки ѣсть въ домѣ нѣтъ, а между тѣмъ, это истинная правда. И дошли мы до этой истинной правды очень скоро: не дальше какъ за другую половину мѣсяца перевалились. Другой подумаетъ, что мы сами этому дѣлу причинны, что вотъ, дескать, крапивное сѣмя, на первыхъ порахъ пожуировать захотѣлъ, облѣнился, обабился — такъ и того не было! Просто само собой такъ подошло. Пыталъ я раздумывать, какимъ бы манеромъ дѣлу этому пособить, однако ничего не выдумалъ. Вы, сударь, изволите это понять, какъ оно прискорбно въ такое положеніе попасть черезъ три недѣли послѣ женитьбы. Тутъ бы, кажется, и пожить-то въ спокойствіи, а у насъ хлѣба нѣтъ.

«Однажды иду я изъ присутствія и думаю про себя: «Господи! не сгубилъ я ничьей души, не воръ я, не сквернословъ, служу, кажется, свое дѣло исполняю—и вотъ одолжаюсь помереть съ голода». Иду я это, рѣка тутъ близко: кажется, махнуть только, и обѣдать не нужно будетъ никогда, да вотъ силы никакой нѣту; надежда не надежда, а просто, какъ бы сказать, боюсь да и все тутъ, а чего

боюсь—и самъ не понимаю. Шелъ я мимо кабака: тамъ тятенька Петръ Петровичъ присутствуетъ; увидѣлъ меня—въ окошко манитъ. Я было-призадумался, да потомъ вижу, что ждать-то, видно, нечего, перекрестился и пошелъ. Тятенька просьбу или актъ тамъ какой-то сочиняли; нужно было имъ свидѣтеля — ну, и попалъ я во свидѣтели за четвертакъ. Это бы еще ничего, пожалуй, да вотъ что не хорошо: получивши четвертакъ, я на гривенникъ выпилъ и тятеньку угостилъ. Только съ непривычки, что ли, у меня словно всѣ кости съ перваго же шкалика перешибло, и пошелъ я домой ровно самъ не свой.

«Вино, ваше высокоблагородіе, тѣмъ не хорошо, что разъ его выпьешь, такъ и въ другой разъ непремѣнно выпить надо, а остановить никакъ невозможно, потому что оно словно кругомъ тебя окружитъ.

«Курилъ я такимъ родомъ съ мѣсяцъ-больше; только и трезвъ былъ, покуда утромъ на службѣ сидишь. Жена, извѣстно, убиваться стала; пошли тутъ покоры да попреки.

«Въ это самое время производилось у насъ на судѣ дѣло. То-есть дѣло это и Богъ знаетъ когда началось, потому что оно, коли такъ разсудить, и не дѣло совсѣмъ, а просто надзоръ полицейскій. Надзоръ этотъ такая, сударь, вещь, что насчетъ его, можно сказать, всѣ полицейскіе десятки годовъ продовольствуются. Жилъ въ нашемъ уѣздѣ мужикъ, и промышлялъ онъ, ваше высокоблагородіе, «учительскимъ» ремесломъ, или, попросту сказать, старыми книгами торговалъ и былъ у прочихъ крестьянъ замѣсто какъ отца духовнаго. Мужикъ онъ былъ богатый, и уличить его, слѣдовательно, никакимъ образомъ было нельзя, потому что отвѣтъ у него завсегда былъ на ассигнаціяхъ. Исправникъ нашъ былъ съ нимъ первѣйшій другъ и пріятель: ходили даже слухи, что и въ торговлѣ мужика часть Живоглотскаго капитала имѣется.

«Сижу я однажды въ судѣ, занимаюсь; только подходитъ ко мнѣ нашъ столоначальникъ Коревиковъ и отзываетъ меня въ сторону.

«— Хочешь, говоритъ, хорошій кушъ получить?

«Ну, конечно, хорошаго куша для-че не получить!

«— Ну, такъ, говоритъ, слушай. Знаешь Селифонта Гаврилова!

«— Какъ не знать!

«— Слѣдственно, знаешь ты и то, что онъ подъ надзоромъ находится, и хоша ему все съ рукъ сходитъ, однако

онъ ежечасно пребываетъ въ надеждѣ, что возьмутъ его въ тюрьму. Вотъ и удумали мы съ Иваномъ Кирилычемъ (тоже столоначальникъ былъ), чтобы его то-есть пострашать... Только намъ вдвоемъ это дѣло соорудить невозможно: первое, потому, что онъ насъ обоихъ довольно знаетъ; а второе, потому, что тутъ Иванъ-Демьянычевымъ (Живоглотовымъ) именемъ дѣйствовать нельзя—не повѣритъ; а надо ли, нѣтъ ли дѣйствовать намъ ужъ отъ имени губернскаго начальства...

«— Да я-то при чемъ тутъ буду?

«— А вотъ слушай. Удумали мы это такимъ манеромъ, что тебя въ уѣздѣ никто не знаетъ, ну, и быть тебѣ, стало-быть, замѣсто губернскаго чиновника... Мы и указъ такой напишемъ, чтобъ ему то-есть предъявить. А чтобъ ему сумнѣнья насчетъ тебя не было, такъ и солдата такого приговорили, который будетъ при тебѣ вмѣсто разсыльнаго... Только ты смотри, не обмани насъ! Это дѣло на чести дѣлай: что дастъ, что чтобъ поровну!

«И точно, меня же заставили написать и указъ, и дали мнѣ его въ руки. А въ указѣ только и изображено было: «*Слушали:* Рапортъ черноборскаго земскаго исправника Маремьянкина отъ 12 ноября 18... года, за № 6713, и *справку. Приказали:* Велѣть ему, Маремьянкину, для дальнѣйшихъ дѣйствій, ожидать чиновника особыхъ порученій Сабуневича, а вамъ, господину Сабуневичу, предписать, немедленно прибывъ въ село Березино, что на Новомъ (Черноборскаго уѣзда), и изловивъ тамъ онаго совратителя Селифонта Гаврилова Щелкоперова, произвести о всѣхъ означенныхъ обстоятельствахъ наистрожайшее слѣдствіе, подвергнувъ, буде встрѣтится надобность, самого Щелкоперова тюремному заключенію».

«Подъ вечеръ пришелъ ко мнѣ тотъ самый солдатъ, котораго они рекомендовали, и лошадей тройку привелъ.

«— А что, говорю я, служба, какъ бы не прорваться намъ на эвтомъ дѣлѣ!

«— Ничего, говоритъ, ваше благородіе, и не въ такихъ передѣлкахъ бывали. Только вы посмѣлѣе наступайте.

«Пріѣхали мы въ село поздно, когда тамъ ужъ и спать полегли. Остановились, какъ слѣдуетъ, у овиновъ, чтобъ по деревнѣ слуху не было, и вышли изъ саней. Подходимъ къ дому Щелкоперовскому, а тамъ и огня нигдѣ нѣтъ; начали стучаться, такъ насилу голосъ изъ избы подали.

«— Кто тамъ?—кричитъ изъ окна работница.

«— Отворяй калитку!—говоритъ солдатъ.—Видишь, губернаторскій чиновникъ за хозяиномъ пріѣхалъ.

«Засвѣтили въ домѣ огня, и вижу я съ улицы-то, какъ они по горницамъ забѣгали: извѣстно, прибрать что-ни-естъ надо. Хозяинъ же былъ на этотъ счетъ ужъ нашустренъ и зналъ, за какою причиной въ ночную пору чиновникъ наѣхалъ. Морили они насъ на морозѣ съ четверть часа; наконецъ вышелъ къ намъ самъ хозяинъ.

«— Добро пожаловать, говоритъ, гости дорогіе, добро пожаловать; давненько-таки насъ посѣщать не изволили.

«И самъ, знаете, смѣется, точно и взаправду ему смѣшно, а я ужъ вижу, что такъ бы, кажется, и перегрызъ онъ горло, если-бъ только власть его была. Да мнѣ, впрочемъ, что! Пожалуй, въ нутрѣ-то у себя хоть какъ хочешь кипятись! Потому что тамъ хочь и мыши у тебя на сердцѣ скребутъ, а по наружности-то все свою музыку пой!

«— Ты Щелкоперовъ?—спрашиваю я, какъ мы вошли въ горницу.

«— Я, говоритъ, Щелкоперовъ. Да вы, вѣрно, ваше благородіе, въ первый разъ наши мѣста осчастливили, что меня не признаете?

«— Да, говорю, въ первый; я, молъ, губернскій!

«— Такъ-съ; а не позволите ли поспрошать вашу милость, за какимъ то-есть предметомъ въ нашу сторону изволили пожаловать?

«— А вотъ вели поначалу водки да закусить подать, а потомъ и будемъ толковать.

«Выпилъ я и закусилъ. Хозяинъ, вижу, ходитъ весь нахмуренный и ужъ больно ему, должно-быть, невтерпёжъ приходится, потому что только и дѣла дѣлаетъ, что изъ горницы выходитъ и опять въ горницу придетъ.

«— А не до насъ ли, говоритъ, ваше благородіе, касательство имѣть изволите?

«— А что?

«— Да такъ-съ; ежели ужъ до насъ, такъ не-чѣмъ вамъ понапрасну себя безпокоить, не будетъ ли такая ваша милость, лучше за разъ объявить, какое ваше на этотъ счетъ желаніе...

«— Да желаніе мое будетъ большое, потому что и касательство у меня не малое.

«— А какъ, напримѣръ-съ?

«— Да хоша бы тебя въ острогъ посадить.

«Онъ смѣшался, даже помертвѣлъ весь и словно осина затрясся.

«— Да, говоритъ, это точно касательство не малое... И документы, чай, у вашего благородія насчетъ этого есть?.. Вы меня, старика, не обезсудьте, что я въ этомъ дѣлѣ сумнѣніе имѣю: дѣло-то оно такое, что къ намъ словно очень ужъ близко подходитъ, да и Иванъ Демьянычъ ничего насъ о такой напасти не предувѣдомляли...

«Я подалъ ему бумагу; онъ раза съ три прочелъ ее.

«— Больно ужъ мудрено что-то нынче пишутъ, — сказалъ онъ, кладя бумагу на столъ:—*слушали*—ровно ничего не слушали, а *приказали*—ровно съ колокольни слетѣли. Что-жъ это, ваше благородіе, съ нами такое будетъ?

«— А вотъ поговоримъ, какъ Богъ по душѣ положитъ.

«— Да объ чемъ же ты слѣдствіе-то производить будешь? Вѣдь тутъ ничего не сказано.

«— Это ужъ мое дѣло,—говорю я:—ты только сказывай, согласенъ ли ты въ острогъ идти?

«— Что-жъ, видно ужъ Господу Богу такъ угодно; откупаться мнѣ, воля ваша, нечѣмъ; почему какъ и денегъ брать откуда не знаемъ. Эта штука, надзоръ, самая хитрая, это точно! Платишь этта платишь—инъ и впрямь отъ своихъ дѣловъ отставать приходится. А ты, ваше благородіе, много ли получить желаешь?

«— Да сотъ съ пятокъ больше получить слѣдуетъ.

«Онъ почесался.

«— Ну, ужъ штука, говоритъ, платимъ, кажется, и Ивану Демьянычу, платимъ и въ станъ; нѣтъ даже той собаки, которой бы платить не приходилось—ну, и мало!

«Говоритъ онъ это, а самъ опять на бумагу смотритъ, словно разстаться ему съ нею жаль.

«— Да что, говоритъ, развѣ у васъ нонче другой совѣтникъ, что надпись словно тутъ другая?

«— Нѣтъ, говорю, совѣтникъ тотъ же, да это указъ-отъ не подлинный, а копія...

«Только сказалъ я это, должно-быть, неестественно, потому что онъ вдругъ сомнѣваться началъ.

«— Какъ, говоритъ, копія? Тутъ и скрѣпы всѣ налицо, а нигдѣ копіи не значится.

«Да и смотритъ самъ мнѣ въ глаза, а я сижу — чего ужъ!—ни живъ, ни мертвъ.

«— А вѣдь ты мошенникъ!—говоритъ.

«Палъ я тутъ на колѣни, просилъ простить; сказывалъ

и про участь свою горькую; однако, нѣтъ. Взяли они меня и съ солдатомъ, да на тѣхъ же лошадяхъ и отправили къ Ивану Демьянычу».

Дорога.

(ВМѢСТО ЭПИЛОГА).

Я ѣду. Лошади быстро несутся по первому снѣгу; колокольчикъ почти не звенитъ, а словно жужжитъ отъ быстроты движенія; сплошное облако серебристой пыли подымается отъ взбрасываемаго лошадиными копытами снѣга, закрывая собою и сани, и пассажировъ, и самыхъ лошадей... Красивая картина! Да это точно, что картина красива, однако, не для путника, который имѣетъ несчастіе въ ней фигурировать. Эта снѣжная пыль, которая со стороны кажется серебристымъ облакомъ, влечетъ за собою большія неудобства. Во-первыхъ, она слѣпитъ и рѣжетъ путнику глаза; во-вторыхъ, совершенно лишаетъ его удовольствія открыть ротъ, что̀ для многихъ составляетъ существенную потребность; въ-третьихъ, вообще содержитъ человѣка въ какомъ-то насильственномъ заключеніи, не дозволяя ему ни распахнуться, ни высморкать носъ... Господи! да скоро ли же станція?

Ѣду я и думаю, что на этой станціи у смотрителя жена, должно-быть, хорошенькая. Почему я это думаю—не могу объяснить и самъ, но что онъ женатъ и что жена у него хорошенькая, это такъ для меня несомнѣнно, какъ будто бы я видѣлъ ее гдѣ-то своими глазами. А смотритель *непремѣнно* долженъ быть почтенный старикъ, у котораго жена не столько жена, сколько родъ дочери, взятой для украшенія его одинокаго существованія...

— Гриша! ромъ у насъ взятъ съ собою?—восклицаю я, обуреваемый какою-то канальскою идеей.

— А когда же мы безъ рому ѣздимъ?—отвѣчаетъ Гриша, огрызаясь отъ холода.

— И чай есть?—спрашиваю я Гришу не безъ тайнаго намѣренія побѣсить его; но онъ только жмется на облучкѣ и не считаетъ даже за нужное отвѣчать.

Между тѣмъ, спускаются на землю сумерки, и сверху начинаетъ падать снѣгъ. Снѣгъ этотъ таетъ на моемъ лицѣ и образуетъ водные потоки, которые самымъ непріятнымъ образомъ ползутъ мнѣ за галстукъ. Сверхъ того, съ нѣко-

тораго времени начинаются ухабы, которые окончательно разстраиваютъ мой дорожный туалетъ.

— Стой! — кричу я ямщику и привстаю въ саняхъ, чтобы покрѣпче запахнуться.—Отчего тутъ столько ухабовъ пошло?

— Да вотъ черти съ хлѣбомъ въ Богородско тянутся, всю дорогу съ первопута исковеркали!—отвѣчаетъ ямщикъ и, злобно грозя кнутомъ тянущемуся мимо насъ обозу, прибавляетъ:—Счастливъ вашъ Богъ, шельмы вы экіе, что баринъ остановиться велѣлъ: насыпалъ бы я вамъ въ шею горячихъ!

Но я уже закутался; колокольчикъ опять звенитъ, лошади опять мчатся, кидая ногами цѣлыя глыбы снѣга... Господи! да скоро ли же станція?

«Отчего же, однако, онъ назвалъ ихъ шельмами,—думаю я:—и чѣмъ они провинились передъ нимъ, что хлѣбъ въ Богородское везутъ?» Вопросъ этотъ сильно меня интересуетъ, и я вообще нахожу, что ямщикъ поступилъ крайне неосновательно, обругавъ мужиковъ.—«Почему же онъ обругалъ ихъ?—спрашиваю я себя.—Можетъ-быть, думаетъ, что вотъ въ ямщики отъ начальства пожалованъ, такъ ужъ, стало-быть, въ нѣкоторомъ смыслѣ чиновникъ, а если чиновникъ, то высшій организмъ, а если высшій организмъ, то имѣетъ полное право отводить рукою все, что попадется на дорогѣ: «ступай, дескать, mon cher, ты въ канаву; ты развѣ не видишь, mon cher, что тутъ въ нѣкоторомъ смыслѣ элефантъ ѣдетъ». И такъ все это тихо, вѣжливымъ манеромъ... Но скажите, однакожъ, на милость, отчего мужикъ, простѣйшій мужикъ, такъ легко претворяется въ чиновника? Оттого ли, что чиновнику веселѣе жить на свѣтѣ? Или оттого, что прежде сотворенъ былъ чиновникъ, а потомъ уже человѣкъ, и по этой причинѣ самый инстинктъ или, лучше сказать, естество заставляетъ человѣка тяготѣть въ чиновника?

That is the question! сказалъ Гамлетъ, а Гамлетъ былъ отличный человѣкъ, и не поладилъ съ людьми потому только, что былъ слишкомъ страстный сторонникъ правды... вотъ хоть бы какъ Перегоренскій *). Хорошій былъ человѣкъ Гамлетъ, а закололъ же его Лаэртъ! Такъ и тебя заколютъ, другъ Перегоренскій, и кто же заколетъ: тотъ самый зло-

*) См. «Прошлыя времена», разсказъ третій, «Въ острогѣ», посѣщеніе второе.

дѣй, котораго ты называлъ рабомъ лукавымъ и прелюбодѣйнымъ въ просьбѣ, адресованной на имя его превосходительства, господина начальника губерніи.

И опять-таки вѣдь это точно нельзя! Нельзя, мой любезный! Нельзя употреблять такія выраженія! Скажи ты это помягче, выразись, такъ сказать, бокомъ, ну, тогда дѣло другое! А то—злодѣй блудодѣйный! Нельзя, братецъ, этого нельзя!

И я самъ чувствую, что лицо у меня принимаетъ напряженно-убѣждающее выраженіе, и даже руки расходятся врозь. И внезапно въ умѣ моемъ проносится просьба, и такъ отчетливо, такъ ясно проносится!..

«Сего числа, въ десятомъ часу вечера,—пишетъ нѣкій истязуемый субъектъ:—пришедъ въ занимаемую мною въ городѣ Черноборскѣ квартиру, крестьянинъ села Лекминскаго Иванъ Савельевъ Бунчуковъ, и будучи онъ мнѣ одолженнымъ двадцать рублей серебромъ, стали мы разговаривать о разныхъ предметахъ, какъ приличествуетъ въ мирномъ и образованномъ обществѣ, *безъ всякой азартности и шума*. Посреди сего занятія ворвался въ мою квартиру *съ шумомъ и азартностью* городничій Желваковъ, и мня себя быть въ непристойномъ мѣстѣ (почему онъ сіе возмнилъ — неизвѣстно), вскричалъ: — А что вы тутъ дѣлаете.....? *) На что я съ умѣренностью и улыбкой отвѣчалъ:—Занимаемся бесѣдою, какъ прилично кроткимъ гражданамъ.—Но господинъ Желваковъ, не внявъ словамъ моимъ, вновь повторилъ..... **) и обозвалъ меня при этомъ ябедникомъ, давая тѣмъ чувствовать, якобы я для Ивана Савельева ябеду сочиняю.—А хоша бы и точно я писалъ жалобу для Ивана Савельева?—возразилъ я, не теряя присутствія духа, но съ прежнею кротостью. Тогда господинъ Желваковъ, разстегнувъ на себѣ, дабы не стѣсняться въ движеніяхъ, мундиръ, началъ Ивана Савельева бить изъ своихъ рукъ, окровянивъ при этомъ ему все лицо, и, исполнивъ сію прихоть, сказалъ мнѣ:—А до тебя я доберусь еще... ты... ***)—и уѣхалъ на именинный балъ къ стряпчему. А дабы не претерпѣвать мнѣ и на будущее время подобныхъ со стороны господина городничаго наѣздовъ, оскорбляющихъ честь гражданина... Ваше превосходительство! воззрите на стоны несчастнаго отца, глаза котораго полны слезъ отъ нанесеннаго господиномъ Желваковымъ оскорбле-

*) Точки въ подлинникѣ.
**) Точки въ подлинникѣ.
***) Точки въ подлинникѣ.

нія (и самъ не вижу, что̀ пишу), и оправдайте симъ репутацію благодѣтельнаго генія, которую весь обширный Крутогорскій край съ превеликимъ удовольствіемъ вамъ преподноситъ».

— Отчего же, братецъ, ты не пишешь вотъ такимъ образомъ?—говорю я Перегоренскому.—У тебя, братецъ, печень болитъ—вотъ что̀! А ты лѣчись, mon cher, лѣчись!

— Сторонись!—кричитъ навстрѣчу пьяный голосъ.

— Самъ сторонись!—отвѣчаетъ мой ямщикъ.—Не видишь, пошта ѣдетъ!

— Сторонись! — повторяетъ тотъ же голосъ, какъ-то взвизгивая.—Сторонись! убью!

— Что̀ такое? что̀ такое?—спрашивая я, очнувшись.

— Да вотъ писарь волостной ѣдетъ, ваше благородіе, да ишь, шельма, какъ реветъ съ пьяныхъ-то глазъ!

— Что-жъ ты не сторонишься?—кричу я ямщику встрѣчной повозки.

— А какъ тутъ сторониться будешь? Вишь, писарь пьяный за руки держитъ!

Вышелъ я изъ повозки и вижу: точно, человѣкъ стоитъ на колѣнкахъ въ повозкѣ и держитъ ямщика за руки.

— Что̀ же ты это дѣлаешь, пьяница?—спрашиваю я, подходя къ повозкѣ.

— Ѣду-ѣду не свищу, а наѣду не спущу!—отвѣчаетъ писарь сиплымъ отъ перепоя голосомъ.—Сторонись!

— Послушай, Иванъ Герасимычъ, — вступается мой ямщикъ:—чиновникъ вѣдь ѣдетъ!.. Не хорошо, Иванъ Герасимычъ, ты надъ своими куражься, любезный другъ, а чиновникъ, хошь какъ хошь, все онъ тебѣ чиновникъ...

— Чиновникъ? А что̀ мнѣ чиновникъ! Я здѣсь главный! Я здѣсь что̀ хочу... Сторонись!

— Сторонись!—говорю и я своему ямщику, скрѣпя сердце.

— Ахъ, вы!—восклицаетъ невольно Гриша, взглядывая на меня съ какимъ-то сожалѣніемъ.

И я, дѣйствительно, сконфуженъ; я чувствую себя совершенно уничтоженнымъ, и между тѣмъ, какъ въ ушахъ моихъ снова начинаетъ раздаваться скрипъ полозьевъ, мнѣ все мерещится: что̀ подумаетъ ямщикъ? и какъ это народъ такую волю взялъ?

И вотъ опять передо мною дорога,—дорога съ ея березовыми аллеями, съ ея раскинутыми по сторонамъ равнинами, Богъ вѣсть куда тянущимися. Какъ пріятно смотрятъ эти аллеи лѣтомъ, какъ роскошно цвѣтутъ и зеленѣютъ за

ними равнины! А теперь сучья на березахъ поникли и оцѣпенѣли; ни вѣтеръ, ни стаи тетеревовъ, съ шумомъ опускающіяся на нихъ, не въ состояніи разбудить ихъ. Равнины тоже не дышатъ; гдѣ-гдѣ всколышется круговымъ вѣтромъ покрывающій ихъ бѣлый саванъ, и кажется утомленному путнику, что вотъ-вотъ встанетъ мертвецъ изъ подъ савана... Грустно.

А грустно потому, что кругомъ все такъ тихо, такъ мертво, что невольно и самому припадаетъ какое-то страстное желаніе умереть...

Я оставляю Крутогорскъ окончательно: предо мною растворяются двери новой жизни, той полной жизни, о которой я мечталъ, къ которой устремлялся всѣми силами души своей... И между тѣмъ, внутри меня совершается странное явленіе! Я слышу, я чувствую, что какое-то неизъяснимое, тайное горе сосетъ мое сердце; я чувствую это, и припадаю головой къ кибиткѣ, а слезы, невольныя слезы, такъ и бѣгутъ, такъ и льются изъ глазъ. Неизвѣстно почему, неизвѣстно откуда, въ ушахъ моихъ раздаются звуки анданте пасторальной сонаты Бетховена... Я огорченъ, я подавленъ и уничтоженъ, я положительно не знаю, куда дѣваться отъ снѣдающей меня тоски... Всѣ темныя горести, всѣ утраченныя надежды, всѣ душевные недуги, все, что̀ такъ болѣзненно назрѣвало въ моемъ сердцѣ, все это мгновенно встаетъ передо мной... Мнѣ кажется, что меня тяжело оскорбили, что внезапно погибло все, что̀ я любилъ, чѣмъ былъ счастливъ, что я неожиданно очутился одинъ, оттолкнутый отъ всего живого...—«Ужели я въ Крутогорскѣ оставилъ часть самого себя?»—спрашиваю я себя мысленно. Но текущія по щекамъ слезы, но вырывающіеся изъ груди вздохи краснорѣчивѣе словъ отвѣчаютъ на этотъ вопросъ. Да! не могъ же я жить даромъ столько лѣтъ, не могъ же не оставить послѣ себя никакого слѣда! Потому что и безсознательная былинка, и та не живетъ даромъ, и та своею жизнью, хоть незамѣтно, но непремѣнно воздѣйствуетъ на окружающую природу... Ужели же я ниже, ничтожнѣе этой былинки?

Или, быть-можетъ, въ слезахъ этихъ высказывается сожалѣніе о напрасно прожитыхъ лучшихъ годахъ моей жизни? Быть-можетъ, ржавчина привычки до того пронизала мое сердце, что я боюсь, я трушу перемѣны жизни, которая предстоитъ мнѣ? И въ самомъ дѣлѣ, что̀ ждетъ меня впереди? Новыя борьбы, новыя хлопоты, новыя искательства! А я такъ усталъ ужъ, такъ разбитъ жизнью, какъ разбита

почтовая лошадь ежечасною ѣздою по каменистой твердой дорогѣ!

И не то чтобъ я, въ самомъ дѣлѣ, много жилъ, много извѣдалъ, много выстрадалъ... Нѣтъ, я чувствую, что въ этомъ отношеніи я еще свѣжъ и непороченъ, какъ дѣвственница, и между тѣмъ, сознаю, что душа моя дѣйствительно огрубѣла, а въ сердцѣ царствуетъ преступная вялость. «Ужели же я погибну, не живши?»—спрашиваю я себя, и вдругъ чувствую нестерпимый приливъ крови въ жилахъ. Мнѣ хочется бѣжать-бѣжать, кричать-кричать-кричать... Но вмѣстѣ съ тѣмъ я, какъ выздоравливающій больной, ощущаю, что мнѣ сильный моціонъ еще не по силамъ, что одно желаніе моціона порождаетъ уже разслабленіе и усталость во всѣхъ моихъ членахъ. Почему же я усталъ, однакожъ?

— Оттого, вѣроятно, что не было давно практики,— отвѣчастъ какой-то недоброжелательный голосъ.

Но отъ недостатка ли практики, или отъ другой какой причины, только я чувствую, что вѣки мои отяжелѣваютъ отъ сна, что видимый міръ покрывается для меня дымкою.

Какая-то странная, безконечная процессія открывается передо мною, и дикая, нестройная музыка поражаетъ мои уши. Я вглядываюсь пристальнѣе въ лица, участвующія въ процессіи... Ба! да, кажется, я имѣлъ удовольствіе гдѣ-то видѣть ихъ, гдѣ-то жить съ ними! Кажется, все это примадонны и солисты крутогорскіе.

И точно, впереди всѣхъ выступаетъ князь Левъ Михайлычъ, подъ-руку съ княжной Анной Львовной; но какъ одряхлѣли, какъ постарѣли они! У князя на лицѣ та же пріятная улыбка, съ которою онъ истолковывалъ княжнѣ тайныя пружины бюрократическаго устройства, но на ней лежитъ ужъ какой-то грустный оттѣнокъ.—Les temps sont bien changés!—говоритъ онъ, поникая головой. Очевидно, что, говоря это, князь думаетъ о какихъ-то новыхъ требованіяхъ, передъ которыми ощущаетъ себя несостоятельнымъ. За нимъ спѣшитъ, сѣменя ногами, Порфирій Петровичъ, тоже съ лицомъ, озабоченнымъ горькимъ сомнѣніемъ насчетъ прочности *безгрѣшныхъ* доходовъ, которыхъ онъ съ такою натугою добивался. За ними слѣдуютъ: Фейеръ, съ своей Каролинхенъ, Иванъ Петровичъ подъ-руку съ засѣдателемъ Томилкинымъ, Ижбурдинъ, Крестовоздвиженскій, Пересѣчкинъ, Бобровъ, Гирбасовъ, Живновскій, и вся эта компанія странниковъ моря житейскаго, съ которою читатель познакомился на страницахъ настоящихъ очерковъ...

Позади всѣхъ бредетъ въ одиночествѣ бѣдная Аринушка, безустанно помахивая клюкою... Бѣдная Аринушка! отдохнули ли твои ноженьки? Дошла ли ты до Іерусалима горняго, пролила ли печаль у свѣтлаго престола Спасова?..

На всѣхъ лицахъ написана забота и испугъ; всѣ чего-то ждутъ, чего-то трепещутъ.

— Порфирій Петровичъ, куда же вы такъ поспѣшаете?— спрашиваю я.

Но онъ только машетъ рукою, какъ бы давая мнѣ знать: «до тебя ли мнѣ теперь! Видишь, какая бѣда надъ нами стряслась!»—и продолжаетъ свой путь.

«Что это значитъ?»—спрашиваю я себя.

— Неужели вы ничего не слыхали?—говоритъ мнѣ мой добрый пріятель Буеракинъ, внезапно отдѣляясь отъ толпы:—а еще считаетесь образцовымъ чиновникомъ!

— Нѣтъ, я не слыхалъ, не знаю...

— Развѣ вы не видите, развѣ не понимаете, что передъ глазами вашими проходитъ похоронная процессія?

— Но кого же хоронятъ? Кого же хоронятъ?—спрашиваю я, томимый какимъ-то тоскливымъ предчувствіемъ.

— «Прошлыя времена» хоронятъ!—отвѣчаетъ Буеракинъ торжественно, но въ голосѣ его слышится та же болѣзненная, праздная иронія, которая и прежде такъ непріятно дѣйствовала на мои нервы...

I.

ИСТОРІЯ ОДНОГО ГОРОДА

ПО ПОДЛИННЫМЪ ДОКУМЕНТАМЪ

(1869—1870 гг.).

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Давно уже имѣлъ я намѣреніе написать исторію какого-нибудь города (или края) въ данный періодъ времени, но разныя обстоятельства мѣшали этому предпріятію. Преимущественно же препятствовалъ недостатокъ въ матеріалѣ сколько-нибудь достовѣрномъ и правдоподобномъ. Нынѣ, роясь въ глуповскомъ городскомъ архивѣ, я случайно напалъ на довольно объемистую связку тетрадей, носящихъ общее названіе «Глуповскаго Лѣтописца», и, разсмотрѣвъ ихъ, нашелъ, что онѣ могутъ служить немаловажнымъ подспорьемъ въ дѣлѣ осуществленія моего намѣренія. Содержаніе «Лѣтописца» довольно однообразно; оно почти исключительно исчерпывается біографіями градоначальниковъ, въ теченіе почти цѣлаго столѣтія владѣвшихъ судьбами города Глупова, и описаніемъ замѣчательнѣйшихъ ихъ дѣйствій, какъ-то: скорой ѣзды на почтовыхъ, энергическаго взысканія недоимокъ, походовъ противъ обывателей, устройства и разстройства мостовъ, обложенія данями откупщиковъ и т. д. Тѣмъ не менѣе, даже и по этимъ скуднымъ фактамъ оказывается возможнымъ уловить физіономію города и услѣдить, какъ въ его исторіи отражались разнообразныя перемѣны, одновременно происходившія въ высшихъ сферахъ. Такъ, напримѣръ, градоначальники временъ Бирона отличаются безразсудствомъ, градоначальники временъ Потемкина — распорядительностью, а градоначальники временъ Разумовскаго — неизвѣстнымъ происхожденіемъ и рыцарскою отвагою. Всѣ они сѣкутъ обывателей; но первые сѣкутъ абсолютно; вторые объясняютъ причины своей распорядительности требованіями цивилизаціи; третьи желаютъ, чтобъ обыватели во всемъ положи-

лись на ихъ отвагу. Таксе разнообразіе мѣропріятій, конечно, не могло не воздѣйствовать и на самый внутренній складъ обывательской жизни; въ первомъ случаѣ обыватели трепетали безсознательно, во второмъ — трепетали съ сознаніемъ собственной пользы, въ третьемъ—возвышались до трепета, исполненнаго довѣрія. Даже энергическая ѣзда на почтовыхъ—и та неизбѣжно должна была оказывать извѣстную долю вліянія, укрѣпляя обывательскій духъ примѣрами лошадиной бодрости и нестомчивости.

Лѣтопись ведена преемственно четырьмя городовыми архиваріусами и обнимаетъ періодъ времени съ 1731 по 1825 годъ. Въ этомъ году, повидимому, даже для архиваріусовъ литературная дѣятельность перестала быть доступною. Внѣшность «Лѣтописца» имѣетъ видъ самый настоящій, т.-е. такой, который не позволяетъ ни на минуту усомниться въ его подлинности; листы его такъ же желты и испещрены каракулями, такъ же изъѣдены мышами и загажены мухами, какъ и листы любого памятника Погодинскаго древлехранилища. Такъ и чувствуется, какъ сидѣлъ надъ ними какой-нибудь архивный Пименъ, освѣщая свой трудъ трепетно-горящею сальною свѣчкой и всячески защищая его отъ неминуемой любознательности гг. Шубинскаго, Мордовцева и Мельникова. Лѣтописи предшествуетъ особый сводъ, или «опись», составленная, очевидно, послѣднимъ лѣтописцемъ; кромѣ того, въ видѣ оправдательныхъ документовъ, къ ней приложено нѣсколько дѣтскихъ тетрадокъ, заключающихъ въ себѣ оригинальныя упражненія на различныя темы административно-теоретическаго содержанія. Таковы, напримѣръ, разсужденія: «объ административномъ всѣхъ градоначальниковъ единомысліи»; «о благовидной градоначальниковъ наружности»; «о спасительности усмиреній (съ картинками)»: «мысли при взысканіи недоимокъ»; «превратное теченіе времени», и, наконецъ, довольно объемистая диссертація «о строгости». Утвердительно можно сказать, что упражненія эти обязаны своимъ происхожденіемъ перу различныхъ градоначальниковъ (многія изъ нихъ даже подписаны) и имѣютъ то драгоцѣнное свойство, что, во-первыхъ, даютъ совершенно вѣрное понятіе о современномъ положеніи русской орѳографіи и, во-вторыхъ, живописуютъ своихъ авторовъ гораздо полнѣе, доказательнѣе и образнѣе, нежели даже разсказы «Лѣтописца».

Что касается до внутренняго содержанія «Лѣтописца»,

то оно по преимуществу фантастическое и по мѣстамъ даже почти невѣроятное въ нашо просвѣщенное время. Таковъ, напримѣръ, совершенно ни съ чѣмъ не сообразный разсказъ о градоначальникѣ съ музыкой. Въ одномъ мѣстѣ «Лѣтописецъ» разсказываетъ, какъ градоначальникъ леталъ по воздуху, въ другомъ—какъ другой градоначальникъ, у котораго ноги были обращены ступнями назадъ, едва не сбѣжалъ изъ предѣловъ градоначальства. Издатель не счелъ, однакожъ, себя въ правѣ утаить эти подробности; напротивъ того, онъ думаетъ, что возможность подобныхъ фактовъ въ прошедшемъ еще съ бо́льшею ясностью укажетъ читателю на ту бездну, которая отдѣляетъ насъ отъ него. Сверхъ того, издателемъ руководила и та мысль, что фантастичность разсказовъ нимало не устраняетъ ихъ административно-воспитательнаго значенія, и что опрометчивая самонадѣянность летающаго градоначальника можетъ даже и теперь послужить спасительнымъ предостереженіемъ для тѣхъ изъ современныхъ администраторовъ, которые не желаютъ быть преждевременно уволены отъ должности.

Во всякомъ случаѣ, въ видахъ предотвращенія злопамѣренныхъ толкованій, издатель считаетъ долгомъ оговориться, что весь его трудъ въ настоящемъ случаѣ заключается только въ томъ, что онъ исправилъ тяжелый и устарѣлый слогъ «Лѣтописца» и имѣлъ надлежащій надзоръ за орѳографіей, нимало не касаясь самаго содержанія лѣтописи. Съ первой минуты до послѣдней, издателя не покидалъ грозный образъ Михаила Петровича Погодина, и это одно уже можетъ служить ручательствомъ, съ какимъ почтительнымъ трепетомъ онъ относился къ своей задачѣ.

I.—Обращеніе къ читателю

отъ послѣдняго архиваріуса-лѣтописца *).

Ежели древнимъ еллинамъ и римлянамъ дозволено было слагать хвалу своимъ безбожнымъ начальникамъ и передавать потомству мерзкія ихъ дѣянія для назиданія, ужели же мы, христіане, отъ Византіи свѣтъ получившіе, окажемся въ семъ случаѣ менѣе достойными и благодарными?

*) «Обращеніе» это помѣщается здѣсь досрочно словами самого «Лѣтописца». Издатель позволилъ себѣ наблюсти только за тѣмъ, чтобы права буквы ѣ не были слишкомъ безцеремонно нарушены.

Прим. изд.

Ужели во всякой странѣ найдутся и Нероны преславные, и Калигулы, доблестью сіяющіе *), и только у себя мы таковыхъ не обрящемъ? Смѣшно и нелѣпо даже помыслить таковую нескладицу, а не то чтобы оную вслухъ проповѣдывать, какъ дѣлаютъ нѣкоторые вольнолюбцы, которые потому свои мысли вольными полагаютъ, что онѣ у нихъ въ головѣ, словно мухи безъ пристанища, тамъ и сямъ вольно летаютъ.

Не только страна, но и градъ всякій, и даже всякая малая весь,—и та своихъ доблестью сіяющихъ и отъ начальства поставленныхъ Ахилловъ имѣетъ, и не имѣть не можетъ. Взгляни на первую лужу — и въ ней найдешь гада, который иройствомъ своимъ всѣхъ прочихъ гадовъ превосходитъ и затемняетъ. Взгляни на древо — и тамъ усмотришь нѣкоторый сукъ бо́льшій и противъ другихъ крѣпчайшій, а слѣдственно и доблестнѣйшій. Взгляни, наконецъ, на собственную свою персону — и тамъ прежде всего встрѣтишь главу, а потомъ уже не оставишь безъ примѣты брюхо и прочія части. Что́ же, по-твоему, доблестнѣе: глава ли твоя, хотя легкою начинкою начиненная, но и за всѣмъ тѣмъ горѣ устремляющаяся, или стремящееся долу брюхо, на то только и пригодное, чтобы изготовлять... О, подлинно же легкодумное твое вольнодумство!

Таковы-то были мысли, которыя побудили меня, смиреннаго городового архиваріуса (получающаго въ мѣсяцъ два рубля содержанія, но и за всѣмъ тѣмъ славословящаго), купно съ троими моими предшественниками, неумытными устами воспѣть хвалу славныхъ оныхъ Нероновъ **), кои не безбожіемъ и лживою еллинскою мудростью, но твердостью и начальственнымъ дерзновеніемъ преславный нашъ градъ Глуповъ преестественно украсили. Не имѣя дара стихослагательнаго, мы не рѣшились прибѣгнуть къ бряцанію и, положась на волю Божію, стали

*) Очевидно, что лѣтописецъ, опредѣляя качества этихъ историческихъ лицъ, не имѣлъ понятія даже о руководствахъ, изданныхъ для среднихъ учебныхъ заведеній. Но страннѣе всего, что онъ былъ незнакомъ даже со стихами Державина:

Калигула! твой конь въ сенатѣ
Не могъ сіять, сіяя въ златѣ:
Сіяютъ добрыя дѣла!

Прим. изд.

**) Опять та же прискорбная ошибка.—*Изд.*

излагать достойныя дѣянія недостойнымъ, но свойственнымъ намъ языкомъ, избѣгая лишь подлыхъ словъ. Думаю, впрочемъ, что таковая дерзостная наша затѣя простится намъ въ виду того особливаго намѣренія, которое мы имѣли, приступая къ ней.

Сіе намѣреніе есть изобразить преемственно градоначальниковъ, въ городъ Глуповъ отъ россійскаго правительства въ разное время поставленныхъ. Но, предпринимая столь важную матерію, я, по крайней мѣрѣ, не разъ вопрошалъ себя: по силамъ ли будетъ мнѣ сіе бремя? Много видѣлъ я на своемъ вѣку пронзительныхъ сихъ подвижниковъ; много видѣли таковыхъ и мои предмѣстники. Всего же числомъ двадцать-два, слѣдовавшихъ непрерывно, въ величественномъ порядкѣ, одинъ за другимъ, кромѣ семидневнаго пагубнаго безначалія, едва не повергшаго весь градъ въ запустѣніе. Одни изъ нихъ, подобно бурному пламени, пролетали изъ края въ край, все очищая и обновляя; другіе, напротивъ того, подобно ручью журчащему, орошали луга и пажити; а бурность и сокрушительность предоставляли въ удѣлъ правителямъ канцеляріи. Но всѣ, какъ бурные, такъ и кроткіе, оставили по себѣ благодарную память въ сердцахъ согражданъ, ибо всѣ были градоначальники. Сіе трогательное соотвѣтствіе само по себѣ уже столь дивно, что не малое причиняетъ лѣтописцу безпокойство. Не знаешь, что болѣе славословить: власть ли, въ мѣру дерзающую, или сей виноградъ, въ мѣру благодарящій?

Но сіе же самое соотвѣтствіе, съ другой стороны, служитъ и не малымъ для лѣтописателя облегченіемъ. Ибо въ чемъ состоитъ собственно задача его? Въ томъ ли, чтобы критиковать или порицать? Нѣтъ, не въ томъ. Въ чемъ же? А въ томъ, легкодумный вольнодумецъ, чтобы быть лишь изобразителемъ означеннаго соотвѣтствія, и объ ономъ передать потомству въ надлежащее назиданіе.

Въ семъ видѣ взятая задача дѣлается доступною даже смиреннѣйшему изъ смиренныхъ, потому что онъ изображаетъ собой лишь скудельный сосудъ, въ которомъ замыкается разлитое въ изобиліи славословіе. И чѣмъ тотъ сосудъ скудельнѣе, тѣмъ краше и вкуснѣе покажется содержимая въ немъ сладкая славословная влага. А скудельный сосудъ про себя скажетъ: вотъ и я на что-нибудь пригодился, хотя и получаю содержанія два рубля мѣдныхъ въ мѣсяцъ.

Изложивъ такимъ манеромъ нѣчто въ свое извиненіе, не могу не присовокупить, что родной нашъ городъ Глуповъ, производя обширную торговлю квасомъ, печенкой и вареными яйцами, имѣетъ три рѣки и, въ согласность древнему Риму, на семи горахъ построенъ, на коихъ въ гололедицу великое множество экипажей ломается и столь же безчисленно лошадей побивается. Разница въ томъ только состоитъ, что въ Римѣ сіяло нечестіе, а у насъ — благочестіе; Римъ заражало буйство, а насъ—кротость; въ Римѣ бушевала подлая чернь, а у насъ—начальники.

И еще скажу: лѣтопись сію преемственно слагали четыре архиваріуса: Мишка Тряпичкинъ, да Мишка Тряпичкинъ другой, да Митька Смирномордовъ, да я, смиренный Павлушка, Маслобойниковъ сынъ. При чемъ единую имѣли опаску, дабы не попали наши тетрадки къ г. Бартеневу, и дабы не напечаталъ онъ ихъ въ своемъ «Архивѣ». А затѣмъ Богу слава и разглагольствію моему конецъ

II.—О корени происхожденія глуповцевъ.

«Не хочу я, подобно Костомарову, сѣрымъ волкомъ рыскать по земли, ни, подобно Соловьеву, шизымъ орломъ ширять подъ облакы, ни, подобно Пыпину, растекаться мыслью по древу, но хочу ущекотать прелюбезныхъ мнѣ глуповцевъ, показавъ міру ихъ славныя дѣла и предобрый тотъ корень, отъ котораго знаменитое сіе древо произросло и вѣтвями своими всю землю покрыло» *).

Такъ начинаетъ свой разсказъ лѣтописецъ, и затѣмъ, сказавъ нѣсколько словъ въ похвалу своей скромности, продолжаетъ.

Былъ, говоритъ онъ, въ древности народъ, головотяпами именуемый, и жилъ онъ далеко на сѣверѣ, тамъ, гдѣ греческіе и римскіе историки и географы предполагали существованіе Гиперборейскаго моря. Головотяпами же прозывались эти люди оттого, что имѣли привычку «тяпать» головами обо все, что бы ни встрѣтилось на пути. Стѣна

*) Очевидно, лѣтописецъ подражаетъ здѣсь «Слову о полку Игоревѣ». «Боянъ бо вѣщій, аще кому хотяше пѣснь творити, то растекашеся мыслью по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы». И далѣе: «о, Бояне! сословію стараго времени! Абы ты сіи пълки ущекоталъ» и т. д. *Изд.*

попадется—объ стѣну тяпаютъ; Богу молиться начнутъ—объ полъ тяпаютъ. По сосѣдству съ головотяпами жило множество независимыхъ племенъ, но только замѣчательнѣйшія изъ нихъ поименованы лѣтописцемъ, а именно: моржеѣды, лукоѣды, гужеѣды, клюковники, куролесы, вертячіе бобы, лягушечники, лапотники, чернонёбые, долбежники, проломленныя головы, слѣпороды, губошлепы, вислоухіе, кособрюхіе, ряпушники, заугольники, крошевники и рукосуи. Ни вѣроисповѣданія, ни образа правленія эти племена не имѣли, замѣняя все сіе тѣмъ, что постоянно враждовали между собою. Заключали союзы, объявляли войны, мирились, клялись другъ другу въ дружбѣ и вѣрности; когда же лгали, то прибавляли: «да будетъ мнѣ стыдно», и были напередъ увѣрены, что «стыдъ глаза не выѣстъ». Такимъ образомъ взаимно разорили они свои земли, взаимно надругались надъ своими женами и дѣвами и въ то же время гордились тѣмъ, что радушны и гостепріимны. Но когда дошли до того, что содрали на лепешки кору съ послѣдней сосны, когда не стало ни женъ, ни дѣвъ, и нечѣмъ было «людской заводъ» продолжать, тогда головотяпы первые взялись за умъ. Поняли, что комунибудь да надо верхъ взять, и послали сказать сосѣдямъ: будемъ другъ съ дружкой до тѣхъ поръ головами тяпаться, пока кто кого перетяпаетъ. «Хитро это они сдѣлали, — говоритъ лѣтописецъ: — знали, что головы у нихъ на плечахъ растутъ крѣпкія — вотъ и предложили». И дѣйствительно, какъ только простодушные сосѣди согласились на коварное предложеніе, такъ сейчасъ же головотяпы ихъ всѣхъ, съ Божьею помощью, перетяпали. Первые уступили слѣпороды и рукосуи; больше другихъ держались гужеѣды, ряпушники и кособрюхіе. Чтобы одолѣть послѣднихъ, вынуждены были даже прибѣгнуть къ хитрости. А именно: въ день битвы, когда обѣ стороны встали другъ противъ друга стѣной, головотяпы, неувѣренные въ успѣшномъ исходѣ своего дѣла, прибѣгли къ колдовству: пустили на кособрюхихъ солнышко. Солнышко-то и само по себѣ такъ стояло, что должно было свѣтить кособрюхимъ въ глаза; но головотяпы, чтобы придать этому дѣлу видъ колдовства, стали махать въ сторону кособрюхихъ шапками: вотъ, дескать, мы каковы, и солнышко заодно съ нами. Однако, кособрюхіе не сразу испугались, а сначала тоже догадались: высыпали изъ мѣшковъ толокно и стали ловить солнышко мѣшками. Не изловили, и только

тогда, увидѣвъ, что правда на сторонѣ головотяповъ, принесли повинную.

Собравъ воедино куролесовъ, гужеѣдовъ и прочія племена, головотяпы начали устраиваться внутри, съ очевидною цѣлью добиться какого-нибудь порядка. Исторіи этого устройства лѣтописецъ подробно не излагаетъ, а приводитъ изъ нея лишь отдѣльные эпизоды. Началось съ того, что Волгу толокномъ замѣсили, потомъ теленка на баню тащили, потомъ въ кошелѣ кашу варили, потомъ козла въ соложеномъ тѣстѣ утопили, потомъ свинью за бобра купили, да собаку за волка убили, потомъ лапти растеряли да по дворамъ искали: было лаптей шесть, а сыскали семь; потомъ рака съ колокольни звономъ совстрѣчали, потомъ щуку съ яицъ согнали, потомъ комара за восемь верстъ ловить ходили, а комаръ у пошехонца на носу сидѣлъ, потомъ батьку на кобеля промѣняли, потомъ блинами острогъ конопатили, потомъ блоху на цѣпь приковали, потомъ бѣса въ солдаты отдавали, потомъ небо кольями подпирали, наконецъ утомились и стали ждать, что̀ изъ этого выйдетъ.

Но ничего не вышло. Щука опять на яйца сѣла; блины, которыми острогъ конопатили, арестанты съѣли, кошели, въ которыхъ кашу варили, сгорѣли вмѣстѣ съ кашею. А рознь да галдѣнье пошли пуще прежняго: опять стали взаимно другъ у друга земли разорять, женъ въ плѣнъ уводить, надъ дѣвами наругаться. Нѣтъ порядку да и полно. Попробовали снова головами тяпаться, но и тутъ ничего не доспѣли. Тогда надумали искать себѣ князя.

— Онъ намъ все мигомъ предоставитъ,—говорилъ старецъ Добромыслъ:—онъ и солдатовъ у насъ надѣлаетъ, и острогъ, какой слѣдуетъ, выстроитъ! Айда̀, ребята!

Искали, искали они князя и чуть-чуть въ трехъ соснахъ не заблудилися, да спасибо случился тутъ пошехонецъ-слѣпородъ, который эти три сосны какъ свои пять пальцевъ зналъ. Онъ вывелъ ихъ на торную дорогу и привелъ прямо къ князю на дворъ.

— Кто вы такіе и зачѣмъ ко мнѣ пожаловали?—вопросилъ князь посланныхъ.

— Мы головотяпы! нѣтъ въ свѣтѣ народа мудрѣе и храбрѣе! Мы даже кособрюхихъ и тѣхъ шапками закидали!—хвастали головотяпы.

— А что̀ вы еще сдѣлали?

— Да вотъ комара за семь верстъ ловили,—начали-

было головотяпы, и вдругъ имъ сдѣлалось такъ смѣшно, такъ смѣшно... Посмотрѣли они другъ на дружку и прыснули.

— А вѣдь это ты, Пётра, комара-то ловить ходилъ!— насмѣхался Ивашка.

— Анъ ты!

— Нѣтъ, не я! у тебя онъ и на носу-то сидѣлъ!

Тогда князь, видя, что они и здѣсь, передъ лицомъ его, своей розни не покидаютъ, сильно распалился и началъ учить ихъ жезломъ.

— Глупые вы, глупые!—сказалъ онъ: — не головотяпами слѣдуетъ вамъ, по дѣламъ вашимъ, называться, а глуповцами! Не хочу я володѣть глупыми! а ищите такого князя, какого нѣтъ въ свѣтѣ глупѣе—и тотъ будетъ володѣть вами.

Сказавши это, еще маленько поучилъ жезломъ и отослалъ головотяповъ отъ себя съ честію.

Задумались головотяпы надъ словами князя; всю дорогу шли и все думали.

— За что онъ насъ раскастилъ?—говорили одни:—мы къ нему всей душой, а онъ послалъ насъ искать князя глупаго!

Но въ то же время выискались и другіе, которые ничего обиднаго въ словахъ князя не видѣли.

— Что же,—возражали они:—намъ глупый-то князь, пожалуй, еще лучше будетъ! Сейчасъ мы ему коврижку въ руки: жуй, а насъ не замай!

— И то правда,—согласились прочіе.

Воротились добры-молодцы домой, но сначала рѣшили опять попробовать устроиться сами собою. Пѣтуха на канатѣ кормили, чтобъ не убѣжалъ, ложку съѣли... Однако, толку не было. Думали-думали и пошли искать глуповскаго князя.

Шли они по ровному мѣсту три года и три дня, и все никуда придти не могли. Наконецъ, однако, дошли до болота. Видятъ, стоитъ на краю болота чухломецъ-рукосуй, рукавицы торчатъ за поясомъ, а онъ другихъ ищетъ.

— Не знаешь ли, любезный рукосуюшко, гдѣ бы намъ такого князя сыскать, чтобъ не было его въ свѣтѣ глупѣе?—взмолились головотяпы.

— Знаю, есть такой,—отвѣчалъ рукосуй:—вотъ идите прямо черезъ болото, какъ разъ тутъ.

Бросились они всѣ разомъ въ болото, и больше половины ихъ тутъ потопло («многіе за землю свою поревно-

вали», говоритъ лѣтописецъ); наконецъ, вылѣзли изъ трясины и видятъ: на другомъ краю болотины, прямо передъ ними, сидитъ самъ князь—да глупый-преглупый! Сидитъ и ѣстъ пряники писанные. Обрадовались головотяпы: «вотъ такъ князь! лучшаго и желать намъ не надо».

— Кто вы такіе? и зачѣмъ ко мнѣ пожаловали?—молвилъ князь, жуя пряники.

— Мы головотяпы! нѣтъ насъ народа мудрѣе и храбрѣе! Мы гужеѣдовъ—и тѣхъ побѣдили!—хвастались головотяпы.

— Что же вы еще сдѣлали?

— Мы щуку съ яицъ согнали, мы Волгу толокномъ замѣсили...—начали-было перечислять головотяпы, но князь не захотѣлъ и слушать ихъ.

— Я ужъ на что глупъ,—сказалъ онъ:—а вы еще глупѣе меня! Развѣ щука сидитъ на яйцахъ? или можно развѣ вольную рѣку толокномъ мѣсить? Нѣтъ, не головотяпами слѣдуетъ вамъ называться, а глуповцами! Не хочу я володѣть вами и ищите вы себѣ такого князя, какого нѣтъ въ свѣтѣ глупѣе—и тотъ будетъ володѣть вами.

И, наказавъ жезломъ, отпустилъ съ честію.

Задумались головотяпы: надулъ курицынъ сынъ рукосуй! Сказывалъ, нѣтъ этого князя глупѣе—анъ онъ умный! Однако, воротились домой и опять стали сами собою устраиваться. Подъ дождемъ онучи сушили, на сосну Москву смотрѣть лазили. И все нѣтъ какъ нѣтъ порядку, да и полно. Тогда надоумилъ всѣхъ Пётра Комаръ.

— Есть у меня,—сказалъ онъ:—другъ-пріятель по прозванью воръ-новоторъ: ужъ если экая выжига князя не сыщетъ, такъ судите вы меня судомъ милостивымъ, рубите съ плечъ мою голову безталанную!

Съ такимъ убѣжденіемъ высказалъ онъ это, что головотяпы послушались и призвали новотора-вора. Долго онъ торговался съ ними, просилъ за розыскъ алтынъ да деньгу, головотяпы же давали грошъ да животы свои въ придачу. Наконецъ, однако, кое-какъ сладились и пошли искать князя.

— Ты намъ такого ищи, чтобъ немудрый былъ!—говорили головотяпы новотору-вору:—на что намъ мудраго-то, ну его къ ляду!

И повелъ ихъ воръ-новоторъ сначала все ельничкомъ да березничкомъ, потомъ чащею дремучею, потомъ перелѣ-

сочкомъ, да и вывелъ прямо на поляночку, а посередь той поляночки князь сидитъ.

Какъ взглянули головотяпы на князя, такъ и обмерли. Сидитъ-это передъ ними князь да умной-преумной; въ ружьецо попаливаетъ да сабелькой помахиваетъ. Что ни выпалитъ изъ ружьеца, то сердце насквозь прострѣлитъ; что ни махнетъ сабелькой, то голова съ плечъ долой. А воръ-новоторъ, сдѣлавши такое пакостное дѣло, стоитъ, брюхо поглаживаетъ да въ бороду усмѣхается.

— Что ты! съ ума никакъ спятилъ! пойдетъ ли этотъ къ намъ? во сто разъ глупѣе были,—и тѣ не пошли!—напустились головотяпы на новотора-вора.

— Ништо! обладимъ! — молвилъ воръ-новоторъ: — дай срокъ, я глазъ-на-глазъ съ нимъ слово перемолвлю.

Видятъ головотяпы, что воръ-новоторъ кругомъ на кривой ихъ объѣхалъ, а на попятный ужъ не смѣютъ.

— Это, братъ, не то, что съ «кособрюхими» лбами тянаться! нѣтъ, тутъ, братъ, отвѣтъ подай: каковъ таковъ человѣкъ? какого чину и званія?—гуторятъ они межъ собой.

А воръ-новоторъ этимъ временемъ дошелъ до самого князя, снялъ передъ нимъ шапочку соболиную и сталъ ему тайныя слова на ухо говорить. Долго они шептались, а про что—не слыхать. Только и почуяли головотяпы, какъ воръ-новоторъ говорилъ: «драть ихъ, ваша княжеская свѣтлость, завсегда очень свободно».

Наконецъ, и для нихъ насталъ чередъ встать передъ ясныя очи его княжеской свѣтлости.

— Что вы за люди? и зачѣмъ ко мнѣ пожаловали?—обратился къ нимъ князь.

— Мы головотяпы! нѣтъ насъ народа храбрѣе,—начали было головотяпы, но вдругъ смутились.

— Слыхалъ, господа головотяпы! — усмѣхнулся князь («и таково ласково усмѣхнулся, словно солнышко просіяло!» замѣчаетъ лѣтописецъ):—весьма слыхалъ! И о томъ знаю, какъ вы рака съ колокольнымъ звономъ встрѣчали—довольно знаю! Объ одномъ не знаю, зачѣмъ же ко мнѣ-то вы пожаловали?

— А пришли мы къ твоей княжеской свѣтлости вотъ что объявить: много мы промежъ себя убивствъ чинили, много другъ дружкѣ разореній и наругательствъ дѣлали, а все правды у насъ нѣтъ. Иди и володѣй нами!

— А у кого, спрошу васъ, вы допрежъ сего изъ князей братьевъ моихъ съ поклономъ были!

— А были мы у одного князя глупаго, да у другого князя глупаго-жъ—и тѣ володѣть нами не похотѣли!

— Ладно. Володѣть вами я желаю,—сказалъ князь:— а чтобъ идти къ вамъ жить—не пойду! Потому вы живете звѣринымъ обычаемъ: съ безпробнаго золота пѣнки снимаете, снохъ портите! А вотъ посылаю къ вамъ, замѣсто меня, самаго этого новотора-вора: пущай онъ вами дома правитъ, а я отсель и имъ, и вами помыкать буду!

Понурили головотяпы головы и сказали:

— Такъ!

— И будете вы платить мнѣ дани многія,—продолжалъ князь:—у кого овца ярку принесетъ, овцу на меня отпиши, а ярку себѣ оставь; у кого грошъ случится, тотъ разломи его на-четверо: одну часть мнѣ отдай, другую мнѣ же, третью опять мнѣ, а четвертую себѣ оставь. Когда же пойду на войну—и вы идите! А до прочаго вамъ ни до чего дѣла нѣтъ!

— Такъ!—отвѣчали головотяпы.

— И тѣхъ изъ васъ, которымъ ни до чего дѣла нѣтъ, я буду миловать; прочихъ же всѣхъ—казнить.

— Такъ!—отвѣчали головотяпы.

— А какъ не умѣли вы жить на своей волѣ и сами, глупые, пожелали себѣ кабалы, то называться вамъ впредь не головотяпами, а глуповцами.

— Такъ!—отвѣчали головотяпы.

Затѣмъ приказалъ князь обнести пословъ водкою, да одарить по пирогу, да по платку алому, и, обложивъ данями многими, отпустилъ отъ себя съ честію.

Шли головотяпы домой и воздыхали. «Воздыхали не ослабляючи, вопіяли сильно!» свидѣтельствуетъ лѣтописецъ. «Вотъ она, княжеская правда какова!» говорили они. И еще говорили: «такали мы такали, да и протакали!» Одинъ же изъ нихъ взялъ гусли и запѣлъ:

Не шуми, мати зелена дубровушка!
Не мѣшай добру молодцу думу думати,
Какъ заутра мнѣ, добру молодцу, на допросъ идти
Передъ грознаго судью самого царя...

Чѣмъ далѣе лилась пѣсня, тѣмъ ниже понуривались головы головотяповъ. «Были между ними,—говоритъ лѣтописецъ,—старики сѣдые, и плакали горько, что сладкую волю свою прогуляли; были и молодые, кои той воли едва отвѣдали, но и тѣ тоже плакали. Тутъ только познали всѣ,

какова прекрасная воля есть». Когда же раздались заключительные стихи пѣсни:

Я за то тебя, дѣтинушку, пожалую
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя столбами съ перекладиной...

—то всѣ пали ницъ и зарыдали.

Но драма уже совершилась безповоротно. Прибывши домой, головотяпы немедленно выбрали болотину и, заложивъ на ней городъ, назвали Глуповымъ, а себя по тому городу глуповцами. «Такъ и процвѣла сія древняя отрасль», прибавляетъ лѣтописецъ.

Но вору-новотору эта покорность была не по нраву. Ему нужны были бунты, ибо усмиреніемъ ихъ онъ надѣялся и милость князя къ себѣ снискать, и собрать хабару съ бунтующихъ. И началъ онъ донимать глуповцевъ всякими неправдами, и дѣйствительно, не въ долгомъ времени возжегъ бунты. Взбунтовались сперва заугольники, а потомъ сычужники. Воръ-новоторъ ходилъ на нихъ съ пушечнымъ снарядомъ, палилъ неослабляючи и, перепаливъ всѣхъ, заключилъ миръ, то-есть у заугольниковъ ѣлъ палтусину, у сычужниковъ—сычуги. И получилъ отъ князя похвалу великую. Вскорѣ, однако, онъ до того проворовался, что слухи объ его несытомъ воровствѣ дошли даже до князя. Распалился князь крѣпко и послалъ невѣрному рабу петлю. Но новоторъ, какъ сущій воръ, и тутъ извернулся: предварилъ казнь тѣмъ, что, не выждавъ петли, зарѣзался огурцомъ.

Послѣ новотора-вора пришелъ «замѣстъ князя» одоевецъ, тотъ самый, который «на грошъ постныхъ яицъ купилъ». Но и онъ догадался, что безъ бунтовъ ему не жить, и тоже сталъ донимать. Поднялись кособрюхіе, калашники, саламатники—всѣ отстаивали старину да права свои. Одоевецъ пошелъ противъ бунтовщиковъ, и тоже началъ неослабно палить, но, должно-быть, палилъ зря, потому что бунтовщики не только не смирялись, но увлекали за собой чернонѣбыхъ и губошлеповъ. Услыхалъ князь безтолковую пальбу безтолковаго одоевца и долго терпѣлъ, но напослѣдокъ не стерпѣлъ; вышелъ противъ бунтовщиковъ собственною персоною и, перепаливъ всѣхъ до единаго, возвратился восвояси.

— Посылалъ я сущаго вора — оказался воръ, — печаловался при этомъ князь: — посылалъ одоевца, по прозванію

«продай на грошъ постныхъ яицъ» — и тотъ оказался воръ же. Кого пошлю нынѣ?

Долго раздумывалъ онъ, кому изъ двухъ кандидатовъ отдать преимущество: орловцу ли—на томъ основаніи, что «Орелъ да Кромы—первые воры»—или шуянину, на томъ основаніи, что онъ «въ Питерѣ бывалъ, на полу сыпалъ, и тутъ не упалъ», но, наконецъ, предпочелъ орловца, потому что онъ принадлежалъ къ древнему роду «Проломленныхъ Головъ». Но едва прибылъ орловецъ на мѣсто, какъ встали бунтомъ старичане и, вмѣсто воеводы, встрѣтили съ хлѣбомъ-солью пѣтуха. Поѣхалъ къ нимъ орловецъ, надѣясь въ Старицѣ стерлядями полакомиться, но нашелъ, что тамъ «только грязи довольно». Тогда онъ Старицу сжегъ, а женъ и дѣвъ Старицкихъ отдалъ самому себѣ на поруганіе. «Князь же, увѣдавъ о томъ, урѣзалъ ему языкъ».

Затѣмъ князь еще разъ попробовалъ послать «вора попроще», и въ этихъ соображеніяхъ выбралъ калязинца, который «свинью за бобра купилъ»; но этотъ оказался еще пущимъ воромъ, нежели новоторъ и орловецъ. Взбунтовалъ семендяевцевъ и заозерцевъ и, «убивъ ихъ, сжегъ».

Тогда князь выпучилъ глаза и воскликнулъ:

— Нѣсть глупости горшія, яко глупость!

И прибыхъ собственною персоною въ Глуповъ и возопи:

— Запорю!

Съ этимъ словомъ начались историческія времена.

III.—Опись градоначальникамъ,

въ разное время въ городъ Глуповъ отъ вышняго начальства поставленнымъ.

(1731—1826).

1) **Клементій**, Амадей Мануиловичъ. Вывезенъ изъ Италіи Бирономъ, герцогомъ Курляндскимъ, за искусную стряпню макаронъ; потомъ, будучи внезапно произведенъ въ надлежащій чинъ, присланъ градоначальникомъ. Прибывъ въ Глуповъ, не только не оставилъ занятія макаронами, но даже многихъ усильно къ тому принуждалъ, чѣмъ себя и воспрославилъ. За измѣну битъ въ 1734 году кнутомъ и, по вырваніи ноздрей, сосланъ въ Березовъ.

2) **Ѳерапонтовъ**, Ѳотій Петровичъ, бригадиръ. Бывшій брадобрей онаго же герцога Курляндскаго. Многократно дѣлалъ походы противъ недоимщиковъ и столь былъ охочъ

до зрѣлищъ, что никому безъ себя сѣчь не довѣрялъ. Въ 1738 году, бывъ въ лѣсу, растерзанъ собаками.

3) **Великановъ**, Иванъ Матвѣевичъ. Обложилъ въ свою пользу жителей данью по три копейки съ души, предварительно утопивъ въ рѣкѣ экономіи директора. Перебилъ въ кровь многихъ капитанъ-исправниковъ. Въ 1740 году, въ царствованіе кроткія Елисаветъ, бывъ уличенъ въ любовной связи съ Авдотьей Лопухиной, битъ кнутомъ и, по урѣзаніи языка, сосланъ въ заточеніе въ чердынскій острогъ.

4) **Урусъ-Кугушъ-Кильдибаевъ**, Манылъ Самыловичъ, капитанъ-поручикъ изъ лейбъ-кампанцевъ. Отличался безумной отвагой и даже бралъ однажды приступомъ городъ Глуповъ. По доведеніи о семъ до свѣдѣнія, похвалы не получилъ и въ 1745 году уволенъ съ распубликованіемъ.

5) **Ламврокакисъ**, бѣглый грекъ, безъ имени и отчества, и даже безъ чина, пойманный графомъ Кирилою Разумовскимъ въ Нѣжинѣ, на базарѣ. Торговалъ греческимъ мыломъ, губкою и орѣхами; сверхъ того, былъ сторонникомъ классическаго образованія. Въ 1756 году былъ найденъ въ постели, заѣденный клопами.

6) **Бакланъ**, Иванъ Матвѣевичъ, бригадиръ. Былъ роста трехъ аршинъ и трехъ вершковъ, и кичился тѣмъ, что происходитъ по прямой линіи отъ Ивана-великаго (извѣстная въ Москвѣ колокольня). Переломленъ пополамъ во время бури, свирѣпствовавшей въ 1761 году.

7) **Пфейферъ**, Богданъ Богдановичъ, гвардіи сержантъ, голштинскій выходецъ. Ничего не свершивъ, смѣненъ въ 1762 году за невѣжество.

8) **Брудастый**, Дементій Варламовичъ. Назначенъ былъ впопыхахъ и имѣлъ въ головѣ нѣкоторое особливое устройство, за что и прозванъ былъ «Органчикомъ». Это не мѣшало ему, впрочемъ, привести въ порядокъ недоимки, запущенныя его предмѣстникомъ. Во время сего правленія произошло пагубное безначаліе, продолжавшееся семь дней, какъ о томъ будетъ повѣствуемо ниже.

9) **Двоеруковъ**, Семенъ Константиновичъ, статскій совѣтникъ и кавалеръ. Вымостилъ Большую и Дворянскую улицы, завелъ пивовареніе и медовареніе, ввелъ въ употребленіе горчицу и лавровый листъ, собралъ недоимки, покровительствовалъ наукамъ и ходатайствовалъ о заведеніи въ Глуповѣ академіи. Написалъ сочиненіе: «Жизнеописанія замѣчательнѣйшихъ обезьянъ». Будучи крѣпкаго

тѣлосложенія, имѣлъ послѣдовательно восемь амантъ. Супруга его, Лукерья Терентьевна, тоже была весьма снисходительна и тѣмъ много способствовала блеску сего правленія. Умеръ въ 1770 году своею смертью.

10) **Маркизъ де-Санглотъ**, Антонъ Протасьевичъ, французскій выходецъ и другъ Дидерота. Отличался легкомысліемъ и любилъ пѣть непристойныя пѣсни. Леталъ по воздуху въ городскомъ саду и чуть было не улетѣлъ совсѣмъ, какъ зацѣпился фалдами за шпицъ и оттуда съ превеликимъ трудомъ снятъ. За эту затѣю уволенъ въ 1772 году, а въ слѣдующемъ же году, не унывъ духомъ, давалъ представленія у Излера на минеральныхъ водахъ *).

11) **Ѳердыщенко**, Петръ Петровичъ, бригадиръ. Бывшій денщикъ князя Потемкина. При не весьма обширномъ умѣ, былъ косноязыченъ. Недоимки запустилъ: любилъ ѣсть буженину и гуся съ капустой. Во время его градоначальствованія городъ подвергся голоду и пожару. Умеръ въ 1779 году отъ объяденія.

12) **Бородавкинъ**, Василискъ Семеновичъ. Градоначальничество сіе было самое продолжительное и самое блестящее. Предводительствовалъ въ кампаніи противъ недоимщиковъ, при чемъ спалилъ тридцать три деревни и съ помощью сихъ мѣръ взыскалъ недоимокъ два рубля съ полтиною. Ввелъ въ употребленіе игру ламушъ и прованское масло; замостилъ базарную площадь и засадилъ березками улицу, ведущую къ присутственнымъ мѣстамъ; вновь ходатайствовалъ о заведеніи въ Глуповѣ академіи, но, получивъ отказъ, построилъ съѣзжій домъ. Умеръ въ 1798 году, на экзекуціи, напутствуемый капитанъ-исправникомъ.

13) **Негодяевъ**, Опуфрій Ивановичъ, бывшій гатчинскій истопникъ. Размостилъ вымощенныя предмѣстниками его улицы и изъ добытаго камня настроилъ монументовъ. Смѣненъ въ 1802 году за несогласіе съ Новосильцевымъ, Чарторыйскимъ и Строгоновымъ (знаменитый въ свое время тріумвиратъ) насчетъ конституцій, въ чемъ его и оправдали впослѣдствіи.

14) **Маналадзе**, князь Ксаверій Георгіевичъ, черкашенинъ, потомокъ сладострастной княгини Тамары. Имѣлъ обольстительную наружность и былъ столь охочъ до женскаго пола, что увеличилъ глуповское народонаселеніе

*) Это очевидная ошибка.—*Прим. изд.*

почти вдвое. Оставилъ полезное по сему предмету руководство. Умеръ въ 1814 году отъ истощенія силъ.

15) **Беневоленскій,** Ѳеофилактъ Иринарховичъ, статскій совѣтникъ, товарищъ Сперанскаго по семинаріи. Былъ мудръ и оказывалъ склонность къ законодательству. Предсказалъ гласные суды и земство. Имѣлъ любовную связь съ купчихою Распоповою, у которой, по субботамъ, ѣдалъ пироги съ начинкой. Въ свободное отъ занятій время сочинялъ для городскихъ поповъ проповѣди и переводилъ съ латинскаго сочиненія Ѳомы Кемпійскаго. Вновь ввелъ въ употребленіе, яко полезные, горчицу, лавровый листъ и прованское масло. Первый обложилъ данью откупъ, отъ коего и получалъ три тысячи рублей въ годъ. Въ 1811 году, за потворство Бонапарту, былъ призванъ къ отвѣту и сосланъ въ заточеніе.

16) **Прыщъ,** маіоръ Иванъ Пантелеичъ. Оказался съ фаршированной головой, въ чемъ и уличенъ мѣстнымъ предводителемъ дворянства.

17) **Ивановъ,** статскій совѣтникъ, Никодимъ Осиповичъ. Былъ столь малаго роста, что не могъ вмѣщать пространныхъ законовъ. Умеръ въ 1819 году отъ натуги, усиливаясь постичь нѣкоторый сенатскій указъ.

18) **Дю-Шаріо,** виконтъ, Ангелъ Дороѳеевичъ, французскій выходецъ. Любилъ рядиться въ женское платье и лакомился лягушками. По разсмотрѣніи, оказался дѣвицею. Высланъ въ 1821 году за границу.

20) **Грустиловъ,** Эрастъ Андреевичъ, статскій совѣтникъ. Другъ Карамзина. Отличался нѣжностью и чувствительностью сердца, любилъ пить чай въ городской рощѣ и не могъ безъ слезъ видѣть, какъ токуютъ тетерева. Оставилъ послѣ себя нѣсколько сочиненій идиллическаго содержанія и умеръ отъ меланхоліи въ 1825 году. Дань съ откупа возвысилъ до пяти тысячъ рублей въ годъ.

21) **Угрюмъ-Бурчеевъ,** бывый прохвостъ. Разрушилъ старый городъ и построилъ другой на новомъ мѣстѣ.

22) **Перехватъ-Залихватскій,** Архистратигъ Стратилатовичъ, маіоръ. О семъ умолчу. Въѣхалъ въ Глуповъ на бѣломъ конѣ, сжегъ гимназію и упразднилъ науки.

IV.—Органчикъ *).

Въ августѣ 1762 года въ городѣ Глуповѣ происходило необычайное движеніе по случаю прибытія новаго градоначальника, Дементія Варламовича Брудастаго. Жители ликовали; еще не видавъ въ глаза вновь назначеннаго правителя, они уже разсказывали о немъ анекдоты и называли его «красавчикомъ» и «умницей». Поздравляли другъ друга съ радостью, цѣловались, проливали слезы, заходили въ кабаки, снова выходили изъ нихъ и опять заходили. Въ порывѣ восторга вспомнились и старинныя глуповскія вольности. Лучшіе граждане собирались передъ соборной колокольней и, образовавъ всенародное вѣче, потрясали воздухъ восклицаніями: «батюшка-то нашъ! красавчикъ-то нашъ! умница-то нашъ!»

Явились даже опасные мечтатели. Руководимые не столько разумомъ, сколько движеніями благороднаго сердца, они утверждали, что при новомъ градоначальникѣ процвѣтетъ торговля и что подъ наблюденіемъ квартальныхъ надзирателей возникнутъ науки и искусства. Не удержались и отъ сравненій. Вспомнили только-что выѣхавшаго изъ города стараго градоначальника, и находили, что хотя онъ тоже былъ красавчикъ и умница, но что, за всѣмъ тѣмъ, новому правителю уже по тому одному должно быть отдано преимущество, что онъ новый. Однимъ словомъ, при этомъ случаѣ, какъ и при другихъ подобныхъ, вполнѣ выразились: и обычная глуповская восторженность, и обычное глуповское легкомысліе.

Между тѣмъ, новый градоначальникъ оказался молчаливъ и угрюмъ. Онъ прискакалъ въ Глуповъ, какъ говорится, во всѣ лопатки (время было такое, что нельзя было терять ни одной минуты), и едва вломился въ предѣлы городского выгона, какъ тутъ же, на самой границѣ, пересѣкъ уйму ямщиковъ. Но даже и это обстоятельство не охладило восторговъ обывателей, потому что умы еще были полны воспоминаніями о недавнихъ побѣдахъ надъ турками, и

*) По «Краткой описи» значится подъ № 8. Издатель нашелъ возможнымъ не придерживаться строго-хронологическаго порядка при ознакомленіи публики съ содержаніемъ «Лѣтописца». Сверхъ того, онъ счелъ за лучшее представить здѣсь біографіи только замѣчательнѣйшихъ градоначальниковъ, такъ какъ правители не столь замѣчательные достаточно характеризуются предшествующею настоящему очерку «Краткою описью».

всѣ надѣялись, что новый градоначальникъ во второй разъ возьметъ приступомъ крѣпость Хотинъ.

Скоро, однакожъ, обыватели убѣдились, что ликованія и надежды ихъ были, по малой мѣрѣ, преждевременны и преувеличены. Произошелъ обычный пріемъ, и тутъ въ первый разъ въ жизни пришлось глуповцамъ на дѣлѣ извѣдать, какимъ горькимъ испытаніямъ можетъ быть подвергнуто самое упорное начальстволюбіе. Все на этомъ пріемѣ совершилось какъ-то загадочно. Градоначальникъ безмолвно обошелъ ряды чиновныхъ архистратиговъ, сверкнулъ глазами, произнесъ: «не потерплю!» и скрылся въ кабинетъ. Чиновники остолбенѣли; за ними остолбенѣли и обыватели.

Несмотря на непреоборимую твердость, глуповцы — народъ изнѣженный и до крайности избалованный. Они любятъ, чтобъ у начальника на лицѣ играла привѣтливая улыбка, чтобы изъ устъ его, по временамъ, исходили любезныя прибаутки и, недоумѣваютъ, когда уста эти только фыркаютъ или издаютъ загадочные звуки. Начальникъ можетъ совершать всякія мѣропріятія: онъ можетъ даже никакихъ мѣропріятій не совершать, но ежели онъ не будетъ при этомъ калякать, то имя его никогда не сдѣлается популярнымъ. Бывали градоначальники истинно мудрые, такіе, которые не чужды были даже мысли о заведеніи въ Глуповѣ академіи (таковъ, напримѣръ, статскій совѣтникъ Двоекуровъ, значащійся по «описи» подъ № 9), но такъ какъ они не обзывали глуповцевъ ни «братцами», ни «робятами», то имена ихъ остались въ забвеніи. Напротивъ того, бывали другіе, хотя и не то чтобы очень глупые — такихъ не бывало,—а такіе, которые дѣлали дѣла среднія, то-есть сѣкли и взыскивали недоимки, но такъ какъ они при этомъ всегда приговаривали что-нибудь любезное, то имена ихъ не только были занесены на скрижали, но даже послужили предметомъ самыхъ разнообразныхъ устныхъ легендъ.

Такъ было и въ настоящемъ случаѣ. Какъ ни воспламенились сердца обывателей, по случаю пріѣзда новаго начальника, но пріемъ его значительно расхолодилъ ихъ.

— Что-жъ это такое! фыркнулъ—и затылокъ показалъ! нешто мы затылковъ не видали! а ты по душѣ съ нами поговори! ты лаской-то, лаской-то проникай! ты пригрозить пригрози, да потомъ и помилуй! Такъ говорили глуповцы, и со слезами припоминали, какіе бывали у нихъ прежде начальники, всѣ привѣтливые, да добрые, да красавчики— и всѣ-то въ мундирахъ! Вспомнили даже бѣглаго грека

Лаврокакиса (по «описи» подъ № 5), вспомнили, какъ пріѣхалъ, въ 1756 году, бригадиръ Бакланъ (по «описи» подъ № 6), и какимъ молодцомъ онъ на первомъ же пріемѣ выказалъ себя передъ обывателями.

— Натискъ,—сказалъ онъ:—и притомъ быстрота. Снисходительность и притомъ строгость. И притомъ благоразумная твердость. Вотъ, милостивые государи, та цѣль, или, точнѣе сказать, тѣ пять цѣлей, которыхъ я, съ Божьею помощью, надѣюсь достигнуть при посредствѣ нѣкоторыхъ административныхъ мѣропріятій, составляющихъ сущность или, лучше сказать, ядро обдуманнаго мною плана кампаніи!

И какъ онъ потомъ, ловко повернувшись на одномъ каблукѣ, обратился къ городскому головѣ и присовокупилъ:

— А по праздникамъ будемъ ѣсть у васъ пироги!

— Такъ вотъ, сударь, какъ настоящіе-то начальники принимали!—вздыхали глуповцы: — а этотъ что! фыркнулъ какую-то нелѣпицу, да и былъ таковъ!

Увы! послѣдующія событія не только оправдали общественное мнѣніе обывателей, но даже превзошли самыя смѣлыя ихъ опасенія. Новый градоначальникъ заперся въ своемъ кабинетѣ, не ѣлъ, не пилъ и все что-то скребъ перомъ. По временамъ онъ выбѣгалъ въ залъ, кидалъ письмоводителю кипу исписанныхъ листковъ, произносилъ: «не потерплю!» и вновь скрывался въ кабинетѣ. Неслыханная дѣятельность вдругъ закипѣла во всѣхъ концахъ города; частные пристава поскакали; квартальные поскакали; засѣдатели поскакали; будочники позабыли, что значитъ путемъ поѣсть, и съ тѣхъ поръ пріобрѣли пагубную привычку хватать куски на-лету. Хватаютъ и ловятъ, сѣкутъ и порютъ, описываютъ и продаютъ... А градоначальникъ все сидитъ и выскребаетъ все новыя и новыя понужденія... Гулъ и трескъ проносится изъ одного конца города въ другой, и надъ всѣмъ этимъ гвалтомъ, надъ всей этой сумятицей, словно крикъ хищной птицы, царитъ зловѣщее: «не потерплю!»

Глуповцы ужаснулись. Припомнили генеральное сѣченіе ямщиковъ, и вдругъ всѣхъ озарила мысль: а ну, какъ онъ этакимъ манеромъ цѣлый городъ выпоретъ! Потомъ стали соображать, какой смыслъ слѣдуетъ придавать слову «не потерплю!»—наконецъ, прибѣгли къ исторіи Глупова, стали отыскивать въ ней примѣры спасительной строгости, нашли разнообразіе изумительное, но ни до чего подходящаго, все-таки, не доискались.

— И хоть бы онъ дѣломъ сказывалъ, по скольку съ души ему надобно! — бесѣдовали между собой смущенные обыватели:—а то цыркаетъ да и на поди.

Глуповъ, безпечный, добродушно-веселый Глуповъ, пріунылъ. Нѣтъ болѣе оживленныхъ сходокъ за воротами домовъ, умолкло щелканье подсолнуховъ, нѣтъ игры въ бабки! Улицы запустѣли, на площадяхъ показались хищные звѣри. Люди только по нуждѣ оставляли дома свои и, на мгновеніе показавши испуганныя и изнуренныя лица, тотчасъ же хоронились. Нѣчто подобное было, по словамъ старожиловъ, во времена тушинскаго царька, да еще при Биронѣ, когда гулящая дѣвка, Танька-корявая, чуть-чуть не подвела всего города подъ экзекуцію. Но даже и тогда было лучше; по крайней мѣрѣ, тогда хоть что-нибудь понимали, а теперь чувствовали только страхъ, зловѣщій и безотчетный страхъ.

Въ особенности тяжело было смотрѣть на городъ поднимъ вечеромъ. Въ это время Глуповъ, и безъ того мало оживленный, окончательно замиралъ. На улицѣ царили голодные псы, но и тѣ не лаяли, а въ величайшемъ порядкѣ предавались изнѣженности и распущенности нравовъ; густой мракъ окутывалъ улицы и дома, и только въ одной изъ комнатъ градоначальнической квартиры мерцалъ, далеко за полночь, зловѣщій свѣтъ. Проснувшійся обыватель могъ видѣть, какъ градоначальникъ сидитъ, согнувшись, за письменнымъ столомъ, и все что-то скребетъ перомъ... И вдругъ подойдетъ къ окну, крикнетъ: «не потерплю!» — и опять скребетъ...

Начали ходить безобразные слухи. Говорили, что новый градоначальникъ совсѣмъ даже не градоначальникъ, а оборотень, присланный въ Глуповъ по легкомыслію; что онъ по ночамъ, въ видѣ ненасытнаго упыря, паритъ надъ городомъ и сосетъ у сонныхъ обывателей кровь. Разумѣется, все это повѣствовалось и передавалось другъ другу шопотомъ; хотя же и находились смѣльчаки, которые предлагали поголовно пасть на колѣни и просить прощенья, но и тѣхъ взяло раздумье. А что, если это такъ именно и надо? Что, ежели признано необходимымъ, чтобы въ Глуповѣ, грѣхъ его ради, былъ именно такой, а не иной градоначальникъ? Соображенія эти показались до того резонными, что храбрецы не только отреклись отъ своихъ предложеній, но тутъ же начали попрекать другъ друга въ смутьянствѣ и подстрекательствѣ.

И вдругъ всѣмъ сдѣлалось извѣстнымъ, что градоначаль-

ника секретно посѣщаетъ часовыхъ и органныхъ дѣлъ мастеръ Байбаковъ. Достовѣрные свидѣтели сказывали, что однажды, къ третьемъ часу ночи, видѣли, какъ Байбаковъ, весь блѣдный и испуганный, вышелъ изъ квартиры градоначальника и бережно несъ что-то обернутое въ салфеткѣ. И что̀ всего замѣчательнѣе — въ эту достопамятную ночь никто изъ обывателей не только не былъ разбуженъ крикомъ: «не потерплю!»—но и самъ градоначальникъ, повидимому, прекратилъ на время критическій анализъ недоимочныхъ реестровъ *) и погрузился въ сонъ.

Возникъ вопросъ: какую надобность могъ имѣть градоначальникъ въ Байбаковѣ, который, кромѣ того что пилъ безъ просыпа, былъ еще и явчый прелюбодѣй?

Начались подвохи и подсылы съ цѣлью вывѣдать тайну, но Байбаковъ оставался нѣмъ какъ рыба, и на всѣ увѣщанія ограничился тѣмъ, что трясся всѣмъ тѣломъ. Пробовали споить его; но онъ, не отказываясь отъ водки, только потѣлъ, а секрета не выдавалъ. Находившіеся у него въ ученьи мальчики могли сообщить одно: что дѣйствительно приходилъ однажды ночью полицейскій солдатъ, взялъ хозяина, который черезъ часъ возвратился съ узелкомъ, заперся въ мастерской и съ тѣхъ поръ затосковалъ.

Болѣе ничего узнать не могли. Между тѣмъ, таинственныя свиданія градоначальника съ Байбаковымъ участились. Съ теченіемъ времени Байбаковъ не только пересталъ тосковать, но даже до того осмѣлился, что самому градскому головѣ посулилъ отдать его безъ зачета въ солдаты, если онъ каждый день не будетъ выдавать ему на шкаликъ. Онъ сшилъ себѣ новую пару платья и хвастался, что надняхъ откроетъ въ Глуповѣ такой магазинъ, что самому Винтергальтеру **) въ носъ бросится.

Среди всѣхъ этихъ толковъ и пересудовъ, вдругъ какъ съ неба упала повѣстка, приглашавшая именитѣйшихъ представителей глуповской интеллигенціи, въ такой-то день

---

*) Очевидный анахронизмъ. Въ 1762 году недоимочныхъ реестровъ не было, а просто взыскивались деньги, сколько съ кого надлежитъ. Не было, слѣдовательно, и критическаго анализа. Впрочемъ, это скорѣе не анахронизмъ, а прозорливость, которую лѣтописецъ, по мѣстамъ, обнаруживаетъ въ столь сильной степени, что читателю дѣлается даже не совсѣмъ ловко. Такъ, напримѣръ (мы увидимъ это далѣе), онъ провидѣлъ изобрѣтеніе электрическаго телеграфа и даже учрежденіе губернскихъ правленій. *Издатель.*

**) Новый примѣръ прозорливости: Винтергальтера въ 1762 году не было. *Издатель.*

и часъ, прибыть къ градоначальнику для внушенія. Именитые смутились, но стали готовиться.

То былъ прекрасный весенній день. Природа ликовала; воробьи чирикали; собаки радостно взвизгивали и виляли хвостами. Обыватели, держа подъ мышками кульки, тѣснились на дворѣ градоначальнической квартиры и съ трепетомъ ожидали страшнаго судьбища. Наконецъ, ожидаемая минута настала.

Онъ вышелъ, и на лицѣ его въ первый разъ увидѣли глуповцы ту привѣтливую улыбку, о которой они тосковали. Казалось, благотворные лучи солнца подѣйствовали и на него (по крайней мѣрѣ многіе обыватели потомъ увѣряли, что собственными глазами видѣли, какъ у него тряслись фалдочки). Онъ, по очереди, обошелъ всѣхъ обывателей, и хотя молча, но благосклонно принялъ отъ нихъ все что̀ слѣдуетъ. Окончивши съ этимъ дѣломъ, онъ нѣсколько отступилъ къ крыльцу и раскрылъ ротъ... И вдругъ что-то внутри у него зашипѣло и зажужжало, и чѣмъ болѣе длилось это таинственное шипѣніе, тѣмъ сильнѣе и сильнѣе вертѣлись и сверкали его глаза. «П...п...плю!» наконецъ вырвалось у него изъ устъ... Съ этимъ звукомъ онъ въ послѣдній разъ сверкнулъ глазами и опрометью бросился въ открытую дверь своей квартиры.

Читая въ «Лѣтописцѣ» описаніе происшествія столь неслыханнаго, мы, свидѣтели и участники иныхъ временъ и иныхъ событій, конечно, имѣемъ полную возможность отнестись къ нему хладнокровно. Но перенесемся мыслью за сто лѣтъ тому назадъ, поставимъ себя на мѣсто достославныхъ нашихъ предковъ, и мы легко поймемъ тотъ ужасъ, который долженствовалъ обуять ихъ при видѣ этихъ вращающихся глазъ и этого раскрытаго рта, изъ котораго ничего не выходило, кромѣ шипѣнія и какого-то безсмысленнаго звука, не похожаго даже на бой часовъ. Но въ томъ-то именно и заключалась доброкачественность нашихъ предковъ, что, какъ ни потрясло ихъ описанное выше зрѣлище, они не увлеклись ни модными идеями, ни соблазнами, представляемыми анархіей, но остались вѣрными начальстволюбію, и только слегка позволили себѣ пособолѣзновать и попенять на своего болѣе чѣмъ страннаго градоначальника.

— И откуда къ намъ экой прохвостъ выискался?—говорили обыватели, изумленно вопрошая другъ друга и не придавая слову «прохвостъ» никакого особеннаго значенія.

— Смотри, братцы! какъ бы намъ тово... отвѣчать бы за него, за прохвоста, не пришлось! — присовокупляли другіе.

И затѣмъ спокойно разошлись по домамъ и предались обычнымъ своимъ занятіямъ.

И остался бы нашъ Брудастый на многіе годы пастыремъ вертограда сего, и радовалъ бы сердца начальниковъ своею распорядительностью, и не ощутили бы обыватели въ своемъ существованіи ничего необычайнаго, если бы обстоятельство совершенно случайное (простая оплошность) не прекратило его дѣятельности въ самомъ ея разгарѣ.

Немного спустя послѣ описаннаго выше пріема, письмоводитель градоначальника, вошедши утромъ съ докладомъ въ его кабинетъ, увидѣлъ такое зрѣлище: градоначальниково тѣло, облеченное въ вицмундиръ, сидѣло за письменнымъ столомъ, а передъ нимъ, на кипѣ недоимочныхъ реестровъ, лежала, въ видѣ щегольского пресспапье, совершенно пустая градоначальникова голова... Письмоводитель выбѣжалъ въ такомъ смятеніи, что зубы его стучали.

Побѣжали за помощникомъ градоначальника и за старшимъ квартальнымъ. Первый прежде всего напустился на послѣдняго, обвинилъ его въ нерадивости, въ потворствѣ наглому насилію, но квартальный оправдался. Онъ не безъ основанія утверждалъ, что голова могла быть опорожнена не иначе, какъ съ согласія самого же градоначальника, и что въ дѣлѣ этомъ принималъ участіе человѣкъ, несомнѣнно принадлежащій къ ремесленному цеху, такъ какъ на столѣ, въ числѣ вещественныхъ доказательствъ, оказались: долото, буравчикъ и англійская пилка. Призвали на совѣтъ главнаго городового врача и предложили ему три вопроса: 1) могла ли градоначальникова голова отдѣлиться отъ градоначальникова туловища безъ кровоизліянія? 2) возможно ли допустить предположеніе, что градоначальникъ снялъ съ плечъ и опорожнилъ самъ свою собственную голову? и 3) возможно ли предположить, чтобы градоначальническая голова, однажды упраздненная, могла впослѣдствіи нарасти вновь съ помощью какого-либо неизвѣстнаго процесса? Эскулапъ задумался, пробормоталъ что-то о какомъ-то «градоначальническомъ веществѣ», якобы источающемся изъ градоначальническаго тѣла, но потомъ, видя самъ, что зарапортовался, отъ прямого разрѣшенія вопросовъ уклонился, отзываясь тѣмъ, что тайна построенія градоначаль-

ническаго организма наукой достаточно еще не обслѣдована *).

Выслушавъ такой уклончивый отвѣтъ, помощникъ градоначальника сталъ втупикъ. Ему предстояло одно изъ двухъ: или немедленно рапортовать о случившемся по начальству и между тѣмъ начать подъ рукой слѣдствіе, или же нѣкоторое время молчать и выжидать, что будетъ. Въ виду такихъ затрудненій онъ избралъ средній путь, то-есть приступилъ къ дознанію, и въ то же время всѣмъ и каждому наказалъ хранить по этому предмету глубочайшую тайну, дабы не волновать народъ и не поселять въ немъ несбыточныхъ мечтаній.

Но какъ ни строго хранили будочники ввѣренную имъ тайну, неслыханная вѣсть объ упраздненіи градоначальниковой головы въ нѣсколько минутъ облетѣла весь городъ. Изъ обывателей многіе плакали, потому что почувствовали себя сиротами, и сверхъ того боялись подпасть подъ отвѣтственность за то, что повиновались такому градоначальнику, у котораго на плечахъ, вмѣсто головы, была пустая посудина. Напротивъ, другіе хотя тоже плакали, но утверждали, что за повиновеніе ихъ ожидаетъ не кара, а похвала.

Въ клубѣ, вечеромъ, всѣ наличные члены были въ сборѣ. Волновались, толковали, припоминали разныя обстоятельства и находили факты свойства довольно подозрительнаго. Такъ, напримѣръ, засѣдатель Толковниковъ разсказалъ, что однажды онъ вошелъ врасплохъ въ градоначальническій кабинетъ по весьма нужному дѣлу и засталъ градоначальника играющимъ своею собственною головой, которую онъ, впрочемъ, тотчасъ же поспѣшилъ пристроить къ надлежащему мѣсту. Тогда онъ не обратилъ на этотъ фактъ надлежащаго вниманія, и даже счелъ его игрою воображенія, но теперь ясно, что градоначальникъ, въ видахъ собственнаго облегченія, по временамъ снималъ съ себя голову и вмѣсто нея надѣвалъ ермолку, точно такъ, какъ соборный протоіерей, находясь въ домашнемъ кругу, снимаетъ съ себя камилавку и надѣваетъ колпакъ. Другой засѣдатель, Младенцевъ, вспомнилъ, что однажды, идя мимо мастерской часовщика Байбакова, онъ увидѣлъ въ одномъ

*) Нынѣ доказано, что тѣла всѣхъ вообще начальниковъ подчиняются тѣмъ же физіологическимъ законамъ, какъ и всякое другое человѣческое тѣло, но не слѣдуетъ забывать, что въ 1762 году наука была въ младенчествѣ. *Изд.*

изъ ея оконъ градоначальникову голову, окруженную слесарнымъ и столярнымъ инструментомъ. Но Младенцеву не дали докончить, потому что, при первомъ упоминовеніи о Байбаковѣ, всѣмъ пришло на память его странное поведеніе и таинственные ночные походы его въ квартиру градоначальника...

Тѣмъ не менѣе, изъ всѣхъ этихъ разсказовъ никакого яснаго результата не выходило. Публика начала даже склоняться въ пользу того мнѣнія, что вся эта исторія есть не что иное, какъ выдумка праздныхъ людей, но потомъ, припомнивъ лондонскихъ агитаторовъ *) и переходя отъ одного силлогизма къ другому, заключила, что измѣна свила себѣ гнѣздо въ самомъ Глуповѣ. Тогда всѣ члены заволновались, зашумѣли и, пригласивъ смотрителя народнаго училища, предложили ему вопросъ: бывали ли въ исторіи примѣры, чтобы люди распоряжались, вели войны и заключали трактаты, имѣя на плечахъ порожній сосудъ? Смотритель подумалъ съ минуту и отвѣчалъ, что въ исторіи многое покрыто мракомъ; но что былъ, однакоже, нѣкто Карлъ Простодушный, который имѣлъ на плечахъ хотя и не порожній, но все равно *какъ бы* порожній сосудъ, а войны велъ и трактаты заключалъ.

Покуда шли эти толки, помощникъ градоначальника не дремалъ. Онъ тоже вспомнилъ о Байбаковѣ и немедленно потянулъ его къ отвѣту. Нѣкоторое время Байбаковъ запирался, и ничего, кромѣ «знать не знаю, вѣдать не вѣдаю», не отвѣчалъ; но когда ему предъявили найденныя на столѣ вещественныя доказательства и, сверхъ того, пообѣщали полтинникъ на водку, то вразумился и, будучи грамотнымъ, далъ слѣдующее показаніе:

«Василіемъ зовутъ меня, Ивановымъ сыномъ, по прозванію Байбаковымъ. Глуповскій цеховой; у исповѣди и причастія святого не бываю, ибо принадлежу къ сектѣ фармазоновъ и есмь оной секты лже-іерей. Судился за сожитіе внѣ брака съ слободской женкой, Матренкой, и признанъ по суду явнымъ прелюбодѣемъ, въ каковомъ званіи и понынѣ состою. Въ прошломъ году, зимой,—не помню, какого числа и мѣсяца,—бывъ разбуженъ въ ночи, отправился я, въ сопровожденіи полицейскаго десятскаго, къ градоначальнику нашему, Дементію Варламовичу, и, пришедъ, засталъ его сидящимъ и головою то въ ту, то въ

*) Даже это предвидѣлъ «Лѣтописецъ»!—*Изд.*

другую сторону мѣрно помавающимъ. Обезпамятѣвъ отъ страха и притомъ будучи отягощенъ спиртными напитками, стоялъ я безмолвенъ у порога, какъ вдругъ господинъ градоначальникъ поманили меня рукою къ себѣ и подали мнѣ бумажку. На бумажкѣ я прочиталъ: «не удивляйся, по попорченное исправь». Послѣ того господинъ градоначальникъ сняли съ себя собственную голову и подали ее мнѣ. Разсмотрѣвъ ближе лежащій предо мной ящикъ, я нашелъ, что онъ заключаетъ въ одномъ углу небольшой органчикъ, могущій исполнять нѣкоторыя нетрудныя музыкальныя пьесы. Пьесъ этихъ было двѣ: «раззорю!» и «не потерплю!» Но такъ какъ въ дорогѣ голова нѣсколько отсырѣла, то на валикѣ нѣкоторые колки расшатались, а другіе и совсѣмъ повыпали. Отъ этого самаго господинъ градоначальникъ не могли говорить внятно, или же говорили съ пропускомъ буквъ и слоговъ. Замѣтивъ въ себѣ желаніе исправить эту погрѣшность и получивъ на то согласіе господина градоначальника, я съ должнымъ раченіемъ завернулъ голову въ салфетку и отправился домой. Но здѣсь я увидѣлъ, что напрасно понадѣялся на свое усердіе, ибо какъ ни старался я выпавшіе колки утвердить, но столь мало успѣлъ въ моемъ предпріятіи, что при малѣйшей неосторожности или простудѣ колки вновь вываливались, и въ послѣднее время господинъ градоначальникъ могли произнести только: «п-плю!» Въ сей крайности, вознамѣрились они сгоряча меня на всю жизнь несчастнымъ сдѣлать, но я тотъ ударъ отклонилъ, предложивши господину градоначальнику обратиться за помощью въ Санктъ-Петербургъ къ часовыхъ и органныхъ дѣлъ мастеру Винтергальтеру, что̀ и было ими выполнено въ точности. Съ тѣхъ поръ прошло уже довольно времени, въ продолженіе коего я ежедневно разсматривалъ градоначальникову голову и вычищалъ изъ нея соръ, въ каковомъ занятіи пребывалъ и въ то утро, когда ваше высокородіе, по оплошности моей, конфисковали принадлежащій мнѣ инструментъ. Но почему заказанная у господина Винтергальтера новая голова до сихъ поръ не прибываетъ—о томъ неизвѣстенъ. Полагаю, впрочемъ, что за разлитіемъ рѣкъ, по весеннему нынѣшнему времени, голова сія и нынѣ находится гдѣ-либо въ бездѣйствіи. На спрашиваніе же вашего высокоблагородія о томъ, во-первыхъ, могу ли я, въ случаѣ присылки новой головы, оную утвердить, и, во-вторыхъ, будетъ ли та утвержденная голова исправно дѣйствовать? — отвѣтствовать симъ честь

имѣю: утвердить могу и дѣйствовать оная будетъ, но настоящихъ мыслей имѣть не можетъ. Къ сему показанію явный прелюбодѣй Василій Ивановъ Байбаковъ руку приложилъ». . . .

Выслушавъ показаніе Байбакова, помощникъ градоначальника сообразилъ, что ежели однажды допущено, чтобы въ Глуповѣ былъ городничій, имѣющій вмѣсто головы простую укладку, то, стало-быть, это такъ и слѣдуетъ. Поэтому онъ рѣшился выжидать, но въ то же время послалъ къ Винтергальтеру понудительную телеграмму *) и, заперевъ градоначальниково тѣло на ключъ, устремилъ всю свою дѣятельность на успокоеніе общественнаго мнѣнія.

Но всѣ ухищренія оказались уже тщетными. Прошло послѣ того и еще два дня; пришла, наконецъ, и давно ожидаемая петербургская почта, но никакой головы не привезла.

Началась анархія, то-есть безначаліе. Присутственныя мѣста запустѣли; недоимокъ накопилось такое множество, что мѣстный казначей, заглянувъ въ казенный ящикъ, разинулъ ротъ, да такъ на всю жизнь съ разинутымъ ртомъ и остался; квартальные отбились отъ рукъ и нагло бездѣйствовали; офиціальные дни исчезли. Мало того, начались убійства, и на самомъ городскомъ выгонѣ поднято было туловище неизвѣстнаго человѣка, въ которомъ, по фалдочкамъ, хотя признали лейбъ-кампанца, но ни капитанъ-исправникъ, ни прочіе члены временнаго отдѣленія, какъ ни бились, не могли отыскать отдѣленной отъ туловища головы.

Въ восемь часовъ вечера помощникъ градоначальника получилъ по телеграфу извѣстіе, что голова давнымъ-давно послана. Помощникъ градоначальника оторопѣлъ окончательно.

Проходитъ и еще день, а градоначальниково тѣло все сидитъ въ кабинетѣ и даже начинаетъ портиться. Начальстволюбіе, временно потрясенное страннымъ поведеніемъ Брудастаго, робкими, но твердыми шагами выступаетъ впередъ. Лучшіе люди ѣдутъ процессіей къ помощнику градоначальника и настоятельно требуютъ, чтобы онъ распорядился. Помощникъ градоначальника, видя, что недоимки накопляются, пьянство развивается, правда въ судахъ упраздняется, а резолюціи не утверждаются, обратился къ содѣйствію стрянчаго. Сей послѣдній, какъ человѣкъ обя-

*) Изумительно!! *Изд.*

зательный, телеграфировалъ о происшедшемъ случаѣ по начальству, и по телеграфу же получилъ извѣстіе, что онъ за нелѣпое донесеніе уволенъ отъ службы *).

Услыхавъ объ этомъ, помощникъ градоначальника пришелъ въ управленіе и заплакалъ. Пришли засѣдатели — и тоже заплакали; явился стряпчій, но и тотъ отъ слезъ не могъ говорить.

Между тѣмъ, Винтергальтеръ говорилъ правду, и голова дѣйствительно была изготовлена и выслана своевременно. Но онъ поступилъ опрометчиво, поручивъ доставку ея на почтовыхъ мальчику, совершенно несвѣдущему въ органномъ дѣлѣ. Вмѣсто того, чтобъ держать посылку бережно на-вѣсу, неопытный посланецъ кинулъ ее на дно телѣги, а самъ задремалъ. Въ этомъ положеніи онъ проскакалъ нѣсколько станцій, какъ вдругъ почувствовалъ, что кто-то укусилъ его за икру. Застигнутый болью врасплохъ, онъ съ поспѣшностью развязалъ рогожный кулекъ, въ которомъ завернута была загадочная кладь, и странное зрѣлище вдругъ представилось глазамъ его. Голова разѣвала ротъ и поводила глазами; мало того, она громко и совершенно отчетливо произнесла: «раззорю!»

Мальчишка просто обезумѣлъ отъ ужаса. Первымъ его движеніемъ было выбросить говорящую кладь на дорогу; вторымъ незамѣтнымъ образомъ спуститься изъ телѣги и скрыться въ кусты.

Можетъ-быть, тѣмъ бы и кончилось это странное происшествіе, что голова, пролежавъ нѣкоторое время на дорогѣ, была бы со временемъ раздавлена экипажами проѣзжающихъ и, наконецъ, вывезена на поле въ видѣ удобренія, если бы дѣло не усложнилось вмѣшательствомъ элемента до такой степени фантастическаго, что сами глуповцы—и тѣ стали втупикъ. Но не будемъ упреждать событій и посмотримъ, что дѣлается въ Глуповѣ.

Глуповъ закипѣлъ. Не видя нѣсколько дней сряду градоначальника, граждане волновались и, нимало не стѣсняясь, обвиняли помощника градоначальника и старшаго квартальнаго въ растратѣ казеннаго имущества. По городу безнаказанно бродили юродивые и блаженные и предсказывали народу всякія бѣдствія. Какой-то Мишка Возгрявый увѣрялъ, что онъ имѣлъ ночью сонное видѣніе, въ

*) Этотъ достойный чиновникъ оправдался и, какъ увидимъ ниже, принималъ дѣятельное участіе въ послѣдующихъ глуповскихъ событіяхъ. *Изд.*

которомъ явился къ нему мужъ грозенъ и облакомъ пресвѣтлымъ одѣянъ.

Наконецъ, глуповцы не вытерпѣли; предводительствуемые излюбленнымъ гражданиномъ Пузановымъ, они выстроились въ каре передъ присутственными мѣстами и требовали къ народному суду помощника градоначальника, грозя въ противномъ случаѣ разнести и его самого, и его домъ.

Противообщественные элементы всплывали наверхъ съ ужасающею быстротой. Поговаривали о самозванцахъ, о какомъ-то Степкѣ, который, предводительствуя вольницей, не далѣе, какъ вчера, въ виду всѣхъ, свелъ двухъ купеческихъ женъ.

— Куда ты дѣвалъ нашего батюшку? — завопило разозленное до неистовства сонмище, когда помощникъ градоначальника предсталъ передъ нимъ.

— Атаманы-молодцы! гдѣ же я вамъ его возьму, коли онъ на ключъ заперъ! — уговаривалъ толпу объятый трепетомъ чиновникъ, вызванный событіями изъ административнаго оцѣпенѣнія. Въ то же время онъ секретно мигнулъ Байбакову, который, увидѣвъ этотъ знакъ, немедленно скрылся.

Но волненіе не унималось.

— Врешь, переметная сума!—отвѣчала толпа: — вы нарочно съ квартальнымъ стакнулись, чтобъ батюшку нашего отъ себя избыть!

И Богъ знаетъ, чѣмъ разрѣшилось бы всеобщее смятеніе, если бы въ эту минуту не послышался звонъ колокольчика и вслѣдъ за тѣмъ не подъѣхала къ бунтующимъ телѣга, въ которой сидѣлъ капитанъ-исправникъ, а съ нимъ рядомъ... исчезнувшій градоначальникъ!

На немъ былъ надѣтъ лейбъ-кампанскій мундиръ; голова его была сильно перепачкана грязью и въ нѣсколькихъ мѣстахъ побита. Несмотря на это, онъ ловко соскочилъ съ телѣги и сверкнулъ на толпу глазами.

— Раззорю!—заревѣлъ онъ такимъ оглушительнымъ голосомъ, что всѣ мгновенно притихли.

Волненіе было подавлено сразу; въ этой недавно столь грозно гудѣвшей толпѣ водворилась такая тишина, что можно было разслышать, какъ жужжалъ комаръ, прилетѣвшій изъ сосѣдняго болота подивиться на «сіе нелѣпое и смѣха достойное глуповское смятеніе».

— Зачинщики впередъ!—скомандовалъ градоначальникъ, все болѣе возвышая голосъ.

Начали выбирать зачинщиковъ изъ числа неплательщиковъ податей, и уже набрали человѣкъ съ десятокъ, какъ новое и совершенно диковинное обстоятельство дало дѣлу совсѣмъ другой оборотъ.

Въ то время, какъ глуповцы съ тоскою перешептывались, припоминая, на комъ изъ нихъ болѣе накопилось недоимки, къ сборищу незамѣтно подъѣхали столь извѣстныя обывателямъ градоначальническія дрожки. Не успѣли обыватели оглянуться, какъ изъ экипажа выскочилъ Байбаковъ, а слѣдомъ за нимъ въ виду всей толпы очутился точь-въ-точь такой же градоначальникъ, какъ и тотъ, который, за минуту передъ тѣмъ, былъ привезенъ въ телѣгѣ исправникомъ! Глуповцы такъ и остолбенѣли.

Голова у этого другого градоначальника была совершенно новая и притомъ покрытая лакомъ. Нѣкоторымъ прозорливымъ гражданамъ показалось страннымъ, что больное родимое пятно, бывшее нѣсколько дней тому назадъ на правой щекѣ градоначальника, теперь очутилось на лѣвой.

Самозванцы встрѣтились и смѣрили другъ друга глазами. Толпа медленно и въ молчаніи разошлась *).

V.—Сказаніе о шести градоначальницахъ.

Картина глуповскаго междоусобія.

Какъ и должно было ожидать, странныя происшествія, совершившіяся въ Глуповѣ, не остались безъ послѣдствій.

Не успѣло еще пагубное двоевластіе пустить зловредные свои корни, какъ изъ губерніи прибылъ разсыльный, который, забравъ обоихъ самозванцевъ и посадивъ ихъ въ

*) Издатель почелъ за лучшее закончить на этомъ мѣстѣ настоящій разсказъ, хотя «Лѣтописецъ» и дополняетъ его различными разъясненіями. Такъ, напримѣръ, онъ говоритъ, что на первомъ градоначальникѣ была надѣта та самая голова, которую выбросилъ изъ телѣги посланный Бипитергальтера и которую капитанъ-исправникъ приставилъ къ туловищу неизвѣстнаго лейбъ-кампанца; на второмъ же градоначальникѣ была надѣта прежняя голова, которую наскоро исправилъ Байбаковъ, по приказанію помощника городничаго, набивши ее, по ошибкѣ, вмѣсто музыки, вышедшими изъ употребленія предписаніями. Всѣ эти разсужденія положительно младенческія, и несомнѣннымъ остается только то, что оба градоначальника были самозванцы.

особые сосуды, наполненные спиртомъ, немедленно увезъ для освидѣтельствованія.

Но этотъ, повидимому, естественный и законный актъ административной твердости едва не сдѣлался источникомъ еще горшихъ затрудненій, нежели тѣ, которыя произведены были непонятнымъ появленіемъ двухъ одинаковыхъ градоначальниковъ.

Едва простылъ слѣдъ разсыльнаго, увезшаго самозванцевъ, едва узнали глуповцы, что они остались совсѣмъ безъ градоначальника, какъ, движимые силою начальстволюбія, немедленно впали въ анархію.

«И лежалъ бы градъ сей и до днесь въ оной погибельной безднѣ,—говоритъ «Лѣтописецъ»,—ежели бы не былъ извлеченъ оттоль твердостью и самоотверженіемъ нѣкотораго неустрашимаго штабъ-офицера изъ мѣстныхъ обывателей».

Анархія началась съ того, что глуповцы собрались вокругъ колокольни и сбросили двухъ гражданъ: Степку да Ивашку. Потомъ пошли къ модному заведенію француженки, дѣвицы де-Санъ-Кюлотъ (въ Глуповѣ она была извѣстна подъ именемъ Устиньи Протасьевны Трубочистихи; впослѣдствіи же оказалась сестрою Марата *) и умерла отъ угрызеній совѣсти) и, перебивъ тамъ стекла, послѣдовали къ рѣкѣ. Тутъ утопили еще двухъ гражданъ: Порфишку да другого Ивашку, и, ничего не доспѣвъ, разошлись по домамъ.

Между тѣмъ, измѣна не дремала. Явились честолюбивыя личности, которыя задумали воспользоваться дезорганизаціей властей для удовлетворенія своимъ эгоистическимъ цѣлямъ. И что всего страннѣе,—представительницами анархическаго элемента явились на сей разъ исключительно женщины.

Первая, которая замыслила похитить бразды глуповскаго правленія, была Иранда Лукинишна Палеологова, бездѣтная вдова, непреклоннаго характера, мужественнаго сложенія, съ лицомъ темно-коричневаго цвѣта, напоминавшимъ старопечатныя изображенія. Никто не помнилъ, когда она поселилась въ Глуповѣ, такъ что нѣкоторые изъ старожиловъ полагали, что событіе это совпадало съ мракомъ временъ. Жила она уединенно, питаясь скудною пищею, от-

*) Марать въ то время не былъ извѣстенъ; ошибку эту, впрочемъ, можно объяснить тѣмъ, что событія описывались лѣтописцемъ, повидимому, не по горячимъ слѣдамъ, а нѣсколько лѣтъ спустя.—*Изд.*

давая въ ростъ деньги и жестоко истязуя четырехъ своихъ крѣпостныхъ дѣвокъ. Дерзкое свое предпріятіе она, повидимому, зрѣло обдумала. Во-первыхъ, она сообразила, что городу безъ начальства ни на минуту оставаться не возможно; во-вторыхъ, нося фамилію Палеологовыхъ, она видѣла въ этомъ нѣкоторое тайное указаніе; въ-третьихъ, не мало предвѣщало ей хорошаго и то обстоятельство, что покойный мужъ ея, бывшій винный приставъ, однажды, за оскудѣніемъ, исправлялъ гдѣ-то должность градоначальника. «Сообразивъ сіе,—говоритъ лѣтописецъ,—злосхидная оная Ираидка начала дѣйствовать».

Не успѣли глуповцы опомниться отъ вчерашнихъ событій, какъ Палеологова, воспользовавшись тѣмъ, что помощникъ градоначальника со своими приспѣшниками засѣлъ въ клубѣ въ бостонъ, извлекла изъ ноженъ шпагу покойнаго виннаго пристава и, напоивъ, для храбрости, троихъ солдатъ изъ мѣстной инвалидной команды, вторглась въ казначейство. Оттоль, взявъ въ плѣнъ казначея и бухгалтера, а казну обокравъ, возвратилась въ домъ свой. При чемъ бросала въ народъ мѣдными деньгами, а пьяные ея подручники восклицали: «вотъ наша матушка! теперь нашъ, братцы, вина будетъ вволю!»

Когда, на другой день, помощникъ градоначальника проснулся, все уже было кончено. Онъ изъ окна видѣлъ, какъ обыватели поздравляли другъ друга, лобызались и проливали слезы. Затѣмъ, хотя онъ и попытался вновь захватить бразды правленія, но такъ какъ руки у него тряслись, то сейчасъ же ихъ выпустилъ. Въ унынін и въ тоскѣ онъ поспѣшилъ въ городовое управленіе, чтобъ узнать, сколько осталось вѣрныхъ ему полицейскихъ солдатъ, но на дорогѣ былъ схваченъ засѣдателемъ Толковниковымъ и приведенъ предъ Ираидку. Тамъ уже засталъ онъ связаннаго казенныхъ дѣлъ стряпчаго, который тоже ожидалъ своей участи.

— Признаете ли вы меня за градоначальницу?—кричала на нихъ Ираидка.

— Если ты имѣешь мужа и можешь доказать, что онъ здѣшній градоначальникъ, то признаю! — твердо отвѣчалъ мужественный помощникъ градоначальника. Казенныхъ дѣлъ стряпчій трясся всѣмъ тѣломъ и трясеніемъ этимъ какъ бы подтверждалъ мужество своего сослуживца.

— Не о томъ васъ спрашиваютъ, мужняя ли я жена,

или вдова, а о томъ, признаете ли вы меня градоначальницею?—пуще ярилась Ираидка.

— Если болѣе ясныхъ доказательствъ не имѣешь, то не признаю! — столь твердо отвѣчалъ помощникъ градоначальника, что стряпчій защелкалъ зубами и заметался во всѣ стороны.

— Что съ ними толковать! на раскатъ ихъ!—вопилъ Толковниковъ и его единомышленники.

Нѣтъ сомнѣнія, что участь этихъ оставшихся вѣрными долгу чиновниковъ была бы весьма плачевна, если-бъ не выручило ихъ непредвидѣнное обстоятельство. Въ то время, когда Ираида безпечно торжествовала побѣду, неустрашимый штабъ-офицеръ не дремалъ и, руководясь пословицей: «выбивай клинъ клиномъ», научилъ нѣкоторую авантюристку, Клемантинку де-Бурбонъ, предъявить права свои. Права эти заключались въ томъ, что отецъ [ея, Клемантинки, кавалеръ де-Бурбонъ, былъ нѣкогда гдѣ-то градоначальникомъ и за фальшивую игру въ карты отъ должности той уволенъ. Сверхъ сего, новая претендентша имѣла высокій ростъ, любила пить водку и ѣздила верхомъ по-мужски. Безъ труда склонивъ въ свою сторону четырехъ солдатъ мѣстной инвалидной команды и будучи тайно поддерживаема польскою интригою, эта бездѣльная проходимица овладѣла умами почти мгновенно. Опять шарахнулись глуповцы къ колокольнѣ, сбросили съ раската Тимошку да третьяго Ивашку, потомъ пошли къ Трубочистихѣ и до тла разорили ея заведеніе, потомъ шарахнулись къ рѣкѣ и тамъ утопили Прошку да четвертаго Ивашку.

Въ такомъ положеніи были дѣла, когда мужественныхъ страдальцевъ повели къ раскату. На улицѣ ихъ встрѣтила предводимая Клемантинкою толпа, посреди которой недреманнымъ окомъ бодрствовалъ неустрашимый штабъ-офицеръ. Плѣнниковъ немедленно освободили.

— Что, старички! признаете ли вы меня за градоначальницу?—спросила безпутная Клемантинка.

— Ежели ты имѣешь мужа и можешь доказать, что онъ здѣшній градоначальникъ, то признаемъ!—мужественно отвѣчалъ помощникъ градоначальника.

— Ну, Христосъ съ вами! отведите имъ по клочку земли подъ огороды! пускай сажаютъ капусту и пасутъ гусей!—кротко сказала Клемантинка и съ этимъ словомъ двинулась къ дому, въ которомъ укрѣпилась Ираидка.

Произошло сраженіе; Ираидка защищалась цѣлый день и цѣлую ночь, искусно выставляя впередъ плѣнныхъ казначея и бухгалтера.

— Сдайся!—говорила Клемантинка.

— Покорись, безстыжая! да уйми свонхъ кобелей! — храбро отвѣчала Ираидка.

Однако, къ утру слѣдующаго дня Ираидка начала ослабѣвать, но и то благодаря лишь тому обстоятельству, что казначей и бухгалтеръ, проникнувшись гражданскою храбростью, рѣшительно отказались защищать укрѣпленіе. Положеніе осажденныхъ сдѣлалось весьма сомнительнымъ. Сверхъ обязанности отбивать осаждающихъ, Ираидкѣ необходимо было усмирять измѣну въ собственномъ лагерѣ. Предвидя конечную гибель, она рѣшилась умереть геройскою смертью и, собравъ награбленныя въ казнѣ деньги, въ виду всѣхъ взлетѣла на воздухъ вмѣстѣ съ казначеемъ и бухгалтеромъ.

Утромъ, помощникъ градоначальника, сажая капусту, видѣлъ, какъ обыватели вновь поздравляли другъ друга, лобызались и проливали слезы. Нѣкоторые изъ нихъ до того осмѣлились, что даже подходили къ нему, хлопали по плечу и въ шутку называли свинопасомъ. Всѣхъ этихъ смѣльчаковъ помощникъ градоначальника, конечно, тогда же записалъ на бумажку.

Вѣсти о «глуповскомъ нелѣпомъ и смѣха достойномъ смятеніи» достигли, наконецъ, и до начальства. Велѣно было «безпутную оную Клемантинку, сыскавъ, представить, а которые есть у нея сообщники, то и тѣхъ, сыскавъ, представить же, а глуповцамъ крѣпко-на-крѣпко наказать, дабы неповинныхъ гражданъ въ рѣкѣ занапрасно не утапливали и съ раската звѣринымъ обычаемъ не сбрасывали». Но извѣстія о назначеніи новаго градоначальника все еще не получалось.

Между тѣмъ, дѣла въ Глуповѣ запутывались все больше и больше. Явилась третья претендентша, ревельская уроженка Амалія Карловна Штокфишъ, которая основывала свои претензіи единственно на томъ, что она два мѣсяца жила у какого-то градоначальника въ помпадуршахъ. Опять шарахнулись глуповцы къ колокольнѣ, сбросили съ раската Семку и только-что хотѣли спустить туда Ивашку, какъ были остановлены именитымъ гражданиномъ Силой Терентьевымъ Пузановымъ.

— Атаманы-молодцы!—говорилъ Пузановъ:—однако, вѣдь

мы такимъ манеромъ всѣхъ людишекъ перебьемъ, а толку не измыслимъ!

— Правда!—согласились опомнившіеся атаманы-молодцы.

— Стой!—кричали другіе: — а зачѣмъ Ивашко галдитъ? галдѣть развѣ велѣно?

Пятый Ивашко стоялъ ни живъ, ни мертвъ передъ раскатомъ, машинально кланяясь на всѣ стороны.

Въ это время къ толпѣ подъѣхала на бѣломъ конѣ дѣвица Штокфишъ, сопровождаемая шестью пьяными солдатами, которые вели взятую въ плѣнъ безпутную Клемантинку. Штокфишъ была полная, бѣлокурая нѣмка, съ высокою грудью, съ румяными щеками и съ пухлыми, словно вишни, губами. Толпа заволновалась.

— Ишь, толстомясая! пупки-то нагуляла!—раздалось въ разныхъ мѣстахъ.

Но Штокфишъ, очевидно, заранѣе взвѣсила опасности своего положенія и поторопилась отразить ихъ хладнокровіемъ.

— Атаманы-молодцы!—гаркнула она, молодецки указывая на обезумѣвшую отъ водки Клемантинку: — вотъ безпутная оная Клемантинка, которую велѣно, сыскавъ, представить! видѣли?

— Видѣли!—шумѣла толпа.

— Точно видѣли? и признаете ее за ту самую безпутную оную Клемантинку, которую велѣно, сыскавъ, немедленно представить?

— Видѣли! признаемъ!

— Такъ выкатить имъ три бочки нѣннаго!—воскликнула неустрашимая нѣмка, обращаясь къ солдатамъ и, не торопясь, выѣхала изъ толпы.

— Вотъ она! вотъ она, матушка-то наша Амалія Карловна! теперь, братцы, вина у насъ будетъ вдоволь!—гаркнули атаманы-молодцы вслѣдъ уѣзжающей.

Въ этотъ день весь Глуповъ былъ пьянъ, а больше всѣхъ пятый Ивашко. Безпутную оную Клемантинку посадили въ клѣтку и вывезли на площадь; атаманы-молодцы подходили и дразнили ее. Нѣкоторые, болѣе добродушные, потчивали водкой, но требовали, чтобы она за это откинула какое-нибудь колѣнце.

Легкость, съ которою толстомясая нѣмка Штокфишъ одержала побѣду надъ безпутною Клемантинкой, объясняется очень просто. Клемантинка, какъ только уничтожила Раидку, такъ сейчасъ же заперлась съ своими солдатами и

предалась изнѣженности нравовъ. Напрасно панъ Кшепшицюльскій и панъ Пшекшицюльскій, которыхъ она была тайнымъ орудіемъ, усовѣщивали, протестовали и угрожали— Клемантинка черезъ пять минутъ была до того пьяна, что ничего ужъ не понимала. Паны нѣкоторое время еще поддержались, но потомъ, увидѣвъ безполезность дальнѣйшей стойкости, отступились. И дѣйствительно, въ ту же ночь Клемантинка была поднята въ безчувственномъ видѣ съ постели и выволочена въ одной рубашкѣ на улицу.

Неустрашимый штабъ-офицеръ (изъ обывателей) былъ въ отчаяніи. Изъ всѣхъ его ухищреній, подвоховъ и переодѣваній ровно ничего не выходило. Анархія царствовала въ городѣ полная; начальствующихъ не было; предводитель удралъ въ деревню; старшій квартальный зарылся съ смотрителемъ училищъ на пожарномъ дворѣ въ солому— и трепеталъ. Самого его, штабъ-офицера, сыскивали по городу и за поимку назначено было награды алтынъ. Обыватели заволновались, потому что всякому было лестно тотъ алтынъ прикарманить. Онъ ужъ подумывалъ, не лучше ли ему самому воспользоваться деньгами, явившись къ толстомясой нѣмкѣ съ повинною, какъ вдругъ неожиданное обстоятельство дало дѣлу совершенно новый оборотъ.

Легко было нѣмкѣ справиться съ безпутною Клемантинкою, но несравненно труднѣе было обезоружить польскую интригу, тѣмъ болѣе, что она дѣйствовала невидимыми подземными путями. Послѣ разгрома Клемантинкинова паны Кшепшицюльскій и Пшекшицюльскій грустно возвращались по домамъ и громко сѣтовали на неспособность русскаго народа, который даже для подобнаго случая ни одной талантливой личности не сумѣлъ изъ себя выработать, какъ вниманіе ихъ было развлечено однимъ, повидимому, ничтожнымъ происшествіемъ.

Было свѣжее майское утро, и съ неба падала изобильная роса. Послѣ безсонной и бурно-проведенной ночи глуповцы улеглись спать, и въ городѣ царствовала тишина непробудная. Около деревяннаго домика, невзрачной наружности, суетились какіе-то два парня и мазали дегтемъ ворота. Увидѣвъ пановъ, они, повидимому, смѣшались и спѣшили наутекъ, но были остановлены.

— Что вы тутъ дѣлаете?—спросили паны.

— Да вотъ Нелькины ворота дегтемъ мажемъ,—сознался одинъ изъ парней:—очснно она нонѣ на всѣ стороны махаться стала!

Паны переглянулись и какъ-то многозначительно цыкнули. Хотя они пошли далѣе, но въ головахъ ихъ созрѣлъ уже планъ. Они вспомнили, что въ ветхомъ деревянномъ домикѣ дѣйствительно жила и содержала заѣзжій домъ ихъ компатріотка, Анеля Алоизіевна Лядоховская, и что хотя она не имѣла никакихъ правъ на названіе градоначальнической помпадурши, но тоже была какъ-то однажды призываема къ градоначальнику. Этого послѣдняго обстоятельства совершенно достаточно было, чтобы выставить новую претендентшу и сплести новую польскую интригу.

Они тѣмъ легче могли успѣть въ своемъ намѣреніи, что въ это время своеволіе глуповцевъ дошло до размѣровъ неслыханныхъ. Мало того, что они въ одинъ день сбросили съ раската и утопили въ рѣкѣ цѣлые десятки излюбленныхъ гражданъ, но на заставѣ самовольно остановили ѣхавшаго изъ губерніи, по казенной подорожной, чиновника.

— Кто ты? и съ чѣмъ къ намъ пріѣхалъ?—спрашивали глуповцы чиновника.

— Чиновникъ я изъ губерніи (имя рекъ), — отвѣчалъ пріѣзжій:—и пріѣхалъ сюда для розыску бездѣльныхъ Клемантинкиныхъ дѣлъ!

— Вретъ онъ! Онъ отъ Клемантинки, отъ подлой, подосланъ! волоките его на съѣзжую!—кричали атаманы-молодцы.

Напрасно протестовалъ и сопротивлялся пріѣзжій, напрасно показывалъ какія-то бумаги—народъ ничему не вѣрилъ и не выпускалъ его.

— Намъ, братъ, этой бумаги цѣлые вороха показывали—да пустое дѣло вышло! а съ тобой намъ ссылаться не пригоже, потому ты—и по обличью видно—безпутной оной Клемантинки лазутчикъ!—кричали одни.

— Что съ нимъ по пустякамъ лясы точить! въ воду его—и шабашъ!—кричали другіе.

Несчастнаго чиновника увели въ съѣзжую избу и отдали за приставовъ.

Между тѣмъ, Амалія Штокфишъ распоряжалась: назначила съ мѣщанъ по алтыну съ каждаго двора, съ купцовъ же по фунту чаю да по головѣ сахару по большой. Потомъ поѣхала въ казармы и изъ собственныхъ рукъ поднесла солдатамъ по чаркѣ водки и по куску пирога. Возвращаясь домой, она встрѣтила на дорогѣ помощника

градоначальника и стряпчаго, которые гнали хворостиной гусей съ луга.

— Ну, что, старички? одумались? признаете меня?— спросила она ихъ благосклонно.

— Ежели имѣешь мужа и можешь доказать, что онъ нашъ градоначальникъ, то признаемъ!—твердо отвѣтствовалъ помощникъ градоначальника.

— Ну, Христосъ съ вами! пасите гусей!—сказала толстомясая нѣмка и прослѣдовала далѣе.

Къ вечеру полилъ такой сильный дождь, что улицы Глупова сдѣлались на нѣсколько часовъ непроходимыми. Благодаря этому обстоятельству, ночь минула благополучно для всѣхъ, кромѣ злосчастнаго пріѣзжаго чиновника, котораго, для вѣрнѣйшаго испытанія, посадили въ темную и тѣсную каморку, изстари носившую названіе «большого блошинаго завода», въ отличіе отъ малаго завода, въ которомъ испытывались преступники менѣе опасные. Наставшее затѣмъ утро также не благопріятствовало происканъ польской интриги, такъ какъ интрига эта, всегда дѣйствуя въ темнотѣ, не можетъ выносить солнечнаго свѣта. «Толстомясая нѣмка», обманутая наружною тишиной, сочла себя вполнѣ утвердившеюся и до того осмѣлилась, что вышла на улицу безъ провожатаго и начала заигрывать съ проходящими. Впрочемъ, къ вечеру она, для формы, созвала опытнѣйшихъ городскихъ будочниковъ и открыла совѣщаніе. Будочники единогласно совѣтовали: первое, безпутную оную Клемантинку, не медля, утопить, дабы не смущала народъ и не дразнила; второе, помощника градоначальника и стряпчаго пытать; и въ-третьихъ, неустрашимаго штабъ-офицера, сыскавъ, представить. Но таково было ослѣпленіе этой несчастной женщины, что она и слышать не хотѣла о мѣрахъ строгости и даже пріѣзжаго чиновника велѣла перевести изъ большого блошинаго завода въ малый.

Между тѣмъ, глуповцы мало-по-малу начали приходить въ себя, и охранительныя силы, скрывавшіяся дотолѣ на заднихъ дворахъ, робко, но твердымъ шагомъ выступали впередъ. Помощникъ градоначальника, сославшись съ стряпчимъ и неустрашимымъ штабъ-офицеромъ, сталъ убѣждать глуповцевъ удаляться нѣмкиной и Клемантинкиной злоехидной прелести и обратиться къ своимъ занятіямъ. Онъ строго порицалъ распоряженіе, вслѣдствіе котораго пріѣзжій чиновникъ былъ засаженъ въ блошиный заводъ, и предрекалъ Глупову великія отъ того бѣдствія. Сила Терен-

тьевъ Пузановъ, при этихъ словахъ, тоскливо замоталъ головой, такъ что если-бъ атаманы-молодцы были крошечку побойчѣе, то они, конечно, разнесли бы съѣзжую избу по бревнышку. Съ другой стороны, и «безпутная оная Клемантинка» оказала не маловажную услугу партіи порядка...

Дѣло въ томъ, что она продолжала сидѣть въ клѣткѣ на площади, и глуповцамъ въ сладость было, въ часы досуга, приходить дразнить ее, такъ какъ она остервенялась, при этомъ неслыханно, въ особенности же когда къ ея тѣлу прикасались концами раскаленныхъ желѣзныхъ прутьевъ.

— Что, Клемантинка, сладко?—хохотали одни, видя, какъ «безпутная» вертѣлась отъ боли.

— А сколько, братцы, эта паскуда винища у насъ слопала—страсть!—прибавляли другіе.

— Ваше я, что ли, пила?—огрызалась безпутная Клемантинка:—кабы не моя несчастная слабость да не покинули меня паны мои милые, узнали бы вы у меня ужо, какова я есть!

— Толстомясая-то тебѣ небось прежде, какова она есть, показала!

— То-то «толстомясая»! Я, какова ни-на-есть, а все-таки градоначальническая дочь, а то взяли себѣ расхожую нѣмку!

Призадумались глуповцы надъ этими Клемантинкиными словами. Загадала она имъ загадку.

— А что, братцы! вѣдь она, Клемантинка, хоть и безпутная, а правду молвила! говорили одни.

— Пойдемъ, разнесемъ толстомясую!—галдѣли другіе.

И еслибъ не подоспѣли тутъ будочники, то не сдобровать бы «толстомясой», полетѣть бы ей внизъ головой съ раската! Но такъ какъ будочники были строгіе, то дѣло порядка оттянулось, и атаманы-молодцы, пошумѣвъ еще съ малость, разошлись по домамъ.

Но торжество «вольной нѣмки» приходило къ концу само собою. Ночью, едва успѣла она сомкнуть глаза, какъ услышала на улицѣ подозрительный шумъ и сразу поняла, что все для нея кончено. Въ одной рубашкѣ, босая, бросилась она къ окну, чтобы, по крайней мѣрѣ, избѣжать позора и не быть посаженной, подобно Клемантинкѣ, въ клѣтку; но было уже поздно.

Сильная рука пана Кшепшицюльскаго крѣпко держала ее за станъ, а Нелька Лядоховская, «разъярившись неслыханно», требовала къ отвѣту.

— Правда ли, дѣвка Амалька, что ты обманнымъ образомъ власть похитила и градоначальницей облыжно называть себя изволила и тѣмъ многихъ людишекъ въ соблазнъ ввела?—спрашивала ее Лядоховская.

— Правда,—отвѣчала Амалька:—только не обманнымъ образомъ и не облыжно, а была и есмь градоначальница по самой сущей истинѣ.

— И съ чего тебѣ, паскудѣ, такое смѣхотворное дѣло въ голову взбрело? и кто тебя, паскуду, тому дѣлу научилъ?—продолжала допрашивать Лядоховская, не обращая вниманія на Амалькинъ отвѣтъ.

Амалька обидѣлась.

— Можетъ-быть, и есть здѣсь паскуда,—сказала она:—только не я.

Сколько затѣмъ ни предлагали дѣвкѣ Амалькѣ вопросовъ, она презрительно молчала; сколько ни принуждали ее повиниться—не повинилась. Рѣшено было запереть ее въ одну клѣтку съ безпутною Клемантинкой.

«Ужасно было видѣть,—говоритъ лѣтописецъ:—какъ двѣ оныя безпутныя дѣвки, отъ третьей, еще безпутнѣйшей, другъ другу на съѣденіе отданы были! Довольно сказать, что къ утру на другой день въ клѣткѣ ничего кромѣ смрадныхъ ихъ костей уже не было!»

Проснувшись, глуповцы съ удивленіемъ узнали о случившемся; но и тутъ не затруднились. Опять всѣ вышли на улицу и стали поздравлять другъ друга, лобызаться и проливать слезы. Нѣкоторые просили опохмелиться.

— Ахъ, лядъ васъ побери! — говорилъ неустрашимый штабъ-офицеръ, взирая на эту картину.—Что-жъ мы, однако, теперь будемъ дѣлать?—спрашивалъ онъ въ тоскѣ помощника градоначальника.

— Надо орудовать,—отвѣчалъ помощникъ градоначальника:—вотъ что! не пустить ли, сударь, въ народѣ слухъ, что оная шельма Анелька, замѣсто храмовъ Божіихъ, костелы вездѣ ставить велѣла.

— И чудесно.

Но къ полудню слухи сдѣлались еще тревожнѣе. Событія слѣдовали за событіями съ быстротою неимовѣрною. Въ пригородной солдатской слободѣ объявилась еще претендентша, Дунька толстопятая, а въ стрѣлецкой слободѣ такую же претензію заявила Матренка-ноздря. Обѣ основывали свои права на томъ, что и онѣ не разъ бывали у

градоначальниковъ «для лакомства». Такимъ образомъ, приходилось отражать не одну, а разомъ трехъ претендентшъ.

И Дунька, и Матренка безчинствовали несказанно. Выходили на улицу и кулаками сшибали проходящимъ головы; ходили въ одиночку на кабаки и разбивали ихъ; ловили молодыхъ парней и прятали ихъ въ подполья; ѣли младенцевъ, а у женщинъ вырѣзали груди и тоже ѣли. Распустивши волоса по вѣтру, въ одномъ утреннемъ неглиже, онѣ бѣгали по городскимъ улицамъ, словно изступленныя, плевались, кусались и произносили неподобныя слова.

Глуповцы просто обезумѣли отъ ужаса. Опять всѣ побѣжали къ колокольнѣ, и сколько тутъ было перебито и перетоплено тѣлъ народныхъ—того даже приблизительно сообразить невозможно. Началось общее судьбище: всякій припоминалъ про своего ближняго всякое даже такое, что̀ тому и во снѣ не снилось, и такъ какъ судоговореніе было краткословное, то въ городѣ только и слышалось: шлепъ-шлепъ-шлепъ! Къ четыремъ часамъ пополудни загорѣлась съѣзжая изба; глуповцы кинулись туда и оцѣпенѣли, увидавъ, что пріѣзжій изъ губерніи чиновникъ сгорѣлъ весь безъ остатка. Опять началось судьбище; стали доискиваться, отъ чьего воровства произошелъ пожаръ, и порѣшили, что пожаръ произведенъ сущимъ воромъ и бездѣльникомъ, пятымъ Ивашкой. Вздернули Ивашку на дыбу, требуя чистосердечнаго во всемъ признанія, но въ эту самую минуту въ пушкарской слободѣ загорѣлся тараканій малый заводецъ, и всѣ шарахнулись туда, оставивъ пятаго Ивашку висящимъ на дыбѣ. Зазвонили въ набатъ; но пламя уже разлилось рѣкою и перепалило всѣхъ таракановъ безъ остачи. Тогда поймали Матренку-ноздрю и начали вѣжливенько топить ее въ рѣкѣ, требуя, чтобъ она сказала, кто ее, сущую бездѣльницу и воровку, на воровство научилъ и кто въ томъ дѣлѣ ей пособлялъ? Но Матренка только пускала въ водѣ пузыри, а сообщниковъ и пособниковъ не выдала никого.

Среди этой общей тревоги о шельмѣ Анелькѣ совсѣмъ позабыли. Видя, что дѣло ея не выгорѣло, она, подъ шумокъ, снова переѣхала въ свой заѣзжій домъ, какъ будто за ней никакихъ пакостей и не водилось, а паны Кшепшицюльскій и Пшекшицюльскій завели кондитерскую и стали торговать въ ней печатными пряниками. Оставалась одна толстопятая Дунька, но съ нею совладать было рѣшительно невозможно.

— А надо, братцы, изымать ее безпремѣнно!—увѣщавалъ атамановъ-молодцовъ Сила Терентьичъ Пузановъ.

— Да! поди, суньсяі ловкой!—отвѣчали молодцы.

Былъ, по возмущеніи, уже день шестый.

Тогда произошло зрѣлище умилительное и безпримѣрное. Глуповцы вдругъ воспрянули духомъ и сами совершили скромный подвигъ собственнаго спасенія. Перебивши и перетопивши цѣлую уйму народа, они основательно заключили, что теперь въ Глуповѣ крамольнаго грѣха не осталось ни на столько. Уцѣлѣли только благонамѣренные. Поэтому всякій смотрѣлъ всякому смѣло въ глаза, зная, что его невозможно попрекнуть ни Клемантинкой, ни Раидкой, ни Матренкой. Рѣшили дѣйствовать единодушно и прежде всего снестись съ пригородами. Какъ и слѣдовало ожидать, первый выступилъ на сцену неустрашимый штабъ-офицеръ.

— Сограждане!—началъ онъ взволнованнымъ голосомъ, но такъ какъ рѣчь его была секретная то весьма естественно, что никто ея не слыхалъ.

Тѣмъ не менѣе, глуповцы прослезились и начали нудить помощника градоначальника, чтобы вновь принялъ бразды правленія; но онъ, до поимки Дуньки, съ твердостью отъ того отказался. Послышались въ толпѣ вздохи, раздались восклицанія: «ахъ! согрѣшенія наши великія!»—но помощникъ градоначальника былъ непоколебимъ.

— Атаманы-молодцы! въ комъ еще крамола осталась—выходи!—гаркнулъ голосъ изъ толпы.

Толпа молчала.

— Всѣ очистились?—допрашивалъ тотъ же голосъ.

— Всѣ! всѣ!—загудѣла толпа.

— Крестись, братцы!

Всѣ перекрестились; объявлено было противъ Дуньки-толстопятой общее ополченіе.

Пригороды, между тѣмъ, одинъ за другимъ слали въ Глуповъ самыя утѣшительныя отписки. Всѣ единодушно соглашались, что крамолу слѣдуетъ вырвать съ корнемъ и для начала прежде всего очистить самихъ себя. Особенно трогательна была отписка пригорода Полоумнова. «Точію же, братіе, сами себя прилежно испытуйте», писали тамошніе посадскіе люди, «да въ сердцахъ вашихъ гнѣздо крамольное не свиваемо будетъ, а будете здравы и передъ лицомъ начальственнымъ не злокозненны, но добротщательны, достохвальны и прелюбезны». Когда читалась

эта отписка, въ толпѣ раздавались рыданія, а посадская жена Аксинья-гунявая, воспалившись ревностью великою, тутъ же высыпала изъ кошеля два двугривенныхъ и положила основаніе капиталу, для поимки Дуньки предназначенному.

Но Дунька не сдавалась. Она укрѣпилась на большомъ клоповномъ заводѣ и, вооружившись пушкой, стрѣляла изъ нея какъ изъ ружья.

— Ишь, шельма, каки артикулы пушкой выдѣлываетъ! — говорили глуповцы и не смѣли подступиться.

— Ахъ, съѣшь-тя клопы!—восклицали другіе.

Но и клопы были съ нею какъ будто заодно. Она цѣлыми тучами выпускала ихъ противъ осаждающихъ, которые въ ужасѣ разбѣгались. Рѣшили обороняться отъ нихъ варомъ, и средство это какъ будто помогло. Дѣйствительно, вылазки клоповъ прекратились, но подступиться къ избѣ, все-таки, было невозможно, потому что клопы стояли тамъ стѣна-стѣною, да и пушка продолжала дѣйствовать смертоносно. Пытались-было зажечь клоповный заводъ, но въ дѣйствіяхъ осаждающихъ было мало единомыслія, такъ какъ никто не хотѣлъ взять на себя обязанность руководить ими,—и попытка не удалась.

— Сдавайся, Дунька! не тронемъ!—кричали осаждающіе, думая покорить ее льстивыми словами.

Но Дунька отвѣчала невѣжествомъ.

Такъ шло дѣло до вечера. Когда наступила ночь, осаждающіе, благоразумно отступивъ, оставили, для всякаго случая, у клоповнаго завода сторожевую цѣпь.

Оказалось, однако, что стратагема съ варомъ осталась не безъ послѣдствій. Не находя пищи за предѣлами укрѣпленія и раздраженные запахомъ человѣческаго мяса, клопы устремились внутрь искать удовлетворенія своей кровожадности. Въ самую глухую полночь Глуповъ былъ потрясенъ неестественнымъ воплемъ: то испускала духъ толстопятая Дунька, изъѣденная клопами. Тѣло ея, буквально представлявшее сплошную язву, нашли на другой день лежащимъ посреди избы и около него пушку и безчисленныя стада передавленныхъ клоповъ. Прочіе клопы, какъ бы устыдившись своего подвига, попрятались въ щеляхъ.

Былъ, послѣ начала возмущенія, день седьмый. Глуповцы торжествовали. Но, несмотря на то, что внутренніе враги были побѣждены и польская интрига посрамлена, атаманамъ-молодцамъ было какъ-то не по себѣ, такъ какъ о по-

вомъ градоначальникѣ все еще не было ни слуху, ни духу. Они слонялись по городу, словно отравленныя мухи, и не смѣли ни за какое дѣло приняться, потому что не знали, какъ-то понравятся ихнія недавнія затѣи новому начальнику.

Наконецъ, въ два часа пополудни седьмого дня онъ прибылъ. Вновь назначенный, «сущій» градоначальникъ былъ статскій совѣтникъ и кавалеръ Семенъ Константиновичъ Двоекуровъ.

Онъ немедленно вышелъ на площадь къ буянамъ и потребовалъ зачинщиковъ. Выдали Стёпку Горластаго да Фильку Безчастнаго.

Супруга новаго начальника, Лукерья Терентьевна, милостиво на всѣ стороны кланялась.

Такъ кончилось это бездѣльное и смѣха достойное неистовство; кончилось и съ тѣхъ поръ не повторялось.

VI.—Извѣстіе о Двоекуровѣ.

Семенъ Константиновичъ Двоекуровъ градоначальствовалъ въ Глуповѣ съ 1762 по 1770 годъ. Подробнаго описанія его градоначальствованія не найдено, но, судя по тому, что оно соотвѣтствовало первымъ и, притомъ, самымъ блестящимъ годамъ екатерининской эпохи, слѣдуетъ предполагать, что для Глупова это было едва ли не лучшее время въ его исторіи.

О личности Двоекурова глуповскій лѣтописецъ упоминаетъ три раза: въ первый разъ въ «краткой описи градоначальникамъ», во второй—въ концѣ отчета о смутномъ времени, и въ третій—при изложеніи исторіи глуповскаго либерализма (см. описаніе градоначальствованія Угрюмъ-Бурчеева). Изъ всѣхъ этихъ упоминовеній явствуетъ, что Двоекуровъ былъ человѣкъ передовой и смотрѣлъ на свои обязанности болѣе нежели серьезно. Нельзя думать, чтобы лѣтописецъ добровольно допустилъ такой важный біографическій пропускъ въ исторіи родного города: скорѣе должно предположить, что преемники Двоекурова съ умысломъ уничтожили его біографію, какъ представляющую свидѣтельство слишкомъ явнаго либерализма и могущую послужить для изслѣдователей нашей старины соблазнительнымъ поводомъ къ отыскиванію конституціонализма даже тамъ, гдѣ, въ сущности, существуетъ лишь принципъ свободнаго сѣченія. Догадку эту отчасти оправдываетъ то обстоятельство, что въ глуповскомъ архивѣ до сихъ поръ существуетъ листокъ, очевидно принадлежавшій къ полной біографіи

Двоекурова и до такой степени перемаранный, что, несмотря на всѣ усилія, издатель «Лѣтописи» могъ разобрать лишь слѣдующее: «имѣя не малый ростъ... подавалъ твердую надежду, что... Но объятъ ужасомъ... не могъ сего выполнить... Вспоминая, всю жизнь грустилъ...» И только. Что̀ означаютъ эти загадочныя слова?—Съ полною достовѣрностью отвѣчать на этотъ вопросъ, разумѣется, нельзя, но если позволительно допустить въ столь важномъ предметѣ догадки, то можно предположить одно изъ двухъ: или что въ Двоекуровѣ, при немаломъ его ростѣ (около трехъ аршинъ), предполагался какой-то особенный талантъ (напримѣръ, нравиться женщинамъ), котораго онъ не оправдалъ, или что на него было возложено порученіе, котораго онъ, сробѣвъ, не выполнилъ. И потомъ всю жизнь грустилъ.

Какъ бы то ни было, но дѣятельность Двоекурова въ Глуповѣ была несомнѣнно плодотворна. Одно то, что онъ ввелъ медовареніе и пивовареніе и сдѣлалъ обязательнымъ употребленіе горчицы и лаврового листа, доказываетъ, что онъ былъ по прямой линіи родоначальникомъ тѣхъ смѣлыхъ новаторовъ, которые, спустя три четверти столѣтія, вели войны во имя картофеля. Но самое важное дѣло его градоначальствованія—это, безспорно, записка о необходимости учрежденія въ Глуповѣ академіи.

Къ счастію, эта записка уцѣлѣла вполнѣ *) и даетъ возможность произнести просвѣщенной дѣятельности Двоекурова вполнѣ правильный и безпристрастный приговоръ. Издатель позволяетъ себѣ думать, что изложенныя въ этомъ документѣ мысли не только свидѣтельствуютъ, что въ то отдаленное время уже встрѣчались люди, обладавшіе правильнымъ взглядомъ на вещи, но могутъ даже и теперь служить руководствомъ при осуществленіи подобнаго рода предпріятій. Конечно, современныя намъ академіи имѣютъ нѣсколько иной характеръ, нежели тотъ, который предполагалъ имъ дать Двоекуровъ; но такъ какъ сила не въ названіи, а въ той сущности, которую преслѣдуетъ проектъ и которая есть не что иное, какъ «разсмотрѣніе наукъ», то очевидно, что покуда царствуетъ потребность въ «разсмотрѣніи», до тѣхъ поръ и проектъ Двоекурова удержитъ за собой все значеніе воспитательнаго документа. Что названія произвольны и весьма рѣдко что-либо измѣ-

*) Она печатается дословно въ концѣ настоящей книги, въ числѣ оправдательныхъ документовъ.

няютъ—это очень хорошо доказалъ одинъ изъ преемниковъ Двоекурова, Бородавкинъ. Онъ тоже ходатайствовалъ объ учрежденіи академіи, и когда получилъ отказъ, то безъ дальнѣйшихъ размышленій выстроилъ вмѣсто нея съѣзжій домъ. Названіе измѣнилось, но предположенная цѣль была достигнута—Бородавкинъ ничего больше и не желалъ. Да и кто же можетъ сказать, долго ли просуществовала бы построенная Бородавкинымъ академія и какіе принесла бы она плоды! Быть-можетъ, она оказалась бы выстроенною на пескѣ; быть-можетъ, вмѣсто «разсмотрѣнія» наукъ занялась бы насажденіемъ таковыхъ? Все это въ высшей степени гадательно и невѣрно. А со съѣзжимъ домомъ—дѣло вѣрное: и выстроенъ онъ прочно, и изъ колеи «разсмотрѣнія» не выбьется никуда.

Вотъ эту-то мысль и развиваетъ Двоекуровъ въ своемъ проектѣ съ тою непререкаемою ясностью и послѣдовательностью, которыми, къ сожалѣнію, не обладаетъ ни одинъ изъ современныхъ намъ прожектёровъ. Конечно, онъ не былъ настолько рѣшителенъ, какъ Бородавкинъ, то-есть не выстроилъ съѣзжаго дома вмѣсто академіи, но рѣшительность, кажется, вообще не была въ его нравахъ. Слѣдуетъ ли обвинять его за этотъ недостатокъ? или, напротивъ того, слѣдуетъ видѣть въ этомъ обстоятельствѣ тайную наклонность къ конституціонализму?—разрѣшеніе этого вопроса предоставляется изслѣдователямъ отечественной старины, которыхъ издатель и отсылаетъ къ подлинному документу.

VII.—Голодный городъ.

1776-й годъ наступилъ для Глупова при самыхъ счастливыхъ предзнаменованіяхъ. Цѣлыхъ шесть лѣтъ сряду городъ не горѣлъ, не голодалъ, не испытывалъ ни повальныхъ болѣзней, ни скотскихъ падежей, и граждане не безъ основанія приписывали такое неслыханное въ лѣтописяхъ благоденствіе простотѣ своего начальника, бригадира Петра Петровича Ѳердыщенка. И дѣйствительно, Ѳердыщенко былъ до того простъ, что лѣтописецъ считаетъ нужнымъ неоднократно и съ особенною настойчивостью остановиться на этомъ качествѣ, какъ на самомъ естественномъ объясненіи того удовольствія, которое испытывали глуповцы во время бригадирскаго управленія. Онъ ни во что не вмѣшивался, довольствовался умѣренными данями, охотно за-

хаживалъ въ кабаки покалякать съ цѣловальниками, по вечерамъ выходилъ въ замасленномъ халатѣ на крыльцо градоначальническаго дома и игралъ съ подчиненными въ кости, ѣлъ жирную пищу, пилъ квасъ и любилъ уснащать свою рѣчь ласкательнымъ словомъ «братикъ-сударикъ».

— А ну, братикъ-сударикъ, ложись!—говорилъ онъ провинившемуся обывателю.

Или:

— А вѣдь корову-то, братикъ-сударикъ, у тебя продать надо! Потому, братикъ-сударикъ, что недоимка—это святое дѣло!

Понятно, что послѣ затѣйливыхъ дѣйствій маркиза де-Санглота, который леталъ въ городскомъ саду по воздуху, мирное управленіе престарѣлаго бригадира должно было показаться и «благоденственнымъ», и «удивленія достойнымъ». Въ первый разъ свободно вздохнули глуповцы и поняли, что жить «безъ утѣсненія» не въ примѣръ лучше, чѣмъ жить «съ утѣсненіемъ».

— Нужды нѣтъ, что онъ парадовъ не дѣлаетъ, да съ полками на насъ не ходитъ,—говорили они:—зато мы при немъ, батюшкѣ, свѣтъ узрили! Теперича, вышелъ ты за ворота: хошь—на мѣстѣ сиди; хошь—куда хошь иди! А прежде, сколько однихъ порядковъ было—и не приведи Богъ!

Но на седьмомъ году правленія Ѳердыщенку смутилъ бѣсъ. Этотъ добродушный и нѣсколько лѣнивый правитель вдругъ сдѣлался дѣятеленъ и настойчивъ до крайности: скинулъ замасленный халатъ и сталъ ходить по городу въ вицмундирѣ. Началъ требовать, чтобы обыватели по сторонамъ не зѣвали, а смотрѣли въ оба, и, къ довершенію всего, устроилъ такую кутерьму, которая могла бы очень дурно для него кончиться, если бы, въ минуту крайняго раздраженія глуповцевъ, ихъ не осѣнила мысль: «а ну какъ, братцы, насъ за это не похвалятъ!»

Дѣло въ томъ, что въ это самое время, на выѣздѣ изъ города, въ слободѣ Навозной, цвѣла красотой посадская жена Алена Осипова. Повидимому, эта женщина представляла собой типъ той сладкой русской красавицы, при взглядѣ на которую человѣкъ не загорается страстью, но чувствуетъ, что все его существо потихоньку таетъ. При среднемъ ростѣ, она была полна, бѣла и румяна; имѣла большіе сѣрые глаза на выкатѣ, не то безстыжіе, не то

застѣнчивые, пухлыя вишневыя губы, густыя, хорошо очерченныя брови, темнорусую косу до пятъ и ходила по улицѣ «сѣрой утицей». Мужъ ея, Дмитрій Прокофьевъ, занимался ямщиной и былъ тоже подъ стать женѣ: молодъ, крѣпокъ, красивъ. Ходилъ онъ въ плисовой поддевкѣ и въ поярковомъ грешневикѣ, расцвѣченномъ павьими перьями. И Дмитрій не чаялъ души въ Аленкѣ, и Аленка не чаяла души въ Дмитріи. Частенько похаживали они въ сосѣдній кабакъ и, счастливые, распѣвали тамъ вмѣстѣ пѣсни. Глуповцы же просто не могли нарадоваться на ихъ согласную жизнь.

Долго ли, коротко ли они такъ жили, только въ началѣ 1776 года, въ тотъ самый кабакъ, гдѣ они въ свободное время благодушествовали, зашелъ бригадиръ. Зашелъ, выпилъ косушку, спросилъ цѣловальника, много ли прибавляется пьяницъ, но въ это самое время увидѣлъ Аленку и почувствовалъ, что языкъ у него прилипъ къ гортани. Однако, при народѣ объявить о томъ посовѣстился, а вышелъ на улицу и поманилъ за собой Аленку.

— Хочешь, молодка, со мною въ любви жить?—спросилъ бригадиръ.

— А на что мнѣ тебя... гуняваго?—отвѣчала Аленка, съ наглостью смотря ему въ глаза:—у меня свой мужъ хорошъ!

Только и было сказано между ними словъ; но нехорошія это были слова. На другой же день бригадиръ прислалъ къ Дмитрію Прокофьеву на постой двухъ инвалидовъ, наказавъ имъ при этомъ дѣйствовать «съ утѣсненіемъ». Самъ же, надѣвъ вицмундиръ, пошелъ въ ряды и, дабы постепенно пріучить себя къ строгости, съ азартомъ кричалъ на торговцевъ:

— Кто вашъ начальникъ? Сказывайте! Или, можетъ-быть, не я вашъ начальникъ?

Съ своей стороны, Дмитрій Прокофьевъ, вмѣсто того, чтобы смириться да полегоньку бабу вразумить, сталъ говорить бездѣльныя слова, а Аленка, вооружась ухватомъ, гнала инвалидовъ прочь и на всю улицу орала:

— Ай-да бригадиръ! Къ мужней женѣ, словно клопъ, на перину всползти хочетъ!

Понятно, какъ долженъ былъ огорчиться бригадиръ, свѣдавши о такихъ похвальныхъ словахъ. Но такъ какъ это было время либеральное и въ публикѣ ходили толки о пользѣ выборнаго начала, то распорядиться своею единоличною властью старикъ поопасился. Собравши излюблен-

ныхъ глуповцевъ, онъ вкратцѣ изложилъ передъ ними дѣло и потребовалъ немедленнаго наказанія ослушниковъ.

— Вамъ, старички-братики, и книги въ руки!—либерально прибавилъ онъ:—какое количество по душѣ назначите, я напередъ согласенъ! Потому теперь у насъ время такое: всякому свое, лишь бы поронцы были!

Излюбленные посовѣтовались, слегка погалдѣли и вынесли слѣдующій отвѣтъ:

— Сколько есть на небѣ звѣздъ, столько твоему благородію ихъ, шельмецовъ, и учить слѣдуетъ!

Сталъ бригадиръ считать звѣзды («очень былъ онъ простъ», повторяетъ по этому случаю архиваріусъ-лѣтописецъ), но на первой же сотнѣ сбился и обратился за разъясненіями къ денщику. Денщикъ отвѣчалъ, что звѣздъ на небѣ видимо-невидимо.

Должно думать, что бригадиръ остался доволенъ этимъ отвѣтомъ, потому что когда Аленка съ Митькой воротились, послѣ экзекуціи, домой, то шатались словно пьяные.

Однако, Аленка и на этотъ разъ не унялась, или, какъ выражается лѣтописецъ, «отъ бригадировыхъ шелеповъ пользы для себя не вкусила». Напротивъ того, она какъ будто пуще остервенилась, что̀ и доказала черезъ недѣлю, когда бригадиръ опять пришелъ въ кабакъ и опять поманилъ Аленку.

— Что, дурья порода, надумалась?—спросилъ онъ ее.

— Ишь тебя, стараго пса, ущемило! Или мало на стыдобушку мою насмотрѣлся!—огрызнулась Аленка.

— Ладно!—сказалъ бригадиръ.

Однако, упорство старика заставило Аленку призадуматься. Воротившись послѣ этого разговора домой, она нѣкоторое время ни за какое дѣло взяться не могла, словно мѣста себѣ не находила; потомъ подвалилась къ Митькѣ и горько-горько заплакала.

— Видно, какъ ни какъ, а быть мнѣ у бригадира въ полюбовницахъ!—говорила она, обливаясь слезами.

— Только ты это сдѣлай! Да я тебя... и черепки-то твои поганые по вѣтру пущу!—задыхался Митька, и въ ярости полѣзъ ужъ-было за вожжами на полати, но вдругъ одумался, затрясся всѣмъ тѣломъ, повалился на лавку и заревѣлъ.

Кричалъ онъ шибко, что̀ мочи, а про что̀ кричалъ, того разобрать было невозможно. Видно было только, что человѣкъ бунтуетъ.

Узналъ бригадиръ, что Митька затѣялъ бунтовство, и вдвое противъ прежняго огорчился. Бунтовщика заковали и увели на съѣзжую. Какъ полоумная, бросилась Аленка на бригадирскій дворъ, но путнаго ничего выговорить не могла, а только рвала на себѣ сарафанъ и безобразно кричала:

— На, песъ! Жри! Жри! Жри!

Къ удивленію, бригадиръ не только не обидѣлся этими словами, но, напротивъ того, еще ничего не видя, подарилъ Аленкѣ вяземскій пряникъ и банку помады. Увидѣвъ эти дары, Аленка какъ-будто опѣшила: кричать—не кричала, а только потихоньку всхлипывала. Тогда бригадиръ приказалъ принести свой новый мундиръ, надѣлъ его и во всей красѣ показался Аленкѣ. Въ это же время выбѣжала въ дверь старая бригадирова экономка и начала Аленку усовѣщивать.

— Ну, чего ты, паскуда, жалѣешь, подумай-ко!—говорила льстивая старуха:—вѣдь тебя бригадиръ-то въ медовой сытѣ купать станетъ.

— Митьку жалко!—отвѣчала Аленка, но такимъ нерѣшительнымъ голосомъ, что было очевидно, что она уже начинаетъ помышлять о сдачѣ.

Въ ту же ночь въ бригадировомъ домѣ случился пожаръ, который, къ счастію, успѣли потушить въ самомъ началѣ. Сгорѣлъ только архивъ, въ которомъ временно откармливалась къ праздникамъ свинья. Натурально, возникло подозрѣніе въ поджогѣ, и пало оно не на кого другого, а на Митьку. Узнали, что Митька напоилъ на съѣзжей сторожей и ночью отлучился невѣдомо куда. Преступника изловили и стали допрашивать съ пристрастіемъ, но онъ, какъ отъявленный воръ и злодѣй, отъ всего отпирался.

— Ничего я этого не знаю, — говорилъ онъ: — знаю только, что ты, старый песъ, у меня жену уводомъ увелъ, и я тебѣ это, старому псу, прощаю... жри!

Тѣмъ не менѣе, Митькинымъ словамъ не повѣрили, и такъ какъ казусъ былъ спѣшный, то и производство по немъ велось съ упрощеніемъ. Черезъ мѣсяцъ Митька уже былъ битъ на площади кнутомъ и, по наложеніи клеймъ, отправленъ въ Сибирь, въ числѣ прочихъ сущихъ воровъ и разбойниковъ. Бригадиръ торжествовалъ; Аленка потихоньку всхлипывала.

Однакожъ глуповцамъ это дѣло не прошло даромъ. Какъ

и водится, бригадирскіе грѣхи прежде всего отразились на нихъ.

Все измѣнилось съ этихъ поръ въ Глуповѣ. Бригадиръ, въ полномъ мундирѣ, каждое утро бѣгалъ по лавкамъ и все тащилъ, все тащилъ. Даже Аленка начала подходя тащить, и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, стала требовать, чтобъ ее признавали ни за ямщичиху, а за поповскую дочь.

Но этого мало: самая природа перестала быть благосклонною къ глуповцамъ. «Новая сія Іезавель,—говоритъ объ Аленкѣ лѣтописецъ,—навела на нашъ городъ сухость». Съ самаго вешняго Николы, съ той поры, какъ начала входить вода въ межень, и вплоть до Ильина дня, не выпало ни капли дождя. Старожилы не могли запомнить ничего подобнаго, и не безъ основанія приписывали это явленіе бригадирскому грѣхопаденію. Небо раскалилось и цѣлымъ ливнемъ зноя обдавало все живущее; въ воздухѣ замѣчалось словно дрожанье и пахло гарью; земля трескалась и сдѣлалась тверда какъ камень, такъ что ни сохой, ни даже заступомъ взять ее было невозможно; травы и всходы огородныхъ овощей поблекли; рожь отцвѣла и выколосилась необыкновенно рано, но была такъ рѣдка и зерно было такое тощее, что не чаяли собрать и сѣмянъ; яровые совсѣмъ не взошли, и засѣянныя ими поля стояли черныя, словно смоль, удручая взоры обывателей безнадежной наготою; даже лебеды не родилось; скотина металась, мычала и ржала; не находя въ полѣ пищи, она бѣжала въ городъ и наполняла улицы. Людишки словно осунулись и ходили съ понурыми головами; одни горшечники радовались вёдру, но и тѣ раскаялись, какъ скоро убѣдились, что горшковъ много, а варева нѣтъ.

Однако, глуповцы не отчаялись, потому что не могли еще обнять всей глубины ожидавшаго ихъ бѣдствія. Покуда оставался прошлогодній запасъ, многіе, по легкомыслію, пили, ѣли и задавали банкеты, какъ будто и конца запасу не предвидится. Бригадиръ ходилъ въ мундирѣ по городу и строго-на-строго приказывалъ, чтобы людей, имѣющихъ «унылый видъ», забирали на съѣзжую и представляли къ нему. Дабы ободрить народъ, онъ поручилъ откупщику устроить въ загородной рощѣ пикникъ и пустить фейерверкъ. Пикникъ сдѣлали, фейерверкъ сожгли, «но хлѣба черезъ то людишкамъ не предоставили». Тогда бригадиръ призвалъ къ себѣ «излюбленныхъ» и велѣлъ имъ ободрять

народъ. Стали «излюбленные» ходить по сосѣдямъ, и ни одного унывающаго не пропустили, чтобы не утѣшить.

— Мы люди привышные!—говорили одни:—мы претерпѣть можимъ. Ежели насъ теперича всѣхъ въ кучу сложить и съ четырехъ концовъ запалить—мы и тогда противнаго слова не молвимъ!

— Это что говорить!—прибавляли другіе:—намъ терпѣть можно! Потому мы знаемъ, что у насъ есть начальники!

— Ты думаешь какъ?—ободряли третьи:—ты думаешь, начальство-то спитъ? Нѣтъ, братъ, оно однимъ глазкомъ дремлетъ, а другимъ, поди, ужъ гдѣ видитъ!

Но когда убрались съ сѣномъ, то оказалось, что животы кормить будетъ нечѣмъ; когда окончилось жнитво, то оказалось, что и людишкамъ кормиться тоже нечѣмъ. Глуповцы испугались и начали похаживать къ бригадиру на дворъ.

— Такъ какъ же, господинъ бригадиръ, насчетъ хлѣбца-то? Похлопочешь?—спрашивали они его.

— Хлопочу, братики, хлопочу!—отвѣчалъ бригадиръ.

— То-то; ужъ ты постарайся!

Въ концѣ іюля полили безполезные дожди, а въ августѣ людишки начали помирать, потому что все, что было, пріѣли. Придумывали, какую такую пищу стряпать, отъ которой была бы сытость; мѣшали муку съ ржаной рѣзкой, но сытости не было; пробовали, не будетъ ли лучше съ толченой сосновой корой, но и тутъ настоящей сытости не добились.

— Хоть и точно, что отъ этой пищи словно кабы животъ наѣдается, однако, братцы, надо такъ сказать: самая эта ѣда пустая,—говорили промежъ себя глуповцы.

Базары опустѣли: продавать было нечего, да и некому, потому что городъ обезлюдѣлъ. «Кои померли, — говоритъ лѣтописецъ, — кои, обезпамятѣвъ, разбѣжались кто куда». А бригадиръ, между тѣмъ, все не прекращалъ своихъ безаконій и купилъ Аленкѣ новый драдедамовый платокъ. Свѣдавши объ этомъ, глуповцы опять встревожились и цѣлой громадой ввалили на бригадировъ дворъ.

— А вѣдь это, поди, ты не ладно, бригадиръ, дѣлаешь, что съ мужней женой уводомъ живешь? — говорили они ему:—да и не затѣмъ ты сюда отъ начальства присланъ, чтобъ мы, сироты, за твою дурость напасти терпѣли!

— Потерпите, братики! всего вдоволь будетъ!—вертѣлся бригадиръ.

— То-то! мы терпѣть согласны! Мы—люди привышные! А только ты, бригадиръ, объ этихъ нашихъ словахъ подумай, потому неровёнъ часъ: терпимъ-терпимъ, а тоже и промежъ насъ глупаго человѣка не мало найдется! Какъ бы чего не сталось.

Громада разошлась спокойно, но бригадиръ крѣпко задумался. Видитъ и самъ, что Аленка всему злу заводчица, а разстаться съ нею не можетъ. Послалъ за батюшкой, думая, въ бесѣдѣ съ нимъ, найти утѣшеніе; но тотъ еще больше обезпокоилъ, разсказавши исторію объ Ахавѣ и Іезавели.

— И доколѣ не растерзали ее псы, весь народъ изгибъ до единаго,—заключилъ батюшка свой разсказъ.

— Очнись, батя! ужли-жъ Аленку собакамъ отдать! — испугался бригадиръ.

— Не къ тому о семъ говорю!—объяснился батюшка:— однако, и о нижеслѣдующемъ не излишне размыслить: паства у насъ равнодушная, доходы малые, провизія дорогая... гдѣ пастырю-то взять, господинъ бригадиръ?

— Охъ! за грѣхи меня, стараго, Богъ попуталъ!—простоналъ бригадиръ и горько заплакалъ.

И вотъ, сѣлъ онъ опять за свое писанье; писалъ много, писалъ всюду.

Рапортовалъ такъ: «коли хлѣба не имѣется, такъ, по крайности, пускай хоть команда прибудетъ». Но ни на какое свое писаніе ни изъ какого мѣста отвѣта не удостоился.

А глуповцы съ каждымъ днемъ становились назойливѣе и назойливѣе.

— Что, получилъ, бригадиръ, отвѣтъ?—спрашивали они его съ неслыханною наглостью.

— Не получилъ, братики!—отвѣчалъ бригадиръ.

Глуповцы смотрѣли ему «нелѣпымъ обычаемъ» въ глаза и покачивали головами.

— Гунявый ты! вотъ что!— укоряли они его: — оттого тебѣ, гадёнку, и не отписываютъ! не стоишь!

Однимъ словомъ, вопросы глуповцевъ дѣлались изъ рукъ вонъ щекотливыми. Наступила такая минута, когда начинаетъ говорить брюхо, противъ котораго всякіе резоны и ухищренія оказываются безсильными.

— Да, убѣжденіями съ этимъ народомъ ничего не подѣлаешь!—разсуждалъ бригадиръ:—тутъ не убѣжденія требуются, а одно изъ двухъ: либо хлѣбъ, либо... команда!

Какъ и всѣ добрые начальники, бригадиръ допускалъ эту послѣднюю идею лишь съ прискорбіемъ; но мало-помалу онъ до того вникъ въ нее, что не только смѣшалъ команду съ хлѣбомъ, но даже началъ желать первой пуще послѣдняго.

Встанетъ бригадиръ утромъ раненько, сядетъ къ окошку и все прислушивается, не раздастся ли откуда: туру-туру?

Разсыпьтесь молодцы!
За кампи, за кусты!
По два въ рядъ!

Нѣтъ! не слыхать!

— Словно и Богъ-то нашъ край позабылъ! — молвитъ бригадиръ.

А глуповцы, между тѣмъ, все жили, все жили.

Молодые всѣ до одного разбѣжались. «Бѣжали-бѣжали,— говоритъ лѣтописецъ, — многіе, ни до чего не добѣжавъ, вѣнецъ приняли; многихъ изловили и заключили въ узы; сіи почитали себя благополучными». Дома остались только старики да малыя дѣти, у которыхъ не было ногъ, чтобъ бѣжать. На первыхъ порахъ, оставшимся полегчало, потому что доля бѣжавшихъ нѣсколько увеличила долю остальныхъ. Такимъ образомъ прожили еще съ недѣлю, но потомъ опять стали помирать. Женщины выли, церкви переполнились гробами; трупы же людей худородныхъ валялись по улицамъ неприбранные. Трудно было дышать въ зараженномъ воздухѣ; стали опасаться, чтобъ къ голоду не присоединилась еще и чума, и для предотвращенія зла сейчасъ же составили комиссію, написали проектъ объ устройствѣ временной больницы на десять кроватей, нащипали корпіи и послали во всѣ мѣста по рапорту. Но, несмотря на столь видимые знаки начальственной попечительности, сердца обывателей уже ожесточились. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь не показалъ бригадиру фигу, не назвалъ его «гунявымъ», «гадёнкомъ» и проч.

Къ довершенію бѣдствія, глуповцы взялись за умъ. По вкоренившемуся изстари крамольническому обычаю, собрались они около колокольни, стали судить да рядить, и кончили тѣмъ, что выбрали изъ среды своей ходока—самаго древняго въ цѣломъ городѣ человѣка, Евсеича. Долго клапялись и міръ, и Евсеичъ другъ другу въ ноги; первый просилъ послужить, второй просилъ освободить. Наконецъ міръ сказалъ:

— Сколько ты, Евсеичъ, на свѣтѣ годовъ живешь, сколько начальниковъ видѣлъ, а все живъ состоишь!

Тогда Евсеичъ не вытерпѣлъ.

— Много годовъ я выжилъ! — воскликнулъ онъ, внезапно воспламенившись. — Много начальниковъ видѣлъ! Живъ есмь!

И, сказавши это, заплакалъ. «Взыграло древнее сердце его, чтобы послужить»,—прибавляетъ лѣтописецъ. И сдѣлался Евсеичъ ходокомъ, и положилъ въ сердцѣ своемъ искушать бригадира до трехъ разъ.

— Вѣдомо ли тебѣ, бригадиру, что мы здѣсь цѣлымъ городомъ сироты помираемъ?—такъ началъ онъ свое первое искушеніе.

— Вѣдомо,—отвѣтствовалъ бригадиръ.

— И то вѣдомо ли тебѣ, отъ чьего бездѣльнаго воровства такой обычай промежъ насъ учинился?

— Нѣтъ, не вѣдомо.

Первое искушеніе кончилось. Евсеичъ воротился къ колокольнѣ и отдалъ міру подробный отчетъ. «Бригадиръ же, видя таковое Евсеича ожесточеніе, весьма убоялся»,—говоритъ лѣтописецъ.

Черезъ три дня Евсеичъ явился къ бригадиру во второй разъ, «но уже прежній твердый видъ утерялъ».

— Съ правдой мнѣ жить вездѣ хорошо!—сказалъ онъ:— ежели мое дѣло справедливое, такъ ссылай ты меня хоть на край свѣта—мнѣ и тамъ съ правдой будетъ хорошо!

— Это точно, что съ правдой жить хорошо,—отвѣчалъ бригадиръ:—только вотъ я какое слово тебѣ молвлю: лучше бы тебѣ, древнему старику, съ правдой дома сидѣть, чѣмъ бѣду на себя накликать!

— Нѣтъ! мнѣ съ правдой дома сидѣть не приходится! потому она, правда-матушка, непосѣдлива! Ты глядишь, какъ бы въ избу да на полати влѣзти, анъ она, правда-матушка, изъ избы вонъ гонитъ... вотъ что!

— Что-жъ! по мнѣ пожалуй! Только какъ бы ей, правдѣ-то твоей, не набѣжать на рожонъ.

И второе искушеніе кончилось. Опять воротился Евсеичъ къ колокольнѣ и вновь отдалъ міру подробный отчетъ. «Бригадиръ же, видя Евсеича о правдѣ безнужно бесѣдующаго, убоялся его противъ прежняго не гораздо», прибавляетъ лѣтописецъ. Или, говоря другими словами, Ѳердыщенко понялъ, что ежели человѣкъ начинаетъ издалека

заводить рѣчь о правдѣ, то это значитъ, что онъ не вполнѣ увѣренъ, точно ли его за эту правду не посѣкутъ...

Еще черезъ три дня Евсеичъ пришелъ къ бригадиру въ третій разъ и сказалъ:

— А вѣдомо ли тебѣ, старому псу...

Но не успѣлъ онъ еще порядкомъ рта разинуть, какъ бригадиръ, въ свою очередь, гаркнулъ:

— Одѣть дурака въ кандалы!

Надѣли на Евсеича арестантскій уборъ и, «подобно невѣстѣ, навстрѣчу жениха грядущей», повели, въ сопровожденіи двухъ престарѣлыхъ инвалидовъ, на съѣзжую. По мѣрѣ того, какъ кортежъ приближался, толпы глуповцевъ разступались и давали дорогу.

— Небось, Евсеичъ, небось!—раздавалось кругомъ:—съ правдой тебѣ вездѣ будетъ жить хорошо!

Онъ же кланялся на всѣ стороны и говорилъ:

— Простите, атаманы-молодцы! ежели кого обидѣлъ, и ежели передъ кѣмъ согрѣшилъ, и ежели кому неправду сказалъ... всѣ простите!

— Богъ проститъ!—слышалось въ отвѣтъ.

— И ежели передъ начальствомъ согрубилъ... и ежели въ зачинщикахъ былъ... и въ томъ, Христа ради, простите!

— Богъ проститъ!

Съ этой минуты исчезъ старый Евсеичъ, какъ-будто его на свѣтѣ не было, исчезъ безъ остатка, какъ умѣютъ исчезать только «старатели» русской земли. Однако, строгость бригадира, все-таки, оказала лишь временное дѣйствіе. На нѣсколько дней городъ, дѣйствительно, попритихъ, но такъ какъ хлѣба все не было («нѣтъ этой нужды горше!» говоритъ лѣтописецъ), то волею-неволею опять пришлось глуповцамъ собраться около колокольни. Собрались, начали тихимъ манеромъ сговариваться, какъ бы имъ «о себѣ промыслить», но никакихъ новыхъ выдумокъ измыслить не могли, кромѣ того, что опять выбрали ходока.

Новый ходокъ, Пахомычъ, взглянулъ на дѣло нѣсколько иными глазами, нежели несчастный его предшественникъ. Онъ понялъ такъ, что теперь самое вѣрное средство—это начать во всѣ мѣста просьбы писать.

— Знаю я одного человѣчка,—обратился онъ къ глуповцамъ:—не къ нему ли напередъ поклониться сходить?

Услышавъ эту рѣчь, большинство обрадовалось. Какъ ни велика была «нужа», но всѣмъ, какъ-будто, полегчало при мысли, что есть гдѣ-то какой-то человѣкъ, который

готовъ за всѣхъ «стараться». Что безъ «старанья» не обойдешься—это одинаково сознавалось всѣми; но всякому казалось не въ примѣръ удобнѣе, чтобы за него «старался» кто-нибудь другой. Поэтому толпа ужъ совсѣмъ-было двинулась впередъ, чтобъ исполнить совѣтъ Пахомыча, какъ возникъ вопросъ, куда идти: направо или налѣво? Этимъ моментомъ воспользовались люди охранительной партіи.

— Стойте, атаманы-молодцы! — сказали они: — какъ бы насъ за этого человѣка бригадиръ не взбондировалъ! Лучше спросимъ напередъ, каковъ таковъ человѣкъ?

— А таковъ этотъ человѣкъ, что всѣ ходы и выходы знаетъ! Одно слово, прожженый!—успокоилъ Пахомычъ.

Оказалось на повѣрку, что «человѣчекъ»—не кто иной, какъ отставной приказный Боголѣповъ, выгнанный изъ службы «за трясеніе правой руки», каковому трясенію состояла причина въ напиткахъ. Жилъ онъ гдѣ-то на «болотѣ», въ полуразвалившейся избенкѣ нѣкоторой мѣщанской дѣвки, которая за свое легкомысліе пользовалась прозвищемъ «козы» и «отечественной кружки». Занятій настоящихъ онъ не имѣлъ, а составлялъ съ утра до вечера ябеды, которыя писалъ, придерживая правую руку лѣвою. Никакихъ другихъ свѣдѣній о «человѣчкѣ» не имѣлось, да, повидимому, и не ощущалось въ нихъ надобности, потому что большинство уже заранѣе было предрасположено къ безусловному довѣрію.

Тѣмъ не менѣе, вопросъ «охранительныхъ людей», все-таки, не прошелъ даромъ. Когда толпа окончательно двинулась, по указанію Пахомыча, то нѣсколько человѣкъ отдѣлились и отправились прямо на бригадирскій дворъ. Произошелъ расколъ. Явились такъ-называемые «отпадшіе», т.-е. такіе прозорливцы, которыхъ задача состояла въ томъ, чтобы оградить свои спины отъ потрясеній, ожидающихся въ будущемъ. «Отпадшіе» пришли на бригадирскій дворъ, но сказать ничего не сказали, а только потоптались на мѣстѣ, чтобы засвидѣтельствовать.

Несмотря, однако, на расколъ, дѣло, затѣянное глуповцами на «болотѣ», шло своимъ чередомъ.

На минуту Боголѣповъ призадумался, какъ-будто ему еще нужно старый хмель изъ головы вышибить. Но это было раздумье мгновенное. Вслѣдъ за тѣмъ онъ торопливо вынулъ изъ чернильницы перо, обсосалъ его, сплюнулъ, вцѣпился лѣвой рукой въ правую и началъ строчить:

Во всѣ мѣста Россійской Имперіи.

Просятъ преснесчастнѣйшаго города Глупова всенижайшіе и всебѣдствующіе всѣхъ сословій чины и людишки, а о чемъ, тому слѣдуютъ пункты:

1) Симъ доводимъ до всѣхъ Россійской имперіи мѣстъ и лицъ: мремъ мы всѣ, сироты, до единаго. Начальство же кругомъ себя видимъ неискусное, ко взысканію податей строгое, къ поданію же помощи мало поспѣшное. И еще доводимъ: которая у того бригадира, Ѳердыщенка, ямская жена Аленка, то отъ нея безпремѣнно всѣмъ нашимъ бѣдамъ источникъ приключился, а болѣе того причины не видимъ. А когда жила Аленка у мужа своего, Митьки-ямщика, то было въ нашемъ городѣ смирно и жили мы всѣмъ изобильно. Хотя же и дальше терпѣть согласны, однако опасаемся: ежели всѣ помремъ, то какъ бы бригадиръ со своей Аленкой насъ не оклеветалъ и передъ начальствомъ въ сумнѣнье не ввелъ.

2) Болѣе сего пунктовъ не имѣется.

Къ сему прошенію, вмѣсто людишекъ города Глупова за неграмотностью ихъ, поставлено двѣсти и тринадцать крестовъ.

Когда прошеніе было прочитано и закрестовано, то у всѣхъ словно отлегло отъ сердца. Запаковали бумагу въ конвертъ, запечатали и сдали на почту.

— Ишь, поплелась!—говорили старики, слѣдя за тройкой, уносившей ихъ просьбу въ невѣдомую даль.—Теперь, атаманы-молодцы, терпѣть намъ не долго!

И дѣйствительно, въ городѣ вновь сдѣлалось тихо; глуповцы никакихъ новыхъ бунтовъ не предпринимали, а сидѣли на завалинкахъ и ждали. Когда же проѣзжіе спрашивали: какъ дѣла?—то отвѣчали:

— Теперь наше дѣло вѣрное! теперича мы, братецъ мой, бумагу подали!

Но проходилъ мѣсяцъ, проходилъ другой—резолюціи не было. А глуповцы все жили и все что-то жевали. Надежды росли и съ каждымъ новымъ днемъ пріобрѣтали все больше и больше вѣроятія. Даже «отпадшіе» начали убѣждаться въ неумѣстности своихъ опасеній и крѣпко приставали, чтобъ ихъ записывали въ зачинщики. Очень можетъ быть, что такъ бы и кончилось это дѣло измором, если бы бригадиръ своимъ административнымъ искусствомъ самъ не взволновалъ общественнаго мнѣнія. Обманутый наружнымъ спокойствіемъ обывателей, онъ очутился въ самомъ щекот-

ливомъ положеніи. Съ одной стороны, онъ чувствовалъ, что ему дѣлать нечего; съ другой стороны, тоже чувствовалъ, что ничего не дѣлать нельзя. Поэтому онъ затѣялъ нѣчто среднее, что-то такое, что до нѣкоторой степени напоминало игру въ бирюльки. Опустить въ гущу крючокъ, вытащить оттуда злоумышленника и засадить. Потомъ опять опустить, опять вытащить и опять засадить. И въ то же время все пишетъ, все пишетъ. Перваго, разумѣется, засадилъ Боголѣпова, который со страху оговорилъ цѣлую кучу злоумышленниковъ. Каждый изъ злоумышленниковъ, въ свою очередь, оговорилъ по кучѣ другихъ злоумышленниковъ. Бригадиръ роскошествовалъ, но глуповцы, не только не устрашились, но, смѣясь, говорили промежъ себя: «какую-таку новую игру старый песъ затѣялъ?»

— Постой!—разсуждали они:—вотъ придетъ ужо бумага!

Но бумага не приходила, а бригадиръ плелъ да плелъ свою сѣть и доплелъ до того, что помаленьку опуталъ ею весь городъ. Нѣтъ ничего опаснѣе, какъ корни и нити, когда примутся за нихъ вплотную. Съ помощью двухъ инвалидовъ, бригадиръ перепуталъ и перетаскалъ на съѣзжую почти весь городъ, такъ что не было дома, который не считалъ бы одного или двухъ злоумышленниковъ.

— Этакъ онъ, братцы, всѣхъ насъ завинитъ,—догадывались глуповцы, и этого опасенія было достаточно, чтобы подлить масла въ потухавшій огонь.

Разомъ, безъ всякаго предварительнаго уговора, уцѣлѣвшіе отъ бригадирскихъ когтей сто-пятьдесятъ «крестовъ» очутились на площади («отпадшіе» вновь благоразумно скрылись) и, дойдя до градоначальническаго дома, остановились.

— Аленку!—гудѣла толпа.

Бригадиръ понялъ, что дѣло зашло слишкомъ далеко и что ему ничего другого не остается, какъ спрятаться въ архивъ. Такъ онъ и поступилъ. Аленка тоже бросилась за нимъ, но случаю угодно было, чтобъ дверь архива захлопнулась въ ту самую минуту, какъ бригадиръ переступилъ порогъ ея. Замокъ щелкнулъ, и Аленка осталась снаружи съ простертыми врозь руками. Въ такомъ положеніи застала ее толпа, застала блѣдную, трепещущую всѣмъ тѣломъ, почти безумную.

— Пожалѣйте, атаманы-молодцы, мое тѣло бѣлое,—говорила Аленка ослабѣвшимъ отъ ужаса голосомъ: — вѣдомо вамъ самимъ, что онъ меня силкомъ отъ мужа увелъ.

Но толпа ничего не слышала.

— Сказывай, вѣдьма,—гудѣла она:—черезъ какое твое колдовство на нашъ городъ сухость нашла?

Аленка словно обезпамятѣла. Она металась и, какъ бы увѣренная въ неизбѣжномъ исходѣ своего дѣла, только повторяла: «тошно мнѣ! охъ, батюшки, тошно мнѣ!»

Тогда совершилось неслыханное дѣло. Аленку разомъ, словно пухъ, взнесли на верхній ярусъ колокольни и бросили оттуда на раскатъ съ вышины болѣе пятнадцати саженей...

«И не осталось отъ той бригадирской сладкой утѣхи даже ни единаго лоскута. Въ одно мгновеніе ока разнесли ее приблудные голодные псы».

И вотъ, въ то самое время, когда совершилась эта безсознательная кровавая драма, вдали, по дорогѣ, вдругъ поднялось густое облако пыли.

— Хлѣбъ идетъ!—вскрикнули глуповцы, внезапно переходя отъ ярости къ радости.

— Ту-ру! ту-ру!—явственно раздалось изъ внутренностей пыльнаго облака...

Въ колокольну
Соберись бѣгомъ!
Трезвону
Зададимъ штыкомъ!
Скорѣй! скорѣй! скорѣй!

VIII.—Соломенный городъ.

Едва началъ поправляться городъ, какъ новое легкомысліе осѣнило бригадира: прельстила его окаянная стрѣльчиха Домашка.

Стрѣльцы въ то время хотя ужъ не были настоящими, до-Петровскими стрѣльцами, однако, кой-что еще помнили. Угрюмые и отчасти саркастическіе нравы съ трудомъ уступали усиліямъ начальственной цивилизаціи, какъ ни старалась послѣдняя внушить, что галдѣніе и крамолы ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть терпимы въ качествѣ «постоянныхъ занятій». Жили стрѣльцы въ особенной пригородной слободѣ, названной по ихъ имени Стрѣлецкою, а на противоположномъ концѣ города расположилась слобода Пушкарская, въ которой обитали опальные Петровскіе пушкари и ихъ потомки. Общая опала, однакожъ, не соединила этихъ людей, и обѣ слободы постоянно враждовали другъ съ другомъ. Казалось, между ними существовали какіе-то старые

счеты, которыхъ они не могли забыть и которые каждая сторона формулировала такъ: «кабы не ваше (взаимно) гогда воровство, гуляли бы мы о-сю пору по матушкѣ Москвѣ». Въ особенности выступали наружу эти счеты при косьбѣ луговъ. Каждая слобода имѣла въ своемъ владѣніи особенные луга, но границы этихъ луговъ были опредѣлены такъ: «въ урочищѣ, гдѣ Пётру Долгаго сѣкли—клинъ, да въ дву потому-жъ». И стрѣльцы, и пушкари аккуратно каждый годъ около петровокъ выходили на мѣсто; сначала, какъ и путные, искали какого-то оврага, какой-то рѣчки да еще кривой березы, которая въ свое время составляла довольно ясный межевой признакъ, но, лѣтъ тридцать, была срублена; потомъ, ничего не сыскавъ, заводили рѣчь объ «воровствѣ» и кончали тѣмъ, что помаленьку пускали въ ходъ косы. Побоища происходили очень серьезныя, но глуповцы до того приглядѣлись къ этому явленію, что ни мало даже не формализировались имъ. Впослѣдствіи, однакожъ, начальство обезпокоилось и приказало косы отобрать. Тогда не стало чѣмъ косить траву, и животы помирали отъ безкормицы. «И не было ни стрѣльцамъ, ни пушкарямъ прибыли ни малыя, а только землемѣрамъ злорадство великое», прибавляетъ по этому случаю лѣтописецъ.

На одно изъ такихъ побоищъ явился самъ Ѳердыщенко съ пожарной трубой и бочкой воды. Сначала онъ распорядился довольно дѣятельно и даже пустилъ въ дерущихся порядочную струю воды; но когда увидѣлъ Домашку, дѣйствовавшую, въ одной рубахѣ, впереди всѣхъ, съ вилами въ рукахъ, то «злопыхательное» сердце его до такой степени воспламенилось, что онъ мгновенно забылъ о силѣ данной имъ присяги и о цѣли своего прибытія. Вмѣсто того, чтобы постепенно усиливать обливательную тактику, онъ преспокойно усѣлся на кочку и, покуривая изъ трубочки, завелъ съ землемѣрами пикантный разговоръ. Такимъ образомъ, пожирая Домашку глазами, онъ просидѣлъ до вечера, когда сгустившіяся сумерки сами собой принудили сражавшихся разойтись по домамъ.

Стрѣльчиха Домашка была совсѣмъ въ другомъ родѣ, нежели Аленка. Насколько послѣдняя была плавна и женственна во всѣхъ движеніяхъ, настолько же первая—рѣзка, рѣшительна и мужественна. Худо умытая, растрепанная, полурастерзанная, она представляла собой типъ бабы-халды, исходя ругающейся и пользующейся всякимъ случаемъ, чтобъ украсить рѣчь какимъ-нибудь непристойнымъ дви-

женіемъ. Съ утра до вечера звенѣлъ по слободѣ ея голосъ, клянущій и сулящій всякія нелегкія, и умолкалъ только тогда, когда зелено вино угомоняло ее до потери сознанія. Стрѣльцы изъ молодыхъ гонялись за нею безъ памяти, однакожъ, не враждовали изъ-за нея промежъ собой, а всѣ вообще называли «сахарницей» и «проѣзжимъ шляхомъ». Пушкари ея боялись, но втайнѣ тоже вожделѣли. Смѣлости она была необыкновенной. Она наступала на человѣка прямо, какъ будто говорила: а ну, посмотримъ, покоришь ли ты меня?—и всякому, конечно, дѣлалось лестнымъ доказать этой «прорвѣ», что «покорить» ее можно. Объ одеждахъ своихъ она не заботилась, какъ будто инстинктивно чувствовала, что сила ея не въ цвѣтныхъ сарафанахъ, а въ той неистощимой струѣ молодого безстыжества, которое неудержимо прорывалось во всякомъ ея движеніи. Былъ у нея, по слухамъ, и мужъ; но такъ какъ она дома ночевала рѣдко, а все по клевушкамъ да по овинамъ, да и дѣтей у нея не было, то въ скоромъ времени объ этомъ мужѣ совсѣмъ забыли,—словно такъ и явилась она на свѣтъ Божій прямо бабой-мірекою да бабой неродихою.

Но это-то собственно, то-есть совсѣмъ наглое забвеніе всякихъ околичностей, и привлекло «злопыхательное» сердце привередливаго старца. Сладостная, тающая безстыжесть Аленки позабылась; потребовалось возбужденіе болѣе острое, болѣе способное дѣйствовать на засыпающія чувства старика. «Испытали мы бабу сладкую, сказалъ онъ себѣ:—теперь станемъ испытывать бабу строптивую». И сказавши это, командировалъ въ Стрѣлецкую слободу урядника, снабдивъ его, для порядка, разсыльною книгой. Урядникъ засталъ Домашку вполпьяна, за огородами, около амбарушки, окруженною толпою стрѣльчатъ. Услышавъ требованіе явиться, она какъ бы изумилась, но такъ какъ, въ сущности, ей было все равно, «кто ни попъ—тотъ батька», то послѣ минутнаго колебанія она начала приподниматься, чтобъ послѣдовать за посланнымъ. Но тутъ возмутились стрѣльчата и отняли у урядника бабу.

— Больно лакомъ сталъ!—кричали они:—давно ли Аленку у Митьки со двора свелъ, а теперь, подикось, уже у опчества бабу отнять вздумалъ!

Конечно, бригадиру слѣдовало бы на сей разъ посовѣститься, но его словно бѣсъ обуялъ. Какъ ужаленный, бѣгалъ онъ по городу и кричалъ крикомъ. Не пошли ему впрокъ ни упреки пропилаго, ни упреки собственной со-

вѣсти, явственно предупреждавшей распалившагося старца, что не ему придется расплачиваться за свои грѣхи, а все тѣмъ же ни въ чемъ не повиннымъ глуповцамъ. Какъ ни отбивались стрѣльчата, какъ ни оговаривалась сама Домашка, что она «противъ отечества идти не смѣетъ», но сила, по обыкновенію, взяла верхъ. Два раза стегалъ бригадиръ заупрямившуюся бабенку, два раза она довольно стойко вытерпѣла незаслуженное наказаніе, но когда принялись въ третій разъ, то не выдержала...

Тогда выступили впередъ пушкари и стали донимать стрѣльцовъ насмѣшками за то, что не сумѣли свою бабу отъ бригадирскихъ шеленовъ отстоять. «Глупые были пушкари,—поясняетъ лѣтописецъ:—того не могли понять, что, посмѣиваясь надъ стрѣльцами, сами надъ собой посмѣиваются». Но стрѣльцамъ было не до того, чтобы объяснять дѣйствія пушкарей глупостью или иной причиной. Какъ люди, чувствующіе кровную обиду и не могущіе отомстить прямому ея виновнику, они срывали свою обиду на тѣхъ, которые напоминали имъ о ней. Начались драки, безчинства и увѣчья; ходили другъ противъ дружки и въ одиночку, и стѣна на стѣну, и всего больше страдалъ отъ этой ненависти городъ, который очутился какъ разъ по серединѣ между враждующими лагерями. Но бригадиръ уже ничего не слышалъ и ни на что не обращалъ вниманія. Онъ забрался съ Домашкой на вышку градоначальническаго дома и первый день своего торжества ознаменовалъ тѣмъ, что мертвецки напился пьянъ съ новой жертвой своего сластолюбія...

И вотъ новое ужасное бѣдствіе не замедлило постигнуть городъ...

Пожаръ начался 7-го іюля, наканунѣ праздника Казанской Божіей Матери.

До первыхъ чиселъ іюля все шло самымъ лучшимъ образомъ. Перепадали дожди и притомъ такіе тихіе, теплые и благовременные, что все растущее съ неимовѣрною быстротой поднималось въ ростѣ, наливалось и зрѣло, словно волшебствомъ двинутое изъ нѣдръ земли. Но потомъ началась жара и сухмень, что также было весьма благопріятно, потому что наступила рабочая пора. Граждане радовались, надѣялись на обильный урожай и спѣшили съ работами.

6-го числа, утромъ, вышелъ на площадь юродивый Ар-

хипунка, сталъ середь торга и началъ раздувать по нѣтру своей пестрядинной рубашкой.

— Горю! горю!—кричалъ блаженный.

Старики, гуторившіе кругомъ, примолкли, собрались около блаженненькаго и спросили:

— Гдѣ, батюшко?

Но прозорливецъ бормоталъ что-то нескладное.

— Стрѣла бѣжитъ, огнемъ палитъ, смрадомъ-дымомъ душитъ. Увидите мечъ огненный, услышите голосъ архангельскій... горю!

Больше ничего отъ него не могли добиться, потому что, выговоривши свою нескладицу, юродивый тотчасъ же скрылся (точно сквозь землю провалъ), а задержать блаженнаго никто не посмѣлъ. Тѣмъ не менѣе, старики задумались.

— Про «стрѣлу» помянулъ! — говорили они, покачивая головами на Стрѣлецкую слободу.

Но этимъ дѣло не ограничилось. Не прошло часа, какъ на той же площади появилась юродивая Анисьюшка. Она несла въ рукахъ крошечный узелокъ и, сѣвши посередь базара, начала ковырять пальцемъ ямку. И ее обступили старики.

— Что ты, Анисьюшка, дѣлаешь? на что ямку копаешь?— спрашивали они.

— Добро хороню!—отвѣчала блаженная, оглядывая вопрошавшихъ съ безсмысленною улыбкой, которая съ самаго дня рожденія словно застыла у нея на лицѣ.

— Пошто же ты хоронишь его? Чай, и такъ отъ тебя, божьей старушки, никто не покорыствуется?

Но блаженная бормотала:

— Добро хороню... восемь ленточекъ... восемь тряпочекъ... восемь платочковъ шелковыхъ... восемь золотыхъ запоночковъ... восемь сережекъ яхонтовенькихъ... восемь перстенковъ изумрудныхъ... восьмеро бусъ янтарныхъ... восьмеро питокъ бурмицкихъ... девятая—лента алая... хи-хи!—засмѣялась она своимъ тихимъ, младенческимъ смѣхомъ.

— Господи, что такое будетъ! — шептали испуганные старики.

Обернулись—анъ бригадиръ, весь пьяный, смотритъ на нихъ изъ окна и лыка не вяжетъ, а Домашка-стрѣльчиха угольком фигуры у него на лицѣ рисуетъ.

— Вотъ-то псу несытаго нелегкая принесла!—чуть-чутъ было не сказали глуповцы; но бригадиръ словно понялъ ихъ мысль и не своимъ голосомъ закричалъ:

— Опять за бунты принялись! не прочухались!

Съ тяжелой думой разбрелись глуповцы по своимъ домамъ, и не было слышно въ тотъ день на улицахъ ни смѣху, ни пѣсенъ, ни говору.

На другой день, съ утра, погода чуть-чуть закуражилась; но такъ какъ работа была спѣшная (зачиналось жнитво), то всѣ отправились въ поле. Работа, однакожъ, шла вяло. Оттого ли, что дѣло было передъ праздникомъ, или оттого, что всѣхъ томило какое-то смутное предчувствіе, но люди двигались словно сонные. Такъ продолжалось до пяти часовъ, когда народъ началъ расходиться по домамъ, чтобы принарядиться и отправиться ко всенощной. Въ исходѣ седьмого въ церквахъ заблаговѣстили и улицы наполнились пестрыми толпами народа. На небѣ было всего одно облачко, но вѣтеръ крѣпчалъ и еще болѣе усиливалъ общія предчувствія. Не успѣли отзвонить третій звонъ, какъ небо заволокло сплошь и раздался такой оглушительный раскатъ грома, что всѣ молящіеся вздрогнули; за первымъ ударомъ послѣдовалъ второй, третій; затѣмъ послышался гдѣ-то, не очень близко, набатъ. Народъ разомъ схлынулъ изо всѣхъ церквей. У выходовъ люди тѣснились, давили другъ друга, въ особенности женщины, которыя заранѣе причитали по своимъ животамъ и пожиткамъ. Горѣла Пушкарская слобода, и отъ нея, навстрѣчу толпѣ, неслась цѣлая стѣна песку и пыли.

Хотя былъ всего девятый часъ въ началѣ, но небо до такой степени закрылось тучами, что на улицахъ сдѣлалось совершенно темно. Сверху черная, безграничная бездна, прорѣзываемая молніями; кругомъ—воздухъ, наполненный крутящимися атомами пыли,—все это представляло невообразимый хаосъ, на грозномъ фонѣ котораго выступалъ не менѣе грозный силуэтъ пожара. Видно было, какъ вдали суетятся люди, и казалось, что они безсознательно толкутся на одномъ мѣстѣ, а не мечутся въ тоскѣ и отчаяньи. Видно было, какъ кружатся въ воздухѣ оторванные вихремъ отъ крышъ клочки зажженной соломы, и казалось, что передъ глазами совершается какое-то фантастическое зрѣлище, а не горчайшее изъ злодѣяній, которыми такъ обильны безсознательныя силы природы. Постепенно одно за другимъ занимались деревянныя строенія и словно таяли. Въ одномъ мѣстѣ пожаръ уже въ полномъ разгарѣ; все строеніе обнялъ огонь, и съ каждой минутой размѣры его уменьшаются и силуэтъ принимаетъ какія-то узорчатыя формы,

которыя вытачиваетъ и выгрызаетъ страшная стихія. Но вотъ въ сторонѣ блеснула еще свѣтлая точка, потомъ ее закрылъ густой дымъ, и черезъ мгновеніе изъ клубовъ его вынырнулъ огненный языкъ; потомъ языкъ опять исчезъ, опять вынырнулъ—и взялъ силу. Новая точка, еще точка... сперва черная, потомъ ярко-оранжевая; образуется цѣлая связь свѣтящихся точекъ, и затѣмъ—настоящее море, въ которомъ утопаютъ всѣ отдѣльныя подробности, которое крутится въ берегахъ своею собственною силою, которое издаетъ свой собственный трескъ, гулъ и свистъ. Не скажешь, что тутъ горитъ, что плачетъ, что страдаетъ; тутъ все горитъ, все плачетъ, все страдаетъ... Даже стоновъ отдѣльныхъ не слышно.

Люди стонали только въ первую минуту, когда безъ памяти бѣжали къ мѣсту пожара. Припоминалось тутъ все, что когда-нибудь было дорого; все завѣтное, пригрѣтое, приголубленное, все, что помогало примиряться съ жизнью и нести ея бремя. Человѣкъ такъ свыкся съ этими извѣчными идолами своей души, такъ долго возлагалъ на нихъ лучшія свои упованія, что мысль о возможности потерять ихъ никогда отчетливо не представлялась уму. И вотъ настала минута, когда эта мысль является не какъ отвлеченный призракъ, не какъ плодъ испуганнаго воображенія, а какъ голая дѣйствительность, противъ которой не можетъ быть и возраженій. При первомъ столкновеніи съ этой дѣйствительностью человѣкъ не можетъ вытерпѣть боли, которою она поражаетъ его; онъ стонетъ, простираетъ руки, жалуется, клянетъ, но въ то же время еще надѣется, что злодѣйство, быть-можетъ, пройдетъ мимо. Но когда онъ убѣдился, что злодѣяніе уже совершилось, то чувства его внезапно стихаютъ, и одна только жажда водворяется въ сердцѣ его—это жажда безмолвія. Человѣкъ приходитъ къ собственному жилищу, видитъ, что оно насквозь засвѣтилось, что изъ всѣхъ пазовъ выпалзываютъ тоненькія огненныя змѣйки, и начинаетъ сознавать, что вотъ это и есть тотъ самый *конецъ всего*, о которомъ ему когда-то смутно грезилось и ожиданіе котораго, незамѣтно для него самого, проходитъ черезъ всю его жизнь. Что остается тутъ дѣлать? Что можно еще предпринять? Можно только сказать себѣ, что прошлое кончилось, и что предстоитъ начать нѣчто новое, нѣчто такое, отъ чего охотно бы оборонился, но чего невозможно избыть, потому что оно придетъ само собою и назовется завтрашнимъ днемъ.

— Всѣ ли вы тутъ?—раздается въ толпѣ женскій голосъ:—одинъ, другой... Николка-то гдѣ?

— Я, маменька, здѣся,—отвѣчалъ боязливый лепетъ ребенка, притаившагося сзади около сарафана матери.

— Гдѣ Матренка?—слышится въ другомъ мѣстѣ:—вѣдь Матрена-то въ избѣ осталась!

На этотъ призывъ выходитъ изъ толпы парень и съ разбѣга бросается въ пламя. Проходитъ одна томительная минута, другая. Обрушиваются балки одна за другой, трещитъ потолокъ. Наконецъ, парень показывается среди облаковъ дыма; шапка и полушубокъ на немъ затлѣлись, въ рукахъ ничего нѣтъ. Слышится вопль: «Матренка! Матренка! гдѣ ты?» потомъ слѣдуютъ утѣшенія, сопровождаемыя предположеніями, что, вѣроятно, Матренка съ испуга убѣжала на огородъ...

Вдругъ, въ сторонѣ, изъ глубины пустого сарая раздается нечеловѣческій вопль, заставляющій даже эту совсѣмъ обезпамятѣвшую толпу перекреститься и вскрикнуть: «спаси, Господи!» Весь или почти весь народъ устремляется по направленію этого крика. Сарай только-что загорѣлся, но подступиться къ нему уже нѣтъ возможности. Огонь охватилъ плотныя стѣны, обвилъ каждую отдѣльную хворостинку, и въ одну минуту сдѣлалъ изъ темной, дымившейся массы рдѣющій, ярко-прозрачный костеръ. Видно было, какъ внутри метался и бѣгалъ человѣкъ, какъ онъ рвалъ на себѣ рубашку, царапалъ ногтями грудь, какъ онъ вдругъ останавливался и весь вытягивался, словно вдыхалъ. Видно было, какъ брызгали на него искры, словно обливали, какъ занялись на немъ волосы, какъ онъ сначала тушилъ ихъ, потомъ вдругъ закружился на одномъ мѣстѣ...

— Батюшки! да вѣдь это Архипушко!—разглядѣли люди.

Дѣйствительно, это былъ онъ. Среди рдѣющаго кругомъ хвороста темная, полудикая фигура его казалась просвѣтлѣвшею. Людямъ видѣлся не тотъ нечистоплотный, блуждающій мутными глазами Архипушко, какимъ его обыкновенно видали, не Архипушко, преданный предсмертнымъ корчамъ и, подобно всякому другому смертному, безсильно бьющійся противъ неизбѣжной гибели, а словно какой-то энтузіастъ, изнемогающій подъ бременемъ переполнившаго его восторга.

— Отворь ворота, Архипушко! отворь, батюшко!—кричали издали люди, жалѣючи.

Но Архипушко не слыхалъ и продолжалъ кружиться и

кричать. Очевидно было, что у него уже начинало занимать дыханье. Наконецъ, столбы, поддерживавшіе соломенную крышу, подгорѣли. Цѣлое облако пламени и дыма разомъ рухнуло на землю, прикрыло человѣка и закрутилось. Рдѣющая точка на время опять превратилась въ темную; всѣ инстинктивно перекрестились...

Не успѣли пушкари опамятоваться отъ этого зрѣлища, какъ ихъ ужаснуло новое: загудѣли на соборной колокольнѣ колокола, и вдругъ самый большой изъ нихъ грохнулся внизъ. Бросились и туда, но тутъ увидѣли, что вся слобода уже въ пламени, и начали промышлять о собственномъ спасеніи. Толпа, оставшаяся безъ крова, пропитанія и одежды, повалила въ городъ, но и тамъ встрѣтилась съ общимъ смятеніемъ. Хотя очевидно было, что пламя взяло все, что могло взять, но горожанамъ, наблюдавшимъ за пожаромъ по ту сторону рѣчки, казалось, что пожаръ все росъ и зарево больше и больше рдѣло. Весь воздухъ былъ наполненъ какою-то свѣтящеюся массою, въ которой отдѣльными точками кружились и вихрились головни и горящіе пуки соломы. «Куда-то онѣ полетятъ? На комъ обрушатся?» спрашивали себя оцѣпенѣлые горожане.

Этотъ вопросъ произвелъ всеобщую панику; всякъ бросился къ своему двору спасать имущество. Улицы запрудились возами и пѣшеходами, нагруженными и навьюченными домашнимъ скарбомъ. Торопливо, но безъ особеннаго шума двигалась эта вереница по направленію къ выгону и, отойдя отъ города на безопасное разстояніе, начала улаживаться. Въ эту минуту полилъ долго-желанный дождь и растворилъ на выгонѣ легко уступающій черноземъ.

Между тѣмъ, пушкари остановились на городской площади и рѣшились дожидаться тутъ до свѣту. Многіе присѣли на землю и дали волю слезамъ. Какой-то начетчикъ запѣлъ: *на рѣкахъ Вавилонскихъ* и, заплакавъ, не могъ кончить; кто-то произнесъ имя стрѣльчихи-Домашки, но отклика ни откуда не послѣдовало. О бригадирѣ всѣ словно позабыли, хотя нѣкоторые и увѣряли, что видѣли, какъ онъ слонялся съ единственной пожарной трубой и порывался отстоять поповъ домъ. Попъ былъ тутъ же, вмѣстѣ со всѣми, и роптalъ.

— Беззаконовахомъ,—говорилъ онъ.

— Ты бы, батька, побольше Богу молился да поменьше съ попадьей проклажался!—въ упоръ послѣдовалъ отвѣтъ, и затѣмъ разговоръ по этому предмету больше не возобновлялся.

Къ свѣту пожаръ, дѣйствительно, сталъ утихать, отчасти потому, что горѣть было нечему, отчасти потому, что пошелъ проливной дождь. Пушкари побрели опять обратно на пожарище и увидѣли кучи пепла и обуглившіяся бревна, подъ которыми тлѣлся огонь. Достали откуда-то крючьевъ, привезли изъ города трубу и начали, не торопясь, растаскивать уцѣлѣвшій матеріалъ и тушить остатки огня. Всякій рылся около своего дома и чего-то искалъ; многіе въ самомъ дѣлѣ доискивались и крестились. Сгорѣвшихъ людей оказалось съ десятокъ, въ томъ числѣ двое взрослыхъ; Матренку же, о которой наканунѣ былъ разговоръ, нашли спящею на огородѣ между грядъ. Мало-по-малу, день принялъ свой обычный, рабочій видъ. Убытки рѣдко кѣмъ высчитывались; всякій старался прежде всего опредѣлить себѣ не то, что онъ потерялъ, а то, что у него есть. У кого осталось нетронутымъ подполье, и по этому поводу выражалась радость, что уцѣлѣлъ квасъ и вчерашній каравай хлѣба; у кого какимъ-то чудомъ пожаръ обошелъ клевушокъ, въ которомъ была заперта буренушка.

— Ай-да буренушка! умница!—хвалили кругомъ.

Началъ и городъ понемногу возвращаться въ свои логовища изъ вынужденнаго лагеря; но не надолго. Около полдня, у Ильи-Пророка, что на болотѣ, опять забили въ набатъ. Загорѣлся сарай той самой «Козы», у которой въ предыдущемъ разсказѣ лѣтописецъ познакомилъ насъ съ приказнымъ Боголѣповымъ. Полагаютъ, что Боголѣповъ, въ пьяномъ видѣ, курилъ трубку и заронилъ искру въ сѣнную труху; но такъ какъ онъ самъ при этомъ случаѣ сгорѣлъ, то догадка эта настоящимъ образомъ въ извѣстность не приведена. Въ сущности, пожаръ былъ не весьма значителенъ и могъ бы быть остановленъ довольно легко, но граждане до того были измучены и потрясены происшествіями вчерашней безсонной ночи, что достаточно было слова: «пожаръ!» чтобы произвести между ними новую общую панику. Всѣ опять бросились къ домамъ, тащили оттуда кто что могъ и побѣжали на выгонъ. А пожаръ, между тѣмъ, разрастался и разрастался.

Не станемъ описывать дальнѣйшихъ перипетій этого бѣдствія, тѣмъ болѣе, что онѣ вполнѣ схожи съ тѣми, которыя уже приведены нами выше. Скажемъ только, что два дня горѣлъ городъ, и въ это время безъ остатка сгорѣли двѣ слободы: Болотная и Негодница, названная такъ потому, что тамъ жили солдатки, промышлявшія зазорнымъ

ремесломъ. Только на третій день, когда огонь уже началъ подбираться къ собору и къ рядамъ, глуповцы нѣсколько очувствовались. Подстрекаемые крамольными стрѣльцами, они выступили изъ лагеря, явились толпой къ градоначальническому дому и помашили оттуда Ѳердыщенку.

— Долго ли намъ горѣть будетъ?—спросили они его, когда онъ, послѣ нѣкоторыхъ колебаній, появился на крыльцѣ.

Но лукавый бригадиръ только вертѣлъ хвостомъ и говорилъ, что ему съ Богомъ спорить не приходится.

— Мы не про то говоримъ, чтобъ тебѣ съ Богомъ спорить,—настаивали глуповцы:—куда тебѣ, гунявому, на Бога лѣзти! а ты вотъ что скажи: за чьи безчинства мы, сироты, теперича помирать должны?

Тогда бригадиръ вдругъ засовѣстился. Загорѣлось сердце его стыдомъ великимъ, и стоялъ онъ передъ глуповцами и точилъ слезы. («И всѣ тѣ его слезы были крокодиловы», предваряетъ лѣтописецъ событія).

— Мало ты насъ въ прошломъ году истязалъ? Мало насъ отъ твоей глупости да отъ твоихъ шелеповъ смерть приняло?—продолжали глуповцы, видя, что бригадиръ вспился.—Одумайся, старче! Оставь свою дурость!

Тогда бригадиръ всталъ передъ міромъ на колѣни и началъ каяться. («И было то покаяніе его аспидово», опять предваряетъ событія лѣтописецъ).

— Простите меня, ради Христа, атаманы-молодцы!—говорилъ онъ, кланяясь міру въ ноги:—оставлю я мою дурость на вѣки вѣчные, и самъ вамъ тоё мою дурость съ рукъ на руки сдамъ! только не ругайтесь вы надъ нею, ради Христа, а проводите честь честью къ стрѣльцамъ въ слободу!

И, сказавъ это, вывелъ Домашку къ толпѣ. Увидѣли глуповцы разбитную стрѣльчиху и животами ахнули. Стояла она передъ ними, та же немытая, нечесанная, какъ прежде была,—стояла, и хмельная улыбка бродила по лицу ея. И стала имъ эта Домашка такъ люба, что и сказать невозможно.

— Здорово живешь, Домаха!—гаркнули въ одинъ голосъ граждане.

— Здравствуйте! Ослобонять пришли?—отвѣчала Домашка.

— Охотой идешь въ отчество?

— Со всѣмъ моимъ великимъ удовольствіемъ!

Тогда Домашку взяли подъ руки и привели къ тому са-

мому амбару, откуда она была, за нѣсколько времени передъ тѣмъ, уведена силою.

Стрѣльцы радовались, бѣгали по улицамъ, били въ тазы и въ сковороды и выкрикивали свой обычный воинственный кличъ:

— Посрамихомъ! посрамихомъ!

И начались тутъ промежъ глуповцевъ радость и бодренье великое. Всѣ чувствовали, что тяжесть спала съ сердецъ и что отнынѣ ничего другого не остается, какъ благоденствовать. Съ бригадиромъ во главѣ двинулись граждане навстрѣчу пожару, въ нѣсколько часовъ сломали цѣлую улицу домовъ и окопали пожарище со стороны города глубокою канавой. На другой день пожаръ уничтожился самъ собою, вслѣдствіе недостатка питанія.

Но лѣтописецъ недаромъ предварялъ событія намеками: слезы бригадировы дѣйствительно оказались крокодиловыми и покаяніе его было покаяніе аспидово. Какъ только миновала опасность, онъ засѣлъ у себя въ кабинетѣ и началъ рапортовать во всѣ мѣста. Десять часовъ сряду макалъ онъ перо въ чернильницу, и чѣмъ дальше макалъ, тѣмъ больше становилось оно ядовитымъ.

«Сего 10-го іюля, — писалъ онъ: — отъ всѣхъ вообще глуповскихъ гражданъ послѣдовалъ противъ меня великій бунтъ. По случаю бывшаго въ слободѣ Негодницѣ великаго пожара собрались ко мнѣ, бригадиру, на дворъ всякаго званія люди и стали меня будить и на колѣнки становить, дабы я передъ тѣми бездѣльными людьми прощеніе принесъ. Я же безъ страха отъ сего уклонился. И теперь разсуждаю такъ: ежели таковому ихъ бездѣльничеству потворство сдѣлать, да и впередъ потрафлять, то какъ бы оное не явилось повторительнымъ и не гораздо къ утишенію способнымъ?»

Отписавъ такимъ образомъ, бригадиръ сѣлъ у окошечка и сталъ поджидать, не послышится ли откуда: ту-ру! ту-ру! Но въ то же время съ гражданами былъ привѣтливъ и обходителенъ, такъ что даже едва совсѣмъ не обворожилъ ихъ своими ласками.

— Миленькіе вы, миленькіе!—говорилъ онъ имъ:—ну, чего вы, глупенькіе, на меня разсердились! Ну, взялъ Богъ,—ну, и опять дастъ Богъ! У него, у Царя небеснаго, милости много! Такъ-то, братики-сударики!

По временамъ, однакожъ, на лицѣ его показывалась

какая-то сомнительная улыбка, которая не предвѣщала ничего добраго...

И вотъ, въ одно прекрасное утро, по дорогѣ показалось облако пыли, которое, постепенно приближаясь и приближаясь, подошло, наконецъ, къ самому Глупову.

— Ту-ру! ту-ру!—явственно раздалось изъ внутренностей таинственнаго облака.

Трубятъ въ рога!
Разить врага
Другимъ пора!

Глуповцы оцѣпенѣли.

IX.—Фантастическій путешественникъ.

Едва успѣли глуповцы поправиться, какъ бригадирово легкомысліе чуть-чуть не навлекло на нихъ новой бѣды.

Ѳердыщенко вздумалъ путешествовать.

Это намѣреніе было очень странное, ибо въ завѣдываніи Ѳердыщенка находился только городской выгонъ, который не заключалъ въ себѣ никакихъ сокровищъ ни на поверхности земли, ни въ нѣдрахъ оной. Въ разныхъ мѣстахъ его валялись, конечно, навозныя кучи, но онѣ, даже въ археологическомъ отношеніи, ничего примѣчательнаго не представляли. «Куда и съ какою цѣлью тутъ путешествовать?» Всѣ благоразумные люди задавали себѣ этотъ вопросъ, но удовлетворительно разрѣшить не могли. Даже бригадирова экономка—и та пришла въ большое смущеніе, когда Ѳердыщенко объявилъ ей о своемъ намѣреніи.

— Ну, куда тебя слоняться несетъ?—говорила она:—на первую кучу наткнешься и завязнешь! Кинь ты свое озорство, Христа ради!

Но бригадиръ былъ непоколебимъ. Онъ вообразилъ себѣ, что травы сдѣлаются зеленѣе и цвѣты расцвѣтутъ ярче, какъ только онъ выйдетъ на выгонъ. «Утучнятся поля, прольются многоводныя рѣки, поплывутъ суда, процвѣтетъ скотоводство, объявятся пути сообщенія», бормоталъ онъ про себя и лелѣялъ свой планъ пуще зѣницы ока. «Простъ онъ былъ,—поясняетъ лѣтописецъ,—такъ простъ, что даже послѣ столькихъ бѣдствій простоты своей не оставилъ».

Очевидно, онъ копировалъ въ этомъ случаѣ своего патрона и благодѣтеля, который тоже былъ охотникъ до разъѣздовъ (по краткой описи градоначальникамъ, Ѳердыщенко

щенко обозначенъ такъ: «бывый денщикъ князя Потемкина») и любилъ, чтобъ его вездѣ чествовали.

Планъ былъ начертанъ обширный. Сначала направиться въ одинъ уголъ выгона; потомъ, перерѣзавъ его площадь поперекъ, нагрянуть въ другой конецъ; потомъ очутиться въ серединѣ, потомъ ѣхать опять по прямому направленію, а затѣмъ уже куда глаза глядятъ. Вездѣ принимать поздравленія и дары.

— Вы смотрите! — говорилъ онъ обывателямъ:—какъ только меня завидите, такъ сейчасъ въ тазы бейте, а потомъ зачинайте поздравлять, какъ будто я и не вѣсть откуда пріѣхалъ!

— Слушаемъ, батюшка Петръ Петровичъ! — говорили проученные глуповцы; но про себя думали: «Господи! того гляди, опять городъ спалитъ!»

Выѣхалъ онъ въ самый Николинъ день, сейчасъ послѣ раннихъ обѣденъ, и дома сказалъ, что будетъ не скоро. Съ нимъ былъ денщикъ Василій Черноступъ да два инвалидныхъ солдата. Шагомъ направился этотъ поѣздъ въ правый уголъ выгона, но такъ какъ разстояніе было близкое, то какъ ни медлили, а черезъ полчаса поспѣли. Ожидавшіе тутъ глуповцы, въ числѣ четырехъ человѣкъ, ударили въ тазы, а одинъ потрясалъ бубномъ. Потомъ начали подносить дары: подали тежку осетровую соленую, да севрюжку провѣсную среднюю, да кусокъ ветчины. Вышелъ бригадиръ изъ брички и сталъ спорить, что даровъ мало, «да и дары тѣ не настоящіе, а лежалые», и служатъ къ умаленію его чести. Тогда вынули глуповцы еще по полтиннику, и бригадиръ успокоился.

— Ну, теперь показывайте мнѣ, старички,—сказалъ онъ ласково:—каковы у васъ есть достопримѣчательности?

Стали ходить взадъ и впередъ по выгону, но ничего достопримѣчательнаго не нашли, кромѣ одной навозной кучи.

— Это въ прошломъ году, какъ мы лагеремъ во время пожара стояли, такъ въ ту пору всякаго скота тутъ довольно было!—объяснилъ одинъ изъ стариковъ.

— Хорошо бы здѣсь городъ поставить,—молвилъ бригадиръ:—и назвать его Домославомъ, въ честь той стрѣльчихи, которую вы занапрасно въ то время обезпокоили!

И потомъ прибавилъ:

— Ну, а въ нѣдрахъ земли какъ?

— Объ этомъ мы неизвѣстны,—отвѣчали глуповцы:—думаемъ, что много должно быть, однако, допытываться

боимся: какъ бы кто не увидалъ да начальству не пересказалъ!

— Боитесь?—усмѣхнулся бригадиръ.

Словомъ сказать, въ полчаса, да и то безъ нужды, весь осмотръ кончился. Видитъ бригадиръ, что времени остается много (отбытіе съ этого пункта было назначено только на другой день) и зачалъ тужить и корить глуповцевъ, что нѣтъ у нихъ ни мореходства, ни судоходства, ни горнаго и монетнаго промысловъ, ни путей сообщенія, ни даже статистики—ничего, чѣмъ бы начальниково сердце возвеселить. А главное, нѣтъ предпріимчивости.

— Вамъ бы слѣдовало корабли заводить, кофей-сахаръ разводить,—сказалъ онъ:—а вы что!

Переглянулись между собою старики: видятъ, что бригадиръ какъ будто и не къ слову свою рѣчь говоритъ, попятились на мѣстѣ и вынули еще по полтиннику.

— На этомъ спасибо,—молвилъ бригадиръ:—а что про мореходство сказалось, на томъ простите!

Выступилъ тутъ впередъ одинъ изъ гражданъ и, желая подслужиться, сказалъ, что припасена у него за пазухой деревяннаго дѣла пушечка малая на колесцахъ и гороху сушенаго запасецъ небольшой. Обрадовался бригадиръ этой забавѣ несказанно, сѣлъ на лужокъ и началъ изъ пушечки стрѣлять. Стрѣляли долго, даже умучились, а до обѣда все еще много времени остается.

— Ахъ, прахъ-те побери! Здѣсь и солнце-то словно назадъ пятится!—сказалъ бригадиръ, съ негодованіемъ поглядывая на небесное свѣтило, медленно выплывавшее по направленію къ зениту.

Наконецъ, однако, сѣли обѣдать; но такъ какъ со времени стрѣльчихи Домашки бригадиръ сталъ запивать, то и тутъ напился до безобразія. Сталъ говорить неподобныя рѣчи и, указывая на «деревяннаго дѣла пушечку», угрожалъ всѣхъ своихъ амфитріоновъ перепалить. Тогда за хозяевъ вступился денщикъ Василій Черностушъ, который хотя тоже былъ пьянъ, но не гораздо.

— Пустое ты дѣло затѣялъ!—сразу оборвалъ онъ бригадира:—кабы не я твой приставникъ,—слова бы тебѣ, гунявому, не пикнуть, а не то чтобъ за экое орудіе взяться!

Время, между тѣмъ, продолжало тянуться съ безнадежною вялостью: обѣдали-обѣдали, пили-пили, а солнце все высоко стоитъ. Начали спать. Спали-спали, весь хмель переспали, наконецъ начали вставать.

— Никакъ солнце-то высоко взошло!—сказалъ бригадиръ, просыпаясь и принимая западъ за востокъ.

Но ошибка была столь очевидна, что даже онъ понялъ ее. Послали одного изъ стариковъ въ Глуповъ за квасомъ, думая ожиданіемъ сократить время; но старикъ оборотилъ духомъ и принесъ на головѣ цѣлый жбанъ, не проливъ ни капли. Сначала пили квасъ, потомъ чай, потомъ водку. Наконецъ, чуть смеркалось, зажгли плошку и освѣтили навозную кучу. Плошка коптѣла, мигала и распространяла смрадъ.

— Слава Богу! не видали, какъ и день кончился!—сказалъ бригадиръ и, завернувшись въ шинель, улегся спать во второй разъ.

На другой день поѣхали наперерѣзъ и, по счастью, встрѣтили по дорогѣ пастуха. Стали его спрашивать, кто онъ таковъ и зачѣмъ по пустымъ мѣстамъ шатается, и нѣтъ ли въ томъ шатаніи умысла. Пастухъ сначала оробѣлъ, но потомъ во всемъ повинился. Тогда его обыскали и нашли хлѣба ломоть небольшой да лоскутокъ отъ онучъ.

— Сказывай, въ чемъ былъ твой умыселъ?—допрашивалъ бригадиръ съ пристрастіемъ.

Но пастухъ на всѣ вопросы отвѣчалъ мычаніемъ, такъ что путешественники вынуждены были, для дальнѣйшихъ разспросовъ, взять его съ собою и въ такомъ видѣ пріѣхали въ другой уголъ выгона.

Тутъ тоже въ тазы звонили и дары дарили, но время пошло поживѣе, потому что допрашивали пастуха и въ него грѣшнымъ дѣломъ изъ малой пушечки стрѣляли. Вечеромъ опять зажгли плошку и начадили такъ, что у всѣхъ разболѣлись головы.

На третій день, отпустивъ пастуха, отправились въ середку, но тутъ ожидало бригадира уже настоящее торжество. Слава о его путешествіяхъ росла не по днямъ, а по часамъ, и такъ какъ день былъ праздничный, то глуповцы рѣшились ознаменовать его чѣмъ-нибудь особеннымъ. Одѣвшись въ лучшія одежды, они выстроились въ каре и ожидали своего начальника. Стучали въ тазы, потрясали бубнами и даже играла одна скрипка. Въ сторонѣ дымились котлы, въ которыхъ варилось и жарилось такое количество поросятъ, гусей и прочей живности, что даже попамъ стало завидно. Въ первый разъ бригадиръ понялъ, что любовь народная есть сила, заключающая въ себѣ нѣчто съѣдобное. Онъ вышелъ изъ брички и прослезился.

Плакали тутъ всѣ; плакали и потому, что жалко, и потому, что радостно. Въ особенности разливалась одна древняя старуха (сказывали, что она была внучка побочной дочери Марѳы Посадницы).

— О, чемъ ты, старушка, плачешь?—спросилъ бригадиръ, ласково трепля ее по плечу.

— Охъ ты нашъ батюшка! какъ намъ не плакать-то, кормилецъ ты нашъ! вѣкъ мы свой все-то плачемъ... все плачемъ! —всхлипывала въ отвѣтъ старуха.

Въ полдень поставили столы и стали обѣдать; но бригадиръ былъ такъ неосторожень, что еще передъ закуской пропустилъ три чарки очищенной. Глаза его вдругъ сдѣлались неподвижными и стали смотрѣть въ одно мѣсто. Затѣмъ, съѣвши первую перемѣну (были щи съ солониной), онъ опять выпилъ два стакана и началъ говорить, что ему нужно бѣжать.

— Ну, куда тебѣ безъ ума бѣжать!—урезонивали его почетные глуповцы, сидѣвшіе по сторонамъ.

— Куда глаза глядятъ!—бормоталъ онъ, очевидно припоминая эти слова изъ своего маршрута.

Послѣ второй перемѣны (былъ поросенокъ въ сметанѣ) ему сдѣлалось дурно; однако, онъ превозмогъ себя и съѣлъ еще гуся съ капустою. Послѣ этого ему перекосило ротъ.

Видно было, какъ вздрогнула на лицѣ его какая-то административная жилка, дрожала-дрожала и вдругъ замерла... Глуповцы въ смятеніи и испугѣ повскакали съ своихъ мѣстъ.

Кончилось...

Кончилось достославное градоначальство, омрачившееся въ послѣдніе годы двукратнымъ вразумленіемъ глуповцевъ. «Была ли въ сихъ вразумленіяхъ необходимость?»—спрашиваетъ себя лѣтописецъ, и, къ сожалѣнію, оставляетъ этотъ вопросъ безъ отвѣта.

На нѣкоторое время глуповцы погрузились въ ожиданіе. Они боялись, чтобъ ихъ не завинили въ преднамѣренномъ окормленіи бригадира и чтобъ опять не раздалось невѣдомо откуда: «туру-туру»

Встаньте гуще!
Чтобы пуще
Побѣждать врага!

Къ счастію, однакожъ, на этотъ разъ опасенія оказались неосновательными. Черезъ недѣлю прибылъ изъ губерніи новый градоначальникъ и превосходствомъ принятыхъ имъ административныхъ мѣръ заставилъ забыть всѣхъ

старыхъ градоначальниковъ, а въ томъ числѣ и Ѳердыщенку. Это былъ Василискъ Семеновичъ Бородавкинъ, съ котораго, собственно, и начинается золотой вѣкъ Глупова. Страхи разсѣялись, урожаи пошли за урожаями, кометъ не появлялось, а денегъ развелось такое множество, что даже куры не клевали ихъ... потому что это были ассигнаціи.

X.—Войны за просвѣщеніе.

Василискъ Семеновичъ Бородавкинъ, смѣнившій бригадира Ѳердыщенку, представлялъ совершенную противоположность своему предмѣстнику. Насколько послѣдній былъ расѣянъ и рыхлъ, настолько же первый поражалъ расторопностью и какою-то неслыханной административной вѣдчивостью, которая съ особенной энергіей проявлялась въ вопросахъ, касавшихся выѣденнаго яйца. Постоянно застегнутый на всѣ пуговицы и имѣя наготовѣ фуражку и перчатки, онъ представлялъ собою типъ градоначальника, у котораго ноги во всякое время готовы были бѣжать невѣдомо куда. Днемъ онъ, какъ муха, мелькалъ по городу, наблюдая, чтобы обыватели имѣли бодрый и веселый видъ; ночью—тушилъ пожары, дѣлалъ фальшивыя тревоги и вообще заставалъ врасплохъ.

Кричалъ онъ во всякое время и кричалъ необыкновенно. «Столько вмѣщалъ онъ въ себѣ крику,—говоритъ по этому поводу лѣтописецъ,—что отъ онаго многіе глуповцы и за себя, и за дѣтей навсегда испугались». Свидѣтельство замѣчательное и находящее себѣ подтвержденіе въ томъ, что впослѣдствіи начальство вынуждено было дать глуповцамъ разныя льготы, именно «испуга ихъ ради». Аппетитъ имѣлъ хорошій, но насыщался съ поспѣшностью и при этомъ ронталъ. Даже спалъ только однимъ глазомъ, что̀ приводило въ немалое смущеніе его жену, которая, несмотря на двадцати-пяти-лѣтнее сожительство, не могла безъ содроганія видѣть его другое, недремлющее, совершенно круглое и любопытно на нее устремленное око. Когда же совсѣмъ нечего было дѣлать, то-есть не предстояло надобности ни мелькать, ни заставать врасплохъ (въ жизни самыхъ расторопныхъ администраторовъ встрѣчаются такія тяжкія минуты), то онъ или издавалъ законы, или маршировалъ по кабинету, наблюдая за игрой сапожнаго носка, или возобновлялъ въ своей памяти военные сигналы.

Была и еще одна особенность за Бородавкинымъ: онъ

былъ сочинитель. За десять лѣтъ до прибытія въ Глуповъ, онъ началъ писать проектъ «о вящшемъ арміи и флотовъ по всему земли лицу распространеніи, дабы черезъ то возвращеніе (sic) древней Византіи подъ сѣнь россійскія державы уповательнымъ учинить», и каждый день прибавлялъ къ нему по одной строчкѣ. Такимъ образомъ составилась довольно объемистая тетрадь, заключавшая въ себѣ тритысячи-шестьсотъ-пятьдесятъ-двѣ строчки (два года было високосныхъ), на которую онъ не безъ гордости указывалъ посѣтителямъ, прибавляя при томъ:

— Вотъ, сударь мой, сколь далеко я виды свои простираю!

Вообще, политическая мечтательность была въ то время въ большомъ ходу, а потому и Бородавкинъ не избѣгнулъ общихъ вѣяній времени. Очень часто видали глуповцы, какъ онъ, сидя на балконѣ градоначальническаго дома, взиралъ оттуда, съ полными слезъ глазами, на синѣющія вдалекѣ византійскія твердыни. Выгонныя земли Византіи и Глупова были до такой степени смежны, что византійскія стада почти постоянно смѣшивались съ глуповскими, и изъ этого выходили безпрестанныя пререканія. Казалось, стоило только кликнуть кличъ... И Бородавкинъ ждалъ этого клича, ждалъ съ страстностью, съ нетерпѣніемъ, доходившимъ почти до негодованія.

— Сперва съ Византіей покончимъ-съ,— мечталъ онъ:— а потомъ-съ...

На Драву, Мораву, па Дальнюю Саву,
На тихій и синій Дунай...

Д-да-съ!

Сказать ли всю истину: по секрету, онъ даже заготовилъ на имя извѣстнаго нашего географа, К. И. Арсеньева, довольно странную резолюцію. «Предоставляется вашему благородію,—писалъ онъ,—на будущее время извѣстную вамъ Византію во всѣхъ учебникахъ географіи числить тако: Константинополь, бывшая Византія, а нынѣ губернскій городъ Екатеринодаръ, стоитъ при изліяніи Чернаго моря въ древнюю Пропонтиду и подъ сѣнь россійской державы пріобрѣтенъ въ 17... году, съ распространеніемъ на оный единства кассъ (единство сіе въ томъ состоитъ, что византійскія деньги въ столичномъ городѣ Санктпетербургѣ употребленіе себѣ находить должны). По обширности своей городъ сей, въ административномъ отношеніи, находится въ вѣдѣніи четырехъ градоначальниковъ, кои состоятъ

между собой въ непрерывномъ пререканіи. Производитъ торговлю грецкими орѣхами и имѣетъ одинъ мыловаренный и два кожевенныхъ завода». Но,—увы!—дни проходили за днями, мечты Бородавкина росли, а клича все не было. Проходили черезъ Глуповъ войска пѣшія, проходили войска конныя.

— Куда, голубчики?—съ волненіемъ спрашивалъ Бородавкинъ солдатиковъ.

Но солдатики въ трубы трубили, пѣсни пѣли, носками сапоговъ играли, пыль столбомъ на улицахъ поднимали, и все проходили, все проходили.

— Валомъ валитъ солдатъ! — говорили глуповцы, и казалось имъ, что это люди какіе-то особенные, что они самой природой созданы для того, чтобъ ходить безъ конца, ходить по всѣмъ направленіямъ. Что они спускаются съ одной плоской возвышенности для того, чтобы лѣзть на другую плоскую возвышенность, переходятъ черезъ одинъ мостъ для того, чтобы перейти вслѣдъ затѣмъ черезъ другой мостъ. И еще мостъ, и еще плоскую возвышенность, и еще, и еще...

Въ этой крайности Бородавкинъ понялъ, что для политическихъ предпріятій время еще не наступило и что ему слѣдуетъ ограничить свои задачи только такъ-называемыми насущными потребностями края. Въ числѣ этихъ потребностей первое мѣсто занимала, конечно, цивилизація, или, какъ онъ самъ опредѣлялъ это слово, «наука о томъ, колико каждому Россійской Имперіи доблестному сыну отечества быть твердымъ въ бѣдствіяхъ надлежитъ».

Полный этихъ смутныхъ мечтаній, онъ явился въ Глуповъ и прежде всего подвергнулъ строгому разсмотрѣнію намѣренія и дѣянія своихъ предшественниковъ. Но когда онъ взглянулъ на скрижали, то такъ и ахнулъ. Вереницею прошли передъ нимъ: и Клементій, и Великановъ, и Ламврокакисъ, и Бакланъ, и маркизъ де-Санглотъ, и Ѳердыщенко, но что дѣлали эти люди, о чемъ они думали, какія задачи преслѣдовали—вотъ этого-то именно и нельзя было опредѣлить ни подъ какимъ видомъ. Казалось, что весь этотъ рядъ не что иное, какъ сонное мечтаніе, въ которомъ мелькаютъ образы безъ лицъ, въ которомъ звенятъ какіе-то смутные крики, похожіе на отдаленное галдѣніе захмелѣвшей толпы... Вотъ вышла изъ мрака одна тѣнь, хлопнула: разъ—разъ!—и исчезла невѣдомо куда; смотришь, на мѣсто ея выступаетъ ужъ другая тѣнь, и тоже хлопаетъ

какъ попало, и исчезаетъ... «Раззорю!» «Не потерплю!» — слышится со всѣхъ сторонъ, а что разорю, чего не потерплю—того разобрать невозможно. Радъ бы посторониться, прижаться къ углу, но ни посторониться, ни прижаться нельзя, потому что изъ всякаго угла раздается все то же «раззорю!», которое гонитъ укрывающагося въ другой уголъ и тамъ, въ свою очередь, опять настигаетъ его. Это была какая-то дикая энергія, лишенная всякаго содержанія, такъ что даже Бородавкинъ, несмотря на свою расторопность, нѣсколько усомнился въ достоинствѣ ея. Одинъ только статскій совѣтникъ Двоекуровъ съ выгодою выдѣлялся изъ этой пестрой толпы администраторовъ, являлъ умъ тонкій и проницательный и вообще выказывалъ себя продолжателемъ того преобразовательнаго дѣла, которымъ ознаменовалось начало восемнадцатаго столѣтія въ Россіи. Его-то, конечно, и взялъ себѣ Бородавкинъ за образецъ.

Двоекуровъ совершилъ очень много. Онъ вымостилъ улицы: Дворянскую и Большую, собралъ недоимки, покровительствовалъ наукамъ и ходатайствовалъ объ учрежденіи въ Глуповѣ академіи. Но главная его заслуга состояла въ томъ, что онъ ввелъ въ употребленіе горчицу и лавровый листъ. Это послѣднее дѣйствіе до того поразило Бородавкина, что онъ тотчасъ же возымѣлъ дерзкую мысль поступить точно такимъ же образомъ и относительно прованскаго масла. Начались справки, какія мѣры были употреблены Двоекуровымъ, чтобы достигнуть успѣха въ затѣянномъ дѣлѣ; но такъ какъ архивныя дѣла, по обыкновенію, оказались сгорѣвшими (а быть-можетъ, и умышленно уничтоженными), то пришлось удовольствоваться изустными преданіями и разсказами.

— Много у насъ всякаго шуму было!—разсказывали старожилы:—и черезъ солдатъ сѣкли, и запросто сѣкли... Многіе даже въ Сибирь черезъ это самое дѣло ушли!

— Стало-быть, были бунты?—спрашивалъ Бородавкинъ.

— Мало ли было бунтовъ!

Изъ дальнѣйшихъ разспросовъ оказывалось, что Двоекуровъ былъ человѣкъ настойчивый и, однажды задумавъ какое-нибудь предпріятіе, доводилъ его до конца. Дѣйствовалъ онъ всегда большими массами, то-есть и усмирялъ, и расточалъ безъ остатка; но въ то же время понималъ, что одного этого средства недостаточно. Поэтому, независимо отъ мѣръ общихъ, онъ въ теченіе нѣсколькихъ дѣтъ сряду, непрерывно и неустанно дѣлалъ сепаратные набѣги

на обывательскіе дома и усмирялъ каждаго обывателя по одиночкѣ. Вообще во всей исторіи Глупова поражаетъ одинъ фактъ: сегодня расточатъ глуповцевъ и уничтожатъ ихъ всѣхъ до единаго, а завтра—смотришь—опять появятся глуповцы и даже, по обычаю, выступятъ впередъ на сходкахъ такъ-называемые «старики» (должно-быть, «изъ молодыхъ да ранніе»). Какимъ образомъ они нарастали—это была тайна, но тайну эту отлично постигъ Двоекуровъ, и потому розогъ не жалѣлъ. Какъ истинный администраторъ, онъ различалъ два сорта сѣченія: сѣченіе безъ разсмотрѣнія и сѣченіе съ разсмотрѣніемъ, и гордился тѣмъ, что первый въ ряду градоначальниковъ ввелъ сѣченіе съ разсмотрѣніемъ, тогда какъ всѣ предшественники сѣкли какъ попало и часто даже совсѣмъ не тѣхъ, кого слѣдовало. И дѣйствительно, воздѣйствуя разумно и безпрерывно, онъ добился результатовъ самыхъ блестящихъ. Въ теченіе всего его градоначальничества глуповцы не только не садились за столъ безъ горчицы, но даже развели у себя довольно обширныя горчичныя плантаціи для удовлетворенія требованіямъ внѣшней торговли. «И процвѣла оная весь, яко кринъ сельный, посылая сей горькій продуктъ въ отдаленнѣйшія мѣста державы Россійской и получая взамѣнъ онаго драгоцѣнные металлы и мѣха».

Но въ 1780 году Двоекуровъ умеръ, и два градоначальника, послѣдовавшіе за нимъ, не только не поддерживали его преобразованій, но даже, такъ сказать, загадили ихъ. И что всего замѣчательнѣе, глуповцы явились неблагодарными. Они нимало не печалились упраздненію начальственной цивилизаціи и даже какъ будто радовались. Горчицу перестали ѣсть вовсе, а плантаціи перепахали, засадили капустою и засѣяли горохомъ. Однимъ словомъ, произошло то, что всегда случается, какъ просвѣщеніе слишкомъ рано приходитъ къ народамъ младенческимъ и въ гражданскомъ смыслѣ незрѣлымъ. Даже лѣтописецъ не безъ ироніи упоминаетъ объ этомъ обстоятельствѣ: «Много лѣтъ выводилъ онъ (Двоекуровъ) хитроумное сіе зданіе, а о томъ не догадался, что строитъ на пескѣ». Но лѣтописецъ, очевидно, и въ свою очередь забываетъ, что въ томъ-то собственно и заключается замысловатость человѣческихъ дѣйствій, чтобы сегодня одно зданіе на «пескѣ» строить, а завтра, когда оно рухнетъ, зачинать новое зданіе на томъ же «пескѣ» воздвигать.

Такимъ образомъ оказывалось, что Бородавкинъ поспѣлъ

какъ разъ кстати, чтобы спасти погибавшую цивилизацію. Страсть строить на «песцѣ» была доведена въ немъ почти до изступленія. Дни и ночи онъ все выдумывалъ, что бы такое выстроить, чтобы оно вдругъ, по выстройкѣ, грохнулось и наполнило вселенную пылью и мусоромъ. И такъ думалъ, и этакъ, но настоящимъ манеромъ додуматься, все-таки, не могъ. Наконецъ, за недостаткомъ оригинальныхъ мыслей, остановился на томъ, что буквально пошелъ по стопамъ своего знаменитаго предшественника.

— Руки у меня связаны,—горько жаловался онъ глуповцамъ: — а то узнали бы вы у меня, гдѣ раки зимуютъ!

Тутъ же кстати онъ довѣдался, что глуповцы, по упущенію, совсѣмъ отстали отъ употребленія горчицы, а потому на первый разъ ограничился тѣмъ, что объявилъ это употребленіе обязательнымъ; въ наказаніе же за ослушаніе прибавилъ еще прованское масло. И въ то же время положилъ въ сердцѣ своемъ: дотолѣ не класть оружія, доколѣ въ городѣ останется хоть одинъ недоумѣвающій.

Но глуповцы тоже были себѣ на умѣ. Энергіи дѣйствія они съ большою находчивостью противопоставили энергію бездѣйствія.

— Что хошь съ нами дѣлай,—говорили одни:—хошь — на куски рѣжь, хошь—съ кашей ѣшь, а мы несогласны!

— Съ насъ, братъ, не что возьмешь!—говорили другіе:— мы не то что прочіе, которые тѣломъ обросли! насъ, братъ, и уколупнуть негдѣ!

И упорно стояли при этомъ на колѣняхъ.

Очевидно, что когда эти двѣ энергіи встрѣчаются, то изъ этого всегда происходитъ нѣчто весьма любопытное. Нѣтъ бунта, но и покорности настоящей нѣтъ. Есть что-то среднее, чему мы видали примѣры при крѣпостномъ правѣ. Бывало, попадется барынѣ таракапъ въ супѣ, призоветъ она повара и велитъ того таракана съѣсть. Возьметъ поваръ таракана въ ротъ, видимымъ образомъ жуетъ его, а глотать не глотаетъ. Точно такъ же было и съ глуповцами: жевали они довольно, а глотать не глотали.

— Сломлю я эту энергію! — говорилъ Бородавкинъ и медленно, безъ торопливости, обдумывалъ планъ свой.

А глуповцы стояли на колѣняхъ и ждали. Знали они, что бунтуютъ, но не стоять на колѣняхъ не могли. Господи! чего ни передумали въ это время! Думаютъ: стапутъ они теперь ѣсть горчицу—какъ бы на будущее

время еще какую-ни-на-есть мерзость ѣсть не заставили; не станутъ—какъ бы шелеповъ не пришлось отвѣдать. Казалось, что колѣни въ этомъ случаѣ представляютъ средній путь, который можетъ умиротворить и ту, и другую стороны.

И вдругъ затрубила труба и забилъ барабанъ. Бородавкинъ, застегнутый на всѣ пуговицы и полный отваги, выѣхалъ на бѣломъ конѣ. За нимъ слѣдовали пушечный и ружейный снарядъ. Глуповцы думали, что градоначальникъ ѣдетъ покорять Византію, а вышло, что онъ замыслилъ покорить ихъ самихъ...

Такъ начался тотъ замѣчательный рядъ событій, который описываетъ лѣтописецъ подъ общимъ наименованіемъ «войнъ за просвѣщеніе».

Первая война «за просвѣщеніе» имѣла, какъ уже сказано выше, поводомъ горчицу и началась въ 1780 году, т.-е. почти вслѣдъ за прибытіемъ Бородавкина въ Глуповъ.

Тѣмъ не менѣе, Бородавкинъ сразу палить не рѣшился; онъ былъ слишкомъ педантъ, чтобъ впасть въ столь явную административную ошибку. Онъ началъ дѣйствовать постепенно, и съ этою цѣлью предварительно созвалъ глуповцевъ и сталъ ихъ заманивать. Въ рѣчи, сказанной по этому поводу, онъ подробно развилъ передъ обывателями вопросъ о подспорьяхъ вообще и о горчицѣ, какъ о подспорьи въ особенности; но оттого ли, что въ словахъ его было болѣе личной вѣры въ правоту защищаемаго дѣла, нежели дѣйствительной убѣдительности, или оттого, что онъ, по обычаю своему, не говорилъ, а кричалъ—какъ бы то ни было, результатъ его убѣжденій былъ таковъ, что глуповцы испугались и опять всѣмъ обществомъ пали на колѣни.

«Было чего испугаться глуповцамъ,—говоритъ по этому случаю лѣтописецъ:—стоитъ передъ ними человѣкъ роста невеликаго, изъ себя не дородный, словъ не говоритъ, а только крикомъ кричитъ».

— Поняли, старички?—обратился онъ къ обезпамятѣвшимъ обывателямъ.

Толпа низко кланялась и безмолвствовала. Натурально, это его пуще взорвало.

— Что я... на смерть, что ли, васъ веду... мерррзавцы!

Но едва раздался изъ устъ его новый раскатъ, какъ

глуповцы стремительно повскакали съ колѣней и разбѣжались во всѣ стороны.

— Раззорю!—закричалъ онъ имъ вдогонку.

Весь этотъ день Бородавкинъ скорбѣлъ. Молча расхаживалъ онъ по заламъ градоначальническаго дома и только изрѣдка тихо произносилъ: «подлецы!»

Болѣе всего заботила его Стрѣлецкая слобода, которая и при предшественникахъ его отличалась самымъ непреоборимымъ упорствомъ. Стрѣльцы довели энергію бездѣйствія почти до утонченности. Они не только не являлись на сходки по приглашеніямъ Бородавкина, но, завидѣвъ его приближеніе, куда-то исчезали, словно сквозь землю проваливались. Некого было убѣждать, не у кого было ни о чемъ спросить. Слышалось, что кто-то гдѣ-то дрожитъ, но гдѣ дрожитъ и какъ дрожитъ—разыскать невозможно.

Между тѣмъ, не могло быть сомнѣнія, что въ Стрѣлецкой слободѣ заключается источникъ всего зла. Самые безотрадные слухи доходили до Бородавкина объ этомъ крамольничьемъ гнѣздѣ. Явился проповѣдникъ, который переслагалъ фамилію «Бородавкинъ» на цифры и доказывалъ, что ежели выпустить букву *р*, то выйдетъ 666, т.-е. князь тьмы. Ходили по рукамъ полемическія сочиненія, въ которыхъ объяснялось, что горчица есть быліе, выросшее изъ тѣла дѣвки-блудницы, прозванной за свое распутство горькою—оттого-де и пошла въ міръ «горчица». Даже сочинены были стихи, въ которыхъ авторъ добирался до градоначальниковой родительницы и очень неодобрительно отзывался о ея поведеніи. Внимая этимъ пѣснопѣніямъ и толкованіямъ, стрѣльцы доходили почти до восторженнаго состоянія. Схватившись подъ руки, они бродили вереницей по улицѣ и, дабы навсегда изгнать изъ среды своей духъ робости, во все горло орали.

Бородавкинъ чувствовалъ, какъ сердце его, капля по каплѣ, переполняется горечью. Онъ не ѣлъ, не пилъ, а только произносилъ сквернословія, какъ бы питая ими свою бодрость. Мысль о горчицѣ казалась до того простою и ясною, что непониманіе ея нельзя было истолковать ничѣмъ инымъ, кромѣ злонамѣренности. Сознаніе это было тѣмъ мучительнѣе, чѣмъ больше долженъ былъ употреблять Бородавкинъ усилій, чтобы обуздывать порывы страстной натуры своей.

— Руки у меня связаны! — повторялъ онъ, задумчиво

покусывая темный усъ свой: — а то бы я показалъ вамъ, гдѣ раки зимуютъ!

Но онъ не безъ основанія думалъ, что натуральный исходъ всякой коллизіи есть, все-таки, сѣченіе, и это сознаніе подкрѣпляло его. Въ ожиданіи этого исхода онъ занимался дѣлами и писалъ втихомолку уставъ «о нестѣсненіи градоначальниковъ законами». Первый и единственный параграфъ этого устава гласилъ такъ: «ежели чувствуешь, что законъ полагаетъ тебѣ препятствіе, то, снявъ оный со стола, положи подъ себя. И тогда все сіе, сдѣлавшись невидимымъ, много тебя въ дѣйствіи облегчитъ».

Однакожъ, покуда уставъ еще утвержденъ не былъ, а слѣдовательно и отъ стѣсненій уклониться было невозможно. Черезъ мѣсяцъ Бородавкинъ вновь созвалъ обывателей и вновь закричалъ. Но едва успѣлъ онъ произнести два первыхъ слова своего привѣтствія («объ оныхъ, стыда ради, умалчиваю», оговаривается лѣтописецъ), какъ глуповцы опять разсыпались, не успѣвъ даже встать на колѣни. Тогда только Бородавкинъ рѣшился пустить въ ходъ настоящую цивилизацію.

Раннимъ утромъ выступилъ онъ въ походъ и далъ дѣлу такой видъ, какъ будто совершаетъ простой военный променадъ. Утро было ясное, свѣжее, чуть-чуть морозное (дѣло происходило въ половинѣ сентября). Солнце играло на каскахъ и ружьяхъ солдатъ: крыши домовъ и улицы были подернуты легкимъ слоемъ инея; вездѣ топились печи и изъ оконъ каждаго дома виднѣлось веселое пламя.

Хотя главною цѣлью похода была Стрѣлецкая слобода, но Бородавкинъ хитрилъ. Онъ не пошелъ ни прямо, ни направо, ни налѣво, а сталъ маневрировать. Глуповцы высыпали изъ домовъ на улицу и громкими одобреніями поощряли эволюціи искуснаго вождя.

— Слава-те, Господи! кажется, забылъ про горчицу! — говорили они, снимая шапки и набожно крестясь на колокольню.

А Бородавкинъ все маневрировалъ да маневрировалъ и около полдёнъ достигъ до слободы Негодницы, гдѣ сдѣлалъ привалъ. Тутъ всѣмъ участвующимъ въ походѣ роздали по чаркѣ водки и приказали пѣть пѣсни, а ввечеру взяли въ плѣнъ одну мѣщанскую дѣвицу, отлучившуюся слишкомъ далеко отъ воротъ своего дома.

На другой день, проснувшись рано, стали отыскивать «языка». Дѣлали все это серьезно, не моргнувъ. Привели

какого-то еврея и хотѣли сначала повѣсить его, но потомъ вспомнили, что онъ совсѣмъ не для того требовался, и простили. Еврей, положивъ руку подъ стегно, свидѣтельствовалъ, что надо идти сначала на слободу Навозную, а потомъ кружить по полю до тѣхъ поръ, пока не явится урочище, называемое «Дунькинымъ врагомъ». Оттуда же, миновавъ три новёрки, идти куда глаза глядятъ.

Такъ Бородавкинъ и сдѣлалъ. Но не успѣли люди пройти и четверти версты, какъ почувствовали, что заблудились. Ни земли, ни воды, ни неба—ничего не было видно. Потребовалъ Бородавкинъ къ себѣ вѣроломнаго жида, чтобъ повѣсить, но его ужъ и слѣдъ простылъ (впослѣдствіи оказалось, что онъ бѣжалъ въ Петербургъ, гдѣ въ это время успѣлъ получить концессію на желѣзную дорогу). Плутали такимъ образомъ среди бѣлаго дня довольно продолжительное время и сдѣлалось съ людьми словно затменіе, потому что Навозная слобода стояла въявѣ у всѣхъ на глазахъ, а никто ея не видалъ. Наконецъ, спустились на землю дѣйствительныя сумерки и кто-то крикнулъ: «грабятъ!» Закричалъ какой-то солдатикъ спьяна, а люди замѣшались и, думая, что идутъ стрѣльцы, стали биться. Бились крѣпко всю ночь, бились не глядя, а какъ попало. Много тутъ было раненыхъ, много и убіенныхъ. Только когда ужъ совсѣмъ разсвѣло, увидѣли, что бьются свои съ своими же и что сцена этого недоразумѣнія происходитъ у самой околицы Навозной слободы. Положили: убіенныхъ похоронивъ, заложить на мѣстѣ битвы монументъ, а самый день, въ который она происходила, почтить наименованіемъ «слѣпорода» и въ воспоминаніе о немъ учредить ежегодное празднество съ свистопляскою.

На третій день сдѣлали привалъ въ слободѣ Навозной; но тутъ, наученные опытомъ, уже потребовали заложниковъ. Затѣмъ, переловивъ обывательскихъ куръ, устроили поминки по убіеннымъ. Странно показалось слобожанамъ это послѣднее обстоятельство, что вотъ человѣкъ игру играетъ, а въ то же время и куръ ловитъ; но такъ какъ Бородавкинъ секрета своего не разглашалъ, то подумали, что такъ слѣдуетъ «по игрѣ», и успокоились.

Но когда Бородавкинъ, послѣ поминовенія, приказалъ солдатикамъ вытоптать прилегавшее къ слободѣ озимое поле, тогда обыватели призадумались.

— Ужли, братцы, въ-самдѣлѣ такая игра есть?—говорили они промежъ себя, но такъ тихо, что даже Бородав-

кинъ, зорко слѣдившій за направленіемъ умовъ, и тотъ ничего не разслышалъ.

На четвертый день, ни свѣтъ ни заря, отправились къ «Дунькину врагу», боясь опоздать, потому что переходъ предстоялъ длинный и утомительный. Долго шли и дорогой безпрестанно спрашивали у заложниковъ: скоро ли? Велико было всеобщее изумленіе, когда вдругъ, посреди чистаго поля, аманаты крикнули: «здѣся!» И было, впрочемъ, чему изумиться: кругомъ не было никакого признака поселенья; далеко-далеко раскинулось голое мѣсто и только вдали углублялся глубокій провалъ, въ который, по преданію, скатилась нѣкогда пушкарская дѣвица Дунька, спѣшившая, въ нетрезвомъ видѣ, на любовное свиданіе.

— Гдѣ-жъ слобода? — спрашивалъ Бородавкинъ у аманатовъ.

— Нѣту здѣсь слободы!—отвѣтствовали аманаты:—была слобода, вездѣ прежде слободы были, да солдаты все уничтожили!

Но словамъ этимъ не повѣрили и рѣшили: сѣчь аманатовъ до тѣхъ поръ, пока не укажутъ, гдѣ слобода. Но странное дѣло: чѣмъ больше сѣкли, тѣмъ слабѣе становилась увѣренность отыскать желанную слободу! Это было до того неожиданно, что Бородавкинъ растерзалъ на себѣ мундиръ и, поднявъ правую руку къ небесамъ, погрозилъ пальцемъ и сказалъ:

— Я васъ!

Положеніе было неловкое: наступила темень, сдѣлалось холодно и сыро и въ полѣ показались волки. Бородавкинъ ощутилъ припадокъ благоразумія и издалъ приказъ: всю ночь не спать и дрожать.

На пятый день отправились обратно въ Навозную слободу и по дорогѣ вытоптали озимое поле. Шли цѣлый день, и только къ вечеру, утомленные и проголодавшіеся, достигли слободы. Но тамъ уже никого не застали. Жители, издали завидѣвъ приближающееся войско, разбѣжались, угнали весь скотъ и окопались въ неприступной позиціи. Пришлось брать съ бою эту позицію; но такъ какъ порохъ былъ не настоящій, то, какъ ни палили, никакого вреда, кромѣ нестерпимаго смрада, сдѣлать не могли.

На шестой день Бородавкинъ хотѣлъ-было продолжать бомбардировку, но уже замѣтилъ измѣну. Аманатовъ ночью выпустили и многихъ настоящихъ солдатъ уволили въ чистую и замѣнили оловянными солдатиками. Когда онъ сталъ

спрашивать, на какомъ основаніи освободили заложниковъ, ему сослались на какой-то регламентъ, въ которомъ, будто бы, сказано: «аманата сѣчь, а будетъ которой ужъ высѣченъ, и такого болѣе сутокъ отнюдь не держать, а выпущать домой на излѣченіе». Волею-неволею Бородавкинъ долженъ былъ согласиться, что поступлено правильно, но тутъ же вспомнилъ про свой проектъ «о нестѣсненіи градоначальниковъ законами» и горько заплакалъ.

— А это что?—спросилъ онъ, указывая на оловянныхъ солдатиковъ.

— Для легкости, ваше благородіе! — отвѣчали ему: — провіанту не проситъ, а маршировку и онъ исполнять можетъ!

Пришлось согласиться и съ этимъ. Заперся Бородавкинъ въ избѣ и началъ держать самъ съ собою военный совѣтъ. Хотѣлось ему наказать «навозныхъ» за ихъ наглость, но, съ другой стороны, припомнилась осада Трои, которая длилась цѣлыхъ десять лѣтъ, несмотря на то, что въ числѣ осаждавшихъ были Ахиллесъ и Агамемнонъ. Не лишенія страшили его, не тоска о разлукѣ съ милой супругой печалила, а то, что въ теченіе этихъ десяти лѣтъ можетъ быть замѣчено его отсутствіе изъ Глупова, и притомъ безъ особенной для него выгоды. Вспомнился ему по этому поводу урокъ изъ исторіи, слышанный въ дѣтствѣ, и сильно его взволновалъ. «Несмотря на добродушіе Менелая,—говорилъ учитель исторіи,—никогда спартанцы не были столь счастливы, какъ во время осады Трои; ибо хотя многія бумаги оставались неподписанными, но зато многія же спины пребыли невыстеганными, а второе лишеніе съ лихвою вознаградило за первое»...

Къ довершенію всего, полились затяжные осенніе дожди, угрожая испортить пути сообщенія и прекратить подвозъ продовольствія.

— И на кой чортъ я не пошелъ прямо на стрѣльцовъ!— съ горечью восклицалъ Бородавкинъ, глядя изъ окна на увеличивавшіяся съ минуты на минуту лужи:—въ полчаса былъ бы ужъ тамъ!

Въ первый разъ онъ понялъ, что многоуміе въ нѣкоторыхъ случаяхъ равносильно недоумію, и результатомъ этого сознанія было рѣшеніе: бить отбой, а изъ оловянныхъ солдатиковъ образовать благонадежный резервъ.

На седьмой день выступили чуть свѣтъ, но такъ какъ почью дорогу размыло, то люди шли съ трудомъ, а орудія

вязли въ разступившемся черноземѣ. Предстояло атаковать на пути гору Свистуху; скомандовали: «въ атаку!», передніе ряды отважно бросились впередъ, но оловянные солдатики за ними не послѣдовали. И такъ какъ на лицахъ ихъ, «ради поспѣшенія», черты были нанесены лишь въ видѣ абриса и притомъ въ большомъ безпорядкѣ, то издали казалось, что солдатики иронически улыбаются. А отъ иронiи до крамолы—одинъ шагъ.

— Трусы! — процѣдилъ сквозь зубы Бородавкинъ, но явно сказать это затруднялся и вынужденъ былъ отступить отъ горы съ урономъ.

Пошли въ обходъ, но здѣсь наткнулись на болото, котораго никто не подозрѣвалъ. Посмотрѣлъ Бородавкинъ на геометрическій планъ выгона — всюду все пашня да по мокрому мѣсту покось, да кустарнику мелкаго часть, да камню часть, а болота нѣтъ, да и полно.

— Нѣтъ тутъ болота, врете вы, подлецы! Маршъ!—скомандовалъ Бородавкинъ, и всталъ на кочку, чтобъ ближе наблюсти за переправой.

Полѣзли люди въ трясину и сразу потопили всю артиллерію. Однако, сами кое-какъ выкарабкались, выпачкавшись сильно въ грязи. Выпачкался и Бородавкинъ, но ему было ужъ не до того. Взглянулъ онъ на погибшую артиллерію и, увидѣвъ, что пушки, до половины погруженныя, стоятъ, обративъ жерла къ небу и какъ бы угрожая послѣднему разстрѣляніемъ, началъ тужить и скорбѣть.

— Сколько лѣтъ копилъ, берёгъ, холилъ! — роптalъ онъ: — что я теперь дѣлать буду! Какъ безъ пушекъ буду править!

Войско было окончательно деморализировано. Когда выѣзли изъ трясины, передъ глазами опять открылась обширная равнина и опять безъ всякаго признака жилья. По мѣстамъ валялись человѣческія кости и возвышались груды кирпича; все это свидѣтельствовало, что въ свое время здѣсь существовала довольно сильная и своеобразная цивилизація (впослѣдствіи оказалось, что цивилизацію эту, принявъ въ нетрезвенномъ видѣ за бунтъ, уничтожилъ бывшій градоначальникъ Урусъ-Кугушъ-Кильдабаевъ), но съ той поры прошло много лѣтъ, и ни одинъ градоначальникъ не позаботился о возстановленіи ея. По полю пробѣгали какія-то странныя тѣни; до слуха долетали таинственные звуки. Происходило что-то волшебное, въ родѣ того, что происходитъ въ 3-мъ актѣ «Руслана и Людмилы»,

когда на сцену вбѣгаетъ испуганный Фарлафъ. Хотя Бородавкинъ былъ храбрѣе Фарлафа, но и онъ не могъ не содрогнуться при мысли, что вотъ-вотъ навстрѣчу выйдетъ злобная Наина...

Только на восьмой день, около полдёнъ, измученная команда увидѣла стрѣлецкія высоты и радостно затрубила въ рога. Бородавкинъ вспомнилъ, что великій князь Святославъ Игоревичъ, прежде нежели побѣждать враговъ, всегда посылалъ сказать: «иду на вы!»—и, руководствуясь этимъ примѣромъ, командировалъ своего ординарца къ стрѣльцамъ съ такимъ же привѣтствіемъ.

На другой день, едва позолотило солнце верхи соломенныхъ крышъ, какъ уже войско, предводительствуемое Бородавкинымъ, вступало въ слободу. Но тамъ никого не было, кромѣ заштатнаго попа, который въ эту самую минуту разсчитывалъ, не выгоднѣе ли ему перейти въ расколъ. Попъ былъ древній и скорѣе способный поселять уныніе, нежели вливать въ душу храбрость.

— Гдѣ жители?—спрашивалъ Бородавкинъ, сверкая на попа глазами.

— Сейчасъ тутъ были!—шамкалъ губами попъ.

— Какъ сейчасъ? Куда же они бѣжали?

— Куда бѣжать? Зачѣмъ отъ своихъ домовъ бѣжать? Чай, здѣсь гдѣ-нибудь отъ тебя схоронились!

Бородавкинъ стоялъ на одномъ мѣстѣ и рылъ ногами землю. Была минута, когда онъ начиналъ вѣрить, что энергія бездѣйствія должна восторжествовать.

— Надо было зимой походъ объявить! — раскаивался онъ въ сердцѣ своемъ:—тогда бы они отъ меня не спрятались.

— Эй! Кто тутъ! Выходи!—крикнулъ онъ такимъ голосомъ, что оловянные солдатики—и тѣ дрогнули.

Но слобода безмолвствовала, словно вымерла. Вырывались откуда-то вздохи, но таинственность, съ которою они выходили изъ невидимыхъ организмовъ, еще болѣе раздражала огорченнаго градоначальника.

— Гдѣ они, бестіи, вздыхаютъ? — неистовствовалъ онъ, безнадежно озираясь по сторонамъ и видимо теряя всякую сообразительность: — сыскать первую бестію, которая тутъ вздыхаетъ, и привести ко мнѣ!

Бросились искать, но какъ ни шарили, а никого не нашли. Самъ Бородавкинъ ходилъ по улицѣ, заглядывая во всѣ щели—нѣтъ никого! Это до того его озадачило, что

самыя несообразныя мысли вдругъ цѣлымъ потокомъ хлынули въ его голову.

«Ежели я теперича ихъ огнемъ разорю... нѣтъ, лучше голодомъ поморю!..»—думалъ онъ, переходя отъ одной несообразности къ другой.

И вдругъ онъ остановился, какъ пораженный, передъ оловянными солдатиками.

Съ ними происходило что-то совсѣмъ необыкновенное. Постепенно, на глазахъ у всѣхъ, солдатики начали наливаться кровью. Глаза ихъ, доселѣ неподвижные, вдругъ стали вращаться и выражать гнѣвъ; усы, нарисованные вкривь и вкось, встали на свои мѣста и начали шевелиться; губы, представлявшія тонкую розовую черту, которая отъ бывшихъ дождей почти уже смылась, оттопырились и изъявляли намѣреніе нѣчто произнести. Появились ноздри, о которыхъ прежде и въ поминѣ не было, и начали раздуваться и свидѣтельствовать о нетерпѣніи.

— Что скажете, служивые?—спросилъ Бородавкинъ.

— Избы... избы... ломать!—невнятно, но какъ-то мрачно произнесли оловянные солдатики.

Средство было отыскано.

Начали съ крайней избы. Съ гикомъ бросились «оловянные» на крышу и мгновенно остервенились. Полетѣли внизъ вязки соломы, жерди, деревянныя спицы. Взвились вверхъ цѣлыя облака пыли.

— Тише! Тише!—кричалъ Бородавкинъ, вдругъ заслышавъ около себя какой-то стонъ.

Стонала вся слобода. Это былъ неясный, но сплошной гулъ, въ которомъ нельзя было различить ни одного отдѣльнаго звука, но который всей своей массой представлялъ едва сдерживаемую боль сердца.

— Кто тутъ? Выходи!—опять крикнулъ Бородавкинъ во всю мочь.

Слобода смолкла, но никто не выходилъ. «Чаяли стрѣльцы», говоритъ лѣтописецъ, «что новое сіе изобрѣтеніе (т.-е. усмиреніе посредствомъ ломки домовъ), подобно всѣмъ прочимъ, одно мечтаніе представляетъ, но не долго пришлось имъ въ сей сладкой надеждѣ себя утѣшать».

— Катай!—произнесъ Бородавкинъ твердо.

Раздался трескъ и грохотъ; бревна, одно за другимъ, отдѣлялись отъ сруба, и по мѣрѣ того, какъ они падали на землю, стонъ возобновлялся и возрасталъ. Черезъ нѣсколько минутъ крайней избы какъ не бывало, и «оловян-

ные», ожесточившись, уже брали приступомъ вторую. Но когда спрятавшіеся стрѣльцы, послѣ короткаго перерыва, вновь услышали удары топора, продолжавшаго свое разрушительное дѣло, то сердца ихъ дрогнули. Выползли они всѣ вдругъ, и старые, и малые, и мужескъ, и женскъ полъ, и, воздѣвъ руки къ небу, пали среди площади на колѣни. Бородавкинъ сначала было-разбѣжался, но потомъ вспомнилъ слова инструкціи: «при усмиреніяхъ не столько стараться объ истребленіи, сколько о вразумленіи»—и притихъ. Онъ понялъ, что часъ тріумфа уже наступилъ, и что тріумфъ едва ли не будетъ полнѣе, если въ результатѣ не окажется ни расквашенныхъ носовъ, ни свороченныхъ на сторону скулъ.

— Принимаете ли горчицу?—внятно спросилъ онъ, стараясь, по возможности, устранить изъ голоса угрожающія ноты.

Толпа безмолвно поклонилась до земли.

— Принимаете ли, спрашиваю я васъ?—повторилъ онъ, начиная уже закипать.

— Принимаемъ, принимаемъ!—тихо гудѣла, словно шипѣла, толпа.

— Хорошо. Теперь сказывайте мнѣ, кто промежъ васъ память любезнѣйшей моей родительницы въ стихахъ оскорбилъ?

Стрѣльцы позамялись; неладно имъ показалось выдавать того, кто въ горькія минуты жизни былъ ихъ утѣшителемъ; однако, послѣ минутнаго колебанія, рѣшились исполнить и это требованіе начальства.

— Выходи, Ѳедька! Небось! Выходи! — раздавалось въ толпѣ.

Вышелъ впередъ бѣлокурый малый и всталъ передъ градоначальникомъ. Губы его подергивались, словно хотѣли сложиться въ улыбку, но лицо было блѣдно, какъ полотно, и губы тряслись.

— Такъ это ты?—захохоталъ Бородавкинъ и, немного отступя, словно желая осмотрѣть виноватаго во всѣхъ подробностяхъ, повторилъ:—такъ это ты?

Очевидно, въ Бородавкинѣ происходила борьба. Онъ обдумывалъ, мазнуть ли ему Ѳедьку по лицу, или наказать инымъ образомъ. Наконецъ, придумано было наказаніе, такъ сказать, смѣшанное.

— Слушай!—сказалъ онъ, слегка поправивъ Ѳедькину челюсть:—такъ какъ ты память любезнѣйшей моей роди-

тельницы обезславилъ, то ты же впредь каждый день долженъ сію драгоцѣнную мнѣ память въ стихахъ прославлять и стихи тѣ ко мнѣ приносить!

Съ этимъ словомъ онъ приказалъ дать отбой.

Бунтъ кончился; невѣжество было подавлено, и на мѣсто его водворено просвѣщеніе. Черезъ полчаса Бородавкинъ, обремененный добычей, въѣзжалъ съ тріумфомъ въ городъ, влача за собой множество плѣнниковъ и заложниковъ. И такъ какъ въ числѣ ихъ оказались нѣкоторые военачальники и другія первыхъ трехъ классовъ особы, то онъ приказалъ обращаться съ ними ласково (выколовъ, однако, для вѣрности, глаза), а прочихъ сослать на каторгу.

Въ тотъ же вечеръ, запершись въ кабинетѣ, Бородавкинъ писалъ въ своемъ журналѣ слѣдующую отмѣтку:

«Сего 17-го сентября, послѣ труднаго, но славнаго девятидневнаго похода, совершилось всерадостнѣйшее и вожделѣннѣйшее событіе. Горчица утверждена повсемѣстно и навсегда, при чемъ не было произведено въ расходъ ни единой капли крови».

«Кромѣ той,—иронически прибавляетъ лѣтописецъ,—которая была пролита у околицы Навозной слободы и въ память которой доднесь празднуется торжество, именуемое свистопляскою»...

Очень можетъ статься, что многое изъ разсказаннаго выше покажется читателю черезчуръ фантастическимъ. Какая надобность была Бородавкину дѣлать девятидневный походъ, когда Стрѣлецкая слобода была у него подъ бокомъ и онъ могъ прибыть туда черезъ полчаса? Какъ могъ онъ заблудиться на городскомъ выгонѣ, который ему, какъ градоначальнику, долженъ быть вполнѣ извѣстенъ? Возможно ли повѣрить исторіи объ оловянныхъ солдатикахъ, которые, будто бы, не только маршировали, но подъ конецъ даже напились кровью?

Понимая всю важность этихъ вопросовъ, издатель настоящей лѣтописи считаетъ возможнымъ отвѣтить на нихъ нижеслѣдующее: исторія города Глупова, прежде всего, представляетъ собой міръ чудесъ, отвергать который можно лишь тогда, когда отвергается существованіе чудесъ вообще. Но этого мало. Бываютъ чудеса, въ которыхъ, по внимательномъ разсмотрѣніи, можно подмѣтить довольно яркое реальное основаніе. Всѣ мы знаемъ преданіе о бабѣ

Ягѣ костяной ногѣ, которая ѣздила въ ступѣ и погоняла помеломъ, и относимъ эти поѣздки къ числу чудесъ, созданныхъ народною фантазіей. Но никто не задается вопросомъ: почему же народная фантазія произвела именно этотъ, а не иной плодъ? Если-бъ изслѣдователи нашей старины обратили на этотъ предметъ должное вниманіе, то можно быть заранѣе увѣреннымъ, что открылось бы многое, что доселѣ находится подъ спудомъ тайны. Такъ, напримѣръ, навѣрное обнаружилось бы, что происхожденіе этой легенды чисто административное, и что баба Яга была не кто иная, какъ градоправительница, или, пожалуй, посадница, которая, для возбужденія въ обывателяхъ спасительнаго страха, именно этимъ способомъ путешествовала по ввѣренному ей краю, при чемъ забирала встрѣчавшихся по дорогѣ Иванушекъ и, возвратившись домой, восклицала: «покатаюся, поваляюся, Иванушкина мясца поѣвши».

Кажется, этого совершенно достаточно, чтобы убѣдить читателя, что лѣтописецъ находится на почвѣ далеко не фантастической, и что все разсказанное имъ о походахъ Бородавкина можно принять за документъ вполнѣ достовѣрный. Конечно, съ перваго взгляда можетъ показаться страннымъ, что Бородавкинъ девять дней сряду кружитъ по выгону; но не должно забывать, во-первыхъ, что ему не зачѣмъ было торопиться, такъ какъ можно было заранѣе предсказать, что предпріятіе его во всякомъ случаѣ окончится успѣхомъ, и, во-вторыхъ, что всякій администраторъ охотно прибѣгаетъ къ эволюціямъ, дабы поразить воображеніе обывателей. Если-бъ можно было представить себѣ такъ-называемое исправленіе на тѣлѣ безъ тѣхъ предварительныхъ обрядовъ, которые ему предшествуютъ, какъ-то: сниманія одежды, увѣщаній со стороны лица исправляющаго и испрошенія прощенія со стороны лица исправляемаго,—что бы отъ него осталось? Одна пустая формальность, смыслъ которой былъ бы понятенъ лишь для того, кто ее испытываетъ. Точно то же слѣдуетъ сказать и о всякомъ походѣ, предпринимается ли онъ съ цѣлью покоренія царствъ, или просто съ цѣлью взысканія недоимокъ. Отнимите отъ него «эволюціи»—что останется?

Нѣтъ, конечно, сомнѣнія, что Бородавкинъ могъ избѣжать многихъ весьма важныхъ ошибокъ. Такъ, напримѣръ, эпизодъ, которому лѣтописецъ присвоилъ названіе «слѣпорода»,—изъ рукъ вонъ плохъ. Но не забудемъ, что успѣхъ никогда не обходится безъ жертвъ и что если мы очи-

стимъ остовъ исторіи отъ тѣхъ лжей, которыя нанесены на него временемъ и предвзятыми взглядами, то въ результатѣ всегда получится только бо̀льшая или мѐньшая порція «убіенныхъ». Кто эти «убіенные»? Правы они или виноваты и насколько? Какимъ образомъ они очутились въ званіи «убіенныхъ»?—все это разберется послѣ. Но они необходимы, потому что безъ нихъ не по комъ было бы творить поминки.

Стало-быть, остается неочищеннымъ лишь вопросъ объ оловянныхъ солдатикахъ, но и его лѣтописецъ не оставляетъ безъ разъясненія. «Очень часто мы замѣчаемъ,—говоритъ онъ,—что предметы, повидимому, совершенно неодушевленные (камню подобные), начинаютъ ощущать вожделѣніе, какъ только приходятъ въ соприкосновеніе съ зрѣлищами, неодушевленности ихъ доступными». И въ примѣръ приводитъ какого-то ближняго помѣщика, который, будучи разбитъ параличомъ, десять лѣтъ лежалъ неподвижнымъ въ креслѣ, но и за всѣмъ тѣмъ радостно мычалъ, когда ему приносили оброкъ...

Всѣхъ войнъ «за просвѣщеніе» было четыре. Одна изъ нихъ описана выше; изъ остальныхъ трехъ первая имѣла цѣлью разъяснить глуповцамъ пользу отъ устройства подъ домами каменныхъ фундаментовъ; вторая возникла вслѣдствіе отказа обывателей разводить персидскую ромашку, и третья, наконецъ, имѣла поводомъ разнесшійся слухъ объ учрежденіи въ Глуповѣ академіи. Вообще видно, что Бородавкинъ былъ утопистъ, и что если-бъ онъ пожилъ подольше, то навѣрное кончилъ бы тѣмъ, что или былъ бы сосланъ за вольномысліе въ Сибирь, или выстроилъ бы въ Глуповѣ фаланстеръ.

Подробно описывать этотъ рядъ блестящихъ подвиговъ нѣтъ никакой надобности, но не лишне будетъ указать здѣсь на общій характеръ ихъ.

Въ дальнѣйшихъ походахъ со стороны Бородавкина замѣчается весьма значительный шагъ впередъ. Онъ съ бо̀льшею тщательностью подготовляетъ матеріалы для возмущеній и съ бо̀льшею быстротою подавляетъ ихъ. Самый трудный походъ, имѣвшій поводомъ слухъ о заведеніи академіи, продолжался лишь два дня; остальные — не болѣе нѣсколькихъ часовъ. Обыкновенно Бородавкинъ, напившись утромъ чаю, кликалъ кличъ; сбѣгались оловянные солдатики, мгновенно наливались кровью и во весь духъ бѣ-

жали до мѣста. Къ обѣду Бородавкинъ возвращался домой и пѣлъ благодарственную пѣснь. Такимъ образомъ онъ достигъ, наконецъ, того, что черезъ нѣсколько лѣтъ ни одинъ глуповецъ не могъ указать на тѣлѣ своемъ мѣста, которое не было бы высѣчено.

Со стороны обывателей, какъ и прежде, царствовало полнѣйшее недоразумѣніе. Изъ разсказовъ лѣтописца видно, что они и рады были не бунтовать, но никакъ не могли устроить этого, ибо не знали, въ чемъ заключается бунтъ. И въ самомъ дѣлѣ, Бородавкинъ опутывалъ ихъ чрезвычайно ловко. Обыкновенно онъ ничего порядкомъ не разъяснялъ, а дѣлалъ извѣстными свои желанія посредствомъ прокламацій, которыя секретно, по ночамъ, наклеивались на угловыхъ домахъ всѣхъ улицъ. Прокламаціи писались въ духѣ нынѣшнихъ объявленій отъ магазина Кача, при чемъ крупными буквами печатались слова совершенно несущественныя, а все существенное изображалось самымъ мелкимъ шрифтомъ. Сверхъ того, допускалось употребленіе латинскихъ названій; такъ, напримѣръ, персидская ромашка называлась не персидской ромашкой, а «Pyrethrum roseum», иначе слюногонъ, слюногонка, жгунецъ, принадлежитъ къ семейству «Compositas» и т. д. Изъ этого выходило слѣдующее: грамотеи, которымъ обыкновенно поручалось чтеніе прокламацій, выкрикивали только тѣ слова, которыя были напечатаны прописными буквами, а прочія скрадывали. Какъ напримѣръ (см. прокламацію о персидской ромашкѣ):

ИЗВѢСТНО

какое опустошеніе производятъ клопы, блохи и т. д.

НАКОНЕЦЪ НАШЛИ!!!

Предпріимчивые люди вывезли съ дальняго Востока, и т. д.

Изъ всѣхъ этихъ словъ народъ понималъ только: «извѣстно» и «наконецъ нашли». И когда грамотеи выкрикивали эти слова, то народъ снималъ шапки, вздыхалъ и крестился. Ясно, что въ этомъ не только не было бунта, а скорѣе исполненіе предначертаній начальства. Народъ, доведенный до вздыханія—какого еще идеала можно требовать!

Стало-быть, все дѣло заключалось въ недоразумѣніи, и это оказывается тѣмъ достовѣрнѣе, что глуповцы даже и до сего дня не могутъ разъяснить значеніе слова «акаде-

мія», хотя его-то именно и напечаталъ Бородавкинъ крупнымъ шрифтомъ (см. въ полномъ собраніи прокламацій № 1089). Мало того: лѣтописецъ доказываетъ, что глуповцы даже усиленно добивались, чтобъ Бородавкинъ пролилъ свѣтъ въ ихъ темныя головы, но успѣха не получили именно по винѣ самого градоначальника. Они нерѣдко ходили всѣмъ обществомъ на градоначальническій дворъ и говорили Бородавкину:

— Развяжи ты насъ, сдѣлай милость! укажи намъ конецъ!

— Прочь, буяны!—обыкновенно отвѣчалъ Бородавкинъ.

— Какіе мы буяны! знать, не видывалъ ты, какіе буяны бываютъ! Сдѣлай милость, скажи!

Но Бородавкинъ молчалъ. Почему онъ молчалъ? потому ли, что считалъ непониманіе глуповцевъ не болѣе какъ уловкой, скрывавшей за собой упорное противодѣйствіе, или потому, что хотѣлъ сдѣлать обывателямъ сюрпризъ — достовѣрно опредѣлить нельзя. Но должно думать, что тутъ примѣшивалось отчасти и то, и другое. Никакому администратору, ясно понимающему пользу предпринимаемой мѣры, никогда не кажется, чтобъ эта польза могла быть для кого-нибудь неясною или сомнительною. Съ другой стороны, всякій администраторъ непремѣнно фаталистъ и твердо вѣруетъ, что, продолжая свой административный бѣгъ, онъ, въ концѣ концовъ, все-таки очутится лицомъ къ лицу съ человѣческимъ тѣломъ. Слѣдовательно, если начать предотвращать эту неизбѣжную развязку предварительными разглагольствіями, то не значитъ ли это еще больше растравлять ее и придавать ей болѣе ожесточенный характеръ? Наконецъ, всякій администраторъ добивается, чтобы къ нему питали довѣріе, а какой наилучшій способъ выразить это довѣріе, какъ не безпрекословное исполненіе того, чего не понимаешь?

Какъ бы то ни было, но глуповцы всегда узнавали о предметѣ похода лишь по окончаніи его.

Но какъ ни казались блестящими пріобрѣтенные Бородавкинымъ результаты, въ обществѣ они были далеко не благотворны. Строптивость была истреблена—это правда, но въ то же время было истреблено и довольство. Жители понурили головы и какъ бы захирѣли; нехотя они работали на поляхъ, нехотя возвращались домой, нехотя садились за скудную трапезу и слонялись изъ угла въ уголъ, словно все опостылѣло имъ.

Въ довершеніе всего, глуповцы насѣяли горчицы и пер-

сидской ромашки столько, что цѣна на эти продукты упала до невѣроятности. Послѣдовалъ экономическій кризисъ, и не было ни Молинари, ни Безобразова, чтобъ объяснить, что это-то и есть настоящее процвѣтаніе. Не только драгоцѣнныхъ металловъ и мѣховъ не получали обыватели въ обмѣнъ за свои продукты, но не на что было купить даже хлѣба.

Однако, до 1790 года дѣло все еще кое-какъ шло. Съ полной порціи обыватели перешли на полпорціи, но даней не задерживали, а къ просвѣщенію оказывали даже нѣкоторое пристрастіе. Въ 1790 году повезли глуповцы на главные рынки свои продукты, и никто у нихъ ничего не купилъ, всѣмъ стало жаль клоповъ. Тогда жители перешли на четверть порціи и задержали дани. Въ это же время, словно на смѣхъ, вспыхнула во Франціи революція и стало всѣмъ ясно, что «просвѣщеніе» полезно только тогда, когда оно имѣетъ характеръ непросвѣщенный. Бородавкинъ получилъ бумагу, въ которой ему рекомендовалось: «по случаю извѣстнаго вамъ происшествія извольте прилежно смотрѣть, дабы неисправимое сіе зло искореняемо было безъ всякаго упущенія».

Только тогда Бородавкинъ спохватился и понялъ, что шелъ слишкомъ быстрыми шагами и совсѣмъ не туда, куда идти слѣдуетъ. Начавъ собирать дани, онъ съ удивленіемъ и негодованіемъ увидѣлъ, что дворы пусты, и что если и встрѣчались кое-гдѣ куры, то и тѣ были тощія отъ безкормицы. Но, по обыкновенію, онъ обсудилъ этотъ фактъ не прямо, а съ своей собственной оригинальной точки зрѣнія, то-есть увидѣлъ въ немъ бунтъ, произведенный на сей разъ уже не невѣжествомъ, а излишествомъ просвѣщенія.

— Вольный духъ завели! разжирѣли!—кричалъ онъ безъ памяти:—на французовъ поглядываете!

И вотъ начался новый рядъ походовъ,—походовъ уже противъ просвѣщенія. Въ первый походъ Бородавкинъ спалилъ слободу Навозную, во второй—разорилъ Негодницу, въ третій—расточилъ Болото. Но подати все задерживались. Наступила минута, когда ему предстояло остаться на развалинахъ одному съ своимъ секретаремъ, и онъ дѣятельно приготовлялся къ этой минутѣ. Но Провидѣніе не допустило того. Въ 1798 году уже собраны были скоровоспалительные матеріалы для сожженія всего города, какъ вдругъ Бородавкина не стало... «Всѣхъ расточилъ онъ,—

говоритъ по этому случаю лѣтописецъ,—такъ что даже поповъ для напутствія его не оказалось. Вынуждены были позвать сосѣднято капитанъ-исправника, который и засвидѣтельствовалъ исшествіе многомятежнаго духа его».

XI.—Эпоха увольненія отъ войнъ.

Въ 1802 году палъ Негодяевъ. Онъ палъ, какъ говоритъ лѣтописецъ, за несогласіе съ Новосильцевымъ и Строгоновымъ насчетъ конституцій. Но, какъ кажется, это былъ только благовидный предлогъ, ибо едва ли даже можно предположить, чтобъ Негодяевъ отказался отъ насажденія конституціи, если-бъ начальство настоятельно того потребовало. Негодяевъ принадлежалъ къ школѣ такъ-называемыхъ «птенцовъ», которымъ было рѣшительно все равно, что̀ ни насаждать. Поэтому дѣйствительная причина его увольненія заключалась едва ли не въ томъ, что онъ былъ когда-то въ Гатчинѣ истопникомъ и, слѣдовательно, до нѣкоторой степени представлялъ собой гатчинское демократическое начало. Сверхъ того, начальство, повидимому, убѣдилось, что войны за просвѣщеніе, обратившіяся потомъ въ войны противъ просвѣщенія, уже настолько изнурили Глуповъ, что почувствовалась потребность на нѣкоторое время его вообще отъ войнъ освободить. Что предположеніе о конституціяхъ представляло не болѣе какъ слухъ, лишенный твердаго основанія,—это доказывается, во-первыхъ, новѣйшими изслѣдованіями по сему предмету, а во-вторыхъ, тѣмъ, что на мѣсто Негодяева градоначальникомъ былъ назначенъ «черкашенинъ» Микаладзе, который о конституціяхъ едва ли имѣлъ понятіе болѣе ясное, нежели Негодяевъ.

Конечно, невозможно отрицать, что попытки конституціоннаго свойства существовали; но, какъ кажется, эти попытки ограничивались тѣмъ, что квартальные настолько усовершенствовали свои манеры, что не всякаго прохожаго хватали за воротникъ. Это единственная конституція, которая предполагалась возможною при тогдашнемъ младенческомъ состояніи общества. Прежде всего необходимо было пріучить народъ къ учтивому обращенію, и потомъ уже, смягчивъ его нравы, давать ему настоящія якобы права. Съ точки зрѣнія теоретической такой взглядъ, конечно, совершенно вѣренъ. Но съ другой стороны не мѣньшаго вѣроятія заслуживаетъ и то соображеніе, что какъ ни привлекательна теорія учтиваго обращенія, но, взятая

изолированно, она нимало не гарантируетъ людей отъ внезапнаго вторженія теоріи обращенія неучтиваго (какъ это и доказано впослѣдствіи появленіемъ на аренѣ исторіи такой личности, какъ маіоръ Угрюмъ-Бурчеевъ), и слѣдовательно, если мы дѣйствительно желаемъ утвердить учтивое обращеніе на прочномъ основаніи, то все-таки прежде всего должны снабдить людей настоящими якобы правами. А это, въ свою очередь, доказываетъ, какъ шатки теоріи вообще и какъ мудро поступаютъ тѣ военачальники, которые относятся къ нимъ съ недовѣрчивостью.

Новый градоначальникъ понялъ это и потому поставилъ себѣ задачею привлекать сердца исключительно посредствомъ изящныхъ манеръ. Будучи въ военномъ чинѣ, онъ не обращалъ вниманія на форму, а о дисциплинѣ отзывался даже съ горечью. Ходилъ всегда въ разстегнутомъ сюртукѣ, изъ-подъ котораго заманчиво виднѣлась снѣжной бѣлизны пикейная жилетка и отложные воротнички. Охотно подавалъ подчиненнымъ лѣвую руку, охотно улыбался, и не только не позволялъ себѣ ничего утверждать слишкомъ рѣзко, но даже любилъ, при докладахъ, употреблять выраженія, въ родѣ: «итакъ, вы изволили сказать», или: «я имѣлъ уже честь доложить вамъ» и т. д. Только однажды, выведенный изъ терпѣнія продолжительнымъ противодѣйствіемъ своего помощника, онъ дозволилъ себѣ сказать: «я уже имѣлъ честь подтверждать тебѣ, курицыну сыну»... но тутъ же спохватился и произвелъ его въ слѣдующій чинъ. Страстный по природѣ, онъ съ увлеченіемъ предавался дамскому обществу, и въ этой страсти нашелъ себѣ преждевременную гибель. Въ оставленномъ имъ сочиненіи «О благовидной господъ градоначальниковъ наружности» (см. далѣе въ оправдательныхъ документахъ) онъ довольно подробно изложилъ свои взгляды на этотъ предметъ, но, какъ кажется, не вполнѣ искренно связалъ свои успѣхи у глуповскихъ дамъ съ какими-то дипломатическими цѣлями. Вѣроятнѣе всего, ему было совѣстно, что онъ, какъ Антоній въ Египтѣ, ведетъ исключительно изнѣженную жизнь, и потому онъ захотѣлъ увѣрить потомство, что иногда и самая изнѣженность можетъ имѣть смыслъ административно-полицейскій. Догадка эта подтверждается еще тѣмъ, что изъ разсказа лѣтописца вовсе не видно, чтобы во время его градоначальствованія производились частые аресты или чтобъ кто-нибудь былъ нещадно битъ, безъ чего, конечно, невозможно было бы обойтись, если-бъ амурная дѣятельность

его дѣйствительно была направлена къ огражденію общественной безопасности. Поэтому почти навѣрное можно утверждать, что онъ любилъ амуры для амуровъ, и былъ цѣнителемъ женскихъ амуровъ просто безъ всякихъ политическихъ цѣлей; выдумалъ же эти послѣднія лишь для огражденія себя передъ начальствомъ, которое, несмотря на свой несомнѣнный либерализмъ, все-таки не упускало отъ времени до времени спрашивать: не пора ли начать войну? «Онъ же,—говоритъ по этому поводу лѣтописецъ,—жалѣючи сиротскія слезы, всегда отвѣчалъ: не время, ибо не готовы еще собираемые извѣстнымъ мнѣ способомъ для сего матеріалы. И, не собравъ таковыхъ, умре».

Какъ бы то ни было, но назначеніе Микаладзе было для глуповцевъ явленіемъ въ высшей степени отраднымъ. Предмѣстникъ его, капитанъ Негодяевъ, хотя и не обладалъ такъ-называемымъ «сущимъ» злонравіемъ, но считалъ себя человѣкомъ убѣжденія (лѣтописецъ вездѣ, вмѣсто слова: «убѣжденіе», ставитъ слово: «норовъ»), и въ этомъ качествѣ постоянно испытывалъ, достаточно ли глуповцы тверды въ бѣдствіяхъ. Результатомъ такой усиленной административной дѣятельности было то, что къ концу его градоначальничества Глуповъ представлялъ безпорядочную кучу почернѣвшихъ и обветшавшихъ избъ, среди которыхъ лишь съѣзжій домъ гордо высилъ къ небесамъ свою каланчу. Не было ни ѣды настоящей, ни одёжи изрядной. Глуповцы перестали стыдиться, обросли шерстью и сосали лапы.

— Но какъ вы такимъ манеромъ жить можете?—спросилъ у обывателей изумленный Микаладзе.

— Такъ и живемъ, что настоящей жизни не имѣемъ,—отвѣчали глуповцы, и при этомъ не то засмѣялись, не то заплакали.

Понятно, что въ виду такого нравственнаго разстройства главная забота новаго градоначальника была направлена къ тому, чтобъ прежде всего снять съ глуповцевъ испугъ. И надо сказать правду, что онъ дѣйствовалъ въ этомъ смыслѣ довольно искусно. Предпринятъ былъ цѣлый рядъ послѣдовательныхъ мѣръ, которыя исключительно клонились къ упомянутой выше цѣли и сущность которыхъ можетъ быть формулирована слѣдующимъ образомъ: 1) просвѣщеніе и сопряженныя съ онымъ экзекуціи временно прекратить, и 2) законовъ не издавать. Результаты были получены съ перваго же раза изумительные. Не прошло мѣсяца, какъ уже шерсть, которою обросли глуповцы, вылиняла вся безъ

остатка, и глуповцы начали стыдиться наготы. Спустя еще одинъ мѣсяцъ, они перестали сосать лапу, и черезъ полгода въ Глуповѣ, послѣ многихъ лѣтъ безмолвія, состоялся первый хороводъ, на которомъ лично присутствовалъ самъ градоначальникъ и нотчевалъ женскій полъ печатными пряниками.

Такими-то мирными подвигами ознаменовалъ себя черкашенинъ Микаладзе. Какъ и всякое выраженіе истинно плодотворной дѣятельности, управленіе его не было ни громко, ни блестяще, не отличалось ни внѣшними завоеваніями, ни внутренними потрясеніями, но оно отвѣчало потребности минуты и вполнѣ достигало тѣхъ скромныхъ цѣлей, которыя предположило себѣ. Видимыхъ фактовъ было мало, но слѣдствія безчисленны. «Мудрые міра сего!—восклицаетъ по этому поводу лѣтописецъ:—прилежно о семъ помыслите! и да не смущаются сердца ваши при взглядѣ на шелепа и иныя орудія, въ коихъ, по высокоумному мнѣнію вашему, якобы сила и свѣтъ просвѣщенія замыкаются!»

По всѣмъ этимъ причинамъ, издатель настоящей исторіи находитъ совершенно естественнымъ, что лѣтописецъ, описывая административную дѣятельность Микаладзе, не очень-то щедръ на подробности. Градоначальникъ этотъ важенъ не столько какъ прямой дѣятель, сколько какъ первый зачинатель на томъ мирномъ пути, по которому чуть-чуть было не пошла глуповская цивилизація. Благотворная сила его дѣйствій была неуловима, ибо такія мѣропріятія, какъ рукопожатіе, ласковая улыбка и вообще кроткое обращеніе, чувствуются лишь непосредственно и не оставляютъ яркихъ и видимыхъ слѣдовъ въ исторіи. Они не производятъ переворота ни въ экономическомъ, ни въ умственномъ положеніи страны, но ежели вы сравните эти административныя проявленія съ такими, напримѣръ, какъ обозваніе управляемыхъ курицыными дѣтьми или безпрерывное ихъ сѣченіе, то должны будете сознаться, что разница тутъ огромная. Многіе, разсматривая дѣятельность Микаладзе, находятъ ее не во всѣхъ отношеніяхъ безупречною. Говорятъ, напримѣръ, что онъ не имѣлъ никакого права прекращать просвѣщеніе—это такъ. Но, съ другой стороны, если съ просвѣщеніемъ фаталистически сопряжены экзекуціи, то не требуетъ ли благоразуміе, чтобъ даже и въ такомъ, очевидно, полезномъ дѣлѣ допускались краткіе часы для отдохновенія? И еще что говорятъ: Микаладзе не имѣлъ

права не издавать законовъ—и это, конечно, справедливо. Но, съ другой стороны, не видимъ ли мы, что народы самые образованные наипаче почитаютъ себя счастливыми въ воскресные и праздничные дни, то-есть тогда, когда начальники мнятъ себя отъ писанія законовъ свободными?

Пренебречь этими указаніями опыта едва ли возможно. Пускай разсказъ лѣтописца страдаетъ недостаткомъ яркихъ и осязательныхъ фактовъ—это не должно мѣшать намъ признать, что Микаладзе былъ первый въ ряду глуповскихъ градоначальниковъ, который установилъ драгоцѣннѣйшій изъ всѣхъ административныхъ прецедентовъ—прецедентъ кроткаго и безсквернаго славословія. Положимъ, что прецедентъ этотъ не представлялъ ничего особенно твердаго; положимъ, что въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи онъ подвергался многимъ случайностямъ, болѣе или менѣе жестокимъ; но нельзя отрицать, что, будучи однажды введенъ, онъ уже никогда не умиралъ совершенно, а время отъ времени даже довольно вразумительно напоминалъ о своемъ существованіи. Ужели же этого мало?

Одну имѣлъ слабость этотъ достойный правитель—это какое-то неудержимое, почти горячечное стремленіе къ женскому полу. Лѣтописецъ довольно подробно останавливается на этой особенности своего героя, но замѣчательно, что въ разсказѣ его не видится ни горечи, ни озлобленія. Одинъ только разъ онъ выражается такъ: «много было отъ него порчи женамъ и дѣвамъ глуповскимъ», и этимъ какъ будто даетъ понять, что и по его мнѣнію, все-таки, было бы лучше, если-бъ порчи не было. Но прямого негодованія нигдѣ и ни въ чемъ не выказывается. Впрочемъ, мы не послѣдуемъ за лѣтописцемъ въ изображеніи этой слабости, такъ какъ желающіе познакомиться съ нею могутъ почерпнуть все нужное изъ прилагаемаго сочиненія: «О благовидной градоначальниковъ наружности», написаннаго самимъ высокопоставленнымъ авторомъ. Справедливость требуетъ, однакожъ, сказать, что въ сочиненіи этомъ пропущено одно довольно крупное обстоятельство, о которомъ упоминается въ лѣтописи. А именно: однажды Микаладзе забрался ночью къ женѣ мѣстнаго казначея, но едва успѣлъ отрѣшиться отъ узъ (такъ называетъ лѣтописецъ мундиръ), какъ былъ застигнутъ врасплохъ ревнивцемъ-мужемъ. Произошла баталія, во время которой Микаладзе не столько сражался, сколько былъ сражаемъ. Но такъ какъ онъ вслѣдъ за тѣмъ умылся, то, разумѣется, слѣдовъ отъ безчестья не оста-

лось никакихъ. Кажется, это была единственная неудача, которую онъ потерпѣлъ въ этомъ родѣ, и потому понятно, что онъ не упомянулъ о ней въ своемъ сочиненіи. Это была такая ничтожная подробность въ громадной серіи многотрудныхъ его подвиговъ по сей части, что не вызвала въ немъ даже потребности въ стратегическихъ соображеніяхъ, могущихъ обезпечить его походы на будущее время...

Микаладзе умеръ въ 1806 году, отъ истощенія силъ.

Когда почва была достаточно взрыхлена учтивымъ обращеніемъ и народъ отдохнулъ отъ просвѣщенія, тогда сама собой стала на очередь потребность въ законодательствѣ. Отвѣтомъ на эту потребность явился статскій совѣтникъ Ѳеофилактъ Иринарховичъ Беневоленскій, другъ и товарищъ Сперанскаго по семинаріи.

Съ самой ранней юности Беневоленскій чувствовалъ непреоборимую наклонность къ законодательству. Сидя на скамьяхъ семинаріи, онъ уже начерталъ нѣсколько законовъ, между которыми наиболѣе замѣчательны слѣдующіе: «всякій человѣкъ да имѣетъ сердце сокрушенно», «всяка душа да трепещетъ» и «всякій сверчокъ да познаетъ соотвѣтствующій званію его шестокъ». Но чѣмъ болѣе росъ высокодаровитый юноша, тѣмъ непреоборимѣе дѣлалась врожденная въ немъ страсть. Что изъ него долженъ во всякомъ случаѣ образоваться законодатель,—въ этомъ никто не сомнѣвался; вопросъ заключался только въ томъ, какого сорта выйдетъ этотъ законодатель, — то-есть напомнитъ ли онъ собой глубокомысліе и административную прозорливость Ликурга, или просто будетъ твердъ, какъ Драконъ. Онъ самъ чувствовалъ всю важность этого вопроса, и въ письмѣ къ «извѣстному другу» (не скрывается ли подъ этимъ именемъ Сперанскій?) слѣдующимъ образомъ описываетъ свои колебанія по этому случаю.

«Сижу я,—пишетъ онъ,—въ уныломъ моемъ уединеніи, и всеминутно о томъ мыслю, какіе законы къ употребленію наиболѣе благопотребны суть. Есть законы мудрые, которые хотя человѣческое счастіе устрояютъ (таковы, напримѣръ, законы о повсемѣстномъ всѣхъ людей продовольствованіи), но, по обстоятельствамъ, не всегда бываютъ полезны; есть законы немудрые, которые, ничьего счастья не устрояя, по обстоятельствамъ бываютъ, однакожъ, благопотребны (примѣровъ сему не привожу: самъ знаешь!); и есть, наконецъ, законы средніе, не очень мудрые, но

не весьма немудрые, такіе, которые, не будучи ни полезными, ни безполезными, бываютъ, однакожъ, благопотребны въ смыслѣ наилучшаго человѣческой жизни наполненія. Напримѣръ, когда мы забываемся и начинаемъ мнить себя безсмертными, сколь освѣжительно дѣйствуетъ на насъ сіе простое выраженіе: memento mori! Такъ точно и лутъ. Когда мы мнимъ, что счастію нашему нѣтъ предѣловъ, что мудрые законы не при насъ писаны, а дѣйствію немудрыхъ мы не подлежимъ, тогда являются на помощь законы средніе, которыхъ роль въ томъ и заключается, чтобъ напоминать живущимъ, что нѣсть на землѣ дыханія, для котораго не было бы своевременно написано хотя какого-нибудь закона. И повѣришь ли, другъ? чѣмъ больше я размышляю, тѣмъ больше склоняюсь въ пользу законовъ среднихъ. Они очаровываютъ мою душу, потому что это собственно даже не законы, а скорѣе, такъ сказать, *сумракъ* законовъ. Вступая въ ихъ область, чувствуешь, что находишься въ общеніи съ легальностью, но въ чемъ состоитъ это общеніе — не понимаешь. И все сіе совершается помимо всякаго размышленія; ни о чемъ не думаешь, ничего опредѣленнаго не видишь, но въ то же время чувствуешь какое-то безпокойство, которое кажется неопредѣленнымъ, потому что ни на что въ особенности не опирается. Это, такъ сказать, апокалипсическое письмо, которое можетъ понять только тотъ, кто его получаетъ. Средніе законы имѣютъ въ себѣ то удобство, что всякій, читая ихъ, говоритъ: «какая глупость!» а между тѣмъ всякій же неудержимо стремится исполнять ихъ. Ежели бы, напримѣръ, издать такой законъ: «всякій да ястъ», то это будетъ именно образецъ тѣхъ среднихъ законовъ, къ выполненію которыхъ каждый устремляется безъ малѣйшихъ мѣръ понужденія. Ты спросишь меня, другъ: зачѣмъ же издавать такіе законы, которые и безъ того всѣми исполняются? На это отвѣчу: цѣль изданія законовъ двоякая: одни издаются для вящшаго народовъ и странъ устроенія, другіе — для того, чтобы законодатели не коснѣли въ праздности»...

И такъ далѣе.

Такимъ образомъ, когда Беневоленскій прибылъ въ Глуповъ, взглядъ его на законодательство ужъ установился, и установился именно въ томъ смыслѣ, который всего болѣе удовлетворялъ потребностямъ минуты. Стало-быть, благополучіе глуповцевъ, начатое черкашенинымъ Микаладзе, не только не нарушилось, но получило лишь пущее утвер-

жденіе. Глупову именно нуженъ былъ «сумракъ законовъ», то-есть такіе законы, которые, съ пользою занимая досуги законодателей, никакого внутренняго касательства до постороннихъ лицъ имѣть не могутъ. Иногда подобные законы называются даже мудрыми, и, по мнѣнію людей компетентныхъ, въ этомъ названіи нѣтъ ничего ни преувеличеннаго, ни заслуженнаго.

Но тутъ встрѣтилось непредвидѣнное обстоятельство. Едва Беневоленскій приступилъ къ изданію перваго закона, какъ оказалось, что онъ, какъ простой градоначальникъ, не имѣетъ даже права издавать собственные законы. Когда секретарь доложилъ объ этомъ Беневоленскому, онъ сначала не повѣрилъ ему. Стали рыться въ сенатскихъ указахъ, но хотя перешарили весь архивъ, а такого указа, который уполномочивалъ бы Бородавкиныхъ, Двоекуровыхъ, Великановыхъ, Беневоленскихъ и т. п. издавать собственнаго измышленія законы—не оказалось.

— Безъ закона все что̀ угодно можно!—говорилъ секретарь:—только вотъ законовъ писать нельзя-съ!

— Странно!—молвилъ Беневоленскій, и въ ту же минуту отписалъ по начальству о встрѣченномъ имъ затрудненіи.

«Прибылъ я въ городъ Глуповъ,—писалъ онъ:—и хотя увидѣлъ жителей, предмѣстникомъ моимъ въ тучное состояніе приведенныхъ, но въ законахъ встрѣтилъ столь великое оскудѣніе, что обыватели даже различія никакого между закономъ и естествомъ не полагаютъ. И тако, безъ явнаго свѣтильника, въ претемной ночи бродятъ. Въ сей крайности спрашиваю я себя: ежели кому изъ бродягъ сихъ случится отступиться или въ пропасть впасть, что ихъ отъ такового паденія остережетъ? Хотя же въ Россійской Державѣ законами изобильно, но всѣ таковые по разнымъ дѣламъ разбрелись, и даже весьма уповательно, что бо̀льшая ихъ часть въ бывшіе пожары сгорѣла. И того ради, существенная видится въ томъ нужда, дабы можно было мнѣ, яко градоначальнику, издавать, для скорости, собственнаго моего умысла законы, хотя бы даже не перваго сорта (о семъ и помыслить не смѣю!), но второго или третьяго. Въ сей мысли еще болѣе меня утверждаетъ то, что городъ Глуповъ, по самой природѣ своей, есть, такъ сказать, область второзаконія, для которой нѣтъ даже надобности въ законахъ отяготительныхъ и многосмысленныхъ. Въ ожиданіи же милостиваго на сіе мое ходатайство разрѣшенія, пребываю» и т. д.

Отвѣтъ на это представленіе послѣдовалъ скоро.

«На представленіе,—писалось Беневоленскому:—о считаньи города Глупова областью второзаконія, предлагается на разсужденіе ваше слѣдующее:

«1) Ежели таковыхъ областей, въ коихъ градоначальники станутъ второго сорта законы сочинять, явится изрядное количество, то не произойдетъ ли отъ сего нѣкотораго для архитектуры Россійской Державы поврежденія?

«и 2) Ежели будетъ предоставлено градоначальникамъ, яко градоначальникамъ, второго сорта законы сочинять, то не придется ли потомъ и сотскимъ, яко сотскимъ, таковые-жъ законы издавать предоставить, и какого тѣ законы будутъ сорта?»

Беневоленскій понялъ, что вопросъ этотъ заключаетъ въ себѣ косвенный отказъ, и опечалился этимъ глубоко. Современники объясняютъ это огорченіе тѣмъ, будто бы души его уже коснулся ядъ единовластія; но это едва ли такъ. Когда человѣкъ и безъ законовъ имѣетъ возможность дѣлать все что угодно, то странно подозрѣвать его въ честолюбіи за такое дѣйствіе, которое не только не распространяетъ, но именно ограничиваетъ эту возможность. Ибо законъ, каковъ бы онъ ни былъ (даже такой, какъ, напримѣръ: «всякій да ястъ», или «всяка душа да трепещетъ»), все-таки имѣетъ ограничивающую силу, которая никогда честолюбцамъ не по душѣ. Очевидно, стало-быть, что Беневоленскій былъ не столько честолюбецъ, сколько добросердечный доктринеръ, которому казалось предосудительнымъ даже утереть себѣ носъ, если въ законахъ не формулировано ясно, что «всякій имѣющій надобность утереть свой носъ—да утретъ».

Какъ бы то ни было, но Беневоленскій настолько огорчился отказомъ, что удалился въ домъ купчихи Распоповой (которую уважалъ за искусство печь пироги съ начинкой), и, чтобы дать исходъ пожиравшей его жаждѣ умственной дѣятельности, съ упоеніемъ предался сочиненію проповѣдей. Цѣлый мѣсяцъ во всѣхъ городскихъ церквахъ читали попы эти мастерскія проповѣди, и цѣлый мѣсяцъ вздыхали глуповцы, слушая ихъ—такъ чувствительно онѣ были написаны. Самъ градоначальникъ училъ поповъ, какъ произносить ихъ.

— Проповѣдникъ,—говорилъ онъ:—обязанъ имѣть сердце сокрушенно и, слѣдственно, главу слегка наклоненную на бокъ. Гласъ не лаятельный, но томный, какъ бы возды-

хающій. Руками не неистовствовать, но, утвердивъ первоначально правую руку близъ сердца (сего истиннаго источника всѣхъ воздыханій), постепенно оную отодвигать въ пространство, а потомъ вспять къ тому же источнику обращать. Въ патетическихъ мѣстахъ не выкрикивать и ненужныхъ словъ отъ себя не сочинять, но токмо воздыхать громчае.

А глуповцы, между тѣмъ, тучнѣли все больше, и Беневоленскій не только не огорчался этимъ, но радовался. Ни разу не пришло ему на мысль: а что, кабы симъ благополучнымъ людямъ да кровь пустить? Напротивъ того, наблюдая изъ оконъ дома Распоповой, какъ обыватели бродятъ, переваливаясь, по улицамъ, онъ даже задавалъ себѣ вопросъ: не потому ли люди сіи и благополучны, что никакого сорта законы не тревожатъ ихъ? Однакожъ, послѣднее предположеніе было слишкомъ горько, чтобы мысль его успокоилась на немъ. Едва отрывалъ онъ взоры отъ ликующихъ глуповцевъ, какъ тоска по законодательству снова овладѣвала имъ.

— Я даже изобразить сего не въ состояніи, почтеннѣйшая моя Марѳа Терентьевна,—обращался онъ къ купчихѣ Распоповой: — что бы я такое надѣлалъ, и какъ были бы сіи люди противъ нынѣшняго благополучнѣе, если-бъ мнѣ хотя по одному закону въ день издавать предоставлено было!

Наконецъ, онъ не выдержалъ. Въ одну темную ночь, когда не только будочники, но и собаки спали, онъ вышелъ крадучись на улицу и во множествѣ разбросалъ листочки, на которыхъ былъ написанъ первый, сочиненный имъ для Глупова, законъ. И хотя онъ понималъ, что этотъ путь распубликованія законовъ весьма предосудителенъ, но долго сдерживаемая страсть къ законодательству такъ громко вопіяла объ удовлетвореніи, что передъ голосомъ ея умолкли даже доводы благоразумія.

Законъ былъ, видимо, написанъ второпяхъ, а потому отличался необыкновенною краткостью. На другой день, идя на базаръ, глуповцы подняли съ полу бумажки и прочитали слѣдующее:

Законъ 1-й.

«Всякій человѣкъ да опасно ходитъ; откупщикъ же да принесетъ дары».

И только. Но смыслъ закона былъ ясенъ, и откупщикъ

на другой же день явился къ градоначальнику. Произошло объясненіе; откупщикъ доказывалъ, что онъ и прежде былъ готовъ, по мѣрѣ возможности; Беневоленскій же возражалъ, что онъ въ прежнемъ неопредѣленномъ положеніи оставаться не можетъ; что такое выраженіе, какъ «мѣра возможности», ничего не говоритъ ни уму, ни сердцу, и что ясенъ только законъ. Остановились на трехъ тысячахъ рублей въ годъ и постановили считать эту цифру законною, до тѣхъ поръ, однакожъ, пока «обстоятельства перемѣны законамъ не сдѣлаютъ».

Разсказавъ этотъ случай, лѣтописецъ спрашиваетъ себя: была ли польза отъ такого закона? и отвѣчаетъ на этотъ вопросъ утвердительно. «Напоминаніемъ объ опасномъ хожденіи, — говоритъ онъ: — жители города Глупова нимало потревожены не были, ибо и до того, по самой своей природѣ, великую къ таковому хожденію способность имѣли и повсеминутно въ ономъ упражнялись. Но откупщикъ пользу того узаконенія ощутилъ подлинно, ибо когда преемникъ Беневоленскаго, Прыщъ, вмѣсто обычныхъ трехъ тысячъ, потребовалъ противъ прежняго вдвое, то откупщикъ продерзостно отвѣчалъ: «не могу, ибо по закону болѣе трехъ тысячъ давать не обязываюсь. Прыщъ же сказалъ: «и мы тотъ законъ перемѣнимъ». И перемѣнилъ».

Ободренный успѣхомъ перваго закона, Беневоленскій началъ дѣятельно приготовляться къ изданію второго. Плоды оказались скорые, и на улицахъ города, тѣмъ же таинственнымъ путемъ, явился новый и уже болѣе пространный законъ, который гласилъ тако:

Уставъ

о добропорядочномъ пироговъ печеніи.

«1. Всякій да печетъ по праздникамъ пироги, не возбраняя себѣ таковое печеніе и въ будни.

«2. Начинку всякій да употребляетъ по состоянію. Тако: поймавъ въ рѣкѣ рыбу—класть; изрубивъ намелко скотское мясо — класть же; изрубивъ капусту — тоже класть. Люди неимущіе да кладутъ требуху.

«*Примѣчаніе.* Дѣлать пироги изъ грязи, глины и строительныхъ матеріаловъ навсегда возбраняется.

«3. По положеніи начинки и удобреніи оной должнымъ числомъ масла и яицъ, класть пирогъ въ печь и содержать въ вольномъ духѣ, доколѣ не зарумянится.

«4. По вынутіи изъ печи, всякій да возьметъ въ руку

ножъ и, вырѣзавъ изъ середины часть, да принесетъ оную въ даръ.

«5. Исполнившій сіе да ястъ».

Глуповцы тѣмъ быстрѣе поняли смыслъ этого новаго узаконенія, что они издревле были пріучены вырѣзывать часть своего пирога и приносить ее въ даръ. Хотя же въ послѣднее время, при либеральномъ управленіи Микаладзе, обычай этотъ, по упущенію, не исполнялся, но они не роптали на его возобновленіе, ибо надѣялись, что онъ еще тѣснѣе скрѣпитъ благожелательныя отношенія, существовавшія между ними и новымъ градоначальникомъ. Всѣ наперерывъ спѣшили обрадовать Беневоленскаго; каждый приносилъ лучшую часть, а нѣкоторые дарили даже по цѣлому пирогу.

Съ тѣхъ поръ законодательная дѣятельность въ городѣ Глуповѣ закипѣла. Не проходило дня, чтобъ не явилось новаго подметнаго письма и чтобы глуповцы не были чѣмъ-нибудь обрадованы. Насталъ, наконецъ, моментъ, когда Беневоленскій началъ даже помышлять о конституціи.

— Конституція, доложу я вамъ, почтеннѣйшая моя Марѳа Терентьевна, — говорилъ онъ купчихѣ Распоповой: — вовсе не такое ужъ пугало, какъ люди неосмысленные о семъ полагаютъ. Смыслъ каждой конституціи таковъ: всякій въ дому своемъ благополучно да почиваетъ! Что же тутъ, спрашиваю я васъ, сударыня моя, страшнаго или презорнаго?

И началъ онъ обдумывать свое намѣреніе; но чѣмъ больше думалъ, тѣмъ болѣе запутывался въ своихъ мысляхъ. Всего болѣе его смущало то, что онъ не могъ дать достаточно твердаго опредѣленія слову: «права». Слово «обязанности» онъ сознавалъ очень ясно, такъ что могъ объ этомъ предметѣ исписать цѣлыя дести бумаги, но «права»?—что такое «права»? Достаточно ли было опредѣлить ихъ, сказавъ: «всякій въ дому своемъ благополучно да почиваетъ»? не будетъ ли это черезчуръ ужъ кратко? А съ другой стороны, если пуститься въ разъясненія, не будетъ ли черезчуръ ужъ обширно и для самихъ глуповцевъ обременительно?

Сомнѣнія эти разрѣшились тѣмъ, что Беневоленскій, въ видѣ переходной мѣры, издалъ «Уставъ о свойственномъ градоначальнику добросердечіи», который, по обширности его, помѣщается въ оправдательныхъ документахъ.

— Знаю я, — говорилъ онъ по этому случаю купчихѣ

Распоповой:—что истинной конституціи документъ сей въ себѣ еще не заключаетъ, но прошу васъ, моя почтеннѣйшая, принять въ соображеніе, что никакое зданіе, хотя бы даже то былъ куриный хлѣвъ, разомъ не завершается! По времени, выполнимъ и остальное достолюбезное намъ дѣло, а теперь утѣшимся тѣмъ, что возложимъ упованіе наше на Бога!

Тѣмъ не менѣе, нѣтъ никакого повода сомнѣваться, что Беневоленскій рано или поздно привелъ бы въ исполненіе свое намѣреніе, но въ это время надъ нимъ уже нависли тучи. Виною всему былъ Бонапартъ. Наступилъ 1811 годъ, и отношенія Россіи къ Наполеону сдѣлались чрезвычайно натянутыми. Однакожъ, слава этого новаго «бича Божія» еще не померкла и даже достигла Глупова. Тамъ, между многочисленными его почитательницами (замѣчательно, что особенною приверженностью къ врагу человѣчества отличался женскій полъ), самый горячій фанатизмъ выказывала купчиха Распопова.

— Ужъ какъ мнѣ этого Бонапарта захотѣлось!—говаривала она Беневоленскому:—кажется, ничего бы не пожалѣла, только бы глазкомъ на него взглянуть!

Сначала Беневоленскій сердился и даже называлъ рѣчи Распоповой «дурьими»; но такъ какъ Марѳа Терентьевна не унималась, а все больше и больше приставала къ градоначальнику: вынь да положь Бонапарта, то подъ конецъ онъ изнемогъ. Онъ понялъ, что не исполнить требованіе «дурьей породы» невозможно, и мало-по-малу пришелъ даже къ тому, что не находилъ въ немъ ничего предосудительнаго.

— Что же! пущай дурья порода натѣшится! — говорилъ онъ себѣ въ утѣшеніе:—кому отъ того убытокъ!

И вотъ онъ вступилъ въ секретныя сношенія съ Наполеономъ.

Какимъ образомъ объ этихъ сношеніяхъ было узнано — это извѣстно одному Богу, но кажется, что самъ Наполеонъ разболталъ о томъ князю Куракину во время одного изъ своихъ petits levés. И вотъ, въ одно прекрасное утро, Глуповъ былъ изумленъ, узнавъ, что имъ управляетъ не градоначальникъ, а измѣнникъ, и что изъ губерніи ѣдетъ особенная комиссія ревизовать его измѣну.

Тутъ открылось все: и то, что Беневоленскій тайно призывалъ Наполеона въ Глуповъ, и то, что онъ издавалъ свои собственные законы. Въ оправданіе свое онъ могъ

сказать только то, что никогда глуповцы въ столь тучномъ состояніи не были, какъ при немъ, но оправданіе это не приняли, или, лучше сказать, отвѣтили на него такъ, что «правѣе бы онъ былъ, если-бъ глуповцевъ совсѣмъ въ отощаніе привелъ, лишь бы отъ изданія нелѣпыхъ своихъ строчекъ, кои продерзостно законами именуетъ, воздержался».

Была теплая лунная ночь, когда къ градоначальническому дому подвезли кибитку. Беневоленскій твердою поступью сошелъ на крыльцо и хотѣлъ-было поклониться на всѣ четыре стороны, какъ съ смущеніемъ увидѣлъ, что на улицѣ никого нѣтъ, кромѣ двухъ жандармовъ. По обыкновенію, глуповцы и въ этомъ случаѣ удивили міръ своею неблагодарностью, и какъ только узнали, что градоначальнику приходится плохо, такъ тотчасъ же лишили его своей популярности. Но какъ ни горька была эта чаша, Беневоленскій испилъ ее съ бодрымъ духомъ. Внятнымъ и яснымъ голосомъ онъ произнесъ: «бездѣльники!» и, сѣвъ въ кибитку, благополучно прослѣдовалъ въ тотъ край, куда Макаръ телятъ не гонялъ.

Такъ окончилъ свое административное поприще градоначальникъ, въ которомъ страсть къ законодательству находилась въ непрерывной борьбѣ съ страстью къ пирогамъ. Изданные имъ законы въ настоящее время, впрочемъ, дѣйствія не имѣютъ.

Но счастью глуповцевъ, повидимому, не предстояло еще скораго конца. На смѣну Беневоленскому явился подполковникъ Прыщъ и привезъ съ собою систему администраціи еще болѣе упрощенную.

Прыщъ былъ уже не молодъ, но сохранился необыкновенно. Плечистый, сложенный кряжемъ, онъ всею своею фигурой такъ, казалось, и говорилъ: не смотрите на то, что у меня сѣдые усы: я могу! я еще очень могу! Онъ былъ румянъ, имѣлъ алыя и сочныя губы, изъ-за которыхъ виднѣлся рядъ бѣлыхъ зубовъ; походка у него была дѣятельная и бодрая, жестъ быстрый. И все это украшалось блестящими штабъ-офицерскими эполетами, которые такъ и играли на плечахъ при малѣйшемъ его движеніи.

По принятому обыкновенію, онъ сдѣлалъ рекомендательные визиты къ городскимъ властямъ и прочимъ знатнымъ обоего пола особамъ, и при этомъ развилъ передъ ними свою программу.

— Я человѣкъ простой-съ,—говорилъ онъ однимъ:—и не для того сюда пріѣхалъ, чтобъ издавать законы-съ. Моя обязанность наблюсти, чтобы законы были въ цѣлости и не валялись по столамъ-съ. Конечно, и у меня есть планъ кампаніи, но этотъ планъ таковъ: отдохнуть-съ!

Другимъ онъ говорилъ такъ:

— Состояніе у меня, благодареніе Богу, изрядное. Командовалъ-съ, стало-быть не растратилъ, а умножилъ-съ. Слѣдственно, какіе есть насчетъ этого законы—тѣ знаю, а новыхъ издавать не желаю. Конечно, многіе на моемъ мѣстѣ понеслись бы въ атаку, а можетъ-быть даже устроили бы бомбардировку, но я человѣкъ простой и утѣшенія для себя въ атакахъ не вижу-съ!

Третьимъ высказывался такъ:

— Я не либералъ и либераломъ никогда не бывалъ-съ. Дѣйствую всегда прямо и потому даже отъ законовъ держусь въ отдаленіи. Въ затруднительныхъ случаяхъ приказываю поискать, но требую одного: чтобъ законъ былъ старый. Новыхъ законовъ не люблю-съ. Многое въ нихъ пропускается, а о прочемъ и совсѣмъ не упоминается. Такъ я всегда говорилъ, такъ отозвался и теперь, когда отправлялся сюда. Отъ новыхъ, говорю, законовъ увольте, прочее же надѣюсь исполнить въ точности!

Наконецъ, четвертымъ онъ изображалъ себя въ слѣдующихъ краскахъ:

— Про себя могу сказать одно: въ сраженіяхъ не бывалъ-съ, но въ парадахъ закаленъ даже сверхъ пропорціи. Новыхъ идей не понимаю. Не понимаю даже того, зачѣмъ ихъ слѣдуетъ понимать-съ.

Этого мало: въ первый же праздничный день онъ собралъ генеральную сходку глуповцевъ и передъ нею формальнымъ образомъ подтвердилъ свои взгляды на администрацію.

— Ну, старички,—сказалъ онъ обывателямъ: — давайте жить мирно. Не трогайте вы меня, а я васъ не трону. Сажайте и сѣйте, ѣшьте и пейте, заводите фабрики и заводы—что же-съ! все это вамъ же на пользу-съ! По мнѣ, даже монументы воздвигайте—я и въ этомъ препятствовать не стану! Только съ огнемъ, ради Христа, осторожнѣе обращайтесь, потому что тутъ не долго и до грѣха. Имущества свои попалите, сами погорите! — что хорошаго!

Какъ ни избалованы были глуповцы двумя послѣдними

градоначальниками, но либерализмъ столь безпредѣльный заставилъ ихъ призадуматься: нѣтъ ли тутъ подвоха? Поэтому нѣкоторое время они осматривались, разузнавали, говорили шопотомъ и вообще «опасно ходили». Казалось нѣсколько страннымъ, что градоначальникъ не только отказывается отъ вмѣшательства въ обывательскія дѣла, но даже утверждаетъ, что въ этомъ-то невмѣшательствѣ и заключается вся сущность администраціи.

— И законовъ издавать не будешь? — спрашивали они его съ недовѣрчивостью.

— И законовъ не буду издавать—живите съ Богомъ!

— То-то! ужъ ты сдѣлай милость, не издавай! Смотри, какъ за это прохвосту-то (такъ называли они Беневоленскаго) досталось! Стало-быть, коли опять за то же примешься, какъ бы и тебѣ, и намъ въ отвѣтъ не попасть!

Но Прыщъ былъ совершенно искрененъ въ своихъ заявленіяхъ и твердо рѣшился слѣдовать по избранному пути. Прекративъ всѣ дѣла, онъ ходилъ по гостямъ, принималъ обѣды и балы и даже завелъ стаю борзыхъ и гончихъ собакъ, съ которыми травилъ на городскомъ выгонѣ зайцевъ, лисицъ, а однажды заполевалъ очень хорошенькую мѣщаночку. Не безъ ироніи отзывался онъ о своемъ предмѣстникѣ, томившемся въ то время въ заточеніи.

— Филатъ Иринарховичъ,—говорилъ онъ: — больше на бумагѣ сулилъ, что обыватели при немъ якобы благополучно въ домахъ своихъ почивать будутъ, а я на практикѣ это самое предоставлю... да-съ!

И точно: несмотря на то, что первые шаги Прыща были встрѣчены глуповцами съ недовѣріемъ, они не успѣли и оглянуться, какъ всего у нихъ очутилось противъ прежняго вдвое и втрое. Пчела роилась необыкновенно, такъ что меду и воску было отправлено въ Византію почти столько же, сколько при великомъ князѣ Олегѣ. Хотя скотскихъ падежей не было, но кожъ оказалось множество, и такъ какъ глуповцамъ за всѣмъ тѣмъ ловчѣе было щеголять въ лаптяхъ, нежели въ сапогахъ, то и кожи спровадили въ Византію полностью, и за все получили чистыми ассигнаціями. А поелику навозъ производить стало всякому вольно, то хлѣба уродилось столько, что, кромѣ продажи, осталось даже на собственное употребленіе. «Не то что въ другихъ городахъ, — съ горечью говоритъ лѣтопи-

сецъ: — гдѣ желѣзныя дороги *) не успѣваютъ перевозить дары земные, на продажу назначенные, жители же отъ безкормицы въ отощаніе приходятъ. Въ Глуповѣ, въ сію счастливую годину, не токмо хозяинъ, но и всякій наймитъ ѣлъ хлѣбъ настоящій, а не въ рѣдкость бывали и шти съ приваркомъ».

Прыщъ смотрѣлъ на это благополучіе и радовался. Да и нельзя было не радоваться ему, потому что всеобщее изобиліе отразилось и на немъ. Амбары его ломились отъ приношеній, дѣлаемыхъ въ натурѣ; сундуки не вмѣщали серебра и золота, а ассигнаціи просто валялись на полу.

Такъ прошелъ и еще годъ, въ теченіе котораго у глуповцевъ всякаго добра явилось уже не вдвое или втрое, но вчетверо. Но по мѣрѣ того, какъ развивалась свобода, нарождался и исконный врагъ ея — анализъ. Съ увеличеніемъ матеріальнаго благосостоянія пріобрѣтался досугъ, а съ пріобрѣтеніемъ досуга явилась способность изслѣдовать и испытывать природу вещей. Такъ бываетъ всегда; но глуповцы употребляли эту «новоявленную у нихъ способность» не для того, чтобы упрочить свое благополучіе, а для того, чтобъ оное подорвать.

Неокрѣпшіе въ самоуправленіи глуповцы начали приписывать это явленіе посредничеству какой-то невѣдомой силы. А такъ какъ на ихъ языкѣ невѣдомая сила носила названіе чертовщины, то и стали думать, что тутъ не совсѣмъ чисто и что, слѣдовательно, участіе чорта въ этомъ дѣлѣ не можетъ подлежать сомнѣнію. Стали присматривать за Прыщомъ, и нашли въ его поведеніи нѣчто сомнительное. Разсказывали, напримѣръ, что однажды кто-то засталъ его спящимъ на диванѣ, при чемъ будто бы тѣло его было кругомъ обставлено мышеловками. Другіе шли далѣе и утверждали, что Прыщъ каждую ночь уходитъ спать на ледникъ. Все это обнаруживало нѣчто таинственное, и хотя никто не спросилъ себя, какое кому дѣло до того, что градоначальникъ спитъ на ледникѣ, а не въ обыкновенной спальнѣ, но всякій тревожился. Общія подозрѣнія еще болѣе увеличились, когда замѣтили, что мѣстный предводитель дворянства съ нѣкотораго времени находится въ какомъ-то неестественно-возбужденномъ состояніи, и всякій

*) О желѣзныхъ дорогахъ тогда и помину не было; но это одинъ изъ тѣхъ безвредныхъ анахронизмовъ, какихъ очень много встрѣчается въ «Лѣтописи».—*Изд.*

разъ, какъ встрѣтится съ градоначальникомъ, начинаетъ кружиться и выдѣлывать нелѣпыя тѣлодвиженія.

Нельзя сказать, чтобъ предводитель отличался особенными качествами ума и сердца, но у него былъ желудокъ, въ которомъ, какъ въ могилѣ, исчезали всякіе куски. Этотъ не весьма замысловатый даръ природы сдѣлался для него источникомъ живѣйшихъ наслажденій. Каждый день съ ранняго утра онъ отправлялся въ походъ по городу и поднюхивалъ запахи, вылетавшіе изъ обывательскихъ кухонь. Въ короткое время обоняніе его было до такой степени изощрено, что онъ могъ безошибочно угадать составныя части самаго сложнаго фарша.

Уже при первомъ свиданіи съ градоначальникомъ предводитель почувствовалъ, что въ этомъ сановникѣ таится что-то не совсѣмъ обыкновенное, а именно, что отъ него пахнетъ трюфлями. Долгое время онъ боролся съ своею догадкою, принимая ее за мечту воспаленнаго съѣстными припасами воображенія; но чѣмъ чаще повторялись свиданія, тѣмъ мучительнѣе становились сомнѣнія. Наконецъ, онъ не выдержалъ и сообщилъ о своихъ подозрѣніяхъ письмоводителю дворянской опеки, Половинкину.

— Пахнетъ отъ него! — говорилъ онъ своему изумленному наперснику: — пахнетъ! Точно вотъ въ колбасной лавкѣ!

— Можетъ-быть, они трюфельной помадой голову себѣ мажутъ-съ?—усомнился Половинкинъ.

— Ну, это, братъ, дудки! Послѣ этого каждый поросенокъ будетъ тебѣ въ глаза лгать, что онъ не поросенокъ, а только поросячьими духами прыскается!

На первый разъ разговоръ не имѣлъ другихъ послѣдствій, но мысль о поросячьихъ духахъ глубоко запала въ душу предводителя. Впавши въ гастрономическую тоску, онъ слонялся по городу словно влюбленный и, завидѣвъ гдѣ-нибудь Прыща, самымъ нелѣпымъ образомъ облизывался. Однажды, во время какого-то соединеннаго засѣданія, имѣвшаго предметомъ устройство во время масленицы усиленнаго гастрономическаго торжества, предводитель, доведенный до изступленія острымъ запахомъ, распространяемымъ градоначальникомъ, внѣ себя вскочилъ съ своего мѣста и крикнулъ: «уксусу и горчицы!» И затѣмъ, припавъ къ градоначальнической головѣ, сталъ ее нюхать.

Изумленіе лицъ, присутствовавшихъ при этой загадочной сценѣ, было безпредѣльно. Страннымъ показалось и

то, что градоначальникъ хотя и сквозь зубы, но довольно неосторожно сказалъ:

— Угадалъ, каналья!

И потомъ, спохватившись, съ непринужденностью, очевидно притворною, прибавилъ:

— Кажется, нашъ достойнѣйшій предводитель принялъ мою голову за фаршированную... ха-ха!

Увы! Это косвенное признаніе заключало въ себѣ самую горькую правду!

Предводитель упалъ въ обморокъ и вытерпѣлъ горячку, но ничего не забылъ и ничему не научился. Произошло нѣсколько сценъ, почти неприличныхъ. Предводитель юлилъ кружился и, наконецъ, очутившись однажды съ Прыщомъ глазъ-на-глазъ, рѣшился.

— Кусочекъ! — стоналъ онъ передъ градоначальникомъ, ворко слѣдя за выраженіемъ глазъ облюбованной имъ жертвы.

При первомъ же звукѣ столь опредѣленно-формулированной просьбы градоначальникъ дрогнулъ. Положеніе его сразу обрисовалось съ той безповоротной ясностью, при которой всякія соглашенія становятся безполезными. Онъ робко взглянулъ на своего обидчика и, встрѣтивъ его полный рѣшимости взоръ, вдругъ впалъ въ состояніе безпредѣльной тоски.

Тѣмъ не менѣе, онъ все-таки сдѣлалъ слабую попытку дать отпоръ. Завязалась борьба, но предводитель вошелъ уже въ ярость и не помнилъ себя. Глаза его сверкали, брюхо сладостно ныло. Онъ задыхался, стоналъ, называлъ градоначальника «душкой», «милкой» и другими несвойственными этому сану именами; лизалъ его, нюхалъ и т. д. Наконецъ, съ неслыханнымъ остервенѣніемъ бросился предводитель на свою жертву, отрѣзалъ ножомъ ломоть головы и немедленно проглотилъ...

За первымъ ломтемъ послѣдовалъ другой, потомъ третій, до тѣхъ поръ, пока не осталось ни крохи...

Тогда градоначальникъ вдругъ вскочилъ и сталъ обтирать лапками тѣ мѣста своего тѣла, которыя предводитель полилъ уксусомъ. Потомъ онъ закружился на одномъ мѣстѣ и вдругъ всѣмъ корпусомъ грохнулся на полъ.

На другой день глуповцы узнали, что у градоначальника ихъ была фаршированная голова...

Но никто не догадался, что, благодаря именно этому обстоятельству, городъ былъ доведенъ до такого благосо-

стоянія, которому подобнаго не представляли лѣтописи съ самаго его основанія.

XII. — Поклоненіе мамонѣ и покаяніе.

Человѣческая жизнь — сновидѣніе, говорятъ философы-спиритуалисты, и если-бъ они были вполнѣ логичны, то прибавили бы: и исторія — тоже сновидѣніе. Разумѣется, взятыя абсолютно, оба эти сравненія одинаково нелѣпы, однако, нельзя не сознаться, что въ исторіи дѣйствительно встрѣчаются по мѣстамъ словно провалы, передъ которыми мысль человѣческая останавливается не безъ недоумѣнія. Потокъ жизни какъ бы прекращаетъ свое естественное теченіе и образуетъ водоворотъ, который кружится на одномъ мѣстѣ, брызжетъ и покрывается мутной накипью, сквозь которую невозможно различить ни ясныхъ типическихъ чертъ, ни даже сколько-нибудь обособившихся явленій. Сбивчивыя и неосмысленныя событія безсвязно слѣдуютъ одно за другимъ, и люди, повидимому, не преслѣдуютъ никакихъ другихъ цѣлей, кромѣ защиты нынѣшняго дня. Попеременно, они то трепещутъ, то торжествуютъ, и чѣмъ сильнѣе даетъ себя чувствовать униженіе, тѣмъ жестче и мстительнѣе торжество. Источникъ, изъ котораго вышла эта тревога, уже замутился; начала, во имя которыхъ возникла борьба, стушевались; остается борьба для борьбы, искусство для искусства, изобрѣтающее дыбу, хожденіе по спицамъ и т. д.

Конечно, тревога эта преимущественно сосредоточивается на поверхности; однакожъ, едва ли возможно утверждать, что и на днѣ въ это время обстоитъ благополучно. Что происходитъ въ тѣхъ слояхъ пучины, которые слѣдуютъ непосредственно за верхнимъ слоемъ и далѣе, до самаго дна? Пребываютъ ли они спокойными; или и на нихъ производитъ свое давленіе тревога, обнаружившаяся въ верхнемъ слоѣ?—Съ полною достовѣрностью опредѣлить это невозможно, такъ какъ вообще у насъ еще нѣтъ привычки приглядываться къ тому, что уходитъ далеко въ глубь. Но едва ли мы ошибемся, сказавши, что давленіе чувствуется и тамъ. Отчасти оно выражается въ формѣ матеріальныхъ ущербовъ и утратъ, но преимущественно въ формѣ болѣе или менѣе продолжительной отсрочки общественнаго развитія. И хотя результаты этихъ утратъ съ особенною горечью сказываются лишь впослѣдствіи, однакожъ можно догады-

ваться, что и современники безъ особеннаго удовольствія относятся къ тѣмъ давленіямъ, которыя тяготѣютъ надъ ними.

Одну изъ такихъ тяжкихъ историческихъ эпохъ, вѣроятно, переживалъ Глуповъ въ описываемое лѣтописцемъ время. Собственная внутренняя жизнь города спряталась на дно; на поверхность же выступили какія-то злостныя эманаціи, которыя и завладѣли всецѣло ареной исторіи. Искусственныя примѣси сверху до низу опутали Глуповъ, и ежели можно сказать, что въ общей экономіи его существованія эта искусственность была небезполезна, то съ неменьшею правдой можно утверждать и то, что люди, живущіе подъ гнетомъ ея, суть люди не весьма счастливые. Претерпѣть Бородавкина для того, чтобъ познать пользу употребленія нѣкорыхъ злаковъ; претерпѣть Урусъ-Кугушъ-Кильдибаева для того, чтобы ознакомиться съ настоящею отвагою—какъ хотите, а такой удѣлъ не можетъ быть названъ ни истинно-нормальнымъ, ни особенно лестнымъ, хотя, съ другой стороны, и нельзя отрицать, что нѣкоторые злаки дѣйствительно полезны, да и отвага, употребленная въ свое время и въ своемъ мѣстѣ, тоже не вредитъ.

При такихъ условіяхъ невозможно ожидать, чтобы обыватели оказали какіе-нибудь подвиги по части благоустройства и благочинія или особенно успѣли по части наукъ и искусствъ. Для нихъ подобныя историческія эпохи суть годы ученія, въ теченіе которыхъ они испытываютъ себя въ одномъ: въ какой мѣрѣ они могутъ претерпѣть. Такими именно и представляетъ намъ лѣтописецъ своихъ согражданъ. Изъ разсказа его видно, что глуповцы безпрекословно подчиняются капризамъ исторіи и не представляютъ никакихъ данныхъ, по которымъ можно было бы судить о степени ихъ зрѣлости, въ смыслѣ самоуправленія; что, напротивъ того, они мечутся изъ стороны въ сторону, безъ всякаго плана, какъ бы гонимые безотчетнымъ страхомъ. Никто не станетъ отрицать, что это картина не лестная, но иною она не можетъ и быть, потому что матеріаломъ для нея служитъ человѣкъ, которому съ изумительнымъ постоянствомъ долбятъ голову, и который, разумѣется, не можетъ придти къ другому результату, кромѣ ошеломленія. Исторію этихъ ошеломленій лѣтописецъ раскрываетъ передъ нами съ тою безыскусственностью и правдою, которыми всегда отличаются разсказы бытописателей-архиваріусовъ. По моему мнѣнію, это все, чего мы имѣемъ права

требовать отъ него. Никакого преднамѣреннаго глумленія въ разсказѣ его не замѣчается; напротивъ того, во многихъ мѣстахъ замѣтно даже сочувствіе къ бѣднымъ ошеломляемымъ. Уже одинъ тотъ фактъ, что, несмотря на смертный бой, глуповцы все-таки продолжаютъ жить, достаточно свидѣтельствуетъ въ пользу ихъ устойчивости и заслуживаетъ серьезнаго вниманія со стороны историка.

Не забудемъ, что лѣтописецъ преимущественно ведетъ рѣчь о такъ-называемой черни, которая и доселѣ считается стоящею какъ бы внѣ предѣловъ исторіи. Съ одной стороны, его умственному взору представляется сила, подкравшаяся издалека и успѣвшая организоваться и окрѣпнуть, съ другой — разсыпавшіеся по угламъ и всегда застигаемые врасплохъ людишки и сироты. Возможно ли какое-нибудь сомнѣніе насчетъ характера отношеній, которыя имѣютъ возникнуть изъ сопоставленія стихій столь противоположныхъ?

Что сила, о которой идетъ рѣчь, отнюдь не выдуманная—это доказывается тѣмъ, что представленіе о ней даже положило основаніе цѣлой исторической школѣ. Представители этой школы совершенно искренно проповѣдуютъ, что чѣмъ больше уничтожать обывателей, тѣмъ благополучнѣе они будутъ и тѣмъ блестящѣе будетъ сама исторія. Конечно, это мнѣніе не весьма умное, но какъ доказать это людямъ, которые настолько въ себѣ увѣрены, что никакихъ доказательствъ не слушаютъ и не принимаютъ? Прежде нежели начать доказывать, надобно еще заставить себя выслушать; а какъ это сдѣлать, когда жалобщикъ самого себя не умѣетъ достаточно убѣдить, что его не слѣдуетъ истреблять?

— Говорилъ я ему: какой вы, сударь, имѣете резонъ драться? А онъ только знай по зубамъ щелкаетъ: вотъ тебѣ резонъ! Вотъ тебѣ резонъ!

Такова единственно ясная формула взаимныхъ отношеній, возможная при подобныхъ условіяхъ. Нѣтъ резона драться, но нѣтъ резона и не драться; въ результатѣ виднѣется лишь печальная тавтологія, въ которой оплеуха объясняется оплеухою. Конечно, тавтологія эта держится на ниткѣ, на одной только ниткѣ; но какъ оборвать эту нитку?—въ этомъ-то весь и вопросъ. И вотъ само собою высказывается мнѣніе: не лучше ли возложить упованіе на будущее? Это мнѣніе тоже не весьма умное, но что же дѣлать, если никакихъ другихъ мнѣній еще не выработалось? И вотъ его-то, повидимому, держались и глуповцы.

Уподобивъ себя вѣчнымъ должникамъ, находящимся во власти вѣчныхъ кредиторовъ, они разсудили, что на свѣтѣ бываютъ всякіе кредиторы: и разумные, и неразумные. Разумный кредиторъ помогаетъ должнику выйти изъ стѣсненныхъ обстоятельствъ, и въ вознагражденіе за свою разумность получаетъ свой долгъ. Неразумный кредиторъ сажаетъ должника въ острогъ или непрерывно сѣчетъ его, и въ вознагражденіе не получаетъ ничего. Разсудивъ такимъ образомъ, глуповцы стали ждать, не сдѣлаются ли всѣ кредиторы разумными? И ждутъ до сего дня.

Поэтому я не вижу въ разсказахъ лѣтописца ничего такого, что̀ посягало бы на достоинство обывателей города Глупова. Это люди, какъ и всѣ другіе, съ тою только оговоркою, что природныя ихъ свойства обросли массой наносныхъ атомовъ, за которою почти ничего не видно. Поэтому о дѣйствительныхъ «свойствахъ» и рѣчи нѣтъ, а есть рѣчь только о наносныхъ атомахъ. Было ли бы лучше или даже пріятнѣе, если-бъ лѣтописецъ, вмѣсто описанія нестройныхъ движеній, изобразилъ въ Глуповѣ идеальное средоточіе законности и права? Напримѣръ, въ ту минуту, когда Бородавкинъ требуетъ повсемѣстнаго распространенія горчицы, было ли бы для читателей пріятнѣе, если-бъ лѣтописецъ заставилъ обывателей не трепетать передъ нимъ, а съ успѣхомъ доказывать несвоевременность и неумѣстность его затѣй?

Положа руку на сердце, я утверждаю, что подобное извращеніе глуповскихъ обычаевъ было бы не только не полезно, но даже положительно непріятно. И причина тому очень проста: разсказъ лѣтописца въ этомъ видѣ оказался бы *несогласнымъ съ истиною.*

Неожиданное усѣкновеніе головы маіора Прыща не оказало почти никакого вліянія на благополучіе обывателей. Нѣкоторое время, за оскудѣніемъ градоначальниковъ, городомъ управляли квартальные; но такъ какъ либерализмъ еще продолжалъ давать тонъ жизни, то и они не бросались на жителей, но учтиво прогуливались по базару и умильно разсматривали, который кусокъ пожирнѣе. Но даже и эти скромные походы не всегда сопровождались для нихъ удачею, потому что обыватели настолько осмѣлились, что охотно дарили только требухой.

Послѣдствіемъ такого благополучія было то, что въ теченіе цѣлаго года въ Глуповѣ состоялся всего одинъ заго-

воръ, но и то не со стороны обывателей противъ квартальныхъ (какъ это обыкновенно бываетъ), а, напротивъ того, со стороны квартальныхъ противъ обывателей (чего никогда не бываетъ). А именно: мучимые голодомъ квартальные рѣшились отравить въ гостиномъ дворѣ всѣхъ собакъ, дабы имѣть въ ночное время безпрепятственный входъ въ лавки. Къ счастью, покушеніе было усмотрѣно во-время и заговоръ разрѣшился тѣмъ, что самихъ же заговорщиковъ лишили на-время установленной дачи требухи.

Послѣ того прибылъ въ Глуповъ статскій совѣтникъ Ивановъ, но оказался столь малаго роста, что не могъ вмѣщать ничего постраннаго. Какъ нарочно, это случилось въ ту самую пору, когда страсть къ законодательству приняла въ нашемъ отечествѣ размѣры чуть-чуть не опасные; канцеляріи кипѣли уставами, какъ никогда не кипѣли сказочныя рѣки млекомъ и медомъ, и каждый уставъ вѣсилъ отнюдь не менѣе фунта. Вотъ это-то обстоятельство именно и причинило погибель Иванова, разсказъ о которой, впрочемъ, существуетъ въ двухъ совершенно различныхъ варіантахъ. Одинъ варіантъ говоритъ, что Ивановъ умеръ отъ испуга, получивъ слишкомъ обширный сенатскій указъ, понять который онъ не надѣялся. Другой варіантъ утверждаетъ, что Ивановъ совсѣмъ не умеръ, а былъ уволенъ въ отставку за то, что голова его, вслѣдствіе постепеннаго присыханія мозговъ (отъ ненужности въ ихъ употребленіи), перешла въ зачаточное состояніе. Послѣ этого онъ будто бы жилъ еще долгое время въ собственномъ имѣніи, гдѣ и удалось ему положить начало цѣлой особи короткоголовыхъ (микрокефаловъ), которые существуютъ и доднесь.

Какой изъ этихъ двухъ варіантовъ заслуживаетъ бо́льшаго довѣрія—рѣшить трудно; но справедливость требуетъ сказать, что атрофированіе столь важнаго о́ргана, какъ голова, едва ли могло совершиться въ такое короткое время. Однакожъ, съ другой стороны, не подлежитъ сомнѣнію, что микрокефалы дѣйствительно существуютъ и что родоначальникомъ ихъ преданіе называетъ именно статскаго совѣтника Иванова. Впрочемъ, для насъ это вопросъ второстепенный; важно же то, что глуповцы, и во времена Иванова, продолжали быть благополучными и что, слѣдовательно, изъянъ, которымъ онъ обладалъ, послужилъ обывателямъ не во вредъ, а на пользу.

Въ 1815 году пріѣхалъ на смѣну Иванову виконтъ Дю-

Шаріо, французскій выходецъ. Парижъ былъ взятъ; врагъ человѣчества навсегда водворенъ на островѣ Св. Елены; «Московскія Вѣдомости» заявили, что съ посрамленіемъ врага задача ихъ кончилась и обѣщали прекратить свое существованіе; но на другой день взяли свое обѣщаніе назадъ и дали другое, которымъ обязывались прекратить свое существованіе лишь тогда, когда Парижъ будетъ взятъ вторично. Ликованіе было общее, а вмѣстѣ со всѣми ликовалъ и Глуповъ. Вспомнили про купчиху Распопову, какъ она, вмѣстѣ съ Беневоленскимъ, интриговала въ пользу Наполеона, выволокли ее на улицу и разрѣшили мальчишкамъ дразнить. Цѣлый день преслѣдовали маленькіе негодяи злосчастную вдову, называли ее Бонапартовной, антихристовой наложницей, и проч., покуда, наконецъ, она не пришла въ изступленіе и не начала прорицать. Смыслъ этихъ прорицаній объяснился лишь впослѣдствіи, когда въ Глуповъ прибылъ Угрюмъ-Бурчеевъ и не оставилъ въ городѣ камня на камнѣ.

Дю-Шаріо былъ веселъ. Во-первыхъ, его эмигрантскому сердцу было радостно, что Парижъ взятъ; во-вторыхъ, онъ столько времени настоящимъ манеромъ не ѣдалъ, что глуповскіе пироги съ начинкой показались ему райскою пищей. Наѣвшись досыта, онъ потребовалъ, чтобъ ему немедленно указали мѣсто, гдѣ было бы можно passer son temps à faire des bêtises, и былъ отмѣнно доволенъ, когда узналъ, что въ Солдатской слободѣ есть именно такой домъ, какого ему желательно. Затѣмъ онъ началъ болтать и уже не переставалъ до тѣхъ поръ, покуда не былъ, по распоряженію начальства, выпровоженъ изъ Глупова за границу. Но такъ какъ онъ все-таки былъ сыномъ XVIII вѣка, то въ болтовнѣ его нерѣдко прорывался духъ изслѣдованій, который могъ бы дать очень горькіе плоды, если-бъ онъ не былъ въ значительной степени смягченъ духомъ легкомыслія. Такъ, напримѣръ, однажды онъ началъ объяснять глуповцамъ права человѣка; но, къ счастью, кончилъ тѣмъ, что объяснилъ права Бурбоновъ. Въ другой разъ онъ началъ съ того, что убѣждалъ обывателей увѣровать въ богиню Разума, и кончилъ тѣмъ, что просилъ признать непогрѣшимость папы. Все это были, однакожъ, одни façons de parler, и въ сущности виконтъ готовъ былъ стать на сторону какого угодно убѣжденія или догмата, если имѣлъ въ виду, что за это ему перепадетъ лишній четвертакъ.

Онъ веселился безъ устали, почти ежедневно устраивалъ маскарады, одѣвался дебардеромъ, танцовалъ канканъ и въ особенности любилъ интриговать мужчинъ *). Мастерски пѣлъ онъ гривуазныя пѣсенки и увѣрялъ, что этимъ пѣснямъ научилъ его графъ д'Артуа (впослѣдствіи французскій король Карлъ X), во время пребыванія въ Ригѣ. Ѣлъ сначала все, что̀ попало, но когда отъѣлся, то сталъ употреблять преимущественно такъ-называемую нѣчисть, между которой отдавалъ предпочтеніе давленинѣ и лягушкамъ. Но дѣлъ не вершилъ и въ администрацію не вмѣшивался.

Это послѣднее обстоятельство обѣщало продлить благополучіе глуповцевъ безъ конца; но они сами изнемогали подъ бременемъ своего счастья. Они забылись. Избалованные пятью послѣдовательными градоначальничествами, доведенные почти до ожесточенія грубою лестью квартальныхъ, они возмечтали, что счастье принадлежитъ имъ по праву и что никто не въ силахъ отнять его у нихъ. Побѣда надъ Наполеономъ еще болѣе утвердила ихъ въ этомъ мнѣніи, и едва ли не въ эту самую эпоху сложилась знаменитая пословица: «шапками закидаемъ!», которая впослѣдствіи долгое время служила девизомъ глуповскихъ подвиговъ на полѣ брани.

И вотъ послѣдовалъ цѣлый рядъ прискорбныхъ событій, которыя лѣтописецъ именуетъ «безстыжимъ глуповскимъ неистовствомъ», но которыя гораздо приличнѣе назвать скоропреходящимъ глуповскимъ баловствомъ.

Начали съ того, что стали бросать хлѣбъ подъ столъ и креститься неистовымъ обычаемъ. Обличенія этого времени полны самыхъ горькихъ указаній на этотъ печальный фактъ. «Было время, — гремѣли обличители: — когда глуповцы древнихъ Платоновъ и Сократовъ благочестіемъ посрамляли; нынѣ же не токмо сами Платонами сдѣлались, но даже того горчае, ибо едва ли и Платонъ хлѣбъ Божій не въ уста, а на полъ металъ, какъ нынѣшняя нѣкая модная затѣя то дѣлать повелѣваетъ». Но глуповцы не внимали обличителямъ и съ дерзостью говорили: «хлѣбъ пущай свиньи ѣдятъ, а мы свиней съѣдимъ—тотъ же хлѣбъ будетъ!» И Дю-Шаріо не только не возбранялъ подобныхъ

*) Въ этомъ ничего нѣтъ удивительнаго, ибо лѣтописецъ свидѣтельствуетъ, что этотъ самый Дю-Шаріо былъ впослѣдствіи подвергнутъ изслѣдованію и оказался женщиной.—*Изд.*

отвѣтовъ, но даже видѣлъ въ нихъ возникновеніе какого-то духа изслѣдованія.

Почувствовавши себя на волѣ, глуповцы съ какой-то яростью устремились по той покатости, которая очутилась подъ ихъ ногами. Сейчасъ же они вздумали строить башню, съ такимъ расчетомъ, чтобъ верхній ея конецъ непремѣнно упирался въ небеса. Но такъ какъ архитекторовъ у нихъ не было, а плотники были не ученые и не всегда трезвые, то довели башню до половины и бросили, и только, быть-можетъ, благодаря этому обстоятельству избѣжали смѣшенія языковъ.

Но и этого показалось мало. Забыли глуповцы истиннаго Бога и прилѣпились къ идоламъ. Вспомнили, что еще при Владимірѣ-Красномъ-Солнышкѣ нѣкоторые вышедшіе изъ употребленія боги были сданы въ архивъ, бросились туда и вытащили двухъ: Перуна и Волоса. Идолы, нѣсколько вѣковъ не знавшіе ремонта, находились въ страшномъ запущеніи, а у Перуна даже были нарисованы углемъ усы. Тѣмъ не менѣе, глуповцамъ показались они такъ любы, что немедленно собрали они сходку и порѣшили такъ: знатнымъ обоего пола особамъ кланяться Перуну, а смердамъ — приносить жертвы Волосу. Призвали и причетниковъ, и требовали, чтобъ они сдѣлались кудесниками; но они отвѣта не дали и въ смущеніи лишь трепетали воскриліями. Тогда припомнили, что въ Стрѣлецкой слободѣ есть нѣкто, именуемый «разстрига Кузьма» (тотъ самый, который, если читатель припомнитъ, задумывалъ при Бородавкинѣ перейти въ расколъ), и послали за нимъ. Кузьма къ этому времени совсѣмъ уже оглохъ и ослѣпъ; но едва дали ему понюхать монету рубль, какъ онъ сейчасъ же на все согласился и началъ выкрикивать что-то непонятное стихами Аверкіева изъ оперы «Рогнѣда».

Дю-Шаріо смотрѣлъ изъ окна на всю эту церемонію и, держась за бока, кричалъ:—Sont-ils bêtes, dieux des dieux! sont-ils bêtes! ces moujiks de Gloupoff!

Развращеніе нравовъ развивалось не по днямъ, а по часамъ. Появились кокотки и кокодесы; мужчины завели жилетки съ неслыханными вырѣзками, которыя совершенно обнажали грудь; женщины устраивали сзади возвышенія, имѣвшія преобразовательный смыслъ и возбуждавшія въ прохожихъ вольныя мысли. Образовался новый языкъ, получеловѣческій, полуобезьяній, но во всякомъ случаѣ вполнѣ негодный для выраженія какихъ бы то ни было отвлечен-

ныхъ мыслей. Знатныя особы ходили по улицамъ и пѣли; «A moi l'pompon», или «La Vénus aux carottes»; смерды слонялись по кабакамъ и горланили комаринскую. Мнили, что во время этой гульбы хлѣбъ вырастетъ самъ собой, и потому перестали воздѣлывать поля. Уваженіе къ старшимъ исчезло; агитировали вопросъ, не слѣдуетъ ли, по достиженіи людьми извѣстныхъ лѣтъ, устранять ихъ изъ жизни, но корысть одержала верхъ, и порѣшили на томъ, чтобы стариковъ и старухъ продать въ рабство. Въ довершеніе всего, очистили какой-то манежъ и поставили въ немъ «Прекрасную Елену», пригласивъ, въ качествѣ исполнительницы, дѣвицу Бланшъ Гандонъ.

И за всѣмъ тѣмъ продолжали считать себя самымъ мудрымъ народомъ въ мірѣ.

Въ такомъ положеніи засталъ глуповскія дѣла статскій совѣтникъ Эрастъ Андреевичъ Грустиловъ. Человѣкъ онъ былъ чувствительный, и когда говорилъ о взаимныхъ отношеніяхъ двухъ половъ, то краснѣлъ. Только-что передъ этимъ онъ сочинилъ повѣсть подъ названіемъ: «Сатурнъ, останавливающій свой бѣгъ въ объятіяхъ Венеры», въ которой, по выраженію критиковъ того времени, счастливо сочеталась нѣжность Апулея съ игривостью Парни. Подъ именемъ Сатурна онъ изображалъ себя, подъ именемъ Венеры—извѣстную тогда красавицу, Наталью Кирилловну де-Помпадуръ. «Сатурнъ,—писалъ онъ:—былъ обремененъ годами и имѣлъ согбенный видъ, но еще могъ нѣкоторое совершить. Надо же, чтобъ Венера, примѣтивъ сію въ немъ особенность, остановила на немъ благосклонный свой взглядъ»...

Но меланхолическій видъ (предтеча будущаго мистицизма) прикрывалъ въ немъ много наклонностей, несомнѣнно порочныхъ. Такъ, напримѣръ, извѣстно было, что, находясь при дѣйствующей арміи провіантмейстеромъ, онъ довольно непринужденно распоряжался казенною собственностью и облегчалъ себя отъ нареканій собственной совѣсти только тѣмъ, что, взирая на солдатъ, ѣвшихъ затхлый хлѣбъ, проливалъ обильныя слезы. Извѣстно было также, что и къ мадамъ де-Помпадуръ проникъ онъ отнюдь не съ помощью какой-то «особенности», а просто съ помощью денежныхъ приношеній, и при ея посредствѣ избавился отъ суда и даже получилъ высшее противъ прежняго назначеніе. Когда же Помпадурша была — «за слабое дер-

жаніе нѣкоторой тайности»—сослана въ монастырь и пострижена подъ именемъ инокини Нимфодоры, то онъ первый бросилъ въ нее камнемъ и написалъ «Повѣсть о нѣкоторой многолюбивой женѣ», въ которой дѣлалъ очень ясные намеки на прежнюю свою благодѣтельницу. Сверхъ того онъ робѣлъ и краснѣлъ въ присутствіи женщинъ, но подъ этою робостью таилось то пущее сластолюбіе, которое любитъ предварительно раздражить себя и потомъ уже неуклонно стремится къ начертанной цѣли. Примѣровъ этого затаеннаго, но жгучаго сластолюбія разсказывали множество. Такимъ образомъ, однажды, одѣвшись лебедемъ, онъ подплылъ къ одной купавшейся дѣвицѣ, дочери благородныхъ родителей, у которой только и приданаго было, что красота, и въ то время, когда она гладила его по головкѣ, сдѣлалъ ее на всю жизнь несчастною. Однимъ словомъ, онъ основательно изучилъ миѳологію, и хотя любилъ прикидываться благочестивымъ, но, въ сущности, былъ злѣйшій идолопоклонникъ.

Глуповская распущенность пришлась ему по вкусу. При самомъ въѣздѣ въ городъ онъ встрѣтилъ процессію, которая сразу заинтересовала его. Шесть дѣвицъ, одѣтыхъ въ прозрачные хитоны, несли на носилкахъ Перуновъ болванъ; впереди, въ восторженномъ состояніи, скакала предводительша, покрытая одними страусовыми перьями; сзади слѣдовала толпа дворянъ и дворянокъ, между которыми виднѣлись почтеннѣйшіе представители глуповскаго купечества (мужики, мѣщане и краснорядцы побѣднѣе кланялись въ это время Волосу). Дойдя до площади, толпа остановилась. Перуна поставили на возвышеніе, преводительша встала на колѣни и громкимъ голосомъ начала читать «Жертву вечернюю» г. Боборыкина.

— Что̀ такое?—спросилъ Грустиловъ, высовываясь изъ кареты и кося исподтишка глазами на нарядъ предводительши.

— Перуновы именины справляютъ, ваше высокородіе!—отвѣчали въ одинъ голосъ квартальные.

— А дѣвочки... дѣвочки... есть? — какъ-то томно спросилъ Грустиловъ.

— Весь синклитъ-съ! — отвѣчали квартальные, сочувственно переглянувшись между собою.

Грустиловъ вздохнулъ и приказалъ слѣдовать далѣе.

Остановившись въ градоначальническомъ домѣ и освѣдомившись отъ письмоводителя, что недоимокъ нѣтъ, что

торговля процвѣтаетъ, а земледѣліе съ каждымъ годомъ совершенствуется, онъ задумался на минуту, потомъ помялся на одномъ мѣстѣ, какъ бы затрудняясь выразить завѣтную мысль, но, наконецъ, какимъ-то неувѣреннымъ голосомъ спросилъ:

— Тетерева у васъ водятся?

— Точно такъ-съ, ваше высокородіе!

— Я, знаете, мой почтеннѣйшій, люблю иногда... Хорошо иногда посмотрѣть, какъ они... какъ въ природѣ ликованье этакое бываетъ...

И покраснѣлъ. Письмоводитель тоже на минуту смутился, однакожъ, сейчасъ же вслѣдъ затѣмъ и нашелся.

— На что лучше-съ!—отвѣчалъ онъ:—только осмѣлюсь доложить вашему высокородію: у насъ на этотъ счетъ даже лучше зрѣлища видѣть можно-съ!

— Гм!.. да?..

— У насъ, ваше высокородіе, при предмѣстникѣ вашемъ, кокотки завелись, такъ у нихъ въ народномъ театрѣ какъ есть настоящій токъ устроенъ-съ. Каждый вечеръ собираются-съ, свищутъ-съ, ногами перебираютъ-съ.

— Любопытно взглянуть, — промолвилъ Грустиловъ и сладко задумался.

Въ то время существовало мнѣніе, что градоначальникъ есть хозяинъ города, обыватели же суть какъ бы его гости. Разница между «хозяиномъ» въ общепринятомъ значеніи этого слова и «хозяиномъ города» полагалась лишь въ томъ, что послѣдній имѣлъ право сѣчь своихъ гостей, что относительно хозяина обыкновеннаго приличіями не допускалось. Грустиловъ вспомнилъ объ этомъ правѣ и задумался еще слаще.

— А часто у васъ сѣкутъ?—спросилъ онъ письмоводителя, не поднимая на него глазъ.

— У насъ, ваше высокородіе, эта мода оставлена-съ. Со времени Онуфрія Иваныча господина Негодяева даже примѣровъ не было. Все лаской-съ.

— Ну-съ, а я сѣчь буду... дѣвочекъ!..—прибавилъ онъ, внезапно покраснѣвъ.

Такимъ образомъ характеръ внутренней политики опредѣлился ясно. Предполагалось продолжать дѣйствія пяти послѣднихъ градоначальниковъ, усугубивъ лишь элементъ гривуазности, внесенной виконтомъ Дю-Шаріо, и сдобривъ его, для вида, извѣстнымъ колоритомъ сентиментальности. Вліяніе кратковременной стоянки въ Парижѣ сказывалось

повсюду. Побѣдители, принявшіе впопыхахъ гидру деспотизма за гидру революціи и покорившіе ее, были въ свою очередь покорены побѣжденными. Величавая дикость прежняго времени исчезла безъ слѣда; вмѣсто гигантовъ, сгибавшихъ подковы и ломавшихъ цѣлковые, явились люди женоподобные, у которыхъ были на умѣ только милыя непристойности. Для этихъ непристойностей существовалъ особый языкъ. Любовное свиданіе мужчины съ женщиной именовалось «ѣздою на островъ любви»; грубая терминологія анатоміи замѣнилась болѣе утонченною; появились выраженія въ родѣ: «шаловливый мизантропъ», «милая отшельница» и т. д.

Тѣмъ не менѣе, говоря сравнительно, жить было все-таки легко, и эта легкость въ особенности приходилась понутру такъ-называемымъ смердамъ. Ударившись въ политеизмъ, осложненный гривуазностью, представители глуповской интеллигенціи сдѣлались равнодушны ко всему, что происходило внѣ замкнутой сферы «ѣзды на островъ любви». Они чувствовали себя счастливыми и довольными, и въ этомъ качествѣ не хотѣли препятствовать счастію и довольству другихъ. Во времена Бородавкиныхъ, Негодяевыхъ и проч., казалось, напримѣръ, непростительною дерзостью, если смердъ поливалъ свою кашу масломъ. Не потому это была дерзость, чтобы отъ того произошелъ для кого-нибудь ущербъ, а потому что люди, подобные Негодяеву—всегда отчаянные теоретики и предполагаютъ въ смердѣ одну способность: быть твердымъ въ бѣдствіяхъ. Поэтому они отнимали у смерда кашу и бросали собакамъ. Теперь этотъ взглядъ значительно измѣнился, чему, конечно, не въ малой степени содѣйствовало и размягченіе мозговъ — тогдашняя модная болѣзнь. Смерды воспользовались этимъ и наполняли свои желудки жирной кашей до крайнихъ предѣловъ. Имъ неизвѣстна еще была истина, что человѣкъ не одной кашей живетъ, и потому они думали, что если желудки ихъ полны, то это значитъ, что и сами они вполнѣ благополучны. По той же причинѣ они такъ охотно прилѣпились и къ многобожію: оно казалось имъ болѣе сподручнымъ, нежели монотеизмъ. Они охотнѣе преклонялись передъ Волосомъ или Ярилою, но въ то же время мотали себѣ на усъ, что если долгое время не будетъ у нихъ дождя или будутъ дожди слишкомъ продолжительные, то они могутъ своихъ излюбленныхъ боговъ высѣчь, обмазать нечистотами и вообще сорвать на нихъ досаду. И хотя

очевидно, что матеріализмъ столь грубый не могъ продолжительное время питать общество, но въ качествѣ новинки онъ нравился и даже опьянялъ.

Все спѣшило жить и наслаждаться; спѣшилъ и Грустиловъ. Онъ совсѣмъ бросилъ городническое правленіе и ограничилъ свою административную дѣятельность тѣмъ, что удвоилъ установленные предмѣстниками его оклады и требовалъ, чтобъ они бездоимочно поступали въ назначенные сроки. Все остальное время онъ посвятилъ поклоненію Кипридѣ въ тѣхъ неслыханно-разнообразныхъ формахъ, которыя были выработаны цивилизаціей того времени. Это безпечное отношеніе къ служебнымъ обязанностямъ было, однакожъ, со стороны Грустилова большою ошибкою.

Несмотря на то, что въ бытность свою провіантмейстеромъ Грустиловъ довольно ловко утаивалъ казенныя деньги, административная опытность его не была ни глубока, ни многостороння. Многіе думаютъ, что ежели человѣкъ умѣетъ незамѣтнымъ образомъ вытащить платокъ изъ кармана своего сосѣда, то этого будто бы уже достаточно, чтобы упрочить за нимъ репутацію политика или сердцевѣдца. Однако, это ошибка. Воры-сердцевѣдцы встрѣчаются чрезвычайно рѣдко; чаще же случается, что мошенникъ даже самый грандіозный только въ этой сферѣ и является замѣчательнымъ дѣятелемъ, внѣ же предѣловъ ея никакихъ способностей не выказываетъ. Для того, чтобы воровать съ успѣхомъ, нужно обладать только проворствомъ и жадностью. Жадность въ особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть подъ судъ. Но какими бы именами ни прикрывало себя ограбленіе, все-таки сфера грабителя останется совершенно другою, нежели сфера сердцевѣдца, ибо послѣдній уловляетъ людей, тогда какъ первый уловляетъ только принадлежащіе имъ бумажники и платки. Слѣдовательно, ежели человѣкъ, произведшій въ свою пользу отчужденіе на сумму въ нѣсколько милліоновъ рублей, сдѣлается впослѣдствіи даже меценатомъ и построитъ мраморный палаццо, въ которомъ сосредоточитъ всѣ чудеса науки и искусства, то его все-таки нельзя назвать искуснымъ общественнымъ дѣятелемъ, а слѣдуетъ назвать только искуснымъ мошенникомъ.

Но въ то время истины эти были еще неизвѣстны, и репутація сердцевѣдца утвердилась за Грустиловымъ безпрепятственно. Въ сущности, однакожъ, это было не такъ. Если бы Грустиловъ стоялъ на высотѣ своего положенія,

онъ понялъ бы, что предмѣстники его, возведшіе тунеядство въ административный принципъ, заблуждались очень горько, и что тунеядство, какъ животворное начало, только тогда можетъ считать себя достигающимъ полезныхъ цѣлей, когда оно концентрируется въ извѣстныхъ предѣлахъ. Если тунеядство существуетъ, то предполагается само собою, что рядомъ съ нимъ существуетъ и трудолюбіе—на этомъ зиждется вся наука политической экономіи. Трудолюбіе питаетъ тунеядство, тунеядство же оплодотворяетъ трудолюбіе—вотъ единственная формула, которую, съ точки зрѣнія науки, можно свободно прилагать ко всѣмъ явленіямъ жизни. Грустиловъ ничего этого не понималъ. Онъ думалъ, что тунеядствовать могутъ всѣ поголовно и что производительныя силы страны не только не изсякнутъ отъ этого, но даже увеличатся. Это было первое грубое его заблужденіе.

Второе заблужденіе заключалось въ томъ, что онъ слишкомъ увлекся блестящею стороною внутренней политики своихъ предшественниковъ. Внимая разсказамъ о благосклонномъ бездѣйствіи маіора Прыща, онъ соблазнился картиною общаго ликованія, бывшаго результатомъ этого бездѣйствія. Но онъ упустилъ изъ виду, во-первыхъ, что народы даже самые зрѣлые не могутъ благоденствовать слишкомъ продолжительное время, не рискуя впасть въ грубый матеріализмъ, и во-вторыхъ, что собственно въ Глуповѣ, благодаря вывезенному изъ Парижа духу вольномыслія, благоденствіе въ значительной степени осложнялось озорствомъ. Нѣтъ спора, что можно и даже должно давать народамъ случай вкушать отъ плода познанія добра и зла, но нужно держать этотъ плодъ твердой рукою и притомъ такъ, чтобы можно было во всякое время отнять его отъ слишкомъ лакомыхъ устъ.

Послѣдствія этихъ заблужденій сказались очень скоро. Уже въ 1815 году въ Глуповѣ былъ чувствительный недородъ, а въ слѣдующемъ году не родилось совсѣмъ ничего, потому что обыватели, развращенные постоянной гульбой, до того понадѣялись на свое счастіе, что, не вспахавъ земли, зря разбросали зерно по цѣлинѣ.

— И такъ, шельма, родитъ!—говорили они въ чаду гордыни.

Но надежды ихъ не сбылись, и когда поля весной освободились отъ снѣга, то глуповцы не безъ изумленія увидѣли, что они стоятъ совсѣмъ голыя. По обыкновенію,

явленіе это приписали дѣйствію враждебныхъ силъ и завинили боговъ за то, что они не оказали жителямъ достаточной защиты. Начали сѣчь Волоса, который выдержалъ наказаніе стоически; потомъ принялись за Ярилу, и говорятъ, будто бы въ глазахъ его показались слезы. Глуповцы въ ужасѣ разбѣжались по кабакамъ и стали ждать, что будетъ. Но ничего особеннаго не произошло. Былъ дождь и было вёдро, но полезныхъ злаковъ на незасѣянныхъ поляхъ не появилось.

Грустиловъ присутствовалъ на костюмированномъ балу (въ то время у глуповцевъ была каждый день масленица), когда вѣсть о бѣдствіи, угрожавшемъ Глупову, дошла до него. Повидимому, онъ ничего не подозрѣвалъ. Весело шутя съ предводительшей, онъ разсказывалъ ей, что въ скоромъ времени ожидается такая выкройка дамскихъ платьевъ, что можно будетъ по прямой линіи видѣть паркетъ, на которомъ стоитъ женщина. Потомъ завелъ рѣчь о прелестяхъ уединенной жизни и вскользь заявилъ, что онъ и самъ надѣется когда-нибудь найти отдохновеніе въ стѣнахъ монастыря.

— Конечно, женскаго?—спросила предводительша, лукаво улыбаясь.

— Если вы изволите быть въ немъ настоятельницей, то я хоть сейчасъ готовъ дать обѣтъ послушанія,—галантерейно отвѣчалъ Грустиловъ.

Но этому вечеру суждено было провести глубокую демаркаціонную черту во внутренней политикѣ Грустилова. Балъ разгорался, танцующіе кружились неистово; въ вихрѣ развѣвающихся платьевъ и локоновъ мелькали бѣлыя, обнаженныя, душистыя плечи. Постепенно разыгрываясь, фантазія Грустилова умчалась, наконецъ, въ надзвѣздный міръ, куда онъ, по очереди, переселилъ вмѣстѣ съ собою всѣхъ этихъ полуобнаженныхъ богинь, которыхъ бюсты такъ глубоко уязвляли его сердце. Скоро, однакожъ, и въ надзвѣздномъ мірѣ сдѣлалось душно; тогда онъ удалился въ уединенную комнату и, усѣвшись среди зелени померанцевъ и миртовъ, впалъ въ забытье.

Въ эту самую минуту передъ нимъ явилась маска и положила ему на плечо свою руку. Онъ сразу понялъ, что это—*она*. Она такъ тихо подошла къ нему, какъ будто подъ атласнымъ домино, довольно, впрочемъ, явственно обличавшимъ ея воздушныя формы, скрывалась не женщина, а сильфъ. По плечамъ разсыпались русые, почти пепель-

ные кудри, изъ-подъ маски глядѣли голубые глаза, а обнаженный подбородокъ обнаруживалъ существованіе ямочки, въ которой, казалось, свилъ свое гнѣздо амуръ. Все въ ней было полно какого-то скромнаго и въ то же время не-безразсчетнаго изящества, начиная отъ духовъ violettes de Parme, которыми опрысканъ былъ ея платокъ, и кончая щегольскою перчаткой, обтягивавшей ея маленькую, аристократическую ручку. Очевидно, однакожъ, что она находилась въ волненіи, потому что грудь ея трепетно поднималась, а голосъ, напоминавшій райскую музыку, слегка дрожалъ.

— Проснись, падшій братъ!—сказала она Грустилову.

Грустиловъ не понялъ: онъ думалъ, что ей представилось, будто онъ спитъ, и въ доказательство, что это ошибка, сталъ простирать руки.

— Не о тѣлѣ, а о душѣ говорю я!—грустно продолжала маска:—не тѣло, а душа спитъ... глубоко спитъ!

Тутъ только понялъ Грустиловъ, въ чемъ дѣло; но такъ какъ душа его закоснѣла въ идолопоклонствѣ, то слово истины, конечно, не могло сразу проникнуть въ нее. Онъ даже заподозрилъ въ первую минуту, что подъ маской скрывается юродивая Аксиньюшка, та самая, которая, еще при Ѳердыщенкѣ, предсказала большой глуповскій пожаръ, и которая, во время отпаденія глуповцевъ въ идолопоклонство, одна осталась вѣрною истинному Богу.

— Нѣтъ, я не та, которую ты во мнѣ подозрѣваешь,—продолжала, между тѣмъ, таинственная незнакомка, какъ бы угадавъ его мысли:—я не Аксиньюшка, ибо недостойна облобызать даже прахъ ея ногъ. Я просто такая же грѣшница, какъ и ты!

Съ этими словами она сняла съ лица своего маску.

Грустиловъ былъ пораженъ. Передъ нимъ было прелестнѣйшее женское личико, какое когда-нибудь удавалось ему видѣть. Случилось ему, правда, встрѣтить нѣчто подобное въ вольномъ городѣ Гамбургѣ, но это было такъ давно, что прошлое казалось какъ бы задернутымъ пеленою. Да, это именно тѣ самыя пепельные кудри, та самая матовая бѣлизна лица, тѣ самые голубые глаза, тотъ самый полный и трепещущій бюстъ; но какъ все это преобразилось въ новой обстановкѣ, какъ выступило впередъ лучшими, интереснѣйшими своими сторонами! Но еще болѣе поразило Грустилова, что незнакомка съ такою прозорливостью угадала его предположеніе объ Аксиньюшкѣ...

— Я—твое внутреннее слово! Я послана объявить тебѣ свѣтъ Ѳавора, котораго ты ищешь, самъ того не зная!—продолжала, между тѣмъ, незнакомка:—но не спрашивай, кто меня послалъ, потому что я и сама объявить о семъ не умѣю!

— Но кто же ты?—вскричалъ встревоженный Грустиловъ.

— Я та самая юродивая дѣва, которую ты видѣлъ съ потухшимъ свѣтильникомъ въ вольномъ городѣ Гамбургѣ! Долгое время находилась я въ состояніи томленія, долгое время безуспѣшно стремилась къ свѣту, но князь тьмы слишкомъ искусенъ, чтобы разомъ упустить изъ рукъ свою жертву! Однако *тамъ* мой путь уже былъ начертанъ! Явился здѣшній аптекарь Пфейферъ и, вступивъ со мной въ бракъ, увлекъ меня въ Глуповъ; здѣсь я познакомилась съ Аксиньюшкой,—и задача просвѣтлѣнія обозначилась передо мной такъ ясно, что восторгъ овладѣлъ всѣмъ существомъ моимъ. Но если бы ты зналъ, какъ жестока была борьба!

Она остановилась, подавленная скорбными воспоминаніями; онъ же алчно простиралъ руки, какъ бы желая осязать это непостижимое существо.

— Прими руки!—кротко сказала она:—не осязаніемъ, но мыслью ты долженъ прикасаться ко мнѣ, чтобы выслушать то, что̀ я должна тебѣ открыть!

— Но не лучше ли будетъ, ежели мы удалимся въ комнату болѣе уединенную!—спросилъ онъ робко, какъ бы самъ сомнѣваясь въ приличіи своего вопроса.

Однакожъ, она согласилась, и они удалились въ одинъ изъ тѣхъ очаровательныхъ пріютовъ, которые со временъ Микаладзе устраивались для градоначальниковъ во всѣхъ мало-мальски порядочныхъ домахъ города Глупова. Что̀ происходило между ними—это для всѣхъ осталось тайною; но онъ вышелъ изъ пріюта разстроенный и съ заплаканными глазами. *Внутреннее слово* подѣйствовало такъ сильно, что онъ даже не удостоилъ танцующихъ взглядомъ и прямо отправился домой.

Происшествіе это произвело сильное впечатлѣніе на глуповцевъ. Стали доискиваться, откуда явилась Пфейферша. Одни говорили, что она не болѣе какъ интриганка, которая, съ вѣдома мужа, задумала овладѣть Грустиловымъ, чтобы вытѣснить изъ города аптекаря Зальцфиша, дѣлавшаго Пфейферу сильную конкуренцію. Другіе утверждали, что Пфейферша еще въ вольномъ городѣ Гамбургѣ полю-

била Грустилова за его меланхолическій видъ и вышла замужъ за Пфейфера единственно затѣмъ, чтобы соединиться съ Грустиловымъ и сосредоточить на себѣ ту чувствительность, которую онъ безполезно растрачивалъ на такія пустыя зрѣлища, какъ токованье тетеревовъ и кокотокъ.

Какъ бы то ни было, нельзя отвергать, что это была женщина далеко не дюжинная. Изъ оставшейся послѣ нея переписки видно, что она находилась въ сношеніяхъ со всѣми знаменитѣйшими мистиками и піэтистами того времени, и что Лабзинъ, напримѣръ, посвящалъ ей тѣ избраннѣйшія свои сочиненія, которыя не предназначались для печати. Сверхъ того, она написала нѣсколько романовъ, изъ которыхъ въ одномъ, подъ названіемъ «Скиталица Дотея», изобразила себя въ наилучшемъ свѣтѣ. «Она была привлекательна на видъ,—писалось въ этомъ романѣ о героинѣ:—но хотя многіе мужчины желали ея ласкъ, она оставалась холодною и какъ бы загадочною. Тѣмъ не менѣе душа ея жаждала непрестанно, и когда въ этихъ поискахъ встрѣтилась съ однимъ знаменитымъ химикомъ (такъ называла она Пфейфера), то прилѣпилась къ нему безконечно. Но при первомъ же земномъ ощущеніи она поняла, что жажда ея не удовлетворена»... и т. д.

Возвратившись домой, Грустиловъ цѣлую ночь плакалъ. Воображеніе его рисовало грѣховную бездну, на днѣ которой метались черти. Были тутъ и кокотки, и кокодесы, и даже тетерева—и все огненные. Одинъ изъ чертей вылѣзъ изъ бездны и поднесъ ему любимое его кушанье, но едва онъ прикоснулся къ нему устами, какъ по комнатѣ распространился смрадъ. Но что всего болѣе ужасало его, такъ это горькая увѣренность, что не одинъ онъ погрязъ, но въ лицѣ его погрязъ и весь Глуповъ.

— За всѣхъ отвѣтить, или всѣхъ спасти!—кричалъ онъ, цѣпенѣя отъ страха,—и, конечно, рѣшился спасти.

На другой день, раннимъ утромъ, глуповцы были изумлены, услыхавъ мѣрный звонъ колокола, призывавшій жителей къ заутренѣ. Давнымъ-давно уже не раздавался этотъ звонъ, такъ что глуповцы даже забыли о немъ. Многіе думали, что гдѣ-нибудь горитъ, и вмѣсто пожара увидѣли зрѣлище болѣе умилительное. Безъ шапки, въ разодранномъ вицмундирѣ, съ опущенной долу головой и бія себя въ перси, шелъ Грустиловъ впереди процессіи, состоявшей, впрочемъ, лишь изъ чиновъ полицейской и пожарной команды. Сзади процессіи слѣдовала Пфейферша, безъ кринолина;

съ одной стороны ее конвоировала Аксиньюшка, съ другой— знаменитый юродивый Парамоша, замѣнившій въ любви глуповцевъ не менѣе знаменитаго Архипушку, который сгорѣлъ такимъ трагическимъ образомъ въ общій пожаръ (см. «Соломенный городъ»).

Отслушавъ заутреню, Грустиловъ вышелъ изъ церкви ободренный и, указывая Пфейфершѣ на вытянувшихся въ струнку пожарныхъ и полицейскихъ солдатъ («кои и во время глуповскаго безпутства втайнѣ истинному Богу вѣрны пребывали», присовокупляетъ лѣтописецъ), сказалъ:

— Видя внезапное сихъ людей усердіе, я въ точности позналъ, сколь быстрое имѣетъ дѣйствіе сія вещь, которую вы, сударыня моя, внутреннимъ словомъ справедливо именуете.

И потомъ, обращаясь къ квартальнымъ, прибавилъ:

— Дайте симъ людямъ, за ихъ усердіе, по гривеннику!

— Рады стараться, ваше высокородіе, — гаркнули въ одинъ голосъ полицейскіе и скорымъ шагомъ направились въ кабакъ.

Таково было первое дѣйствіе Грустилова послѣ внезапнаго его обновленія. Затѣмъ онъ отправился къ Аксиньюшкѣ, такъ какъ безъ ея нравственной поддержки никакого успѣха въ дальнѣйшемъ ходѣ дѣла ожидать было невозможно. Аксиньюшка жила на самомъ краю города, въ какой-то землянкѣ, которая скорѣе похожа была на кротовью нору, нежели на человѣческое жилище. Съ ней же, въ нравственномъ сожитіи, находился и блаженный Парамоша. Сопровождаемый Пфейфершей, Грустиловъ ощупью спустился по темной лѣстницѣ внизъ и едва могъ нащупать дверь. Зрѣлище, представившееся глазамъ его, было поразительное. На грязномъ голомъ полу валялись два полуобнаженные человѣческіе остова (это были сами блаженные, уже успѣвшіе возвратиться съ богомолья), которые бормотали и выкрикивали какія-то безсвязныя слова и въ то же время вздрагивали, кривлялись и корчились словно въ лихорадкѣ. Мутный свѣтъ проходилъ въ нору сквозь единственное крошечное окошко, покрытое слоемъ пыли и паутины; на стѣнахъ слоилась сырость и плѣсень. Запахъ былъ до того отвратительный, что Грустиловъ въ первую минуту сконфузился и зажалъ носъ. Прозорливая старушка замѣтила это.

— Духи царскіе! духи райскіе! — запѣла она пронзительнымъ голосомъ:—не надо ли кому духовъ?

И сдѣлала при этомъ такое движеніе, что Грустиловъ навѣрное поколебался бы, если-бъ Пфейферша не поддержала его.

— Спитъ душа твоя... спитъ глубоко!—сказала она строго:—а еще такъ недавно ты хвалился своей бодростью!

— Спитъ душенька на подушечкѣ... спитъ душенька на перинушкѣ... а боженька тукъ-тукъ! да по головкѣ тукъ-тукъ! да по темечку тукъ-тукъ!—визжала блаженная, бросая въ Грустилова щепками, землею и соромъ.

Парамоша лаялъ по-собачьи и кричалъ по-пѣтушиному.

— Брысь, сатана! пѣтухъ запѣлъ!—бормоталъ онъ въ промежуткахъ.

— Маловѣрный! Вспомни внутреннее слово!—настаивала съ своей стороны Пфейферша.

Грустиловъ ободрился.

— Матушка Аксинья Егоровна! извольте меня разрѣшить!—сказалъ онъ твердымъ голосомъ.

— Я и Егоровна, я и тараторовна! Ярило—мерзило! Волосъ—безъ волосъ! Перунъ старый... Парамонъ—онъ уменъ!—провизжала блаженная, скорчилась и умолкла.

Грустиловъ озирался въ недоумѣніи.

— Это значитъ, что слѣдуетъ поклониться Парамону Мелентьичу!—подсказала Пфейферша.

— Батюшка, Парамонъ Мелентьичъ! извольте меня разрѣшить!—поклонился Грустиловъ.

Но Парамоша нѣкоторое время только корчился и икалъ.

— Ниже! ниже поклонись! — командовала блаженная:— не жалѣй спины-то! не твоя спина—Божья!

— Извольте меня, батюшка, разрѣшить! — повторилъ Грустиловъ, кланяясь ниже.

— Безъ працы не бенды кололацы!—пробормоталъ блаженный дикимъ голосомъ—и вдругъ вскочилъ.

Немедленно вслѣдъ за нимъ вскочила и Аксиньюшка, и начали они кружиться. Сперва кружились медленно и потихоньку всхлипывали; потомъ круги начали дѣлаться быстрѣе и быстрѣе, покуда, наконецъ, не перешли въ совершенный вихрь. Послышался хохотъ, визгъ, трели, всхлебыванія, подобныя тѣмъ, которыя можно слышать только весной въ пруду, дающемъ пріютъ миріадамъ лягушекъ.

Грустиловъ и Пфейферша стояли нѣкоторое время въ ужасѣ, но, наконецъ, не выдержали. Сначала они вздрагивали и присѣдали, потомъ постепенно начали кружиться и вдругъ завихрились и захохотали. Это означало, что наитіе совершилось, и просимое разрѣшеніе получено.

Грустиловъ возвратился домой усталый до изнеможенія; однакожъ, онъ еще нашелъ въ себѣ достаточно силы, чтобы подписать распоряженіе о наиноспѣшнѣйшей высылкѣ изъ города аптекаря Зальцфиша. Вѣрные ликовали, а причетники, въ теченіе многихъ лѣтъ питавшіеся одними негодными злаками, закололи барана, и мало того, что съѣли его всего, не пощадивъ даже копытъ, но долгое время скребли ножомъ столъ, на которомъ лежало мясо, и съ жадностью ѣли стружки, какъ бы опасаясь утратить хотя одинъ атомъ питательнаго вещества. Въ тотъ же день Грустиловъ надѣлъ на себя вериги (впослѣдствіи оказалось, впрочемъ, что это были просто помочи, которыя дотолѣ не были въ Глуповѣ въ употребленіи) и подвергнулъ свое тѣло бичеванію. «Въ первый разъ сегодня я понялъ,—писалъ онъ по этому случаю Пфейфершѣ:—что̀ значатъ слова: *вкладиѣ уязви мя,* которыя вы сказали мнѣ при первомъ свиданіи, дорогая сестра моя по духу! Сначала бичевалъ я себя съ нѣкоторою уклончивостью, но, постепенно разгораясь, позвалъ, подъ конецъ, денщика и сказалъ ему: хлещи! И что же? даже сіе оказалось недостаточнымъ, такъ что я вынужденнымъ нашелся расковырять себѣ на невидномъ мѣстѣ рану, но и отъ того не страдалъ, а находился въ восхищеніи. Отнюдь не больно! Столь меня сіе удивило, что я и доселѣ спрашиваю себя: полно, страданіе ли это, и не скрывается ли здѣсь какой-либо особливый видъ плотоугодничества и самовосхищенія? Жду васъ къ себѣ, дорогая сестра моя по духу, дабы разрѣшить сей вопросъ въ совокупномъ разсмотрѣніи».

Можетъ показаться страннымъ, какимъ образомъ Грустиловъ, будучи однимъ изъ гривуазнѣйшихъ поклонниковъ мамоны, столь быстро обратился въ аскета. На это могу сказать одно: кто не вѣритъ въ волшебныя превращенія, тотъ пусть не читаетъ лѣтописи Глупова. Чудесъ этого рода можно найти здѣсь даже болѣе, чѣмъ нужно. Такъ, напримѣръ, одинъ начальникъ плюнулъ подчиненному въ глаза, и тотъ прозрѣлъ. Другой начальникъ сталъ сѣчь неплательщика, думая преслѣдовать въ этомъ случаѣ лишь воспитательную цѣль, и совершенно неожиданно открылъ, что въ спинѣ у сѣкомаго зарытъ кладъ *). Если факты, до

*) Реальность этого факта подтверждается тѣмъ, что съ тѣхъ поръ сѣченіе было признано лучшимъ способомъ для взысканія недоимокъ.—*Изд.*

такой степени диковинные, не возбуждаютъ ни въ комъ недовѣрія, то можно ли удивляться превращенію столь обыкновенному, какъ то, которое случилось съ Грустиловымъ?

Но, съ другой стороны, этотъ же фактъ объясняется и инымъ путемъ, болѣе естественнымъ. Есть указанія, которыя заставляютъ думать, что аскетизмъ Грустилова былъ совсѣмъ не такъ суровъ, какъ это можно предполагать съ перваго взгляда. Мы уже видѣли, что такъ-называемыя вериги его были не болѣе какъ помочи; изъ дальнѣйшихъ же объясненій лѣтописца усматривается, что и прочіе подвиги были весьма преувеличены Грустиловымъ, и что они въ значительной степени сдабривались духовною любовью. Шелепъ, которымъ онъ бичевалъ себя, былъ бархатный (онъ и доселѣ хранится въ глуповскомъ архивѣ); постъ же состоялъ въ томъ, что онъ къ прежнимъ кушаньямъ прибавилъ рыбу тюрбо, которую выписывалъ изъ Парижа на счетъ обывателей. Что же тутъ удивительнаго, что бичеваніе приводило его въ восторгъ и что самыя язвы казались восхитительными?

Между тѣмъ колоколъ продолжалъ въ урочное время призывать къ молитвѣ, и число вѣрныхъ съ каждымъ днемъ увеличивалось. Сначала ходили только полицейскіе, но потомъ, глядя на нихъ, стали ходить и посторонніе. Грустиловъ съ своей стороны подавалъ примѣръ истиннаго благочестія, плюя на капище Перуна каждый разъ, какъ проходилъ мимо него. Можетъ-быть, такъ и разрѣшилось бы это дѣло исподволь, если-бъ мирному исходу его не помѣшали замыслы нѣкоторыхъ безпокойныхъ честолюбцевъ, которые уже и въ то время были извѣстны подъ именемъ «крайнихъ».

Во главѣ партіи состояли тѣ же Аксиньюшка и Парамоша, имѣя за собой цѣлую толпу нищихъ и калѣкъ. У нищихъ единственнымъ источникомъ пропитанія было прошеніе милостыни на церковныхъ папертяхъ; но такъ какъ древнее благочестіе въ Глуповѣ на нѣкоторое время прекратилось, то естественно, что источникъ этотъ значительно оскудѣлъ. Реформы, затѣянныя Грустиловымъ, были встрѣчены со стороны ихъ громкимъ сочувствіемъ; густою толпою убогіе люди наполняли дворъ градоначальническаго дома: одни ковыляли на деревяжкахъ, другіе ползали на четверенькахъ. Всѣ славословили, но въ то же время уже всѣ единогласно требовали, чтобы обновленіе совершилось сію минуту, и чтобъ наблюденіе за этимъ дѣломъ было воз-

ложено на нихъ. И тутъ, какъ всегда, голодъ оказался плохимъ совѣтчикомъ, а медленныя, но твердыя и дальновидныя дѣйствія градоначальника подверглись превратнымъ толкованіямъ. Напрасно льстилъ Грустиловъ страстямъ калѣкъ, высылая имъ остатки отъ своей обильной трапезы; напрасно объяснялъ онъ выборнымъ отъ убогихъ людей, что постепенность не есть потворство, а лишь вящшее упроченіе затѣяннаго предпріятія—калѣки ничего не хотѣли слышать. Гнѣвно потрясали они своими деревяжками и громко угрожали поднять знамя бунта.

Опасность предстояла серьезная, ибо для того, чтобы усмирять убогихъ людей, необходимо имѣть гораздо бо́льшій запасъ храбрости, нежели для того, чтобы палить въ людей, не имѣющихъ изъяновъ. Грустиловъ понималъ это. Сверхъ того, онъ уже потому чувствовалъ себя беззащитнымъ передъ демагогами, что послѣдніе, такъ сказать, считали его своимъ созданіемъ и въ этомъ смыслѣ дѣйствовали до крайности ловко. Во-первыхъ, они окружили себя цѣлою сѣтью доносовъ, посредствомъ которыхъ до свѣдѣнія Грустилова доводился всякій слухъ, къ посрамленію его чести относящійся; во-вторыхъ, они заинтересовали въ свою пользу Пфейфершу, посуливъ ей часть такъ-называемаго посумнаго сбора (этимъ сборомъ облагалась каждая нищенская сумà; впослѣдствіи онъ легъ въ основаніе финансовой системы города Глупова).

Пфейферша денно и нощно приставала къ Грустилову, въ особенности преслѣдуя его перепискою, которая, несмотря на короткое время, представляла уже въ объемѣ довольно обширный томъ. Основаніе ея писемъ составляли видѣнія, содержаніе которыхъ измѣнялось, смотря по тому, довольна или недовольна она была своимъ «духовнымъ братомъ». Въ одномъ письмѣ она видитъ его «ходящимъ по облаку» и утверждаетъ, что не только она, но и Пфейферъ это видѣлъ; въ другомъ усматриваетъ его въ геенѣ огненной въ сообществѣ съ чертями всевозможныхъ наименованій. Въ одномъ письмѣ развиваетъ мысль, что градоначальники вообще имѣютъ право на безусловное блаженство въ загробной жизни, по тому одному, что они градоначальники; въ другомъ утверждаетъ, что градоначальники обязаны обращать на свое поведеніе особенное вниманіе, такъ какъ въ загробной жизни они, противъ всякаго другого, подвергаются истязаніямъ вдвое и втрое. Все равно какъ папы или князья.

Въ данномъ случаѣ письма ея имѣли характеръ угрожающій. «Спѣшу извѣстить васъ, — писала она въ одномъ изъ нихъ:—что̀ я въ сію ночь во снѣ видѣла. Стоите вы въ темномъ и смрадномъ мѣстѣ и привязаны къ столбу, а привязки сдѣланы изъ змій и на груди (у васъ) доска, на которой написано: сей есть вѣдомый покровитель нечестивыхъ и агарянъ (sic). И бѣсы, собравшись, радуются, а праведные стоятъ въ отдаленіи и, взирая на васъ, льютъ слезы. Извольте сами разсмотрѣть, не видится ли тутъ какого не совсѣмъ выгоднаго для васъ предзнаменованія?»

Читая эти письма, Грустиловъ приходилъ въ необычайное волненіе. Съ одной стороны природная склонность къ апатіи, съ другой страхъ чертей—все это производило въ его головѣ какой-то неслыханный сумбуръ, среди котораго онъ путался въ самыхъ противорѣчивыхъ предположеніяхъ и мѣропріятіяхъ. Одно казалось яснымъ: что онъ тогда только будетъ благополученъ, когда глуповцы поголовно станутъ ходить ко всенощной и когда инспекторомъ-наблюдателемъ всѣхъ глуповскихъ училищъ будетъ назначенъ Парамоша.

Это послѣднее условіе было въ особенности важно, и убогіе люди предъявляли его очень настойчиво. Развращеніе нравовъ дошло до того, что глуповцы посягнули проникнуть въ тайну построенія міровъ, и открыто рукоплескали учителю каллиграфіи, который, выйдя изъ предѣловъ своей спеціальности, проповѣдывалъ съ каѳедры, что міръ не могъ быть сотворенъ въ шесть дней. Убогіе очень основательно разсчитали, что если это мнѣніе утвердится, то вмѣстѣ съ тѣмъ разомъ рухнетъ все глуповское міросозерцаніе вообще. Всѣ части этого міросозерцанія такъ крѣпко цѣплялись другъ за друга, что невозможно было потревожить одну, чтобы не разрушить всего остального. Не вопросъ о порядкѣ сотворенія міра тутъ важенъ, а то, что вмѣстѣ съ этимъ вопросомъ могло вторгнуться въ жизнь какое-то совсѣмъ новое начало, которое, навѣрное, должно было испортить всю кашу. Путешественники того времени единогласно свидѣтельствуютъ, что глуповская жизнь поражала ихъ своею цѣльностью, и справедливо приписываютъ это счастливому отсутствію духа изслѣдованія. Если глуповцы съ твердостью переносили бѣдствія самыя ужасныя, если они и послѣ того продолжали жить, то они обязаны были этимъ только тому, что вообще всякое бѣдствіе представлялось имъ чѣмъ-то совершенно отъ нихъ независя-

щимъ, а потому и неотвратимымъ. Самое крайнее, что̀ дозволялось въ виду идущей навстрѣчу бѣды—это прижаться куда-нибудь къ сторонкѣ, затаить дыханіе и пропасть на все время, покуда бѣда будетъ кутить и мутить. Но и это уже считалось строптивостью; бороться же или открыто идти противъ бѣды—упаси Боже! Стало-быть, если допустить глуповцевъ разсуждать, то, пожалуй, они дойдутъ и до такихъ вопросовъ, какъ, напримѣръ, дѣйствительно ли существуетъ такое предопредѣленіе, которое дѣлаетъ для нихъ обязательнымъ претерпѣніе даже такого бѣдствія, какъ, напримѣръ, краткое, но совершенно безсмысленное градоправительство Брудастаго (см. выше разсказъ «Органчикъ»)? А такъ какъ вопросъ этотъ длинный, а руки у нихъ коротки, то очевидно, что существованіе вопроса только поколеблетъ ихъ твердость въ бѣдствіяхъ, но въ положеніи существеннаго улучшенія все-таки не сдѣлаетъ.

Но покуда Грустиловъ колебался, убогіе люди рѣшились дѣйствовать самостоятельно. Они ворвались въ квартиру учителя каллиграфіи Линкина, произвели въ ней обыскъ и нашли книгу: «Средства для истребленія блохъ, клоповъ и другихъ насѣкомыхъ». Съ торжествомъ вытолкали они Линкина на улицу и, потрясая воздухъ радостными восклицаніями, повели его на градоначальническій дворъ. Грустиловъ сначала растерялся и, разсмотрѣвъ книгу, началъ было объяснять, что она ничего не заключаетъ въ себѣ ни противъ религіи, ни противъ нравственности, ни даже противъ общественнаго спокойствія. Но нищіе ничего уже не слушали.

— Плохо ты, вѣрно, читалъ!—дерзко кричали они градоначальнику, и подняли такой гвалтъ, что Грустиловъ испугался и разсудилъ, что благоразуміе повелѣваетъ уступить требованіямъ общественнаго мнѣнія.

— Самъ ли ты зловредную оную книгу сочинилъ? А ежели не самъ, то кто тотъ завѣдомый воръ и сущій разбойникъ, который таковое злодѣйство учинилъ? И какъ ты съ тѣмъ воромъ знакомство свелъ? И отъ него ли ту книжицу получилъ? И ежели отъ него, то зачѣмъ, кому слѣдуетъ, о томъ не объявилъ, но, забывъ совѣсть, распутству его потакалъ и подражалъ?—такъ началъ Грустиловъ свой допросъ Линкину.

— Ни самъ я тоя книжицы не сочинялъ, ни сочинителя оной въ глаза не видывалъ, а напечатана она въ столич-

номъ городѣ Москвѣ, въ университетской типографіи, иждивеніемъ книгопродавцевъ Манухиныхъ!—твердо отвѣчалъ Линкинъ.

Толпѣ этотъ отвѣтъ не понравился, да и вообще она ожидала не того. Ей казалось, что Грустиловъ, какъ только приведутъ къ нему Линкина, разорветъ его пополамъ—и дѣло съ концомъ. А онъ, вмѣсто того, разговариваетъ! Поэтому, едва градоначальникъ разинулъ ротъ, чтобъ предложить второй вопросный пунктъ, какъ толпа загудѣла:

— Что ты съ нимъ балы-то точишь! Онъ въ Бога не вѣритъ!

Тогда Грустиловъ въ ужасѣ разодралъ на себѣ вицмундиръ.

— Точно ли ты въ Бога не вѣришь?— подскочилъ онъ къ Линкину, и по важности обвиненія, не выждавъ отвѣта, слегка ударилъ его, въ видѣ задатка, по щекѣ.

— Никому я о семъ не объявлялъ, — уклонился Линкинъ отъ прямого отвѣта.

— Свидѣтели есть! Свидѣтели!—гремѣла толпа.

Выступили впередъ два свидѣтеля: отставной солдатъ Карапузовъ да слѣпенькая нищенка Маремьянушка. «И было тѣмъ свидѣтелямъ дано за ложное показаніе по пятаку серебромъ», говоритъ лѣтописецъ, который въ этомъ случаѣ явно становится на сторону угнетеннаго Линкина.

— Намеднись, а когда именно—не упомню,—свидѣтельствовалъ Карапузовъ:—сидѣлъ я въ кабакѣ и пилъ вино, а неподалеку отъ меня сидѣлъ этотъ самый учитель и тоже пилъ вино. И выпивши онъ того вина довольно, сказалъ: «всѣ мы, что человѣки, что скоты—все едино; всѣ помремъ и всѣ къ чортовой матери пойдемъ!»

— Но когда же...—заикнулся-было Линкинъ.

— Стой! Ты погоди пасть-то разѣвать! Пускай сперва свидѣтель доскажетъ!—крикнула на него толпа.

— И будучи я приведенъ отъ тѣхъ его словъ въ соблазнъ,—продолжалъ Карапузовъ:—кроткимъ манеромъ сказалъ ему: какъ же, молъ, это такъ, ваше благородіе? Ужели, молъ, что человѣкъ, что скотина—все едино? И за что, молъ, вы такъ насъ порочите, что и мѣста другого, кромѣ какъ у чортовой матери, для насъ не нашли? Батюшки, молъ, наши духовные не тому насъ учили,—вотъ что! Ну, онъ-это взглянулъ на меня этакъ съискоса: «ты, говоритъ, колченогій (а у меня, ваше высокородіе, точно-что подъ Очаковымъ ногу унесло), въ полиціи, видно, служишь?»— взялъ шапку и вышелъ изъ кабака вонъ.

Линкинъ разинулъ ротъ, но это только пуще раздражило толпу.

— Да зажми ты ему пасть-то! — кричала она Грустилову:—ишь рѣчистый какой выискался!

Карапузова смѣнила Маремьянушка.

— Сижу я намѣднись въ питейномъ,—свидѣтельствовала она:—и тошно мнѣ, слѣпенькой, стало; сижу этакъ-то и все думаю: куда, молъ, нонче народъ, противъ прежняго, гордѣе сталъ! Бога забыли, въ посты скоромное ѣдятъ, нищихъ не одѣляютъ; смотри, молъ, скоро и на солнышко прямо смотрѣть станутъ! Право. Только и подходитъ ко мнѣ самый этотъ молодецъ: «слѣпа, бабушка?» говоритъ.— Слѣпенькая, молъ, ваше высокое благородіе. — «А отчего, молъ, ты слѣпа?»—Отъ Бога, говорю, ваше высокое благородіе.—«Какой тутъ Богъ! Отъ воспы, чай?»—это онъ-то все говоритъ. — А воспа-то, говорю, отъ кого же? — «Ну, да, отъ Бога, держи карманъ! Вы, говоритъ, въ сырости да въ нечистотѣ всю жизнь копаетесь, а Богъ виноватъ!»

Маремьянушка остановилась и заплакала.

— И такъ это меня обидѣло,—продолжала она, всхлипывая:—ужъ и не знаю какъ! За что же, молъ, ты Бога-то обидѣлъ?—говорю я ему. А онъ не то, чтобы что, плюнулъ мнѣ прямо въ глаза: «утрись, говоритъ, можетъ будешь видѣть»,—и былъ таковъ.

Обстоятельства дѣла выяснились вполнѣ; но такъ какъ Линкинъ непремѣнно требовалъ, чтобы была выслушана рѣчь его защитника, то Грустиловъ долженъ былъ, скрѣпя сердце, исполнить его требованіе. И точно: вышелъ изъ толпы какой-то отставной подьячій и сталъ говорить. Сначала говорилъ онъ довольно невнятно, но потомъ вникъ въ предметъ, и къ общему удивленію, вмѣсто того, чтобы защищать, сталъ обвинять. Это до того подѣйствовало на Линкина, что онъ сейчасъ же не только сознался во всемъ, но даже много прибавилъ такого, чего никогда и не бывало.

— Смотрѣлъ я однажды у пруда на лягушекъ, — говорилъ онъ:—и былъ смущенъ діаволомъ. И началъ себя бездѣльнымъ обычаемъ спрашивать, точно ли одинъ человѣкъ обладаетъ душою, и нѣтъ ли таковой у гадовъ земныхъ? И взявъ лягушку, изслѣдовалъ. И по изслѣдованіи нашелъ: точно, душа есть и у лягушки, токмо малая видомъ и не безсмертная.

Тогда Грустиловъ обратился къ убогимъ и, сказавъ:

— Сами видите!—приказалъ отвести Линкина въ часть.

Къ сожалѣнію, лѣтописецъ не разсказываетъ дальнѣйшихъ подробностей этой исторіи. Въ перепискѣ же Пфейферши сохранились лишь слѣдующія строки объ этомъ дѣлѣ: «вы, мужчины, очень счастливы, вы можете быть твердыми; но на меня вчерашнее зрѣлище произвело такое дѣйствіе, что Пфейферъ не на шутку встревожился и поскорѣй далъ мнѣ принять успокоительныхъ капель». И только.

Но происшествіе это было важно въ томъ отношеніи, что если прежде у Грустилова еще были кое-какія сомнѣнія насчетъ предстоящаго ему образа дѣйствія, то съ этой минуты они совершенно исчезли. Вечеромъ того же дня онъ назначилъ Парамошу инспекторомъ глуповскихъ училищъ, а другому юродивому, Яшенькѣ, предоставилъ каѳедру философіи, которую нарочно для него создалъ въ уѣздномъ училищѣ. Самъ же усердно принялся за сочиненіе трактата: «О восхищеніяхъ благочестивой души».

Въ самое короткое время физіономія города до того измѣнилась, что онъ сдѣлался почти неузнаваемъ. Вмѣсто прежняго буйства и пляски наступила могильная тишина, прерываемая лишь звономъ колоколовъ, которые звонили на всѣ манеры: и во вся, и въ одиночку, и съ перезвономъ. Капища запустѣли; идоловъ утопили въ рѣкѣ, а манежъ, въ которомъ давала представленія дѣвица Гандонъ, сожгли. Затѣмъ по всѣмъ улицамъ накурили смирною и лаваномъ, и тогда только обнадежились, что вражья сила окончательно посрамлена.

Но злаковъ на поляхъ все не прибавлялось, ибо глуповцы отъ бездѣйствія весело-буйственнаго перешли къ бездѣйствію мрачному. Напрасно они воздѣвали руки, напрасно облагали себя поклонами, давали обѣты, постились, устраивали процессіи—Богъ не внималъ мольбамъ. Кто-то заикнулся-было сказать, что «какъ ни какъ, а придется въ поле съ сохою выйти», но дерзкаго едва не побили каменьями, и въ отвѣтъ на его предложеніе утроили усердіе.

Между тѣмъ Парамоша съ Яшенькой дѣлали свое дѣло въ школахъ. Парамошу нельзя было узнать; онъ расчесалъ себѣ волосы, завелъ бархатную поддевку, душился, мылъ руки мыломъ до бѣла и въ этомъ видѣ ходилъ по школамъ и громилъ тѣхъ, которые надѣются на князя міра сего. Горько издѣвался онъ надъ суетными, тщеславными, высокоумными, которые о пищѣ тѣлесной заботятся, а духовную не бре-

гутъ, и приглашалъ всѣхъ удалиться въ пустыню. Яшенька, съ своей стороны, училъ, что сей міръ, который мы думаемъ очима своими видѣти, есть сонное нѣкое видѣніе, которое насылается на насъ врагомъ человѣчества, и что сами мы не болѣе какъ странники, изъ лона исходящіе и въ оное же входящіе. По мнѣнію его, человѣческія души, яко жито духовное, въ нѣкоей житницѣ сложены, и оттоль, въ мѣрѣ надобности, спущаются долу, дабы оное сонное видѣніе въ скорости увидѣти и по маломъ времени вспять въ благожелаемую житницу благоспѣшно возлетѣть. Существенные результаты такого ученія заключались въ слѣдующемъ: 1) что работать не слѣдуетъ; 2) тѣмъ менѣе надлежитъ провидѣть, заботиться и пещись, и 3) слѣдуетъ возлагать упованіе и созерцать—и ничего больше. Парамоша указывалъ даже, какъ нужно созерцать. «Для сего,— говорилъ онъ:—уединись въ самый удаленный уголъ комнаты, сядь, скрести руки подъ грудью и устреми взоры на пупокъ».

Аксиньюшка тоже не плошала, но била въ баклуши неутомимо. Она ходила по домамъ и разсказывала, какъ однажды чортъ водилъ ее по мытарствамъ, какъ она первоначально приняла его за странника, но потомъ догадалась и сразилась съ нимъ. Основныя начала ея ученія были тѣ же, что̀ у Парамоши и Яшеньки, то-есть, что работать не слѣдуетъ, а слѣдуетъ созерцать. «И, главное, подавать нищимъ, потому что нищіе не о мамонѣ пекутся, а о томъ, какъ бы душу свою спасти», присовокупляла она, протягивая при этомъ руку. Проповѣдь эта шла столь успѣшно, что и въ скоромъ времени она успѣла скопить довольно значительный капиталъ. Да и нельзя было не давать ей, потому что она всякому, не подающему милостыни, безъ церемоніи плевала въ глаза и, вмѣсто извиненія, говорила только: «не взыщи!»

Но представителей мѣстной интеллигенціи даже эта суровая обстановка уже не удовлетворяла. Она удовлетворяла лишь внѣшнимъ образомъ, но настоящаго уязвленія не доставляла. Конечно, они не высказывали этого публично и даже въ точности исполняли обрядовую сторону жизни, но это была только внѣшность, съ помощью которой они льстили народнымъ страстямъ. Ходя по улицамъ съ опущенными глазами, благоговѣйно приближаясь къ папертямъ, они какъ бы говорили смердамъ: смотрите! и мы не гнушаемся общенія съ вами! но, въ сущности, мысль

ихъ блуждала далече. Испорченные недавними вакханаліями политеизма и пресыщенные пряностями цивилизаціи, они не довольствовались просто вѣрою, но искали какихъ-то «восхищеній». Къ сожалѣнію, Грустиловъ первый пошелъ по этому пагубному пути и увлекъ за собой остальныхъ. Примѣтивъ на самомъ выѣздѣ изъ города полу-развалившееся зданіе, въ которомъ нѣкогда помѣщалась инвалидная команда, онъ устроилъ въ немъ сходбища, на которыя по ночамъ собирался весь такъ-называемый глуповскій бомондъ. Тутъ сначала читали критическія статьи г. Н. Страхова, но такъ какъ онѣ глупы, то скоро переходили къ другимъ занятіямъ. Предсѣдатель вставалъ съ мѣста и начиналъ корчиться; примѣру его слѣдовали другіе; потомъ, мало-по-малу, всѣ начинали скакать, кружиться, пѣть и кричать, и производили эти неистовства до тѣхъ поръ, покуда, совершенно измученные, не падали ницъ. Этотъ моментъ собственно и назывался «восхищеніемъ».

Могъ ли продолжаться такой жизненный установъ и сколько времени?—опредѣлительно отвѣчать на этотъ вопросъ довольно трудно. Главное препятствіе для его безсрочности представлялъ, конечно, недостатокъ продовольствія, какъ прямое слѣдствіе господствовавшаго въ то время аскетизма; но, съ другой стороны, исторія Глупова примѣрами совершенно положительными удостовѣряетъ насъ, что продовольствіе совсѣмъ не столь необходимо для счастія народовъ, какъ это кажется съ перваго взгляда. Ежели у человѣка есть подъ руками говядина, то онъ, конечно, охотнѣе питается ею, нежели другими, менѣе питательными веществами; но если мяса нѣтъ, то онъ столь же охотно питается хлѣбомъ, а буде и хлѣба недостаточно, то и лебедою. Стало-быть, это вопросъ еще спорный. Какъ бы то ни было, но безобразная глуповская затѣя разрѣшилась гораздо неожиданнѣе и совсѣмъ не отъ тѣхъ причинъ, которыхъ вліяніе можно было бы предполагать самымъ естественнымъ.

Дѣло въ томъ, что въ Глуповѣ жилъ нѣкоторый, не имѣющій опредѣленныхъ занятій, штабъ-офицеръ, которому было случайно оказано пренебреженіе. А именно, еще во времена политеизма, на именинномъ пирогѣ у Грустилова, всѣмъ лучшимъ гостямъ подали уху стерляжью, а штабъ-офицеру, — разумѣется, безъ вѣдома хозяина, — досталась уха изъ окуней. Гость проглотилъ обиду («только ложка въ рукѣ его задрожала», говоритъ лѣтописецъ), но въ душѣ

поклялся отомстить. Начались контры; сначала борьба велась глухо, но потомъ, чѣмъ дальше, тѣмъ разгоралась все пуще и пуще. Вопросъ объ ухѣ былъ забытъ и замѣнился другими вопросами политическаго и теологическаго свойства, такъ что когда штабъ-офицеру, изъ учтивости, предложили присутствовать при «восхищеніяхъ», то онъ наотрѣзъ отказался.

И былъ тотъ штабъ-офицеръ—доноситель...

Несмотря на то, что онъ не присутствовалъ на собраніяхъ лично, онъ зорко слѣдилъ за всѣмъ, что тамъ происходило. Скаканіе, круженіе, чтеніе статей Страхова,— ничто не укрылось отъ его проницательности. Но онъ ни словомъ, ни дѣломъ не выразилъ ни порицанія, ни одобренія всѣмъ этимъ дѣйствіямъ, а хладнокровно выжидалъ, покуда нарывъ созрѣетъ. И вотъ, эта вожделѣнная минута, наконецъ, наступила: ему попался въ руки экземпляръ сочиненной Грустиловымъ книги: «О восхищеніяхъ благочестивой души».

Въ одну изъ ночей кавалеры и дамы глуповскіе, по обыкновенію, собрались въ упраздненный домъ инвалидной команды. Чтеніе статей Страхова уже кончилось, и собравшіеся начинали слегка вздрагивать; но едва Грустиловъ, въ качествѣ предсѣдателя собранія, началъ присѣдать и вообще производить предварительныя дѣйствія, до восхищенія души относящіяся, какъ снаружи послышался шумъ. Въ ужасѣ бросились сектаторы ко всѣмъ наружнымъ выходамъ, забывъ даже потушить огни и устранить вещественныя доказательства... Но было уже поздно.

У самаго главнаго выхода стоялъ Угрюмъ-Бурчеевъ и вперялъ въ толпу цѣпенящій взоръ...

Но что̀ это былъ за взоръ!.. О, Господи! что это былъ за взоръ!..

XIII.—Подтвержденіе покаянія.—Заключеніе.

Онъ былъ ужасенъ.

Но онъ сознавалъ это лишь въ слабой степени и съ какою-то суровою скромностью оговаривался. «Идетъ нѣкто за мною,—говорилъ онъ,—который будетъ еще ужаснѣе меня».

Онъ былъ ужасенъ; но, сверхъ того, онъ былъ кратокъ и съ изумительною ограниченностью соединялъ непреклон-

ность, почти граничившую съ идіотствомъ. Никто не могъ обвинить его въ воинственной предпріимчивости, какъ обвиняли, напримѣръ, Бородавкина, ни въ порывахъ безумной ярости, которымъ были подвержены Брудастый, Негодяевъ и многіе другіе. Страстность была вычеркнута изъ числа элементовъ, составляющихъ его природу, и замѣнена непреклонностью, дѣйствовавшею съ регулярностью самаго отчетливаго механизма. Онъ не жестикулировалъ, не возвышалъ голоса, не скрежеталъ зубами, не гоготалъ, не топалъ ногами, не заливался начальственно-язвительнымъ смѣхомъ; казалось, онъ даже не подозрѣвалъ нужды въ административныхъ проявленіяхъ подобнаго рода. Совершенно беззучнымъ голосомъ выражалъ онъ свои требованія и неизбѣжность ихъ выполненія подтверждалъ устремленіемъ пристальнаго взора, въ которомъ выражалась какая-то неизреченная безстыжесть. Человѣкъ, на которомъ останавливался этотъ взоръ, не могъ выносить его. Рождалось какое-то совсѣмъ особенное чувство, въ которомъ первенствующее значеніе принадлежало не столько инстинкту личнаго самосохраненія, сколько опасенію за человѣческую природу вообще. Въ этомъ смутномъ опасеніи утопали всевозможныя предчувствія таинственныхъ и непреодолимыхъ угрозъ. Думалось, что небо обрушится, земля разверзнется подъ ногами, что налетитъ откуда-то смерчъ и все поглотитъ, все разомъ... То былъ взоръ свѣтлый, какъ сталь, взоръ, совершенно свободный отъ мысли, и потому недоступный ни для оттѣнковъ, ни для колебаній. Голая рѣшимость—и ничего болѣе.

Какъ человѣкъ ограниченный, онъ ничего не преслѣдовалъ, кромѣ правильности построеній. Прямая линія, отсутствіе пестроты, простота, доведенная до наготы, — вотъ идеалы, которые онъ зналъ и къ осуществленію которыхъ стремился. Его понятіе о «долгѣ» не шло далѣе всеобщаго равенства передъ шпицрутеномъ; его представленіе о «простотѣ» не переступало далѣе простоты звѣря, обличавшей совершенно наготу потребностей. Разума онъ не признавалъ вовсе, и даже считалъ его злѣйшимъ врагомъ, опутывающимъ человѣка сѣтью обольщеній и опасныхъ привередничествъ. Передъ всѣмъ, что̀ напоминало веселье или просто досугъ, онъ останавливался въ недоумѣніи. Нельзя сказать, чтобъ эти естественныя проявленія человѣческой природы приводили его въ негодованіе: нѣтъ, онъ просто-напросто не понималъ ихъ. Онъ никогда не бѣсновался,

не закипалъ, не мстилъ, не преслѣдовалъ, а, подобно всякой другой безсознательно дѣйствующей силѣ природы, шелъ впередъ, сметая съ лица земли все, что̀ не успѣвало посторониться съ дороги. «Зачѣмъ?» — вотъ единственное слово, которымъ онъ выражалъ движеніе своей души.

Во̀-время посторониться — вотъ все, что̀ было нужно. Районъ, который обнималъ кругозоръ этого идіота, былъ очень узокъ: внѣ этого района можно было и болтать руками, и громко говорить, и дышать, и даже ходить распоясавшись: онъ ничего не замѣчалъ; внутри района — можно было только маршировать. Если-бъ глуповцы своевременно поняли это, имъ сто̀ило только встать нѣсколько въ сторонѣ и ждать. Но они сообразили это поздно, и въ первое время, по примѣру всѣхъ начальстволюбивыхъ народовъ, какъ нарочно совались ему на глаза. Отсюда безчисленное множество вольныхъ истязаній, которыя, словно сѣтью, охватили существованіе обывателей; отсюда же — далеко не заслуженное названіе «сатаны», которое народная молва присвоила Угрюмъ-Бурчееву. Когда у глуповцевъ спрашивали, что̀ послужило поводомъ для такого необычнаго эпитета, они ничего толкомъ не объясняли, а только дрожали. Молча указывали они на вытянутые въ струну дома свои, на разбитые передъ этими домами палисадники, на форменные казакины, въ которые однообразно были обмундированы всѣ жители до одного,—и трепетныя губы ихъ шептали: «сатана!»

Самъ лѣтописецъ, вообще довольно благосклонный къ градоначальникамъ, не можетъ скрыть смутнаго чувства страха, приступая къ описанію дѣйствій Угрюмъ-Бурчеева. «Была въ то время, — такъ начинаетъ онъ свое повѣствованіе,—въ одномъ изъ городскихъ храмовъ картина, изображавшая мученія грѣшниковъ въ присутствіи врага рода человѣческаго. Сатана представленъ стоящимъ на верхней ступени адскаго трона, съ повелительно-простертою впередъ рукою и съ мутнымъ взоромъ, устремленнымъ въ пространство. Ни въ фигурѣ, ни даже въ лицѣ врага человѣческаго не усматривается особливой страсти къ мучительству, а видится лишь нарочитое упраздненіе естества. Упраздненіе сіе произвело только одно явственное дѣйствіе: повелительный жестъ,—и затѣмъ, сосредоточившись само въ себѣ, перешло въ окаменѣніе. Но что̀ весьма достойно примѣчанія: какъ ни ужасны пытки и мученія, въ изобиліи по всей

картинѣ разсѣянныя, и какъ ни удручаютъ душу кривлянья и судороги злодѣевъ, для коихъ тѣ муки пріуготовлены, но каждому зрителю непремѣнно сдается, что даже и сіи страданія менѣе мучительны, нежели страданія сего подлиннаго изверга, который до того всякое естество въ себѣ побѣдилъ, что и на сіи неслыханныя истязанія хладнымъ и непонятливымъ окомъ взирать можетъ». Таково начало лѣтописнаго разсказа, и хотя далѣе слѣдуетъ перерывъ, и лѣтописецъ уже не возвращается къ воспоминанію о картинѣ, но нельзя не догадываться, что воспоминаніе это брошено здѣсь не даромъ.

Въ городскомъ архивѣ до сихъ поръ сохранился портретъ Угрюмъ-Бурчеева. Это мужчина средняго роста, съ какимъ-то деревяннымъ лицомъ, очевидно никогда не освѣщавшимся улыбкой. Густые, остриженные подъ гребенку и какъ смоль черные волосы покрываютъ конической черепъ и плотно, какъ ермолка, обрамливаютъ узкій и покатый лобъ. Глаза сѣрые, впавшіе, осѣненные нѣсколько припухшими вѣками; взглядъ чистый, безъ колебаній; носъ сухой, спускающійся отъ лба почти въ прямомъ направленіи книзу; губы тонкія, блѣдныя, опушенныя подстриженною щетиной усовъ; челюсти развитыя, но безъ выдающагося выраженія плотоядности, а съ какимъ-то необъяснимымъ букетомъ готовности раздробить или перекусить пополамъ. Вся фигура сухощавая, съ узкими плечами, приподнятыми кверху, съ искусственно выпяченною впередъ грудью и съ длинными, мускулистыми руками. Одѣтъ онъ въ военнаго покроя сюртукъ, застегнутый на всѣ пуговицы, и держитъ въ правой рукѣ сочиненный Бородавкинымъ «Уставъ о неуклонномъ сѣченіи», но, повидимому, не читаетъ его, а какъ бы удивляется, что могутъ существовать на свѣтѣ люди, которые даже эту неуклонность считаютъ нужнымъ обезпечивать какими-то уставами. Кругомъ—пейзажъ, изображающій пустыню, посреди которой стоитъ острогъ; сверху, вмѣсто неба, нависла сѣрая солдатская шинель...

Портретъ этотъ производитъ впечатлѣніе очень тяжелое. Передъ глазами зрителя возстаетъ чистѣйшій типъ идіота, принявшаго какое-то мрачное рѣшеніе и давшаго себѣ клятву привести его въ исполненіе. Идіоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непремѣнно злы (въ идіотѣ злость или доброта—совершенно безразличныя качества), а потому, что они чужды всякимъ соображеніямъ и всегда идутъ напроломъ, какъ будто дорога, на которой они

очутились, принадлежитъ исключительно имъ однимъ. Издали можетъ показаться, что это люди и суровыхъ, но крѣпко сложившихся убѣжденій, которые сознательно стремятся къ твердо намѣченной цѣли. Однакожъ, это оптическій обманъ, которымъ отнюдь не слѣдуетъ увлекаться. Это просто со всѣхъ сторонъ наглухо закупоренныя существа, которыя ломятъ впередъ, потому что не въ состояніи сознать себя въ связи съ какимъ бы то ни было порядкомъ явленій...

Обыкновенно противу идіотовъ принимаются извѣстныя мѣры, чтобъ они, въ неразумной стремительности, не все опрокидывали, что̀ встрѣчается имъ на пути. Но мѣры эти почти всегда касаются только *простыхъ* идіотовъ; когда же придаткомъ къ идіотству является властность, то дѣло огражденія общества значительно усложняется. Въ этомъ случаѣ грозящая опасность увеличивается всею суммою неприкрытости, въ жертву которой, въ извѣстные историческіе моменты, кажется отданною жизнь... Тамъ, гдѣ простой идіотъ расшибаетъ себѣ голову или наскакиваетъ на рожонъ, идіотъ властный раздробляетъ пополамъ всевозможные рожны и совершаетъ свои, такъ сказать, безсознательныя злодѣянія вполнѣ безпрепятственно. Даже въ самой безплодности или очевидномъ вредѣ этихъ злодѣяній онъ не почерпаетъ никакихъ для себя поученій. Ему нѣтъ дѣла ни до какихъ результатовъ, потому что результаты эти выясняются не на немъ (онъ слишкомъ окаменѣлъ, чтобы на немъ могло что-нибудь отражаться), а на чемъ-то иномъ, съ чѣмъ у него не существуетъ никакой органической связи. Если бы, вслѣдствіе усиленной идіотской дѣятельности, даже весь міръ обратился въ пустыню, то и этотъ результатъ не устрашилъ бы идіота. Кто знаетъ, быть-можетъ, пустыня и представляетъ въ его глазахъ именно ту обстановку, которая изображаетъ собой идеалъ человѣческаго общежитія?

Вотъ это-то отвержденное и вполнѣ успокоившееся въ самомъ себѣ идіотство и поражаетъ зрителя въ портретѣ Угрюмъ-Бурчеева. На лицѣ его не видно было никакихъ вопросовъ; напротивъ того, во всѣхъ чертахъ выступаетъ какая-то солдатски невозмутимая увѣренность, что всѣ вопросы давно уже рѣшены. Какіе это вопросы? Какъ они рѣшены?—это загадка до того мучительная, что рискуешь перебрать всевозможные вопросы и рѣшенія и не напасть именно на тѣ, о которыхъ идетъ рѣчь. Можетъ-быть, это рѣшенный вопросъ о всеобщемъ истребленіи, а можетъ-

быть только о томъ, чтобы всѣ люди имѣли грудь выпяченную впередъ на манеръ колеса. Ничего неизвѣстно. Извѣстно только, что этотъ неизвѣстный вопросъ во что бы ни стало будетъ приведенъ въ дѣйствіе. А такъ какъ подобное противоестественное пріуроченіе извѣстнаго къ неизвѣстному запутываетъ еще болѣе, то послѣдствіе такого положенія можетъ быть только одно: всеобщій паническій страхъ.

Самый образъ жизни Угрюмъ-Бурчеева былъ таковъ, что еще болѣе усугублялъ ужасъ, наводимый его наружностью. Онъ спалъ на голой землѣ и только въ сильные морозы позволялъ себѣ укрыться на пожарномъ сѣновалѣ; вмѣсто подушки клалъ подъ голову камень; вставалъ съ зарею, надѣвалъ вицмундиръ и тотчасъ же билъ въ барабанъ; курилъ махорку до такой степени вонючую, что даже полицейскіе солдаты, и тѣ краснѣли, когда до обонянія ихъ доходилъ запахъ ея; ѣлъ лошадиное мясо и свободно пережевывалъ воловьи жилы. Въ заключеніе, по три часа въ сутки маршировалъ на дворѣ градоначальническаго дома, одинъ, безъ товарищей, произнося самому себѣ командные возгласы и самъ себя подвергая дисциплинарнымъ взысканіямъ и даже шпицрутенамъ («при чемъ бичевалъ себя не притворно, какъ предшественникъ его, Грустиловъ, а по точному разуму законовъ», прибавляетъ лѣтописецъ).

Было у него и семейство; но покуда онъ градоначальствовалъ, никто изъ обывателей не видалъ ни жены, ни дѣтей его. Былъ слухъ, что они томились гдѣ-то въ подвалѣ градоначальническаго дома, и что онъ самолично разъ въ день, черезъ желѣзную рѣшетку, подавалъ имъ хлѣбъ и воду. И дѣйствительно, когда послѣдовало его административное исчезновеніе, были найдены въ подвалѣ какія-то нагія и совершенно дикія существа, которыя кусались, визжали, впивались другъ въ друга когтями и огрызались на окружающихъ. Ихъ вывели на свѣжій воздухъ и дали горячихъ щей; сначала, увидѣвъ паръ, они фыркали и выказывали суевѣрный страхъ; но потомъ обручнѣли и съ такою звѣрскою жадностью набросились на пищу, что тутъ-же объѣлись и испустили духъ.

Разсказывали, что возвышеніемъ своимъ Угрюмъ-Бурчеевъ обязанъ былъ совершенно особенному случаю. Жилъ будто бы на свѣтѣ какой-то начальникъ, который вдругъ встревожился мыслью, что никто изъ подчиненныхъ не любитъ его.

— Любимъ, вашество!—увѣряли подчиненные.

— Всѣ вы такъ на досугѣ говорите, — настаивалъ на своемъ начальникъ:—а дойди до дѣла, такъ никто и пальцемъ для меня не пожертвуетъ.

Мало-по-малу, несмотря на протесты, идея эта до того окрѣпла въ головѣ ревниваго начальника, что онъ рѣшился испытать своихъ подчиненныхъ и кликнулъ кличъ:

— Кто хочетъ доказать, что любитъ меня, — глашалъ онъ: — тотъ пусть отрубитъ указательный палецъ правой руки своей!

Никто, однакожъ, на кличъ не спѣшилъ; одни не выходили впередъ, потому что были изнѣжены, и знали, что порубленіе пальца сопряженно съ болью; другіе не выходили по недоразумѣнію: не разобравъ вопроса, думали, что начальникъ опрашиваетъ, всѣмъ ли довольны, и опасаясь, чтобъ ихъ не сочли за бунтовщиковъ, по обычаю во весь ротъ зѣвали: «рады стараться, ваше-е-е-ество-о!»

— Кто хочетъ доказать? выходи, не бойся!—повторилъ свой кличъ ревнивый начальникъ.

Но и на этотъ разъ отвѣтомъ было молчаніе, или же такіе крики, которые совсѣмъ не исчерпывали вопроса. Лицо начальника сперва побагровѣло, потомъ какъ-то грустно поникло.

— Сви...

Но не успѣлъ онъ кончить, какъ изъ рядовъ вышелъ простой, изнуренный шпицрутенами прохвостъ и великимъ голосомъ возопилъ:

— Я хочу доказать!

Съ этимъ словомъ, положивъ палецъ на перекладину, онъ тупымъ тесакомъ раздробилъ его.

Сдѣлавши это, онъ улыбнулся. Это былъ единственный случай во всей многоизбіенной его жизни, когда въ лицѣ его мелькнуло что-то человѣческое.

Многіе думали, что онъ совершилъ этотъ подвигъ только ради освобожденія своей спины отъ палокъ; но нѣтъ, у этого прохвоста созрѣла своего рода идея...

При видѣ раздробленнаго пальца, упавшаго къ ногамъ его, начальникъ сначала изумился, но потомъ пришелъ въ умиленіе.

— Ты меня возлюбилъ, — воскликнулъ онъ:—а я тебя возлюблю сторицею!

И послалъ его въ Глуповъ.

Въ то время еще ничего не было достовѣрно извѣстно

ни о коммунистахъ, ни о соціалистахъ, ни о такъ-называемыхъ нивеллторахъ вообще. Тѣмъ не менѣе, нивеллторство существовало, и притомъ въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ. Были нивелляторы «хожденія въ струнѣ», нивелляторы «бараньяго рога», нивелляторы «ежовыхъ рукавицъ» и проч. и проч. Но никто не видѣлъ въ этомъ ничего угрожающаго обществу или подрывающаго его основы. Казалось, что ежели человѣка, ради сравненія съ сверстниками, лишаютъ жизни, то хотя лично для него, быть-можетъ, особливаго благополучія отъ сего не произойдетъ, но для сохраненія общественной гармоніи это полезно и даже необходимо. Сами нивелляторы отнюдь не подозрѣвали, что они—нивелляторы, а называли себя добрыми и благопопечительными устроителями, въ мѣрѣ усмотрѣнія радѣющими о счастіи подчиненныхъ и подвластныхъ имъ лицъ...

Такова была простота нравовъ того времени, что мы, свидѣтели эпохи позднѣйшей, съ трудомъ можемъ перенестись даже воображеніемъ въ тѣ недавнія времена, когда каждый эскадронный командиръ, не называя себя коммунистомъ, вмѣнялъ себѣ, однакожъ, за честь и обязанность быть онымъ отъ верхняго конца до нижняго.

Угрюмъ-Бурчеевъ принадлежалъ къ числу самыхъ фанатическихъ нивелляторовъ этой школы. Начертавши прямую линію, онъ замыслилъ втиснуть въ нее весь видимый и невидимый міръ, и притомъ съ такимъ непремѣннымъ расчетомъ, чтобъ нельзя было повернуться ни взадъ, ни впередъ, ни направо, ни налѣво. Предполагалъ ли онъ при этомъ сдѣлаться благодѣтелемъ человѣчества? — утвердительно отвѣчать на этотъ вопросъ трудно. Скорѣе, однакожъ, можно думать, что въ головѣ его вообще никакихъ предположеній ни о чемъ не существовало. Лишь въ позднѣйшія времена (почти на нашихъ глазахъ) мысль о сочетаніи идеи прямолинейности съ идеей всеобщаго осчастливленія была возведена въ довольно сложную и неизъятую идеологическихъ ухищреній административную теорію, но нивелляторы стараго закала, подобные Угрюмъ-Бурчееву, дѣйствовали въ простотѣ души, единственно по инстинктивному отвращенію отъ кривой линіи и всякихъ зигзаговъ и извилинъ. Угрюмъ-Бурчеевъ былъ прохвостъ въ полномъ смыслѣ этого слова. Не потому только, что онъ занималъ эту должность въ полку, но прохвостъ всѣмъ своимъ существомъ, всѣми помыслами. Прямая линія соблазняла его

не ради того, что она въ то же время есть и кратчайшая— ему нечего было дѣлать съ краткостью—а ради того, что по ней можно было весь вѣкъ маршировать и ни до чего не домаршироваться. Виртуозность прямолинейности, словно новый кустъ, засѣла въ его скорбной головѣ и пустила тамъ цѣлую непроглядную сѣть корней и развѣтвленій. Это былъ какой-то таинственный лѣсъ, преисполненный волшебныхъ сновидѣній. Таинственныя тѣни гуськомъ шли одна за другой, застегнутыя, выстриженныя, однообразнымъ шагомъ, въ однообразныхъ одеждахъ, все шли, все шли... Всѣ онѣ были снабжены одинаковыми физіономіями, всѣ одинаково молчали и всѣ одинаково куда-то исчезали. Куда? Казалось, за этимъ сонно-фантастическимъ міромъ существовалъ еще болѣе фантастическій провалъ, который разрѣшалъ всѣ затрудненія тѣмъ, что въ немъ все пропадало,— все безъ остатка. Когда фантастическій провалъ поглощалъ достаточное количество фантастическихъ тѣней, Угрюмъ-Бурчеевъ, если можно такъ выразиться, перевертывался на другой бокъ и снова начиналъ другой такой же сонъ. Опять шли гуськомъ тѣни одна за другой, все шли, все шли...

Еще задолго до прибытія въ Глуповъ, онъ уже составилъ въ своей головѣ цѣлый систематическій бредъ, въ которомъ до послѣдней мелочи были регулированы всѣ подробности будущаго устройства этой злосчастной муниципіи. На основаніи этого бреда вотъ въ какой приблизительно формѣ представлялся тотъ городъ, который онъ вознамѣрился возвести на степень образцоваго.

Посрединѣ — площадь, отъ которой радіусами разбѣгаются во всѣ стороны улицы, или, какъ онъ мысленно называлъ ихъ, роты. По мѣрѣ удаленія отъ центра, роты пересѣкаются бульварами, которые въ двухъ мѣстахъ опоясываютъ городъ и въ то же время представляютъ защиту отъ внѣшнихъ враговъ. Затѣмъ форштадтъ, земляной валъ— и темная занавѣсь, т. е. конецъ свѣта. Ни рѣки, ни ручья, ни оврага, ни пригорка,—словомъ, ничего такого, что могло бы служить препятствіемъ для вольной ходьбы, онъ не предусмотрѣлъ. Каждая рота имѣетъ шесть саженъ ширины—не больше и не меньше; каждый домъ имѣетъ три окна, выдающіяся въ палисадникъ, въ которомъ растутъ: барская спесь, царскіе кудри, бураки и татарское мыло. Всѣ дома окрашены свѣтло-сѣрою краской, и хотя въ натурѣ одна сторона улицы всегда обращена на сѣверъ или востокъ, а другая на югъ или западъ, но даже и это упу-

щено было изъ вида, а предполагалось, что и солнце, и луна всѣ стороны освѣщаютъ одинаково и въ одно и то же время дня и ночи.

Въ каждомъ домѣ живутъ по двое престарѣлыхъ, по двое взрослыхъ, по двое подростковъ и по двое малолѣтковъ, при чемъ лица различныхъ половъ не стыдятся другъ друга. Одинаковость лѣтъ сопрягается съ одинаковостью роста. Въ нѣкоторыхъ ротахъ живутъ исключительно великорослые, въ другихъ—исключительно малорослые или застрѣльщики. Дѣти, которыя при рожденіи оказываются необѣщающими быть твердыми въ бѣдствіяхъ, умерщвляются; люди крайне престарѣлые и негодные для работъ тоже могутъ быть умерщвляемы, но только въ такомъ случаѣ, если, по соображеніямъ околоточныхъ надзирателей, въ общей экономіи наличныхъ силъ города чувствуется излишекъ. Въ каждомъ домѣ находится по экземпляру каждаго полезнаго животнаго мужского и женскаго пола, которые обязаны, во-первыхъ, исполнять свойственныя имъ работы и, во-вторыхъ,—размножаться. На площади сосредоточиваются каменныя зданія, въ которыхъ помѣщаются общественныя заведенія, какъ-то: присутственныя мѣста и всевозможные манежи: для обученія гимнастикѣ, фехтованію и пѣхотному строю, для принятія пищи, для общихъ колѣнопреклоненій и проч. Присутственныя мѣста называются штабами, а служащіе въ нихъ—писарями. Школъ нѣтъ и грамотности не полагается; наука чиселъ преподается по пальцамъ. Нѣтъ ни прошедшаго, ни будущаго, а потому лѣтосчисленіе упраздняется. Праздниковъ два: одинъ весною, немедленно послѣ таянья снѣговъ, называется «Праздникомъ Неуклонности», и служитъ приготовленіемъ къ предстоящимъ бѣдствіямъ; другой—осенью, называется «Праздникомъ Предержащихъ Властей» и посвящается воспоминаніямъ о бѣдствіяхъ, уже испытанныхъ. Отъ будней эти праздники отличаются только усиленнымъ упражненіемъ въ маршировкѣ.

Такова была внѣшняя постройка этого бреда. Затѣмъ предстояло урегулировать внутреннюю обстановку живыхъ существъ, захваченныхъ имъ. Въ этомъ отношеніи фантазія Угрюмъ-Бурчеева доходила до опредѣлительности поистинѣ изумительной.

Всякій домъ есть не что иное, какъ *поселенная единица*, имѣющая своего командира и своего шпіона (на шпіонѣ онъ особенно настаивалъ) и принадлежащая къ десятку,

носящему названіе *взвода*. Взводъ въ свою очередь имѣетъ командира и шпіона: пять взводовъ составляютъ роту, пять ротъ—полкъ. Всѣхъ полковъ четыре, которые образуютъ, во-первыхъ, двѣ бригады и, во-вторыхъ, дивизію; въ каждомъ изъ этихъ подраздѣленій имѣется командиръ и шпіонъ. Затѣмъ слѣдуетъ собственно Городъ, который изъ Глупова переименовывается въ «вѣчно-достойныя памяти великаго князя Святослава Игоревича городъ *Непреклонскъ*». Надъ городомъ паритъ окруженный облакомъ градоначальникъ, или иначе сухопутныхъ и морскихъ силъ города Непреклонска оберъ-комендантъ, который со всѣми входитъ въ пререканія и всѣмъ даетъ чувствовать свою власть. Около него... шпіонъ!!

Въ каждой поселенной единицѣ время распредѣляется самымъ строгимъ образомъ. Съ восходомъ солнца всѣ въ домѣ поднимаются; взрослые и подростки облекаются въ единообразныя одежды (по особымъ, апробованнымъ градоначальникомъ рисункамъ), подчищаются и подтягиваютъ ремешки. Малолѣтніе сосутъ на скорую руку материнскую грудь; престарѣлые произносятъ краткое поученіе, неизмѣнно оканчивающееся непечатнымъ словомъ; шпіоны спѣшатъ съ рапортами. Черезъ полчаса въ домѣ остаются лишь престарѣлые и малолѣтки, потому что прочіе уже отправились къ исполненію возложенныхъ на нихъ обязанностей. Сперва они вступаютъ въ «манежъ для колѣнопреклоненій», гдѣ наскоро прочитываютъ молитву; потомъ направляютъ стопы въ «манежъ для тѣлесныхъ упражненій», гдѣ укрѣпляютъ организмъ фехтованіемъ и гимнастикой; наконецъ, идутъ въ «манежъ для принятія пищи», гдѣ получаютъ по куску чернаго хлѣба, посыпаннаго солью. По принятіи пищи, выстраиваются на площади въ каре и оттуда, подъ предводительствомъ командировъ, по-взводно разводятся на общественныя работы. Работы производятся по командѣ. Обыватели разомъ нагибаются и выпрямляются; сверкаютъ лезвія косъ, взмахиваютъ грабли, стучатъ заступы, сохи бороздятъ землю,—все по командѣ. Землю пашутъ, стараясь выводить сохами вензеля, изображающіе начальныя буквы именъ тѣхъ историческихъ дѣятелей, которые наиболѣе прославились неуклонностью. Около каждаго рабочаго взвода мѣрнымъ шагомъ ходитъ солдатъ съ ружьемъ, и черезъ каждыя пять минутъ стрѣляетъ въ солнце. Посреди этихъ взмаховъ, нагибаній и выпрямленій прохаживается по прямой линіи самъ Угрюмъ-Бурчеевъ,

весь покрытый потомъ, весь преисполненный казарменнымъ запахомъ, и затягиваетъ:

Разъ—первой! разъ—другой!

—а за нимъ всѣ работающіе подхватываютъ:

Ухнемъ!
Дубинушка, ухнемъ!

Но вотъ солнце достигаетъ зенита, и Угрюмъ-Бурчеевъ кричитъ: «шабашъ!» Опять по-взводно строятся обыватели и направляются обратно въ городъ, гдѣ церемоніальнымъ маршемъ проходятъ черезъ «манежъ для принятія пищи» и получаютъ по куску чернаго хлѣба съ солью. Послѣ краткаго отдыха, состоящаго въ маршировкѣ, люди снова строятся и прежнимъ порядкомъ разводятся на работы впредь до солнечнаго заката. По закатѣ, всякій получаетъ по новому куску хлѣба и спѣшитъ домой лечь спать. Ночью надъ Непреклонскомъ витаетъ духъ Угрюмъ-Бурчеева и зорко стережетъ обывательскій сонъ...

Ни Бога, ни идоловъ—ничего...

Въ этомъ фантастическомъ мірѣ нѣтъ ни страстей, ни увлеченій, ни привязанностей. Всѣ живутъ каждую минуту вмѣстѣ, и всякій чувствуетъ себя одинокимъ. Жизнь ни на мгновенье не отвлекается отъ исполненія безчисленнаго множества дурацкихъ обязанностей, изъ которыхъ каждая разсчитана заранѣе и надъ каждымъ человѣкомъ тяготѣетъ какъ рокъ. Женщины имѣютъ право рожать дѣтей только зимой, потому что нарушеніе этого правила можетъ воспрепятствовать успѣшному ходу лѣтнихъ работъ. Союзы между молодыми людьми устраиваются не иначе, какъ сообразно росту и тѣлосложенію, такъ какъ это удовлетворяетъ требованіямъ правильнаго и красиваго фронта. Нивеллярство, упрощенное до опредѣленной дачи чернаго хлѣба—вотъ сущность этой кантонистской фантазіи...

Тѣмъ не менѣе, когда Угрюмъ-Бурчеевъ изложилъ свой бредъ передъ начальствомъ, то послѣднее не только не встревожилось имъ, но съ удивленіемъ, доходившимъ почти до благоговѣнія, взглянуло на темнаго прохвоста, задумавшаго уловить вселенную. Страшная масса исполнительности, дѣйствующая какъ одинъ человѣкъ, поражала воображеніе. Весь міръ представлялся испещреннымъ черными точками, въ которыхъ, подъ бой барабана, двигаются по прямой линіи люди, и все идутъ, все идутъ. Эти поселенцы единицы, эти взводы, роты, полки—все это, взятое

вмѣстѣ, не намекаетъ ли на какую-то лучезарную даль, которая покамѣстъ еще задернута туманомъ, но со временемъ, когда туманы разсѣются и когда даль откроется... Что же это, однако, за даль? что̀ скрываетъ она?

— Ка-за-р-р-мы!—совершенно опредѣлительно подсказывало возбужденное до героизма воображеніе.

— Казар-р-мы!—въ свою очередь, словно эхо, вторилъ угрюмый прохвостъ, и произносилъ при этомъ такую несосвѣтимую клятву, что начальство чувствовало себя какъ бы опаленнымъ какимъ-то таинственнымъ огнемъ...

Управившись съ Грустиловымъ и разогнавъ безумное скопище, Угрюмъ-Бурчеевъ немедленно приступилъ къ осуществленію своего бреда.

Но въ томъ видѣ, въ какомъ Глуповъ представалъ глазамъ его, городъ этотъ далеко не отвѣчалъ его идеаламъ. Это была скорѣе безпорядочная куча хижинъ, нежели городъ. Не имѣлось яснаго центральнаго пункта: улицы разбѣгались вкривь и вкось; дома лѣпились кое-какъ, безъ всякой симметріи, по мѣстамъ тѣснясь другъ къ другу, по мѣстамъ оставляя въ промежуткахъ огромные пустыри. Слѣдовательно, предстояло не улучшать, но создавать вновь. Но что̀ же можетъ значить слово «создавать» въ понятіяхъ такого человѣка, который съ юныхъ лѣтъ закалился въ должности прохвоста?—«Создавать»—это значитъ представить себѣ, что находишься въ дремучемъ лѣсу; это значитъ взять въ руку топоръ и, помахивая этимъ орудіемъ творчества направо и налѣво, неуклонно идти, куда глаза глядятъ. Именно такъ Угрюмъ-Бурчеевъ и поступилъ.

На другой же день по пріѣздѣ, онъ обошелъ весь городъ. Ни кривизна улицъ, ни великое множество закоулковъ, ни разбросанность обывательскихъ хижинъ—ничто не остановило его. Ему было ясно одно: что передъ глазами его дремучій лѣсъ, и что слѣдуетъ съ этимъ лѣсомъ распорядиться. Наткнувшись на какую-нибудь неправильность, Угрюмъ-Бурчеевъ на минуту вперялъ въ нее недоумѣвающій взоръ, но тотчасъ же выходилъ изъ оцѣпенѣнія и молча дѣлалъ жестъ впередъ, какъ бы проектируя прямую линію. Такъ шелъ онъ долго, все простирая руку и проектируя, и только тогда, когда глазамъ его предстала рѣка, онъ почувствовалъ, что съ нимъ совершилось что-то необыкновенное.

Онъ позабылъ... онъ ничего подобнаго не предвидѣлъ...

До сихъ поръ фантазія его шла все прямо, все по ровному мѣсту. Она устраняла, разсѣкала и воздвигала моментально, не зная препятствій, а питаясь исключительно своимъ собственнымъ содержаніемъ. И вдругъ... Излучистая полоса жидкой стали сверкнула ему въ глаза, сверкнула и не только не исчезла, но даже не замерла подъ взглядомъ этого административнаго василиска. Она продолжала двигаться, колыхаться и издавать какіе-то особенные, но несомнѣнно живые звуки. Она жила.

— Кто тутъ?—спросилъ онъ въ ужасѣ.

Но рѣка продолжала свой говоръ, и въ этомъ говорѣ слышалось что-то искущающее, почти зловѣщее. Казалось, эти звуки говорили: «хитеръ, прохвостъ, твой бредъ, но есть и другой бредъ, который, пожалуй, похитрѣе твоего будетъ». Да; это былъ тоже бредъ, или, лучше сказать, тутъ встали лицомъ къ лицу два бреда: одинъ, созданный лично Угрюмъ-Бурчеевымъ, и другой, который врывался откуда-то со стороны и заявлялъ о совершенной своей независимости отъ перваго.

— Зачѣмъ? — спросилъ, указывая глазами на рѣку, Угрюмъ-Бурчеевъ у сопровождающихъ его квартальныхъ, когда прошелъ первый моментъ оцѣпенѣнія.

Квартальные не поняли; но во взглядѣ градоначальника было нѣчто до такой степени устраняющее всякую возможность уклониться отъ объясненія, что они рѣшились отвѣчать, даже не понимая вопроса.

— Рѣка-съ... навозъ-съ...—лепетали они какъ попало.

— Зачѣмъ?—повторилъ онъ испуганно, и вдругъ, какъ бы боясь углубляться въ дальнѣйшіе разспросы, круто повернулъ налѣво кругомъ и пошелъ назадъ.

Судорожнымъ шагомъ возвращался онъ домой и бормоталъ себѣ подъ носъ:

— Уйму! я ее уйму!

Дома онъ черезъ минуту уже рѣшилъ дѣло по существу. Два одинаково великихъ подвига предстояли ему: разрушить городъ и устранить рѣку. Средства для исполненія перваго подвига были обдуманы уже заранѣе; средства для исполненія второго представлялись уму неясно и сбивчиво. Но такъ какъ не было той силы въ природѣ, которая могла бы убѣдить прохвоста въ невѣдѣніи чего бы то ни было, то въ этомъ случаѣ невѣжество являлось не только равносильнымъ знанію, но даже въ извѣстномъ смыслѣ было прочнѣе его.

Онъ не былъ ни технологъ, ни инженеръ; но онъ былъ твердой души прохвостъ, а это тоже своего рода сила, обладая которою можно покорить міръ. Онъ ничего не зналъ ни о процессѣ образованія рѣкъ, ни о законахъ, по которымъ онѣ текутъ внизъ, а не вверхъ, но былъ убѣжденъ, что стоитъ только указать: отъ сихъ мѣстъ до сихъ— и на протяженіи отмѣреннаго пространства, навѣрное, возникнетъ материкъ, а затѣмъ попрежнему, и направо, и налѣво, будетъ продолжать течь рѣка.

Остановившись на этой мысли, онъ началъ готовиться.

Въ какой-то дикой задумчивости бродилъ онъ по улицамъ, заложивъ руки за спину и бормоча подъ носъ невнятныя слова. На пути встрѣчались ему обыватели, одѣтые въ самыя разнообразныя лохмотья, и кланялись въ поясъ. Передъ нѣкоторыми онъ останавливался, вперялъ непонятливый взоръ въ лохмотья и произносилъ:

— Зачѣмъ?

И, снова впавши въ задумчивость, продолжалъ путь далѣе.

Минуты этой задумчивости были самыми тяжелыми для глуповцевъ. Какъ оцѣпенѣлые, застывали они передъ нимъ, не будучи въ силахъ оторвать глаза отъ его свѣтлаго, какъ сталь, взора. Какая-то неисповѣдимая тайна скрывалась въ этомъ взорѣ, и тайна эта тяжелымъ, почти свинцовымъ пологомъ нависла надъ цѣлымъ городомъ.

Городъ приникъ; въ воздухѣ чувствовались спертость и духота.

Онъ еще не сдѣлалъ никакихъ распоряженій, не высказалъ никакихъ мыслей, никому не сообщилъ своихъ плановъ, а всѣ уже понимали, что пришелъ *конецъ*. Въ этомъ убѣждало безпрерывное мельканіе идіота, носившаго въ себѣ тайну; въ этомъ убѣждало тихое рычаніе, исходившее изъ его внутренностей. Незримо ни для кого, прокрался въ среду обывателей смутный ужасъ и безраздѣльно овладѣлъ всѣми. Всѣ мыслительныя силы сосредоточивались на загадочномъ идіотѣ и въ мучительномъ безпокойствѣ кружились въ одномъ и томъ же волшебномъ кругѣ, котораго центромъ былъ *онъ*. Люди позабыли прошедшее и не задумывались о будущемъ. Нехотя исполняли они необходимыя житейскія дѣла, нехотя сходились другъ съ другомъ, нехотя жили со дня на день. Къ чему?—вотъ единственный вопросъ, который ясно представлялся каждому, при видѣ грядущаго вдали идіота. Зачѣмъ жить, если жизнь

навсегда отравлена представленіемъ объ идіотѣ? Зачѣмъ жить, если нѣтъ средствъ защитить взоръ отъ его ужаснаго вездѣсущія? Глуповцы позабыли даже взаимныя распри и попрятались по угламъ, въ тоскливомъ ожиданіи...

Казалось, онъ и самъ понималъ, что конецъ наступилъ. Никакими текущими дѣлами онъ не занимался, а въ правленіе даже не заглядывалъ. Онъ порѣшилъ однажды навсегда, что старая жизнь безвозвратно канула въ вѣчность, и что, слѣдовательно, не зачѣмъ и тревожить этотъ хламъ, который не имѣетъ никакого отношенія къ будущему. Квартальные нравственно и физически истерзались; вытянувшись и затаивши дыханіе, они остановились на линіи, по которой онъ проходилъ, и ждали, не будетъ ли приказаній; но приказаній не было. Онъ молча проходилъ мимо и не удостоивалъ ихъ даже взглядомъ. Не стало въ Глуповѣ никакого суда: ни милостиваго, ни немилостиваго, ни скораго, ни нескораго. На первыхъ порахъ глуповцы, по старой привычкѣ, вздумали-было обращаться къ нему съ претензіями и жалобами другъ на друга; но онъ даже не понялъ ихъ.

— Зачѣмъ?—говорилъ онъ, съ какимъ-то дикимъ изумленіемъ обозрѣвая жалобщика съ головы до ногъ.

Въ смятеніи оглянулись глуповцы назадъ и съ ужасомъ увидѣли, что назади дѣйствительно ничего нѣтъ.

Наконецъ, страшный моментъ насталъ. Послѣ недолгихъ колебаній онъ рѣшилъ такъ: сначала разрушить городъ, а потомъ уже приступить и къ рѣкѣ. Очевидно, онъ еще надѣялся, что рѣка образумится сама собой.

За недѣлю до Петрова дня онъ объявилъ приказъ: всѣмъ говѣть. Хотя глуповцы всегда говѣли охотно, но, выслушавши внезапный приказъ Угрюмъ-Бурчеева, смутились. Стало-быть, и въ самомъ дѣлѣ предстоитъ что-нибудь рѣшительное, коль скоро для принятія этого рѣшительнаго потребны такія приготовленія? Этотъ вопросъ сжималъ всѣ сердца тоскою. Думали сначала, что онъ будетъ палить; но, заглянувъ на градоначальническій дворъ, гдѣ стоялъ пушечный снарядъ, изъ котораго обыкновенно палили въ обывателей, убѣдились, что пушки стоятъ незаряженныя. Потомъ остановились на мысли, что будетъ произведена повсемѣстная «выемка», и стали готовиться къ ней: прятали книги, письма, лоскутки бумаги, деньги и даже иконы,—однимъ словомъ, все, въ чемъ можно было усмотрѣть какое-нибудь «оказательство».

— Кто его знаетъ, какой онъ вѣры?—шептались промежъ себя глуповцы:—можетъ, и фармазонъ?

А онъ все маршировалъ по прямой линіи, заложивъ руки за спину, и никому не объявлялъ своей тайны.

Въ Петровъ день всѣ причастились, а многіе даже соборовались наканунѣ. Когда запѣли причастный стихъ, въ церкви раздались рыданія; «больше же всѣхъ вопили голова и предводитель, опасаясь за многое имѣніе свое». Затѣмъ, проходя отъ причастія мимо градоначальника, кланялись и поздравляли; но онъ стоялъ дерзостно и никому даже не кивнулъ головой. День прошелъ въ тишинѣ невообразимой. Стали люди разгавливаться, но никому не шелъ кусокъ въ горло, и всѣ опять заплакали. Но когда проходилъ мимо градоначальникъ (онъ въ этотъ день ходилъ форсированнымъ маршемъ), то поспѣшно отирали слезы и старались придать лицамъ безпечное и довѣрчивое выраженіе. Надежда не вся еще исчезла. Все думалось: вотъ увидятъ начальники нашу невинность—и простятъ...

Но Угрюмъ-Бурчеевъ ничего не увидѣлъ и ничего не простилъ.

«30-го іюня,—повѣствуетъ лѣтописецъ:—на другой день празднованія памяти святыхъ и славныхъ апостоловъ Петра и Павла, былъ сдѣланъ первый приступъ къ сломкѣ города». Градоначальникъ, съ топоромъ въ рукѣ, первый выбѣжалъ изъ своего дома и, какъ озаренный, бросился на городническое правленіе. Обыватели послѣдовали примѣру его. Раздѣленные на отряды (въ каждомъ уже съ вечера былъ назначенъ особый урядникъ и особый шпіонъ), они разомъ на всѣхъ пунктахъ начали работу разрушенія. Раздался стукъ топора и визгъ пилы; воздухъ наполнился криками рабочихъ и грохотомъ падающихъ на землю бревенъ; пыль густымъ облакомъ нависла надъ городомъ и затемнила солнечный свѣтъ. Всѣ были налицо, всѣ до единаго: взрослые и сильные рубили и ломали; малолѣтніе и слабосильные сгребали мусоръ и свозили его къ рѣкѣ. Отъ зари до зари люди неутомимо преслѣдовали задачу разрушенія собственныхъ жилищъ, а на ночь укрывались въ устроенныхъ на выгонѣ баракахъ, куда было свезено и обывательское имущество. Они сами не понимали, что дѣлаютъ, и даже не вопрошали другъ друга, точно ли это наяву происходитъ. Они сознавали только одно: что конецъ наступилъ и что за ними вездѣ, вездѣ слѣдитъ непонятливый взоръ угрюмаго идіота. Мелькомъ, словно во снѣ,

припоминались нѣкоторымъ старикамъ примѣры изъ исторіи, а въ особенности изъ эпохи, когда градоначальствовалъ Бородавкинъ, который навелъ въ городъ оловянныхъ солдатиковъ и однажды, въ минуту безумной отваги, скомандовалъ имъ: «ломай!»... Но вѣдь тогда все-таки была война, а теперь... безъ всякаго повода... среди глубокаго земскаго мира...

Угрюмъ-Бурчеевъ мѣрнымъ шагомъ ходилъ среди всеобщаго опустошенія, и на губахъ его играла та же самая улыбка, которая озарила лицо его въ ту минуту, когда онъ, въ порывѣ начальстволюбія, отрубилъ себѣ указательный палецъ правой руки. Онъ былъ доволенъ, онъ даже мечталъ. Мысленно онъ уже шелъ дальше простого разрушенія. Онъ разсортировывалъ жителей по росту и тѣлосложенію: онъ разводилъ мужей съ законными женами и соединялъ съ чужими; онъ раскассировывалъ дѣтей по семьямъ, соображаясь съ положеніемъ каждаго семейства; онъ назначалъ взводныхъ, ротныхъ и другихъ командировъ, избиралъ шпіоновъ и т. д. Клятва, данная начальнику, наполовину уже выполнена. Все на чеку, все кипитъ, все готово вынырнуть во всеоружіи; остаются подробности, но и тѣ давнымъ-давно предусмотрѣны и рѣшены. Какая-то сладкая восторженность пронизывала все существо угрюмаго прохвоста и уносила его далеко, далеко.

Въ упоеніи гордости онъ вперялъ глаза въ небо, смотрѣлъ на свѣтила небесныя, и, казалось, это зрѣлище приводило его въ недоумѣніе.

— Зачѣмъ?—бормоталъ онъ чуть слышно и долго-долго о чемъ-то думалъ и что-то соображалъ.

Что именно?

Черезъ полтора или два мѣсяца—не оставалось уже камня на камнѣ. Но по мѣрѣ того, какъ работа опустошенія приближалась къ набережной рѣки, чело Угрюмъ-Бурчеева омрачалось. Рухнулъ послѣдній, ближайшій къ рѣкѣ домъ; въ послѣдній разъ звякнулъ ударъ топора, а рѣка не унималась. Попрежнему она текла, дышала, журчала и извивалась; попрежнему одинъ берегъ ея былъ крутъ, а другой представлялъ луговую низину, на далекое пространство заливаемую, въ весеннее время, водой. Бредъ продолжался.

Громадныя кучи мусора, навоза и соломы уже были сложены по берегамъ и ждали только манія, чтобы исчезнуть въ глубинахъ рѣки. Нахмуренный идіотъ бродилъ между

грудами и велъ имъ счетъ, какъ бы опасаясь, чтобъ кто-нибудь не похитилъ драгоцѣннаго матеріала. По временамъ онъ съ увѣренностью бормоталъ:

— Уйму! Я ее уйму!

И вотъ вожделѣнная минута наступила. Въ одно прекрасное утро, созвавши будочниковъ, онъ привелъ ихъ къ берегу рѣки, отмѣрилъ шагами пространство, указалъ глазами на теченіе и яснымъ голосомъ произнесъ:

— Отъ сихъ мѣстъ—до сихъ!

Какъ ни были забиты обыватели, но и они восчувствовали. До сихъ поръ разрушались только дѣла рукъ человѣческихъ; теперь же очередь доходила до дѣла извѣчнаго, нерукотворнаго. Многіе разинули рты, чтобъ возроптать, но онъ даже не замѣтилъ этого колебанія, а только какъ бы удивился, зачѣмъ люди мѣшкаютъ.

— Гони!—скомандовалъ онъ будочникамъ, вскидывая глазами на колышущуюся толпу.

Борьба съ природой воспріяла начало.

Масса, съ тайными вздохами ломавшая дома свои, съ тайными же вздохами закопошилась въ водѣ. Казалось, что рабочія силы Глупова сдѣлались неистощимыми, и что чѣмъ болѣе заявляла себя безстыжесть притязаній, тѣмъ растяжимѣе становилась сумма орудій, подлежащихъ ея эксплуатаціи.

Много было наѣзжихъ людей, которые разоряли Глуповъ; одни—ради шутки, другіе—въ минуту грусти, запальчивости или увлеченія; но Угрюмъ-Бурчеевъ былъ первый, который задумалъ разорить городъ серьезно. Отъ зари до зари кишѣли люди въ водѣ, вбивая въ дно рѣки сваи и заваливая мусоромъ и навозомъ пропасть, казавшуюся бездонною. Но слѣпая стихія шутя рвала и разметывала наносимый цѣною нечеловѣческихъ усилій хламъ и съ каждомъ разомъ все глубже и глубже прокладывала себѣ ложе. Щепки, навозъ, солома, мусоръ—все уносилось быстриной въ невѣдомую даль, и Угрюмъ-Бурчеевъ, съ удивленіемъ, доходящимъ до испуга, слѣдилъ «непонятливымъ» окомъ за этимъ почти волшебнымъ исчезновеніемъ его надеждъ и намѣреній.

Наконецъ люди истомились и стали заболѣвать. Сурово выслушивалъ Угрюмъ-Бурчеевъ ежедневные рапорты десятниковъ о числѣ выбывшихъ изъ строя рабочихъ и, не дрогнувъ ни однимъ мускуломъ, командовалъ:

— Гони!

Появлялись новыя партіи рабочихъ, которыя, какъ цвѣтъ папоротника, гдѣ-то таинственно нарастали, чтобы немедленно же исчезнуть въ пучинѣ водоворота. Наконецъ, привели и предводителя, который одинъ въ цѣломъ городѣ считалъ себя свободнымъ отъ работъ, и стали толкать его въ рѣку. Однако, предводитель пошелъ не сразу, но протестовалъ и сослался на какія-то права.

— Гони!—скомандовалъ Угрюмъ-Бурчеевъ.

Толпа загоготала. Увидѣвъ, какъ предводитель, краснѣя и стыдясь, засучивалъ штаны, она почувствовала себя бодрою и удвоила усилія.

Но тутъ встрѣтилось новое затрудненіе: груды мусора убывали въ виду всѣхъ, такъ что скоро нечего было валить въ рѣку. Принялись за послѣднюю груду, на которую Угрюмъ-Бурчеевъ надѣялся какъ на каменную гору. Рѣка задумалась, забуровила дно, но черезъ мгновеніе потекла веселѣе прежняго.

Однажды, однако, счастье улыбнулось ему. Собравъ послѣднія усилія и истощивъ весь запасъ мусора, жители принялись за строительный матеріалъ и разомъ двинули въ рѣку цѣлую массу его. Затѣмъ толпы съ гикомъ бросились въ воду и стали погружать матеріалъ на дно. Рѣка всею массою водъ хлынула на это новое препятствіе и вдругъ закрутилась на одномъ мѣстѣ. Раздался трескъ, свистъ и какое-то громадное клокотаніе, словно милліоны невѣдомыхъ гадинъ разомъ пустили свой шипъ изъ водяныхъ хлябей. Затѣмъ все смолкло; рѣка на минуту остановилась и тихо-тихо начала разливаться по луговой сторонѣ.

Къ вечеру разливъ былъ до того великъ, что не видно было предѣловъ его, а вода, между тѣмъ, все еще прибывала и прибывала. Откуда-то слышался гулъ; казалось, что гдѣ-то рушатся цѣлыя деревни, и тамъ раздаются вопли, стоны и проклятія. Плыли по водѣ стоги сѣна, бревна, плоты, обломки избъ и, достигнувъ плотины, съ трескомъ сталкивались другъ съ другомъ, ныряли, опять выплывали и сбивались въ кучу въ одномъ мѣстѣ. Разумѣется, Угрюмъ-Бурчеевъ ничего этого не предвидѣлъ, но, взглянувъ на громадную массу водъ, онъ до того просвѣтлѣлъ, что даже получилъ даръ слова и сталъ хвастать

— Тако да видятъ людіе!—сказалъ онъ, думая попасть въ господствовавшій въ то время фотіевско-аракчеевскій тонъ; но потомъ, вспомнивъ, что онъ, все-таки, не болѣе

какъ прохвостъ, обратился къ будочникамъ и приказалъ согнать городскихъ поповъ:—гони!

Нѣтъ ничего опаснѣе, какъ воображеніе прохвоста, не сдерживаемаго уздою и не угрожаемаго непрерывнымъ представленіемъ о возможности наказанія на тѣлѣ. Однажды возбужденное, оно сбрасываетъ съ себя всякое иго дѣйствительности и начинаетъ рисовать своему обладателю предпріятія самыя грандіозныя. Погасить солнце, провертѣть въ землѣ дыру, черезъ которую можно было бы наблюдать за тѣмъ, что дѣлается въ аду—вотъ единственныя цѣли, которыя истинный прохвостъ признаетъ достойными своихъ усилій. Голова его уподобляется дикой пустынѣ, во всѣхъ закоулкахъ которой возстаютъ образы самой привередливой демонологіи. Все это мятется, свиститъ, гикаетъ и, шумя невидимыми крыльями, устремляется куда-то въ темную, безразсвѣтную даль...

То же произошло и съ Угрюмъ-Бурчеевымъ. Едва увидѣлъ онъ массу воды, какъ въ головѣ его уже утвердилась мысль, что у него будетъ свое собственное море. И такъ какъ за эту мысль никто не угрожалъ ему шпицрутенами, то онъ сталъ развивать ее дальше и дальше. Есть море—значитъ, есть и флоты: во-первыхъ, разумѣется, военный, потомъ торговый. Военный флотъ то-и-дѣло бомбардируетъ; торговый—перевозитъ драгоцѣнные грузы. Но такъ какъ Глуповъ всѣмъ изобилуетъ и ничего, кромѣ розогъ и административныхъ мѣропріятій, не потребляетъ, другія же страны, какъ-то село Недоѣдово, деревня Голодаевка и проч., суть совершенно голодныя и притомъ до чрезмѣрности жадныя, то естественно, что торговый балансъ всегда склоняется въ пользу Глупова. Является великое изобиліе звонкой монеты, которую, однакожъ, глуповцы презираютъ и бросаютъ въ навозъ, а изъ навоза секретнымъ образомъ выкапываютъ ее евреи и употребляютъ на исходатайствованіе желѣзнодорожныхъ концессій.

И что-жъ!—всѣ эти мечты рушились на другое же утро. Какъ ни старательно утаптывали глуповцы вновь созданную плотину, какъ ни охраняли они ея неприкосновенность въ теченіе цѣлой ночи, измѣна уже успѣла проникнуть въ ряды ихъ.

Едва успѣвъ продрать глаза, Угрюмъ-Бурчеевъ тотчасъ же поспѣшилъ полюбоваться на произведеніе своего генія, но, приблизившись къ рѣкѣ, всталъ какъ вкопанный. Произошелъ новый бредъ. Луга обнажились: остатки монумен-

тальной плотины въ безпорядкѣ уплывали внизъ по теченію, а рѣка журчала и двигалась въ своихъ берегахъ, точь-въ-точь какъ за день тому назадъ.

Нѣкоторое время Угрюмъ-Бурчеевъ безмолвствовалъ. Съ какимъ-то страннымъ любопытствомъ слѣдилъ онъ, какъ волна плыветъ за волною, сперва одна, потомъ другая, и еще, и еще... И все это куда-то стремится и гдѣ-то, должно-быть, исчезаетъ.

Вдругъ онъ пронзительно замычалъ и порывисто повернулся на каблукѣ.

— Напра-во круг-гомъ! за мной!—раздалась команда.

Онъ рѣшился. Рѣка не захотѣла уйти отъ него — онъ уйдетъ отъ нея. Мѣсто, на которомъ стоялъ старый Глуповъ, опостылѣло ему. Тамъ не повинуются стихіи; тамъ овраги и буераки на каждомъ шагу преграждаютъ стремительный бѣгъ; тамъ воочію совершаются волшебства, о которыхъ не говорится ни въ регламентахъ, ни въ сепаратныхъ предписаніяхъ начальства. Надо бѣжать!

Скорымъ шагомъ удалялся онъ прочь отъ города, а за нимъ, понуривъ головы и едва поспѣвая, слѣдовали обыватели. Наконецъ, къ вечеру, онъ пришелъ. Передъ глазами его разстилалась совершенно ровная низина, на поверхности которой не замѣчалось ни одного бугорка, ни одной впадины. Куда ни обрати взоры—вездѣ гладь, вездѣ ровная скатерть, по которой можно шагать до безконечности. Это былъ тоже бредъ, но бредъ точь-въ-точь совпадавшій съ тѣмъ бредомъ, который гнѣздился въ его головѣ...

— Здѣсь! — крикнулъ онъ ровнымъ, беззвучнымъ голосомъ.

Строился новый городъ на новомъ мѣстѣ, но одновременно съ нимъ выползало на свѣтъ что-то иное, чему еще не было въ то время придумано названія, и что лишь въ позднѣйшее время сдѣлалось извѣстнымъ подъ довольно опредѣленнымъ названіемъ «дурныхъ страстей» и «неблагонадежныхъ элементовъ». Неправильно было бы, впрочемъ, полагать, что это «иное» появилось тогда въ первый разъ: нѣтъ, оно уже имѣло свою исторію...

Еще во времена Бородавкина лѣтописецъ упоминаетъ о нѣкоторомъ Іонкѣ Козырѣ, который, послѣ продолжительныхъ странствованій по теплымъ морямъ и кисельнымъ берегамъ, возвратился въ родной городъ и привезъ съ собой собственнаго сочиненія книгу подъ названіемъ: «Письма

къ другу о водвореніи на землѣ добродѣтели». Но такъ какъ біографія этого Іонки составляетъ драгоцѣнный матеріалъ для исторіи русскаго либерализма, то читатель, конечно, не посѣтуетъ, если она будетъ разсказана здѣсь съ нѣкоторыми подробностями.

Отецъ Іонки, Семенъ Козырь, былъ простой мусорщикъ, который, воспользовавшись смутными временами, нажилъ себѣ значительное состояніе. Въ краткій періодъ безначалія (см. «Сказаніе о шести градоначальницахъ»), когда, въ теченіе семи дней, шесть градоначальницъ вырывали другъ у друга кормило правленія, онъ съ изумительною для глуповца ловкостью перебѣгалъ отъ одной партіи къ другой, при чемъ такъ искусно заметалъ слѣды свои, что законная власть ни минуты не сомнѣвалась, что Козырь всегда оставался лучшею и солиднѣйшею поддержкою ея. Пользуясь этимъ ослѣпленіемъ, онъ сначала продовольствовалъ войска Ираидки, потомъ — войска Клемантинки, Амальки, Нельки и, наконецъ, кормилъ крестьянскими лакомствами Дуньку-толстопятую и Матренку-ноздрю. За все это онъ получалъ деньги по справочнымъ цѣнамъ, которыя самъ же сочинялъ, а такъ какъ для Амальки, Нельки и прочихъ время было горячее и считать деньги некогда, то расчеты кончались тѣмъ, что онъ запускалъ руку въ мѣшокъ и таскалъ оттуда пригоршнями.

Ни помощникъ градоначальника, ни неустрашимый штабъ-офицеръ—никто ничего не зналъ объ интригахъ Козыря, такъ что, когда пріѣхалъ въ Глуповъ подлинный градоначальникъ, Двоекуровъ, и началась разборка «онаго нелѣпаго и смѣха достойнаго глуповскаго смятенія», то за Семеномъ Козыремъ не только не было найдено ни малѣйшей вины, но, напротивъ того, оказалось, что это «подлинно достойнѣйшій и благопоспѣшительнѣйшій къ подавленію революцій гражданинъ».

Двоекурову Семенъ Козырь полюбился по многимъ причинамъ. Во-первыхъ, за то, что жена Козыря, Анна, пекла превосходнѣйшіе пироги; во-вторыхъ, за то, что Семенъ, сочувствуя просвѣтительнымъ подвигамъ градоначальника, выстроилъ въ Глуповѣ пивоваренный заводъ и пожертвовалъ сто рублей для основанія въ городѣ академіи; въ-третьихъ, наконецъ, за то, что Козырь не только не забывалъ ни Симеона-богопріимца, ни Гликеріи-дѣвы (дней тезоименитства градоначальника и супруги его), но даже праздновалъ ихъ дважды въ годъ.

Долго памятенъ былъ указъ, которымъ Двоекуровъ возвѣщалъ обывателямъ объ открытіи пивовареннаго завода и разъяснялъ вредъ водки и пользу пива. «Водка,—говорилось въ томъ указѣ,—не токмо не вселяетъ веселонравія, какъ многіе полагаютъ, но, при довольномъ употребленіи, даже отклоняетъ отъ онаго и порождаетъ страсть къ убійству. Пива же можно кушать сколько угодно и безъ всякой опасности, ибо оное не печальныя мысли внушаетъ, а токмо добрыя и веселыя. А потому совѣтуемъ и приказываемъ: водку кушать только передъ обѣдомъ, но и то изъ малой рюмки; въ прочее же время безопасно кушать пиво, которое нынѣ въ весьма превосходномъ качествѣ и не весьма дорогихъ цѣнъ изъ заводовъ 1-й гильдіи купца Семена Козыря отпущается». Послѣдствія этого указа были для Козыря безчисленны. Въ короткое время онъ до того процвѣлъ, что началъ уже находить, что въ Глуповѣ ему тѣсно, а «нужно-де мнѣ, Козырю, въ скорости въ Петербургѣ быть, а тамо и ко двору явиться».

Во время градоначальствованія Ѳердыщенки Козырю посчастливилось еще больше, благодаря вліянію ямщичихи Аленки, которая приходилась ему внучатной сестрой. Въ началѣ 1766 года онъ угадалъ голодъ и сталъ заблаговременно скупать хлѣбъ. По его наущенію Ѳердыщенко поставилъ у всѣхъ заставъ полицейскихъ, которые останавливали возы съ хлѣбомъ и гнали ихъ прямо на дворъ къ скупщику. Тамъ Козырь объявлялъ, что платитъ за хлѣбъ «по такціи», и ежели между продавцами возникали сомнѣнія, то недоумѣвающихъ отправлялъ въ часть.

Но какъ пришло это баснословное богатство, такъ оно и улетучилось. Во-первыхъ, Козырь не поладилъ съ Домашкой-стрѣльчихой, которая заняла мѣсто Аленки. Во-вторыхъ, побывавъ въ Петербургѣ, Козырь сталъ хвастаться; князя Орлова звалъ Гришей, а о Мамоновѣ и Ермоловѣ говорилъ, что они умомъ коротки, что онъ, Козырь, «много имъ насчетъ національной политики толковалъ, да мало они поняли».

Въ одно прекрасное утро, нежданно-негаданно, призвалъ Ѳердыщенко Козыря и повелъ къ нему такую рѣчь:

— Правда ли,—говорилъ онъ:—что ты, Семенъ, свѣтлѣйшаго Римской имперіи князя Григорія Григорьевича Орлова Гришкой величалъ и, ходючи по кабакамъ, передъ всякаго званія людьми за пріятеля себѣ выдавалъ?

Козырь замялся.

— И на то у меня свидѣтели есть,—продолжалъ Ѳердыщенко такимъ тономъ, который не дозволялъ усомниться, что онъ подлинно знаетъ, что говоритъ.

Козырь поблѣднѣлъ.

— И я тотъ твой бездѣльный поступокъ, по благодушію своему, прощаю!—вновь началъ Ѳердыщенко:—а которое ты имѣніе награбилъ, и то имѣніе твое отписываю я, бригадиръ, на себя. Ступай и молись Богу.

И точно: въ тотъ же день отписалъ бригадиръ на себя Козыреву движимость и недвижимость, подаривъ, однако, виновному хижину на краю города, чтобы было гдѣ душу спасти и себя прокормить.

Больной, озлобленный, всѣми забытый, доживалъ Козырь свой вѣкъ и на закатѣ дней вдругъ почувствовалъ приливъ «дурныхъ страстей» и «неблагонадежныхъ элементовъ». Сталъ проповѣдывать, что собственность есть мечтаніе, что только нищіе да постники взойдутъ въ царствіе небесное, а богатые да бражники будутъ лизать раскаленныя сковороды и кипѣть въ смолѣ. При чемъ, обращаясь къ Ѳердыщенкѣ (тогда было на этотъ счетъ просто: грабили, но правду выслушивали благодушно), прибавлялъ:

— Вотъ и ты, чортовъ угодникъ, въ аду съ братцемъ своимъ сатаной каленными угольями трапезовать станешь, а я, Семенъ, тѣмъ временемъ на лонѣ Авраамлемъ почивать буду.

Таковъ былъ первый глуповскій демагогъ.

Іоны Козыря не было въ Глуповѣ, когда отца его постигла страшная катастрофа. Когда онъ возвратился домой, всѣ ждали, что поступокъ Ѳердыщенки приведетъ его, по малой мѣрѣ, въ негодованіе; но онъ выслушалъ дурную вѣсть спокойно, не выразивъ ни огорченія, ни даже удивленія. Это была довольно развитая, но совершенно мечтательная натура, которая вполнѣ безучастно относилась къ существующему факту, и эту безучастность восполняла большою дозою утопизма. Въ головѣ его мелькалъ какой-то рай, въ которомъ живутъ добродѣтельные люди, дѣлаютъ добродѣтельныя дѣла и достигаютъ добродѣтельныхъ результатовъ. Но все это именно только мелькало, не укладываясь въ опредѣленныя формы и не идя далѣе простыхъ и не вполнѣ ясныхъ афоризмовъ. Самая книга: «О водворенiи на землѣ добродѣтели», была не что иное, какъ сводъ подобныхъ афоризмовъ, не указывавшихъ и даже не имѣвшихъ цѣлью указать на какія-либо практи-

ческія примѣненія. Іонѣ пріятно было сознавать себя добродѣтельнымъ, и, конечно, еще было бы пріятнѣе, если-бъ и другіе тоже сознавали себя добродѣтельными. Это была потребность его мягкой, мечтательной натуры; это же обусловливало для него и потребность пропаганды. Сожительство добродѣтельныхъ съ добродѣтельными, отсутствіе зависти, огорченій и заботъ, кроткая бесѣда, тишина, умѣренность — вотъ идеалы, которые онъ проповѣдывалъ, ничего не зная о способахъ ихъ осуществленія.

Несмотря на свою расплывчивость, ученіе Козыря пріобрѣло, однакожъ, столько прозелитовъ въ Глуповѣ, что градоначальникъ Бородавкинъ счелъ нелишнимъ обезпокоиться этимъ. Сначала онъ вытребовалъ къ себѣ книгу: «О водвореніи на землѣ добродѣтели» и освидѣтельствовалъ ее; потомъ вытребовалъ и самого автора для освидѣтельствованія.

— Челъ я твою, Іонкину, книгу,—сказалъ онъ:—и отъ многихъ написанныхъ въ ней злодѣйствъ былъ приведенъ въ омерзѣніе.

Іонка казался изумленнымъ. Бородавкинъ продолжалъ:

— Мнишь ты всѣхъ людей добродѣтельными сдѣлать, а про то позабылъ, что добродѣтель не отъ тебя, а отъ Бога; и отъ Бога же всякому человѣку пристойное мѣсто указано.

Іонка изумлялся все больше и больше этому приступу и не столько со страхомъ, сколько съ любопытствомъ ожидалъ, къ какимъ Бородавкинъ придетъ выводамъ.

— Ежели есть на свѣтѣ клеветники, тати, злодѣи и душегубцы (о чемъ и въ указахъ неотступно публикуется),— продолжалъ градоначальникъ:—то съ чего же тебѣ, Іонкѣ, на умъ взбрело, чтобъ имъ не быть? и кто тебѣ такую власть далъ, чтобы всѣхъ сихъ людей отъ природныхъ ихъ званій отставить и заурядъ съ добродѣтельными людьми въ нѣкоторое смѣха достойное мѣсто, тобою «раемъ» продерзостно именуемое, включить?

Іонка разинулъ-было роть для нѣкоторыхъ разъясненій,— но Бородавкинъ прервалъ его.

— Погоди. И ежели всѣ люди «въ раю» въ пѣсняхъ и пляскахъ время препровождать будутъ, то кто же, по твоему, Іонкину, разумѣнію, землю пахать станетъ? и вспахавши сѣять? и посѣявши жать? и собравши плоды, оными господъ дворянъ и прочихъ чиновъ людей довольствовать и питать?

Опять разинулъ ротъ Іонка, и опять Бородавкинъ удержалъ его порывъ.

— Погоди. И за тѣ твои безсовѣстныя рѣчи судилъ я тебя, Іонку, судомъ скорымъ, и присудилъ тако: книгу твою, изодравъ, растоптать (говоря это, Бородавкинъ изодралъ и растопталъ), съ тобой же самимъ, яко съ растлителемъ добрыхъ нравовъ, по предварительной отдачѣ на поруганіе, поступить, какъ мнѣ, градоначальнику, заблагоразсудится.

Такимъ образомъ Іоной Козыремъ начался мартирологъ глуповскаго либерализма.

Разговоръ этотъ происходилъ утромъ въ праздничный день, а въ полдень вывели Іонку на базаръ и, дабы сдѣлать видъ его болѣе омерзительнымъ, надѣли на него сарафанъ (такъ какъ въ числѣ послѣдователей Козырева ученія было много женщинъ), а на груди привѣсили дощечку съ надписью: *бабникъ и прелюбодѣй*. Въ довершеніе всего квартальные приглашали торговыхъ людей плевать на преступника, что̀ и исполнялось. Къ вечеру Іонки не стало.

Таковъ былъ первый дебютъ глуповскаго либерализма. Несмотря, однакожъ, на неудачу, «дурныя страсти» не умерли, а образовали традицію, которая переходила преемственно изъ поколѣнія въ поколѣніе и при всѣхъ послѣдующихъ градоначальникахъ. Къ сожалѣнію, лѣтописцы не предвидѣли страшнаго распространенія этого зла въ будущемъ, а потому, не обращая должнаго вниманія на происходившіе передъ ними факты, заносили ихъ въ свои тетрадки съ прискорбною краткостью. Такъ, напримѣръ, при Негодяевѣ упоминается о нѣкоемъ дворянскомъ сынѣ Ивашкѣ Фарафонтьевѣ, который былъ посаженъ на цѣпь за то, что говорилъ хульныя слова, а слова тѣ въ томъ состояли, что «всѣмъ-де людямъ въ ѣдѣ равная потреба настоитъ, и кто-де ѣстъ много, пускай дѣлится съ тѣмъ, кто ѣстъ мало». «И сидя на цѣпи, Ивашка умре», прибавляетъ лѣтописецъ. Другой примѣръ случился при Микаладзе, который хотя былъ самъ либералъ, но, по страстности своей натуры, а также по новости дѣла, не всегда могъ воздерживаться отъ заушеній. Во время его управленія городомъ, тридцать три философа были разсѣяны по лицу земли за то, что «нелѣпымъ обычаемъ говорили: трудящійся да ястъ; нетрудящійся же да вкуситъ отъ плодовъ бездѣлія своего». Третій примѣръ былъ при Бенево-

лепскомъ, когда былъ «подвергнутъ разспроснымъ рѣчамъ» дворянскій сынъ, Алешка Безпятовъ, за то, что въ укоръ градоначальнику, любившему заниматься законодательствомъ, утверждалъ: «худы-де тѣ законы, кои писать надо, а тѣ законы исправны, кои и безъ письма въ естествѣ у каждаго человѣка нерукотворно написаны». И онъ тоже «отъ разспросныхъ рѣчей да съ испугу и съ боли умре». Послѣ Безпятова либеральный мартирологъ временно прекратился. Прыщъ и Ивановъ были глупы; Дю-Шаріо же былъ и глупъ, и, кромѣ того, самъ зараженъ либерализмомъ. Грустиловъ, въ первую половину своего градоначальствованія, не только не препятствовалъ, но даже покровительствовалъ либерализму, потому что смѣшивалъ его съ вольнымъ обращеніемъ, къ которому отъ природы имѣлъ непреодолимую склонность. Только впослѣдствіи, когда блаженный Парамоша и юродивенькая Анисьюшка взяли въ руки бразды правленія, либеральный мартирологъ вновь воспріялъ начало, въ лицѣ учителя каллиграфіи Линкина, доктрина котораго, какъ извѣстно, состояла въ томъ, что «всѣ мы, что человѣки, что скоты— всѣ помремъ и всѣ къ чортовой матери пойдемъ». Вмѣстѣ съ Линкинымъ чуть-было не попались впросакъ два знаменитѣйшіе философа того времени, Фуничъ и Мерзицкій, но во-время спохватились и начали, вмѣстѣ съ Грустиловымъ, присутствовать при «восхищеніяхъ» (см. «Поклоненіе мамонѣ и покаяніе»). Поворотъ Грустилова далъ либерализму новое направленіе, которое можно назвать центробѣжно-центростремительно-неисповѣдимо-завиральнымъ. Но это былъ, все-таки, либерализмъ, а потому и онъ успѣха имѣть не могъ, ибо уже наступила минута, когда либерализма не требовалось вовсе. Не требовалось совсѣмъ, ни подъ какимъ видомъ, ни въ какихъ формахъ, ни даже въ формѣ нелѣпости, ни даже въ формѣ восхищенія начальствомъ.

Восхищеніе начальствомъ! что̀ значитъ восхищеніе начальствомъ? Это значитъ такое онымъ восхищеніе, которое въ то же время допускаетъ и возможность онымъ невосхищенія! А отсюда до революціи—одинъ шагъ!

Со вступленіемъ на должность градоначальника Угрюмъ-Бурчеева либерализмъ въ Глуповѣ прекратился вовсе, а потому и мартирологъ не возобновлялся. «Будучи, выше мѣры, обремененны тѣлесными упражненіями,—говоритъ лѣтописецъ,—глуповцы, съ устатку, ни о чемъ больше не мыс-

лили, кромѣ какъ о выпрямленіи согбенныхъ работой тѣлесъ своихъ». Такимъ образомъ продолжалось все время, покуда Угрюмъ-Бурчеевъ разрушалъ старый городъ и боролся съ рѣкою. Но по мѣрѣ того, какъ новый городъ приходилъ къ концу, тѣлесныя упражненія сокращались, а вмѣстѣ съ досугомъ изъ-подъ пепла возникало и пламя измѣны...

Дѣло въ томъ, что по окончательномъ устройствѣ города послѣдовалъ цѣлый рядъ празднествъ. Во-первыхъ, назначенъ былъ праздникъ по случаю переименованія города изъ Глупова въ Непреклонскъ; во-вторыхъ, послѣдовалъ праздникъ въ воспоминаніе побѣдъ, одержанныхъ бывшими градоначальниками надъ обывателями; и въ-третьихъ, по случаю наступленія осенняго времени, самъ собой подошелъ праздникъ «предержащихъ властей». Хотя, по первоначальному проекту Угрюмъ-Бурчеева, праздники должны были отличаться отъ будней только тѣмъ, что въ эти дни жителямъ, вмѣсто работъ, предоставлялось заниматься усиленной маршировкой, но на этотъ разъ бдительный градоначальникъ оплошалъ. Безсонная ходьба по прямой линіи до того сокрушила его желѣзные нервы, что когда затихъ въ воздухѣ послѣдній ударъ топора, онъ едва успѣлъ крикнуть «шабашъ!»—какъ тутъ же повалился на землю и захрапѣлъ, не сдѣлавъ даже распоряженія о назначеніи новыхъ шпіоновъ.

Изнуренные, обруганные и уничтоженные, глуповцы, послѣ долгаго перерыва, первый разъ вздохнули свободно. Они взглянули другъ на друга—и вдругъ устыдились. Они не понимали, что̀ именно произошло вокругъ нихъ, но чувствовали, что воздухъ наполненъ сквернословіемъ, и что далѣе дышать въ этомъ воздухѣ невозможно. Была ли у нихъ исторія, были ли въ этой исторіи моменты, когда они имѣли возможность проявить свою самостоятельность?—ничего они не помнили. Помнили только, что у нихъ были Урусъ-Кугушъ-Кильдибаевы, Негодяевы, Бородавкины и, въ довершеніе позора, этотъ ужасный, этотъ безславный прохвостъ! И все это глушило, грызло, рвало зубами—во имя чего? Грудь захлестывало кровью, дыханіе занимало, лица судорожно искривляло гнѣвомъ при воспоминаніи о безславномъ идіотѣ, который, съ топоромъ въ рукѣ, пришелъ невѣдомо отколь и съ неисповѣдимою наглостью изрекъ смертный приговоръ прошедшему, настоящему и будущему.

А онъ, между тѣмъ, неподвижно лежалъ на самомъ сол-

нечномъ припекѣ и тяжело храпѣлъ. Теперь онъ былъ у всѣхъ на виду; всякій могъ свободно разсмотрѣть его и убѣдиться, что это подлинный идіотъ—и ничего болѣе.

Когда онъ разрушалъ, боролся со стихіями, предавалъ огню и мечу, еще могло казаться, что въ немъ олицетворяется что-то громадное, какая-то всепокоряющая сила, которая, независимо отъ своего содержанія, можетъ поражать воображеніе; теперь, когда онъ лежалъ поверженный и изнеможенный, когда ни на комъ не тяготѣлъ его исполненный безстыжества взоръ, дѣлалось яснымъ, что это «громадное», это «всепокоряющее»—не что иное, какъ идіотство, не нашедшее себѣ границъ.

Какъ ни запуганы были умы, но потребность освободить душу отъ обязанности вникать въ таинственный смыслъ выраженія «курицынъ сынъ» была настолько сильна, что измѣнила и самый взглядъ на значеніе Угрюмъ-Бурчеева. Это былъ уже значительный шагъ впередъ въ дѣлѣ преуспѣянія «неблагонадежныхъ элементовъ». Прохвостъ проснулся, но взоръ его уже не произвелъ прежняго впечатлѣнія. Онъ раздражалъ, но не пугалъ. Убѣжденіе, что это не злодѣй, а простой идіотъ, который шагаетъ все прямо и ничего не видитъ, что дѣлается по сторонамъ, съ каждымъ днемъ пріобрѣтало все бо̀льшій и бо̀льшій авторитетъ. Но это раздражало еще сильнѣе. Мысль, что шаганіе безсрочно, что въ идіотѣ таится какая-то сила, которая цѣпенитъ умы, сдѣлалась невыносимою. Никто не задавался предположеніями, что идіотъ можетъ успокоиться или обратиться къ лучшимъ чувствамъ, и что при такомъ оборотѣ жизнь сдѣлается возможною и даже, пожалуй, спокойною. Не только спокойствіе, но даже самое счастье казалось обиднымъ и унизительнымъ, въ виду этого прохвоста, который единолично сокрушилъ цѣлую массу мыслящихъ существъ.

«Онъ» дастъ какое-то счастье! «Онъ» скажетъ имъ: я васъ разорилъ и оглушилъ, а теперь позволю вамъ быть счастливыми! И они выслушаютъ эту рѣчь хладнокровно! они воспользуются его дозволеніемъ и будутъ счастливы! Позоръ!!!

А Угрюмъ-Бурчеевъ все маршировалъ и все смотрѣлъ прямо, отнюдь не подозрѣвая, что подъ самымъ его носомъ кишатъ дурныя страсти и чуть-чуть не воочію выплываютъ на поверхность неблагонадежные элементы. По примѣру всѣхъ благопопечительныхъ благоустроителей, онъ

видѣлъ только одно: что мысль, такъ долго зрѣвшая въ его заскорузлой головѣ, наконецъ, осуществилась, что онъ подлинно обладаетъ прямою линіей и можетъ маршировать по ней сколько угодно. Затѣмъ, имѣется ли на этой линіи что-нибудь живое, и можетъ ли это «живое» ощущать, мыслить, радоваться, страдать, способно ли оно, наконецъ, изъ «благонадежнаго» обратиться въ «неблагонадежное» — все это не составляло для него даже вопроса...

Раздраженіе росло тѣмъ сильнѣе, что глуповцы, все-таки, обязывались выполнять всѣ запутанныя формальности, которыя были заведены Угрюмъ-Бурчеевымъ. Чистились, подтягивались, проходили черезъ всѣ манежи, строились въ каре, разводились по работамъ и проч. Всякая минута казалась удобною для освобожденія, и всякая же минута казалась преждевременною. Происходили безпрерывныя совѣщанія по ночамъ; тамъ и сямъ прорывались одиночные случаи нарушенія дисциплины: но все это было какъ-то до такой степени разрозненно, что въ концѣ-концовъ могло, самою медленностью процесса, возбудить подозрительность даже въ такомъ убѣжденномъ идіотѣ, какъ Угрюмъ-Бурчеевъ.

И точно, онъ началъ нѣчто подозрѣвать. Его поразила тишина во время дня и шорохъ во время ночи. Онъ видѣлъ, какъ, съ наступленіемъ сумерекъ, какія-то тѣни бродили по городу и исчезали невѣдомо куда, и какъ, съ разсвѣтомъ дня, тѣ же самыя тѣни вновь появлялись въ городѣ и разбѣгались по домамъ. Нѣсколько дней сряду повторялось это явленіе, и всякій разъ онъ порывался выбѣжать изъ дома, чтобы лично разслѣдовать причину ночной суматохи, но суевѣрный страхъ удерживалъ его. Какъ истинный прохвостъ, онъ боялся чертей и вѣдьмъ.

И вотъ, однажды, появился по всѣмъ поселеннымъ единицамъ приказъ, возвѣщавшій о назначеніи шпіоновъ. Это была капля, переполнившая чашу...

Но здѣсь я долженъ сознаться, что тетрадки, которыя заключали въ себѣ подробности этого дѣла, неизвѣстно куда утратились. Поэтому я нахожусь вынужденнымъ ограничиться лишь передачею развязки этой исторіи, и то благодаря тому, что листокъ, на которомъ она описана, случайно уцѣлѣлъ.

«Черезъ недѣлю (послѣ чего?), — пишетъ лѣтописецъ, — глуповцевъ поразило зрѣлище. Сѣверъ потемнѣлъ и покрылся тучами; изъ этихъ тучъ нѣчто неслось на городъ: не то ливень, не то смерчъ. Полное гнѣва, *оно* неслось,

буровя землю, грохоча, гудя и стеня и по временамъ изрыгая изъ себя какіе-то глухіе, каркающіе звуки. Хотя *оно* было еще не близко, но воздухъ въ городѣ заколебался, колокола сами собой загудѣли, деревья взъерошились, животныя обезумѣли и метались по полю, не находя дороги въ городъ. *Оно* близилось, и по мѣрѣ того, какъ близилось, время останавливало бѣгъ свой. Наконецъ, земля затряслась, солнце померкло... глуповцы пали ницъ. Неисповѣдимый ужасъ выступилъ на всѣхъ лицахъ, охватилъ всѣ сердца.

«*Оно* пришло...

«Въ эту торжественную минуту Угрюмъ-Бурчеевъ вдругъ обернулся всѣмъ корпусомъ къ оцѣпенѣлой толпѣ и яснымъ голосомъ произнесъ:

«— Придетъ...

«Но не успѣлъ онъ договорить, какъ раздался трескъ, и бывый прохвостъ моментально исчезъ, словно растаялъ въ воздухѣ.

«Исторія прекратила теченіе свое»...

Оправдательные документы.

I. Мысли о градоначальническомъ единомысліи, а также о градоначальническомъ единовластіи и о прочемъ.

Сочинилъ глуповскій градоначальникъ Василискъ Бородавкинъ *).

Необходимо, дабы между градоначальниками царствовало единомысліе. Чтобы они, такъ сказать, по всему лицу земли—едиными устами. О вредѣ градоначальническаго многомыслія распространюсь кратко. Какія суть градоначальниковы права и обязанности?—Права сіи суть: чтобы злодѣи трепетали, а прочіе чтобы повиновались. Обязанности суть: чтобы употреблять мѣры кротости, но не упускать изъ вида и мѣръ строгости. Сверхъ того, поощрять науки.

*) Сочиненіе это составляетъ дѣтскую тетрадку въ четвертую долю листа; читать рукопись очень трудно, потому что правописаніе ея чисто варварское. Напримѣръ, слово «чтобъ» вездѣ пишется «штобъ» и даже «штопъ»; слово «когда» пишется «кахда» и проч. Но это-то и дѣлаетъ рукопись драгоцѣнною, ибо доказываетъ, что она вышла несомнѣнно и непосредственно изъ-подъ пера глубокомысленнаго администратора и даже не была на просмотрѣ у его секретаря. Это доказываетъ также, что въ прежнія времена отъ градоначальниковъ требовали не столько блестящаго правописанія, сколько глубокомыслія и природной склонности къ философическимъ упражненіямъ.

Издатель.

Въ сихъ краткихъ чертахъ заключается недолгая, но и не легкая градоначальническая наука. Размыслимъ кратко: что изъ сего произойти можетъ?

«Чтобы злодѣи трепетали»—прекрасно! Но кто же сіи злодѣи? Очевидно, что при многомысліи по сему предмету можетъ произойти великая въ дѣйствіяхъ неурядица. Злодѣемъ можетъ быть воръ, но это злодѣй, такъ сказать, третьестепенный; злодѣемъ называется убійца, но и это злодѣй лишь второй степени; наконецъ, злодѣемъ можетъ быть вольнодумецъ—это уже злодѣй настоящій и притомъ закоренѣлый и нераскаянный. Изъ сихъ трехъ сортовъ злодѣевъ, конечно, каждый долженъ трепетать, но въ равной ли мѣрѣ? Нѣтъ, не въ равной. Вору слѣдуетъ предоставить трепетать менѣе, нежели убійцѣ; убійцѣ же менѣе, нежели безбожному вольнодумцу. Сей послѣдній долженъ всегда видѣть передъ собой пронзительный градоначальническій взоръ, и оттого трепетать безпрерывно. Теперь, ежели мы допустимъ относительно сей матеріи въ градоначальникахъ многомысліе, то, очевидно, многое выйдетъ наоборотъ, а именно: безбожники будутъ трепетать умѣренно, воры же и убійцы всеминутно и прежестоко. И такимъ образомъ упразднится здравая административная экономія и нарушится величественная административная стройность!

Но послѣдуемъ далѣе. Выше сказано: «прочіе чтобы повиновались»—но кто же сіи «прочіе»? Очевидно, здѣсь разумѣются обыватели вообще; однакоже, и въ семъ общемъ наименованіи необходимо различать: во-первыхъ, благородное дворянство, во-вторыхъ, почтенное купечество и, въ-третьихъ, земледѣльцевъ и прочій подлый народъ. Хотя безспорно, что каждый изъ сихъ трехъ сортовъ обывателей обязанъ повиноваться, но нельзя отрицать и того, что каждый изъ нихъ можетъ употребить при этомъ свой особенный, ему свойственный манеръ. Напримѣръ: дворянинъ повинуется благородно и вскользь предъявляетъ резоны; купецъ повинуется съ готовностью и проситъ принять хлѣбъ-соль; наконецъ, подлый народъ повинуется просто и, чувствуя себя виноватымъ, раскаивается и проситъ прощенія. Что будетъ, ежели градоначальникъ въ сіи оттѣнки не вникнетъ, а особливо ежели онъ подлому народу предоставитъ предъявлять резоны? Страшусь сказать, но опасаюсь, что въ семъ случаѣ градоначальническое многомысліе можетъ имѣть послѣдствія не только вредныя, но и съ трудомъ исправимыя!

Разсказываютъ слѣдующее. Одинъ озабоченный градоначальникъ, вошедъ въ кофейную, спросилъ себѣ рюмку водки и, получивъ желаемое вмѣстѣ съ мѣдною монетою въ сдачу, монету проглотилъ, а водку вылилъ себѣ въ карманъ. Вполнѣ сему вѣрю, ибо при градоначальнической озабоченности подобныя пагубныя смѣшенія весьма возможны. Но при этомъ не могу не сказать: вотъ какъ градоначальники должны быть осторожны въ разсмотрѣніи своихъ собственныхъ дѣйствій!

Послѣдуемъ еще далѣе. Выше я упомянулъ, что у градоначальниковъ, кромѣ правъ, имѣются еще и обязанности. «Обязанности»—о, сколь горькое это для многихъ градоначальниковъ слово! Но не будемъ, однакожъ, поспѣшны, господа мои любезные сотоварищи! размыслимъ зрѣло, и, можетъ-быть, мы увидимъ, что при благоразумномъ употребленіи, даже горькія вещества могутъ легко превращаться въ сладкія! Обязанности градоначальническія, какъ уже сказано, заключаются въ употребленіи мѣръ кротости, безъ пренебреженія, однако, мѣрами строгости. Въ чемъ выражаются мѣры кротости? Мѣры сіи преимущественно выражаются въ привѣтствіяхъ и пожеланіяхъ. Обыватели, а въ особенности подлый народъ—великіе до сего охотники; но при этомъ необходимо, чтобы градоначальникъ былъ въ мундирѣ и имѣлъ открытую физіономію и благосклонный взглядъ. Не лишне также, чтобы на лицѣ играла улыбка. Мнѣ неоднократно случалось въ семъ тріумфальномъ видѣ выходить къ обывательскимъ толпамъ, и когда я звучнымъ и пріятнымъ голосомъ восклицалъ: «здорово, ребята!»—то, ручаюсь честью, немного нашлось бы такихъ, кои не согласились бы, по первому моему привѣтливому знаку, броситься въ воду и утопиться, лишь бы снискать благосклонное мое одобреніе. Конечно, я никогда сего не требовалъ, но, признаюсь, такая на всѣхъ лицахъ видная готовность всегда меня радовала. Таковы суть мѣры кротости. Что же касается до мѣръ строгости, то онѣ всякому, даже не бывшему въ кадетскихъ корпусахъ, довольно извѣстны. Стало-быть, распространяться о нихъ не стану, а прямо приступлю къ описанію способовъ примѣненія тѣхъ и другихъ мѣропріятій.

Прежде всего замѣчу, что градоначальникъ никогда не долженъ дѣйствовать иначе, какъ чрезъ посредство мѣропріятій. Всякое его дѣйствіе есть мѣропріятіе. Привѣтливый видъ, благосклонный взглядъ суть такія же мѣры вну-

тренней политики, какъ и экзекуція. Обыватель *всегда* въ чемъ-нибудь виноватъ, и потому *всегда же* надлежитъ на порочную его волю воздѣйствовать. Въ семъ-то смыслѣ первою мѣрою воздѣйствія и должна быть мѣра кротости. Ибо, ежели градоначальникъ, выйдя изъ своей квартиры, прямо начнетъ палить, то онъ достигнетъ лишь того, что перепалитъ всѣхъ обывателей и, какъ древній Марій, останется на развалинахъ одинъ съ письмоводителемъ. Такимъ образомъ, употребивъ первоначально мѣру кротости, градоначальникъ долженъ прилежно смотрѣть, оказала ли она надлежащій плодъ, и когда убѣдится, что оказала, то можетъ уйти домой; когда же увидитъ, что плода нѣтъ, то обязанъ, нимало не медля, приступить къ мѣрамъ послѣдующимъ. Первымъ дѣйствіемъ въ семъ смыслѣ долженъ быть суровый видъ, отъ коего обыватели мгновенно пали бы на колѣни. При семъ: рѣчь должна быть отрывистая, взоръ обѣщающій дальнѣйшія распоряженія, походка неровная, какъ бы судорожная. Но если и затѣмъ толпа будетъ продолжать упорствовать, то надлежитъ: набѣжавъ съ размаху, вырвать изъ оной одного или двухъ человѣкъ, подъ наименованіемъ зачинщиковъ, и, отступя отъ бунтовщиковъ на нѣкоторое разстояніе, немедля распорядиться. Если же и сего недостаточно, то надлежитъ: отдѣливъ изъ толпы десятыхъ и, признавъ ихъ состоящими на правахъ зачинщиковъ, распорядиться подобно какъ съ первыми. По большей части, сихъ мѣропріятій (особенно если они употреблены благовременно и быстро) бываетъ достаточно; однако, можетъ случиться и такъ, что толпа, какъ бы окоченѣвъ въ своей грубости и закоренѣлости, коснѣетъ въ ожесточеніи. Тогда надлежитъ палить.

Итакъ, вотъ какое существуетъ разнообразіе въ мѣропріятіяхъ и какая потребна мудрость въ уловленіи всѣхъ оттѣнковъ ихъ. Теперь представимъ себѣ, что̀ можетъ произойти, если относительно сей матеріи будетъ существовать пагубное градоначальническое многомысліе? А вотъ что̀: въ одномъ городѣ градоначальникъ будетъ довольствоваться благоразумными распоряженіями, а въ другомъ, сосѣднемъ, другой градоначальникъ, при тѣхъ же обстоятельствахъ, будетъ уже палить. А такъ какъ у насъ все на слуху̀, то подобное отсутствіе единомыслія можетъ въ самихъ обывателяхъ поселить резонное недоумѣніе и даже многомысліе. Конечно, обыватели должны быть всегда готовы къ перенесенію всякаго рода мѣропріятій, но при

семъ они не лишены нѣкотораго права на ихъ постепенность. Въ крайнемъ случаѣ, они могутъ даже требовать, чтобы съ ними первоначально распорядились и только потомъ уже палили. Ибо, какъ я однажды сказалъ, ежели градоначальникъ будетъ палить безъ расчета, то со временемъ ему даже не съ кѣмъ будетъ распорядиться... И такимъ образомъ вновь упразднится административная экономія и вновь нарушится величественная административная стройность.

И еще я сказалъ: градоначальникъ обязанъ насаждать науки. Это такъ. Но и въ семъ разѣ необходимо дать себѣ отчетъ: какія науки? Науки бываютъ разныя; однѣ трактуютъ объ удобреніи полей, о построеніи жилищъ человѣческихъ и скотскихъ, о воинской доблести и непреоборимой твердости—сіи суть полезныя; другія, напротивъ, трактуютъ о вредномъ франмасонскомъ и якобинскомъ вольномысліи, о нѣкоторыхъ, якобы природныхъ человѣку, понятіяхъ и правахъ, при чемъ касаются даже строенія міра—сіи суть вредныя. Что будетъ, ежели одинъ градоначальникъ примется насаждать первыя науки, а другой—вторыя? Во-первыхъ, послѣдній будетъ за сіе преданъ суду и чрезъ то лишится права на пенсію; во-вторыхъ, и для самихъ обывателей будетъ отъ того не польза, а вредъ. Ибо, встрѣтившись гдѣ-либо на границѣ, обыватель одного города будетъ вопрошать объ удобреніи полей, а обыватель другого города, не внявъ вопрошающаго, будетъ отвѣчать ему о естественномъ строеніи міровъ. И такимъ образомъ, поговоривъ между собой, разойдутся.

Слѣдственно, необходимость и польза градоначальническаго единомыслія очевидны. Развивъ сію матерію въ надлежащей полнотѣ, приступимъ къ разсужденію о средствахъ къ ея осуществленію.

Для сего предлагаю кратко:

1) Учредить особливый воспитательный градоначальническій институтъ. Градоначальники, какъ особливо обреченные, должны и воспитаніе получать особливое. Слѣдуетъ градоначальниковъ отъ сосцовъ материнскихъ отлучать и воспитывать не обыкновеннымъ материнскимъ млекомъ, а млекомъ указовъ правительствующаго сената и предписаній начальства. Сіе есть истинное млеко градоначальниково, и напитавшійся имъ твердъ будетъ въ единомысліи и станетъ ревниво и строго содержать свое градоначальство. При семъ: прочую пищу давать умѣренную, отъ употре-

бленія вина воздерживать безусловно, въ нравственномъ же отношеніи внушать ежечасно, что взысканіе недоимокъ есть первѣйшій градоначальника долгъ и обязанность. Для удовлетворенія воображенія допускать картинки. Изъ наукъ преподавать три: а) ариѳметику, какъ необходимое пособіе при взысканіи недоимокъ; б) науку о необходимости очищать улицы отъ навоза, и в) науку о постепенности мѣропріятій. Въ рекреаціонное время занимать чтеніемъ начальственныхъ предписаній и анекдотовъ изъ жизни доблестныхъ администраторовъ. При такой системѣ, можно сказать напередъ: а) что градоначальники будутъ крѣпки и б) что они не дрогнутъ.

2) Издавать надлежащія руководства. Сіе необходимо, въ видахъ устраненія нѣкоторыхъ гнусныхъ слабостей. Хотя и вскормленный суровымъ градоначальническимъ млекомъ, градоначальникъ устроенъ, однакоже, яко и человѣки, и слѣдовательно имѣетъ нѣкоторыя естественныя надобности. Одна изъ сихъ надобностей—и преимущественнѣйшая—есть привлекательный женскій полъ. Нельзя довольно изъяснить, сколь она настоятельна и сколь много отъ ноя ущерба для казны происходитъ. Есть градоначальники, кои вожделѣютъ ежемгновенно и, находясь въ семъ достойномъ жалости видѣ, оставляютъ резолюціи городническаго правленія по цѣлымъ мѣсяцамъ безъ утвержденія. Надлежитъ, чтобы упомянутыя выше руководства отъ сей пагубной надобности градоначальниковъ предостерегали и сохраняли супружеское ихъ ложе въ надлежащей опрятности. Вторая весьма пагубная слабость есть приверженность градоначальниковъ къ утонченному столу и изрядньмъ винамъ. Есть градоначальники, кои до того обѣдаются присылаемыми отъ купцовъ стерлядями, что въ скоромъ времени тучнѣютъ и дѣлаются къ предписаніямъ начальства весьма равнодушными. Надлежитъ и въ семъ случаѣ освѣжать градоначальниковъ руководительными статьями, а въ крайности—даже пригрозить градоначальническимъ суровымъ млекомъ. Наконецъ, третья и самая гнусная слаб... (Здѣсь рукопись на нѣсколько строкъ прерывается, ибо авторъ, желая засыпать написанное пескомъ, залилъ, по ошибкѣ, чернилами. Сбоку приписано: «сіе мѣсто залито чернилами, по ошибкѣ»).

3) Устраивать отъ времени до времени секретные въ губернскихъ городахъ градоначальническіе съѣзды. На съѣздахъ сихъ занимать ихъ чтеніемъ градоначальническихъ

руководствъ и освѣженіемъ въ ихъ памяти градоначальническихъ наукъ. Увѣщавать быть твердыми и не взирать.

и 4) Ввести систему градоначальническаго единонагражденія. Но матерія сія столь обширна, что объ ней надѣюсь говорить особо.

Утвердившись такимъ образомъ въ самомъ центрѣ, единомысліе градоначальническое неминуемо повлечетъ за собой и единомысліе всеобщее. Всякій обыватель,—уразумѣвъ, что градоначальники: а) распоряжаются единомысленно, б) палятъ также единомысленно,—будетъ единомысленно же и изготовляться къ воспринятію сихъ мѣропріятій. Ибо отъ такого единомыслія некуда будетъ имъ дѣваться. Не будетъ, слѣдственно, ни свары, ни розни, а будутъ распоряженія и пальба повсемѣстная.

Въ заключеніе скажу нѣсколько словъ о градоначальническомъ единовластіи и о прочемъ. Сіе также необходимо, ибо безъ градоначальническаго единовластія невозможно и градоначальническое единомысліе. Но на сей счетъ мнѣнія существуютъ различныя. Одни, напримѣръ, говорятъ, что градоначальническое единовластіе состоитъ въ покореніи стихій. Одинъ градоначальникъ мнѣ лично сказывалъ: «какіе, братъ, мы съ тобой градоначальники! у меня солнце каждый день на востокѣ встаетъ, и я не могу распорядиться, чтобы оно вставало на западѣ!» Хотя слова сіи принадлежатъ градоначальнику подлинно образцовому, но я все-таки похвалить ихъ не могу. Ибо желать слѣдуетъ только того, что къ достиженію возможно; ежели же будешь желать недостижимаго, какъ, напримѣръ, укрощенія стихій, прекращенія теченія времени и подобнаго, то симъ градоначальническую власть не токмо не возвысишь, а напаче сконфузишь. Посему о градоначальническомъ единовластіи слѣдуетъ трактовать совсѣмъ не съ точки зрѣнія солнечнаго восхода или иныхъ враждебныхъ стихій, а съ точки зрѣнія засѣдателей, совѣтниковъ и секретарей различныхъ вѣдомствъ, правленій и судовъ. По моему мнѣнію, всѣ сіи лица суть вредныя, ибо они градоначальнику, въ его, такъ сказать, непрерывномъ административномъ бѣгѣ, лишь поставляютъ препоны...

Здѣсь прерывается это замѣчательное сочиненіе. Далѣе слѣдуютъ лишь краткія замѣтки въ родѣ: «проба пера», «попка дуракъ», «рапортъ, «рапортъ», «рапортъ» и т. п.

II. О благовидной всѣхъ градоначальниковъ наружности.
Сочинилъ градоначальникъ князь Ксаверій Георгіевичъ Микаладзе *).

Необходимо, дабы градоначальникъ имѣлъ наружность благовидную. Чтобъ былъ не тученъ и не скареденъ, ростъ имѣлъ не огромный, но и не слишкомъ малый, сохранялъ пропорціональность во всѣхъ частяхъ тѣла и лицомъ обладалъ чистымъ, не обезображеннымъ ни бородавками, ни (отъ чего Боже сохрани!) злокачественными сыпями. Глаза у него должны быть сѣрые, способные по обстоятельствамъ выражать и милосердіе, и суровость. Носъ надлежащій. Сверхъ того, онъ долженъ имѣть мундиръ.

Излишняя тучность точно такъ же, какъ и излишняя скаредность, равно могутъ имѣть непріятныя послѣдствія. Я зналъ одного градоначальника, который хотя и отлично зналъ законы, но успѣха не имѣлъ, потому что отъ туковъ, во множествѣ скопленныхъ въ его внутренностяхъ, задыхался. Другого градоначальника я зналъ весьма тощаго, который тоже не имѣлъ успѣха, потому что едва появился въ своемъ городѣ, какъ сразу же былъ прозванъ отъ обывателей одною изъ тощихъ фараоновыхъ коровъ, и затѣмъ уже ни одно изъ его распоряженій дѣйствительной силы имѣть не могло. Напротивъ того, градоначальникъ не тучный, но и не тощій, хотя бы и не былъ свѣдущъ въ законахъ, всегда имѣетъ успѣхъ. Ибо онъ бодръ, свѣжъ, быстръ и всегда готовъ.

То, что сказано выше о тучности и скаредности, примѣняется и къ градоначальническому росту. Истинный сей ростъ—между 6-ю и 8-ю вершками. Поразительны примѣры, представляемые неисполненіемъ сего на первый взглядъ ничтожнаго правила. Мнѣ лично извѣстно таковыхъ три. Въ одной изъ приволжскихъ губерній градоначальникъ былъ роста трехъ аршинъ съ вершкомъ, и что же?—прибылъ въ тотъ городъ малаго роста ревизоръ, вознегодовалъ, повелѣлъ подкопы и достигъ того, что сего, впрочемъ, достойнаго человѣка предали суду. Въ другой губерніи столь же рослый градоначальникъ страдалъ необыкновенной величины солитеромъ. Наконецъ, третій градоначальникъ имѣлъ столь малый ростъ, что не могъ вмѣщать пространныхъ законовъ, и отъ натуги умре. Такимъ образомъ всѣ трое пострадали по причинѣ непоказаннаго роста.

*) Рукопись эта занимаетъ нѣсколько страничекъ въ четвертую долю листа; хотя правописаніе ея довольно правильное, но справедливость требуетъ сказать, что авторъ писалъ по линейкамъ. *Издатель.*

Сохраненіе пропорціональности частей тѣла тоже не маловажно, ибо гармонія есть первѣйшій законъ природы. Многіе градоначальники обладаютъ длинными руками, и за это со временемъ отрѣшаются отъ должностей; многіе отличаются особливымъ развитіемъ иныхъ оконечностей, или же уродливою ихъ малостью, и отъ того кажутся смѣшными или зазорными. Сего всемѣрно избѣгать надлежитъ, ибо ничто такъ не подрываетъ власть, какъ нѣкоторая выдающаяся или замѣтная для всѣхъ гнусность.

Чистое лицо украшаетъ не только градоначальника, но и всякаго человѣка. Сверхъ того, оно оказываетъ многочисленныя услуги, изъ коихъ первая—довѣріе начальства. Кожа гладкая безъ изнѣженности, видъ смѣлый безъ дерзости, физіономія открытая безъ наглости—все сіе плѣняетъ начальство, особливо если градоначальникъ стоитъ, подавшись корпусомъ впередъ и какъ бы устремляясь. Малѣйшая бородавка можетъ здѣсь нарушить гармонію и сообщить градоначальнику видъ продерзостный. Вторая услуга, оказываемая чистымъ лицомъ, есть любовь подчиненныхъ. Когда лицо чистое и притомъ освѣжается омовеніями, то кожа становится столь блестящею, что дѣлается способною отражать солнечные лучи. Сей видъ для подчиненныхъ бываетъ весьма пріятенъ.

Голосъ обязанъ имѣть градоначальникъ ясный и далеко слышный; онъ долженъ помнить, что градоначальническія легкія созданы для отданія приказаній. Я зналъ одного градоначальника, который, приготовляясь къ сей должности, нарочно поселился на берегу моря и тамъ во всю мочь кричалъ. Впослѣдствіи этотъ градоначальникъ усмирилъ одиннадцать большихъ бунтовъ, двадцать-девять среднихъ возмущеній и болѣе полусотни малыхъ недоразумѣній. И все сіе съ помощью одного своего далеко-слышнаго голоса.

Теперь о мундирѣ. Вольнодумцы, конечно, могутъ (подъ личною, впрочемъ, за сіе отвѣтственностью) полагать, что предъ лицомъ законовъ естественныхъ все равно, кованная ли кольчуга или кургузая кучерская поддевка облекаютъ начальника; но въ глазахъ людей опытныхъ и серьезныхъ матерія сія всегда будетъ пользоваться особливымъ передъ всѣми другими предпочтеніемъ. Почему такъ? а потому, господа вольнодумцы, что при отправленіи казенныхъ должностей мундиръ, такъ сказать, предшествуетъ человѣку, а не наоборотъ. Я, конечно, не хочу этимъ выразить, что мундиръ можетъ дѣйствовать и распоряжаться независимо отъ

содержащагося въ немъ человѣка, но, кажется, смѣло можно утверждать, что при блестящемъ мундирѣ даже худосочные градоначальники—и тѣ могутъ быть на службѣ терпимы. Посему, находя, что всѣ нынѣ существующіе мундиры лишь въ слабой степени удовлетворяютъ этой важной цѣли, я полагалъ бы необходимымъ составить спеціальную на сей предметъ комиссію, которой и препоручить начертать планъ градоначальническаго мундира. Съ своей стороны, я предвижу возможность подать слѣдующую мысль: колетъ изъ серебрянаго глазета, сзади страусовыя перья, спереди панцырь отъ кованнаго золота, штаны глазетовые же и на головѣ литого золота шишакъ, увѣнчанный перьями. Кажется, что, находясь въ семъ видѣ, каждый градоначальникъ въ самомъ скоромъ времени всѣ дѣла приведетъ въ порядокъ.

Все сказанное выше о благовидности градоначальниковъ получитъ еще большее значеніе, если мы припомнимъ, сколь часто они обязываются имѣть секретное обращеніе съ женскимъ поломъ. Всѣ знаютъ пользу, отъ сего проистекающую, но и за всѣмъ тѣмъ сюжетъ этотъ далеко не исчерпанъ. Ежели я скажу, что черезъ женскій полъ опытный администраторъ можетъ во всякое время знать всѣ сокровенныя движенія управляемыхъ, то этого одного уже достаточно, чтобы доказать, сколь важенъ этотъ административный методъ. Не одинъ дипломатъ открывалъ симъ способомъ планы и замыслы непріятелей и черезъ то дѣлалъ ихъ непригодными; не одинъ военачальникъ, съ помощью этой же методы, выигрывалъ сраженія или своевременно обращался въ бѣгство. Я же, съ своей стороны, извѣдавъ это средство на практикѣ, могу засвидѣтельствовать, что не дальше какъ на сихъ дняхъ, благодаря оному, раскрылъ слабыя дѣйствія одного капитанъ-исправника, который и былъ, вслѣдствіе того, представленъ мною къ увольненію отъ должности.

Затѣмъ не лишне, кажется, будетъ еще сказать, что, плѣняя нетвердый женскій полъ, градоначальникъ долженъ искать уединенія, и отнюдь не отдавать сихъ дѣйствій своихъ въ жертву гласности или устности. Въ семъ пріятномъ уединеніи онъ, подъ видомъ ласки или шутливыхъ манеръ, можетъ узнать много такого, что для самаго расторопнаго сыщика не всегда бываетъ доступно. Такъ, напримѣръ, если сказанная особа—жена ученаго, можно узнать, какія понятія имѣетъ ея мужъ о строеніи міровъ, о предержащихъ властяхъ и т. д. Вообще же необходимымъ по-

слѣдствіемъ такой любознательности бываетъ то, что градоначальникъ въ скоромъ времени пріобрѣтаетъ репутацію сердцевѣдца...

Изобразивъ изложенное выше, я чувствую, что исполнилъ свой долгъ добросовѣстно. Элементы градоначальническаго естества столь многочисленны, что, конечно, одному человѣку обнять ихъ невозможно. Поэтому и я не хвалюсь, что все обнялъ и изъяснилъ. Но пускай одни трактуютъ о градоначальнической строгости, другіе—о градоначальническомъ единомысліи, третьи — о градоначальническомъ вездѣ-первоприсутствіи; я же, разсказавъ, что̀ знаю о градоначальнической благовидности, утѣшаю себя тѣмъ,

Что тутъ и моего хоть капля меду есть...

III. Уставъ о свойственномъ градоправителю добросердечіи.

Сочинилъ градоначальникъ Беневоленскій.

1. Всякій градоправитель да будетъ добросердеченъ.

2. Да памятуетъ градоправитель, что одною строгостью, хотя бы оная была стократъ сугуба, ни голода людского утолить, ни наготы человѣческой одѣть не можно.

3. Всякій градоправитель приходящаго къ нему изъ обывателей да выслушаетъ; который же, не выслушавъ, зачнетъ кричать, а тѣмъ паче бить—и тотъ будетъ кричать и бить втуне.

4. Всякій градоправитель, видящій обывателя, занимающагося дѣломъ своимъ, да оставитъ его при семъ занятіи безпрепятственно.

5. Всякій да содержитъ въ умѣ своемъ, что ежели обыватель временно прегрѣшаетъ, то оный же еще того болѣе полезныхъ дѣяній содѣлывать можетъ.

6. Посему: ежели кто изъ обывателей прегрѣшитъ, то не тотчасъ таковаго усѣкновенію предавать, но прилежно разсматривать, не простирается ли на него россійскихъ законовъ дѣйствіе и покровительство.

7. Да памятуетъ градоправитель, что не отъ кого иного слава россійской имперіи украшается, а прибытки казны умножаются, какъ отъ обывателя.

8. Посему: казнить, расточать или инымъ образомъ уничтожать обывателей надлежитъ съ осмотрительностью, дабы не умалился отъ таковыхъ расточеній россійской имперіи авантажъ и не произошло для казны ущерба.

9. Буде который обыватель не приноситъ даровъ, то всемѣрно изслѣдовать, какая тому непринесенію причина,

и если явится оскудѣніе, то простить, а явится нерадѣніе или упорство—напоминать и вразумлять, доколѣ не будетъ исправенъ.

10. Всякій обыватель да потрудится; потрудившись же, да вкуситъ отдохновеніе. Посему: человѣка гулящаго или мимоидущаго за воротникъ не имать и въ съѣзжій домъ не сажать.

11. Законы издавать добрые, человѣческому естеству приличные; противоестественныхъ же законовъ, а тѣмъ паче невнятныхъ и къ исполненію неудобныхъ—не публиковать.

12. На гуляньяхъ и сборищахъ народныхъ—людей не давить; напротивъ того, сохранить на лицѣ благосклонную усмѣшку, дабы веселящіеся не пришли въ испугъ.

13. Въ пищѣ и питіи никому препятствія не полагать.

14. Просвѣщеніе внѣдрять съ умѣренностью, по возможности избѣгая кровопролитія.

15. Въ остальномъ поступать по произволенію.

Оглавленіе

III ТОМА.

Губернскіе очерки.

	стр.
Введеніе	5
I. Прошлыя времена.	
Первый разсказъ подьячаго	13
Второй разсказъ подьячаго	24
Непріятное посѣщеніе	31
II. Мои знакомые.	
Обманутый подпоручикъ	50
Порфирій Петровичъ	59
Княжна Анна Львовна	73
Пріятное семейство	90
III. Богомольцы, спутники и проѣзжіе.	
Общая картина	109
Отставной солдатъ Пименовъ	123
Пахомовна	132
Хрептюгинъ и его семейство	138
Госпожа Музовкина	150
IV. Драматическія сцены и монологи.	
Просители	160
Выгодная женитьба	194
Что такое коммерція?	207
Скука	220
V. Праздники.	
Елка	230
„Христосъ воскресъ!“	237
VI. Юродивые.	
Неумѣлые	246
Озорники	254
Надорванные	261

стр.

VII. Талантливыя натуры.

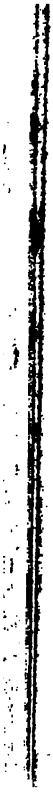
Корепановъ 269
Лузгинъ 277
Владиміръ Константиновичъ Буеракинъ 291
Горехвастовъ 308

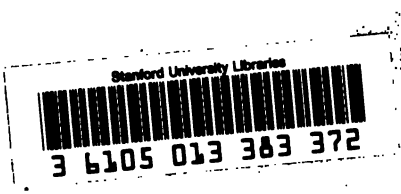
VIII. Въ острогѣ.

Посѣщеніе первое 326
Посѣщеніе второе 337
Аринушка 347
Старецъ 356
Матушка Мавра Кузьмовна 386
Первый шагъ 442
Дорога 461

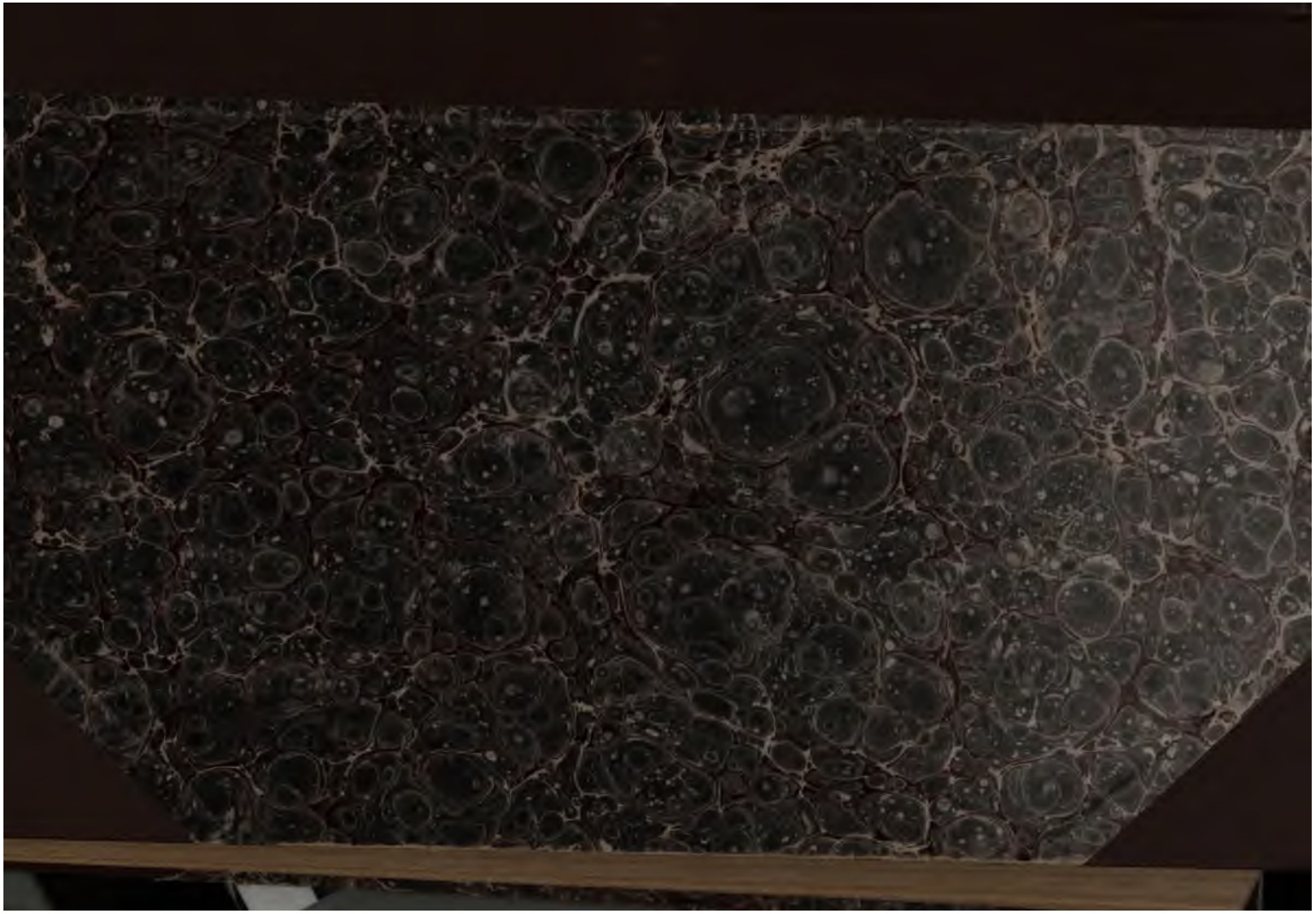
Исторія одного города.

Отъ издателя 471
I. Обращеніе къ читателю 473
II. О корни происхожденія глуповцевъ 476
III. Опись градоначальникамъ 484
IV. Органчикъ 488
V. Сказаніе о шести градоначальницахъ 501
VI. Извѣстіе о Двоекуровѣ 515
VII. Голодный городъ 517
VIII. Соломенный городъ 531
IX. Фантастическій путешественникъ 543
X. Войны за просвѣщеніе 548
XI. Эпоха увольненія отъ войнъ 570
XII. Поклоненіе мамонѣ и покояніе 589
XIII. Подтвержденіе покаянія.—Заключеніе 619
Оправдательные документы 650





NOV 2 1 1989

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this boo
please return it as soon as possible, b
not later than the date due.